

Александръ Сергъевичъ

8P1 11 91

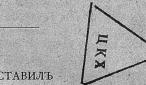
ПУШКИНЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

np08-59

86386

Сборникъ историко-литературныхъ статей.



СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.





MOCKBA. Типографія Г. Лисснера и Д. Совко. Возденженка, Крестовозденж. пер., д. Лисснера



8 pl (mjun) 25



one, radionally dependent of the control of the con

Homemus margaciers exposance grass senseaminers en enterthem the temperature of the commence of the sense to the sense to the commence of the sense to the sense to the sense of the sense of the sense to the sense

legistic anexicach pyconoli amono, copar amineces na americacies cruvo
Carlo of Companies of the Companies of t
Первоначальныя вліянія, подъ которыми вырастала геніальная личность
Пушкина, Анненкова и Булича. Предокта предостава предостава
Пушкинъ въ Царскосельскомъ лицев, Бартенева да
Воспитательное и образовательное значение Царскосельского лицея,
Бей Грота, Стоюнина и Гаевскаго. Это это продпринентели . 23
Лицейскіе наставники Пушкина: Галичь и Мерэляковь, Майкова 10 1 2051
"Арзамасъ" и его вліяніе на Пушкина, Анпенкова. П. П. Т.
Петербургскій періодъ жизни и діятельности Пушкина, Морозова 68
Пушкинъ на югь, его же, Венкстерна тода, тапа подпумул ладости. 77
Пушкинъ и Новороссійскій край, Маркевича правод при
Вліяніе юга на поэтическую д'ятельность Пушкина, Петрова и Булича: 130
Пушкинъ въ Михайловскомъ, Рыбинского заглади. Загада у газари 35
Поэтическая деятельность Пушкина въ Михайловскомъ, Питухова. 143
Пушкинъ среди интеллигентнато общества въ Москвъ, Венкетерна. 151
Пушкинь въ Петербургъ, <i>Ефремова</i> от май и протоска положения под постава и
Литературная дъятельность Пушкина въ послъдніе годы его жизни,
Comonuna da Lancou . Agerdage : Riperdage ; papara e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Последнія минуты жизни Пушкина, Жуковскаю
Самобытность и оригинальность поэзіи Пушкина, Варигагена фон-Энзе. 176
Пушкинъ — національный поэть, Веселовскаго, Булича, Григорьева,
081aria Perce u ingaria compania nogra, emembriacu er. buranomPo
Народность, гуманность и художественный тактъ, какъ отличительныя
черты поэзіи Пушкина, Вилинскаю п. В. п. с. п. с. п. с. п. с.
Пушкинъ, какъ основатель художестненнаго воспроизведенія дъйстви оп-
тельности, Истрина 1. выводновные и зываты Пр. вівсько под 205
Источники вдохновенія Пушкина и высоконравственное значеніе его
поэзін, Сухомлинова
Пушкинъ, какъ проповёдникъ гуманности, Яковлева
Пушкинъ — пъвецъ изящнаго, Незеленоватия попаратовица, достория 216
Пушкинъ какъ поэтъ этнографъ, В. Миллера
Естественность и правдивость поэзіи Пушкина , <i>Страхова</i> ставость с 229
Способность перевоплощенія Пушкина въ чужія національности, До-
18 стоевского . П Алгин. Телоничнай, . ощестног в эдектерио. ст238
Общечеловъческое значение Пушкина, Вумича пределения и по242
Пушкинъ, какъ художникъ, его же
Значеніе Пушкина въ исторіи литературнаго языка, Некрасова 250

Cmpan	<i>t</i> .
Пушкинъ — выразитель народнаго духа, отражающагося въ словъ,	
Истрина	4
Народныя черты и симпатіи въ поэзіи А. С. Пушкина, Н. Петрова 26	8
Лирическія произведенія Пушкина, какъ наилучшій показатель его ду-	
ховной мощи, Варнгагена фон-Энзе	0
Вліяніе Лицея на творчество Пушкина, Гаевскаго	M
Лицейскія стихотворенія Пушкина, Бартенева	
C-t	U
Слъды вліянія французскихъ поэтовъ на лицейскихъ стихотвореніяхъ	,
Пушкина, Стоюнина	9
Вліяніе писателей русской школы, отразившееся на лицейскихъ стихо-	
твореніяхъ Пушкина, Бълинскаго	
Значеніе лицейских стихотвореній Пушкина, Майкова	9
Переходныя стихотворенія Пушкина, Билинскаго	4
Антологическія стихотворенія Пушкина, его же	2
Лирическія произведенія Пушкина въ ихъ отличіи отъ произведеній	
предшественниковъ, его же	5
Идея поэта въ произведеніяхъ Пушкина, Аверкіева	9
Стихотвореніе Пушкина "Чернь", Бълинскаю, Каткова	7
"Поэтъ" Пушкина, Поливанова	3
"Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" Пушкина, его же	5
"Пророкъ" Пушкина, Черняева, Сумцова	7
"Поэтъ" Пушкина, Сумцова	9
"Русланъ и Людмила", Пушкина, Бълинского	1
Природа и люди въ "Кавказскомъ плънникъ", Плетнева и Бълинскаго. 40	
"Кавказскій плінникь, какь отпечатокь индивидуальныхь душевныхь	
состояній самого поэта, Дашкевича	
"Бахчисарайскій фонтань", Бълинскаго	
Происхожденіе, дирико-эпическій характеръ поэмы "Бахчисарайскій	
Фонтанъ" и вліяніе Байрона, сказавшееся въ созданіи ея, По-	4
Фонтанть и выдине раирона, сказавшееся въ создани ен, по-	
Musanosa	L
Идея поэмы "Цыганы", Бълинскаго	O!
Вліяніе Руссо и личныя состоянія цоэта, сказавшіяся въ поэмѣ. "Цы-	
ганы", Дашкевича	5
Алеко — скиталецъ по родной земль, Достоевского)
"Полтава", Бълинскаго	3
Происхожденіе "Полтавы" и ея построеніе, Поливанова	5
Историческое и общественое значение романа "Евгеній Онъгинъ", Би-	1
Auneraio	1
Онвгинъ, какъ общественный типъ, Поливанова	3
Религіозность, нравственная чистота, нежность, наивность и мечтатель-	
ность, какъ отличительныя свойства Татьяны, Дашкевича и До-	
cmoesckaro	2
Поэтическій образъ Ленскаго и его жизненность. Сиповскаго	2
Общее содержаніе и построеніе "Капитанской дочки", Н. Черняева 561	
Герои и героини "Капитанской дочки", его же	
Вначеніе Пушкина въ исторіи развитія русскаго романа, Малиновскаго под	9
и Веселовскаго	3
	2000

$\it Cmp$	$\alpha \mathcal{H}$.
Источники "Вориса Годунова", Жданова	602
Солержание и планъ "Бориса Голунова", Варигатена фон-Энзе	621
Особенности отпъльныхъ спень въ "Борисъ Годуновъ", Бълинскато.	020
Линность Бориса Голунова. Филонова	030
Языкъ "Бориса Голунова", его же	0442
Допетровская Русь въ изображеніи "Бориса Годунова", Каткова	648
Развитіе льйснія въ драмь "Борись Годуновь", Аверкіева	991
"Борисъ Годуновъ" какъ трагическій характеръ, его же	658
Идея "Бориса Годунова" и художественный реализмъ драмы, Кудрявцева	661
Характерные черты "Моцарта и Сальери", какъ драматическаго очерка	
Яковлева	664
Илея "Монарта и Сальери", Бълинского	667
Скупой рыпарь«. его эке	670
Отношение Пушкина къ античному міру, П. Черняева	672
Отношение Пушкина къ иностранной словесности, Стороженка	691
Вліяніе Байрона на европейскую дитературу, его же	702
Пункция и Байронъ Стороженка и Пыпина	710
Пушкинъ и Шатобріанъ. Сиповскаго	118
Пушкинъ, его предшественники и историческая ихъ связь, обминскию.	124
Отношеніе Пушкина къ писателямъ старшаго покольнія, Пыпина	734
Отношеніе Пушкина къ предшествующему литературному направленію,	
Anramemorano	742
Луховная организація Пушкина, Будде и Стоюнина	750
Наявственный обликъ Пушкина, Кони	159
Личность Пушкина, какъ человъка, Грота	776
А. С. Пушкинъ по его письмамъ, Сиповскаго	785

\$90 120 604	TO THE PROPERTY OF THE PROPER
bia,	honore nomes boxening Ontonoses
Mile.	immer Ropner Praymone en 20
141	inas "Inprocessia Prze ne grodpinenja "Nopada Tagnopa". Konsom
1437	grantic reason on think topics formore distinct
786	The Control of the Co
100	copies to teach as a verticorraction resistant passe, Audorence
	Appropriate representation of Engines, cases there exists exceed to the
1.013	A Company of the Comp
Tat	Itsen "Moganca u Classegu". Sivanercam
title	The property of the control of the c
250	Characteristics for a granting of the Manager of the Control of th
18h	there are the manual or an annound hard carriers. Character which
3117	British Balifons un emponedração aereparitor, esto ove
511	Themene a Radiona, Chopsonian a things.
815	The state of the s
367	SUSTA THE WASHINGTON OF THE PROPERTY OF THE PR
MIT.	The state of the s
	Commence of the state of the st
eat out	Programme assertion in the contract of the con
	icomena enganezanta Hungarat. Ezilde il Parezuena.
00%	The second that the second is the second second that the second s
7, 7	There is a strength of the second of the sec
5.	HARMON HARMEN DO GOO MODELS. CHROMONIC.

4 - 4图4- 4

Первоначальныя вліянія, подъ которыми вырастала геніальная личность Пушкина.

Александръ Сергъевичъ Пушкинъ родился въ Москвъ въ 1799 году, мая 26. Отецъ поэта, Сергъй Львовичъ, по 1798 года служиль въ Измайловскомъ полку. Свадьба его и Надежды Осиповны Ганнибаль, въроятно, происходила въ Петербургъ, потому что первенецъ ихъ – дочь Ольга Сергъевна родилась въ 1798 году, именно въ то время, какъ Сергъй Львовичъ состояль еще на службъ въ Петербургъ. Въ 1798 г. Сергъй Львовичъ вышель въ отставку; въ слъдующемъ 1799 г. Марья Алексвевна (мать Надежды Осиповны) продала село Кобрино (родовое село своего мужа), и все семейство Пушкиныхъ перевхало въ Москву, гдв на деньги, вырученныя отъ продажи имънія, Марія Алексъевна пріобръла сельцо Захарово, верстахъ въ сорока отъ Москвы. При продажъ петербургскаго имънія, общая няня всёхъ молодыхъ Пушкиныхъ, знаменитая Арина Родіоновна, записанная по Кобрину, получила отпускную, вивств съ двумя сыновьями и двумя дочерьми, но никакъ не хотела воспользоваться вольною. Приставленная сперва къ сестръ поэта, потомъ къ нему и, наконецъ, къ брату его, Родіоновна вынянчила все новое покольніе этой семьи. Въ какихъ трогательныхъ отношеніяхъ съ нею находился второй изъ ея питомцевъ, прославившій ея имя на Руси, — извъстно E BELLEGALANTE EN PRESENTATION (1973)

Родіоновна принадлежала къ типическимъ и благороднъйшимъ лицамъ русскаго міра. Соединеніе добродушія и ворчливости, нъжнаго расположенія въ молодости съ притворной строгостью оставили въ сердцъ Пушкина неизгладимое воспоминаніе. Онъ любиль ее родственною, неизмѣнною любовью и, въ годы возмужалости и славы, бесъдовалъ съ нею по цълымъ часамъ. Это объясняется еще и другимъ важнымъ достоинствомъ Арины Родіоновны: весь сказочный русскій міръ быль ей извъстень какъ нельзя короче, и передавала она его

чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней съ языка. Большую часть народныхъ былинъ и пъсенъ, которыхъ Пушкинъ такъ много зналъ, — слышалъ онъ отъ Арины Родіоновны. Можно сказать съ увъренностію, что онъ обязанъ своей нянъ первымъ знакомствомъ съ источниками народной поэзіи и впечатлъніями ея, которыя, однакожъ, были замътно ослаблены послъдующимъ воспоминаніемъ.

Въ числъ писемъ къ Пушкину, почти отъ всъхъ знаменитостей русскаго общества, находятся и записки отъ старой няни, которыя онъ берегъ наравнъ съ первыми. Вотъ что писала она около 1826 года. Мысль и самая форма мысли видимо принадлежатъ Аринъ Родіоновнъ, хотя она и позаимствовала руку для ихъ изложенія.

"Любезный мой другъ Александръ Сергъевичъ, я получила письмо и деньги, которыя вы мнъ прислали. За всъ ваши милости я вамъ всъмъ сердцемъ благодарна — вы у меня безпрестанно въ сердцъ и на умъ, и только когда засну, забуду васъ. Пріъзжай, мой ангелъ, къ намъ въ Михайловское — всъхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать и молить Бога, чтобы Онъ далъ намъ свидъться. Прощай мой, батюшка, Александръ Сергъевичъ. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебенъ отслужила — поживи, дружечето, хорошенько, — самому смобится. Я, слава Богу, здорова — пълую ваши руки и остаюсь васъ многолюбящая няня ваша Арина Родіоновна. (Тригорское, марта 6.)"

Какимъ чуднымъ отвътомъ на это письмо служитъ отрывокъ Пушкина, который мы здъсь приводимъ:

Подруга дней моихъ суровыхъ, Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лъсовъ сосновыхъ Давно, давно ты ждешь меня. Ты подъ окномъ своей свътлицы Горюешь, будто на часахъ, И медлятъ поминутно спицы Въ твоихъ наморшенныхъ рукахъ. Глядишь въ забытыя ворота, на черный отдаленный путь: Тоска, предчувствіе, заботы Тъснятъ твою всечасно грудь.... То чудится тебъ...

Почтенная старушка умерла въ 1828 году 70 лътъ въ домъ литомицы своей, Ольги Сергъевны Павлищевой.

Другимъ путемъ къ раннему сближенію съ народными обы-. чаями и пріемами могло служить само сельцо Захарово, проданное въ 1811 году, когда молодой Пушкинъ увезенъ былъ въ С.-Петербургъ для опредъленія въ Лицей. Семейство его, постоянно жившее въ Москвъ съ 1798 г., проводило лъто въ новой деревнъ Марыи Алексвевны. Зажиточные крестьяне Захарова не боялись веселиться: пъсни, хороводы и пляски пълись и плясались тамъ часто. Въ двухъ верстахъ отъ Захарова находится богатое село Вязёма. По неимънію церкви, жители Захарова считаются прихожанами села Вязёмы, гдъ похороненъ братъ Пушкина, Николай, умершій въ 1807 году (род. въ 1802) и куда Александръ Сергъевичъ самъ часто ъздилъ въ объднъ. Село Вязёма принадлежало Борису Годунову и сохраняется досель память о немъ. Тамъ указываютъ еще на пруды, будто бы вырытые по его повельнію, и на церковную колокольню, имъ построенную. Въроятно, молодому Пушкину часто говорили о прежнемъ царъ — владътелъ села. Такимъ образомъ мы встръчаемся, еще въ дътствъ Пушкина, съ предметами, которые впослъдствіи оживлены были его геніемъ.

Пушкинъ вспоминалъ о Захаровъ на скамьяхъ Лицея и въ одномъ изъ многочисленныхъ легкихъ посланій, тамъ написанныхъ, говоритъ:

Мнѣ видится мое селенье, Мое Захарово; оно Съ заборами, въ рѣкѣ волнистой Съ мостомъ и рощею тѣнистой, Зерцаломъ водъ отражено. На холмѣ домикъ мой; съ балкона Могу сойти въ веселый садъ, Гдѣ вмѣстѣ Флора и Помона Цвѣты съ плодами мнѣ дарятъ, Гдѣ старыхъ кленовъ темный рядъ Возносится до небосклона, И глухо тополи шумятъ.

Гораздо позже, въ 1831 году, передъ женитьбою своей, Александръ Сергъевичъ побывалъ въ Захаровъ, и, покуда Марья, дочь няни его, готовила ему сельскій завтракъ изъ яичницы,

онъ объгать рощицу возлё дома и всё мъста, напоминавшія ему дътство его: "Все наше рушилось, Марья, сказаль онъ по возвращеніи: все поломали, все заросло..." Черезъ два часа онъ уъхаль. Дъйствительно, олигель, гдъ жили дъти прежняго помъщика, уже быль тогда за ветхостію разобрань, и оставался одинъ большой домъ. Многія березки на берегу пруда порублены. Впрочемъ, еще недавно одинъ путешественникъ видъль тамъ старую липу Пушкина; съ этого пункта можнобыло наслаждаться прекраснымъ видомъ на прудъ и на противоположный берегъ его, покрытый зеленымъ еловымъ лъсомъ.

Отець его, Сергъй Львовичъ Пушкинъ, былъ человъкъ отъ природы добрый, но вспыльчивый. При малъйшей жалобъ гувернеровъ или гувернантокъ онъ сердился, выходилъ изъ себя, но гнъвъ его проистекалъ отъ врожденнаго отвращенія ко всему, что нарушало его спокойствіе, и скоро проходилъ. Вообще, Сергъй Львовичъ не любилъ заниматься серіозными дълами по дому, воспитанію и хозяйству, предоставивъ все это супругъ своей, Надеждъ Осиповнъ; никогда не бывалъ онъ въ дальнихъ своихъ деревняхъ, какъ, напримъръ, Болдинъ (Нижегородской губ.), предоставивъ имъніе въ полное распоряженіе управляющему, своему кръпостному человъку, и отдавалъ все свое время только удовольствіямъ общества и наслажденіямъ городской жизни.

Съ другой стороны, Сергъй Львовичъ, какъ и братъ его, поэтъ Василій Львовичъ, были душою общества, неистощимы въ каламбурахъ, остротахъ и тонкихъ шуткахъ. Онъ любилъмноголюдныя собранія. Связи Сергъя Львовича были довольно общирны. Черезъ Пушкиныхъ онъ былъ въ родствъ со всею этою фамиліею, а чрезъ Ганнибаловъ съ Ржевскимъ и ихъ свойственниками — Бутурлинами, Черкасскими и проч. Онъ даже жилъ домъ-о-домъ съ графомъ Дмитріемъ Петровичемъ Бутурлинымъ, и гости послъдняго были его гостями. Въ числъ посътителей его были: Карамзинъ, Батюшковъ, Дмитріевъ и молодой Пушкинъ, который всегда внимательно прислушивался къ ихъ сужденіямъ и разговорамъ, — зналъ корифеевъ нашей словесности не по однимъ произведеніямъ ихъ, но и по живому слову, выражающему характеръ человъка и западающему часто въ юный умъ невольно и неизгладимо.

Вмъстъ со всъмъ лучшимъ обществомъ Москвы, домъ Сергън Львовича, какъ всъ избранные дома тогдашняго времени,

быль открыть для французскихь эмигрантовъ: новое средство развлеченія, котораго всь искали. Между этими эмигрантами отличалось лицо графа Ксавье де-Мэстра. Онъ уже напечаталъ тогда свое "Voyage autour de ma chambre", и, въ промежуткахъ между литературными занятіями, любилъ посвяшать свои досуги друзьямъ. Самъ Сергъй Львовичъ былъ извъстенъ, какъ острякъ и человъкъ необыкновенно находчивый въ разговорахъ. Владъя въ совершенствъ французскимъ языкомъ, онъ писаль на немъ стихи такъ легко, какъ французъ, и дорожилъ этою способностью. Много альбомовъ въроятно, сохранили его произведенія; и есть слухи, что въ это время онъ написалъ даже цълую книжку, въ которой разсуждаль по-французски — стихами и прозой — о современной ему русской литературъ. Чрезвычайно любезный въ обществъ, онъ торжествовалъ особенно въ играхъ (jeux de société), требующихъ бъглости ума и остроты, и былъ необходимымъ человъкомъ при устройствъ праздниковъ, собраній и, особенно, домашнихъ театровъ, на которыхъ, какъ онъ, такъ и братъ, Василій Львовичь, отличались искусствомъ игры и декламаціи. Въ обществъ Сергъя Львовича находились также и двъ извъстныя піанистки, блиставшія вмъсть съ тьмъ и талантомъ остроумной беседы.

Памятникомъ веселости, оживлявшей это общество, осталась даже печатная книжка. Извъстно, что когда дядя нашего поэта, Василій Львовичъ Пушкинъ, собирался вхать за границу, то И. И. Дмитріевъ предупредиль, такъ сказать, весь будущій разсказъ путешественника въ стихотворной шуткъ, подъ названіемъ: "Путешествіе NN въ Парижъ и Лондонъ, писанное за три дня до путешествія". Книжка эта, напечатанная только для друзей, въ нъсколькихъ экземплярахъ, сдълалась теперь библіографическою ръдкостью. Шутка И.И.Дмитріева особенно поражаеть соединениемъ веселости, мъткости и вмъстъ благородства, что очень ръдко встръчаемъ въ нашихъ печатныхъ произведеніяхъ этого рода. За три дня до отъбзда своего за границу Василій Львовичь объщаль, на дружескомь ужинь, върно передать свои впечатлънія пріятелямъ. И.И.Дмитріевъ возразиль, что письма его всегда будуть драгоценны для нихъ, но что содержание корреспонденции почти уже извъстно. Въ подтверждение своихъ словъ, онъ сочинилъ "Путешествие", жъ которому приложилъ еще картинку, изображавшую будущаго туриста въ Парижъ, за урокомъ декламаци у Тальмы. Чрезвычайно остроумно и върно изображенъ тамъ авторъ "Опаснаго сосъда", съ его жаждой новостей, слъпымъ поклоненіемъ иностраннымъ диковинкамъ, усвоеніемъ всъхъ возможныхъ модъ и вмъстъ неизмъннымъ добродушіемъ и прямотою сердца. Вотъ начало этой книжки, которая можетъ дать понятіе о всемъ ея тонъ:

Друзья! сестрицы! я въ Парижѣ, Я началъ жить, а не дышать! Садитесь вы другь къ другу ближе Мой маленькій журналь читать. Я былъ въ музеѣ, Пантеонѣ, У Бонапарте на поклонѣ, Стояль близехонько къ нему, Не въря счастью своему. Вчера меня князь Долгоруковъ Представилъ милой Рекамье, Я видъль корпусъ мамелюковъ, Сіеса, Вестриса, Мерсье, и т. д.

Воспитаніе дѣтей въ семействѣ Пушкиныхъ ничѣмъ не отличалось отъ общепринятой тогда системы. Какъ во всѣхъ хорошихъ домахъ того времени, имъ наняли гувернантокъ, учителей и подчинили ихъ совершенно этимъ воспитателямъ съ разныхъ концовъ свѣта.

До семильтняго возраста Александръ Сергъевичъ Пушкинъ не предвъщалъ ничего особеннаго; напротивъ, своею неповоротливостью, своею тучностью, робостью и отвращениемъ къ движеню, онъ приводилъ въ отчаяние Надежду Осиповну, женщину умную, прекрасную собой, страстную къ удовольствіямъ и разсвяніямъ общества, какъ и всв окружающіе ее, но имъвшую въ характеръ тъ черты, которыя заставляютъ дътей повиноваться и върнъе дъйствують на нихъ, чъмъ мгновенный гитвъ и вспышки. Впрочемъ, она не могла скрыть предпочтительной любви сперва къ дочери, а потомъ къ меньшому сыну, да и на самое воспитаніе дітей, кромів ея, гувернеровъ и гувернантокъ, имъли вліяніе еще и двъ тетки Александра Сергъевича — Анна Львовна Пушкина и Елизавета Львовна, по мужъ Солицева. Анна Львовна собирала въ домъ своемъ часто всёхъ родныхъ и умёла вселять искреннія привязанности къ себъ.

Мужъ Елизаветы Львовны, Матвъй Михайловичъ Солнцевъ, быль искреннимь другомъ Сергъя Львовича, съ которымъ могъ состязаться въ любезности, тонкихъ шуткахъ и французскихъ каламбурахъ. Правильной системы воспитанія туть уже не могло быть, и если существовало какое-либо единство, то развъ въ общемъ недовъріи къ характеру и способности молодого Александра Пушкина. Это обстоятельство, однакожъ, имъло впослъдствіи благодътельное вліяніе на послъдняго. Не избалованный въ дътствъ излишними угожденіями, онъ легко переносилъ лишенія и рано привыкъ къ мысли — искать опоры въ самомъ себъ. Надежда Осиповна заставляла маленькаго Пушкина бъгать и пграть съ сверстниками, съ трудомъ побъждая и лъность его и молчаливость. Разъ на прогулкъ онъ, не замъченный никъмъ, отсталъ отъ общества и преспокойно усълся посреди улицы. Сидълъ онъ такъ до тъхъ поръ, пока не замътилъ, что изъ одного дома кто-то смотритъ на него и смъется. "Ну, нечего скалить зубы!" сказаль онъ съ досадой и отправился домой. Когда настойчивыя требованія быть поживъе превосходили мъру терпънія ребенка, онъ убъгаль къ бабушкъ, Марьъ Алексъевнъ Ганнибаль, залъзаль въ ея корзинку и долго смотрълъ на ея работу. Въ этомъ убъжищъ уже никто не тревожиль его. Марья Алексвевна была женщина замъчательная, столько же по приключеніямъ своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей въ русскомъ языкъ. Баронъ Дельвигъ еще въ Лицев приходилъ въ восторгъ отъ ея письменнаго. слога, отъ ея сильной, простой русской ръчи. Къ несчастію, мы не могли отыскать ни малъйшаго образчика того безыскусственнаго и мужественнаго выраженія, которымъ отличались ея письма и разговоры. Вторымъ русскимъ учителемъ Пушкина, нъсколько позже, быль, по странному случаю, нъкто г. Шиллеръ. Впрочемъ, труды г. Шиллера не могли принести особенных плодовъ въ это время, потому что маленькій Пушкинъ и сестра его, воспитывавинеся вмъстъ, говорили, писали и твердили уроки изъ всъхъ предметовъ пофранцузски.

Главнымъ руководителемъ дътей былъ сперва графъ Монфоръ, образованный эмигрантъ, бывшій въ то же время музыкантомъ и живописцемъ; за нимъ г. Русло, писавшій французскіе стихи; потомъ г. Шедель и другіе. Настоящимъ,

дъльнымъ наставникомъ въ русскомъ языкъ, ариометикъ и въ Законъ Божіемъ былъ у нихъ почтенный священникъ Маріинскаго института Александръ Ивановичъ Бъликовъ, извъстный своими проповъдями и изданіемъ: "Духа Массильона" (1806). Когда наняли англичанку (миссъ Бели) для Ольги Сергъевны, Пушкинъ учился по-англійски, но плохо, а понъмецки и вовсе не учился. Была у нихъ гувернантка нъмка, да и та почти никогда не говорила на своемъ родномъ языкъ. Вообще ученье подвигалось медленно.

Воздагая всё свои надежды на память, молодой Пушкинъ повторяль уроки за сестрой, когда ее спрашивали; ничего не зналь, когда начинали экзаменъ съ него; заливался слезами надъ четырьмя правилами ариеметики, которую вообще плохо понималь. Особенно дёленіе, говорять, стоило ему многихъ слезъ и трудовъ.

- Но съ 9-го года начала развиваться у него страсть къ чтенію, которая и не покидала его во всю жизнь. Онъ прочель, какъ водится, сперва Плутарха, потомъ Иліаду и Одиссею, въ переводъ Битобе, потомъ приступилъ къ библіотекъ своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVII въка и произведеніями философовъ последующаго стольтія. Сергьй Львовичь поддерживаль въ дътяхь это расположеніе къ чтенію и вмёстё съ ними читываль избранныя сочиненія. Говорять, онъ особенно мастерски передаваль Мольера, котораго зналь почти наизусть, но еще и этого было недостаточно для Александра Пушкина. Онъ проводилъ безсонныя ночи, тайкомъ забирался въ кабинетъ отца и безъ разбора пожираль всв книги, попадавшіяся ему подъ-руку. Вотъ почему замъчание Льва Сергъевича, что на 11-мъ году, при необычайной памяти своей, Пушкинъ уже зналъ наизусть всю французскую дитературу, можеть быть принято съ нъкоторымъ ограниченіемъ.

Первыя попытки авторства, вообще рано проявляющіяся у дітей, пристрастившихся къ чтенію, обнаружились у Пушкина, разумівется, на французскомъ языкі и отзывались вліяніемъ знаменитаго комическаго писателя Франціи. Пушкинъ любилъ импровизировать комедійки и, по общему согласію съ сестрой, устроилъ нічто въ родів театра, гдів авторомъ и актеромъ былъ братъ, а публикой — сестра. Разъ какъ-то публика освистала его пьесу L'Escamoteux. Авторъ отдівлался

отъ оскорбленій эпиграммой, сохранившейся досель въ памяти гогдашняго судьи:

Dis moi, pourquoi l'Escamoteur Est-il sifflé par la parterre? Hélas — c'est que le pauvre auteur L'escamota de Molière.

Стишки гладенькіе и легкіе. Они были предшественниками такихъ же русскихъ стиховъ, которые Пушкинъ началь писать уже въ Лицев. Авторство шло параллельно съ его чтеніемъ. Ознакомившись съ Лафонтеномъ, Пушкинъ сталъ писать басни. Начитавшись Генріады, онъ задумалъ поэму въ 6 пѣсняхъ, но здѣсь останавливаетъ насъ одна характеристическая особенность. Это была не героическая поэма, какъ слѣдовало бы ожидать, а шуточная. Содержаніемъ послужила война между карлами и карлицами во времена Дагоберта. Карло послѣдняго, по имени Тоlу, былъ героемъ ея, почему и вся поэма называется Га Тоlуаdе. Стихотворная шутка начинается такъ:

Je chante ce combat, que Toly remporta, Où main guerrier périt, où Paul se signala, Nicolas Maturin et la belle Nitouche, Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche.

Все это было во вкусъ того, что слышалъ Пушкинъ вокругъ себя и чему онъ довольно долго подражалъ. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала Шеделю, жалуясь, что М-г Alexandre за подобными вздорами забываетъ о своихъ урокахъ. Шедель расхохотался при первыхъ стихахъ. Раздраженный авторъ тутъ же бросилъ въ печку свое произведеніе. Анленковъ.

Царствованіе Екатерины, при всемогущемъ вліяніи у насъ власти, нѣсколько упорядочило русскую дворянскую семью, внесла въ нее чужія, господствовавшія тогда формы общежитія, смягчило нравы. То было время торжества французской общественности, знакомства съ языкомъ и литературою французовъ. Идейное вліяніе Франціи сказывалось въ господствъ французскаго литературнаго вкуса. Ему подчинялась только что начавшая жить наша словесность. Немудрено поэтому, что отепъ и дядя Пушкина стали не только русскими, но и

французскими стихотворцами, въ томъ легкомъ родѣ, какой господствовалъ въ обществѣ, въ салонахъ. Серіозная сторона французской литературы, ея философская мысль, ея скептицизмъ были недоступны и по недостатку умственнаго развитія и по недостатку для пониманія ея элементовъ въ русскомъ обществѣ. Въ этихъ литературныхъ занятіяхъ не было ничего серіознаго; въ нихъ была та же пустота, что и въ жизни; это была мода, но мальчикъ Пушкинъ росъ посреди литературныхъ привычекъ близкой родни, усвоилъ ихъ и невольно, безсознательно съ дѣтства сталъ писать стихи. "Если ты въ родню", говорилъ онъ впослѣдствіи меньшому своему брату Льву, "такъ ты литераторъ".

Но французскіе стихи, остроты и каламбуры были чёмъ-то внъшнимъ въ семейной жизни Пушкина. Она была такъ же нелъпа и пошла, какъ и у множества полубогатыхъ дворянскихъ семей, проживавшихъ въ Москвъ не только доходы съ кръпостныхъ, но и ихъ самихъ, искавшихъ лишь пустыхъ удовольствій. Семейный гнеть быль попрежнему тяжель, несмотря на то, что гнъвъ владыки дома выражался, можетъбыть, совершенно правильно на языкъ Корнеля и Расина. Единственная сестра поэта, съ дътства имъ страстно любимая, съ которой, по всей въроятности, рисовалъ онъ первоначальную Татьяну, даже на тридцатомъ году жизни, должна была бъжать изъ родительскаго дома, чтобъ тайно обвънчаться съ тъмъ, кого она выбрала. Такимъ образомъ "сопротивление злу" становилось необходимымъ для личнаго счастія, и недовольство родною обстановкою, борьба Пушкина съ нею развивала въ немъ самостоятельность характера и чувство независимости.

Намъ, къ сожальнію, вовсе неизвъстно дътство поэта; это — пора самыхъ живыхъ и прочныхъ впечатльній, остающихся болье или менье навсегда. Біографы Пушкина, обыкновенно, фантазирують объ этомъ времени на основаніи позднихъ соображеній. Такъ, говорять они о развращающемъ дъйствіи на геніальнаго мальчика многихъ французскихъ писателей прошлаго въка. Съ къмъ изъ нихъ онъ былъ знакомъ въ отцовскомъ домъ — мы не знаемъ, но ни Мольеръ, ни Генріада, ни Лафонтенъ, о знакомствъ съ которыми есть свъдънія, никакъ не могли дъйствовать развращающимъ образомъ. Читали ихъ тогда всъ русскіе люди, воспитываемые

французскими гувернерами. Эти французскіе гувернеры, безъ всякаго сомнінія, иміли весьма существенное вліяніе на развитіе ума, идей и на складъ характера поэта: не даромъ въ Лицей его называли французомъ.

Со временъ Фонвизина и сатирическихъ журналовъ Екатерининской эпохи сложилось въ литературъ убъждение, что французскіе гувернеры у насъ были насадителями какой-то особенной нелюбви и даже презрънія ко всему родному, русскому. Извъстны и типы русскихъ людей, воспитанныхъ иностранцами въ обличительной литературъ прошлаго въка и начала нынъшняго. Мы вполнъ увърены, что эти типы вообще преувеличены и карикатурны. Нелюбовь и презръніе къ родному совершенно несвойственны человъческой природъ; никакое иностранное воспитаніе, особенно посреди своей же, родной обстановки, не въ состояни ихъ породить и развить. Толки объ этомъ доказывають, какъ намъ кажется, тенденціозность. Напротивъ, столкновеніе неразвитого и непосредственнаго ума съ развитою и сознательною чужою мыслію можетъ развить только дъятельную любовь къ родному и ненависть развъ къ историческимъ его недостаткамъ. Сколько сильныхъ умовъ и хорошихъ душою и сердцемъ, даже дъятельною любовью къ родинъ людей вышло изъ рукъ французскихъ гувернеровъ! Впрочемъ, говорить о вліяніи ихъ на Пушкина въ дътствъ можно лишь гадательно. Мы знаемъ только имена ихъ, но, во всякомъ случав, они стояли выше тогдашнихъ русскихъ учителей и по знаніямъ и по идеямъ. Сама Франція переживала въ то время такой глубокій историческій перевороть, что мысль каждаго француза невольно становилась напряженнъе. Замъчательно, что только приговоръ француза Жиле, гувернера въ домъ графа Бутурлина, сохранился для насъ о Пушкинъ изъ его ранняго дътства. "Чудное дитя", говориль онъ писателю Карамзинской школы М. Макарову, "какъ онъ рано началъ все понимать".

Арина Родіоновна играла не послѣднюю роль въ жизни Пушкина. Она была ему сердечно дорога, она внушила ему чудные, полные глубокаго чувства стихи, свидѣтельствующіе о томъ, какъ много нѣжности заключалось въ его сердцѣ. Употребляя собственныя выраженія поэта, мы можемъ сказать о ней, что она была "подругою его юности", "подругою его суровыхъ дней", его "голубкою". Нельзя не поблагодарить

поэта, что онъ въ стихахъ своихъ сохранилъ для насъ въ образъ, напримъръ, Татьяниной няни, и въ задушевныхъ строфахъ, обращенныхъ къ своей собственной, этотъ уже исчезнувшій, но необходимый типъ старой дворянской семьи. Тъмъ болье мы должны быть благодарны Пушкину, что въ отношеніяхъ его къ этому типу незамътно той разлагающей рефлексіи, которая, естественно, пришла вмъстъ съ развитіемъ жизни и ея историческимъ скептицизмомъ. Другой русскій поэтъ, въ позднъйшихъ условіяхъ жизни, уже совершенно иначе выражался о своей нянъ, когда, не находя любви къ семьъ, онъ съ оскорбленнымъ чувствомъ убъгалъ къ ней:

"Ахъ, няня! сколько разъ
Я слезы лиль о ней въ тяжелый сердцу часъ,
При имени ея впадая въ умиленье,
Давно не чувствовалъ я къ ней благоговънья!
Ея безсмысленной и вредной доброты
На память мнъ пришли немногія черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой".

На долю няни въ русскихъ дворянскихъ семьяхъ до времени освобожденія выпадала неръдко завидная миссія развивать въ дътяхъ чувство любви и нъжной привязанности, просыпающееся рано въ ребенкъ и не находившее отголоска въ лицахъ, гораздо болье близкихъ къ нему по кровному родству. Изучая старую русскую жизнь (теперь слагаются новые типы, но они еще не успъли опредълиться), нельзя не притти къ убъжденію, что въ жизни русской семьи стараго времени, въ прежнихъ, кръпостныхъ ея условіяхъ, очень ръдко найдемъ мы и сердечность и ту нъжность отношеній между двумя покольніями, которыя, связуя ихъ въ одно целое, являются въ жизни источникомъ развитія человъчности. Дъти росли, чуждаясь родителей; между тъми и другими не было откровенности. Возраставшая съ лътами въ сердцъ ребенка потребность привязанности и любви сердечной не находила отзвука ни въ отцъ, занятомъ хозяйствомъ, охотою, картами, свътомъ, и подагавшаго, что онъ исполниль обязанности, сдавъ дътей на руки гувернеровъ, ни у матери, погруженной съ утра до вечера въ свътскую болтовню, въ романы, воображаемые и дъйствительные, и въ постоянную погоню за удовольствіями, считавшимися единственною цълью пустой жизни. И ребенокъ, дъйствительно, убъгаль къ нянъ, ища въ ея ласкахъ, простыхъ

и чуждыхъ эгоизма, отвъта на неудовлетворяемую потребность любви. И на долю Пушкина выпали эти обычныя условія русской дворянской семьи. У каждаго почти стариннаго помъщичьяго домашняго очага стояла эта непосредственная, глубокодъятельная, чуждая личныхъ привязанностей фигура (обыкновенно, въ няни брали или одинокую или покончившую съ собственными интересами женщину). Она вся уходила въ старческую привязанность, глубокую, безсознательную и безкорыстную. Понятно, что только отъ нея первой русскій ребенокъ могъ слышать и родныя сказки и заунывныя пъсни родины. Ничего особеннаго не представляютъ поэтому отношенія Пушкина къ его нянъ (они были общими для всъхъ), но его могучій талантъ умълъ облечь ихъ прелестью поэтическаго творчества.

Изъ всей родной семьи, окружавшей Пушкина въ дътствъ, гораздо съ большимъ правомъ, чъмъ на нянъ Родіоновнъ, мы должны остановиться на его бабкъ по матери — Марьъ Алексъевнъ Ганнибалъ, по роду тоже Пушкиной.

Почти одинаковое съ няней положеніе въ жизни, неимѣніе прямыхъ домашнихъ обязанностей часто дѣлали этихъ бабокъ въ старыхъ семьяхъ первыми воспитательницами ребенка. Старуха Ганнибалъ умерла въ 1817 году. Она переписывалась съ внукомъ, когда тотъ учился въ Лицеѣ, но письма ея, къ сожалѣнію, не сохранились. Эта бабка была хранительницею семейныхъ преданій, старыхъ разсказовъ, которые передавала внуку. Она была и его первой наставницей въ русскомъ языкъ. Сохраняя живую связь съ прошедшимъ, эта именно бабка, какъ мы въ томъ увърены, больше всего способствовала тому непосредственному чувству старины, похожее на свъжее чувство современника, какимъ проникнуты историческія повъсти Пушкина. О ней, по всей въроятности, вспоминаетъ и самъ поэтъ въ стихахъ:

"Но каюсь, новый Ходаковскій, Люблю отъ бабушки московской Я толки слушать о роднів, О толстобрюхой старинів"...

Эта бабка Пушкина и видъла много на своемъ въку и испытала многое. Она выходила замужъ за Осипа Абрамовича. Ганнибала въ самый разгаръ пугачевщины и при томъ въ мъст-

ности, непосредственно охваченной пламенемъ бунта. Эта кровавая и жестокая историческая драма съ ея потрясающими эпизодами, сохранившимися въ семейной памяти дворянскихъ фамилій, преимущественно, восточной полосы Россіи, по всей въроятности, въ нъкоторыхъ ужасающихъ подробностяхъ своихъ, съ дътства была знакома Пушкину изъ разсказовъ бабки. Они запечатлълись въ его памяти, и по нимъ задумалъ онъ написать и "Капитанскую дочку" и "Исторію Пугачевскаго бунта". Какъ для француза разсказы и мемуары изъ эпохи великой революціи составляють полное интереса и драматизма чтеніе, такъ и въ нашихъ дворянскихъ семьяхъ, въ началъ нынъшняго въка и даже въ 30-хъ его годахъ эпизоды пугачевщины, особенно на востокъ Россіи, передавались и воспринимались съ потрясающимъ интересомъ. Няня Пушкина была родомъ изъ новгородской деревни; она не знала, не испытала этой бури; бабка же была свидътельницей событій, сама пережила многое. Ея процессъ съ мужемъ, тайно женившимся на своей кръпостной, дошелъ до свъдънія императрицы Екатерины, и вызвалъ ея личное участіе въ последніе годы ея царствованія. По всей въроятности, Марья Алексъевна лично просила императрицу, и извъстная сцена въ "Капитанской дочкъ " (гл. XIV), гдъ героиня повъсти встръчается съ государыней въ царскосельскихъ аллеяхъ, кажется, была написана по разсказамъ бабушки.

Эти старые семейные разсказы и дворянскія преданія имѣли прежде оригинальную прелесть. Пушкинъ любилъ ихъ записывать, пользовался ими для высокихъ художественныхъ образовъ. У него, кромѣ другихъ источниковъ, какъ у художника, было непосредственное историческое чутье. Буличъ.

Пушкинъ въ Царскосельскомъ лицев.

Родители Пушкина нарочно повхали въ Петербургъ, чтобы развъдать, куда бы лучше помъстить сына. Въ Петербургъ уже нъсколько лътъ пользовался извъстностью благородный іезуитскій институтъ; но въ высшемъ обществъ, къ коему принадлежалъ Сергъй Львовичъ, особенно славился одинъ частный пансіонъ, учрежденный и прекрасно устроенный аббатомъ Николемъ, впослъдствіи устроителемъ Ришельевскаго лицея,

и въ то время находившійся въ въдъніи аббата Макара. Тамъ воспитывались дъти изъ лучшихъ семействъ. Туда же намъревались отдать и Пушкина. Невольно подумаешь о томъ, что стало бы съ нимъ, какое бы получилъ онъ направленіе подъ руководствомъ аббата! Кажется, не ошибемся, если скажемъ, что, къ счастію его, въ то время открывался Лицей въ Царскомъ Сель.

Лицей, прекрасный памятникъ заботливости государя Александра Павловича о просвъщении Россіи, имълъ на Пушкина вліяніе ръшительное. Не говоримъ уже о томъ, что постоянная жизнь въ царскосельскомъ уединеніи, посреди прекрасныхъ тамошнихъ садовъ, питала въ немъ чувство изящнаго и любовь къ природъ, — Лицей подъйствовалъ и на умъ его, сообщивъ его мыслямъ опредъленное направленіе, и на сердце, давъ возможность рано развиться нъжнымъ склонностямъ дружбы, чувствамъ чести и товарищества, однимъ словомъ, онъ вполнъ раскрылъ всъ его способности. Пушкинъ вспоминаль о Лицеъ, какъ объ отеческомъ кровъ, какъ о родимой обители.

12-го августа 1810 года постановленіе о Лицев было Высочайше утверждено. Изъ этого постановленія, излагающаго въ 149 параграфахъ всё подробности административной и учебной части заведенія, узнаемъ, что "учрежденіе лицея имъло цълью образованіе юношества, особенно предназначеннаго къ важнымъ частямъ службы государственной", что въ немъ "преподавались предметы ученія, важнымъ частямъ государственной службы приличные и для благовоспитаннаго юноши необходимо нужные", что "лицей и члены его приняты подъ особенное Его Императорскаго Величества покровительство и состоятъ подъ непосредственнымъ въдъніемъ министра народнаго просвъщенія", который въ концъ каждой недъли получаль отъ директора подробную въдомость о состояніи Лицея.

Августа 19-го, именнымъ указомъ, даннымъ министру народнаго просвъщенія, предписано было привести въ дъйствіе постановленіе о Лицев. Въ концъ этого указа читаемъ: "Я питаю твердое упованіе, что заведеніе сіе вскоръ процвътеть подъ управленіемъ начальства, коему оное ввъряется".

Государь подариль Лицею собственную библіотеку, въ которой нъкоторыя книги находились прежде въ личномъ его употребленіи и сохранили драгоцыныя собственноручныя его

замѣчанія и отмѣтки. Но высокое покровительство августѣйшаго учредителя выразилось особенно въ томъ, что для помѣщенія Лицея отведена была часть Царскосельскаго дворца.
Невозможно было сдѣлать лучшаго выбора. Лицей такимъ
образомъ пользовался и необходимымъ въ теченіе большей
части года уединеніемъ, и близостью столицы, открывавшею
доступъ ко всѣмъ учебнымъ средствамъ и пособіямъ. Дворцовыя зданія Царскаго Села, построенныя еще при Елизаветѣ Петровнѣ (1744) славнымъ художникомъ Растрелли, особенно украшены и возвеличены были въ дни Екатерины, коей
память еще такъ свѣжо сохранялась въ то время. Слава ея
имени и царствованія одушевляла лицеистовъ. Какъ сильны
были эти впечатлѣнія, видно изъ стихотворенія Пушкина:
Воспоминанія єз Царскомг Селю, и особенно изъ слѣдующихъ:

И славныхъ лътъ передо мною Являлись въчные слъды: Еще исполнены великою Женою, Ея любимые сады Стоять населены чертогами, столнами, Гробницами друзей, кумирами боговъ, И славой мраморной, и мъдными хвалами Екатерининскихъ гербовъ!... Садятся призраки героевъ У посвященныхъ имъ столновъ; Глядите: вотъ герой, стъснитель ратныхъ строевъ, Перунъ Кагульскихъ береговъ! Воть, воть могучій вождь полуночнаго флага, Предъ къмъ морей пожаръ и плавалъ и леталъ! Воть, върный брать его, герой архипелага, Воть наваринскій Ганнибаль!

2-го іюня 1811 года именнымъ указомъ, даннымъ сенату, статскій совътникъ Малиновскій, находившійся при государственной коллегіи иностранныхъ дълъ, назначенъ былъ директоромъ Лицея. Василій Өедоровичъ Малиновскій, братъ извъстнаго Алексъя Өедоровича, управлявшаго Московскимъ архивомъ иностранныхъ дълъ, издавна былъ пріятелемъ Пушкиныхъ. Уже это одно должно было расположить Сергъя Львовича къ помъщенію сына въ Лицей. Сверхъ того, Лицей, какъ заведеніе вновь открываемое и при такой благопріятной обстановкъ, внушалъ родителямъ довъріе. Наконецъ нельзя упустить изъ виду и того обстоятельства, что лицеисты воспитывались безплатно.

Лътомъ 1811 года молодой Пушкинъ въ первый разъ оставилъ родной свой городъ, Москву. Дядя, Василій Львовичъ, повезъ его въ Петербургъ.

До половины августа онъ готовился къ вступительному экзамену. Доступъ въ Лицей былъ довольно затруднителенъ: въ постановленіи сказано, что "на первый случай полагалось принять въ лицей не менте 20 и не болте 30 воспитанниковъ, а впоследствіи времени по соображенію съ хозяйственнымъ состояніемъ лицея". Многіе родители прітхали въ Петербургъ для опредъленія дтей своихъ; но только 38 человъкъ были допущены къ экзамену, и въ это число Василью Львовичу удалось включить племянника своего, благодаря совттамъ и ходатайству Александра Ивановича Тургенева, въ то время служившаго при министръ духовныхъ дълъ, князъ А. Н. Голицынъ. Могъ ли Тургеневъ думать, что этотъ мальчикъ, которому по добротъ своей онъ открывалъ доступъ въ Лицей, сдълается внаменитымъ поэтомъ, и что чрезъ 26 лътъ онъ окажетъ ему одругую услугу: отвезетъ его тъло на последнее жилище!

Августа 12-го 38 мальчиковъ были подвергнуты предварительному испытанію, и 30 изъ нихъ, въ томъ числъ Пушкинъ, удостоены принятія въ Лицей, на что и послъдовало Высочайшее утвержденіе, испрошенное директоромъ Лицея.

Лицей торжественно открылся 19 октября 1811 г.,—день, незабвенный для Пушкина и его товарищей, день, который они потомъ ежегодно праздновали, и памяти котораго Пушкинъ посвятилъ нъсколько лучшихъ стихотвореній своихъ.

Вы помните: когда возникъ Лицей, Какъ Царь для васъ открылъ чертогъ Царицынъ— И мы пришли, и встрътилъ насъ Куницынъ Привътствіемъ межъ царственныхъ гостей.

Съ утра всъ члены августъйшей фамили, первые чины двора, министры, члены государственнаго совъта и проч. собрались въ придворную царкосельскую церковь, которая вмъстъ была и лицейскою церковью, находясь въ серединъ зданія и соединяя комнаты лишь съ государевыми покоями Директоръ Лицея привелъ въ церковь всъхъ воспитанниковъ, профессоровъ и чиновниковъ открываемаго заведенія. Отслушана была литургія, и потомъ все собраніе прошло по комнатамъ Лицея, въ предшествіи придворныхъ пъвчихъ и духовенства, которое освятили ихъ кропленіемъ святой воды. Затъмъ всъ собрались

BEJÍTOTYDACKAS Odnacymaz BMSJNgOTZ (A

въ залу, гдъ прочитаны были нъкоторыя мъста изъ Высочайше пожалованной Лицею грамоты. Министръ просвъщенія передаль эту грамоту директору для храненія. За ръчью, которую произнесъ директоръ, профессоръ Кошанскій прочель списокъ чиновниковъ Лицея и принятыхъ въ оный воспитанниковъ. Наконецъ къ симъ последнимъ обратился съ речью профессоръ Куницынъ. Впечатлъніе, произведенное этою ръчью, сохранилось въ памяти Пушкина черезъ 25 лътъ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ стиховъ, написанныхъ въ 1836 году. Въ этой ръчи, между прочимъ, читаемъ: "Познанія ваши должны быть обширны, ибо вы будете имъть непосредственное вліяніе на благо цвлаго общества. Государственный человъкъ долженъ знать все, что только прикасается къ кругу его дъйствія... Государственный человъкъ, будучи возвышенъ надъ прочими, обращаетъ на себя взоры своихъ согражданъ; его слова и поступки служать для нихъ примъромъ. Если нравы его безпорочны, то онъ можеть образовать народную нравственность болбе собственнымъ примъромъ, нежели властію... Благорастворенный воздухъ, безмолвное уединеніе, воспоминание о великой въ женахъ и о воспитании въ семъ мъстъ августъйшаго внука ея, воскриляетъ младые таланты... Вы ли не устрашитесь быть последними въ вашемъ родъ? Вы ли захотите смъщаться съ толпою людей обыкновенныхъ, пресмыкающихся въ неизвъстности и каждый день поглощаемыхъ волнами забвенія? Нётъ! да не развратитъ мысль сія вашего воображенія. Любовь къ славъ и отечеству должна быть вашимъ руководителемъ!" По окончаніи ръчи, государь осмотрълъ помъщение воспитанниковъ и удостоилъ своего присутствія объденный столь ихъ. Торжество заключилось иллюминацією.

Это происходило въ четвергъ. Черезъ четыре дня, въ понедъльникъ 23-го октября, началось въ Лицев ученье. Преподаваніе наукъ въ Лицев, какъ и все внутренне устройство
его, имъло особенный характеръ. Уравненный въ правахъ
съ русскими университетами, онъ не походитъ на сіи послъдніе уже по самому возрасту своихъ пито цевъ, которые
при поступленіи имъли отъ 10 до 12 лътъ; но, съ другой
стороны, въ высшемъ, четвертомъ курсъ Лицея преподавалось
ученіе, обыкновенно излагаемое только съ университетскихъ
кафедръ. Такимъ образомъ онъ соединяль въ себъ характеры
называемыхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Ли-

цеисть, въ теченіе шести літь, узнаваль науки отъ первыхъ начатковь до философическихь обозрівній.

Въ "постановленіи о лицев" подробно изложены предметы, способъ и распредъленіе преподаванія. Тамъ сказано, что "самое большое число часовъ въ недълю должно посвящать обученію грамматикъ, наукъ историческихъ и словесности, особливо языкамъ иностраннымъ, которые должны быть преподаваемы ежедневно не менъе 4 часовъ". Директору вмънялось въ обязанность стараться о томъ, чтобы воспитанники разговаривали между собой на французскомъ и немецкомъ языкахъ поденно. Языкамъ греческому, англійскому и итальянскому вовсе не учили. Латинскому было дано второстепенное мъсто: его причислили къ канедръ русской словесности, которую занималь профессоръ Николай Оедоровичъ Кошанскій. Онъ училъ также и языку церковно-славянскому. Въ § 45 постановленія читаемъ: "Ученіе славянской грамматики для коренного познанія россійскаго слова необходимо; а потому и должно быть обращено на часть сію особенное вниманіе". На последнемъ курсе лицеисты слушали исторію изящныхъ искусствъ по Винкельману. Вообще въ преподавании словесности или "изящныхъ письменъ", какъ названа она въ постановленіи, главнымъ почиталось чтеніе образцовъ. Рядомъ съ нимъ дъятельно шли практическія упражненія, и ученики подавали Кошанскому свои сочиненія не только въ проз'є, но и въ стихахъ, обычай, можетъ-быть, перенесенный изъ Московскаго университетскаго пансіона, въ которомъ Кошанскій учился. Объ этихъ стихотворныхъ упражненіяхъ въ классъ, сохранился забавный анекдоть. Профессоръ задаль въ классъ написать сочинение ва тему: восходо солнца. Всв ученики написали, кто какъ умълъ и подали профессору свои листки и тетрадки. Остановка была за однимъ ученикомъ, который никакъ не могъ совладать съ трудною темою; у него была написана только одна фраза: "Грядеть съ заката царь природы". Онъ сталъ просить Пушкина помочь ему. "Изволь", отвъчалъ Пушкинъ, и въ одну минуту прибавивъ къ приведенному началу следующие три стиха:

> И изумленные народы Не знають, что начать, Ложиться спать или вставать,—

подаль листокъ профессору.

Объ исторіи, которую преподаваль столь извъстный впоследствіи профессоръ Иванъ Козьмичь Кайдановъ, сказано въ постановленіи: "Во второмъ курсё исторія должна быть дёломъ разума. Предметь ея есть представить въ разныхъ превращеніяхъ государствъ шествіе нравственности, успѣхи разума и паденіе его въ разныхъ гражданскихъ постановленіяхъ". На четвертомъ курсѣ лицеисты слушали филосовское обозрѣніе знатнѣйшихъ эпохъ всемірной исторіи по Боссюэту и Феррану. Кайдановъ преподаваль также и географію.

Что касается до способа преподаванія, то профессорамъ вмѣнялось въ обязанность "не затемнять умъ дѣтей пространнымъ изъясненіемъ, но возбуждать собственное его дѣйствіе", "не диктовать уроковъ" и "избѣгать высокопарности". "Все пышное, высокопарное, школьное, совершенно удаляемо было отъ понятія и слуха воспитанниковъ".

Въ какой степени и какимъ образомъ все это примънялось къ самому дълу, остается неизвъстнымъ. Но нътъ сомнънія въ томъ, что лицейское преподаваніе было плодотворно. Лицеисты получили и многіе изъ нихъ навсегда сохранили любовь къ наукъ и просвъщенію.

Выше назвали мы двухъ профессоровъ Лицея. Слъдуеть упомянуть и объ остальныхъ. Законоучителемъ сначала былъ священникъ Николай Васильевичъ Музовской, мъсто его въ Лицев заступилъ священникъ Гавріилъ Полянскій, а потомъ одинъ изъ ученъйшихъ членовъ нашего духовенства Герасимъ - Петровичъ Павскій. Психологію, логику, нравственную философію, науки политическія преподаваль Александръ Петровичъ Куницынъ, самый замътный изъ всъхъ лицейскихъ профессоровъ по талантамъ, дару слова и по новости идей, которыя онъ издагаль въ статьяхъ и, безъ сомнънія, въ лекціяхъ своихъ. Онъ получилъ образованіе въ Геттингенскомъ университеть и быль въ близкихъ отношенияхъ къ А. И. Тургеневу. О лекціяхъ Куницына Пушкинъ вспоминалъ всегда съ восхищеніемъ и лично къ нему до смерти своей сохранилъ неизмънное уважение. Мы увърены, что въ утраченныхъ запискахъ Пушкина много о немъ говорилось. Каеедру оплософіи и эстетики занималъ Александръ Ивановичъ Галичъ; объ отношеніяхъ къ нему лицеистовъ можно судить по двумъ посланіямъ Пушкина. Преподавателемъ наукъ математическихъ былъ Яковъ Ивановичъ Карповъ.

Большое вліяніе, уже вследствіе частаго обращенія, въроятно, имъли на лицеистовъ преподаватели обоихъ иностранныхъ языковъ. Нъмецкому языку училъ директоръ лицейскаго пансіона, Өедоръ Матвъевичъ фонъ-Гауэншильдъ, который по смерти Малиновскаго, последовавшей въ начале 1814 года, около двухъ лътъ исправлялъ должность директора Лицея. Онъ хорошо зналъ по-русски и впослъдствии по желанію государственнаго канцлера, графа Н. И. Румянцева, перевель на нъмецкій языкъ первые 6 томовъ исторіи Карамзина. Но нъмецкій языкъ не полюбился Пушкину. Несмотря на та, что лицеистовъ обязывали говорить по-нъмецки, несмотря на примъръ и внушенія Дельвига, онъ почти вовсе не зналъ этого языка. Всъхъ занимательнъе и веселъе были уроки профессора французскаго языка, человека пожилыхъ леть, эмигранта, уже давно жившаго въ Россіи, оставившаго, съ изволенія Екатерины II, свое настоящее имя Марата, столь страшно прославленное роднымъ его братомъ, и назвавшагося Бури, по мъсту своего рожденія во Франціи. Давыдъ Ивановичь де-Бури училь во всъхъ женскихъ заведеніяхъ Петербурга и всюду быль любимъ за живой и веселый характеръ. Онъ, между прочимъ, переводилъ съ лицеистами на французскій языкъ "Недоросля" Фонвизина.

При исчисленіи людей, имъвшихъ вліяніе на лицеистовъ, нельзя пройти молчаніемъ ихъ неразлучнаго собесъдника, учителя рисованія и гувернера, Сергъя Гавриловича Чирикова, который занималъ эту должность въ теченіе многихъ лътъ. Лицеисты любили его. У него бывали литературныя собранія. Въ его гостинной, надъ диваномъ, долго сохранялось нъсколько шуточныхъ стиховъ, написанныхъ на стънъ Пушкинымъ. — Чистописанію училъ Фотій Петровичъ Калинычъ.

Всѣ эти люди, посреди которыхъ протекло отрочество Пушкина, имѣли или, по крайней мѣрѣ, могли имѣть на него всякаго рода вліяніе. Прямыхъ, положительныхъ свѣдѣній о пребываніи его въ Лицеѣ, несмотря на все наше стараніе, мы не могли собрать много. Собственныя его записки, въ которыхъ, безъ сомнѣнія, онъ говоритъ подробно о лицейской своей жизни, сожжены; изъ его товарищей до сихъ поръ еще только нѣкоторые подѣлились съ публикою воспоминаніями о томъ времени. Мы принуждены довольствоваться и указа-

ніями, разсъянными въ сочиненіяхъ Пушкина и немногими собранными свъдъніями.

Едва только возникъ Лицей, едва устроилось въ немъ правильное преподаваніе (затрудняемое сначала неравенствомъ въ познаніяхъ воспитанниковъ), какъ внѣшнія политическія событія отвлекли отъ него вниманіе высшаго правительства. Но гроза двѣнадцатаго года плодотворно подъйствовала и на молодыхъ лицеистовъ. Она оживляла и питала въ нихъ высокое чувство патріотизма, и, конечно, въ это время пробудилась въ душѣ Пушкина его горячая любовь къ родинѣ.

Вы помните, текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И въ сънь наукъ съ досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шелъ мимо насъ...

Съ какимъ чувствомъ говоритъ пятнацатильтній поэтъ о пожаръ Москвы:

Края Москвы, края родные,
Гдв на зарв цввтущихь лють
Часы безпечности я тратиль золотые,
На зная горестей и бъдъ,
И вы ихъ видъли, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь, и пламень пожиралъ!
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни...
Вотще лишь гнъвомъ духъ пылалъ!

Блистательный конець отечественной войны, кровавыя славныя битвы 1813 года, наконець, взятіе Парижа,—всё эти чудныя событія подымали духъ народный, волновали всёхъ и каждаго. Въ 1814 году лицеисты были ближайшими свидётелями народнаго торжества. Въ 20-хъ числахъ іюля государь возвратился изъ-за границы. Въ Павловскъ устроенъ былъ праздникъ въ честь гвардіи. Въ Царскомъ Селъ воздвигались тріумфальныя ворота.

Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ Изъ плъннаго Парижа къ намъ примчался. Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался! Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ, Народовъ другъ, спаситель ихъ евободы! Вы помните, какъ оживились вдругъ Сіи сады, сіи живыя воды, Гдъ проводилъ онъ славный свой досугъ!

То было время всеобщаго одушевленія. Такое время, плодотворное для всёхъ, пробуждаетъ въ отдёльныхъ лицахъ душевныя силы, вызываетъ къ дёятельности природою данныя способности. Мы, не обинуясь, приписываемъ вліянію тогдашнихъ славныхъ событій быстрое развитіе поэтическаго таланта Пушкина; конечно, вмёстё съ тёмъ признавая, что вліяніе это не было единственнымъ, что сему развитію способствовали и лицейское уединеніе, и счастливое дружество даровитыхъ отроковъ, и поощренія просвёщенныхъ наставниковъ. Муза, любившая Пушкина въ младенчестве, не забыла его и въ отрочестве.

Воспитательное и образовательное значеніе Царскосельскаго лицея.

Велико значеніе поэта, который проводить въ сознаніе народа жизнь его и изъ тайниковъ родного слова вызываеть новый міръ идей, образовъ и звуковъ. Царскосельскій лицей давшій Россіи нъсколько замъчательных влюдей на разныхъ поприщахъ, болъе всего однакожъ привлекаетъ внимание потомства тъмъ, что въ немъ началъ свое развитіе геніальный русскій поэтъ. Лицей быль назначень для приготовленія молодыхъ людей "къ важнымъ частямъ государственной службы", но иронія судьбы устроила, что первымъ блестящимъ плодомъ его воспитанія быль юноша, вовсе не годившійся для службы и однакоже болъе всъхъ прославившій это заведеніе. Еще прежде нежели произносились имена знаменитыхъ въ наше время питомцевъ первоначальнаго Лицея, Пушкинъ былъ извъстенъ всей Россіи, какъ воспитанникъ перваго выпуска его. Въ поздивишее время нашлись люди, которые стали собирать подробности пребыванія въ немъ нашего поэта и его товарищей. И не мудрено: цълый отдълъ стихотвореній Пушкина, отдълъ, исполненный блеска и игривости молодой жизни, отмъченъ именемъ Лицея; всякая черта, служащая къ разъясненію этого періода пушкинской поэзіи, становится драгоцвина.

Имена Лицея н Пушкина неразрывно связаны между собою въ культурной исторіи Россіи, и трудно сказать, кто кому болѣе обязань: Пушкинъ Лицею или Лицей Пушкину.

Вся обстановка новаго училища была необыкновенно благопріятна для развитія поэтическаго таланта. Царское Село соединяло въ себъ двойное обаяніе свъжихъ историческихъ воспоминаній и живописныхъ красотъ мъстности, хотя и созданныхъ болъе чудесами искусства, чъмъ природой. Съ одной стороны сады и рощи, очаровательно-тихое уединеніе, величавые памятники военной славы; съ другой — невидимый, но присущій, исполинскій и прекрасный образъ геніальной Екатерины. Понятно, какъ сильно это двойное обаяніе должно было дъйствовать на воспріимчивую душу одного изъ первенцевъ Лицея. Удивительно ли, что объ стороны такой обстановки ярко отразились въ творчествъ молодого поэта? Онъ и впослъдствіи не утратили своего живительнаго вліянія на его фантазію. Лицейскія воспоминанія до конца жизни съ неизмънною силою возвращаются въ его стихотвореніяхъ. Сущность его отношеній къ Лицею и Царскому Селу прекрасно выражена въ стихахъ, написанныхъ имъ при возвращении послъ многихъ лътъ къ дорогимъ мъстамъ:

Воспоминаньями смущенный, Исполненъ сладкою тоской, Исполненъ сладкою тоской, Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный Вхожу съ поникшею главой! Такъ отрокъ Библіи, безумный расточитель, До капли истощивъ раскаянья фіалъ, Увидъвъ, наконецъ, родимую обитель, Главой поникъ и зарыдалъ...

Среди суетныхъ увлеченій и въ тяжелыя минуты поэтъ обращался къ святынъ своихъ воспоминаній:

И славных лѣть передо мною Являлись вѣчные слѣды: Еще исполнены великою женою, Ея любимые сады Стоятъ населены чертогами, столпами... и проч.

Пушкинъ не остался въ долгу у заведенія, въ которомъ видълъ колыбель своей славы. Значеніе поэта для позднъйшаго Царскосельскаго лицея заключалось не въ одномъ блескъ
его имени, которымъ это учрежденіе гордилось, не въ одной
любви, съ какою онъ прославлялъ Лицей въ стихахъ своихъ:
воспоминаніе о Пушкинъ дало основной тонъ и цвътъ всей

внутренней жизни Лицея. Конечно, и послъ него, какъ при немъ, строго-научное направление не пустило корня въ стънахъ этого разсадника министерствъ и гвардіи. Лицей по ученію оставался далекъ даже отъ того идеала высшаго учебнаго заведенія, который имъли въ виду при его основаніи. Но преданіе о Пушкинъ и его товарищахъ удержало Лицей на томъ пути, на который онъ твердо сталъ съ самаго начала. Имя Пушкина было для Лицея палладіумомъ и спасло его отъ духовнаго паденія въ ту нерадостную пору, когда жельзная рука Аракчеева исторгла Лицей изъ подъ вліянія князя Голицына и отдала его подъ военную опеку. Несмотря на измънившійся духъ управленія, чтеніе и авторство остались любимыми занятіями лицеистовъ. Правда, что это мъшало пріобрътенію основательныхъ школьныхъ познаній, но такая самодъятельность неоспоримо имъла все-таки свою подезную сторону, изощряя умственныя способности, развивая и питая любознательность; изъ чтенія также почерпались свъдънія, хотя и не систематическія; стремленіе же къ авторству заставляло юношей работать и прилагать знанія на практикъ. А это также не маловажные элементы умственнаго воспитанія.

Впрочемъ и ученіе шло не дурно по тъмъ предметамъ, которые были въ рукахъ способныхъ и дъятельныхъ преподавателей. Но, къ сожальнію, таковы были далеко не всв представители наукъ въ Лицев, хотя онъ и считался лучшимъ изъ закрытыхъ учебныхъ заведеній въ Россіи. При качественной скудости педагогическихъ силъ, лицеисты охотно обращались къ такимъ самостоятельнымъ занятіямъ, которыя наиболъе соотвътствовали духовнымъ потребностямъ ихъ возраста. Бывали, конечно, и примъры прискорбныхъ увлеченій, когда бездарность тратила время на безплодное риемоплетство, или когда чтеніе не шло далъе романовъ, ничего не дававшихъ взамънъ упущенныхъ уроковъ. Но это только частные случаи. При такомъ направленіи Царскосельскій лицей никогда не доходиль до той пустоты и суетности, до той любви къ праздности, къ наслажденіямъ и разгулу, которыя могуть овладъть закрытымъ заведеніемъ, когда оно лишится благотворной силы преданія и умственныхъ интересовъ, когда всякая духовная жизнь въ немъ подавлена преобладаніемъ грубыхъ страстей и цинизма. Такому печальному

паденію Царскосельскаго лицея всегда противодъйствовало жившее въ немъ, благодаря хранительнымъ традиціямъ, уваженіе къ умственному превосходству, къ литературному таланту и труду.

Но какимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ мъсяцевъ существованія Лицея, въ немъ пробудилась та замічательная самодъятельность, о которой единогласно говорять всё свидътельства? Вотъ вопросъ чрезвычайно любопытный и до сихъ поръ почти еще не затронутый. Предположение Анненкова, что воспитанники, скучая отъ бездълья, искали въ занятіяхъ спасенія отъ скуки, еще не разръшаеть этого вопроса: отъ скуки охотнъе прибъгаютъ къ другимъ развлеченіямъ. Собираться для того, чтобы вмъстъ сочинить пъсню или чтобъ общими силами разсказать повъсть, которую всякій продолжаеть развивать по-своему съ того мъста, гдъ другой остановился, это значило любить умственныя забавы, чувствовать потребность въ упражнении ума и воображения. Было ли это слъдствиемъ присутствія одного необыкновеннаго таланта, или соединенія нъсколькихъ даровитыхъ юношей, или возбуждение исходило извит отъ кого-нибудь изъ наставниковъ? Талантливые воспитанники, страстно любившіе литературу, бывали въ Лицев и послъ, однакожъ явление подобной авторской производительности въ такой степени никогда болъе въ немъ не повторилось. Въ рукахъ моихъ находится начало самаго ранняго сборника лицеистовъ перваго курса, подъ заглавіемъ Въстника; тамъ упомянуто, что "Инспекторъ лицея Мартынъ Ст. Пидецкій предложиль учредить собраніе всёхь молодыхь людей, которыхъ общество найдетъ довольно способными къ исполненію должности сочинителя, и чтобы всякій членъ сочиниль что-нибудь въ продолжение по крайней мъръ двухъ недъль, безъ чего его выключатъ". Трудно однакожъ вывести отсюда заключеніе, чтобы главнымъ виновникомъ литературнаго движенія въ кругу первыхъ лицеистовъ быль Пилецкій, человъкъ съ весьма плохимъ образованіемъ и до того нелюбимый ими; что они, наконецъ, вступили съ нимъ въ открытую борьбу и принудили его удалиться да продолжение

Были, кажется, два обстоятельства, которыми, кромѣ даровитости воспитанниковъ, объясняется ихъ оживленная литературная дѣятельность. Отецъ Пушкина былъ знакомъ съ извъстнъйшими московскими писателями; этимъ путемъ тамошній

литературный міръ сдълался легко доступенъ для лицейскихъ поэтовъ, и съ 1814 г. ихъ опыты начинаютъ являться въ печати: понятно, какъ переспектива такой чести должна была возбуждать молодые умы и перья. Другимъ важнымъ обстоятельствомъ было то, что семеро изъ товарищей Пушкина до поступленія въ Лицей были въ Московскомъ университетскомь пансіонь: двое (Масловъ и Яковлевъ) были доставлены прямо оттуда, вслъдствіе распоряженія министра; остальные пятеро (Вальховскій, Данзасъ, Ломоносовъ, Матюшкинъ и Ржевскій) прибыли въ Лицей частнымъ образомъ изъ родительскихъ домовъ. Извъстно, что въ Московскомъ университетскомъ пансіонъ было сильно развито литературное направленіе. Еще въ 1780-хъ годахъ труды его воспитанниковъ печатались въ сборникахъ, носившихъ разныя заглавія; а въ послъдніе годы прошлаго стольтія, когда въ этомъ заведеніи воспитывался Жуковскій, между пансіонерами образовалось даже литературное общество, или "собраніе" для чтенія и разбора ихъ сочиненій и переводовъ. Оно имъло свой особенный уставъ. Основателемъ и первымъ предсъдателемъ этого общества быль Жуковскій. Ученическіе труды его и нікоторыхь изъ его товарищей, напримъръ Грамматина и Петина (прославленнаго Батюшковымъ), были впоследствии изданы въ виде сборника, состоявшаго изъ нъсколькихъ томовъ, подъ заглавіемъ Утренняя Заря.

Случайно ли было сходство между литературными собраніями Московскаго пансіона и Лицея? Тогдашній профессоръ русской словесности въ новомъ царскосельскомъ заведеніи, Кошанскій, быль самь питомець Московскаго университета и преподаватель при его пансіонъ; онъ придаваль особенную важность письменнымъ упражненіямъ, и по его желанію книга "Утренняя Заря", при самомъ открытін Лицея, была пріобрътена какъ одно изъ пособій по русской канедръ. Наконецъ, и первый директоръ Лицея, В. Ө. Малиновскій, также воспигывался нъкогда въ Московскомъ университетъ. Происходя изъ духовнаго сословія, онъ получиль основательное образованіе, для котораго важными средствами служили ему смолоду, подъ руководствомъ профессора Барсова, практическія упражненія прозой и стихами, такъ что в онъ рано привыкъ съ самодъятельности. Онъ обладаль замъчательною способностію къ языкамъ и въ зръломъ возрасть постоянно продолжаль распространять свои свёдёнія: читаль, авторствоваль и переводиль. Такимь образомь при основаніи Лицея мы видимь и въ начальстве его, и на одной изъ главныхъ каоедръ, и между воспитанниками элементы, перенесенные изъ Московскаго университетскаго пансіона, и трудно не предложить нъкоторой взаимной связи въ быту того и другого заведенія. Все соединилось, чтобы въ новомъ разсадникъ наукъ приготовить самую благодарную почву для занятій литературою. Удивительно ли, что первые плоды этого разсадника были взлельяны поэзіей, а не наукой?

Внутренняя жизнь перваго курса Лицея хорошо отражается въ письмахъ воспитанника Илличевскаго, писанныхъ во время самаго пребыванія его въ заведеніи и потому составляющихъ драгоцінный источникъ для занимающаго насъ предмета.

Илличевскій, сынъ томскаго губернатора, попавъ въ Лицей изъ петербургской гимназіи (тогда единственной, нынъ 2-й), переписывался съ оставшимся тамъ бывшимъ товарищемъ своимъ Фуссомъ, впослъдствіи непремъннымъ секретаремъ Академіи Наукъ. , Въ литературъ Илличевскій оставиль послъ себя только небольшой томикъ "Опытовъ въ антологическомъродъ", изданный въ 1827 г.; но, находясь въ Лицев, онъ былъ однимъ изъ самыхъ дъятельныхъ его литераторовъ. Онъ писаль басни, эпиграммы, посланія и, кромъ того, отличался искусствомъ рисовать карикатуры. При журналъ "Лицейскій Мудрецъ" сохранились его акварельныя иллюстраціи, которыя и теперь не потеряли своего относительнаго достоинства. Илличевскій, уже въ первые мъсяцы посль поступленія въ Лицей, сознавался, что много быль обязань Пушкину, который уже тогда заявилъ свое значеніе и вліяніе въ кругу товарищей. Кратковременное запрещеніе сочинять, о которомъ Илличевскій вслёдъ затёмъ сообщаеть, было, конечно, вызвано твмъ, что молодые люди, увлекаясь примъромъ своего даровитаго собрата, слишкомъ неумъренно предавились страсти къ авторству во вредъ урокамъ. Безъ этого предположенія трудно допустить, чтобы такой просвъщенный начальникъ, какъ Малиновскій, сталъ запрещать своимъ питомцамъ подобныя занятія. Да и Кошанскій всегда считаль ум'внье писать самой существенной стороной литературнаго образованія. Въ своей "Общей Риторикъ" Кошанскій считаетъ нужнымъ начинать сочиненія съ періодовъ, которые и называеть "началами прозы". Воть чъмъ объясняется, что Илличевскій, извъстивъ своего друга о снятіи помянутаго запрещенія, прибавляеть: "и мы начали періоды!"

Вотъ въ какихъ строкахъ Илличевскій изображаетъ учебный бытъ новаго заведенія: "въ праздное время гуляемъ, а нынче жъ начинается лѣто: снѣгъ высохъ, трава показывается, и мы съ утра до вечера въ саду, который лучше всѣхъ лѣтнихъ петербургскихъ". Чтобы понять эти слова, надобно вспомнить, что тогда при Лицев еще не было своего сада (который устроенъ былъ позже, по старанію Энгельгардта): воспитанники въ свободные часы ходили въ большой царскосельскій садъ и тамъ располагались особенно на такъ называемомъ розобомз полю — вправо отъ мраморнаго мостика, гдѣ въ царствованіе Екатерины ІІ дѣйствительно сажали розы, но при первомъ курсѣ Лицея ихъ уже не было; тамъ лицеисты гуляли, рѣзвились, играли въ лапту и пр.

То же положеніе учебной части въ Лицев продолжалось и послѣ. По смерти перваго директора Лицея, Малиновскаго, долго не было настоящаго начальства. Профессора, исправлявшіе эту должность, не умѣли пріобрѣсти авторитета. Притомъ воспитанники были какъ свои во многихъ царскосельскихъ домахъ и видѣли профессоровъ на равной съ собою ногѣ, и потому тѣ являлись передъ ними безъ всякаго ореола величія. Таковъ былъ, напримѣръ, домъ управляющаго Царскимъ Селомъ графа Ожаровскаго, жившаго очень открыто; тамъ воспитанники часто встрѣчались съ Кошанскимъ.

Употребляя мало времени на уроки, лицеисты зато много читали. Фуссъ въ одномъ письмъ спрашивалъ Илличевскаго, доходятъ ли до Лицея новыя книги. На это тотъ отвъчаетъ размышленіями о пользъ чтенія и прибавляетъ: "Мы стараемся имъть всъ журналы, и впрямь получаемъ: "Пантеонъ", "Въстникъ Европы", "Русскій Въстникъ" и пр.". Далъе онъ говоритъ, что они наслаждаются не только современными поэтами: Жуковскимъ, Батюшковымъ, Крыловымъ, Гнъдичемъ, но заглядываютъ также въ сочиненія Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева, а иногда бесъдуетъ и съ иностранными пъвцами: Расиномъ, Вольтеромъ, Делилемъ. "Не худо", заключаетъ онъ, "заимствуя отъ нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія". Здъсь Илличевскій слегка намъчаетъ то, что такъ поэтически и прелестно раз-

вито въ "Городкъ" Пушкина. Понятіе о пользъ чтенія было твердо усвоено лицеистами. Еще въ 1822 г. Пушкинъ писалъ изъ Кишинева брату: "Чтеніе — вотъ лучшее ученіе". Но къ этому слъдовало бы прибавить, что чтеніе должно производиться не такъ, какъ оно производилось въ Лицев. О томъ, что въ немъ необходима система, что оно должно быть въ связи съ ученіемъ и имъть какой-нибудь заранье опредъленный господствующій характерь, лиценсты не думали и никто имъ этого не объяснялъ. Впрочемъ, и разнообразное чтеніе безъ плана можетъ, конечно, имъть образовательное дъйствіе. Это направленіе продолжалось въ Лицев, и послъ воспитанники читали русскіе журналы, читали поэтовъ, историческія сочиненія, книги по политической экономіи, путешествія, романы, драмы и пріобрътали довольно обширное знакомство съ литературой главных веропейских народовъ. Нехорошо только то, что многіе исподтишка читали во время лекцій даже хорошихъ профессоровъ, плохо готовили уроки и охладъвали къ ученію.

Вся формальная и офиціальная часть при первомъ курсть шла очень плохо, но зато бойко работали внутреннія силы и пружины, приводимыя вта движеніе духомъ времени, исключительными обстоятельствами и присутствіемъ нъсколькихъ недюжинныхъ личностей. Воть разгадка той странности, на которую указываетъ графъ Корфъ, говоря: "Наптъ курсъ, болъе вста запущенный, вышелъ едва ли не лучше вста другихъ, по крайней мърт несравненно лучше вста современныхъ ему училищъ... Какъ это сдълалось, трудно дать ясный отчетъ: по крайней мърт ни наставникамъ нашимъ ни надзирателямъ не можетъ быть приписана слава такого результата".

Изъ писемъ Илличевскаго мы видимъ далѣе, что посылать свои произведенія въ московскіе и петербургскіе журналы, даже еще во время пребыванія въ младшемъ курсѣ, было между лецеистами перваго пріема дѣломъ обыкновеннымъ-Кромѣ сочиненій Пушкина, уже печатались также труды Дельвига, Кюхельбекера, Яковлева, Пущина и самого Илличевскаго. Послѣдній пытался даже поставить въ Петербургѣ на сцену своей переводъ какой-то оперы и затѣвалъ большія литературныя предпріятія, какъ, напримѣръ, изданіе "Новаго Плутарха для юношества" и составленіе біографіи матема-

тика Эйлера. По всему видно, что стремленіе создать чтонибудь крупное, капитальное было общею чертою молодыхъ лицейскихъ авторовъ. Пушкинъ также за полтора года до выпуска, затъваетъ большое сочиненіе. 16 января 1816 г. Илличевскій сообщаетъ: "Онъ пишетъ теперь комедію въ пяти дъйствіяхъ, въ стихахъ, подъ названіемъ "Философъ". Планъ довольно удаченъ, и начало, т.-е. первое дъйствіе, до сихъ поръ только написанное, объщаетъ нъчто хорошее; стихи — и говорить нечего, а острыхъ словъ сколько хочешь!" Отъ этого, только начатаго Пушкинымъ труда, не осталось никакихъ слъдовъ; конечно онъ, будучи недоволенъ своимъ планомъ, скоро бросилъ работу и принялся за поэму "Русланъ и Людмила", первыя пъсни которой были, какъ извъстно, написаны еще въ Лицев.

Журналь "Лицейскій Мудрець" долго считали потеряннымъ вмъстъ съ бумагами, оставшимися послъ умершаго въ Италіи Корсакова, къ которому относится мъсто "19-го октября", начинающееся словами:

Онъ не пришель, кудрявый нашъ пъвецъ Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной.

Сохранившійся "Лицейскій Мудрецъ" составляєть небольшую тетрадь или книжку, въ формѣ продолговатаго альбома, въ красномъ сафъянномъ переплетъ. На лицевой сторонѣ переплета, въ золотомъ вѣнкѣ, читается заглавіе и подънимъ означенъ годъ: "1815".

Въ январъ этого года воспитанники перешли въ старшій курсъ, а возобновленный журналъ сталъ выходить осенью и продолжался еще въ началъ 1816 года. Въ этотъ періодъ явилось четыре номера, которые всъ и содержатся въ описанной книжкъ. Въ концъ каждаго раскрашенные рисунки работы Илличевскаго, представляющіе то воспитанниковъ, то наставниковъ въ разныхъ сценахъ, отчасти описанныхъ въ статьяхъ журнала. Издателями, по словамъ Матюшкина, были: Данзасъ (будущій секундантъ Пушкина) и Корсаковъ. Статьи по большей части, писаны красивымъ почеркомъ перваго, почему въ началъ книжки и означено: "Въ типографіи Данзаса". Изъ прибавленной къ этому шутки: "Печатать позволяется. Цензоръ баронъ Дельвигъ", можно заключить, что этотъ товарищъ, всёми уважаемый за свою основательность, про-

сматриваль статьи до переписки ихъ начисто. Почти вся проза принадлежитъ, кажется, самому Данзасу; по крайней мъръ, въ 2-мъ уже номеръ онъ бранитъ своихъ читателей за то, что они ничего не даютъ въ журналъ, и грозитъ имъ что если это будеть продолжаться, "если, говорить онъ, ваши Карамзины не развернутся и не дадутъ мнъ какихънибудь смъшныхъ разговоровъ, то я сдълаю вамъ такую штуку, отъ которой вы не скоро отдълаетесь. Подумайте. -Онъ не будеть издавать журнала? - Хуже. - Онъ натретъ ядомъ листочки "Лицейскаго Мудреца". — Вы почти угадали: я подарю васъ усыпительною балладою г. Гензеля" (т.-е. Кюхельбекера). Посъдній, то подъ приведеннымъ именемъ, то съ намекомъ на пристрастіе къ дерптскимъ студентамъ или на дурное произношение русскаго языка, служить постояннымъ предметомъ насмъшекъ на страницахъ "Лицейскаго Мудреца". Одна изъ статей любопытна, какъ современное свидътельство о толкахъ, которые возбуждало недавнее паденіе Наполеона. Она имъеть форму письма къ издателю, подъ заглавіемъ: "Занятіе Наполеона Буонапарте на Нортумберландъ". Авторъ воображаетъ, что онъ, плывя на одномъ кораблъ съ эксъ-императоромъ, отдъленъ только перегородкою отъ его каюты и видить сквозь щелку все, что онъ дълаеть: "властелинъ Франціи, бичъ вселенной, родоначальникъ великой династіи Наполеонидовъ... поймалъ двъ крысы и, бросивъ межъ ними кусокъ сахару, занимался тъмъ, что эти твари ссорились и дрались за него съ остервенениемъ!... Порадовавшись удали французской крысы, онъ ихъ опять запираетъ въ своей ящикъ и, гуляя по комнатъ, говоритъ: "Oh, le maudit vieillard de Blücher! il m'a fait bien du mal... Bien mal fait d'avoir quitté Elbe. J'avais tout ce que je voulais. Mon unique plaisir à présent composent ces deux rats, que je fais combattre; aujourd'hui c'est le Français qui a le dessus, j'en suis bien aise... Бъдный монархъ: тебя разбили, посадили на корабль и везуть въ въчную тюрьму, а твое утъшение въ двухъ крысахъ!"

Стоитъ также упомянуть объ одной мысли въ статъв "Апологія". Авторъ защищаетъ следущимъ образомъ вызовъ въ Россію иностранныхъ преподавателей: "Стоялъ я столбиякомъ въ лесу и думалъ, помнится мнв, о томъ, какъ бы выгнать всехъ профессоровъ и чужестранцевъ изъ матушки Русской земли, а на мъсто ихъ поставить въ университеты самоъдовъ и чукчей. Ахъ, постойте, любезные чтецы, я перерву мой разсказъ коротенькимъ размышленіемъ. Какую пользу это принесетъ Россіи, а особенно намъ, школьникамъ? Теперь въ классахъ говорятъ о правахъ естественныхъ, а преподаютъ только теорію; а подъ профессорствомъ г. Чукчи мы, раздирая ногтями мясо кобылье, повторяли бы естественное право на самой лучшей практикъ".

Стихотворная часть "Лицейскаго Мудреца" принадлежить, по преданію, Корсакову, Илличевскому и др. Всего любо-пытнъе переписанныя въ этомъ журналъ "національныя пъсни" (замъчательное для того времени названіе) перваго курса, до сихъ поръ еще остающіяся не напечатанными въ цълости. По свилътельству Пущина, знаменитый поэтъ принималъ участіе въ сочиненіи національныхъ пъсенъ, которыя, какъ извъстно, сочинялись сообща.

Въ слъдующемъ куплетъ:

Но кто и вмецких в бредней томъ Покроетъ в в чной пылью? Пилецкій, пастырь душь съ крестомъ, Иконниковъ съ бутылью...

покойный Матюшкинъ призналъ себя авторомъ послъдняго стиха. О лицахъ, къ которымъ относится это мъсто, было уже не разъ упоминаемо въ печати. Выраженіе "нъмецкія бредни" намекаетъ на героя пъсни Гауэншильда, профессора нъмецкой литературы, который одно время исправляль должность директора. О Гауэншильдъ Илличевскій писаль Фуссу: "Попечитель вашъ Уваровъ нарочно призвалъ его изъ Въны въ Россію и доставиль ему мъсто въ Лицеъ". Мы можемъ пояснить теперь, что этотъ вызовъ быль не во благо русскому юношеству. Чуждый новому поприщу своей деятельности, этотъ австріецъ думаль только о личной своей выгодъ и, успъвъ снискать довъренность графа Разумовскаго, достигъ такого положенія, въ которомъ ничего не было легче, какъ употребить ее во зло. Ранняя смерть перваго директора, уже въ мартъ 1814 года, была истиннымъ несчастіемъ для новаго заведенія, хотя, можеть-быть, онъ и не вполнъ соотвъствоваль своему назначенію. "В. Ө. Малиновскій, пишеть графъ Корфъ, "былъ человъкъ добрый и съ образованіемъ,

хотя нъсколько семинарскимъ, но слишкомъ простодушный, безъ всякой людкости, слабый и вообще не созданный для управленія какою-нибудь частію, тъмъ болье высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Значеніе свое онъ получиль, кажется, оттого, что быль женать на дочери извъстнаго протојерея Андрея Аванасьевича Самборскаго, сперва священника при церкви нашего посольства въ Лондонъ, потомъ законоучителя и духовника великихъ князей Александра и Константина Павловичей, и, наконецъ, духовника великой княгини Александры Павловны по вступленію ся въ бракъ съ эрцгерцогомъ палатиномъ Венгерскимъ. Есть, впрочемъ, вся въроятность думать, что и въ выборъ Малиновскаго не обощлось безъ участія тогдашняго государственнаго секретаря (Сперанскаго), который издавна быль очень близокъ къ Самборскимъ и въ ихъ домъ впервые познакомился съ тою, которая послъ сдълалась его женою, сиротою бъднаго англійскаго пастора Стивенса".

Несмотря на нъкоторые недостатки, Малиновскій быль человътъ просвъщенный и честный: потерявъ его черезъ два съ небольшимъ года послъ своего основанія, Лицей вдругъ осиротълъ, и начались его невзгоды. Двухлътнее "междуцарствіе", о которомъ долго жила память въ Лицев, отозвалось на немъ весьма печальными последствіями. Графъ Разумовскій, при всёхъ своихъ добрыхъ намереніяхъ, впаль въ непростительную ошибку, не пріискавъ тотчасъ же способнаго преемника Малиновскому; но онъ сдълалъ еще большую ошибку, когда, видя плоды анархіи, ввъриль судьбу двухь высшихъ заведеній своекорыстному иностранцу, не знавшему порядочно русскаго языка. Новообразованный лицейскій пансіонъ, возникъ (1814 г.) изъ частнаго приготовительнаго училища, устроеннаго первоначально на собственныя средства этимъ находчивымъ пришельцемъ. Кандидатомъ на должность директора пансіона, преобразованнаго въ казенное заведеніе, явился было Кошанскій; но связи и привилегія иноземнаго происхожденія заставили предпочесть Гауэншильда, преподававшаго въ Лицев нвмецкую литературу по-французски. Результатомъ его управленія пансіономъ быль черезъ нъсколько льть долгь въ 10.000 руб. По словамъ графа Корфа, "Гауэншильдь, при довольно заносчивомь нравь, быль человыкь скрытный, хитрый, даже коварный".

Къ счастію, бразды лицейскаго правленія не долго были въ рукахъ Гауэншильда; въ началъ 1816 года директоромъ Лицея назначенъ былъ Е. А. Энгельгардтъ. При разстройствъ, до котораго дошли дъла въ періодъ междуцарстія, при совершенномъ упадкъ дисциплины, нужно было необыкновенное умъніе, чтобы возстановить правильный ходъ жизни и порядокъ во всёхъ ея отправленіяхъ. Будучи лично извёстенъ государю и пользуясь его довъріемъ, бывшій директоръ Педагогическаго института находился, конечно, въ особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ для выполненія трудной задачи; но къ тому присоединялись и ръдкія способности его къ административному и педагогическому дѣлу. Напечатанная въ "Русскомъ Архивъ записка его объ обязанностяхъ воспитателя показываеть, какъ разумно онъ смотръль на предстоящій ему трудъ въ последнемъ отношении. Действуя въ этомъ смысле, Энгельгардъ успълъ вскоръ снискать въ такой степени любовь и уважение воспитанниковъ, что имя его сделалось навсегда дорого Лицею, и вокругъ этого имени впоследствии сгруппировались всё самыя свётлыя воспоминанія лицеистовъ. Хотя бы въ дъйствіяхъ Энгельгардта и было нъкоторое суетное стремленіе въ эффекту, хотя бы въ нихъ и можно было указать на кое-какія промахи и увлеченія, иногда и ошибки въ частныхъ отношеніяхъ къ тому или другому воспитаннику (напримъръ къ Пушкину, котораго онъ не понималъ и который ему не сочувствоваль), все же нельзя отказать "Егору Антоновичу" въ върномъ понимании молодежи и средствъ вести ее. Одинъ годъ управленія его при первомъ курст заслонилъ собою прежнія замішательства, и для послідующих в поколівній лицеистовъ имя его знаменательно слилось со всею первою эпохою существованія Лицея.

Понятно, что для нихъ этотъ періодъ, озаренный и славою историческихъ событій, и блестящею извъстностью нъкоторыхъ изъ первенцевъ Лицея, являлся въ поэтическомъ свътъ, и преданія о первомъ курсъ переходили "изъ рода въ родъ" не безъ прикрасъ воображенія. Они пріобръли еще болъе значенія послъ того какъ Лицей въ 1822 году былъ причисленъ къ военно-учебнымъ заведеніямъ.

 Γ pomz.

Воспитаніе въ Лицев было вполив закрытое: воспитанники не отпускались къ родителямъ ни на праздники ни на каникулы. Ихъ міръ ограничивался царскосельскими садами, гдъ, по выраженію нашего поэта, онъ и "расцвъталь безмятежно". Эти сады имъютъ особенное значение въ развитии его генія. Въ нихъ, на пространствъ нъсколькихъ верстъ, соединилась природа и искусство: въковыя рощи, дуга, пруды, длинныя, прямыя и широкія аллен, которыя пересъкаются въ различныхъ направленіяхъ, сходятся и расходятся, узкія извилистыя дорожки и тропинки, мосты и мостики черезъ ручейки, живописные берега огромнаго пруда, похожаго на озеро, бесъдки, шалаши, гроты, искусственныя развалины, съ высоты которыхъ представляются пустынныя окрестности, цвътники со множествомъ разнообразныхъ цвътовъ, китайская деревня съ театромъ, собачье кладбище съ шутливыми затъйливыми эпитафіями на могильныхъ камняхъ, наконецъ, два огромныхъ дворца, изъ которыхъ одинъ съ большими и роскошными залами, бывшее жилище Елизаветы и Екатерины II, свидътель шумной, веселой, богатой жизни дворовъ прошедшаго стольтія, свидътель великолъпныхъ праздниковъ, пиршествъ, побъдныхъ торжествъ дъятельной и умной императрицы. Надо всъмъ этимъ потрудились и руки садовника, и искусственный умъ архитектора, и таланть художника.

Воть что представляли царскосельскіе сады:

Въ съдомъ туманъ дальній льсъ; Чуть слышится ручей, бъгущій въ сънь дубравы, Чуть дышить вътерокъ, уснувшій на листахъ, И тихан луна, какъ лебедь величавый,

Плыветь въ сребристыхъ облакахъ. Плыветь и блъдными лучами Предметы освътила вкругъ;

Аллеи древнихъ лътъ открылись предъ очами, Проглянули и холмъ и лугъ... Съ холмовъ кремнистыхъ водопады

Съ холмовъ кремнистыхъ водопадь Стекаютъ бисерной ръкой; Тамъ въ тихомъ озеръ плескаются Наяды

Его лънивою вслной; А тамъ въ безмолвіи огромные чертоги, На своды опершись, несутся къ облакамъ. Не вдъсь ли мирны дни вели земные боги?...

Такъ представляль царскосельскіе сады нашъ шестнадцатильтній поэть передъ другимъ поэтомъ Державинымъ, уже готовымъ сойти въ могилу; а спустя много лътъ, онъ вспоминалъ:

Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ, Весной, при кликахъ лебединыхъ, Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ, Являться муза стала мнѣ.

Эти мраморная слава и мъдныя хвалы даютъ особенное значение царскосельскимъ садамъ. Памятники русскихъ побъдъ, которыя одерживали надъ врагами екатерининскіе полководцы, дъйствовали на юное воображение, и вызывали чувство народной славы, связывая настоящее съ историческими фактами недавняго прошлаго, о которомъ еще слышались живые разсказы, едва успъвшіе перейти въ преданія. Для пылкой фантазіи такія впечатлівнія также имівоть воспитательное значеніе. За неимъніемъ исторіи, они только и могли пробуждать патріотическое чувство въ молодомъ покольнін; а въ тъ времена оно питалось лишь военною славою Россіи. Такимъ именно характеромъ отличалось наше патріотическое чувство еще въ XVIII стольтіи. Оно было односторонне, чуждое всей массъ народа, хотя военная слава и покупалась ея силами и жертвами; но пользоваться ея выгодами могло только одно сословіе, которое еще съ XVII стольтія удержало за собою значение военно-служилое. Этотъ патріотизмъ возбуждался только въ столкновеніи съ внъшними врагами Россіи, связывался только съ идеей ея матеріальной силы и государственнаго могущества, и потому долженъ назваться патріотизмомъ государственнымъ или политическимъ. Ему недоставало той нравственной силы, которая связываеть всё сословія въ одинъ народъ общими интересами. Но тогда вся масса народа была безправною, въ унизительномъ рабскомъ состояніи. Къ ней служилое, оно же и помъщичье, сословіе относилось такъ, какъ обыкновенно господа относятся къ рабамъ,-съ полнымъ презръніемъ. Какими же особенными выгодами могла она пользоваться отъ военной славы, добытой ея сидами: отъ нея никакого облегченія она не получала, и, конечно, никакого патріотизма въ ней не могло и быть. Настоящая любовь къ отечеству можетъ развиться только въ сердцъ человъка свободнаго и въ средъ свободной, зато и лучшій плодъ отъ нея - любовь ко всему народу, а не барское выcorombpie.

За неимъніемъ такой любви въ то время патріотизмомъ называлось государственное чувство, вызываемое побъдами и дворянскими стремленіями къ военной славъ, вмъстъ съ оскорбительными отзывами о своихъ врагахъ. Но и этотъ патріотизмъ, по крайней мъръ, хоть нъсколько, возвышалъ духъ человъка и наводилъ на мысль, что можно гордиться народнымъ именемъ передъ иностранцами, онъ все же связывалъ нъкоторыхъ хоть какими-нибудь связями, если не съ народомъ, то хоть съ страной и государственной исторіей.

Въ этомъ духъ воспитывали царскосельскіе сады и фонтаны

Пушкина:

Протекшіе ліса мелькають предъ очами,
И въ тихомъ восхищеньи духъ.
Онъ видить: окруженъ волнами,
Надъ твердой мшистою скалой
Вознесся памятникъ. Ширяяся крылами,
Надъ нимъ сидить орелъ младой.
И ціпи тяжкія, и стрілы громовыя
Вкругь грознаго столпа трикраты обвились,
Кругомъ подножія, шумя, валы сідые
Въ блестящей піні улеглись.
Въ тіни густой угромыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.

О, сколь онъ для тебя, Кагульскій брегь, поносень И славень родинъ драгой! Безсмертны вы вовъкъ, о росски исполины,

Въ бояхъ воспитаны средь бурныхъ непогодъ; О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,

Пройдетъ молва изъ рода въ родъ. О, громкій въкъ военныхъ споровъ, Свидътель славы россіянъ!

Ты видълъ, какъ Орловъ, Румянцовъ и Суворовъ, Потомки грозные славянъ,

Перуномъ Зевсовымъ побъду похищали. Ихъ смълымъ подвигомъ, стращась, дивился міръ; Державинъ и Петровъ героямъ пъснь бряцали

Струнами громозвучныхъ лиръ.

Стоюнинг.

Чрезъ нъсколько дней послъ начала курса неожиданно объявлено запрещение выъзжать изъ Лицея. Это распоряжение, неудобство котораго вполнъ уже сознано въ наше время, отнимая возможность развлечений внъ Царскаго Села и разобщая лицеистовъ съ остальнымъ міромъ, который, по выраженію

Пушкина, дъйствительно быль для нихъ "чужбиною", связало ихъ неразрывною дружбою и заставило искать въ своемъ кругу средствъ къ наполненію досуговъ и развлеченію. Дътскія игры, преимущественно военныя, въ которыхъ первенствоваль Илличевскій, командовавшій маленькимь войскомь въ качествъ генерала отъ инфантеріи, смънялись забавами ума и воображенія, и мало-по-малу устроились домашніе спектакли. Первою исполненною пьесою была вызванная тогдашними обстоятельствами комедія "Ополченіе". Представленіе это происходило безъ особенныхъ приготовленій, въ незатьйливой костюмировкъ шинелями, вывороченными на изнанку. Потомъ играли "Новаго Стёрна", комедію князя Шаховского, при исполненіи которой служили, вм'єсто декорацій, разноцв'єтныя ширмы. Для этого же театра было написано нъсколько пьест гувернеромъ Иконниковымъ, внукомъ знаменитаго актера Дмитревскаго. Но домашніе спектакли скоро прекратились: министръ народнаго просвъщенія, графъ А. К. Разумовскій, узнавъ стороною о драматическомъ представленіи, 30-го августа, въ присутствіи постороннихъ дицъ, выразиль директору Лицея Мадиновскому крайнее свое неудовольствіе, находя, что безъ въдома его не слъдовало дълать распоряженій, имъвшихъ связь съ нравственнымъ воспитаніемъ. Въ концъ того же года гувернеръ Чириковъ, который сочинилъ трагедію въ стихахъ "Герой съвера", ходившую тогда въ рукописи, и у котораго собирались иногда воспитанники, передаль директору просьбу ихъ о дозволеніи имъ въ свободное время сочинять и представлять театральныя пьесы, но министръ не согласился, опасаясь, чтобъ это не отвлекло отъ уроковъ. Однакожъ, спустя нъкоторое время, спектакли возобновились, и въ 1815 г. представленія давались съ декораціями, писанными придворнымъ живописцемъ Бруни. На этомъ театръ были представлены: передъланная изъ старинной французской пьесы Patelin комедія "Стряпчій Щетило", комедія "Ссора или два сосъда" князя Шаховского, старинныя драмы "Le juge bienfaisant" и "L'abbé de l'Epée" (знаменитый воспитатель глухонъмыхъ и изобрътатель ихъ языка). О представленіи послъдней драмы находимъ следующія подробности въ "Заметкахъ" барона Корфа: "Въ послъдніе уже годы намъ вздумалось сыграть предлинную и довольно скучную драму "L'Abbé de l'Epée", въ которой де Будри передълаль всъ женскія роли въ мужскія

и любовниковъ превратиль въ друзей. Бодрый старичокъ цълый мъсяцъ мучилъ насъ, по этому случаю, репетиціями и быль для насъ, поддъльныхъ актеровъ, совершенно тъмъ же, что князь Шаховской для настоящихъ. И декламація обоихъ, какъ поклонниковъ старой школы, была въ одномъ родъ: и слишкомъ высокопарна и на ходуляхъ".

Въ то же время, т.-е. до 1815 г., у одного изъ царскосельскихъ жителей, графа В.В.Толстого, былъ домашній театръ, на которомъ играла труппа, составленная изъ кръпостныхъ людей. Подобныя затъи, дли которыхъ сгоняли

Оть матерей, отцовъ отторженныхъ дътей,

были тогда не ръдкость, и царскосельскій любитель театра не представляль въ этомъ случав исключенія. Лицеисты посъщали его спектакли:

Но первое мѣсто между развлеченіями занимали общія бесѣды, устроенныя воспитанниками въ самомъ началѣ курса. Эти бесѣды, на которыхъ каждый обязанъ былъ разсказать что-нибудь, выдуманное или прочитанное, развивали воображеніе и наклонность къ литературѣ. Запасъ разсказовъ, анекдотовъ и стиховъ, читанныхъ въ дружескомъ кругу, мало-помалу увеличивался; нѣкоторые изъ нихъ записывались и переходили изъ рукъ въ руки, и такимъ образовъ 3 декабря 1811 г. явился первый листъ перваго лицейскаго журнала подъ названіемъ "Вѣстникъ", издателемъ котораго былъ Корсаковъ. Есть поводъ думать, что еще до изданія этого листка, хотя и выставленъ на немъ № 1, существовали другіе, потому что въ немъ дважды упоминается о "лицейскихъ газетахъ", которыя издавалъ тотъ же Корсаковъ.

Хотя первый опыть журналистики ограничился однимь листомь, да и тоть остался недописаннымь, но образовавшесся, по предложенію Пилецкаго, литературное общество горячо принялось за свое діло, и въ слідующемь (1812) году
явилось уже два журпала: "Для удовольствія и пользы" и
"Неопытное перо". Издателями перваго, продолжавшагося и
въ 1813 году и вышедшаго въ числі 12 нумеровь, были:
Вольховскій, Есаковь, Илличевскій, Кюхельбекерь, Масловъ
и Яковлевь; второй же, въ которомъ поміщено стихотвореніе
Пушкина: "Роза", издавался Пушкинымь, Дельвигомъ и Корсаковымъ и вышель въ нісколькихъ нумерахъ. По прекраще-

ніп упомянутыхъ журналовъ, въ 1813 г. явился новый, "Юные Пловцы", издателями котораго были Пушкинъ, Дельвигъ, Иллическій, Кюхельбекеръ и Яковлевъ. Вышло только два нумера. О содержаніи "Юныхъ Пловцовъ" даеть нъкоторое понятіе найденная въ сообщенныхъ намъ бумагахъ записка Иконникова, который уже быль уволень оть должности гувернера, но. несмотря на это, не охладель къ литературнымъ затеямъ своихъ бывшихъ воспитанниковъ. Иконниковъ пишетъ, что онъ "съ сердечнымъ удовольствіемъ" видълъ успъхи ихъ въ изданіи журнала, "сочиненія, въ ономъ помъщаемыя, читаль съ равномърнымъ удовольствіемъ" и сохранилъ въ памяти "баллады: "Громобой или Буревой", "Галебъ и Кантемира", прозаическія сочиненія: "Изяславъ" кн. Горчакова, "Полордъ" г. Есакова, "Освобожденіе Полоцка, Бълграда, Кіева", писанныя участвующими или сотрудниками обществъ, такъ и "Гренобль" г. Маслова, басни гг. Яковлева и Дельвига". Желая участвовать въ этихъ занятіяхъ, Иконниковъ просилъ принять его въ корреспонденты. Въ томъ не году изданіе журналовъ, какъ отвлекавшее воспитанниковъ отъ ученья, было запрещено. Ученье однакожь не выиграло отъ этого, а запрещеніе издавать журналы не только не достигло цъли, но вызвало противодъйствіе. Съ 1813 г., немедленно по прекращении "Юныхъ Пловцовъ", являются всевозможные сборники. Нъкоторые члены общества "издали" свои сочиненія отдёльными тщательно переписанными тетрадями. Одинъ изъ нихъ переписалъ свои басни въ-особую тетрадь съ эпиграфомъ: "Хоть худо, но свое". Илличевскій, изливавшій эпиграммы

На недруга и друга,

написаль по этому случаю следующую:

Ты выбраль къ басенкамъ заглавіе простое: "Хоть худо, но свое".
И этакъ хорошо, но этакъ лучше вдвое:
Что худо, то твое,
Что хорошо — чужое

Баснописецъ, желая видъть свои произведенія въ печати, посылалъ ихъ, для помъщенія въ "Россійскомъ музеумъ", В. Измайлову, котораго просилъ скрыть его имя; но басни не явились въ журналъ. Обстоятельство это вызвало новую эпи-

грамму Илличевскаго, напечатанную въ его "Опытахъ въ антологическомъ родъ", изданныхъ въ 1827 г.:

УВАЖЕННАЯ СКРОМНОСТЬ.

Нагромоздивши басень томъ, Клеонъ давай пускать въ журналь свои тетради, Прося изъ скромности издателя о томъ, Чтобъ имени его не выставляль въ печати; Издатель скромностью такою тронутъ быль: И имя онъ и басни — скрылъ.

Отъ одного изъ подобныхъ сборниковъ, подъ заглавіемъ "Лицейская антологія, собранная трудами пресловутаго ійшій", съ эпиграфомъ: Genus irritabile vatum, уцѣльло нѣсколько листковъ. Подъ всевдонимомъ ійшій скрывался тотъ же Илличевскій, напечатавшій въ "Вѣстникѣ Европы" 1814 г. эпиграмму съ этою подписью. Эта тетрадь заключала 111 мелкихъ стихотвореній, остальныя — эпиграммы, не напечатанныя и весьма слабыя. Вотъ двѣ изъ нихъ, сравнительно лучтія:

I

"Больны вы, дядюшка?"— Нѣть мочи, Какъ безпокоюсь я! три ночи, Повърьте, глазъ я не смыкалъ. — Да слышалъ, слышалъ: въ банкъ игралъ.

II.

завъщание.

Друзья, простите! завъщаю Вамъ все, чъмъ радъ и чъмъ богать: Обиды, пъсни — все прощаю, А мнъ пускай долги простять.

Вопреки запрещенію издавать журналы, въ томъ же (1813) г. Данзасъ, Корсаковъ, Мартыновъ и Ржевскій начали новый журналь "Лицейскій Мудрецъ", который выходиль неправильно: то прекращался, то возобновлялся, но существоваль съ небольшими промежутками въ теченіе трехъ лѣтъ, т.-е. до конца 1816 года. Частое прекращеніе журнала вызывало многочисленныя эпиграммы и, между прочимъ, помѣщенную въ немъ пародію на "Пѣвца" Жуковскаго:

На печкъ дудка и вънецъ. Восплачемте, друзья! Могила Прахъ мудреца навъкъ сокрыла. Бъдный мудрецъ! Содержание уцълъвшихъ четырехъ нумеровъ "Лицейскаго Мудреца" незанимательно, потому что они имъютъ совершенно мъстный и слишкомъ личный характеръ. Въ составъ журнала входили такъ называемая "изящная словесность", иногда критика и смъсь съ карикатурами. Пушкинъ, по истечени десяти лътъ, въ одной изъ зачеркнутыхъ строфъ стихотворенія "19 октября 1825 г." вспоминаетъ:

Златые дни, уроки и забавы, И черный столь, и бунты вечеровь, И нашъ словарь, и плески мирной славы, И критики лицейскихъ мудрецовъ.

Предметами карикатуръ были преимущественно товарищи, въ особенности Кюхельбекеръ и возбуждавшій безпощадныя насмъшки своею анекдотическою ограниченностью М—въ, которому Дельвигъ совътоваль по этой причинъ праздновать свои именины въ день "усъкновенія главы". Большая часть журнала занята шуточными стихотвореніями и "національными пъснями", заключающими намеки, имъющіе значеніе лишь для кружка, въ которомъ составились. Изъ множества эпиграммъ приводимъ лучшую, написанную Илличевскимъ на одного изъ товарищей, сочинившаго басню "Ослы":

О чемъ ни сочинить, бывало,
Марушкинъ, борзый стихотворъ,
То върь, что ни солжешь нимало,
Когда заранъ скажешь: вздоръ!
Марушкинъ объ ослахъ вдругъ басню сочиняетъ,
И басня — хотъ куда! Но страненъ ли успъхъ?
Свой своего всъхъ лучше знаетъ
И, слъдственно, опишетъ лучше всъхъ.

Кром'в упомянутыхъ журналовъ издавался еще карикатурный, въ которомъ, подъ руководствомъ гувернера и учителя рисованія Чирикова, участвовали Илличевскій, Мартыновъ и Пушкинъ.

Главнымъ дъятелемъ всъхъ этихъ журналовъ былъ Илличевскій, который, въ началъ курса, по легкости писать стихи превосходилъ всъхъ своихъ товарищей и считался въ ихъ кружкъ первымъ поэтомъ. Они называли его Державинымъ, а Пушкина — Дмитріевымъ и раздълились на двъ партіи, спорившія о томъ, которому изъ нихъ отдать преимущество. Вопреки однакожъ похваламъ, которыя вызвало раннее его

развитіе, Илличевскій никогда не обнаруживаль ни мальйшаго поэтическаго таланта и, не подвинувшись ни на одинъ шагь далье первыхъ своихъ опытовъ, былъ до конца жизни только острякомъ, и притомъ довольно пошлымъ.

Несравненно труднъе давались стихи Дельвигу и Кюхельбекеру, принимавшимъ, послъ Пушкина и Илличевскаго, самое дъятельное участіе въ описываемомъ литературномъ обществъ.

Къ числу ревностныхъ дъятелей описываемаго общества принадлежаль Вильгельмъ Кюхельбекеръ. Знакомый съ германскою литературою, онъ старался распространять въ своемъ кружкъ классическія ея произведенія и читаль ихъ съ своими товарищами. Дельвига онъ познакомиль съ антологическими стихотвореніями Гёльти и съ идилліями Геснера, давшими болъе опредъленное настроение его музъ, блуждавшей во мракъ. Съ нимъ же читалъ онъ Клопштока; но чтеніе "Мессіады", требующее извъстнаго настроенія, виъ котораго она невыносима, шло вяло, потому что Дельвигъ, любившій только языческую минологію, быль не охотникь до мистической поэзіи, замічая, что "чіть ближе къ небу, тіть холодніве". Удивленіе Кюхельбекера Клопштоку дало поводъ къ довольно забавной карикатуръ, бойко нарисованной Илличевскимъ. Кюхельбекеръ началъ поздно учиться по-русски, и хоть изучиль этотъ языкъ въ совершенствъ, но въ выговоръ навсегда сохранилъ признаки нъмецкаго происхожденія. Русскіе стихи, при слабомъ знаніи языка, давались ему съ величайшимъ тру юмъ до конца лицейскаго воспитанія. Пушкинъ, постоянно смъявшійся надъ его безплодными усиліями, совътоваль ему писать по-нъмецки, но Кюхельбекеръ возражалъ, что въ Германіи уже много поэтовъ, а въ Россіи такъ еще мало, что и онъ будетъ нелишнимъ. Изъ лицейскихъ стихотвореній Кюхельбекера уцълъли весьма немногія. О его страсти къ стихотворству гораздо болве говорять эпиграммы, которыми осыпали его товарищи, въ особенности Пушкинъ и Илличевскій. Передъ нами цълая тетрадь стихотвореній, написанныхъ преимущественно на Кюхельбекера. Сборникъ этотъ: "Жертва Мому, или Лицейская Антологія" переписанъ въ 1814 году Пущинымъ. Большая часть этихъ стихотвореній принадлежитъ Пушкину, но они не имъютъ никакого достоинства, и потому не приводимъ ихъ. Не только литературныя неудачи, но даже наружность бъднаго метромана, худого, высокаго и довольно неуклюжаго, навлекала на него эпиграммы. Воть одна изънихъ, написанная Илличевскимъ:

опровержение.

Нътъ, полно, мудрецы, обманывать вамъ свътъ И утверждать свое, — что совершенства нътъ На свътъ въ твари тлънной. Явися, Вилинька, и докажи собой, что ты и тъломъ и душой Уродъ пресовершенный.

Въ 1814 году произошли перемъны въ Лицеъ: 23 марта скончался Малиновскій, а исправленіе должности директора было поручено Кошанскому; но "трезвый Аристархъ", какъ назваль его Пушкинь, въ мав забольль бълою горячкою, и обязанности по управленію Лицеемъ возложены были на конференцію. Члены ея, изъ которыхъ многіе жили въ Петербургъ, не имъли ни возможности, ни охоты, ни умънья исполнять эти обязанности, старались сваливать ихъ другъ на друга, перессорились между собою и привели заведение въ крайнее разстройство. Поэтому, въ сентябръ того же года, министръ назначилъ къ исправленію должности директора лицея Гауеншильда, который, сверхъ обязанностей преподавателя, состояль директоромъ открытаго въ январъ того же года благороднаго лицейскаго пансіона. Порученіе одному лицу, и притомъ неспособному, управленія двумя заведеніями повлекло безпорядки въ обоихъ, и "по необходимой надобности имъть безпрерывный надзоръ въ пансіонъ", Гауеншильдъ 11 января 1816 г. уволенъ отъ исправленія должности директора Лицея, которое было поручено отставному подполковнику С. С. Фролову, опредъленному въ Лицей незадолго передъ тъмъ, по мощному слову Аракчеева, надзирателемъ по учебной и нравственной части. Черезъ двъ недъли послъ своего назначения, Фроловъ былъ освобожденъ отъ обязанностей директора, а въ началъ 1817 г. совершенно уволенъ изъ Лицея.

Неурядица въ управленіи Лицеемъ продолжалась до назначенія директоромъ Энгельгардта, 27 января 1816 г. По поводу этихъ безпрестанныхъ перемънъ, Пушкинъ написалъ басню о душъ, которая вслъдствіе излишняго усердія заботившихся о ней, пошла по рукамъ всъхъ чертей...

Въ этотъ промежутокъ времени литературная дъятельность лицейскаго кружка получила большій просторь: журналы, имъя цълью только препровождение времени и забаву, не были полнымъ выражениемъ литературной дъятельности описываемаго общества, и въ особенности Пушкина, который, съ самаго начала курса, уже сознательно понималъ свое призваніе. Въ 1814 году явились въ печати стихотворенія Пушкина, Дельвига, Илличевскаго и Яковлева. Патріотическое настроеніе, возбужденное въ литературъ тогдашними событіями, выразившееся въ стихотвореніяхъ Карамзина, Жуковскаго и многихъ другихъ писателей, отразилось и въ Лицев. Воспитанники его, съ самаго начала войны 1812 года, съ волненіемъ слъдили за всъми ея случайностями, жадно перечитывали каждую реляцію и проливали горячія слезы при въсти о Бородинской битвъ, выдававшейся тогда за побъду, но въ которой они инстинктивно видъли другое... Стихъ Пушкива:

Вы помните: текла за ратью рать,

не быль поэтическою прикрасою: весною и льтомъ 1812 года почти ежедневно шли черезъ Царское Село войска, между которыми особенно поражаль видъ ополченцевъ съ крестами на шапкахъ и иррегулярныхъ казачьихъ полковъ съ бородами. Юноши прощались съ отправлявшимися на войну, дъйствительно "завидуя тому", кто умирать шелъ мимо ихъ.

Подъ осень стали ихъ самихъ собирать въ походъ. Предполагалось, въ опасеніи непріятельскаго нашествія на Петербургъ, перевезти Лицей куда-то дальше на съверъ, кажется, въ Архангельскую губ. или въ Петрозаводскъ. Явился портной Мальгинъ примърять имъ китайчатые тулупы на овечьемъ мъху; но побъды Витгенштейна скоро возвратили воинственную молодежь къ форменнымъ шинелямъ, и походъ, къ сожальнію патріотовъ, не состоялся. Успыхи русскаго оружія, прославленіемъ которыхъ занималась почти вся тогдашняя наша литература, дали толчокъ и лицейской музъ, которая, разумъется, ничего не выиграла отъ этого искусственнаго возбужденія. До насъ дошли двъ оды на взятіе Парижа, сочиненныя Илличевскимъ и Дельвигомъ. Первая изъ нихъ, написанная по рецепту ломоносовскихъ и державинскихъ одъ и сохранившаяся въ рукописи съ замъчаніями и поправками Кошанскаго, весьма, однакожъ, умфренными, можетъ-быть, и не дурна въ своемъ родъ, но только родъ самъ по себъ невыносимъ. Вторая, написанная бълыми стихами и весьма слабая, напечатана въ іюльской книжкъ "Въстника Европы" 1814 г. (№ 12, стр. 272), съ подписью Русскій. Въ слъдующей, іюльской книжкъ, напечатано стихотвореніе Пушкина "Къ другому стихотворцу", съ подписью Александръ Н. к. ш. п. Оба стихотворенія были посланы редактору "Въстника Европы", В. Измайлову, одновременно, и первое изъ нихъ, какъ патріотическое и имъвшее современный интересъ, было немедленно напечатано. Такимъ образомъ, Дельвигъ раньше всъхъ своихъ товарищей явился въ печати.

Съ назначениемъ въ директоры Энгельгардта все измънилось въ лицев. Онъ горячо принялся за дъло и, поддерживаемый расположеніемъ государя, который иногда съ нимъ разговариваль, встречаясь въ саду, могь действовать довольно самостоятельно, не опасаясь интригь и непріятностей. Весьма естественное разъединение между юношествомъ и тупымъ, невъжественнымъ начальствомъ, которому оно до тъхъ поръ было въроятно, мало-по-малу исчезло по мъръ того, какъ Энгельгардть пріобръталь довъріе. Посвятивъ себя совершенно дълу воспитанія, онъ въ самое короткое время успъль близко ознакомиться съ порученными его надзору юношами и въ сохранившейся въ его бумагахъ рукописи Etwas über die Zöglinge der höheren Abtheilung des Lyceums, написанной 22 марта 1816 г., следовательно мене чемъ черезъ два месяца после опредъленія Энгельгардта, находимъ довольно върную характеристику каждаго изъ нихъ. Представляемъ въ переводъ нъсколько выдержекъ изъ нея, не лишенныхъ интереса, какъ наблюденія опытнаго педагога надъ внутреннихъ міромъ замъчательныхь личностей. Самое строгое осуждение выпало на долю Пушкина, въ которомъ Энгельгардть видълъ только дурныя стороны, и котораго охарактеризоваль следующимъ образомъ: "Его высшая и конечная цъль — блестъть, и именно поэзіею; но едва ли найдеть она у него прочное основаніе, потому что онъ боится всякаго серіознаго чтенія, и его умъ, не имъя ни проницательности ни глубины, совершенно поверхностный, французскій умъ. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкинъ. Его сердце холодно и пусто; въ немъ нътъ ни любви ни религіи; можетъ-быть, оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское сердце. Нъжныя и

юношескія чувствованія унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всъми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ при поступленіи въ Лицей зналь почти наизусть, какъ достойное пріобрътеніе первоначальнаго воспитанія". Энгельгардть, конечно, смотріль на Пушкина слишкомъ односторонне, только съ педагогической точки зрънія, и къ этому взгляду примъшивалась еще совершенная дистармонія между ними, вслёдствіе противоположности религіозныхъ воззръній; но при всемъ томъ въ проведенной характеристикъ есть значительная доля правды, и если Энгельгардтъ не распозналъ въ поэтъ проникнутаго гуманностью артистическаго чувства, управлявшаго каждымь внутреннимъ его движеніемъ, то быль правъ касательно недостаточности серіознаго его образованія. Пушкинъ съ своей стороны, чувствуя нерасположение къ нему Энгельгардта, также не любиль его и, вопреки убъжденіямь своихь товарищей, постоянно избъгаль сближенія съ нимъ. Чтобы возстановить себя въ мивніи Энгельгардта въ религіозномъ отношеніи, онъ написалъ "Безвъріе", холодное дидактическое стихотвореніе, которое читаль на выпускномь экзамень, и которое Бълинскій справедливо причисляєть къ самымъ слабымъ.

Съ первыхъ же дней директорства Энгельгардта бытъ воспитанниковъ совершенно измънился. Замкнутый кружокъ ихъ, предоставленный собственному развитію, мало-по-малу расширялся въ соприкосновении съ обществомъ, нравственное вліяніе котораго Энгельгардть считаль однимь изъ важныхъ элементовъ въ дълъ образованія. Онъ приглашалъ къ себъ воспитанниковъ, въ увъренности, что домашнее обращение и привычка быть въ кругу семейства принесутъ имъ пользу, тъмъ болъе, что недостатокъ общества и необходимыхъ развлеченій неръдко вызываль игру въ карты и другія запретныя удовольствія. Въ домъ Энгельгардта, говорить Пущинъ въ своихъ "Запискахъ" мы познакомились съ обычаями свъта, ожидавшаго насъ у порога Лицея, находили пріятное женское общество". Въ семействъ Энгельгардта, состоявшемъ изъ жены и пятерыхъдътей, жила овдовъвшая незадолго передъ тъмъ Марія Смитъ, урожденная Charon-Larose, вышедшая впослъдствіи замужъ за Паскаля. Весьма миловидная, любезная и остроумная она умъла оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгардта общество. "Летомъ, продолжаетъ Пущинъ, въ вакантный ме-

сяцъ, директоръ дълалъ съ нами дальнія, иногда двухдневныя, прогулки по окрестностямъ; зимой, для развлеченія, ъздили на нъсколькихъ тройкахъ за городъ завтракать или пить чай въ праздничные дни; въ саду, на прудъ, катались съ горъ и на конькахъ. Во всъхъ этихъ увеселеніяхъ участвовало его семейство и близкія ему дамы и дъвицы, иногда и родные наши"... Въ числъ послъднихъ было и прівзжавшее на короткое время изъ Москвы семейство Дельвига, восьмилътней сестръ котораго, баронессъ Марьъ Антоновиъ, Пушкинъ написалъ 22 декабря 1815 г. посланіе: "Вамъ восемь льть, а мнъ семнадцать было", а въ слъдующемъ году стихотвореніе "Къ Машъ". "Отъ сближенія нашего съ женскимъ обществомъ, говоритъ Пущинъ, зарождался платонизмъ въ чувствахъ. Этотъ платонизмъ не только не мъщалъ занятіямъ, но придавалъ даже силы въ классныхъ трудахъ, нашептывая, что успъхомъ можно порадовать предметь воздыханій". Вліяніе женскаго общества, всегда дъйствующаго благотворно и гуманно, особенно въ юношескіе годы, выразилось въ поэзіи Пушкина крутымъ поворотомъ отъ безсмысленныхъ пировъ и воинственнаго патріотизма къ художественному и нъсколько элегическому созерцанію жизни, вызванному любовью, въ которой таится главный источникъ поэзіи.

Въ самомъ началъ своего директорства, Энгельгардтъ, сознавая нельпость совершеннаго разъединенія учащейся молодежи съ дъйствительною жизнью, разръшилъ отпуски изъ Лицея въ предълахъ Царскаго Села, и, по примъру директора, нёсколько семейныхъ домовъ открылись для лицеистовъ, именно: дома Вельо, Севериной и барона Теппера де-Фергюсона, находившихся въ родственныхъ между собою отношеніяхъ и постоянно жившихъ въ Царскомъ Сель. Последній, женатый на дочери Севериной, быль сынъ богатаго, потомъ разорившагося варшавскаго банкира, и поступиль въ Лицей, по протекціи стариннаго своего пріятеля Энгельгардта, учителемъ музыки и пънія. Онъ, хотя не имълъ голоса, хорошо училь пънію и сочиняль для воспитанниковь духовные концерты. Въ его классъ соединялись оба курса Лицея, старшій и младшій, не сходившіеся ни на лекціяхъ ни въ рекреаціонное время. Тепперъ былъ большой оригиналъ, но человъкъ образованный, и лицеисты часто заходили въ его домикъ, принадлежащій нынъ г-жъ Липранди, возлъ дачи князя Барятинскаго. У Теппера каждый вечеръ собиралось по нѣскольку человъкъ, пили чай, болтали, занимались музыкой и пъніемъ. У него же, по воскресеньямъ, происходили литературныя бесъды, задавались темы, на которыя приготовлялось къ слъдующему воскресенью нѣсколько сочиненій, и такимъ образомъ совершались литературныя состязанія, на которыхъ Пушкинъ первенствовалъ. Темы представлялись само собою, и на одну изъ такихъ, заданную при прощаньъ: jusqu'au plaisir de nous revoir, Пушкинъ написалъ въ 1817 г. легкіе и остроумные куплеты, помъщенные въ послъднемъ изданіи его сочиненій въ отдълъ стихотвореній неизвъстныхъ годовъ. Въ отвътъ на нихъ Пушкинъ получилъ слъдующее посланіе, кажется, самого Теппера:

Lorsque je vois de vous, monsieur, Les vers faits avec tant de grâce, Je me résigne, et de bon cœur, A vous céder sitôt la place. Votre talent, sans grand pouvoir, De beaucoup le mien efface. Je n'en ai vu que la surface, Mais c'est pour lui dire à revoir. Est-ce avec vous qu'il me convient, En riman de rompre une lance? Si mon courage me soutient, Phébus me condamne au silence. Il me dit que j'ai beau vouloir, Je risque trop en conscience Et mes couplets, quoique j'en pense, Seront des couplets à revoir. Au revoir est un vieux dicton, Qui jamais ne passe de mode S'il est souvent dit sans raison, Dans bien des cas il est commode. Un parleur au loin se fait voir Dont le jargon peu m'accomode: Pour prévenir sa période Rien de meilleur qu'un au revoir.

Такимъ образомъ темы представлялись сами собою, и иногда самое ничтожное обстоятельство вызывало стихотвореніе.

Литературныя собранія у царскосельских жителей обыкновенно бывали зимою, а літомъ предпринимались прогулки, или все общество собиралось на музыкт передъ дворцомъ. Гаевскій.

Лицейскіе наставники Пушкина: Галичъ и Кошанскій.

Галичъ былъ молодой человъкъ, очень умный и прекрасно образованный; незадолго передъ своимъ опредъленіемъ въ Лицей онъ возвратился изъ-за границы, куда былъ посланъ для подготовленія къ занятію каоедры философіи въ главномъ педагогическомъ институтъ. Онъ обладалъ несомнънными способностями къ академическому преподаванію, но вовсе не годился для элементарныхъ занятій латинскимъ языкомъ съ учениками, изъ которыхъ не всъ достигли даже юношескаго возраста. Галичъ, "вивсто педагогическихъ способностей, которыхъ ему недоставало, развернулъ въ Лицев свой характеръ, знакомый болже съ поэтическою, чемъ съ практическою стороною жизни, характеръ общительный, кроткій, въ высшей степени беззаботный, съ значительною долею юмора и ироніи и съ полнымъ нерасположениемъ къ школьной дисциплинарности". Въ Лицев онъ увиделъ предъ собой толпу юношей милыхъ, веселыхъ, нъкоторыхъ съ замъчательными дарованіями, но вообще не слишкомъ обременившихъ себя механизмомъ науки и тотчасъ понялъ, что ему тутъ трудно будетъ насадить древо познанія латыни. Юноши, въ свою очередь, примътили, что ихъ новый наставникъ болъе философъ, чъмъ сколько нужно было для того, чтобъ занимать ихъ супинами и герундіями, и постарались взамънъ ихъ, извлечь изъ него другое добро, его теплое сочувствие къ юношескимъ свътлымъ интересамъ жизни. Но какъ они были молодые люди благовоспитанные, то въ отношеніяхъ къ нему не могло быть ничего грубаго, а тъмъ болъе оскорбительнаго для человъка, высокій умъ и неподдъльная доброта котораго не могли не дъйствовать укротительно на пылкія, но еще не успъвшія испортиться молодыя сердца. Какъ бы то ни было, однако Галичъ былъ плохимъ преподавателемъ латинскаго языка въ Лицев, а вмъсто того очень пріятнымъ собесвдникомъ лицейскихъ воспитанниковъ, которые весело проводили съ нимъ время, иногда за чтеніемъ своихъ произведеній, въ свободные часы, нимало не пугаясь его профессорской осанки, которую они умъли щадить, а его также не пугая слишкомъ шумною

и игривою бесёдой*). "Ну, господа, — говориль онь имъ послё оживленной, далеко не школьной бесёды, взявъ въ руки Корнелія Непота, — теперь потреплемъ старика". И юноши, по возможности, спъшили удёлить старику малую толику своего вниманія и времени. Пушкинъ, кажется, особенно полюбилъ молодого философа, который не истязалъ ни его ни товарищей склоненіями и спряженіями и былъ уменъ, веселъ, остроуменъ, какъ самъ будущій поэтъ, и притомъ обладалъ многими знаніями, если и недоступными тогдашнему положенію и возрасту автора "Онъгина", то не чуждыми его умственнымъ инстинктамъ. Галичъ прослужилъ въ Лицев одинъ годъ (съ 10 мая 1814 по 1 іюня 1815), но оставилъ по себъ самую свътлую память въ сердцъ лицейскихъ учениковъ: этимъ объясняется какъ обращеніе къ нему Пушкина въ "Пирующихъ студентахъ", такъ и два посланія, написанныя юношей-поэтомъ къ нему въ 1815 году.

Баронъ М. А. Корфъ, въ своихъ лицейскихъ воспоминаніяхъ, даетъ объ А. И. Галичъ слъдующій отзывъ: "Этотъ предобрый, но презабавный чудакъ преподавалъ въ Лицев русскую и латинскую словесность, и мы очень надъ нимъ посмъивались, однако и очень его любили за почти младенческое простосердечіе и добродушіе". Это было, такъ сказать, среднее мивніе о Галичъ, принадлежавшее большинству его лицейскихъ учениковъ; но нъкоторые изъ нихъ, болье одаренные чувствомъ изящнаго, цънили въ немъ еще нъчто, кромъ привлекательныхъ чертъ его нрава; съ большимъ въроятіемъ можно предположить, что именно, при содъйствіи Галича, который любилъ литературныя беседы, Пушкинъ, даже при ограниченномъ знаніи латинскаго языка, научился вірно понимать духъ древнихъ авторовъ, и что этотъ безпечный, но умный, живой человъть являлся въ глазахъ юноши-поэта какъ бы представителемъ того эпикуреизма, который такъ усердно восиввался Пушкинымъ въ лицейские годы. Этимъ объясняется какъ происхожденіе посланій Пушкина къ Галичу, такъ и отчасти самый характерь ихъ.

Галичъ участвовалъ въ поэтическихъ состязаніяхъ своихъ учениковъ. Дъйствительно Пушкинъ называетъ его "парнас-

^{*)} Галичь, живя въ Петербургь, для уроковъ прівзжаль въ Царское Село и должень быль, въ промежутокъ времени отъ однихъ классныхъ часовъ до другихъ, оставаться въ Лицев, отчего у него была возможность особенно сближаться съ воспитанниками и вив классовъ.

скимъ бродягою", своимъ "сосъдомъ въ Пиндъ" и, наконецъ, прямо "поэтомъ"; на самомъ дълъ неизвъстно никакихъ поэтическихъ произведеній Галича, и весьма въроятно, что словамъ Пушкина слъдуетъ придавать нъсколько иной смыслъ. Дъло въ томъ, что Галичъ, кромъ развитого эстетическаго чувства, обладаль еще даромъ оригинальнаго изложенія, обнаруживавшимся какъ въ его оживленной беседе, такъ и въ его печатныхъ сочиненіяхъ. Одно изъ нихъ, психологическая монографія подъ заглавіемъ "Картина человъка", было представлено авторомъ на Демидовскую премію, и Академія наукъ цризнала его за плодъ многолътнихъ трудовъ и изысканій и заявила, что "во уважение большой общеполезности сочинения Галича и удачно во всъхъ отношеніяхъ избранной и обработанной имъ матеріи она не приминула бы опредълить автору полную премію, если бы онъ умълъ только лучше согласовать внъшнюю форму съ достоинствомъ своего предмета. Только по этой причинъ авторъ получилъ премію въ половинномъ размъръ. "Начертывая картину человъка, Галичъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, не могъ преодолъть своей врожденной наклонности къ ироніи и юмору. Что онъ способенъ быль и умъль поставить себя въ приличное и благоговъвное отношение ко всъмъ великимъ предметамъ и изображать ихъ съ одушевленіемъ глубокаго поэтическаго чувства, это доказывають уже тъ мъста въ "Картинъ человъка", гдъ онъ, напримъръ, говорить о нравственной свободъ, о геніи, о характеръ, объ эстетическомъ и религіозномъ чувствъ и проч. Но, спускаясь въ низменную сферу текущихъ дълъ человъческихъ, онъ не могъ воздержаться оть насмъщливой улыбки при видъ зрълища, гдъ человъкъ дъйствилельно бываетъ очень забавенъ и впадаетъ истинно въ комическія положенія, то играя въ маленькія страсти, то гоняясь на шумной ловат за житейскими благами... Академія поступила даже снисходительно, простивъ Галичу частыя нарушенія строгихъ дидактическихъ обычаевъ и наклонность къ поэтическимъ образамъ". Нътъ сомнънія, что именно эта присущая Галичу способность живого пониманія и нагляднаго изображенія самыхъ отвлеченныхъ предметовъ, способность, столь ръдкая въ тъ времена педантическаго знанія, особенно нравилась Пушкину, и за то-то онъ и породнилъ Галича съ поэтами.

Профессоромъ русскаго и латинскаго языка и словесности

въ Лицев быль Николай Өедоровичь Кошанскій. Въ памяти позднъйшихъ покольній сохранилось его имя, главнымъ образомъ, какъ составителя учебниковъ по датинскому языку, классическимъ древностямъ и словесности; учебники эти очень уважались въ свое время, и нъкоторые изъ нихъ выдержали много изданій, пока не были замънены новыми, и пока не было отвергнуто самое преподавание реторики. Въ тридцатыхъ годахъ уже много потешались надъ учебникомъ реторики Кошанскаго, а въ 1845 году Бълинскій напечаталь разборъ этой книги, окончательно уронившій ея авторитетъ. Но изъ этого не слъдуетъ заключать ни о полной несостоятельности автора, какъ преподавателя, ни о совершенномъ ничтожествъ составленныхъ имъ учебныхъ книгъ для своего времени. Кошанскій быль хорошій классикь, основательно знакомый съ древними языками, литературами и вообще всъмъ твиъ кругомъ знаній, который встарину разумвлся подъ названіемъ humaniora и подагался въ основу всякаго ученія. Чтобы служить двлу классического образованія, котораго онъ быль энтузіастомь, Кошанскій быль подготовлень не только усиленнымъ трудомъ на школьной скамьъ, но и усердными самостоятельными занятіями въ молодые годы. Питомецъ Московскаго университета, онъ пользовался особымъ покровительствомъ его попечителя, М. Н. Муравьава, одного изъ просвъщеннъйшихъ людей своего времени, и былъ имъ предназначенъ къ посылкъ за границу, главнымъ образомъ, въ Италію, для приготовленія себя къ канедръ археологіи и изящныхъ искусствъ; но война 1805 года помѣшала этой поъздкъ, и взамънъ ея Кошанскій былъ оставленъ на годъ въ Петербургъ, чтобы изучать древности Эртимажа и заниматься въ Академіи художествъ. Этимъ временемъ онъ воспользовался также для составленія докторской диссертаціи, темою которой онъ избралъ миеъ о Пандоръ. Въ началъ 1807 года онъ защитилъ ее въ Москвъ, но послъдовавшая за тъмъ смерть Муравьева остановила назначение Кошанскаго на университетскую каөедру и ему пришлось ограничиться преподаваніемъ въ московскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ до тъхъ поръ, пока онъ не получилъ профессорской должности въ Царскосельскомъ лицев.

Согласно постановленію о вновь основываемомъ заведеніи питомцамъ его предполагалось давать по преимуществу гу-

манное образованіе, особливо въ младшемъ курсъ, (все лицейское учение было раздълено на два курса, по три года каждый). Кошанскій быль какь нельзя болье подходящимь человъкомъ для такого дъла: по-латыни онъ занималъ учениковъ младшаго курса грамматикой и легкими переводами, а по русскому языку и словесности изученіемъ отрывковъ изъ образдовыхъ писателей и ихъ разборомъ, началами реторики и упражненіями въ сочиненіи прозы и даже стиховъ. Въ то время Кошанскій еще не составиль своего учебника реторики, и его преподавание имъло по преимуществу практическій характерь. По замічанію Я. К Грота "Кошанскій всегда считалъ умънье писать самою существенной стороной литературнаго образованія". Онъ умъль возбуждать вниманіе и самодъятельность своихъ учениковъ, то задавая темы для ихъ сочиненій, то представляя самимъ учащимся придумывать ихъ и всегда требуя изобрътательности въ сюжетъ и изящества въ изложеніи. "По временамъ, разсказываетъ Гротъ, онъ поощряль насъ пробовать свои силы въ стихотворствъ и потомъ читалъ наши опыты вслухъ передъ всемъ классомъ. Правило, которому онъ слъдовалъ при ихъ обсуждени, самимъ имъ выражено въ его учебникъ: попытки учащихся, по его словамъ, "не должны охлаждаться порицаніемъ, по согръваться участіемъ друга-наставника, который всегда говорить прежде, что хорошо и почему, а послю показываеть, что должно быть иначе и какими образоми. Воспоминание Грота относится въ исходу двадцатыхъ годовъ, когда Кошанскій обладаль уже большою педагогическою опытностію; но, очевидно, то же происходило на урокахъ его и за полтора десятка лътъ раньше, во время Пушкина. Кошанскій, въ началъ 1812 года, привътствовалъ первые литературные опыты Пушкина; сохранился и образчикъ тъхъ исправленій, которыя преподаватель дълалъ на стихотворныхъ упражненіяхъ своихъ учениковъ. "До насъ дошло, сообщаетъ Гаевскій, одно неизданное стихотвореніе Илличевскаго "Освобожденіе Бълграда", съ отмътками и поправками Кошанскаго. Онъ показывають, какь, сообразно съ духомъ времени, поощрялась напыщенность и ходульность и порицалась простота, считавшаяся низкою, и свидетельствують, между прочимь, съ какою ревностію на первыхъ порахъ Кошанскій занимался своимъ дъломъ. Жаль, что вкусъ педагога не равнялся его усердію.

Въруя въ непогръшимость править, предписывавшихъ поэту парить, а прозаику течь, Кошанскій требовать того же оть своихъ учениковъ, и въ одъ Илличевскаго замѣнить выраженія: двънадцать дней, колодцы выкопавъ, напрасио, площади, говорить, по его мнѣнію болѣе, эпическими: дванадцать кратъ, изрывши кладези, тщетно, шумные стоины, въщать и т. д. Кошанскому особенно понравилась слъдующая строфа, возлѣ которой онъ приписалъ: "Вотъ поэзія! Прекрасно!"

Спускалось солнце; день ужъ къ вечеру клонился. Въ Бълградъ жители въ одинъ толпились сонмъ; Глухой, на площади, печальный шумъ носился, Подобный вечера осення шуму волнъ.

О томъ, какъ исправляль Кошанскій стихи, можно судить по слёдующей строфі:

Уныло граждане другь на друга смотръли, Что въ крайности такой имъ было предпринять; Въ отчанныи врата отверать хотъли И, преклоня главу, о жизни умолять.

Противъ послъдняго стиха Кошанскій отмътиль: "Le plus beau vers, а остальное исправиль такъ:

Уныло граждане съ высоких ствно взирали Колеблясь мыслями, что въ бъдствах предпринять Уже врагу отверзть врата они желали И, прекловя главу о жизни умолять.

Эти исправленія наглядно представляють намъ, какъ учебные пріемы Кошанскаго, такъ и слабыя стороны въ его литературныхъ понятіяхъ и преподаваніи. Впрочемъ, изданная имъ книга "Цвъты греческой поэзіи" (1811 г.), въ которой помъщены, въ подлинникъ съ коментаріемъ и въ переводъ, произведенія Біона и Мосха и переводы отрывка изъ Софокловой трагедіи "Клитемнестра" и эпизода о Навзикаъ изъ VI пъсни "Одиссеи", — можетъ служить доказательствомъ, что ему не совсъмъ чуждо было пониманіе красотъ античнаго творчества. Но Кошанскій не въ состояніи былъ возвыситься надъ устарълыми школьными привычками и предразсудками, надъ тъми натянутыми и искусственными толкованіями, какимъ подвергалась древность въ періодъ псевдоклассицизма, и переносиль ихъ въ собственное преподаваніе. А между тъмъ онъ не желалъ, чтобы его считали старомоднымъ пе-

дантомъ и, изъ опасенія прослыть имъ, старался даже усвоить себѣ тонъ и привычки свѣтскаго человѣка.

Не подлежить сомнънію, что Кошанскій поощряль первые опыты какъ Пушкина, такъ и другихъ лицейскихъ стихотворцевъ: это входило-въ его учебную программу. По словамъ лицеиста Комовскаго, Кошанскій, предвидя необыкновенный успъхъ поэтическаго таланта Пушкина, старался все достоинство онаго приписать отчасти себъ и для того употребляль всъ средства, чтобы какъ можно болъе познакомить его съ теоріей отечественнаго языка и съ классическою словесностью древнихъ, но къ послъдней не успълъ возбудить въ немъ такой страсти, какъ въ Дельвигъ. Въ ноябръ 1812 г. Кошанскій даль слёдующій отзывь о своемь геніальномь ученикь: "Больше имбеть понятливости, чемь памяти; больше вкуса къ изящному, нежели прилежанія къ основательному, почему малое затруднение можеть остановить его, но не удержать: ибо онъ, побуждаемый соревнованиемъ и чувствомъ собственной пользы, желаетъ сравниться съ первыми воспитанниками; успъхи его въ латинскомъ языкъ довольно хороши, въ русскомъ не столько тверды, сколько блистательны". "Если исключить первое замъчание о недостаткъ памяти у Пушкина", говоритъ Гротъ сообщая вышеприведенныя строки, "то нельзя не признать этого свидътельства справедливымъ". Прибавимъ съ своей стороны, что отзывъ Кошанскаго не только справедливъ, но очень благопріятенъ для Пушкина. Такъ, однако, было до поры, до времени. Мало-по-малу между профессоромъ и его способнъйшими учениками стали возникать недоразумънія, и въ концъ концовъ сложились отношенія недружелюбныя

Едва ли мы ошибемся сказавъ, что на измѣненіе отношеній лицеистовъ къ Кошанскому повліяло, между прочимъ, временное появленіе Галича на его каоедрѣ въ 1814—1815 годахъ. Конечно, преподаваніе Галича на его каоедрѣ было небрежное и распущенное, ученики мало успѣвали у него въ фактическихъ занятіяхъ, но лучшіе, болѣе даровитые почерпали изъ разговоровъ съ нимъ много поучительнаго для своего развитія. Такъ, напримѣръ, если въ посланіи "Моему Аристарху" Пушкинъ говоритъ о "непринужденномъ упоеньи" творчества, то можно съ большимъ въроятіемъ утверждать, что подобная мысль явилась у него вслъдствіе бесъдъ съ шеллингистомъ

Галичемъ о свободъ искусства. Правда, поэты, послъдователемъ которыхъ заявляетъ себя Пушкинъ въ посланіи "Моему Аристарху", поэты беззаботнаго наслажденія жизнью—

любезные пъвцы Сыны безпечности лънивой—

издавна пользовались его предпочтеніемъ; но теперь ихъ произведенія могли получить въ его глазахъ болве глубокій смыслъ, какъ правдивое искреннее выражение ихъ душевнаго настроенія и міросозерцанія, а вмъстъ съ тъмъ лучше осмыслились и собственныя влеченія нашего автора къ этому роду лирики. А между тъмъ возвратившійся на канедру Кошанскій продолжалъ держать лицейскихъ стихотворцевъ въ строгой школъ и попрежнему требоваль оть нихъ вниманія преимущественно къ слогу, къ внешней отделке стиховъ. Безъ сомнения, онъ былъ до нъкоторой степени правъ; но все же понятно, что его требованія возмущали молодежь, и ея негодованіе Пушкинъ выразиль въ посланіи "Моему Аристраху". Я. К. Гроть, нъкогда самъ слушавшій уроки Кошанскаго, береть въ данномъ случат его сторону противъ Пушкина. "Изъ многихъ мъстъ посланія", говоритъ онъ, "видно, что Кошанскій, между прочимъ, упрекалъ Пушкина за излишнюю поспъшность въ сочинении стиховъ. Ради необыкновеннаго таланта, выразившагося и въ этой пьесъ, можно, конечно, простить ее молодому поэту, но надо сознаться, что она вовсе не бросаетъ тъни на профессора, заботившагося о болъе серіозномъ направленіи и совершенствованіи юнаго дарованія. Добрыя намъренія Кошанскаго не подлежать сомнънію; но очевидно, что то покольніе лицеистовъ, къ которому принадлежаль Пушкинъ, скоро обогнало наставника въ художественномъ развитіи, и вслъдствіе того разладъ между методическимъ преподавателемъ и нетерпъливыми учениками сдълался неизбъжнымъ. Майковъ.

"Арзамасъ" и его вліяніе на Пушкина.

Съ 1820 года Пушкинъ повлекъ за собою блестящими и быстро смъняющимися своими произведеніями, изъ которыхъ каждое открывало новые источники поэзіи и неожиданныя соображенія эстетическаго, моральнаго и частію даже поли-

тическаго характера, — повлекъ, говоримъ, за собой такъ же точно читающую публику, какъ и литературныя общества, и писателей, и во многихъ случаяхъ противъ воли и желанія послъднихъ, уже свыкшихся съ покоемъ литературныхъ собраній. Гораздо позже описываемаго нами времени, и уже домогаясь позволенія на изданіе политической газеты (1833 г.), Пушкинъ въ проектъ своей офиціальной просьбы по этому поводу чертилъ о себъ слъдующія строки, которыя онъ имъль, по нашему мнънію, полное право сказать, но которыя онъ однако же вымаралъ, какъ, въроятно, отзывающіяся отчасти хвастливостью: "Могу сказать, что въ послъднее пятильтіе царствованія покойнаго государя (Александра I), я имъль на все сословіе литераторовъ гораздо болье вліянія, чъмъ министерство (т.-е. м-во просвъщенія), несмотря на неизмъримое неравенство средствъ

Исключеніе составляло одно только литературное общество, именно "Арзамась". Значеніе этого знаменитаго общества не только не разъяснено у насъ вполнѣ, но врядъ ли еще и понято достаточно ясно и правильно, благодаря тому, что историки и судьи "Арзамаса" видѣли въ немъ одну только шутливую сторону, и сочли его на этомъ основаніи за сборище веселыхъ и праздныхъ собесѣдниковъ. Шутливость "Арзамаса" прикрывала однакоже очень серіозную мысль, что именно и даетъ ему право на вниманіе въ исторіи нашего просвѣщенія.

Извъстно, что "Арзамасъ" основанъ былъ для противодъйствія Державинско-Шишковской "Бесъдъ Любителей Русскаго Слова" и для поддержанія не только переворота въ языкъ и литературъ, произведеннаго Карамзинымъ, который поэтому и считался какъ бы невидимой главой "Арзамаса", но и для защиты правъ русскихъ писателей на свободную, независимую дъятельность. Пушкинъ былъ членомъ "Арзамаса" еще съ лицейской скамьи; но ко времени появленія его въ свътъ "Арзамасъ" и "Бесъда" существовали только номинально, и на литературной аренъ уже болье не встръчались. Время уничтожило между ними яблоко раздора. Большая часть нововводителей въ сферъ русской мысли и слова успъли уничтожить предубъжденіе своихъ враговъ и побъдоносно выйти изъ смуты и наговоровъ, которые вызваны были ихъ появленіемъ.

Много разъ приводился въ литературъ нашей доносъ куратора московскаго университета Голенищева-Кутузова, въ которомъ онъ указывалъ на Карамзина, какъ на заговорщика, помышляющаго о ниспровержени законной власти и присвоеніи ея себъ, съ помощью многочисленныхъ своихъ поклонниковъ. Поводы къ такого рода чудовищностямъ крылись столько же въ личныхъ вопросахъ, сколько и въ условіяхъ тоглашняго быта. Неизбъжная связь всякой литературы съ внутреннею политикою, т.-е. съ состояніемъ умовъ и жизнію страны вообще, какъ бы ни старались мъщать образованію этой связи, давала поводъ ужасаться всякій разъ, какъ эта связь обнаруживалась сама собою. Тогда поднимались вопли и жалобы съ двухъ сторонъ: со стороны слъпыхъ, боязливыхъ умовъ, и со стороны смълыхъ пройдохъ, имъвшихъ своекорыстныя цёли. И тъ и другіе разръщались одинаково нелъпъйшими подозръніями и обвиненіями. Нъчто подобное доносу Кутузова повторялось и позже, въ эпоху появленія романтизма "Въстникъ Европы" Каченовскаго, человъка вполнъ честнаго и благороднаго, видълъ въ попыткъ уничтоженія нічтическихъ правиль, пропов'єдываемой новой школой романтиковъ, затаенное ея намъреніе высвободиться изъ-подъ власти іерархическихъ и всякихъ другихъ авторитетовъ. Это было только заблужденіе; но еще позже, извъстный Булгаринъ уже пользовался страхомъ администраціи передъ тінью политической литературы, просто выдумывая сплетни и разоблачая небывалые политическіе замыслы, для погубленія своихъ критиковъ и недоброжелателей, и успъвалъ въ томъ не разъ, какъ показываетъ исторія его съ Дельвигомъ (1831 г.), бывшая одной изъ причинъ преждевременной смерти последняго.

Карамзинъ уже перевхалъ въ Петербургъ и пользовался высокимъ уваженіемъ государя; Жуковскій, пенсіонеръ двора съ 1816 г., уже приготовлялся къ занятію поста воспитателя въ царской семьв; друзья и ревнители ихъ славы — Уваровъ Блудовъ, Дашковъ и друг. — уже стояли на дорогъ, которая повела ихъ на высокія ступени въ государствъ. Въ виду все болье усиливающаго ихъ вліянія и значенія, "Бесъда" потеряла часть своей энергіи въ преслъдованіи новаторовъ, ту энергію, которой обнаружила такъ много еще не очень давно, именно въ 1815 г., когда "Липецкія воды" кн. Шаховскаго, ея сторонника, съ своимъ нъсколько топорнымъ обличіемъ

балладистовъ и сентименталовъ, дълили публику на два лагеря. "Бесъда", въ лицъ Шишкова, обнаружила даже попытки итти навстръчу прежнимъ врагамъ, а съ другой стороны, "Арзамасъ" совсъмъ замолкъ и не собирался болъе съ 1817 г. столько же потому, что прямыя цъли его основанія были достигнуты, сколько и по другому обстоятельству. Въ нъдра его внесена была рознь съ прибытіемъ новыхъ членовъ яркой современной политической окраски (М. Ө. Орлова, Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева), членовъ, которые не хотъли ограничиться узкой, либерально-литературной задачей "Арзамаса", упрекали его въ безцвътности, пустотъ и праздности и указывали политическія и соціальныя цёли для дёятельности. Но "Арзамасъ" именно и занимался ими, стоя на почвъ литературныхъ, ученыхъ и художническихъ вопросовъ, и не уступиль намфренію втянуть его въ колею тайныхъ обществъ. Онъ предпочелъ лучше не собираться вовсе, чъмъ собираться для скорыхъ приговоровъ и ръшеній, которые неспособны были измёнить строя нашей жизни ни на одну іоту къ дучшему, и Д. И. Блудовъ, отстранившій предложеніе М. Ө. Орлова — обратиться къ вопросамъ политическаго содержанія, конечно, не измёняль дёлу прогресса и развитія въ отечестві, выразивъ въ долгой ръчи по этому поводу желаніе остаться на почвъ критики, изученія русскаго слова и литературы.

Какъ бы то ни было, но духъ этихъ двухъ знаменитыхъ литературныхъ центровъ не исчезъ вмѣстѣ съ ними. Главнъйшіе представители обоихъ направленій, выражаемыхъ этими центрами, не измѣнили своихъ убѣжденій, и борьба между ними продолжалась и тогда, когда знаменъ, подъ которыми они сражались прежде, не было уже видно на литературной аренѣ; только споръ былъ перенесенъ теперь изъ области теоретическихъ разсужденій и словесности вообще, гдѣ все смолкло, благодаря особеннымъ обстоятельствамъ времени, на служебную и дѣловую арену.

Прежде всего слъдуетъ сказать, что "Арзамасъ" не имълъ собственно никакой, ни эстетической ни политической, теоріи, чъмъ и отличался отъ своего соперника, "Бесъды Любителей". Послъдняя, благодаря А.С. Шишкову, обладала полнымъ кодексомъ воззръній на лучшія формы языка, на предметы, которыми должно заниматься искусство, и на пути, которыми слъдуетъ вести и русскую жизнь и русскую словесность къ ихъ

вящшему преуспъянію въ духъ благочестія, народности и нравственности. Каковы были требованія и опредъленія этого кодекса — теперь уже разобрано и оцънено по достоинству; но онъ, по всёмъ вёроятіямъ, имёль некоторую обольстительную сторону для своего времени, потому что мы встръчаемъ въ числъ преверженцевъ "Бесъды" и враговъ "Арзамаса" такихъ людей, какъ А. Н. Катенинъ и А. С. Грибовдовъ. не говоря уже объ А. Н. Оленинъ и т. д. Можетъ-быть, это зависьло отъ полноты и целостности системы Шишкина, которая давала готовые отвъты на самые трудные вопросы русскаго просвъщенія и быта. Какъ бы то ни было, но Катенинъ при всъхъ называлъ книгу Шишкова "О старомъ и новомъ слогъ" своимъ литературнымъ евангеліемъ, а модно-архаическія, славянофильскія тенденціи Грибовдова достаточно обнаруживаются въ нъкоторыхъ выходкахъ "Чацкаго", что и объясняеть холодность, съ которой встретили некоторые истые арзамасы, какъ напр. князь Вяземскій, его безсмертную камедію. Чёмъ же былъ собственно "Арзамасъ", не имъвшій противопоставить "Бесъдъ" никакой равносильной эстетической и фидосовской теоріи, а тайнымъ обществамъ никакой не тольковыработанной, но и намъченной политической темы?

"Арзамасъ" представлялъ собственно партію молодыхъ людей, которые, опираясь на примъръ Карамзина, отстаивали право каждаго человъка, сознающаго въ себъ нравственныя силы, открывать для себя новыя дороги въ жизни и литературъ. "Арзамасъ" ставилъ ни во что напыщенность и торжественность выраженія, которыми многіе тогда удовлетворялись, и ненавидёлъ пустую, трескучую фразу во всякомъ ея видъ-либеральномъ или консервативномъ. Болъе всего сопротивлялся онъ намъренію водворить обязательныя правила для умственной и общественной дъятельности своего времени, подозръвая тутъ замыселъ управлять нравственными стремленіями эпохи, не справляясь съ ней, и утвердить за нъсколькими личностями право безаппеляціоннаго суда надъ всёми мнёніями и начинаніями ея. Воть почему "Арзамасъ" неукоснительно принималъ подъ свое покровительство все, что появлялось съ ясными задатками развитія, съ несомнънными признаками способности завоевать себъ будущность. Онъ очень любилъ противопоставлять новыя имена и таланты старымъ извъстностямъ, да не отступалъ и передъ разобла-

ченіемъ упроченныхъ, но все-таки фальшивыхъ репутацій, обнаруживая при этомъ, сколько кумовства, дружескихъ подкуповъ и самохваленія издержано было для составленія ихъ. Въ лицъ Жуковскаго "Арзамасъ" привътствовалъ и романтизму въ нашей литературъ, а когда возвигнуто было гоненіе на самую идею романтизма — "Арзамасъ", уже явно не существовавшій, выслаль, однако же, горячаго защитника новому виду творчества, князя Вяземскаго, и поддерживаль его своимъ согласіемъ. Вотъ въ чемъ заключались всъ теоріи "Арзамаса". Къ этому надо прибавить, что орудіемъ борьбы служили для него, когда онъ собирался еще въ свои засъданія, острота, насм'вшка, ироническое восхваленіе въ стихахъ и въ прозъ, при чемъ, заставляя хохотать до упаду и такихъ людей, какъ Карамзинъ, "Арзамасъ" самъ называлъ "галиматьей" свои произведенія. Ничто не могло быть болве по вкусу Пушкину, тоже расположенному отмщать мъткимъ эпитетомъ, эпиграммой или пародіей безсильныя или отсталыя претензіи: "Арзамасъ" шутилъ, но по тогдашнему времени воспитывающими и обнаруживающими шутками.

Въ области пониманія и представленія гражданскихъ обязанностей, вліяніе "Арзамаса" на людей обнаружилось не менъе сильно. Тутъ опять мы не находимъ ничего похожаго на систему или ученіе, съ точностью опредёляющее всё свои основы. Подобно тому, какъ на литературной почвъ чувство изящнаго, пониманіе талатна и силы въ изображеніяхъ замвняло "Арзамасу" эстетическія теоріи, такъ на политической, вивсто обдуманной программы, онъ обладаль только живыми инстинктами свободы, стремленіями къ образованію и кръпкими надеждами на общечеловъческую, европейскую науку, какъ на лучшую исправительницу народныхъ и государственныхъ недостатковъ, а главное - онъ отличался непоколебимой върой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства — монархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій. Проводя эти убъжденія, "Арзамасъ" выражаль истинную мысль своей эпохи или, по крайней мъръ, огромнаго большинства ея людей, между которыми были и руководители ея судебъ.

Конечно, несправедливо было бы смѣшивать характеръ и убѣжденія честнаго, прямодушнаго, хотя и упорнаго А.С. Шишкова съ характеромъ и проповѣдями такихъ честолюбцевъ и

проходимцевъ, какъ Магницкій и Руничъ; но оба эти реформатора все-таки прикрывали свои мрачныя цели началами, сходными съ возръніями Шишковской "Бесъды". "Арзамасъ", можно сказать, цъликомъ вступиль въ борьбу съ старымъ своимъ врагомъ, очутившимся уже на административной почвъ. Недавно опубликовано было письмо къ государю бывшаго попечителя с.-петербургскаго округа С. С. Уварова (отъ 17 ноября 1821 г.), смъло объяснявшее средства, употребляемыя Руничемъ для возведенія простыхъ ученыхъ и учебныхъ положеній въ преступныя заявленія и въ уголовные проступки, письмо, не оставшееся безъ непріятныхъ послъдствій для его автора. Позже, когда съ назначениемъ министромъ самаго А. С. Шишкова (1824 г.), пресловутая "Бесъда" очутилась, такъ сказать, во главъ управленія въдомствомъ народнаго просвъщенія — она нашла всъхъ старыхъ своихъ противниковъ на своихъ мъстахъ. Новый министръ, какъ видно изъ его записокъ, до конца своей жизни сохранилъ убъжденіе, что шаткость общественнаго порядка въ Россіи находится въ зависимости отъ ослабленія основъ старой русской жизни, стараго русскаго воспитанія и образованія, потрясенныхъ литературной реформой послёдняго времени, которая открыла будто бы двери всяческому легкомыслію и вольнодумству. Слъдствіемъ этихъ убъжденій было появленіе цензурнаго устава 1826 г., съ его извъстнымъ, крайне притъснительнымъ характеромъ. Въ особенной смътанной комиссии, которая была поставлена для просмотра иностраннаго цензурнаго устава, тогда же выработаннаго министромъ, засъдали два арзамасца, Уваровъ и Дашковъ. Подъ ихъ вліяніемъ комиссія занялась не только иностраннымъ цензурнымъ уставомъ, но подняла вопросъ и о русскомъ недавно вышедшемъ, и строго разобрала его положенія и основанія. Комиссія подготовила, такимъ образомъ, возможность новаго проекта съ болъе благопріятными условіями для русской ученой и художественной дъятельности, который дъйствительно вскоръ и появился. Это быль тоть знаменитый цензурный уставь 1828 г., который стояль такъ выше людей своего времени и укоренившійся цензурной практики, что никогда не былъ вполнъ примъненъ къ дълу и, большею частью, оставался мертвой буквой вплоть до своего уничтожения въ 1865 г.

Вообще, "Арзамасъ" представляетъ въ исторіи нашей об-

щественности поучительный примъръ собранія съ однѣми нравственными и образовательными цѣлями, формально просуществовавшаго менѣе трехъ лѣтъ, но оставившаго послѣ себя долгій слѣдъ и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были разсѣяны по свѣту. Долго сохранили они свою либеральную окраску, одинаковое пониманіе европейскихъ идей и неотлагательныхъ нуждъ русскаго общества. Только гораздо позже, въ половинѣ слѣдующаго царствованія, начинаетъ тускнѣть и загрубѣвать между ними единившая ихъ мысль; люди "Арзамаса" наживаютъ себѣ противоположныя цѣли, расходятся въ разныя стороны и даже становятся отъявленными врагами другъ друга. Что касается Пушкина, онъ остался ему вѣренъ всю жизнь.

Первые примъры свътлыхъ общественныхъ стремленій, полученные имъ въ общении съ Жуковскимъ, Карамзинымъ, Блудовымъ, Дашковымъ и другими членами "Арзамаса", залегли глубоко въ его душъ, вмъстъ съ твердымъ пониманіемъ исторической почвы, на которой стремленія эти могуть быть осуществляемы. Если это созерцаніе не тотчась же выразилось на первыхъ порахъ въ его сужденіяхъ и поступкахъ, то причиною были непреодолимые соблазны жизни. вмъсть съ порывами и увлеченіями молодости; но оно пустило корни въ его мысль, въ нравственную его природу, и при первой возможности, дало свои отпрыски. Можно полагать, какъ уже было сказано нами, что атмосфера тайныхъ обществъ, окружавшая нъкогда его существованіе, сообщила впоследствии его слову ту прямоту, смелость и откровенность, съ какими онъ отвъчалъ на всякій вопросъ, откуда бы онъ ни исходилъ. "Арзамасъ" далъ ему нъчто другое. Онъ научиль его свободно, самостоятельно и независимо подчиняться условіямъ русскаго быта, желать имъ наиболье разумнаго содержанія, искать для этихъ условій основъ въ мысли, филосовской поддержки, теорического оправданія, и въ то же время сохранять за собой право судить отдёльныя явленія самаго быта по своему разумънію. Никогда онъ не быль болье смъль и независимъ, какъ въ то время, когда добровольно признаваль необходимость покориться тому или другому требованію установленнаго порядка, потому что основываль эти уступки на представленіяхъ и мотивахъ, еще казавшихся многимъ ересями и опасными идеями.

Но до всего этого еще было далеко, а теперь покамъстъ невидимо копились только и отлагались въ душъ Пушкина всв тв начала, которыя составляли его последующій характеръ. Онъ продолжаль пробовать людей, искать впечатленій, либеральничать и потъщаться жизнію. Даже В. А. Жуковскій теривль большія выходки молодого человіка и баловаль его; можетъ-быть, пуще всъхъ. Онъ, между прочимъ, первый смъялся его пародіямъ и эпиграммамъ на себя. П. А. Катенинъ разсказываетъ въ своихъ (неизданныхъ) "Воспоминаніяхъ" о Пушкинъ, что Александру Сергъевичу очень нравилось, когда его сравнивали съ Вольтеромъ, и особенно доволенъ онъ былъ каламбуромъ, который выходилъ изъ шуточнаго прозвища, даннаго переводчикомъ "Андромахи" своему молодому другу. Катенинъ часто называлъ ero: un monsieur à rouer (Arouet), и Пушкинъ всякій разъ заливался при этомъ веселымъ смъхомъ, но собственно ни на какого, даже микроскопическаго Аруэта ни тогда ни послъ поэтъ нашъ не походиль. Въ описываемую эпоху онъ представляется намъ веселымъ молодымъ человъкомъ, у котораго было гораздо болъе своевольства, чъмъ нажитыхъ принциповъ, и гораздо болъе наклонности, къ. задирающей шуткъ или къ производству эффектныхъ либеральныхъ гимновъ, чъмъ революціоннаго одушевленія или дъйствительной ненависти къ людямъ и установленіямъ.

Уваженіе къ самостоятельному сужденію и независимымъ мнъніямъ Катенина пережило у Пушкина эпоху молодости и продолжалось въ зрълые годы его, но критическія воззрънія Катенина не имъли большого вліянія на Пушкина, какъ на поэта, потому что стъсняли его свободу творчества и фантазіи. Одинъ приміръ такихъ воззріній находится и въ "Воспоминаніяхъ" П. А. Катенина. Такъ, упоминая о пьесъ "Моцартъ и Сальери", критикъ осуждаетъ Пушкина за то, что построиль свой драматическій этюдь на сомнительномъ анекдотъ и оклеветалъ Сальери. Другой учитель Пушкина отъ этой эпохи, Чаадаевъ, кажется, дъйствительно имълъ нъкоторыя права на это званіе, признанныя за нимъ и нашимъ поэтомъ, какъ извъстно, но, конечно, не въ той степени, въ какой обыкновенно провозглашалъ ихъ самъ наставникъ. П. Я. Чаадаевъ уже тогда читалъ въ подлинникъ Локка, и могь указать Пушкину, воспитанному на французскихъ сенсуалистахъ и на Руссо, — какъ извратили первые философскую

систему англійскаго мыслителя своимъ упрощеніемъ ея, и какъ мало научнаго опыта и изследованія лежить у второго въ его теоріяхъ происхожденія обществъ и государствъ. Выводы и соображеніе, которыя рождались изъ анализа этихъ предметовъ, конечно, должны были поражать Пушкина новостью и сдълать въ глазахъ его "мудрецомъ" самого ихъ проповъдника. Въ перечнъ людей, у которыхъ Пушкинъ искалъ тогда наставленій, нельзя забыть объ А. Н. Оленинъ. Почтенный предсъдатель академіи художествъ, будучи родственникомъ и почитателемъ Г. Р. Державина, разумъется, склонялся на сторону "Весъды" и не совсъмъ одобрительно смотрълъ на полемическія замашки "Арзамаса", но онъ имълъ важное качество. По знанію артиста и по прямому знакомству съ классическимъ искусствомъ, онъ понималъ эстетические законы, которые лежать въ основании художническаго производства вообще, а потому могъ уразумъть изящество произведенія, если бы даже оно явилось и не съ той стороны, откуда онъ привыкъ его ожидать. Такъ, онъ былъ одинъ изъ первыхъ, которые признали поэтическое достоинство "Руслана и Людмилы". Качество это сдълало самый домъ его нейтральной почвой, на которой сходились люди противоположныхъ воззръній, что облегчалось еще необычайной любезностью хозяйки, урожденной Полторацкой, а потомъ черезъ нъсколько лътъ привътливостью красавицы, — дочери, воспътой Пушкинымъ. Поэтъ нашъ былъ у нихъ, какъ свой человъкъ, и по семейнымъ ихъ преданіямъ, часто бесъдовалъ съ А. Н. Оленинымъ объ искусствъ. Впрочемъ ни одно изъ этихъ лицъ не провело никакой глубокой черты на его характеръ или на его талантъ, по которой можно было бы судить о родъ и степени ихъ вліянія. Одинъ "Армазасъ" оставилъ только на немъ неизгладимые слъды своего политическаго и литературнаго направленія, а все прочее сгладилось или пропало въ его дальньищемъ, самостоятельномъ развитіи.

Несчастіе Пушкина состояло въ томъ, что современная литература не отвъчала ни на одинъ вопросъ, существовавшій уже въ обществъ: читать было нечего, а еще менъе чему-либо учиться у нея.

Нътъ сомнънія, что періодъ петербургскаго броженія, который можно назвать "искусомъ", пережитымъ мыслію Пушкина, ранъе бы кончился для него, если бы тогда существовало

какое-либо серіозное литературное направленіе, которое обыкновенно понуждаеть людей собирать свои силы и ставить задачи для ихъ дъятельности. Но эпоха живыхъ, горячихъ литературныхъ споровъ, мы уже сказали, кончилась, и на аренъ русской печати не стояло никакого вопроса. Мъсто Карамзина, какъ основателя школы, оставалось пусто съ 1815 г., когда онъ покинулъ его для главнаго своего труда, и было пусто лътъ десять, когда его занялъ самъ Пушкинъ.

Анненковъ.

Петербургскій періодъ жизни и д'ятельности Пушкина.

Воспитанный въ семьъ, которой были близки умственные и литературные интересы своего времени, съ дътства знакомый съ Дмитріевымъ, Карамзинымъ, Жуковскимъ, какъ друзьями своего отца и поэта-дяди, еще ранве поступленія въ Царскосельскій лицей уже успъвшій съ жадностью перечитать почти всъхъ старыхъ французскихъ поэтовъ, начиная съ Мольера и продолжая Вольтеромъ, Шенье, Грессе и Парни, Пушкинъ въ отроческие годы, на школьной скамъъ, пробуетъ писать стихотворенія, которыя по своему содержанію представляють подражанія названнымъ поэтамъ, а по формъ — отголоски стиховъ Батюшкова, Жуковскаго, Державина, Дмитріева и даже Карамзина. Стихъ его мало-по-малу вырабатывается, пріобрътаетъ гладкость и звучность; это еще "перепъвы", но уже такіе, въ которыхъ иногда слышатся самостоятельныя, своеобразныя нотки; игривыя эротическія темы Парни и Батюшкова обрабатываются Пушкинымъ легко и оригинально; томная мечтательность Жуковскаго и напыщенная реторика Державина воспроизводятся имъ одинаково върно и выдержанно, — хотя, въ сущности, уже на та ни другая не привлекають его сочувствій. Окруженный въ Лицев даровитыми товарищами, изъ которыхъ многіе также очень рано начали пробовать свои литературныя силы и въ прозъ, и въ стихахъ, посреди постоянныхъ споровъ и разсужденій о современной литературъ, — юноша Пушкинъ сразу всъми своими симпатіями становится на сторону того литературнаго лагеря, во главъ котораго стояли тогда Карамзинъ и его сподвижники, того новаго литературнаго движенія, къ которому примкнули

Жуковскій и князь Вяземскій. Это движеніе было направлено противъ стараго классицизма, котораго рутинность и бездарное педантство успъли уже всъмъ надоъсть; но и оно само заключало въ себъ прогрессивные элементы лишь чисто-формальнаго характера: покуда это былъ только еще споръ "о старомъ и новомъ слогъ"; старинный узкій взглядъ на поэзію оставался еще неприкосновеннымъ; понятія о литературномъ вкусъ все еще вырабатывались на основании Лагариа и Батте; даже старыя "правила стихотворства" еще не утратили своей обязательности, хотя ихъ фальшивость уже чувствовалась; лицейскія стихотворенія Пушкина полны минологическихъ именъ и сравненій совершенно во вкус'в анакреонтическихъ пьесъ Державина; но въ то же время онъ уже подсмъивается надъ похвальными одами и "бъщеными" трагедіями отечественныхъ риемачей. Насмъшки надъ бездарными стихотворцами, которыхъ классическая манера окрестила Бавіями и Мевіями, надъ литературными старовърами, Шишковымъ и его "Бесъдой", и съ другой стороны - преклонение передъ литературнымъ авторитетомъ Карамзина и Жуковскаго и прямо заявленное желаніе идти по ихъ следамъ, — таковы характерныя черты литературныхъ взглядовъ лицеиста-Пушкина. Въ этомъ признаніи передовыхъ д'яттелей нашей литературы того времени своими руководителями заключалось, вмёстё съ тёмъ, и признаніе впервые ими провозглашеннаго принципа свободы, знамя которой было поднято извъстнымъ "арзамасскимъ" кружкомъ молодыхъ писателей. Будущій литературный путь Пушкина быль, такимъ образомъ, уже намъченъ въ то время, когда юный поэть еще "безмятежно расцевталь въ садахъ Лицея".

Кромѣ поэтовъ-руководителей, произведеніями которыхъ вдохновлялся молодой Пушкинъ, кромѣ чуткихъ и даровитыхъ товарищей, съ которыми дѣлилъ онъ свои поэтическіе досуги, кромѣ лицейскихъ преподавателей, которые умѣли зажигать пламя въ сердцахъ своихъ юныхъ учениковъ, немалое вліяніе на Пушкина имѣлъ и тотъ кругъ военной молодежи, съ которымъ онъ близко сошелся въ Царскомъ Селѣ. Военное сословіе того времени, безспорно было самымъ передовымъ въ нашемъ обществъ. Военная служба, еще недавно обязательная для всѣхъ дворянъ, считалась единственно-возможною для порядочнаго человъка, такъ что лицейскому другу Пушкина,

Ив. Ив. Пущину, дъйствительно, было нужно немало самоотверженія, чтобы, отказавшись отъ мундира, занять приказную должность надворнаго судьи. Молодые гвардейцы, аристократы не только по рожденію, но и по воспитанію, выросшіе среди либеральныхъ въяній первыхъ лътъ александровскаго царствованія, затемъ близко и непосредственно познакомившеся съ европейскимъ обществомъ и его идеями во время памятнаго похода Россіи въ Европу, — вернулись на родину съ готовымъ запасомъ новыхъ воззръній, совершенно чуждыхъ и враждебныхъ старинному складу нашего общества. То было время политическаго романтизма, юношески-пылкихъ, но смутныхъ и черезчуръ отвлеченныхъ мечтаній о всеобщей свободъ и братствъ народовъ, когда низвержение наполеоновской тираніи казалось только прологомъ къ окончательному разрушенію среднев вковых в традицій въ политической жизни европейскаго общества. Друзья Пушкина, царскосельскіе лейбъгусары, также съ увлеченіемъ предавались этимъ вольнолюбивымъ мечтамъ и надеждамъ, и бесъды съ ними оставили глубокій следь въ воспріимчивой душе молодого поэта. Въ числъ этихъ офицеровъ находился одинъ изъ образованнъйшихъ людей своего времени, П. Я. Чаадаевъ, къ которому Пушкинъ навсегда сохранилъ дружеское чувство и искреннее уважене, какъ къ своему "учителю". Чаздаевъ былъ всего на три года старше Пушкина; но его блестящій умъ, обширная начитанность, ъдкое, парадоксальное остроуміе, не могли не дъйствовать на его младшаго друга обаятельнымъ и подчиняющимъ образомъ. Въ политическомъ воспитаніи Пушкина, ему, конечно, принадлежить видная роль. Юношеская въра въ возможность осуществленія свободныхъ идеаловъ на русской почвъ была темою безконечныхъ бесъдъ объ этомъ предметь среди людей, осужденных тогдашним строемъ русскаго общества на безплодную праздность, людей, которые, получивъ возможность общественной дъятельности, дъйствительно, могли бы проявить богатыя умственныя и нравственныя силы. Чаадаевъ, который, по словамъ Пушкина, "въ Римъ былъ бы Брутъ, въ Авинахъ — Периклесъ", въ тогдашней Россіи долженъ былъ оставаться только гусарскимъ офицеромъ; геттингенскій студентъ Каверинъ, который, подобно Ленскому, также "изъ Германіи туманной привезъ вольнолюбивыя мечты", тратилъ свои силы на гомерические кутежи; другие, болъе энергич-

ные, вродъ М. Ө. Орлова, Никиты Муравьева, Н. И. Тургенева, пытались поставить политические и общественные вопросы на практическую почву и уже задумывали "Союзъ Благоденствія". Между тъмъ, новое время становилось все менъе и менъе похожимъ на недавнее прошлое. "Дней Александровыхъ прекрасное начало" быстро приближалось къ концу; вопреки убъжденію поэта, что "на поприщъ ума нельзя намъ отступать", — мы усиленно отступали, и изъ въка свободы и просвъщенія уже готовы были переселиться въ средніе въка. Принципы "Священнаго Союза", послужившіе фундаментомъ для общей европейской реакціи, получали широкое примъненіе и на русской почвъ; вліяніе ханжей и обскурантовъ усиливалось, Аракчеевъ стоялъ уже очень высоко... Въ такую-то пору Пушкинъ, 18-лътнимъ юношей, вышелъ изъ стънъ Лицея. Въ обществъ онъ сразу занялъ мъсто въ кругу тогдашней "золотой молодежи", которая единственною цёлью жизни ставила безшабашное ея прожиганіе. Разсвянная свътская жизнь, такъ живо описанная въ первой главъ "Онъгина", холостыя пирушки, театральныя похожденія, дружескій кружокъ "Зеленой Лампы", съ его вычурными затъями по части веселаго препровожденія времени, - все это поглотило значительную часть первыхъ трехъ лътъ петербургской жизни поэта. Но, несмотря на такую обстановку, талантъ его росъ и развивался, быстро освобождаясь отъ постороннихъ вліяній и приводя въ изумленіе прежнихъ его руководителей. "Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши", -- писалъ въ 1818 году кн. Вяземскій къ Жуковскому. "Этотъ бъщеный сорванецъ насъ всъхъ заъстъ, насъ и отцовъ нашихъ". Безъ преувеличенія можно сказать, что пушкинскіе стихи, появляясь въ журналахъ того времени, — въ этихъ тощихъ книжечкахъ, напоминающихъ ученическія тетрадки, - одни давали имъ гораздо больше содержанія, чъмъ всь остальныя статьи, которыя едва ли къмъ и читались. Вмъсть съ тъмъ Пушкинъ былъ близокъ и къ "обществу умныхъ" или, какъ онъ ихъ называлъ, "молодыхъ якобинцевъ", — будущихъ декабристовъ, и сохраняль прежнюю тёсную связь съ Жуковскимъ и Карамзинымъ, какъ своими литературными руководителями. Среди эротическихъ стихотвореній этой эпохи поражаютъ изяществомъ мысли и формы поэтическія обращенія къ Жуковскому, этому "глубоко вдохновенному пъвцу всего прекраснаго"; наряду съ ними стоитъ знаменитое стихотвореніе "Деревня", въ которомъ такъ ярко выразился благородный образъ мыслей поэта и его политическій идеаль:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство, падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Въ этихъ словахъ заключается, можно сказать, программа, которой Пушкинъ не измънялъ во всю свою жизнь: уничтоженіе кръпостного рабства царскою властью и установленіе тою же властью гражданской свободы, основанной на просвъщеніи. Прочитавъ эти стихи, императоръ Александръ сказалъ: "Поблагодарите Пушкина за добрыя чувства, внушаемыя его поэзіей" (І, 306), слова, о которыхъ поэтъ вспомнилъ семнадцать лътъ спустя, говоря о своихъ заслугахъ передъ родиной:

И долго буду тъмъ любезенъ я народу, Что *чувства добрыя* я лирой пробуждаль, Что въ мой жестокій въкъ возславиль я свободу И милость къ падшимъ призываль,

"Вольнолюбивыя" мечты и надежды, вмъстъ съ върою въ лучшее будущее, жили въ душъ поэта и разгорались тъмъ сильнъе, чъмъ болъе сгущался мракъ, нависшій надъ умственною жизнью русскаго общества. Въ 1818 г. онъ писаль Чаадаеву:

Мы ждемъ, съ волненьемъ упованья, Минуты вольности святой, Какъ ждетъ любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья...

а въ 1820 г., въ то самое время, когда Магницкій, Руничъ и ихъ достойные сотрудники уже совсѣмъ приготовились погасить русское просвѣщеніе и настойчиво совѣтовали такъ "оградить Россію отъ Европы, чтобы и слухъ происходящихъ тамъ неистовствъ не достигалъ до нея", — изъ-подъ пера Пушкина выливается восторженный гимнъ свободѣ. Въ эпоху общей реакціи, которая особенно тяжело отозвалась у насъ, въ такую эпоху, когда поэтъ повсюду видитъ "бичи, желѣзы, законовъ гибельный позоръ, неволи немощныя слезы", — онъ смѣло возвышаетъ голосъ въ защиту законности (I, 220):

Лишь тамъ
Не слышится людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностью святой
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простерть ихъ крѣпкій щить...

Онъ не лукавить самъ съ собой и не боится бросать убійственныя эпиграммы въ лицо властнаго временщика и ханжей-гасильниковъ просвъщенія. Извъстно, что эти эпиграммы и вольнолюбивыя стихотворенія Пушкина, столь же ръзко противоръчившія тогдашнему настроенію, сколько они были согласны съ идеалами первыхъ лътъ александровскаго царствованія, навлекли на него тяжелую кару. О немъ стали говорить, будто онъ "наводнилъ всю Россію возмутительными стихами", и ему уже грозила ссылка въ Сибирь, или даже заточеніе въ Соловецкомъ монастыръ, отъ котораго онъ былъ спасенъ только хлопотами Чаадаева и заступничествомъ Карамзина и благороднаго графа Каподистріи. Карамзинъ, говоря его собственными словами, "спасъ несчастнаго, обреченнаго Року и Немезидамъ", — и грозившее поэту наказаніе было замънено ссылкой въ далекій, дикій Кишиневъ.

Такъ закончился первый періодъ жизни и дъятельности Пуш-

Въ числъ людей, имъвшихъ несомнънное вліяніе на Пушкина въ первомъ періодъ его петербургской жизни, мы назвали два имени — Чаадаева и Карамзина. Отношенія поэта въ этимъ людямъ, столь непохожимъ одинъ на другого, заслуживаютъ вниманія. При техъ особенныхъ, своеобразныхъ условіяхъ, въ какія было поставлено развитіе нашей литературы въ первой половинъ минувшаго стольтія, въ русскомъ обществъ никогда не переводились люди, которые своею высокою личностью имъли на современниковъ чрезвычайно сильное и благотворное вліяніе, а между тъмъ въ литературъ оставляли по себъ лишь весьма скромный и невыразительный следъ. Это, говоря словами Некрасова, тъ два-три человъка, которые выносять на своихъ плечахъ все покольніе. Таковъ быль Н. В. Станкевичъ; таковъ былъ Т. Н. Грановскій; первымъ по времени въ ряду этихъ людей стоитъ П. Я. Чаадаевъ. Просвъщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, открытое для всего высокаго, — воть тъ качества, которыя всъхъ къ нему привлекали; по словамъ писателя совершенно иной школы, —

по словамъ Хомякова*), Чаадаевъ былъ особенно дорогъ темъ, что въ "такое время, когда мысль, повидимому, погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ и самъ бодрствоваль, и другихъ пробуждалъ, — тъмъ, что въ сгущающемся сумракъ того времени онъ не давалъ потухать лампадъ и игралъ въ ту игру; которая извъстна подъ именемъ "живъ курилка". Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга... "Съ Чаадаевымъ Пушкинъ близко сошелся еще въ бытность свою въ Лицев, и съ тъхъ поръ на всю жизнь сохранилъ къ нему чувство самаго искренняго дружескаго расположенія. Продолжительныя и горячія бесёды, несомнённо оставившія слёдъ въ душв Пушкина, романтическія мечты о свободв и о служеніи благу родины, одинаковые литературные вкусы — вотъ что соединяло обоихъ друзей, и вотъ какъ самъ Пушкинъ говорить о значении этой дружбы въ знаменитомъ послании къ Чаадаеву изъ Кишинева, 1821 г. (І, 242).

Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживлялъ ее совътомъ иль укоромъ; Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; Терпънье смълое во мнъ рождалось вновъ; Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидъть: Умъль я презирать, умъя ненавидъть.

Во время узнавъ объ угрожавшей Пушкину опасности, Чаадаевъ бросился къ Карамзину и успълъ уговорить его вступить я за поэта. Воспоминаніе объ этой дружеской услугь также, конечно, было дорого Пушкину:

Въ минуту гибели, надъ бездной потаенной Ты поддержалъ меня недремлющей рукой...

На листкъ, случайно сохранившемся отъ дневника, который Пушкинъ велъ въ Кишиневъ, набросаны слъдующія строки: "Получилъ письмо отъ Чаадаева. Другъ мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мнъ замънила счастье, — одного тебя можетъ любитъ холодная душа моя". По всей въроятности, дъло идетъ объ отвътъ Чаадаева на одно изъ писемъ Пушкина, который именно въ это время жаловался, что петербургскіе друзья относятся къ нему слишкомъ невнимательно. Изъ дальнъйшаго

^{*)} Сочиненія, І, 720.

видно, что Чаадаевъ не получилъ нъсколькихъ писемъ Пупікина; подобные случаи неръдко бывали въ это время въ почтовой перепискъ поэта, и однажды даже вызвали у него энергическое восклицаніе по адресу любопытныхъ читателей чужой переписки (VII, 28). Весьма въроятно, что именно къ Чаадаеву относится и отрывокъ письма, сохранившійся на томъ же листкъ кишиневскаго дневника: "Мой достойный наставникъ, смълый, ъдкій, элой, — но этого еще недостаточно: нужно быть жестокимъ, тираномъ, мстительнымъ; къ этому-то я и прошу васъ привести меня", и т. д. (VII, 25).

Съ своей стороны и Чаадаевъ, уже долгое время спустя послъ смерти поэта, съ теплымъ чувствомъ вспоминалъ о дружбъ Пушкина. "Эта дружба, говорилъ онъ, принадлежитъ къ лучшимъ годамъ жизни моей, къ тому счастливому времени, когда каждый мыслящій человъкъ питалъ живое сочувствіе ко всему доброму, какого бы цвъта оно ни было, когда каждая разумная, безкорыстная мысль чтилась выше самаго безкорыстнаго поклоненія прошедшему и будущему"*).

Инымъ характеромъ отличались отношенія Пушкина къ Карамзину и Жуковскому. Молодой поэтъ съ дътства привыкъ уважать этихъ людей, какъ друзей своего отда и какъ даровитыхъ писателей, внесшихъ новое слово въ русскую литературу. Въ Карамзинъ онъ видълъ прежде всего — преобразователя русскаго языка и слога и, вмъстъ съ другими членами "Арзамаса", ратовалъ противъ его литературныхъ антагонистовъ; затъмъ, когда въ 1818 году появились первые восемь томовъ "Исторіи государства россійскаго", Пушкинъ высоко оцънилъ въ этомъ трудъ "не только создание великаго писателя, но и подвигь честнаго человъка, уединившагося въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившаго цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ" (V, 41). Впослъдствии Пушкинъ горячо отстанваль Исторію Карамзина противъ нападокъ Полевого и посвятиль памяти исторіографа свою "Комедію о царъ Борисъ", — "трудъ, геніемъ его вдохновленный". Озлобленіе противъ редактора "Въстника Европы", Каченовскаго, вызвавшее у Пушкина столько ръзкихъ эпиграммъ, въ значительной

^{*)} Письмо къ С. П. Шевыреву, "Въстн. Евр.", 1871, XI, 343.

степени объясняется нападками придирчиваго критика на исторію Карамзина.

Впрочемъ, уже при появленіи "Исторіи" Пушкинъ видъль ея слабыя стороны и далеко не безусловно передъ нею преклонялся. Въ отрывкахъ изъ своей автобіографіи, говоря о толкахъ, вызванныхъ появленіемъ "Исторіи", Пушкинъ вспоминаетъ, что основная мысль карамзинскаго труда возбудила негодование среди "молодыхъ якобинцевъ" — будущихъ декабристовъ, которые пародировали Тита Ливія слогомъ Карамзина. Конечно, подъ вліяніемъ этихъ якобинцевъ Пушкинъ написаль извъстную свою эпиграмму: "Въ его исторіи взящность, простота", о которой онъ замъчаетъ: "Мнъ приписали одну изг лучших русских эпиграммъ". Впрочемъ, онъ тутъ же и сознается, что эта эпиграмма — не лучшая черта его жизни: конечно, потому, что она была написана въ минуту личнаго неудовольствія противъ исторіографа. "Карамзинъ меня отстраниль отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе (самолюбіе?), и мою сердечную къ нему привязанность", — писалъ Пушкинъ по этому поводу, много лътъ спустя: "до сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить" (VII, 182). Размолька, можеть быть, была вызвана однимъ изъ тъхъ споровъ, о которыхъ Пушкинъ разсказывалъ въ своихъ запискахъ: Карамзинъ защищалъ "свои любимые парадоксы" о русской государственности, противъ которыхъ Пушкинъ го-

Вообще, Карамзинъ относился къ молодому Пушкину благосклонно и снисходительно, смотрълъ на него какъ на увлекающагося юношу, въ шутку называлъ либераломъ, но при случат не прочь былъ "отечески" пожурить его за ту или другую выходку, показавшуюся слишкомъ неумъстной. Большая разница въ годахъ и въ общественномъ положеніи не могла не сказываться, не смотря на добродушіе и сдержанность Карамзина. Заступаясь за Пушкина по просьбъ Чаадаева, Карамзинъ объявилъ, что дълаетъ это "въ послъдній разъ", и взялъ съ поэта слово — по крайней мъръ два года ничего не писать противъ правительства. Этимъ и закончились личныя сношенія Пушкина съ Карамзинымъ, который, по словамъ Пушкина, въ послъдніе годы былъ ему уже совершенно чуждъ (VI, 258). Высоко уважая его какъ писателя, Пушкинъ все болъе и болъе отдалялся отъ него какъ отъ человъка.

Обстоятельства, непосредственно предшествовавшія ссылкъ Пушкина, довольно извъстны; мы напомнимъ здъсь только то, что говориль объ этомъ времени, пять лъть спустя, онъ самъ, въ черновомъ наброскъ прошенія къ Государю (VII, 131—132). Въ обществъ распространился слухъ, приведшій поэта въ крайнее отчанніе. "Я считаль себя погибшимъ въ глазахъ общества, — говоритъ онъ, — я готовъ былъ на все, и думалъ, не долженъ ли я убить себя"... Чаадаевъ совътовалъ своему молодому другу оправдаться передъ правительствомъ; но Пушкинъ, сознавая безполезность оправданій, ръшилъ, напротивъ, поступать такъ, чтобы вызвать со стороны правительства суровыя мёры: "я жаждаль Сибири или крепости, какъ возстановленія чести", — говориль онь, объясняя свое тогдашнее поведеніе. Благодаря Карамзину и Жуковскому, дёло кончилось иначе: Пушкина отправили на югъ, къ генералу Инзову, причемъ даже въ оффиціальной, Высочайше утвержденной бумагъ похвалили "величайтія красоты концепціи и слога" въ той самой "Одъ на вольность", которая была одной изъ причинъ ссылки поэта!... Морозовъ.

Пушкинъ на югъ.

Первое время ссылки было для Пушкина вовсе не тягостно. Случайная встрвча съ семействомъ Раевскихъ, путешествіе съ ними на Кавказъ, жизнь въ Крыму и у Давыдовыхъ въ Каменкъ, все это дало поэту много новыхъ впечатлъній, а новые люди, встръченные имъ здъсь, скоро заставили его позабыть своихъ петербургскихъ пріятелей изъ "золотой молодежи" — добрыхъ малыхъ, но совершенно беззаботныхъ по части литературныхъ и умственныхъ интересовъ; къ тому же, и сами эти пріятели не особенно старались напоминать о себъ: "преданный мгновенью, мало заботился я о толкахъ петербургскихъ", писалъ Пушкинъ объ этомъ времени. "Общество наше — разнообразная и веседая смъсь умовъ оригинальныхъ, людей, извъстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ"... Но послъ этого оживленнаго интермеццо еще болъе мрачною и душною должна была показаться юношь-поэту жизнь въ пустынной для него Бессарабіи, гдв онъ скоро почувствоваль всю тяжесть одиночества. Единственнымъ развлеченіемъ становятся для него шутки надъ полуазіатами, молдавскими "куконами", и разныя шалости, за которыя Инзовъ такъ часто сажаль его подъ арестъ; единственною отрадою — переписка съ петербургскими друзьями изъ круга литературнаго, съ братомъ, съ княземъ Вяземскимъ, Гнъдичемъ, Дельвигомъ, Плетневымъ. Литературные интересы пробуждаются въ немъ съ новою силою; онъ начинаетъ внимательно слъдить за журналами и вообще много читаетъ, стараясь

вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы, И въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравиъ.

Онъ перечитываетъ критическія статьи, вызванныя появленіемъ "Руслана и Людмилы", пишетъ на нихъ замѣчанія, задаетъ вопросы, освѣдомляется о судьбѣ своихъ стихотвореній, посланныхъ въ Петербургъ, безпокоится насчетъ цензуры, проситъ высылать ему журналы, книги, стихи. Грустное чувство одиночества, горькое разочарованіе въ людяхъ, для которыхъ поэтъ пѣлъ свои вольнолюбивыя пѣсни, и которые съ такимъ робкимъ эгоизмомъ отвернулись отъ него, когда "средь оргій жизни шумной" его постигнулъ остракизмъ, презрѣніе къ этому пустому обществу, связанному предразсудками, состоящему изъ людей корыстныхъ или самодовольныхъ глупцовъ — вотъ преобладающій мотивъ душевнаго настроенія Пушкина въ годы его кишеневской жизни:

Пиры, любовницы, друзья Исчезли съ милыми мечтами; Одинъ, одинъ остался я! Померкла молодость моя Съ ея невърными дарами...

Я говориль предъ хладною толпой; Но для толпы ничтожной и глухой Смѣшонъ гласъ сердца благородный, — Я замолчалъ...

Везд'в яремъ, с'вкира, иль в'внецъ, Везд'в злобный иль малодушный, Предразсужденья—
Тиранъ, — льстецъ, —
Предразсужденій рабъ послушный... (I, 287).

Этому настроенію вполнъ соотвътствоваль мрачный, разочарованный тонъ поэзіи Байрона, съ которою Пушкинъ познакомился въ это время и которая слишкомъ сильно задъвала струны его собственнаго сердца, чтобы не отразиться въ его произведеніяхъ. Въ эту пору быль написань "Кавказскій Плънникъ", первая поэма Пушкина, въ которой замътно сказалось байроновское вліяніе и, вмість съ тімь, выразились личныя чувства самого автора. Пушкинъ самъ указываеть на эту личную сторону поэмы. "Харектеръ Плънника неудаченъ, — говоритъ онъ въ письмѣ В. П. Горчакову (VII, 25): это доказываеть, что я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія. Я въ немъ хотъль изобразить равнодушіе къ жизни и ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души"... Признавая всв недостатки своего произведенія, поэть всетаки прибавляетъ: "люблю его, самъ не зная за что; въ немъ есть стихи моего сердца". И дъйствительно, нельзя не признать именно такими стихами, напримъръ, слъдующіе:

Въ сердцахъ друзей нашедъ измъну, Въ мечтахъ любви — безумный сонъ, Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрънной суеты, И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступникъ свъта, другъ природы, Покинуль онъ родной предъль И въ край далекій полетьль Съ веселымъ призракомъ свободы. Свобода! онъ одной тебя Еще искаль въ подлунномъ мірѣ; Страстями сердце погубя, Охолодевъ къ мечтамъ и къ лире, Съ волненьемъ пъсни онъ внималъ, Одушевленныя тобою, И съ върой, съ пламенной мольбою Твой гордый идоль обнималь: (II, 280).

Байронизмъ и романтическія мечты о свободѣ отразились также и въ отношеніяхъ Пушкина къ греческому возстанію, въ то время только что начавшемуся, и къ карбонарскому движенію итальянцевъ. Восторженно привътствуя эти политическія движенія, Пушкинъ готовъ былъ видѣть въ нихъ, по примъру Байрона, зарю новой жизни для Европы, воскресеніе свободы, повсюду подавленной реакціей Священнаго Союза:

Ужель надежды лучь исчезь? Но нъть, — мы счастьемь насладимся, Кровавой чашей причастимся, И я скажу: Христосъ Воскресь! (VII, 21).

Скоро, однако же, присмотръвшись поближе къ греческому возстанію и его вождямъ, Пушкинъ сталъ разочаровываться. "Дъло Греціи меня живо трогаетъ, писалъ онъ въ 1623 году:вотъ почему я й негодую, видя, что на долю этихъ мизераблей выпала священная обязанность быть защитниками свободы" (VII, 67). А еще годъ спустя, онъ отзывался о грекахъ еще ръзче: "Греція мнъ огадила... Іезуиты натолковали намъ о Өемистокит и Перикит, и мы вообразили, что пакостный народъ, состоящій изъ разбойниковъ и давочниковъ, есть законнорожденный ихъ потомокъ и наследникъ ихъ школьной славы"... (VII, 80). Съ отъёздомъ изъ Одессы, Пушкинъ, какъ будто бы, совству пересталь интересоваться греческимъ возстаніемъ; по крайней мъръ, ни въ его сочиненіяхъ, ни въ перепискъ мы не встръчаемъ уже ни слова о Греціи, даже и тогда, когда она завоевала себъ свободу и политическую самостоятельность. Такимъ образомъ, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что увлечение Греціей было только подсказано Пушкину Байрономъ, отъ котораго онъ, по собственному его выраженію, въ то время "съ ума сходилъ" (V, 121), и прошло безслъдно, когда Пушкинъ пережилъ свой байронизмъ.

Годы кишиневской и затъмъ одесской жизни поэта были для него вообще эпохою "бурныхъ стремленій", своего рода Sturm-und Drang Periode противоръчій и разочарованій. Сближеніе съ Александромъ Раевскимъ, который своимъ холоднымъ, скептическимъ умомъ напоминалъ Чаадаева, конечно, немало содъйствовало развитію въ Пушкинъ отрицательнаго взгляда на жизнь; недаромъ же поэтъ посвятилъ своему другу стихотвореніе "Демонъ":

Онъ зваль прекрасное мечтою, Онъ вдохновенье презираль, Не въриль онъ любви, свободъ, На жизнь насмъшливо глядълъ...

Въ объяснени къ этому стихотворению онъ говоритъ, что "въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго, легковърно и нъжно; мало-по-малу

въчныя противоръчія существенности (т. е. противоръчія дъйствительности съ идеаломъ) рождають въ немъ сомнъніе, чувство мучительное, но не продолжительное. Оно исчезаеть, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души"... (II, 292). Неудовлетворенность окружающею жизнью и, вмъсть съ тъмъ, исканіе какихъ-нибудь положительныхъ нравственныхъ основъ для дальнъйшаго существованія — вотъ сущность того душевнаго процесса, какой переживаль въ то время Пушкинъ на переходъ отъ юношества къ болъе зрълому возрасту, — сущность этого "логическаго романа", который неизбъжно переживается каждымъ мыслящимъ человъкомъ. Эти блужданія оставили яркій свъть въ литературной дъятельности поэта. Онъ то увлекается байроновскими героями и рисуетъ Гирея, надъ которымъ такъ ядовито смъялся А. Раевскій (V, 121), то возвращается къ темъ "Руслана" и создаетъ планъ фантастической поэмы изъ древне-русскаго міра, на манеръ Аріосто (дъйствующія лица — Илья Муромецъ, Мстиславъ и косожская царевна-амазонка Армида), то мечтаеть о поэмъ или драмъ "Вадимъ", — на этотъ разъ, конечно, подъ вліяніемъ своихъ друзей, будущихъ декабристовъ (и въ особенности — Рылъева), которые идеализировали легендарнаго представителя древне-славянской вольности; задумываетъ другую поэму (а можеть быть — драму) изъ эпохи стрълецкаго бунта, но вовсе не политическаго содержанія (ІІ, 320—321); издіваясь надъ вошедшимъ въ моду ханжествомъ, пишетъ поэму въ стилъ Вольтера и Парни, полную крайняго религіознаго вольнодумства и въ то же время обаятельную по прелести стиха (II, 342); наконецъ опять возвращается къ Байрону и сначала въ лицъ Онъгина изображаетъ "москвича въ гарольдовомъ плащъ", а затъмъ даеть, въ лицъ Алеко, типъ, въ которомъ съ особенною рельефностью отразились наиболъе характерныя черты байроновскихъ героевъ — презрвне къ людямъ съ ихъ рабскою и безнравственною цивилизаціей и стремленіе къ простой, безыскусственной природъ. Припомнимъ монологъ Алеко,--его обращение къ сыну:

> Расти на волѣ, безъ уроковъ, Не знай стеснительныхъ палать И не мѣняй простыхъ пороковъ На образованный разврать...

Поэть не пожальль мрачныхъ красокъ для этой ничтожной

и пустой толпы, называющейся "обществомъ", для этихъ людей, которые "любви стыдятся, мысли гонятъ — и просятъ денегъ да цъпей": это — не болъе, какъ стадо, не нужны дары свободы котораго не пробудитъ призывъ чести, и среди котораго "съятель свободы" только напрасно сталь бы терять время, благія мысли и труды. Если и уцълъла гдъ-нибудь, случайно, "капля блага", то она все-таки недоступна: "тамъ настражъ — иль просвъщеніе (т.-е. образованный развратъ), иль тиранъ"...

Тоть же безотрадный взглядь высказывается и въ наставленіяхъ Пушкина своему младшему брату: "будь о людяхъ самаго худшаго мнѣнія; не суди о нихъ по внушеніямъ своего добраго и благороднаго сердца, которое еще очень молодо; презирай ихъ какъ можно въжливѣе... Со всѣми будь холоденъ", и пр. (VII, 43).

Впрочемъ, поэтъ уже сознавалъ, что въ этомъ отчуждени отъ людей главная роль принадлежитъ эгоизму, и высказалъ это въ поучительномъ обращении стараго цыгана къ Алеко.

Ты для себя лишь хочешь воли...

Отрицательное міровоззрѣніе не удовлетворяло Пушкина; онъ чувствоваль, что оно оставляеть пустоту въ сердцъ, и что жизнь безъ положительныхъ цёлей и стремленій не имъеть цъны; что если человъкъ дъйствительно хочетъ воли, то долженъ хотъть ея не для себя только, но и для другихъ. Но что значить хотъть воли, и что можеть дать ее? Воть основной вопросъ, отъ ръшенія котораго зависить вся дальнъйшая дъятельность на поприщъ общественномъ, - а поэтъ уже сознаваль себя общественнымъ дъятелемъ, и во время своихъ вольныхъ и невольныхъ скитаній по Россіи могъ воочію убъдиться, какъ высоко его ценять и какъ много отъ него ждутъ всъ грамотные люди. Идеалъ "просвъщенной свободы", о которомъ онъ мечталъ въ юности, подсказывалъ ему средство для достиженія этой высокой цёли — въ просвещеніи, въ "пробужденіи добрыхъ чувствъ"; работать въ этомъ направленіи на поприщъ, на которое онъ былъ призванъ, на поприщъ литературы, — Пушкинъ и считалъ нравственною обязанностью писателя, который, по его словамъ, долженъ быть всегда впереди, и не впадать въ малодушіе при неудачахъ. Этому идеалу онъ и остался въренъ въ продолжение всей своей жизни. Но по свойствамъ своего характера онъ далеко не

быль тёмъ, что называется "цёльной натурой": русская жизнь вообще, а въ его время въ особенности, вовсе не благопріятствовала выработкё такихъ цёльныхъ натуръ, людей aus einem Guss (много ли подобныхъ типовъ представляеть и теперь наша литература?). Оттого-то, въ минуты вдохновеннаго творчества, въ немъ часто пробуждались прежнія сомнёнія, вносили въ его душу разладъ, приводили къ разочарованію, заставляли замыкаться въ самомъ себъ, и съ презрёніемъ, подобно Алеко, отвертываться отъ толпы, равнодушной къ усиліямъ литературы.

Къ чему стадамъ дары свободы? Ихъ должно ръзать или стричь... (1823)

Въ развратъ каменъйте смъло, 'Не оживитъ васъ лиры гласъ! (1828).

Затъмъ въ поэтъ снова воскресала въра и снова звала его "въ набъги просвъщенія, на приступы образованности", къ борьбъ на литературной аренъ, которую онъ такъ сильно желалъ и такъ тщетно старался расширить. Такихъ противоръчій, приливовъ и отливовъ, у Пушкина было немало. Чтобы правильно понять и оцънить ихъ, необходимо имъть въ виду характеръ поэта, событія его личной жизни и общій духъ того времени, въ особенности же — тъ условія, въ какія было поставлено тогда развитіе нашей литературы. Постараемся же взглянуть на тогдашнюю литературу съ точки зрънія Пушкина.

Тяжелымъ временемъ для русскихъ писателей была первая половина двадцатыхъ годовъ. "Литераторы", — говоритъ Пушкинъ, вспоминая объ этой эпохъ, — "были оставлены на произволъ цензуръ своенравной и притъснительной; рюдкое сочинение доходило до печати. Весь классъ писателей (классъ важный у насъ, ибо, по крайней мъръ, составленъ онъ изъ грамотныхъ людей) перешелъ на сторону недовольныхъ. Правительство его не хотъло замъчать, отчасти изъ великодушія, отчасти изъ непростительнаго небреженія"... (VII, 278). Между тъмъ, въ обществъ "либеральныя идеи сдълались необходимой вывъской хорошаго воспитанія; подавленная литература превратилась въ рукописные пасквили на правительство и въ возмутительныя пъсни" (V, 43). Подобно тому, какъ университетская наука связана была изумительными требованіями обскурантовъ, — и печати старались указать самые тъсные предълы

и подчинить ее самой тягостной опекъ. По мъткому выраженію поэта, литературу обратили въ гаремъ, а цензора — въ докучнаго евнуха. Извъстный Магницкій ревностно сочиняль и проводиль въ практику свои проекты "борьбы съ лжеумствованіями", — проекты, благодаря которымъ изъ скуднаго умственнаго обихода русскаго общества безпощадно вычеркивались цълыя области знанія. Сатиру, какъ говорить поэтъ, называли пасквилемъ, поэзію — развратомъ, гласъ правды — мятежомъ, Куницына — Маратомъ... Понятно, что при такихъ условіяхъ печатная литература не могла имъть значенія просвътительной общественной силы; тъмъ большее значеніе получала литература рукописная, въ которой самое видное мъсто занимали произведенія Пушкина:

...Пушкина стихи въ печати не бывали, — Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали!

Любопытно, что рядомъ съ этими словами Пушкинъ поставиль имя писателя, который впервые въ нашей литературъвыступиль съ горячимъ протестомъ противъ кръпостного права:

Радищеет, рабства врагь, цензуры избъжаль.

То же имя вспомнилось ему двънадцать лътъ спустя, когда онъ говорилъ о своихъ заслугахъ передъ русскимъ обществомъ,

Вследъ Радищеву возславиль я свободу.

Дъйствительно, идеалы обоихъ писателей были одинаковы. Какъ въ свое время книга Радищева жадно читалась въ рукописи, такъ и теперь стихи Пушкина въ сотняхъ и тысячахъ списковъ расходились по всъмъ уголкамъ грамотной Россіи и, по свидътельству современниковъ, не было въ арміи прапорщика, который бы не зналъ ихъ наизусть. Увлекательные по формъ, эти гармоническіе звуки, неслыханные до тъхъ поръ на русскомъ изыкъ, содержаніемъ своимъ отвъчали завътнымъ мечтамъ русскаго общества, и поэтъ едва ли много преувеличивалъ, говоря, что въ послъднія 5 или 10 лътъ александровскаго царствованія онъ имълъ на все сословіе литераторовъ гораздо болъе вліянія, чъмъ министерство народнаго просвъщенія, несмотря на неизмъримое неравенство средствъ. Цензура — это больное мъсто литературы того времени —

составляеть предметь постояннаго, хоть иногда и невольнаго, вниманія Пушкина. Еще въ самомъ раннемъ изъ напечатанныхъ его стихотвореній, въ посланіи "Къ другу стихотворцу" (1814 г.), поэтъ, предостерегая своего друга отъ литературныхъ увлеченій, совътуетъ ему брать примъръ съ человъка, не чувствующаго охоты къ стихамъ и не гуляющаго "по высотамъ Парнасса": такой человъкъ счастливъ, между прочимъ, уже и потому, что "его съ перомъ въ рукахъ Рамаковъ не стращитъ". Въ имени Рамакова слъдуетъ кажется, видъть анаграмму: "Мараковъ" и намекъ на марающую цензуру. Въ пъсенкъ "Noel", въ числъ сказокъ, которыя разсказываетъ "отецъ", есть объщанія и насчетъ цензоровъ:

Лаврову дамъ отставку, А Соца — въ желтый домъ...

Имена Бирукова "Грознаго", Тимковскаго, впоследствіи Красовскаго, имевшія роковое значеніе для нашихъ писателей 20-хъ годовъ, можно сказать, не сходять у Пушкина съ языка:

> Поклонникъ правды и свободы, Бывало, что ни напишу, Все для иныхъ, "не Русью пахнетъ", — О чемъ цензуру ни прошу, Ото всего Тимковскій ахнетъ...

"Пишу теперь новую поэму... Бируковъ ен не увидитъ, за то, что онъ фи — дитя, блажной дитя" (VII, 59). "Цензура наша такъ своенравна, что съ нею невозможно и размърить круга своего дъйствія. Лучше объ ней и не думать" (VII, 56). "Богатая мысль — напечатать "Наполеона": да цензора... лучшія строфы потонутъ" (VII, 122). "Vale sed delenda est censura" (VII, 31).

Мелочныя придирки причиняли много непріятностей всъмъ писателямъ, но Пушкину въ особенности, потому что за нимъ, какъ за человъкомъ, явно неблагонадежнымъ, пензура считала нужнымъ смотръть внимательнъе, чъмъ за другими. Подозрительность ея простиралась даже на отдъльныя слова: такъ, напримъръ, ей не нравилось слово "вольнолюбивый", несмотря на то, что, по замъчанію Пушкина, "оно такъ хорошо выражаетъ нынъшнее libéral, и притомъ слово прямо русское" (VII, 24); не допускалось, въ стихотвореніи о земной

любви, выраженіе: "небесный пламень" (VII, 33). "Въ Кавказскомъ Плънникъ" Бируковъ ни за что не соглашался пропустить два стиха о черкешенкъ:

Не много радостныхъ ночей Судьба на долю ей послала.

находя ихъ крайне неприличными и требуя, чтобы было напечатано: "Немного радостныхъ ей дней судьба на долю ниспослада". Такъ и напечатали въ первомъ изданіи поэмы, несмотря на возраженія Пушкина, что нельзя сказать ей дней въ концъ стиха, и что днемъ черкешенка не видалась съ плънникомъ. И чъмъ же ночь неблагопристойнъе дня — спрашиваль поэть. — Которые изъ 24 часовъ именно противны духу нашей цензуры?" (VII, 53). Эти и другія подобныя придирки неръдко вызывали у Пушкина очень энергическія выраженія и заставляли его даже скрывать отъ цензуры свое имя; стихи его часто представлялись въ цензуру его друзьями, выдававшими за свои, и печатались безъ подписи: "старушку можно и обмануть, - писаль поэть Бестужеву (VII, 32): не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого угодно; главное дёло въ томъ, чтобы имя мое до нея не дошло, и все будеть слажено". Такимъ образомъ, поэтъ въ самомъ дёлё былъ "послёднихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ", если для того, чтобы сберечь нъсколько лишнихъ строчекъ въ томъ или другомъ стихотвореніи, ему приходилось отказываться даже отъ своего имени. Припомнимъ наконецъ, его знаменитое "Первое посланіе къ цензору", въ которомъ онъ такъ ярко изобразилъ печальное положеніе литературы и такъ энергично заявилъ требование просвъщеннаго писателя (I, 365):

На поприща ума нельзя намъ отступать.

Но вотъ, въ 1824 году, во главъ министерства народнаго просвъщенія становится человътъ, который хотя и слыветъ старовъромъ, но высказываетъ ръшимость разорвать съ прошедшимъ и энергически приняться за новое дъло. При всей исключительности взглядовъ и понятій Шишкова, онъ отличался неподкупною честностью своихъ убъжденій и, несмотря на крайнее, зловъщее раздраженіе обскурантовъ противъ пишущей братіи, требовалъ огражденія литературы отъ не-

въжественнаго произвола ея суровыхъ опекуновъ. "Необходимо нужно, — говорилъ онъ, чтобы цензура составлена была изъ немалаго круга людей ученыхъ, честныхъ, благоразумныхъ, отъ которыхъ бы никакіе цвъты не закрыли змъю и, напротивъ, простая травка не казалась бы имъ змъиными жалами... Слабая цензура будетъ пропускать вредныя внушенія, а строгая — не дастъ говорить ни уму ни правдъ. Не довольно имъть строгую цензуру, но надобно, чтобы она была умная и осторожная".

Подобныя мысли, естественно, располагали представителей тогдашней литературы въ пользу ветерана-писателя, которому было ввърено главное управление цензурою. Пушкинъ, во второмъ посланіи къ цензору, указывая на "Наказъ" Екатерины, какъ на лучшій законъ для цензуры, горячо привътствоваль Шишкова именно какъ уцълъвшаго свидътеля екатерининскаго времени, и вслъдъ за нимъ повторялъ своему оффиціальному цінителю: "Будь строгь, но будь умена". Но, соглашаясь, что Шишковъ оживилъ нашу литературу, Пушкинъ, въ то же время, не могъ скрыть своего недовърія къ ея силамъ. "Жаль, -- говоритъ онъ: la coupe était pleine. Бируковъ и Красовскій невтерпежъ были глупы, своенравны и притъснительны. Это долго не могло продолжаться... Я и радъ, и нътъ. Давно девизъ всякаго русскаго есть: чюма хуже, тюма лучше. Оппозиція русская, составившаяся изъ нашихъ писателей, какихъ бы то ни было, приходила уже въ какое-то нетеривніе, которое я исподтишка поддразниваль, ожидая чего-нибудь. А теперь какъ позволять NN говорить своей любовницъ, что она божественна, что у ней очи небесныя и что любовь есть священное чувство, - вся эта сволочь опять утомится, журналы пойдуть врать своимъ чередомъ, чины своимъ чередомъ, Русь своимъ чередомъ"... (VII, 79, 81).

Въ самомъ дълъ, трудно было надъяться на силы этой литературы, въ которой еще все нужно было творить, начиная съ языка и слога, и которой еще не доставало самосознанія въ видъ критики.

"Мы не имъемъ ни единаго комментарія ни единой критической книги", — писалъ Пушкинъ въ 1825 году. "Литература кой-какая у насъ есть, а критики — нътъ". Эти слова въ примъненіи къ тъмъ жидкимъ и безсодержательнымъ обзорамъ "россійской словесности", какіе появлялись въ журналахъ двад-

цатыхъ годовъ, были совершенно справедливы, такъ какъ авторы этихъ обзоровъ стояли очень далеко позади летературнаго движенія. Представители стариннаго классицизма, строгіе дитературные формалисты, ополчались на Пушкина за то, что онъ сразу и такъ ръшительно отказался отъ преданій школьной пінтики: они видёли въ немъ главу новаго литературнаго направленія, — того нечестиваго "романтизма", отрицающаго пригодность тёсныхъ рамокъ творчества, который казался имъ порожденіемъ сатанинскаго, революціоннаго духа. Нежеланіе подчинять поэтическое вдохновеніе мелочнымъ правиламъ допотопной "науки стихотворства" было въ глазахъ многихъ людей едва ли не равносильно отрицанію всякихъ правилъ общественнаго порядка, т.-е. — полной нравственной распущенности, при которой, говоря словами одного изъ литературныхъ старовъровъ, поэзія обращается въ вертепъ разбойниковъ. Упорно замыкаясь въ тесномъ кругу отжившихъ теорій, критика 20-хъ годовъ, закоснълая въ сухомъ школьномъ педантизмъ, продолжала твердить литературные зады и послъдовательно договаривалась до положеній самыхъ комическихъ. Дальше чисто-формальной, внъшней точки зрънія она и не хотъла ничего видъть, да и не могла ничего разглядъть, и молодыя литературныя силы, сплотившіяся вокругь Пушкина (князь Вяземскій, А. Бестужевъ и др.), только напрасно тратили свое остроуміе на полемику въ защиту новаго литературнаго направленія въ защиту свободы поэтическаго творчества. Литературные "отцы и дъти" говорили на разныхъ языкахъ; они слишкомъ далеко расходились между собою въ воззръніяхъ на литературу — и какое бы то ни было соглашеніе представлялось, очевидно, невозможнымъ. Высокое художественное значение поэзіи Пушкина, точно такъ же какъ и его идеи, оставалось непонятнымъ и неоцененнымъ; поэтъ былъ совершенно правъ, говоря, что "у насъ критика не имъеть никакой самостоятельности, и почти никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній"; она "можетъ представить нъсколько отдёльныхъ статей, исполненныхъ свётлыхъ мыслей и важнаго остроумія"; но эти статьи "являлись отдёльно, на разстояніи одна отъ другой, и не получили еще въса и постояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспъло". Какъ на характерную особенность литературныхъ сужденій своего времени, Пушкинъ указываетъ на отсутствіе общихъ руководящихъ началъ и на бездоказательность: "Критики наши говорять обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно. Отсель ихъ никакъ не выманишь" (V, 108—112). Нътъ сомнънія, что русскіе читатели того времени въ отношеніи къ литературъ стояли далеко впереди критики, и своимъ непосредственнымъ чутьемъ умѣли цънить выдающіяся произведенія гораздо върнъе своихъ журнальныхъ руководителей. То же явленіе повторилось, какъ мы увидимъ впослъдствіи, и въ 30-хъ годахъ, когда Пушкинъ выступилъ уже во всей силъ и зрълости своего генія, когда онъ явился, во главъ блестящей плеяды молодыхъ писателей, творцомъ нашей новой литературы, и когда остатки прежнихъ отжившихъ теорій были практически уже совершенно упразднены изъ литературнаго обихода.

При такомъ положении нашей критики, Пушкинъ, конечно, имъть право не считаться съ ея мнъніями и требованіями, не обращать на нихъ серіознаго вниманія, и если отвъчаль своимъ "журнальнымъ пріятелямъ", то только эпиграммами. Гораздо внимательные относится онъ къ русской литературъ, никогда не теряя въры въ ея будущее. Однимъ изъ важныхъ залоговъ будущаго развитія считаль онъ отсутствіе въ нашей литературъ той приниженности и лести, какою характеризуется, напримъръ, литература французская, про которую Пушкинъ говориль, что она "родилась въ передней". — "Мы можемъ праведно гордиться, — писаль онъ Бестужеву: наша словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, темъ передъ ними отличается, что не носить на себъ печати рабскаго униженія... Наши таланты благородны, независимы... О нашей лиръ можно сказать, что Мирабо сказаль о Ciecъ: son silence est une calamité publique (VII, 127).

Независимость — воть что больше всего цвниль Пушкинь въ писатель и чего онъ требоваль отъ литературы вмъсть съ признаніемъ свободы поэтическаго творчества. Но для того, чтобы писатель могъ быть свободенъ и независимъ въ своей дъятельности, необходимо, чтобы литература пріобръла самостоятельное положеніе, чтобы она перестала быть пріятнымъ препровожденіемъ времени "въ досужные отъ занятій часы", и сдълалась бы жизненнымъ дъломъ и источникомъ существованія для цълаго класса людей, всецьло отдающихъ ей свои силы.

Наша литература 20-хъ годовъ еще очень далека была отъ такой самостоятельности. "Не должно русскихъ писателей судить какъ иноземныхъ, - говоритъ Пушкинъ: тамъ пишутъ для денегь, а у насъ, кромъ меня, — изъ тщеславія. Тамъ ъсть нечего, такъ служи, да не сочиняй" (VII, 171). Расширить кругъ читателей, вызвать въ обществъ интересъ къ литературъ, поставить ее, какъ службу общественную, наряду съ службой государственной, которая одна только и признавалась въ то время серіознымъ деломъ, — вотъ въ чемъ видълъ Пушкинъ ближайшую цъль литератора и, высоко цъня это званіе, самъ прежде другихъ и больше другихъ старался содъйствовать возвышенію литературы. Изъ всёхъ нашихъ писателей до Пушкина одинъ только Карамзинъ можетъ быть названъ литераторомъ въ нынъшнемъ значени слова, потому что онъ посвятилъ себя исключительно литературному и научному труду, отъ котораго и получалъ средства къ жизни; онъ первый высказаль мысль, что литература есть такое же серіозное и полезное занятіе, какъ и служба государственная, и вмъстъ съ тъмъ, по выраженію Пушкина, "показаль опытъ торговыхъ оборотовъ въ литературъ". Пушкинъ въ этомъ отношеніи явился прямымъ продолжателемъ Карамзина: подобно Карамзину, онъ считалъ авторство единственнымъ своимъ занятіемъ, своими произведеніями значительно увеличиль число читателей и, смотря на литературу, какъ на великую силу образовательную, въ то же время видълъ въ ней и "видъ частной промышленности, покровительствуемой законами" (VII, 279). Это покровительство законовъ должно прежде всего выражаться въ огражденіи права литературной собственности, которое, по отношенію въ Пушкину, очень часто и самымъ безцеремоннымъ образомъ нарушалось. Не говоря уже о мелкихъ стихотвореніяхъ, которыя безнаказанно перепечатывались "альманашниками" со списковъ, часто искаженныхъ, одинъ чиновникъ III Отдъленія преспокойно перепечаталь всего "Кавказскаго Плънника", прибавивъ къ поэмъ нъмецкій переводъ; Пушкинъ лишился такимъ образомъ трехъ тысячъ рублей, и нигдъ не могъ найти управы на своевольнаго контрафактора. "Это быль, — говорить поэть — первый примъръ плутовства". За исключеніемъ "Исторіи" Карамзина, которой 3000 экземпляровъ было раскуплено въ одинъ мъсяцъ, ни одно сочинение не вызвало на нашемъ книжномъ рынкъ такого

спроса, какъ произведенія Пушкина; такимъ образомъ, онъ практически содъйствоваль и оживленію книжной торговли, и установленію понятія о литературной собственности. "Ради Бога, не думайте, — говорилъ онъ, — чтобъ я сталъ смотръть на стихотворство съ дътскимъ тщеславіемъ риомача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человъка; оно - просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, составляющая мнъ пропитание и домашнюю независимость... Кромъ независимости, я ничего не желаю, и увъренъ, что, при помощи мужества и терптнія, въ концт концовъ добьюсь ея. Я побороль въ себъ неохоту писать стихи для продажи; самый важный шагь, такимъ образомъ, уже сдъланъ. Правда, я пишу подъ капризнымъ вліяніемъ вдохновенія; но разъ стихи написаны, - я смотрю на нихъ уже только какъ на товаръ, по стольку-то за штуку, и не понимаю, отчего друзья мои этимъ смущаются... Мнъ надобло зависъть отъ хорошаго или дурного пищеваренія того или другого начальника, — я хочу принадлежать самому себъ... " (VII, 77). "Смущеніе" друзей Пушкина объясняется необычностью высказаннаго имъ взгляда на литературный трудъ, какъ на серіозную работу, которая должна быть оплачиваема. Они не могли понять, отчего Пушкинъ сердится на распространеніе его поэмъ въ рукописи раньше ихъ появленія въ печати; имъ казался страннымъ тонъ, какимъ дълалъ поэтъ свои предложенія журналистамъ: "Хотите ли вы у меня купить весь кусокъ поэмы ("Кавказскій Плънникъ")? Длиною въ 800 стиховъ, стихъ шириною — четыре стопы; разръзано на двъ пъсни. Дешево отдамъ, чтобы товаръ не залежался" (VII, 25). Въ то время писатели почти не знали гонорара, да и заводить о немъ ръчь считали неприличнымъ, говоря, что цънить вдохновеніе на деньги значить унижать драгоденный даръ божества. Пушкинъ первый посмотрель на дело съ практической точки зренія и прямо указаль, что вдохновенное творчество — само по себъ, а печать и книжная торговля — сами по себъ: и не только онжом,

> Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать, —

но и должно, потому что писатель такимъ образомъ удовлетворяетъ спросу публики, даетъ доходъ книгопродавцу и прі-

обрътаетъ средства, доставляющія ему независимость. Всъ эти положенія, теперь уже для всякаго азбучныя, въ то время нужно было еще серіозно доказывать и отстаивать, — и заслуга Пушкина въ этомъ отношеніи не подлежитъ спору. Онъ практически показаль, что русскій писатель имѣетъ возможность добиться независимаго и почетнаго положенія въ обществъ внъ той узкой служебной сферы, которая въ тъ времена считалась единственно возможнымъ поприщемъ дъятельности. Онъ сознаваль, что для того, чтобы представители литературы могли упрочить за собою такое положеніе, необходимо прежде всего поднять уровень самой литературы и усилить интересъ къ ней въ обществъ, а слъдовательно, — сдълать это общество болъе просвъщеннымъ, развить въ немъ умственныя потребности. Въ этомъ и видъль Пушкинъ ближайшую задачу русскаго писателя.

Такимъ образомъ, прежній романтически-мечтательный идеалъ "просвъщенной свободы" мало-по-малу принимаетъ для поэта опредъленныя очертанія, осязательную форму, соотвътствующую насущнымъ, жизненнымъ потребностямъ русской дъйствительности; и высокая цъль, и средства для ея достиженія все болье выясняются.

При такомъ взглядъ на положение и значение поэта, Пушкинъ, конечно, не могъ ужиться съ графомъ Воронцовымъ, который не хотвлъ видъть въ немъ ничего другого, кромъ коллежского секретаря, своего подчиненного, присланного на югь для исправленія, и нерадиваго къ служебнымъ обязанностямъ. Положение Пушкина въ Одессъ становилось все болье и болье тяжелымъ. Онъ, по собственнымъ его словамъ, "карабкался", просился хоть на нъсколько мъсяцевъ въ Петербургъ, - но получилъ ръшительный отказъ. "О, други, Августу мольбы мои несите!" говорить онъ въ письмъ къ брату, повторяя свой стихъ изъ посланія къ Овидію, — и тутъ же прибавляетъ: "но августъ смотритъ сентябремъ" (VII, 43). "Ты не приказываешь жаловаться на погоду — въ августв мъсяцъ, — такъ и быть; а въдь непріятно сидъть взаперти, когда гулять хочется" (VII, 48). Въ началъ 1824 года у поэта явилась даже мысль о побъгъ за границу: "Осталось одно, говорить онъ: писать прямо на его имя — такому-то въ З. Дв., что напротивъ П. Кр., не то - взять тихонько трость и шляпу и повхать посмотръть Константинополь. Святая Русь мив становится невтерпежъ"... То же мы видимъ и въ строфахъ первой главы "Онъгина".

Придеть ли чась моей свободы? Пора, пора! взываю къ ней... Пора покинуть скучный брегь Мнв непріязненной стихіи, И средь полуденных выбей, Подъ небомъ Африки моей, Вздыхать о сумрачной Россіи...

Но исполнению этого плана помъщала — любовь:

Могучей страстью очаровань, У береговъ остался я...

Эта же могучая страсть, недолго оставившая слёдъ въ душт поэта, повидимому, ускорила и перемтну въ его судьбт. Личныя отношенія Пушкина къ графу Воронцову сдтались совствить невозможными, и поэтъ долженъ былъ отправиться "въ далекій стверный утздъ".

Морозобт.

Въ сопровождении своего върнаго Никиты, въ русской рубашкъ и поярковой шляпъ, имъя въ карманъ видъ на свободный проъздъ и рекомендательное письмо гр. Каподистрій къ Инзову, мчался Пушкинъ на перекладныхъ по Бълорусскому тракту. Дорога длилась около десяти дней, и 16-го или 17-го мая онъ прибылъ къ мъсту своего назначенія, въ городъ Екатеринославъ, гдъ находился новый его начальникъ, генералъ-лейтенантъ Иванъ Никитичъ Инзовъ. Сердечная доброта и дружеское участіе, съ какими принялъ этотъ достойный человъкъ молодого изгнанника, въ значительной мъръ облегчили послъднему первыя тяжелыя минуты ссылки въ бъдномъ городкъ, какимъ былъ Екатеринославъ.

Счастливое стеченіе обстоятельствъ избавило Пушкина отъ долгаго пребыванія въ уныломъ провинціальномъ захолустьъ: черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ, катаясь въ лодкѣ по Днѣпру, онъ выкупался и схватилъ горячку. Одинокій, забытый всѣми, кромѣ старика Никиты, въ бреду, безъ лѣкаря, за кружкой оледянѣлаго лимонада лежалъ больной поэтъ въ грязной жидовской хатѣ, гдѣ пріютился на время, пріѣхавъ въ Екатеринославъ. Въ такомъ положеніи нашелъ его молодой Раевскій,

знавшій его еще въ то время, когда онъ изъ Лицея хаживаль, на пирушки гусарскихъ офицеровъ, стоявшихъ въ Царскомъ Сель, и уже имъвшій случай оказать ему какія-то важныя услуги. Этотъ Раевскій быль младшимъ сыномъ знаменитаго героя отечественной войны, генерала Николая Николаевича Раевскаго, извъстнаго тъмъ, что въ сражени при Салтановкъ онъ вывель на поле битвы двухъ малолетнихъ сыновей своихъ, Александра и Николая, того самаго, о которомъ идетъ рвчь. Генераль Раевскій, проважая съ семействомъ на Кавказъ, остановился на нъсколько дней въ Екатеринославъ, и туть-то сынь его и разыскаль больного пріятеля. Старикъ Раевскій быль человъкъ образованный; онъ быль хорошо знакомъ съ отечественною словесностью, чъмъ болъе всего обязанъ своимъ сношеніямъ съ поэтами Давыдовымъ и Батюшковымъ, и умълъ цвнить литературныя заслуги. Онъ былъ радъ оказать помощь больному поэту и съ удовольствіемъ согласился на предложение сына взять Пушкина съ собою на Кавказъ. Со стороны Инзова препятствій не встрътилось. Добрый старикъ, не колеблясь, даль своему чиновнику отпускъ и приняль на себя отвътственность за такое потворство, которое могло весьма не понравиться въ Петербургъ. Сборы были не долги, и путешественники тронулись въ путь.

Общество, къ которому присоединился Пушкинъ, состояло, кромѣ самого генерала и его сына, о которыхъ уже говорено, еще изъ двухъ сестеръ послъдняго, четырнадцатилътней Марьи Николаевны и Софъи Николаевны, бывшей еще ребенкомъ, и медика Рудыковскаго. При дъвочкахъ находилась гувернантка-англичанка и компаньонка. Перемъна мъста, разнообразіе впечатлъній и заботы доктора благопріятно отразились на здоровьъ Пушкина: въ теченіе недъли онъ оправился совершенно, и единственнымъ слъдомъ перенесенной горячки осталась обритая голова, для прикрытія которой онъ носилъ ермолку или молдаванскую феску.

Въ началъ іюня, въ Пятигорскъ къ путешествующему обществу присоединился старшій сынъ Раевскаго, Александръ Николаевичь, отставной гвардейскій полковникъ. Знакомство съ этою выдающеюся личностью произвело на Пушкина сильное впечатлъніе. Оригинальный, скептическій умъ, безпощадность сарказма и кажущаяся цъльность и законченность міровоззрънія придавали Александру Раевскому какое-то обаяніе,

противъ котораго не могли устоять даже люди, менъе Пушкина склонные подчиняться чужому вліянію. О направленіи ума его лучше всего можно судить по тому, что многіе изъ современниковъ думали узнать портретъ Раевскго въ пушкинскомъ "Демонъ". Слъдуетъ замътить, что Раевскому обязанъ Пушкинъ ближайшимъ знакомствомъ съ Байрономъ, котораго до тъхъ поръ зналъ только понаслышкъ. Нътъ ничего удивительнаго, что самая личность Раевскаго, при эффектномъ освъщении Байроновой поэзіи, производила на нашего поэта какое-то подавляющее дъйствіе. Онъ считаль своего друга человъкомъ недюжиннымъ, предсказывалъ ему будущность, выходящую изъ ряда обыкновенныхъ, и безпрекословно покорялся его вліянію. Два мъсяца, проведенные на Кавказъ, въ постоянныхъ бесъдахъ съ Александромъ Раевскимъ, въ обществъ его брата и отца, въ которомъ Пушкинъ не только чтилъ героя, славу русскаго войска, но и любилъ человъка безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ, яснымъ умомъ и простою прекрасною душой, - эти два мъсяца навсегда остались для Пушкина однимъ изъ самыхъ поэтическихъ воспоминаній его жизни. Новизна обстановки увеличивала прелесть путешествія; величавая красота Кавказа, своеобычная жизнь полудикихъ народовъ, постоянный отголосокъ недалекой войны, многочисленные конвои, свидетельствующе о близкой опасности, - все нравилось мечтательному воображенію поэта и давало ему массу впечатлъвій, которыя до поры до времени укладывались въ его памяти.

Окончивъ курсъ дъченія у подножія Бештау, Раевскіе, кромъ Александра, оставшагося на Кавказъ, отправились на южный берегъ Крыма, и поэтъ нашъ послъдовалъ за ними. Дорогой посътилъ онъ развалины Митридатова гроба и видъль остатки Пантикапеи. Изъ Керчи путешественники наши поъхали моремъ вдоль южнаго роскошнаго берега Крыма въ Гурзуфъ, гдъ находилось семейство Раевскаго. Корабль плылъ въ виду горъ, покрытыхъ тополями, виноградомъ, даврами и кипарисами; вездъ мелькали татарскія селенія. Наконецъ, показался Гурзуфъ. "Гурзуфъ есть очаровательный уголокъ южнаго крымскаго берега, нынъ извъстный богатыми виноградниками. Онъ лежитъ на восточной оконечности южнаго берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Горы небольшимъ полукругомъ облегаютъ тамошнее море. Съ съвера его

загораживаетъ Чатырдагъ; съ востока Аюдагъ заслоняетъ отъ палящихъ лучей солнца; оттого въ Гурзуфъ такой превосходный, умъренный климатъ и такая роскопъ растительности... Гурзуфъ расположенъ на скатъ. Лучшая дача принадлежала тогда бывшему одесскому генералъ-губернатору герцогу Ришелье, который и предложилъ ее на лътнее житъе своему товарищу по военной службъ, генералу Раевскому. Это былъ довольно большой двухъэтажный домъ, съ двумя балконами, однимъ на море, другимъ въ горы, и съ общирнымъ садомъ. Кругомъ и ближе къ морю разбросана татарская деревушка".

Въ Гурзуфъ нашихъ путниковъ ожидали остальные члены семейства Раевскаго: супруга его, Софья Алексвевна, и двъ дочери — Екатерина Николаевна, о которой Пушкинъ писалъ брату, что она женщина необыкновенная, и скромная, серіозная шестнадцатильтняя красавица, Елена Николаевна. Въ Гурзуфъ Пушкинъ провелъ три недъли. Дружеское отношеніе къ нему всъхъ спутниковъ и спутницъ, серіозныя бесъды съ Екатериной Николаевной о литературъ, съ самимъ генераломъ, живымъ памятникомъ Екатерининскаго въка, — объ отечественной исторіи, изученіе англійскаго языка съ помощью младшаго Раевскаго, прогулки, катанья и другія развлеченія въ веселомъ и умномъ обществъ — все это навсегда оставило въ Пушкинъ самое отрадное воспоминаніе.

Въ Гурзуфъ же его посътила любовь. Имя той, которая возбудила это чувство, осталось неназваннымъ; поэтъ сумълъ сберечь любовь свою отъ постороннихъ взоровъ, и о предметь ея можно только догадываться. Любовь эта идеальная и чистая, безъ надежды, безъ бурныхъ порывовъ, ясная и спокойная, не помрачала того безмятежнаго счастія, которымъ наслаждался Пушкинъ въ Гурзуфъ. "Суди, былъ ли я счастливъ", пишетъ онъ брату изъ Кишинева отъ 24-го сентября: "свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которою никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображеніе, - горы, сады, море; другь мой, любимая моя надежда — увидъть опять полуденный берегь и семейство Раевскаго"... То же настроение звучить и въ письмъ къ Дельвигу: "Я тотчасъ привыкъ къ полуденной природъ", пишеть онъ, "и наслаждался ею со всемь равнодущиемъ и безпечностью неаполитанскаго lazzaroni. Я любиль, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цълые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое утро я посъщаль его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество".

Кипарисъ этотъ пережилъ Пушкина. Онъ существуетъ до сихъ поръ, и жители Гурзуфа почтили память поэта трогательнымъ преданіемъ, донынъ переходящимъ изъ устъ въ уста. Они разсказываютъ, что когда поэтъ приходилъ посидъть подътънью любимаго дерева, то прилеталъ соловей и пълъ ему свои пъсни. Поэтъ уъхалъ, но соловей продолжалъ ежегодно прилетатъ на прежнее мъсто. Когда же Пушкина не стало, умолкъ и соловей на вътвяхъ кипариса.

Изъ Гурзуфа старикъ Раевскій съ сыномъ увхалъ раньше жены и дочерей. Пушкинъ тоже присоединился къ нимъ. Остальные члены семьи Раевскаго, остававшіеся на время въ Гурзуфъ, нагнали ихъ на пути. Проважая Бахчисарай, вновь соединившееся общество осматривало остатки ханскаго дворца, гдъ испорченный фонтанъ и развалины гарема особенно привлекли вниманіе поэта; затъмъ всъ вмъстъ тронулись въ обратный путь. Пушкинъ проводилъ своихъ друзей до с. Каменки, Кіевской губ., гдъ жила мать генерала Раевскаго, по второму мужу Давыдова, съ двумя сыновьями своими отъ второго брака, Александромъ и Василіемъ Львовичами.

Въ Каменкъ Пушкинъ долго оставаться не могъ; пора было возвратиться къ Инзову. Онъ распростился съ милымъ семействомъ, къ которому усиълъ всею душой привязаться, и отправился къ мъсту своего служенія, увозя тоску разлуки въ сердиъ, а въ головъ — богатый запасъ поэтическаго матеріала.

Покуда Пушкинъ странствоваль по Кавказу и Крыму, имя его гремъло въ объихъ столицахъ. Причиной этого было появленіе въ свътъ "Руслана и Людмилы". Уъзжая изъ Петербурга, онъ не успъль окончить печатаніе своей поэмы изоставиль ее на попеченіе своего брата Льва, который въ то время быль еще въ благородномъ пансіонъ при педагогическомъ институтъ, и его товарища С. А. Соболевскаго. Въ хлопотахъ по изданію юношамъ помогали А. Н. Оленинъ и Н. И. Гнъдичъ. Общими стараніями поэма была издана, и появилась въ свътъ во второй половинъ мая 1820 года, когда авторъ ея уже быль далеко. Публика приняла "Руслана и Людмилу"

съ восторгомъ; очарованная роскошью фантазіи и живою прелестью разсказа, она упивалась дивною причудой молодого генія, не мудрствуя дукаво о томъ, къ какому роду произведеній следуетъ причислить эту литературную новость. Не такъ отнеслась критика. Поклонники старины пришли въ ужасъ и разразились негодованіемъ; горячіе нападки вызвали не менъе горячую защиту; завязалась ожесточенная борьба, до виновника которой долетали только слабые ея отголоски.

А онъ, между тъмъ, изъ Каменки проъхалъ въ Кишиневъ; во время его отсутствія былъ переведенъ и Попечительный комитеть о колонистахъ южнаго края. Причиной этого перевода было назначеніе Инзова намъстникомъ Бессарабской области, что и побудило его переселиться на жительство въ Кишиневъ. Пушкинъ былъ очень доволенъ этою перемъной, такъ какъ Кишиневъ съ его многочисленнымъ пестрымъ населеніемъ и своебразною жизнью въ сравненіи съ безлюднымъ Екатеринославомъ представлялъ несравненно болъе интереса для молодого человъка, привыкшаго къ обществу.

Двадцать перваго сентября прибыль Пушкинь въ Кишиневъ и пріютился въ мазанкъ русскаго переселенца, Ивана Николаева. По прівздв въ Кишиневъ Пушкинъ сразу очутился въ кругу совершенно незнакомыхъ личностей. Но природная общительность характера вывела его изъ этого затрудненія, и онъ очень скоро перезнакомился и освоился съ окружающими. Первымъ поводомъ къ сближенію были служебныя отношенія. Съ непосредственнымъ начальникомъ своимъ, Иваномъ Никитичемъ Инзовымъ, Пушкинъ познакомился еще въ Екатеринославъ и, несмотря на кратковременность этого знакомства, имъль уже случай испытать на себъ его доброту и чисто отеческую заботливость. Теперь онъ узналь его еще ближе и могъ оцънить эту достойную личность. Инзовъ былъ человъкъ образованный и начитанный; разговоръ его не быль блестящь, но зато отличался привътливостью, привлекавшею къ нему всъхъ. Неподкупная честность, прямота характера, простота и мягкость въ обращении, соединявшаяся съ прекрасною душой, всегда готовою на всякое доброе дъло, заслужили ему всеобщую любовь и уважение. Пушкинъ нашелъ въ Инзовъ не строгаго начальника, но заботливаго друга, который, понявъ добрымъ сердцемъ своимъ всю тягость несо-

размърнаго винъ наказанія, всьми силами старался облегчить участь молодого изгнанника. Онъ помъстиль его въ одномъ домъ съ собою, ходатайствовалъ за него передъ начальствомъ, дозволялъ ему на свой страхъ отлучки изъ Кишинева и всегда старался затушить въ самомъ началъ многочисленныя исторіи, которыя безъ его вмъшательства могли бы сильно повредить опальному поэту. Благодаря Инзову, много проказъ и шалостей Пушкина сходило ему съ рукъ безъ всякихъ послъдствій, кромъ снисходительныхъ выговоровъ добраго старика, который при этомъ часто говариваль: "свернуть тебъ голову, Александръ Сергъевичъ!" Трогательнымъ памятникомъ отеческаго къ Пушкину отношенія Инзова осталось письмо его къ Константину Яковлевичу Булгакову, писанное еще изъ Екатеринослава по поводу поъздки Пушкина на Кавказъ: "Милостивый государь мой, Константинъ Яковлевичъ", пишеть онъ: "доставленныя отъ васъ тысячу рублей для г. Пушкина я получиль, которыя къ нему отправлю на кавказскія воды. Разстроенное его здоровье въ столь молодыя лъта и непріятное положеніе, въ коемъ онъ по молодости находится, требовали, съ одной стороны, помощи, а съ другой, безвредной разсъянности, а потому отпустиль я его съ генераломъ Раевскимъ, который въ проъздъ свой туда чрезъ Екатериславъ охотно взялъ его съ собою. При оказіи прошу сказать объ ономъ графу Ивану Антоновичу Каподистріи. Я надъюсь, что за сіе меня не побранить и не назоветь баловствомъ; онъ малый, право, добрый, жаль только, что скоро кончилъ журсъ наукъ; одна ученая скорлупа останется навсегда скордупою... " Не меньшимъ доброжелательствомъ дышитъ письмо Инзова, написанное нъсколько позже (28 апръля 1821 г.) въ отвътъ на запросъ гр. Каподистріи о поведеніи Пушкина: "Милостивый государь, графъ Иванъ Антоновичъ! На почтеннъйшій отзывъ вашего сіятельства отъ (14). 26 апръля, я пріемлю честь увъдомить васъ, милостивый государь, что присланный ко мнъ изъ С.-Петербурга коллежскій секретарь Пушкинъ, живя въ одномъ со мною домъ, ведетъ себя хорошо и, при настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ, не оказываетъ никакого участія въ сихъ дёлахъ. Я заняль его переводомъ на русскій языкъ составленныхъ по-французски молдавскихъ законовъ, и тъмъ, равно другими упражненіями по службъ, отнимаю способы къ праздности... Въ бытность его въ столицъ онъ пользовался отъ казны 700 рублями на годъ; но теперь, не получая сего содержанія и не имъя пособій отъ родителя, при всемъ возможномъ отъ меня вспомоществовании, терпитъ, однакожъ, иногда недостатокъ въ приличномъ одънни. По сему уважению я долгомъ считаю покорнъйше просить распоряженія вашего, милостивый государь, къ назначенію ему отпуска здёсь того жалованья, какое онъ получаль въ С.-Петербургъ"... Пушкинъ съ своей стороны платилъ Инзову самою искреннею привязанностью и уваженіемъ. Въ запискахъ его находимъ нъсколько строкъ, посвященныхъ благодарному воспоминанію о добромъ начальникъ: "Инзовъ меня очень любилъ", пишетъ онъ, "и за всякую ссору съ молдаванами объявляль мнъ комнатный арестъ и присылаль мив — скуки ради — французскіе журналы... Генералъ Инзовъ — добрый, почтенный... Онъ русскій въ душь. Онъ не предпочитаетъ перваго англійскаго шелопая своимъ соотечественникамъ. Онъ довъряетъ благородству чувствъ, потому что самъ имъетъ ихъ; не боится насмъщекъ, потому что выше ихъ, и никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что онъ со всеми вежливъ"...

Знакомство Пушкина съ кишиневскимъ обществомъ началось съ его сослуживцевъ — чиновниковъ канцеляріи Инзова.

Кишиневское общество, столь разнообразное по своему составу и столь оригинальное по образу своей жизни, нравилось молодому поэту.

Противовъсомъ пошлости и пустотъ кишиневской жизни является для Пушкина военный кружокъ, состоявшій изъ людей образованныхъ и умныхъ, изъ которыхъ многіе имъли

весьма серіозное вліяніе на нашего поэта.

Общество этихъ образованныхъ и серіозныхъ людей имѣло на Пушкина благотворное вліяніе. Здѣсь затѣвались горячіе споры и затрогивались серіозные вопросы. Слѣдствіемъ постояннаго общенія съ людьми образованными было то, что Пушкинъ яснѣе сознавалъ всю несостоятельность своего собственнаго образованія и, движимый отчасти самолюбіемъ, отчасти природною любознательностью, усиленно старался пополнить пробѣлы своихъ знаній. По свидѣтельству офицера Липранди, для этой цѣли онъ прибѣгалъ даже къ хитрости: если разговоръ касался предмета, мало ему извѣстнаго, онъ тотчасъ же вмѣшивался въ споръ и искусно поставленными вопросами заставляль своего собесѣдника высказываться о

томъ, что его интересовало. Помимо этой уловки, онъ обращался и въ внигамъ. Послъ всяваго интереснаго спора, онъ доставаль себъ сочинение, трактующее о затронутомъ вопросъ. и прочитываль его самымъ внимательнымъ образомъ. Въ этомъ стремленіи къ самообразованію особенно поддерживали Пушкина А. Ө. Вельтманъ и В. Ө. Раевскій, преимущественно послъдній. Ни съ къмъ не спориль Пушкинь такъ горячо, какъ съ нимъ, и никто лучше его не умълъ натолкнуть поэта на глубокіе вопросы жизни, политики и искусства. Слъдствіемъ всего этого было то, что Пушкинъ сталь смотрѣть серіознъе и на себя и на свое призваніе. Онъ принялся читать внимательно и много. Для этого онъ бралъ книги у Инзова, у Орлова, главнымъ же образомъ у Липранди, обладавшаго довольно обширною библіотекой, по преимуществу этнографического и исторического содержанія. Но, помимо всёхъ этихъ научныхъ сочиненій, настольною книгой Пушкина былъ Байронъ.

Пустота и безсодержательность кишиневской жизни нерѣдко тяготили Пушкина, и тогда онъ запирался дома и искалъ спасенія въ своихъ кабинетныхъ трудахъ. Онъ жиль въ это время въ нижнемъ этажъ дома, занимаемаго Инзовымъ. Ему отведены были двъ небольшія комнаты съ ръшетчатыми окнами, выходившими въ садъ. Видъ изъ оконъ былъ прекрасный. Обстановку одной изъ комнатъ составляли: столъ у окна. ньсколько стульевь, кровать и голубыя стыны, облышенныя восковыми пулями — следы упражненій хозяина въ стрельбе изъ пистолета. Въ другой комнатъ жилъ Никита. Таково было жилище Пушкина, куда спасался онъ отъ праздной суеты общественной жизни. Здёсь предавался онъ чтенію или писаль. Поэтическаго матеріала у него накопилось много. Не говоря уже о впечатлъніяхъ, вывезенныхъ съ Кавказа и Крыма, которымъ онъ далъ мъсто въ своихъ поэмахъ, -въ самомъ Кишиневъ было много такого, что говорило воображенію. Пъсни, преданія и разсказы бессарабских туземцевъ и разныхъ выходцевъ, въ особенности сербовъ, которыхъ во вторую половину пребыванія поэта въ Кишиневъ появилось множество, живо интересовали Пушкина. Онъ собираль и записываль все, что ему казалось достойнымъ вниманія. Но, къ сожальнію, изъ этой богатой коллекціи сохранилось весьма немного: остальное онъ все растеряль, не

успъвъ воспользоваться. Извъстно, что многія его произведенія, какъ напр., "Черная шаль", пъсня "Ръжь меня, жги меня" въ "Цыганахъ", отчасти "Кирджали" и многія другія обязаны своимъ происхожденіемъ именно этимъ кишиневскимъ впечатлъніямъ.

Но къ усидчивому труду Пушкинъ еще мало былъ способенъ. Ненадолго удавалось ему запереться въ своемъ кабинетъ, — и онъ возвращался къ шумной общественной жизни, съ ея страстями и треволненіями. Когда же общество ему снова наскучивало, онъ выпрашивалъ у Инзова отпуски и уъзжалъ на время изъ Кишинева или въ Одессу — подышать европейскимъ воздухомъ, — или въ Аккерманскія степи. Въ одну изъ такихъ поъздокъ Пушкинъ посътилъ устье Днъпра, Аккерманъ и противолежащій ему Овидіополь; въ другую поъздку, въ Измаилъ, онъ видълъ цыганское кочевье. Охотнъе же всего бывалъ онъ у Давыдовыхъ въ Каменкъ. Сюда влекли его радушный пріемъ хозяевъ, умное, просвъщенное общество и дружба Раевскихъ.

Отлучки изъ Кишинева не могли повторяться очень часто, а между тъмъ Пушкинъ начиналъ все болъе и болъе тяготиться кишиневскою жизнью. Многочисленныя его ссоры и столкновенія съ людьми различныхъ слоевъ общества не прошли безследно, и онъ не могь не замечать непріязненнаго къ нему отношенія многихъ изъ окружающихъ. Это его тяготило. Враговь было много, а друзей — ни одного. Были, правда, прінтели изъ числа военныхъ, но ни съ однимъ изъ нихъ Пушкинъ не могь сблизиться до настоящей дружбы, а между тъмъ потребность въ ней ощущалась. Не съ къмъ было ему подблиться задушевными мыслями, некому открыть свою душу съ ея наболъвшею тоской; не было такихъ друзей, какъ Кюхельбекеръ, Дельвигъ, Пущинъ, а ихъ-то именно и нужно было Пушкину. Все это томило бъднаго изгнанника и порождало въ немъ душевный разладъ и недовольство собою и другими. Къ этому присоединялись и другія, чисто вившнія, причины, какъ напр., постоянное безденежье. Въ письмахъ его къ брату то и дъло встръчаемъ жалобы на стъсненныя обстоятельства и просьбы о высылкъ денегъ.

Двадцать восьмого іюля 1823 года Инзовъ сдаль свою должность графу М. С. Воронцову, и Пушкинъ, зачисленный въ канцелярію генераль-губернатора, перевхаль въ Одессу.

Переходъ изъ Кишинева въ Одессу былъ сдъланъ Пушкинымъ добровольно, но онъ скоро долженъ былъ убъдиться, что положеніе его перемънилось къ худшему. Надо было быть сердечнымъ и гуманнымъ Инзовымъ, чтобы ладить съ такимъ чинонникомъ, какъ Пушкинъ. Новый начальникъ его, графъ Воронцовъ, сразу поставилъ себя въ строго офиціальныя отношенія съ своими подчиненными. Для Пушкина не было сдълано исключенія. Высокомърный начальническій тонъ "милорда", какъ прозвалъ Пушкинъ Воронцова, оскорблялъ самолюбиваго поэта, претендовавшаго на привилегированное положеніе. Избалованный патріархальными отношеніями, царившими въ канцеляріи Инзова, онъ не могъ мириться съ новыми порядками: все его раздражало и приводило въ мрачное настроеніе духа. Не разъ пришлось пожальть о покинутомъ Кишиневъ.

Одесское высшее общество не могло развлечь поэта въ его уныніи. Онъ уже отвыкъ отъ чопорности свътскихъ собраній, и ему трудно было отказаться отъ свободы обращенія, усвоенной въ Кишиневъ. Поэтому въ обществъ онъ показывался ръдко, а если показывался, то бывалъ мраченъ и золъ. Веселость возвращалась къ нему только тогда, когда онъ бывалъ съ своимъ новымъ знакомцемъ, мавромъ Али, или же когда встръчался съ къмъ-нибудь изъ старыхъ кишеневскихъ знакомыхъ. Изъ новыхъ знакомствъ, ожидавшихъ Пушкина въ Одессъ, нельзя не упомянуть о г-жъ Ризничъ. Встръча съ этой женщиною оставила въ душъ Пушкина глубокое чувство, которое выразилось въ четырехъ чудныхъ стихотвореніяхъ.

Стихотворенія "Иностранкъ", "Заклинаніе", "Для береговъ отчизны дальней", "Простишь ли мнъ" служатъ выраженіемъ чувства, внушеннаго Пушкину красавицей-иностранкой. Таковы были сердечныя отношенія Пушкина къ Одессъ.

А между тъмъ отношенія его къ начальству становились все хуже и хуже. Презрительныя отзывы графа Воронцова о поэтическихъ занятіяхъ Пушкина подливали масла въ огонь. Плодомъ его озлобленнаго чувства было нъсколько злыхъ эпиграммъ, изъ которыхъ едва ли не большая часть была имъ только сказана, но попала на бумагу и стала извъстною. "Эпиграммы эти касались многихъ и изъ канцеляріи графа; такъ, напр., эпиграмма на начальника отдъленія, Артемьева, особенно отличалась своими убійственными, но върными вы-

раженіями. Стихи Пушкина на нѣкоторыхъ дамъ, бывшихъ на балу у графа, своимъ содержаніемъ раздражали всѣхъ. Начались сплетни, интриги, которыя еще болѣе тревожили поэта. Говорили, что будто бы графъ чрезъ кого-то изъявилъ Пушкину свое неудовольствіе, и что это было поводомъ злыхъ стиховъ о самомъ графъ. Услужливость нѣкоторыхъ тотчасъ распространила ихъ. Не нужно было искать, къ чьему портрету они мѣтили. Графъ не показаль вида какого-либо негодованія: попрежнему приглашалъ Пушкина къ обѣду, попрежнему обмѣнивался съ нимъ нѣсколькими словами"... Но во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ слышалось уже скрытое раздраженіе:

Поводомъ къ взрыву послужило появление въ области саранчи. Для борьбы съ этимъ врагомъ понадобилась особая комиссія, и Воронцовъ предложилъ Пушкину принять въ ней участіе. Этого было достаточно. Поэтъ почелъ предложеніе графа за обидную насмъшку и отвътилъ дерзкимъ письмомъ. Раздосадованный "милордъ" тотчасъ же послалъ въ Петербургъ на имя графа Нессельроде слъдующее письмо:

- "Графъ! Вашему сіятельству извъстны причины, по которымъ нъсколько времени тому назадъ молодой Пушкинъ былъ посланъ съ письмомъ отъ графа Каподистріи къ генералу Инзову. Во время моего прівзда сюда генераль Инзовъ предоставилъ его въ мое распоряжение, и съ тъхъ поръ онъ живеть въ Одессъ, гдъ находился еще до моего прівзда, когда генералъ Инзовъ былъ въ Кишиневъ. Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо; напротивъ, казалось, онъ сталъ гораздо сдержаннъе и умъреннъе прежняго, но собственный интересъ молодого человъка, не лишеннаго дарованій, и котораго недостатки происходять скорте оть ума, нежели оть сердца, заставляетъ меня желать его удаленія изъ Одессы. Главный 'недостатокъ Пушкина — честолюбіе. Онъ прожиль здёсь сезонъ морскихъ купаній и имъетъ уже множество льстецовъ, хвалящихъ его произведенія; это поддерживаетъ въ немъ вредное заблуждение и кружить его голову тъмъ, что онъ замъчательный писатель, въ то время, какъ онъ только слабый подражатель писателя, въ пользу котораго можно сказать очень мало (лорда Байрона). Это обстоятельство отдаляеть его отъ основательнаго изученія великихъ классическихъ поэтовъ, которые имъли бы хорошее вліяніе на его таланть, въ чемь

ему нельзя отказать, и сдълали бы изъ него со временемъ замъчательнаго писателя.

"Удаленіе его отсюда будеть лучшая услуга для него. Я не думаю, что служба при генераль Инзовь поведеть къ чемунибудь, потому что, хотя онъ и не будеть въ Одессь, но Кишиневъ такъ близко отсюда, что ничто не помышаеть его почитателямъ поъхать туда; да и, наконець, въ самомъ Кишиневъ онъ найдетъ въ молодыхъ боярахъ и въ молодыхъ грекахъ дурное общество.

"По всъмъ этимъ причинамъ я прошу ваше сіятельство довести объ этомъ дълъ до свъдънія государя и испросить его ръшенія по оному.

"Ежели Пушкинъ будеть жить въ другой губерніи, онъ найдеть болье поощрителей къ занятіямъ и избъжитъ здъшняго опаснаго общества. Повторяю, графъ, что я прошу это только ради его самого; надыюсь, моя просьба не будетъ истолкована ему во вредъ, и вполнъ убъжденъ, что только, согласившись со мною, ему можно будетъ дать болье средствъ обработать его рождающійся таланть, удаливъ его въ то же время отъ того, что ему такъ вредно, отъ ласки и столкновенія съ заблужденіями и опасными идеями. Имъю честь пребыть и проч. Графъ Михаилъ Воронцовъ. Одесса 28 марта 1824 года".

Тринадцатаго іюля 1824 года вывхаль Пушкинь изъ Одессы въ Михайловское, давъ подписку нигдв не останавливаться на пути и по прівздв во Псковъ явиться къ містному начальству, которому быль поручень бдительный надзорь за изгнанникомъ.

Нельзя не согласится съ Липранди въ томъ, что удаленіе Пушкина изъ Одессы было для него большимъ счастіемъ, ибо вслъдъ за его выъздомъ поселился въ Одессъ князъ С. Т. Волконскій, женившійся на Раевской; пріъхали оба графа Булгари, Поджіо и другіе; изъ Петербурга изъ гвардейскаго генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Корниловичъ делегатомъ Съвернаго общества; изъ арміи являлись: генераль-лейтенантъ Юшневскій, полковники Пестель, Абрамовъ, Бурцевъ и другіе. Всъ они посъщали князя Волконскаго, и Пушкинъ, съ его мрачно-ожесточеннымъ духомъ, легко могъ быть свидътелемъ революціонныхъ замысловъ и невинно сдълаться жертвой общаго увлеченія. Судьба до времени хранила поэта.

Венкстернъ.

Пушкинъ и Новороссійскій край.

Моя задача въ дъятельности Пушкина найти моменты, о которыхъ умъстно было бы напомнить во время празднованія памяти его здъсь, въ Одессъ, культурномъ центръ Новороссіи, а именно — хотя бы въ краткихъ чертахъ указать значеніе, какое имълъ Новороссійскій край въ жизни нашего величайшаго поэта, и, насколько это доступно, выяснить вліяніе,

какое онъ оказаль на Новороссію.

Недобровольный прівздъ Пушкина на югь Россіи состоялся весною 1820 года. Въ это время Пушкинъ уже быль высоко цънимъ въ кружкахъ нашихъ вліятельныхъ тогда литераторовъ; замътили его, къ сожалънію, и еще болье важныя сферы; но большой публикъ онъ въ сущности былъ мало извъстенъ; довольно напомнить, что первое доставившее ему крупную популярность произведеніе — "Русланъ и Людмила" — окончено было имъ уже на Кавказъ, а напечатано въ бытность Пушкина въ Кишиневъ. Бойкія эпиграммы и нецензурныя произведенія и не могли получить въ то время очень широкаго распространенія; и Пушкинъ, кажется, раньше сталь извъстенъ крупными шалостями, нежели мелкими стихотвореніями. Между тъмъ, уъзжая изъ Одессы (тоже недобровольно) лътомъ 1824 г. на съверъ, Пушкинъ былъ уже знаменитымъ поэтомъ, даже болъе популярнымъ, чъмъ впослъдствии. На югъ созданы дучшія его поэмы и лирическія произведенія, и матеріаль для нихъ быль доставленъ Пушкину главнымъ образомъ этимъ же югомъ, т.-е. Новороссіей. На это, разумъется, имълись свои причины, для выясненія которых в и позволю себъ сдълать краткій абрись того, чемь быль въ это время югь Россіи, гдъ Пушкину довелось прожить четыре года, самыхъ поэтичныхъ въ его жизни. Новороссійскій край такъ сравнительно недавно вошелъ въ составъ Россіи, что во времена Пушкина въ немъ еще сохранялось очень много чертъ, ръзко выдълявшихъ его изо всего государства; именно эти-то черты и отразились дучше всего въ поэзіи Пушкина. На югъ отъ предъловъ Малороссіи, въ то время уже достаточно населенной и не бъдной культурнымъ обществомъ (припомнимъ, напр., Каменку Раевскихъ, находившуюся почти на границъ Новороссіи), лежали широкія, почти безлюдныя Новороссійскія степи, такъ недавно еще бывшія мъстомъ борьбы Запорожья и та-

таръ. Теперь объ этомъ не было и ръчи; но въ степяхъ Новороссіи все же было далеко небезопасно: здъсь укрывались бъглецы и формировались шайки разбойниковъ, дълавшія провздъ или пребывание здъсь довольно рискованными. По степямъ были кое-гдъ разбросаны города и села, но большинство городовъ тоже напоминало села, какъ напоминаетъ ихъ и въ настоящее время. Екатеринославъ, нъкогда предназначенный служить столицею обширнаго Новороссійскаго края и своими памятниками затмить самый Римъ, не вышель изъ положенія маленькаго и неблагоустроеннаго городка, въ которомъ среди бълаго дня могли убъжать скованные парами разбойники; немногимъ отличались отъ него и другіе города Новороссіи кромъ Одессы, о которой мнъ предстоитъ говорить особо. Тъмъ не менъе край этотъ уже былъ русскимъ, порядки въ немъ вообще были русскіе, и особенности его не могли такъ ръзко бросаться въ глаза, какъ особенности тъхъ мъстностей; которыя вошли въ составъ государства значительно позже, чъмъ Новороссія, и строй которыхъ во многомъ еще не былъ русскимъ. Мъстности эти: Кавказъ, Крымъ и Бессарабія. О Кавказъ мнъ не приходится очень распространяться; въ сущности, во время перваго пребыванія на югѣ Россіи, Пушкинъ на Кавказъ не былъ; онъ остановился въ Предкавказъъ, на группъ минеральныхъ водъ. Величественныя кавказскія горы видълъ онъ лишь издали. А то, что нынъ придаетъ особую красоту этой группъ, сдълано было уже во времена гр. Воронцова. Но все же на путника, явившагося сюда съ съвера, могли произвести впечатление и такія горы, какъ Бештау. Предкавказье могло представить своимъ климатомъ значительный контрасть съ петербургскимъ, а, главное, въ окрестностяхъ Пятигорска путешественникъ могъ еще основательно познакомиться съ бытомъ черкесовъ, столь отличнымъ отъ русскаго, могъ видъть борьбу ихъ съ нами, могъ даже лично испытать опасность пребыванія въ этой містности. Извістень случай, когда, спустя свыше 20 лътъ послъ пребыванія Пушкина въ Предкавказіи, гр. Воронцовъ со всемъ высшимъ кавказскимъ обществомъ чуть не сталъ во время бала въ Кисловодскъ добычею неожиданно набъжавшихъ черкесовъ. Во всякомъ случать страна эта была еще мало похожею на Россію, и вольный образъ жизни здъшняго населенія могь дать достаточно матеріала для поэтическихъ произведеній.

Крымъ присоединенъ быль къ Россіи лишь за 37 лътъ до прівзда сюда Пушкина. Хотя великольпный князь Тавриды и его сотрудники ввели здесь русскіе порядки, но они были, если можно такъ выразиться, поверхностными, ибо управляемое населеніе было нерусское. Главную массу составляли татары, ръзко отличавшіеся образомъ жизни отъ русскихъ, а обширныя, розданныя въ Крыму высокопоставленнымъ лицамъ имънія или лежали пустыми, или колонизованы были людьми самыхъ разнообразныхъ національностей и меньше всего русскими. Административный центръ Крыма — Симферополь былъ небольшой грязноватый городокъ; Севастополь и не думаль о своемъ послъдующемъ значеніи; правда, Өеодосія была немаловажнымъ торговымъ пунктомъ, мечтавшимъ даже о конкурренціи съ Одессой, но на внъшнемъ видъ ея это отражалось весьма мало; въ еще большей степени то же можно сказать о Керчи. Казалось бы, что Крымъ тогда быль мёстностью мало интересною; тъмъ болъе, что не были еще приложены труды гр. Воронцова къ благоустройству южнаго берега; не было ни его прекраснаго шоссе, ни многочисленныхъ красивыхъ дачъ.

Но мы, одессисты, смотрящіе нынт на южный берегь Крыма, какъ на наши дачныя мъста, и легко совершающіе туда экскурсіи, хорошо знаемъ поэзію Крыма, и притомъ поэзію въчную. Его омываетъ море, одинаково чудное и въ тихую и въ бурную погоду и незнакомое съверянамъ. Море это необыкновенно гармонируетъ и съ южнымъ небомъ, и съ невысокими малолъсистыми горами. Горы дають возможность развиться на южномъ берегу поэтичной растительности кинарисовъ и магнолій, совершенно необычной для съвернаго жителя, который найдетъ здёсь въ изобиліи и янтарный виноградъ, еще такъ недавно, на моей памяти, представлявшій величайшую ръдкость даже въ Малороссіи, куда его привозили изъ Крыма въ арбахъ на верблюдахъ въ очень помятомъ видъ и продавали по баснословно дорогой цене. На дикомъ южномъ берегу уже были построены кое-гдъ въ живописныхъ мъстностяхъ дачи, напр. дюкомъ де-Ришелье возлъ Гурзуфа, а между дачами, часто надъ морскимъ берегомъ, вились тропинки, приводившія путника то къ глубокимъ таинственнымъ ущельямъ, то къ веселымъ полянамъ, то къ кипарисовымъ рощамъ. Пріъзжій въ Крымъ могь любоваться поразительною по красотъ панорамою, открывающеюся изъ Георгіевскаго монастыря, могъ проъхать въ глубь полуострова и посътить своеобразный татарскій Бахчисарай съ пустыннымъ, но полнымъ поэзіи дворцомъ, могъ дивиться загадочнымъ памятникамъ Чуфутъ-Кале или Мангупа, а на другой сторонъ Крыма развалинами Судака или керченскими курганами.

Совершенно другую картину представляла въ то время Бессарабія. Она была присоединена къ Россіи лишь за 8 лътъ до прівзда сюда Пушкина, почему не могла не имвть обособленнаго характера. Правда, она и до формальнаго присоединенія къ Россіи находилась въ нашихъ рукахъ льть шесть; но и это немного, да мы и не предпринимали тогда ничего для ея реорганизаціи. Несмотря на то, что въ Бессарабіи было не болье 40.000 семействъ, она, послъ присоединенія къ Россіи, не превратилась въ обыкновенную губернію, а, по благосклонному отношенію къ извъстнымъ политическимъ порядкамъ. Императора Александра I, управлялась сходно съ Финляндіей или Польшей. Небольшая гористая часть съверной Бессарабіи населена была малороссами; но затъмъ вся остальная область, какъ центральная — волнистая, такъ и южная, равнины которой представляють продолжение Новороссійскихъ, населена была молдаванами, образъ жизни которыхъ хотя и болье схожъ съ русскимъ (точнъе съ малорусскимъ), нежели черкескій или татарскій, но все же имбеть и значительныя отличія. Сверхъ того въ Бессарабіи, преимущественно южной, какъ и во всей Новороссіи, посслено было множество разнообразныхъ колонистовъ, особенно болгаръ; оставались отъ турецкихъ временъ греки и армяне, а по степямъ Бессарабіи часто кочевали цыганскіе таборы; словомъ, и эта страна была для коренного русскаго совершенно необычная.

Бессарабія, можетъ быть, не столь поэтична, какъ южный берегъ Крыма. Поэзія Новороссійскихъ степей (впрочемъ. вдохновившихъ Мицкевича) требуетъ большой къ нимъ привычки, тогда какъ море, горы, роскошная растительность чаруютъ сразу. Но Бессарабія имѣла еще одну особенность: среди ея небольшихъ городовъ, зачастую сохранившихся еще въ турецкомъ видѣ, былъ Кишиневъ — городъ тоже небольшой и грязноватый, но не лишенный характера столицы. Здѣсь былъ довольно самостоятельный Верховный Совѣтъ, крупныя административныя власти съ цѣлой свитой чиновниковъ, боль-

шею частью молодыхъ и образованныхъ; здёсь находилось управленіе расположенными въ Бессарабіи войсками, съ весьма образованными же офицерами генерального штаба. Воглавъкрая стоялъ генераль Инзовъ, извъстный своимъ гуманнымъ отношеніемъ къ людямъ, и въ томъ числъ къ Пушкину; у Инзова и у другихъ офицеровъ были прекрасныя библіотеки. Въ Кишиневъ же быль значительный слой молдавской знати, можеть быть, и недостаточно культурной въ дъйствительности, но не лишенной того внъшняго налета, которой дается заграничнымъ воспитаніемъ и политическимъ значеніемъ. Здъсь дамы держали себя аристократками. Все это окрашивало кишиневскую жизнь какою-то необычною для русской провинціи свътскостью: жизнь била ключомъ, процевталъ флиртъ, затевались интриги, доводившія до дуэлей, велась крупная игра; но зато здёсь жили и политическими интересами, устраивались не только масонскія ложи, но даже прямые заговоры: начиналось возстаніе угнетенныхъ балканскихъ народностей противъ турокъ. Здъсь зорко следили за темъ, что делалось въ западной Европе, и не могли помириться съ фактомъ, что за Прутомъ уже иное государство, тъмъ болъе, что народъ былъ одинъ и тотъ же; многіе помъщики владъли и тамъ и здъсь имъніями. Кишиневъ и Яссы казались двумя половинами одного цълаго.

Наконецъ, на самой окраинъ государства и Новороссіи находилась еще одна точка, которая по характеру жизни довольно резко отличалась отъ остальной Россіи. Это была наша Одесса. Когда культурные и преимущественно коммерческіе интересы государства потребовали, чтобы на южной окраинъ его было прорублено новое окно за границу, менъе тусклое, чёмъ Петербургъ, выборъ нъсколькихъ разумныхъ администраторовъ палъ на Гаджибей — Одессу, которая, особенно благодаря заботамъ приснопамятнаго дюка де-Ришелье, стала центромъ Новороссіи. Обладая великими организаторскими способностями, де-Ришелье развиль въ бывшей очаковской степи широкую иностранную колонизацію и въ молодую Одессу привлекъ массу иностранцевъ же, трудами которыхъ она естественно приняла видъ обычнаго для нихъ западно-европейскаго города, и притомъ, по желанію герцога, очень веселаго. Развитію Одессы помогли и политическія обстоятельства, сдълавшія изъ нея единственныя ворота для торговыхъ сношеній Россіи съ западной Европой. Преемникъ и последователь де-Ри-

шелье гр. Ланжеронъ, осуществляя его предначертанія, сдълаль Одессу какъ умственнымъ центромъ Новороссіи, устроивъ здъсь Ришельевскій лицей, такъ и "дешевымъ городомъ" вслъдствіе учрежденія порто-франко. Съ того времени значеніе Одессы, какъ культурнаго центра Новороссіи, и притомъ очень своеобразнаго, не похожаго на другіе крупные центры Россіи, было надолго обезпечено. Что же однако представляла собою Одесса ко времени пребыванія въ ней Пушкина? Городъ былъ еще весьма невеликъ. Хотя онъ занималъ мъсто нынъшнихъ лучшихъ его частей, въ предълахъ внъшняго бульвара, но сохранившеся рисунки 20-хъ годовъ показываютъ, что дома, даже на главной тогда улицъ Одессы — Ришельевской, были небольшіе и ръдкіе и перемежались съ хлъбными магазинами, особенно частыми и большими на окраинахъ города. Предмъстья Одессы — Пересыпь и Молдаванка, отдълялись отъ нея пустырями и, хотя тоже были частью застроены, но скорве походили на села, нежели на отдълы города. За Преображенскою улицею, отъ такъ называемаго "Чудного дома", уже начинались пустыри, среди которыхъ построены были дома нъсколькихъ польскихъ магнатовъ, напр. гр. Потоцкаго (нынъ архіерейскій), а еще далье — обширная усадьба Нарышкиныхъ. На Херсонской улицъ было нъсколько недурныхъ домовъ, напр. негоціанта Ризнича; но далъе шли хлъбные магазины, и расположены были большія зданія городской больницы. Соборъ уже существоваль, и была застроена мъстность по Дворянскую улицу, а затъмъ шли плохіе домики и пустыри, среди которыхъ начиналась постройка института. Дерибасовская улица, хоть и существовала, но пріобръла нъкоторе значение лишь съ того времени, когда на углу ен и Преображенской улицы поселился начальникъ края гр. Воронцовъ. Дерибасовскій городской садъ, примыкавшій къ зданіямъ генераль-губернаторской канцеляріи, и въ то время не быль особенню посъщаемь. На той же улиць были расположены зданія Ришельевскаго лицея, сохранившіяся до нынъ среди дома Вагнера. Бульвара еще не было, но мъсто подъ него, занятое растительностью, гдв еще недавно можно было охотиться, уже начали расчищать для чего сломаны были остатки турецкой кръпости; не было ни памятника де-Ришелье, ни гранитной лъстницы къ морю, ни ряда домовъ на бульваръ, ни дворца гр. Воронцова, ни зданія городской думы, ни прежняго зданія музея Императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей. Вмѣсто этого были зданія одесской таможни и карантина и казармы. Внизу бульвара быль порть, представлявшій, конечно, только слабый очеркъ нынѣшняго; зато море въ то время было для одесситовъ гораздо доступнѣе. На нынѣшней Театральной площади стояль театръ, мѣстность вокругъ котораго была завалена камнями отъ развалинъ бывшаго дома де-Ришелье, а въ началѣ Ришельевской улицы находилась популярная кофейня.

Улицы въ Одессъ были еще немощеныя; поэтому осенью она тонула въ грязи, а лътомъ купалась въ облакахъ пыли. Правда, въ 20-хъ годахъ начали ее замащивать по модной тогда системъ Макъ-Адама, но, какъ матеріалъ для мостовой, употребляли мъстный камень - и результаты оказались чрезвычайно плачевными. На моей еще памяти экипажи, загрузшіе въ грязи на Преображенской улицъ, противъ зданія университета, вытаскивалась волами; обыватели незамощенныхъ частей города во время грязи перевзжали на жительство въ теченіе нъсколькихъ недъль въ гостиницы или къ знакомымъ въ болъе благоустроенныя части города. Вспоминалось тогда, какъ запиралась цъпями Почтовая улица, ибо провадъ по ней во время грязи могъ грозить гибелью; да и Дерибасовская улица была въ этомъ отношеніи небезопасною. Овраги, пересъкающіе Одессу, были особенно грязными, и черезъ нихъ проложены были жалкіе мостики. Въ довершеніе всего Одесса страдала отъ безводья и, хотя городское управление изыскивало уже разные способы, чтобы обезопасить население отъ недостатка въ водъ, но изъ этого выходило мало проку. Я опять-таки могу припомнить, какъ во времена продолжительнаго бездождія вода доставлялась въ Одессу съ Днъпра въ бочкахъ и продавалась по 1 рублю за бочку, а щедрые домовладъльцы отпускали квартирантамъ по ведру въ день на семейство. Растительность Одессы, хоть и воспътая Туманскимъ, въ сущности была жалкою (такою она была и на моей памяти); даже акацій на улицахъ еще не было. Недуренъ быль Ботаническій садь, теперь, къ сожальнію, погибшій, но и въ немъ господствовала акація. За предвлами Одессы было нъсколько оазисовъ — дачъ: де-Ришелье — на Водяной Балкъ и на Мало-Фонтанской дорогъ, гр. Ланжерона (мъстность сохранила до нынъ это названіе), нъсколькихъ богатыхъ негоціантовъ (также по Мало-Фонтанской дорогѣ), напр. Рено, гдѣ Пушкинъ будто бы прощался съ Чернымъ моремъ. Но все это было, можно сказать, въ самомъ примитивномъ видѣ, и по Мало-Фонтанской же дорогѣ были лужи, похожія на озера, гдѣ лицеисты охотились за дичью; поздно вечеромъ здѣсь проходить было далеко небезопасно, какъ и вообще въ окрестностяхъ Одессы — впрочемъ, даже и не въ столь отдаленное время.

Итакъ, Одесса 20-хъ годовъ была городомъ сравнительно еще не очень благоустроеннымъ; но, во-первыхъ, таковы были въ то время и другіе города Россіи, а во-вторыхъ, жизнь въ Одессъ представляла многія привлекательныя стороны, почему о пребываніи здъсь съ восторгомъ вспоминали люди самыхъ разнообразныхъ общественныхъ положеній, и нашъ городъ имълъ счастье быть восивтымъ стихами Туманскаго, Пушкина, Воейкова, Бороздны и др.

Что же было въ Одессъ привлекательнаго?

Прежде всего, разумѣется, ея море. Хотя крымское приморье еще красивѣе, но, какъ я сказалъ, Крымъ въ то время представлялъ большую глушь, и люди, не искавшіе сильныхъ ощущеній, всегда могли предпочесть ему болѣе культурную Одессу. Намъ, одесситамъ, хорошо знакомо наслажденіе любоваться своимъ моремъ, при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, бродить по этому еще довольно пустынному берегу, испытывая чувства, трудно поддающіяся анализу. Но море давало и болѣе конкретное наслажденіе: въ то время въ Одессѣ можно было еще пользоваться морскими купаньями; они славились на всю Россію и привлекли въ Одессу массы пріѣзжающихъ; поставляла ихъ даже и западная Европа.

Лиманы тоже функціонировали, хотя не столь замѣтно, частью вслѣдствіе малаго развитія въ то время вообще лѣченія лиманами, частью же изъ-за труднаго къ нимъ доступа, ибо на моей памяти низина у Пересыпи постоянно была залита водою, не просыхавшею и лѣтомъ, и приходилось объѣзжать ее черезъ гору по весьма сквернымъ дорогамъ, доставившимъ ей не даромъ названіе Шкодовой. Лѣчились въ Одессѣ и фруктами.

Другую силу Одессы составляло ея географическое положеніе: здѣсь все дышало югомъ, пестрѣло разнообразными красотами. И въ этомъ отношеніи Одесса тогда была тоже внѣ

конкурренціи, котя и претендоваль нѣсколько на это Таганрогь, куда такь неудачно была въ половинѣ 20-хъ годовъ отправлена царская семья ради климатическаго лѣченія.

Затъмъ Одесса была веселымъ городомъ. Здъсь былъ театръ съ модною итальянскою оперой, пъвцы которой распъвали сладкіе мотивы любимца европейской публики Россини; у театра было кафе, откуда въ антрактахъ приносили къ театру мороженое, и публика вла его, располагаясь на разбросанныхъ вокругъ театра камняхъ. Другое кафе Оттона, на углу Дерибасовской и Екатерининской улицъ, пользовалось еще большею популярностью и, повидимому, было очень хорошее; имъ восхищались люди, знакомые не только съ петербургскими, но и съ заграничными ресторанами. Въ Одессъ неръдко бывали балы и маскарады, устраиваемые какъ ея администраторами, такъ и публичные; до насъ дошли, напр., описанія празднованія масляницы при гр. Ланжеронъ и костюмированнаго бала у гр. Воронцова, и видно, что жилось тогда въ Одессъ весело. У Оттона шла подъ сурдинкой крупная игра, да и вообще въ Одессъ были для нея соотвътственные притоны. Легкостью же нравовъ нашъ городъ особенно славился издавна и недаромъ быль центромъ "невънчаннаго" края; деньги здъсь зарабатывались легко, а потому и тратились съ легкимъ сердцемъ, въ особенности на то, "чъмъ жизнь красна". Наконецъ, Одесса была и дешевымъ городомъ вслъдствіе порто-франко. Сюда прівзжали для закупокъ дешевыхъ, преимущественно модныхъ, товаровъ, окрестные въ широкомъ смыслъ помъщики и безъ труда провозили ихъ къ себъ; сюда переселялись на зиму помъщики и изъ болъе отдаленныхъ мъстностей, привлекаемые и сравнительною культурностью города, и его дешевизною; иные прівзжали въ Одессу ради воспитанія дътей въ лицев и въ многочисленныхъ и разнообразныхъ пансіонахъ, другіе черезъ Одессу вывъзжали заграницу, особенно на востокъ, въ святыя мъста, и подолгу жили въ Одессъ въ ожидании удобной погоды или подходящаго корабля, — извёстны случаи, что изнутри Россіи вхали за границу черезъ Одессу на Радзивиловъ и Броды.

Самое одесское общество въ 20-хъ годахъ представляло для Россіи совершенно необычное и своеобразное; въ среднемъ, оно было культурнъе и образованнъе общества любого русскаго города, не исключая Петербурга или Москвы; хотя

въ то же время верхній слой одесскаго населенія былъ менте образовань, нежели таковой даже въ иныхъ провинціальныхъ городахъ, напр. въ Харьковъ. На культурность коммерческаго класса въ Одессъ, самого въ ней замътнаго, вліяло и господствующее занятіе торговлею, преимущественно заграничною. Тогда какъ громадное большинство населенія русскихъ городовъ занято было примитивнымъ земледъліемъ, а главная торговля въ нихъ производилась "распивочно и на выносъ", посътители Одессы не могли удивляться, встръчая въ одесскомъ коммерсантъ не знакомаго имъ купца! Абдулина, а джентльмена западно-европейской складки, съ дзящными манерами, съ знаніемъ иностранныхъ языковъ, съ извъстнымъ политическимъ развитіемъ, воспитаннымъ на чтеніи иностранныхъ газетъ, столь далеко опередившихъ нашу "Пчелку" или ея сверстниковъ. Такой характеръ одесскихъ коммерсантовъ почти сливаль ихъ въ одну группу съ жившею въ Одессв "аристократіей", что и дълало такъ называемое одесское "общество" широкимъ и при общемъ типическомъ сходствъ въ частностяхъ достаточно разнообразнымъ.

Въ Одессв жилъ и начальникъ всего Новороссійскаго края. Дюкъ де-Ришелье давно уже покинулъ Одессу и умеръ вдали отъ нея, все мечтая сюда возвратиться. Гр. Ланжеронъ тоже пересталь быть генераль-губернаторомъ, хотя и продолжалъжить въ Одессв, составляя, такъ сказать, одну изъ ея достопримъчательностей. Временное управленіе ген. Инзова прошло въ Одессв безслъдно, а затъмъ сюда назначенъ былъ графъ Воронцовъ.

Время генераль-губернаторства гр. Воронцова до высылки отсюда Пушкина было слишкомъ непродолжительно, чтобы по этому поводу рисовать характеристику его управленія краємъ; тогда мало было и сдълано; поэтому я ограничусь лишь немногими замъчаніями, необходимыми для пониманія отношеній гр. Воронцова къ Пушкину.

Гр. Воронцовъ былъ дъйствительно полу-милордъ, и не по одному только происхожденю. Это былъ человъкъ образованный, съ широкимъ взглядомъ на общественную самодъятельность, понимавшій значеніе торговли и промышленности, всегда и во всемъ гуманный, желавшій освобожденія крестьянъ, другъ образованія, даже среди солдать; но въ то же время это былъ прежде всего придворный, поэтому иногда видъвшій предметы

въ искусственномъ освъщении. Затъмъ, русский по самосознанию, гр. Воронцовъ вовсе не былъ таковымъ по образованию; онъ недостаточно хорошо зналъ русскую жизнь и не могъ понять многаго въ истории умственнаго развития нашего общества, мъряя все на западно-европейскую мърку, да еще и на такую, которая видъла въ провозглашенныхъ французскою революціей принципахъ годнъ лишь утопистическія бредни, въ Наполеонъ — исчадіе революціи и въ священномъ союзъ — оплотъ отъ величайшихъ бъдъ. При такихъ условіяхъ онъ и не могъ отнестись къ Пушкину иначе, нежели отнесся.

Хотя къ половинъ 20-хъ годовъ гр. Воронцовъ еще не создаль возлъ себя дворцовой атмосферы, которая окружала его въ последующие годы, но частью [около него, частью около гр. Е. К. Воронцовой складывался уже кружокъ образованныхъ людей, по, преимуществу изъ числа чиновниковъ канцелярів гр. Воронцова, или изъ богатой фланировавшей въ Одессъ молодежи. Настоящей родовитой аристократіи въ Одессъ было немного: нъсколько польскихъ семействъ (Потоцкіе, Понятовскіе, Сабанскіе и др.), да полу-польская семья Нарышкиныхъ. Они имъли огромныя помъстья или возлъ Одессы, или въ югозападномъ крат, т.-е. были связаны съ нею экономическими интересами. Многихъ поляковъ привлекли въ Одессу и тъ ея преимущества, о которыхъ было сказано выше. При гр. Воронцовъ же число жившихъ здъсь поляковъ еще болъе увеличилось. Изъ русскихъ баръ отмътимъ семью гр. В. П. Кочубея, загостившуюся въ Одессъ въ 1824 г., да извъстную кн. Зинаиду Волконскую, поселившуюся въ Одессъ ради воспитанія дътей. Было и мъстное русское дворянство, хоть и не очень обильное.

Гораздо многочисленные была здысь коммерческая аристократія, составившаяся изъ иностранныхъ негопіантовъ, преимущественно грековъ, частью далматинцевъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Ризничъ, такъ неожиданно для себя попавшій въ исторію русской литературы. Впрочемъ, онъ былъ человыкъ образованный, и на его средства была издана въ 1826 году извыстная "Сербіанка" С. Милутиновича вмысты съ первою книжкою его стихотвореній. Да и греческое общество жило въ Одессы не одними коммерческими интересами: какъ разъ въ это время здысь сформировалась знаменитая гетерія; иностранная, а частью и русская интелегенція участвовала въ ма

сонской ложь (находившейся въ такъ наз. "Чудномъ" домъ), а среди офицеровъ, жившихъ въ Одессв или недалеко отъ нея. было не мало членовъ тайныхъ обществъ. Появились въ Одессъ и такія исключительныя достопримічательности, какъ авей-Гутчинсонъ, или корсаръ въ оставкъ мавръ Али, тоже увъковъченные памятью о Пушкинъ. Разумъется, было въ Одессъ и мелкое чиновничество, мало отличавшееся отъ обычнаго русскаго, и русское купечество, и, наконецъ, простонародъе, очень разнообразное по племенному составу; но для біографін Пушкина эти элеменгы имъютъ мало значенія. Жила Одесса, главнымъ образомъ, вывозною торговлею. Здъсь были самые существенные ея интересы, и сношенія ея съ заграницей инастолько окрашивали общій характерь ся жизни, что на улицахъ италіанскій, греческій или французскій языкъ слышался чаще, нежели русскій. Въ ея учебныхъ заведенихъ, не исключая и Лицея, ученье шло на французскомъ языкъ; на этомъ же языкъ издавались у насъ и первая газета и первый журналъ; были магазины, гдъ продавались иностранныя книги, тогда какъ русскія приходилось пріобрътать въ посудныхъ давкахъ. Я могъ-бы значительно распространить свой разсказъ объ Одессь 20-хъ годовъ, имън для этого немало собранныхъ даже мною самимъ матеріаловъ, -- но, полагаю, сказаннаго совершенно достаточно для выясненія, что могь Пушкинъ найти въ Одессъ. Какъ же однако нашъ югъ встрътилъ Пушкина? Говорить подробно о пребываніи его въ Новороссійскомъ крав, и въ частности въ нашемъ городъ, я тоже считаю излишнимъ, ибо предметь этотъ, можно сказать, исчерпанъ въ печатныхъ трудахъ Анненкова, Бартенева и Яковлева; я только напомню объ этомъ въ самыхъ краткихъ словахъ.

Въ маъ 1820 г. Пушкинъ прівхаль въ Екатеринославъ и пробыль тамъ недёли двъ, забольвъ при этомъ; объ отношеніяхъ его къ мъстному обществу сохранилось развъ нъсколько анекдотовъ изъ ряда такихъ, какіе вообще разсказываютъ о Пушкинъ. Въ Екатеринославъ онъ почти не работалъ: очевидно, свъжи были еще впечатлънія постигшаго его ударавирочемъ, изъ здъшнихъ впечатлъній позже явилась поэма "Братья-Разбойники". Въ послъднихъ числахъ мая Пушкинъ уъхалъ съ семьею Раевскихъ на Кавказъ, гдъ пробылъ до начала августа; на Кавказъ онъ какъ-бы сталъ оживать; здъсь написанъ имъ эпилогъ къ "Русланум Людмилъ" и начатъ "Кав-

казскій плінники, по містнымь впечатлініямь. Августь — сентябрь 1820 г. Пушкинъ проводить въ Крыму, главнымъ образомъ, въ Гурзуфъ, съ Раевскими же, и здісь начинается расцвіть его поэтическаго творчества. Съ одной стороны чудная природа Крыма и его оригинальность, разсімвають дотолі мрачное настроеніе поэта; съ другой — онъ испытываеть увлеченіе, далеко не похожее на ті, какія иміли місто раньше въ Петербургъ. Подъ вліяніемъ любви и Крыма Пушкинъ создаеть цільій рядь прелестныхъ стихотвореній; другія, того же характера и внушенный тою же любовью, написаны имъ въ Каменкъ.

Вліяніе кружка Раевскихъ сказалось въ Пушкинъ и созръваніемъ его политическихъ взглядовъ, которые однако не привели его къ участію въ серіозныхъ тайныхъ обществахъ; на это были свои причины, на которыхъ нътъ цъли здъсь останавливаться. Въ сентябръ 1820 г. Пушкинъ убхалъ въ Кишиневъ, гдъ прожиль до лъта 1823 г. Это время, несмотря на бурный образъ жизни Пушкина и на мучительный процессъ, совершавшійся въ его душь, было особенно благопріятно для его поэтическаго творчества; эдъсь созданы Пушкинымъ едва-ли не дучшія его дирическія произведенія, оконченъ "Кавказскій пленникъ"; написаны "Братья-Разбойники" и "Бахчисарайскій фонтанъ", начатъ "Евгеній Онъгинъ", задуманы "Цыганы". Чемъ обусловлена была такая деятельность? Очевидно, толькочто пережитыми впечативніями, возбудившими въ душъ Пушкина творческій процессь, кототому не было основанія прекратиться въ городъ, жившемъ столь бойкою политическою и общественною жизнью; скоръе всего, именно здъсь созръвають политическія воззранія Пушкина. Не думаю, впрочемь, чтобы молдаванская или даже греческая аристократія тоговремени могла оцънить въ Пушкинъ великаго поэта; скоръе въ немъ видели правительственную жертву, по "несчастному случаю заброшеннаго въ Кишиневъ молодого аристократа, очень интереснаго въ обществъ по своему остроумію, волокиту, игрока; съ нимъ не церемонились выходить на дуэль; но русское общество въ Кишиневъ, начиная съ Инзова и не исключая дамъ, стало уже понимать значение Пушкина и дълало, что могло, чтобы облегчить ему тернистый путь его изгнанія: и неудобства пребыванія въ отдаленныхъ містахъ. Затімъ изъ Кишинева Пушкинъ постоянно выбажаль то въ Кіевъ,

то въ Каменку, то — три раза — въ Одессу, то въ Южную Бессарабію, и всякая повздка его порождаеть какія-либо чудныя произведенія. Наконецъ, въ началь 1823 г. Пушкинъ переселяется въ Одессу, гдъ остается свыше года; здъсь имъ создано нъсколько главъ "Онъгина" и опять-таки много прекрасныхъ стихотвореній мъстнаго содержанія, заканчивающихся знаменитымъ прощаніемъ Пушкина съ Чернымъ моремъ. Этотъ бъглый перечень достаточно убъдителенъ для отвъта: насколько было благопріятно для Пушкина вообще пребываніе на югъ Россіи? Здъсь подъ вліяніемъ поэтическаго и своеобразнаго характера посъщенныхъ Пушкинымъ мъстностей окръпло и развилось его творчество, а вследствіе политической жизни края укръпились идеалы, хоть и навъянные ему раньше нъкоторыми лицейскими профессорами, напр., Куницынымъ, а потомъ близкими людьми, въ родъ Чаадаева, и даже общею атмосферою того времени; тъмъ не менъе до переселенія Пущкина на югъ они были еще въ немъ очень неустойчивыми. Только на югъ Россіи окончательно опредълилась личность Пушкина въ томъ видъ, въ какомъ она всъмъ намъ дорога; только послъ этого періода творчества могъ сказать о себъ Пушкинъ, что

Чувства добрыя я лирой пробуждаль, Что въ мой жестокій въкъ возславиль я свободу И милость къ падшимъ призываль.

Вскоръ послъ этого въ поэзіи Пушкина, при всей ся геніальности, зазвучать другія ноты, утратится присущая ему и развитая югомъ жизнерадостность, почувствуется сложная и тяжелая душевная драма; но анализъ всего этого вывельбы меня изъ предъловъ моей задачи.

Теперь для меня представляеть спеціальный интересь вопрось о томъ, какъ принять быль Пушкинъ въ Одессъ, или,

точные, какъ на него здысь смотрыли?

Графъ Воронцовъ сперва отнесси къ поэту грезвычайно любезно; въ сущности, онъ перезвалъ его въ Одессу изъ Кишинева; но вскоръ между ними пошли нелады, обнаруживше, что гр. Воронцовъ тоже видълъ въ Пушкинъ скоръе свътскаго юношу, случайно наказаннаго за шалости, нежели великаго поэта. Дивиться тутъ нечему: какъ я уже сказалъ, гр. Воронцовъ имълъ тъ взгляды на литературу, какіе вообще господствовали въ правительственныхъ сферахъ въ эпоху Свя-

щеннаго союза. Исходя изъ такихъ взглядовъ, онъ могъ лишь враждебно отнестись къ поэзіи Байрона и тэмъ болье не въ состояніи быль оцінить значеніе поэтической діятельности его послъдователя, и притомъ такого, за которымъ еще не было полнаго "Онъгина". Хотя гр. Воронцовъ и признавалъ счастливыя дарованія Пушкина и надъядся, что изученіе имъ истинно великих влассических поэтов может сделать его выдающимся писателемъ. Между тъмъ поведение Пушкина не могло не шокировать гр. Воронцова, не говоря уже о столкновеніяхъ чисто личнаго свойства, обиднымъ отношеніи къ гр. Воронцову самого Пушкина (у котораго, кстати сказать, встръчаются и похвалы ему) и нежеланіи его хоть сколько-нибудь войти въ извъстныя служебныя рамки, что очень цънилось въ свое время, и несмотря на то, что онъ широко раздвигались для него гр. Воронцовымъ1). Вопреки общепринятымъ мнъніямъ, выскажусь, что гр. Воронцовъ съ точки зрънія начальника края и западно-европейскаго вельможи отнесся къ Пушкину довольно снисходительно, и постигшая поэта кара была по тому времени сравнительно не строгою. Приведемъ въ параллель, во-первыхъ, что англійское общество и до сихъ поръ не можетъ простить Байрону ни его біографіи ни его произведеній; что къ поэзіи Байрона отрицательно относился Жуковскій (хотя сперва и переводившій его); что не только Императоръ Александръ I, совершенный западно-европецъ по воспитанію и образованію, совсёмъ не знавшій ни русской жизни ни русской литературы (хотя сперва и олагосклонный къ Пушкину изъ-за нъсколькихъ доведенныхъ до его свъдънія стиховъ), но и многіе тогдашніе русскіе литераторы относились къ произведеніямъ Пушкина отрицательно, какъ напр., И. И. Дмитріевъ къ "Руслану и Людмилъ", Рыльевъ къ "Онъгину", Н. Полевой къ "Борису Годунову". Императоръ Николай І, видъвшій въ Пушкинь хоть и своеобразнаго, не укладывающагося въ точно опредъленныя рамки, но очень умнаго человъка и выдающагося поэта, совершенно искренно находиль, что ему следовало-бы заняться более серіознымь деломъ, нежели стихотворство, напр. написать трактакъ о вос-

¹⁾ Неужели можно сочувствовать Пушкину въ его поведени въ дълъ о саранчъ только потому, что онъ написалъ остроумный рапортъ? Въдъ саранча на югъ России страшное общественное бъдствіе, и къ нему нельзя не относиться серіозно.

питаніи, — несмотря на то, что поэтъ въ то время женать не быль, ни своихъ ни чужихъ дътей никогда не воспитываль, и вся предшествующая біографія мало подготовляла его къ этому, почтенному, конечно, занятію. Очень расположенный къ Пушкину Инзовъ требоваль отъ него перевода на русскій языкъ молдавскихъ законовъ и пр. Собственный отецъ Пушкина поступаль съ нимъ гораздо хуже, нежели гр. Воронцовъ, а какъ потомъ отнеслась къ поэту высшее петербургское общество, атмосфера котораго такъ систематически послъдовательно привела Пушкина къ роковой дуэли, это не нуждается въ напоминаніи.

Съ другой стороны слъдуетъ вспомнить и то, что Пушкину уже раньше грозило наказаніе, гораздо болье суровое, нежели водвореніе на жительство въ собственную деревню, а онъ (предполагается) не исправился; что за одесскія выходки осуждали его такія близкія къ нему лица, какъ кн. П. А. Вяземскій и А. И. Тургеневъ, причемъ послъдній уже не разъ отклоняль отъ него высылку изъ Одессы, которой сперва только и добивался гр. Воронцовъ; что ссылка Пушкина въ Псковскую губернію тоже придумана была А. И. Тургеневымъ; что Карамзинъ пострадаль въ то же самое время гораздо сильнъе, скоръе за докучливость, чъмъ за предположительно принисанный ему проступокъ, въ которомъ онъ былъ невиноватъ, и что вообще подобныхъ примъровъ для 20-хъ годовъ можно бы привести не мало:

Графиня Воронцова болье благоволила къ Пушкину, нежели ен мужъ: она сумъла оцънить поэта, и ен вліяніе на него сказалось добрыми послъдствіями. Въ ен кружкъ быль молодой Раевскій — близкій къ Пушкину человъкъ, даже сильно вліявшій на его умственное развитіе; близки къ Пушкину были и служившіе при канцеляріи гр. Воронцова два поэта Туманскіе, Казначеевъ, Синявинъ и др. Къ сожальнію, никто изъ этого кружка не оставиль намъ о Пушкинъ воспоминаній; мнъ выпало на долю застать въ Одессъ въ живыхъ лишь одного изъ такихъ чиновниковъ — г. Пикулова; но онъ былъ очень старъ и притомъ человъкъ не пушкинскаго покроя. Г. Пикуловъ разсказываль мнъ, что гр. Воронцовъ сперва очень благоволилъ къ Пушкину и прощалъ ему чиновничьи гръхи, что Пушкинъ былъ очень неаккуратнымъ служащимъ, наконецъ, что причиною неудовольствія гр. Воронцова на Пушкина была

ревность, — словомъ, то, что и безъ этого хорошо из-

... Немногимъ полеве и воспоминанія о Пушкинъ гр. М. Д. Бутурлина, который въ то время жиль безъ всякаго дела въ Одессъ; онъ быль даже дальній родственникъ Пупікина, но мало имъ интересовался, случайно узналь о пребывании его въ Одессв, случайно видълся съ нимъ и не попытался даже стать съ нимъ въ болъе близкія отношенія. Если присоединить къ этому извъстное свидътельство А. А. Скальковскаго, прибывшаго въ Одессу вскоръ послъ выъзда отсюда Пушкина и почти (по его словамъ) не заставшаго уже здёсь людей, которые хранили бы память о немъ, то можно бы подумать, что действительно въ Одессъ посмотръли на Пушкина только какъ на свътскаго человъка, съ которымъ интересно встръчаться въ обществъ, а не какъ на поэта. Тъмъ менъе могла понять его, напр., г-жа Ризничъ, которую онъ такъ любилъ и поэтически воспълъ и которая - увы! даже не могла прочесть посвященных ей стихотвореній. Не думаю также, чтобы семья Кочубеевъ, гдъ, можетъ быть, слъдовало бы искать первообразъ Татьяны, или гр. Потоцкая могли оцвнить Пушкина, какъ поэта: свътскія дамы того времени были на счетъ русской литературы почти невивняемы.

Къ счастью, имъются твердыя доказательства, что въ Одессъ 20-хъ годовъ уже было кому оценить Пушкина, какъ поэта, и главнъйшее изъ нихъ принадлежитъ самому гр. Воронцову. Въ роковомъ письмъ къ гр. Нессельроде онъ такъ мотивируетъ необходимость высылки Пушкина изъ Одессы: "Здёсь проживаеть множество людей, и количество ихъ еще увеличится во время сезона купанья; они, будучи экзальтированными поклонниками его (Пушкина) поэзіи, думають ему выразить этимъ свою дружбу и оказываютъ услугу непріятеля, способствуя его самоувлеченію и убъждая его, что онъ выдающійся писатель". Что гр. Воронцовъ быль правъ, подтверждается и воспоминаніями бывшихъ лицеистовъ Сумарокова и Н. Г. Тройницкаго. Первый сообщаеть, что о Пушкинъ много говорили въ городъ и зачитывались его "Русланомъ и Людмилою"; поэтому, увидя Пушкина, Сумароковъ испыталъ особенное волненіе. Второй разсказываеть, что во время его отрочества въ Одессъ имя Пушкина произносилось, какъ имя прославленнаго поэта; его читали, перечитывали, переписывали, затверживали на память; нъкоторые изъ его ненапечатанныхъ стиховъ ходили по рукамъ въ рукописи, какъ запрещенные; особенно же зачитывались "Онъгинымъ", надъ чъмъ смъялся самъ авторъ его. Когда Тройницкій быль въ младшемъ отдъленіи лицея и сидълъ въ классъ, кто-то крикнулъ: "Пушкинъ идеть!" и всъ малыши кинулись къ окошку. Такія показанія объясняютъ намъ, въ комъ въ Одессъ Пушкинъ нашелъ себъ поклонниковъ: это была учащаяся, преимущественно русская молодежь, а также и русскія семьи въ родъ Тройницкихъ-Кирьяковыхъ, Бларамберговъ и, наконецъ, личныя друзья Пушкина: Раевскій, Туманскіе, Пущинъ и др., о которыхъбыло сказано выше.

Образъ жизни Пушкина въ Одессъ лучше всего обрисованъ имъ самимъ въ знаменитыхъ строфахъ "Онъгина". Его страстная любовь къ г-жъ Ризничъ и отношенія къ гр. Воронцовой и къ инымъ одессисткамъ также давно стали литературнымъ достояніемъ. Поэтому я перехожу къ вопросу, какія воспоминанія нашъ край оставилъ въ Пушкинъ?

Крымъ и общество Раевскихъ заставили Пушкина немедленно по разставании съ ними уже вспоминать о нихъ въ такихъ чудныхъ стихотвореніяхъ, какъ "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда" или "Нереида"; затвиъ онъ вспоминаеть о Крымъ и въ періодъ кишиневской и одесской жизни; такъ въ 1820 г. имъ написано стихотвореніе "Фонтану Бахчисарайскаго дворца", въ 1821 г. - "Желанье", въ 1822 г. - тъ мъста субъективнаго харантера, которыя находятся въ поэмъ "Бахчисарайскій фонтанъ"; въ 1823 г. (?) нъкоторые стихи въ первой пъснъ "Онъгина", напр.: "Я видълъ море предъ грозою"; къ этому же году относится и отзывъ о Крымъ въ письмъ къ кн. Вяземскому; въ 1824 г. — такой же въ письмъ къ бар. Дельвигу; въ 1825 г. стихотвореніе "Ты видълъ дъву на скалъ" (я не упоминаю объ отрывкахъ и наброскахъ). Воспоминанія эти заканчиваются отрывками изъ путешествія Онъгина, посътившаго между прочимъ Тавриду. Отыскать хоть одинъ неблагосилонный отзывъ Пушкина о Крымъ мнъ не удалось:

Иное дъло Бессарабія и Кишиневъ; они вызвали въ Пушкинъ довольно сложныя впечатльнія. Сначала Бессарабія на поминаетъ ему объ Овидіи, и онъ рисуетъ нашъ югъ съ симпатіей; потомъ онъ пишетъ сатиры на кишиневскихъ дамъ — и въ то же время въ посланіи къ Баратынскому называетъ

пустынную Бессарабію страной, священной для души поэта: "Она Державинымъ воспъта и славой русскою полна". Переселившись въ Одессу, Пушкинъ то вздыхаеть о Кишиневъ (въ письмъ къ брату), то посылаетъ Вигелю извъстную сатиру на этотъ городъ, впрочемъ въ такой инструкціи, которая не позволяеть серіозно относиться къ этому стихотворенію. Изъ Михайловскаго въ 1826 г. Пушкинъ пишетъ къ Н. С. Алексъеву: "Не могу изъяснить тебъ мои чувства при полученіи твоего письма... Кишиневскіе звуки, берегь Быка... Милый мой, ты возвратиль меня Бессарабіи. Я опять въ моихъ развалинахъ, въ моей темной комнатъ, передъ ръшотчатымъ окномъ, или у тебя, мой милый, въ свътлой твоей избушкъ... я за новости кишиневскія стану тебя потчивать новостями московскими". Оканчивая "Цыганъ", Пушкинъ въ эпилогъ съ большимъ чувствомъ говоритъ о Бессарабіи и о своемъ пребываніи въ цыганскомъ таборъ. Еще позже онъ вспоминаеть о цыганахъ въ VIII главъ "Онъгина" и пишетъ стихотвореніе "Цыгане", гдъ опять съ удовольствіемъ вспоминаеть о похожденіяхъ въ цыганскомъ таборъ.

Столь измънчивое отношеніе Пушкина къ одному и тому же предмету вовсе не представляетъ исключенія. Извъстно, какъ онъ любилъ Петербургъ (см. хотя бы "Люблю тебя, Петра творенье" и т. д.); но можно подобрать немало мъстъ, гдъ онъ осыпаетъ его жесточайшею бранью. (Проклятый Петербургъ... Я золъ на Петербургъ и радуюсь каждой его гадости... свинскій Петербургъ); Пушкинъ не долюбливалъ Москвы, но случалось ему хвалить ее (напр. въ "Онъгинъ"); онъ любилъ Россію — и жаловался, что родился русскимъ.

Одесса во всякомъ случав пользовалась у Пушкина большею благосклонностью, нежели Кишеневъ. Тотчасъ по переселени въ Одессу Пушкинъ сообщаетъ брату, что Инзовъ отпустилъ его въ Одессу: "Я оставилъ мою Молдавію и явился въ Европу. Ресторація и итальянская опера напомнили мнъ старину и, ей-Богу, обновили мнъ душу... Теперь я опять въ Одессъ и все еще не могу привыкнуть къ европейскому образу жизни". Немедленно по прівздъ въ Михайловское, онъ проситъ Д. М. Княжевича писать ему изъ Одессы: "Объ Одессъ ни слуху ни духу. Сердце въсти проситъ... Ради Бога, слово живое объ Одессъ; скажите мнъ, что у Васъ дълается; скажите, во-первыхъ, выздоровъла ли Катенька (Гика)".

Вскоръ Пушкинъ сталъ получать изъ Одессы письма отъ гр. Воронцовой, украшенныя печатью съ кабалистическими знаками (т.-е. въ дъйствительности съ караимскими письменами); тогда Пушкинъ запирался въ своей комнатъ, никуда не выходилъ и никого не принималъ къ себъ. Письма эти онъ сжигаль, о чемъ онъ и говорить въ стихотвореніи "Сожженное письмо", а о гр. Воронцовой вспоминаетъ въ двухъ стихотвореніяхъ: "Ангелъ" и "Талисманъ". Двумя еще болъе поэтическими произведеніями: "Подъ небомъ голубымъ страны своей родной" и "Для береговъ отчизны дельней", почтиль онъ память скончавшейся одесситки, г-жи Ризничь. Но самое подробное воспоминание объ Одессв находится въ извъстныхъ строфахъ "Евгенія Онъгина", посвященныхъ его путешествію. Приводить ихъ не ръшаюсь, такъ какъ онъ слишкомъ извъстны одесситамъ, а замъчу лишь, что въ нихъ господствуеть самое свътлое воспоминание объ одесской жизни, не омрачаемое и нъкоторыми недостатками Одессы: пылью, грязью, отсутствіемъ растительности, безводіемъ, — тъмъ болъе, что можно было тогда ожидать и скораго избавленія ея отъ этихъ бъдъ. Впрочемъ одесская грязь настолько поразила Пушкина, что онъ припомнилъ ее гораздо позже, во время втораго путеществія на Кавказъ, провзжая между Орломъ и Ельцомъ: "Нъсколько разъ коляска моя вязла въ грязи, достойной грязи одесской". Затъмъ одинъ изъ варіантовъ путешествія Онъгина указываеть, что еще у Пушкина оставило объ Одессъ хорошую и плохую память:

> А я оть милыхъ южныхъ дамъ, Оть жирныхъ устрицъ черноморскихъ, Оть оперы, отъ темныхъ ложъ И, слава Богу, отъ вельможъ Уъхалъ въ тънь лъсовъ тригорскихъ.

Въ 30-хъ годахъ воспоминанія Пушкина о посъщенныхъ имъ мъстахъ юга Россіи тускньють; но все же и въ это время можно найти у него стихи, гдѣ онъ говоритъ о югѣ съ большимъ чувствомъ и, посътивъ Михайловское незадолго до смерти, онъ на берегу озера вспоминаетъ съ грустью иные берега, иныя волны. И немудрено: тамъ протекла свътлая пора его юности, тамъ онъ жилъ болѣе естественною жизнью, тамъ, наконецъ, онъ былъ счастливъе, нежели въ это время.

Но помниль ли югь великаго поэта, такъ неожиданно сюда

залетъвшаго? И если помнить, то какъ относился къ его памяти? Я остановлюсь тлавнымъ образомъ на Одессъ, такъ какъ относительно другихъ, упомянутыхъ мною выше, мъстностей располагаю лишь позднъйшими данными.

Ер. Воронцовъ продолжалъ относиться къ Пушкину недоброжелательно, что особенно сказалось по случаю его смерти. Извъстень разсказъ бывшаго редактора газеты "Одесскій Въстникъ" Н.Г. Тройницкаго (записанный мною съ его словъ) о томъ, какъ онъ принесъ на просмотръ гр. Воронцову некролоть Пушкина, заключавшій глубоко прочувствованныя похвалы ему и скорбь по поводу его безвременной кончины; гр. Воронцовъ разръшиль печатать некрологь, но выразиль недоумъніе, заслужиль ли Пушкинь этоть некрологь, — тъмъ болье, что подобнаго не было, напр., по смерти Державина или Хераскова. Несмотря на данное разръшеніе, редакція газеты опасалась, не будеть ли нахлобучки за некрологь изъ Петербурга, и, можеть быть, не безь основанія, такъ какъ тамъ дъйствительно по поводу смерти Пушкина происходили, какъ извъстно, такія событія, которыя были бы черезъ-чуръ смъщны, если бы не были столь грустными. Относительно же тр. Воронцовой мив неоднократно передавали близкія къ ней лица, напр. протојерей М. К. Павловскій, что сочиненія Пушкина навсегда остались ея любимымъ чтеніемъ.

Враждебное отношеніе аристократа-западноевропейца гр. Воронцова къ памяти Пушкина въ сущности не было исключительнымъ: на глазахъ одесситовъ прошелъ и другой примъръ въ лицъ гр. А. Г. Строгонова. Были ли у него съ Пушкинымъ какіе-либо личные счеты, положительно сказать не умъю, хотя указанія на это есть; но извъстно, что еще незадолго до смерти гр. Строгоновъ продолжалъ видътъ въ Пушкинъ революціонера, автора стихотворенія "Кинжалъ" и проч.; онъ грубо обощелся съ уважаемыми одесситами, явившимися къ нему съ подписнымъ листомъ на памятникъ Пушкину, и съ крикомъ удивлялся, чего же смотритъ полиція на постановку памятника такому "кинжальщику". Отзывы о Пушкинъ лицъ, весьма близкихъ къ тр. Строгонову, были ръзки до нельзя, и въ нихъ сквозила месть за Дантеса.

Но возвращаюсь къ Одессъ того времени, когда ее покинуль Пушкинь. Помнило ни его мъстное общество? А. А. Скальковский говорить, что, кромъ одного-двухъ, нъкогда лично

близкихъ къ Пушкину людей, его уже забыли въ Одессъ въ концъ 20-хъ годовъ. Объясняю такое показаніе оффиціальнымъ положеніемъ А. А. Скальковскаго, до котораго изъ среды лицъ, окружавшихъ гр. Воронцова, дъйствительно отзывы о Пушкинъ могли и не дойти; не даромъ-же онъ ни однимъ словомъ не упомянулъ о пребывании Пушкина въ Одессъ въ своей исторіи ея; но воспоминанія Н. Г. Тройницкаго доказывають, что въ русскомъ обществъ Одессы и хорошо помнили Пушкина, и восхищались его произведеніями. Затымь въ "Одесскомъ Въстникъ" 1827 г. въ № 30 отъ 20-го апръля перепечатано было стихотворение Пушкина "Одесса" изъ "Онъгина", которое могло напомнить многимъ одесситамъ о своемъ авторъ. Наконецъ, въ 1828—1830 гг. ришельевскіе лицеисты издавали рукописный журналь "Ареопагь" (хранящійся нынъ въ одесской публичной библіотекъ). По словамъ одного изъ его редакторовъ, Н. Г. Тройницкаго, журналъ этотъ былъ вызванъ къ жизни именно вліяніемъ Пушкина; и точно, въ немъ перепечатывались его стихотворенія, разбирались его произведенія и т. д. Въ послъднихъ книжкахъ "Ареопага" о Пушкинъ говорится ръдко: но въ то время и вообще въ русскихъ журналахъ видно оскудъніе статей о Пушкинъ — до тъхъ поръ, пока смерть снова не привлекла къ нему общаго вниманія; извъстіе-же о смерти Пушкина, напечатанное въ "Одесскомъ Въстникъ" (1837 г. № 13), отличается высокимъ лиризмомъ; для обращика привожу окончаніе статьи, какъ имъющее для моей темы спеціальный интересъ: "Съ ранняго возраста прислушивались мы къ этимъ очаровательнымъ пъснопъніямъ, къ этимъ незнаемымъ дотолъ оборотамъ русской ръчи, къ этой неслыханной у насъ гармоніи языка. Съ любовью следили мы каждый шагь поэтическаго поприща его жизни, дорожили его славою, потому что видъли въ ней нашу собственную славу, - славу Россіи. Мы привыкли считать эту славную жизнь неотъемлемымъ безсмертнымъ достояніемъ русской литературы; мы никогда не думали, мы не постигали возможности лишиться нашего незабвеннаго... Пушкинъ! Пушкинъ! Зачъмъ-же такъ рано, такъ нежданно! И нътъ преемника тебъ въщій пъвецъ нашего времени". Послъ смерти Пушкина наступило время изученія его біотрафіи и оцінки его литературной діятельности, стали пояляться статьи о немъ и воспоминанія; не осталась чуждою

къ этому и Одесса, гдъ еще до 50-хъ годовъ было напечатано о Пушкинъ нъсколько статей, и въ сущности начало серіозному изученію біографіи Пушкина положено было одесситомъ. Питомецъ Ришельевскаго лицея, затъмъ профессоръ въ немъ русской словесности, К. П. Зеленецкій (теперь, кстати сказать, незаслуженно забытый и неудостоившійся обстоятельной біографіи, хотя по его учебникамъ нъкогда училась вся Россія) былъ величайшимъ поклонникомъ Пушкина. Уже въ 1838 г. онъ напечаталъ въ "Современникъ" воспоминанія о немъ нъкоего А. Грена и затъмъ надолго посвятилъ себя изученію біографіи великаго поэта, усиленно разыскивая даже принадлежавшую ему извъстную оригинальную палку, которая однако попала къ другому одесскому почитателю Пушкина Н. Г. Тройницкому, а нынъ находится въ музев Император-

скаго одесскаго общества исторіи и древностей.

Переселеніе въ Одессу на службу брата поэта, Л. С. Пушкина, побудило К. П. Зеленецкаго особенно усердно заняться выясненіемъ обстоятельствъ пребыванія поэта въ Новороссіи, результатомъ чего быль рядъ препрасныхъ статей его о Пушкинъ, опередившихъ капитальный трудъ Анненкова. Не называю ихъ, равно и дальнъйшихъ статей, написанныхъ у нась о Пушкинъ, такъ какъ перечисленіе ихъ частью есть уже въ извъстныхъ книжкахъ Межова и проф. В. А. Яковлева (одессита-же), частью, какъ мнв извъстно, приготовляется къ печати одесскою публичною библіотекою. Число ихъ, особенно во время пушкинскихъ торжествъ 1880 и 1887 гг., прямо таки колоссально, и авторами какъ воспоминаній о Пушкинъ, такъ и посвященныхъ ему статей являются всъ безъ исключенія сколько-нибудь замътные наши литераторы и публицисты, какъ уже покойные (А. А. Скальковскій, Н. Н. Мурзакевичъ, М. Ф. Дерибасъ, О. О. Чижовичъ, проф. В. А. Яковлевъ и др.), такъ и тъ, которые еще продолжаютъ свою дъятельность. Такое же одушевление господствуеть въ крымской и бессарабской прессь; отсюда тоже доходить къ намъ рядъ воспоминаній о Пушкинъ, иногда поэтическихъ, какъ напр., разсказъ о кипарисъ и соловьъ въ Гурзуфъ, иногда баснословныхъ, какъ напр. большинство новыхъ кишиневскихъ воспоминаній, даже съ массою неизвъстныхъ стиховъ, будто-бы пушкинскихъ. Появляются переводы сочиненій Пушкина на всъхъ имъющихся на югъ Россіи иностранныхъ языкахъ, до эксперанто включительно; въ честь Пушкина обильно пишутся стихотворенія и создаются памятники искусства, напр. музыкальныя произведенія; словомъ, совершаются всевозможные способы чествованія его памяти. Я позволю себъ (по весьма понятной причинъ) остановиться лишь на дъятельности въ этомъ отношеніи одесскаго славянскаго благотворительнаго общества, черезъ просвътительный трудъ котораго красной нитью проходитъ популяризація сочиненій Пушкина въ средъ одесскаго простонародья. Это-же общество организовало постановку въ Одессъ одного изъ первыхъ памятниковъ Пушкину въ Россіи (впрочемъ, Кишиневъ сдълалъ это раньше) и отмътило на основаніи вполнъ авторитетныхъ показаній тотъ домъ, гдъ остановился Пушкинъ, по проъздъ въ Одессу въ 1823 г.

Немало сдълало для прославленія памяти Пушкина и наше городское общественное управленіе. Достаточно указать, что въ настоящее время имъ связано съ именемъ Пушкина едва-ли не самое симпатичное учреждение, вызванное его юбилеемъ. Но, кому въ исторіи распространенія любви къ Пушкину и памяти о немъ на югъ Россіи (и конечно по всей Россіи) принадлежить главное мъсто — это нашимъ педагогамъ. Буду говорить объ Одессъ, такъ какъ я располагаю лишь здъшними данными. Въ нашемъ университетъ читались систематические курсы о Пушкинъ (проф. И. С. Некрасовымъ) раньше, нежели гдъ-либо. Совътъ университета неоднократно принималъ мъры, чтобы направить студентовъ къ спеціальному изученію сочиненій великаго поэта. Какое значеніе имфють сочиненія Пушкина въ нашей средней школъ — общеизвъстно; я готовъ даже сдълать упрекъ ей, что Пушкинъ здъсь слишкомъ уже заслоняеть нашихъ последующихъ выдающихся писателей. Стоя въ послъднее время близко къ нашимъ низшимъ учебнымъ заведеніямъ, могу засвидътельствовать, что и здъсь Пушкинъ является любимъйшимъ и популярнъйшимъ писателемъ. И если, оправдается когда-либо упование Пушкина:

Слухъ обо мнъ пройдеть по всей Руси великой И назоветь меня всякъ сущій въ ней языкъ,

— этимъ Россія и Пушкинъ болье всего обязаны будуть учителямъ народныхъ училищъ. Путемъ какъ бы волосныхъ сосудовъ происходитъ, благодаря имъ, проникновеніе въ народъ сочиненій великаго поэта. Если имя его еще недостаточно извъстно его народу — что дълать: это недостатокъ не одного юга. Полтора мъсяца назадъ я съ однимъ знакомымъ отправился въ Петербургъ искать мъсто роковой дуэли Пушкина. Не зная этого мъста, мы разспрашивали о немъ и полицію, и мъстныхъ сторожей, и вообще всякаго встръчнаго, по крайней мъръ человъкъ 20, и могли убъдиться, что ни для одного изъ нихъ слово "Пушкинъ" не зазвучало чемъ-то знакомымъ; близкимъ. И лишь культурный прохожій вывель нась изъ затрудненія, указавъ намъ дорогу къ болоту, гдъ стоитъ маленькій столбикъ съ плохимъ гипсовымъ бюстикомъ Пушкина, смотрящаго на скачки и на тотализаторъ! Мнъ не было стыдно за Одессувинот винити визменний вини вини вини

Будемъ надъяться, что празднества, подобныя нынъшнему, тоже явятся прекраснымъ средствомъ привлечь народъ къ имени Пушкина, а послъ того и къ его сочиненіямъ.

Нашъ югъ все еще принято почему-то считать не вполнъ Россіей. Отъ Одессы не отстаетъ репутація нерусскаго города. Но, если принадлежность къ націи опредъляется самосознаніемъ, то Одесса какъ и весь югъ, давно доказали свою русскую національность, и рядъ пушкинскихъ празднествъ явился дучшимъ показателемъ этого. Если-же этого мало и для нашего юга, съ Одессою включительно, еще предстоитъ работа, чтобы примкнуть къ русской національности, то единственнымъ способомъ явится распространение здъсь великихъ произведеній русскаго національнаго тенія и, можеть быть, всего раньше Пушкина. Какъ ни громадно уже его значеніе, въ настоящее время, но истинная миссія его выполнится лишь, тогда, когда всъ многочисленные жители Россіи сознательно и свободно признають Пушкина своимъ великимъ поэтомъ. миномустиминацияння в чух частия Маркевичу.

Вліяніе юга на поэтическую д'ятельность Пушкина.

Александръ Сергъевичъ Пушкинъ прожилъ на югъ Россін — на Кавказъ, въ Крыму и Бессарабін — болье трехъ лътъ, именно съ мая мъсяца 1820 года по іюнь 1823 года. Эти мъста имъли особенно важное значение для развития его генія. Кавказъ и Крымъ воспитали въ немъ чувство любви къ природъ, обогативъ его душу великолъпными образами внъшняго міра; Кишиневъ, этотъ пограничный городъ съ разноплеменнымъ населеніемъ, представляль пестрый и разнообразный міръ людскихъ отношеній и связей. Здісь, по преимуществу, познакомился онъ съ жизнію и пріобръль познаніе человъческаго сердца, такъ необходимое для писателя. На этихъ окраинахъ Россіи зародились всъ важнъйшія произведенія второго періода поэтической дъятельности Александра Сергъевича, запечатлънныя вліяніемъ на него Байрона. Но, кромъ Кавказа, Крыма и Бессарабіи, въ воспитаній пушкипскаго генія принимала въ эту пору участіе и Украйна, или Малороссія. Пушкинъ прожилъ нъсколько времени въ Екатеринославъ и отсюда вынесъ поэтическій образъ бъгства двухъ скованныхъ разбойниковъ, представленный имъ въ поэмъ "Братья разбойники". По пути съ Кавказа на южный берегь Крыма, онъ видълъ берега Кубани, любовался черноморскими казаками, этими выходцами изъ Запорожской съчи, и воспълъ ихъ въ "Черкесской пъснъ" въ своей поэмъ "Кавказскій пленникъ". Въ Кишиневъ, въ этой смъси племенъ, наръчій, покольній, нашъ поэть встрычался и съ малороссами, а въ Бендерахъ бесъдовалъ о дълахъ давно минувшихъ дней Малороссіи со старикомъ Миколой Искрой, которому было тогда около 135 лътъ. Но что всего интереснъе для насъ, А. С. Пушкинъ имълъ тогда близкія связи съ Кіевской губерніей и съ городомъ Кіевомъ. Въ Кіевъ находилась тогда главная квартира командира 4-го корпуса первой арміи Николая Ивановича Раевскаго, съ сыномъ котораго Николаемъ Пушкинъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ. Въ сель Каменкъ, Чигиринскаго повъта, жила мать старика Раевскаго, урожденная графиня Самойлова, во второмъ бракъ Давыдова. Въ эти-то два пункта Украйны часто удалялся Александръ Сергъевичъ изъ Кишинева въ гости къ Раевскимъ и Давыдовымъ, какъ бы отдыхаль здёсь оть напора сильных впечатлёній, только что имъ полученныхъ на Кавказъ, въ Крыму и Бессарабіи, сосредоточивался въ себъ и очищаль эти впечатлънія въ горнилъ художественнаго творчества. Въ теченіи трехъ лътъ своей кишиневской жизни А. С. Пушкинъ каждый годъ навъдывался въ Каменку и въ Кіевъ. Въ Каменкъ написано имъ стихотвореніе "Я пережиль свои желанья" и окончень "Кавказскій

плънникъ". Въ Кіевъ, въ февралъ 1821 года, написаны имъстихи: "Земля и море", "Муза" и "Желаніе". Всъ почти эти произведенія имъютъ отношеніе къ прошлой жизни поэта и частію выражаютъ временную усталость его послъ тяжелой жизненной дороги ("Я пережилъ свои желанья"), частію воспроизводятъ въ художественныхъ образахъ воспоминанія о

Кавказъ и Крымъ.

Вмъсть съ тъмъ Пушкинъ, сводя въ Кіевъ и Каменкъ счеты съ прежнею жизнію, съ прежними впечативніями, немогъ не воспринимать здёсь новыхъ впечатленій отъ окружавшей его украинской жизни и не питать новыхъ поэтическихъ замысловъ. Его дасковая муза часто оживляла ему "путь нъмой волшебствомъ тайнаго разсказа". А о Кіевъ его муза могла поразсказать ему многое изъ того, о чемъ мечталь онь еще раньше въ "Русланъ и Людмилъ", т.-е. о первыхъ кіевскихъ князьяхъ, и указать ему новые предметы и планы. Ко времени пребыванія Пушкина на югь Россіи и поъздокъ его въ Кіевъ и Каменку относится его "Пъснь о въщемъ Олегъ", написанная если не въ Кіевъ, то подъ свъжимъ его впечативніемъ. Эта пъснь написана въ 1822 году и довольно ясно указываетъ на Щекавицу, гдъ прежде искалимогилу Олега. Пушкинъ, конечно, на этой горъ — и въ егопоэтическомъ воображении развернулась величественная картина тризны по умершемъ Олегъ, совершенно наглядная для кіевлянъ:

> Ковши круговые зап'внясь шипять На тризн'в плачевной Олега: Князь Игорь и Ольга на холмъ сидять, Дружина пируетт у брега.

Непосредственное отношеніе къ Кіеву имъетъ и баллада Пушкина "Гусаръ", воспроизводящая украинское преданіе о кіевскихъ въдъмахъ и Лысой горъ.

На югъ Россіи зародилась у Пушкина и мысль написать поэму "Полтава", съ которой обыкновенно начинаютъ третій періодъ поэтической дъятельности Пушкина въ самобытномъ направленіи. Мысль поэмы навъяна была "Мазепой" Байрона и явилась у Пушкина, по всей въроятности, еще въ Кишиневъ. По крайней мъръ, будучи еще въ Бендерахъ, такъ сказать, на самомъ мъстъ развязки полтавской драмы, нашъ поэтъ посътилъ бывшее Варницкое укръпленіе Карла XII,

слушаль разсказъ старика Искры объ этомъ король и особенно добивался отъ Искры узнать что-либо о Мазепъ. Но чего Пушкинъ не добился отъ старика Искры, то могъ узнать онъ въ центръ самой Украйны, въ Кіевъ или Каменкъ, недалеко отъ мъста дъйствія. Съ увеличеніемъ матеріала, планъ поэмы расширяется, захватываетъ одинъ изъ важнъйшихъ моментовъ борьбы Петра Великаго съ Карломъ XII и представляеть широкую картину напряженной жизни Маллороссіи за это время. Мъстами встръчаются въ поэмъ върныя изображенія украинской природы, необозримыхъ луговъ и широкихъ степей, синяго Дивпра и тихой украинской ночи, и замътны даже слъды мъстнаго наръчія (сткло, хуторг, катг). Впоследствін, къ личнымъ наблюденіямъ и впечатленіямъ, вынесеннымъ поэтомъ изъ Украйны, присоединились и печатные источники украинскаго происхожденія. Въ 1827 году М. А. Максимовичъ издаль въ Москвъ сборникъ "Малорусскихъ народныхъ пъсенъ", которыя произвели благотворное вліяніе на тогдашнюю литературу и сдълали издателя однимъ изъ видныхъ литературныхъ дъятелей. Жуковско-Пушкинской и Гоголевской эпохи. Самъ Максимовичъ [разсказывалъ, что въ одно изъ посъщеній своихъ Пушкина онъ засталь поэта за своимъ сборникомъ: "А я обираю ваши пъсни", сказалъ Пушкинъ. Онъ писаль въ это время Полтаву. "Полтава, говорить одинъ писатель, - одно изъ первыхъ у насъ поэтическихъ произведеній съ чертами народности въ сюжеть и характерахъ. Марія Кочубеевна, при всей своей относительной, по теперешнимъ понятіямъ, бъдности изображенія, одно изъ первыхъ живыхъ русскихъ женскихъ лицъ въ нашей литературъ. Нельзя не видъть, что черты ея у Пушкина навъяны женскими украинскими пъснями, столь полными нъжности и страсти". Петровъ.

Впечатлънія новой для него, но могущественно дъйствующей природы юга, которая вдругь раскрылась передъ Пушкинымъ скакъ бы навстръчу его желаніямъ, отразилась во многомъ, что было написано имъ на югъ Россіи. Ссылка, вырвавшая его изъ безумнаго омута петербургской жизни, утомившей Пушкина, подъйствовала на него благотворно: она фсвъжила его. Попасть вдругъ съ пьяной оргіи петербург-

ской золотой молодежи на дъвственно-чистые снъга кавказскихъ горъ и при томъ въ той благопріятной обстановкъ, въ какой находился Пушкинъ, было для него величайшимъ счастіемъ. Съ прівзда въ Крымъ, съ первыхъ уже написанныхъ стихотвореній, сказывается вліяніе природы южнагоберега и той идиллически-страстной обстановки, которую Пушкинъ нашелъ въ гостепріимномъ семействъ Раевскихъ. Стихъ его твердъетъ, въ немъ видно больше отдълки, форма напоминаетъ спокойную и ясную древнюю форму. Не безъвліянія изученія въ это время французскаго поэта А. Шенье совершилось это развитие къ лучшему, но явление Шенье было непродолжительно. То, что составляло главныя свойства этого предшественника французскихъ романтиковъ, по опредъленію современнаго критика Брандеса, благородная простота языка, определенность и точность рисунка, красивыя линіи барельефа, цёльныя краски и строгая форма сдёлались дегко достояніемъ Пушкина. Но содержаніе поэзіи Шенье было не глубоко; онъ не могъ надолго удовлетворить развивающися духъ нашего поэта, и Шенье былъ скоро забытъ для Байрона, съ произведеніями котораго Пушкинъ въ первый разъ познакомился въ Крыму, въ семействъ генерала Раевскаго, гдъ знали англійскій языкъ.

Вся поэтическая дъятельность Пушкина на югъ Россіи, начиная съ извъстной его элегія "Погасло дневное свътило", въ которой уже слышатся отзвуки поэзіи Байрона, происходила болъе или менъе подъ вліяніемъ этого "властителя нашихъ думъ" — по его выраженію. Такимъ властителемъ Байронъ остался для Пушкина до самаго того времени, когда замыселъ "Евгенія Онъгина" не увлекъ его въ русскую деревню, въ нъдра родной семейной и общественной жизни. Байронъ на русской почвъ долженъ былъ получить однако своеобразныя черты, зависъвшія уже отъ нашихъ условій. Горькая пронія и отчанніе Байрона, его типы и герои, воплотившіе въ себъ собственную душу англійскаго поэта, его скептицизмъ вытекали изъ отношеній къ современной исторіи такой глубокой личности, какою быль Байронъ. Онъ быль продуктомъ современной исторіи, какъ всякій поэтъ. Въ его духъ, въ его міросозерцаніи происходить тоть историческій разладъ, которымъ страдали его современники. Не мъстоговорить здъсь о глубокомъ историческомъ содержании поэзіи.

Байрона, которая неизбъжно должна была увлечь его младшаго современника, стремившагося тогда "стать съ въкомъ наравнъ" и переживавшаго, подобно всему тогдашнему русскому молодому и мыслящему покольню, отражения у насъ духовной и политической жизни Европы, но должны сказать вообще, что поэзія Байрона выражала вполнъ современность. "Безнадежный эгоизмъ" и "унылый романтизмъ" Байрона, какъ опредъляетъ его поэзію Пушкинъ, не былъ удачною прихотью поэта, по его же выраженію, а имълъ свой корень въ духъ времени.

Совершенно понятно, почему Байронъ во все время жизни Пушкина на русскомъ югъ былъ "властителемъ его думъ". Поэзія Байрона, если она была выраженіемъ его могучей и гордой личности, то вмъстъ съ темъ она была также и выраженіемъ свободнаго европейскаго духа въ эпоху самовластного могущества Наполеона и начавшейся послъ его паденія всеобщей европейской реакціи. Духъ Руссо и его боязливое недовъріе къ людямъ ожили въ англійскомъ поэть, но получили гораздо сильнъйшее и полнъйшее выраженіе. Для страстнаго пессимизма и скептицизма Байрона было много и общихъ и европейскихъ, и національно англійскихъ и, наконецъ, личныхъ причинъ. Чайльдъ-Гарольдъ и Лара, какъ высшія выраженія и самого Байрона, и цълаго типа, съ глубокою тоскою, грызущею ихъ сердце и съ гордою мукою, не находящею нигдъ успокоенія, для людей того времени были откровеніемъ. Это была исповъдь въка, внутренняя исторія его. Въ страсти, въ мукахъ байроновскихъ героевъ современники находили свои собственныя, переживаемыя ими стра-Буличъ. данія и ощущенія.

Пушкинъ въ Михайловскомъ.

Въ жизни и творчествъ Пушкина пребывание его въ селъ Михайловскомъ съ августа 1824 г. по сентябрь 1826 г. имъетъ особое значение и привлекаетъ внимание изслъдователя. Это періодъ небольшой по времени, бъдный внъшними событіями, но богатый по внутреннему содержанию и очень важный для душевнаго развитія поэта. Всего два года прожиль Пушкинъ въ уединеніи с. Михайловскаго — и въ немъ произошло то "возрожденіе", котораго онь жаждаль уже давно, о которомъ

мечталь въ водоворотъ петербургской жизни и подъ знойнымъ небомъ юга. Нашъ поэтъ испыталъ переломъ въ душевной жизни; отшумъли и замолкли грезы юности, періоды бури и натиска, — наступаетъ пора самосознанія, спокойнаго и опредъленнаго взгляда на цъль жизни и литературной дъятельности. Правда, спокойствіе это неръдко нарушается, страсти вспыхиваютъ въ душъ поэта, но въ общемъ его жизнь течетъ уже по одному руслу: у нея есть цъль, есть содержаніе.

Оставляя шумную одесскую жизнь и роскошную южную природу для уединенія въ съверной деревнъ, Пушкинъ надъялся найти отдыхъ и безъ озлобленія отнесся къ постигшей его немилости. Такимъ настроеніемъ проникнуто первое стихотвореніе, написанное въ селъ Михайловскомъ.

Аквилонъ.

Зачемъ ты, грозный аквилонъ, Тростникъ болотный долу клонишь? Зачьмъ на дальній небосклонъ Ты облака столь гивно гонишь? Недавно черныхъ тучъ грядой Сводъ неба глухо облекался, Недавно дубъ надъ высотой Въ красъ надменной величался. . Но ты поднялся, ты взыграль, Ты прошумъль грозой и славой --И бурны тучи разогналь, И дубъ низвергнуль величавый. Пускай же солнца ясный ликъ Отнынъ радостью блистаеть, И облакомъ зефиръ играетъ, И тихо зыблется тростникъ.

Въ этомъ художественномъ стихотвореніи поэтъ сплетаеть образы природы, мысли о политическихъ событіяхъ и личные мотивы. Дубъ, какъ говорять нъкоторые критики, изображаетъ Наполеона, котораго политическая гроза вырвала изъ Европы и унесла на островъ св. Елены. Тростникъ — самъ Пушкинъ. Въ одномъ изъ черновыхъ набросковъ "Евгенія Онъгина" поэтъ замъчаетъ о своемъ невольномъ переселеніи съ юга на съверъ:

... Я отъ милыхъ южныхъ дамъ, Отъ жирныхъ устрицъ черноморскихъ, Отъ оперы, отъ темныхъ ложъ, И, слава Богу, отъ вельможъ Увхалъ въ твнь лъсовъ тригорскихъ Въ далекій съверный увздъ — И былъ печаленъ мой прівздъ.

О мысляхъ и чувствахъ, съ которыми онъ явился въ село Михайловское, Пушкинъ вспоминаетъ въ стихотворении "Опять на родинъ", написанномъ значительно позже, въ 1835 году.

> ... Въ разны годы Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи, Являлся я. Когда вы въ первый разъ Увидъли меня, тогда я быль Веселымъ юношей. Безпечно, жадно Я приступаль лишь только къ жизни. Годы Промчалися — и вы во мив пріяли Усталаго пришельца. Я еще Быль молодь, но уже судьба Меня борьбой неравной истомила; Я быль ожесточень. Въ уныны часто Я помышляль о юности моей Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, О строгости заслуженныхъ упрековъ, О дружбъ, заплатившей мнъ обидой — За жаръ души довърчивой и нъжной — И горькія кипъли въ сердцъ чувства...

Къ печальнымъ и горькимъ воспоминаніямъ о прошломъ присоединились невзгоды настоящаго, встрътившія поэта на родинъ, въ кругу семьи. По донесенію псковской полиціи, Пушкинъ прибылъ въ село Михайловское 9 августа 1824 года, а 31 октября онъ уже пишеть Жуковскому письмо, живо и върно рисующее отношение къ нему отца. "Милый, прибъгаю къ тебъ. Посуди о моемъ положении! Прівхалъ сюда, быль я встръчень всъми какъ нельзя лучше, но скоро все перемънилось. Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердить, что и его ждеть та же участь. Пещуровь, назначенный за мною смотрыть, имыть безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку; короче, быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мнъ съ нимъ объясниться; я ръшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчаль. Получаютъ бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ моему

отцу и прошу позволенія говорить искренно — болъе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сълъ верхомъ и

утхалъ".

Отецъ, подъ вліяніемъ Жуковскаго или по собственному побужденію, убхаль со всею семьею изъ Михайловскаго и отказался отъ надзора за сыномъ. Къ ноябрю 1824 г. Пушкинъ зажилъ одиноко съ няней Ариной Родіоновной. "Буря, кажется, успокоилась", пишетъ онъ одному изъ пріятелей. "Вотъ уже четыре мѣсяца, какъ я нахожусь въ глухой деревнѣ, — скучно, да нечего дѣлать. Здѣсь нѣтъ ни моря, ни итальянской оперы, ни васъ, друзья мои. Но зато нѣтъ ни саранчи ни милордовъ Воронцовыхъ. Уединеніе мое совершенно, праздность торжественна. Сосѣдей около меня мало, я знакомъ только съ однимъ семействомъ, да и то вижу довольно рѣдко, — совершенный Онѣгинъ; цѣлый день верхомъ; вечеромъ слушаю сказки моей няни, оригинала Татьяны; она — единственная моя подруга, и съ нею мнѣ не скучно".

Въ IV главъ "Евгенія Онъгина" Пушкинъ изображаетъ свой скромный образъ жизни въ селъ Михайловскомъ. По утрамъ лътомъ онъ купался въ ръкъ Сороти, протекавшей у подошвы холма, на которомъ находился "смиренный домъ", гдъ жилъ поэтъ съ нянею. Зимою бралъ холодную ванну. Носиль простой деревенскій нарядь. "Прогулки, чтенье, сонъ глубокій, лісная тінь, журчанье струй, узді послушный конь ретивый, объдъ довольно прихотливый, бутылка свътлаго вина, уединенье, тишина" — вотъ содержание жизни нашего поэта. Одна комната съ ширмами служила Пушкину спальней, столовой, рабочимъ кабинетомъ. На другой поло винъ дома находилась просторная комната, гдъ жила няня Арина Родіоновна, которая туть же наблюдала за толной кръпостныхъ швей и ткачихъ, работавшихъ для господъ. Съ няней поэтъ короталъ длинные зимніе вечера, объ одномъ изъ которыхъ говоритъ въ знаменитомъ стихотвореніи "Зимній

Уединенная жизнь благотворно дъйствовала на Пушкина. Она подходила къ его характеру, который къ тому времени уже успълъ опредълиться въ главныхъ своихъ чертахъ. Это не былъ одинъ изъ тъхъ характеровъ, о которыхъ говорятъ: "а онъ, мятежный, ищетъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой". Никогда Пушкинъ не искалъ жизненныхъ буръ

они сами приходили, или, върнъе, были вызываемы его пылкимъ воображеніемъ. Покой и уединеніе всегда были желанны для него. Еще въ Лицеъ въ стихотвореніи "Городокъ" Пушкинъ радуется уединенію:

Влаженъ, кто веселится Въ покоъ, безъ заботъ...

Тотъ же мотивъ слышится и въ лицейскомъ посланіи къ Юдину:

Не лучше ли въ деревнъ дальной Или въ смиренномъ городкъ Вдали столицъ, заботъ и грома Укрыться въ мирномъ уголкъ?

О, если бы когда-нибудь Сбылись поэта сновидьнья! Ужель отрадъ уединенья Ему вкусить не суждено!

По выходъ изъ Лицея онъ привътствовалъ прелести скромной деревенской жизни въ стихотвореніи "Уединеніе". Мы подчеркиваемъ стремленіе Пушкина къ покою и уединенію, потому что видимъ, въ этомъ важную черту его внутренняго міра. Душевная жизнь Пушкина отличалась раздвоеніемъ чувства и воли. Дънтельность не охватывала поэта цъликомъ. Житейскія волненія, битвы не удовлетворяли его. Онъ жаждаль вдохновеній и молитвъ вдали отъ толпы. Пора покоя — ночь особенно привлекала его. Въ одномъ изъ стихотвореній онъ признается, что по ночамъ давалъ себъ отчетъ о прожитомъ днъ, о всей прожитой жизни. Наиболъе плодотворнымъ было творчество Пушкина въ деревнъ въ уединени, куда онъ увзжаль почти каждый годь съ наступленіемъ осени. Все это подтверждаеть ту мысль, что какъ ни скучно, какъ ни тяжело было Пушкину въ селъ Михайловскомъ, уединенная жизнь соотвътствовала складу его души, укръпляла ее, помогла выработать міросозерцаніе въ главныхъ его чертахъ. А въ связи съ этимъ зръло и приносило драгоцънные плоды поэтическое творчество поэта. Кстати сказать, критика, которая позже доводила Пушкина до крайностей, заставляя его говорить въ знаменитомъ стихотвореніи "Поэтъ и чернь": "молчи, безсмысленный народъ", пока не нарушала его душевнаго равновъсія.

Но я плоды своихъ мечтаній И гармоническихъ затів Читаю только старой нянів Подругів юности моей.

Или:

Тоской и риемами томимъ, Бродя надъ озеромъ моимъ, Пугаю стадо дикихъ утокъ: Внявъ пѣнью сладкозвучныхъ строфъ, Онѣ слетаютъ съ береговъ.

Тоскливое настроеніе и скуку разгоняли у Пушкина не однъ только прогулки и старая няня, но и близкіе сосъди, и посъщенія друзей и лицейскихъ товарищей. Впрочемъ, только съ ближайшими сосъдями Михайловскаго, семействомъ Прасковьи Александровны Осиповой, близко сошелся Пушкинъ. Много пріятныхъ часовъ провель онъ въ сель Тригорскомъ, въ 2-3 верстахъ отъ Михайловскаго, на холмистомъ берегу ръки Сороти. Прасковья Александровна Осипова высоко цънила Пушкина, и онъ имълъ на нее большое вліяніе. Съ своей стороны и Пушкинъ отвъчалъ ей безграничной дружбой, посвящаль ей стихотворенія, даже выражаль наміреніе купить подлѣ Тригорскаго клочокъ земли и поселиться на немъ. Не одна хозяйка Тригорскаго была искренно привязана къ Пушкину. "Съ живописной площадки одного изъ горныхъ выступовъ, на которомъ было расположено помъстье, много глазъ еще устремлялось на дорогу въ Михайловское, видную съ этого пункта, и много сердецъ билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкинъ или пъшкомъ, въ шляпъ съ большими полями и съ толстой палкой въ рукъ, или верхомъ на аргамакъ, а то и просто на крестьянской лошаденкъ". Кромъ двухъ дочерей г-жи Осиповой, Анны и Евпраксіи Николаевны Вульфъ (отъ перваго брака) въ домъ ея постоянно гостили молодыя кузины. Все это женское население Тригорскаго увлекалось Пушкинымъ и вызывало увлеченія съ его стороны. Усталый, послъ усидчивыхъ занятій у себя въ Михайловскомъ, являлся онъ въ Тригорское и оживляль деревенскій одноэтажный домь, наполненный молодежью. Поднимался шумъ, говоръ, смъхъ, начинались интриги, борьба молодыхъ страстей — и нашъ поэтъ всему даваль тонь. Не обходилось здёсь и безъ семейныхъ драмъ, ревности и невинныхъ катастрофъ.

Кромѣ тригорскихъ сосѣдей, жизнь невольнаго изгнанника оживлялась пріѣздами друзей. Чувство дружбы было очень живо у Пушкина. Онъ легко сближался съ людьми, у которыхъ были общіе съ нимъ интересы. Но наиболѣе постоянныя и нѣжныя чувства питалъ онъ къ своимъ лицейскимъ друзьямъ. День открытія Лицея 19 октября и въ Михайловскомъ былъ для него праздникомъ. Онъ мысленно пировалъ съ друзьями, празднуя лицейскую годовщину, и наединѣ съ самимъ собою провозглашалъ тостъ за Лицей. Трое изъ старыхъ товарищей, Дельвигъ, Пущинъ и Горчаковъ навѣстили михайловскаго изгнанника. Въ полныхъ глубокаго чувства и высоко-художественныхъ строфахъ вспоминаетъ поэтъ о пріѣздѣ друзей.

Изъ края въ край преслъдуемъ грозой, Запутанный въ сътяхъ судьбы суровой, Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой, Уставъ, приникъ ласкающей главой... Съ мольбой моей, печальной и мятежной, Съ довърчивой надеждой первыхъ лътъ, Друзьямъ инымъ душой предался нъжной, -Но горекъ быль небратскій ихъ привъть. И нын в здёсь, въ забытой сей глуши, Въ обители пустынныхъ выогь и хлада, Мив сладкая готовилась отрада: Троихъ изъ васъ, друзей моей души, Здесь обняль я. Поэта домь опальный, О, Пущинъ мой, ты первый посетиль, Ты усладиль изгнанья день печальный, Ты въ день его Лицея превратилъ! Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней, Хвала тебь - фортуны блескъ холодный, Не измениль души твоей свободной: Все тотъ же ты для чести и друзей. Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой; Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись, Но невзначай проселочной дорогой Мы встретились и братски обнялись. Когда постигь меня судьбины гиввъ, Для всёхъ чужой, какъ сирота бездомный, Подъ бурею главой поникъ я томной И ждаль тебя, вышунь пермесскинь дывь, И ты пришель, сынь льни вдохновенный, О, Дельвигь мой! твой голосъ пробудиль Сердечный жарь, такъ долго усыпленный, И бодро я судьбу благословиль.

Пущинъ пробылъ въ Михайловскомъ всего одинъ день, но отъ него мы знаемъ о жизни Пушкина тамъ чуть ли не болъе, чъмъ отъ кого-либо другого, такъ какъ въ своихъ запискахъ онъ подробно описываетъ это посъщение опальнаго поэта. Встръча была неожиданна для Пушкина и бурно радостна. "Пушкинъ вообще показался мнъ", говоритъ Пущинъ, "нъсколько серіознъе прежняго, сохраняя, однакожъ, ту же веселость... Прежняя его живость во всемъ проявлялась, въ каждомъ словъ, въ каждомъ воспоминании: имъ не было конца въ неумодкаемой нашей болтовив... Замътно было, что ему нъсколько наскучила прежняя шумная жизнь, въ которой онъ частенько терялся. Онъ сказаль, что нъсколько примирился въ эти четыре мъсяца съ новымъ своимъ бытомъ, вначалъ очень для него несчастнымъ; что тутъ хотя невольно, но все-таки отдыхаеть оть прежняго шума и волненій, съ музой живеть въ ладу и трудится охотно и усердно". Эти замътки Пущина подтверждають то заключение, которое высказано выше относительно наклонности поэта къ спокойной жизни.

Но иногда, въ первый годъ, мирный кровъ Михайловскаго оживлялся веселой дружеской пирушкой. Поэта посъщали деритскій студентъ Вульфъ, сынъ Осиповой отъ перваго брака, и молодой поэтъ Языковъ. Ихъ однажды приглашалъ къ себъ Пушкинъ въ слъдующихъ стихахъ:

Здравствуй, Вульфъ, пріятель мой! Прівзжай сюда зимой, Да, Языкова, поэта Затащи ко мнѣ съ собой. Погулять верхомъ порой, Пострълять изъ пистолета. ... Запируемъ — ужъ молчи! Чудо — жизнь анахорета! Въ Тригорскомъ до ночи, А въ Михайловскомъ до свѣта...

Языковъ въ нъсколькихъ стихотвореніяхъ разсказываетъ о Михайловскомъ, о Пушкинъ и его нянъ:

Что восхитительне, краше Свободныхъ дружескихъ беседъ, восклицаеть онъ,

Когда за пънистою чашей Съ поэтомъ говорить поэть? Жрецы высокаго искусства, Пророки воли божества! Какъ независимы ихъ чувства, Какъ полновъсны ихъ слова!

Рыбинскій.

Поэтическая д'ятельность Пушкина въ Михайловскомъ.

Въ отношени поэтическаго творчества Пушкина два года, проведенные имъ въ Михайловскомъ, были весьма счастливы и принесли обильные плоды. Тутъ, въ тиши уединенія, въ глубокомъ сосредоточеніи, на свободѣ, зрѣли творческіе замыслы поэта и облекались въ рядъ поэтическихъ созданій, въ которыхъ впервые обнаружилась настоящая зрѣлость геніальнаго дарованія Пушкина.

На первомъ мъстъ среди произведеній этой эпохи безспорно стоить "Борись Годуновъ". Первое извъстіе объ этой пьесъ находимъ мы въ припискъ къ письму Пушкина къ кн. Вяземскому отъ 13 іюля 1825 года: "Передо мной моя трагедія. Не могу вытериъть, чтобъ не выписать ея заглавія: Комедія о настоящей бъдъ Московскому государству, о царъ Борисъ Годуновъ и Гришкъ Отрепьевъ. Писалъ рабъ Божій Александръ сынг Сергъевъ Пушкинг въ лъто 7333 на городищъ Вороничъ" (VII, 137). Насколько тогда была выполнена эта работа надъ трагедіей, мы не знаемъ, но осенью того же года Пушкинъ писалъ тому же лицу: "Трагедія моя кончена. Я перечель ее вслухъ, одинъ, и билъ въ ладоши и кричалъ: ай да Пушкинъ!..." (VII, 160). Въ черновыхъ бумагахъ Пушкина сохранилось нъсколько отрывочныхъ замътокъ позднъйшихъ годовъ, гдъ Пушкинъ касается своей пьесы, которую онъ называетъ то "комедіею", то "трагедіею", то "драмою": "Комедія о царт Борист и Гр. Отрепьевт писана въ 1825 году, и долго не могъ я ръшиться выдать ее въ свъть. Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лътописей дало миж мысль облечь въ формы драматическія одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новъйшей исторіи. Я писаль

въ строгомъ уединеніи, не смущаемый никакимъ чуждымъ вліяніемъ. Шекспиру подражаль я въ его вольномъ и широкомъ изображении характеровъ, въ необыкновенномъ составленіи типовъ и простотъ; Карамзину слъдоваль я въ свътломъ развитіи происшествій; въ лътописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени. Источники богатые! Успъль ли ими воспользоваться — не знаю. По крайней мъръ, труды мои были ревностны и добросовъстны" (III, 82—83). Указанія— точныя и совершенно опредъленныя; произведенная последней критикой проверка ихъ анализомъ самой драмы вполнъ подтвердила признанія Пушкина и показала виъстъ съ тъмъ вдумчивую самостоятельность и добросовъстность, съ которыми относился Пушкинъ къ своимъ "источникамъ", зависимость отъ которыхъ автора слъдуеть понимать лишь въ томъ смыслъ, что добытыя изъ нихъ данныя онъ претворяль и перерабатываль въ своемъ творческомъ сознаніи и представиль въ концъ концовъ трудъ, и въ цъломъ и въ частяхъ совершенно самостоятельный и обладающій высокими поэтическими достоинствами. Напр., даже зависимость отъ Карамзина, о которой говорить самъ Пушкинъ и которая понималась въ свое время даже такими критиками, какъ Полевой и Бълинскій, въ смыслъ почти простого пересказа Пушкинымъ нъкоторыхъ страницъ X и XI томовъ "Исторіи Государства Россійскаго", теперь, при ближайшемъ разсмотръніи, оказывается далеко не столь близкою и обнаруживающею, напротивъ, весьма самостоятельное отношеніе Пушкина къ Карамзину, извъстія котораго онъ восполнялъ другими источниками, иногда шедшими даже въ противоръчіе съ разсказомъ Карамзина. Это конечно свидътельствуеть о самомъ серіозномъ отношеніи Пушкина къ своему труду, который быль ему чрезвычайно дорогь и въ который вложиль онъ часть своей души: "Хоть я вообще, - говорить Пушкинъ въ тъхъ же своихъ отрывочныхъ замъткахъ, еще до изданія въ свъть драмы, — довольно равнодущень къ успъху или неудачь своихъ сочиненій, но, признаюсь, неудача "Бориса Годунова" будеть мив чувствительна, а я въ ней почти увъренъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочинении: c'est une œuvre de bonne foi. Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свъта, плодъ добросовъстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнъ все, чёмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе по вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены всѣ усилія, наконецъ, одобреніе малаго числа избранныхъ". Въ сво-ихъ опасеніяхъ относительно усиѣха "Бориса Годунова" Пушкинъ оказался совершенно правъ: претерпѣвъ довольно длинную исторію до своего напечатанія, драма увидѣла свѣтъ лишь въ началѣ 1831 года и при появленіи своемъ нашла далеко не единодушное пониманіе какъ въ критикѣ, такъ и среди читающей публики.

Не подлежить никакому сомнёнію, что работа надъ "Борисомъ Годуновымъ", въ которомъ такую видную роль играетъ элементь старинной русской народной жизни, содъйствовала стремленіямъ Пушкина проникнуть въ окружавшую его дъйствительную народную жизнь. По словамъ Анненкова, "время пребыванія въ Псковъ онъ посвятиль тому, что занимало теперь преимущественно его мысли - изученію народной жизни. Онъ изыскиваль средства для отысканія живой народной ръчи въ самомъ ея источникъ; ходилъ по базарамъ, терся, что называется между людьми, и весьма почтенные люди города видъли его переодътымъ въ мъщанскій костюмъ, въ которомъ онъ даже разъявился въ одинъ изъ почетныхъ домовъ Псвова"*). Плодомъ такихъ наблюденій явился именно тотъ сборникъ народныхъ пъсенъ, который, по свидътельству В. П. Киръевскаго, переданъ былъ ему Пушкинымъ и послужилъ къ обогащенію замічательнаго собранія Кирівевскаго произведеній народнаго творчества, увидъвшаго свътъ гораздо позже, а также и тёхъ "полународныхъ, полувыдуманныхъ произведеній", какъ выражается Анненковъ, въ которомъ мы находимъ "смъщение творчества личнаго и условнаго съ общенароднымъ и непосредственнымъ ...

Другимъ обширнымъ поэтическимъ трудомъ, занимавшимъ Пушкина въ михайловскомъ, былъ "Евгеній Онѣгинъ". Какъ извѣстно изъ собственныхъ указаній Пушкина, романъ этотъ писался имъ въ продолженіе десяти лѣтъ: начатъ въ 1822 г. и оконченъ въ 1831-мъ. Изъ восьми главъ, составляющихъ это произведеніе Пушкина, которое является, можно, сказать, центромъ всего его поэтическаго творчества, четыре напи-

^{*)} Матеріалы, 2 изд. стр. 144.

В. Покровскій. А. С. Пушкинъ.

саны въ Михайловскомъ, именно: третья, четвертая, пятая и шестая. Если припомнить содержание этихъ главъ (семья Лариныхъ, посъщение ея въ первый разъ Онъгинымъ, письмо Татьяны къ Онъгину, ея сонъ, балъ, поединокъ Онъгина и Ленскаго), то окажется, что въ нихъ сосредоточивается главное содержаніе романа и главныя его поэтическія красоты описательнаго характера — какъ картины деревенской помъщичьей жизни и сельской природы въ разныя времена года. Едва ли можно сомнъваться въ томъ, что матеріаломъ для этихъ последнихъ являлись живыя наблюденія Пушкина надъ окружавшей его помъщичьей жизнью въ Михайловскомъ и Тригорскомъ. Что касается дъйствующихъ въ романъ лицъ, то уже давно извъстно мнъніе Анненкова о томъ, что въ Татьянъ и Ольгъ Пушкинымъ изображены, въ поэтическомъ претвореніи, Анна и Евпраксія Николаевны Вульоъ. Это мятніе находить себъ подтверждение въ опубликованномъ въ самое послъднее время дневникъ Алексъя Н. Вульфа, гдъ онъ говоритъ по поводу чтенія "Евгенія Онъгина": "Онъ (романъ) не только почти весь написанъ въ моихъ глазахъ, но я даже былъ дъйствующимъ лицомъ въ описаніяхъ деревенской жизни Онъгина, ибо она вся взята изъ пребыванія Пушкина у насъ, въ губерніи Псковской. Такъ я, деритскій студенть, явился въ видъ гёттингенскаго подъ названіемъ Ленскаго; любезныя мои сестрицы суть образцы его деревенскихъ барышень, и чуть не Татьяна ли одна изъ нихъ. Многія изъ мыслей, прежде чъмъ я прочель ихъ въ "Онъгинъ", были часто въ бесъдахъ глазъ на глазъ съ Пушкинымъ въ Михайловскомъ пересуждаемы между нами, а послв я встрвчаль ихъ, какъ старыхъ знакомыхъ. О нянв Аринъ Родіоновнъ, какъ оригиналь няни Татьяны, было засвидътельствовано самимъ Пушкинымъ. Отдъльныя главы "Евгенія Онъгина" выходили въ печати постепенно съ 1825 по 1832 годъ, при чемъ первая вышла въ 1825-мъ, а вторая въ 1826 году; въ неразръзанные листы этой послъдней главы Пушкинъ вложилъ и поднесъ въ Тригорскомъ А. П. Кернъ знаменитое свое поэтическое признаніе "Я помню чудное мгновенье...", составляющее одно изъ украшеній Пушкинской лирики за время его жизни въ Михайловскомъ.

Дописывая шестую главу "Онѣгина" и уже волнуемый надеждой скоро выйти на свободу, поэтъ въ послъднихъ строфахъ ея такъ прощается со своей молодостью и посылаетъ привътъ своему деревенскому уединенію, которое онъ готовъ былъ покинуть:

Такъ, полдень мой насталъ, и — нужно Мнъ въ томъ сознаться — вижу я. Но, такъ и быть, простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милыя мученья, За шумъ, за бури, за пиры, За всѣ, за всѣ твои дары; Благодарю тебя. Тобою Среди тревогь и въ тишинъ Я насладился... и вполнъ. Довольно! Съ ясною душою Пускаюсь нынь въ новый путь Оть жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь. Простите жъ, съни, Гдъ дни мои текли въ глуши, Исполнены страстей и льни И сновъ задумчивой души. А ты, младое вдохновенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, Въ мой уголъ чаще прилетай, Не дай остыть душть поэта, Ожесточиться, очерствъть, И наконецъ окаменъть...

Изъ менъе значительныхъ произведеній этого времени должны быть названы: "Графъ Нулинъ", "Женихъ", нъсколько экскурсовъ въ область иностранныхъ литературъ въ видъ переводовъ, подражаній или самостоятельныхъ произведеній въ духъ иностранныхъ писателей, наконецъ — лирическія стихотворенія и нъсколько отрывковъ въ прозъ.

"Графъ Нулинъ (1825 г.) представляетъ собою живое, но краткое поэтическое описаніе одного эпизода изъ помѣщичьей жизни въ деревнѣ, при чемъ въ лицо главнаго героя произведенія авторъ вложилъ нѣсколько сатирическихъ чертъ, обличающихъ какъ легкомысліе семейныхъ нравовъ, такъ и тогдашнее рабское отношеніе ко всему французскому, начиная съ мыслей и кончая послѣдними подробностями моднаго костюма. О происхожденіи этого произведенія Пушкинъ позже (въ 1833 году) писалъ: "Въ концѣ 1825 года находися въ деревнѣ и, перечитывая Лукрецію, довольно слабую поэму Шек-

спира, подумаль: что если бы Лукреціи пришло въ голову мысль дать пощечину Тарквинію? Быть можеть, это охладило бы его предпріимчивость, и онъ со стыдомъ принужденъ быль бы отступить. Лукреція бы не заръзалась, Публикола не взбъсился бы—и міръ и исторія міра были бы не тъ. Мысль народировать исторію и Шекспира мнѣ представилась. Я не могъ воспротивиться двойному искушенію, и въ два утра написаль эту повъсть". "Графъ Нулинъ" увидъль свътъ нъсколько позже, сначала въ отрывкахъ, затъмъ въ цъломъ видъ и въ 1827 и 1828 годахъ. Слъдомъ личныхъ впечатлъній поэта въ этомъ произведеніи являются стихи:

Кто долго жиль въ глуши печальной, Друзья, тотъ върно знаетъ самъ, Какъ сильно колокольчикъ дальній Порой волнуеть сердце намъ. Не другь ли ъдеть запоздалый, Товарищъ юности удалой?

Стихотвореніе "Женихъ" (1825 г.) есть поэтическій пересказъ простонародной сказки, быть можеть, слышанной Пушкинымъ отъ своей няни; по складу своему оно напоминаетъ баллады изъ старинной русской жизни во вкусъ Жуковскаго и среди произведеній Пушкина стоить довольно одиноко.

Мы знаемъ уже, что въ Михайловскомъ Пушкинъ усердно читалъ Шекспира и Вальтеръ-Скотта и въ одномъ письмъ къ князю Вяземскому (въ сентябръ 1825 г.) сожалълъ о невозможности основательно заняться въ деревнъ англійскимъ языкомъ. Но не одна англійская литература тогда занимала его. Изъ французской онъ въ особенности увлекался А. Шенье, которому подражаль и переводиль его (1824—1825 гг.) и въ память котораго написаль свое знаменитое стихотвореніе "Андрей Шенье" (1825 г.), благодаря которому онъ нъсколько позже (въ 1827 г.) едва не поплатился серіознымъ наказаніемъ и избътъ его только потому, что стихотворение написано было до всемилостивъйшаго манифеста 22 августа 1826 года. Пытался перелагать въ это время Пушкинъ кое-что съ итальянскаго и португальскаго (1825 г.) и написаль весьма замъчательную "Сцену изъ Фауста" (1826 г.), навъянную мыслью о знаменитой поэмъ великаго германскаго поэта, о которой въ 1827 г. Пушкинъ выразился, что "Фаусть есть величайшее создание поэтическаго духа", которое служить представителемъ новъйшей поэзіи, точно какъ Иліада служить памятникомъ классической древности",

Попытками углубленія въ древнюю жизнь является у Пушкина съ одной стороны подражание "Пъсни пъсней", съ другой — первый набросовъ стихотворенія "Клеопатра" (1825 г.), который онъ имълъ въ виду вставить сначала въ повъсть изъ древне-римской жизни, а потомъ въ повъсть изъ современнаго русскаго великосвътскаго быта; результатомъ этого явились отрывки повъсти "Египетскія ночи", надъ которой Пушкинъ работаль десять льть спустя (1835 г.) и которую все-таки оставиль неоконченной. Пушкинь именно хотёль воспользоваться эпизодомъ изъ древне-египетской жизни, какъ средствомъ поэтическаго эффекта, для болъе яркаго изображенія современной ему русской жизни, и хотя по неоконченности произведенія последняя цель не была достигнута поэтомъ, однако само по себъ стихотвореніе "Клеопатра" представляетъ собою, по общему признанію, нѣчто въ высшей степени совершенное по глубокому вдохновенію, яркости образовъ и исторической върности, переносящей читателя разомъ въ изображаемую обстановку въ такой степени, какая могла быть доступна лишь вполнъ возмужавшему поэтическому генію.

До извъстной степени близко подходять къ этому идеалу поэтическаго проникновенія въ чужую и далекую обстановку и девять стихотвореній Пушкина, объединенныхъ общимъ именемъ "Подражаніе Корану" (1824 г.) и посвященныхъ авторомъ П. А. Осиповой; съ замъчательной върностью и выразительностью передана тутъ своеобразная поэзія священной книги Магомета со всей ея наивной глубиной и реторическимъ цавосомъ.

Что касается мелкихъ лирическихъ стихотвореній, писанныхъ Пушкинымъ въ Михайловскомъ, то кромѣ тѣхъ, о которыхъ было уже упомянуто, здѣсь можно указать еще на отголоски завязавшихся на югѣ нѣжныхъ привязанностей поэта и на стихотворенія, въ которыхъ Пушкинъ говоритъ о своемъ поэтическомъ призваніи.

Глубиною искренняго чувства дышатъ стихотворенія "Соженное письмо" и "Желаніе славы" (оба—1825 г.), въ которыхъ Пушкинъ отдается сладкимъ, но вмъстъ съ тъмъ и грустнымъ воспоминаніямъ чистой любви къ женщинъ, съ которой силою обстоятельствъ ему пришлось разстаться. Къ этой же

категоріи должна быть отнесена не по лицу, къ которому обращена, но по характеру внушившаго ее чувства, элегія "Подъ небомъ голубымъ страны своей родной" (1826 г.), написанная на смерть г-жи Ризничъ, волновавшей воображеніе поэта и до этого и даже послѣ ея смерти. Элегія эта по глубинѣ чувства, по высокому поэтическому стилю и нѣжности колорита безспорно принадлежитъ къ числу перловъ Пушкинской лирики. Нѣсколько инымъ, менѣе возвышеннымъ и чистымъ характеромъ отличалось увлеченье Пушкина одною изъпріѣзжихъ обитательницъ Тригорскаго А. П. Кернъ, вызвавшей также изъ-подъ пера Пушкина превосходное стихотвореніе "Я помню чудное мгновенье", о которомъ было уже упомятуто выше.

Въ стихотвореніяхъ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" (1824 г.) и "Пророкъ" (1826 г.) Пушкинъ раскрываетъ сокровенныя тайны своего поэтическаго сознанія, и если въ первомъ изъ нихъ, сначала ревниво оберегая чистоту и искренность своихъ творческихъ побужденій, поэтъ тъмъ не менъе въ концъ какъ бы сдается на доводы практицизма, то во второмъ, далекій отъ всякихъ колебаній, онъ встаетъ передъ нами въ величавой роли вдохновеннаго проповъдника и глашатая воли самого Бога:

Возстань, пророкъ, и виждь и внемли, Исполнись волею Моей И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей!

Наконецъ, въ прозъ, за время пребыванія своего въ Михайловскомъ, Пушкинъ не представилъ ничего замъчательнаго:
это или краткія журнальныя статьи (для "Московскаго Телеграфа" 1825 года), или летучія замътки при чтеніи разныхъ
книгъ, или отрывки автобіографіи, не имъющіе особаго интереса. Ясно, что въ Пушкинъ тогда не созрълъ еще прозаикъ,
какъ это имъло мъсто позже, и, идя неудержимо впередъ по
пути своего литературнаго развитія, онъ еще продолжаль держаться исключительно стихотворной формы, какъ болъе для
него привычной и болъе соотвътствующей той ступени своего
поэтическаго настроенія, на которой онъ находился въ ту пору.

Оставаясь въ Михайловскомъ, Пушкинъ не терялъ времени напрасно, воспитывая втиши свой творческій геній путемъ

вдумчивости, самообразованія и дъятельнаго труда. Явившись въ Михайловское авторомъ стихотвореній и поэмъ, на которыхъ, при всей ихъ непосредственной поэтической ценности. дежала еще печать неувъренности и очевиднаго вліянія Байрона, онъ оставляетъ его творцомъ "Бориса Годунова", лучшей части "Евгенія Онъгина" и "Пророка". Такимъ образомъ, въ Пушкинъ изъ Михайловскаго выходить на литературное поприще уже вполнъ серіозный художникъ не только во всеоружіи природнаго художественнаго дарованія, но и глубокаго сознательнаго пониманія своихъ дальнъйшихъ задачъ и плановъ. Въ этомъ крупномъ шагъ впередъ и заключается именно та историческая важность, которая придается и должна придаваться въ жизни и дъятельности Пушкина изображенной нами поръ его пребыванія въ "уголкъ земли", гдъ по его собственному позднъйшему признанію онъ провель "отшель-Пътуховъ. никомъ два года незамътныхъ".

Пушкинъ среди интеллигентнаго общества въ Москвъ.

Москва съ искреннею радостью привътствовала прибытіе Пушкина. Въ самый день его прівзда быль баль у герцога Девонширскаго, гдъ присутствовалъ и государь. "Знаешь ли", сказалъ онъ, обращаясь къ графу Блудову, "что я нынче долго говорилъ съ умнъйшимъ человъкомъ въ Россіи?" На вопросительное недоумънье графа Блудова Николай Павловичъ назвалъ Пушкина. Съ многолюднаго бала въсть о пріъздъ поэта облетъла всю Москву.

Вся читающая публика съ восторгомъ встрътила возвращеніе изгнанника. Старые друзья спъшили повидать его; незнакомые старались съ нимъ познакомиться. Великосвътскіе салоны радушно открыли ему свои двери. Литературныя сборища стали многолюднъе: всякій спъшиль на нихъ въ надеждъ увидъть Пушкина.

Окруженный многочисленными поклонниками и отуманенный ихъ восторженными похвалами, поэтъ нашъ скоро забылъ всякую осторожность. Жадное любопытство друзей къ его новымъ, еще неизвъстнымъ произведеніямъ кружило ему голову, и онъ съ удовольствіемъ поддавался ихъ просьбамъ и

дълился съ ними неизданными сокровищами своего портфеля. Такъ, на одномъ изъ вечеровъ С. А. Соболевскаго, въ присутствіи Д. В. Веневитинова, графа М. Ю. Вельегорскаго, И. В. Киръевскаго и П. Я. Чаадаева, онъ прочелъ своего "Бориса Годунова". Черезъ нъсколько дней чтеніе это повторилось въ кружкъ университетскихъ молодыхъ ученыхъ: Шевырева, Погодина и др., съ которыми Пушкинъ сошелся чрезъ князя Вяземскаго и поэта Веневитинова.

"Октября 12, поутру, — разсказываетъ Погодинъ въ своихъ "Воспоминаніяхъ", — спозаранку мы собрались всѣ къ Веневитинову и съ трепещущимъ сердцемъ ожидали Пушкина. Въ 12 часовъ онъ явился.

"Какое дъйствие произвело на всъхъ насъ это чтение, передать невозможно. До сихъ поръ еще, а этому прошло почти 40 лътъ, кровь приходитъ въ движение при одномъ воспоминаніи. Надо припомнить, — мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихахъ Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которыхъ всё мы знали наизусть. Учителемъ нашимъ былъ Мерзляковъ. Надо припомнить и образъ чтенія стиховъ, господствовавшій въ то время. Это быль распъвъ, завъщанный французскою декламаціей, которой мастеромъ считался Кокошкинъ 'и послъднимъ представителемъ былъ въ наше время графъ Блудовъ. Наконецъ, надо представить себъ самую онгуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрецъ искусства — это быль средняго роста, почти низенькій человъчекъ, вертиявый, съ длинными, нъсколько курчавыми по концамъ волосами, безъ всякихъ притязаній, съ живыми, быстрыми глазами, съ тихимъ, пріятнымъ голосомъ, въ черномъ сюртукъ, въ темномъ жилетъ, застегнутомъ наглухо, въ небрежно подвязанномъ галстукъ. Вмъсто высокопарнаго языка боговъ мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тъмъ, пінтическую, увдекательную річь!

"Первыя явленія выслушаны тихо и спокойно, или, лучше сказать, въ какомъ-то недоумѣніи. Но чѣмъ дальше, тѣмъ ощущенія усиливались. Сцена лѣтописателя съ Григоріемъ всѣхъ ошеломила. Мнѣ показалось, что мой родной и любезный Несторъ поднялся изъ могилы и говоритъ устами Пимена, мнѣ послышался живой голосъ русскаго древняго лѣтописателя. А когда Пушкинъ дошелъ до разсказа о посѣщеніи Кириллова монастыря Іоанномъ Грознымъ, о молитвѣ иноковъ: "да нис-

пошлеть Господь покой его душт страдающей и бурной", мы просто какъ будто обезпамятъли. Кого бросало въ жаръ, кого въ ознобъ. Волосы становились дыбомъ. Не стало силъ воздерживаться. Кто вдругъ вскочитъ съ мъста, кто вскрикнетъ; то молчаніе, то взрывъ восклицаній, напр., при стихахъ Самозванца:

Тънь грознаго меня усыновила Димитріемъ изъ гроба нарекла, Вокругъ меня народы возмутила, И въ жертву мнъ Бориса обрекла.

"Кончилось чтеніе. Мы смотрѣли другъ на друга долго и потомъ бросились къ Пушкину. Начались объятія, поднялся шумъ, раздался смѣхъ, полились слезы, поздравленія. Эванъ, эвое, дайте чаши! Явилось шампанское, и Пушкинъ одушевился, видя такое свое дѣйствіе на избранную молодежь. Ему было пріятно наше волненіе. Онъ началъ намъ, поддавая жару, читать пѣсни о Стенькѣ Разинѣ, — какъ онъ плавалъ ночью по Волгѣ на востроносой своей лодкѣ, предисловіе къ "Руслану и Людмилъ":

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цёнь на дубё томъ;
И днемъ и ночью котъ ученый
Тамъ ходитъ по цёни кругомъ:
Идетъ направо — пёснь заводитъ,
Налёво — сказку говоритъ.

"Началъ разсказывать о планъ для "Димитрія Самозванца", о палачь, который шутить съ чернью, стоя у плахи на Красной площади, въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринъ Мнишекъ съ Самозванцемъ, — сцену, которую написалъ онъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабылъ вполовину, о чемъ глубоко сожальлъ".

Въ Москвъ нашелъ Пушкинъ многихъ изъ старыхъ друзей. Князь П. А. Вяземскій встрътиль его, какъ родного. Частая переписка, длившаяся все время изгнанія поэта, поддерживала искреннія отношенія двухъ друзей, и встръча ихъ послъ долгой разлуки была радостна для ихъ обоихъ. Князь Вяземскій былъ уже семейнымъ человъкомъ. Жена его, познакомившись съ Пушкинымъ еще въ Одессъ, не меньше мужа обрадовалась его возвращенію, и поэтъ нашъ скоро сталъ совершенно своимъ человъкомъ въ ихъ домъ. Всъ домашніе, даже дъти и

ихъ гувернеры и гувернантки, всей душой къ нему привязались, и онъ проводилъ у князей Вяземскихъ большую часть

своего времени:

Кромъ князей Вяземскихъ, изъ прежнихъ пріятелей Пушкина въ то время, о которомъ идетъ ръчь, въ Москвъ находился еще С. А. Соболевскій. Онъ быль гораздо моложе Пушкина и воспитывался вмъстъ съ его братомъ Львомъ Сергъевичемъ, въ Благородномъ пансіонъ. Когда Пушкинъ быль сослань на югь, Соболевскій раздёляль со Львомь Сергъевичемъ заботы объ изданіи "Руслана и Людмилы", "Разбойниковъ" и другихъ произведеній Александра Сергъевича. Это и послужило началомъ ихъ сношеній, перешедшихъ позже въ прочную дружбу. Соболевскій пережиль Пушкина и достигъ извъстности какъ библіофиль и библіографъ, но въ то время, когда Пушкинъ былъ возвращенъ изъ ссылки, онъ былъ извъстенъ только нъсколькими сентиментальными стихотвореніями и считался однимъ изъ многихъ, такъ называемыхъ, "архивныхъ юношей". Онъ жилъ въ то время на Собачьей площадкъ, и Пушкинъ по прівздъ въ Москву остановился у него.

Приблизительно въ это же время перевхалъ въ Москву и П. В. Нащокинъ. Проживъ, а, главнымъ образомъ, проигравъ въ карты все доставшееся ему отъ богатой матери состоя. ніе, онъ вышелъ въ отставку и перебрался на жительство въ Москву, гдъ имя его вскоръ сдълалось очень популярнымъ.

Нащокинъ привлекалъ къ себъ всъхъ не прежнимъ богатствомъ, не кутежами молодости съ ночлежнымъ пріютомъ и т. п., но умомъ необыкновеннымъ, переполненнымъ не научною, а врожденною, природною логикой и здравымъ смысломъ; а разсудокъ, несмотря на безразсудное увлеченіе или страсть къ игръ, обладавшей имъ отъ юности до старости,— во всъхъ остальныхъ перипетіяхъ жизни разсудокъ царствовалъ въ его умной головъ и даже былъ полезенъ для другихъ людей, обращавшихся къ его совъту или суду при крайнихъ столкновеніяхъ въ жизни.

Была въ Москвъ и еще одна личность, близкая Пушкину въ его молодости и имъвшая всегда неотразимое на него вліяніе. Мы говоримъ о Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ. Потерпъвъ неудачу на служебномъ поприщъ, Чаадаевъ вышелъ въ отставку и поселился въ Москвъ, гдъ и жилъ безвыъздно до самой своей смерти, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ.

Старыя дружескія связи были, конечно, тотчась же возобновлены Пушкинымъ, по прівздв его въ Москву. Но онъ этимъ не ограничился. Кругъ знакомства его быстро расширядся. Гостепріимный домъ Авдотьи Петровны Елагиной радушно открылъ ему свои двери. "Умъ, общирная начитанность и очаровательная привътливость хозяйки привлекали сюда избранное общество. Даровитые юноши, товарищи и сверстники молодыхъ братьевъ Киръевскихъ (сыновей Авдотьи Петровны) встръчали въ ихъ матери самую искреннюю ласку. Туть были князь Одоевскій, В. П. Титовъ, Николай Матвъевичь Рожалинъ (знатокъ классическихъ языковъ), А. И. Кошелевъ (другъ И.В. Киръевскаго), С. П. Шевыревъ, А. П. Петерсонъ. М. А. Максимовичъ, Д. В. Веневитиновъ, А. О. Армфельдъ, архивные юноши С. А. Соболевскій и С. С. Мальцевъ (свободно писавшій по-латыни). Жуковскій и Языковь ввели къ Елагиной А. С. Пушкина, который полюбиль старшаго Кирьевскаго и упоминаеть о немъ въ своихъ отрывочныхъ запискахъ. Домъ А. П. Елагиной сдълался средоточіемъ московской умственной и художественной жизни. Языковъ совмъстничалъ съ "княгинею русскаго стиха" К. К. Павловой... П. Я. Чаадаевъ являлся на воскресные елагинскіе вечера. Возвращенный изъ ссылки Баратынскій жилъ у Елагиныхъ домашнимъ человъкомъ и цълые дни проводилъ въ задушевныхъ бесъдахъ съ другомъ своимъ, старшимъ Киръевскимъ. Погодинъ сердечно привязался къ Елагинымъ. Молодой Хомяковъ читалъ у нихъ первыя свои произведенія"...

Къ этому же времени относится знакомство Пушкина съ польскимъ поэтомъ Адамомъ Мицкевичемъ, бывшимъ тогда въ Москвъ и вращавшимся въ кругу молодыхъ московскихъ литераторовъ и ученыхъ. Знакомство это, длившееся около двухъ лътъ (до марта 1829 г.), перешло въ концъ въ дружбу, которою равно гордились и дорожили оба поэта. Разставшись въ 1829 году, Пушкинъ и Мицкевичъ больше не видались и не переписывались, но помнили другъ друга и издалека перекликались поэтическими произведеніями. Мицкевичъ вспомнилъ Пушкина въ своихъ "Дъдахъ", а позже Пушкинъ отозвался на голосъ Мицкевича, славшаго проклятія Россіи, извъстнымъ стихотвореніемъ: "Онъ между нами жилъ"... и т. д.

Сталкиваясь постепенно съ московскою университетскою молодежью, Пушкинъ мало-по-малу втянулся въ ея интересы. Онъ сблизился съ Шевыревскимъ кружкомъ и принялъ живъйшее участіе въ его планахъ и замыслахъ. Съ особеннымъ сочувствіемъ отнесся онъ къ проекту основанія журнала. Мысль эта совпадала съ давнишнею мечтой поэта о періодическомъ изданіи съ дъльнымъ критическимъ отдъломъ, которое могло бы руководить вкусами публики и въ то же время служить противовъсомъ журналамъ Булгарина и Греча, злоупо-

треблявшимъ своею монополіей.

"Толки о журналь, — разсказываеть г. Погодинь, — начатые еще въ 1824 и 1825 году, въ обществъ Раича, усилились. Множество дънтелей молодыхъ, ретивыхъ было, такъ сказать, на лицо, и сообщили ему (Пушкину) общее желаніе. Онъ выразиль полную готовность принять самое живое участіе. Послъ многихъ переговоровъ редакторомъ назначенъ былъ я. Главнымъ помощникомъ моимъ былъ Шевыревъ. Много толковъ было о заглавіи. Решено: "Московскій Вестникъ". Рожденіе его положено отпраздновать общимъ объдомъ всёхъ сотрудниковъ. Мы собрались въ домъ бывшемъ Хомякова: Пушкинъ, Мицкевичъ, Баратынскій, два брата Веневитиновыхъ, два брата Хомяковыхъ, два брата Киръевскихъ, Шевыревъ, Титовъ, Мальцовъ, Рожалинъ, Раичъ, Рихтеръ, Оболенскій, Соболевскій... Нечего описывать, какъ весель быль этоть объдь, сколько туть было шуму, смъху, сколько разсказано анекдотовъ, плановъ, предположеній!... Надеждамъ, возлагавшимся на "Московскій Въстникъ", не суждено было оправдаться. Неопытность издателей и неумънье привлечь публику были тому причиной. Но главнымъ ударомъ для новаго журнала была смерть одного изъ главныхъ его двигателей, даровитаго поэта Веневитинова. Онъ умеръ въ мартъ 1827 года. Послъ него "Московскій Въстникъ" продолжаль существовать, но уже клонился къ упадку и, наконецъ, прекратился вовсе. Пушкинъ, которому было по душъ чисто художественное направление журнала, поддерживаль его всеми силами; 33 стихотворенія его, въ томъ числъ отрывокъ изъ "Бориса Годунова", отрывовъ изъ "Графа Нудина" и два отрывка изъ "Евгенія Онъгина", появились въ "Московскомъ Въстникъ"; но все это было напрасно, и журналъ погибъ послъ трехлътняго существованія. Этого, конечно, не могли

предвидъть его основатели, и торжествовали его рожденіе, полное самыхъ радужныхъ надеждъ".

"Между тъмъ въ Москвъ наступило самое жаркое литературное время, — продолжаетъ г. Погодинъ. — Всякій день слышалось о чемъ-нибудь новомъ. Языковъ прислаль изъ Дерпта свои вдохновенные стихи, славившіе любовь, поэзію, молодость, вино; Денисъ Давыдовъ съ Кавказа; Баратынскій выдавалъ свои поэмы; "Горе отъ ума" Грибовдова только что начало распространяться. Пушкинъ прочель "Пророка" (который послъ "Бориса" произвелъ наибольшее дъйствіе) и познакомиль насъ съ слъдующими главами "Онъгина", котораго до тъхъ поръ напечатана только первая глава. Между тъмъ на сценъ представляли водевили Писарева съ остроумными его куплетами и музыкой Верстовскаго. Шаховской ставиль свои комедіи вмъстъ съ Кокошкинымъ, Щепкинъ работалъ надъ Мольеромъ, и С. Т. Аксаковъ, тогда еще не старикъ, переводилъ ему "Скупого". Загоскинъ писалъ "Юрія Милославскаго". Дмитріевъ выступиль на поприще со своими переводами изъ Шиллера и Гёте. Всв они составляли особый отъ нашего приходъ, который вскоръ соединился съ нами или, върнъе, къ которому мы съ Шевыревымъ присоединились, потому что всв наши товарищи, оставаясь, впрочемъ, въ постоянныхъ сношеніяхъ съ нами, отправились въ Петербургъ. Оппозиція Полевого въ "Телеграфъ", союзъ его съ "Съверною Пчелой" Булгарина, желчныя выходки Каченовскаго, къ которому явился вскоръ на помощь Недоумко (Н. И. Надеждинъ), давали новую пищу. А тамъ еще Дельвигъ съ "Съверными Цвътами", Жуковскій съ новыми балладами, Крыловъ съ баснями, которыхъ выходило по одной, по двъ въ годъ, Гнъдичъ съ "Иліадой", Раичъ съ "Тассомъ" и Павловъ съ лекціями о натуральной философіи, гремъвшими въ университетъ, Давыдовъ съ философскими статьями. Вечера, живые и веселые, следовали одинъ за другимъ: у Елагиныхъ и Киревскихъ за Красными воротами, у Веневитиновыхъ, у меня, у Соболевского въ домъ на Дмитровкъ, у княгини Волконской на Тверской. Въ Мицкевичъ открылся даръ импровизаціи. Прівхаль Глинка, связанный болве другихъ съ Мельгуновымъ, и присоединилась музыка". Таковы были интересы, начавшіе съ зимы 1826-27 года волновать "московское интеллигентное общество, а съ нимъ вмъстъ и нашего поэта. Всю эту зиму

онъ прожилъ безвывздно въ Москвв, раздъляя свое время между литературными сборищами, картами и пирушками, охота къ которымъ еще не остыла.

Венкстернъ.

Пушкинъ въ Петербургъ.

Пушкинъ со времени женитьбы по самый день несчастнаго своего поединка быль неутомимымь труженикомъ для жены и дътей. Завистники и недоброжелатели обвиняли его въ корыстолюбіи, въ алчности къ наживъ, даже въ неблагодарности къ государю, именно въ томъ смыслъ, что, не довольствуясь пожалованнымъ ему окладомъ, Пушкинъ слишкомъ часто прибъгаль къ своему державному покровителю съ просьбою о пособіяхъ. Память поэта въ оправданіяхъ не нуждается, а обвинители его не ръшались бы на порицанія, если бы безпристрастнъе отнеслись къ общественному положенію Пушкина. Женитьба на Гончаровой породнила его съ нъкоторыми знатными фамиліями объихъ столицъ; посъщеніе большого свъта было насущной потребностью для жены Пушкина, свътски образованной, молодой красавицы... Эти выъзды были сопряжены съ немалыми расходами. Хотя простота одежды самого Пушкина доходила почти до небрежности (въ которой иные видъли своего рода оригинальность или желаніе подражать Байрону), но онъ, страстно любя жену, не могъ равнодушно относиться къ ея туалету. Несомнънно, что скромность въ его одеждъ — эта мнимая оригинальность, была ничъмъ другимъ, какъ самопожертвованіемъ съ его сторны. Замътимъ, что люди такого сорта, для которыхъ свъжесть перчатокъ, покрой фрака, или изящно повязанный галстукъ служать мъриломъ достоинства человъческаго, исподтишка глумились надъ Пушкинымъ, но онъ не оставался въ долгу: пустота, фатовство, мишурность свътскаго круга часто вызывали у него цъдый рядъ колкостей. Графъ Соллогубъ въ воспоминаніяхъ своихъ о Пушкинъ весьма върно передаетъ положение поэта въ кругу великосвътскихъ людей, полагающихъ хорошій тонъ единственно въ соблюдении условій ненарушимаго кодекса общежитія. "Главное несчастіе Пушкина, — говорить онъ, —

заключалось въ томъ, что онъ жилъ въ Петербургъ и жилъ свътскою жизнью, его убившею. Пушкинъ находился въ средъ, въ которой не могъ не чувствовать себя почти постоянно униженнымъ, и по достатку и по значеню, въ этой аристократической сферъ, къ которой онъ имълъ какое-то непостижимое пристрастіе. Наше общество такъ устроено, что величайшій художникъ безъ чина становится въ офиціальномъ міръ ниже послъдняго писаря. Когда при разъъздахъ кричали: "Карету Пушкина!" — Какого Пушкина? — "Сочинителя", Пушкинъ обижался, конечно, не за названіе, а за то пренебреженіе, которое оказывалось къ названію.

За это и онъ оказываль наружное будто бы пренебрежение къ нъкоторымъ свътскимъ условіямъ: не слъдовалъ модъ и ъздилъ на балы въ черномъ галстукъ, въ двубортномъ жилетъ, съ откидными, ненакрахмаленными воротничками и т. п. Прочимъ же условіямъ онъ подчинялся безусловно. Жена его была красавица, украшеніе всёхъ собраній и, следовательно. предметъ зависти всёхъ ея сверстницъ и соперницъ. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкинъ пожалованъ былъ камеръ-юнкеромъ (къ январю 1834 г.). Пъвецъ свободы, наряженный въ придворный мундиръ для сопутствія жень-красавиць, играль роль жалкую, если не смышную. Пушкинь быль не Пушкинъ, а царедворецъ и мужъ. Это онъ чувствовалъ. Къ тому же свътская жизнь требовала значительныхъ издержекъ, на которыя у него часто недоставало средствъ. Эти средства онъ хотълъ пополнить игрою, но постоянно проигрываль, какъ всъ люди, нуждающеся въ выигрышъ... Въ томъ же большомъ свътъ Пушкинъ встръчалъ разныхъ особъ, кичившихся передъ нимъ знатностью происхожденія, тогда какъ родъ Пушкиныхъ принадлежаль къ одному изъ старинныхъ дворянскихъ родовъ. Тъмъ не менъе, большинство нашей знати относилось въ Пушкину съ оскорбительнымъ высокомъріемъ. Литературныхъ враговъ Пушкина — писателей по ремеслу, это радовало: "ништо ему, говорили они, зачёмъ льнетъ къ аристократіи, зачъмъ садится не въ свои сани". Такимъ образомъ, Пушкинъ, по общественному своему положенію, находился между двухъ огней: презрительное пренебрежение знати съ одной стороны, ненависть и укоризны литературной мелочи — съ другой.

Къ новому 1832 году Пушкинъ возвратился въ Петербургъ

изъ Москвы, куда вздиль для приведенія въ порядокъ своихъ домашнихъ дёлъ и откуда спёшилъ возвратомъ для занятій историческими своими трудами, а также для изданія fазеты или журнала и послёдней главы "Евгенія Онъгина".

Раннею весною 1833 года Александръ Сергъевичъ съ женою и дочерью, младенцемъ первенцемъ, переъхалъ на дачу, на Черную ръчку, гдъ въ то время обыкновенно жили многіе представители высшаго круга. Жизнь Пушкина на дачъ ничъмъ не отличалась отъ жизни труженика-чиновника, ежедневно ходящаго на службу. Александръ Сергъевичъ также ежедневно пъшкомъ ходилъ съ Черной ръчки въ Государственный архивъ и въ библіотеку Эрмитажа. Купанье поддерживало его силы, а часы досуга онъ посвящалъ бесъдамъ съ навъщавшими его знакомыми, визитамъ съ женою и уединеннымъ прогулкамъ по окрестностямъ, именно: на острова и въ Новую деревню, гдъ ему особенно нравилось кладбище. Свътлыя лътнія ночи, такъ неподражаемо имъ воспътыя въ "Онъгинъ" и "Мъдномъ Всадникъ", были попрежнему любезны поэту, и въ ночной тиши всего чаще осъняло его вдохновеніе.

Въ исходъ лъта, 12-го августа, взявъ формальный отпускъ отъ мъста своего служенія, Пушкинъ отправился въ путешествіе по юго-восточной Россіи. Онъ хотель заёхать предварительно въ Дерптъ, посътить Екатерину Андреевну Карамзину, которая проживала здёсь по случаю нахожденія въ университеть ся сына Андрея Николаевича. Что-то помъщало, однако, поэту исполнить это намърение. Онъ отправился прямо въ Москву и въ концъ августа быль уже въ своемъ Болдинъ (Нижегородской губ.); 6-го сентября прибыль въ Казань; вздиль за 10 версть отъ города на Троицкую мельницу, гдъ стояль лагеремъ Пугачевъ; посътилъ купца Крупеникова, бывшаго въ плъну у самозванца. На слъдующій день, 8-го сентября, Пушкинъ отправился въ Симбирскъ; 12-го посътилъ село Языково, принадлежавшее поэту Николаю Михайловичу Языкову; 14-го числа вывхаль изъ Симбирска къ Оренбургу, но возвратился съ третьей станціи: заяцъ перебъжаль ему дорогу, и Пушкинъ, върный предразсудку, не ръшился продолжать своего пути. 19-го сентября онъ прибыль въ Оренбургъ. Сопутствуемый Владимиромъ Ивановичемъ Далемъ, объъзжалъ Оренбургскую линію кръпостей, повсюду отыскивая преданій и свидътельствъ очевидцевъ о Пугачевъ. 23-го сентября онъ

вывхаль изъ Оренбурга и черезъ Саратовъ и Пензу прибылъ въ Болдино 2-го октября. Здёсь провель более мёсяца и къ 28 числу ноября возвратился въ Петербургъ. Ефремовъ.

Литературная дъятельность Пушкина въ послъдніе годы его жизни.

Пушкинъ дорожилъ свободою труда, которую онъ хотълъ отдать литературнымъ работамъ. Пріятели нашли возможнымъ устроить его къ ихъ общему удовольствію. Положили выхлопотать ему позволение издавать политическую газету, которая отчасти бы замънила недавно запрещенную "Литературную Газету" Дельвига и добиваться званія исторіографа, упраздненнаго со смертію Карамзина. Эти планы пришлись Пушкину по душъ. Съ ними какъ нельзя лучше согласовались его гражданскія и патріотическія стремленія. Въ это время Пушкинъ жилъ на дачъ въ Царскомъ Селъ, куда переселился и дворъ вмъстъ съ Жуковскимъ. Въ Петербургъ свиръпствовала холера, а въ Польшъ возстание въ полномъ разгаръ; въ Европъ разжигалась ненависть противъ Россіи. Эти обстоятельства и вызвали въ бесъдъ друзей мысль о необходимости дъльной политической газеты ж той в образования в можеты в политической газеты.

"Пускай позволять намъ, русскимъ писателямъ, отражатъ безстыдныя и невъжественныя нападки иностранныхъ газетъ". Эта мысль Пушкина вытекала прямо изъ чувства патріотическаго негодованія. Съ этимъ вмъсть у него соединилась и мысль служить посредникомъ между правительствомъ и публикой, разъясняя последней политическія идеи въ духе техъ принциповъ, которые исторически развивались въ русскомъ народъ. Увлекала его мысль заняться исторіей Петра Великаго въ качествъ исторіографа. Пушкинъ просиль дозволенія заняться историческими изысканіями въ архивахъ и библіотекахъ съ цълію исполнить свое давнишнее желаніе — написать исторію Петра Великаго и его наслъдниковъ до Петра III: Съ помощію связей и пріятельскихъ просьбъ, Пушкинъ ни въ чемъ не получилъ отказа. Право посъщать государственные архивы (впрочемъ подъ руководствомъ Блудова) было дано ему тогда же, а прочее объщано...

Но Пушкинъ-поэтъ предупредилъ Пушкина-журналиста.

Поэть не ждеть позволенія, а высказывается въ минуту, когда созръла его творческая дума. Въ августъ мъсяцъ онъ написаль одно за другимъ два политическія стихотворенія: "Клеветникамъ Россіи" и "Бородинская годовщина" на одну и ту же тему, какъ отвъть на клевету, брань и оскорбленія, вызванныя противъ Россіи стремленіями, возбужденными за границею польскимъ возстаніемъ. При томъ возбужденномъ состояніи, въ которомъ находилось русское общество, стихотворенія Пушкина произвели сильное впечатльніе: они удовлетворяли оскорбленному патріотизму общества и въ то же время облегчали его, выясняя ему настоящее политическое отношеніе Россіи къ Польшъ и западнымъ государствамъ. Не могли не понравиться они и правительству, которое, какъ они выставляли, исполняло историческую задачу русскаго народа.

Въ своихъ архивныхъ разысканіяхъ Пушкинъ напалъ на матеріалы, относящіеся къ пугачевщинъ. Обработка ихъ не требовала много времени, а интересъ эпохи объщалъ хорошія деньги за трудъ. Съ этимъ вмъстъ его фантазія находить матеріаль для историческаго романа, которому не могла грозить опасность запрещенія. Но обрабатывать это при тъхъ условіяхъ, въ какихъ приходилось вести жизнь въ Петербургъ, онъ не находилъ возможности. И вотъ, въ августъ 1833 года, онъ просить дозволенія събздить въ свое нижегородское имъніе и посьтить Оренбургь и Казань, гдв, онъ надвялся, сохранились въ народъ преданія о пугачевщинъ. Побывавь въ Казани, Симбирскъ, Оренбургъ, гдъ его принимали, какъ отечественную славу, онъ прібхаль въ Болдино съ цёлію заняться обработкою накопившихся матеріаловъ. Изъ Болдина Пушкинъ возвратился съ оконченной исторіей Пугачевскаго бунта. Государь разръшилъ печатать ее въ казенной типографіи и даль на изданіе двадцать тысячь рублей.

Зиму, часть весны и льто 1835 года Пушкинъ провель въ Петербургъ съ тъми же заботами о своихъ дълахъ... Пушкинъ на осень отправился въ свое любимое Михайловское и Тригорское, но и тамъ заботы о семъъ смущали его уединеніе, и работа шла не попрежнему. На этотъ разъмихайловское уединеніе внушило Пушкину не много стихотвореній; но между ними есть одно, въ которомъ идеальный образъ Петра Великаго снова послужилъ къ тому, чтобы

призывать милость къ падшимъ,— стихотвореніе "Пиръ Петра Перваго":

Царь

Съ подданнымъ мирится, Виноватому вину Отпуская, веселится, Чарку пънитъ съ нимъ одну; И въ чело его цълуетъ, Свътелъ сердцемъ и лицомъ, И прощенье торжествуетъ Какъ побъду надъ врагомъ.

Обдумывая свое затруднительное положеніе, Пушкинь остановился на мысли поправить свое состояніе изданіемъ литературнаго журнала. Пушкинъ ръшился противодъйствовать тогдашней журналистикъ, отказавшись отъ политическаго отдъла и обративъ особенное вниманіе на критику. При своихъ связяхъ и при особенномъ вниманіи императора ему не затрудняли разръшеніе журнала. Лишь только распространилась въсть объ этомъ предпріятіи Пушкина въ литературномъ міръ, какъ весь онъ заволновался, въ особенности же тъ журналисты, которые имъли причины опасаться такого сильнаго противника. Мы сказали, что Пушкинъ взялся за изданіе "Современника" изъ расчета, но это не значитъ, что онъ только и руководился такимъ расчетомъ. Поднять литературу, возвысить ея нравственную силу, дать критикъ надлежащее значеніе было его давнишнимъ стремленіемъ.

Стоюнинъ.

Последнія минуты жизни Пушкина.

Я не имъть духу писать въ тебъ, мой бъдный Сергъй Львовичь. Что могь я тебъ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчастиемъ, которое упало на насъ, какъ обватъ, и всъхъ раздавило? Нашего Пушкина нътъ! Это, къ несчастио, върно, но все еще кажется невъроятнымъ. Мысль, что его нътъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ ежедневныхъ мыслей; еще по привычкъ продолжаещь искать его; еще такъ естественно ожидатъ съ нимъ встръчи въ нъкоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ, какъ будто раздается его живой, ребячески-веселый смъхъ, и тамъ, гдъ онъ бывалъ

ежедневно, ничто не перемънилось, нътъ и признаковъ бъдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкъ, все на своемъ мъстъ, а онъ пропалъ, и навсегда — непостижимо!! Въ одну минуту погибла сильная, кръпкая жизнь, полная генія, свътдая надеждами. Не говорю о тебъ, бъдный и дряхлый отецъ; не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ. Россія лишилась своего любимаго, національнаго поэта. Онъ пропаль для нея въ ту минуту, когда его созръвание совершилось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда съ безпорядочною силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болъе спокойной, болъе образовательной силъ зрълаго мужества, столь же свъжей, какъ и первая, можетъ-быть, не столь порывистой, но болъе творческой. У кого изъ русскихъ съ его смертію не оторвалось что-то родное отъ сердца? И между всеми русскими особенную потерю въ немъ сдъдалъ самъ государь. При началъ своего парствованія онъ себъ его присвоиль, онъ развязаль руки ему въ то время, когда онъ былъ раздраженъ несчастіемъ, имъ самимъ на себя навлеченнымъ; онъ слъдилъ за нимъ до последняго часа; бывали минуты, въ которыя, какъ буйный, еще не остепенившійся ребенокъ, онъ навлекаль на себя неудовольствія своего хранителя; но во всёхъ изъявленіяхъ неудовольствія со стороны государя было что-то нъжное, отеческое. Послъ каждаго подобнаго случая связь между ними усиливалась: въ одномъ — чувствомъ испытаннаго имъ наслажденія простить, въ другомъ — живымъ движеніемъ благодарности, которая болье и болье проникала въ душу Пушкина и, наконецъ, слилось въ ней съ поэзіею. Государь потерялъ въ немъ свое создание, своего поэта, который принадлежаль бы славъ его царствованія, какъ Державинъ славъ Екатерины, а Карамзинъ славъ Александра. И государь, до послъдней минуты Пушкина, остался въренъ своему благотворенію. Онъ отозвался умирающему на последній земной крикъ его, и какъ отозвался! Какое русское сердце не затрепетало благодарностію на этотъ голосъ царскій? Въ этомъ голосъ выразилось не одно личное, трогательное чувство, но вмъстъ и любовь къ народной славъ, и высокій приговоръ нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной выдала спада за вывые по започановые боль вы в Первыя минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебъ все, что было въ последнія минуты твоего сына, что я видель самъ, что мнъ разсказывали другіе очевидцы. Въ среду 27 января, въ 10 часовъ вечера, прівхадъ я къ князю Вяземскому. Мнв сказывають, что и онь и княгиня у Пушкиныхь, а Валуевъ, къ которому в зашель, встрвчаеть меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно посылали; повзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извъстіемъ, я побъжаль съ лъстницы. Прівзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ, Арендта и Спасскаго, князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: каковъ онъ? Арендтъ отвъчалъ мнъ: очень плохъ; умреть непремънно. Воть что разсказывали мню о случившемся: въ шесть часовъ послъ объда Пушкинъ привезенъ былъ въ этомъ отчанномъ положени домой подполковникомъ Дангасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Камердинеръ принялъ его изъ кареты на руки и понесъ на лъстницу. "Грустно тебъ нести меня?" спросить у него Пушкинъ. Его внесли въ кабинеть; онъ самъ вельлъ подать себъ чистое былье; раздылся и легь на диванъ. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, котъда войти; но онъ громкимъ голосомъ закричалъ: "n'entrez pas, il y a du monde chez moi". Онъ боядся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежаль совсёмь раздётый. Послали за докторами. Арендта не нашли; прівхали Шольцъ и Задлеръ. Пушкинъ велвлъ всемъ выйти (въ это время у него были Данзасъ и Плетневъ). "Плохо со мною", сказаль онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотръли, и Задлеръ ужхалъ за нужными инструментами Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: "что вы думаете о моемъ положении, скажите откровенно?"- Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. - "Скажите лучше, умираю". -Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ мнвніе Арендта и Соломона, за которыми послано. - "Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi", сказаль Пушкинъ, замодчалъ, потеръ рукою лобъ, потомъ прибавилъ: "il faut que j'arrange ma maison".— Не желаете ли видъть кого изъ вашихъ ближнихъ? спросилъ Шольцъ. "Прощайте, друзья!" сказаль Пушкинь, обративь глаза на свою библютеку. Съ къмъ онъ прощался въ эту минуту, съ живыми друзьями или съ мертвыми, не знаю. Онъ немного погодя спросилъ

"Развъ вы думаете что я часу не проживу?"— О нътъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидѣть кого-нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здёсь. — "Да, но я желаль бы и Жуковскаго. Дайте мив воды, тошнить". Шольцъ, тронуль пульсь, нашель, что рука была холодна, пульсь слабъ и скоръ; онъ вышелъ за питьемъ, и послади за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случилось, но ко мив не приходиль никто. Между тъмъ прівхаль Задлеръ и Соломонъ. Шольцъ оставилъ больного, который добродушно пожалъ ему руку, но не сказалъ ни слова. Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увърился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя съ льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное питье; это произвело желанное дъйствіе: больной успокоился. Передъ отъездомъ Арендта, онъ сказалъ ему: "Попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ". Арендтъ увхалъ, поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходиль отъ его постели. "Плохо мив", сказаль Пушкинъ, когда подошелъ къ нему Спасскій. Спасскій старался его успокоить; но Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себъ, и всъ его мысли обратились на жену. "Не давайте излишнихъ надеждъ женъ", говорилъ онъ Спасскому, "не скрывайте отъ нея, въ чемъ дъло, она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ, дъдайте со мною, что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ". Въ это время уже собрались князь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Віельгорскій и н. Княгиня была съ женою, которой состояніе былоневыразимо; какъ привидъніе иногда прокрадывалась она въту горницу, гдъ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ не могьее видъть (онъ лежалъ на диванъ лицомъ отъ оконъ и двери); но всякій разъ, когда она входила или только останавливалась у дверей, онъ чувствоваль ея присутствіе. "Жена эдівсь?" говориль онъ. "Отведите ее". Онъ боядся допустить ее късебъ, ибо не хотълъ, чтобъ она могла замътить его страданія, кои съ удивительнымъ мужествомъ пересиливалъ. "Что двлаетъ жена?" спросиль онъ однажды у Спасскаго. "Она, бъдная, безвинно териитъ! въ свътъ ее заъдятъ". Вообще съ начала до конца своихъ страданій (кромѣ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую мъручеловъческаго терпънія) онъ быль удивительно твердъ. "Я быль въ тридцати сраженіяхъ", говориль докторъ Арендтъ, "я видълъ много умирающихъ, но мало видълъ подобнаго". И особенно замъчательно то, что въ эти послъдніе часы жизни онъ какъ будто сдълался иной: буря, которая за нъсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстію, исчезла, не оставивъ на ней слъда; ни слова ниже восноминанія о случившемся. Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. Наканунь получиль онъ пригласительный билеть на погребение Гречева сына. Онъ вспомнилъ объ этомъ посреди своего страданія. "Если увидите Греча", сказаль онъ Спасскому, "поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потеръ". У него спросили: желаеть ли исповъдаться и причаститься. Онъ согласился охотно, и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. Покинувъ Пушкина, онъ отправился во дворець, но не засталь государя, который быль въ театръ; онъ сказалъ камердинеру, чтобъ, по возвращени его величества, было донесено ему о случившемся. Около полуночи прівзжаеть къ Арендту оть государя фельдъегерь съ повелъніемъ немедленно ъхать къ Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государемъ къ нему написанное, и тотчасъ обо всемъ донести. "Я не лягу, я буду ждать", приказываль государь Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло въ этомъ письмъ? "Если Богъ не велить намъ болъе увидъться, посылаю тебъ мое прощеніе и вмъстъ мой совътъ: исполни долгъ христіанскій. О женъ и дътяхъ не безпокойся; я ихъ беру на свое попеченіе". Какъ бы я желаль выразить простыми словами то, что у меня движется въ душъ при перечитывании этихъ немногихъ строкъ! Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и тъмъ, кого онъ когда-то отечески присвоилъ и кого до послъдней минуты не покинуль! Какъ много прекраснаго, человъческаго въ этомъ порывъ, въ этой поспъшности захватить душу Пушкина на отлеть, очистить ее для будущей жизни и ободрить послъднимъ земнымъ утъщеніемъ. Я не лягу, я буду ждать! О чемъ же онъ думаль въ эти минуты ожиданія? Гдъ онъ быль своею мыслію? О, конечно, передъ постелью умирающаго, его добрымъ земнымъ геніемъ, его духовнымъ отцомъ, его примирителемъ съ Небомъ и собою.

Умирающій немедленно исполниль уже угаданное желаніе государя. Послали за священникомъ въ ближнюю церковь. Пушкинъ исповъдался и причастился съ глубокимъ чувствомъ. Когда Арендтъ прочиталъ ему письмо государя, то онъ вмъсто отвъта поцъловалъ его и долго не выпускалъ изъ рукъ; ко Арендтъ не могъ его ему оставить. Нъсколько разъ Пушкинъ повторялъ: "Отдайте мнъ это письмо, я хочу умереть съ нимъ. Письмо! Гдъ письмо?" Арендтъ успокоилъ его объщаніемъ испросить на то позволеніе у государя. Онъ скоро потомъ уъхалъ.

До пяти часовъ утра въ его положении не произошло никакой перемъны. Но около пяти часовъ боль въ животъ сдълалась нестерпимою, и сила ея одолъла силу души; онъ началь стонать, послали опять за Арендтомъ. По прівздв его, нашли нужнымъ поставить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страданія, которыя, наконець, дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бъдною женою, если бы она въ теченіе этихъ двухъ въковыхъ часовъ могла слышать его стоны? Я увъренъ, что ея разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки. Но воть что случилось: она, въ совершенномъ изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, кои однъ отдъляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикъ его, княгиня Вяземская, бывшая въ той же горницъ, бросилась къ ней, опасаясь, чтобы съ нею чего не сдълалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргическій сонъ овладіль ею, и этоть сонь, какь будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда раздалось послъднее стенание за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по словамь Спасскаго и Арендта, во всей силъ оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стональ, боясь, какъ онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ее не испугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно замътить, что во все время и до самаго конца, мысли его были свътлы и память свъжа. Еще до начала сильной боли онъ подозвалъ къ себъ Спасскаго, велълъ подать какую-то бумагу, его рукою написанную, и заставиль ее сжечь. Потомъ призваль Данзаса и продиктоваль ему записку о нъкоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурило, и послъ онъ уже не могъ

едълать никакихъ другихъ распоряженій. Когда поутру кончились его нестерпимыя страданія, онъ сказаль Спасскому: "Жену! позовите жену!" — Этой прощальной минуты я тебъ не стану описывать. Потомъ потребовалъ дътей: они спали: ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждаго оборачиваль глаза молча, клаль ему на голову руку, крестиль и потомъ движеніемъ руки отсыдаль прочь. "Кто здъсь?" спросиль онъ у Спасскаго и Данзаса. Назвали меня и Вяземскаго. "Позовите", сказаль онь слабымь голосомь. Я подошель, взяль его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцыловаль ее; сказать ему ничего я не могь; онъ махнуль рукою, и я отошель, но черезъ минуту я возвратился къ его постели и спросилъ у него: можетъ-быть, увижу государя; что мив сказать ему отъ тебя? - "Скажи, отвъчаль онъ, что мив жаль умереть; быль бы весь его!" Эти слова говориль онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онъ съ Вяземскимъ. Въ эту минуту прівхаль графъ Віельгорскій и вошель къ нему, и также впоследние подаль ему живому руку. Выло очевидно, что онъ спъшилъ сдълать свой послъдній земной расчеть и какъ будто подслушиваль шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: "Смерть идетъ". Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрълъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, хотёль что-то сказать, но махнуль рукою и только промолвиль: "Карамзину!" Ея не было, за нею немедленно послади, и она скоро прівхала. Свиданіе ихъ продолжалось только минуту; но когда Екатерина Андреевна отошла оть постели, онъ ее кликнуль и сказаль: "Перекрестите меня", потомъ поцъловаль у ней руку. Въ это время прівхаль докторъ Арендтъ. "Жду царскаго слова, чтобы умереть спокойно", сказаль ему Пушкинь. Это было для меня указаніемъ, и я рышился въ ту же минуту вхать къ государю, чтобы извъстить его величество о томъ, что слышаль. Сходя съ прыльца, я встрътился съ фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого государя. "Извини, что я тебя потревожиль", сказаль онь мив при входв моемь въ кабинеть.-"Государь, я самъ спъшиль къ вашему величеству въ то время, когда встрътился съ посланнымъ за мною". Разсказавъ о томъ, что говорилъ Пушкинъ, я прибавилъ: "Я счелъ долгомъ сообщить эти слова немедленно вашему Величеству".-

"Скажи ему отъ меня", сказалъ государь, "что я поздравляю его съ исполненіемъ христіанскаго долга; о женъ же и дътяхъ онъ безпокоиться не долженъ: они мои. Тебъ же поруручаю, если онъ умреть, запечатать его бумаги; ты послъ ихъ самъ разсмотришь". Я возвратился къ Пушкину съ утъшительнымъ отвътомъ государя. Выслушавъ меня, онъ подняль руки къ небу съ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ. "Вотъ какъ я утъшенъ!" сказалъ онъ. "Скажи государю, что я желаю ему долгаго, долгаго царствованія, что я желаю ему счастія въ его сынв, что я желаю ему счастія въ его Россіи... " Между тъмъ данный ему пріемъ опіума нъсколько его успокониъ; къ животу вмъсто холодныхъ примочекъ начали прикладывать мягчительныя; это было пріятно страждущему; и онъ началъ безпрекословно исполнять предписанія докторовъ, которыя прежде всв отвергалъ упрямо, будучи испуганъ своими муками и жадно желая смерти для ихъ прекрашенія. Но туть онъ сділался послушень, какь ребенокь; самъ накладывалъ компрессы на животъ и помогалъ тъмъ, кои около него суетились. Словомъ, ему, повидимому, стало горазло лучше. Такъ нашель его докторъ Даль, пришедшій къ нему въ два часа. "Худо мнъ, братъ", сказалъ Пушкинъ съ удыбкою Далю. Но Даль, дъйствительно имъвшій болье другихъ надежды, отвъчаль ему: "Мы всъ надъемся, не отчаивайся и ты". - "Нътъ! - возразилъ онъ, - миъ здъсь не житье; н умру; да видно такъ и надо". Въ это время пульсъ его быль полнве и тверже; началь показываться небольшой общій жаръ. Поставили піявки; пульсъ сталъ ровнее, реже и гораздо легче. "Я ухватился", говоритъ Даль, "какъ утопленникъ за соломинку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду и обмануль было и себя и другихъ. "Пушкинъ, замътивъ, что Даль быль пободрве, взяль его за руку и спросиль: "Никого туть нъть?" — "Никого". — "Даль, скажи мнъ правду, скоро ли я умру? — "Мы за тебя надвемся, Пушкинъ, право надъемся". - "Ну, спасибо!" отвъчаль онъ. Но, повидимому, только однажды и обольстился онъ утъщеніемъ надежды; ни прежде ни послъ этой минуты онъ ей не върилъ. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидъль у его постели, а я, Вяземскій и Віельгорскій въ ближней горницъ) онъ продержаль Даля за руку; часто браль по ложечкъ воды или по крупинкъ льда въ ротъ, и всегда все дълалъ самъ:

снималь стакань съ ближней полки, теръ себв виски льдомъ, самъ-накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемънялъ и проч. Онъ мучился менъе отъ боли, нежели отъ чрезмърной тоски. "Ахъ! какая тоска!" иногда восклицаль онъ, закидывая руки на голову: "сердце изнываетъ!" Тогда просилъ онъ, чтобы подняли его или поворотили на бокъ, или поправили ему подушку; и, не давъ кончить этого, останавливалъ обыкновенно словами: "Ну! такъ, такъ — хорошо; вотъ и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо", или: "Постой — не надо — потяни меня только за руку — ну воть и хорошо, прекрасно!" (все это его точныя выраженія). "Вообще говорить Даль, въ обращении со мною онъ былъ повадливъ и послушенъ, какъ ребенокъ, и дълалъ все, чего я хотълъ". Однажды онъ спросиль у Даля: "Кто у жены моей?"— Даль отвъчаль: "Много добрыхъ людей принимають въ тебъ участіе; зала и передняя полны съ утра до ночи".-, Ну, спасибо", отвъчалъ онъ, "однако же поди, скажи женъ, что все, слава Богу, легко; а то ей тамъ пожалуй, наговорять". — Даль его не обмануль. Съ утра 28 числа, въ которое разнеслась по городу въсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освъдомлялись о немъ черезъ посланныхъ: другіе и люди всёхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число приходящихъ сделалось, наконець, такъ велико, что дверь прихожей (которая была подлъ кабинета, гдъ лежалъ умирающій) безпрестанно отворялась и затворялась; это безпокоило страждущаго; и мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ съней залавкомъи вмъсто ея отворили другую, узенькую, прямо съ лъстницы въ буфетъ, а гостиную, гдъ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты буфеть быль безпрестанно набить народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали. Государь императоръ получаль извъстія отъ доктора Арендта, который разъ по шести въ день и по нъскольку разъ ночью прівзжаль навъстить больного; государыня великаякнягиня (Елена Павловна), очень любившая Пушкина, написала ко мив ивсколько записокъ, на которыя я отдаваль подробный отчеть ея высочеству, согласно съ ходомъ бользни. Такое участіе трогательно, но оно естественно; естественно

и въ государъ, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а въ этомъ отличительная черта нынъщняго государя: онъ любить все русское, онъ ставить новые намятники и бережеть старые); естественно и въ націи, которая въ этомъ случат не только за одно съ своимъ государемъ, но этою общею любовію къ отечественной славъ укореняется между ними нравственная связь: государю естественно гордиться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ народъ понимаетъ его высокое чувство и вивств съ нимъ любитъ то, что славно отличаетъ его отъ другихъ народовъ или ставитъ съ ними на ряду; народу естественно быть благодарнымъ своему государю за любовь къ отечественной славъ и за великое выражение сей любви, ибо въ своемъ государъ онъ видитъ представителя своей чести. Однимъ словомъ, сіи изъявленія общаго участія нашихъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали, но не удивляли. Участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Баранть, стоя долго въ уныніи посреди прихожей, гдъ около него шептали съ печальными лицами о томъ, что дълалось за дверями. Отгадать не трудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію — вст народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всв провожаютъ его съ одинаковою братскою скорбію. Пушкинъ по своему генію былъ собственностію не одной Россіи, но и цълой Европы; потому-то и посолъ Франціи (самъ знаменитый писатель) приходиль къ дверямъ его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинъ пожальлъ, какъ будто о своемъ. Потому же и Люцероде, саксонскій посланникъ, сказалъ собравшимся у него гостямъ въ понедъльникъ ввечеру: "Нынче у меня танцовать не будутъ, нынче были похороны Пушкина".

Возвращаюсь въ своему описанію. Пославъ Даля ободрить жену надеждою; Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросиль онъ: "который часъ?" и на отвѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ: "Долго ли... мнѣ... такъ мучиться?... Пожалуйста... поскорѣй!..." Это повторялъ онъ нѣсколько разъ послъ: "скоро ли конецъ?..." и всегда прибавлялъ: "пожалуйста, поскоръй!..." Но вообще (послъ мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа); онъ былъ удивительно терпъливъ. Когда тоска и боль его одолъвали, онъ дълалъ дви-

женія руками или отрывисто кряхтыль, но такь, что почти его не могли слышать. "Терпъть надо, другь, дълать нечего", скаваль ему Даль, "но не стыдись боли своей, стонай, тебъ будетъ легче". — "Нътъ, — отвъчалъ онъ прерывчиво: — нътъ... не надо... стонать... жена... услышить... смышно же... чтобъ этотъ... вздоръ меня... пересилилъ... не хочу". Я покинулъ его въ 5 часовъ утра и черезъ два часа возвратился. Видъвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошель къ себъ почти съ надеждою, но возвратясь, нашель иное. Арендтъ сказалъ мив ръшительно, что все кончено, и что ему не пережить дня. Дъйствительно, пульсъ ослабълъ и началъ упадать примътно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только подымаль руки, чтобы взять льду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ Пушкинъ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открыль глаза и попросиль моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: "Позовите жену, пускай она меня покормить". Она пришла, опустилась на кольни у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его; Пушкинъ погладилъ ее по головъ и сказалъ: "Ну, ну ничего; слава Богу, все хорошо; поди". Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бъдную жену; она вышла какъ будто просіявшая отъ радости. "Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому, - онъ будеть живъ онъ не умреть". А въ эту же минуту уже начался последній процессь жизни. Я стояль вивств сь графомъ Віельгорскимъ у постели въ головахъ, сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шеннулъ мнъ: отходить. Но мысли его были свътлы. Изръдка только полудремотное забытье ихъ отуманивало; разъ онъ подалъ руку Лалю и, пожимая ее, проговориль: "Ну, подымай же меня, пойдемъ, да выше, выше... ну, пойдемъ!" Но очнувшись, онъ сказалъ: "Мнъ было пригрезилось, что я съ тобой лъзу вверхъ по этимъ книгамъ и полкамъ! высоко... и голова закружилась". Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталь искать Далеву руку и, потинувъ ее, сказаль: "Ну, пойдемъ же, пожалуйста; да вмъсть". Даль, по просъбъ его, взяль его подъ мышки и приподняль повыше; и вдругь, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ: "Кончена жизнь!" Даль, не разслушавъ, отвъчалъ: да, кончено; мы тебя поворотили. --

"Жизнь кончена!" повториль онъ внятно и положительно "Тяжело дышать, давить!" были послъднія слова его его. Я не сводиль съ него глазъ и замътилъ въ эту минуту, что движеніе груди, досель тихое, сдълалось прерывчивымъ. Оно скоро прекратилось. Я смотръль внимательно, ждаль послъдняго вздоха; но я его не примътилъ. Тишина, его объявщая, показалась миъ успокоеніемъ, а его уже не было. Всъ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двъ я спросилъ: "что онъ?"--Кончилось! — отвъчалъ мнъ Даль. Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смъя нарушить таинства смерти, которое совершалось передъ нами во всей умилительной святынъ своей. Когда всъ ушли, я сълъ передъ иимъ, и долго одинъ смотрълъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицъ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нъсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нъсколько минуть какое-то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія для отдыха послъ тяжелаго труда. Но что выражалось на его лицъ, я скасать словами не умъю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу, не было также и выражение поэтическое; нътъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видъніе, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знаніе. Всматривансь въ него, мнѣ все хотвлось спросить: что видишь, другъ? И что бы онъ отвъчалъ мнъ, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполнъ достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидъль лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увъряю тебя, что никогда на лицъ его не видаль я выраженія такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природъ; но въ этой чистотъ обнаружилась только тогда, когда все земное отдълились отъ него съ прикосновениемъ смерти.

Таковъ быль конецъ Пушкина. Онишу въ немногихъ словахъ то, что было послъ. Къ счастю, я вспомнилъ во-время,

что надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно, черты его еще не успъли измъниться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имъемъ отпечатокъ привлекательный, изображающий не смерть, а тихій, величественный сонь. Спустя три четверти часа послъ кончины (во все это время я не отходиль отъ мертваго, мнъ хотълось взглядъться въ препрасное лицо) тъло вынесли въ ближнюю горницу; а я, исполняя повельніе государя императора, запечаталь кабинеть своею печатью. Не буду разсказывать того, что сделалось съ бъдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, графъ и графиня Строгоновы. Графъ взялъ на себя всв распоряженія похоронъ. Побывъ еще нъсколько времени въ домъ, я поъхалъ къ Віельгорскому объдать; у него собрались и всъ другіе, видъвшіе послъднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглашенъ за три дня къ этому объду... праздновать день моего рожденія. Въ вечеру, увлеченный необходимостью, пошель я къ государю, чтобы донести ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ; онъ выслушалъ меня наединъ въ своемъ кабинетъ: этого прекраснаго часа въ моей жизни я никогда не забуду. На другой день, мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на слъдующій день, ввечеру, перенесли его въ Конюшенную церковь. И въ эти оба дня та горница, гдъ онъ лежалъ во гробъ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно, болъе десяти тысячь человъкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; иные долго останавливались и какъ будто хотъли всмотръться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ той молитвъ, которая такъ тихо, такъ однообразно слышалась посреди этого смутнаго говора. И особенно глубоко тронуло мнъ душу то, что государь какъ будто соприсутствовалъ посреди своихъ русскихъ, которые такъ просто, такъ смиренно и съ нимъ заодно выражали скорбь свою о утратъ славнаго соотечественника: всъмъ было уже извъстно, какъ государь утъшилъ послъднія минуты Пушкина, какое онъ принималь участіе въ его христіанскомъ покаяніи, что онъ сдълаль для его сироть, какъ почтиль своего поэта, и что въ то же время (какъ судія, какъ верховный блюститель нравственности) произнесъ въ осуждение тому бъдственному дѣлу, которое такъ внезапно лишило насъ Пушкина. Рѣдкій изъ посѣтителей, помолясь предъ гробомъ, не помолился въ то же время за государя, и можно сказать, что это изъявленіе національной печали о поэтѣ было самымъ трогательнымъ прославленіемъ его великодушнаго покровителя.

Отпъваніе происходило 1 февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдѣ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. З февраля, въ 10 час. вечера, собрались мы въ послъдній разъ къ тому, что еще для насъ оставалось отъ Пушкина; отпъли послъднюю панихиду; ящикъ съ гробомъ поставили на сани; въ полночь сани тронулись; при свътъ мъсяца, я провожалъ ихъ нъсколько времени глазами; скоро они поворотили за уголъ дома, и все, что было на землъ отъ Пушкина, навсегда пропало изъ глазъ моихъ.

Жуковскій.

Самобытность и оригинальность поэзіи Пушкина.

Изъ многочисленныхъ, разнообразныхъ рядовъ предшественниковъ и последователей, группирующихся вокругъ Пушкина, возвышается его величавая глава; всь они объемляются имъ, всь они находятся въ немъ. Въ самомъ дълъ, онъ есть выраженіе всей полноты русской жизни и потому онъ націоналенъ въ высшемъ смыслъ этого слова. Если подъ народнымъ разумъть то, что передается изъ въка въ въкъ въ первоначальной непосредственности, безъ всякаго развитія, но на высшей ступени образованія оно не можеть быть названо національнымь, потому что благороднейшая часть народа, въ которой уже пробудился духъ и открылись духовныя очи, не можетъ имъ удовдетворяться. Только удержавъ эту мысль, мы можемъ опредълить значеніе Пушкина и справедливо судить о его произведеніяхъ. Русскіе сами, по скромности или осторожности, неръдко называють Пушкина подражателемъ. Но они уже слишкомъ далеко простерди эту скромность или эту осторожность. То же самое было говорено о дордъ Байронъ. Его поэзія часто можеть показаться подражаніемь, и однакожь въ ней нътъ нисколько подражанія, и однакожъ она вся вышла

изъ его собственнаго духа. Какъ океанъ есть общій резервуаръ, въ который сливаются ръки всъхъ странъ, такъ точно запасъ духовнаго богатства, скопленный въками, есть общее достояніе, которымъ всякій можетъ пользоваться, изъ котораго всякій можетъ черпать и усваивать себъ все, что ему нужно. Созданія Шекспира и Гёте, напъвы Байрона, даже усилія Виктора Гюго, однимъ словомъ, вся сокровищница литературных в произведеній переходить въ общую поэтическую атмосферу и разръшается въ ней; мы вдыхаемъ ее, какъ свободный жизненный элементь; она становится матеріаломъ и составною частію новыхъ созданій, которыхъ, всябдствіе этого, сеще нисколько нельзя назвать подражаніями. Только духъ, одинъ духъ можетъ здёсь рёшить, кто свободный владвлецъ и кто рабскій подражатель.

Что Пушкинъ есть поэтъ оригинальный, поэтъ самобытный, -- это непосредственно явствуеть изъ впечатльнія, производимаго его поэзією. Онъ могъ заимствовать внёшнія формы и итти по стезямъ, до него бывшимъ; но жизнь, вызванная имъ, — жизнь совершенно новая. Если онъ часто напоминаетъ Байрона, Шиллера, даже Виланда, далъе — Шекспира и Аріоста, то это указываетъ только, съ къмъ можно его сравнить, а не отъ кого должно его производить. Съ Байрономъ онъ ръшительно принадлежить къ одной эпохъ, и даже можно сказать — съ Шиллеромъ, сколько позволять допустить это нъкоторыя существенныя изміненія, происшедшія со времени Шиллера во внъшнемъ состояніи жизни. Самый внутренній міръ, раскрывавшійся въ духѣ поэта, зиждется, большею частію, на техъ же основаніяхъ, какія мы видимъ у этихъ поэтовъ; въ немъ та же противоположность и раздоръ мечты съ дъйствительностью, та же тоска, то же полное сомнъній уныніе, та же печаль по утраченномъ и грусть по недостижимомъ счастіи, та же разорванность и величественная, великодушная преданность, — всъ эти качества, особенно преобладающія въ Байронъ. Но главное, существенное свойство Пушкина, отличающее его отъ нихъ, состоитъ въ томъ, что онъ живымъ образомъ слилъ всъ исчисленныя нами качества съ ихъ ръшительною противоположностью, именно, со свъжею духовною гармоніею, которая, какъ яркое сіяніе солнца, просвъчиваетъ сквозь его поэзію и всегда, при самыхъ мрачныхъ ощущеніяхъ, при самомъ страшномъ отчаянін, подаеть утъшеніе и надежду. Въ гармоніи, въ этомъ направленіи къ мощному и дъйствительному, укръпляющемъ сердце, вселяющемъ мужество въ духъ, мы можемъ сравнить его съ Гёте. Истинная поэзія есть радость и утъщеніе, и для того, чтобы точно быть этимъ, она нисходить до всехъ страданій и горестей. Укръпляющую, живительную силу Пушкина испытываеть на себъ всякій, кто будеть читать его созданія. Его геній столь же способень къ комическому и шутливому, сколько въ трагическому и патетическому; особенно же склоненъ онъ къ ироническому, которое часто переходитъ у него въ юморъ, въ благороднъйшемъ смыслъ этого слова. Свътлая гармонія, доброе мужество составляють основу его поэзіи, основу, по которой всъ другія его свойства пробъгають какъ тъни, или, лучше, какъ оттънки. Его характеру вполнъ равновъсно его выражение: вездъ быстрая краткость, вездъ свъжій, совершенно самостоятельный, сосредоточенный образъ, яркая молнія духа, ръзкій обороть. Мало поэтовъ, которые были бы такъ чужды, какъ Пушкинъ, всего изысканнаго, растянутаго, всякаго соп атоге набираемаго хлама. Его естественность, довольствующаяся самымъ простымъ словомъ, быстро схватывающая и быстро отпускающая каждый предметь; его могучее воображение, полное согръвающей теплоты и величія; его то кроткое, то горькое остроуміе, — все соединяется для того, чтобы произвесть самое гармоническое, самое благотворное впечатлъніе въ духъ безпрерывно-занятаго и безпрерывно-свободнаго, ни минуты немучимаго читателя.

Для русскаго это впечатльніе тымь могущественные, что проникаеть также въ его національное существо и пробуждаеть въ немъ всю половину жизни его отечества, его народа. Созданія Пушкина всь полны Россіею, Россіею во всьхъ ея направленіяхъ и видахъ. Мы ближе разберемъ значеніе того, что сейчасъ нами сказано, и посмотримъ, какъ напіональность Пушкина была выгодна для его поэзіи. Всякій поэтъ, который не теряется въ идеальныхъ общностяхъ, выговариваетъ болье или менье жизнь своего народа, характеръ своей страны, и во всякомъ случав, качество этой жизни и этого характера имьетъ сильное вліяніе на его поэзію. Но почти всегда кругъ, очерчиваемый имъ, тъсенъ; изъ этого круга почти всегда выходитъ только ньчто одностороннее,

нъчто однообразное.

Байронъ избъжаль этой тъсноты, прибавивъ въ англійскому испанское, нъмецкое, итальянское и греческое; но онъ обогатиль свою поэзію не иначе, какъ безпрерывными своими путешествіями. Если Гете уміль, сверхь німецкихь элементовъ, включить въ свою поэзію элементы славянскіе и восточные, то это удалось ему только вследствіе некоторыхъ условій его жизни и по собственной могучести его духа. Но русскому поэту все это разнообразіе разрозненныхъ пространствомъ и духовно различныхъ элементовъ дается уже само собою; все это уже онъ находить въ своемъ національномъ кругу. Ему равно доступны, равно родственны югъ и съверъ, Европа и Азія, дикость и утонченность, древнее и новъйшее; изображая самые различные предметы, онъ изображаетъ предметы отечественные. Величина и могущество Россіи, объемъ и содержаніе русской имперіи имъють въ этомъ отношеніи самое благотворное вліяніе; мы можемъ отсюда видъть, въ какомъ внутреннемъ соотношении съ государствомъ живетъ поэзія. Состоя изъ техъ же самыхъ основныхъ стихій, какія содълывають государство могущественнымъ, развивается поэзія изнутри наружу (von innen her). Пушкинъ, владъя мощными силами, вполнъ воспользовался выгодою своей національности, вполнъ осуществиль ее. Созерцая самыя противоположности, изображаемыя имъ состоянія, чувствуешь, что они всѣ равно принадлежатъ поэту, что оно на всѣхъ ихъ имъетъ равныя права; они его, они — русскія. Мы можемъ здъсь, выражаясь собственными словами поэта, сказать:

Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, Отъ потрясеннаго Кремля До стънъ недвижнаго Китая,

вездъ — въ міръ сельскихъ нравовъ и въ блестящемъ модномъ свътъ, въ великолъпныхъ палатахъ и подъ сънію цыганской кущи, вездъ онъ на своей родной почвъ, и вездъ на этой почвъ даетъ отпрыски его поэзія. Дъйствительно, весь этотъ богатый міръ, во всемъ его объемъ, претворилъ Пушкинъ въ поэтическое созерцаніе.

Варнгагенъ фон-Энзе.

Пушкинъ — національный поэтъ.

Сто лътъ тому назадъ родился А. С. Пушкинъ, и мы невольно соединяемъ съ этою памятью — память о зарождении нашей новой поэзіи, той поэзіи, которую мы считаемъ своею, въ которой чувствуемъ біеніе нашей жизни, въ колеяхъ которой до сихъ поръ идетъ развитіе нашего изящнаго слова. Эта поэзія ввела насъ впервые и прочно въ круговоротъ западно-европейскихъ литературъ; среди нихъ и наша получала свое опредъленное мъсто и признаніе. Съ такимъ признаніемъ позволено считаться не изъ одного лишь народнаго тщеславія: оно поднимаеть наше самосознаніе, подтверждая

нашу собственную себъ оцънку.

Съ XVIII въка мы вступили въ болъе тъсную связь съ Западомъ; къ намъ приходили оттуда науки, нравы и привычки и принимались, какъ могли, на верхахъ общества; переходили идеалы, до которыхъ мы не дожили; переходили формы стиха и литературные роды и типы, выразившее итоги извъстнаго историческаго развитія и общественныхъ теченій, чему у насъ ни въ жизни ни въ литературъ ничто не отвъчало. Что общаго между западнымъ понятіемъ о героизмъ и перенесенною къ намъ героическою одой съ Марсомъ, Беллоной и т. п.? Одна давала поэту возможность высказать въ торжественныхъ стихахъ свой наивный патріотизмъ, но и пріучала къ неискреннимъ восторгамъ, открывая горизонты фразъ, въ которыхъ могло выразиться, но часто и терялось народное чувство. Трагедія французскаго типа прилаживалась къ русскимъ историческимъ именамъ и воспоминаніямъ — безъ пониманія духа нашей исторіи; комедія и сатира бичевали нравы, вскрывая темныя стороны нашего быта, создавая отрицательные типы, полные шаржа; положительные типы — не живыя лица, а указки или проповъдники, отъ Стародума до Чацкаго; они не пережиты, не выстраданы поэтически. Идиллія и burlesque дали намъ кадры для изображеній изъ народной жизни: либо ухарства и разгула, либо пастушковъ, выющихъ вънки у своего стада, земледъльцевъ, отдыхающихъ отъ своихъ "непорочныхъ" трудовъ. Когда затемъ насталъ на Западе періодъ чувствительности, и у насъ растворились сердца для "нъжнъйшей тоски", "для священной меланхоліи" (Карамзинъ), "царицы превыспренныхъ мыслей" (Иппокрена VI, 433), и мы плакали надъ "Бъдной Лизой", въ которой ничего нътъ русскаго, кромъ декораціи. Романтизмъ, естественно развившійся въ условіяхъ западной литературы и жизни, заразилъ насъ любовью къ народнымъ мотивамъ и мъстному колориту, къ сказачно-страшному послъ трагически-ужаснаго; но народность нашихъ романтиковъ можно было бы встрътить и на берегахъ Рейна, а очертаніе мъстности расплывались въ мистически-дунномъ освъщеніи. "Нынъ въ какую книжку ни заглянешь, что ни прочитаешь, пъснь или посланіе, вездъ мечтанія, а натуры ни на волосъ", писалъ Грибоъдовъ (1816 г.). Все это изощряло чувство, вело къ выработкъ языка Жуковскаго и Батюшкова; становилась возможнъе лирика непосредственнаго, личнаго настроенія, но мотивамъ общественности въ ней еще нътъ отзыва.

"Есть русскій языкъ, — говорилъ въ 1823 — 24 годахъ князь Вяземскій, — но нътъ словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и могущественнаго"; "мы еще не имъемъ русскаго покроя въ литературъ, можетъ-быть и имъть не будемъ, потому что его нътъ".

Когда писались эти строки, новая русская поэзія уже зародилась. Изъ утреннихъ тумановъ, въ которыхъ вьются тъни классиковъ и романтиковъ, старыхъ западниковъ и народниковъ, "Арзамаса" и "Бесъды", выдъляется образъ юноши Пушкина, и всъ точно приглядываются къ нему, прислушиваются: его ждали. Онъ только что вышелъ изъ Лицея, а за его игривой музой всъ волочатся; его стихи, экспромиты попадаютъ въ публику раньше, чъмъ въ печать, иные потерялись по дорогъ: "много алмазныхъ искръ Пушкина разсыпалось тутъ и тамъ въ потемкахъ", говорилъ даже Даль. Когда поэтъ окръпъ и могъ сказать о себъ:

Звуки новые для пъсенъ я обрълъ,

къ нему прикованы всъ взгляды, и признаніе общества перевъшиваетъ голосъ школьной хулы. Въ немъ надежда на что-то новое, желаемое, выяснявшееся постепенно, какъ день растеть съ ходомъ солнца. "Старшіе богатыри", Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, дивуются на его побздку богатырскую. "Никто изъ русскихъ писателей не поворачивалъ нашими каменными сердцами, какъ ты", пишетъ ему Рылъевъ. "Имя твое сдълалось народной собственностью", говоритъ ему

князь Вяземскій. "Возведи русскую поэзію на ту степень между поэзіями всёхъ народовъ, на которую Петръ Великій возвелъ Россію между державами. Соверши одинъ, что онъ совершилъ одинъ", ободрялъ его Баратынскій (1828 г.). Пушкинъ — "честь нашей народной жизни, нашей души, нашего слова" ("Московскій Наблюдатель" 1837 г.). "Отечества онъ слава и любовь! Онъ избранникъ, увънчанный въ народъ" (Подолинскій, "Перевздъ черезъ Яйлу", 1837 г.). Такъ помянули его въ годъ смерти.

Это — признаніе не только таланта, но и направленія. У Пушкина оно сказалось рано: первое произведеніе, обратившее на него вниманіе, "Русланъ и Людмила"—народная скоръе обрусвымая сказка въ стилъ Аріосто, но важно то, что еще въ Лицев на юнаго поэта повъяло народною фантастикой, и когда въ 1828 году онъ говорилъ въ прологъ

Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пахнеть;

онъ связывалъ свое настоящее съ прошедшемъ, безсознательный починъ съ жизненной задачей зрълаго художника. Протянемъ эту красную нить по біографіи человъка и поэта, и мы поймемъ, почему при имени Пушкина насъ "тотчасъ освняемъ мысль о русскомъ національном поэтъ (Гоголь), поймемъ и слова, съ которыми Погодинъ обратился къ студентамъ Московскаго университета по полученію извъстія о кончинъ Пушкина: его сочиненіями "начинается новая эпоха

въ русской литературъ, эпоха національности".

Большіе русскіе поэты стояли у его колыбели; иныхъ онъ видълъ въ домъ отца, другихъ въ Лицев; онъ вчитывался въ нихъ и учился, но его первоначальное воспитание было иностранное, главнымъ образомъ, французское, какъ въ большинствъ образцовыхъ дворянскихъ семей того времени. Его французскія письма не лишены стиля, и въ пору своей "національности" онъ не освободился отъ нъкоторыхъ галлицизмовъ. Такимъ образомъ онъ естественно попалъ въ колею обычныхъ чтеній, отъ французскихъ классиковъ XVII въка до Вольтера и Парни, Шенье, Шатобріана и Жоржъ Занда, отъ Вальтера Скотта и Байрона до Шекспира, и невольно втягивался въ ихъ кругозоръ, въ прелесть формъ и содержаніе настроеній. Но онъ не подражаль, какъ наши сентименталисты и романтики, а творилъ на новыхъ стезяхъ. "Талантъ неволенъ, говорилъ онъ, а его подражаніе не есть постыдное похищеніе... признакъ умственной скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слъдамъ генія". Какъ Мольеръ онъ у другихъ бралъ свое: формы, отвъчавшія его поэтическому чутью, будившія въ немъ свои собственные "звуки новые"; типы, которые онъ находилъ и кругомъ себя, стремленія, которыя дълилъ съ лучшими людьми своего времени и самъ переживалъ страстно и тревожно. Уже въ этомъ смыслѣ онъ былъ націоналенъ и могь сказать:

И неподкупный голось мой Быль эхо русскаго народа.

(1819 г. Отвъть на вызовъ написать стихи въ честь государыни императрицы Елизаветы Алексъевны.)

Оттого онъ и сентименталисть, не романтикъ; байронисть только по совпаденію западныхъ литературныхъ и русскихъ общественныхъ моментовъ. Отъ Алеко до Онъгина совершался въ самосознаніи переходъ отъ безсодержательныхъ грезъ и "безыменныхъ страданій" къ явленіямъ русской дъйствительности; "другіе дни — другіе сны" (Отрывокъ изъ путешествія Онъгина). Онъгины были на Руси выраженіемъ знаменательнаго времени въ жизни нашего просвъщеннаго общества; Татьяна — такое же живое лицо. Далъе русская современность распахнула двери въ прошлое, обязывающее всякаго, кто созналъ историческое назначение своего народа. Въ нашихъ дворянскихъ семьяхъ, несмотря на ихъ полу-Французское воспитаніе, все еще жили родовыя преданія, преданія, не только спеси, но и д'ятельнаго участія въ судьбахъ родной земли. Пушкины ей служили, и поэтъ твердо помниль свою родословную. Его тянеть къ русской старинъ по связи съ настоящимъ: объ этомъ онъ толкуетъ, пишетъ про себя, у него сдагаются опредъленные, нъсколько идеальные взгляды на Петровскую реформу, на культурное, въ англійскомъ смысль, значеніе нашего дворянства, какъ свободнаго руководителя народныхъ силъ. Исторія Карамзина стала для него откровеніемъ древности, раскрыла ея "очарованіе"; позже архивные источники и поъздки на мъста дъйствій познакомили его съ матеріалами, почти вторгавшимися въ интересы современности. Все это отлилось въ поэтическихъ образахъ: забыты славянскіе барды и призрачные Вадимы, явился "Борисъ Годуновъ" на фонъ безмолвствующаго народа, Пименъ въ поэзіи своей кельи, "Капитанская дочка" въ смутахъ пугачевщины; надъ всъми Петръ, "Мъдный всадникъ" и кормчій русской земли, русскій и западникъ вмъстъ перекосившій наши старые порядки и выдвинувшій насъ къ просвъщенію, строгій и милостивый, прежде всего работникъ.

И туть идеть ко мнв незримый рой гостей — Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

Все это очутилось въ русской обстановкѣ, реальной и поэтической, выросло изъ нея, одно съ нею; вездѣ ощущается народная подпочва, впервые — "тихая и безпорывная" (Гоголь о Пушкинѣ) прелесть русскаго пейзажа, интимное пониманіе крестьянскаго быта; то и другое надо было не только передумать, но и прочувствовать. Вмѣсто "Развалинъ замка въ Швеціи" явились картины русскаго лѣта и осени, зимней бури съ ея народнымъ чудеснымъ; поэзія русской деревни:

> Люблю песчаный косогорь, Передъ избушкой двъ рябины, Калитку, сломанный заборь, На небъ съренькія тучи, Передъ гумномъ соломы кучи.

> > (Отрывки изъ путешествія Онъгина.)

"Блаженное искусство любоваться красотами и пріятностями натуры" (Болотовъ) привилось къ намъ съ Запада, но только Пушкинъ открылъ намъ красоты нашей избушки, гдѣ живетъ мельникъ "Русалки", старикъ со старухой сказки о "Рыбакѣ и рыбкѣ", и теплится и сверкаетъ своя поэзія жизни-Ни Карамзинъ, ни Жуковскій, ни Батюшковъ не были бы способны спуститься къ уровню "Каприза" (1830 г.), гдѣ Пушкинъ показываетъ "румяному" критику, очевидно, любителю веселыхъ видовъ, глумившемуся надъ "темной музой" романтиковъ, картины русской деревенской дъйствительности: тѣ же убогія избушки, отлогій скать, густая полоса сѣрыхъ тучъ, два тощихъ деревца, обнаженныхъ осенью. Образъ, очевидно, запечатлѣлся, сталъ символомъ, и художникъ развиваетъ его бытовой сценой, тусклой, какъ тонъ пейзажа. Мы предчувствуемъ реализмъ Некрасова.

На двор'в живой собаки н'втв.
Воть, правда, мужичокъ; за нимъ дв'в бабы всл'вдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали л'вниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ:
Скор'вй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ.

Что же ты нахмурился? спрашиваеть поэть румянаго критика.

Пушкинъ въ поэзіи — нашъ первый народникъ-реалистъ; онъ реалистъ и въ смыслъ языка: и до него народные элементы проникали въ нашу литературную ръчь, иногда для рельефа, послъдовательнъе у Грибоъдова и Крылова, у котораго Жуковскій находилъ выраженія не по вкусу людямъ, "привыкнувшимъ къ языку хорошаго общества". Пушкинъ сдълалъ народное слово достояніемъ поэзіи. Его критики считали "низкими, бурлацкими" такія слова, какъ "усы", "визжать", "вставай" и т. п., смъялись надъ стихомъ:

Людскую молвь и конскій топъ.

Онъ защитиль его словоупотребленіемъ сказки, требуя для языка болье воли (письмо къ Погодину), предпочитая простонародность "жеманству и напыщенности". И здъсь у него послышались "звуки новые". Его бабушка, "наперсница волшебной старины", разсказывала јему про былое, и онъ слушаль ее, еще ребенкомъ, пріютясь въ ея рабочей корзинъ; либо его няня нашептывала ему

О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы.

(Сонъ 1816 г.).

И позже онъ любилъ ея сказки, просилъ бывало спъть,

какъ синица
Тихо за моремъ жила,
какъ дъвица
За водой поутру шла.

Онъ охотно прислушивается въ народному говору, въ Михайловскомъ собираетъ народныя пъсни, записываетъ ихъ отъ старухи Ушаковой, записываетъ пъсни о Стенькъ Разинъ. Самъ онъ превосходно читалъ народныя пъсни, пытался подражать имъ, проникался ихъ лирическою раздвоенностію:

Что-то слышится родное
Въ долгихъ пъсняхъ ямщика,
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Его пересказы изъ Мериме свидътельствуютъ, какъ прочно онъ овладълъ народно-поэтическимъ стилемъ; отъ его сказокъ въ стихахъ прямой переходъ къ Лермонтовскому "Купцу Калашникову". Оттуда обогащеніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опрощеніе нашего художественнаго языка. "Ты довершишь водвореніе у насъ простой, естественной рѣчи, которой наша публика не понимаетъ... ты сведешь наконецъ поэзію съ ея ходуль", писалъ ему въ 1825 году его пріятель Н. Н. Раевскій. Проза Гоголя и С. Т. Аксакова вышла изъ повѣстей Пушкина, и въ то же время чтеніе Карамзина, лѣтописей, памятниковъ въ родъ "Слова о полку Игоревъ", отозвалось на золоточеканномъ языкъ "Бориса Годунова. Веселовскій.

Пушкинъ является завершителемъ всёхъ прежнихъ стремленій, всёхъ начатыхъ и недодёланныхъ формъ и съ ними, разумъется, русская литература и русская поэзія должны начинать новый періодъ своей исторической жизни. Стоитъ только сравнить съ поэзіей Пушкина поэзію Батюшкова и Жуковскаго, его современниковъ и учителей, чтобъ убъдиться, чъмъ оно выше стоить обоихъ ихъ. Пластическая, но недодъланная и несовершенная форма поэзіи Батюшкова получаеть у Пушкина такую изящную отделку, такія художественныя достоинства, что сейчась видень на ней слъдь руки великаго мастера, котораго душа полна дивныхъ и совершенныхъ / образовъ. Лучше, чище и превосходиве этой формы въ поэзіи трудно представить критикъ. Благоуханное и нъжное, но неясное чувство, разлитое въ поэзіи Жуковскаго, свътлый порывъ къ далекому небу, составляющій весь пыль этой поэзіи, смёняется иными, более полными и решительными качествами у Пушкина. Его чувство такъ точно и опредъленно и такъ ясно выражено, что образъ художника, оставляя въ душъ впечатлъніе оконченное, наполняетъ ее совершенно. Кажется, ничего не нужно читателю прибавлять къ тому, что съ такою готовностью даетъ поэтъ. Пушкинъ нигдъ не заставляетъ догадываться читателя, читать между

строчками тайный смыслъ созданія. Ніть, образь Пушкина доступенъ съ перваго раза душъ и весь онъ на лицо передъ нами въ блестящей художественной одеждъ, данной ему поэтомъ. Чувство Пушкина человъчно и просто, а потому поэзія его, выраженіе этого чувства, производить на душу человъка впечатльніе здоровое и бодрое; она проливаеть свытлый мирь въ душу человъка и, подымая ее отъ земли, она учить оставаться на ней же, вызывая вокругъ жизнь и облекая все прекрасное и благородное на землъ въ совершенную форму поэзін. Пушкинъ принадлежаль къ глубокимъ лирическимъ натурамъ, для которыхъ всякое минутное впечатлъніе облекается въ поэтическій образъ, понятный всякому, потому что на немъ лежитъ печать человъческаго достоинства. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ много походить на Гёте, поэта-художника, по-преимуществу, который самъ говорилъ про себя, что всв его произведенія писаны на случай, не такъ однакожъ, какъ писались оды XVIII столътія. Такъ и у Пушкина каждое стихотвореніе вызвано обстоятельствами его жизни, каждое вылилось прямо изъ души поэта и много и долго было перег чувствовано. Но эти созданія, чисто личныя по своему происхожденію въ душъ поэта, имьють общій смысль, понятны и доступны каждому. Такое явленіе происходить оттого, что чувство и поэзія Пушкина носять вполнъ человъческій характеръ и отзывались на все, что возбуждаеть сочувствіе въ благородной и развитой душъ человъка. Какія громадныя силы должны были заключаться въ личности Пушкина, чтобы мы въ каждомъ мимолетномъ впечатлени, одетомъ имъ въ поэтическую форму, въ каждомъ небольшомъ стихотвореніи, написанномъ, повидимому, на незначительный и быстро исчезнувщій случай, могли находить полное удовлетвореніе. Такое явленіе составляеть тайну генія, тайну творца-художника въ міръ искусства и вмъсть съ тъмъ показываетъ намъ, что существуеть таинственная и глубокая связь между геніемъ великаго поэта и духомъ народа, создавшаго его. Оба они дъйствуютъ взаимно другъ на друга и постоянно живутъ въ общении. Вотъ почему въ поэзіи Пушкина, едва только коснутся нашего слуха звуки его, мы слышимъ родное и знакомое, свое собственное, что жило въ душъ нашей, но жило не ясно, темнымъ чувствомъ, не умън найти соотвътственной формы и приличнаго выраженія. Потому Пушкинъ,

вслъдствіе великаго поэтическаго таланта своего, является типическимъ представителемъ своей родины. Кажется, лучиня свойства народа, кажется, вся душа его, весь его геній заключались въ одномъ человъкъ и съ большимъ блескомъ и въ полной силъ, какъ лучи свъта, сосредоточенные въ одной точкъ и тъмъ дъйствующіе ослъпительнье и ярче. Вотъ почему такая личность, выражающая народъ свой, интересуеть и влечеть насъ къ себъ. Мы стараемся понять и оцънить каждый случай жизни, пробудившій поэзію Пушкина, мы стараемся разгадать жизнь его, каждый темный, неясный намекъ въ его стихотвореніи, мы бы дорого дали, чтобъ знать все, что волновало, мучило и утъщало душу поэта и страстно желали бы имъть полную біографію Пушкина, которая дала бы намъ ключъ къ его поэзіи и позволила бы внутри насъ пожить блестящею жизнію поэта. Геній его порукою намъ, что въ этой жизни нътъ ничего такого, что бы недойстойно было вниманія людей его родины, что бы бросало тънь на поэта, какъ на человъка, что бы не оправдывалось не зависящими отъ него обстоятельствами. Изученіе жизни и вмісті съ нею созданій Пушкина много вознаградить того, кто посвятить труду этому время свое. И какъ отрадно изучать великаго поэта своего народа и переживать въ его созданіяхъ факты народнаго духа и сознанія въ лучшей, благороднъйшей, художественной формъ. Да, личность и поэзія Пушкина достойны подробнаго изученія. Онъ гнался за жизнію, по выраженію поэта, онъ воскрешалъ въ ней каждый мигь и на каждый призывный звукъ ея отвъчалъ отзывной пъснью. Намъ дороги волненія, страданія и радости Пушкина. Они принадлежатъ великому поэту, представителю своего народа и неизмъримо выше стоятъ тъхъ откровенныхъ изліяній, которыми привыкли такъ нецеремонно дълиться съ публикою мелкіе лирическіе поэты, громко толкующіе о своихъ ненужныхъ никому и смъшныхъ страданіяхъ и волненіяхъ. Лермонтовъ давно отвъчалъ энергическими стихами поэту подобнаго рода.

Какое діло намь, страдаль ты или нізть?
На что намь знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальных лізть,
Разсудка злыя сожалізныя?

Надобно быть богатымъ внутреннею жизнію, чтобъ имѣть право дълиться со всёми своими впечатлёніями.

Итакъ, въ величіи созданій Пушкина, доступныхъ каждому русскому человъку, мы видимъ типическое воспроизведение жизни русской, а потому безспорно можемъ назвать его первымъ народнымъ поэтомъ своей родины. До него не было у русской поэзіп въ полной силь и полной мерь этого свойства, а были только попытки. Но эта народность созданій Пушкина не есть та непосредственная, первоначальная народность, которая проявляется и въ пъснъ народа. Это высшій моменть сознанія, и она могла родиться только въ ту блестящую эпоху развития народныхъ силъ, которая слъдовала за Двънадцатымъ годомъ. Эта народность, освъщенная заревомъ московскаго пожара, скръпленная общимъ чувствомъ любви къ-отечеству и ненависти къ страшному завоевателю, потрясшему міръ въ его основаніяхъ, есть высшее проявленіе народа и можетъ сдёлаться могучимъ двигателемъ поэзіи. Въ образахъ Пушкина народные элементы изображены такъ ясно и съ такою художественною полностью, именно потому, что они сознательно прошли чрезъ духъ поэта, что они выработались народной исторіей. Только при такихъ условіяхъ поэть могь изображать съ теплымъ участіемъ сумрачныя картины родной природы, гдъ все такъ ровно и однообразно, гдъ надобно вырасти и жить, быть связану тайными элементарными силами съ родною почвою, чтобъ находить прелесть въ безграничныхъ и пустыхъ пространствахъ степи, въ разбросанныхъ избахъ жалкой деревушки, въ съромъ небъ, склонившемся надъ необозримою равниною. И Пушкинъ, въ роскошныхъ поэтическихъ образахъ, вызвалъ передъ нами тайную прелесть этой природы; онъ придаль ей жизнь и значеніе, онъ поймалъ неуловимыя линіи разбъгающихся очерковъ и выразиль непонятную связь русской души съ окружающей ее природой. Картины этой природы дышать жизнію и говорять сердцу. Бъдная деревня вдали отъ большой дороги, печальная пъсня подъ звукъ веретена, дождливое утро ненастной осени и великолфиные ковры снъга, и звонь почтоваго колокольчика, и мутные образы, кружащиеся въ волнахъ метели — все это согръто такою теплою любовью, все это одъто въ такую яркую поэтическую одежду, что невольно манить къ себъ въ душу. Не станемъ говорить о тъхъ вдохновенныхъ изображеніяхъ, которыя подарили поэту горы и равнины южнаго Крыма и громады Кавказа. Тамъ самое величее и роскошь

явленій природы могли возбудить его геній. Нътъ, его могущество доказывается картинами бъдной съверной природы, которая окружаеть нась, къ которой мы привыкли до того, что не въ состояни вообразить скрытыхъ въ ней поэтическихъ достоинствъ. Какимъ же волшебствомъ открылъ ихъ Пушкинъ и умътъ сдълать привлекательными для каждаго? Это волшебство принадлежить къ тайнамъ геніальнаго творчества, но оно есть условіе всякаго народнаго поэта, оно есть доказательство глубокаго русскаго чувства и руской души въ Пушкинъ, и только сознаніе, только историческое развитие народной истории могло вызвать въ жизни такія явленія. Но еще выше картинъ природы, народность Пушкинской поэзіи проявляется въ созданіи характеровъ, поразительно върныхъ дъйствительности и русской жизни. Взгляните на русскую женщину, одътую яркимъ свътомъ Пушкинской поэзін, на эту простую, мечтательную, грустную, но съ залогомъ могучихъ силъ душевныхъ, но съ возможностью глубокой страсти въ сердцъ, женщину. Посмотрите на этотъ превосходный образъ Татьяны, выросшей на родныхъ снъгахъ и поляхъ, подъ тънью березъ родины, съ воображеніемъ, настроеннымъ тайными силами русской природы и преданіями народа, посмотрите на нее, обвъянную простой поэзіей. крещенскихъ вечеровъ, пъсенъ и гаданій, върную жизни и природъ своей. Какъ просто и безхитростно заговорило въ ней чувство, какая глубокая, но естественная скорбь въ этой мечтательной головкъ и какъ она не измъняетъ ни себъ ни чувству, когда жизнь ея измъняется, когда изъ-подъ деревенской кровли отцовскаго дома, отъ могилы своей няни, она переносится въ великолъпныя залы столицы. Пушкинъ особенно умълъ сочувствовать простымъ и неиспорченнымъ русскимъ натурамъ, и талантъ его, развиваясь все болъе и болъе, усвоивалъ себъ эпическую простоту и непосредственность въ изложении и разсказъ, останавливался съ любовью на характерахъ, выросшихъ прямо на народной почвъ. Особенно это замътно въ послъднихъ могучихъ созданіяхъ поэта. Мельникъ и его дочь, простая исторія любви последней къ князю, заимствованная Пушкинымъ изъ забытой оперы, въ которой не видно ничего русскаго, заключаеть въ себъ такое богатое народное содержаніе, какое умъль только постигать Пушкинь. Самая любовь эта, доведенная до драматического движенія страсти, не со-

гласнаго съ эпическимъ характеромъ народа, является намъ до того естественною, до того близко соприкасается она съ стихійнымъ міромъ народныхъ преданій, что даже фантастическій фонъ картины еще больше придаетъ правды и очарованія созданію. Мы не станемъ говорить о томъ, съ какимъ народнымъ тактомъ и глубиною чувства выражался Пушкинъ о великомъ двигателъ нашего образованія, въ какихъ величавыхъ, строгихъ и могущественныхъ очеркахъ является въ разныхъ мъстахъ его поэтическихъ созданій Петръ Великій, этотъ представитель огромныхъ силъ народа, гигантъ, поразившій силою своего генія воображеніе поэта. Когда онъ говорить о немъ, тогда живымъ ключомъ льются волны глубокой поэзіи Пушкина, слышится сильно затронутое чувство. Онъ встръчается здъсь съ Ломоносовымъ, перворожденнымъ сыномъ эпохи преобразованія, и подобно ему, Пушкинъ хотыль посвятить последніе годы своей жизни изображенію великаго государя, и, подобно Ломоносову, судьба не дала ему кончить прекраснаго дъла. Тъ же народныя силы Пушкинскаго генія являются въ-драматической хроникъ его "Борисъ Годуновъ", гдъ отъ царя до отшельника-лътописца все носить на себъ печать глубокаго пониманія жизни народа и теплаго сочувствія къ ней. Но еще ярче геній Пушкина проявляется въ созданіи характеровъ "Капитанской дочки". Кажется, все такъ просто въ этомъ произведеніи, кажется такъ ничтожны выведенные въ этой исторической повъсти характеры, что мы не подозръваемъ глубины народнаго духа, скрытаго въ этихъ, повидимому, мелкихъ личностяхъ. А между тъмъ посмотрите, какъ умираеть коменданть жалкой оренбургской крыпостцы и помощникъ его, Иванъ Кузьмичъ, отъ руки мятежника Пугачева. Такъ величаво-просто, безъ парада и шума, можетъ умирать только одинъ простой русскій человъкъ, неиспорченный посторонней примъсью. И Пушкинъ все дальше и дальше отдаляется отъ лицъ дъйствующихъ въ салонахъ. Его жизнь и странствія по Россіи ставили его въ соприкосновеніе съ различными общественными классами, но его чуткое поэтическое внимание останавливалось только на томъ, что имъло право войти и получить гражданство въ царствъ русской поэзіи. Въ глубинъ души своей онъ быль другомъ того народа, которому чужды литературныя стремленія, но который въ жизни своей сохранить коренныя народныя начала. Воть

въ чемъ заключается народность созданій Пушкина и всей его поэзіи.

Пушкинъ — наше все; Пушкинъ представитель — всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послъ всъхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами, - все то, что принять следуеть, отбрасывающій все, что отбросить следуеть, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности, - образъ, который мы долго еще будемъ оттънять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего, до него бывшаго, и ничего, что послъ него было и будеть правильнаго и органически нашего. Сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія, сочувствія старой русской жизни и стремленія новой — все вошло въ его полную натуру, въ той строгой мфрф, въ какой бытіе послѣпотопное является сравнительно съ бытіемъ допотопнымъ, въ той мъръ, которая опредъляется русскою душою. Когда мы говоримъ здёсь о русской сущности, о русской душь, - мы разумьемь не сущность народную, допетровскую, и не сущность послъпетровскую, а органическую цъдость: мы въримъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается после столкновеній съ другими жизнями, съ другими народными организмами, послъ того, какъ она, воспринимая въ себя различные элементы, - одни брала и беретъ какъ родственные, другіе отрицала и отрицаетъ какъ чуждые и враждебные... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цъльно, обозначившаяся душевная физіономія, — физіономія, выдёлившаяся, вырёзавшаяся уже ясно изъ круга другихъ народныхъ, типовых физіономій, — обособившаяся сознательно, именно вследствіе того, что уже вступила въ кругъ ихъ. Это нашъ самобытный типъ, уже мърявшійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаніемъ тъ фазисы развитія, которые они проходили, но боровшійся съ ними сознаніемъ, но вынесшій изъ этого процесса свою физіономическую, типовую самостоятельность.

Показать, какъ изъ всякаго броженія выходило въ Пушкинъ цъльнымъ это типовое, было бы задачей труда огромнаго.

Пушкинъ выносиль въ себъ все. Онъ долго, напримъръ, носиль въ себъ въ юности мутно-чувственную струю ложнаго классицизма (эпоха лицейскихъ и первыхъ послъ-лицейскихъ стихотвореній); изъ нея онъ вышелъ наивенъ и чистъ, да еще съ богатымъ запасомъ живучихъ силъ для противодъйствія романтической туманности, отъ которой ничто не защищало несравненно менъе цъльный талантъ Жуковскаго. Эта мутная струя впослъдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности, и, благодаря стройной мъръ его натуры, ни одна словесность не представитъ такихъ чистыхъ и совершенно ваятельныхъ стихотвореній, какъ пушкинскія. Но и въ этомъ отношеніи какъ онъ самъ, такъ и все, что пошло отъ него по прямой линіи (Майковъ, Фетъ въ ихъ антологическихъ стихотвореніяхъ), умъли уберечься въ границахъ здраваго, достойнаго разумно-нравственнаго существа, сочувствія...

Въ цъльной натуръ Пушкина и въ ея борьбъ съ различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами и заключается для насъ слово разгадки... Повторяю еще разъ — Пушкинъ все наше предчувствовалъ (разумфется, только какъ поэтт, въ благоуханіи): отъ любви къ загнанной старинъ ("Родослоьная моего героя") до сочувствій реформь ("Мъдный всадникъ"); отъ нашихъ страстныхъ увлеченій эгоистически обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья ("Капитанская дочка"); отъ нашего разума до нашей жажды самоуглубленія, жажды "матери пустыни"; и только смерть помвшала ему воплотить наши высшія стремленія и весь духъ кротости и любви въ просвътленномъ образъ Тазита, - смерть, которая унесла его столь же преждевременно, какъ братьевъ его по духу, такихъ же набрасывателей многообъемлющаго идеала, Рафаэля Санціо и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговъчно все, разметывающееся въ ширину, и коренится, какъ дубъ, односторонняя глубина...

Есть натуры, предназначенныя на то, чтобы намѣтить грани процессовъ, набросать полные и цѣльные, но одними очерками обозначенные идеалы, и такая-то натура была у Пушкина. Онъ наше все, не устану повторять я, не устану; во-первыхъ, потому, что находятся въ наше время критики, которые объявляють, что Пушкинъ умеръ весьма кстати, ибо иначе не

При имени Пушкина тотчасъ осъняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтъ. Въ самомъ дълъ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болъе назваться національнымъ; это право ръшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконъ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болъе всъхъ, онъ далъе раздвинуль ему границы и болъе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человъкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ-быть, явится чрезъ двъсти лътъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ той же чистотъ, въ такой очищенной красотъ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому, иногда позабывшись, стремится русскій и которое всегда нравится свіжей русской молодежи, отразилось на его первобытных в годах в вступленія въ світь. Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдъ границы Россіи отличаются ръзкою, величавою характерностью, гдъ гладкая неизмъримость Россіи прерывается подоблачными горами и обвъвается югомъ. Исполинскій, покрытый въчнымъ снъгомъ Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызваль силу души его и разорваль последнія цепи, которыя еще тяготъли на свободныхъ мысляхъ. Его плънила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобръда тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смълость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ, — слогъ его молнія; онъ такъ же блещеть, какъ сверкающія сабли, и

детить быстръе самой битвы. Онъ одинъ только пъвецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великольпными крымскими ночами и садами. Можетъ-быть, оттого и въ своихътвореніяхъ онъ жарче и пламенные тамъ, гды душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тъ, которые не имъли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смълое болъе всего доступно, сильнъе и просторнъе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждеть одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имъть такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всв кстати и некстати счи_ тали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя имъло въ себъ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ творени, уже оно расходилось повсюду.

Онъ при самомъ началъ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ народа. Поэтъ даже можеть быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать о твхъ достоинствахъ, которыя составляють принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротъ описанія и въ необыкновенномъ испусствъ немногими чертами означить весь предметь. Его эпитеть такъ отчетисть и смълъ, что иногда одинъ замъняетъ цълое описаніе; кисть его летаеть. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цълой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесъ вмъщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но послъднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всъмъ своимъ грознымъ вели чіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердцъ Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслъдованію жизни и нравовъ сво-ихъ соотечественниковъ и захотълъ быть вполнъ національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всъхъ поразили тою яркостью и ослъпительной смълостью, какими дышитъ у него все, гдъ ни является Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разръщить. Будучи поражены смълостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всъ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобъ отечественныя и историческія происшествія сдълались предметомъ его поэзіи, забывая, что нельзя тъми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болье спокойный и гораздо менье исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицъ своемъ націю, очень странна въ всвоихъ желаніяхъ; она кричитъ: "изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ, представь дъла нашихъ предковъ въ такомъ видъ, какъ они были". Но попробуй поэтъ, послушный ея вліянію, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: "это вяло, это слабо, это нехорошо, это ни мало не похоже на то, что было". Масса народа похожа въ этомъ случав на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ, совершенно похожій: но горе ему, если онъ не умълъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени послъдняго ея напряженія при императорахъ пріобрътаетъ яркую живость; до этого, характеръ народа б. ч. быль безцвътенъ, разнообразіе страстей ему мало было извъстно.

Гоголь.

Народность, гуманность и художественный такть, какъ отличительныя черты поэзіи Пушкина.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всъ предметы были равно исполнены поэзіп. Его "Онъгинъ", напримъръ, есть поэма современной дъйствительной жизни не только со всею ея поэзіею, но и со всею ея

прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Туть и благодатная весна, и жаркое льто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; туть и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мирныхъ помъщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ;

туть и мечтательный поэть Ленскій и тривіальный забіака и сплетникь Зарвцкій; то передь нами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго съ метлою въ рукъ, дверь кофейной, — и всъ они каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было вздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здъсь, на Руси, на ен плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ен въчно-сърымъ небомъ, въ ен печальныхъ деревняхъ и ен богатыхъ и бъдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или льта, и чигая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мъръ, на то время, пока не увидите его же картины весны или лъта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно; Но мив она мила, читатель дорогой: Красою тихою, блистающей смиренно, Какъ нелюбимое дитя въ семъв родной, Къ себв меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно: Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной. Въ ней много добраго, любовкикъ не тщеславный, Умъль я отыскать мечтою своенравной.

Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она, Какъ, въроятно, вамъ чахоточная дѣва Порою нравится. На смерть осуждена, Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва, Улыбка на устахъ увянувшихъ видна: Могильной пропасти она на слышитъ зѣва; Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ; Она жива еще сегодня— завтра нѣтъ.

Унылая пора, очей очарованье, Прілтна мнъ твоя прощальная краса! Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и въ золото одътые лъса,
Въ ихъ съняхъ вътра шумъ и свъжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И ръдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя съдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лъта — этой "карикатуры южныхъ зимъ": она похожа на самоё себя, тогда какъ наше лъто столько похоже на лъто, сколько декораціонныя деревья въ театръ похожи на настоящія деревья въ лъсу. Пушкинъ первый поняль это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солнце — день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный,
Пора красавица, проснись:
Открой сомкнуты нъгой взоры
Навстръчу съверной Авроры,
Звъздою съвера явись!

Вечоръ, ты помниць, вьюга злилась,
На мутномъ небъ мгла носилась;
Луна, какъ блъдное пятно,
Сквозь тучи мрачныя желтъла,
И ты печальная сидъла—
А нынче... погляди въ окно:

Подъ голубыми небесами Великольпными коврами, Блестя на солнцъ, снъгъ лежить; Прозрачный лъсъ одинъ чернъетъ, И ель сквозь иней зеленъетъ, И ръчка подо льдомъ блеститъ.

Вся комната янтарнымъ блескомъ Озарена. Веселымъ трескомъ Трещить затопленная печь. Пріятно думать о лежанкъ. Но знаешь; не велъть ли въ санки Кобылку бурую запрячь?

Скользя по утреннему снъгу, Другь милый, предадимся бъгу Нетерпъливаго коня, И навъстимъ поля пустыя, Лъса, недавно столь густые, И берегъ, милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно върна русской действительности, изображаеть ли она русскую природу, [или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голосъ нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ. Пушкинъ не могь не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизни, ибо быль не только русскій, но притомъ русскій, надъленный отъ природы геніальными силами; однакожъ въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художественный такть. Онь въ высшей степени обладаль этимь тактомъ дъйствительности, который составляеть одну изъглавныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму "Русалка": она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его чудную драматическую поэму "Каменный гость": она, и по природъ стороны и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышитъ воздухомъ Испаніи; прочтите его "Египетскія ночи": вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примъровъ удивительной способности Пушкина быть такъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываеть, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истиною рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались върностью природъ? Натура Пушкина (и въ этомъ случай самое върное свидътельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бывають следствіемь страстно деятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою, могучею мыслію, въ жертву которой приносится жизнь и таланть. Онъ не принадлежаль исключительно ни къ какому ученію ни къ какой доктринь; въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія, онъ, какъ художникъ, по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и природъ, видъль только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая, и онъ шель по этому несвойственному ей пути, то, безъ сомивнія, это было бъ

въ немъ больше, чъмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношени былъ только въренъ своей натуръ, то за это также нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у нето русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждають нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмёстё съ тёмъ такъ человёчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнечески спокойной, столь граціозной! Что составляеть содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовію и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цълитъ раны сердца. Общій колорить поэзіи Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота человъка и лелъющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здёсь разумёемь не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нътъ, каждое чувство, лежащее въ основани каждаго јего стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себъ: это не просто чувство человъка, но чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нъжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина: Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дъйствительностью; она не кладеть на лицо жизни бълиль и румянъ, но показываеть ее въ ея естественной, истинной красотъ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ

всегда проникнута земля. Поэтому поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, — ложь, которая ставить человъка во враждебныя отношенія съ дъйствительностью при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляетъ безвременно и безплодно истощать свои силы на гибельную съ нею борьбу. И при всемъ этомъ, кромъ высокаго художественнаго достоинства формы, какое артистическое изящество человъческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтверждение нашей мысли? Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается, преимущественно, въ поэтическомъ созерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положение если не всегда утъщительнымъ, то всегда необходиморазумнымъ — поэтому она отличается характеромъ болъе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болье какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умъеть глубоко страдать отъ диссонансовъ и противоръчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы призывая роковую неизбъжность и не нося въ душъ своей идеала лучшей дъйствительности и мъры въ возможность его осуществленія. Такой взглядь на мірь вытекаль уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядъ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрвнію, Пушкинъ принадлежить къ той школъ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изследованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдълались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвъть на тревожные, бользненные вопросы настоящаго. Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи принадлежить его художническая добросовъстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничъмъ не эффектируетъ, никогда не взводитъ на себя великолъпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездъ является такимъ, какимъ былъ дъйствительно. Такъ, напримъръ, онъ узнаетъ

о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!... Но сердце наше — въчная тайна для насъ самихъ... И вотъ какъ подъйствовала на Пушкина роковая въсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала... Увяла наконецъ, и, върно, надо мной Младая тынь уже летала; Но недоступная черта межъ нами есть. Напрасно чувство возбуждаль я: Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти въсть, И равнодушно ей внималь я. Такъ вотъ кого любиль я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, Съ такою нъжною, томительной тоской, Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! Гдъ муки, гдъ любовь? Увы! въ душъ моей Для бледной, легковерной тени, Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ни слезъ ни пени.

Да, непостижимо сердце человъческое, и, можетъ-быть, тотъ же самый предметь внушиль впоследствіи Пушкину его дивную "Разлуку" ("Для береговъ отчизны дальной")... Въ отношеніи къ художнической добросовъстности Пушкина такова же его превосходная пьеса "Воспоминаніе": въ ней онъ не рисуется въ мантіи сатанинскаго величія, какъ это дъдаютъ часто медкодушные талантики, но просто [какъ человъкъ оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобът у него было больше другихъ заблужденій, но что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совъсти... Та же художническая добросовъстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывалыми красками и изъ русской природы смъло дълая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнъйшихъ и, въроятно, по этой причинъ, наименъе замъченныхъ и оцененныхъ пьесъ Пушкина — "Капризъ":

Румяный критикъ мой, насмышникъ толстопузый, Готовый выкъ трунить надъ нашей томной музой,

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что жъ ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить. И пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здъсь видъ: избушекъ рядъ убогій, За ними черноземъ; равнины скать отлогій, Надъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гдъ жъ нивы свътлыя? гдъ темные лъса? Гдъ ръчка? На дворъ, у низкаго забора, Два бъдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора, Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совствы обнажено, А листья на другомъ размокли и, желтья, Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго борея. И только. На дворъ живой собаки нътъ. Воть, правда, мужичокъ; за нимъ двъ бабы вслъдъ; Безъ шапки онъ; несеть подъ мышкой гробъ ребенка И кличеть издали лениваго попенка, Чтобъ тотъ отда позвалъ да церковь отвориль: Скорьй, ждать некогда, давно бъ ужъ схорониль!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Онъ созерцаль ее удивительно върно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслить о ней. И это служить новымь доказательствомь того, что панось его поэзіи быль чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно действовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человъкъ. Если съ къмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имъетъ нъкоторое сходство, такъ болъе всего съ Гёте, и онъ еще болъе, нежели Гёте, можеть действовать на развитие и образование чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, въренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмъримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ, ибо Гёте — весь мысль, и онъ не просто изображаль природу, а заставляль ее распрывать передъ нимъ ея завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и при водоводня водов до природы водоводня водоводни водовни водоводни водоводни водоводни водоводни водовни водов

Была ему звёздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гете природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія,

живая картина. Образдомъ Пушкинскиго созерцанія природы могутъ служить пьесы: "Туча" и "Обвалъ". Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, объ онъ — живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношеніи, на первыя. Превосходнъйшія пьесы въ антологическомъ родъ, запечатлънныя духомъ древнеэллинской музы, подражанія Корану, вполнъ передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзіи — блестящій алмазъ въ поэтическомъ вънцъ Пушкина! "Въ крови горитъ огонь желанья", "Вертоградъ моей сестры", "Пророкъ" и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненный глубокаго смысла и названной "Отрывкомъ" представляють красоты восточной поэзіи другого характера и высшаго рода, принадлежать къ ведичайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протея. "Женихъ", "Утопленникъ", "Бъсы" и "Зимній вечеръ", — пьесы, образующія собою отдільный міръ русско-народной поэзіи въ художественной формъ. "Пъсни западныхъ славянъ" болъе чъмъ что-нибудь доказывають непостижимый поэтическій такть Пушкина и гибкость его таланта. Извъстно происхождение этихъ пъсенъ и продълка даровитаго француза Меримэ, вздумавшаго посмъяться надъ колоритомъ мъстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти поддъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онъ дышать всею роскошью мъстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе, — неизбъжное, впрочемъ, свойство всъхъ народныхъ произведеній. "Подражанія Данту" можно счесть за отрывочные переводы изъ "Божественной комедіи", и они дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чъмъ всъ досель сдъланные по-русски переводы въ стихахъ и прозъ. "Начало поэмы" ("Стамбуль глуры нынъ славятъ") какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный.

Бълинскій.

Пушкинъ, какъ основатель художественнаго воспроизведенія дійствительности.

Пушкинъ есть олицетвореніе всей русской литературы. Естественность, простота и правдивость — эти качества новъйшей литературы, замънившія собой чужія наслоенія, и въ поэзіи самого Пушкина заступають мъсто чужихъ вліяній и именно тъхъ самыхъ, которыя держали во власти всю русскую литературу. Природный геній поэта не позволиль ему остановиться на избранной разъ дорогъ и чрезъ преграды, поставленныя чуждыми руками, велъ его къ художественной правдъ. Чуткость поэта къ правдивости, естественности и простотъ поэтическаго произведенія развивалась у него съ годами. Спустя нъсколько лътъ послъ выхода своихъ первыхъ поэмъ, онь уже замъчаеть ихъ недостатки. "Кавказскій Плыникъ", говорить онъ — первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладилъ... "Бахчисарайскій Фонтанъ" слабъе "Пленника"... Молодые писатели — продолжаеть онъ — вообще не умъютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрагаются, хохочуть дико, скрежещуть зубами и проч. Все это смъщно какъ мелодрама". Отъ этихъ-то недостатковъ и освобождался постепенно Пушкинъ. Освобожденіе отъ нихъ является, слъдовательно, у Пушкина не только слъдствіемъ одной безсознательной работы поэтическаго таданта, но и плодомъ изученія. И теорія и творчество шли у Пушкина рука объ руку.

Съ какими же новыми факторами въ связи совершалось это освобожденіе поэзіи Пушкина отъ наноснаго элемента? Опять мы возвращаемся къ тому же романтизму, хотя и не будемъ признавать за послёднимъ исключительнаго вліянія къ выработкъ указанныхъ качествъ поэзіи Пушкина. Воспитавшись на произведеніяхъ французской литературы и перенесши на себъ вліяніе байронизма, Пушкинъ тъмъ не менте былъ кръпко привязанъ ко всему родному русскому. Еще въ дътствъ, онъ становился лицомъ къ лицу съ народной жизнью, и въ своей юности онъ уже вспоминалъ село Захарово, гдъ часто проводилъ время. Обучаясь въ Лицеъ, онъ жилъ по лътамъ въ Михайловскомъ. Эта близость къ народной жизни наложила свой отпечатокъ на душу Пушкина, и впослъдствіи, когда кора чужого вліянія съ него спала, тогда эта близость опять ясно

дала себя почувствовать и новела поэта на новый путь. Еще передъ отъёздомъ на югъ онъ поэтически изобразилъ свое возрожденіе. "Какъ чуждыя краски, говорить онъ, наложенныя на картину генія, со временемъ спадають и созданіе генія выходить предъ нами съ прежней красотой, такъ съ измученной моей души исчезають заблужденья и возникають въ ней видыныя первоначальных чистых дней". Полному возрожденію суждено было нъсколько повременить, но тъмъ дъйствительные оно было. Урокъ, данный старикомъ цыганомъ Алеко, имъетъ для насъ значеніе не только общественнаго явленія, но и чисто литературнаго факта. "Сквозь магическій кристаллъ" Пушкинъ начинаетъ неясно различать "даль свободнаго романа", который надолго сдёдался его спутникомъ и который особенно возвель поэта на высоту народности. Съмена, заложенныя въ богато одаренной душъ поэта, быстро возрасли, когда онъ силою обстоятельствъ былъ перенесенъ съ юга Россіи въ свое Михайловское, гдъ опять на него пахнуло народностью и простотой. Отнынъ онъ оставляетъ своихъ прежнихъ героевъ, подернутыхъ дымкой таинственности, и показываеть намъ всю на видъ прозаичную сторону русской жизни; героемъ его является отнынъ "просто гражданинъ столичный, какихъ встръчаемъ всюду тьму, ни по лицу ни уму отъ нашей братіи не отличный". Простая семья Лариныхъ, простой помъщичій образъ жизни — привлекають его теперь къ себъ. Даже сама природа влечеть его отнынь особыми своими прозаичными свойствами. Не великолъпныя вершины Кавказа, не ослъпительный блескъ моря нужны теперь поэту, а совершенно другія картины. "Люблю я песчаный косогоръ" — говорить онъ, — "передъ избушкой двъ рябины, калитку, сломанный заборъ". "Теперь мила мнъ балалайка продолжаеть онъ — "да пьяный говоръ трепака передъ порогомъ набака". Поэту самому порой представляется странной такая перемъна въ ней и, сказавъ однажды, что "порой дождливою намедни онъ (я) завернулъ на скотный дворъ", поэтъ какъ бы спохватывается и восклицаеть: "Тьфу! прозаическія бредни! Фламандской школы пестрый соръ! Таковъ ли былъ я, разцвътая?" Въ концъ VI пъсни Евгенія Онъгина Пушкинъ поэтически прощался съ юностью и встръчалъ свой полдень. "Съ ясной душой - говоритъ онъ - пускаюсь я нынъ въ новый путь отдохнуть отъ жизни прошлой". "Лъта клонять меня

къ суровой прозъ и гонятъ шальную риому". Онъ желаетъ только одного — чтобы вдохновение прилетало почаще въ его уголь и не давало его душъ остыть, ожесточиться, очерствъть и окаменъть въ мертвящемъ упоеньи свъта. Послъдняго не случилось, а первое исполнилось. Но его проза дала намъ опять таки не какихъ-либо высокихъ героевъ, но -- станціоннаго смотрителя, ремесленника-гробовщика, простого офицера, дочь капитана въ отдаленной глуши и т. п. — Такъ расширялось содержание поэзіи Пушкина и опредълялось его отношеніе къ современности. Выступало на сцену новое требованіе, которое со времени Пушкина стало уже безошибочно примъняться ко всякому литературному произведенію — народность. Пушкинъ, давая художественные образцы, проникнутые русской народностью, старался и теоретически выяснить сущность ея. Въ своей жизни онъ спускался до простонародности: входиль въ сношенія съ простымъ народомъ, интересовался его бытомъ, записывать его пъсни и любовался, какъ онъ говорить, игрой трепака. Но онъ хорошо понималь, что отъ простонародности до народности большое разстояніе. "Одинъ изъ нашихъ критиковъ, — говоритъ Пушкинъ, — кажется подагаетъ, что народность состоитъ въ выборъ предметовъ изъ отечественной исторіи"; "другіе — продолжаеть онъ, видять народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т.-е. радуются тому, что, объясняясь по-русски, употребляють русскія выраженія". Не въ этомъ, по мненію Пушкина, заключается народность. "Народность въ писателъ — говорить онъ — есть достоинство, которое вполнъ можетъ быть оцънено одними соотечественниками: для другихъ оно или не существуетъ, или даже можеть показаться порокомъ... Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повърій и привычекъ, привадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, въра — даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болье или менье отражается въ поэзіи". Следовательно, быть народнымь значить изображать окружающую дъйствительность какъ она есть. Современники Пушкина далеко не всъ могли понять, что въ произведеніяхъ возмужавшагося таланта изображалась безъ прикрасъ русская народность, и только Бълинскому Пушкинъ обязанъ тъмъ, что за нимъ усвояется имя народнаго поэта.

Въ этомъ величайшая заслуга Пушкина. Его геній худо-

жественно представиль намъ самыя лучшія внутреннія черты нашей народности и, такимъ образомъ, указалъ послъдующимъ писателямъ тотъ путь, которымъ они должны идти, если желають, чтобы ихъ творенія получили всеобщее значеніе. Русская литература въ настоящее время возвышается надъ другими именно своей индивидуальностью, изображеніемъ тахъ свойствъ, которыя отличаютъ одну національность отъ другой. Завътъ Пушкина исполняется тотчасъ же Тургеневымъ, говорящимъ намъ, что "вит народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нътъ". Но нужно было въ то время быть геніемъ, чтобы сознаніе народности не перешло въ кичливое національное самомнъніе и не выразилось-бы во внъшнихъ только проявленіяхъ. Воспринимая всъ данныя европейской культуры, насколько послъдняя является общечеловъческой, Пушкинъ выставляеть намъ вполнъ русскаго человъка, какъ онъ сложился на протяжени въковъ. и нашимъ писателямъ оставалось только расширять содержаніе и отыскивать новыя свойства русскаго человъка. Всякая неестественность въ изображеніи народныхъ черть послъ Пушкина стала настолько ощутительна, что совершенно безъ слъда исчезли прежнія манеры рисовать русскую жизнь съ чужихъ образцовъ. И опять, следовательно, мы разделимъ всю нашу литературу на двъ половины: съ одной стороны - вся пленда писателей, изобразившихъ русскую народность съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, а съ другой — Пушкинъ, положившій прочное основаніе художественнаго воспроизведенія народности. Истринъ.

Источники вдохновенія Пушкина и высоконравственное значеніе его поэзін.

Въ первой половинъ девятнадцатаго стольтія совершились событія, имъющія великое значеніе въ исторіи нашей умственной жизни: учреждены университеты, и литература обогатилась художественными произведеніями, опредълившими съ неотразимою силой ея дальнъйшее развитіе. Мысль объ учрежденіи университетовъ завъщана предшествующимъ стольтіемъ: въ исходъ восемнадцатаго стольтія выработанъ проектъ университетовъ, надъ составленіемъ котораго потрудились луч-

шіе умы того времени. Въ самомъ концѣ восемнадцатаго стольтія (26 мая 1799 г.) родился геніальный человѣкъ, дѣятельность котораго составляетъ эпоху въ нашей литературѣ, а съ судьбами литературы тѣсно связаны судьбы умственной и общественной жизни.

Представители науки защищали свободу изслъдованія. Пушкинь исповъдоваль и проповъдоваль свободу поэтическаго творчества. Давно уже повторяется, какъ неоспоримая истина, что поэть долженъ чуждаться узкой исключительности и нетерпимости, что свъть поэзіи, какъ и свъть солнца, свътить на праведныхъ и неправедныхъ и что объективное изображеніе жизни во всей ея полнотъ составляеть какъ бы нравственную обязанность поэта. Обнимая всъ стороны человъческой жизни, поэзія пріобрътаетъ внутреннюю силу и вліяніе, которое, раньше или позже, обнаруживается въ обществъ и оставляеть въ немъ неизгладимые слъды. Въ созданіяхъ поэта-художника слышится не плескъ набъжавшей волны, а живой голось истины, идущей изъ глубины души человъческой; внимая ея призывамъ.

Рабъ свои забудеть муки И царь Сауль заслушается ихъ...

На поэзію Пушкинъ смотръль какъ на святыню, и въ этомъ его историческая заслуга передъ русскою литературой. Подобно тому, какъ Ломоносовъ, доказывая, что занятіе науками, изученіе природы — свято, открывалъ путь для научныхъ изслъдованій, вопреки невъжеству и лицемърію, такъ и Пушкинъ, признавая поэзію святыней и требуя нравственнаго достоинства отъ ея служителей, завоевывалъ ей право гражданства въ тогдашнемъ обществъ, въ которомъ также господствовали предразсудки.

Выше всего цъня свою свободу, поэтъ, какъ понималъ его Пушкинъ, не жертвуетъ своими убъжденіями для житейскихъ выгодъ, не требуетъ награды за свой благородный подвигъ, не падаетъ къ ногамъ того или другого кумира,— ни передъ чъмъ и ни передъ къмъ

Не гнетъ ни совъсти, ни помысловъ, ни шеи.

Не ту же ли мысль выражаеть Гёте, заставляя своего пъвца отказаться отъ золотой цъпи, предложенной ему въ награду, и Шиллеръ, говоря, что художникъ есть сынъ въка,

но горе ему, если онъ захочеть быть его любимцемъ. По убъжденію Шиллера, которому сочувствоваль и Пушкинъ, поэтъ-художникъ, оставаясь вполнъ свободнымъ и чуждаясь всякой односторонности, тъмъ самымъ можетъ содъйствовать къ искорененію, хотя и въ отдаленномъ будущемъ, тъхъ крайностей, которыя такъ возмущаютъ насъ въ жизни. А такихъ крайностей не мало. Въ то время, когда въ другихъ частяхъ свъта уважаютъ человъческое достоинство въ лицъ негра, въ Европъ преслъдуютъ его въ лицъ мыслителя. Художественное начало, художественныя формы имъютъ великое значеніе, — они переживаютъ въка и не подлежатъ прихотямъ судьбы и людей. Храмы производили еще благоговъйное наслажденіе, когда боги были уже осмъяны; римляне раболъпно склоняли колъни передъ цезарями, когда статуи стояли еще гордо и прямо...

Отзываясь поэтической думой на все, что просить отвъта у мысли и чувства художника, Пушкинь изображаль жизнь во всей ел полнотъ, вводя въ область своей поэзіи "и гимны въщіе, внушенные богами, и пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ", — другими словами, онъ съ одинаковою върностью изображалъ и внутренній міръ людей, посвятившихъ себя высшимъ духовнымъ интересамъ, и бытъ народа, трудами рукъ своихъ пріобрътающаго насущный хлъбъ. Пушкинъ черпалъ вдохновеніе изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ и художественно воспроизводилъ самыя ръзкія противоположности и въ природъ, и въ человъкъ, — украинскую степь и горы Кавказа, капитанскую дочку и Сальери, — зачитывался Байрономъ и Шекспиромъ и заслушивался сказсками Арины Родіоновны.

Первою и, какъ оказалось, превосходною школою для изученія русской жизни было для Пушкина невольное путешествіе по Россіи. Пребываніе на югѣ Россіи, въ различныхъ слояхъ общества и народа — отъ гостиной аристократа до цыганскаго табора — ознаменовано цѣлымъ рядомъ произведеній, прославившихъ имя нашего поэта. Всѣ послѣдующія произведенія Пушкина носятъ яркую печать близкаго знакомства съ русскою жизнью. Скажу болѣе: къ нимъ необходимо долженъ обращаться историкъ Россіи при изображеніи внутренней жизни нашей въ первой половинѣ девятнадцатаго столѣтія.

Поэзія для Пушкина была не праздною забавой, а дёломъ жизни, которому отдаваль онъ свои лучшія силы и для котораго работалъ неутомимо. Да, именно — работалъ. Онъ постоянно читаль, изучаль свои источники, делаль выписки, замътки, и т. п. Много времени и труда употребилъ онъ на собираніе матеріаловъ для исторіи Пугачевскаго бунта и для исторіи Петра Великаго. Задумавъ написать пьесу изъ быта древняго міра, онъ внимательно перечиталь древнихъ писатедей. Въ его черновыхъ тетрадяхъ часто встръчаются подобнаго рода замътки: "Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ дътописей дало мнъ мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новъйшей исторіи" и т. п. Пушкинъ зналъ нъсколько иностранныхъ языковъ и читалъ въ подлинникъ произведенія, которыми гордится европейская литература. Трудясь самъ надъ своимъ образованіемъ, Пушкивъ обнаружилъ въ высшей степени върное понимание литературныхъ эпохъ и дъйствительное значеніе писателей. Пушкинъ, руководствуясь единственно своимъ собственнымъ выборомъ и художественнымъ чутьемъ, прошель въ своемъ литературномъ образованіи почти тоть же путь, который указывали люди науки, стоявшіе на высотв современной имъ европейской образованности. Съ университетскихъ каеедръ говорилось у насъ о необходимости для русской литературы сбросить съ нея французское иго и обратиться къ литературъ германской, отличающейся большою свободой и разносторонностью. Изъ иностранныхъ писателей ученые наши особенно высоко цънили Шекспира и старались знакомить съ нимъ русскихъ читателей. Заплативъ неизбъжную дань французской литературь и французскимъ классикамъ, Пушкинъ покинулъ "маркиза" Расина и сознательно предпочелъ ему Байрона. Но и Байронъ не долго оставался властителемъ его думъ. Силою своего ума и художественнаго таланта Пушкинъ уразумълъ все превосходство Шекспира надъ Байрономъ, который былъ кумиромъ современнаго Пушкину покольнія.

Поэтическія созданія Пушкина, при высокомъ художественномъ значеніи, проникнуты сознаніемъ человъческаго достоинства и сочувствіемъ къ лучшимъ движеніямъ человъческой души. "Гдъ нътъ любви, тамъ нътъ и истины", говорилъ Пушкинъ. Права свои на любовь и память народа онъ ви-

дълъ въ томъ, что въ стихахъ своихъ онъ "пробуждалъ добрыя чувства и милость къ падшимъ призывалъ". Особенное значение въ жизни Петра Великаго Пушкинъ придавалъ той, увъковъченной имъ, прекрасной минутъ, когда всемогущій царь

... съ подданнымъ мирится, Виноватому вину отпуская веселится.

Изъ сонма героевъ, покрывшихъ себя славою на ратномъ полъ, Пушкина привлекалъ всего сильнъе величественный образъ Барклая-де-Толли, въ которомъ воинская доблесть сливалась съ глубоко-нравственнымъ подвигомъ самоотверженія: для блага отвергнувшаго его народа великодушный вождь пожертвовалъ собою, безмолвно уступая и свой лавровый вънецъ,

И власть, и замысель, обдуманный глубоко, И въ полковыхъ рядахъ сокрылся одиноко.

Не слава побъдъ, ръшавшихъ судьбы Европы, плъняла Пушкина въ Наполеонъ — "другомъ властителъ его думъ", а та нравственная побъда Наполеона надъ самимъ собою, когда, забывая опасность, онъ входилъ, какъ увъряли тогда, къ зачумленнымъ и подкръплялъ страдальцевъ словомъ участія:

Нѣть, не у счастія на лонѣ Его я вижу, не въ бою, Не зятемъ кесаря на тронѣ... Не та картина предо мною: Одровъ я вижу длинный строй; Лежить на каждомъ трупъ живой, Клейменный мощною чумою, Царицею болѣзней. Онъ Не бранной смертью окруженъ, Нахмурясь, ходитъ межъ одрами И хладно руку жметъ чумѣ, И въ погибающемъ умѣ Рождаетъ бодрость...

Высокое правственное значение поэзіи Пушкина ясно сознаили наиболье чуткіе изъ его современниковъ и самые дароинтые критики последующихъ поколеній.

Отъ Пушкина, отъ одного Пушкина, — говоритъ Полевой, — современники ожидали "удовлетворенія каждой новой потребности своихъ умовъ и сердецъ. Пушкинъ быль полный пред-

ставитель своего современнаго отечества. Какимъ благороднымъ чувствомъ современнымъ не билось теплое сердце нашего поэта? Что прекрасное и славное не находило сочувствія въ его душѣ? Хотите ли исчислить все, что высокаго и задушевнаго успѣлъ перемыслить и сказать Пушкинъ въ жизнь свою? Переберите все, что врѣзалось въ сердце ваше отъ его неподражаемыхъ стиховъ".—По убѣжденію Бѣлинскаго, поэзія Пушкина обладаетъ "особенною способностью развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство".

Что касается до уваженія Пушкина къ правамъ разума, къ свободному развитію науки и литературы въ Россіи, то въ самихъ произведеніяхъ великаго поэта находятся свидътельства, драгоцінныя въ этомъ отношеніи.

Пушкину суждено было пережить тяжелую пору для нашей научной и литературной дъятельности. Какой-то злобный демонъ, духъ разрушенія и гибели, парилъ надъ русскими университетами, изгоняя изъ нихъ служителей истиннаго бога — бога свъта и знанія. Тотъ же духъ недовърія и преслъдованія тяготълъ и надъ литературой. Писатели должны были умолкнуть на полусловъ, и вслъдствіе этого происходило то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: недосказанная правда казалась ложью и недосказанная ложь правдою.

Совершенную противоположность представляеть эпоха предшествовавшая — начало девятнадцатаго стольтія, бывшее вмъсть съ тьмъ и началомъ царствованіи императора Александра I. Тогда люди государственные, участвовавшіе въ составленіи университетскаго устава, доказывали необходимость свободы изслъдованія и преподаванія. Тогда составители цензурнаго устава открыто и прямо говорили противъ всякихъ стъсненій печатному слову и добивались для него возможно-большей свободы.

На чью же сторону склонялся Пушкинъ? Что говорили ему его свътлый умъ, его чистая совъсть? — Пушкинъ выразиль свой взглядъ самымъ опредъленнымъ образомъ, и слова

его должны сдёлаться достояніемъ исторіи и девизомъ всёхъ русскихъ университетовъ, всёхъ истинныхъ друзей науки, литературы и просвёщенія:

Дней Александровыхъ прекрасное начало: Провъдай, что въ тъ дни произвела печать! На поприщъ ума нельзя намъ отступать.

Сухомлиновъ.

Пушкинъ, какъ проповъдникъ гуманности.

Стихотворенія Пушкина проникнуты чувствомъ гуманности, что составляетъ одно изъ лучшихъ украшеній нашего поэта. Стихотвореніе, обличающее гуманное чувство поэта, адресовано, напр., Мицкевичу:

...Онъ между нами жилъ, Средь племени ему чужого; злобы Въ душъ своей къ намъ не питалъ онъ; мы Его любили. Мирный, благосклонный, Онъ посъщаль бесъды наши. Съ нимъ Дълились мы и чистыми мечтами, И пъснями (онъ вдохновенъ былъ свыше И съ высоты взиралъ на жизнь). Неръдко Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ, Когда народы, распри позабывъ, Въ великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта. Онъ Ушель на Западъ — и благословеньемь Его мы проводили. Но теперь Нашь мирный гость намъ сталъ врагомъ, и нынъ Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной, Поеть онъ ненависть: издалека Знакомый голось злобнаго поэта Доходить къ намъ!... О, Боже! возврати Твой миръ въ его озлобленную душу!"

Вы видите, что все стихотвореніе проникнуто тихой грустью воспоминанія о любимомъ другѣ, который пересталъ любить ближнихъ, даже враждуетъ съ ними; но нѣтъ тутъ и тѣни злобы, и желаніе, чтобы Богъ возвратилъ свой миръ въ его озлобленную душу, является естествено необходимымъ финаломъ пьесъ.

 Другое стихотвореніе, которое можно привести образчикомъ гуманности нашего поэта, это — "Наполеонъ". Не одинъ разъ обращался мыслью къ этому роковому генію начала XIX въка. Въ своемъ юношескомъ стихотвореніи, написанномъ въ 1815 году, онъ расточалъ ему нелестные эпитеты вмъстъ съ своими современниками, поддаваясь общему раздраженію противъ него. Но уже въ стихотвореніи "Къ морю" (1824 г.) мы видимъ совершенно другое отношеніе къ Наполеону, а въ упомянутомъ нами стихотвореніи "Наполеонъ" (1821 г.) онъ такъ выражается по поводу его заточенія на островъ св. Елены:

"Искуплены его стяжанья И зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душнаго изгнанья, Подъ сѣнью чуждою небесъ. И знойный островъ заточенья Полнощный парусъ посѣтитъ, И путникъ слово примиренья На ономъ камиъ начертитъ.

Гдѣ, устремивъ на волны очи, Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей, И льдистый ужасъ полуночи, И небо Франціи своей; Гдѣ иногда, въ своей пустынѣ Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ Въ уныньи горькомъ думалъ онъ.

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его развънчанную тънь! Хвала!... Онъ русскому народу Высокій жребій указаль, И міру въчную свободу Изъ мрака ссылки завъщаль.

Таковы были чувства нашего поэта при извъстіи о смерти человъка, причинившаго много зда его отечеству; но онъ при этомъ не могъ не сочувствовать страданіямъ этого геніальнаго историческаго лица, съ высоты своего величія попавшаго въ самое тяжкое положеніе невольника. Ему понятно было это положеніе умирающаго льва, безпощадно лягаемаго цълымъ стадомъ животныхъ. Вспомнимъ, что Вальтеръ-Скоттъ въ своей "Исторіи Наполеона" въ то же время безпощадно нанадаетъ на послъдняго, нарушая всъ требованія

безпристрастія, не говоря уже о гуманности. Насколько этотъ представитель націи, по справедливости, гордящейся своей цивилизаціей, менѣе нашего поэта обладаль однимъ изъ самыхъ важныхъ даровъ этой цивилизаціи — гуманнымъ чувствомъ, насколько онъ менѣе Пушкина былъ способенъ къ признанію въ человѣческомъ несчастіи права на общее сочувствіе!

Яковлевъ.

Пушкинъ — пъвецъ изящнаго.

"Живая прелесть", живая красота творчества — вотъ главная характеристическая черта поэзіи Пушкина. Онъ умѣль такъ понимать и такъ изображать красоту, и красоту природы, и (главное) красоту человѣческато духа, какъ никто. Изящнъе его произведеній нътъ ни въ одной литературъ. Ему, какъ художнику, нътъ соперника въ міръ. И вотъ почему онъ чувствовалъ себя какъ дома во всѣхъ сферахъ жизни, и самыя разнообразныя явленія ея были ему одинаково доступны и съ одинаковымъ совершенствомъ возсоздавались его творческой фантазіей. Одна только область оставалась для него закрытой, это — та сфера жизни, въ которой нътъ красоты; въ ней онъ оказывался безсильнымъ. Изображеніе зла и пошлости жизни не входило въ кругъ поэзіи Пушкина.

Задачей поэта было показать красоту души человъческой, и дъло свое онъ сдълаль, и имъетъ неотъемлемое право на въчную благодарную память потомства!

Всмотритесь въ безчисленное множество лицъ, созданныхъ Пушкинымъ, и въ каждомъ вы замътите слъды духовной красоты.

Сколько прекрасныхъ людей въ жизни не обратятъ на себя нашего вниманія потому только, что въ нихъ нѣтъ ничего выдающагося, эффектнаго; мы пройдемъ равнодушно мимо нихъ и не думая, что за ихъ обыденной наружностью кроются духовныя богатства. А Пушкинъ показываетъ намъ эти богатства и заставляетъ насъ невольно любить такихъ людей. Вотъ, напр., старики Мироновы въ "Капитанской дочкъ". Мы, можетъ-быть, свысока отнеслись бы къ этимъ простымъ

людямъ за ихъ наивность, грубость, невъжество, простодушіе... Но поэтъ подмътилъ ихъ безконечную доброту, ихъ въчную преданность другь другу, красоту ихъ смиренія, ихъ героизмъ, которому они сами не придаютъ и значенія, — и мы останавливаемся передъ ними съ благоговъйнымъ уваженіемъ.

Наоборотъ, внъшній эффектъ, могущій прельстить насъ своимъ мишурнымъ блескомъ, Пушкинъ умѣетъ развѣнчать, потому что понимаетъ, что слышитъ чуткой душою своею отсутствіе въ немъ настоящей красоты. Эффектно положеніе Онѣгина, читающаго наставленіе Татьянъ послѣ полученія отъ нея письма,— Онѣгинъ рисуется своимъ разочарованіемъ, красиво скорбитъ объ утраченныхъ надеждахъ, о невозможности для него вновь чувствовать и жить:

Мечтамъ и годамъ нътъ возврата, Не обновлю души моей.

Онъ красиво драпируется чувствомъ благородства и велико-

Не всякій вась, какъ я пойметь. Къ бъдъ неопытность ведеть.

Но Пушкинъ безпощадно разбиваетъ весь этотъ кажущися блескъ, заставляя Онъгина послъ всего этого влюбиться въ Татьяну. Въ этой любви Онъгина есть, однако, большая доля правды, — и мы слышимъ ее въ неподдъльной страстности его письма, хотя и въ этой искренней страсти своего героя поэтъ опять-таки подмъчаетъ фальшивую ноту тщеславія, — и устами Татьяны называетъ Онъгина "чувства мягкаго рабомъ".

Какъ бы низко человъкъ ни упалъ, но въ душъ его почти всегда сохраняется хотя что-нибудь свътлое, хоть тънь добра. И вотъ Пушкинъ показываетъ намъ эти слъды нравственной красоты въ падшихъ людяхъ и пробуждаетъ въ нашей душъ доброе чувство состраданія и скорби. Въ свиръпой душъ Пугачева (въ повъсти "Капитанская дочка") онъ сумълъ подмътить человъческое чувство благодарности, гуманный порывъ великодушій, негодованіе, что смъютъ обижать сироту. Скупой баронъ, герой драмы "Скупой рыцарь", кажется, утратиль все человъческое, даже любовь и уваженіе къ самому себъ, а между тъмъ поэтъ видитъ въ немъ живое чувство

чести и показываетъ намъ, какъ, неожиданно пробужденное, оно потрясаетъ всю душу скупца, — и вмъсто ненависти и презрънія мы чувствуемъ состраданіе къ падшему брату. Вотъ что значить стихъ

И милость къ падшимъ призывалъ.

Незеленовъ.

Пушкинъ, какъ поэть-этнографъ.

Для изученія русскаго языка и народности благопріятнымъ событіемъ въ жизни Пушкина были его высылка изъ Петербурга, путешествіе на югъ, жизнь въ Кишиневъ и затъмъ пребывание въ деревенской глуши въ Михайловскомъ. Непосредственное сношение съ простымъ народомъ, наблюдение его жизни, знакомство съ его языкомъ и пъснями должны были прямо повліять на впечатлительную художественную натуру, умъвшую всюду подмъчать черты красоты въ природъ, въ языкъ, въ народныхъ типахъ. Оставивъ столицу съ ея условными формами языка и мысли въ аристократическихъ салонахъ, Пушкинъ "опростился" въ провинціи, сталъ изучать пеструю жизнь во всемъ ея разнообразіи, уподобляясь тъмъ художникамъ (пленеристамъ), которые изъ городской студіи съ условнымъ освъщеніемъ и манекенами, переодътыми въ костюмы, выносять свои мольберты на чистый воздухъ, наблюдая природу, свътовые эффекты и типы людей во всей ихъ реальной правдъ. Періодъ литературныхъ вліяній на "свободнаго" художника, какимъ былъ по натуръ Пушкинъ, быстро проходитъ. "Властитель думъ" всего молодого поколвнія Европы. Байронъ, повліяль лишь на немногія созданія поэта. Но впечатлънія личной жизни были настолько сильны, что заглушали эти внъшніе навъянные книгой образы. Откровенно-добродушный, неустойчивый, крайне впечатлительный, быстро переходящій изъ одного настроенія въ другое, поэтъ зналъ хорошо самого себя и свои слабости, сознаваль, благодаря живому и свътлому уму, свое основное несходство съ англійскимъ пъвцомъ и лишь на короткое время, увлекаясь его мрачнымъ настроеніемъ, прельщался имъ какъ художникъ, благодаря дивной поэтической оболочкъ, чъмъ по своей натуръ, всегда стремившейся разръшать диссонансы жизни гармоническимъ аккордомъ. Если туманныя очертанія немногихъ героевъ Пушкина нужно отнести на счетъ этого книжнаго вліянія, то дивныя краски, которыми поэтъ набрасываетъ роскошныя картины природы Кавказа и Крыма, были взяты имъ съ собственной палитры. Несомнѣнную пользу англійскаго авторитета слѣдуетъ видѣть въ томъ, что онъ развязалъ Пушкину руки для внесенія этнографическаго элемента въ свои поэмы. Но, конечно, склонность къ этому была самой природой раньше заложена въ талантъ Пушкина, и совпаденіе въ этомъ интересъ къ простымъ народнымъ типамъ у обоихъ поэтовъ было лишь случайнымъ...

Біографами Пушкина было уже указано, какимъ благопріятнымъ условіемъ могло быть путешествіе 1820 года для возбужденія и поддержанія въ поэть интереса къ изученію русскаго языка и народности. Л. Н. Майковъ не сомнъвается въ томъ, что начало общаго интереса Пушкина и Н.Н. Раевскаго къ личности Разина восходитъ ко времени ихъ совмъстнаго путешествія по южнымъ степямъ, когда въ казачыхъ пъсняхъ имъ случалось подмъчать явные признаки сочувствія къ своевольному атаману гулящихъ шаекъ. Языкъ этихъ разинскихъ пъсенъ, ихъ захватывающій народный духъ не могли не отразиться благотворно на впечатлительномъ поэтъ и содъйствовать тому, что онъ быстро поднялся надъ той точкой зрънія, съ которой ему представлялась народность въ періодъ его первыхъ лицейскихъ опытовъ, (Бова, Русланъ и Людмила). Любопытно наблюдать въ его письмахъ съ юга, какъ русскій элементь начинаеть выдвигаться все болье и болье, особенно въ болъе интимныхъ письмахъ къ брату Льву кн. Вяземскому, Н. Раевскому. Мы узнаемъ изъ одного письма Пушкина къ брату (Кишиневъ 24 сентября 1820 года), что онъ написалъ замъчанія о черноморскихъ и донскихъ казакахъ, въ другомъ (1820 года) онъ проситъ брата писать ему по-русски, "потому что съ моими конституціонными друзьями (въ Кишиневъ) я скоро позабуду русскую азбуку"; въ письмъ слъдующаго года (1822, 24 января) онъ пишетъ брату: "Какъ тебъ не стыдно, мой милый, писать полу-русское, полу-французское письмо, ты не московская кузина". Въ следующемъ году (1823) онъ заявляеть въ письмъ къ кн. Вяземскому (изъ Одессы въ ноябръ), что не доволенъ своимъ языкомъ: "Я не люблю видъть въ первобытномъ нашемъ языкъ слъды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болье ему пристали. Проповъдую изъ внутренняго убъжденія, но по привычкь пишу иначе". Этоть отзывъ 1823 года уже почти совпадаеть съ извъстными словами въ "Критическихъ замъткахъ 1830—31 годовъ" о томъ, что "разговорный языкъ простого народа (не читающаго иностранныхъ книгъ, и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языкъ), достоинъ также глубочайшихъ изслъдованій... Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ, онъ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ".

Уже въ нъкоторыхъ интимныхъ письмахъ этого періода къ литературнымъ столичнымъ пріятелямъ и къ брату замътно, что "опростившійся" поэтъ какъ бы щеголяетъ чисто русскими выраженіями, пословицами.

Вліяніе двухльтней жизни въ деревнь въ обществъ старухи Арины Родіоновны, непосредственнаго ежедневнаго наблюденія народа, слушанья пъсенъ и сказокъ на языкъ Пушкина представляетъ фактъ слишкомъ хорошо извъстный, чтобы на немъ вновь останавливаться. Изъ переписки Пушкина конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ достаточно отмётить на выдержку, только два-три характерныхъ письма. Особенно интересны въ этомъ отношеній его письма къ невъсть и затьмъ жень. Своей невъстъ, согласно со свътскими обычаями, поэтъ посыдаетъ изящныя французскія письма, не отступая отъ кодекса условныхъ приличій того времени. Совершенно измѣняется языкъ и характеръ писемъ, которыя Пушкинъ посылаеть женъ съ 1831 года въ теченіе своихъ временныхъ отлучекъ. Вотъ, напримъръ, выдержка изъписьма 19 апръля 1833 года изъ Оренбурга: "Что женка? Скучно тебъ? Мнъ тоска безъ тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо къ тебъ, ни строчки не написавъ. Да нельзя, мой ангелъ, — взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ"... И далъе: "знаешь ли ты, что есть пословица, "на чужой сторонкъ и старушка Божій даръ". То-то женка. Бери съ меня примъръ". Въ письмахъ къ пріятелямъ Пушкинъ неръдко любилъ вытряхивать запасъ пословицъ, застрявшій у него въ головъ, благодаря интересу къ нимъ и замъчательной памяти. Такъ въ утъщение С. А. Соболевскому, лишившемуся матери, Пушкинъ (въ 1828 году 15 іюля) говоритъ: "Что тебъ скажу? Про старыя дрожди не говорятъ

трожды, не радуйся нашедъ, не плачь потерявъ... Перенеси мужественно перемъну судьбы твоей, то-есть, по одежкъ тяни ножки; все перемелится, будетъ мука. Ты видишь, что кромъ пословицъ ничего путнаго сказать не умъю".

Интересъ къ наблюдению языка не покидалъ Пушкина до конца его жизни. Не имъя достаточной подготовки, необходимыхъ знаній по исторіи языка, онъ, какъ любитель, пускается въ этимологію, въ вопросы грамматики и ороографіи. Конечно, его словопроизводства (напр., телвги отъ тельца) кажутся намъ наивными, но уже ценно то, что поэтъ съ постояннымъ вниманіемъ относится къ фактамъ языка. Его интересуетъ исторія языка, напр., слова, вошедшія въ языкъ, какъ переводъ, иногда неправильный, съ французскаго; онъ внимательно читаетъ "Урядникъ сокольничья пути" царя Алексъя и выписываеть изъ него термины соколиной охоты, онъ изучаеть "Слово о полку Игоревъ", обращается къ современнымъ ученымъ, предлагая имъ свои догадки и вызывая ихъ на разысканія. Въ бумагахъ его отъ 1834 года сохранились начатыя имъ замъчанія на тексть этого памятника, котораго неясныя мъста онъ старается (хотя безуспъшно) осмыслить.

Недовольство Пушкина русскимъ литературнымъ языкомъ продолжается и въ тридцатыхъ годахъ, на что имвемъ любопытное свидътельство В. И. Даля. Когда будущій составитель капитальнаго Толковаго Словаря издаль въ 1832 году первый пятокъ своихъ русскихъ сказокъ казака Луганскаго, написанныхъ, какъ авторъ сознавался впоследствіи, съ целью "познакомить земляковъ своихъ сколько-нибудь съ народнымъ языкомъ", Пушкинъ привътствовалъ это внесение народнаго языка въ литературу и, по словамъ В. И. Даля, "по обыкновенію, засыпаль его множествомь отрывочныхь замічаній, которыя всь шли къ дълу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякаго изъ насъ на умъ вертится, только что съ языка не срывается. "Сказка сказкой", говориль онь, "а языкь нашь самь по себъ, и ему-то нигдъ нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ сказкъ. А какъ это сдълать?... Надо бы сдълать, чтобы выучиться говорить по-русски и не въ сказкъ... Да нътъ, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ въ каждой поговорки нашей! Что за золото! А не дается въ руки, пътъ! Слова Пушкина, по нашему мнънио, чрез-

вычайно характерны. Передъ нами художникъ слова, проникнутый глубокимъ удивленіемъ передъ силою, яркостью, пластичностью, красотою того многовъковаго народнаго созданія, которое мы называемъ русскимъ народнымъ языкомъ. Онъ любуется имъ, но не знаетъ, какъ взять этотъ кладъ, который не дается въ руки. Онъ чувствуетъ, что въ ограниченной области народныхъ сказокъ ему можно дать ходъ, но какъ сдълать, чтобы это богатство народнаго языка вошло въ большій литературный оборотъ? Если бы Пушкинъ быль сколько-нибудь подготовленъ филологически, если бы онъ быль знакомь съ процессомъ выработки литературнаго языка въ связи съ культурнымъ ходомъ общества, онъ понялъ бы, что попытки къ реформъ этого языка, путемъ искусственнаго внесенія въ него народной стихіп, не могуть быть удачны, что насильственно втискиваемая народность не можеть войти въ общій литературный обороть и что даже въ quasi-народныхъ сказкахъ Даля, написанныхъ размъренной или риомованной прозой, уснащенной поговорками, прибаутками, чувствуется въ сущности искусственная поддълка подъ народный складъ, становящаяся въ концъ концовъ просто скучной. Конечно, полуфранцузъ по воспитанію, Пушкинъ, старавшійся исправить недостатки "проклятаго" своего воспитанія долженъ былъ высоко ценить въ Дале его замечательное знаніе народных словь и оборотовь, ценить, быть можеть, тъмъ выше, что самъ, при всемъ желаніи, не имълъ въ своемъ распоряжении такого богатства народнаго языка; но можно думать, что чувство художественной правды, столь сильно руководившее поэтомъ въ его твореніяхъ въ народномъ духъ, не допустило бы его самого до сложенія народныхъ сказокъ во вкуст Даля, въ тонт и манерт народнаго бахаря и балагура.

Указавъ на постоянный интересъ Пушкина къ изученію языка, къ вопросамъ о слогь, приведемъ въ заключеніе нъкоторыя свидътельства современника его проф. Шевырева: "Никто, — говоритъ Шевыревъ, — такъ не уважалъ формъ русскаго языка и русской просодіи, какъ Пушкинъ. Мы слышали отъ него много ръзкихъ и остроумныхъ грамматическихъ замъчаній, которыя показывали, какъ глубоко изучалъ онъ отечественный языкъ". Извъстно, съ какимъ усердіемъ Пушкинъ изучалъ памятники древней словесности. "Слово

о полку Игоревъ" онъ помнилъ отъ начала до конца наизусть и готовилъ ему объясненія. Онъ было любимымъ предметомъ его послъднихъ разговоровъ. Неръдко въ бесъдъ приводилъ онъ цъликомъ слова изъ государственныхъ грамотъ
и лътописей. Начертить характеръ Пимена могъ онъ только
по глубокомъ изученіи духа и языка лътописей. Кто изъ
знавшихъ коротко Пушкина не слыхалъ, какъ онъ прекрасно
читывалъ русскія пъсни? Кто не помнитъ, какъ онъ любилъ
ловить живую ръчь изъ устъ простого народа?"

Отъ занятій Пушкина русскимъ языкомъ перейдемъ къ его этнографическому интересу вообще, къ его наблюденіямъ народной жизни, къ его изученію памятниковъ народной словесности. Мы уже упомянули, что его путешествіе 1820 года по южнымъ степямъ, въ обществъ Н. Раевскаго, дало ему возможность наблюдать быть казаковь и прислушиваться къ ихъ пъснямъ. На Кавказъ онъ знакомится частью по разсказамъ, частью по собственнымъ наблюденіямъ съ бытомъ черкесовъ и задумываетъ картину мъстной природы и жизни, подчинивъ этнографическій элементь романтической фабуль. Извъстно, какъ самъ поэтъ (въ письмъ къ Гнъдичу 29 апръля 1822 г.), чувствуя, что его этнографическая картина только внъшнимъ образомъ введена въ планъ поэмы, сознается, что "описаніе нравовъ черкесскихъ (у него) не связано съ происшествіемъ и есть не что иное, какъ географическая статья, или отчеть путешественника". Въ Крыму поэтъ знакомится съ бытомъ южно-бережныхъ татаръ и, изъ подражанія Байрону, вводить въ свою крымскую поэму татарскую песню, въ которой мастерски характеризуеть основныя черты чтителей пророка мусульманскій фанатизмъ (священную войну газавать) и чувственную любовь. Въ Кишиневъ и Одессъ область его этнографическихъ наблюденій еще болье расширяется: онъ знакомится съ цыганами, греками, итальянцами, албанцами, сербами, болгарами. Онъ самъ кочуетъ по Бессарабіи въ теченіе нъсколькихъ дней съ цыганскимъ таборомъ, раздъляя, по поэтическому капризу, жизнь "смиренной вольности дътей". Знаменитая пъсня Земфиры "Старый мужъ, грозный мужъ", какъ извъстно, представляетъ удачное подражаніе популярной въ Кишиневъ молдавской. По свидътельству В. П. Горчакова, Пушкина занимала также другая извъстная молдаванская пъсня (тю юбески пити масура), пляска, сопровождаемая пеніемъ

называемая мититика и въ особенности такъ называемая себершти (сербская пляска). Знакомствомъ съ славянскимъ этнографическимъ элементомъ въ Кишиневъ – болгарами, сербами — быть можеть объясняется, по въроятному предположенію П. И. Бартенева, умънье, обнаруженное впослъдствіи поэтомъ въ переложении славянскихъ пъсенъ. "Разсказы о геров сербскаго возстанія (Кара Георгіи) Пушкинъ могь слышать отъ проживающихъ въ Кишиневъ сербскихъ воеводъ, съ которыми встръчался у Липранди, а впослъдствіи онъ даже принимался записывать отъ знакомыхъ сербовъ ихъ юнацкія пъсни". Позже, въ 30-хъ годахъ, когда ему въ руки попадаетъ сборникъ народныхъ сербскихъ пъсенъ Вука Караджича, онъ встрвчаеть въ немъ уже знакомыя черты сербскаго племени и заинтересовывается имъ настолько, что чувствуетъ желаніе воспроизвести нъкоторыя пъсни на русскомъ языкъ. Въ его черновой тетради 1832—33 года "мы видимъ и выписку сербскаго текста одной изъ пъсенъ, и его собственный переводъ ея". При все возрастающемъ интересъ къ мъстному этнографическому элементу на югъ, поэтъ искалъ всюду случая дополнить недостатки своего образованія научнымъ чтеніемъ историческихъ и этнографическихъ книгъ. Въ Кишиневъ онъ много читаль, пользуясь книгами Инзова, Орлова, Пущина и всего чаще И. П. Липранди, владъвшаго въ то время отличнымъ собраніемъ разныхъ этнографическихъ и историческихъ книгъ. Наблюдение пестрой "смъси одеждъ и лицъ" въ Бессарабіи возбуждало его любознательность и къ русской этнографіи. По его желанію, младшій Раевскій присылаеть ему съ В. П. Горчаковымъ нъсколько книжекъ русскихъ сказокъ (въроятно сборникъ Чулкова).

Въроятно, поэтъ въ этой сказочной области искалъ темы для поэтической разработки, какъ можно судить по тому, что сказка о царъ Салтанъ, обработанная имъ въ 1831 году, была набросана имъ въ черновой тетради въ первый разъ еще во время пребыванія на югъ въ 1822 г. въ видъ программы. Впослъдствіи та же сказка, быть можеть, слышанная поэтомъ еще въ дътствъ, была имъ снова записана со словъ няни въ Михайловскомъ.

Переходя къ непосредственнымъ записямъ Пушкина народныхъ [произведеній, начнемъ со сказокъ, о которыхъ поэтъ былъ высокаго мивнія. "Что за предесть эти сказки! каждая

есть поэма!" восклицаеть онъ въ письмъ къ брату изъ Михайловскаго (1824, конецъ октября), сообщая ему о своемъ уединенномъ образъ жизни и о томъ, что по вечерамъ онъ слушаетъ сказки отъ Арины Родіоновны. Но онъ не только слушаль, но и набрасываль ихь, какъ матеріаль для будущаго, для поэтической разработки. Кажется всего раньше воспользовался онъ изъ своей записи сказки о царъ Салтанъ тъми сказочными деталями, которыя онъ внесъ въ свой дивный прологъ ко 2-му изд. "Руслана и Людмилы". Именно въ этой записи мы находимъ нъсколько строкъ, прямо попавшихъ въ начало пролога: "что за чудо!" говоритъ мачеха, "вотъ что чудо: у моря Лукоморья стоить дубъ, а на томъ дубу золотыя цёпи, и по тёмъ цёпямъ ходитъ котъ, вверхъ идетъсказки сказываетъ, внизъ идетъ — пъсни поетъ". Мы не знаемъ точно число сказокъ, записанныхъ Пушкинымъ. Но несомнънно сюда принадлежать: 1) сказка о женихъ, передъланная поэтомъ въ превосходную балладу; 2) о рыбакъ и рыбкъ; 3) о царъ Салтанъ; 4) о попъ и работникъ его Балдъ; 5) о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ; 6) о золотомъ пѣтушкъ. Кромъ этихъ, обработанныхъ впослъдствіи Пушкинымъ сказокъ, онъ передалъ свою запись сказки о царъ Берендеъ Жуковскому, когда въ Царскомъ Селъ въ 1831 году вступилъ съ нимъ въ поэтическое состязаніе въ стихотворной обработкъ народныхъ сказочныхъ сюжетовъ, и сохранилъ въ черновыхъ бумагахъ передачу въ сжатомъ видъ содержанія нъсколькихъ сказокъ: о Кощев безсмертномъ, его дочери и Иванв царевичь; о царь, его невърной жень и царевичь (повидимому, варіантъ изъ цикла Соломоновыхъ сказаній), затъмъ три сказки съ "чертовщиной". Изъ своихъ же сказочныхъ матеріаловъ Пушкинъ сообщилъ В. И. Далю содержаніе сказки "О Георгіи Храбромъ и съромъ волкъ", которую тотъ изложилъ своимъ обычнымъ ультра-народнымъ стилемъ. ...

Еще обильные были записи народных в пысенты вы коллекціи Пушкина, и здысь мы имыемть возможность сообщить ныкоторыя болые точныя данныя, не являвшіяся до сихъ поръ въ пе-

чати. Напомнимъ сначала факты, уже извъстные.

Петръ Вас. Киръевскій сообщаеть, что еще въ самомъ началь его предпріятія собиранія народныхъ пъсенъ Пушкинъ доставиль ему замъчательную тетрадь пъсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи. Въ отдълъ свадебныхъ пъсенъ,

собранныхъ Киръевскимъ, вошло нъсколько № изъ тетради Пушкина черезъ нъсколько мъсяцевъ послъ смерти поэта. Такъ въ I томъ изъ Пушкинской тетради взятъ № 4:

"Береза бълая, береза кудрявая!
Куда ты клонишься, куда поклоняешься?"
— Я туда клонюсь, туда поклоняюся,
Куда вътеръ повъетъ. —
"Княгиня душенька, куда ты ладишься?"
— Туда я лажуся, куда батюшка отдаеть,
Съ родимой матушкой".—

Но особенно ценно сопровождающее эту песню примечаніе Кирвевскаго: "Покойнный А.С. Пушкинъ доставилъ мнв 50 ММ пъсенъ, которыя онъ съ большой точностью записалъ самъ со словъ народа, хотя и не обозначилъ, гдъ именно. Въроятно, что онъ записалъ ихъ у себя въ деревив въ Псковской губерніи". Здёсь мы впервые точно узнаемъ число доставленныхъ Киръевскому Пушкинымъ пъсенъ и изъ просмотра объихъ книгъ 1-й части "свадебныхъ" видимъ, что изъ Пушкинскаго сборника было взято Киръевскимъ туда 12 ММ, что составляеть почти четверть общаго числа записанныхъ поэтомъ народныхъ пъсенъ. Такое внимание Пушкина къ свадебнымъ пъснямъ, понятно для всякаго этнографа. Въ этихъ пъсняхъ, сопровождающихъ разные моменты свадебнаго обряда, традиціонно хранимыхъ преимущественно женщинами, какъ извъстно, донеслось даже до нашихъ дней не мало следовъ старины, старины временъ боярскихъ, такъ какъ вся обстановка крестьянскаго свадебнаго обряда, съ его свадебными чинами, представляеть какъ бы копію старинной боярской и княжеской свадьбы, начиная съ названія молодыхъ княземъ и княгинею. Въ 20-хъ годахъ, когда такія пъсни записываль Пушкинь, въроятно, въ своей деревив, въ Михайловскомъ, вся обрядовая старина крестьянской свадьбы была еще свъжъе, чъмъ въ наши дни, и уже съ этой стороны Пушкинская запись представляеть нъкоторый интересь. Но нельзя не отмътить и того, что Пушкинъ понималь необходимость указывать, къ какому именно моменту свадьбы пріурочена та или другая пъсня, т.-е. пріемъ, который въ настоящее время нашими этнографическими программами рекомендуется любителямъ, какъ научное требованіе. Такъ, въ тетрадкъ, доставленной имъ Киръевскому, онъ въ пояснение пъсенъ дъ-

лаетъ замъчанія. Напр., пъсня (LXIV) "Какъ у нашего князя невеселые кони стоять" и проч., поется, по его словамъ, когла ндуть за невъстою къ вънцу. По поводу пъсни "Трубчистая коса вдоль по улицъ шла" онъ замъчаетъ: "Дня за два передъ дъвичникомъ кладутъ на блюдо ленты изъ косы невъстиной. Брать ея или ближній родственникъ носить блюдо по улиць. Это называется: красу носить. Между тъмъ поютъ" (слъдуеть пъсня). При пъснъ: "Ягода съ ягодой сокатилися" читаемъ поясненіе Пушкина, что ее "дъвушки поють, когда молодая возвратится изъ церкви". Едва ли поэтому мы ошибемся, если предположимъ, что Пушкинъ у себя въ деревнъ лично наблюдалъ всю обрядовую сторону крестьянской свадьбы и записаль пъсни въ связи съ моментами обрядности, какъ и требуетъ этнографическая точность. Глубоко интересуясь русской стариной, читая въ то время въ деревнъ русскія лътописи и "Исторію" Карамзина, обдумывая "Бориса Годунова", Пушкинъ естественно долженъ былъ увлечься слъдами стариннаго быта въ свадебныхъ пъсняхъ, которыя своимъ драматизмомъ и неръдко глубокимъ чувствомъ привлекали его и какъ поэта. Напомнимъ, какъ онъ удачно пользуется ими, напр., въ "Русалкъ" и въ эпиграфахъ къ нъкоторымъ главамъ "Капитанской дочки" (глава XII, "Сирота"; глава V, "Любовь").

Въроятно впослъдствіи, при болье точномъ пересмотръ всего собранія Киръевскаго, окажутся и другія пъсни, кромъ свадебныхъ, записанныя Пушкинымъ. До сихъ поръ, въ изданныхъ Безсоновымъ выпускахъ появились только 2, интересныя въ томъ отношеніи, что доказываютъ непосредственное знакомство поэта и съ живою эпической народной стариной. Таковъ записанный имъ хорошій варіанть пѣсни о "Ванькъключникъ", и пъсня историческая, "Бъжитъ ръчка по песку", напечатанныя въ 10-мъ выпускъ. Кромъ историческихъ пъсенъ, переданныхъ Пушкинымъ Киръевскому, у него была еще коллекція пъсенъ о Стенькъ Разинъ, записанныхъ имъ въроятно, еще въ путешествіи 1820 года, когда онъ заинтересовался казаками и разбойниками. Двъ разинскія пъсни (о сынъ Стеньки Разина), считавшіяся прежде Пушкинскими подражаніями, оказались послъ сличеній, сдъланныхъ П. Голохвастовымъ, не сочиненными поэтомъ, а только записанными имъ. Такою же записью подлиннаго народнаго достоянія оказалась пъсня "Изъ быта волжскихъ разбойниковъ" (точнъе о моря-

нинъ или "Девять братьевъ разбойниковъ и сестра"), старинная пъсня, кажется, новгородскаго происхожденія, которую поэтъ, въроятно, записалъ въ Псковской губернии. Изъ бытовыхъ пъсенъ, записанныхъ поэтомъ въ 1825 году, въ изданіяхъ помъщаются еще двъ: "Какъ за церковью, за нъмецкою" и "Во лъскъ дремучемъ, туть брала дъвка ягоды", о которыхъ мы не знаемъ, вошли ли онъ въ тетрадку, переданную Пушкинымъ Киръевскому. Затъмъ два изъ черновыхъ набросковъ, относимыхъ къ 1833 году, до такой степени близки къ народнымъ пъснямъ ("Одинъ-то былъ у отца у матери единый сынъ", и "Другъ мой милый, красно солнышко мое"), что производить впечатльніе лишь легкой ретушировки подлинныхъ пъсенъ, которыя либо лежали предъ поэтомъ въ записи, либо хранились въ богатомъ запасв его памяти. Если къ перечисленнымъ пушкинскимъ записямъ мы прибавимъ найденный недавно С. О. Долговымъ автографъ поэта съ отрывкомъ народной пъсни, повидимому, изъ казацкаго цикла, и тъ отрывки изъ пъсенъ, которые встръчаются, какъ эпиграфы надъ нъкоторыми главами "Капитанской дочки" и приводятся въ примъчаніяхъ къ "Исторіи Пугачевскаго бунта", то, кажется, нътъ сомнънія, что, благодаря любви къ народному пъснопънію, счастливой памяти, Пушкинъ зналъ множество и другихъ народныхъ пъсенъ наизусть, выучивъ ихъ либо изъ тогдашнихъ сборниковъ (Чулкова, Новикова, Прача и друг.), либо перенявъ отъ народа, такъ что въ свое время быль действительно однимь изъ лучшихь знатоковъ русской народной поэзіи.

Народное творчество интересовало его во всемъ своемъ объемъ, во всёхъ областяхъ. Мы видёли, какъ высоко цёнилъ онъ народныя "чудесныя" сказки, которыя, по его болѣе позднему отзыву (1831 г.) "ничуть не уступаютъ въ фантастической поэзіи преданіямъ ирландскимъ и германскимъ". Мы видёли его собирателемъ и цёнителемъ народныхъ пѣсенъ — эпическихъ и лирическихъ. Но не менѣе увлекается онъ наивной прелестью легендъ и духовныхъ стиховъ. Въ письмѣ къ Плетневу онъ совѣтуетъ Жуковскому читатъ Четьи-Минеи, особенно легенды о кіевскихъ чудотворцахъ; "прелесть простоты и вымысла!" Въ 1836 году, когда по временамъ его вдохновеніе принимаетъ религіозное направленіе, онъ проситъ въписьмѣ Н. М. Языкова (14 апрѣля): "Пришлите мнѣ, ради Бога,

стихъ объ Алексъъ, Божьемъ человъкъ, и еще какую-нибудь легенду; нужно". Знаменитая "Исторія села Горохина", эта яркая бытовая картина или върнъе, эскизъ, шутливая пародія стиля и историческихъ пріемовъ Карамзина, свидътельствуеть о знакомствъ автора съ похоронными крестьянскими причитаніями. Въ критическихъ замъткахъ поэта находимъ разборъ нъкоторыхъ русскихъ пословица. Словомъ, во всъхъ областяхъ народнаго творчества мы видимъ у Пушкина добросовъстное изученіе подлиннаго народнаго достоянія, неръдко изъ первыхъ рукъ, руководимое вполнъ сознательнымъ убъжденіемъ въ необходимости такого внимательнаго изследования народности. Если при этомъ мы припомнимъ, въ какомъ положени засталь поэть изучение народности въ современной ему русской наукъ, то убъдимся, что по этому пути Пушкинъ шелъ самостоятельно, вынесь свое убъждение не изъ научной литературы, а изъ личныхъ наблюденій; изъ своихъ повздокъ по Россіи, и, какъ этнографъ-любитель, предварилъ многихъ ученыхъ. Мастерскимъ, не превзойденнымъ до сихъ поръ, воспроизведеніемъ народнаго духа и колорита, достигнутымъ имъ въ нъкоторыхъ, къ сожальнію, не оконченныхъ наброскахъ еще въ 1825 году, онъ обязанъ не одному геніальному своему дарованію, но и внимательному собиранію и изученію народныхъ образцовъ, которые раскрыли ему народность такою. какою она не представлялась раньше ни ему ни его предшественникамъ. В. Миллеръ.

Естественность и правдивость поэзіи Пушкина_

Поэзія есть діло таинственное. Откуда она рождается, къ чему ведеть, въ какихъ отношеніяхъ находится къ другимъ явленіямъ человітнеской жизни — все это трудные вопросы, несмотря на то, что въ простійшихъ своихъ формахъ поэзія встрічается намъ ежеминутно, и что почти каждый человіть есть поэть, хотя бы и въ очень слабой степени.

Самымъ понятнымъ на свътъ люди считаютъ жизнь, т.-е. наши потребности, желанія, наслажденія и страданія, практическія цъли и практическіе труды. Все это имъетъ для насъ непосредственную достовърность и несомнънное значеніе, ибо все это, какъ говорится, прямо беретъ насъ за живое. Искусство же не принадлежитъ къ этой области; это какое-то при-

даточное и производное явленіе, стремленіе зачъмъ-то переживать нашу жизнь еще разъ, но не въ дъйствительности, а въ воображеніи, съ мечтахъ, какъ говорили во времена Пушкина и Жуковскаго. Человъкъ, положимъ, испытываетъ радость или горе. Ему мало того, что эти чувства дъйствительно присутствуютъ въ его душъ; онъ начинаетъ пъть, т.-е. онъ повторяетъ свои чувства въ словахъ и звукахъ. Ему для чего-то нужно это воплощеніе испытываемыхъ имъ движеній души, и легко убъдиться, что оно не есть простое повтореніе. Чувства въ пъснъ являются въ нъкоторомъ преображенномъ видъ и получаютъ, очевидно, какое-то другое значеніе.

Странно дъйствуютъ пъсни. Положимъ, смерть отняла у человъка любимое, дорогое существо, и онъ подавленъ своимъ несчастіемъ. Убъжать отъ трупа и забыть его — вотъ самое практическое, что можно сдълать. Между тъмъ, люди стараются какъ будто растравить свою горесть, упиться ею. Раздаются похоронныя пъсни, и сердце надрывается, и льются слезы даже у тъхъ, кто безъ этого могъ бы остаться спокойнымъ и равнодушнымъ. Но, удивительное дъло! Горе, нарочно вызванное, нарочно повторенное и углубленное, становится легче; оно потеряло свой прежній грубый характеръ, поднялось на какую-то высоту и преобразилось.

Тутъ мы взяли искусство въ непосредственномъ соприкосновеній съ жизнью. Но въ другихъ случаяхъ непрактическій характеръ искусства обнаруживается еще ръзче и яснъе. Любитель пъсенъ поетъ и грустныя и веселыя пъсни, когда ему не о чемъ ни грустить ни веселиться. Онъ при этомъ испытываеть и радость и грусть, но, очевидно, не такія, какія свойственны дъйствительной жизни. Если бы печаль, ужасъ, негодованія и тому подобныя чувства, испытываемыя нами, когда мы отдаемся созерцанію произведеній искусства, были вполнъ похожи на чувства, которыя тъми же именами обозначаются въ дёйствительности, то мы, конечно, убъгали бы оть большей части художественныхъ произведеній. Между тъмъ, среди веселаго общества часто исполняется мрачный Requiem, и мы готовы каждый день смотръть въ театръ на убійства и сумасшествія. Люди, для которыхъ недоступенъ истинный характеръ художества, которые слишкомъ погружены въ жизнь, иногда удивляются этому. "Охота наводить на себя тоску!" замъчають они. Но и веселая музыка ихъ

иногда не веселить а только раздражаеть. Очевидно, для искусства нужно быть нъсколько свободнымъ душою, немножко забыть о себъ.

Чтобы потрясти чувства черни древняго Рима, люди должны были дъйствительно убивать другъ друга на сценъ, быть дъйствительно растерзываемы звърями. Но мы, когда сидимъ въ. театръ, не только не должны думать, что убійства, пожары, сумасшествія совершаются передъ нами дійствительно, но даже, для полнаго дъйствія искусства, все время должны быть твердо увърены, что все вокругъ насъ совершенно благополучно и безопасно. Если бы мы, забывшись, вообразили, что на сценъ раздаются дъйствительные вопли боли, или дъйствительно совершается убійство, то художественное впечатлівніе было бы мгновенно разрушено этимъ впечатлъніемъ жизни, мы бы почувствовали дъйствительную жалость, дъйствительный ужась, и были бы вырваны изъ міра художества. Даже если мы замътимъ, что актеръ смъется не искусственно, а потому что дъйствительно расхохотался и не можеть удержаться, художественное впечатлёніе нарушается. Очевидно, жизнь и искусство — два міра различные. Непремънное условіе искусство есть искусственность, т.-е. чтобы передъ нами была не природа, а только какой-то ея образъ. Этотъ образъ имъетъ для насъ особенное значение. Несмотря на то, что искусства есть только созерцаніе, чувства, испытываемыя нами при его дъйствіи, глубже, яснье, опредъленные, чымь дыйствительныя чувства. Какъ будто краски художественнаго міра гуще, ярче, чъмъ міра дъйствительности. Вотъ почему, когда мы говоримъ о предметахъ и явленіяхъ жизни, мы часто не довольствуемся обыкновеннымъ языкомъ, а заимствуемъ слова изъ сферы искусства. "Тутъ есть что-то поэтическое"; "да, это романъ!" "какова сцена или картина?" "случай чисто траническій, или чисто комическій; "онъ въ этой драмю играеть очень дурную роль" и т. д. Такія выраженія обозначають, что мы нашли въ дъйствительности больше, чъмъ она обыкновенно даетъ намъ, что она почему-то вдругъ окрасилась ярче своего обыкновеннаго цвъта.

Если мы возьмемъ художниковъ, то отдёльность искусства отъ жизни выступаеть уже вполнъ. Они на все смотрятъ не такъ, какъ обыкновенные люди, т.-е. они безпрестанно видятъ вокругъ себя поэтическое, трагическое, комическое, картины,

драмы, — словомъ все то, что обыкновенному человъку открывается лишь изръдка, когда и въ немъ вспыхнетъ художественная искорка, а многимъ и вовсе не открывается. Но этого мало. Художники умъютъ, часто по самымъ ничтожнымъ поводамъ, переноситься въ чужую жизнь или въ свое прошлое и переживать самыя разнообразныя чувства. И этимъ они занимаются какъ настоящимъ дъломъ, т.-е. вмъсто того, чтобы жить и чувствовать въ дъйствительности, они лучшее свое время проводятъ въ томъ, что забываюто міръ, какъ говоритъ Пушкинъ, и отдаются чувствамъ, образамъ, лицамъ, возникающимъ въ ихъ воображеніи. Въ этомъ ихъ собственномъ міръ не соблюдается никакого порядка времени и мъста, и ходъ его явленій больше всего зависитъ отъ какого-то глубокаго внутренняго движенія души, называемаго вдохновеніемъ.

Все, что мы-сказали, еще не объясняеть намъ сущности искусства, его цъли и происхожденія. Но здѣсь указана та его существенная черта, которая никогда не должна быть упускаема изъ виду. Какая бы ни была цѣль искусства и каково бы ни было его содержаніе, оно всегда будетъ какимъ-то преображеннымъ повтореніемъ жизни, содержаніе котораго даетъ другіе результаты, чѣмъ простое соприкосновеніе съ жизнью.

Воть отчего говорять, что искусство есть подражание природи, что оно украшает природу, что оно выше природы, что оно есть творчество, что цвль его наслаждение прекраснымь, что оно имъеть примиряющую силу, и т. д. Всв эти формулы имъють свою справедливую сторону въ томъ, что стремятся выразить нъкоторую разнородность искусства съ дъйствительностью.

Отсюда же объясняются тѣ уклоненія, въ которыя впадаєть искусство. Стремясь, по самой своей природѣ, подняться надъ дѣйствительностью, оно легко обращается въ ложсь, пренебрегаетъ жизнью и ея правдой, пріучаетъ людей жить и довольствоваться воображеніемь, раздвояеть ихъ существованіе, обращаетъ ихъ въ существа, которыя вѣчно умиляются, восхищаются, ишутъ прекраснаго и возвышеннаго, слѣдовательно, повидомому, живутъ очень высокою душевною жизнью, на самомъ же дѣлѣ часто не обладають никакою дѣйствительною красотою чувствъ.

Изъ той же существенной черты проистекаетъ, наконецъ, непонимание искусства и вражда противъ него.

Въ самомъ дѣлѣ, причину отрицанія искусства составляють не одни его ложныя и дурныя явленія; самая сущность его недоступна и враждебна многимъ людямъ. Кто весь поглощенъ жизненными интересами, тотъ естественнымъ образомъ смотритъ враждебно на это созерцаніе, при которомъ человѣкъ видитъ не предметъ личной своей дѣятельности, а какое-то зрѣлище, смотритъ на нее почти такъ, какъ смотрѣлъ бы житель иной планеты, случайно залетѣвшій на землю. Для многихъ же, никогда не подымавшихся мыслью выше насущныхъ интересовъ, искусство не имѣетъ и этого смысла; оно для нихъ глупая, скучная забава, возможная только для людей ничего не дѣлающихъ.

Все это доказываетъ только идеальную природу искусства, которая отъ него неотъемлема и безъ пониманія которой въ немъ нельзя ничего понять.

Приномнимъ нъкоторыя слова Пушкина объ искусствъ. Въ предисловіи къ одной изъ его поэмъ сказано: "твореніе искусства — обманъ". (Бахчисарайскій фонтанъ. Москва, 1824 г. Стр. XVII.) Такъ выразилъ тогдашній взглядъ на дъло кн. П. Вяземскій. Самъ Пушкинъ обыкновенно называетъ произведенія искусства — вымыслами, напримъръ:

Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Воть съ какою поразительною наивностью онъ выражаль ту мысль, что область искусства есть нѣчто отдѣльное отъ жизни. Но эти вымыслы и обманы онъ, конечно, считалъ чѣмъ-то очень высокимъ и важнымъ, такъ какъ посвятилъ имъ свою жизнь 1). Въ такомъ смыслѣ чего-то высокаго и важнаго употреблено слово обманъ и въ знаменитыхъ стихахъ:

Тъмы низкихъ истинъ намъ дороже Насъ возвышающій обманъ.

Обмань туть не значить мошенничество или ложь, а только нъкоторый образ, который, хотя бы быль вымысломь, возвышаеть нась, давая намь понимать, въ чемъ состоить истинная красота человъческой души. Выше находится стихъ еще болье парадоксальный:

Да будеть проклять правды свъть!

¹⁾ Вотъ Пушкинское представление настоящаго поэта: "поэзія бываетъ исключительно страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни" (Т. V, стр. 541).

Но тотчасъ же слъдуетъ многозначительное пояснение:

Да будеть проклять правды свъть! Когда посредственности хладной Завистливой, къ соблазну жадной, Онъ угождаеть праздно!

Вотъ чудесное указаніе на свойства поэзіп. Она, положимь, есть вымысель, обмань, но такой, который не возбуждаеть, или, по крайней мъръ, не долженъ возбуждать въ насъ ни зависти ни соблазна, никакихъ заднихъ мыслей, никакого своекорыстнаго, низкаго желанія. Между тъмъ, правда, т. е. жизнь, дъйствительность, постоянно не даютъ намъ смотръть на дъло безпристрастно и съ высоты; онъ затрогиваютъ насъ лично, нашъ эгоизмъ, онъ часто угождаютъ нашимъ низкимъ страстямъ. Нужна поэзія для того, чтобы оторвать насъ отъ своекорыстныхъ помысловъ. Къ несчастію, поэзія недоступна посредственности хладной, а всегда найдется такая правда, которая угодить этой посредственности.

Но мы знаемъ, что Пушкииъ былъ правдивъйшій и искреннъйшій изъ поэтовъ. Значить, онъ только дурно выражался, называя поэзію вымысломъ и обманомъ, тогда какъ самъ всею душою стремился къ правдъ. Собственнымъ примъромъ онъ показываетъ, что правда есть неизмънное требованіе истиннаго искусства, та внутренняя правда, о которой Аристотель говорилъ, что она истиннъе самой дъйствительности. Дурна та поэзія, которая, подымаясь надъ міромъ, теряетъчувство правды; не хорошъ и тотъ поэть, кто бережно хра-

нить это чувство, но, сознавая свое безсиліе, робко держится за дъйствительность. Пушкинь въ этомъ отношеніи образецъ поэтовъ; онъ свободно восходиль на всякія высоты поэзіи,

никогда не измъняя правдъ.

Если сравнить Пушкина съ современными поэтами, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Языковымъ и т. д., то при всемъ внѣшнемъ сходствъ окажется та разница, что у Пушкина форма была лишь орудіемъ для выраженія чувства и мысли, а у нихъ, наоборотъ, форма часто занимаетъ первое мъсто, безпрестанно слышится, что забота о красотъ стиха и выраженія перевъшиваетъ заботу о содержаніи. Отсюда произошло то неотразимое очарованіе, которое производили стихи Пушкина; казалось, что въ нихъ русскій языкъ, всякія красоты стиха и формы, о которыхъ хлопотали цёлыя покольнія ли-

тературы, въ первый разъ получили свой настоящій смыслъ, въ первый разъ оказались вполнъ нужны, вполнъ умъстны, совершенно естественны. Всъ изысканности и искусственности становились въ устахъ Пушкина живою, точно выражающею свой смыслъ, ръчью; красота словъ и образовъ вдругъ обратилась въ красоту чувствъ и мыслей.

Отчего же это происходило? Оттого, что Пушкинъ поэзію, жившую въ его душѣ, цѣнилъ выше всего, ей одной служилъ, одну ее хотѣлъ выражать. Пушкинъ былъ правдивѣйшій и искреннѣйшій изъ поэтовъ. Несмотря на всю свою гибкость, онъ никогда не сочинялъ ни чувствъ ни ихъ выраженія; несмотря на его любовь ко всему красивому, къ красивымъ формамъ, звукамъ, словамъ, никакіе слова, звуки, формы не могли подкупить его своею красотою. Съ совершенной отчетливостью онъ чувствовалъ, когда въ немъ дѣйствуетъ вдохновеніе и когда нѣтъ, и не писалъ ни одного произведенія, которое бы не вытекало прямо изъ души.

Необыкновенная сила Пушкинскаго генія обнаруживается именно въ этомъ прямодушіи. Болье открытаго, болье прямо себя обнаруживающаго поэта невозможно найти. Разстояніе между душою Пушкина и его стихотвореніями было такъ мало, что меньше и не бываеть, и быть не можеть. При сравненіи его съ другими поэтами, оказывается, что одни часто, а иные постоянно говорять не своимъ языкомъ, поють, такъ сказать, не своимъ иолосомъ, — кто фальцетомъ, кто напряженнымъ басомъ, тогда какъ у Пушкина каждый звукъ есть чистый грудной голосъ, не измъненный никакимъ напряженіемъ.

Вотъ почему въ Пушкинъ наша поэзія сдълалась правдою. Исчезло то разногласіе и противоръчіе, которое прежде чувствовалось между поэзіею и жизнью; въ стихахъ Пушкина, при всей полнотъ поэзіи, жизнь являлась со всею своею реаль-

ностью, безъ искаженій и подкрашиваній.

Всъмъ извъстно, съ какимъ мастерствомъ Пушкинъ возводилъ въ поэзію самые, повидимому, прозаическіе предметы. Онъ никогда не выбиралъ того, что покрасивъе и повеличавъе; грязь Одессы и мощеніе въ ней улицъ онъ описываетъ такъ же звучно, какъ море и горы. Но онъ могъ это сдълать съ полнымъ правомъ только потому, что никогда ни въ чемъ не отступалъ отъ истины. Чтобы показать, какъ велика его точность, сдълаемъ небольшое сравненіе. Пушкинъ часто го-

вориль о Петербургъ, и всякій, кто знаетъ этотъ городъ, долженъ согласиться, что въ описаніяхъ Пушкина ни единой фальшивой черты.

Сводъ небесъ зелено-блъдный, Скука, холодъ и гранитъ...

Мосты повисли надъ водами; Темно-зелеными садами Ея покрылись острова...

Твоихъ оградъ узоръ чугунный, Твоихъ задумчивыхъ ночей Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный...

И ясны спящія громады Пустынныхъ улиць, и свътла Адмиралтейская игла...

Все это безукоризненно точно. Возьмите же теперы другого поэта, Лермонтова, и попробуйте сравнить. Описывается такая же ночь, какъ у Пушкина.

Задумчиво столбы дворцовъ нѣмыхъ По берегамъ тѣснилися какъ тѣни, И въ пънт водъ гранитныхъ крылецъ ихъ Купалися широкія ступени.

Прекрасные стихи, но въ этой картинъ почти все ложно. Видъ дворцовъ не похожъ; они никакъ не тоснятся и не близки къ берегамъ, — все въ Петербургъ просторно. А гранитныя крыльца, широкія ступени, пъна водз — все чистая выдумка, все сказано, какъ говорится, только для красоты слога. Далъе описывается домъ:

Изъ мрамора волнистаго колонны Кругомъ тъснились чинно, и балконы Чугунные, воздушные, семьей, Межъ нихъ гордились дивного разъбой.

Дивная ръзьба на чугунъ — ужасное сочинение, а балконы, гордящиеся такой ръзьбой — еще большее.

Все это, конечно, только промахи, но они показывають направленіе таланта, его напряженность и расположеніе не дорожить истиною. У Пушкина вовсе нътъ подобныхъ промаховъ, — вотъ что замъчательно; нътъ даже въ слабыхъ и молодыхъ произведеніяхъ.

Интересно сравнить у обоихъ поэтовъ описаніе Кавказа. Одна обмолвка Лермонтова въ "Демонъ" очень извъстна; объней даже говорилъ въ "Въстникъ естественныхъ наукъ" покойный профессоръ Рулье:

И Терекъ, прыгая, какъ львица Съ косматой гривой на хребтъ...

Но есть тамъ же не обмодвка, а настоящая фальшь, явное преувеличение красокъ. Мы находимъ эту фальшь въ описании Грузіи:

Счастливый, пышный край земли! Столпообразных рушны, Звонко-б'ятущіе ручьи По дну из камней разноцептных, И кущи розъ, и пр.

Что такое столпообразныя рушны? Читатель, не видавшій Грузіи, вообразить себъ полуразрушенныя колонады. Между тъмь, на дълъ — это изръдка попадающіяся развалины круглыхь башень, очень грубыхь, небольшихь и невысокихъ построекъ, замъчательныхъ только тъмъ, что онъ, дъйствительно, круглыя, т.-е. онъ представляють подобіе чего-то архитектурнаго.

Звонко-бълущіе ручьи — конечно, хорошее названіе для горных потоковь, всегда имьющихь быстрое теченіе. Но сказать, въ видь похвалы, что дно ихъ изъ камней разноцеютных, значить почти то же, что восхищаться разноцвытными камнями петербургской мостовой: одинъ потемнье, другой посвытье, а есть красноватые.

Нигдъ у Пушкина не замътно расположенія къ такимъ преувеличеніямъ. Мы привели здъсь примъръ изъ описаній, какъ самый ясный и убъдительный; но то же самое должно сказать и о характеръ лицъ и о свойствъ изображаемыхъ чувствъ. Пушкинъ не былъ расположенъ ни самъ становиться ни ставить свои лица на ходули. Тогда какъ многіе поэты стремятся поразить читателей напряженіемъ и надуманною крайностью своихъ чувствъ, онъ становился чъмъ дальше, тъмъ проще и правдивъе.

Поэтическая сила Пушкина была такъ велика, такъ истинна, что правота и правдивость была для него самымъ естественнымъ дѣломъ. Онъ не могъ соблазниться никакою фальшью,

ничёмъ надуманнымъ, навъяннымъ, напряженнымъ. И вотъ почему онъ сталъ создателемъ русской поэзіи. Онъ сбросилъ съ себя всё иноземныя вліянія, подъ которыми развивалась наша литература; нъкоторая искусственность и изысканность, которыми она отзывалась до Пушкина, исчезли у него безъ слъда. Въ поэзіи стали прямо выражаться инстинкты русскаго сердца, стала отражаться русская дъйствительность.

Страховъ:

Способность перевоплощенія Пушкина въ чужія національности.

Въ европейскихъ литературахъ были громадной величины художественные геніи — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного изъ этихъ великихъ геніевъ, который бы обладаль такою способностью всемірной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. И эту-то способность, главнъйшую способность нашей національности, онъ именно раздъляеть съ народомъ нашимъ, и тъмъ, главнъйше, онъ и народный поэтъ. Самые величайшіе изъ европейскихъ поэтовъ никогда не могли воплотить въ себъ съ такой силой геній чужого, сосъдняго, можетъ-быть, съ ними народа, духъ его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призванія, какъ могъ это проявлять Пушкинъ. Напротивъ, обращаясь къ чужимъ народностимъ, европейскіе поэты чаще всего перевоплощали ихъ въ свою же національность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его италіанцы, напримъръ, почти сплошь тъ же англичане. Пушкинъ лишь одинъ изо всёхъ міровыхъ поэтовъ обладаеть свойствомъ перевоплощаться вполнъ въ чужую національность. Воть сцены изъ Фауста, воть Скупой Рыцарь и баллада Жилт на свъть рыцарь быдный. Перечтите Донг-Жуана, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написаль не испанець. Какіе глубокіе фантастические образы въ поэмъ: Пирт во время чумы! Но въ этихъ фантастическихъ образахъ слышенъ геній Англіи; эта чудесная пъсня о чумъ героя поэмы, эта пъсня Мери со стихами: The statistic devices the transfer as the statistic base

Нашихъ дътокъ въ шумной школь Раздавались голоса,

это англійскія пъсни, это тоска британскаго генія, его плачъ, его страдальческое предчувствіе своего грядущаго. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой --

Это почти буквальное переложение первыхъ трехъ страницъ изъ странной мистической книги, написанной въ прозъ, одного древняго англійскаго религіознаго сектатора, — но развъ это только переложеніе? Въ грустной и восторженной музыкъ этихъ стиховъ чувствуется самая душа съвернаго протестантизма, англійскаго ересіарха, безбрежнаго мистика, съ его тупымъ, мрачнымъ и непреоборимымъ стремленіемъ и со всёмъ безудержемъ мистического мечтанія. Читая эти странные стихи, вамъ какъ бы слышится духъ въковъ реформаціи, вамъ понятенъ становится этотъ воинственный огонь начинавшагося протестантизма, понятна становится, наконецъ, самая исторія, и не мыслью только, а какъ будто вы сами тамъ были, прошли мимо вооруженнаго стана сектантовъ, пъли съ ними ихъ гимны, плакали съ ними въ ихъ мистическихъ восторгахъ и въровали вмъстъ въ то, во что они повърили. Кстати: вотъ съ этимъ религіознымъ мистицизмомъ религіозныя же строфы изъ корана или "Подражаніе корану": развъ туть не мусульманинъ, развъ это не самый духъ корана и мечъ его, простодушная величавость въры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, вотъ Египетскія ночи, вотъ эти земные боги, съвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній народный и стремленія его, уже не върящіе въ него болье. Нътъ, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью, какъ Пушкинъ, и не въ состояніи одной только отзывчивости туть дёло, а въ изумляющей глубинъ ея, а въ перевоплощени своего духа въ духъ чужихъ народовъ, - перевоплощеніи почти совершенномъ, а потому и чудесномъ, потому что нигдъ ни въ какомъ поэтъ цълаго міра такого явленія не повторилось. Это только у Пушкина, и въ этомъ смыслъ, повторяю, онъ-явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... тутъ-то и выразилась наиболье его національная русская сила, выразилась именно народность его поэзіи, народность въ дальнъйшемъ своемъ развитіи, народность нашего будущаго, таящагося уже въ настоящемъ, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея въ конечныхъ цёляхъ своихъ ко всемірности и ко всечеловъчности? Ставъ вполнъ народнымъ поэтомъ, Пушкинъ тотчасъ же, какъ только прикоснулся къ силъ народной, такъ уже и предчувствуетъ великое грядущее назначеніе этой силы. Тутъ онъ угадчикъ, тутъ онъ пророкъ.

Въ самомъ дълъ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось воочію? Что означала для насъ эта реформа? Въдь не была же она только для насъ усвоеніемъ европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрътеній и европейской науки. Вникнемъ, какъ дъло было, поглядимъ пристальнъе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первоначально только въ этомъ смыслъ и началъ приводить ее, т. -е. въ смыслъ ближайше-утилитарномъ, но впослъдствіи, въ дальнъйшемъ развитии имъ своей идеи, Петръ несомитино повиновался иткоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дълъ, къ цълямъ будущимъ, несомнънно огромнъйшимъ, чъмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнънно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нъкоторую дальнъйшую, несравненно болъе высшую цьль, чьмъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутивъ эту цьль, опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однакоже и непосредственно и вполнъ жизненно. Въдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ къ единенію всечеловъческому! Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геній чужихъ націй, всъхъ вмъстъ, не дълая преимущественныхъ племенныхъ различій, умъя инстинктомъ, почти съ самаго перваго шагу различать, снимать противоръчія, извинять и примирять различія, а тъмъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только-что объявившуюси и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловъческому возсоединению со всъми племенами великаго арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человъка есть безспорно всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнъ русскимъ, можетъ-быть, и значитъ только (въ концъ-концовъ, это подчеркните) стать братомъ всъхъ людей, всечеловъкомъ, если хотите. О, все это славянофильство и

западничество наше есть одно только великое у насъ недоразумѣніе, хотя исторически и необходимое. Для настоящаго русскаго Европа и удълъ всего великато арійскаго племени такъ же дороги, какъ сама Россія, какъ и удълъ своей родной земли, потому что нашъ удълъ и есть всемірность, и не мечомъ пріобрътенная, а силой [братства и [братскаго стремленія нашего къ возсоединенію людей. Если захотите вникнуть въ нашу исторію послѣ Петровской реформы, вы найдете уже слъды и указанія этой мысли, этого мечтанія моего, если хотите, въ характеръ общенія нашего съ европейскими племенами, даже въ государственной политикъ нашей: ибо что дълала Россія во всв эти два въка въ своей политикъ, какъ не служила Европь, можетъ-быть, гораздо болве, чвиъ себв самой? Не думаю, чтобъ отъ неумвнья лишь нашихъ политиковъ это происходило. О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впоследстви, я верю въ это, мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всв до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противоръчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскъ въ своей русской душъ, всечеловъчной и всесоединяющей, вмъстить въ нее съ братскою дюбовью всъхъ нашихъ братьевъ, а въ концъ-концовъ, можеть быть, и изречь окончательное слово, великой, общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всъхъ племенъ по Христову евангельскому закону! Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ. Этому надлежало быть высказаннымъ, но особенно теперь, въ минуту чествованія нашего великаго генія, эту именно идею въ художественной силь воплощавшаго. Да и высказывалась уже эта мысль не разъ, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадъяннымъ: "Это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земль такой удъль? Это намъ-то предназначено въ человъчествъ высказать новое слово"? Что же, развъ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братствъ людей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловъчески-братскому единенію сердце русское, можетъ-быть, изо всъхъ народовъ наиболже предназначено, вижу слъды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ да-

ровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "въ рабскомъ видъ исходиль, благославляя Христось". Почему же намъ не вмъстить последняго слова Его? Да и Самъ Онъ не въ ясляхъ ли родился? Повторяю: по крайней мъръ, мы уже можемъ указать на Путкина, на всемірность и всечеловъчность его генія. Въдь могъ же онъ вмъстить чужіе геніи въ душъ своей, какъ родные. Въ искусствъ, по крайней мъръ, въ художественномъ творчествъ, онъ проявилъ эту всемірность стремленія русскаго духа неоспоримо, а въ этомъ уже великое указаніе. Если наша мысль есть фантазія, то съ Пушкинымъ есть, по крайней мъръ, на чемъ этой фантазіи основаться. Если бы жилъ онъ дольше, можетъ-быть, явилъ бы безсмертные и великіе образы души русской, уже понятные нашимъ европейскимъ братьямъ, привлекъ бы ихъ къ намъ гораздо болъе и ближе, чёмъ теперь; можетъ-быть, успёль бы имъ разъяснить всю правду стремленій нашихъ, и они уже болье понимали бы насъ предугадывать, перестали бы на насъ смотръть столь недовърчиво и высокомърно, какъ теперь еще смотрятъ. Жилъ бы Пушкинъ долъе, такъ и между нами было бы, можетъ-быть, менъе недоразумъній и споровъ, чъмъ видимъ теперь. Но Богъ судиль иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нъкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ. Достоевскій.

Общечеловъческое значение Пушкина.

Народность не составляеть еще исключительнаго достоинства созданій Пушкина. Изображать вёрно съ дёйствительностью природу родины, характеры своего народа, развитые его исторіей, можеть всякій, даже второстепенный поэть. Конечно, такой геніальный поэть, какъ Пушкинь, поэть, котораго лира звучала въ отвёть на многое и внё національных условій, поэть, котораго душа была развита постепеннымъ совершенствованіемъ и ученьемь, будеть находиться въ другихъ отношеніяхъ къ явленіямъ національной жизни, нежели Кольцовъ, напр., кругъ дёятельности котораго быль очень ограниченъ. Пушкинь и глубже могь чувствовать и лучше

умьть подмычать такія стороны, мимо которыхь другой поэть пройдетъ, не обративъ на нихъ вниманія. Но ставить національность картинъ и созданій въ единственную заслугу поэту нашего времени и на основаніи ея давать ему званіе великаго поэта значить не понимать поэзіи. Національность созданій дъло второстепенное, и Пушкинъ далеко выходитъ изъ тъсныхъ рамокъ національности. На его поэзіи лежить высшая печать духовнаго совершенства, печать высокаго творчества и художественности, безъ которой блъдно и вяло произведеніе искусства. Эта художественность въ созданіи сглаживаеть въ немъ ръзкія стороны національности, дълаетъ его доступнымъ всякому, даже далекому отъ національности человъку и придаетъ созданію достоинство общечеловъческое. Какъ любовь есть общее чувство, сглаживающее и примиряющее индивидуальности, соединяющее начала разрозненныя, такъ искусство есть общее для всъхъ народностей, есть тотъ свътлый міръ, гдв господствуетъ ввуная гармонія, гдв нетъ борьбы и раздора, гдъ примиряются даже ожесточенно враждующія народности. Искусство принадлежитъ всему міру, и это міровое начало даетъ смыслъ народному. Художественная сторона нскусства является тогда въ народъ, когда національный духъ его достигнетъ полнаго развитія. Многія изъ созданій древней греческой поэзіи сділались достояніемъ всего человічества и въчными, прекрасными образцами, часто стоящими выше художественныхъ созданій новыхъ народовъ, а между тѣмъ они были исключительно національны и создавались подъ рѣзкими условіями и опредъленіями исторической и государственной жизни. Произведенія греческаго искусства, кром'в того принадлежали такимъ незначительнымъ общинамъ древняго міра, которыя въ сравнении съ громадными государствами современности, кажутся микроскопическими. Какою, повидимому, ничтожною должна представляться намъ война Пелопонезская, съ незначительными средствами Аоинъ и Спарты, въ сравненіи съ тъми страшными усиліями, какія представляеть намъ борьба современная. Но въ этихъ незначительныхъ государствахъ заключался тогда весь образованный міръ, и Оукидидъ быль великимъ художникомъ въ историческомъ искусствъ. Такъ искусство и художественность кладутъ свътлый вънецъ и на произведение поэзін, выросшее на народной почвъ; они дають ему въчное, понятное всемь въкамь и народамъ существованіе, они подымають его надъ всёми другими произведеніями литературными въ народѣ. Эти качества дѣлають созданіе поэта, будь онъ русскій, англичанинь, нѣмецъ или французъ — достояніемъ всего человѣчества, гдѣ каждый встрѣчаетъ свое родное, человѣческое, тотъ духъ, который живетъ и не умираетъ въ разнообразныхъ формахъ жизни.

Пушкинъ, оставаясь народнымъ поэтомъ, былъ вмъстъ съ твмъ глубокимъ художникомъ и этимъ качествомъ своимъ, художественностью созданій своихъ, онъ стоить гораздо выше всъхъ предшествовавшихъ ему русскихъ поэтовъ. Созданіе строгихъ элементовъ народности въ поэзіи и умѣнье облечь ихъ въ блестящую художественную одежду - вотъ заслуги, оказанныя Пушкинымъ русской литературъ, вотъ за что онъ занимаетъ такое высокое мъсто въ ея исторіи, представляя собою последнюю ступень ея развитія. Съ Пушкина русская литература должна вести другую жизнь, но она не можеть развиваться внъ условій, привнесенныхъ въ нее Пушкинымъ. Каждое произведение современной русской поэзіи должно быть и народно и художественно вмъстъ. Безъ этихъ качествъ оно не будеть имъть достоинства. Въ наше время, когда Россія призвана Провиденіемъ участвовать въ решеніи европейскихъ вопросовъ, ея литература впервые начала получать извъстность внъ родныхъ границъ своихъ. Произведенія Пушкина, Гогодя и Лермонтова переводятся и читаются въ Европъ и дълаются такимъ образомъ достояніемъ всего человъчества. Такое явленіе возможно только тогда, когда они выполнять требованія искусства и тёмъ сгладять исключительность національнаго бытія своего. Изъ всёхъ русскихъ писателей ни одинъ не возбуждалъ такого сочувствія къ себъ внъ Россіи, какъ Пушкинъ. Причина этой общей симпатіи къ нему заключается въ томъ, что одному ему до сихъ поръ удалось возвести типическія особенности народнаго духа въ высшую форму искусства. Россія вправъ гордиться своимъ великимъ поэтомъ, выразителемъ духовнаго богатства народныхъ силъ, заключенныхъ имъ въ такую изящную форму. И эта же самая художесввенность созданій Пушкина діздала его гражданиномъ всего міра, позволяла ему переноситься всюду, куда только увлекалъ его геній поэзіи, давала ему средства сочувствовать многому чужому. Съ какимъ ръдкимъ художественнымъ тактомъ онъ умълъ воспроизводить въ своей поэзін образы чужого быта и усвоивать духъ поэзіи эпохъ, отдаленныхъ отъ русскаго сознанія. Величавые звуки священной поэзіи Востока, ясная прелесть классичсской формы, суровая поэзія Данта, кипящая нѣгой и сладострастіемъ жизнь Испаніи, полные и оконченные характеры Шекспира, рефлектирующая личность Гётева "Фауста", однообразные мотивы славянскихъ пѣсенъ, — все было равно доступно его духу и дѣлалось достояніемъ его поэзіи. И какъ этотъ міръ разнообразныхъ созданій понятенъ намъ, какъ слышится въ немъ присутствіе чуткаго русскаго слуха и могучей русской души! Все это Пушкинъ сдѣлалъ достояніемъ нашей поэзіи.

Буличъ.

Пушкинъ, какъ художникъ.

Въ области поэтическаго творчества Пушкинъ является исключительнымъ художникомъ, пламеннымъ жрецомъ искусства. Для него не было ничего выше искуства и въ жизни и въ поэзіи; онъ былъ чуждъ всёхъ внёшнихъ цёлей въ поэзіи, и вся жизнь его есть постоянное освобожденіе отъ этихъ внёшнихъ цёлей и стремленіе къ художественности. Постоянно проповъдоваль онъ, съ гордостью художника, независимость искусства отъ всего посторонняго и отъ жизни съ ея борьбою и волненіями. Въ превосходномъ лирическомъ стихотвореніи своемъ "Чернь" онъ такъ высоко поставиль поэта надъдъйствительнымъ міромъ, что все, кромъ искусства, должно смолкнуть передъ геніемъ поэта. Общество его же словами спрашиваетъ у поэта:

Зачъмъ онъ звучно такъ поетъ? Напрасно ухо поражая, Къ какой онъ цъли насъ ведетъ? О чемъ бренчитъ? чему насъ учитъ? Зачъмъ сердца волнуетъ, мучитъ, Какъ своенравный чародъй? Какъ вътеръ пъснь его свободна, Зато какъ вътеръ и безплодна: Какая польза намъ отъ ней?

Общество смотрить на поэта, какъ на натуру высшую; оно хочеть, чтобы не даромь горьлъ въ немъ божественный пла-

мень таланта; оно хочетъ употреблять въ пользу дивные звуки его, чтобы не пустымъ звономъ раздавались они, а были бы органами истины, добра, пользы общественной. Оно совершенно справедливо говоритъ поэту:

Нътъ, если ты небесъ избранникъ, Свой даръ, божественный посланникъ, Во благо намъ употребляй: Сердца собратьевъ исправляй, Мы малодушны, мы коварны, Безстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцемъ хладные скощы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнъздятся клубомъ въ насъ пороки: Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смълые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Критика того времени, хотя и не прямо, но высказывала иногда эти мысли Пушкину. Она ждала отъ него созданій, возникшихъ въ волненіяхъ жизни, кипящихъ страстными порывами современности, созданій, въ которыхъ бы слышались звуки любви и вражды дъйствительности. Эта критика хотъла того отъ Пушкина, чего онъ не могъ дать ей. Его призваніе былъ міръ чисто художественной дъятельности, далекой отъ всего временнаго. Для него этотъ міръ былъ страною свътлою и спокойною, небомъ, не возмущаемымъ никакими земными порывами и наполненнымъ образами, возникавшими только въ душт поэта. Онъ говоритъ о себт подобныхъ:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвь: Мы рождены для вдохновенья— Для звуковь сладкихъ и молитвъ.

И постепенно уходилъ Пушкинъ отъ міра, постепенно уединялся онъ въ свътлую область поэзіи. Твердъ, спокоенъ и угрюмъ, стоялъ онъ передъ голосомъ общественнаго мнѣнія, передъ голосомъ критики, не дорожа любовью народной и съ презръніемъ смотря на судъ толпы:

Ты царь: живи одинъ, —

говорить онъ поэту, -

Дорогою свободной Или, куда влечеть тебя свободный умь,

Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, Не требуя наградъ за подвиг благородный, Онъ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшій судъ; Всъхъ строже оцьнить умъешь ты свой трудъ. Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ, И плюетъ на алтаръ, гдъ твой огонь горитъ, И въ дътской ръзвости колеблетъ твой треножникъ.

Это исключительное преслъдование цълей чисто художническихъ и совершенное отчуждение отъ міра дъйствительности, это стремление очистить храмъ искусства отъ торжниковъ, случайно поселившихся въ немъ, является во всей дъятельности Пушкина и особенно слышно въ его полемическихъ статьяхъ, написанныхъ съ ръдкой и ядовитой ироніей. На основаніи этого стремленія художественности и постепеннаго освобожденія отъ цъпей внъшнихъ, мы можемъ всю поэтическую дъятельность Пушкина раздълить на три періода, согласные съ событіями его жизни и развитіемъ таланта. Первый періодъ поэтической деятельности его, который можно назвать лицейскимъ, заключаетъ въ себъ его первые шаги въ поэзіи, состоящіе частью изъ подражаній, частью представляющіе первыя робкія, но самостоятельныя попытки. Этоть періодъ оканчивается появленіемъ "Руслана и Людмилы". Слъдующій за тъмъ есть періодъ странствованія Пушкина по Россіи и уединенной жизни въдеревнъ, — періодъ, когда зрълъ его талантъ и приготовлялся къ возвышеннымъ подвигамъ творчества, освобождаясь изъ-подъ могучаго вліянія Байрона, но волнуясь еще волненіями житейскими и сочувствуя скорбямъ и радостямъ дъйствительности. Третій періодъ представляеть намъ полное развитіе Пушкина, какъ художника, полную свободу и самостоятельность поэта и можеть быть названъ сознательно-художественныму. Здёсь онъ исключительный жрецъ искусства, чуждый всему земному и живущій въ отдаленной и высокой сферъ своихъ созданій. Эти періоды не нами придуманы, но въ нихъ легче обозръть жизнь и дъятельность поэта, а потому они необходимы. Въ последній періодъ творчества и совершеннаго освобожденія отъ внъшнихъ цълей, Пушкинъ дошелъ даже до глубокаго и холоднаго эгоизма, до котораго можетъ только дойти художникъ, постоянно живущій съ образами и созданіями своей фантазіи, а не съ людьми. Освобождая себя, какъ художника, отъ всъхъ разнообразныхъ цълей въ жизни, въ которыхъ благородный человъкъ видитъ и мысль и правду, выражаясь презрительно о заботахъ современниковъ:

Все это, видите ль, слова, слова, слова,

Пушкинъ очерчиваетъ волшебный кругъ около художника. Ему бъ хотълось не давать никому и ни въ чемъ отчета и служить только и угождать самому себъ,

По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ, Дивясь божественной природы красотамъ, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—Вотъ счастье! Вотъ права!

Таковъ Пушкинъ во всей наготъ своего холоднаго художническаго эгоизма, презирающій все то, за что другіе борются и проливаютъ кровь и слезы. Но не бросимъ же камень осужденія въ великаго поэта нашего за его исключительное служеніе искусству и одному только искусству. Этоть эгоизмъ великаго художника и понятенъ и простителенъ вмъстъ. Искусство есть одно изъ высшихъ проявленій человъческаго духа; оно имъетъ свои законы и свои условія. И вопросъ еще въ томъ, можетъ ли искусство служить страстямъ и волненіямъ міра дъйствительнаго? можетъ ли оно и должно ли спускаться съ свътлаго неба своего въ земную область страданій? Выставляя такія требованія, будемъ ли мы справедливы? Въ наше время, какъ я сказалъ уже, много критиковъ вооружаются противъ исключительной художественности въ созданіяхъ поэзіи; они хотять отъ нея служенія общему дълу развитія. Но не станемъ забывать, что поэзія, какъ и другія искусства, принадлежить къ особенному кругу созданій человъческаго духа. Въ искусствъ истина выражается не прямымъ языкомъ: она закрываетъ мысль свою въ чувственную форму и только сквозь нея говоритъ духу. А чувственная форма подчинена вствы условіямь чувственности и есть низшая форма сознанія. И въ ней можно преподавать уроки, но есть высшій способъ, и этотъ способъ есть мышленіе. Искусство можетъ служить конечнымъ цёдямъ, но оно должно остаться самимъ собою. Такъ и поэзія, и въ настоящее время разнообразныхъ стремленій, должна, кажется, остаться только въ художественной сферъ, и если мысль поэта близко сочувствуеть настоящему, то возблагодаримъ его за эту теплую любовь къ намъ, но не осудимъ другого поэта, который весь отдается отторгнутымъ отъ земли и свободнымъ образамъ своего вдохновенія. Намъ кажется, что близкое отношеніе къ современности не въ состоянія выработать великаго поэта. Мы знаемъ изъ исторіи поэзіи, какъ недолговъчны и эфемерны тъ созданія ея, которыя вырастають на современной почвъ, подъ вліяніемъ быстро идущихъ другь за другомъ событій и волненій дійствительности. Они походять на весенніе цвъты, отлетающіе съ первымъ вътромъ осени. Придетъ другая весна, вновь заговоритъ въчная, неумолкающая жизнь природы, и между блестящими новыми формами увидимъ ли мы старыя? А между тъмъ — въковой дубъ гордо шумитъ могучими листьями, чуждый той мимолетной жизни, которая кипить и мятется вокругь него. Не онъ ли типъ прочности и въчной силы природы? Такъ и созданія поэта, уединенно зръющія вдали отъ бурь современности, остаются въчными образцами. Къ созерцанію ихъ прекрасныхъ, долговъчныхъ формъ улетаетъ душа, измученная скорбями житейскими; она видить въ нихъ залогъ грядущаго бытія, величественное свидътельство безсмертія духа. Благо же великому поэту, умъвшему создать намъ очарованный міръ искусства, гдъ все свътло и отрадно, гдъ царитъ неземная и не возмущаемая страстью красота. Его образцы, далекіе, но прекрасные, всегда подымутъ, согръють и оживять душу. Безъ наслажденія искусствомъ темна и печальна жизнь.

Поэзія Пушкина не умреть, пока будеть существовать русскій языкь и русская литература. Его могучій геній говорить намь объ этомь безсмертіи въ потомствъ русскаго народа. Его созданія, проникнутыя геніемь народности и художественности, воспитанныя силою уединеннаго творчества, долго будуть образцами для многихь покольній русскихь поэтовь. Пройдуть года, но волшебные звуки, лельявшіе слухь нашь, будуть звучать и для отдаленныхь потомковь съ тою же возбуждающею силою, съ какою раздаются они для нась. Имь суждена долговъчная жизнь, и къ памятнику поэта, по его собственному выраженію, "не зарастеть народная тропа". Но духь народа живеть также могущественною жизнью, и въчно бьеть въ груди его ключь живыхь и свъжихь силь. Русскимь сердцемъ мы въримь въ великую будущность нашего отечества, мы въримъ, что будеть еще много поэтовъ на нашей

великой земль, что она даеть содержание и силы для многихъ возвышенныхъ созданій вдохновенія. И нынь, посреди страшныхъ испытаній, посланныхъ намъ неиспов'йдимою волею Провидънія, посреди смуть потрясеннаго міра, посреди этихъ могучихъ событій современности, приготовленныхъ цълыми въвами предшествовавшей исторіи, когда голосъ поэта долженъ смолкнуть предъ громами брани, мы въримъ сознательно въ возможность и величе грядущихъ явленій русской поэзіи. Бурныя времена браней и тяжелыхъ народныхъ испытаній вмъсть еъ темъ были всегда временами скрепленія и развитія народныхъ силъ. Великодушный порывъ русскаго народа могъ явиться только въ славную войну Двенадцатаго года, и за нею слъдовала блестящая эпоха внутренняго развитія государственныхъ и народныхъ силъ, и за нею только могла явиться поэзія Пушкина. Сколько великихъ поэтовъ являлось вслъдъ за бурными временами, записанными исторіей! Поэмы Гомера возникли во время броженія національной жизни Греціи, геній Данта окръпъ и выросъ посреди нестройнаго міра среднихъ въковъ, Мильтонъ и Шекспиръ слъдовали за пуританскими волненіями въ Англіи. Кто знаетъ, можетъ-быть, и теперь, въ виду кровавой войны, гдв-нибудь въ уединенномъ углу нашего необъятнаго отечества, тихо эрветь и развивается поэть будущаго величія Россіи, будущей славы нашей, за которую порукой силы народныя. Пушкинъ былъ поэтомъ минувшаго царствованія, и вм'єсть съ началомь его возмужаль и таланть его.

Значеніе Пушкина въ исторіи литературнаго языка.

Литературный языкъ, какъ извъстно, представляетъ двъ главныя формы ръчи: прозаическую и стихотворную. Пушкинъ и въ той и въ другой оказалъ литературному языку поистинъ великія услуги относительно изящества. Правда, были и до Пушкина такіе писатели, которые заботились объ изяществъ ръчи и своими произведеніями имъли благотворное вліяніе на языкъ въ этомъ отношеніи. Припомнимъ Карамзина, Жуковскаго и Батюшкова. Такъ, со времени литературной дъятельности Карамзина для прозы стали обязательными качества

изящной ръчи, плавность и благозвучіе, или то, что онъ называль французскимъ словомъ élégance, которое переводилось по-русски выраженіемъ "пріятность слога"; а благодаря произведеніямъ Жуковскаго и Батюшкова для стихов стали обязательными музыкальность и пластичность. Словомъ, и до Пушкина литературный языкъ со стороны изящества формъ представляется значительно обработаннымъ другими писателями. Однако, сравнивъ языкъ произведеній Пушкина съ языкомъ произведеній вышепоименованныхъ писателей, ясно видимъ превосходство перваго надъ послъднимъ. Вникнувъ глубже въ различіе ихъ достоинствъ, мы приходимъ къ заключенію, что изящество какъ прозаической, такъ и стихотворной ръчи до Пушкина было въ сущности внъшнимъ: оно касалось, главнымъ образомъ, звуковой стороны языка, формы литературныхъ выраженій. Пушкинъ не могь не замътить этой односторонности. Онъ видълъ, что такъ называемая "пріятность слога" въ прозъ удобно переходила подъ перомъ своихъ усердныхъ ревнителей въ изысканность, вычурность и притворность ръчи, а музыкальность и пластичность стиховъ легко вырождалась, съ одной стороны, въ пріятное для уха риемическое пустозвонство, съ другой — въ фантастическую небывальщину картинъ и образовъ. Онъ ясно понималъ, что все это есть слъдствіе разобщенности формы отъ содержанія. Для него, какъ для художника, изящество внёшней формы словеснаго произведенія представлялось неразрывнымъ съ внутреннимъ его содержаніемъ: одно взаимно обусловливалось другимъ, потому что только при этомъ условіи возможно изящество литературнаго языка, какъ нъчто дъйствительное, прочное и поставленное виъ опасности принять ложное направление въ своемъ дальнъйшемъ развитіи. Согласно съ этимъ Пушкинъ и основалъ изящество литературнаго языка въ своихъ произведеніяхъ на такихъ его качествахъ, которыя вытекають изъ самой сущности или природы главнъйшихъ формъ ръчи прозаической и стихотворной при условіи полнаго соотвътствія между внъшнимъ выраженіемъ и внутреннимъ его содержаніемъ, и такимъ образомъ внесъ въ изящество ръчи начало художественности.

Проза есть естественная форма; естественно же говоритъ человъкъ, когда ему есть, что сказать, а говоря старается выразиться такъ, чтобы его вполнъ поняли. Вотъ и всъ условія естественной ръчи. Они, какъ мы видимъ, чрезвычайно просты,

но и чрезвычайно важны. На нихъ-то исключительно и основываются тъ существенныя качества прозы, которыми обусловливается изящество литературныхъ произведеній. Такими качествами являются: для содержанія произведеній — богатство и занимательность мыслей, для выраженія ихъ — точность и чистота или, какъ говоритъ Пушкинъ, опрятность языка, которую составляють следующія качества: грамматическая правильность, догическая последовательность, стилистическая ровность, а также и художественная стройность, то-есть соразмърность частей произведенія между собою и съ цълымъ. Когда эти внутреннія и внъшнія качества находятся въ тъсной, неразрывной связи между собою, когда одни изъ нихъ взаимно обусловливаются другими, тогда изящество прозаической формы ръчи становится художественнымъ; но въ основаніи его, какъ видимъ, лежитъ начало художественной простоты. Ей-то и училь Пушкинь, какъ художникь, въ своихъ письмахъ, замъткахъ и произведеніяхъ, писанныхъ прозою. Такъ, изъ письма къ кн. П. А. Вяземскому (отъ 13 іюдя 1825 г.) мы видъли, что Пушкинъ смотръль на прозу, какт на языкт мыслей. Въ черновомъ отрывкъ его "О слогъ" (1822 г.) читаемъ: "что сказать о нашихъ писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самыя обыкновенныя, думають оживить дътскую прозу дополненіями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажутъ дружба, не прибавивъ: сіе священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать рано поутру, а они пишутъ: едва первые лучи восходящаго солнца озарили восточные края дазурнаго неба. Какъ это все ново и свъжо! Развъ оно лучше потому только, что длиннъе?...

"Точность и опрятность — воть первыя достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему не служать; стихи — дёло другое (впрочемь, и въ нихъ не мізшало бы нашимъ поэтамъ имізть сумму идей гораздо позначительніве, чізмъ у нихъ обыкновенно; съ воспоминаніями о протекшей юности литература наша далеко не подвинется").

Положивъ въ основаніе изящества прозаическаго языка начало художественной простоты, Пушкинъ даль прозъ надлежащее направленіе для дальнъйшаго ея развитія. Послъ него увлекаться пріятностью слова или внъшнею элегантностью ръчи, какъ это было почти обязательнымъ послъ Карамзина, стало дъломъ непригоднымъ для всякаго даровитаго писателя. Но,

будучи виновникомъ такого плодотворнаго начала для прозаической формы литературнаго языка, Пушкинъ чувствоваль себя въ ней гораздо слабъе, относительно правильности языка, чёмъ въ стихотворной. Въ своихъ "Критическихъ замъткахъ" (1830—1831 гг.) онъ писалъ о себъ слъдующее: "Вотъ уже 16 лътъ, какъ я печатаю, и критики замътили въ моихъ стихахъ пять грамматическихъ ошибокъ (и справедливо); я всегда быль имъ искренно благодарень и всегда поправляль замъченное мъсто. Прозой пишу я гораздо неправильные, а говорю еще хуже и почти такъ, какъ пишетъ Гоголь" (V, 135). И дъйствительно, гораздо легче отыскать нъкоторыя неправильности въ языкъ произведеній Пушкина, написанныхъ прозою, чъмъ въ его стихотвореніяхъ. Приведу два-три примъра. Въ повъсти "Арапъ Петра Великаго" (1827 г.) читаемъ: "Въ присутствіи Ибрагима графиня следовала (вм. следила) за всеми его движеніями, вслушивалась во всв его рачи" (IV, 4). Или: "Я конечно, собою не дуренъ (говоритъ Корсаковъ, одно изъ дъйствующихъ лицъ повъсти), но случалось, однакожъ, мнъ обманывать мужей, которые были, ей Богу ничъмъ не хуже моего" (вм. меня) (IV, 26). Отмътимъ слъдующій полонизмъ, употребленный Пушкинымъ въ письмъ къ князю Н. Г. Репнину (11 февраля 1836 г.): "Съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенной преданностью есмь, милостивый государь, вашего сіятельства покоритийшим слугою Александръ Пушкинъ" (VII, 394). Два другіе подобные же полонизма встръчаются въ черновыхъ его бумагахъ (IV, 108-399). Болъе замъчательны тъ выраженія, которыхъ ошибочность въ прозаической ръчи представляются плодомъ поэтическаго настроенія души ихъ автора. Сюда можно отнести употребление нъкоторыхъ эпитетовъ въ родъ, напримъръ, эпитета дъямельный къ слову ложка въ выражении: "звонъ тарелокъ и дъямельных ложект возмущаль одинь общее безмолвіе" (IV, 17); или употребленіе отвлеченныхъ имень существительныхъ вмъсто одушевленныхъ предметовъ и лицъ, напримъръ: "литература, ученость, философія оставляли тихій кабинеть и являлись въ кругу большого свъта угождать модъ, управляя ея мнъніемъ" (IV, 2). Это напоминаетъ, съ одной стороны, стихи Пушкина "Къ портрету Жуковскаго":

> Его стиховъ пленительная сладость Пройдеть вековъ завистливую даль

съ другой — древнее употребление словъ "знание", "рождение" вмъсто "знакомые", "родственники". Слово "склоненіе" Пушкинъ употреблялъ вивсто "склонъ"; напримвръ: "бульваръ, обсаженный липками, проведенъ по склоненію Машука" (IV, 416) или: "я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію и сталъ опускаться по отлогому склопенію горы къ свёжимъ равнинамъ Арменіи" (IV, 430); или еще: "проъхавъ ущелье, вдругь увидали мы на склонении противоположной горы до двухсотъ казаковъ" и т. д. (IV, 447). Слово "сознаніе" Пушкинъ смъщивалъ въ употреблении со словомъ "признание"!.. "А если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, — писалъ онъ, и заслуживають какое-нибудь уважение, то можно ли намъ оныя слушать изъ устъ поэтическаго старца" (V, 65). Весьма возможно, впрочемъ, что слова эти въ его время употреблялись именно такъ, какъ у Пушкина. Подобныхъ промаховъ и неправильностей языка можно указать не мало въ его прозъ, но всъ они совершенно ничтожны передъ тъми высокими достоинствами, которыми отличается она вообще по языку и содержанію.

Обратимся теперь къ стихотворной формъ дитературнаго языка и посмотримъ, что сдълалъ Пушкинъ въ этой области.

Мы видъли, что Пушкинъ, опредъляя главныя качества прозы, сказаль: "Проза требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни ка чему не служата; стихи — доло другое (впрочемъ, и въ нихъ не мъшало бы нашимъ поэтамъ имъть сумму идей позначительнъе, чъмъ у нихъ обыкновенно и т. д.)". Въ романъ, характеризуя Онъгина и Ленскаго, онъ выражаетъ ихъ различіе посредствомъ слъдующихъ сравненій:

Волна и камень, Стихи и проза, ледъ и пламень Не столь различны межъ собой (III, 266).

Итакъ, стихи — дъло другое, а не то же, что проза: въ нихъ блестящія выраженія умъстны: въ прозъ нътъ. Постараемся, по возможности, выяснить это положеніе.

Проза есть, такъ сказать, словесная необходимость, стихи жесловесная роскошь. Въ стихотворени (1821 г.) "Къ моей чернильницъ" Пушкинъ называетъ стихи затъями:

Наперсница моя!

Оставь, оставь порой Привычныя затви И дактиль и хореи Для прозы почтовой (I, 245).

Въ самомъ дълъ, проза есть обыкновенная, естественная форма ръчи; стихи — необыкновенная, искусственная. Прозою выражается умственная дъятельность, свойственная всъмъ людямъ; стихами выражается только творческая дъятельность или фантазія, врожденная лишь нъкоторымъ людямъ. Существеннымъ содержаніемъ прозы служать мысли, а существеннымъ содержаніемъ стиховъ служать вымыслы; поэтому стихи суть по преимуществу языкъ поэзіи. Если прозаическая річь, какъ языкъ мыслей, должна отличаться точностью и опрятностью выраженій, какъ говорить Пушкинь, то стихотворная ръчь, какъ языкъ вымысловъ, языкъ поэзіи, должна отличаться роскошью, блескоми словесной формы какь по звукамь. такъ и по содержанію. Стихи — это языкъ, употребляемый поэтомъ въ минуты вдохновенія, на пиру своего воображенія и поражающій нежданнымъ стеченіемъ звуковъ и словъ, остротою шутки и странностью созвучій. Такъ говоритъ Пушкинъ:

> Подруга думы праздной, Чернильница моя!

Въ минуты вдохновья Къ тебъ я прибъгалъ, И музу призывалъ На пиръ воображенья.

И подъ вечеръ, когда
Перо по книжкѣ бродить,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебѣ находитъ
Концы моихъ стиховъ
И върность выраженья,
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье,
То ѣдкой шутки соль,
То (тутъ же) слогъ суровый,
То странность риемы новой,
Неслыханной дотоль (I, 243—244).

Въ другомъ, болъе позднемъ произведеніи Пушкина "Егппетскія ночи" (1835 г.) мы находимъ подобное же опредъленіе стиховъ въ слѣдующихъ словахъ: "Однажды утромъ Чарскій чувствовалъ то благодатное расположеніе духа, когда мечтанія явственно рисуются передъ вами, и вы обрѣтаете живыя, неожиданныя слова для воплощенія видѣній вашихъ, когда стихи ложатся подъ перо ваше, и звучныя риемы бѣгутъ навстрѣчу стройной мысли" (V, 389).

Существеннымъ признакомъ или качествомъ стиховъ, какъ языка поэзіи, отличающагося блескомъ формы и содержанія отъ прозы, служитъ такъ называемая смълость выраженій. Въ бумагахъ Пушкина сохранилась одна замѣтка, относящаяся къ 1827 году, въ которой онъ говоритъ о смедости выраженій и различаетъ въ ней двѣ степени: низшую и высшую. Такъ какъ эта замѣтка не велика, а между тѣмъ имѣетъ весьма важное значеніе для нашего вопроса, то я позволю себѣ привести ее здѣсь вполнѣ. Онъ говоритъ: "Есть различная смѣлость: Державинъ написаль: "былъ на высотѣ... Счастіе къ тебѣ хребетъ свой съ грознымъ смѣхомъ повернуло... ты видишь; видишь, какъ мечты, сіянье вкругъ тебя заснуло". Жуковскій говоритъ о Богѣ:

Онъ въ дымъ могилъ Себя облекъ.

"Мы находимъ эти выраженія смълыми. Крыловъ говорить о храбромъ мужикъ:

Онъ даже хаживалъ одинъ на паука.

"Французы донынъ еще удивляются смълости Расина, употребившаго слово рауе, помостъ:

> En voyant l'étranger d'un pied silencieux Fouler avec respect le pavé de ces lieux.

"И Делиль гордится тъмъ, что онъ употребилъ слово vache. Жалка словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критикъ. Жалка участь поэтовъ (какого бы достоинства они, впрочемъ, ни были), если они принуждены славиться позабытыми побъдами надъ предразсудками вкуса.

"Описаніе водопада:

"Алмазна сыплется гора Съ высотъ" и пр.

есть высшая смълость — смѣлость воображенія, созданія, гдѣ планъ обширный объемлется творческою мыслію; такова смѣлость Шекспира, Dante, Milton, Гёте въ "Фаустъ", Мольера въ "Тартюфъ", Фонвизина въ "Недорослъ".

"Кальдеронъ называлъ молнію огненными языками небесъ, глаголющихъ землъ. Мильтонъ говоритъ, что адское пламя давало только различать въчную тьму преисподней" (V, 60—61).

Отсюда видно, что Пушкинъ признаваль въ поэтическомъ языкъ двоякую смълость: низшую, состоящую въ удачномъ употребленіи словъ, пожалуй, формъ, не принятыхъ въ обществъ, и высшую, основанную на творческой смълости воображенія, состоящую въ употребленіи такахъ метафорическихъ выраженій, которыми обозначаются образы чего-либо обширнаго, великаго и пр. Произведенія Пушкина представляють большое богатство примъровъ той и другой смълости выраженій. Къ первой, или низшей, могуть быть отнесены всъ случаи употребленія словъ и формъ, заимствованныхъ изъ книжной славянской и устной простонародной ръчи, а также и словъ, составленныхъ самимъ поэтомъ, каковы, напримъръ: непробудимый (сонъ) (II, 17), праздномыслить (II, 116), утъснительный (санъ) (III, 393), проворье (III, 452), увърчивость (= убъдительность) (III, 577), вольнодуміе (V, 38), вольномысліе (V, 40), безнравствіе (V, 45), неблагосклонствовать (V, 94), дамоподобный (V, 109), простомысліе (V, 116), цапцарапствовать (V, 122), противомысліе (V, 144), чтеньебъсіе (VII, 118), аристократичествовать (V, 134), распечатный ("я жду "Полярной Звъзды" въ надеждъ видъть тебя распечатнаго"—VII, 64), хандрливъ (VII, 242), подуруша (VII, 370) и др. Ко второй, или высшей, смълости относятся разнаго рода метафорическія выраженія. Эта последняя смелость въ стихахъ Пушкина была замъчена довольно рано. Еще въ 1818 году, по поводу посланія его къ Жуковскому (на изданіе книжекъ "Для немногихъ"), заключавшаго въ себъ стихъ:

Онъ (то-есть поэть) духомъ тамъ, въ дыму стольтій,

князь Вяземскій писаль изъ Варшавы (25 апрыля 1818 года) къ Жуковскому слъдующее: "Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. Вз дыму столютій! Это выраженіе — городъ. Я все отдаль бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестія! Надобно намь посадить его въ желтый домъ, не то этоть бъщеный сорванець насъ всъхъ заъсть, насъ и отцовъ нашихъ. Знаешь ли, что Державинъ испугался бы дыма столютій? О прочихъ и говорить нечего" (I, 194). Подобныхъ выраженій-городовъ въ стихахъ Пушкина не мало. Къ нимъ

можно отнести, напримъръ, слъдующія: пиръ воображенья (І, 310), пустыня міра (І, 348), морей пожаръ (ІІ, 76), риза бурь (ІІІ, 225), дождь страстей (ІІІ, 394) и т. п. Но не въ нихъ и не въ смълости вообще поэтическаго языка заключается та сила и то изящество, которыя исключительно свойственны стихамъ Пушкина. Смълые эпитеты, метафоры, сравненія, образы встръчаются у всъхъ поэтовъ, и въ этомъ отношеніи, безспорно, первое мъсто принадлежитъ Державину. У кого другого можно найти выраженіе смълъе, напримъръ, его стиха:

Глотаетъ царства алчна смерть!

или слъдующаго изображенія Суворова:

Вихрь полунощный, летить богатырь! Тьма оть чела, съ посвиста пыль! Молньи оть взоровь бъгуть впереди, Дубы грядою лежать позади. Ступить на горы — горы трещать, Ляжеть на воды — воды кипять, Граду коснется — градъ упадеть, Башни рукою за облакъ бросаеть.

Но эта смълость, основанная на преувеличении, хотя поражаетъ воображение читателя, однако не удовлетворяеть его эстетического чувства: она отзывается ложью и бьеть всегда мимо цъли, мимо того, что выражаеть. Такъ, смълость выраженій въ стихахъ, изображающихъ Суворова, рисуеть читателю образъ какого-то сказочнаго, миническаго богатыря, а вовсе не образъ дъйствительнаго Суворова, нашего русскаго героя; а стихъ "Глотаетъ царства алчна смерть" вмъсто чувства ужаса способенъ своимъ гиперболизмомъ вызвать въ умъ читателя такой вопросъ: "и неужели ни однимъ даже не поперхнется?... "Не такова смълость выраженій въ стихахъ Пушкина, существеннымъ признакомъ которой служитъ художественность. Она у него не переступаеть той міры, которая требуется, съ одной стороны, чувствомъ красоты по отношенію къ формъ, а съ другой — чувствомъ правды по отношенію къ содержанію того, что выражается. Такъ, напримъръ, смелость выраженія въ стихе Пушкина, относящемся къ Петру Великому въ Полтавскомъ сраженіи:

Онъ поле пожираль очами,

вполнъ художественна, потому что она, съ одной стороны, прекрасно рисуетъ самый образъ взора Петра, невольно вызывая представление о необычайной подвижности очей его и необычайномъ блескъ ихъ, а съ другой — върно выражаетъ то состояние души его, ту энергию его внимания, которыя требовались величиемъ происходящаго передъ нимъ события. Въ стихахъ, рисующихъ намъ образъ Петра, нътъ ни одного выражения, которое отзывалось бы гиперболизмомъ, подобнымъ типерболизму стиховъ Державина, рисующихъ образъ Суворова: а между тъмъ величие Петра изображено въ нихъ, можно сказать восхитительно-прекрасно

Тогда-то, свыше вдохновенный, Раздался звучный глась Петра: "За двло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толной любимцевъ окруженный, Выходитъ Петръ. Его глаза Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ. Онъ весь, какъ Божія гроза. Идетъ. Ему коня подводятъ. Ретивъ и смиренъ върный конь. Почуя роковой огонь, Дрожитъ, глазами косо водитъ И мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ (III, 142).

Читая эти стихи, мы чувствуемъ, ощущаемъ, такъ сказать, всю правду того, что изображаеть намъ поэть-художникъ: мы какъ бы видимъ передъ собою дъйствительнаго Петра, могущественнаго, вдохновеннаго, и какъ бы собственными глазами слъдимъ за его движеніями, быстроту и энергію которыхъ Пушкинъ выразилъ лишь краткостью предложеній. Подобною же художественностью отличаются эпитеты, метаформы и сравненія: эпитеты у него — мътки и содержательны, метафоры картинны, сравненія — върны, и всь они служать къ тому, чтобы выразить чувство, мысль, дъйствіе, явленіе, предметъ, лицо, событие въ такой формъ, въ которой все это представляется читателю живымъ и върнымъ дъйствительности, возбуждая въ душъ его чувство, соотвътствующее своему содержанію. Здісь не время и не місто входить мні въ подробный разборъ всего поэтическаго языка Пушкина: я позволю себъ привести лишь два-три примъра для наглядности своей мысли.

Эпитет, напримъръ, "блистательный" къ слову "позоръ" въ слъдующихъ стихахъ изъ оды "Наполеонъ".

И Франція, добыча славы, Плъненный устремила взоръ, Забывъ надежды величавы, На свой блистательный позоръ (I, 252).

чрезвычайно мътко и необыкновенно содержательно характеризуетъ ближайній результатъ революціоннаго движенія Франціи, подпавшей подъ власть Наполеона I.

Memaфора, выражающая пробуждение природы весною, въ слъдующихъ стихахъ:

> Улыбкой ясною природа Сквозь сонъ встръчаеть утро года (III, 358).

поражаетъ картинностью и граціей образа. Приведу еще одинъ примѣръ сравненія въ слъдующемъ небольшемъ стихотвореніи:

Я пережиль свои желанья,
Я разлюбиль свои мечты!
Остались мив одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подь бурями судьбы жестокой
Увяль цвытущій мой вынець!
Живу печальный, одинокій,
И жду: придеть ли мой конець?
Такь, позднимь хладомь пораженный,
Какь бури слышень зимній свисть,
Одинь на выткы обнаженной
Трепещеть запоздалый листь (П, 238).

Какъ върно здъсь образъ одинокаго листа на въткъ, трепешущаго отъ поздняго осенняго вътра и готоваго каждый мигъ упасть съ дерева, выражаетъ чувство печальнаго одиночества поэта, пережившаго свои желаніи и разлюбившаго свои мечты! Такова художественная смълость выраженій въ стихахъ Пушкина. Подъ его перомъ стихи впервые возвысились на ту ступень изящества, на которой они являются уже настолько же естественнымъ, легкимъ и свободнымъ, насколько реально-правдивымъ и живымъ выраженіемъ поэтической красоты и правды явленій міра внутренняго и внъшняго. Въ нихъ чувства, мысли, лица, дъйствія, картины природы, времена года, словомъ, что только служитъ ихъ содержаніемъ, полно жизни, движенія, граціи и правды. Стихи Пушкина — это новый, созданный имъ языкъ самой жизни и природы въ своей изящной формъ. Пушкинъ справедливо сказалъ о себъ:

И долго буду тымъ любезенъ я народу, Что звуки новые для пъсено я обрълъ.

Правъ и Жуковскій, замънившій стихъ Пушкина:

Что въ мой жестокій віжь возславиль я свободу,

стихомъ:

Что прелестью живой стиховь я быль полезень,

Остается отмътить еще одну черту поэтическаго языка Пушкина, важную въ томъ отношении, что она характеризуетъ взглядъ его на народность въ языкъ, какъ поэта-художника. Черта эта состоить въ отсутствии у Пушкина того намъреннаго искаженія языка, которое, по мижнію другихъ писателей, считается необходимымъ въ томъ случав, когда выводятся въ произведеніи лица, принадлежащія иной національности, или такого класса русскаго народа, который отличается по языку особымъ говоромъ и исключительными выраженіями. Такъ, въ повъсти "Капитанская дочка" Пушкинъ сначала заставиль было генерала-нъмца говорить по-русски съ нъмецкимъ выговоромъ, но не выдержалъ, н въ концъ своей непродолжительной беседы съ Гриневымъ генераль-немецъ затовориль у него на правильномъ русскомъ языкъ. Въ драмъ "Скупой рыцарь" жидъ выражается у Пушкина чистымъ русскимъ языкомъ. Въ трагедіи "Борисъ Годуновъ" французъ Маржереть и нъмецъ Розенъ преимущественно говорять .каждый на своемъ языкъ, а не на русскомъ. Въ народныхъ сценахъ этой трагедіи и даже вь произведеніяхъ исплючительно простонароднаго характера, изобилующихъ реченіями и оборотами простонароднаго языка, мы не замвчаемъ тъхъ особенностей, которыми обозначается исключительность говора какого-либо сословія, или лица. Ясно, что Пушкинъ всегда и вездъ имълъ въ виду существенную сторону содержания предмета и отбрасываль мелочи. Не въ личномъ выговоръ словъи не въ исключительныхъ особенностяхъ языка того или другого класса людей онъ видълъ сущность дъла, а въ нравахъ, обычаяхъ, въ складъ и образъ мыслей и проч. Вотъ, напр,, стихи Пушкина (1833 г.), которые по содержанію своему представляють произведение вполнъ простонароднаго характера:

Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ, Непремънно ужъ помянемъ Трехъ Матренъ, Луку, съ Петромъ Да Пахомовну потомъ. Мы живали съ ними дружно: Ужъ какъ хочешь, будь, что будь — Этихъ надо помянуть, Помянуть намь этихъ нужно: Поминать такъ поминать, Начинать такъ начинать, Лить такъ лить, разливъ разливомъ. Начинай же, свать, пора! Трехь Матренъ, Луку, Петра Мы помянемъ пивомъ, А Пахомовну потомъ Пирогами да виномъ, Да еще ее помянемъ-Сказки сказывать мы станемъ. Мастерица въдь была! И откуда что брала? А куда разумны шутки, Приговорки, прибаутки, Небылицы, былины Православной старины! Слушать, такъ душь отрадно: Кто придумаль ихь такъ складно? И не пиль бы, и не ъль Все бы слушаль, да глядъль. Стариковъ когда-нибудь (Жаль, теперь намъ недосужно) Надо будеть помянуть: Помянуть и этихъ нужно... Слушай, свать: начну первой, Сказка будеть за тобой (II, 149—150).

Какое прекрасное произведеніе! Сколько въ немъ живой правды! Какъ мастерски умълъ Пушкинъ сочетать грубость понятій простого человъка съ благородными качествами его русской души: широтою чувства и смысломъ поэзіи!... Такъ Пушкинъ охарактеризовалъ въ этомъ произведеніи нашу русскую простонародность! А какой языкъ! При многихъ, чисто русскихъ народныхъ оборотахъ ръчи, при чисто русскомъ простонародномъ складъ изложенія мыслей и чувствъ Пушкинъ не допустиль ни одного намъреннаго искаженія формы; онъ не замъниль даже слова "непремънно" обыкновенно употребительною въ просторъчіи формою "безпремънно", и мъсто-

именія "этихъ" формою "евтихъ" или "ентихъ" и т. п. Очевидно, что всякое лишнее искаженіе русскаго языка и общихътипическихъ формъ простонародной ръчи было противно его чувству художника, соблюдающаго во всемъ извъстную мъру.

Итакъ, значеніе Пушкина въ исторіи нашего литературнаго языка такъ же, какъ и въ исторіи литературы, опредъляется, главнымъ образомъ, дъятельностью его какъ поэта-художника. Ею, между прочимъ, объясняется и несомнънное превосходство Пушкина надъ предшествовавшими ему дъятелями въ исторіи языка — Ломоносовымъ и Карамзинымъ.

Ломоносовъ дъйствоваль, какъ ученый. Заслуга его по отношенію къ литературному языку состояла въ томъ, что онъ върно опредълилъ главные его источники, именно, языки: книжный славянскій и устный русскій народный. Карамзинъ дъйствоваль, какъ митераторг. Заслуга его состояла въ томъ, что онъ сблизилъ литературный языкъ съ устнымъ, разговорнымъ языкомъ образованнаго общества. Пушкинъ дъйствоваль, какь поэтт-художникт. Заслуга его въ томъ, что онъ далъ прочное основание для правильнаго и успъшнаго развитія литературнаго языка, указавъ для прозаической его формы начало художественной простоты, а для стихотворной — начало художественной смплости выраженій. Ломоносовъ сообщиль литературному языку характерь схоластическій, кабинетный; Карамзинъ придаль ему характеръ общественный, характеръ изящной ръчи, такъ сказать, салонный; Пушкинъ же даль литературному языку характерь художественно-пародный, сдълавъ въ своихъ произведенияхъ красоты родного языка доступными для каждаго русскаго человъка, способнаго чувствовать прекрасное. Такимъ образомъ, онъ вывель литературный языкъ изъ спертой атмосферы кабинетовъ и гостиныхъ на чистый воздухъ свъта Божія, на широкій просторъ русской земли для любованья всему народу русскому.

Но эта великая заслуга Пушкина по отношенію къ литературному языку составляеть лишь скромную часть той, которую онъ оказаль вообще языку русскому. Въ произведеніяхъ Пушкина русскій языкъ впервые нашель достойное себя выраженіе и явился во всемъ своемъ величіп. Поэтическій геній Пушкина быль, можно сказать, другомъ генію русскаго языка. Недаромъ Пушкинъ такъ горячо любилъ русскій языкъ и такъ старательно изучаль его и въ книгахъ и въ живой устной

ръчи, не только въ кругу людей образованныхъ, подобно Карамзину, но и въ средъ простого народа, гдъ русскій языкъ чаще поражаль его большею чистотою и правильностью. Нашь геніальный ученый, Ломоносовъ, въ посвященіи своей Русской Грамматики великому князю Павлу Петровичу сказаль о русскомъ языкъ слъдующее: "Карлъ Пятый, римскій императоръ, говаривалъ, что ишпанскимъ языкомъ съ Богомъ, французскимъ съ друзьями, нъмецкимъ съ непріятелями, италіанскимъ съ женскимъ поломъ говорить прилично. Но если бы онъ россійскому языку быль искусень, то, конечно, къ тому присовокупиль бы, что имъ со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашель бы въ немъ великолъпіе ишпанскаго, живость французскаго, кръпость нъмецкаго, нъжность италіанскаго, сверхъ того богатство и сильную въ изображенияхъ краткость греческаго и латинскаго языка". Нашъ геніальный поэть, Пушкинь, доказаль справедливость этихь словь самымъ дъломъ, представивъ въ своихъ произведеніяхъ выраженіе всёхъ вышепоименованныхъ свойствъ русскаго языка съ изумительною точностью и грацією. Въ гармоніи стиховъ Пушкина съ русскимъ языкомъ могла соперничать развъ только сама природа. Справедливо сказалъ онъ о себъ:

> Въ гармоній соперникъ мой Быль шумъ лісовъ иль вихорь буйный. Иль иволги напіввъ живой, Иль ночью моря гуль глухой, Иль шопоть річки тихоструйной (I, 310).

Такъ Пушкинъ своею художественно-поэтическою дъятельностью завъщаль намъ любить родное слово, прилежно изучать его и съ чувствомъ народной гордости сознавать его величіе.

Некрасовъ

Пушкинъ — выразитель народнаго духа, отражающагося въ словъ.

Развитіе литературы тьсно связывается съ развитіемъ языка. То и другое находится во взаимномъ самодъйствіи. Безъ развитаго литературнаго языка не возможна высокая степень литературы и, съ другой стороны, безъ развитія литературы не можетъ развиться и языкъ. Вотъ почему мы и наблюдаемъ,

что выдающиеся таланты одинаково оставляють свой следъ какъ въ приведении новыхъ идей, такъ и въ придании языку большей степени совершенства. На глазахъ Пушкина шла жестокая борьба по вопросу, какимъ изыкомъ надо писать то или другое литературное произведение. Ему достался въ наслъдство языкъ, уже достаточно тронутый Карамзинскими реформами, но предстояло сдълать еще одинъ шагъ, чтобы русскій литературный языкъ вполнъ соотвътствовалъ тому богатому содержанію, которое открывалось съ эпохи Пушкина. Въ своемъ стремленіи приблизить письменный языкъ къ разговорному, Карамзинъ широко пользуясь способомъ изобрътенія новыхъ словъ, мало вносилъ въ него элемента чисто народнаго. Пушкинъ восполниль эту сторону. Все у него оказывалось, такимъ образомъ въ связи — и содержаніе и способъ его выраженія. Русскій языкъ, по словамъ Пушкина, гибокъ и мощенъ въ своихъ отношеніяхъ къ чужимъ языкамъ. Но Пушкинъ хорошо видълъ, что еще много предстоить работы, — чтобы русскій языкъ получиль полное право гражданства. "Положимъ, — говоритъ онъ — что русская поэзія достигла уже высокой степени образованности: просвъщение въка требуетъ пищи для размышления, умы не не могутъ довольствоваться однъми играми гармоніи и воображенія, но ученость, политика и философія еще по-русски не объяснились: метафизического языка у насъ вовсе не существуетъ". Пушкинъ былъ для своего времени правъ, и только лишь съ тридцатыхъ годовъ сталъ у насъ вырабатываться метафизическій языкъ. "Проза наша, продолжаєть онъ, такъ еще мало обработана, что даже въ простой перепискъ мы принуждены создавать обороть для изъясненія понятій самыхъ обыкновенныхъ, такъ что леность наша охотне выражается на языкъ чужомъ, котораго механическія формы давно готовы и всёмъ извёстны". Еще передавая письмо Татьяны, поэтъ замвчаетъ что "донынв гордый нашъ языкъ къ почтовой прозв не привыкъ". Предстояда, следовательно, работа, чтобы нашъ языкъ былъ вполнъ удобенъ для прозы. Пушкинъ видълъ могущественное средство къ тому въ освъжени книжнаго языка народными элементами. "Простонародное наръчіе", говоритъ онъ, необходимо должно было отдълиться отъ книжнаго; но впослъдстви они сблизились, и такова стихия, данная намъ для сообщенія нашихъ мыслей" — положеніе, вполнъ върное Не ту ли же судьбу испытала и вся русская литература? Народная поэзія, оторванная отъ просв'ященныхъ людей и перешедшая къ Аринамъ Родіоновнамъ, въ лицъ геніальнаго поэта возводится на должную высоту и своей чистотой и первобытностью освъжаеть старое содержаніе. Но геніальный поэть быль чутокъ не только къ содержанію, но и къ формъ. Разсматривая романъ Загоскина "Юрій Милославскій", Пушкинъ ставить ему въ заслугу, что "разговоръ живой, драматическій вездъ, гдъ онъ простонароденъ, обличаетъ мастера своего дъла". Такимъ образомъ, Пушкинъ подмъчаетъ въ простонародной ръчи два важныхъ качества — живость и драматичность. Но какъ же можно пользоваться богатствомъ живого народнаго языка? Необходимо самому спуститься въ народъ, необходимо опроститься и послушать різчь простолюдина. И вотъ Пушкинъ дъйствительно, спускается въ народъ, ходить по базарамъ, прислушивается къ говору, и оставляеть намъ драгоцънный совътъ: "Изучение старинныхъ пъсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка: критики наши напрасно ими презираютъ". Но не только для критиковъ нужно знаніе свойствъ народнаго языка. "Разговорный языкъ простого народа — замъчаетъ Пушкинъ, достоинъ глубочайшихъ изследованій". "Не худо намъ иногда — продолжаеть онъ — прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онъ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ". И Пушкинъ упорно работаетъ надъ языкомъ. Его природныя дарованія и необыкновенное чутье языка всегда полагали опредъленную границу тому или другому элементу. При полномъ еще отсутствін понятій о законахъ развитія языка, когда еще и не предчувствовалось существование новой науки, опредълившей впослъдствии принцицы жизни языка, Пушкинъ совершенно правильно смотритъ на взаимное отношеніе живого языка къ правиламъ, указываемымъ грамматикой: "Грамматика, — говорить онъ, — не предписываеть законовъ языка, но изъясняеть и утверждаеть его обычаи". Слъвательно, сначала идетъ живой языкъ, а потомъ и грамматика — положеніе, въ настоящее время азбучное, но во время Пушкина едва ли общензвъстное. Какъ вездъ, такъ и въ языкъ въ заимствованіц ли слова изъ лътописей, или изъ живого простонароднаго говора, Пушкинъ требовалъ чувства мъры, а чувство мъры опредъляется истиннымъ вкусомъ. "Истинный вкусъ — говоритъ Пушкинъ — состоитъ не въ безотчетномъ

отверженіи такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувствъ соразмёрности и сообразности. И первый, кто удовлетворилъ вполнъ всъмъ указаннымъ условіямъ былъ самъ Пушкинъ. Необыкновенная сжатость и въ то же время выразительность, мъткость и точность въ выборъ словъ, плавныя, но вполнъ соотвътствующія живой русской річи краткія синтаксическія формы — все это, соединенное съ безыскуственностью, сдълало Пушкина учителемъ русскаго языка для всего послъдующаго покольнія. Не безъ труда достигаль Пушкинь такого совершенства въ языкъ, и его черновыя тетради свидътельствують, сколько значенія придаваль онъ отділкі языка своихъ произведеній. Мало того, что онъ находиль нужнымъ тщательно обрабатывать слогъ своихъ произведеній: ему приходилось, кромъ того, объяснять критикъ, почему онъ употребиль тотъ, а не другой обороть. И здъсь Пушкинъ выставляеть то же требованіе, что и относительно содержанія — простоту. Природное чувство изящнаго удерживало Пушкина на вершинъ простоты, а истинный вкусь заставлять его передълывать какъ стихотворенія, такъ и мелкія прозаическія статьи до тёхъ поръ, пока не выдивались тъ слова и выраженія, которыя удовлетворяли поэтическому чувству поэта. Техъ же качествъ и той же отдълки требовалъ Пушкинъ и отъ другихъ. "Да говори просто: ты довольно умень для этого" — восклицаеть Пушкинъ, встрътивъ въ статьъ Вяземскаго объ Озеровъ одну пышную фразу. Онъ зачеркиваетъ въ той же стать в фразу Вяземскаго "и совсемъ поглотила его бездна забвенія", замъняетъ ее другой "и совсъмъ его забыли" и въ скобкахъ добавляеть: "проще и лучше".

Вотъ великая заслуга Пушкина. Его талантъ опередилъ современниковъ. Гораздо раньше научныхъ открытій Пушкинъ върно и твердо опредълилъ значеніе языка народнаго. Въ настоящее время наука окончательно признала важное значеніе знакомства съ говоромъ вообще для правильнаго пониманія самаго роста языка. Въ чисто же литературной сферъ языкъ Пушкина всегда служилъ примъромъ умълаго обращенія съ нимъ. Нашимъ послъдующимъ писателямъ значительно облегчалась задача: имъ уже не приходилось бороться съ недостатками русскаго, языка, когда послъ Пушкина онъ предсталъ предъ ними въ своемъ выработанномъ изящномъ видъ. Лучшій нашъ стилистъ-художникъ, Иванъ Сергъевичъ Тургеневъ,

говорить, что онь учился русскому языку у Пушкина, послъдующіе учатся у Тургенева, и такимъ образомъ, между Пушкинымъ и послъдующимъ покольніемъ писателей и въ этомъ отношеніи обнаруживается живая неразрывная связь.

Но слово есть вившнее выражение внутренняго содержания, и языкъ есть могущественное средство для человъка выражать свою внутреннюю индивидуальность. Если, по словамъ Пушкина, "есть образъ мыслей и чувствованій, повърій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу", то, слъдовательно, каждый народъ и выражается по своему. Чъмъ шире содержаніе, тъмъ разнообразное и богаче языкъ, а чёмъ талантливъе писатель, тёмъ върнъе соотвътствие между содержаніемъ и выраженіемъ. Если въ поэзіи Пушкина русская народность впервые явилась съ наибольшей рельефностью, то и самый языкъ его поэзіи наглядно обнаруживаеть, какъ выражаеть свои думы и чувствованія русскій челов'єкь. Послъдующая плеяда писателей, расширяя содержание литературы, расширила и область чувствъ и думъ русскаго человъка, но это расширеніе въ его внішнемъ выраженіи покоилось, какъ на твердомъ базисъ, на поэзіи Пушкина, являвшей народность не только въ содержаніи, но и въ способахъ его выраженія. Пушкинъ, следовательно, есть по-преимуществу выразитель народнаго духа, отражающагося въ словъ.

Истринъ.

Народныя черты и симпатіи въ поэзіи А. С. Пушкина.

Признаю уже давно, что въ поэзіи великаго нашего поэта Пушкина особенно много черть, роднящихъ ее со всёмъ духовнымъ и бытовымъ складомъ народной жизни, — ярко обнаруживающихъ органическую связь его духа со всёмъ цёлымъ народнаго русскаго міра. Давно поэту, Пушкину и присвоенъ эпитетъ, "національнаго" или "народнаго" поэта. Особенно горячо настанвали на этомъ, конечно, представители такъ называемаго славянофильскаго лагеря и его отвётвленій — "почвенники" и др. Наиболъе опредъленная и ръзкая постановка этого вопроса принадлежитъ А. Григорьеву, Страхову и Достоевскому. Достоевскій особенно полно высказался на этотъ счеть въ своей знаменитой ръчи, сказанной при открытіи па-

мятника Пушкину въ Москвъ. Но, при всемъ уваженіи къ личности и направленію этого замъчательнаго писателя, нельзя не замътить, что онъ, ослъпленный восторженнымъ поклоненіемъ народу, слишкомъ уже теоретически, апріорно, подходить къ вопросу и о русской народности и о связи съ нею поэзіи Пушкина. Не разумомъ, и религіозно-нравственнымъ чувствомъ опредълились и исходныя точки и результаты его отношенія къ дълу. Сущность его воззръній отлично выражается слъдующими немногими стихами Тютчева, обращенными къ русскому народу:

Но пойметь и не зам'ятить Гордый взоръ иноплеменный, Что сквозить и тайно св'ятить Въ красот твоей смиренной.

Всю тебя, земля родная, Въ рабскомъ видъ, Царь Небесный Исходилъ благословляя...

Это — высокая поэзія, и такая же высокая поэзія все ученіе Достоевского о русской народности и согласованный съ нимъ взглядъ на Пушкина. Но человъка, ищущаго не высокаго подъема души, а только правды — голой, логической правды это не удовлетворить. Къ взглядамъ Достоевского примыкаютъ и возрѣнія А. Григорьева. Онъ чрезвычайно талантливо поставилъ вопросъ о культурно-энтографическихъ типахъ и учить, что выражение этого "типоваго" и есть главная задача искусства, въ частности поэзін. Выходя изъ этой мысли, онъ и доказываль, что поэтическая личность Пушкина и его поэзія есть наиболъе полное и совершенное воплощение нашего "типоваго-народнаго", опираясь, однако, при опредълении народнаго типа, опять-таки на нъкоторыя теоретическія предпосылки, выработанныя славянофильствомъ. Характернъйшей чертой русской народности и онъ считаетъ нъкотораго рода "Христоподобіе", смиреніе и кротость, оговариваясь, впрочемъ, что это не есть тупая покорность всякой силь, а только добровольное подчинение личнаго общему, которое можетъ развиться и должно въ дъятельную, упругую силу, въ начало личное... Благородство этого идеала не подлежить, конечно, сомнънію, но столь же несомивниа и теоретическая предвзятость примъненія его именно къ русскому народному типу. Можетъ

быть, что-нибудь и такъ, а, можетъ быть и не такъ; и во всикомъ случав это только идеалъ, а не живая двиствительность. Вообще опредвлять напередъ рамки народнаго типа, его духовной физіономіи, прежде чъмъ этотъ народъ завершилъ кругъ своего быта, пока онъ не сталъ достояніемъ исторіи, — дъло очень рискованное и ненадежное. Мы хотимъ върить, что въ русскомъ народъ заложено все наилучшее, все наиболъе благородное, но каково оно и какъ именно оно скажется въ итогъ на исторической аренъ, — объ этомъ намъ судить едва ли дано.

Мы, поэтому, минуемъ всё эти полумистическія теоріи о русской народности и оставимъ себё задачу несравненно болье скромную. Мы просто хотимъ посильно показать, что такъ какъ геніальный поэтъ или художникъ вообще есть всегда центральное отраженіе кипящей вокругъ него жизни, — ея фокусъ, — то и Пушкинъ не могъ не быть таковымъ въ отношеніи русскаго міра, и не только жизни образованнаго слоя, а и чисто-народной, по скольку она вторгалась и переплеталась въ тѣ времена съ бытомъ помѣщичьяго класса; хотимъ ноказать, что въ его поэзіи есть не мало такихъ чертъ общности съ народною массою, которая какъ разъ были бы къ лицу какому-нибудь идеальному простолюдину съ тонко-развитымъ чувствомъ и мышленіемъ, но отнюдь еще не порвавшему связей съ "землею", еще тяготѣющему къ ней и любящему ее.

Пушкинъ въ свой поэзіи создаль одинь великій образъ, неподражаемый по своей красотъ — и эстетическій и нравственной, это — Татьяна въ "Евгеніи Онъгинъ". Давно признано, что такого чарующаго, человъчно-прекраснаго и женственнообантельнаго образа — другого нъть въ русской литературъ. Въ чемъ же кроется его сила? Почему поэту такъ удалась эта фигура, почему она вышла такъ неотразимо-привлекательна? — Объяснение одно: этотъ духовный обликъ быль наиболъе дорогь самому поэту, на него онъ положиль лучшія силы своего творчества, въ немъ воплотиль святая святыхъ своей души. Не надо быть особенно проницательнымъ, чтобы угадать эту духовную связь поэта съ его созданіемь: она бросается въ глаза, она просится наружу чуть не во всякомъ стихъ, относящемся къ Татьянъ. Посмотрите прежде всего, какъ поэтъ преклоняется передъ этимъ образомъ, съ какою безконечной ижжностью, чуть не обожаніемъ, онъ всегда говоритъ о ней! "Татьяна, милая Татьяна! съ тобой теперь я слезы лью"... "И вспомниль онъ Татьяны милой и блёдный цвътъ и видъ унылый"... "Невольно, милые мои, меня стъсняетъ сожальные; простите мнъ; я такъ люблю Татьяну милую мою!"... Далъе: "Моя душа"... "Таня"... "Милая Таня"... и наконецъ: "Татьяны милый идеалъ". Итакъ поэтъ прежде всего любить Татьяну, любить, какъ свътдое, жучезарное видъніе, созданное имъ же, — какъ свое ненаглядное дътище... Но этого мало: онъ прямо признается, что это — его идеалъ, что это, значить, образь, сотканный изь чистыйшихъ лучей его собственной души... Если такъ, что уже напередъ можно утверждать, что существо Татьяны есть индивидуализмъ лучшей части духовнаго существа самого Пушкина, что въ ея личности надо искать черты самого поэта, которыми онъ наиболве дорожилъ. Да поэтъ даже и не скрываетъ это тожества: въ блестящей характеристикъ московскаго "свъта" Пушкинъ прямо пользуется своими впечатленіями для характеристики Татьяны, не обособляя себя отъ нея: "Татьяна вслушаться желаеть въ бесъды, въ общій разговоръ; но всъхъ въ гостиной занимаеть такой безсвязный, пошлый вздоръ, все въ нихъ такъ блъдно, равнодушно; они клевещутъ, даже скучно; въ безплодной сухости ръчей, вопросовъ, сплетенъ и въстей, не вспыхнеть мысли цёлы сутки, хоть невзначай, хоть наобумъ, не улыбнется темный умъ, не дрогнетъ сердце, хоть для пушки. И даже глупости смышной въ тебы не встрытишь, свыть пустой!" Развѣ эта странность, этотъ саркастическій ядъ не принадлежить самому поэту? А въ особенности послъдніе два стиха!...

Разбираясь теперь въ личности Татьяны, мы прежде всего поражаемся нъкоторыми чертами, усиленно подчеркиваемыми поэтомъ, — коренными русскими особенностями ея духовнаго склада. "Татьяна русскою душою, любила русскую зиму", говорить о ней поэть. Всъ ея сочувствія, вкусы, вся окраска ея міровоззрънія, находятся въ тъснъйшей органической связи съ народнымъ русскимъ міромъ. Отблескъ этого міра, обливая всю ея личность волшебнымъ сіяніемъ, лежить и на каждомъ отдъльномъ проявленіи ея существа. Геніальное чутье внушило поэту мысль сдълать носительницею всей красоты своего и народнаго духа женскую личность.

Женщина превосходить мужчину большею органическою цъльностью своего существа, потому что она стоить ближе

къ въчнымъ силамъ природы, въ ней непосредственнъе дъйствующимъ; она - хранительница рода, хранительница устойчиваго типа жизни. — Самое имя, данное поэтомъ его любимицъ, - народно-русское, вовсе не употреблявшееся тогда въ привидегированныхъ кругахъ. Поэтъ даже считаетъ нужнымъ объясняться по этому поводу передъ читателями, замъчая въ выноскъ: "сладко-звучнъйшія греческія имена, каковы, напр., Аганонъ, Филатъ, Өедора и пр., употребляются у насъ только между простолюдинами". Вся обстановка, далве, въ которой родится, растеть и развивается Татьяна, - чисто русская сельская. Семья Лариныхъ, въ которой она увидъла свъть, принадлежала къ тъмъ патріархальнымъ помъщичьимъ семьямъ средней руки, весь укладъ жизни которыхъ не особенно отличался отъ крестьянскаго, соприкасаясь и переплетаясь съ последнимъ постоянно. Всякія иноземныя новшества и затъи здъсь были только внъшнимъ украшеніемъ быта, не вторгаясь во внутреннее святилище жизни, не искажая и не уродуя его. Татьяна водилась съ деревенскими дъвушками, имъла часто общія съ ними развлеченія, гадала съ ними. Она слушала ихъ пъсни, впитывала въ себя эти народныя мелодін, и — что еще важите, витстт съ воздухомъ жадно вдыхала богатыя неизгладимыя впечатльнія сельской русской природы. Главною же воспитательницею ея была русская няня, милая Филиппьевна; она плъняла ея сердце "страшными разсказами", "зимою, въ темнотв ночей", и она же, горячо любимая своей Таней, остается потомъ почти единственной повъренной и наперсиицей ея душевныхъ тайнъ. Даже въ Петербургъ, среди холоднаго свъта, Татьяна съ трогательною любовью вспоминаеть о своей, уже покойной, нянъ: "... Гдъ нынче престь и тынь вытвей надъ быдной нянею моей". Правда, очень рано Татьяна начала увлекаться и произведеніями западной мысли и творчества, но что вліяніе ни чуть не противоръчило основнымъ задаткамъ ея души, встрътило уже готовую почву, и никакого перелома, поэтому, не могло произвести въ ен психикъ.

Остановимся здёсь пока, чтобы обратиться къ Пушкину. Спрашиваю всёхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ біографіей поэта: не такъ ли приблизительно шло и его развитіе? Онъ съ дётства проводилъ если не зимы, то весну и лёто въ деревнъ, гдъ, разумъется, воспринималь все, что можетъ дать

русская сельская природа и жизнь; онъ также, при всемъ иностранномъ давленіи на него, оставался въ глубинъ души върнымъ питомцемъ своей старой няни, знаменитой Арины Родіоновны. Это была замвчательная женщина: Это была носительница поэтическаго міра народа, неистощимая сокровищница сказокъ, пъсней народныхъ. Она была, несомнънно, натура творческая, художественная, въ чемъ насъ убъждаеть чрезвычайная подвижность ея фантазіи. Тотъ или другой сказочный мотивъ Арина Родіоновна съ замъчательной легкостью видоизмёняла на нёсколько ладовъ, и каждый новый разсказъ быль такъ же свъжъ, полонъ жизни и поэзіи, какъ и прежній. Всёми этими сокровищами няня дёлилась со своимъ обожаемымъ питомцемъ чуть не съ первыхъ дней его жизни. Родныя пъсни, сказки — родные звуки и образы ръяли вокругъ колыбели геніальнаго ребенка, и ихъ, хотя и безсознательно, душа дитяти вдыхала непрестанно. Что это быль за здоровый, живительный для будущаго поэтавоздухъ! Нужды нътъ что наряду съ этимъ вліяніемъ няни маленькій Пушкинъ подвергался и совершенно инымъ вліяніямъ — галломанствующаго отца и разныхъ иностранныхъ воспитателей, — нужды нътъ, что ребенокъ началъ говорить вовсе не порусски, а на чистъйшемъ французскомъ языкъ: это былъ только наносный песокъ, который постепенно, по мёрё накопленія, смывался потоками родной ръчи и образовъ Арины Родіоновны. Самое ядро существа Пушкина оставалось, несомненно, въ ен власти. Да! Носительница міра народныхъ художественныхъ созерцаній, пъстовавшаго нашего поэта отъ самой колыбели, она не могла не заразить его навсегда, не привить ему прочно своего духа... Она точно такъ же, какъ и Татьянина няня плъняла юное сердце поэта "страшными разсказами зимою, въ темнотъ ночей". Вотъ прекрасное, прочувствованное воспоминание поэта объ этомъ:

> "Ахъ, умолчу ль о мамушкъ моей, О прелести таинственныхъ ночей, Когда въ чепцъ, въ старинномъ одъяньъ, Она, духовъ молитвой уклоня, Съ усердіемъ перекреститъ меня И шепотомъ разсказывать мнъ станетъ О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы... Отъ ужаса не шелохнусь, бывало; Едва-едва дыша, прижмусь подъ одъяло, Не чувствуя ни ногъ ни головы,

Я трепеталь, и тихо, наконець,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я, въ порывъ сладкихъ думъ,
Въ глуши лъсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встръчаль лихихъ Полкановъ и Добрыней
И въ вымыслахъ носился юный умъ"...

Надо замътить при этомъ, что это написано въ самый разгаръ лицейской жизни, 16—17-ти лътнимъ поэтомъ, когда, казалось бы, нахлынувшія со всъхъ сторонъ новыя впечатлънія жизни должны были временно совсъмъ вытъснить изъ памяти образъ его няни... Но нътъ! Онъ кръпко сросся съ ея душою. И любилъ же ее поэтъ, любилъ всъми силами своей широкой, открытой души!

"Подруга дней моихъ суровыхъ, Голубка дряхлая моя!"...

Такъ невыразимо-нъжно обращался онъ къ своей старушкъ уже въ зръломъ возрастъ...

Какъ видимъ, сходство съ отношеніями Татьяны — полное. Но если у Татьяны старушка-няня, дъйствуя на художественныя стороны ея души, не могла довести ихъ игру до творческой интенсивности, то съ Пушкинымъ дъло обстоитъ иначе.

Здёсь художникъ-няня своими сказками и пѣснями дала могучій толчекъ творческимъ задаткамъ ребенка, пробудила къ дѣятельности его поэтическія силы. Сказки Арины Родіоновны были сѣменемъ поэзіи Пушкина,— сѣменемъ, павшимъ на благодатную почву и принесшимъ плодъ сторицею. И сѣмя это было народно-русское. Поэтъ самъ приписывалъ нянѣ большое значеніе въ развитіи своего поэтическаго дара. Указаніе на это было уже въ приведенныхъ выше стихахъ, но вотъ стихотвореніе, гдѣ поэтъ уже прямо отожествляетъ ее со своимъ юнымъ вдохновеніемъ:

"Наперсница волшебной старины, Другь вымысловь, игривыхъ и печальныхъ, Тебя я зналъ во дни моей весны, в Во дни утъхъ и сновъ первоначальныхъ! Я ждаль тебя. Въ вечерней тишинъ, Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидъла въ шушунъ, Въ большихъ очкахъ и съ ръзвою гремушкой. Ты, дътскую качая колыбель, Мой юный слухъ напъвами плънила, И межъ пеленъ оставила свиръль, Которую сама заворожила!"...

Обратимся теперь опять къ Татьянъ. Каковы были послъдствія ея сношеній съ русскою природою, крестьянскимъ бытомъ и любимою нянею?— Она, конечно, горячо полюбила эту природу и всю обстановку сельской жизни. Припомнимъ, какъ она "любила на балконъ предупреждать зари восходъ" и пр. и воть это указаніе поэта: "Татьяна, русскою душою, сама не зная почему, съ ея холодною красою, любила русскую зиму, на солнцъ иней въ день морозный, и сани, и зарею поздней сіянье розовыхъ снёговъ, и мглу крещенскихъ вечеровъ"... Точьвъ-точь такіе же "русскіе" вкусы по отношенію къ природъ обнаруживаль и Пушкинь. Цълый рядъ прелестнъйшихъ стихотвореній посвященъ именно картинамъ зимы: "Зимній вечеръ", "Зимнее утро", "Бъсы", "Зимняя дорога" и др. Поэта въ особенности, повидимому, поражала зимняя выога своимъ мрачновеличавымъ характеромъ. Но и ликующій, сверкающій, ясный зимній день быль очень по душь ему. А эти безконечныя русскія поля зимою, ночью, озаренныя печальнымъ дуннымъ свътомъ... "Поля, поля, опять поля"... Монотонно и непрерывно звенять бубеньчики, безбрежно разливаются заунывныя пъсни ямщика... И тяжелая грусть стискиваетъ сердце поэта...

"Грустно, Нина: путь мой скучень, Дремля, смолкнуль мой ямщикъ... Колокольчикъ однозвученъ, Отуманенъ лунный ликъ...

Но при всемъ уныломъ, мертвенномъ однообразіи этой природы, онъ ее втайнъ любитъ, любитъ безсознательно стихійно, въ особенности въ гармоническомъ сочетаніи съ этими "долгими пъснями ямщика", въ которыхъ слышится ему "что-то родное"... Тихая грусть, навъваемая порой на поэта русскою природою, доходитъ до щемящей тоски, когда въ ея рамкахъ онъ находитъ такое же убожество человъческаго существованія, — крестьянскаго житья-бытья. Вотъ небольшое стихотвореніе, своеобразно названное "Шалость".

"Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый, Готовый въкъ трунить надъ нашей томной музой. Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что жъ ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить, И пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здёсь видъ: избушекъ рядъ убогій, За ними черноземъ; равнины, скать отлогій, Надъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гль жъ нивы свътлыя? Гдь темные льса? Гдв рвчка? На дворв, у низкаго забора, Два бъдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора. Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совствиь обнажено, А листья на другомъ размокли, и, желтья. Чтобъ лужи засорить, ждуть перваго Борея. И только. На дворъ живой собаки нътъ. Воть, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вслъдъ; Безъ шапки онъ; несёть подъ мышкой гробъ ребенка, И кличеть издали лениваго попенка, Чтобъ тоть отца позваль, да церковь отвориль: Скоръй, ждать некогда, давно бъ ужъ схорониль!"

Такъ вотъ горе поэта... Въ рамкъ скучной безцвътной природы, безъ красокъ и формъ, подъ угрюмымъ сърымъ небомъ, — рядъ убогихъ избушекъ, не оживленныхъ ни растительною ни какою-нибудь другою жизнью. Вездъ пусто и мертво. Вотъ, однако же какіе-то признаки жизни... Что же это? Ахъ, это лишь обманчивый призракъ жизни, это — тоже смерть — смерть, слъды которой человъкъ самъ торопится замести за недосугомъ возиться съ ними: насущная работа, въдь, не ждетъ... Чудной теплотой сердца проникнута вся эта картина, и не только въ смыслъ жалости, но въ смыслъ прямого глубокаго сочувствія къ этой не казистой природъ, къ этому съренькому пейзажу, къ этой убогой жизни, — такимъ, какъ они есть... Кровная связь поэта съ этимъ невиданнымъ роднымъ міромъ выступаетъ здъсь особенно выпукло.

Но не такими лишь симпатіями къ родному міру опредълялась русская природа какъ Татьяны, такъ и Пушкина. Татьянъ были присущи нъкоторыя особыя черты въ ея міровозгръніи и характеръ, которыя стояли въ прямой связи съ господствовавшими простонародными понятіями и влеченіями. Это было, во-первыхъ, нъкотораго рода поэтическое суевъріе, столь свойственное простолюдину и идущее еще изъ съдой языческой

старины. Татьяна вся была во власти этого народнаго мистицизма. "Татьяна върила преданьямъ просто народной старины. и снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, и предсказаніямъ луны. Ее тревожили примъты, таинственно ей всъ предметы провозглашали что-нибудь, предчувствія тёснили грудь. Желанный коть, на печкъ сидя, мурлыча, лапкой рыльце мыль; то несомнънный знакъ ей былъ, что ъдутъ гости. Вдругъ увидя младой двурогій ликъ луны на небъ съ лъвой стороны, она дрожала и бледнела... Когда случалось где-нибудь ей встретить чернаго монаха, иль быстрый заяцъ межъ полей перебъгалъ дорогу ей -- не зная, что начать со страха, предчувствій горестныхъ полна, ждала несчастья ужъ она"... И хочетъ сказать поэтъ въ своемъ романъ — она была права, или почти права. Онъ даетъ намъ высоко-художественное описаніе в'єщаго сновид'єнія Татьяны, которое скоро и сбылось... Ужъ изъ этого факта можно заключить, что поэтъ самъ въ этомъ случав былъ единомысленъ со своей Татьяной. И дъйствительно, изъ біографіи Пушкина мы знаемъ, что онъ самъ былъ во власти подобныхъ повърій, и его тревожили именно тъ примъты, о которыхъ онъ говоритъ, характеризуя Татьяну. Монахъ, заяцъ, то или другое положение мъсяца все это дъйствовало на поэта такъ сильно, что, ему случалось даже откладывать дъла изъ боязни несчастія. И въ поэзіи Пушкина этотъ народный мистицизмъ занимаетъ свое мъсто. При ведемъ первые попавшіеся приміры:

1:

"Стрекотунья бѣлобока, Подъ калиткою моей, Скачеть пестрая сорока И пророчить мнѣ гостей.

9

"Я вхаль кь вамь; живые сны За мной вились толпой игривой, И мъсяць съ правой стороны Сопровождаль мой бъгь ретивый,

Я ѣхалъ прочь: иные сны... Душѣ влюбленной грустно было, И мѣсяцъ съ лѣвой стороны Сопровождалъ меня уныло. Мечтанью вѣчному въ тиши Такъ предаемся мы, поэты; Такъ суевърныя примъты Согласны съ чувствами души".

Въ последней строфе мы имеемъ и объяснение поэта, какъ онъ самъ смотрълъ на эти свои мистическія наклонности. Да, именно мистическія... онъ же и поэтическія. Для поэта міръ не есть только большой, правильный построенный силлогизмъ,логическое цълое, не есть механизмъ, а есть цълое живое, одухотворенное, — есть настоящій организмъ. И какъ, во всемъ живомъ цъломъ, въ немъ всегда чуется для впечатлительнаго человъка брожение таинственныхъ силъ, не поддающихся никакой научно-логической регламентаціи. Это чувство дътскаго безсилія передъ незримою, всеобъемлющею и всемогущею властью, царящею во вселенной. Что именно такъ слъдуетъ понимать всякое, такъ называемое, суевъріе, явствуеть вполнъ изъ его историческаго происхожденія. Въдь оно было вначалъ ничъмъ инымъ, какъ именно върою, религіей младенчествовавшаго человъка. Но въ такомъ случат оно и теперь не могло утратить своей религіозной сущности, различаясь отъ истинной, высоко-разумной религіозности только количественно, а не качественно. И въ самомъ дълъ, мы видимъ, что и Пушкинъ и его Татьяна одинаково высоко религіозны. Я, конечно, разумѣю подъ этимъ словомъ не тѣ или другія догматическія върованія, а только то высокое чувство или настроеніе, о которомъ я даль понятіе сейчасъ. Татьяна часто "молитвой услаждала тоску волнуемой души". Но не въ этомъ еще выражается истинная религіозность ея натуры. Важнее то, что она чуяла до нъкоторой степени движение Безконечнаго въ міръ, чуяла Его властность и закономърность, кладущую предъть всякому излишнему человъческому произволу въ жизни, всякимъ чрезмърно-прихотливымъ притязаніемъ человъческой личности... Татьяна вездв и всегда готова подчиниться этому, установившемуся міро-порядку, этой высшей законности... Бытьможеть, она преувеличивала значение этой высшей законности, быть-можеть, ошибается въ оценке пределовь ея действія, это другой вопросъ, -- но самое то это чувство въ ней неоспоримо. Ему именно она подчиняется, "когда уступаеть матери, молившей ее со слезами заклинаній, когда затъмъ, замужемъ уже, въ шумномъ свътъ разыгрываетъ роль "законо-

дательницы залъ" и категорически заявляетъ Онъгину: "Я васъ люблю, — къ чему лукавить? — Но я другому отдана и въкъ ему буду върна". Тъ же смыкающіяся волны всемірной законности, въчнаго міроустройства, охватывають и Пушкина, и поднимають его надъ земною суетою, обвъвая его душу тихимъ, божественнымъ покоемъ... Сколько онъ плакалъ въ своихъ трогательнъйшихъ элегіяхъ надъ ошибками своей молодости, каялся въ ея безумствахъ! "Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствъ гибельной свободы, въ неволь, въ бъдности, въ чужихъ степяхъ мои утраченные годы... "И съ отвращениемъ читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строкъ печальныхъ не смываю"... ("Воспоминаніе"). "Безумныхъ лътъ угасшее веселье мнъ тяжело, какъ смутное похмелье... Но, какъ видно, печаль минувшихъ дней въ моей душъ чъмъ старъ, тъмъ сильнъй... То же религозное чувство въ иной формъ и въ иномъ примъненіи вспыхиваеть въ думахъ поэта о смерти: никакого отчаянія, никакой даже горечи — тихою, святою музыкою звучать струны его души; музыкою умилительнаго благоволенія къ установленной Творцемъ міровой гармоніи. Съ благоговъйнымъ трепетомъ подчиняется онъ ея закону — въчнаго непрерывающагося обновленія жизни ціною смерти отдільной личности, хотя бы то была его собственная личность... Дыханіе Безконечнаго исторгаеть изъ Эоловой арфы души поэта всепримиряющій аккордъ...

...И хоть безчувственному тѣлу Равно повсюду истлѣвать, Но ближе къ милому предѣлу Мнѣ бъ все хотѣлось почивать. И пусть у гробового входа Младая будетъ жизнь играть, И равнодушная природа Красою вѣчною сіять...

...Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрасть,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услыщитъ вашъ привътный шумъ, когда,

Съ пріятельской беседы возвращаясь, Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ, Пройдеть онъ мимо вась во мракъ ночи И обо мнъ вспомянетъ...

Чтобы не показалось произвольнымъ и теоретическимъ, на славянофильскій дадъ, признаніе этого настроенія поэта чёмъ-то характерно-русскимъ, да позволено намъ будетъ напомнить о Гоголь, Достоевскомъ, Львь Толстомъ. Или даже нътъ; вспомнимъ Каратаева въ "Войнъ и Миръ", этого солдатика крестьянина... Въдь это образъ не вымышленный, не сочиненный: Л. Толстой никогда не измышляль, онъ правдивъ, какъ сама правда. Вспомнимъ, далъе, какъ умираетъ русскій человъкъ по "Тремъ смертямъ" Толстого, по "Смерти" Тургеневъ въ Запискахъ охотника"... Горячій поборникъ европейской культуры, Тургеневъ восклицаетъ: "Да, удивительно умираютъ русскіе люди!...

Наконецъ, лучшій цвътъ въковой народной жизни — народная поэзія оказываеть могучее вліяніе и даже непосредственно вторгается въ поэзію Пушкина. Главною и вообще безподобною посредницею между нимъ и міромъ народныхъ поэтическихъ созерцаній была, конечно, Арина Родіоновна, какъ мы это уже и видъли. Но и самъ Пушкинъ при случав съ увлеченіемъ собираль народныя песни и записываль ихъ. Впрочемъ, въдь то, что онъ получилъ отъ своей няни, было точно также свъжо, также "изъ первыхъ рукъ", да еще изъ такихъ мастерскихъ рукъ. Въ чемъ именно выразилось вліяніе народной поэзіи на музу Пушкина — здісь, разумівется, не місто указывать, какъ потому, что оно было очень многообразно, такъ и потому, что этотъ вопросъ еще нуждается въ изслъдованіи. И въ языкъ Пушкина и въ его манеръ изображать, въ подборъ образовъ и т. д. — во всемъ должны были остаться слъды этого вліянія. Но въ крупныхъ размърахъ оно отразилось на первомъ его большомъ произведени - поэмъ: "Русланъ и Людмила", и на последнемъ — драме "Русалка". Духомъ русской народной поэзіи несомнінно обвізна первая поэма, хотя, разсматриваемая въ подробностяхъ, она и заключаетъ въ себъ много чертъ западнаго происхожденія. Здъсь произошло, если можно такъ выразиться, химическое сліяніе самыхъ разнообразныхъ элементовъ: романической фантастики, французскаго эротизма прошлаго въка и русскихъ сказочныхъ

и пъсенныхъ мотивовъ. Послъдній элементь можно, однако, считать преобладающимъ; въ немъ, такъ сказать, растворены всъ остальные. Недаромъ именно эта сторона поэмы привлекла особое внимание тогдашнихъ критиковъ стараго направления: "Зачъмъ допускать, — кричали они — "чтобы плоскія шутки старины вновь появлялись между нами? Чего ждать, когда наши поэты начинають пародировать Киршу Данилова и пр. Но если въ самой поэмъ этотъ народный матеріалъ и разведенъ другими элементами, то написанный позже, прелестный прологь: "У лукоморья дубъ зеленый", представляеть уже безпримъсное и мастерское воспроизведение духа и формы народныхъ сказокъ. Замъчательно при этомъ, что образы этого пролога прямо заимствованы у Арины Родіоновны. Няня разсказывада: "У моря, у лукоморья, стоить дубъ, и на томъ дубу золотыя цёпи, и по тёмъ цёпямъ ходить котъ: вверхъ идеть, сказку сказываеть, внизь идеть пъснь поетъ" и т. д. Но какую высшую красоту получили эти образы въ стихотворной обработкъ Пушкина! Что касается "Русалки", то въ этомъ удивительномъ произведеніи вліяніе народно-поэтическихъ представленій выразилось, главнымъ образомъ, въ участіи русалокъ, геніально-прекрасно обрисованныхъ поэтомъ. Взятыя изъ народной минологіи, онъ увлекають насъ здѣсь въ какой-то особый таинственный міръ серебряныхъ грезъ и загадочныхъ нездёшнихъ звуковъ... Но въ органической связи съ этимъ разыгрывается самая реальная, страшная трагедія, въ которой тоже, что ни слово, то перлъ творчества въ народномъ духъ и стилъ.

Вотъ двъ главнъйшія пьесы, на которыхъ лежитъ сильная печать вліянія народной поэзіи. Этимъ, однако, не ограничилось участіе "завороженной свиръли" Арины Родіоновны, ея "плънительныхъ напъвовъ" въ поэзіи Пушкина. Оно идетъ гораздо дальше. Поэта настолько очаровали самыя сказки и иъсни, которыми дълилась съ нимъ старая няня, въ ихъ подлинномъ видъ, что, какъ только стала сходить съ него байроническая накипь, онъ принимается за обработку этихъ сказокъ, начинаетъ подражать этимъ пъснямъ. Сюда относятся: "Женихъ", "Сказка о царъ Салтанъ", "Сказка о мертвой царицъ и семи богатыряхъ", "Сказка о золотомъ пътушкъ", "Сказка о рыбакъ и рыбкъ" и "Сказка о попъ и работникъ его Балдъ..." Въ этихъ произведеніяхъ не знаешь, чему больше

дивиться; богатству-ли народной фантазіи, поэтичности-ли содержанія, или поразительной выразительности формы, въ которую облекъ эти милые образы Пушкинъ. Мы стоимъ здъсь на какомъ-то неуловимомъ рубежъ двухъ, казалось бы, несогласимыхъ другъ съ другомъ міровъ: простонороднаго, дътски-наивнаго, такъ неотразимо захватывающаго поэта, и міра культурнаго, сложнаго, къ которому онъ принадлежалъ по общему своему духовному развитію. Но здёсь эта граница стирается безъ следовъ: здёсь народно-наивное по сущности возвышается до высокохудожественныхъ формъ, и, наоборотъ, культурное міросозерцаніе растворяется безъ остатка въ свътв и теплъ народныхъ простодшуныхъ созерцаній... Что обработка этихъ сказочныхъ мотивовъ не была для Пушкина простой забавой, шалостью, а увлекала его, какъ болъе или менъе серіозная работа, доказывается уже той замъчательной тщательностью, съ которою отдёланъ каждый стихъ, каждый образъ, выработанъ каждый эпитетъ, каждое слово, каждый звукъ! Поэту удалось, ничуть не нарушая простоты народнаго разсказа, придать ему высокую красоту.

> Въ синемъ небъ звъзды блещутъ, Въ синемъ моръ волны хлещуть; Тучка по небу идеть, Бочка по морю плыветь. Словно горькая вдовица, Плачеть, быется въ ней царица, И растеть ребенокъ тамъ, Не по днямъ, а по часамъ. День прошель, царица вопить... А дитя волну торопить: "Ты волна моя, волна! Ты тульлива и вольна; Плещешь ты, куда захочешь, Ты морскіе камни точишь, Топишь берегь ты земли, Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу, Выплесни ты насъ на сушу!" И послушалась волна; Туть же на берегь она Бочку вынесла легонько, И отхлынула тихонько.

Какая картина и какая музыка! Въдь, поэтъ достигаетъ здъсь высочайшаго мастерства — волшебной звуковой живо-

писи. Ты волна моя, волна! Ты гульлива и вольна! Смотрите какое туть стеченіе властныхь, текучихь звуковь: "л" и "н"; одно удивительное слово "гульлива" навъваеть на насъ впечатльніе струящейся влаги... А это: "Бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько". Но воть картина въ другомъ родъ, безподобно оживляющая передъ нами, — въ миніатюръ, конечно, — нашу старую Русь:

Вотъ открыль царевичъ очи, Отрясая грезы ночи, И, дивясь передъ собой -Видитъ городъ онъ большой. Стъны съ частыми зубцами, И за бълыми стънами Блещуть маковки церквей И святыхъ монастырей... Мать и сынъ идуть ко граду Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвонъ Поднялся со встхъ сторонъ: Къ нимъ народъ навстръчу валитъ, Хоръ церковный Бога хвалить. Въ колымагахъ золотыхъ Пышный дворъ встръчаетъ ихъ...

Какъ красиво, далъе, постоянно повторяющееся обращение "бълой лебеди" къ царевичу: "Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тихъ, какъ день ненастный?" Или вотъ это описание царевны: "А сама-то величава, выступаетъ будто пава; а какъ ръчь-то говоритъ, словно ръченька журчитъ". Звуковая живопись здъсь опять — прелесть. Приведемъ, наконецъ, изъ другой сказки обращение царевича Елисея къ мъсяцу и вътру:

"Мѣсяцъ, мѣсяцъ, мой дружокъ, Позолоченный рожокъ? Ты встаешь во тьмѣ глубокой, Круглолицый, свѣтлоокій, И, обычай твой любя, Звѣзды смотрятъ на тебя...

"Вѣтеръ, вѣтеръ! ты могучъ, Ты гоняешь стай тучъ, Ты волнуешь сине море, Всюду въешь на просторъ, Не боишься никого. Кромъ Бога одного"... Какъ напоминаютъ эти изящныя обращенія сходное мѣсто изъ плача Ярославны! Тотъ же духъ, та же приблизительно

манера, тотъ же задушевный лиризмъ...

Если въ трехъ сказкахъ изъ вышеназванныхъ пяти преобладаеть какой то свътлый лиризмъ и добродушная шутка, то двъ послъднія сказки: "О рыбакъ и рыбкъ" и о "Балдъ" отличаются совершенно особылъ характеромъ и складомъ. Въ особенности своеобразна последняя сказка. Въ ней поэтъ съ изумительной мъткостью схватилъ и передалъ грубоватый, увъсистый, но чрезвычайно сильный и выразительный народный юморъ. Невыразимо-виртуозна форма этого произведенія, вполнъ гармонирующая съ содержаніемъ. Это склады нашихъ народныхъ пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ и сложныхъ по ихъ типу ръчей раешниковъ. Да, Пушкинъ былъ Протей, совсёмъ легко овладёвшій слабою формою, въ особенности народной поэзіи. Черновыя тетради его, доказывають, что онъ никакъ не рабски воспроизводилъ разсказы Арины Родіоновны, а пересоздаваль по своему матеріаль, ею доставляемый, извлекая на половину изъ своего духа все богатство этихъ живыхъ красокъ, этой удивительной народной рёчи и пр.

Но этого мало. Въ разсмотрѣнныхъ сказкахъ поэтъ имѣя хоть готовый сырой матеріалъ; онъ этимъ не ограничился и далъ нѣсколько блестящихъ попытокъ совершенно самостоятельнаго творчества въ чисто-народномъ духѣ и стилѣ. Сюда относятся нѣсколько пѣсенъ и такъ называемое: "Начало сказки". Вотъ нѣкоторые отрывки изъ послѣдней:

"Какъ весенней теплой порой Изъ-подъ утренней бълой зорюшки, Что изъ лъсу, изъ лъсу дремучаго — Выходила медвъдиха Съ малыми дътушками медвъжатами, Погулять, посмотръть, себя показать".

Показывается вдругъ мужикъ съ рогатиной.

"Медвъжатушки испугалися За медвъдиху бросалися, А медвъдиха осержалася, На дыбы подымалася. А мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ: Онъ пускался на медвъдиху, Онъ сажалъ въ нее рогатину, Что повыше пупа, пониже печени"... Припомнимъ изъ былинъ объ Ильъ Муромцъ: "Втапоры Илья, онъ догадливъ былъ: онъ и кидалъ его выше башни наугольныя, онъ и билъ его о сыру землю" и пр.

"Медвъдиха" убита, и вотъ собираются звъри "къ тому-ли медвъдю ко боярину".

Прибъгали звъри большіе,
Прибъгали туть звъришки меньшіе;
Прибъгаль туть волкь-дворянинъ:
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые,
Приходиль туть бобрь, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвость.

Приходила лисипа-подъячиха, Подъячиха, казначеиха... Прибъгаль туть зайка-смердь, Зайка бъдненькій, зайка съренькій! Приходиль цъловальникъ— ежъ: Все то онъ ежъ ежится, Все то онъ щетинится"...

Вотъ еще одно, не обработанное вполнъ, но и въ такомъ видъ прекрасное стихотвореніе:

"Кормомъ, стойлами, надзоромъ, Всъмъ красны боярскія конюшни, Сбруя блещеть на столбахъ дубовыхъ Стойла красны борзыми конями... Лишь однимъ конюшни не пригожи: Домовой повадился въ конюшни, По ночамъ онъ ходитъ по конюшив, Чистить, холить онь коней боярскихь, Заплетаетъ гривы имъ въ косички, Туго хвость завязываеть въ узель... Какъ не взлюбить коня вороного: На вечерней заръ обойду я конюшню И зайду въ стоило къ вороному,-Конь стоить исправень и смирень; А поутру отопрешь конюшню,— Конь не тихъ, весь въ мыль, грудью пышетъ Съ морды каплетъ кровавая пъна: Во всю ночь домовой на немъ вздить По горамъ, по ръкамъ, по болотамъ, Съ полуночи до бълаго свъта..."

Наконецъ, высшей прелести, какой-то умилительной красоты достигаетъ поэтъ въ слъдующей пьесъ:

Другъ мой милый, красно солнышко мое, Соколь ясный, сизокрылый мой орель, Ужъ недълю не видались мы съ тобой, Ровно семь дней, какъ спозналась съ горемъ я, Мнъ не взмилились подруженьки мои... Не по нраву, не по мысли мнъ пришли. Я скиталася по темнымъ лъсамъ, Въ темномъ лъсъ кинареечки поютъ, Мнъ, дъвчонкъ, грусть-разлуку придаютъ. Ты не пой, кинареечка, въ саду, Не давай тоски сердечку моему...

Эти самостоятельныя попытки Пушкина по своей немногочисленности и незаконченности не такъ, можетъ, быть, цѣнны, какъ его сказки, но виртуозность, сила и глубина проникновенія въ духѣ и формы простонародной поэзіи, очевидно, не меньшія, чѣмъ тамъ...

Итакъ Пушкинъ въ своей поэзіи высказывалъ глубочайшую духовную связь съ землею и народною массою, сливаясь съ нею порой въ полномъ единствъ вкусовъ и поэтическихъ созерцаній, глядя на міръ ея исконными взглядами, улавливая красоту и благо во всемъ томъ, что она цънила, въ чемъ ихъ искала и находила...

Естественно, что при такой любви поэта ко всему народному, его неотразимо тянуло постоянно "къ родному пепелищу, къ отеческимъ гробамъ", по его же выраженію въ одномъ отрывкъ. Но тутъ мы опять сначала обратимся къ Татьянъ. Взгляните вы на эту милую Татьяну въ московскомъ "вихръ свъта", среди разныхъ московскихъ кузинъ, тетушекъ и бабушекъ... Какъ ей здъсь неловко, не по себъ, какъ жалка она среди этой блестящей мишуры, показной суеты, она чистая сердцемъ, скромная деревенская дъвушка... И еще болъе грустный, уже трагически оттъненный обликъ представляеть она въ Петербургъ, въ большомъ свътъ, какъ жена важнаго генерала.

Вырвали съ корнемъ изъ родимой почвы крѣпкое, полное жизненныхъ соковъ, растеніе, и пересадили въ тепличный горшокъ, въ роскошную обстановку; но томится и блекнетъ оно въ своемъ искусственномъ прозябаніи, безъ воздушнаго простора, безъ необъятной шири полей и лѣсовъ.. Поддерживаютъ въ ней огонь высокой святой человъчности только тлѣющіе подъ наноснымъ пепломъ угольки дорогого прошлаго,

согрѣвая незримо для посторонняго взора ея холодѣющую жизнь, остывающее сердце... "А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта — постыдной жизни мишура, мои успѣхи въ вихрѣ свѣта, мой модный домъ и вечера — что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этотъ блескъ, и шумъ и чадъ за полку книгъ, за дикій садъ, за наше бѣдное жилище, за тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ, Онѣгинъ, видѣла я васъ, да за смиренное кладбище, гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей надъ бѣдной нянею моей"...

Этими дивно-проникновенными словами озаряется передъ нами вмъстъ съ тъмъ цълая область въ духовномъ міръ Пушкина. Это говоритъ не Татьяна, это поетъ душа поэта, это ея чудная исповъдь... Судите сами. Въ томт же романъ, доканчивая шестую главу, поэтъ, прощаясь со своимъ житьемъбытьемъ въ Михайловскомъ, говоритъ: "Дай оглянусь. Простите жъ съни, гдъ дни мои текли въ глуши, исполнены страстей и лёни, и сновъ задумчивой души. А ты, младое вдохновенье, волнуй мое воображенье, дремоту сердца оживляй, въ мой уголъ чаще прилетай, не дай остыть душъ поэта, ожесточиться, очерствъть, и наконецъ, окаменъть въ мертвящемъ упоеньи свъта, среди бездушныхъ гордецовъ, среди блистательныхъ глупцовъ, среди лукавыхъ, малодушныхъ, шальныхъ балованныхъ дътей. злодъевъ и смъшныхъ, и скучныхъ, тупыхъ, привязчивыхъ судей, среди кокетокъ богомольныхъ, среди холопей добровольныхъ, среди вседневныхъ модныхъ сценъ, учтивыхъ, ласковыхъ измънъ, среди холодныхъ приговоровъ жестокосердной суеты, среди досадной пустоты расчетовъ, думъ и разговоровъ, — въ семъ омутъ, гдъ съ вами я купаюсь, милые друзья!"

Если къ этой — по истинъ геніальной характеристикъ большого свъта, соединенной съ теплымъ обращеніемъ къ деревенской глуши, прибавить еще приведенную уже мною выше
характеристику московскаго столичнаго общества, и хоть слъдующее заявленіе поэта: "Я быль рожденъ для жизни мирной,
для деревенской тишины; въ глуши звучнъе голосъ мирный,
живъе творческіе сны",— то не достаточно ли этого уже для
подтвержденія сказаннаго?... Конечно, достаточно; но я хотъль бы выйти изъ заколдованнаго круга великаго романа
Пушкина, — этого, такъ сказать, нервнаго центра всей его
поэзіи, и коснуться периферіи, поискать и тамъ слъдовъ его

глубокой привязанности къ деревнъ. Заглянемъ въ два крайніе періоды его жизни.

Вотъ передъ нами лицейское стихотворение "Сонъ". Немножко болтливое и растянутое, безъ должной художественной мъры, но тъмъ не менъе заключаеть въ себъ нъсколько красивыхъ картинокъ, въ которыхъ высказывается полное предпочтеніе деревенскихъ условій жизни городскимъ. Юный поэтъ, полушутя, налегаеть на то, что только въ деревнъ, при здоровомъ образъ жизни и такомъ же душевномъ состояни возможенъ добрый, кръпительный, здоровый сонъ. Такое же сопоставленіе изысканно-искусственнаго и бездушнаго городского быта съ прямодушною, искреннею и простою жизнью сельскою находимъ въ одномъ изъ самыхъ последнихъ стихотвореній поэта: "Когда за городомъ задумчивъ я брожу"... Поэтъ говорить о впечатленіяхь, испытываемыхь имь на городскомь и деревенскомъ кладбищъ. Вся ложь и искусственность перваго наводить на него такія смутныя мысли, что на него находить "злое уныніе": "хоть плюнуть да бъжать". "Но" — продолжаеть онь далье: Польной Мостовий в добрать в добрать в

..., Какъ же любо мнѣ
Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ
Вь деревнѣ посѣщать кладбище родовое,
Гдѣ дремлють мертвые въ торжественномъ покоѣ:
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ!
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ;
Близъ камней вѣковыхъ покрытыхъ желтымъ мохомъ,
Проходитъ селянинъ съ молитвою и вздохомъ;
На мѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,
Безсонныхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ,
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя"...

Наконецъ, вотъ послъдній предсмертный звукъ всего творчества поэта, тягостно и жутко замирающее фермато его поэзіи, — обращеніе къ женъ: "Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ! Летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ частицу бытія, а мы съ тобой вдвоемъ располагаемъ жить. И глядь — все прахъ: умремъ! На свътъ счастья нътъ, а есть покой и воля. Давно завидная мечтается мнъ доля, давно усталый рабъ, замыслилъ я побътъ въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нътъ"...

Но, нашъ Пушкинъ такъ и не попалъ въ эту обитель покоя,

переселися вскорт въ иную, въчную обитель немеркнущаго свъта, "идъже нъсть печали, ни воздыханія, но жизнь безконечная"... Да, онъ не умеръ, безконечная жизнь суждена ему и здъсь, на землъ, въ сердцахъ смъняющихся покольній.... Есть, можетъ быть, въ мірт поэты сильнъе Пушкина, но нътъ поэта болъе задушевнаго, чъмъ онъ—да, нътъ!

Въ этой обворожительной задушевности — залогь его безсмертія; а въдь она есть не что иное, какъ проникающее всю его поэзію тепло и свъть всенародной психіи. Въ глубокихъ, недоступныхъ глазу, нъдрахъ народной жизни зародились корни его творчества, питались его соками, и дали міру пышный цвътокъ. Мы пьемъ его ароматъ, любуемся его красками, и что-то радостное и доброе, благое и кроткое тихимъ ангеломъ сходить въ наше сердце... Нътъ ему, этому милому и хорошему, ни имени ни образа, не взвъсить его никому и не смърить, и, несмотря на это, оно есть сила, — крупная сила, съ которой нельзя не считаться. Развъ можно вычислить и опредълить вліяніе красоты теплаго весеннаго вечера гдънибудь на лонъ русской природы, когда каждый звукъ стоитъ въ чуткомъ прозрачномъ воздухъ, — невъдомо откуда доносятся и звонкіе людскіе голоса, и мелодическіе всплески ближней ръки, и замирающее, полное въги, щебетание пташекъ состанняю лъска... Грудь переполняется ликующею радостью, трепетомъ живой близости Божества, и сердце истекаетъ всеобъемлющею любовью: такъ бы и обнялъ весь этотъ Божій міръ, такъ бы и прижалъ его къ своей пылающей груди! Таково же дъйствіе поэзіи Пушкина. Сладостныя струи его задушевныхъ пъсенъ, вливаясь въ нашу душу, размягчаютъ ее и напояють ее высокимъ благоволеніемъ ко всему живому -до послъдней травки-былинки. Многіе говорять: не нужно намъ цвътовъ — они лишь для эгоистическаго самоуслажденія, а давайте намъ лъкарственныя травы, питательные злаки, чтобы мы могли пособить ближнимъ. Но это полное недомысліе: порывъ чувства, поднимающій нашу руку на доброе діло, внушенъ тою же въчною красотою — красотою подвига. Итакъ благо поэту! Пусть уносять нась эфирныя волны его "призраковъ жизни неземной", его "словъ поэзіи святой" въ царство благостной красоты, ибо

>, все та же единая Сила цасъ манитъ къ себъ неизвъстная,

Та же плъняеть насъ пъснь соловыная, Тъ же насъ радують звъзды небесныя!"

Слава же нашему Пушкину! Въчная слава ему, пъвцу красоты, радости и любви! *Н. Петров*т.

Лирическія произведенія Пушкина, какъ наилучшій показатель его духовной мощи.

Вся сила, все богатство поэта развивается въ полнотъ мелкихъ, преимущественно лирическихъ стихотвореній. Здісь Пушкинъ является полнымъ властелиномъ въ необозримомъ могуществъ; здъсь сверкають самыя яркія искры того пламени, который горъль въ сокровенныхъ тайникахъ его души. Съ перваго взгляда ясно, что всв воплощаемыя имъ ощущенія были прожиты имъ, что они или выраженіе переворотовъ судьбы, или страданіе и грусть мужественнаго сердца, или бодрость и надежда сильной души. Въ въяніи этихъ ощущеній дышить самъ поэть, дышать его соотечественники, его современники; онъ отыскиваетъ въ ихъ груди самыя сокровенныя струны, настраиваеть эти струны и ударяеть по нимъ. Волненія, которыя темно и бользненно движутся и борются внутри, освобождаются очарованіемъ его выраженія и выпархивають на свъть, радостныя и сіяющія. Какъ глубоко, какъ могущественно вскрыль Пушкинъ въ своихъ пъсняхъ сердце своего народа, — видно изъ того, что эти пъсни проникли всюду въ Россіи, что онъ перелетають тамъ изъ усть въ уста и вездъ возбуждають восторгь и вдохновение. Мало того, что онъ вполнъ удовлетворяютъ лирическому чувству народа, онъ еще возвышають его требованія и умножають его богатство поэтическимъ сокровищемъ; неистощимо это сокровище: расточая его, не уменьшишь, а увеличишь его

Прежде всего замътимъ разнообразіе, въ которомъ обнаруживается здъсь творческая сила поэта. Отъ буйнаго, вакхическаго диеирамба, отъ возвышенной оды и унылой элегіи до самаго простого напъва, отъ дружескаго посланія до язвительной эпиграммы, отъ пророческаго, восточнаго символа до пъсни, посвященной минутъ и случаю, — здъсь собраны всъ формы. Легко, свободно бъгутъ стихи и риемы, никакъ не вы-

ступая, однакожъ, изъ строгихъ предъловъ строфы; ямбы и дактили чередуются съ трохеями; вмъсть съ граціозными, легкими формами пъсни тъснятся стройные стансы, ловкіе сонеты и тяжелые на подъемъ ряды александринъ. Содержаніе не менъе разнообразно. Слава творенія, величіе Россіи, обманы жизни, страданіе отреченія и отчаянія и потомъ снова утъщеніе въ дружбъ и въ искусствъ, свобода мысли и упоеніе насмъшки, — всъ эти внутреннія движенія и чувствованія просвътляются въ груди поэта и становятся отрадными, примирительными образами.

Великое созерцаніе природы лежить въ основаніи всъхъ его стихотвореній, оно просвъчиваеть сквозь переливы ощущеній и даетъ имъ тонъ и выраженіе. Въ дивно прекрасныхъ строфахъ "Къ морю" какъ будто воздымается во всемъ своемъ великольній эта свободная стихія, съ которою такъ тъсно связаны вдохновенія и грусть души, порывающейся вдаль. Онъ намекаетъ на гробницу Наполеона и на пъсню Байрона, котораго образъ мощно очерченъ въ образъ моря, и наполняють душу грустью самого поэта, отрывающагося отъ любимаго имъ берега. Жалобы, исторгаемыя изъ души поэта разлукою и одиночествомъ, воспоминанія объ обольщеніяхъ и утратахъ жизни, - все это гармонически перемъщано съ образами природы; у него равно художественны: и листъ запоздалый на въткъ, и одинокій звукъ, раздавшійся въ зимнюю ночь, и опоясанный облаками Кавказъ, и зеленое море CTEUEN.

Безпрерывно испытывая въ своей собственной жизни всъ горести и страданія человъческаго жребія, онъ умѣетъ также переноситься въ положеніе другого, совершенно забывать себя въ немъ и сочувствовать его участи; и нигдѣ это сочувствіе не выражалось съ такою силою, въ такой истинѣ, какъ въ элегіи Пушкина на умиляющую смерть Андрея Шенье. Пѣсни, посвященныя друзьямъ, исполнены нѣжной, искренней сердечности, теплыхъ воспоминаній и бодраго упованія; вообще дружба является у него на первомъ планѣ и въ мощныхъ чертахъ; самая любовь уступаетъ ей, по крайней мѣрѣ, по живости выраженій. Пушкинъ, кажется, охотнѣе выражаетъ сцены страсти въ своихъ поэмахъ, нежели въ лирическихъ формахъ. Въ несравненной пѣснѣ "Талисманъ" ревность потеряла всю свою жестокость въ очаровательномъ благозву-

чін, переливающемся въ этихъ музыкальныхъ строфахъ, могущихъ выдержать всякое состязаніе съ звуками языковъ южныхъ. Не борьба и не страданія любви, а ужъ полное удовлетвореніе и блаженство любви выговорено поэтомъ въ его дивномъ сонетъ "Мадонна", гдъ онъ сознаетъ, что осуществилось все, къ чему порывалась душа его, что онъ владъетъ тьмъ, что было единственнымъ его желаніемъ. Свътлое сознаніе блаженства, даннаго ему супругою, тімь трогательное. что несчастныя враждебныя событія возмутили впослёдствіи это чистое счастіе. Но поэть въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, къ свъту, не могъ предохранить себя отъ внутренней дисгармоніи, — и эта дисгармонія порывается у него въ різкой, въ горькой насмъшкъ, въ гнъвъ и гордости. Въ сонеть, въ которомъ онъ обращается къ самому себь, "Сонеть къ поэту", выражена вся свобода самостоятельнаго духа, все величіе его, вся сила его смълаго презрънія. "Презри толпу!" восклицаетъ онъ: "ты царь — живи одинъ; ты художникъ будь доволенъ въ самомъ себъ и самимъ собою, и если ты доволень, то пусть люди поносять тебя, пусть они забудуть тебя". Что это чувство было истиннымъ, было всегдашнимъ чувствомъ Пушкина, въ этомъ свидътельствуетъ множество другихъ мъстъ въ его произведеніяхъ и цълая жизнь его, бывшая всегда выраженіемъ души мужественной, души свободной, непреклонной запрад десементы выправной из даже и за

Его воззрънія на политическія современныя дъла исполнены величія и благородства, всеобъемлющей дальновидности, зрълаго сознанія, кроткой теплоты при мысли объ общемъ благь, высокой любви къ родинъ. Ни одинъ поэтъ въ міръ не воспълъ такъ достойно смерть Наполеона, какъ Пушкинъ; ни одно стихотвореніе на эту тему не можеть равняться съ Пушкинскимъ въ выспренности и богатствъ содержанія. Онъ изображаетъ въ геніальныхъ чертахъ все величіе павшаго героя и, объявляя его тираномъ, не понявшимъ свободы и народовъ, не постигшимъ русскихъ, онъ возбраняетъ всякій укоръ противъ того, кто такъ величественно искупилъ свои заблужденія; въ заключение поэтъ призываетъ славу на главу того, кто вызваль русскій народь къ высшему развитію, кто изъ мрака ссылки завъщаль міру въчную свободу. Еще замъчательные два другія стихотворенія Пушкина, принадлежащія ко времени польской войны. Поэтъ подчиняетъ въ этихъ стихотвореніяхъ

вопросъ о сомнительной во всякомъ случат свободт отдъльнаго илемени другому высшему вопросу - объ общемъ назначеніи славянскихъ народовъ. Здёсь онъ весь русскій, пламенъюшій за свое отечество, торжествующій побъду, требующій покорности, но не въ позоръ и рабство, а въ осуществленіе закона высшей власти, для общей славы и процебтанія. Все негодование его падаеть на чужеземныхъ клеветниковъ и враговъ Россіи, для которыхъ непонятенъ и чуждъ этотъ споръ славянъ между собою; онъ зоветъ ихъ снова на знакомыя имъ снъжныя равнины, онъ объщаетъ, что есть еще и для нихъ мъсто среди гробовъ, имъ не чуждыхъ. Поэтъ всегда принадлежитъ своей родинъ, и когда его соотечественники быотся и проливають свою кровь, онъ имъетъ полное право желать имъ побъды и славы; онъ расточаетъ все богатство своей силы представившемуся ему мгновенію, даетъ ему столько, сколько оно можетъ принять; даже и то, что не можетъ быть принято этимъ мгновеніемъ, что выпадаетъ изъ него, столько же служить къ изображенію истины, сколько и то, что дъйствительно относится къ нему. Но, отбросивъ въ сторону всё эти разсужденія, мы должны сказать объ упомянутыхъ нами стихотвореніяхъ, что они, разсматриваемыя съ художественной точки зрвнія, принадлежать къ самымъ дучшимъ стихотвореніямь Пушкина. Они стремятся въ порывахъ высокой страсти, въ огненномъ выраженіи, въ величавыхъ, иногда дикихъ, иногда странныхъ образахъ, и неодолимо увлекаютъ съ собою участіе и душу читателя. Третья, замыкающая этотъ рядъ, пъсня, "Пиръ Петра Великаго", должна покорить всъ сердца поэту, который здёсь съ мыслью высокой, столько же русской, сколько и общечеловъческой, воплощаетъ въ могущественнъйшихъ, въ трогательнъйшихъ образахъ, торжественный актъ прощенія и примиренія, и разсыпаетъ эти образы въ формахъ быстрой, милой, веселой пъсни. Никогда еще такое духовное благородство и величіе не соединялись такъ счастливо съ высокимъ даромъ музъ, какъ въ этой пъснъ. Эта пъсня можетъ служить ручательствомъ, что русская поэзія можеть сміло поставить себя на ряду со всякою другою поэзіею, достигшею до высочайшей степени развитія.

Варніагень фон-Энзе.

Вліяніе Лицея на творчество Пушкина.

Въ исторіи литературы едва ли найдется примъръ болье сильнаго воспитательнаго вліянія, чъмъ то, которое оказаль Лицей на Пушкина, и которое болье или менье высказывается во всъ періоды его творчества. Произведенія Пушкина имъють автобіографическое значеніе. По нимъ можно прослъдить развитіе умственной жизни поэта; въ нихъ чувствуется связь внъшнихъ впечатльній съ его внутреннимъ міромъ; на нихъ, какъ въ зеркаль, отражаются вліянія, которымъ онъ подчинялся. Эта особенность, то ослабъвая, то возвращаясь съ новой силой, проходитъ чрезъ всю дъятельность Пушкина, и многія изъ его лучшихъ произведеній, даже послъдняго времени, озарены, по его выраженію,

Лучомъ лицейскихъ ясныхъ дней. (Посл. Пущину 1826 г.)

Событія лицейской жизни, начиная съ того дня, когда онъ 12-льтнимъ мальчикомъ поступилъ въ Лицей, уже даютъ ему образы для высокохудожественныхъ произведеній. Воть какъ, по прошествіи 25 льть, въ послъдней "Лицейской годовщинь" 1836 г. Пушкинъ вспоминаеть объ открытіи Лицея:

Вы помните: когда возникъ лицей, Какъ царь открыль для насъ чертогь царицынъ— И мы пришли, и встрътиль насъ Куницынъ Привътствіемъ межъ царственныхъ гостей. (19 октября 1836 г.)

Куницынъ, о которомъ упоминаетъ Пушкинъ, былъ однимъ изъ талантливъйшихъ и образованнъйшихъ преподавателей своего времени и занималъ въ Лицев съ 1811 по 1816 г. каеедру логики и правственной философіи. Привътствіе, сказанное Куницынымъ при открытіи Лицея, было "Наставленіе воспитанникамъ о цъли и о пользъ ихъ воспитанія". Ръчь эта
произвела впечатлъніе, и Пушкинъ неоднократно вспоминаетъ
о Куницынъ, имъвшемъ на него нравственное вліяніе:

Куницыну дань сердца и вина! Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ напгъ пламень... Поставленъ имъ краеугольный камень, Имъ чистая лампада возжена...

(19 октября 1825 г.)

Эти четыре стиха, конечно, больше чъмъ всъ сочиненія Куницына сохранять имя его отъ забвенія.

Послъ Куницына выдающееся значение по своему вліянію имълъ Кошанскій, уже пользовавшійся нъкоторою извъстностью въ литературъ, и преподававшій русскую и латинскую словесность и неизбъжную въ то время реторику. Къ счастью для Лицея, при самомъ его учрежденіи, уже въяло въ обществъ новою жизнью, и профессорамъ предписывалось "избъгать пустыхъ школьныхъ упражненій, и, переходя отъ простого повъствованія къ слогу ораторскому и возвышенному, не ускорять симъ послъднимъ, дабы не дать дътямъ ложнаго и напыщеннаго вкуса, а показать имъ только сей послъдній родъ издалека и мимоходомъ". Разумъется, нельзя было ожидать, чтобы Кошанскій отказался отъ убъжденій, но онъ не могь не чувствовать, что они уже были анахронизмомъ для молодого поколънія, и покорялся духу времени. Лекціи его походили на бесъды, вслъдствие чего установилось сближение между профессоромъ и воспитанниками; но тъмъ не менъе Кошанскій оставался представителемъ напыщеннаго классицизма, надъ которымъ тогдашніе лицеисты уже не мало подсмъива-

Къ небольшему числу преподавателей, имъвшихъ вліяніе на Пушкина, слъдуетъ отнести и Галича, автора "Исторіи философскихъ системъ", который одинъ изъ первыхъ содъйствовалъ распространенію у насъ философскаго образованія и подвергся въ 1824 г. жестокимъ преслъдованіямъ со стороны Магницкаго и Рунича. Галичъ, назначенный въ помощь Кошанскому, котораго отвлекало управление Лицеемъ по смерти перваго директора Малиновскаго, занимался съ воспитанниками съ мая 1814 по іюнь 1815 г. Хотя Галичъ только промелькнуль въ Лицев, но имя его въ этотъ короткій періодъ безпрестанно встръчается у Пушкина. Въ стихотвореніи "Пирующіе студенты", автографъ котораго находится въ Лицев и которое, въ видахъ благонравія, переименовалось въ печати въ "Пирующіе друзья", Пушкинъ върно изобразилъ Галича, котораго называетъ апостоломъ нъги и прохладъ и младшимъ братомъ Эпикура. Галичъ былъ предобрый и презабавный чудакъ и обращался съ воспитанниками какъ съ друзьями. Онъ занимался съ ними всъмъ, исключая своихъ предметовъ, читалъ театръ Коцебу, выслушивалъ стихи и только, въ ожиданіи посъщенія начальства, изръдка заглядывая на лекціи, принимался за Корнелія Непота или Цицерона, приговаривая: "потреплемъ старика". Далекій отголосокъ этого выраженія находимъ въ концъ 2-й главы "Евгенія Онъгина":

О ты, чья память сохранить Мои летучія творенья, Чья благосклонная рука Потреплеть лавры старика!

Вспоминаніями того же времени начинается 8-я глава "Ев-

Въ тв дни когда въ садахъ лицея Я безмятежно расцвъталъ, Читалъ охотно Апулея, А Цицерона не читалъ ...

Вліяніе названных трехъ лицъ хотя имъло значительную долю въ литературномъ развитіи Пушкина, но ограничивалось Лицеемъ, и притомъ не было преобладающимъ. Несравненно большее вліяніе на развитіе творчества духа Пушкина имъла совокупность тъхъ необыкновенныхъ благопріятныхъ обстоятельствъ и случайностей, которыя, по волъ судьбы, окружали его и въ которыхъ Лицею принадлежитъ первенствующая роль. Необыкновенная торжественность открытія Лицея, военныя событія и названный ими небывалый еще подъемъ народнаго духа, — вотъ первыя глубокія впечатлънія, отразившіяся на творчествъ Пушкина:

Вы помните: текла за ратью рать Со старшими мы братьями прощались, И въ сънь наукъ съ досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шелъ мимо насъ.

(19 октября 1836 г.)

Ни въ одной литературъ ничего нътъ равносильнаго по искренности и глубинъ патріотическаго чувства и по художественности его выраженія. Зависть, о которой говоритъ Пушкинъ, одушевляла все тогдашнее юношество, и великій поэтъ, по прошествіи четверти въка, является выразителемъ патріотическаго порыва, еще никогда не воплощавшагося въ такія высокохудожественныя формы. Къ этому же циклу поэтическаго творчества относятся: "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ" 1815 г., "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ

1829 г.", "Къ тъни полководца", "Клеветникамъ Россіи" и "Бородинская годовщина". Въ послъдней даже чувствуется еще вліяніе, хотя уже весьма отдаленное, Державинской оды "На взятіе Варшавы" (1794 г.). Всъ эти пять одъ имъютъ внутреннюю связь, проникнуты однимъ настроеніемъ, въ нихъ звучатъ тъ же патріотическія струны, которыхъ еще въ Лицев заслушивались Державинъ, Дмитріевъ и Жуковскій. Но какъ далеко отъ нихъ шагнулъ Пушкинъ, и какая неизмъримая разница между нимъ и всъми его предшественниками и въ достоинствъ языка и въ красотъ выраженія!

Царское Село съ своими историческими воспоминаніями, величественными садами и памятниками военной славы, гдъ

... каждый шагь въ душ'в рождаетъ Воспоминанье прежнихъ лътъ (Воспом. въ Ц. С. 1815 г.),

неоднократно вдохновляла Пушкина. Его оба воспоминанія въ Царскомъ Сель, хотя отдаленныя одно отъ другого на 14 льтъ вызваны тьми же впечатльніями, писаны одинаковымъ размъромъ и служатъ какъ бы дополненіемъ другъ къ другу. Но второе носитъ болье личный характеръ и выражаетъ душевное настроеніе поэта по возвращеніи посль долгихъ тревогъ въ спокойное уединеніе Царскаго Села, которое онъ называль "отечествомъ".

• Къ числу причинъ, благопріятствовавшихъ развитію Пушкина, следуетъ отнести отличительную черту лицейскаго воспитанія. Подъ руководствомъ Кошанскаго и при содъйствіи ивкоторыхъ воспитателей, образовались бесвды, на которыхъ каждый изъ воспитанниковъ обязанъ быль разсказать что нибудь. Такимъ образомъ является разсказъ за разсказомъ, въ которомъ подробности вводились и развивались нъсколькими лицами, и въ короткое время образовался запасъ разсказовъ и анекдотовъ, которые потомъ записывались, читались въ дружескомъ кругу, переходили изъ рукъ въ руки, и послужили матеріаломъ для лицейскихъ журналовъ, изъ которыхъ первый, подъ названіемъ "Въстникъ", явился уже въ декабръ 1811 г. На этихъ бесъдахъ, бывшихъ литературною школою и первымъ поприщемъ Пушкина, онъ разсказаль въ главныхъ чертахъ двъ повъсти, которыя обработаль впоследствіи, и напечаталь подь заглавіями "Выстрель"

и "Метель". Такимъ образомъ оба эти произведенія, напечатанныя въ 1830 г., въ числъ "Повъстей Бълкина", обязаны своимъ происхожденіемъ Лицею. Нътъ сомнънія, что эта литературная школа наиболье содъйствовала самообразованію воспитанниковъ, развила ихъ вкусъ и воображеніе и приближала къ главнымъ условіямъ художественнаго творчества, реальности содержанія и изящества формы.

Наиболъе ръшительное вліяніе на стремленіе Пушкина имълъ тотъ литературный кругъ, въ которомъ онъ обращался съ дътства, и который еще расширился въ Лицев. Одновременно съ Пушкинымъ поступило туда семеро воспитанниковъ Московскаго университетскаго пансіона, уже давно отличавшагося литературнымъ направленіемъ. Труды его воспитанниковъ печатались въ сборникахъ, и между пансіонерами существовало литературное общество, имъвшее уставъ. Это же направленіе, при содъйствіи Кошанскаго, который самъ кончилъ курсъ въ Московскомъ университетъ и преподавалъ его въ пансіонъ, было перенесено въ Лицей, и попавъ на готовую почву, получило дальнъйшее развитіе. Пушкинъ еще въ Москвъ, въ домахъ отца и диди, извъстнаго поэта Василія Львовича, имъль случай встръчаться со многими писателями. Одинъ изъ нихъ А. И. Тургеневъ, пріятель отца, особенно содъйствоваль опредъленію Пушкина въ Лицей, самъ привезъ его изъ Москвы, и принималъ горячее участіе въ его литературныхъ опытахъ и первыхъ успъхахъ. Тургеневу же суждено было потомъ навсегда увезти Пушкина изъ Петербурга. Литературныя связи расширялись по мъръ успъховъ, и еще въ Лицев Пушкинъ познакомился съ Державинымъ, Дмитріевымъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, Карамзинымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ, который подарилъ ему свои стихотворенія, и княземъ Вяземскимъ, съ которымъ съ 1816 г. вступилъ въ дружескую переписку, не прерывавшуюся: долконцалжизни стате былобой стательный а

Говоря о кружкахъ, оставившихъ вліяніе на Пушкина, нельзя не упомянуть объ офицерахъ лейбъ-гусарскаго полка, стоявшаго въ Царскомъ Селъ. Лицеисты встръчались съ ними въ семейныхъ домахъ и особенно въ манежъ, посъщеніе котораго было обязательно для воспитанниковъ, готовившихся въ военную службу. Между офицерами были люди съ европейскимъ образованіемъ и любившіе литературу. Съ нъкото-

рыми изъ нихъ еще въ Лицев установилась дружба, основанная на общихъ умственныхъ интересахъ и продолжавшаяся всю жизнь. Ярче другихъ въ этомъ кружкв выдвлялся Чаадаевъ, одинъ изъ образованнъйшихъ людей своего времени; котораго Грибовдовъ изобразилъ въ Чацкомъ. Изъ другихъ офицеровъ, съ которыми подружился Пушкинъ, назовемъ бывшаго геттингенскаго студента Каверина и Зубова, имена которыхъ неоднократно встрвчаются у Пушкина. Обоимъ онъ написалъ въ альбомы при выпускв изъ Лицея, а о Каверинъ вспоминаетъ въ 1-ой главъ "Евгенія Онъгина". Гусарскіе же офицеры являются дъйствующими лицами въ упомянутыхъ двухъ повъстяхъ "Выстрълъ" и "Метель".

Наибольшее вліяніе на творчество Пушкина имъль Батюшковъ. Вліяніе это, уже замътное въ 1814 г., продолжалось за порогомъ Лицея, и чувствовалось даже въ лучшую пору творчества Пушкина. Въ Батюшковъ его увлекали и содержаніе, заимствованное у любимыхъ ими обоими французскихъ эротическихъ поэтовъ, особенно Парни и необыкновенныя для того времени изящество формы и музыкальность стиха, въ которыхъ Батюшковъ не имълъ тогда соперниковъ. Изъ лицейскихъ стихотвореній въ подражаніе ему написаны посланія: "Къ сестръ", "Къ другу-стихотворцу", "Къ Батюшкову", "Пирующіе студенты", "Городокъ", "Воспоминаніе" и нъкоторыя другія. Въ произведеніяхъ позднъйшаго періода уже гораздо меньше подражаній Батюшкову, но вліяніе его чувствуется еще во многихъ, преимущественно антологическихъ стихотвореніяхъ: "Дорида", "Нереида" (1820 г.). Это послъднее стихотвореніе, по признанію самого Пушкина, напоминаетъ Батюшкова. Оно вписано въ альбомъ Иванчину-Писареву, и на вопросъ его Пушкину, почему онъ выбраль именно это, а не другое стихотвореніе, Пушкинь отвъчаль: "Я люблю его, оно отзывается стихами Батюшкова". Послъдній слъдъ его вліянія находимъ въ 1833 году въ одномъ изъ самыхъ зръдыхъ произведеній Пушкина, "Мъдномъ Всадникъ". Мысли и даже нъкоторыя выраженія въ этой высоко художественной поэмъ заимствованы изъ описанія Батюшкова "Прогудка въ Академію художествъ", которое Пушкинъ зналъ еще въ Лицев.

Лицейскія стихотворенія Пушкина.

Желая указать на поэтическую дъятельность Пушкина въ Лицев, не можемъ отказать себъ въ удовольствіи напомнить читателямъ тъ плънительныя выраженія, въ которыхъ самъ онъ говорить о ней:

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лицея Я безмятежно расцвѣталъ, Читалъ охотно Апулея, А Цицерона не читалъ, Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ, Весной, при кликахъ лебединыхъ, Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ, Являться муза стала мнѣ. Моя студенческая келья Вдругъ озарилась: муза въ ней, Открыла пиръ младыхъ затѣй, Воспѣла дѣтскія веселья, И славу нашей старины, И сердца трепетные сны.

Въ 1820 г. въ Кишиневъ писалъ онъ:

Богини мира, вновь явились музы мнѣ И независимымъ досугамъ улыбнулись; Цѣвницы брошенной уста мои коснулись; Старинный звукъ меня обрадовалъ—и вновь Пою мои мечты, природу и любовь, И дружбу вѣрную, и милые предметы, Плѣнявшіе меня въ младенческіе лѣты, Въ тѣ дни, когда, еще незнаемый никъмъ, Не зная ни заботъ, ни цѣли, ни системъ, Я пѣньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лѣни И царскосельскія хранительныя сѣни.

Или обращаясь къ музъ своей:

Младенчество прошло, какъ легкій сонъ... Ты отрока безпечнаго любила. Средь важныхъ музъ тебя лишь помнилъ онъ, И ты его тихонько посътила.

Въ одномъ изъ уцълъвшихъ отрывковъ его записокъ читаемъ: "я началъ писать съ 13-лътняго возраста". Такое раннее начало отчасти становится для насъ понятнымъ, когда мы вспомнимъ, что Пушкинъ, по свидътельству брата своего, будучи ребенкомъ, проводилъ безсонныя ночи въ кабинетъ

отца и тайкомъ пожиралъ книги одну за другой, что онъ необыкновенно рано началъ развивать свои способности и рано усвоилъ себъ извъстный запасъ свъдъній.

Какъ въ Московскомъ университетскомъ пансіонъ около Жуковскаго образовалось дружеское литературное общество, такъ и въ Лицев любовь къ стихотворству,

Охота смертная на риемахъ лепетать,

собирала около Пушкина талантливыхъ отроковъ. Но направленіе и судьба этихъ дътскихъ литературныхъ обществъ были различны. Въ Московскомъ пансіонъ собранія молодыхъ любителей словесности, подъ предсъдательствомъ Антонскаго и другихъ наставниковъ, наслъдственно продолжались въ теченіе многихъ лътъ. Въ Лицев они скоро были остановлены что стихи мъщали лицеистамъ учиться. Литературный лицейскій кружокъ образовался очень рано, едва ли не тотчасъ по открытіи Лицея. Главное участіе и первенство, конечно, принадлежали Пушкину. Другими участниками были: Дельвигь, Илличевскій, Корсаковъ, князь А. М. Горчаковъ, баронъ М. А. Короъ, С. Г. Ломоносовъ, Д. Н. Масловъ, Н. Г. Ржевскій, В. К. К. ръ, М. Л. Яковлевъ. Вмъстъ съ нъкоторыми другими товарищами они вздумали издавать журналы, т.-е. собирать свои произведенія, переписывать, разрисовывать, переплетать и прочее. Одинъ журналь: Лицейскій Мудрецг, остался во Флоренціи вмъстъ съ бумагами умершаго тамъ Николая Корсакова; остальные три: Для удовольствія и пользы, Неопытное перо и Пловеця, въ 1825 году были отданы брату одного изъ лицеистовъ и недоступны любопытству біографа.

По преданію, за достовърность котораго нельзя, впрочемъ, ручаться, почти первые русскіе стихи Пушкинъ написалъ къ лучшему другу своего дътства, къ сестръ. Стихи эти доселъ ходятъ въ рукописи. Надо замътить, что родители Пушкина, помъстивъ младшаго сына въ пансіонъ Гауэншильда, переселились на житье въ Петербургъ. Пушкинъ, во все пребываніе свое въ Лицеъ, кажется, ни разу не ъздилъ въ Москву. Вышеупомянутые стихи къ сестръ писаны изъ Лицея въ Петербургъ. Они начинаются такъ:

Ты хочешь, другь безцівнный, Чтобъ я, поэть младой,

Бесъдовалъ съ тобой, И съ лирою забвенной...

Далье поэть переносится мечтою изъ уединенія своего подъ

Тайкомъ взошедъ въ дивану, Хоть помощью пера, О, какъ тебя застану, Любезная сестра! Чъмъ сердце занимаешь Вечернею порой? Жанъ-Жака ли читаешь? Жанлисъ ли предъ тобой? Иль съ ръзвымъ Гамильтономъ Смъешься всей дущой? Иль съ Греемъ и Томсономъ Ты пренеслась мечтой Въ поля, гдъ отъ дубравы Вдоль въеть вътерокъ, И шепчеть лёсь кудрявый, И мчится величавый Съ вершины горъ потокъ?

Но воть, ужь я сь тобой! И въ радости нѣмой Твой другь расцвиль душой, Какъ ясный вешній день. Заботы дни разлуки, Дни горести и скуки, Исчезла грусти тѣнь. Но это лишь мечтанье! Увы, въ монастырѣ, При бледномъ свечь сіяньи, Одинъ пишу къ сестръ. Все тихо въ мрачной кельъ; Защелка на дверяхъ, Молчанье — врагь веселья — И скука на часахъ! Стуль ветхій, необитый, И шаткая постель, Сосудъ воды налитый, Соломенна свиръль — Воть все, что предъ собою Я вижу пробужденъ. Фантазія, тобою Одной я награжденъ! Тобою принесенный

Къ волшебной Ипокренъ И въ кельъ я блаженъ! Что было бы со мною, Богиня, безъ тебя? и прочее.

Это одни изъ первыхъ звуковъ Пушкинской поэзіи. Вскоръ и публика услышала гармоническое пъніе, раздавшееся въ тиши липейской. Въ первый разъ стихи Пушкина появились въ печати въ 1814 году, въ лучшемъ повременномъ изданіи того времени, "Въстникъ Европы", коимъ завъдывалъ тогда Владимиръ Васильевичъ Измайловъ. Дельвигъ предупредилъ друга своего: ода его на взятие Парижа появилась въ іюньской (12-й) книжкъ "Въстника Европы" 1814 года; въ слъдующей книжкъ находимъ первое печатное стихотвореніе Пушкина, оно называется: Къ другу-стихотвориу. Пятнадцатилътній поэтъ, изображая передъ Дельвигомъ опасности того поприща, на которое онъ выступиль, между прочимъ, говоритъ:

Аристь, не тоть поэть, кто риемы плесть умѣеть, И, перьями скрипя, бумаги не жалѣеть, Хорошіе стихи не такъ легко писать, Какъ Витгенштейну французовъ побъждать. Межъ тѣмъ какъ Дмитріевь, Державинь, Ломоносовъ, Пѣвцы безсмертные, и честь и слава россовъ, Питаютъ здравый умъ и вмѣстъ учатъ насъ, Сколь много гибнетъ книгъ, на свѣтъ едва родясь! Творенъя громкія Риематова, Графова, Съ тяжелымъ Бибрусомъ гніютъ у Глазунова; Никто не вспомнить ихъ, не станетъ взоръ читать, И Фебова на нихъ проклятія печать.

Поэтовъ хвалять всв, читають лишь журналы; Катится мимо нихъ Фортуны колесо; Родился нагь и нагь ступаеть въ гробъ Руссо; Камоэнсь съ нищими постелю раздъляеть; Костровъ на чердакъ безвъстно умираеть, Руками чуждыми могилъ преданъ онъ; Ихъ жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ

Конечно, многіе наши стихотворцы охотно подписали бы свое имя подъ такими стихами. Въ слъдующей книжкѣ "Въстника Европы" напечатано было второе стихотвореніе Пушкина: Кольна (подражаніе Оссіону); далѣе въ остальныхъ книжкахъ 1814 года находимъ еще три довольно слабыя пьесы его: Венеръ от Лаисы при посвящени ей зеркала,

Опытность, Блаженство. Всё эти стихотворенія, подъ коими Пушкинъ подписывался разными псевдонимами, только теперь вошли въ собраніе его сочиненій. Въ принадлежности ихъ ему удостовъряла прежде рукопись подъ названіемъ. Собраніе лицейских стихотвореній. Часть 1. Напечатанныя пьесы.

Талантъ молодого любимца боговъ зрълъ не по днямъ, а по часамъ. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ замътно расли сила стиха, прелесть выраженія, смълость мысли, однимъ словомъ, тъ качества, которыя впослъдствіи сдълались всегдашнимъ неотъемлемымъ его достояніемъ. Пушкинъ неудержимо предавался обаятельному искусству. Поэтическія мечтанія овладъвали имъ совершенно.

Все волновало нёжный умъ:
Цвётущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнё ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнё звуки дивные шепталь,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размёры стройные стекались
Мои послушныя слова
И звонкой риемой замыкались.

Съ 1815 года начинается литературная извъстность и слава его, дотолъ ограниченная тъснымъ царскосельскимъ кружкомъ. Въ этомъ году подъ стихами его уже находимъ полное его имя. О немъ заговорили...

4-го и 8-го чиселъ января въ первый разъ происходило въ Лицев торжественное публичное испытаніе. Государь не могъ удостоить его своимъ присутствіемъ: онъ жилъ тогда въ Вѣнѣ. Тѣмъ не менѣе посѣтителей собралось множество. Несмотря на разстояніе, друзья просвѣщенія и важныя государственныя лица нарочно пріѣхали изъ Петербурга посмотрѣть вблизи на этотъ новый разсадникъ наукъ, столь любимый его величествомъ. Во время экзамена по предмету русской словесности вызвали Пушкина, и онъ прочелъ передъ многочисленнымъ собраніемъ свои Воспоминанія съ Парскомъ Селю, во многихъ мѣстахъ истинно прекрасныя. Всѣ слушатели по-

чувствовади, что это не были сбыкновенные, сочиненные на заданную тему стихи. Но, безъ сомнънія, немногіе внимали имъ съ такимъ участіемъ, какъ семидесятильтній Державинъ, почетнымъ гостемъ сидъвшій на экзамень. Онъ, конечно, не могъ безъ сердечнаго волненія слушать эти гармоническія строфы: въ нихъ говорилось объ Екатеринъ, о прошломъ въкъ, имъ воспътомъ, о немъ самомъ. Растроганный, онъ поднялся съ кресель и пошель обнимать молодого поэта... Но вотъ собственный разсказъ Пушкина объ этихъ незабвенныхъ для него минутахъ: "Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундиръ и плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомиль: онъ сидълъ поджавши голову рукою; лицо его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Портретъ е́го (гдъ представленъ онъ въ колпакъ и халатъ) очень похожъ. Онъ дремаль до тъхъ поръ, пока не начался экзамень по русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблистали, онъ преобразился весь. Разумвется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенной. Наконецъ, вызвали меня. Я прочель мои Воспоминанія вт Д.С., стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей: когда дошелъ я до стиха, гдъ упоминаю имя Державина, голось мой отроческій зазвенёль, а сердце забилось съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе, не помню, куда убъжаль, Державинь быль въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хотълъ меня обнять... Меня искали, но не нашли..."

Сюда-то относятся слова Пушкина о музъ своей:

И свъть ее улыбкой встрътиль; Успъхъ насъ первый окрылиль; Старикъ Державинъ насъ замътиль И, въ гробъ сходя, благословилъ.

Или:

В. Покропскій. А. С. Пувікинь.

И славный старець нашъ, царей пѣвецъ избранный, Крылатымъ геніемъ и граціей вѣнчанный, Въ слезахъ обнять меня дрожащею рукой И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной.

Но шестнадцатилътній поэть привель въ восхищеніе не одного Державина. Всъ дивились необыкновенному таланту. На большомъ объдъ у министра народнаго просвъщенія, графа

Разумовскаго, о немъ шелъ общій говоръ. Всё предсказывали будущую его славу. Хозяинъ, обратясь къ Сергею Львовичу, который находился тутъ же, замётиль между прочимъ: "Я бы желалъ, однакожъ, образовать сына вашего въ прозе". — "Оставьте его поэтомъ", возразилъ съ жаромъ Державинъ.

Двъ заключительныя строфы стихотворенія, пробуждавшаго такое всеобщее вниманіе, посвящены Жуковскому. Обращаясь

къ нему, Пушкинъ говоритъ:

О скальдъ Россіи вдохновенный, Воспъвшій ратныхъ грозный строй! Въ кругу друзей своихъ, съ душой воспламененной, Взгреми на арфъ золотой; Да снова стройный гласъ герою въ честь прольется, И струны трепетны посыплють огнь въ сердца...

Предпослъдній стихъ относится къ стихотворенію Жуковскаго, тогда только что появившемуся въ Петербургъ. 30 декабря 1814 года А. А. Тургеневъ въ Зимнемъ дворцъ читалъ императрицъ Маріи Өеодоровнъ, нъкоторымъ членамъ царскаго семейства и немногимъ ихъ приближеннымъ Посланіе къ импе-

ратору Александру.

Въ это время Жуковскій провздомъ изъ деревни въ Петербургъ жилъ въ Москвъ. Пріятель его Василій Львовичъ Пушкинъ получилъ изъ Петербурга новое стихотвореніе племянника своего. Сохранилось любопытное преданіе, что въ одинъ день Жуковскій пришель къ друзьямъ своимъ и съ радостнымъ видомъ объявилъ, что изъ Петербурга присланы прекрасные стихи. Это были Воспоминанія вз Дарскомз Селю. Онъ принесъ ихъ съ собою, читая вслухъ, останавливался на лучшихъ мъстахъ и говорилъ: "Вотъ у насъ настоящій поэть!"

Жуковскій видаль Пушкина еще въ Москвъ ребенкомъ; но настоящее знакомство ихъ началось льтомъ 1815 года. Посль неоднократныхъ вызововъ вдовствующей государыни, въ конць весны, Жуковскій, наконець, прівхаль въ Петербургъ, и въ теченіе льта и осени посьщалъ Царское Село и Павловскъ, гдъ читалъ императрицъ стихи свои. Надо замьтить, что въ это время онъ былъ на верху своей славы. Три изданія "Пъвца въ станъ русскихъ воиновъ" раскупились въ одинъ годъ. "Посланіе къ императору Александру" было принято съ восторгомъ, какъ выраженіе общихъ народныхъ чувствъ. Друзья носили Жуковскаго на рукахъ. Вдовствующая государыня

отмънно ему благоволила. Тогда-то Пушкинъ написалъ къ нему посланіе, коимъ испрашивалъ себъ благословенія у поэта на поэтическое служеніе.

Благослови, поэть! въ тиши парнасской сѣни Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами колѣни, Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ, Мнѣ жребій вынулъ Фебъ — и лира мнѣ удѣлъ...

И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не ты ль мнѣ руку даль въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стояль, и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгажъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ! рѣшился я безъ страха въ трудный путь;
Отважной вѣрою исполнилася грудь!

Жуковскій полюбиль, какъ родного, вдохновеннаго юношу. Онъ тотчась оціниль всю силу его таланта. По достовърному преданію, 32-літній, уже славный и опытный поэть, видаясь съ Пушкинымъ, нарочно читаль ему свои стихи, и если въ слідующія свиданія Пушкинь не вспоминаль и не повторяль ихъ, онъ считаль произведеніе свое слабымъ, уничтожаль или исправляль его. Между ними рано начались самыя ніжныя отношенія. Съ ніжнымъ, отеческимъ участіемъ Жуковскій радовался блестящимъ успіхамъ Пушкина, снисходиль къ его увлеченіямъ, прощаль его заносчивость, берегь его, заботился о немъ. Самъ Пушкинъ впослідствій называль его своимъ ангеломъ-хранителемъ.

Въ исходъ 1815 года государь окончательно возвратился изъ чужихъ краевъ, вторично побывавъ за Рейномъ, даровавъ снова миръ Европъ. Разумъется, лицеисты одни изъ первыхъ увидали его. Пушкинъ, такъ прекрасно его назвавшій прозныма ангелома, привътствовалъ его возвращеніе стихотвореніемъ, изъ коего считаемъ нужнымъ привести слъдующій отрывокъ. Описывая недавно бывшія кровавыя побоища, Пушкинъ говоритъ между прочимъ:

А я... вдали громовъ, въ съни твоей надежной. Я тихо распвъталъ безпечный, безмятежный? Увы, мнъ не судилъ таинственный предълъ Сражаться за тебя подъ градомъ вражьихъ стрълъ!... Сыны Бородина, о кульмскіе герои! Я видълъ, какъ на брань летъли ваши стро!!

Душой восторженной за братьями спѣшилъ:
Почто жъ на бранный долъ я крови не пролилъ?
Почто, сжимая мечъ младенческой рукою,
Покрытый ранами, не палъ я предъ тобою,
И славы подъ крыломъ наутрѣ не почилъ?
Почто великихъ дѣлъ свидѣтелемъ не былъ?

Возвращенія государева ожидали приготовленные къ печати восемь томовъ Исторіи Государства Россійскаго. Въ первыхъ числахъ февраля 1816 года Карамзинъ привезъ ихъ въ Петербургъ, и поднесъ государю. Кто изъ русскихъ не знаетъ прекраснаго посвященія, коимъ начинается первый томъ Исторін Государства Россійскаго? Карамзинъ читалъ друзьямъ своимъ это посвящение. Пушкинъ присутствовалъ при чтении, жадно внималь плънительнымъ выраженіямъ высокихъ, истиню патріотическихъ чувствъ, запомнилъ все и, пришедши домой, записаль отъ слова до слова, такъ что посвящение сдълалось извъстно въ лицейскомъ кружкъ гораздо прежде, чъмъ было напечатано. Карамзинъ еще въ Москвъ часто видалъ Пушкина, будучи пріятелемъ отца его и дяди. Геніальный юноша не могь укрыться отъ его вниманія. Въ этоть прівздъ свой Карамзинъ, въроятно, познакомился съ нимъ ближе, и успълъ привлечь его къ себъ ласкою, одобреніемъ и участіємъ. Пушкинъ такъ говорить о томъ:

Сокрытаго въ въкахъ священный судія, Стражъ върный прошлыхъ льтъ, наперсникъ, мужъ любимый И блъдной зависти предметъ неколебимый, Привътливымъ меня вниманьемъ ободрилъ.

Но это была лишь минутная встрвча. Скоро представился случай къ сближенію ихъ. Карамзинъ увхаль въ мартв въ Москву, но съ твмъ, чтобы возвратиться назадъ съ семействомъ своимъ. Государь приказалъ отвести ему въ Царскомъ Селв домъ на лвто. Во второй половинв мая онъ оставилъ Москву (уже навсегда, хотя и не предполагалъ того) и поселился въ Царскомъ Селв. Тамъ, занимаясь продолженіемъ Исторіи и печатаніемъ первыхъ ея томовъ, онъ приглашалъ къ себв Пушкина, бесвдовалъ съ нимъ, и Пушкинъ имълъ возможность слушать Исторію Государства Россійскаго изъ устъ самого исторіографа. Впослъдствіи онъ писаль къ брату своему, прося прислать Библію: "Библія для христіанина то же, что исторія для народа. Этою фразою (наоборотъ) на-

чиналось прежде предисловіе исторіи Карамзина. При мнъ онъ ее и перемънилъ".

Пушкинъ горячо полюбилъ Николая Михайловича и супругу его и сдълался у нихъ домашнимъ человъкомъ. Какъ и Жуковскій, Карамзинъ любовался молодымъ поэтомъ, предостерегалъ, удерживалъ, берегъ его, и послъ спасъ въ одну изъ ръшительныхъ минутъ его жизни.

Другъ Карамзина, Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, жившій въ Петербургѣ нѣсколько лѣтъ въ званіи министра юстиціи, также почтилъ своимъ вниманіемъ Пушкина, который говорить о томъ въ одномъ стихѣ своего посланія къ Жуковскому:

И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ.

Столь же рано узналъ Пушкина и Батюшковъ, часто посъщавшій Сергъя Львовича еще въ Москвъ и находившійся въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Василіемъ Львовичемъ. Во второй половинъ 1814 года, онъ воротился въ Петербургъ изъ-за границы; въ это время Пушкинъ написалъ къ нему посланіе, начинающееся такъ:

Философъ ръзвый и пінть, Парнасскій счастливый лънивець, Харитъ изнъженный любимець, Наперсникъ милыхъ аонидъ! Почто на арфъ златострунной Умолкнулъ радости пъвецъ?

Убъждая Батюшкова снова взяться за лиру, Пушкинъ говоритъ между прочимъ:

Поэть! въ твоей предметы воль! Во звучны струны смёло грянь, Съ Жуковскимъ пой кроваву брань И грозну смерть на рагномъ поль. И ты въ строяхъ ее встречаль, И ты, постигнутый судьбою, Какъ россъ, питомецъ славы паль! Ты паль, и хладною косою Едва, скошенный, не увяль!

Посланіе, разумьется, дошло до Батюшкова. Онъ самъ совътоваль Пушкину воспъвать военныя событія, о чемъ заключаемъ по слъдующимъ стихамъ изъ второго къ нему посланія Пушкина.

А ты пъвецъ забавы, И другъ пермескихъ дъвъ, Ты хочешь, чтобы славы Стезею полетъвъ, Простясь съ Анакреономъ, Спъшилъ и за Марономъ И пълъ при звукахъ лиръ Войны кровавый пиръ.

Къ Батюшкову Пушкинъ сохранилъ неизмънное уваженіе. Онъ любилъ особенно свое стихотвореніе *Муза*, потому что оно "отзывается стихами Батюшкова".

Такъ сближался Пушкинъ съ лучшими нашими писателями. Они рано отгадали въ немъ силу геніальную и съ радостнымъ участіемъ приняли въ свой кругь. Въ то время русская литература раздълялась на два стана. Россійская академія съ предсъдателемъ своимъ А. С. Шишковымъ, и Бесъда любителей русскаго слова съ Державинымъ, кн. Шаховскимъ, Хвостовыми и пр., строго держась старыхъ правилъ искусства, завъщанныхъ Лагарпомъ и Буало, чуждались нововведеній, возставали на Карамзина и Жуковскаго, еще любили громозвучныя и высокопарныя оды, уже осмъянныя остроумнымъ авторомъ Чужого толка, и усердно испещряли произведенія свои славянскими словами и оборотами. Разсужденіе о староми и новоми слогь, соч. А. С. Шишкова (1803 г.), Новый Стернг, комедія кн. Шаховского (1807 г.) явно направлены были противъ Карамзина. Молодые послъдователи и поклонники сего последняго решили отвечать. В. Л. Пушкинъ защищался отъ академическихъ нападокъ Шишкова. Въ 1812 году Д.В. Дашковъ быль исключенъ изъ С.-Петербургскаго общества любителей словесности за насмъшливый панегирикъ графу Д. И. Хвостову, торжественно прочтенный въ засъданіи общества. Въ 1815 году литературная брань возгоръдась съ новою силою. Кн. Шаховской написалъ и поставиль на сцену комедію: Липецкія воды, въ которой представиль въ смъщномъ видъ Жуковскаго подъ именемъ унылаго балладника Фіалкина. Это подало поводъ друзьямъ Жуковскаго образовать свой кружокъ и самимъ действовать. Возникъ знаменитый Арзамасъ, немилосердно преслъдовавшій насмъшками, пародіями, похвальными ръчами и пр. Бесъду и Академію. Въ Арзамасъ тотчасъ приняли живое участіе лучшіе писатели, даровитые любители словесности, и назывались именами, взятыми изъ балладъ Жуковскаго, секретаря Арзамаса.

О веселыхъ собраніяхъ новаго литературнаго общества услышаль въ Москвъ страстный любитель всякаго рода шутокъ, каламбуровъ и остротъ, Василій Львовичъ Пушкинъ; разумъется, онъ тотчасъ захотъль принять въ нихъ участіе, самъ выбралъ себъ имя Вот (столь часто повторяемое въ балладахъ) и въ декабръ 1815 года пріъхалъ въ Петербургъ. Арзамасцы торжественно, съ разными обрядами, приняли его и какъ старъйшаго между ними назвали старшиною и старостого Арзамаса.

Мы сочли нужнымъ упомянуть обо всемъ этомъ для того, чтобы читателю понятно было слъдующее письмо Пушкина къ Василью Львовичу, какъ нельзя лучше изображающее отношенія ихъ:

Тебъ, о Несторъ Арзамаса, Въ бояхъ воспитанный поэтъ, Опасный для пъвцовъ сосъдъ На страшной высотъ Парнаса, Защитникъ вкуса грозный Вото! Тебъ, мой дядя, въ новый годъ, Веселья прежняго желанье, И слабый сердца переводъ— Въ стихахъ и прозою посланье.

"Въ письмъ вашемъ вы называли меня братомъ, но я не осмълился назвать васъ этимъ именемъ слишкомъ для меня лестнымъ.

Я не совствые еще разсудовы потерялы, Оты риемы вакхическихы шатаясы на Пегаст: Я знаю самы себя коты рады, котя не рады... Наты, наты, вы мны совствы не браты: Вы дядя мой и на Парнасть.

"Итакъ, любезнъйшій изъ всъхъ дядей-поэтовъ здъшняго міра, можно ли мнъ надъяться, что вы простите лънивъйшаго изъ поэтомъ-племянниковъ.

"Да, каюсь я, конечно, передъ вами: Совствы неправъ пустынникъ-риемоплетъ; Онъ въ лености сравнится лишь съ богами; Онъ виноватъ и прозой и стихами: Но старое забудьте въ новый годъ. "Кажется, что судьбою опредвлены мив только два рода писемъ: обпицательныя и извинительныя— первыя въ началв годовой переписки, а последнія при последнемъ ея издыханіи. Къ тому же приметиль я, что всё они состоять изъ двухъ посланій; это, мив кажется, непростительно.

"Но вы, которые умѣли
Простыми пѣснями свирѣли
Красавицъ нашихъ воспѣвать,
И съ гнѣвной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмѣять,
И мучить бѣднаго Ослова
Священнымъ Феба языкомъ,
И лобъ угрюмый Шутовскова
Клеймить единственнымъ стихомъ!
О вы, которые умѣли
Любить, обѣдать и писать —
Скажите откровенно — неужели
Вы не умѣете прощать?

"Напоминаю о себъ моимъ незабвеннымъ; не имъю больше времени, но .. надобно ли еще объщать? Простите, вы всъ, которыхъ любитъ мое сердце, и которые любите еще меня...

"Шолье Андреевичъ, конечно, Меня забыль давнымъ-давно, Но я люблю его сердечно За то, что любитъ онъ безпечно И пить и пъть свое вино, И надъ всемірными глупцами Своими ръзвыми стихами Смъется, право, пресмъшно".

Какъ долженъ былъ радоваться Василій Львовичъ, получивъ это посланіе! Вообще онъ искренно любилъ племянника и спъшилъ печатать стихи его.

Поэтовъ грѣшный ликъ Умножиль я собою, И я главой поникъ, Предъ милою мечтою. Мой дядюшка-поэтъ На то мнъ даль совътъ И съ музами сосваталъ.

Самъ Пушкинъ, написавшій въ Лицев около ста стихотвореній, лишь немногія изънихъ отдаваль въ печать и только

подъ двумя или тремя выставиль вполнъ свое имя. Часто стихотворенія его печатались безъ его воли и въдома, о чемъ самъ полушутя говоритъ онъ въ одномъ посланіи къ Дельвигу:

Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой въ городъ шлютъ,
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ —
Бумагу убиваютъ —
Къулыбкой остряки:
"Ахъ. сударь! мнъ сказали,
Вы пишете стишки?
Увидъть ихъ нельзя ли?
Вы въ нихъ изображали,
Конечно, ручейки
Иль тихій вътерочекъ
И рощи и цвътки"...

Уже въ то время онъ отличался въ этомъ отношени скромностью, порукою истиннаго дарованія, и тою совъстливою строгостью къ самому себъ, которой гордо держался до конца и которая не дозволила ему являться передъ публикою иначе, какъ съ произведеніями вполнъ отдъланными. Оттого большая часть его лицейскихъ стихотвореній появилась въ печати уже послъ смерти его. Стихотворенія эти разнообразны, какъ и самые случаи, ихъ вызвавше. Въ нихъ часто рисуется передъ нами жизнь разгульнаго, быстро созръвшаго юноши со всёми восторгами и увлеченіями пылкихъ страстей. Кром'є лицейскихъ товарищей, кромъ знакомствъ литературныхъ, у него быль особенный кружокъ, въ которомъ неръдко проводиль онъ свои досуги и который состояль отчасти изъ офицеровъ лейбъ-гусарскаго полка, стоявшаго въ Царскомъ Селъ. Одинъ изъ сихъ последнихъ былъ почти ежедневнымъ собесъдникомъ его. Пушкина всюду любили за остроту, веселонравіе, неистощимый запась шутокъ и всего болье за стихи, а ими онъ, можно сказать, бросаль направо и налъво. Иной стихотворецъ во всю жизнь не написалъ столько стиховъ, сколько Пушкинъ въ шесть лъть лицейской жизни. Сознавъ силу своего таланта, онъ рѣшился не расточать его на произведенія мелочныя, и принялся за большой трудъ. Мы говоримъ о поэмъ "Русланъ и Людмила", которой первыя пъсни писаны въ Лицев.

Понятно, что при такомъ направленіи не могло быть порядка и большихъ успъховъ въ ученіи формальномъ, въ знаніи уроковъ и отвътахъ на экзаменъ. Любопытны отзывы о немъ профессоровъ. Кайдановъ въ въдомости о дарованіяхъ, прилежаніи и успъхахъ воспитанниковъ Лицея по части географіи, всеобщей и россійской исторіи, съ 1 ноября 1812 по 1 января 1814 г., отозвался о Пушкинт въ слъдующихъ выраженіяхъ: "При маломъ прилежаніи оказываеть очень хорошіе успъхи, и сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ. Въ поведеніи ръзвъ, но менъе противу прежняго". Профессоръ Куницынъ говоритъ о немъ въ въдомости почти за то же время: "Весьма понятенъ, замысловать и остроумень, но крайне не прилежень. Онъ способень только въ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія; а потому успъхи его очень невелики, особливо по части логики". Наконецъ, аттестатъ, выданный ему изъ Лицея, свидътельствоваль объ отличныхъ успъхахъ его въ фехтованіи и танцованіи и о посредственных въ русскомъ языкъ.

Но если Пушкинъ лѣнился въ классахъ, не выучивалъ уроковъ и въ лицейскихъ вѣдомостяхъ всегда бывалъ въ числѣ послѣднихъ, то взамѣнъ того онъ предавался чтенію со всѣмъ жаромъ геніальной любознательности. При своей необыкновенной памяти, быстротѣ пониманія и соображенія, онъ быстро усвоивалъ себѣ разнообразныя познанія. Въ лицейскомъ стихотвореніи Городокъ, написанномъ въ первой половинѣ 1815 г., онъ перечисляетъ любимыхъ своихъ писателей.

Укрывшись въ кабинеть, Одинъ я не скучаю И часто цълый свъть Съ восторгомъ забываю. Друзья мнъ мертвецы, Парнасскіе жрецы, Надъ полкою простою, Подъ тонкою тафтою Со мной они живуть, Пъвцы красноръчивы, Прозаики шутливы, Въ порядкъ стали туть. Сынъ Мома и Минервы, Фернейскій злой крикунь, Поэть въ поэтахъ первый, Ты здёсь, сёдой шалунь!

Онъ Фебомъ былъ воспитанъ, Изъ дътства сталъ піить; Всъхъ больше перечитанъ. Всѣхъ менѣе томитъ. На полкъ за Вольтеромъ Виргилій, Тассъ съ Гомеромъ, Всв вмъств предстоять. Питомцы юныхъ грацій — Съ Державинымъ потомъ Чувствительный Горацій Являются вдвоемъ. И ты, првець любезный. Поэзіей прелестной Сердца привлекшій въ плінь, Ты здъсь, лънтяй безпечный Мудрецъ простосердечный, Ванюша Лафонтенъ! Ты здёсь — и Дмитревъ нёжный, Твой вымысель любя, Нашель пріють надежный Съ Крыловымъ близъ тебя. Воспитаны Амуромъ Вержье, Парни съ Грекуромъ Укрылись въ уголокъ (Не разъ они выходять И сонъ отъ глазъ отводятъ Подъ зимній вечерокъ). Здъсь Озеровъ съ Расиномъ, Руссо и Карамзинъ, Съ Мольеромъ-исполиномъ Фонвизинъ и Княжнинъ. За ними хмурясь важно, Ихъ грозный Аристрахъ Является отважно Въ шестнадцати томахъ: Хоть страшно стихоткачу Лагариа видеть вкусъ, Но часто, признаюсь, Надъ нимъ я время трачу, и прочее.

Вообще, Пушкинъ можетъ служить блестящимъ опроверженіемъ того мнѣнія, которое полагаетъ, что генію не нужны ученіе и трудъ. Къ счастью, ему открыты были въ Лицев всъ средства для удовлетворенія любознательности и страсти къ чтенію. Для лицеистовъ выписывались даже иностранныя газеты. Но, сколько извъстно, Пушкинъ не любилъ этого рода чтеніе.

Онъ не пробыль въ Лицев положенныхъ шести лътъ. Зимою 1816 года въ лицейскомъ зданіи быль пожаръ, и необходимыя по сему случаю перестройки, въроятно, ускорили первый выпускъ лицеистовъ, назначенный въ мат 1817 года. Но прежде чъмъ говорить о выходъ Пушкина изъ Лицея, слъдуетъ упомянуть о товарищахъ, съ которыми приходилось ему разставаться.

Разумвется, всв или, по крайней мврв, большая часть товарищей любила Пушкина, ибо невозможно было не любить его, живя съ нимъ вмъстъ. Для многихъ изъ нихъ онъ былъ кумиромъ. Но лучшимъ его другомъ былъ Дельвигъ,

Товарищь юности живой, Товарищь юности унылой, Товарищь пъсенъ молодыхъ Пировъ и чистыхъ помышленій.

Дельвигь быль для Пушкина тёмъ же, чёмъ для Карамзина А. А. Петровъ, для Жуковскаго А. И. Тургеневъ, для Батюшкова И. А. Петинъ. Любя Дельвига со всёмъ пристрастіемъ горячей дружбы, Пушкинъ думалъ видёть въ немъ тё достоинства, которыхъ желалъ самому себъ. Этимъ объясняемъ мы себъ его преувеличенныя похвалы.

Но я любиль уже рукоплесканье, Ты, гордый, пълъ для музъ и для души; Свой даръ, какъ жизнь г, тратилъ безъ вниманья, Ты геній свой воспитывалъ втиши!

Или, говоря о первыхъ стихотвореніяхъ: "Въ нихъ уже замътно необыкновенное чувство гармоніи и той классической стройности, которой никогда онъ не измънялъ. Никто не привътствовалъ вдохновеннаго юношу, между тъмъ какъ стихи одного изъ его товарищей, стихи посредственные, замътные только по нъкоторой легкости и чистотъ мелочной отдълки, въ то же время были расхвалены и прославлены, какъ нъкоторое чудо".

Нъкоторыхъ товарищей Пушкинъ поминаетъ въ лицейской годовщинъ своей 1825 года:

Я пью одинъ, и на берегахъ Невы Меня друзья сегодня именуютъ... Но многіе ль и тамъ изъ васъ пируютъ? Еще кого не досчитались вы? Кто измъниль плънительной привычкъ?

Кого отъ васъ увлекъ холодный свътъ? Чей гласъ умолкъ на братской перекличкъ? Кто не пришелъ? Кого межъ вами нътъ? Онъ не пришелъ, кудрявый нашъ пъвецъ, Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной: Подъ миртами Италіи прекрасной Онъ тихо спитъ...

Стихи эти относятся къ Н. А. Корсакову, умершему во Флоренци, въ 1820 году.

Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзей, Чужихъ небесъ любовникъ безпокойный? Иль снова ты проходишь тропикъ знойный И въчный ледъ полунощныхъ морей? Счастливый путь! Съ лицейскаго порога Ты на корабль перешагнулъ шутя, И съ той поры въ моряхъ твоя дорога, О волнъ и бурь любимое дитя!

Туть говориль Пушкинь о Θ . Θ . Матеминь, который въ 1817 г. отправился въ путешествіе кругомъ свъта съ знаменитымъ мореплавателемъ В. М. Головинымъ, на кораблъ "Камчаткъ".

Въ 9-й строкъ той же лицейской годовщины названъ, какъ полагаютъ, Иванъ Ивановичъ *Пущин*г; въ 10-й — князь Александръ Михайловичъ *Горчаков*г.

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней Хвала тебъ — фортуны блескъ холодной Не измънилъ души твоей свободной: Все тотъ же ты для чести и друзей.

Пушкинъ очень любилъ князя Горчакова, написалъ къ нему два посланія. Наконецъ, предпослъдній стихъ 13-й строфы слъдуетъ читать такъ:

Скажи, Вильгельма, не то ль и съ нами было?

Это мъсто напоминаетъ читателямъ лицейскіе стихи Пушкина, въ которыхъ прекрасно выражается нъжная привязанность его въ Лицею и товарищамъ и которые написаны одному изънихъ въ альбомъ.

Взглянувъ когда-нибудь на тайный сей листокъ, Исписанный когда-то мною, На время улети въ лицейскій уголокъ Всесильной, сладостной мечтою.

Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней, Неволю мирную, шесть лёть соединенья, Печали, радости, мечты души твоей, Размолвки дружества и сладость примиренья, Что было и не будеть вновь...

И съ тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой другъ! Она прошла... но съ первыми друзьями
Не ръзвою мечтой союзъ твой заключенъ;
Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судьбами,
О милый, въченъ онъ!

Въ половинъ мая 1817 года начались въ Лицев выпускные экзамены. Они происходили въ теченіе 15 дней, при многочисленной публикъ. Посътителямъ предоставлено было задавать лицеистамъ вопросы, что дало поводъ къ занимательнымъ отвътамъ и преніямъ. На экзаменъ изъ русской словесности Пушкинъ читалъ сочиненное имъ на этотъ случай довольно слабое стихотвореніе Безвъріе: въ немъ говорится о состраданіи, которое должно имъть къ невърующему. Отвъты его не были удовлетворительны. Онъ выпущенъ былъ 19-мъ, съ чиномъ X класса или гвардіи офицера.

Мая 19-го, на имя исправляющаго должность министра народнаго просвъщенія, князя Голицына, послъдоваль указъ, въ которомъ сказано, что хотя лицеисты собственно назначаются для гражданской службы, но какъ между ними нъкоторые могуть имъть склонность къ военной, то такимъ предоставляется поступать офицерами въ гвардію, по выученіи фронтовой службы. Еще прежде было обращено вниманіе на военную часть, а съ 1816 года инженеръ-полковникъ Өедоръ Богдановичъ Эльснеръ преподаваль лицеистамъ военныя науки.

9-го іюня происходиль въ Лицев торжественный акть, удостоенный высочайшаго присутствія. Когда окончились обычныя чтенія, князь А. Н. Голицынь поочередно представиль Его Величеству выпускаемыхъ воспитанниковъ. Государь говориль съ ними, напоминаль имъ обязанности ихъ, и въ знакъ своего благоволенія приказаль выдать, поступающимъ на гражданскую службу, до полученія штатныхъ мъстъ, денежное вспоможеніе изъ государственнаго казначейства.

Въ заключение акта пропъта была прощальная пъснь воспитанниковъ, сочиненная Дельвигомъ. Директоръ Лицея, Егоръ Антоновичъ Энгельгардъ (который занялъ эту должность только

съ 1816 года и къ которому лецеисты питали уважение и любовь), поручилъ было написать эту пъснь Пушкину, но онъ не согласился. Написанное имъ стихотворение Къ товарищамъ передъ выпускомъ не могло быть пропъто на актъ. Конечно, немногие изъ дицеистовъ оставляли мъсто своего воспитания съ такимъ чувствомъ, какъ Пушкинъ, и никто такъ прекрасно не понималъ его:

Благослови, ликующая муза, Благослови! да здравствуеть лицей! Наставникамъ, хранившимъ юность нашу— Всѣмъ честію, и мертвымъ и живымъ, Къ устамъ подъявъ признательную чашу, Не помня зла, за благо воздадимъ.

Или:

Друзья мои, прекрасень нашъ союзъ!
Онъ какъ душа нераздълимъ и въченъ —
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ,
Срастался онъ подъ сънью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина
И счастіе куда бъ ни повело,
Все тъ же мы: намъ цълый міръ чужбина,
Отечество намъ Царское Село.

Имя Пушкина досель особенно дорого и любимо всякому лицеисту. Память его свято хранится въ Лицев. Около 1835 г. въ маломъ лицейскому саду (что примыкалъ къ зданію съ львой руки, если стоять противъ фасада) лицеисты поставили небольшую мраморную пирамиду, на одной сторонъ которой было написано: Genio loci, а на другой Septimus cursus erexit.

Бартеневъ.

Слъды вліянія французскихъ поэтовъ на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Фантазія Пушкина съ дътства воспиталась на преданіяхъ XVIII стольтія. Она усвоила себъ классическіе образы изъ французской поэзіи, съ которыми съ давнихъ временъ свыклась европейская поэзія. Зевсъ, Фебъ-Аполлонъ, Минерва, Венера, Вакхъ или Бахусъ, Амуръ или Эротъ, фавны или сатиры, Морфей, Зефиръ и прочіе всъ боги, богини и нимфы греко-римской минологіи составляли готовые образы для поэзіи.

Фантазія поэтовъ въ нихъ находила извъстную идеализацію и, комбинируя ихъ между собою, выражала впечатлёнія отъ жизни. Наши стихотворцы-риторы и поэты XVIII ст. приняли всв эти образы и манеру творчества у западныхъ поэтовъ, хотя съ русской жизнью у этихъ образовъ не было ни исторической ни народной связи: они были совершенно чужды и непонятны огромному большинству, не воспитанному на чужой поэзіи и на чужихъ върованіяхъ. Для такой поэзіи у насъ не было питательной почвы. Она отзывалась холодной схоластической ученостью, требовала безполезныхъ познаній и даже большой памяти отъ читателей, которымъ нужно было заучить всё минологическія подробности, чтобы понимать смыслъ предлагаемыхъ стиховъ и почувствовать ихъ эстетическое вліяніе. Воть отчего наша поэзія была далека оть жизни и была доступна только меньшинству, чрезъ воспитание примкнувшему къ космополитизму.

Юная фантазія Пушкина на первыхъ порахъ вращалась въ этомъ же самомъ мірѣ: представляла себѣ поэта, окруженнаго парнасскими богинями, которымъ давались разныя имена, вмѣстѣ съ Аполлономъ, граціями и харитами; поэтъ являлся въ воображеніи не иначе какъ съ лирою въ рукахъ и съ пѣснію, вдохновленною извнѣ какою-то высшею силою. Любовь рисовалась въ образѣ крылатаго и шаловливаго мальчика, Амура или Эрота, вооруженнаго стрѣлами; бракъ — въ видѣ осмѣяннаго Гименея съ фонаремъ. Въ этихъ-то готовыхъ образахъ Пушкинъ и выражалъ свои впечатлѣнія отъ юной жизни.

Лицейскіе сады представляли довольно классическихъ статуй и бюстовъ съ ихъ строгой красотой и правильными типами. Эта красота должна была имъть вліяніе на фантазію поэта, воспитывая его эстетическій вкусъ и вызывая любовь къ простотъ и пластичности, чъмъ дъйствительно отличается искусство Пушкина. Такъ, уже въ зрълые годы онъ вспоминалъ дъйствіе этихъ образовъ:

И часто я украдкой убъгаль Въ великолъпный мракъ чужого сада, Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ;

Тамъ нѣжила меня прохлада; Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ, И праздно мыслить было мнѣ отрада. Любилъ я свътлыхъ водъ и листьевъ шумъ, И бълые въ тъни деревъ кумиры, И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.

Все, мраморные циркули и лиры, И свитки въ мраморныхъ рукахъ, И длинныя на ихъ плечахъ порфиры —

Все наводило сладкій ніжій страхъ Мнів на сердців; и слевы вдохновенья При видів ихъ рождались на глазахъ...

Хотя юный поэтъ читалъ многихъ писателей древнихъ и новыхъ, иностранныхъ и русскихъ, но особенное сочувствіе выказывалъ тъмъ, которые были ближе къ его собственнымъ вкусамъ и страстямъ — Анакреону, Вольтеру, Парни и Батюшкову. Перваго онъ называлъ своимъ учителемъ, мудредомъ сладострастія и ставилъ его какъ бы въ образецъ жизни:

Смертный, въкъ твой — привидънье: Счастье ръзвое лови; Наслаждайся, наслаждайся, Чаще кубокъ наливай! Страстью пылкой утомляйся И за чашей отдыхай!

Вольтеръ въ его глазахъ злой крикунъ фернейскій:

Поэть въ поэтахъ первый...
Онъ Фебомъ быль воспитанъ
Издътства сталь піитъ;
Всъхъ больше перечитанъ,
Всъхъ менъе томитъ...
Онъ все: вездъ великъ
Единственный старикъ!...

Парни для нашего поэта — другъ, врагъ труда, заботъ, печали, а Батюшковъ — россійскій Парни, въ котораго півець тійскій (Анакреонъ) влилъ свой ніжный духъ — у

Философъ ръзвый и пінть, Парнасскій счастливый льнивець, Харить изнъженный любимець, Наперсникъ милыхъ аонидъ!...

Подражая имъ, Пушкинъ поэтизировалъ свои страстныя увлеченя. Всъ эротическіе поэты были для него

...любезные пвицы, Сыны безпечности льнивой, Давно вамъ отданы ввицы Отъ музы праздности счастливой! Но не блестящіе ввицы, Поэзіи трудолюбивой На верхъ Фессальскія горы Вели васъ тайные извивы... И н, неопытный поэть, Небрежныхъ вашихъ риемъ наслъдникъ, За вами крадуся вослъдъ.

На эротическихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ выработалъ себъ легкій, игривый стихъ и нъкоторую пластичность выраженій, чъмъ и прельщалъ товарищей своихъ молодыхъ пиршествъ Интересно видъть, какъ въ фантазіи Пушкина еще въ первыхъ его опытахъ складывался образъ самого поэта, который впослъдствіи выразился въ такомъ художественномъ совершенствъ. Называя себя юношей-мудрецомъ (конечно эпикурейскимъ), питомцемъ нъгъ и Аполлона, онъ рисуетъ себя въ такихъ картинахъ:

Въ пещерахъ Геликона Я нъкогда рожденъ; Во имя Аполлона Тибулломъ окрещенъ, И свытой Ипокреной Сыздътства напоенный, Подъ кровомъ вешнихъ розъ Поэтомъ я возросъ. Веселый сынъ Эрмія Ребенка полюбиль, Въ дни ръзвости златыя Мив дудку подариль. Знакомясь съ нею, рано Дудиль я безпрестанно. Нескладно хоть играль, Но музамъ не скучалъ.

Дана мнв лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцънный;
И муза върнал со мной:
Хвала тебъ, богиня!
Тобою красенъ домикъ мой
И дикал пустыня.
На слабомъ утръ дней златыхъ
Пъвца ты осънила,

Вънковъ изъ миртовъ молодыхъ
Чело его покрыла,
И горнимъ свътомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью,
И чутъ дышала, преклонясь
Надъ дътской колыбелью.

Изъ этихъ легкихъ начальныхъ эскизовъ впослъдствии выработался чудный образъ "Музы" Пушкина въ извъстномъ стихотворении:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила...

Въ старые годы наши поэты любили поэтизировать лёнь, соединяя съ нею нёгу и блаженство жизни. Это согласовалось съ тёмъ взглядомъ на поэзію, какой у насъ существовалъ въ XVIII столётіи. Ея не считали за дёло, она была бездёлье на досугё. Артистическая натура требовала покоя и уединенія, чтобы углубиться въ себя, всмотрёться въ тё образы, какіе создавала фантазія. Внутренняя, незримая ея работа уже отвлекала и отвращала отъ всякаго другого труда. Она-то и принималась за лёнь. Но это также было дёло, только понятное и доступное очень немногимъ. Съ нимъ соединялось и наслажденіе, которымъ такъ дорожили поэты. Въ стихахъ Пушкина также воспевается лёнь. Онъ часто называетъ себя поэтомъ безпечнымъ и лёнивымъ. Въ послании къ Дельвиту онъ проситъ:

Еще хоть годъ одинъ Позволь мив полвниться И ивгой насладиться: Я, право, ивги сынъ!

Въ стихотворении "Сонъ" онъ призываетъ лънь:

Прида, о лінь, приди въ мою пустыню!
Тебя зовуть прохлада и покой;
Въ одной тебі я зрю свою богиню,
Готово все для гостьи молодой...
Царицей будь, я плінникъ ныні твой.
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: воть краски, кисть и лира!...

Въ другомъ стихотвореніи юный поэтъ говоритъ о себъ, что онъ въ лъности сравнится лишь съ богами.

Въ стихотворени къ "Моей чернильницъ" (1821 г.) онъ обращается къ ней со словами:

Тебя я посвятиль Занятіямь досуга, И съ лънью примириль: Она твоя подруга!...

Здъсь уже видится лънь артистическая, т.-е. внутренняя работа надъ поэтическимъ образомъ, для посторонняго же взгляда — бездълье.

Интересно указать, что уже въ первыхъ опытахъ Пушкина высказался тотъ взглядъ на поэзію, который впоследствіи сделался у него какъ бы основнымъ взглядомъ и который онъ такъ горячо отстаивалъ, защищая свободу поэта. Въ посланіи къ Батюшкову онъ говоритъ:

Поэть! Въ твоей предметы воль!... Все, все позволено поэту!...

Увлекаясь эротическими поэтами и подражая имъ, Пушкинъ иногда поддавался и вліянію другихъ писателей. Какую пользу стремились извлекать изъ чтенія поэтовъ молодые поэты-лицеисты, видно изъ письма Илличевскаго къ пріятелю отъ 14 декабря 1814 года: "Достигаютъ ли до нашего уединенія вновь выходящія книги? спрашиваешь ты меня. Можешь ли въ этомъ сомнъваться...

И можеть ли ручей сребристый,
По свытлому песку катя кристалль свой чистый
И тихою волной ласкаясь къ берегамъ,
Течь безъ источника по рощамъ и лугамъ...
И можетъ ли поэтъ, неопытный и юный,
Чуть-чуть бренча на лиръ тихострунной,
Не подражать другимъ! Ахъ, никогда!

Никогда! Чтеніе питаетъ душу, образуеть, развиваеть способности; по сей причинъ мы стараемся имъть всъ журналы и впрямь получаемъ: "Пантеонъ", "Въстникъ Европы", "Русскій Въстникъ" и прочее. Такъ, мой другъ, и мы также хотимъ наслаждаться свътлымъ днемъ нашей литературы, удивляться цвътущимъ геніямъ Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнъдича. Но не худо иногда подымать завъсу протекшихъ временъ, заглядывать въ книги отцовъ отечественной поэзіи, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева; тамъ лежатъ сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать пъвцовъ иноземныхъ (у нихъ учились предки наши), бесъдовать съ умами Расина, Вольтера, Делиля и, заимствуя у нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія". *Статива*

Вліяніе писателей русской школы, отразившееся на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Нъкоторые господа сильно нападали на издателей трехъ последнихъ томовъ сочиненій Пушкина за помещеніе его "лицейскихъ" стихотвореній, говоря, что это сдълано для наполненія книжекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считалъ достойными печати, - значить оскорблять его память. Ничто не можеть быть нельпъе такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе, но все-таки думаемъ, что изъ уваженія къ нимъ же не следуеть печатать ихъ слабыя произведенія, тъмъ болье они никому и ни въ какомъ отношеніи не могуть быть интересны, а между тёмъ могуть повредить извъстности этихъ авторовъ. Но когда дъло идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Гриботдовъ и въ особенности Пушкинъ и Лермонтовъ, - то каждая строка, написанная ихъ рукой, принадлежитъ потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминаетъ собой или черту ихъ времени, или фактъ объ ихъ образъ мыслей и характеръ.

"Лицейскія" стихотворенія Пушкина, кромѣ того что показывають, при сравненіи съ послѣдующими его стихотвореніями, какъ скоро выросъ и возмужаль его поэтическій геній — особенно важны еще и въ томъ отношеніи, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чѣмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, — сколько помнимъ мы, — появилось стихотвореніе Пушкина ("Отечество въ слезахъ — познало вѣсть ужасну!") въ "Вѣстникѣ Европы" 1813 года. Онъ написалъ его, когда ему не было и четырнадцати лътъ отъ роду, при получении извъстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 году въ "Россійскомъ Музеумъ" — журналь, издававшемся Владимиромъ Измайловымъ. Всъ они являлись тамъ съ подписью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всъ они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помъщены въ ІХ томъ его сочиненій между "лицейскими" стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ "Сынъ Отечества", и большая часть ихъ вошла уже въ сдъланныя имъ самимъ изданія его сочиненій.

"Лицейскія" стихотворенія не богаты поэзіей, но часто удивляють красотой и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совсёмъ не Пушкинская: она принадлежитъ Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзін, Пушкинъ, — едва шестнадцатилътній юноша, — иногда не только не уступалъ имъ въ стихъ, но едва ли не смълъе п не бойчве владвль имъ. Изъ нихъ только три пьесы ужъ слишкомъ плохи, а именно: "Бова" (отрывокъ изъ поэмы), "Красавицъ, которая нюхала табакъ" и "Безвъріе". Первая пьеса написана Пушкинымъ явно въ подражание "Ильъ Муромцу" Карамзина, которому она, впрочемъ, нисколько не уступаетъ въ достоинствъ стиха и вымысла. Подобно "Ильъ Муромцу" Карамзина, "Бова" не конченъ, въроятно, по одной и той же причинъ: мысль объихъ этихъ пьесъ такъ дътски ложна и поддъльна, что изъ нея ничего не могло выйти цълаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу "Бовы" видно, что "Илья Муромецъ" Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманиль его затвять эту поэму:

Часто, часто я бесёдоваль Съ болтуномъ страны эллинскія, И не смёлъ осиплымъ голосомъ Съ Шопеленомъ и съ Римфатовымъ Воспёвать героевъ сёвера. Несравненнаго Виргилія Я читалъ и перечитывалъ, Не старалсь подражать ему Въ нежныхъ чувствахъ и гармоніи. Разбиралъ я немца Клопштока И не могъ понять премудраго;

Не хотъль я воспъвать, какъ онъ—Я хочу, чтобъ меня поняли Всъ отъ мала до великаго. За Мильтономъ и Камоэнсомъ Опасался я безъ крылъ парить, Но вчера, въ архивахъ рояся, Отыскалъ я книжку славную, Золотую, незабвенную, Прочиталъ — и въ восхищени Про Бову пою паревича.

Не правда ли, что это очень напоминаетъ знакомое и презнакомое всъмъ начало "Ильи Муромца"? Пьеса "Красавицъ, которая нюхала табакъ" отличается сатирическимъ и сентиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіи. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ Пушкинскимъ стихомъ разумътъвысшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, хотя бы и тринадцатилътнимъ. "Безвъріе" — дидактическая пьеса, которыя сотнями писались въ блаженное старое время, — реторическое распространеніе какойнибудь темы плохими стихами.

Въ дътскихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замътно вліяніе даже Капниста и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и особенно Батюшкова; но вліяніе Державина почти совсѣмъ незамѣтно. Это не значитъ, чтобъ въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтической натурой Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями. Напротивъ, Пушкинъ благоговълъ передъ Державинымъ. Въ запискахъ своихъ онъ съ такой любовью разсказываетъ, какъ на лицейскомъ публичномъ экзаменѣ читалъ онъ, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ" и восхитилъ ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лътъ. Этотъ случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ скоей жизни.

Но при всемъ этомъ громогласный одовоспъвательный характеръ Державинской поэзіи былъ столько не въ натуръ и не въ духъ Пушкина, что на его "лицейскихъ" стихотвореніяхъ нътъ почти никакихъ слъдовъ ея вліянія. Только одна кантата "Леда", изъ всъхъ "лицейскихъ" стихотвореній, от-

зывается языкомъ Державина, но вмъсть и Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантана) напоминаетъ одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближение. Но если сравнить въ "Онъгинъ" и другихъ позднъйшихъ произведеніяхъ Пушкина картины русской природы — именно осени и зимы, то нельзя не увидеть, что онъ носять на себь отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родъ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками изъ того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далъе буквы и отыскивать аналогію въ духъ поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и мъстами элементы Державинской поэзіи суть живопись съвернорусской природы; народность, сатира и художественность, - все это составляеть полноту и богатство поэзіи Пушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредъленія. Державинская поэзія въ сравненіи съ Пушкинской — это заря предразсвътная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свътомъ: брежжетъ невърный полумракъ, обманчивый полусвътъ, вдали на небъ какъ-будто бълъетъ полоса свъта! и въ то же время догораютъ готовыя погаснуть ночныя звъзды, а всё предметы являются въ неестественной величинъ и ложномъ видъ. Пушкинская поэзія въ сравненіи съ Державинской - это роскошный, подный сіянія и блеска поддень лътняго дня: вев предметы земли озарены свътомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредъленномъ, ясномъ видъ, и самая даль только дёлаеть ихъ более поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во время явившаяся и вполнъ достигшая своей опредъленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія Державинская...

Пьесы "Къ Наташъ", "Разсудокъ и любовь", "Къ Машъ", "Слеза", "Погребъ", "Истина", "Застольная иъсня", "Делія", "Стансы" (изъ Вольтера), "Къ Деліи", "Къ ней", "Мъсяцъ", "Я Лилу слушалъ у клавира", "Къ Жуковскому", "Пирующіе друзья", "Къ Дельвигу", "Фіалъ Анакреонъ", "Къ Дельвигу", "Фавнъ и пастушка", "Къ живописцу", "Сновидъніе", "Романсъ", — всъ эти пьесы по изобрътенію, по формъ и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминають собой

предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или, по крайней мъръ, ту школу поэзіи русской, которая не испытывала на себъ вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримъръ, пьеса "Къ живописцу" написана какъ будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портретъ его Милены и Плъниры; а пьесы: "Слеза", "Погребъ", "Истина" написаны какъ будто на мотивъ извъстной прелестной пъсенки Дениса Давыдова "Мудрость", которая начинается куплетомъ:

Мы недавно оть печали, Лиза, я и Купидонъ, По бокалу осущали, Да просили мудрость вонъ.

Чтобъ дать понятіе о духъ этой школы, представителями которой были Капнистъ, Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинъ, Давыдовъ, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина "Сновидъніе":

Недавно обольщень прелестнымъ сновидѣньемъ, Въ концѣ сіяющемъ царемъ я зрѣлъ себя; Мечталось, я любилъ тебя — И сердце билось наслажденьемъ. Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяснялъ. Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили? Но боги не всего теперь меня лишили: Я только царство потерялъ.

Въ посланіи "Къ Жуковскому" Пушкинъ разсуждаетъ въ довольно прозаическихъ стихахъ о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина, и ту этоху, которой В. Пушкинъ былъ однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ въ прозаическихъ, но иногда очень острыхъ сатирахъ нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ — враговъ Карамзина — того времени. Въ посланіи своемъ "Къ Жуковскому" молодой Пушкинъ, подъ вліяніемъ дяди своего, также нападаетъ на риемачей и славянофиловъ и судитъ о русской литературъ.

Риомачей называеть онъ "варягами":

Далеко дикихъ лиръ несется рызкій вой; Варяжскіе стихи визжитъ варяговъ строй.

The state of the s

Тъ слогомъ Никона печатаютъ поэмы,

Одни славянскихъ одъ громады громоздять, Другіе въ бъщеныхъ трагедіяхъ хрипять; Тоть, върный своему мятежному союзу, На сцену возведя зъвающую музу, Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнаса мнить: Рука содрогнулась, ударъ его скользить. Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ: Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ, При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бъжитъ, И маковый вінець Оеспису ими свить. Всь, руку наложивь на томъ Телемахиды, Клянутся отомстить сотрудниковь обиды, Волнуясь, возстають неистовой толной. Бъда, кто въ свъть рожденъ съ чувствительной душой, Кто тайно могь пленить красавиць нежной лирой, Кто смёло просвисталь шутливою сатирой, Кто выражается правдивымъ языкомъ, И русской глупости не хочетъ бить челомъ: Онъ врагь отечества, онъ съятель разврата, И рѣчи сыплются дождемь на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносишься въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исключеніемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногіе имѣютъ понятіе. Въ этомъ посланіи слогъ, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи — все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядѣло ихъ явленіе. Но тутъ есть нѣчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго поколѣнія: это жестокая нападка на Тредьяковскаго и въ особенности на Сумарокова:

Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ, Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ? Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ Ему ль оспаривать тоть лавровый вѣнецъ, Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ пѣвецъ, Веселье россіянъ, полуночное диво? Нѣтъ! въ тихой Летъ онъ потонетъ молчаливо! Ужъ на челъ его забвенія печать. Предбудущимъ вѣкамъ что могь онъ передать? Страшилась градія цинической свиръли, И персты грубые на лиръ костенъли.

Замъчателенъ еще въ этомъ посланіи юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ призываетъ талантливыхъ пъвцовъ на брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго [Пиоона, и требуетъ мщенія за погибшаго жертвой зависти Озерова:

Ліющая съ небесъ и жизнь и вѣчный свѣтъ,
Стрѣлою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиеона;
Смотрите! пораженъ враждебными стрѣлами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, месть!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанъя дали вѣсть.
Летите на враговъ — Фебъ и музы съ вами!
Разите варваровъ кровавыми стихами,
Невъжество, смирясь, потупитъ хладный взоръ;
Спесивый риторовъ безграмотный соборъ...

Въ заключении молодой поэть ръшается, не боясь гоненій и зависти невъждъ и риомачей, "ученью руку давъ", смъло итти прямой дорогой... Это значило возвъстить о себъ довольно громко; послъдствія показали, что этотъ юноша имъль полное на то право...

Въ пьесахъ: "Наслажденіе", "Къ принцу Оранскому", "Сраженный рыцарь", "Воспоминанія въ Царскомъ Сель" и "Наполеонъ на Эльбъ", замътное вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духъ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядъ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

"Воспоминанія въ Царскомъ Сель" написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не болье, какъ декламація и реторика. Такими же стихами написана и пьеса "Наполеонъ на Эльбъ", содержаніе которой теперь кажется забавно-дътскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона "свиръпо прошептать" разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себъ самомъ отзываться какъ объ ужасномъ mauvais sujet. Между прочимъ Наполеонъ у него "свиръпо прошептываетъ":

"Полночи дарь младой! ты двинуль ополченья, И гибель вслёдъ пошла кровавымъ знаменамъ, Отозвалось могучаго паденье—
И миръ землъ и радость небесамъ, А мнъ— позоръ и поношенье! "

Чему удивляться, что шестнадцатильтній мальчикъ такъ смотръль на Наполеона въ то время, какъ на него такъ же точно смотръли и престарълые и возмужавшіе поэты! Гораздо удивительные, что этотъ мальчикъ черезъ пять лють послытого сказаль о Наполеонь:

• Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежить, Народовъ ненависть почила И лучъ безсмертія горитъ! Да будетъ омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его развѣнчанную тѣнь! Хвала! онъ русскому народу Высокій жребій указалъ, И міру вѣчную свободу Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освъжительная гроза, раздались въ 1821 году надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мъстъ, и многіе поэты, престарълые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженныя головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между "лицейскими" стихотвореніями гораздо болье ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Батюшкова. Таковы пьесы: "Къ Натальъ", "Къ молодой актрисъ", Князю А.М.Горчакову", "Осгаръ", "Воспоминаніе" (Пущину), "Сонъ" (отрывокъ), "Къ молодой вдовъ", "Мое завъщание друзьямъ", "Наъздникъ", "Къ Г—у", "Мечтатель", "Къ П—у", "Къ Б—ву", "Городокъ". Даже въ пьесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замътно въ то же время и вліяніе Батюшкова: какъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистической натурой Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника, и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой степени силенъ былъ въ Пушкинъ художническій инстинктъ. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностью ея романтического содержанія, столь могущественной надъ юной душой, но онъ нисколько не колебался въ выборъ образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тотчасъ же безсознательно подчинился исплючительному вдіянію последняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается

въ "лицейскихъ" стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактуръ стиха, но и въ складъ выраженія, и особенно во взглядъ на жизнь и ея наслажденія. Во всёхъ ихъ видна нёга и упоеніе чувствъ, столь свойственныя музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мъстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ занялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія минологическими именами купидона, Амура, Марса, Аполлона и пр., и любимыя его выраженія "цитерская сторона, дъвственная лилея" и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствованныя имъ изъ Парни, и потомъ посланіе "Къ П-ну", и сравните съ нимъ пьесы Пушкина "Къ Натальъ" и "Къ молодой вдовъ", вы увидите въ нихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отдълкъ и стиху, первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дътскою незрълостью; но следующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Пьесы: "Осгаръ" и "Эвлега" навъяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большой извъстностью дъйствительно прекрасное посланіе Батюшкова къ Жуковскому — "Мои пенаты". Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написаль въ роді и духі этого стихотворенія довольно большую пьесу "Городокъ". Подобно Батюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотворени говоритъ о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мъсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говорить не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которою запечативна эта пъеса, въ ней есть нъчто и свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называють pruderie, и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ свъта того, что всъ дълають съ наслаждениемъ наединъ, но о чемъ всв при другихъ говорятъ тономъ строгой морали; онъ называетъ всъхъ своихъ любимыхъ писателей... Юношеская заносчивость, безпрестанно придирающаяся сатирой къ бездарнымъ писакамъ и особенно главъ ихъ, извъстному Свистову, также характеризуетъ Пушкина.

Въ нъкоторыхъ изъ "лицейскихъ" стихотвореній сквозь подражательность проглядываетъ уже чисто Пушкинскій элементь поэзіи. Такими пьесами считаемъ мы слъдующія: "Окно",

"Элегін" (числомъ восемь), "Горацій", "Усы", "Желаніе", "Заздравный кубокъ", "Къ товарищамъ передъ выпускомъ". Онъ не всв равнаго достоинства, но нъкоторыя по тогдашнему времени просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двънадцать томовъ "Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ" и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ и, наконецъ, не довольствуясь этимъ, напечатало (1821—1822) "Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свъть отъ 1816 по 1821 годъ", и "Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свъть съ 1821 по 1825 годъ". Большая часть этихъ "образцовыхъ" сочиненій весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусія. "Воспоминанія въ Царскомъ Сель" Пушкина были дъйствительно одной изъ лучшихъ пьесъ этого сборника, а Пушкинъ никогда не помъщаль этой пьесы въ собрани своихъ сочиненій, какъ будто не признавая ее своей, хотя она и напоминала ему одну изъ лучшихъ минутъ его юности! И потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, имъли бы полное право, особенно тогда, смъло итти за образцовыя и не въ такомъ сборникъ; только черезъ мъру строгій художническій вкусъ Пушкина могъ исплючить изъ собранія его сочиненія такую пьесу, какъ напримъръ "Горацій". Переводъ изъ Горація, или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духъ, - что бы ни была она, только никто ни изъ старыхъ ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говориль такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзіи, какъ Пушкинъ въ этой пьесь, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація? —

Кто изъ боговъ мив возвратиль Того, съ къмъ первые походы И браней ужасъ и дълилъ, Когда за призракомъ свободы Насъ Бругъ отчаянный водилъ; Съ къмъ и тревоги боевыя Съ шатръ за чашей забывалъ, И кудри, плющемъ увитыя,

Сирійскимъ мирромъ умащаль? Ты помнишь часъ ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить, Бѣжалъ, нечестно бросивъ щитъ, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бъжаль! Но Эрмій самъ внезапной тучей Меня покрыль и вдаль умчалъ И спасъ отъ смерти неминучей. А ты, любимецъ первый мой, Ты снова въ битвахъ очутился... И нынъ въ Римъ ты возвратился. Въ мой домикъ темный и простой. Садись подъ сънь моихъ пенатовъ! Давайте чаши; не жальй Ни винъ моихъ ни ароматовъ! Готовы чащи; мальчикъ! лей; Теперь некстати воздержанье: Какъ дикій скиоъ, хочу я пить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотвореніи видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всѣ сферы жизни, во всѣ вѣка и страны, — виденъ тотъ Пушкинъ, который при концѣ своего поприща, нѣсколькими терцинами въ духѣ Дантовой "Божественной комедін", познакомилъ русскихъ съ Дантомъ больше, чѣмъ могли бы это сдѣлать всевозможные переводчики, — какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникѣ... Въ слѣдующей маленькой элегін уже виденъ будущій Пушкинъ — не ученикъ, не подражатель, а самостоятельный поэтъ.

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигь въ увядшемъ сердцѣ множитъ
Всѣ горести несчастливой любви
И тяжкое безуміе тревожитъ.
Но и молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью... мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.
О, жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезни въ тьмѣ, пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру — любя!

Въ пьесъ "Къ товарищамъ передъ выпускомъ" въетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіи. И стихъ, и понятіе, и способъ выраженія — все ново въ ней, все имъетъ корнемъ своимъ простой и върный взлядъ на дъйствительность, а не мечты и фантазіи, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всъ они достигнутъ и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естественнъе бываетъ съ людьми:

Разлука ждеть нась у порогу; Зоветь нась свъта дальній шумь, И каждый смотрить на дорогу Въ волненьи юныхъ, пылкихъ думъ. Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ, Уже въ воинственномъ нарядъ Гусарской саблею махнулъ: Въ крещенской утренней прохладъ Красиво мерзнеть на парадъ, А гръться ъдеть въ караулъ. Другой, рожденный быть вельможей, Не честь, а почести любя, У плута знатнаго въ прихожей Покорнымъ плутомъ зритъ себя.

Несмотря на всю незрълость и дътскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина, изъ нихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознаваль свое признаніе, какъ поэта, и смотрълъ на него, какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніи, и онъ говорилъ въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другь! и я п'весцъ! и мой смиренный путь Въ цв'втахъ украсила богиня п'всноп'внья, И мн'в въ младую боги грудь Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтическаго безсмертія казалась ей лучшей цілью бытія:

Ахъ, въдаетъ мой добрый геній, Что предпочелъ бы я скоръй Безсмертію души моей Безсмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень

много въ его "лицейскихъ" стихотреніяхъ. Между ними замъчательно стихотвореніе "Къ моей чернильницъ":

Подруга думы праздной, Чернильница моя! Мой въкъ однообразный Тобой украсиль я. Какт часто, друго веселья, Съ тобою забываль Условный чась похмелья И праздничный бокаль! Подъ стнью хаты скромной, Въ часы печали томной, Была ты предо мной Съ лампадой и мечтой. Въ минуту вдохновенья Къ тебъ я прибъгалъ И музу призывалъ На пиръ воображенья. Сокровища мои На див твоемъ таятся... Тебя я посвятиль Занятіемъ досуга И съ лънью примирилъ: Она твоя подруга! Сь тобой успахь узналь Отшельникъ неизвъстный... Завътный твой кристалль Хранитъ огонь небесный: И подъ-вечеръ, когда Перо по книжкъ бродить, Безъ всякаго труда Оно въ тебъ находить Кониы моихъ стиховъ И вырность выраженья, То звуковъ или словъ Нежданное стеченье, То покой шутки соль, То странность ривмы новой, Неслыханной дотоль.

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкинъ артистическій элементъ: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницъ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о върности выраженья и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолъ неслыханной, новой риемы! Къ такимъ же чертамъ принадлежатъ вольность и

смедость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіи онъ говоритъ:

Устрой гостямъ пирушку: На столикъ вощаной Поставь *пивную кружку* И кубокъ пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натуръ котораго никакой предметь не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не ръшился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкъ, и самый пунщевый кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозаическимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивъ, а объ амброзіи и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бъломъ свътъ напиткахъ. Затъявъ писать какую-то новгородскую повъсть "Вадимъ", Пушкинъ, въ отрывкъ изъ нея, употребилъ стихъ: "Но тынъ обросъ кронивой дикой". Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новгородской жизни, поражаетъ сколько своей смълостью, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, чтобы ими указать на будущаго преобразователя русской поэзіи и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видъть какую-то смълость въ употреблении слова тынъ; но мы говоримъ не о теперешнемъ, а о прошломъ времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій риомачь сміло употребляеть въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздълялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусь строго запрещаль употребленіе послъднихъ. Нуженъ былъ талантъ могучій и смълый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературъ. Теперь смъшно читать нападки тогдашнихъ аристарховъ на Пушкина, — такъ они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина — исказителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и поэтическаго безвкусія...

Изъ тъхъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и наиболъе самостоятельными его про-

изведеніями, нъкоторыя впослъдствіи онъ измъниль и передвлаль, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій.

Такова напримъръ пьеса "Друзьямъ".

Къ чему, веселые друзья, Мое тревожить вась молчанье? Запъвъ послъднее прощанье, Ужъ муза смолкнула моя. Напрасно лиру взяль я въ руки Бряцать веселья на пирахъ, И на ослабленныхъ струнахъ Искаль потерянные звуки. Богами вамъ еще даны Златые дни, златые ночи, И на любовь устремлены Огнемъ исполненныя очи! Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследствии Пушкинъ такъ переделалъ эту пьесу:

Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И томныхъ дъвъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозъ слезы улыбнуся я.

Бълинскій.

Значеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина.

Будучи изданы только въ 1841 году, когда уже были обнародованы почти всё зрёлыя произведенія Пушкина, лицейскія его стихотворенія могли быть разсматриваемы и цёнимы только съ исторической точки зрёнія. Шевыреву первому пришлось высказаться по этому поводу, и въ своей стать о посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина онъ писалъ объ его лицейскихъ стихотвореніяхъ слёдующее: "Въ Перуджій, школё младенца Рафаэля, есть знаменитый Palazzo del сатвіо, и въ немъ зала, расписанная Петромъ Перуджинскимъ и его учениками. Здёсь пеленки и колыбель живописца Рафаэля,

здъсь въ первый разъ является кисть отрока-генія, и между трудами другихъ учениковъ вы стараетесь отгадать то, что принадлежитъ вдохновенному. Съ какимъ чувствомъ смотришь на первые опыты этой кисти, которая была назначена для Мадонны и Преображенія. Съ чувствомъ еще сильнъйшимъ перечитывали мы лицейскія стихотворенія Пушкина: это его • пеленки, его колыбель, гдъ развивалось могучее младенчество поэта. Это его школа, изъ которой яснъеть намъ все первоначальное его развитие. Къ этому присоединяются и воспоминанія о нашей собственной юности и всего покольнія, намъ современнаго: сколько тутъ стиховъ, которые мы помнили наизусть въ прежнее время! Всъ мы, хотя воспитанные совершенно иначе, праздновали юность свою подъ вліяніемъ музы Пушкина... Эти стихотворенія замъняють намъ записки объ юности Пушкина. Здёсь, въ его пъсняхъ и сердечныхъ дружескихъ изліяніяхъ, можно видъть, какъ бурно, шумно и весело она развивалась. Какой свободный разгуль во всёхъ ея гръхахъ и шалостяхъ! Какъ все это естественно и върно! Въ ней нътъ ни мрачнаго раздумья, ни преждевременнаго разочарованія, ничего, что могло бы ръзко противоръчить ея природъ". Три года спустя, постоянный антогонистъ Шевырева — Бълинскій высказаль о лицейских стихотвореніяхъ Пушкина сужденіе, близкое къ только что приведенному: "Лицейскія стихотворенія Пушкина, кром'є того, что показывають, при сравнении съ послъдующими его стихотворениями, какъ скоро выросъ и возмужаль его поэтическій геній, особенно важны еще въ томъ отношени, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чъмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ... Лицейскія стихотворенія не богаты поэзіей, но часто удивляють красотой и изяществомь стиха. Фактура этого стиха совсъмъ не Пушкинская; она принадлежить Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіи, Пушкинъ — едва шестнадцатильтній юноша — иногда не только не уступаль въ стихъ, но еще едва ли не смълъе и не бойчъе владълъ имъ".

Впослъдствіи было обращено вниманіе преимущественно на біографическое значеніе лицейскихъ стихотвореній, и въ 1855 году Анненковъ писалъ о нихъ слъдующее: "Не говоря

уже объ интересъ, который связывается даже съ незрълыми произведеніями истиннаго художника, они способствуютъ еще къ уразумънію нравственной его физіономіи въ извъстную эпоху жизни. За неимъніемъ ближайшихъ свъдъній, погибающихъ вмъстъ съ людьми и даже прежде людей, эти данныя имъютъ сами по себъ немаловажное достоинство".

Но особенно ярко очерчено значеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина для исторіи его жизни и творчества Гротомъ. Самъ старый лицеисть, хорошо знакомый съ преданіями Пушкинскаго времени, онъ съ особенною любовью останавливался на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина. "Конечно, говориль Гроть, — послъдующія его произведенія зрълже и совершениве, но и ранніе стихи его, въ которыхъ такъ ярко отразилась его игривая и кипучая молодость, въ которыхъ таланть его уже является съ такимъ изумительнымъ блескомъ, возбуждають живой интересъ. Мы видимъ въ нихъ первые взмахи крыльевъ могучаго орла, мы въ нихъ уже предчувствуемъ и предвкушаемъ его будущее величіе. Если намъ вообще дороги подробности о дътствъ и юности замъчательнаго человъка, то тъмъ болъе цънны впечатлънія и мысли, имъ самимъ выраженныя въ этомъ возрастъ. Кромъ того, лицейскія стихотворенія Пушкина заслуживають особеннаго вниманія еще и потому, что періодъ его воспитанія въ Царскомъ Селъ нашелъ такой сильный отголосокъ во всей его дальнъйшей поэтической дъятельности".

Переходя затёмъ къ ближайшей характеристикъ лицейскихъ стихотвореній, Гротъ говорить: "прежде всего насъ поражаєть масса того, что написано Пушкинымъ въ лицев; его стихотворенія этой эпохи, числомъ около 130, составляють цълую порядочную книгу. Такая производительность, при достоинствахъ написаннаго, указываетъ уже на могущество таланта. Нѣкоторые товарищи Пушкина, также не лишенные поэтическаго дарованія, далеко отстали отъ него и въ этомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе, дружное соединеніе столькихъ молодыхъ талантовъ въ возникающемъ учебномъ заведеніи представляетъ явленіе необыкновенное. Эти отроки на 14-мъ и 15-мъ году жизни вступаютъ уже въ сношенія съ редакторами журналовъ, которые охотно принимаютъ и печатаютъ ихъ труды. Къ образованію этого литературнаго сообщества способствовали многія обстоятельства... Но главнымъ виновни-

комъ и двигателемъ литературной жизни въ новомъ училищъ быль все-таки Пушкинь, и безь него это направленіе, конечно, не достигло бы тамъ такого поразительнаго развитія. Можно, сказать, что Пушкинъ, поступая въ лицей двънадцати льть оть роду, по своимъ занятіямъ и связямъ, уже быль литераторомъ: съ девятилътняго возраста онъ зачитывался въ библіотекъ своего отца французскими поэтами и лично познакомился съ извъстнъйшими русскими писателями: Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ". Въ полтвержденіе своего мижнія о раннемъ литературномъ развитіи Пушкина и о вліяніи его на товарищей въ этомъ отношеніи Гротъ приводитъ слъдующія слова изъ письма лицеиста Илличевскаго, писаннаго въ мартъ 1812 года, т.-е. чрезъ полгода по открытіи Лицея: "Что касается до моихъ стихотворческихъ занятій, я въ нихъ успъль чрезвычайно, имъя товарищемъ одного молодого человъка, который, живши между дучшими стихотворцами, пріобръль много въ поэзіи знаній и вкуса". "Этимъ учителемъ своихъ товарищей, – добавляетъ Гротъ, – быль Пушкинь, младшій изъ нихъ по літамъ, но на котораго они невольно смотръли какъ на старшаго". Какъ извъстно, Пушкинъ учился въ лицеъ плохо, но, замъчаетъ Гротъ, приводя слова Плетнева, — "несмотря на видимую свою невнимательность изъ преподаванія предметовъ, выносиль болье, нежели его товарищи". Особенно же вознаграждаль онъ недостатки преподаванія и приготовленія уроковъ чтеніемъ, и при своей необыкновенной памяти быстро усвоиваль себъ навсегда все пріобрътенное этимъ путемъ. "Читая его лицейскія стихотворенія, — продолжаеть Гроть, — мы замъчаемъ, что онъ знаетъ чрезвычайно много, и не можемъ не приписать этого частью его начитанности, частью наблюдательности, быстроть пониманія да еще свойственной геніальнымъ людямъ способности угадывать то, что людямъ обыкновеннымъ дается только долговременнымъ опытомъ. Сюда относится особенно раннее знаніе человъческаго сердца и пониманіе людскихъ страстей и отношеній. Не упоминаю о живости чувствъ, о пылкости воображенія, о юношеской игривости ума, которыя у Пушкина присоединялись къ сказан-HUMB CBOUCTBAME . Transfell the first of the

Гротъ отмъчаетъ также тъ положительныя знанія, отраженіе которыхъ можно найти въ лицейскихъ стихотвореніяхъ

Пушкина. Здёсь должно быть прежде всего указано знакомство юнаго поэта съ греческимъ и римскимъ міромъ. "Еще въ родительскомъ домъ, — говоритъ Гротъ, — до поступленія въ лицей, онъ прочелъ въ переводъ Битобэ всю "Иліаду" и "Одиссею". А въ лицев Пушкинъ слушалъ Кошанскаго, который, "объясняя на своихъ урокахъ произведенія древнихъ, присовокупляль къ тому толкованія изъ исторіи литературы и миоологіи" и употребляль для того "Ручную книгу древней классической словесности" Эшенбурга, имъ переведенную и изданную въ 1817 году. "Такимъ образомъ, — по мнънію Грота, — намъ становится яснымъ, почему Пушкинъ еще въ Лицев такъ любилъ заимствовать изъ древняго міра образы и сюжеты для своихъ стихотвореній". Другую область, въ которой еще въ стънахъ лицея Пушкинъ является съ твердыми свъдъніями, составляеть русское слово. "Необыкновенное знаніе родного языка, — замъчаеть Гроть, поражаеть насъ въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Пушкина. Правда, что онъ нашель русскій поэтическій языкь уже значительно обработаннымъ въ стихахъ Жуковскаго и Батюшкова; но Пушкинъ скоро придаль ему еще большую свободу, простоту и естественность, болье и болье сближая его съ языкомъ народнымъ. Замътимъ, что въ самомъ постановлении о преподаваніи въ Лицев было правило: избъгать всякой высокопарности, но это правило не всегда умъли соблюдать и сами преподаватели, какъ показываютъ дошедше до насъ отрывки изъ ихъ ръчей. На перекоръ имъ Пушкинъ опередилъ въ этомъ отношени свое время".

Въ заключение нашихъ извлечений изъ статьи Грота, приведемъ еще слъдующее его наблюдение, вполнъ справедливое: "По настроению поэта лицейския стихотворения его замътно распадаются на два отдъла или двъ эпохи: первая продолжается отъ 1812 года приблизительно до осени 1816, вторая отъ этого времени до выпуска его въ июнъ 1817 года. Въ первой преобладаетъ веселое эротическое направление, выражающееся въ игривой, легкой и градиозной формъ; вторая, наступившая вслъдствие сильнаго сердечнаго увлечения, отличается меланхолическимъ характеромъ и строгой формой большей части

стихотвореній".

Моментомъ оставленія Лицея въ іюнъ 1817 года, собственно говоря, оканчивается лицейская пора творчества Пушкина.

Но, разумъется, покидая Лицей, онъ не сразу разстался съ литературными пріемами, которые употребляль въ то время: ихъ можно замътить въ его произведеніямъ въ теченіе еще нъсколькихъ лътъ.

Майковъ.

Переходныя стихотворенія Пушкина.

Въ переходныхъ стихотвореніяхъ виденъ уже Пушкинъ, но еще болье или менье върный литературнымъ преданіямъ, еще ученикъ предшествовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побъждающій своихъ учителей, поэтъ даровитый, но еще несамостоятельный и — если можно такъ выразиться — объщающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшей ему литературой, и они перемъщаны съ пьесами, въ которыхъ виденъ уже зрълый талантъ и въ которыхъ Пушкинъ являетси истиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзіи на Руси.

Такими переходными пьесами считаемъ мы слъдующія: "Къ Лицинію", "Гробъ Анакреона", "Пробужденіе", "Друзьямъ", "Пъвецъ", "Амуръ и Гименей", "Ш-ву", "Торжество Вакха", "Разлука", "П—ну", "Дельвигу", "Выздоровленіе", "Прелестницъ", "Жуковскому", "Увы, зачъмъ она блистаетъ", "Русалка", "Стансы Т-му", "В-му", "Кривцову", "Черная шаль", "Дочери Карагеоргія", "Война", "Я пережиль мои мечтанья", "Гробъ юноши", "Къ Овидію", "Пъснь о Въщемъ Олегъ", "Друзьямъ", "Гречанкъ", "Сводъ неба мракомъ обложился", "Телъга жизни", "Прозерпина", "Вакхическая пъсня", "Козлову", "Ты и вы" и нъсколько эпиграммъ, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатиль невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзін, которому въ пінтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковскій, не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ, и, въроятно, его-то примъръ особенно увлекъ Пушкина.

Замъчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходныхъ пьесъ, а въ третьей ихъ

совствы нтъ: въ ней содержатся только пьесы, проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся всъмъ совершенствомъ художественной формы его созръвшаго и возмужавшаго генія. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; но въ ней же между переходными пьесами есть довольно и такихъ, которыя по содержанію и по формъ обличають уже оригинальность, и самостоятельность, составляющія характеръ Пушкинской поэзіи. Чтобы яснье было нашимъ читателямъ, что мы разумъемъ подъ "переходными" стихотвореніями Пушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія пьесы, находящіяся въ первой части; они начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкъ: "Мечтателю", "Уединеніе", (которое, впрочемъ, только по содержанію, а не по формъ, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ пьесъ), "Домовому", "N. N.", "Недоконченная картина", "Возрожденіе", "Погасло дневное свътило", и въ особенности начинающіяся съ 1820 г.: "Виноградъ", О дъва-роза, я въ оковахъ", "Доридъ", "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда", "Нереида", "Дорида", "Ч — ву", "Мой другъ, забыты мной следыминувшихъ летъ", "Умолкну скоро я", "Муза", "Діонея", "Дъва", "Примъты", "Земля и море", "Красавица передъ зеркаломъ", "Алексвеву", "Ч-ву" "Люблю вашъ сумракъ неизвъстный", "Простишь ли миъ ревнивыя мечты", "Ненастный день потухъ", "Ты вянешь и молчишь", "Къ морю", "Коварность", "Ночной зефиръ" и "Подраженія корану". Обо всёхъ этихъ пьесахъ наша ръчь впереди; скажемъ сперва нъсколько словъ только о "переходныхъ".

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, — ученикомъ, побъдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чъмъ у нихъ, и пьесы въ цъломъ отличаются большей выдержанностью. Собственно Пушкинскій элементъ въ нихъ составляеть элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза замътно, что грусть болье къ лицу музъ Пушкина, болье родственна ей, чъмъ веселая и шаловливая шутливость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочинени, одинъ остается на душъ, изглаживая въ ней всъ предшествовавшія впечатльнія. Маленькое стихотвореніе "Друзьямъ" можеть

служить образцомъ такихъ пьесъ и доказательствомъ справедливости нашей мысли. Поэтъ говорить о шумномъ днъ разлуки, о буйномъ пиръ Вакха, о кликахъ безумной юности, при громъ чашъ и звукъ лиръ, и о той широкой чашъ, которая, удовлетворяя скиескую жажду, вмъщала въ свои широкіе края цълую бутылку, — и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такой элегической чертой:

Я пиль и думою сердечной Во дни минувшіе леталь И горе жизни скоротечной И сны любви воспоминаль.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьице нѣжной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и крѣпкой, и тѣмъ обаятельнѣе дѣйствуетъ она на читателя, тѣмъ глубже и сильнѣе отзывается въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, и тѣмъ гармоничнѣе потрясаетъ его струны. Пушкинъ никогда не расплывается въ грустномъ чувствѣ; оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармоніи другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ будто вдругъ встряхиваетъ головой, какъ левъ гривой, чтобъ отогнать отъ себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даетъ ей какой-то особенный освъжительный и укръпляющій душу характеръ. Такъ и въ приведенной нами сейчасъ пьесъ внезапное чувство міновенной грусти тотчасъ же смѣнилось у него бодрымъ и широкимъ размахомъ прояснѣвшей души:

Меня смышила ихъ измына: И скорбь исчезла предо мной, Какъ исчезаетъ въ чашахъ пына Подшипъвшею струей.

•Изъ переходныхъ пьесъ Пушкина дучшія тѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенныя его, отзываются какой-то прозаичностью, а при немъ и незначительныя пьесы получаютъ значеніе. Такъ, напримѣръ, пьеса "Я пережилъ мои желанья", какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ позднимъ хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимній свисть, Одинъ на въткъ обнаженной Трепещетъ запоздалый листь.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтическаго раздумья въ предестномъ стихотворении "Гробъ юноши"!

А онъ увяль во цвѣтѣ лѣтъ! И безъ него друзья пируютъ, Другихъ ужъ полюбить успѣвъ; Ужъ рѣдко, рѣдко именуютъ Его въ бесѣдѣ юныхъ дѣвъ. Изъ милыхъ женъ, его любившихъ, Одна, быть можетъ, слезы льетъ И память радостей почившихъ Привычной думою зоветъ... Къ чему?

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себъ картину гроба юноши, дышить такой свътлой, ясной и отрадной грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса "Къ Овидію" въ цъломъ сбивается нъсколько на старинный дидактическій тонъ посланій, но въ немъ много прекраснаго, и особенно начиная со стиха: "Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ", до стиха: "Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки"; и лучшую сторону этого стихотворенія составляеть его элегическій тонъ.

Изъ переходныхъ стихотвореній Пупкина слабъйшими можно считать: "Русалку", "Черную шаль", "Сводъ неба мракомъ обложился". "Русалка" прекрасна по идев, но поэтъ не совладаль съ этой идеей, — и кто хочетъ понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзіи эта идея, тотъ долженъ видъть превосходное произведеніе нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинъ художникъ воспользовался заимствованной имъ у поэта идеей несравненно лучше, чъмъ самъ поэтъ. "Русалка" Пушкина отзывается юношеской незрълостью; "Русалка" Моллера есть богатое и роскошное созданіе зрълаго таланта. — "Черная шаль" при своемъ появленіи возбудила фуроръ въ русской читающей публикъ, но, подобно "Гусару" Батюшкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителямъ "пъсенниковъ". Теперь очень не ръдкость услышать, какъ поетъ эту пьесу какой-

нибудь разгульный простолюдинъ вмёстё съ пёсней Θ . Глинки: "Вотъ мчится тройка удалая", или: "Ты не повёришь, какъ ты мила"... "Сводъ неба мракомъ обложился" есть не что иное, какъ отрывокъ изъ новгородской [поэмы "Вадимъ", которую затёвалъ было Пушкинъ въ своей юности и которой суждено было остаться неоконченной. Одинъ отрывокъ помёщенъ между "лицейскими" стихотвореніями, въ ІХ томъ, подъ названіемъ "Сонъ", и Пушкинъ не хотълъ его печатать. Стихъ отрывка "Сводъ неба мракомъ обложился" хорошъ, но прозаиченъ. Герои, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкъ, — славяне; одинъ — старикъ, другой — прекрасный юноша съ кручиной въ глазахъ

На немъ одежда славянина И на бедр'в славянскій мечъ, Славянъ вотъ очи голубыя, Воть ихъ и волосы златые, Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ — человъкъ бывалый:

Видаль онъ дальнія страны, По сушѣ, по морю носился, Во дни бывалы, дни войны На западѣ, на югѣ бился, Дѣля добычу и труды Съ суровымъ племенемъ Одена. И предъ нимъ враговъ ряды Бѣжали, какъ морская пѣна, Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ. Внималъ онъ радостнымъ хваламъ И арфамъ скальдовъ изступленныхъ И очи дѣвъ иноплеменныхъ Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тѣ славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкой отъ человъчества жили да поживали себъ въ степяхъ, болотахъ и дебряхъ нынѣшней Россіи; но славяне карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малѣйшему сомнѣнію только въ "Исторіи Государства Россійскаго 4. Изъ такихъ славянъ нельзя было сдѣлать поэмы, потому что для поэмы нужно дѣйствительное содержаніе, и ея героями могутъ быть только дѣйствительные люди, а не ученыя фантазіи и не историческія гипотезы... Кто видалъ славянскіе мечи? Дреколья и теперь можно видѣть...

Кто видалъ славянскую боевую одежду временъ баснословнаго Вадима, или баснословнаго Гостомысла?... Лапти и сермяги можно и теперь видъть...

"Пъснь о Въщемъ Олегъ" — совсъмъ другое дъло; поэтъ умълъ набросить какую-то поэтическую туманность на эту болъе лирическую, чъмъ эпическую пьесу, — туманность, которая очень гармонируетъ съ исторической отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія и съ неопредъленностью глухого преданія о нихъ. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ и такой-то чисто русскій складъ изложенія. Пушкинъ умълъ сдълать интереснымъ даже коня Олегова, — и читатель раздъляетъ съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боевого товарища:

Воть вдеть могучій Олегь со двора, Съ нимъ Игорь и старые гости, И видять: на холмъ, у берега Днъпра, Лежать благородныя кости; Ихъ моють дожди, засыпаеть ихъ пыль, И вътеръ волнуетъ надъ ними ковыль...

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонъ и въ содержаніи: послъдній куплеть удачно замыкаеть собой поэтическій смысль цълаго и оставляеть на душъ читателя полное впечатльніе:

Ковши круговые запѣнясь шипять На тризнѣ плачевной Олега; Князь Игорь и Ольга на холмѣ сидять; Дружина пируеть у берега; Бойцы поминають минувше дни И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

Нельзя того же сказать о всёхъ переходныхъ пьесахъ Пушкина въ отношеніи къ выдержанности и цёлостности; во многихъ изъ нихъ не чувствуешь, чтобъ онъ были кончены на мѣстъ, или чтобъ въ нихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказатъ. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ рѣзко отдъляется отъ всъхъ предшествовавшихъ емупоэтовъ.

Исчисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замъчательныхъ — "Наполеонъ". Это стихотвореніе двойственно: въ нъкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нъкоторыхъ чувствуешь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

Надъ урной, гдъ твой прахъ лежитъ, Народовъ ненависть почила, И лучъ безсмертія горитъ.

Искуплены его стяжанья И зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ сънью чуждою небесъ! И знойный островъ заточенья Полночный парусь посттиль, И путникъ слово примиренья На ономъ камив начертилъ. Гдъ, устремивъ на волны очи, Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей, И льдистый ужасъ полуночи, И небо Франціи своей; Гдъ иногда въ своей пустынъ, Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ о миломъ сынъ Въ изгнаньи горькомъ думаль онъ. Да будеть омрачень позоромъ Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его развънчанную тънь! Хвала!... онъ русскому народу Высокій жребій указаль, И міру вѣчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Но все остальное въ этой пьесъ какъ-то ръзко отзывается тономъ декламація и нъсколько напряженной восторженностью, подъ которой скрывается болье раздраженія, чъмъ вдохновенія. Впрочемъ и тутъ много оригинальнаго, что было до Пушкина неслыхано и невидано въ русской поэзіи, какъ напримъръ, выраженія: "осужденный властитель, могучій баловень побъдъ, изгнанникъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своенравная воля, блистательный позоръ" и тому подобныя. Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведении Пушкина—"Андрей Шенье", которое помъщено во второй части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламаніей, которая совсъмъ не въ натуръ Пушкинскаго духа и которая показываетъ, какъ долго удерживалось въ немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзіи. Конецъ этой пьесы тоже нъсколько натянутъ; но середина, отъ стиха: "Не узнаю васъ, дни славы, дни блаженства" до стиха: "Ты, слава, звукъ пустой"— исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзіи.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это — "Демонъ", пьеса, которая при своемъ появленіи поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?... Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ ней свой судъ. Есть что-то простодушно-юношеское въ ея выраженіи, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ стиховъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія— И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И ночью пѣнье соловья— Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновенныя искусства Такъ сильно волновали кровь,

и пр. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтой, презиралъ вдохновеніе, не върилъ любви и свободъ, насмъшливо смотръдъ на жизнь, — самъ онъ теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средней руки, — и теперь совсъмъ не нужно быть демономъ, чтобъ отъ души смъяться надъ той любовью, той свободой, надъ которыми онъ смъялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ теперь страшенъ развъ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнъе Пушкинскаго.

Бълинскій.

Антологическія стихотворенія Пушкина.

Самобытныя медкія стихотворенія Пушкина не восходять далъе 1819 года, и съ каждымъ слъдующимъ годомъ увеличиваются въ числъ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ внимание на тъ маленькія пьесы, которыя и по содержанію и по формъ отличаются характеромъ античности и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинъ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзіи. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность цълаго, нъжность и мягкость отдълки въ этихъ пьесахъ обнаруживаютъ въ Пушкинъ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между тъмъ онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокій художественный инстинкть замізняль ему изученіе древности, въ школъ которой воспитываются всъ европейскіе поэты. Этой поэтической натуръ ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферѣ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдъ бы ни встрътиль онъ ихъ, свободно и охотно ложились на полотив подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткъ Кострова перевести "Иліаду" и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; но, несмотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гитдичемъ "Иліады", на русскомъ языкъ не было ни одной строки ни одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музой эллинской и который превосходно перевелъ нъсколько пьесъ изъ антологіи. Пушкинъ почти ничего не переводилъ изъ греческой антологіи, но писалъ въ ея духъ такъ, что его оригинальныя пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонъ Пушкина большое преимущество и въ достоинствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински, или какъ артистически (это одно и то же) разсказаль Пушкинь о своемь художественномъ призваніи, почувствованномъ имъ еще въ дъта отрочества; эта пьеса называется "Муза":

Въ младенчествъ моемъ она меня любила И семиствольную цъвницу мнъ вручила; Она внимала мнъ съ улыбкой, и слегка По звонкимъ скважинамъ пустого тростника Уже наигрывалъ я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ. Съ утра до вечера въ нъмой тыни дубовъ Прилежно я внималъ урокамъ дъвы тайной; И, радуя меня наградою случайной, Откинувъ локоны отъ милаго чела, Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала: Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антологическомъ родъ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умълъ сдълать изъ шестистопнаго, ямба — этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ паросскимъ мраморомъ, для чудныхъ изваяній, видимых слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ, — и вамъ покажется, что вы видите передъ собой превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, На утренней заръ я видълъ Нереиду. Сокрытый межъ деревъ, едва я смълъ дохнуть; Надъ ясной влагою полубогиня грудъ Младую, бълую какъ лебедь, воздымала И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескъ въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы въ этомъ отношеніи сравниться съ этой пьеской:

Я върю, — я любимъ; для сердца нужно върить. Нътъ, милая моя не можетъ лицемърить; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харить безц'янный даръ, Нарядовъ и р'ячей пріятная небрежность И ласковых имень младенческая ньжность.

Правда, послѣдній стихъ есть не болѣе, какъ вѣрный переводь стиха Андре Шенье — "Et des noms carresants la mollesse enfantine"; но если гдѣ имѣетъ глубокій смыслъ выраженіе: "онъ беретъ свое, гдѣ ни увидитъ его", то, конечно, въ отношеніи къ своему стиху, который Пушкинъ умѣлъ сдѣлать своимъ.

Тъмъ же античнымъ духомъ въетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы "Трудъ" и "Чистый лоснится полъ; чаши блистаютъ" (первая оригинальная, вторая изъ Ксенофанта Колофонскаго). Мы ограничимся выпиской, тоже превосходной, по только маленькой пьесы, принадлежащей, впрочемъ, къ самому позднъйшему времени поэтической дъятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила; Къ ней на плечо преклопень, юноша вдругь задремалъ. Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя, И улыбаясь ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической дъятельности особенно много писаль ихъ. Это понятно: созерцание любви и наслажденій жизни въ духъ древнихъ особенно соотвътствуетъ эпохъ юности каждаго человъка. Вотъ перечень всъхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: "Виноградъ", "О дъва-роза, я въ оковахъ", "Доридъ", "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда", "Нереида", "Дорида", "Муза", "Діонея", "Дъва", "Примъты", "Красавица передъ зеркаломъ", "Ночь", "Сафо", "Кобылица молодая", "Царскосельская статуя", "Отрокъ", "Риема", "Трудъ", "Чистый лоснится полъ", "Славная олейта", "Өеонъ", "Юношу горько рыдая", "LVIII ода Анакреона", "Богъ веселый винограда", "Юноша, скромно пируй", "Мальчику" (изъ Катулла), "Узнаемъ коней ретивыхъ", (изъ Анакреона), "Лепла". Послъднія семь, послъ превосходной пьесы "Юношу горько рыдая", не отли чаются собеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но слъдующія двъ просто неудачны: "Кто на снъгахъ возрастилъ Өеокритовы нъжныя розы" и "На переводъ Иліады". Бълинский.

Лирическія произведенія Пушкина въ ихъ отличіи отъ произведеній предшественниковъ.

Перечтите пьесы: "Домовому", "Недоконченная картина", "Умолкну скоро я", "Земля и Море", "Алексвеву", "Ч-ву", "Зачьмъ безвременную скуку", "Люблю вашъ сумракъ неизвъстный", и еще болъе пьесы: "Простишь ли мнъ ревнивыя мечты", "Ненастный день потухъ", "Ты вянешь и молчишь". "Къморю", — вглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ обороть мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ мальйшей примьси прозы какъ старое крыпкое вино безъ малъйшей примъси воды. Въ въкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному или слишкомъ отзывающемуся эпохой, но со стороны поэзіи выраженія и поэзіп созерцанія вамъ нечего будетъ осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзін: между ними не будеть никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ пьесъ Пушкина. которыя мы означили именемъ переходныхъ. Это не значить, чтобъ въ произведенияхъ прежнихъ школъ не было ничего примъчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзіи: напротивъ, въ нихъ много примъчательнаго, и они исполнены поэзін, но есть безконечная разница въ характеръ ихъ поэзін и характеръ поэзіи Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ въ отношении къ произведеніямъ Пушкина — то же, что народная пъсня, исполненная души и чувства, народнымъ напъвомъ пропътая простолюдиномъ, въ отношении къ лирической пъснъ поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропътой великимъ пъвцомъ:

Сравнимъ для доказательства пьесу замъчательнъйшаго изъ прежнихъ поэтовъ, "Пъсня", съ пьесой Пушкина "Несчастный день потухъ":

О, милый другь, теперь съ тобою радость! А я одинъ — и мой печаленъ путь; Живи, вкушай невинной жизни сладость; Въ душъ не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толпъ плъняемыхъ тобою, Ты друга прежняго, увядшаго душою;

Веселья ихъ дъли — ему отрадой будь; Его, мой другь, не позабудь.

0, милый другь, намъ рокъ вельль разлуку; Дни, мъсяцы и годы пролетять, Вотще къ тебъ простру отъ сердца руку, Ни голосъ твой ни взоръ меня не усладять; Но и вдали съ тобой душа моя согласна. Любовь ни времени ни м'всту не подвластна; Всегда, вездъ ты мой хранитель ангель будь; Меня, мой другь, не позабудь. О, милый другь, пусть будеть прахъ холодный То сердце, гдв любовь къ тебв жила: Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны; Туда душа моя ужъ все перенесла; Туда всечасное стремить меня желанье; Тамъ свидимся опять: тамъ наше возданные: Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь — Меня, мой другь, не позабудь.

Чувство, составляющее паносъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а следовательно и истины; оно можеть быть напущено на человъка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазіи: но и напущенное чувство, по странному противоръчію человъческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сентиментальность и отсутствие всякой страсти, есть голось души, языкъ сердца, краспоръчіе чувства; но оно - не поэзія. Его форма болье краснорычива, чымь поэтична; въ его выраженіи, бользненно грустномъ и расплывающемся, есть. что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и нъжности художественной отдёлки. А между тёмъ это одно изъ лучшихъ. произведеній старой школы русской поэзіи и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пьесой Пушкина, въ которой выражена та же мысль раздуки съ любимымъ предметомъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла По небу стелется одеждою свинцовой; Какъ привидъніе, за рощею сосновой; Луна туманная взошла... Все мрачную тоску на душу мнъ наводитъ! Далеко тамъ луна въ сіяніи восходитъ;

Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой; Тамъ море движется роскошной пеленой Подъ голубыми небесами...

Вотъ время: по горъ теперь идеть она Къ брегамъ потопленнымъ шумящими волнами;

Тамъ, подъ завѣтными скалами,
Теперь она сидить печальна и одна...
Одна... никто предъ ней не плачеть, не тоскуетъ
Никто ен колѣнъ въ забвеньи не цѣлуетъ;
Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ.

Никто ен любви небесной недостоинъ. Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ.

Здъсь не то: въ паеосъ стихотворенія столько жизни, страсти, истины!... Луна, восходящая надъ сосновой рощей, напоминаеть поэту другую луну, которая въ это томительное для его души время восходить далеко, тамъ, гдъ природа такъ роскошно прекрасна, — и поэть предается невольно мечтъ о ней, которая въ эту пору одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляеть его успокоивать себя мыслью, что она — одна, и что ему должно быть спокойнымъ... И сколько жизни, какой энергический порывъ страсти высказывается въ словъ: "но если", отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихъ, даже от дъльно взятомъ, такъ и виденъ слъдъ художническаго ръзца, оживлявшаго мраморъ! — Какая безконечная разница!...

Чтобъ еще болье показать эту разницу, сдълаемъ еще сравнение. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и прекрасной пьесъ Жуковскаго, принадлежащей уже къ позднъйшему времени его поэтической дъятельности:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты, Гдѣ милому мгновенье лишь дано, Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты, И гдѣ навѣкъ минувшее одно...
Почто жъ мы здъсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено?

Внимая гласъ надежды, намъ поющей, Не слышимъ мы шаговъ бъды грядущей.

Здѣсь радости не наше — обладанье, Пролетные плѣнители земли, Лишь по пути заносять къ намъ преданье О благахъ, намъ обѣщанпыхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ Земная жизнь — страданія питомецъ.

Это уже не "напыщенное" чувство; нётъ, это вопль страшно потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болёе краснорёчіе, чёмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно, во всей формё этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замётно преобладаніе метафоры. Разумёется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Пушкина "19 октября"? Послё обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока мы туть! Увы нашъ кругь часъ отъ часу рѣдѣеть: Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣетъ; Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ; Невидимо склоняясь и хладѣя, Мы близимся къ началу своему... Кому жъ изъ насъ подъ старость день лицея Торжествовать придется одному — Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній Докучный гость и лишній и чужой, Онъ вспомнить насъ и дни соединеній, Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и вмёстё съ тёмъ свётлая скорбь! Каждая мысль сама по себё такъ исполнена поэзіи независимо отъ формы, вполнё художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всёхъ друзей своихъ другь, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколёній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ — это не просто поэтическая картина! Но не въ духѣ Пушкина остановиться на

скорбномъ чувствъ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынъ я, затворникъ вашъ опальный, Его провелъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбъ побъды надъ собой, онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинній художникъ, онъ владъль этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дъйствительности, который, на "здъсь" указывалъ ему какъ на источникъ и горя и утъшенія и заставляль его искать цъленіе въ той же существенности, гдъ постигла его бользнь. И, право, въ этой силь, опирающейся на внутреннемъ богатствъ своей натуры, болье въры въ Промыселъ и оправданія путей его, чъмъ во всъхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Билинскій.

Идея поэта въ произведеніяхъ Пушкина.

Пушкинъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, какъ то видно изъ его разбросанныхъ въ разныхъ мъстахъ замътокъ, цъниль выше всего плана, то-есть построение цълаго, стройный распорядокъ его частей; другими словами, считалъ въ нихъ самымъ существеннымъ то же, что и Аристотель. Вдохновеніе нашъ поэтъ опредъляль какъ "расположеніе души къ живъйшему принятію впечатльній и соображенію понятій, слъдственно и объясненію ихъ"; видълъ его въ полномъ обладаніи душевными способностями. Противополагая вдохновеніе восторгу или лирическому порыву, онъ главнымъ признакомъ первало считалъ спокойствие, которое, по словамъ поэта, "есть необходимое условіе прекраснаю". "Восторгь, говорить онъ, продолжая то же сопоставленіе, — непродолжителенъ, непостояненъ, слъдовательно, не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство". Условіемъ истинно великаго онъ полагаетъ "постоянный трудъ"; въ другомъ мъсть онъ даетъ труду эпитетъ "упорнаго".

— "Какъ! говоритъ Чарскій импровизатору, — чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, какъ будто вы съ нею носилисъ, лельяли, развивали ее безпрестанно. Итакъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію?"

И когда растаетъ это безпокойство, когда

Душа стъсняется лирическимъ волненьемъ, Трепещетъ и звучить и ищеть какъ во снъ Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ,—

что является передъ поэтомъ?

И туть ко мнѣ идеть незримый рой гостей, Знакомиы давніе, плоды мечты моей.

И туть настаеть минута рожденія, минута воплощенія долго лельянныхь, трудно выношенныхь думъ:

И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ, И риемы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ, И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ, Минута — и стихи свободно потекутъ.

Итакъ, постоянный и упорный трудъ, безпрестанное усовершенствованіе "любимыхъ думъ", спокойное обладаніе душевными силами въ минуты вдохновенія, "сила ума, располагающаго частями въ отношеніи цълаго", — вотъ, по Пушкину, условія для созданія истинно великаго, вотъ на что должны быть устремлены главныя заботы поэта. А у насъ, оставляя втуне существенное, такъ много толковали и толкують о томъ, что Пушкинъ "тщательно отдълывалъ свои стихи", былъ заботливъ о внъшней формъ своихъ произведеній, какъ будто форма не есть органическая принадлежность поэтической идеи 1), а какое-то украшеніе искусственно придуманное для приданія мысли пріятной наружности. Поэтъ, сказавшій:

Какъ стихъ безъ мысли въ пъснъ модной, Дорога зимняя гладка,

конечно, не могъ прилагать особой старательности о приданіи своему стиху внёшней гладкости. Онъ отдёлываль стихъ

¹⁾ Я употребляю здёсь, какъ и всюду, это слово въ Платоновскомъ смыслё.

не ради "стиха"; онъ просто измърялъ стихи, которые не вполнъ соотвътствовали поэтическому замыслу, не были точнымъ его выражениемъ, затемняли ясность и опредъленность образа. Дъло въ томъ, что въ минуту воплощенія идеи, далеко не всъ частности находять себъ немедленное и соотвътствующее выражение; поэть чувствуеть, что они не вполнъ отвъчають его замыслу, но на время допускаеть невольное несовершенство своего труда. Забота о совершенствъ однако не покидаетъ его; онъ мучается, старательно ищетъ надлежащаго слова, взвышиваеть истинный смысль выраженій. И онъ счастливъ, онъ успокоивается, когда, наконецъ, находить искомое; въ этомъ-то исканіи прямого выраженія замысла и заключается то, что въ художествахъ зовется искусствомъ. Поэтому-то всъ поправки Пушкина такъ и цънны, что онъ обличають въ немъ эту важную заботливость. Не менъе достойна вниманія забота поэта о соотвътственности эпитета. Шопенгауэръ не даромъ приписываетъ великое значение удачному эпитету. Слово, по его мнѣнію, само по себъ слишкомъ отвлеченно, оно выражаеть понятіе отвлеченное; эпитеть даеть ему образность, дълаеть его живымъ и живописнымъ; поэтому эпитеть составляеть могущественное средство для выраженія идеи, подобія вещи въ себъ. И въ самомъ дъль, эпитетъ играетъ въ поэзіи важную роль съ самаго ея зарожденія. Оттого въ произведеніяхъ народнаго творчества, какъ у Гомера, такъ и въ нашихъ былинахъ, удачный эпитетъ неизмънно сопровождаетъ всюду данное слово: черные корабли, копье долгомърное ист. д. продолжения

Послъ заботы о планъ, о цъломъ произведеніи, художнику подобаеть озаботиться о характеръ изображаемыхъ лицъ. Изученіе Мольера и Шекспира привело Пушкина къ отданію предпочтенія послъднему. Въ чемъ же онъ полагалъ достоинство Шекспира? Мольеръ, говорить онъ, изображалъ только тины такой-то страсти, такого-то порока; онъ выражалъ только идеи отдъльныхъ страстей и пороковъ. Но таковы ли люди въ себъ и таково ли должно быть ихъ поэтическое подобіе? Нътъ, они не таковы; ихъ природа сложнъе, ихъ волнуютъ многія страсти, они рабы многихъ пороковъ. Въ Шекспиръ нашъ поэтъ цънитъ поэтому многосложность характеровъ, "вольное и широкое" ихъ изображеніе; то, что его лица — вполнъ живыя существа. Подобное же повторяетъ

Пушкинъ при сопоставлении Шекспира съ Байрономъ. Байровъ понималъ только одинъ характеръ, именно своей собственный; отдёльныя черты этого характера онъ придавалъ своимъ лицамъ; одного надълялъ ненавистью, другого меланхоліей, третьяго гордостью и т. д.; въ созданіяхъ Байрона. его характеръ, полный, мрачный и энергическій распался на нъсколько незначительныхъ. Пушкинъ осуждаеть еще манію къ усиленному выдерживанию характера; боязнь, которую обнаруживаетъ художникъ, что его лицо скажетъ хотя слово, несоотвътственное придуманному характеру. "Заговорщикъ по-заговорщицки говорить дайте мив пить, и это просто смъшно". Вспоминая одного изъ героевъ Байроновой трагедіи, человъка, дышащаго ненавистью, Пушкинъ спрашиваетъ: "эта монотонія, эта эффектація даконизма, безпрестанной ярости, — развъ это натура?" То ли у Шекспира? Нъть, онъ не боится за своихъ лицъ; они говорятъ у него съ беззаботливостію жизни, потому, что поэтъ увъренъ, что въ нужное время, и въ должномъ мъстъ его лица найдуть языкъ, соотвътственный ихъ характеру. "Обстоятельства, -- говоритъ Пушкинъ въ другомъ мъстъ о Шекспировыхъ лицахъ, -развивають предъ зрителемь ихъ разнообразные, многосложные характеры".

И опять мы точно читаемъ Аристотеля. И онъ твердилъ о подчинени характера дъйствію, о томъ, что лица должны выражать свой характеръ въ дъйствіи, въ данную, способную для такого выраженія минуту; и онъ замъчалъ, что далеко не всъ ръчи дъйствующихъ живописуютъ ихъ характеръ, но именно тъ, гдъ выражается склонность или направленіе ихъ воли; и онъ говорилъ, что характеры должны быть похожи, т.-е. подобны тъмъ, какіе мы встръчаемъ въ дъйствительности.

Не мимо сказано Лессингомъ, что всякій поэтъ есть прирожденный критикъ, но, конечно, не всякій изъ нихъ способенъ понимать художество съ такою і лубиной, какъ Пушкинъ. Въ любви, которую поэтъ обнаруживаетъ къ другому поэту, въ оценкъ этого другого, въ томъ, что именно онъ находитъ и ясно видитъ въ немъ, сказывается не одна критическая способность, но и сродство генія, конгеніальность. Припоминая слова Аристотеля о томъ, какіе люди способны къ поэзіи, и видя значеніе, которое Пушкинъ придавалъ плану, его недовольство, когда лица изображаются только какъ типическія воплощенія страстей, будь то страсти трагическія или комическія— мы можемъ заключить, что онъ принадлежалъ къ поэтамъ изъ числа людей богато одаренныхъ отъ природы, или къ поэтамъ объективнымъ, по терминологіи германской философіи. Онъ любилъ изображенія людей во всей многосложности ихъ природы; онъ стремился къ раскрытію идеи человъка во всей ея полнотъ. Прибавимъ къ этому, что односторонность, однообразность были чужды природъ Пушкина "Однообразность въ писателъ, — замъчаетъ онъ, — доказываетъ односторонность ума, хоть можетъ быть и глубокомысленнаго".

Соображая всё замёчанія Пушкина объ искусстве, сдёланшыя при случае, часто какъ бы мимоходомъ, я не боюсь впасть
въ ошибку, утверждая, что если бы онё попались подъ руку
мыслителю, не знающему Пушкина, какъ поэта, то онъ изъ
однихъ этихъ мимоходныхъ и отрывочныхъ замётокъ заключилъ бы, что человекъ, ихъ сдёлавший, самъ былъ поэтъ и
притомъ многообъемлющій.

Обратимся теперь къ поэтическому воззрѣнію Пушкина на поэта, къ выраженію *идеи* поэта въ его созданіяхъ. Поэть отличается отъ другихъ людей своимъ даромъ:

Пока не требуеть поэта
Къ священной жертвъ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свъта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчить его святая лира,
Душа вкушаеть хладный сонъ,
И межъ дътей ничтожныхъ міра,
Быть можеть, всъхъ ничтожньй онъ.

Но когда онъ становится поэтомъ, когда "божественный глаголъ" коснется его чуткаго слуха, онъ мгновенно преображается: онъ уже не малодушно погруженъ въ забавахъ міра, онъ тоскуетъ въ нихъ, онъ обрътаетъ волю и

> Бѣжить онъ, дикій и суровый, И звуковъ и смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы...

Онъ дикъ и суровъ, потому что въ эти мгновенья ему становятся чужды всъ остальныя дъла людей; онъ полонъ не только звуковъ, но смятенья, какъ человъкъ, пробудившійся отъ тяжкаго сна, какъ человъкъ, для котораго въ потемкахъ будничной жизни внезапно блеснулъ свътъ откровенія; онъ полонъ смятенья еще потому, что, забывая о своемъ призваніи, онъ не чуждался пошлой вседневности, не чуждался людской молвы и склонялъ голову предъ народнымъ кумиромъ. О, теперь онъ сталъ инымъ:

И внялъ онъ неба содраганье, И горній ангеловъ полеть, И гадъ морскихъ подземный ходъ, И дольней лозы прозябанье.

Теперь для него стало понятно все сокровенное въ міръ, и все въ немъ способенъ онъ обнять своею мечтой.

Поэтъ чутокъ ко всему, онъ на все отзывчивъ, какъ эхо:

Ты внемлешь грохоту громовъ И гласу бури и валовъ, И крику сельскихъ пастуховъ, — И шлешь отвътъ; Тебъ жъ нъть отзыва... Таковъ И ты, поэтъ!

Поэть выше всего цвнить свое призваніе, онь любить оть всей души прекрасное, для него оно дороже всего въ жизни. Воть какія слова влагаеть Пушкинь въ уста Моцарта, художника столь конгеніальнаго нашему поэту и столь имъ любимаго:

Когда бы всё такъ чувствовали силу Гармоніи! Но цёть, тогда бъ не могь И міръ существовать: никто бъ не сталъ Заботиться о нуждахъ низкой жизни — Всё предались бы вольному искусству! Насъ мало избранныхъ, счастливцевъ праздныхъ, Пренебрегающихъ презрённой пользой, Единаго прекраснаго жерецовъ.

Испытавъ не одну славу, но и терніи своего вънца, поэтъ съ новою силой утверждаеть, что счастье для него все въ томъ же, въ его призваніи, въ любви къ прекрасному; онъ не дорожить тъми правами,

Оть коихъ не одна кружится голова,

его не прельщають политическія вольности:

Иныя, лучшія мнѣ дороги права; Иная, лучшая потребна мнѣ свобода... Зависъть отъ властей, зависъть отъ народа Не все ли намъ равно? Богъ съ ними... никому Отчета не давать, себъ лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совъсти, ни помысловъ, ни шеи; По прихоти своей скитаться здъсь и тамъ, Дивясь божественнымъ природы красотамъ, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенъя, Безмольно утопать въ восториахъ умиленъя — Вотъ счастье! вотъ права!...

Не внѣшняя, но внутренняя свобода дорога поэту; въ чемъ же онъ видитъ свое призваніе, для чего онъ посланъ въ міръ! "Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?" Отъ поэта требуютъ, чтобъ онъ былъ прямо и непосредственно полезенъ людямъ, чтобъ эта пользя была ошутительна въ житейскомъ обиходъ. Пюди готовы сознаться, что они малодушны и коварны, они признаютъ свое безстыдство, злость и неблагодарность; люди не скрываютъ, что сердцемъ они "хладные скопцы" — но они требуютъ, чтобы поэтъ исправлялъ ихъ, чтобъ, отвергнувъ свою свободу, онъ занялся дѣломъ, которое будетъ для нихъ явственно полезно и благодътельно:

Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смѣлые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Поэть съ негодованіемъ отворачивается отъ такого требованія. У васъ были, говорить онъ, иныя средства для исправленія; орудія тяжкія для кары грѣха и преступленія. Зачѣмъ же вы туебуете отъ меня, чтобъ я взялся за дѣло, къ которому не призванъ? Есть много полезныхъ дѣлъ, но всякаго ли вы заставляете исправлять любое изъ нихъ? Развѣ вы не знаете, что людскіе уроки не одинаковы, что есть труды возвышенные, болѣе другихъ святые и прекрасные?

Во градахъ вашихъ, съ улипъ шумныхъ Сметаютъ соръ — полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвопринешенье, Жрецы ль у васъ метлу берутъ?

Не заставляйте же и поэта работать не надъ своимъ участкомъ; у него свое важное и великое дъло:

Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битвъ, — Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Вотъ въ чемъ призваніе поэта, которое онъ долженъ охранять какъ зенницу ока, которое должно быть ему дороже всего. Таковъ прямой и ясный смыслъ этого стихотворенія, давшаго поводъ ко многимъ злобнымъ нареканіямъ, какъ искреннимъ, такъ и умышленнымъ. Обвиняли поэта за недостатокъ гражданственности, за чуть ли не полное отвращеніе къ тому, что въ древности звалось общимъ доломъ, хотя поэтъ становится поэтомъ только въ минуты вдохновенія и притомъ давно извъстно, что, глядя на поэтовъ съ подобной не объемлющей сущности предмета, точки зрънія, придется ихъ наградить въндомъ и удалить изъ города.

Поэтъ долженъ помнить, что эта горькая чаша не минуетъ его, и быть готовымъ безропотно принять ее. Добродътельный, говоритъ Шопенгауэръ, можетъ надъяться на воздание въ лучшемъ міръ; человъкъ благоразумный — въ здъшней жизни; поэту нътъ награды ни здъсь ни тамъ: его даръ — его награда.

Минутный шумъ восторженныхъ похваль, говорить Пушкинъ поэту, пройдеть; ты услышишь судъ глупца и сочувственный ему смъхъ толпы,

Но ты остался твердъ, спокоенъ и угрюмъ. Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовеошенствуя плоды любимыхъ думъ, Не требуя наградъ за подвигъ благородный. Онъ въ самомъ тебъ.

Не будь при этомъ строгь къ себъ, будь "взыскательнымъ" къ себъ художникомъ, и если и тогда ты останешься доволень своимъ трудомъ, то

... пусть толпа его бранить, И плюеть на алтарь, гдв твой огонь горить, И въ *дътской ръзвости* колеблеть твой треножникъ.

Этими чертами дорисовывается образъ поэта; идея поэта получаетъ свое окончательное и полное выраженіе, болье полное, чъмъ дано другими великими поэтами.

Твердое сознаніе своего долга, царственное уединеніе, впутренняя свобода и проистекающее изъ нея непоколебимое спо-

койствіе духа, — вотъ какимъ рисуетъ нашъ Пушкинъ поэта. Этотъ образъ начертанъ, однако, въ порывъ негодованія; въ стихотвореніи, достойно заключающемъ лирическія произведенія Пушкина, тотъ же образъ обозначенъ чертами болье спокойными, дышитъ примиреннымъ чувствомъ:

И долго буду тёмъ народу я любезенъ Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ И милость къ падшимъ призывалъ.

Поэть, отвергавшій требованіе отъ него пользы въ житейскомь обиходь, сознаеть, что онъ быль иначе полезень, живою прелестью стиховь; полезень въ иномъ, высшемъ значеніи слова: онъ пробуждаль добрыя чувства, онъ призываль милость къ падшимъ. Уже безъ негодованія на чернь говорить онъ о своемъ призваніи, но съ чувствомъ благоговъйной покорности Промыслу, давшему ему въ удъль творческую способность:

Велънью Божію, о муза! будь послушна. Обиды не страшись, не требуй и вънца; Хвалу и клевету пріемли равнодушно И не оспаривай глупца.

Аверкіевъ.

Стихотвореніе Пушкина "Чернь".

Въ стихотвореніи "Чернь" заключается художественное profession de foi Пушкина. Онъ презираетъ чернь, и на ея приглашеніе — исправлять ее звуками лиры, отвъчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго пегодованія:

Подите прочь! какое двло
Поэту мирному до вась?
Въ развратъ каменъйте смъло:
Не оживить вась лиры гласъ;
Душъ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имъли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ

Сметають сорь — полезный трудь! Но, позабывь свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вась метлу беруть? Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битез: Мы рождены для вдохновенья, Для звуковь сладкихь и молитвь.

Дъйствительно, смъшны и жалки тъ глупцы, которые смотрять на поэзію, какъ на искусство втискивать въ разміренныя строчки съ риомами разныя нравоучительныя мысли, и требують отъ поэта непременно, чтобъ онъ воспеваль имъ все любовь, да дружбу и пр., и которые неспособны увидьть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нъть общихъ нравоучительныхъ мъстъ. Но если до истины можно доходить не темъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тъмъ, чтобъ противоръчить имъ, — а тъмъ, чтобъ, забывая о ихъ существованіи, смотръть на предметъ глазами разума. Не только поэты съ ихъ "вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами", но и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имъли бы никакого значенія, если бъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толпа, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таинственной психики народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состоянін порождать изъ себя ведикихъ поэтовъ, не стоитъ названія народа или націи — съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можеть ни быть ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромъ людей ограниченныхъ и духовно-малолътнихъ, не обязываетъ поэта воспъвать непремънно гимны добродътели: и карать сатирой порокъ; но каждый умный человъкъ вправъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвъты на вопросы времени, или, по крайней мара, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ неразръшенныхъ вопросовъ. Кто поетъ просебя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуеть быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И дъйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдъ онъ просто воплощаеть въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдв хочетъ быть мыслителемъ и решителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе "Поэтъ", въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что поэть, пока не потребуетъ его Аполлонъ къ священной жизни, ничтожне всехъ ничтожныхъ дътей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваеть съ себя нечистый сонъ жизни какъ пробудившійся орель, — но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишить поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тъмъ не менъе всъ видять въ нихъ теперь не болье, какъ великихъ людей на малыя дъла: всъ знають, что эти господа скоро выписывають и изъ-за денегь громкими фразами увъряютъ другихъ въ томъ, чему нъкогда сами върили, но чему чеперь уже сами первые не върятъ. Наше время преклонить кольни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарій на его творенія, а творенія — лучшее оправданіе его жизни. Гёте не принадлежаль къ числу пощлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіей; но практическій и историческій индиферентизмъ не даль бы ему сдёлаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тёмъ не менъе были причиной постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумъренный восторгъ возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ, личность. И чъмъ совершеннъе становился Пушкинъ, какъ художникъ, тъмъ болъе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцвнить художественнаго совершенства его послъднихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она не вправъ была искать въ поэзін Пушкина болье нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Между тъмъ избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурой и призваніемъ: онъ не паль, а только сдълался самимъ собою, но, по несчастью, въ такое время,

которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго выпрывало искусство и мало пріобрътало общество. Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйти изъ заколдованнаго круга своей личности,—и со всей добросовъстностью человъка и художника написаль свое превосходное стихотвореніе "Поэту":

Поэть, не дорожи любовію пародной! Восторженныхь похваль пройдеть минутный шумь; Услышишь судь глупца и смъхь толпы народной; Но ты останься твердь, спокоень и угрюмь. Ты царь: живи одинь. Дорогою свободной Иди, куда влечеть тебя свободный умь, Усовершенствуя плоды высокихь думь, Не требуя наградь за подвигь благородный. Онъ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшій судь; Всъхь строже оцьнить умъешь ты свой трудь. Ты имъ доволень ли, взыскательный художникь? Доволень? Такъ пускай толпа тебя бранить И плюеть на алтарь, гдъ твой огонь горить, И въ дътской ръзвости колеблеть твой треножникъ.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величіи непонятнаго и оскорбленнаго художника. И когда онъ писалъ свои лучшія творенія— "Скупого рыцаря", "Египетскія ночи", "Русалку", "Мъднаго всадника", "Галуба", "Каменнаго гостя", онъ всегда менъе расчитывалъ на восторгъ публики и потому не торопился издавать ихъ...

Бълинскій.

Въ нашей критикъ по поводу Пушкина часто слышалось возражение противъ будто бы ошибочной теоріи, которая учить, что искусство должно имъть свою цъль въ самомъ себъ. Это положеніе, въ своей отвлеченности, можетъ быть всячески понимаемо... Искусство должно имъть свою внутреннюю цъль, какъ имъетъ ее все на свътъ... Говорите, что хотите, но не отнимайте у искусства его права на существованіе, за гаізоп d'être. Пушкинъ подвергся укору за то, что оставался въренъ цълямъ искусства. Его восхваляютъ какъ художника, но укоряютъ за то, что онъ былъ исключительно художникомъ. Пущкинъ, говорятъ критики, былъ въ нашей литературъ художникъ по преимуществу; онъ первый внесъ въ нее истинное начало поэзіи; но зато онъ и былъ только художникомъ,

только поэтомъ. Повинуясь влеченію своей природы, онъ подчиниль себя вполнъ этой теоріи, предписывающей искусству не знать иной цёли, кроме цёли искусства. Ему бы только уловить красоту явленія, только начертать изящный образь, только передать ощущение въ живой прелести стиха. Онъ былъ эхо, которое отзывается на все безразлично и безсграстно; такъ онъ и понималъ свое назначение какъ поэта. Онъ самъ высказаль свою теорію искусства въ знаменитомъ стихотвореній своемъ: Чернь. Съ презръніемъ и негодованіемъ отталкиваетъ поэтъ эту "тупую чернь", этотъ "непосвященный и безсмысленный народъ", который собрался просить у него слова поученія. Въ стихотвореніи Пушкина послъднее слово осталось, конечно, за поэтомъ. Но критики становятся на противную сторону п, разумъется, удерживають за собою послъднее слово, повторяя и разбирая то, что высказано въ стихотвореніи отъ лица черни.

Пушкинъ не быль теоретикомъ. Но дъйствительно съ теченіемъ времени его художественная дъятельность достигла до самосознанія, которое выразилось въ нъсколькихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ. Эти стихотворенія, при всей свободъ своей формы, при всемъ отсутствіи догматическаго характера, заключаютъ въ себъ намеки на теорію искусства, которую легко извлечь изъ нихъ.

Поэзія есть прежде всего одна изъ формъ нашего сознанія. Это особаго рода мышленіе; это умственная дъятельность... Вдохновеніе творчества не только не чуждо сознанія, но есть, напротивъ, самое усиленное его состояніе. Человъкъ въ этомъ состояніи весь становится созерцаніемъ, внутреннимъ зрѣніемъ и слухомъ. Но чемъ сильнее такое состояние, темъ мене бываеть возможнымъ, современно съ нимъ, другое подобное состояніе. Мы не можемъ сосредоточить наши понятія для того, чтобы наблюдать за сильною внутреннею работою въ самый моменть ея развитія, не можемъ не потому только, что намъ недостало бы матеріальныхъ силъ, но потому, преимущественно, что не будеть у насъ свободныхъ нравственныхъ силь для новой работы, не будеть въ нашемъ распоряжении тъхъ умственныхъ способовъ, тъхъ понятій, которыя были бы для ней необходимы, но которыя заняты болье или менье близкимъ отношениемъ къ начавшемуся дълу. Они не могутъ вступить въ тъ сочетанія, которыя требовались бы для новаго

дъла, не нарушая цълаго настроенія нашей души. Отдавать себъ отчеть въ общихъ законахъ своей дъятельности, новаго плана, новаго настроенія и своего времени.

Итакъ вотъ она, эта пресловутая безсознательность художника! Это не безсознательность, а цъльность сознанія и нисколько не составляетъ исключительной принадлежности искуства въ тъснъйшемъ значеніи этого слова. Это общее условіе всякаго рода дъятельности, которая творчески совершается въ человъческомъ духъ, и творчество въ этомъ смыслъ нимало не есть принадлежность людей, слагающихъ стихи, сочиняющихъ повъсти или драмы или занимающихся живописью, оно равно относится и къ ученому, къ инженеру и даже къ математику, котораго бывало ставили во враждебныя отношешенія къ поэту.

Знаніе въ томъ, что мы зовемъ наукой, и знаніе въ томъ, что мы зовемъ поэзіей, различаются между собою такъ: первое имъетъ въ виду отвлеченное, общія отношенія предметовъ; собирая во множествъ частныя явленія, первое не обращаеть вниманія на индивидуальныя ихъ отличія, сосредоточивается въ нихъ исключительно лишь въ понятіяхъ родовыхъ и высказываетъ общія положенія, какъ законы природы; последнее, напротивъ, направлено къ тому, что брошено первымъ, какъ случайное, къ тому, на что первое не хочетъ и не можетъ обратить вниманія... Художникъ есть истинный естествоиспытатель въ этомъ міръ. Онъ производить въ немъ самыя разнообразныя наблюденія, которыя не уступають въ богатствъ наблюденіямъ наукъ. И здъсь вновь встръчаемъ мы сближеніе поэзіи съ наукой. Тоть же самый процессъ совершается въ умъ мыслителя, извлекающаго изъ бездны частныхъ фактовъ такъ называемый всеобщій фактъ, или законъ природы, какъ и въ художникъ, когда въ немъ изъ тысячи схваченныхъ особенностей вырабатывается общій типъ, характеристическій образъ. Разница происходить отъ свойства предметовъ, на которые направлена дъятельность того и другого. Естествоиспытатель имъетъ дъло съ письменами, которыхъ смыслъ не уясненъ ему непосредственно. Явленія природы предстоять ему какъ голые, вибшине факты и получають значение, говорять уму лишь въ той мъръ, въ какой вырабатываются изъ нихъ отвлеченные признаки или логическія формулы законовъ природы. Поэзія относится, большею частію, къ такимъ явленіямъ,

смыслъ которыхъ непосредственно сказывается въ нашемъ сердцъ, правственномъ чувствъ, въ нашемъ самопознаніи; она относится, преимущественно, къ человъческому міру, въ которомъ явленія сами чувствують себя...

Наука, обобщая явленія, группируеть ихъ по логическимъ отношеніямъ, извлекаетъ ихъ изъ тъхъ безчисленно разнообразныхъ связей, какъ существують они въ дъйствительности; наука тщательно уединяеть свой факть, возводя его въ понятіе; индивидуальности служать для ней только веществомъ анализа; она сыплеть и льеть ихъ въ свои реторты, добираясь только до элементовъ, чтобы потомъ разбирать и читать посредствомъ этой азбуки сложныя сочетанія явленій. Мысль художника держится на понятіях видовых в которымъ непосредственно подчинено разнообразіе индивидуальности. Видъ, по терминологіи греческой философіи, есть то же, что идея; оба реченія въ греческомъ языкъ одного происхожденія, и употреблялись мыслителями одно вмъсто другого. Мысль художника остается такимъ образомъ на рубежъ между отвлеченною общностью и живымъ явленіемъ. Фактъ, событіе не исчезаеть для него въ общемъ законъ. Онъ повъствуеть, изображаеть, выводить живыя лица на сцену. Хотя художественная мысль также обобщаеть явленія, также соединяется съ отвлеченіемъ, однако художественное обобщеніе не разрушаетъ индивидуальности явленія, оно только возводить его въ типъ. Плодъ художественнаго познанія есть факть, удержанный во всей своей индивидуальности, но высвобожденный изъ путаницы случайностей, съ которыми въ дъйствительности является для простого глаза. Фактъ, въ художественномъ понятіи, сохраняеть всю свою жизненность. Художественное обобщение есть не иное что, какъ уразумъние всего случайнаго въ предметъ.

Самая первая и существенная цъль искусства есть истина, что поэзія можеть и должна быть понимаема какъ знаніе, что красота художественныхъ произведеній есть лишь особое свойство этого знанія и основана на истинъ. Но, спросять насъ, должно ли искусство ограничиваться однимъ теоретическимъ значеніемъ, или оно должно имъть также и практическое значеніе? Этотъ вопросъ внушилъ самому Пушкину извъстное стихотвореніе "Чернь", о которомъ привелось намъ упомянуть выше

Въ этомъ стихотвореніи ясно замѣтно развитіе темы, замѣтна нѣкоторая діалектика, возвышеніе тона и мысли. Чернь сначала говорить слѣдующее о поэтъ:

Зачимя такъ звучно онъ поетъ? Напрасно ухо поражан, Къ какой онг цили наст ведетя?

Какъ вътеръ пъснь его свободна, Зато какъ вътеръ и безплодна: Какая польза намъ отъ ней?

Вопросъ, въ этихъ словахъ, касается самаго существования искусства, какъ и вообще всего, что не имъетъ внъшней цъли, что посвящено безкорыстному удовлетворенію высшихъ потребностей человъческой природы. Поэтъ выражаетъ это въръзкихъ стихахъ.

Ты червь земли, не сынъ небесь, Тебѣ бы пользы все — на вѣсъ Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вѣдь богъ! Такъ что же? Печной горшокъ тебѣ дороже? Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

Слъдующее за тъмъ возражение черни принимаетъ болъе серіозный характеръ. Она не отрицаетъ высшихъ даровъ и призваній, не требуетъ, чтобы "небесъ избранникъ" употреблялъ свой даръ во благо ближняго, чтобы онъ исправлялъ сердца собратьевъ.

Гнъздятся клубомъ въ насъ пороки: Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смълые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Требованія, повидимому, весьма честныя и законныя. Но поэть съ новою силою гремить противъ черни. Онъ отрекается отъ воздагаемой на него обязанности; онъ не думаеть, чтобы "гласъ лиры" могъ оживить "каменъющихъ въ развратъ безумныхъ рабовъ, которые противны ему, какъ гробы". Негодованіе поэта оправдывается тъмъ оттънкомъ, который приданъ увъщательной ръчи, вызывающей его на подвигъ исправленія сердецъ. Чернь исчисляеть свои пороки вовсе не съ тъмъ

чувствомъ, которое жаждетъ исправленія. Этотъ заключительный стихъ:

А мы послушаемъ тебя,

показываеть ясно, что шутливые требователи морали въ поэзіп очень удобно могуть оставаться при своихъ пророкахъ, и желали бы только въ воображеніи поиграть добродѣтелью. Въ человѣкѣ самомъ испорченномъ долго еще сохраняется потребность какъ-нибудь возстановить въ себѣ равновѣсіе между слишкомъ сильнымъ зломъ и слишкомъ слабымъ добромъ. Не имѣя ни охоты ни силы бороться со зломъ въ своемъ сердцѣ и побѣждать наклонности воли, онъ хочетъ, по крайней мѣрѣ, дать въ своемъ воображеніи полный просторъ добру. Отъявленный негодяй толкуетъ иногда съ большимъ чувствомъ о чести и добродѣтели, и не всегда это бываетъ лишь однимъ лицемѣріемъ. Поэтъ, конечно, долженъ отказаться отъ такого служенія и заключаетъ свою рѣчь исповѣдью своего истиннаго призванія:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Исповедь прасноречивая и сильная! Мы не должны однако привязываться въ ней къ каждому слову, или, съ другой стороны, видъть въ этомъ лирическомъ движении точное выраженіе эстетическаго закона. Мы согласны, что въ общей исповъди поэта выразилась невольно личность самого Пушкина, особенность его природы и дарованія. Но основной смыслъ этихъ стиховъ, что бы кто ни говорилъ, очень въренъ. Да! мы не имъемъ никакого права требовать чего-либо отъ искусства свыше того, что высказывается этими немногими словами, опредъляющими призвание художника. Если вдохновение не есть пустое слово, то что же иное можеть означать оно здъсь, какъ не творческое созердание жизни и истины? Не есть ли это то благодатное состояніе, болъе или менъе испытанное каждымъ, въ которое какъ бы мгновенно озаряется свътомъ нашъ умъ, раскрывается кругъ нашихъ обычныхъ представленій и принимаеть въ себя нічто новое, сильное и животворно дъйствующее на наше состояніе? Коснется ли наша мысль живой сущности явленій, очнется ли въ душъ

нашей какое-либо скрыто-дъйствующее начало и внезапно озарится сознаніемъ; обозначится ли вдругъ, въ живомъ образъ или звукъ, наше внутреннее настроеніе, или, можетъ-быть, послъ долгихъ исканій, мысль найдетъ свое слово, цъль свое средство; развернется ли передъ нами, въ существенныхъ очертаніяхъ, но во всей полнотъ жизни, міръ разнообразныхъ явленій: все подобное есть даръ вдохновенія, которое хотя не есть исключительная принадлежность художника, но безъ котораго невозможна истинная поэзія. Творческое воспроизведеніе дъйствительности въ сознаніи — вотъ вдохновеніе художника, вотъ цъль и задача его.

Вопросъ о пользъ былъ нъкогда неизбъжнымъ предисловіемъ ко всякому дълу. Потомъ, когда заговорили о самостоятельности каждаго дъла, проистекающаго изъ существенной потребности человъческой природы, подобные предварительные трактаты о пользъ подверглись осмънню. Но вопросъ о пользъ можетъ имъть болъе глубокое значение, не заслуживающее осмъннія. Все въ міръ связано между собою, все дъйствуетъ одно на другое, и потому все можетъ быть взаимно полезно или вредно. Но съ другой стороны, дъйствовать успъшно можетъ только то, что достаточно сильно и зръло въ самомъ себъ. Каждая вещь имъетъ свое назначение и становится способною действовать лишь въ той мере, въ какой удовлетворяетъ внутреннему закону своего существованія. Въ человъческомъ міръ должны мы признать то же самое. Каждая дъятельность хочеть имъть свой корень, свою область и требуеть самостоятельнаго развитія. Она должна прежде сама развиться, и лишь потомъ можеть оказывать вліяніе на все прочее. Хотите ли вы утолить голодъ или жажду: вы возьмете зрълый плодъ, а гнилой или незрълый будетъ безполезень вамъ. Хотите ли пользы отъ науки: дайте ей полный просторъ, дайте возможность, чтобы умственныя силы могли быть переданы ей вполнъ, такъ чтобы она образовала великій и живой организмъ, чтобы каждая существенная цъль въ ней достигалась достижениемъ многихъ другихъ посредствующихъ цълей, и чтобы каждая изъ такихъ посредствую щихъ цѣлей могла стать предметомъ особыхъ стремленій и могла образовать свой міръ. Не спрашивайте, зачёмъ то и зачъмъ другое; не говорите о безполезности той или другой части: знайте, что за каждую часть отвъчаеть цълое, а цълое возможно лишь при полномъ и ръшительномъ развити каждой части.

Вы хотите, чтобы художникъ быль полезень? Дайте же ему быть художникомъ, и не смущайтесь тъмъ, что онъ съ полнымъ усердіемъ занятъ изученіями и приготовленіями, которыя имъютъ своею единственною цълью дъло искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на светь, оно непремъно окажетъ вліяніе на всъ стороны человъческаго созпанія и жизни, и окажеть тёмь сильнейшее вліяніе, чемь болье будеть соотвытствовать своей внутренней природы. Не говорите: что толку въ этихъ препрасныхъ линіяхъ, въ этихъ образахъ и звукахъ? Какая польза намъ отъ этого? Мы не будемъ отвъчать на эти вопросы ръзкими словами поэта не будеть также распространяться о важности внутренней цъли искусства, о томъ, что минуты этого вдохновеннаго созерцанія идей и жизни сами по себъ драгоцьнны; прямъе и примирительные будемъ отвычать этимъ суровымъ искателямъ пользы. Правда, скажемъ мы имъ, люди призваны въ міръ не для одного спокойнаго созерцанія; мы должны действовать и участвовать въ великихъ битвахъ жизни, каждый 'по силамъ и средствамъ своимъ; все въ человъческомъ міръ стремится и действуеть, все въ напряжении и борьбе; такъ мы не будемъ терпъть, чтобы силы, столь нужныя для дъйствія и борьбы, замыкались въ неприступной оградъ и пребывали тамъ въ блаженномъ созерцаніи, безплодно для всего окружающаго. Но точно ли остаются эти силы безплодными? Точно ли изъ этихъ возвышенныхъ сферъ не проистекаетъ обратное ідъйствіе на жизнь? Точно ли есть такія разобщенныя сферы, которыя бы не оказывали взаимнаго другь на друга вліянія и не дъйствовали на всю совокупность человъческого сознанія и жизни? Нътъ, взаимное дъйствіе вещей можетъ быть измъряемо не грубою оцънкою поверхностнаго взгляда. Дъйствіе далеко отходить отъ своей причины и принимаеть безконечно разнообразные виды и оттынки, такъ что отдаленное дъйствіе, сличенное съ своею первоначальною причиной, часто оказывается вовсе на нее не похожимъ. Самыя, если позволено будетъ такъ выразиться, спеціальныя произведенія искусства не остаются безъ дъйствія на жизнь, и дъйствіе ихъ можеть оказаться тамъ, гдъ мы вовсе не ожидали его. Не думаете ли вы, что впечатльніе прекраснаго такъ и заглохнеть въ эстетическомъ

чувствъ? Что оно ни во что еще не переходить, ни въ чемъ еще не выражается? Мы же думаемъ, что истинное образование невозможно безъ этого элемента, и исторія своими примърами подтверждаетъ наше мнѣніе. Поэзія ознаменовываетъ первое пробужденіе народа къ исторической жизни, искусство и знаніе сопутствуютъ его развитію и служатъ самымъ лучпимъ выраженіемъ силы и развитія. Народы самые практическіе отличались высокимъ и сильнымъ развитіемъ умственной и художественной дѣятельности, которая, повидимому, была совершенно чужда текущихъ вопросовъ и дневныхъ интересовъ, но которая въ самомъ-то дѣлѣ была совершенно необходима для успѣховъ жизни.

Скажите, откуда взялось въ жизни образованныхъ народовъ это изящество формъ и благородство общественныхъ отношеній? Мы такъ гордимся этими успъхами гражданственности и съ такимъ ужасомъ озираемся назадъ къ тъмъ временамъ, когда въ обществъ еще не чувствовалось присутствіе эстетического начала; мы съ такимъ пыломъ готовы на всикую экспедицію для новыхъ завоеваній подъ знаменемъ этой гражданственности, такъ нами цънимой! А между тъмъ изящество жизни впервые выработалась въ тъхъ умственныхъ сферахъ, которыя казались намъ безплодными; впервые развилось оно въ тъхъ чистыхъ созерцаніяхъ мысли, которыя могли казаться совершенно безполезными для жизни. Линіи Рафаэля не ръшали никакого практическаго вопроса изъ современнаго ему быта, но великое благо и великую пользу принесли онъ съ теченіемъ времени для жизни: онъ могущественно содъйствовали къ ея очеловъченію. Дъйствіе великихъ произведеній искусства остается не въ одной лишь ближайшей ихъ сферъ, но распространяется далеко и оказывается тамъ, гдъ объ идеалахъ художника нътъ и помина.

Представленія, образы, мысли — все эти силы, и весьма дъйствительныя силы въ человъческомъ сознаніи. Ничто не прокрадется въ нашихъ мысляхъ безъ дъйствія, хотя бы вначаль и незамътнаго. Прекрасные образы и звуки вносятъ съ собою въ сознаніе это начало прекраснаго, ихъ отличающее. Оно не останется только при нихъ, а мало-по-малу пріобрътетъ свое отдъльное значеніе, станетъ особою силою, которая войдетъ въ безчисленныя сочетанія и окажется въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ нравственнаго міра. Но значеніе искус-

ства простирается далье, чымь признакъ прекраснаго, понимаемый въ обыкновенномъ своемъ смысль. Художественная мысль познающая открываетъ намъ внутренній взоръ на явленія жизни и черезъ то расширяетъ наше сознаніе, сферу нашего умственнаго господства: словомъ, могущественно способствуетъ тому, изъ-за чего мы бъемся въ жизни. Требуйте отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явленій и приводила къ общему сознанію все то, что творится и дълается во мракъ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама-собою, польза великая, ибо чего же лучше, если жизнь пріобрътаетъ свътъ, а сознаніе силу и господство?

Каждый въ міръ стоитъ за своимъ дѣломъ, и каждый притомъ служитъ орудісмъ одного великаго общаго дѣла. Честный труженникъ, приводящій въ движенія тысячи колесъ и пружинъ въ видахъ вещественнаго благосостоянія, необходимаго для нравственнаго процвѣтанія общества, не имѣетъ, можетъбыть, въ кругу своихъ обычныхъ понятій никакого прямого отношенія къ искусству и поэзіи; скорѣе можетъ показаться онъ живымъ отрицаніемъ всякой поэзіи. Но что бы онъ ни думалъ про себя, и какъ бы даже ни жаловался на безплодность отвлеченныхъ мыслей, все, что есть въ его дѣлѣ поистинѣ благороднаго, живого, способнаго къ развитію и ведущаго къ успѣхамъ, это — правственное начало въ его дѣятельности, иногда самому ему неясное, но согрѣвающее его трудъ, — все это связано въ дѣйствительности со многими чисто умственными движеніями, хотя бы и чуждыми его личному сознанію.

Не заставляйте художника браться за "метлу", какъ выразился Пушкинъ въ стихотвореніи "Чернь". Повърьте, тутъ-то и мало будетъ пользы отъ него. Пусть, напротивъ, онъ дълаетъ свое дъло; оставьте ему его "вдохновеніе", его "сладкіе звуки", его "молитвы". Если только вдохновеніе его будетъ истинно, онъ, не заботьтесь, будетъ полезенъ!

Довъримся вдохновенію истины и будемъ требовать отъ художника, какъ и отъ мыслителя, чтобы они только свято служили ей. Нечего заботиться о томъ, чтобы художникъ былъ кръпокъ своей эпохъ. Болъе чъмъ кто-нибудь, онъ созданъ духомъ своего народа и духомъ своего времени, и на немъ неизгладимо означенъ ихъ образъ. Вдохновенная мысль, воспитанная стремленіемъ къ истинъ, первая усматриваетъ при-

знаки времени. Въ ея произведеніяхъ сами собою отражаются господствующія начала и направленія эпохи. То, что происходить глухо въ умахъ, обрътаетъ себъ выражение въ поэтическомъ сознаніи и возводится въ ясное для всёхъ представленіе. Творческая мысль дійствительно владіветь могущественнымъ орудіемъ, и ея слово находить върный путь къ сердцамъ; но оно только тогда бываетъ плодотворно, когда является ея свободнымъ и чистымъ выраженіемъ. Она оставляеть по себъ богатый запась запечатльнныхь ею выраженій, которыя становятся общимъ достояніемъ. Ими пользуется всякій, и слава Богу! Но творческая мысль пусть идеть и открываетъ новые пути, и дълаетъ новын завоевания. Остережемся, чтобы вмъсто поэта не навязать себъ на шею или фразера, или доктринера. Фразеръ — это родъ, никуда не годный, и о немъ говорить не стоитъ; доктринеръ — дъятель почтенный, но гораздо бы лучше ему дъйствовать прямъе, не прибъгая къ формамъ художественнаго творчества! Поэма, повъсть, драма, написанная съ дидактическою или ораторскою цълью, часто только вредять вызвавшей ихъ мысли. Уму бываеть въ нихъ душно, и вмъсто живого дъла часто производять они только томительную апатію. Лишь одинь родь поэзіи сближается съ искусствомъ оратора: это лирика, которую нельзя принимать за твердую форму собственно художественной дъятельности. Лирика можеть быть во всемъ, даже въ безмолвномъ поступкъ, и наоборотъ, въ размъренномъ складълетучаго стиха можетъ, болъе или менъе удачно, выразиться всякое душевное движение.

Источникъ разногласія въ сужденіяхъ весьма часто заключается лишь въ сбивчивости словъ. Формула: "искусство для искусства", можетъ въ самомъ дѣлѣ заключать въ себѣ смыслъ весьма неблагопріятный, и отъ такого смысла должны мы освободить эстетическій законъ, дающій внутреннюю цѣль явленіямъ искусства. Все непріятно-поражающее умъ въ этомъ знаменитомъ выраженіи: "искусство для искусства", заключается въ представленіи, будто художникъ долженъ имѣть своею цѣлью только изящество исполненія, и тутъ мы съ полнымъ правомъ восклицаемъ: нѣтъ! искусство должно имѣть какуюлибо существенную цѣль; пусть оно лучше оставитъ тщеславное притязаніе находить въ самомъ себѣ цѣль ідля своихъ явленій и будетъ лишь простымъ и честнымъ орудіемъ для

другихъ назначеній, на которыя вызываеть его жизнь съ своими битвами и стремленіями. Но діло въ томъ, что искусство именно тогда-то и будеть лишено всякой внутренней цъли. когда художественная дъятельность будеть заключаться только въ искусствъ исполненія; тогда-то оно и превратится въ простое средство для достиженія постороннихъ и дъйствительно суетныхъ цълей. Мы видимъ такое искусство во множествъ литературныхъ явленій, которыхъ все назначеніе состоитъ лишь въ томъ, чтобы болъе или менъе пріятно занимать праздный досугь читателя. Такое испусство видимъ мы тоже въ явленіяхъ временъ упадка, когда изсякають источники всякой умственной производительности, и когда всв стремленія имъютъ цълью только щекотать чувства, поражать эффектомъ и угождать прихотямъ вкуса. Подобныя явленія столь же мало соотвътствуютъ внутренней цъли искусства, какъ и тъ, въ которыхъ мысль прибъгаетъ къ формамъ художественной дъятельности для разныхъ практическихъ цълей. Хотя явленія этого послъдняго рода гораздо предпочтительнъе первыхъ въ нравственномъ отношеніи, но ни тамъ, ни тутъ не достигается та великая цъль, въ которой состоить его сущность и заключается его необходимость для человъческого развитія. Эта цъль есть сознаніе; художественное творчество есть дъятельность мысли, приводящей къ сознанію то, что безъ ея посредства оставалось бы для него чуждымъ и нёмымъ; дёятельность мысли, которая вносить жизнь въ человъческое сознаніе и сознаніе въ самые потаенные изгибы жизни.

Итакъ, нътъ сомнънія, что отъ искусства въ чистомъ и существенномъ значеніи его проистекаетъ великая польза, и мы можемъ спокойно ограничиваться ею, не навязывая художнику никакихъ практическихъ побужденій для дъятельности. Какое различіе между практическимъ направленіемъ мысли и направленіемъ теоретическимъ, которое должно господствовать въ художественной дъятельности? Практически направленная мысль имъетъ своею цълью непосредственно побуждать людей къ поступку. Но чтобъ произвести такое дъйствіе, мы по необходимости должны имъть въ виду не одну только истину дъла, то также и всъ тъ различныя обстоятельства, отъ которыхъ можетъ зависъть ръшеніе воли, и особенность ея настроенія въ данное время. Большею частью мы бываемъ принуждены обращать все вниманіе лишь на одну сторону предмета, часто

должны бываемъ вовсе оставлять предметь, и всю силу слова устремлять на обстоятельства, совершенно ему постороннія; интересъ истины исчезаетъ; все разсчитывается только на практическое впечативніе. Мы не отрицаемъ необходимости и такого рода дъятельности, мы съ радостью привътствуемъ ее тамъ, гдъ она встръчается въ достойномъ видъ; пусть даже пользуется она для своихъ цълей художественными формами, но мы не хотимъ, чтобы она вытъсняла искусство въ его собственномъ значени и ставила себя на его мъсто. Искусство, какъ наука, и дъйствуетъ прежде всего раскрытіемъ предмета въ его истинъ и потомъ уже представляеть самой истинъ дъйствовать на убъждение и волю. Впрочемъ, ограждая самостоятельность искусства, мы, съ другой стороны, желали бы содъйствовать къ уничтоженію той исключительности, въ какой иногда понимають художественность и поэзію. Не только не должны онъ быть связываемы съ какимъ либо особымъ способомъ выраженія, напримірь, съ формами стиха, но и вообще съ извістными родами произведеній. Художественность и поэзія могуть сопровождать творческую мысль повсюду, какого бы предмета она ни касалась. Чтобы не ходить далеко за примъромъ, приведемъ "Записки оренбургскаго ружейнаго охотника" С. Т. Аксакова или еще ближе, "Семейную хронику". Это не поэма и не драма: но сколько тутъ поэзіи и какая чистая художественность въ изображеніяхъ!

Давая искусству независимое значеніе, мы не освобождаемъ художника отъ обязанности заботиться о содержаніи своихъ произведеній. Мы согласны, что печать высокой художественности отличаеть и такія произведенія, которыя предметомъ своимъ имѣютъ самыя ничтожныя явленія жизни; но, какъ бы ни было ничтожно явленіе, мысль должна стоять высоко, чтобы понимать его сущность, и можетъ-быть тѣмъ выше должна стоять она, чѣмъ ничтожнѣе постигаемое ею явленіе. Всякое ничтожество можетъ быть художественно воспроизводимо только такою мыслію, которая не останавливается на поверхности вещей и способна видѣть каждое явленіе въ его сущности, при свѣтѣ идеи, въ глубокой, обширной и сложной связи, дающей ему интересъ для разумѣнія.

Катковг.

"Поэту" Пушкина.

Это стихотвореніе, имъющее форму сонета, находится въ связи съ выше разобранными стихотвореніями, имъющими предметомъ поэта и его отношеніе къ обществу. Здъсь нашло выраженіе твердо охраняемое самимъ Пушкинымъ чувство независимости отъ неразумныхъ притязаній лицъ, вкривь и вкось судящихъ о дъятельности поэта. Пушкинъ рано пришелъ къ убъжденію въ законности этого чувства. Еще въ 1821 г. онъ писаль къ Гнёдичу:

Для музъ и дружбы живъ поэтъ. Его враги ему презрѣнны: Онъ музу битвой площадной Не унижаетъ передъ народомъ...

Все стихотвореніе "Поэту" имъетъ форму обращенія къ юному поэту, который предстоить автору, взволнованный полученными похвалами (строфа 1). Опытный поэтъ, обращая къ нему ръчь свою, предостерегаетъ его отъ увлеченія этими похвалами. Онъ спъшитъ начертать ему самостоятельный путь въ его дъятельности.

Пушкинъ воспользовался здёсь для сравненія поэтическимъ образомъ любимаго своего героя Петра Великаго, который, зная предназначение своей страны, "смъло съялъ просвъщенье самодержавною рукой". Путь поэта – долженъ быть подобенъ пути царя, передъ которымъ все разступается ("Дорогою свободной иди"...), которому нътъ равныхъ ("живи одинъ"), котораго всв дъйствія безкорыстны, и надъ которымъ нътъ судін (строфа 3). Та доля негодованія, которымъ. одушевленно начало этого монолога, разръщается подъ вліяніемъ величаваго образа такого царственнаго поэта, въ послъдней строфъ, въ спокойное, снисходительное отношение и къ самой тодив. Тодиа, характеризуемая въ 1-й строфв эпитетомъ "холодная", сопровождающая своимъ смёхомъ судъ глупца о поэтъ, получила въ послъдней строфъ мягкое олицетвореніе въ образъ ръзвыхъ дътей, случайно забъжавшихъ въ храмъ во время совершенія жрецомъ жертвоприношенія. Олицетвореніе толны въ образѣ дѣтей сообщаетъ рѣчи поэта характеръ болъе спокойный. Ихъ поступки не могутъ раздражать жреца, всецьло предавшагося своему священнодыйствию.

И въ ръзвости дътей нътъ злобнаго умысла: это неразумная шалость; плюя на алтарь и колебля треножникъ, они желаютъ только позабавиться трескомъ огня и колебаніемъ пламени. Жрецъ не замъчаетъ ихъ.

Мысль о независимости поэта и о малой цене суда, произносимаго надъ нимъ толпою, неоднократно высказывалась Пушкинымъ и въ критическихъ замъткахъ его. Таково слъдующее мъсто изъ статьи о Баратынскомъ (1830): "Наши поэты не могуть жаловаться на излишнюю строгость критиковъ и публики; напротивъ: едва замътимъ въ молодомъ писатель навыкъ къ стихосложению, знание языка и средствъ онаго, уже тотчасъ спъшимъ привътсвовать его титуломъ генія за гладкіе стишки и нѣжно благодаримъ его въ журналахъ отъ имени человъчества. Истинный талант довъряет болье собственному сужденію, основанному на любви къ искусству... Изъ нашихъ поэтовъ Баратынскій всъхъ менъе пользуется обычной благосклонностью журналовъ — оттого ли, что върность ума, чувства, точность выраженія, вкусь, ясность и стройность менње дъйствують на толпу, нежели преувеличенность модной поэзіи... Какъ бы то ни было, критика изъявляла въ отношеніи къ нему или недобросовъстное равнодушіе, или даже непріятное расположеніе... Первыя юношескія произведенія Баратынскаго были нівкогда приняты съ восторгомъ; послъднія, болье зрълыя, болье близкія къ совершенству, въ публикъ имъли малый успъхъ. Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть самое сіе совершенство, самую зрълость его произведеній. Понятія, чувства 18-лътняго поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимають его и съ восхищениемъ въ его произведеніяхъ узнають собственныя чувства и мысли... Но льта идуть-юный поэть мужаеть, таланть его растеть, понятія становятся выше, чувства изміняются—пісни его уже не тъ, а читатели всъ тъ же, и развъ только сдълались холодные сердиеми и равнодушные кы поэзій жизни. Поэти отдъляется от них и мало-по-малу уединяется совершенно. Онъ творецъ для самого себя, и если изръдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встръчаеть холодное невниманіе и находить отголосокь своимь звукамь только въ сердцахъ нъкоторыхъ поклонниковъ поэзіи, какъ онъ, уединенныхъ въ свътъ. Вторая причина есть отсутствие критики и общаго

мнънія... Будучи предметомъ неблагосклонности, Баратынскій никогда за себя не вступался... Сія безпечность о судьбъ своихъ произведеній, сіе неизмънное равнодушіє къ усиъху и похваламъ, не только въ отношеніи къ журналистамъ, но и въ отношеніи къ публикть, очень замъчательны. Никогда не старался онъ малодушно угождать господствующему вкусу и требовать мгновенной молвы, никогда не прибъгалъ къ шарлатанству, преувеличенію для произведенія большаго эффекта... Никогда не тащился онъ по пятамъ свой въкъ увлекающаго генія, подбирая имъ оброненные колосья: онъ шелт своею дорогою одинт и независимъ.

Позже (1833), оповъщая въ "Литерат. Прибавленіяхъ" къ "Русскому Инвалиду" о выходъ въ свътъ стихотвореній Катенина, Пушкинъ выразилъ тотъ же взглядъ на отзывы публики: "Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикой сочиненіямъ г. Катенина, то во всъхъ отношеніяхъ она дълаетъ ему честь: во-первыхъ, она доказываетъ отвращеніе поэта отъ мелочныхъ способовъ добывать успъхи, а во-вторыхъ, и его самостоятельность. Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикъ; напротивъ: шелз всегда своимз путемз, творя для себя, что и какз ему было угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль поэзіи, какъ скоро становилась она модной"... Поливановз.

"Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" Пушкина.

Этотъ "Разговоръ", помъченный 26 сентября, былъ напечатанъ при 1-мъ изданіи І гл. "Евг. Онъгина" (1825) вмъсто вступленія.

Стихотвореніе это, по замъчанію г. Стоюнина (1880 г.) показываеть, какимъ жизненнымъ вопросомъ для Пушкина была поэзія, что онъ смотрълъ на нее, какъ на задачи своей жизни. "Онъ выходитъ изъ той мысли, которую такъ настойчиво постоянно поддерживалъ передъ друзьями и на которую еще такъ недавно указывалъ своему бывшему начальству, — будто онъ пишетъ стихи для денегъ. Друзья, конечно, не хотъли ему върить, считая это за одну изъ его оригинальностей и странностей, которыми онъ любилъ отличать себя.

Вдохновеніе и матеріальные расчеты и выгоды никакъ не могли соединиться въ ихъ понятіи... У Пушкина легко соединилось это, лишь только онъ посмотрълъ на поэзію, какъ на свободный трудъ, который можетъ сдёлаться трудомъ всей жизни. Пушкинъ только отдёлиль процессъ творчества отъ готовой работы, которая уже получаеть матеріальную цвиность. По его взгляду, поэзія есть чистое творчество... самый процессъ творчества не въ волъ поэта; онъ происходить въ душв его какъ бы безсознательно для него самого по извъстнымъ психическимъ законамъ. Живой, вдохновенной ръчью представляетъ Пушкинъ этотъ творческій процессъ "въ часы ночного вдохновенья" (стр. 32-41). Это дъйствительно "пиръ воображенья". И можетъ при такомъ высокомъ настроеніи творчества духа быть не только річь, но даже какая-нибудь темная мысль о плать, о торговль (стр. 47-52)? Итакъ творчество есть потребность поэтической души, и, слъдовательно, цълью его не можетъ быть матеріальная выгода или расчеть; ближайшее слъдствіе его есть высшее духовное наслажденіе и желаніе продлить его, а не денежная оцънка; отъ нея оно вполнъ свободно. Далъе поэтъ освобождаетъ его и оть другихъ цілей, которыя могли бы повредить его свободъ. Обыкновенно говорили, что поэзія не безкорыстна, что поэту нужна слава, и что ни одинъ поэтъ не взялся бы за перо, если бы не надъядся имъть читателей... Извъдавъ славу, Пушкинъ находитъ, что не стоитъ дорожить ею, отрекается отъ нея и ставитъ выше ея блаженство души въ свободномъ творчествъ (64-71). Затъмъ поэзію часто соединяли поэты съ любовью, съ возлюбленной женщиной, которую возводили въ идеалъ, которой поклонялись и подчиняли свое творчество. Пушкинъ не хотвлъ и за любовью признать власти надъ поэтическимъ творчествомь. Оглядываясь назадъ на своихъ "идодовъ", нашъ поэтъ сдъдалъ самое печальное о нихъ заключеніе (109—124). Рядомъ съ этими представленіями онъ ставить и идеальный образъ, который онъ нашель только въ одномъ женскомъ существъ, но

Земныхъ восторговъ изліянья, Какъ божеству, не нужно ей (стр. 174—175).

Такимъ образомъ отказавшись отъ всёхъ постороннихъ целей, поэтъ избираетъ себе одну свободу (стр. 182). Сделавъ

такой выборъ, онъ тотчасъ же дълаетъ неожиданный, но и неизбъжный, поворотъ къ тому вопросу, съ котораго начатъ "Разговоръ" — о платъ за поэтическій трудъ (стр. 184 — 186). Можно отречься отъ славы: она — "яркая заплата на ветхомъ рубищъ пъвца"; но это ветхое рубище уже гласитъ о тъхъ житейскихъ нуждахъ, которыя, требуя удовлетворенія, ставятъ въ зависимость и свободу творчества отъ постороннихъ силъ... а независимость опирается на свободный трудъ, который имъетъ право оцънивать себя и требовать оплаты. Изъ всего этого слъдуетъ, что для свободы творчества нужно, чтобы оно считалось трудомъ жизни и, слъдовательно, имъло бы одинакія права со всякимъ трудомъ. Черезъ это не пострадаетъ достойнство творчества. Нашъ поэтъ ръшаетъ вопросъ очень просто (стр. 199 — 200). Рукопись, какъ плодъ труда, дълается уже товаромъ".

Поливановъ.

"Пророкъ" Пушкина.

Это стихотворение принадлежить къ числу тъхъ созданий поэта, которыя были оценены по достойнству сразу и безповоротно и единодушно признаны геніальными вещами, исполненными неотразимой красоты. По словамъ Погодина, впервые слышавшаго "Пророка" въ Москвъ изъ устъ самого поэта, "Пророкъ" произвелъ на всъхъ, присутствовавшихъ при чтеній, наибольшее дъйствіе послъ "Бориса Годунова". Бълинскій, восхищаясь "Пророкомъ", причисляль его къ "величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія — Протея". А. Григорьевъ видёлъ въ "Пророкъ" "одно изъ высочайшихъ созданій Пушкина". Къ такимъ же выводамъ приходить и новъйшая критика. Поливановъ говорить о "Пророкъ" восторженнымъ тономъ, а проф. Сумцовъ называетъ его "солнцемъ художественной красоты и силы", "красивъйшимъ" и "глубокомысленнымъ" созданіемъ. Одинъ Спасовичъ пытался развънчать славу "Пророка" и подмътить въ немъ слабыя стороны, но изъ этой попытки ничего не вышло, и "Пророкъ пользуется такою широкою извъстностью, какая выпала на долю весьма немногимъ произведеніямъ Пушкина. Нътъ, кажется, ни одной хрестоматіи, въ которой не было бы "Пророка". Нъть на Руси ни одной школы, въ которой бы онъ

не читался и не перечитывался. Оно и понятно. "Пророкъ", несмотря на его изумительное изящество формы и не для всъхъ доступную глубину мысли, принадлежитъ къ числу тъхъ стихотвореній поэта, прелесть и паеосъ которыхъ, до извъстной степени, могутъ быть поняты и ребенкомъ и простолюдиномъ. Смъло можно сказать, что, съ теченіемъ времени, извъстность "Пророка" будеть возрастать все болье и болье. Мы нимало не сомнъваемся, что "Пророкомъ будутъ вдохновляться многіе даровитые поэты, подобно тому, какъ имъ вдохновлялся Баратынскій, когда писаль одну изъ лучшихъ строфъ своего стихотворенія "На смерть Гёте" 1). Мы не сомнъваемся также и въ томъ, что содержание "Пророка" будетъ когда-нибудь воспроизведено въ картинахъ и статуяхъ талантливыхъ живописцевъ и скульптуровъ, что его грандіозное величіе найдеть своихъ истолкователей и въ выдающихся русскихъ композиторахъ, ибо оно можетъ дать богатый матеріаль и для програмно-симфонической и для вокальной музыки.

"Пророкъ" Пушкина — поэтическое повътствованіе о величайшемъ событіи изъ жизни одного изъ тъхъ религіозныхъ реформаторовъ, которые надагали свой отпечатокъ на цълые въка, на цълые народы и на цълыя цивилизаціи.

О томъ, что пережилъ, передумалъ и выстрадалъ пророкъ прежде, чъмъ ему явился ангелъ, поэтъ не упоминаетъ. Обо

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ. Ручья разумёлъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье. Была ему звёздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Эти звучные, красивые и умные стихи составляють развитие того мъста "Пророка", въ которомъ онъ разсказываеть, что последовало вследь за темъ-какъ ангелъ коснулся его ушей.

И вняль я неба содраганье, И горній ангеловъ полеть, И гадъ морскихъ подводный ходъ И дольней лозы прозябанье.

Стихи Баратынскаго хороши; но какъ блёдны, многословны, холодны и риторичны кажутся они въ сравнени съ "Пророкомъ".

¹⁾ Воть эта страфа:

всемъ этомъ можно только догадываться изъ первыхъ двухъ стиховъ, знакомящихъ насъ съ нравственнымъ обликомъ того человъка, который послъ перерожденія сдълался безстрашнымъ, неотразимымъ и непоколебимымъ провозвъстникомъ воли Божіей.

Духовною жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился, —

говорить о себъ пророкъ, и въ этихъ немногихъ словахъ раскрывается передъ ними вся его предшествующая жизнь. Онъ не принадлежаль къ числу людей, которые полагаютъ счастье въ житейскихъ благахъ, ходятъ по протореннымъ дорогамъ и не оставляють по себъ никакого слъда въ исторіи. Былъ ли пророкъ счастливъ въ семейной жизни? Былъ ли онъ богатъ и знатенъ, и пользовался ли онъ вліяніемъ среди своихъ соотечественниковъ? Поэтъ объ этомъ, такъ же, какъ и объ его возрастъ, не упоминаетъ, но онъ намъ ясно даетъ понять, что у пророка была одна изъ тъхъ возвышенныхъ, избранныхъ и исключительныхъ натуръ, которыя чувствуютъ въ себъ необъятныя силы и инстинктивно стремятся къ ве ликимъ цълямъ. Пророка томила "духовная жажда" и онъ не могъ удовлетворить ее, живя вмъстъ съ толпой и предаваясь своимъ обычнымъ занятіямъ. И вотъ, онъ удаляется въ пустыню, чтобы на единъ съ Богомъ и съ собой, путемъ самоуглубленія, молитвы и аскетическихъ подвиговъ, найти разгадку мучившихъ его вопросовъ, приблизиться къ тому идеалу нравственнаго совершенства, къ которому онъ, въроятно, уже давно стремился, и, наконецъ, обръсти давно желанный покой для своей истерзанной души. Поэть не даеть никакихъ разъясненій относительно духовной жажды, томившей пророка. Но ихъ и не нужно, ибо ея характеръ обнаруживается изъ всего стихотворенія. Пророка томила не только жажда правды, его томило не только желаніе постигнуть нравственный смысль жизни и религіозной истины, но и стремленіе удовлетворить запросамъ своего пытливаго ума, — тъмъ запросамъ, надъ ръшеніемъ которыхъ трудились мыслители и философы всёхъ временъ и народовъ. "Въ духовной жаждъ" пророка совмъщалась жажда правды съ жаждой высшаго знанія, иначе Серафимъ не посвящалъ бы его въ тайны неба и земли. Духовная жажда пророка вытекала, между прочимъ, и изъ

того, что онъ уже смутно чувствоваль свое пророческое признаніе, но не быль увърень въ немъ, не довъряль своимъ силамъ и приходилъ въ отчанніе при мысли о своей гръховности и о бъдности человъческой природы.

Терзаясь въ мукахъ самоиспытанія и самоосужденія, онъ не придаваль никакого значенія ни своему алканію свъта ни своему подвижничеству, и ничего не видъль въ себъ, кромъ малодушія, лукавства и страсти къ празднословію. Онъ переживаль тяжелую внутреннюю борьбу, знакомую и царевичу Сакъямуни, и Фаусту, и всъмъ людямъ такого же типа. Мрачная пустыня вполнъ подходила къ настроенію пророка въ то время, когда онъ "влачился" по ней, погруженный въ свои бозотрадныя размышленія, и вотъ, въ это-то время съ нимъ и совершается то, чего онъ уже давно желаль въ глубинъ души, но о чемъ онъ даже не дерзаль просить Бога въ минуты самой пламенной молитвы, — посвященія въ пророки.

Пророку является шестикрылый серафимъ и благодатною силой перерождаеть все его существо. "Перстами легкими, какъ сонъ" (какое великолъпное сравненіе!) онъ прикасается къ очамъ пророка и сообщаетъ его духовному зрвнію необычайную зоркость и прозорливость. Отнынъ пророкъ уже не будеть колебаться въ правдивости того, что ему подскажутъ первыя впечатлёнія при встрёчё съ тёми или другими людьми: онъ пріобрэль способность насквозь видэть людей, онъ получиль тотъ ключъ, которымъ можно отмыкать сердца своихъ ближнихъ и видъть все, что тамъ творится. Отнынъ пророкъ уже не будетъ страдать нравственною слепотой, а будетъ поражать враговъ и приверженцевъ своею дальновидностью и проницательностью. Неожиданное появление ангела и то озареніе, которое пророкъ почувствоваль въ своей душъ послъ того, какъ серафимъ прикоснулся къ его очамъ, привели пророка въ трепетъ. Страхъ, который онъ при этомъ испыталъ, поэть сравниваеть со страхомъ испуганной орлицы, давая понять этимъ сравненіемъ, что въ природъ пророка было что-то орлиное.

Ангелъ прикасается къ ушамъ пророка, и ихъ наполняетъ шумъ и звонъ, какъ это бываетъ съ людьми, у которыхъ, подъ вліяніемъ сильныхъ нравственныхъ потрясеній, приливаетъ кровь къ головъ. Вслъдъ за этимъ надъ пророкомъ совершается рядъ чудесъ: онъ познаетъ посредствомъ слуха то,

чего нельзя слышать ушами, и дълается причастникомъ высшаго, сверхчувственнаго и сверхъестественнаго знанія.

И вняль я неба содроганье, И горній ангеловь полеть, И гадь морскихь подводный ходь, И дольней лозы прозябанье.

Остановимся на этихъ стихахъ отчасти для того, чтобы уяснить себъ ихъ смыслъ, отчасти для того, чтобы подчер-

кнуть ихъ необычайную красоту и мощь.

Какимъ содроганіямъ неба внять пророкъ? Очевидно, тъмъ содроганіямъ, которыя обыкновенно не сопровождаются звуками, иначе сказать, молніямъ безъ грома или такъ называемымъ зарницамъ. Тютчевъ прекрасно выразилъ таинственное и поэтическое впечатлъніе, производимое ими на людей, чуткихъ къ явленіямъ природы.

Не остывшая отъ зною,
Ночь іюльская блистала,
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозою,
Оть зарницъ все трепетало...

Словно тяжкія рѣсницы Разверзалися порою, И сквозь бѣглыя зарницы Чъи-то грозныя зѣницы Загорались надъ землею...

Въ то время, когда передъ пророкомъ предсталъ серафимъ, въроятно, тоже

Чьи-то грозныя зѣницы Загорались надъ землею,—

наводя мысль на Бога и возвъщая славу Господню, и —

Небо, полное грозою, Оть зарниць все трепетало.

Пасмурное, покрытое тучами небо, безшумно содрогавшееся надъ головой пророка, вполнъ гармонировало съ тъмъ дикимъ и суровымъ пейзажемъ, который передъ нимъ разстилался въ то время, когда онъ влачился по мрачной пустынъ.

Все это такъ же, какъ и нъкоторые другіе намеки поэта на обстановку, среди которой происходить явленіе серафима

пророку, необходимо имъть въ виду художнику, который избереть стихотвореніе Пушкина темой для своей картины.

Раскрывъ передъ пророкомъ нъкоторыя изъ тайнъ неба и горняго міра, ангелъ посвящаеть его въ нъкоторыя изъ тайнъ природы и даетъ ему внять —

И гадъ морскихъ подводный ходъ, И дольней лозы прозябанье.

Эти два стиха опять-таки служать указаніемь на особенности той мъстности, въ которой происходить дъйствіе "Пророка". Мрачная пустыня, куда онъ удалился, не была лишена кое-какой растительности, и находилась, въроятно, неподалеку отъ моря.

Стихъ —

И гадъ морскихъ подводный ходъ

изумительно хорошъ по изобразительности языка. Пророкъ слышитъ не шумъ, производимый китами или громадными рыбами, а "ходъ" "морскихъ гадовъ" на днъ морскомъ, на страшной глубинъ, куда не достигаютъ ни звуки ни солнечный свътъ.

Стихъ —

И гадъ морскихъ подводный ходъ —

живо рисуетъ въ нашемъ воображении морскихъ чудовищъ, которыми народная поэзія и фантазія древнихъ населяли морскій бездны. Этотъ стихъ какъ бы разъясняется и развивается въ извъстной картинъ морской пучины изъ шиллеровскаго "Водолаза".

И смутно все было внизу подо мной Въ пурпуровомъ сумракъ тамъ; Все спало для слуха въ той безднъ глухой; Но видълось страшно очамъ, Какъ двигались въ ней безобразныя груды, Морской глубины несказанныя чуды; Я видълъ, какъ въ черной пучинъ кипятъ, Въ громадный свиваяся клубъ, И млатъ водяной, и уродливый скатъ, И ужасъ морей однозубъ

И ужасъ морей, однозубъ, И смертью грозиль мнѣ, зубами сверкая, Мокой ненасытный, гіэна морская. И я содрагался... вдругь слышу — ползеть Стоного грозно изъ мглы — И хочеть схватить — и разинулся роть... Я въ ужасъ прочь отъ скалы...

То, что узналь безумно-отважный юноша Шиллерь о тайнахь моря посредствомь зрвнія, пророкь чудеснымь образомь постигь слухомъ своимъ.

Избавивъ пророка отъ нравственной слъпоты и глухоты и надъливъ его высшимъ, недоступнымъ для обыкновенныхъ смертныхъ, знаніемъ, серафимъ, не нарушая своего таинственнаго молчанія, приступаетъ къ совершенію надъ пророкомъ чего-то въ родъ кроваваго крещенія:

И онъ къ устамъ моимъ приникъ, И вырвалъ гръшный мой языкъ, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змъи Въ уста замерзшія мои Вложилъ десницею кровавой.

Отнынѣ пророкъ исполнится глубокою, ничѣмъ непоколебимою вѣрой въ святость и мудрость каждаго своего слова, произносимаго въ минуты религіознаго экстаза, и его вдохновенныя рѣчи будутъ переходить изъ рода въ родъ, отражаясь въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ на судьбахъ народовъ и государствъ. Отнынѣ пророкъ уже не будетъ подозрѣвать себя въ склонности къ празднымъ и лукавымъ рѣчамъ: онъ будетъ смотрѣть на свое увлекательное краснорѣчіе, какъ на чудо, устраняющее необходимость другихъ чудесъ.

Но пророку недостаточно обладать прозорливостью, мудростью и способностью подчинять людей своему вліянію. Ему нужно имѣть еще непоколебимое мужество и никогда неостываемый душевный жаръ. Ему нужно быть выносливымъ въ трудахъ и лишеніяхъ, безстрашнымъ въ борьбъ съ гонителями проповъдуемой имъ въры, поэтому серафимъ, опять-таки не прерывая своего молчанія, довершаетъ духовное перерожденіе пророка другимъ, мучительнымъ и страшнымъ для него актомъ кровавато крещенія,

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ И сердце трепетное вынулъ, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинуль...

Отнынъ пророкъ уже не будетъ сомнъваться въ своихъ силахъ и решеніяхъ и теряться предъ лицомъ грозной опасности. Онъ уже не будеть влачиться въ мрачной пустынь, онъ будетъ смъло смотръть въ глаза и царямъ и мудрецамъ и не почувствуетъ робости ни передъ разъяренною толной ни передъ самыми лютыми страданіями. Кровавое крещеніе убило въ немъ ветхаго человъка съ его неувъренностью въ себъ, съ его уныніемъ и слабостью, но, вмёсть съ темъ, глубоко потрясло физическій организмъ пророка. Покняутый ангеломъ, пророкъ лежалъ какъ трупъ, съ замершими устами, съ разрубленною, открытою грудью, обезсиленный и окровавленный, почти безъ признаковъ жизни. Онъ получаетъ исцъление отъ самого Бога. Прерывая тишину пустыни но оставаясь незримымъ, Богъ торжественно провозглашаетъ его пророкомъ, утверждаеть за нимъ тъ благодатные дары, которые онъ подучиль отъ ангела, и разъ навсегда опредъляетъ для пророка тоть великій подвигь, который онь быль призвань совершить, — подвигъ всемірной проповъди и сліянія своей воли съ Вожьею волей.

И Бога гласъ ко мнъ воззваль:
Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей.

Этими стихами окончательно обрисовывается величавый образъ Пушкинскаго пророка, съ его орлинымъ взглядомъ, вдохновенными рѣчами и безтрепетнымъ, пламеннымъ сердцемъ, и онъ, какъ живой, стоитъ передъ нами въ своей длинной восточной одеждъ.

Со временъ Самуила (около 1000 л. до Р. Х.) начинается тотъ рядъ пророковъ, который съ небольшими перерывами тянется въ продолженіе 700 лътъ до Малахіи. Самуилъ основалъ особыя школы для пророковъ, въ которыхъ жили подъ руководствомъ старшихъ учителей молодые люди — "сыны пророковъ". Въ этихъ школахъ искусственно развивалось и поддерживалось состояніе восторженности. У евреевъ пророчество было силой, которая глубоко и могущественно вліяла на судьбу народа и на развитіе теократіи. Пророки выходили

изъ среды народа, послушные божественному внушенію. Вообще, пророчество не было связано съ сословіемъ или званіемъ и не нуждалось въ признаніи со стороны государственной власти. Сознавая свое призвание и свой авторитетъ, пророкъ быль голосомъ и посланникомъ Божінмъ, олицетворенною совъстью народа, смълымъ обличителемъ безнравственныхъ и преступныхъ дъяній. Это былъ руководитель народа и натріоть въ самомъ благородномъ смысле этого слова. Въ минуту великихъ, ръшительныхъ событій онъ проповъдоваль раскаяніе, предостерегаль и утішаль, храниль законь, истолковываль народу древніе завъты, образуя собой оппозицію сильнымъ міра, нарушавшимъ законъ. Болте всего пророки порицали идолопоклонство и порчу нравовъ. Они возвъщали божественныя кары и въ трудныя годины укръпляли сокрушенный духъ народа. Пророки безстрашно вступали въ дворцы, порицали ложную политику, часто терпъли преслъдованія и подвергадись пыткамъ и казни. Въ царствъ израильскомъ въ правленіе Ахава они были совершенно истреблены. Въ пр. Исаіи сосредоточилось все, что выработало пророчество до него и что послъ него проявилось въ этомъ учрежденіи. Сорокъ семь льть онь дъйствоваль какъ пророкъ и народный вождь. Вліяніе его на народъ и на царя было велико. Языкъ его отличается большими достоинствами, простотой, ясностью, величіемъ; въ силъ и гармоніи произведенія его превосходять все оставленное пророками. Въ каждой чертъ у него сказывается благородство помысловь и чувства, все у него носить печать генія и неподдъльнаго вдохновенія. Содержаніе его поэзіи составляють карательныя річи, жалобы на гръхи народа, грозныя предвъщанія близкой гибели и ободряющія духъ надежды на лучшее будущее.

Въ VI главъ книги пр. Исаіи находится величественное повъствованіе о призваніи пророка: "И бысть въ лъто, въ неже умре Озіа царь, видъхъ Господа съдяща на престоль высоць и превознесеннь, и исполнь домъ славы его. И серафимы стояху окресть, его, шесть крилз единому и шесть крилъ другому и двъма убо покрываху лица своя, двъма же покрываху ноги своя и двъма летаху. И взываху другъ ко другу и глаголахъ: святъ, святъ, святъ Господь Саваооъ: исполнь вся земля славы его. И взяся наддверіе отъ гласа, имже вопіяху, и домъ наполнися дыма. И рекохъ: О окаянный азъ, яко уми-

лихся, яко человъкъ сый, и печисты устито имый посредъ людей нечистыя устить имущихъ азъ живу: и царя Господа Саваова видъхъ очима моима. И посланъ бысть ко мито единг ото серафимов, и вз ручто своей имяще углъ горяща, его же клещами взятъ отъ олтаря. И прикоснуся устиамз моимз и рече: се прикоснуся сіе устить твоимъ и очиститз. И слыша гласз Господа глаголюща: кого послю, и кто пойдетъ къ людемъ симъ, и рекохъ: се азъ есмь, посли мя. И рече: иди и рци людемъ симъ: слухомъ услышите и не уразумъете, и видяще узрите и не увидите. Одебелъ бо сердце людей сихъ, и ушима своима тяжко слышаща, и очи свои смежища, да нъкогда узрятъ очима и ушима услышатъ и сердцемъ уразумъютъ, и обратятся, и исцълю ихъ".

Цитированное мъсто Библіи получило у Пушкина такое выраженіе:

Духовной жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился, И шестикрылый серафимъ На перепуть в мн в явился: Перстами легкими, какъ сонъ, Моихъ зъницъ коснулся онъ: Отверзлись въщія зъницы, Какъ у испуганной орлицы. Моихъ ушей коснулся онъ, И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ: И вняль я неба содроганье И горній ангеловь полеть, И гадъ морскихъ подводный холъ. И дольней лозы прозябанье. И онъ къ устамъ моимъ приникъ, И вырваль грышный мой языкь, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змѣи Въ уста замершія мои Вложиль десницею кровавой. И онъ мнъ грудь разсъкъ мечомъ. И сердце трепетное вынуль, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинуль. Какъ трупъ въ пустынъ я лежалъ. И Бога гласъ ко мив воззваль: Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей.

Сравнивая "Пророка" Пушкина съ VI гл. книги пр. Исаіи, нельзя назвать "Пророка" передълкой этай главы. Пушкинъ не воспользовался всъмъ содержаніемъ VI главы, взялъ только часть его п обработалъ его по-своему.

Въ основъ "Пророка" лежитъ въчно привлекательная идея о прогрессъ человъчества по усиліямъ умственныхъ и нравсвенныхъ геніевъ. Идея эта основывается на неприложныхъ данныхъ исторіи. Время отъ времени появляются люди, которые стоятъ къ нравственному состоянію своего въка въ томъ же отношеніи, въ какомъ геніальные люди стоятъ къ его умственному состоянію. Они предвосхищаютъ нравственныя стремленія позднъйшихъ временъ, распространяютъ и укръпляютъ чувство безкорыстной добродътели, внушаютъ обязанности и побужденія, которыя большинству людей кажутся совершенно химерическими. Вліяніе такихъ нравственныхъ геніевъ, могущественное и благотворное, дъйствуетъ на современниковъ и ближайшее потомство. Когда съ теченіемъ времени энтузіазмъ ослабъваетъ, и грубый эгоизмъ начинаетъ разрастаться, тогда выходятъ новые съятели добра и жгучими глаголами очищаютъ

огрубълыя сердца.

Историческими комментаріями къ "Пророку" могутъ служить всъ великіе дъятели въ глубочайшихъ и благороднъйшихъ сферахъ духа, въ религіи, въ наукъ, въ искусствъ, въ общественной дъятельности, тъ дъятели, которыхъ томила духовная жажда, которые выдержали тяжелый процессъ нравственнаго перерожденія, выработали въ своей душъ несокрушимую любовь къ истинъ, правдъ и добру, слово которыхъ стало живымъ глаголомъ. Но нътъ, кажется, болъе величественнаго историческаго воплощенія того идеала пророка, какой вылился въ стихотвореніи Пушкина, какъ жизнь и деятельность св. апостола Павла. Савла томила духовная жажда. Блескъ славы засіяль надъ нимъ въ пустынь. Онъ быль повергнуть на землю, какъ пророкъ Пушкина, и оставался въ такомъ положеніи, пока Божій глаголь не повельль ему встать, и тогда онъ всталъ просвътленнымъ Павломъ. Онъ услышалъ въ свътъ повельніе: "Встань и иди въ городъ и сказано будетъ тебъ, что тебъ надобно дълать". Съ этого времени обнаружились великія духовныя силы у апостола народовъ, и онъ безповоротно пошелъ по указанному ему пути, обходя моря и земли и просвъщая сердца народовъ свътомъ христіанскаго

ученія. "Въра его никогда не колебалась среди жесточайшихъ испытаній, и его надежда не отуманивалась среди самыхъ горькихъ разочарованій".

Во всякомъ случав самое широкое чувство доброжелательства и любви, какъ благодати Божіей, должно служить исходнымъ пунктомъ при оцънкъ Пушкинскаго пророкъ Пушкина въ любви своей обнимаетъ весь міръ—

И въ полъ каждую былинку И въ небъ каждую звъзду,

душу свою сливаетъ съ высшими интересами человъчества, въ свои объятія заключаетъ и друзей и враговъ, ставитъ свои въщіе глаголы настражъ "убогихъ, нищихъ", и укръпляетъ въ нихъ свътлую надежду, что "святая правда на землю прилетитъ".

Вообще, въ основъ Пушкинскаго "Пророка" лежитъ чистое, здоровое и жизнерадостное настроеніе. Существованіе такого стихотворенія въ русской литературъ имъетъ важное воспитательное значеніе. Оно въ нъкоторой степени можетъ служить противовъсомъ тому мрачному и удручающему пессимистическому настроенію, которое охватываетъ не только отдъльныя личности, но полосами находитъ на цълыя теченія народной мысли и, какъ туча, наводитъ унылую тънь на колосистую ниву человъческаго труда и цивилизаціи.

Пушкинъ даетъ въ пророкъ положительный типъ, и въ этомъ отношени его пророкъ стоитъ неизмъримо выше лермонтовскаго, разочарованнаго, байроническаго. Пусть люди не велики; но великъ міръ, велико человъчество, и самъ милосердный Богъ выдвигаетъ великихъ дъятелей, надъляетъ ихъ благодатью любви, силой знанія, несокрушимой волей и даромъ могучаго, огненнаго слова.

Изложеніе и языкъ въ "Пророкъ" отличаются величественной простотой. Всъхъ словъ 132; между ними нътъ ни одного вульгарнаго. Пушкинъ чрезвычайно удачно пользуется церковно-славянскими элементами литературнаго языка для выраженія величія и торжественности преобразованія пророка. Церковно-славянскихъ словъ около 10. Они вполнъ отвъчають строю мысли и сущности предмета. Сумиост.

"Ноэтъ" Пушкина.

Хронологически и логически къ "Пророку" очень близко стихотв. "Поэтъ", напечатанное впервые въ 22 № "Московскаго Въстника" 1827 г.

Пока не требуеть поэта Къ священной жертвъ Аполлонъ, Въ заботахъ суетнаго свъта Онъ малодушно погруженъ. Молчить его святая лира, Луша вкушаеть хладный сонь, И межъ дътей ничтожныхъ міра, Быть можеть всёхь ничтожней онъ. Но лишь божественный глаголь До слуха чуткаго коснется, Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орелъ. Тоскуеть онь въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы; Къ ногамъ народнаго кумира Не клонить гордой головы; Бѣжить онь, дикій и суровый, И звуковъ смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы.

Между стихотвореніями "Поэтъ" и "Пророкъ" есть внутреннее родство. Вникая въ художественные образы этихъ стихотвореній, можно сказать, что "Поэтъ" первичнъе "Пророка"; до чуткаго слуха поэта лишь коснулся "божественный глаголъ"; здъсь еще нътъ духовнаго преобразованія, которому подвергся "Пророкъ"; но это преобразованіе близко, и потому поэтъ затосковалъ въ забавахъ міра, сталъ чуждаться молвы, и полный смятенья, дикій и суровый, т.-е. углубленный въ себя, не разобравшійся среди нахлынувшихъ впечатлъній и образовъ, онъ бъжитъ на берега пустынныхъ волнъ въ широкошумныя дубровы. Въ пустынъ его встрътить серафимъ и преобразуеть его чувства для воспріятія высшаго божественнаго вельнія глаголомъ жечь сердца людей. Поэтъ бъжить въ пустыню не только отъ вражды и неблагодарности; онъ бъжить съ положительной цълью, предвидя откровение и очищеніе. У поэта оказывается еще "гордая голова"; но у пророка уже не будетъ гордости. Сходство въ художественномъ

образъ повлекло за собою сходство въ отдъльныхъ выраженіяхъ. Такъ:

въ "Пророкъ": Глаголомъ жги сердца людей...

въ "Поэть": Но лишь божественный глаголъ

До слуха чуткаго коснется...

въ "Пророкъ": Отверзлись въщія зъницы Какъ у испуганной орлицы.

въ "Поэть": Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орель.

Итакъ, въ "Поэтъ" Пушкина мы видимъ художественный образъ, который возникъ въ его душъ въ началъ 20-хъ годовъ, постепенно созръвалъ и въ законченной формъ вылился въ 1826—1827 годахъ. Съ "Пророкомъ" Лермонтова сравниваютъ обыкновенно "Пророка" Пушкина; но это величины несравнимыя, по основнымъ идеямъ и по моментамъ ихъ, такъ сказатъ, хронологическаго пріуроченія къ образамъ. Къ "Пророку" Лермонтова ближе стоитъ "Поэтъ" Пушкина, и нельзя отрицать возможности прямого литературнаго вліянія въ данномъ случав Пушкина на Лермонтова.

Основной мотивъ стих. "Поэтъ" ("часъ божества") давно уже занималъ Пушкина; это одно изъ наиболъе продуманныхъ и прочувствованныхъ поэтическихъ признаній Пушкина. Уже въ шестой пъснъ "Руслана и Людмилы" Пушкинъ, говоря о томъ, что онъ забылъ и трудъ уединенный и звуки "лиры дорогой", прибавляетъ:

Меня покинуль *тайный геній* И помысловь и сладкихь думь.

Это состояніе духа, которое гораздо позже выразилось въ стихотвореніи Пушкина "Трудъ", которое Тургеневъ выразиль въ письмахъ къ друзьямъ и въ статъъ "Довольно", состояніе временнаго спокойствія творческаго духа, ошибочно принимаемаго за притупленіе или исчезновеніе.

Въ эпилогъ къ "Руслану и Людмилъ" (1820 г.) Пушкинъ говоритъ:

Душа, какъ прежде, каждый часъ Полна томительною думой—
Но огнь поэзіи погасъ.
Ищу напрасно впечатл'яній!
Она прошла пора стиховъ,
Пора любви, веселыхъ сновъ,

Пора сердечныхъ вдохновеній Восторговъ краткій день протекъ— И скрылась отъ меня нав'якъ Богиня тихих пъснопъній.

Эта богиня, въ другихъ стихотвореніяхъ "муза", близкая родня Аполлону, "тайному генію", "демону", какъ послъдній обрисованъ въ стих. "Демонъ" 1823 года и въ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" 1824 года.

Пушкинъ былъ человъкъ глубоко искренній. Въ "Поэтъ" отразилась его жизнь въ Михайловскомъ въ 1824—1826 гг. Самъ Пушкинъ разсказывалъ, что, бродя надъ озеромъ въ Михайловскомъ, онъ тъшился тъмъ, что пугалъ дикихъ утокъ сладкозвучными своими строфами.

Бъгство поэта "на берега пустынныхъ воднъ" можно понимать въ широкомъ смыслъ самоуглубленія. Въ "Осени" 1830 года одна строфа бросаетъ свътъ на способы уединенія. Здъсь поэтъ находитъ воодушевленіе въ тишинъ своего кабинета у горящаго камина. Тогда онъ питалъ въ своей душъ "думы долгія".

И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ, И пробуждается поэзія во мнѣ: Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ, Трепещетъ и звучитъ и ищетъ, какъ во снѣ, Излиться, наконецъ, свободнымъ проявленьемъ — И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей, Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

Въ этихъ строкахъ заключается рядъ драгоцънныхъ откровеній о тайнъ поэтическаго творчества. Такъ, важно, что душа поэта въ минуту творчества "трепещетъ и звучитъ". Слуховыя ощущенія имъли громадное значеніе въ творчествъ Пушкина. Замъчательно далъе сближеніе художественныхъ образовъ съ сновидъніями — важная и еще неразработанная тема новъйшей научной психологіи. Сумиовъ

Русланъ и Людмила.

Нельзя ни съ чъмъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первой поэмой Пушкина— "Русланъ и Людмила". Слишкомъ немногимъ геніальнымъ твореніямъ удавалось про-

изводить столько шуму, сколько произвела эта дътская и нисколько не геніальная поэма. Поборники новаго увидъли въ ней колоссальное произведеніе, и долго послъ того величали они Пушкина забавнымъ титломъ "иъвца Руслана и Людмилы". Представители другой крайности, слъпые поклонники старины, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ поэмы. Они увидъли въ ней все, чего въ ней нътъ — чуть не безбожіе, и не увидъли въ ней ничего изъ того, что именно есть въ ней, то есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мъстами, проблесковъ поэзіи.

Причиной энтузіазма, возбужденнаго "Русланомъ и Людмилой", было, конечно, и предчувствіе новаго міра творчества, который открываль Пушкинь всеми своими первыми произведеніями, но еще болве это было просто обольщеніе невиданной дотоль новинкой. Какъ бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла ничего подобнаго "Руслану и Людмилъ". Въ этой поэмъ все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характеръ вмъстъ съ серіозными картинами. Но бъщенаго негодованія, возбужденнаго сказкой Пушкина, нельзя было бы совствъ понять, еслибъ мы не знали о существованіи старовъровъ, дътей привычки. На что озлились они? На нъсколько вольныя картины въ эротическомъ духъ? — Но они давно уже знакомы были съ ними черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вицу, напримъръ, Аріосту, Парни, несмотря на то, что вольности въ "Русланъ и Людмилъ" — сама скромность, само цъломудріе въ сравненіи съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старые: къ ихъ славъ давно уже всв привыкли, и потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавнъе всего, что "Душенька" Богдановича была признаваема старовърами за произведение классическое, то-есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено никакому сомнънію. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особенно восхититься поэмой Пушкина, которая во всёхъ отношеніяхъ была неизмъримо выше "Душеньки" Богдановича. Стихъ Богдановича прозаиченъ, вядъ, водянъ, языкъ обветшалый и

сверхъ того донельзя искаженный такъ называвшимися тогда "пінтическими вольностями"; поэзін почти нисколько; картины блъдны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность "Руслана и Людмилы", какъ художественнаго произведенія. смъщно было бы доказывать неизмъримое превосходство этой поэмы передъ "Душенькой". Сверхъ того, она навъяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней, кромъ именъ, нътъ ничего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нътъ ни искорки; романтизмъ даже осмъянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ "Двънадцати спящихъ дъвъ". Короче: поэма Пушкина должна была составить торжество псевдо-классической партіи того времени. Критики-старовъры особенно оскорбились въ "Русланъ и Людмилъ" тъмъ, что показалось имъ въ этой поэмъ колоритомъ мъстности и своевременности въ отношеніи въ ея содержанію. Но именно этого-то совсёмъ и нътъ въ сказкъ Пушкина: въ ней русскаго - одни только имена, да и то не всъ. И этого руссизма нътъ такъ же и въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она — плодъ чуждаго вліянія и скорбе пародія на Аріоста, чъмъ подражание ему, потому что надълать нъмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей — значитъ исказить равно и нъмецкую, и русскую дъйствительность. О прологъ къ "Руслану и Людмилъ" дъйствительно можно сказать: "Тутъ русскій духъ, туть Русью пахнеть"; но этоть прологь явился только при второмъ изданіи поэмы, то-есть черезъ восемь лътъ послъ перваго ея изданія, стало-быть, — тогда, когда Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзіи. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается "Русланъ и Людмила", отъ стиха "Дъла давно минувшихъ дней" до стиха "Низко кланяюсь гостямъ", дъйствительно "пахнутъ Русью", но ими начинается и ими же оканчивается русскій духъ всей этой поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Какъ бы то ни было, только поэма эта — шалость сильнаго, еще незрълаго таланта, который, киня жаждой дъятельности, схватился безъ разбору за первый предметь, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы — шуточный. Поэть не принимаеть никакого участія въ созданныхъ его фантазіей лицахъ. Онъ просто чертиль арабески и потъщался

ихъ забавной странностью. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замъчалъ впослъдствіи, она холодна. Въ самомъ дълъ, въ ней много граціи, игривости, остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодъ о Финнъ проглядываетъ чувство; оно вспыхиваетъ на минуту въ возваніи Руслана къ усъянными костьми полю, но это воззваніе оканчивается нъсколько риторически. Все остальное — холодно.

Восторги, возбужденные "Русланомъ и Людмилой", равно какъ и необыкновенный успъхъ этой поэмы, несмотря на всю дътскость ея достоинствъ, гораздо естественнъе и понятиве, чвмъ яростные нападки на нее критиковъ-сатировъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная повость ослъпляеть глаза, въ "Русланъ и Людмилъ" русская поэзія дъйствительно сдълала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической. Всв восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно-поэтическими, граціозной шуткой, разсказомъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всей этой игривой затвиливостью, шадовливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывало ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, вполнъ художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ языкъ, а если и были прежде попытки въ этомъ родъ, то такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цъны съ "Руслана и Людмилы".

Эпилогъ къ "Руслану и Людмилъ" исполненъ элегической поэзіи; но, какъ и прологъ къ этой же поэмъ, онъ, если не опибаемся, былъ написанъ послъ нея; при ней же явился только по второмъ ея изданіи, въ 1828 году. *Бюлинскій*.

Природа и люди въ "Кавказскомъ пленнике".

Происшествіе въ разсматриваемомъ нами сочиненіи самое простое, но вмъстъ самое поэтическое. Одинъ русскій взятъ въ плънъ черкесами. Сдълавшись рабомъ ихъ, закованный въ жельзо, онъ осужденъ смотръть за стадами. Состраданіе

рождаеть любовь къ нему въ молодой черкешенкъ. Она своимъ нъжнымъ участіемъ силится облегчить тяжелое бремя его рабства. Пленникъ, преследуемый первою несчастною любовью, которую узналь онъ еще въ своемъ отечествъ, равнодушно принимаеть даски сострадательной своей утъщительницы. Все его вниманіе устремлено на любопытный образъ жизни дикихъ своихъ властителей. (Здъсь оканчивается первая часть повъсти). Подруга плънника, увлекаемая своею страстью и мучимая его холодною задумчивостью, силится пробудить въ немъ любовь всеми ласками чистосердечной своей привязанности. Тронутый ея положеніемъ, онъ открываетъ свою тайну, что сердце его отдано другой. Взаимная горесть ихъ разлучаетъ на нъсколько времени. Между тъмъ внезапная тревога уводитъ въ одинъ день всёхъ черкесовъ изъ селенія къ хищническому ихъ набъгу. Оставленный плънникъ видитъ передъ собою нъжную свою черкешенку. Она побъждаетъ свою пламенную любовь, распиливаеть оковы плънника и открываетъ ему путь въ отечество. Русскій, переплывъ Кубань, обращается съ берега, чтобы еще разъ взглянуть на великодушную свою избавительницу, но исчезающий кругъ плеснувшихся водъ сказываетъ ему, что ея уже нътъ на свътъ. Симъ оканчивается повъсть. Изъ этого содержания видно, что происшествіе въ "Кавказскомъ пленнике" можно бы сдёлать и разнообразные и даже полные. По обыкновенному понятію о подробныхъ происшествіяхъ, надобно сказать, что ходъ страсти, которая бываетъ изобрътательна и неутомима, слишкомъ здёсь коротокъ. Еще более остается неполнымъ разсказъ о пленнике. Его участь несколько загадочна.

Мъстныя описанія въ "Кавказскомъ плънникъ" ръшительно можно назвать совершенствомъ поэзіи. Повъствованіе можетъ лучше обдумать стихотворецъ и съ меньшими дарованіями противъ Пушкина; но его описанія Кавказскаго края навсегда останутся первыми, единственными. На нихъ остался удивительный отпечатокъ видимой истины, понятной, такъ сказать, осязаемости мъстъ, людей, ихъ жизни и ихъ занятій, чъмъ мы не слишкомъ богаты въ нашей поэзіи. Мы часто видимъ усилія людей, которые описывають, не въ состояніи будучи сами дать себъ отчета въ мъстности, потому что они знакомы съ нею по одному воображенію. Описанія въ "Кавказскомъ плънникъ" превосходны не только по совершенству

стиховъ, но потому особенно, что подобныхъ имъ недьзя составить; не видавъ собственными глазами картинъ природы. Сверхъ того, сколько смълости въ начертаніи оныхъ, сколько искусства въ отдълкъ! Краски и тъни, т.-е. слова и разстановка ихъ, перемъняются, смотря по различію предметовъ. Стихотворецъ то отваженъ, то гибокъ, подобно разнообразной природъ этого дикаго азіатскаго края. Чтобы читателямъ понятнъе сдълались наши наблюденія, мы приводимъ здъсь нъкоторыя мъстныя описанія.

Великольпныя картины! Престолы въчные сивговъ! Очамъ казались ихъ вершины Недвижной целью облаковъ. И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый, Въ вънцъ блистая ледяномъ, Эльбрусъ огромный, величавый Бълъль на небъ голубомъ. Предтеча бури, громъ гремѣлъ, Какъ часто пленникъ предъ ауломъ Недвижимъ на горъ сидълъ! У ногъ его дымились тучи, Въ степи взвивался прахъ летучій; Уже пріюта между скаль Елень испуганный искаль; Орлы съ утесовъ подымались И въ небесахъ перекликались; Шумъ табуновъ, мычанье стадъ Ужъ гласомъ бури заглушались... И вдругъ на домы дождь и градъ Изъ тучъ сквозь молній извергались; Волнами роя крутизны, Сдвигая камни въковые, Текли потоки дождевые — А пленникъ, съ горной вышины. Одинъ за тучей громовою, Возврата солнечнаго ждаль, Недосягаемый грозою, И бури немощному вою Съ какой-то радостью внималь.

Пусть любопытные сравнять эту грозную и вмёстё плёнительную картину, въ которой каждый стихъ блестить новою, приличною ему, краскою, съ описаніемъ окрестностей Бониваровой темницы, которое сдёлалъ Байронъ въ своемъ "Шильонскомъ узникъ"; тогда легко можно будетъ судить какъ счастливо, въ одинакихъ обстоятельствахъ, побъждаетъ нашъ поэтъ англійскаго. Байронова картина, поставленная подлъ этой, покажется легкимъ, слабымъ очертаніемъ, кинутымъ съ самаго общаго взгляда.

Мы пропускаемъ въ "Кавказскомъ плънникъ" другое описаніе, гдъ изображено върною и быстрою кистью искусство черкесовъ, съ какимъ они производятъ опытъ отважныхъ своихъ набъговъ. Даръ поэзіи и сила воображенія могли бы еще навести стихотворца къ составленію хотя подобной картины, если бы онъ и не былъ самъ не въ тъхъ мъстахъ. Но не можемъ не привести описанія любимой между черкесами воинской хитрости, которой никакъ не поймать воображеніемъ, если бы стихотворецъ самъ не былъ въ краю, имъ описываемомъ.

Иль ухвативъ рогатый цень, Въ ръку низверженный грозою, Когда на холмахъ пеленою Лежить безлунной ночи тынь, Черкесъ на корни въковые, На вътви въшаетъ кругомъ Свои доспъхи боевые: Щить, бурку, панцырь и шеломь, Колчанъ и лукъ — и въ быстры волны За нимъ бросается потомъ, Неутомимый и безмолвный. Глухая ночь. Ръка реветь, Могучій токъ его несеть Вдоль береговъ уединенныхъ, Гль на курганахъ возвышенныхъ, Склонясь на копья, казаки Глядять на темный бъгь ръки — И мимо нихъ, во мглъ чернъя, Плыветь орудіе злодівя... О чемъ ты думаешь, казакъ? Воспоминаешь прежни битвы, На смертномъ полъ свой бивакъ, Полковъ хвалебныя молитвы, И родину?... Коварный сонъ! Простите, вольныя станицы, И домъ отцовъ, и тихій Донъ Война и красныя девицы! Къ брегамъ причалилъ тайный врагъ, Стрвла выходить изъ колчана. Взвилась — и падаеть казакъ Съ окровавленнаго кургана.

Загадочное начало описанія, подобно тайному предпріятію черкеса, манить читателя къ развязкі и поддерживаеть до конца всю занимательность, которая соединена съ любопытствомъ. Но развязка, какъ внезапная смерть казака, мгновенна. Всі эти містныя частности, схваченныя съ природы, придають поэзіи неизъяснимую и прочную красоту. Величайшіе стихотворцы, особенно древніе, преимущественно держались этого правила—и потому ихъ картины ничего не имість однообразнаго и утомительнаго. Мы могли бы привести еще множество примітровь для доказательства главнаго нашего мнітня, что "Кавказскій плітникъ" по своимъ містнымъ описаніямъ есть совершеннітишее произведеніе нашей поэзіи.

Въ "Кавказскомъ плънникъ" (какъ можно уже было видъть изъ содержанія) два только характера: черкешенки и русскаго плънника. Намъ пріятнъе сначала говорить о характеръ первой, потому что онъ обдуманнъе и совершеннъе, нежели характеръ второго. Все, что могутъ только представить воображенію поэта нъжная сострадательность, трогательное простодушіе и первая, невинная любовь, — все изображено въ характеръ черкешенки. Она, повидимому, такъ открыто и живо явилась поэту, что ему стоило только, глядя на нее, рисовать ен портретъ

Но кто, въ сіяніи луны, Среди глубокой тишины Идеть, украдкою ступая? Очнулся русскій. Передъ нимъ, Съ привътомъ нъжнымъ и нъмымъ. Стоить черкешенка младая. На дъву молча смотрить онъ, И мыслить: это лживый сонъ Усталыхъ чувствъ игра пустая... Луною чуть озарена, Съ улыбкой жалости отрадной, Колени преклонивъ, она Къ его устамъ кумысъ прохладный Подносить тихою рукой. Но онъ забыль сосудъ пълебный. Онъ ловитъ жадною душой Пріятной рѣчи звукъ волшебный И взоры дівы молодой. Онъ чуждыхъ словъ не понимаетъ... Но взоръ умильный, жаръ ланить.

Но голось нѣжный говорить: Живи — и пленникъ оживаетъ! И онъ, собраль остатокъ силъ, Вельные милому покорный, Привсталъ и чашей благотворной Томленье жажды утолиль. Потомъ на камень вновь склонился Отягощенною главой, Но все къ черкешенкъ младой Угасшій взорь его стремился. И долго, долго передъ нимъ Она задумчиво сидъла, Какъ бы участіемъ нѣмымъ Утешить пленника хотела; Уста невольно каждый часъ Съ начатой речью открывались; Она вздыхала, и не разъ Слезами очи наполнялись".

Чтобы живъе представить всю трогательную прелесть появленія черкешенки, надобно знать, что плънникъ находился въ это время въ ужасномъ положеніи: привлеченный въ селеніе на арканъ, обезображенный ужасными язвами и закованный въ цъпи, онъ жадно ждалъ своей смерти — и вмъсто нея, въ видъ богини здравія, приходитъ къ нему его избавительница.

> За днями дни пошли, какъ тень. Въ горахъ, окованный, у стада Проводить пленникъ каждый день. Пещеры влажная прохлада Его скрываеть въ льтній зной. Когда же рогь луны сребристой Блеснетъ за мрачною горой, Черкешенка, тропой тынистой, Приносить пленнику вино, Кумысъ, и ульевъ сотъ душистый, И бълосиъжное пшено; Съ нимъ тайный ужинъ раздъляеть, На немъ покоитъ нѣжный взоръ, Съ неясной рѣчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поетъ ему и пѣсни горъ, И пъсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаеть языкъ чужой.

Мы не останавливаемся на красотъ каждаго стиха порознь. Такой разборъ заставилъ бы насъ утомить читателей однообразными восклицаніями. Намъ хочется только дать ясное понятіе объ этомъ характеръ, который навсегда останется у насъ мастерскимъ произведеніемъ, и потому мы принуждены выбирать мъста, гдъ поэтъ умълъ раскрыть всю душу своей героини. Послушаемъ, какъ она силится въ уныломъ плънникъ пробудить чувство любви, которая побъдила ея сердце.

... Пленникъ милый, Развесели свой взоръ унылый, Склонись главой ко мн на грудь, Свободу, родину забудь. Скрываться рада я въ пустынъ Съ тобою, царь души моей! Люби меня; никто до нынъ Не цъловаль моихъ очей; Къ моей постель одинокой Черкесъ младой и черноскій Не крался въ тишинъ ночной; Слыву я девою жестокой Неумолимой красотой. Я знаю жребій мнь готовый: Меня отець и брать суровый Немилому продать хотять Въ чужой ауль ценою злата: Но умолю отца и брата. Не то — найду кинжаль иль ядь!... Непостижимой, чудной силой Къ тебъ я вся привлечена, Люблю тебя, невольникъ милый, Душа тобой упоена...

Можеть ли страсть говорить убъдительные? Это мъсто приводить намъ на память нъжную Моину, съ такимъ же простосердечіемъ изображающую любовь свою къ Фингалу. Но въ частной отдълкъ нътъ ничего общаго между Озеровымъ и Пушкинымъ, потому что лица, ими описываемыя, взяты изъ разныхъ климатовъ и находились въ разныхъ положеніяхъ. Надобно замътить, съ какимъ искусствомъ воспользовался Пушкинъ пламеннымъ и частію неистовымъ характеромъ дикихъ горцевъ, который долженъ виденъ быть и въ самой невинной черкешенкъ! Она, при одной мысли о невольномъ замужествъ, ръшительно произноситъ: найду кинжали иль ядъ.

Послъ столь нъжнаго изъявленія любви своей, она слышить отъ него ужасный себъ приговоръ: плънникъ уже не властенъ надъ своимъ сердцемъ. Какой быстрый и сильный долженъ послъдовать переходъ въ ея душъ отъ надежды къ отчаянію:

Раскрывъ уста, безъ слезъ страдая, Сидела дева молодая. Туманный, неподвижный взоръ Безмольный выражаль укоръ. Бледна какъ тень, она дрожала; Въ рукахъ любовника лежала Ея холодная рука, И, наконецъ, любви тоска Въ печальной ръчи излилася: "Ахъ русскій, русскій, для чего, Не зная сердца твоего, Тебъ навъкъ я предалася! Не долго на груди твоей Въ забвеньи дъва отдыхала, Немногихъ радостныхъ ночей Судьба на долю ей послала! Придутъ ли вновь когда-нибудь? Ужель навъкъ погибла радость? Ты могь бы, пленникъ, обмануть Мою неопытную младость, Хотя бъ изъ жалости одной, Молчаньемъ, ласкою притворной; Я услаждала бъ жребій твой Заботой нъжной и покорной; Я стерегла бъ минуты сна, Покой тоскующаго друга; Ты не хотъль...

Стихотворецъ ничего не опустиль, чтобы довершить изображение этого простодушнаго и нъжнаго характера. Приведенное нами мъсто можно назвать образцомъ искусства, какъ привлекать участие читателей къ дъйствующимъ въ поэмъ лицамъ.

Между тъмъ мы не находимъ такой опредъленности въ характеръ плънника. Кажется, что это недоконченное лицо. Есть мъста, которыя возбуждаютъ и къ нему живое участіе:

Когда такъ медленно, такъ нѣжно, Ты пьешь лобзанія мои, И для тебя часы любви Проходять быстро, безмятежно: Снѣдая слезы въ тишинѣ, Тогда, разс'вянный, унылый, Передъ собою, какъ во снѣ, Я вижу образъ вѣчно милый; Его зову, къ нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю, Тебѣ въ забвеньи предаюсь И тайный призракъ обнимаю, О немъ въ пустынѣ слезы лью; Повсюду онъ со мною бродить, И мрачную тоску наводитъ На душу сирую мою.

Или — гдѣ еще яснѣе сказано:

Не плачь, и я гонимъ судьбою И муки сердца испыталъ. Нъть, я не зналъ любви взаимной, Любилъ одинъ, страдалъ одинъ, И гасну я, какъ пламень дымный, Забытый средь пустыхъ долинъ. Умру вдали бреговъ желанныхъ, Мнъ будетъ гробомъ эта степь; Здъсь, на костяхъ моихъ изгнанныхъ Заржавитъ тягостная цъпь...

Прочитавъ эти стихи, каждый составилъ бы ясное понятіе о характеръ человъка, преданнаго нъжной любви къ милому предмету, отвергшему его роковую страсть. Въ этомъ одномъ видъ плънникъ составлялъ бы самое занимательное лицо въ поэмъ. Но въ другихъ мъстахъ къ изображенію плънника примъшаны постороннія и затемняющія его характеръ черты. Напримъръ, сочинитель говоритъ, что плънникъ лишился отечества.

... гдѣ пламенную младость Онъ гордо началь, безъ заботь, Гдѣ первую позналь онъ радость, Гдѣ много милаго любиль, Гдѣ обняль грозное страданье, Гдп бурной жизнью погубиль Надежду, радость и желанье, И лучшихъ дней воспоминанье Въ увядшемъ сердцѣ заключиль.

Людей и свёть изведаль онь, И зналь невърной жизни цъну, Въ сердцахъ друзсй нашедъ измѣну, Въ мечтахъ мобви безумный сонъ! Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрѣнной су̀еты, И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, — Отступникъ свѣта, другъ природы, Покинуль онъ родной предѣлъ И въ край далекій полетълъ Съ веселымъ призракомъ свободы.

По этому описанію воображеніе то представляєть человѣка, утомленнаго удовольствіями любви, то возненавидѣвшаго порочный свѣть и радостно оставляющаго родину, чтобъ сыскать лучшій край. На первую мысль сочинитель попадаеть и въ другомъ мѣстѣ:

Забудь меня; твоей любви, Твоих восторгов я не стою, Безцыныхъ дней не трать со мною, Другого юношу зови.

Безъ упоенья, безъ желаній Я вяну жертвою страстей.

Столь неясныя слова въ устахъ человъка, пламенно любимаго, рождаютъ о немъ странныя мысли. Ему бы легче и благороднъе было отказаться отъ новой любви постоянною своею привязанностью, хотя первая любовь его и отвергнута: тъмъ върнъе онъ заслужилъ бы состраданіе и уваженіе черкешенки. Между тъмъ, слова: твоих восторговт я не стою, или: безт экселаній я вяну жертвою страстей — охлаждаютъ всякое къ нему участіе. Несчастный любовникъ могъ бы сказать ей: "мое сердце чуждо новой любви"; но кто имъетъ причину признаваться, что онъ не стоит восторговт невинности, тотъ разрушаетъ всякое очарованіе не счетъ своей нравственности. Вотъ что заставляетъ сказать насъ, что характеръ русскаго въ "Кавказскомъ плънникъ" не совсъмъ обдуманъ и слъдовательно не совсъмъ удаченъ. Плетневт.

"Кавказскій плънникъ" быль принять публикой еще съ большимъ восторгомъ, чъмъ "Русланъ и Людмила", и, надо сказать, эта маленькая поэма вполнъ достойна была того пріема, которымъ ее встрътили. Въ ней Пушкинъ явился вполнъ самимъ собой и вмъстъ съ тъмъ вполнъ представителемъ своей эпохи: "Кавказскій пленникъ" наквозь проникнуть ея паоосомъ. Впрочемъ, паносъ этой поэмы — двойственный: поэтъ быль явно увлечень двумя предметами — поэтической жизнью дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ — элегическимъ идеадомъ души, разочарованной жизнью. Изображение того и другого слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русской поэзіей, — и только въ поэмъ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ "въ первый разъ": ибо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозаическихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозаическому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ недостаточно для того, чтобъ получить какое-нибудь, хотя скольконибудь приблизительно понятіе объ этой поэтической сторонъ. Мы въримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намъреніемъ выписалъ въ примъчаніяхъ къ своей поэмъ стихи Державина и Жуковскаго, и съ полной искренностью, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но темь не мене онъ оказаль имъ черезъ это слишкомъ плохую услугу: ибо послъ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повъритъ, чтобъ въ тъхъ выпискахъ шло дъло о томъ же предметъ... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрълость таланта, которая такъ часто проглядываеть въ "Кавказскомъ пленнике", несмотря на слишкомъ юношеское одушевление зрълищъ горъ и жизнью ихъ обитателей, — многія картины Кавказа въ этой поэмъ и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимаясь за "Кавказскаго пленника" съ гордымъ намереніемъ слегка перелистывать его, вы незамътно увлекаетесь имъ, неречитываете его до конца и говорите: "все это юно, незръло, и однакожъ, такъ хорошо!" Какое же дъйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великольпнороскошныя картины Кавказа при первомъ появленіи въ свъть поэмы! Съ тъхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдълался для русскихъ завътной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзіи, старой кипучей жизни и смълыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дълъ существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоцънной кровью сыновъ ея и подвигами ей героевъ. И Кавказъ — эта колыбель поэзіи Пушкина — сдълался потомъ и колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмѣстить въ свою поэму, какъ эпизодъ, кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а, слѣдовательно, и прозаически, и потому онъ тѣсно связалъ свои живыя картины Кавказа съ дѣйствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатлѣнія и наблюденія плѣнника — героя поэмы, и оттого онѣ дышатъ особенной жизнью, какъ будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мѣстѣ. Кто былъ на Кавказѣ, тотъ не могъ не удивляться върности картинъ Пушкина.

Описаніе дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ — дышатъ чертами ярко върными. Но черкешенка, связывающая собой объ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внъшнимъ образомъ върное дъйствительности. Въ изображении черкешенки особенно выказалась вся неэрълость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положеніе, въ которое поставиль поэть два главныя дица своей поэмы, черкешенку и плънника, — это положеніе, наиболье плынившее публику отзывается мелодрамой и можеть быть по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Но — такова сила истиннаго таланта! при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узель поэмы, при всей его безцвътности въ отношении къ дъйствительности — въ ръчахъ черкешенки и плънника столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничёмъ нельзя оградиться отъ ихъ обязательнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознаніи въ то же время, что на всемъ этомъ лежить печать какой-то дъткости. Съ особенной силой дъйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія пленника черкешенкой, и эти CTUXNETS STORT FOR STORES OF STORES OF STORES

> Пилу дрожащей взять рукой. Къ его ногамъ она склонилась: Визжить желью подъ пилой,

Слеза невольная скатилась — И цъпь распалась и гремить.

Чувство свободы борется въ этой сценъ съ грустью по судьбъ черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, плънникъ не могъ не предложить своей освободительницъ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказылъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавицъ, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышитъ свободнъе по мъръ того, какъ плъннику въ туманъ начинають сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходять оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этотъ плънникъ? — Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго паноса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успъхомъ не меньше, если не больше, чъмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плънникъ — это "герой того времени". Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицъ и неопредъленность и противоръчивость съ самимъ собой, которыя дълали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плънника и возбудиль собой такой восторгь въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видёль въ немъ более или менее свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнъйшей дъятельности, это кипъніе крови при душевномъ холодь, это чувство пресыщенія, последовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смънившее собой голодъ и жажду, эта жажда дъятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездъйствіи и апатической лъни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это — черты "героевъ нашего времени" со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до него, а при немъ ихъ было уже много. Они не случайное, но необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцвътовъ не поэзія Пушкина или чья бы то ни было, но общество. Это оттого,

что общество живеть и развивается какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выражениемъ младенчества русскаго общества. И потому это была поэзія до наивности невинная: она гремъла одами на иллюминаціи, писала нъжные стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дъйствительностью ея была мечта, а потому ея действительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцълуи пастушковъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менъе невинными возгласами "пою" или "о ты, священна добродътель!" и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно невиненъ, что искаль эффектовь на кладбищахь и пересказываль съ восторгомъ старыя бабы сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, въдьмахъ, колдуньяхъ, о девъ, за ропоть на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки. Въ трагедіи тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный минуэтъ, дълая изъ Лонского какого-то крикуна въ римской тогъ. Въ комедіи она преслъдовала именно тв пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было; и не дотрогивалась именно до тъхъ, которыми оно было полно, — такъ что комедіи Фонвизина являются въ этомъ отношеніи какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатиръ тогдашняя поэзія нападала на пороки древне греческаго и римскаго, или старо французскаго общества, чъмъ русскаго. Невинность была всесовершеннъйшая, а оттого, разумъется, эта поэзія была и нравственной въ высшей степени. Общество пило, ъло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-нынъшнему умъли веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самые задорные нынъшніе танцоры - просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступають тамъ, гдъ бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобы полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ — это привилегія младенчества. Младенецъ играеть жизнью — плещется въ ея свътлой волнъ и безотчетно любуется брызгами, которые производять его ръзвыя движенія; онъ всёмъ восхищается, все находить лучшимъ, нежели

оно есть на самомъ дълъ, — и если ему скоро надовдаетъ одна игрушка, то такъ же скоро плъняеть его другая. Не таковъ уже возрасть отрочества — переходь отъ дътства къ юношеству. Правда, и туть человъкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тъ игрушки; мъняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находилъ осуществленія своего неопредъленнаго желанія, въ которомъ самъ себъ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки — для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваеть полнымъ пламенемъ, и страсти вступають въ борьбу съ сомнъніемъ. Туть много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало-пробужденія. а юность - полное пробуждение сознания, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его — для будущихъ поколвній, какъ богатое и выстраданное наследіе отъ предковъ потомкамъ...

"Кавказскій пленникъ" Пушкина засталь общество въ період'я его отрочества и почти на переход'я изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинь быль самь этимъ илънникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведении идеалъ, мучившій поэта, какъ его собственный недугъ, - для поэта значитъ навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ следующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ "Кавказскомъ пленнике": следя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментъ развитія, и видите, что онъ движется, идеть впередъ, дълается сознательные, а потому и интереснъе для васъ. Тъмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэтъ, и отличался отъ толны своихъ подражателей, что, не измёняя сущности своего направленія, всегда кръпко держась дъйствительности, которой быль органомъ, всегда говорилъ новое, между тъмъ какъ его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допъваютъ свои старыя и всемъ надобвшія пъсни. Въ этомъ отношении "Кавказский плънникъ" есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извъстное время, и подъ этимъ условіемъ она всегда будеть казаться прекрасной. Если бы въ наше

время даровитый поэть написаль поэму вь духв и тонв "Кавказскаго плвнника", — она была бы безусловно ничтожньйшимь произведеніемь, хотя бы вь художественномь отношеніи и далеко превосходила Пушкинскаго "Кавказскаго плвнника", который въ сравненіи съ ней все бы остался такъ же хорошь, какъ и безъ нея.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на "Кавказскаго плънника", принадлежитъ самому же Пушкину. Въ стать вего "Путешествіе въ Арзерумъ" находятся следующія сдова, написанныя имъ черезъ семь лъть послъ изданія "Кавказскаго плънника": "Здъсь нашель я измаранный списокъ "Кавказскаго плънника" и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено върно". Не знаемъ, къ какому времени относится следующее суждение Пушкина о "Кавказскомъ пленникъ", но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смёло умёль Пушкинь смотрёть на свои произведенія: "Кавказскій плінникъ" — первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладиль; онъ быль принять лучше всего, что я написаль, благодаря некоторымь элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато Н. и А. Р., и я — мы вдоволь надъ нимъ посмънлись". Слова: "характеръ, съ которымъ я насилу сладилъ", особенно замъчательны: они показывають, что поэть силился изобразить вив себя (объектировать) настоящее состояніе своего духа, и по тому самому. не могъ вполнъ этого сдълать.

Въ художественномъ отношении "Кавказский плънникъ" принадлежитъ къ числу тъхъ произведений Пушкина, въ которыхъ онъ являлся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіи. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи, но еще нътъ художества. Содержаніе всегда бываетъ соотвътственно формъ, и наоборотъ; недостатки одного тъсно связаны съ недостатками другой, и наоборотъ. Въ отдълкъ стиховъ "Кавказскаго плънника" замътно еще, хотя и меньше, чъмъ въ "Русланъ и Людмилъ", вліяніе старой школы. Встръчаются неточныя выраженія, какъ, напримъръ, въ стихъ: "Удары шашекъ ихъ жестокихъ", или "Гдъ обиялъ грозное страданье"; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нъсколько тяжеловато, какъ и въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ"; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ

почти совсёмъ нётъ; поэзія выраженія почти вездё необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзіи Пушкина вообще съ предшествовавшей ему поэзіей, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ "Кавказскомъ плённикъ" самое прозаическое понятіе, какъ черкешенка учила плённика языку ем родины:

Съ неясной рвчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поеть ему и пъсни горъ, И пъсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаеть языть чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительной вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другого представляютъ эти прекрасные стихи:

Людей и свътъ извъдалъ онъ, Узналъ невърной жизни цъну, Въ сердцахъ друзей нашедъ измъну, Въ мечтахъ любви — безумный сонъ! Наскуча жертвой быть привычной Давно презрънной суеты И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступникъ свъта, другъ природы, Покинулъ онъ родной предълъ И въ край далекій полетълъ Съ веселымъ призракомъ свободы.

Въ этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но резко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ лиць одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе, — и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкъ, тяжело пало на душу человъка, и онъ въ явной враждь съ окружающей его дъйствительностью, въ борьбъ съ самимъ собой; недовольный ничъмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: "быть жертвой простодушной клеветы"? Въдь клевета не всегда бываетъ дъйствіемъ злобы: чаще всего она бываетъ плодомъ невиннаго желанія разсъяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда плодомъ доброжелательства и участія

столь же искренняго, сколько и неловкаго. И все это поэтъ умълъ выразить однимъ смълымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты! *Бълинскій*.

"Кавказскій пленникъ", какъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самого поэта.

Свою скорбь и тоску, никогда не доходившія до полнаго бъгства отъ людей, ненависти, пессимизма и безнадежности, Пушкинъ передаль не только въ лирикъ, но и въ болъе или менъе объективномъ изображеніи, — въ рядъ поэмъ. Въ нихъ нашъ поэтъ вопроизводилъ романтическую меланхолю съ каждымъ разомъ все отчетливъе, художественнъе и ближе къ дъйствительности.

Герои разочарованія, изображенные въ поэмахъ Пушкина, — лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётевскаго Вертера, Шатобріанова Рене и другихъ романическихъ личностей Запада. Въ большей степени они — носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ.

Таковъ прежде всего Кавказскій плінникъ, герой первой изъ Пушкинскихъ поэмъ разочарованія и скорби. Въ нашей поэзіи это первый крупный представитель бізгства, на западный дадъ, изъ цивилизованнаго общества, но вмісті и въ значительной степени самостоятельный образъ. Въ немъ можно узнать, по признанію самого поэта,

Противоръчіе страстей, Мечты знакомыя, знакомыя страданья И тайный гласъ души

поэта, который

... погибаль безвинный, безотрадный,
И шопоть клеветы внималь со всёхъ сторонь...
... рано скорбь узналь, постигнуть быль гоненьемь,
... жертва клеветы и мстительныхъ невёждь;
Но, сердце укрышвь свободой и терпвньемь,
... ждаль безпечно лучшихъ дней,
И счасте его друзей
... было сладкимъ утъшеньемъ.

Можно бы подыскать ко многимъ, важнъйшимъ по выраженію основной мысли, стихамъ "Кавказскаго пленника" соотвътственныя мъста въ предшествовавшей лирикъ Пушкина, между проч. — уже лицейскаго періода¹), и изъ этого ясно, насколько скорбь, характеризующая пленника, была выношена въ душъ его поэта. Послъ того вившнія сходства съ произведеніями иностранныхъ литературъ, какія можно открыть въ нъкоторыхъ подробностяхъ повъствованія и обрисовки героя поэмы, не имъютъ первостепеннаго значенія для уясненія его генезиса. Внутренній генезись дань уже только что изложенною исторією кризиса въ душь Пушкина, начиная съ послъдняго года пребыванія его въ Лицев. "Кавказскій плънникъ" — лишь образное выражение и закръпление, сведение воедино извъстныхъ уже намъ и ранъе душевныхъ переживаній самого поэта: его беззаботной и радостной молодости, затьмъ бурной жизни, гоненій, страданій и увяданія сердца, измученнаго страстями, охлажденія души и сохраненія ею, послъ всъхъ этихъ крушеній, еще стремленія къ свободъ вдали

... пламенную младость
Онь гордо началь безь заботь,
... первую позналь онь радость,
... много милаго любиль,
... обняль грозное страданье,
... бурной жизнью погубиль
Надежду, радость и желанье,
И лучшихь дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердцѣ заключиль,

съ данными о душевной жизни Пушкина, заключающимися въ его лирикъ 1816—1820 гг., и вы найдете въ послъдней то же: и раннія ожиданія счастія отъ жизни, и безнадежную любовь, и презръніе къ свътской суетъ, и охлажденіе будто бы сердца, ослабленіе интереса даже къ поэзіи (плънникъ также "охолодълъ къ мечтамъ и лиръ), и сохраненіе будто лишь любы къ свободъ и въ то же время тоску по оставленной вдали любимой личности. Поэтъ еще въ 1822 г. писалъ въ заключеніи "Бахчисарайскаго фонтана" (II, 337):

Я помню столь же милый взглядь И красоту еще земную; Всё думы сердца къ ней летять: Объ ней въ изнании тоскую... и пр.

¹⁾ Сопоставьте характеристику жизни плънника до прибытія его на Кавказъ (II, 279) (Цит. по изд. Морозова):

отъ суетнаго свъта, на лонъ природы и простой жизни. Многое изъ этого отличало и Байроновыхъ героевъ, но Пушкинъ, какъ мы видъли, пережилъ все это самъ, и его плънникъ носитъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самаго поэта. И вмъстъ съ тъмъ плънникъ — уже носитель міровой скорби, какъ она сложилась со времени Руссо, правда — еще слишкомъ юный и незрълый, какъ и самъ поэтъ въ то время. Уже

Людей и свъть извъдаль онъ И зналь невърной жизни цъну... Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрънной суеты... Отступникъ свъта, другъ природы,

онъ делъялъ еще "призракъ священной свободы":

Свобода! онъ одну тебя
Еще искаль въ подлунномъ мірѣ...
Съ волненьемь пъсни онъ внималь
Одушевленныя тобою;
И съ върой, пламенной мольбою
Твой гордый идоль обнималъ.

Какъ Пушкинъ, думавшій было, что

Беллона, музы и Венера— Воть, кажется, святая въра Лней напихъ всякаго цъвца,

желаль поступить въ военную службу, такъ и его плънникъ отправился на Кавказъ въ надеждъ достигнуть тамъ истинной свободы, избъжавъ

> Давно презрѣнной суеты И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы¹).

Очутившись въ плъну у горцевъ, "отступникъ свъта, другъ природы"

¹⁾ Гусары, по словамъ поэта (I, 175)

^{...} живуть въ своихъ шатрахъ, Вдали забавъ и нътъ, и грацій, Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій Въ тибурскихъ сумрачныхъ льсахъ; Не знаютъ сента принужденья, Не въдаютъ, что скука страхъ...

Любиль ихъ жизни простоту, Гостепріимство, жажду брани, Движеній вольныхъ быстроту... все тоть же видь Непобъдимый, непреклонный 1).

Во всемъ этомъ настроеніи было много юношеской неопытности, и эксцентричное исканіе истинной свободы не увънчалось усиъхомъ. Самый герой не облеченъ чарами особой привлекательности и вообще, по справедливому замъчанію самого поэта, это — "первый неудачный опыть характера, съ которымъ Пушкинъ насилу сладилъ". Поэтъ "въ немъ хотълъ изобразить то равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которая сдълалась отличительными чертами молодежи XIX въка", представить "молодого человъка, потерявшаго чувствительность сердца въ несчастіяхъ". Плънникъ высказываетъ "бездъйствіе, равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дъвы", но нельзя не признать, что міровой скорбникъ очерченъ въ немъ еще блъдно и неполно.

Причудливую форму, подобно какъ въ Шиллеровыхъ "Разбойникахъ", получило исканіе свободы также и въ "Братьяхъразбойникахъ" Пушкина. Поэтъ заканчиваетъ эту поэму словами:

... въ ихъ сердцъ дремлеть совъсть: Она проснется въ черный день.

Оказывается неудовлетвореннымъ своею жизнью, чуя высшія начала, и герой "Бахчисарайскаго фонтана" (1822 г.), "грозный ханъ" Гирей, "повелитель горделивый", къ "строгому челу" котораго присматривались со вниманіемъ всё подчиненные:

¹⁾ II, 280. Что до любви къ природѣ, то она у плѣнника отличается уже характеромъ, напоминающимъ Лермонтовскую: такъ (II, 284).

^{...} плѣнникъ съ горной вышины Одинъ, за тучей громовою Возврата солнечнаго ждалъ, Недосягаемый грозою, И бури немощному вою Съ какой-то радостью внималъ.

Благоговъя всъ читали Примъты гнъва и печали На сумрачномъ его челъ.

Это "гордая душа" "скучаеть бранной славой"; "полонь грусти умъ Гирея"; послъдній не заглядывать и въ роскошную "завътную обитель еще недавно милыхъ женъ". Гирей презръль чудныя красы "звъзды любви, красы гарема", грузинки Заремы,

И ночи хладные часы Проводить, мрачный, одинокій, Съ тъхъ поръ, какъ польская княжна Въ его гаремъ заключена.

Причина тоски Гирея — особая любовь къ плѣнной княжнѣ Маріи. Онъ чтитъ плѣнницу не какъ другихъ невольницъ, потому что смутно чувствуетъ въ ней то же, что привлекало къ ея образу и самого поэта, — "души неясный идеалъ"1), ангельскую, "чистую душу":

Съ какой бы радостью Марія Оставила печальный свъть! Мгновенья жизни дорогія Давно прошли, давно ихъ нъть! Что дълать ей съ пустынь міра? Ужъ ей пора, Марію ждуть, И въ небеса, на лоно мира Родной улыбкою зовуть.

Этотъ то "нѣжный образъ" и раскрылъ "мрачному, кровожадному" хану обаяніе глубокой внутренней жизни, которой онъ дотолѣ не подозрѣвалъ, и заронилъ въ него зерно новой жизни. Оно не проросло въ немъ, и поэтъ не совсѣмъ удачно передалъ, какъ

...въ сердцъ хана чувствъ иныхъ Таится пламень безотрадный²),

Невольно предавался умъ, Неизъяснимому волненью, И по дворцу летучей тѣнью Мелькала дѣва предо мной...

2) Следующее затемъ описаніе:

Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю, и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, и пр.

вывывало насмѣшки (см. V, 121).

¹⁾ I, 227—227; "Фонтану Бахчисарайскаго дворпа". Ср. заключеніе "Бахчисарайскаго фонтана" (II, 336):

но все-таки "Бахчисарайскій фонтанъ" совершеннъе изображаеть неудовлетворенность обычною жизнью, чъмъ "Кавказскій плънникъ", передаеть ее болъе правдиво и естественно и въ болъе реальной обстановкъ. Самая критика "гордой и черствой души, надлежащая ея оцънка дана еще лучше образомъ Маріи, чъмъ оцънка плънника — сопоставленіемъ съ любящею его черкешенкой). Поэма о фонтанъ оправдываеть слова поэта, что

...сердце, жертва заблужденій, Среди порочныхъ упоеній Хранитъ одинъ святой залогъ, Одно божественное чувство.

Въ такомъ воззрвніи уже какъ бы проскальзывала легкая поправка къ представленію гордыхъ душъ въ ореолів особой привлекательности. Пушкинъ уже привносиль въ изображеніе героевъ разочарованія данныя русской діятельности и личнаго опыта и наблюденія и начиналь освіщать при помощи своего нравственнаго чутья лучше всіхъ своихъ западноевропейскихъ предшественниковъ въ изображеніи этого типа всів слабыя стороны послідняго, эгоизмъ (въ плінникъ, Гиреів и Алеко), любовь къ праздности и лізнь (въ Алеко), отсутствіе твердыхъ положительныхъ началь (въ Онітинів) и т. п.

Дашкевичг.

"Бахчисарайскій фонтанъ".

По мивнію Пушкина, "Бахчисарайскій фонтанъ" слабве "Кавказскаго плівника": съ этимъ нельзя вполив согласиться. Въ "Бахчисарайскомъ фонтанв" (вышедшемъ въ 1824 году) замвтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошиве, благоуханиве. Въ основъ этой поэмы лежитъ мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ силу только вполив развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ нею и, можетъ быть, оттого-то и былъ къ ней уже слишкомъ строгъ.

¹⁾ Мы расходимся въ этомъ случав съ осужденіемъ самаго поэта, находившаго, что "Бахчисарайскій фонтанъ" слабве "Плвиника" (V, 121). Рацве Пушкинъ писалъ (VII, 50): "Бахчисарайскій фонтанъ" между нами, дрянь, но эпиграфъ его "прелесть" (Ср. V, 133).

Въ дикомъ татаринъ, пресыщенномъ гаремной любовью, вдругъ вспыхиваеть болъе человъческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляетъ прелесть владыки и что можетъ плънять вкусъ азіатскаго варвара. Въ Маріи — все европейское, романтическое: это — дъва среднихъ въковъ, существо кроткое, скромное, дътски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего онъ уважаетъ святыню этой беззащитной красоты, онъ — варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія, — онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ въковъ:

Гирей несчастную щадить:
Ея унынье, слезы, стоны
Тревожать хана краткій сонь;
И для нея смягчаеть онь
Гарема строгіе законы.
Угромый сторожь ханскихь женъ
Ни днемъ ни ночью къ ней не входитъ,
Рукой заботливой не онъ
На ложе сна ее возводитъ,
Не смѣеть устремиться къ ней
Обидный взоръ его очей;
Она въ купальнъ потаенной
Одна съ невольницей своей;
Самъ хамъ боится дѣвы плѣнной
Печальный возмущать покой.
Гарема въ дальнемъ отдаленьи
Позволено ей жить одной:
И мнится, въ томъ уединеньи
Сокрылся нѣкто неземной.

Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивой Заремой. Нътъ и Заремы:

Гарема стражами нѣмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье,
Какая бъ ни была вина,
Ужасно было наказанье!...

Смертью Маріи не кончились для хана муки нераздъленной любви:

Дворецъ угрюмый опустълъ. Его Гирей опять оставилъ; Съ толной татаръ въ чужой предълъ Онъ злой набъгъ опять направилъ; Онъ снова въ буряхъ боевыхъ Несется мрачный, кровожадный; Но въ сердцъ хана чувствъ иныхъ Таится пламенъ безотрадный. Онъ часто въ съчахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, Глядитъ съ безуміемъ вокругъ, Блъднъетъ, будто полный страха, И что-то шепчетъ и порой Горючи слезы льетъ ръкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирея; встрвча съ нею была для него минутой перерожденія, и если онъ отъ новаго, невъдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдълался человъкомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталъ быть татариномъ comme il faut. Итакъ, мысль поэмы — перерожденіе (если не просвътльніе) дикой души чрезъ высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэть не справился съ нею, и характеръ его поэмы въ ея самыхъ патетическихъ мъстахъ является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что "сцена Заремы съ Маріей имъетъ драматическое достоинство", тъмъ не менъе ясно, что въ этомъ драматизмъ проглядываетъ мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступленіе страсти, въ которыя всегда впадають молодые поэты и которыя всегда восхищають молодыхъ людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы въ талантъ молодого поэта, но не болве, какъ элементы, развитія которыхъ следовало ожидать въ будущемъ.

Несмотря на то, въ поэмъ много частностей обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріи (особенно Маріи) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивность нъсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы— это описанія или, лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма; онъ и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ

нихъ нътъ этого элемента высокости, который такъ проглядываетъ въ "Кавказскомъ плънникъ", въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онъ непобъдимо очаровываютъ этой кроткой и роскошной поэзіей, которою запечатлъна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда върны мъстности. Картина гарема, дътскія шаловливыя забавы лънивой и уныло-однообразной жизни одалискъ, татарская пъсня — все это и теперь еще такъ живо, такъ свъжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи, напримъръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись твнью
Тавриды сладостной ноля;
Вдали подъ тихой лавровъ свнью
Я слышу пвнье соловья;
За хоромъ зввздъ луна восходить,
Она съ безоблачныхъ небесъ
На долы, на холмы, на люсь
Сіянье томное наводить.
Покрыты бълой пеленой;
Какъ твни легкія мелькая,
По улицамъ Вахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой
Простыхъ татаръ спышать супруги
Дълить вечерніе досуги.

Описаніе евнуха, прислушивающагося подогрительнымъ слухомъ къ малъйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиной этой фантастически-прекрасной природы, и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нъжатъ и лельютъ очарованное ухо читателя:

Но все вокругь него молчить; Одни фонтаны сладкозвучны Изъ мраморной темницы бьють, И съ милой розой неразлучны Во мракъ соловьи поютъ...

Здёсь даже неправильныя устченія не портять стиховь. И какой истинно-лирической выходкой, исполненной паеоса, замыкаются эти роскошно-сладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы Ночей роскошнаго Востока! Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нъга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдъ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины,
И вдохновеній сладкострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ "Бахчисарайскій фонтанъ", въ немъ плыняєть еще эта легкая, свътлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навъянная на поэта чудно-прозрачными, благоуханными ночами Востока и поэтической мечтой, которую возбудило въ немъ преданіе о таинственномъ фонтанъ во дворцъ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышеть глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: ѣдкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ен чертами
Журчить во мраморѣ вода
И каплеть хладными слезами,
Не умолкан никогда.
Такъ плачеть мать во дни печали
О сынѣ, падшемъ на войнѣ.
Младын дѣвы въ той странѣ
Преданье старины узнали,
И мрачный памятникъ онѣ
Фонтаномъ слезъ именовали.

Следующіе стихи (до конца) составляють превосходнейшій музыкальный финаль поэмы; словно resumé, они сосредоточивають въ себе всю силу впечатленія, которое должно оставить въ душе читателя чтеніе целой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, светлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навенная немолчнымъ журчаніемъ "Фонтана слезъ" и представляющая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучей тенью женщины... Гармонія последнихъ двадцати стиховъ уполтельна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія водны Обрадують мой жадный взоръ. Волшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: холмы, лѣса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса, И струй и тополей прохлада—Все чувство путника манить, Когда, въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ дорогою прибрежной, Привычный конь его бѣжить, И зеленѣющая влага Предъ нимъ и блещеть, и шумить Вокругь утесовъ Аю-дага...

Вообще "Бахчисарайскій фонтанъ" — роскошно-поэтическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на недостаткахъ его и на достоинствахъ. Во всякомъ случав, это прекрасный, благоухающій цвётокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всёми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замёняетъ строгую обдуманность концепціи, и роскошь щедрой рукой разбросанныхъ красокъ — строгую отчетливость выполненія.

Бълинскій.

Происхожденіе, лирико - эпическій характеръ поэмы "Бахчисарайскій Фонтанъ" и вліяніе Байрона, сказавшееся въ созданіи ея.

Происхожденіе поэмы объяснено самимъ Пушкинымъ въ письмъ къ Бестужеву (8 февраля 1824 г.): "Недостатокъ плана не моя вина. Я суевърно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины.

Aux douces loix des vers, je pliais mes accents De sa bouche aimable et naïve.

Разсказчицей, какъ извъстно, была старшая дочь генерала Н. Н. Раевскаго — Екатерина Николаевна. Поводомъ къ разсказу послужило посъщение вмъстъ съ Раевскими въ 1820 г. развалинъ Бахчисарайскаго дворца, который Пушкинъ посътилъ больной. "Я прежде слыхалъ о страшномъ памятникъ

влюбленнаго хана. Катерина Николаевна Раевская поэтически описывала мнв его, называя la fontaine des larmes (фонтанъ слезъ). Вошедъ во дворецъ, увидълъ я испорченный фонтанъ; изъ-за ржавой желъзной трубки по каплямъ падала вода. Я обошелъ дворецъ съ большой досадой на небреженіе, въ которомъ онъ истлъваетъ, и на полуевропейскія придълки нъкоторыхъ комнатъ. Раевскій почти насильно повелъ меня по ветхой лъстницъ въ развалины гарема и на ханское кладбище.

Но не тъмъ Въ то время сердце полно было:

"Лихорадка меня мучила". (Письмо къ Дельвигу въ дек. 1824.) Итакъ для Пушкина нуженъ былъ разсказъ живого лица, и притомъ "женщины необыкновенной" (какъ онъ называлъ Ек. Ник. Раевскую въ письмъ къ брату), чтобы написать эту поэму. Выло уже замъчено при разборъ лирическаго стих.: "Фонтану Бахчисарайскаго дворца (см. І т., № 52), что самъ поэтъ называетъ героинъ этой поэмы лишь "счастливыми мечтами", "души неяснымъ идеаломъ".

Такими онъ дъйствительно въ поэмъ и являются, и поэма носить всецью характерь лиро-эпического разсказа, т.-е. такого, въ которомъ изображение характеровъ заменено выраженіемъ настроеній дъйствующихъ лицъ; всъ картины расчитаны на передачу этихъ настроеній, а весь смыслъ переданнаго въ поэмъ случая сводится къ выраженію личныхъ чувствъ автора. Отсюда и всъ достоинства этой поэмы: единство элегическаго тона, выразительность и задушевность стиха; отсюда же и ея недостатки: неопределенность характеровъ, мелодраматичность въ изображеніи действій. Темъ же лиризмомъ объясняется и то, почему Пушкинъ не воспользовался глубокою идеею, лежащею въ основъ крымскаго преданія, взятаго имъ для своей поэмы. Разсказываютъ, что ханъ Керимъ-Гирей похитиль красавицу Потоцкую и содержаль ее въ Бахчисарайскомъ гаремъ. Полагають даже, что онъ быль обвънчанъ съ нею. Очевидно, преданіе выразило просвътленіе дикаря чрезъ высокое чувство любви къ христіанкъ. Пушкинъ не сдъдаль это душевное перерождение главнымъ предметомъ своей поэмы. Драматизмъ онъ увидълъ лишь въ столкновении чувствъ двухъ соперницъ и на немъ основалъ свою поэму.

Лирическій характеръ поэмы отвлекъ вниманіе автора отъ изображенныхъ лицъ, не затронувшихъ творческую фантазію поэта. Эти лица, насколько они являются намъ въ своихъ блъдныхъ очеркахъ, стали невольнымъ отзвукомъ чужого творчества, тъхъ образовъ, которые волновали сердце поэта при чтеніи Байрона.

Ханъ-Гирей, "скучающій бранной славой", "задумчивый властитель", таящій въ сердцѣ любовь, предъ которою поблекли всѣ прежнія радости его жизни, и которая обращена къ существу невинному и чистому, оставляющему эту любовь безотвѣтною, гораздо болѣе напоминаетъ Чайльдъ-Гарольда или самого Байрона, нежели крымскаго татарина. Гирей, "гордый душою", мстительный и грозный, въ то же время обаятеленъ, и его горячо любитъ Зарема, подобно Медорѣ и Гюльнарѣ въ "Корсаръ" Байрона.

Въ неопредъленномъ лицъ Гирея несомнънно отразились всъ любимыя черты героевъ Байрона: разочарованность, неудовлетворенность всъмъ окружающимъ, сила страсти, неприклонность передъ внъшними врагами, мстительность людямъ за личное несчастіе (Конрадъ), способность ненавидъть съ тою же силою, съ какою они любятъ, (Гяуръ и Конрадъ) и страдать безмольно.

Первая сцена поэмы, гдъ Пушкинъ впервые знакомить читателя съ своимъ героемъ, напоминаетъ даже по внъшней обстановкъ изображение Яфара-паши въ "Абидосской невъстъ":

Собравъ диванъ, Яфаръ съдой Сидълъ угрюмъ. Вокругъ стояли Рабы готовою толной — И стражей быть и мчаться въ бой. Но думы мрачныя летали Надъ престарълой головой, И по обычаямъ Востока Хотя поклонники пророка Скрываютъ хитро отъ очей Порывы бурные страстей — Все, кромъ спеси ихъ надменной, Но взоры пасмурны, смущенны Являли всъмъ, что втайнъ онъ Какимъ-то горемъ угнетенъ.

Онь трижды хлопаеть руками, Чубукъ въ алмазахъ съ янтаремъ Рабамъ вошедшимъ отдаетъ... ("Абид. Нев." I, 2). Козловъ.

Чужія краски замічаємь и въ изображеніи Гирея, послів горькой утраты отдавшагося себя мщенію, когда среди битвы онь, поднявь саблю, внезапно блідніветь и какъ бы полный страха остается недвижимь и что-то шепчеть. Таковь Гяурь, когда, устремившійся къ мщенію за погибшую Лейлу, полный горя и отчаянія, движется безсознательно въ какомъ-то забыть в:

Онъ сталъ на мигъ—какъ будто страхъ Явился у него въ чертахъ... Потупя взоръ свой огневой, Кому-то злобно угрожалъ, Какъ будто самъ еще не зналъ, Что дълать; что ему начать: Итти назадъ или бъжать.

Звонъ стали вѣрной, боевой Его задумчивость прервалъ

Женскія фигуры поэмы Пушкина также навъяны героинями Байрона. Героини Байрона обыкновенно повторяють два типа: однъ - сильныя, страстныя, предпріимчивыя, порою мстительныя, ревнивыя: такова, напримъръ Гюльнара (въ "Корсаръ"); другія — кроткія, любящія, гармоническія натуры, которыя не могутъ пережить несчастія, ихъ постигшаго; такова напр. Зюлейка (въ "Абидосской Невъстъ"). Изъ объихъ женскихъ фигуръ Пушкина, Зарема своей страстностью, ревнивостью и ръшительностію напоминаетъ Гюльнару, хотя поставлена Пушкинымъ въ иное положение; Марія принадлежить къ противоположному типу. Такъ какъ Пушкинъ не раскрыль въ дъйствіи характеръ Маріи, то читателю остается угадывать ее изъ внъшней судьбы, обстановки и изъ образа жизни, а во всемъ этомъ она напоминаетъ Зюлейку: и Марія и Зюлейка объ единственныя дочери отцовъ своихъ, объ нъжно любимы ими и живуть до рокового дня, не зная горя и страданій (т.-е. до того времени, когда Марія теряеть отца и свободу, а Зюзейка узнаетъ злодъйства своего отца и отказывается отъ него для Селима); объ мгновено умираютъ въ постигшемъ ихъ несчастіи, безсильныя бороться съ нимъ; смерть уносить объихъ ранъе, нежели жизнь посягнула на высокую чистоту

ихъ. Какъ ни различны положенія Маріи и Зюлейки— первой въ гаремѣ похитителя, и второй въ домѣ отца, — объ онъ проводять дни въ тихомъ уединеніи, въ религіозномъ настроеніи, каждая согласно своей върѣ. Самый пріемъ Пушкина ознакомить читателя съ личностью Маріи чрезъ описаніе ея комнаты (въ ночь свиданія съ Заремой) (ст. 230—240 и 309—314) совпадаетъ съ пріемомъ Байрона, который также знакомить съ внутренней жизнью Зюлейки чрезъ описаніе ея жилища въ ночь ея побъга отъ отца:

Лишь только въ башив одинокой Младой Зюлейки сввть блестить, Лишь у нея въ ночи глубокой Лампада поздняя горить, И тускло сввтить пламень томной Въ диванной тихой и укромной, Влестя на тканяхъ золотыхъ Ея подушекъ парчевыхъ. На нихъ изъ янтарей душистыхъ Вотъ четки дввы молодой, Которыя въ молитвахъ чистыхъ Она лилейною рукой Такъ набожно перебираетъ, И въ изумрудахъ вотъ сілетъ Со словами Курзы (И-й главы Корана) талисманъ.

И съ комболоей (четками) вотъ Коранъ Раскращенъ яркими цвътами... ("Нев. Абид." II 5).

Но если и въ этой поэмъ творчество Пушкина еще не ознаменовалось созданіемъ живыхъ лицъ, то лирическій элементъ поэмы и описанія, проникнутыя этимъ лиризмомъ, достигаютъ здѣсь новаго блеска. Сцены въ гаремѣ какъ у фонтана въ ожиданіи хана, такъ и ночью въ спальнѣ; описаніе окрестностей гарема при сіяніи звѣздъ и мѣсяца; описаніе фонтана слезъ и развалинъ дворца и кладбища въ концѣ поэмы принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ той поры творчества Пушкина, въ которую поэма писалась. Татарская же пѣсня съ новою силою показала талантъ Пушкина въ произведеніи характерныхъ иноземныхъ пѣсенъ, талантъ, уже засвидѣтельствованный въ эту эпоху и антологическими піесами, молдаванской пѣсней, а впослъдствіи породившій цѣлый рядъ произведеній, въ которыхъ характеръ самыхъ разнообразныхъ національностей усвоенъ съ неподражаемымъ искусствомъ.

Поливановъ.

Идея поэмы "Цыганы".

Поэма заключаеть въ себъ глубокую идею, которая большинствомъ была совстмъ не понята, а немногими людьми, радушно привъствовавшими поэму, была понята ложно, что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И последнее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказаль въ самомъ дълъ. Это особенно доказываеть, что непосредственно творческій элементь въ Пушкинъ быль несравненно сильнъе мыслительнаго, сознательнаго элемента, такъ что ошибки последняго, какъ бы безъ ведома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собой торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ, "Цыганы" служать неопровержимымь доказательствомь справедливести нашего мнънія. Идея "Цыганъ" вся сосредоточена въ геров этой поэмы — Алеко. А что хотвлъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ? — не трудно отвътить; всякій, даже съ перваго, поверхностнаго взгляда на поэму, увидить, что въ Алеко Пушкинъ хотвлъ показать образецъ человъка, который до того проникнуть сознаніемь человъческаго достоинства, что въ общественномъ устройствъ видитъ одно только унижение и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни, Алеко въ дикой цыганской волъ ищетъ того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Вотъ что хотёлъ Пушкинъ изобразить въ лицё своего Алеко; но успъль ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразиль онъ? Правда, поэтъ настаиваетъ на этой мысли, и, видя, что поступокъ Алеко съ Земфирой явно ей противоръчить, сваливаеть всю вину на "роковыя страсти, живущія подъ разодранными шатрами", и на "судьбы, отъ которыхъ нигдъ нътъ защиты". Но весь ходъ поэмы, ея развязка и особенно играющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неоспоримо

показывають, что, желая и думая изъ этой поэмы создать аповеозу Алеко, какъ поборника правъ человъческаго достои ства, поэтъ вмъсто этого сдълалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему-людей, изрекъ надъ ними судъ неумолимо-трагическій и вмість съ тымь горько-проническій.

Алеко погубила одна страсть, и эта страсть — эгоизмъ! Прослъдите за Алеко въ развитии цълой поэмы, и вы увидите, что мы правы. The she has been declared to the second sec

Приведя встръченнаго за холмомъ, подлъ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говорить своему отцу между прочимъ:

> Онъ хочеть быть, какъ мы, цыганомъ; Его преследуеть законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болъе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступникомъ вследствіе эгоизма ни жертвой несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхности, готовъ сразу принять его за мученика идеи. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотритъ на опуствлое поле и не смпета растолковать себъ тайной причины своей грусти. Онъ, наконецъ, воленъ, какъ Божья птичка, солнце весело блещетъ надъ его головой; о чемъ же его тоска? Поэтъ пророчитъ ему, что страсти, нъкогда такъ свиръпо игравшія имъ, только на время присмиръли въ его измученной груди и что скоро онъ снова проснутся... Опять страсти! но какія же! А воть увидимъ...

Можетъ-быть, Алеко только внёшнимъ образомъ, по чувству досады, разорваль связи съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишенія дикая воля бъднаго бродячаго племени, ибо, какъ мудро замътилъ ему старый цыганъ,

> ...Не всегда мила свобода Тому, кто къ нъгъ пріученъ.

Нътъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, вь которой

> Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо-неспокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нъгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ песнь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалъетъ ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ, — Алеко отвъчаетъ:

О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой, Не дышатъ утренней прохладой Ни вешнимъ запахомъ луговъ, Любви стыдятся, мысли инятъ, Торгуютъ волею своей, Главы предъ идолами клонятъ И просатъ денегъ да инпей.
Что бросилъ я? Измѣнъ волненье, Предразсужденій приговоръ, Толиы безумное гоненье Или блистательный позоръ,

Какой энергическій, полный мощнаго негодованія голось! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ паносомъ ръчь! Съ какой неотразимой силой увлекаетъ душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можемъ не върить, чтобъ человъкъ, обладающій такой силою жечь огнемъ усть своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда, - существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ истинъ, глубокой скорби объ унижении человъчества... Вы видите въ немъ герои убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толив откровеній... Какъ высоко стоитъ онъ надъ этой презрънной толпой, которую такъ нещадно поражаетъ громомъ своего благороднаго негодованія!... Но здёсь то и скрывается великій урокъ для оцінки истиннаго достоинства; здісь-то и можно видъть, какъ легко быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счетъ, - какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дълами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклятіе не только на какое-нибудь общество или какой-нибудь народъ, но и на цёлое человёчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ дълъ. И потому изрекать анавему также не всякій имбеть право, какъ и изрекать благословеніе; это могуть только пріявшіе свыше

власть и посвящение. Какъ поучать другихъ имъетъ право только знающій самь то, чему берется поучать, — такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто самъ уже твердой стопой привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъ - не болъе какъ звукъ пустой: оно важно только какъ выражение мысли; а мысль сама по себъ — не болъе какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь какъ идеальная сущность дъйствительности. Все, что не подходить подъ мърку практическаго примъненія, — дожно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать внимание не только на то, дъйствительно-ли истинно сказанное, но и на то, къмъ оно сказано. По этой-же причинъ въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ иногда и старыя истины получають новую форму и новую силу убъжденія, какъ будто бы онъ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженныя мысли пропадають безъ дъйствія какъ будто истертыя общія мъста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ доходить дёло и до страстей, появление которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одолъ-

ваетъ ревность.

Отвращеніе возбуждають слова Алеко въ отвъть на простодушный, трогательный и поэтическій разсказъ стараго цыгана о Маріуль:

> Да какъ же ты не поспъшилъ Тотчасъ во слъдъ неблагодарной, И хищнику и ей, коварной, Кинжала въ сердце не вонзилъ?

Итакъ, вотъ онъ — страдалецъ за униженное человъческое достоинство, — человъкъ, который презрълъ предразсудки образованной общественности и нашелъ счастье въ цыганскомъ таборъ!... Турокъ въ душъ, онъ считалъ себя впереди пълой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъличности!... И какъ великъ, какъ истинно (т. е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бъдности, не знающій въ простотъ сердца никакихъ теорій правственности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвътъ Алеко:

Къ чему? Вольнъе птицы младость, Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всъмъ дается радость: Что было, то не будетъ вновь!

Отвътъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнъ раскрываетъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря, Отъ правъ моихъ не откажусь; Или хотъ мщеньемъ наслажусь. О, нѣтъ! когда бъ надъ бездной моря Нашелъ я спящаго врага, Клянусь, и тутъ моя нога Не пощадила бы злодъя; Я въ волны моря, не блъднъя, И беззащитнаго бъ толкнулъ; Внезапный ужасъ пробужденья Свиръпымъ смѣхомъ упрекнулъ, И долго мнѣ его паденья Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владъла душой Алеко, но что всъ его мысли и чувства и дъйствія вытекали, во-первыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толпой, состоящаго въ умъ, болье блестящемъ и созерцательномъ, чъмъ глубокомъ и дъятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгоизма, который гордъ самимъ собой, какъ добродътелью.

Скажуть, что создание такого лица не дълаеть чести поэту, тъмъ болъе, что онъ явно хотъль сдълать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбой человъка. Дъйствительно, это было бы такъ, если бъ поэтъ не противопоставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можетъ быть, безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы "Цыганы" должно искать не въ одномъ лицъ, а тъмъ менъе въ лицъ Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмъ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противоръчіе съ самимъ собой было причиной его гибели, — и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія,

примиряется съ преступникомъ. Алеко не убиваетъ себя; онъ остается жить, — и это ръшеніе дъйствуетъ на душу читателя сильнъе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравненіе Алеко съ подстръленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полъ въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобъ летъть къ благословеннымъ краямъ юга, — выше всякой трагической сцены. Сидя на камнъ, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, "блъдный лицомъ", Алеко молчитъ, но его молчаніе красноръчиво: въ немъ слышится нъмое признаніе справедливости постигшей его кары, и, можетъ-быть, съ этой самой минуты въ Алеко звърь уже умеръ, а человъкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Что жъ дѣлать! такова, видно, натура этого человѣка, что она могла возвыситься до очеловѣченія только цѣной страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судѣ надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше тѣмъ строже будемъ къ самимъ себѣ, пока мы еще не пали, и заранѣе воспользуемся великимъ урокомъ. Если бъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видѣли бы въ немъ все того же звѣря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары, — и мы должны видѣть въ немъ человѣка: а человѣкъ человѣка какъ осудитъ?...

Убитая чета уже въ землв.

... Когда же ихъ закрыли Послъдней горстію земной, Онъ молча, медленно склонился И съ камня на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотъ своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдние стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозанческие! Гдъ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячій споръ съ къмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха и, наконецъ, вскричалъ: "Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!" Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можеть гордиться

всякая литература. Есть въ этомъ цыганъ что-то патріархальное. У него нътъ мыслей: онъ мыслить чувствомъ, — и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонъ ръчи его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ въренъ-онъ себъ во всемъ, — тогда ли, какъ разсказываетъ своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; или когда въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзіи пъснъ Земфиры припоминаетъ стараго друга; или когда, утвшая Алеко въ охлажденіи Земфиры, по-своему, но такъ вёрно и истинно объясняеть ему натуру и права женскаго сердца и разсказываеть трогательную повъсть о самомъ себъ, о своей любви къ Маріулъ и ея измънъ, которую онъ, въ своей цыганской простотъ, такъ человъчно, такъ гуманно нашелъ совершенно законной... Но въ сценъ похоронъ и прощанія съ Алеко онъ является, самъ того не подозръвая, въ своей цыганской дикости, въ истинно-трагическомъ величіи и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

Оставь насъ, гордый человъкъ!
Мы дики, нътъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ ни стоновъ;
Но житъ съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ;
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смълъ, — оставъ же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою!

Замътъте этотъ стихъ: "Ты для себя лишь хочешь воли",— въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идеъ. Послъ этого можно ли сомнъваться въ глубоко-нравственномъ характеръ поэмы? Нътъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невъждъ-моралистовъ, которые привыкли видъть нравственность только въ азбучныхъ сентенціяхъ...

Сколько "Цыганы" выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепцировкъ характеровъ, по развитію дъйствія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ во всъхъ этихъ отношеніяхъ

поэма не отзывалась еще чъмъ-то... не то, чтобъ незрълымъ, но чъмъ-то еще не совсъмъ дозрълымъ. Такъ, напримъръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодого цытана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нъсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдълкъ всей поэмы недостаетъ твердости и увъренности кисти, какъ въ тъхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсъмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества.

По всему сказанному мы относимъ "Цыганъ" вмъстъ съ "Полтавой" и первыми шестью главами "Евгенія Онъгина" къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась въ первый разъ во всей полнотъ ея въ "Борисъ Годуновъ", — этомъ безукоризненно высокомъ, со стороны художественной формы, произведеніи.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидін, какъ неумъстный въ поэмъ и неестественный въ устахъ цыгана. Признаемся: по нашему мнънію, трудно выдумать что-нибудь нелъпъе подобнаго упрека. Старый цыганъ разсказываеть въ поэмъ Пушкина не исторію, а преданіе, и не о поэтъ римскомъ (цыганъ ничего не смыслить ни о поэтахъ ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикъ, который быль "млада и живъ незлобною душой, имълъ дивный даръ пъсенъ и подобный шуму водъ голосъ". Сверхъ того "Цыганы" Пушкина — не романъ и не повъсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повъстью и между поэмой. Поэма рисуетъ идеальную дъйствительность и схватываеть жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и повъсть, напротивъ, изображають жизнь во всей ея прозаической действительности, независимо отъ того, стихами или прозой они пишутся. И потому "Евгеній Онъгинъ" есть романъ въ стихахъ, но не поэма; "Графъ Нулинъ" — повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ "Онъгинъ" и "Нулинъ" мы видимъ лица дъйствительныя и современныя намъ; въ "Цыганахъ" всъ лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свътомъ очей, ибо они

одного цвъта съ лицомъ: такъ же мраморны или мъдяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ эпизодъ въ родъ разсказа стараго цыгана объ Овидіи въ "Цыганахъ", какъ поэмъ, столь же возможенъ, естественъ и умъстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смъшонъ въ "Онъгинъ" или "Нулинъ", хотя бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повъсти. И что бы ни говорили о неумъстности этого эпизода непризванные критики, — ихъ толки будутъ свидътельствовать только о безвкусіи и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаютъ въ себъ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей рус-

ской литературъ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духъ того времени, когда вышли "Цыганы", извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слъдующее мъсто: "О "Цыганахъ" одна дама замътила, что во всей поэмъ одинъ только честный человъкъ, и то медвъдь. Покойный Р. негодоваль, зачёмь Алеко водить медвёдя и еще собираеть деньги съ глазъющей публики. В. повториль то же замъчание (Р. просилъ меня сдълать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примъръ благороднъе). Всего бы лучше сдълать изъ него чиновника или помъщика, а не цыгана. Въ такомъ случаъ, правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto megtio". Вотъ при какой публикъ явился и дъйствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцънкъ заслугь Пушкина. "Цыганы" были первымъ усиліемъ, первой попыткой Пушкина создать что-нибудь важное и эрълое какъ по идеъ, такъ и по исполненію. Мы показали, до какой ступени удалось ему это: "Цыганы" оставили далеко за собой все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтъ великія силы; но въ то же время въ этой поэмъ виденъ только могучій порывъ къ истинно-нравственному творчеству, но еще не полное достижение желанной цъли Бълинскій. стремленія.

Вліяніе Руссо и личныя состоянія поэта, сказавшіяся въ поэм'ь "Цыганы".

Отъ Руссо вышло все литературное движеніе мировой скорби. Пушкинъ, какъ и Руссо, сталъ на точку зрѣнія необходимости обуздыванія страстей и эгоизма. Этимъ онъ отличается болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ въ изображеніи и оцѣнкѣ героевъ разочарованія. Уразумѣть несостоятельность ихъ Пушкину много пособило его русское тонкое, нравственное чутье, но не прошло для него безслѣдно при этомъ и вліяніе Руссо. Въ "Цыганахъ" мы услышимъ и повтореніе тезисовъ первыхъ диссертацій этого писателя, и опроверженіе ихъ примѣнительно къ нравственному чутью нашего поэта и къ позднѣйшимъ поправкамъ парадоксовъ французскаго писателя.

"Задумчивый" Руссо быль извъстень Пушкину уже на двънадиатомъ году жизни поэта. Жанъ-Жакомъ, повидимому, тогда увлекалась сестра Пушкина Ольга (впослъдствіи Павлищева)¹); и это увлеченіе могло передаться и нашему поэту. Потомъ Пушкинъ отзывался о Руссо весьма строго и пренебрежительно²), но все-таки впечатльнія и увлеченія дътства не могли пройти безслъдно, и Пушкинъ въ годъ написанія "Цыганъ" ставилъ Руссо въ общемъ, кажется, выше Вольтера, потому что характерной чертой послъдняго призналъ "скептициямъ", а особенностью Руссо — "филантропію". И уже въ юные годы Пушкина образъ Руссо внушалъ ему обаяніе великаго страдальца: Пушкинъ называль его въ ряду тъхъ поэтовъ, мимо которыхъ "катится фортуны колесо".

Родился нагъ — и нагъ вступаеть въ гробъ Руссо.

Чѣмъ сердце занимаешь Вечернею порой? Жанъ-Жава ли читаешь?

Руссо (замѣчу мимоходомъ) Не могъ понять, какъ важный Гриммъ Смѣлъ чистить ногти передъ нимъ, Краснорѣчивымъ сумасбродомъ.

Но вследь за темъ Руссо названъ защитникомъ "вольности и правъ".

¹⁾ Соч. II, I, 14 ("Къ сестръ", 1814)

²⁾ III, 244 ("EBr. Onbr." I, XXIV, 1822)

Не ко всему, конечно, въ произведеніяхъ Руссо могъ относиться сочувственно Пушкинъ. Онъ не могъ, напр., раздълять воззръніе отчаившагося Руссо, что "Le pays de chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité", не могъ не усматривать искусственности и преувеличеній реторизма въ обвиненіи цивилизаціи и въ другихъ тирадахъ Руссо.

Но многое въ ученіи Руссо должно было съ юношескихъ лѣтъ привлекать пылкаго и не любившаго удержа поэта: призывъ слѣдовать голосу внутренней природы, превознесеніе добрыхъ чувствованій и страсти, возведеніе ен въ идеалъ не могли не найти отклика въ горячемъ сердиъ Пушкина¹). Не могъ пройти безслѣдно для нашего поэта и тотъ призывъ къ природъ и свободъ, который такъ отличалъ Руссо въ ряду французскихъ писателей XVIII в. и который находилъ у насъ поддержку и въ чтеніи Лафонтена, въ особенности же Грея и Томсона²). Свое влеченіе къ природъ русскій человъкъ вы-

И я въ законъ себѣ вмѣняю Страстей единый произволъ...

2) О Лафонтенъ см. въ стихотвореніи "Городокъ" (Соч., ІІ. І, 69—70), гдь, впрочемъ, онъ охарактеризованъ, какъ

... пѣвецъ любезной, Поэзіей прелестной Сердца привлекшій въ плѣнъ, ... лѣнтяй безпечный, Мудрецъ простосердечный.

Въ цит. уже "Посланіи къ сестръ" (Соч. П. І, 14) читаемъ:

Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пронеслась мечтой
Въ поля, тдѣ отъ дубравы,
Вдоль вѣетъ вѣтерокъ,
И шепчетъ лѣсъ кудрявый
И мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?

Замѣтимъ, что оба названные здѣсь поэта явились въ началѣ нашего вѣка въ русскихъ переводахъ, первый — въ стихахъ, второй — въ проъѣ. Любовь Пушкина къ природѣ ярко выразилась въ стихотвореніи: "Не дай мнѣ Богь сойти съ ума" (П, 154—155, 1833 г.):

Когда бъ оставили меня На воль, какъ бы ръзво я Пустился въ темный лъсъ! и т. д.

¹⁾ III, 382 ("Евг. Онът.", VIII, III):

разиль уже издавна въ пъсняхъ о матери-пустынъ, о раздольъ безбрежныхъ степей и т. п.

Отчетливо уразумъніе прелести и спасительности общенія съ природой возросло въ Пушкинъ съ той поры, какъ переводъ на югъ и другія обстоятельства обострили его отношеніе къ властямъ и обществу и, въ связи съ знакомствомъ съ поэзіею Шатобріана и Байрона, сдълали болье близкимъ ученіе Руссо объ извращеніяхъ цивилизаціи и о преимуществахъ, какими пользуется неиспорченный "l'homme de la nature", живущій согласно съ голосомъ своего сердца и подчиняющійся лишь вельніямъ природы.

Это ученіе Руссо и излюбленные тезисы послѣдняго замѣтно выступають въ поэмѣ Пушкина "Цыганы" (1824 г. г.), сливаясь съ тѣмъ, что дѣйствительно было пережито самимъ поэтомъ: Пушкинъ сознавался, что за цыганъ

... лівнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный оно бродиль,
Простую пищу ихъ ділилъ,
И засыпалъ предъ ихъ огнями;
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пісней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
... имя ніжное твердилъ.

Еще и позже (1830 г.) любиль онъ бывать у нихъ и называль ихъ "счастливымъ племенемъ". Въ Пушкинъ отзывалась въ данномъ случав свойственная нашему народу любовь къ приволью, увлекавшая въ предшествовавшіе въка къ блужданію въ степяхъ, къ основанію казацкихъ вольницъ на пограничьи русскихъ земель и далъе. Оттуда же увлечение нъкоторыхъ цыганскими пъснями. Эта какъ бы прирожденная народу любовь къ приволью слилась въ Пушкинъ съ теми идеями о простомъ, но счастливомъ житъв-бытъв вдали отъ городской и искусственной цивилизаціи, которыя были пущены въ обращение со второй половины XVIII въка Руссо и его послъдователями, въ особенности Бенарденомъ де Сенъ-Пьеръ и Шатобріаномъ. Герой "Цыганъ" Алеко подобно своему автору Пушкину, быль преследуемь "закономь", подобно поэту быль "изгнанникомъ перелетнымъ" и ръшился на "добровольное изгнаніе", — искать покоя среди цыганъ, плънившихъ ихъ житьемь:

Какъ вольность, весель ихъ ночлегь И мирный сонъ подъ небесами.

Въ обстановкъ ихъ жизни

Все скудно, дико, все нестройно, Но все такъ живо-непокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нъгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной. Какъ пъснь рабовъ однобразной.

Ръшившись стать цыганомъ, другомъ черноокой Земфиры,

Теперь онъ вольный житель міра... И жиль не признавая власти Судьбы коварной и слъпой.

Вслъдъ за Руссо и Алеко отзывался съ презръніемъ о жизни оставленныхъ имъ "людей отчизны, городовъ". Въ его ръчахъ слышимъ уже то противоположение безграничной свободы и красоты жизни въ природъ печальному и подневольному житью въ удалении отъ нея, среди уродствъ цивилизаціи, на которое есть намеки и у Лермонтова и которое развито обстоятельно Л. Н. Толстымъ. Какъ теперь Л. Н. Толстой, Алеко не любилъ

Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ и проч.

Слъдовало порицаніе жизни въ цивилизованномъ обществъ, въ частности въ великосвътскомъ кругу, неоднократно прорывающееся въ поэзіи Пушкина съ довольно ранняго времени и до конца!).

Значеніе "Цыганъ" въ нашей поэзіи напоминаетъ значеніе Шиллеровыхъ "Разбойниковъ". Пушкинъ также искаль выхода изъ душной и затхлой атмосферы современнаго ему общества. Признавая свътъ безнравственнымъ, "презръвшій", подобно Руссо "оковы просвъщенія", ставщій вольнымъ, какъ

¹⁾ Cp. I, 305:

Судьба людей повсюду та же: Гдъ капля блага, тамъ настражь Иль просевщенье, иль тиранъ.

цыгане, Алеко не нашель однако счастія, потому что не покончилъ со своими страстями.

> ... Боже, какъ играли страсти Его послушною душой! Съ какимъ волненіемъ кинъли Въ его измученной груди!

Алеко, разставшись съ цивилизаціей, не хотёль отказаться также отъ ея привычекъ, отъ того, что онъ считалъ своими "правами", и что было эгоизмомъ, и ему въ его гордости были непонятны нравы цыганъ, не имъющихъ заботъ и не терзающихъ и не казнящихъ смиренной вольности "дътей", у которыхъ женщина "привыкла къ ръзвой волъ" и безнаказанно пользуется ею.

И въ моментъ окончанія "Цыганъ" Пушкинъ какъ бы поръшилъ, что счастье среди сыновъ природы, о которомъ говоритъ Руссо и его последователи, невозможно уже для одержимаго страстями образованнаго человъка, привыкшаго къ "неволъ душныхъ городовъ" и настолько сжившагося съ нею, что, ища свободы для себя, онъ отказываетъ въ ней другимъ, ограничивающимъ чъмъ-нибудь его эгоизмъ.

> ... счастья нъть и между вами, Природы бъдные сыны, И подъ издранными шатрами Живуть мучительные сны... И всюду страсти роковыя, И отъ судебъ защиты нътъ.

Очевидно, такой выводъ заключалъ мъткую отповъдь проповъдникамъ бъгства въ приволье простой жизни сыновъ природы и въ значительной степени подрывалъ иллюзіи о счастіи среди этихъ сыновъ. Но все-таки Пушкинъ не отказался вполнъ отъ одной излюбленнъйшихъ и симпатичнъйшихъ грезъ и прежнихъ временъ и XVIII въка, впервые отчетливо въ новой литературъ выраженной Руссо и его продолжателями и продолжаемой другими вплоть до нашихъ дней.

И постепенно эта мысль о счастьи, о возможной близости къ природъ и въ жизни, отличной отъ жизни испорченнаго общества, созръвала все болъе и болъе въ умъ Пушкина и принимала формы, уже не столь эксцентричныя, какъ въ "Цыганахъ", а болъе согласныя съ обычными путями циви-В. Попровскій. А. С. Пушкинъ.

лизованной жизни, какъ бы въ соотвътствіе тому, что за цыганами

> Не пойдеть ужь их поэть; Онь бродящіе ночлеги И проказы старины Позабыль для сельской н'вги И домашней тишины.

Такая уже болье зрылая форма доброй мечты, мысль о томь, что лучшее и истинное счастье возможно и вы цивилизованномы обществы, но лишь вы жизни, близкой кы природы и пароду, отчетливо уже выступаеты вы произведении, первыя главы котораго были написаны одновременно сы "Цыганами", именно вы "Евгеніи Оныгины". Дашкевший.

Алеко — скиталецъ по родной землъ.

Въ типъ Алеко, геров поэмы "Цыганы", сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потомъ въ такой гармонической полнотъ въ Онтинт, гдъ почти тотъ же Алеко является уже не въ фантастическомъ свътъ, а въ осязаемо-реальномъ и понятномъ видъ. Въ Алеко Пушкинъ уже отыскалъ и геніально отмътилъ того несчастнаго скитальца въ родной землъ, того историческаго русскаго страдальца, столь необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществъ нашемъ. Отыскалъ же онъ его, конечно, не у Байрона только. Типъ этотъ върный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей русской земль, поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжають и до сихъ поръ свое скитальничество, и еще долго, кажется, не исчезнуть. И если они не ходять уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытъ своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонъ природы отъ сбивчивой и нельпой жизни нашего русскаго интеллигентнаго общества, то все равно, ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходять съ новою върою на другую ниву и работають на ней ревностно, въруя какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу

необходимо именно всемірное счастіе, чтобъ успокоиться: дешевле онъ не примирится, - конечно, пока дъло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человъкъ, только въ разное время явившійся. Человъкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началъ второго стольтія посль великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществъ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда, при Пушкинъ, какъ и теперь, въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнъ или на желъзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читають лекціи и все это регулярно, лъниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безъ всякаго поползновенія бъжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мъста, болье соотвытствующія нашему времени. Много, много что полиберальничають съ "оттънкомъ европейскаго соціализма", но которому приданъ нъкоторый благодушный русскій характеръ, — но въдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ безпокоиться, а другой уже успълъ дойти до запертой двери и объ нее кръпко стукнулся лбомъ. Всвхъ въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдуть на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всъхъ ожидаетъ это: довольно лишь "избранныхъ", довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать чрезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умъетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природъ, жалоба на свътское общество, міровыя стремленія, плачъ о потерянной гдів-то и кізмь-то правдъ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть немножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдъ и въ чемъ она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно. Фантастическій и нетерпъливый челов'як жаждеть спасенія пока лишь преимущественно отъ явленій вижшнихъ; да такъ и быть должно: "правда, дескать, гдъ-то внъ его, можетъ-быть, гдъ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ, напр., съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установившеюся общественною и гражданскою жизнью". И никогда-то 1.0166666396529*

онъ не пойметъ, что правда прежде всего внутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ въдь въ своей землъ самъ не свой, онъ уже цълымъ въкомъ отученъ отъ труда, не имъетъ культуры, росъ какъ институтка въ закрытыхъ ствнахъ, обязанности исполнять странныя и безотчетныя по мъръ принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздълено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И онъ это чувствуетъ и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно! Ну, и что же въ томъ, что принадлежа, можетъ-быть, къ родовому дворянству и даже весьма въроятно, обладая кръпостными людьми, онъ позволиль себъ, по вольности своего дворянства, маленькую фантазійку прельститься людьми, живущими "безъ закона", и на время сталъ въ цыганскомъ таборъ водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, "дикая женщина", по выраженію одного поэта, всего скоръе могла подать ему надежду на исходъ тоски его, и онъ съ легкомысленною, но странною върой бросается къ Земоиръ: "Вотъ, дескать, гдъ исходъ мой, вотъ гдъ, можетъ-быть, мое счастье, здёсь, на лонё природы, далеко отъ свёта, здёсь, у людей, у которыхъ нътъ цивилизаціи и законовъ!" И что же оказывается: при первомъ столкновеніи своемъ съ условіями этой дикой природы онъ не выдерживаеть и обагряеть свои руки кровью. Не только для міровой гармоніи, но даже и для цыганъ не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняютъ его — безъ отмщенія, безъ злобы, величаво и простодушно.

> Оставь насъ, гордый человѣкъ; Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ, Мы не терзаемъ, не казнимъ.

Все это, конечно, фантастично, но "гордый-то человъкъ" реально и мътко схваченъ. Въ первый разъ схваченъ онъ у насъ Пушкинымъ, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по немъ, и онъ злобно растерзаетъ и казнитъ за свою обиду, или, что даже удобнъе, вспомнивъ о принадлежности своей къ одному изъ четырнадцати классовъ, самъ возопіетъ, можетъ-быть (ибо случалось и это), къ закону терзающему и казнящему, и призоветъ его, только бы отомщена была личная обида его. Нътъ, эта геніальная поэма не подражаніе! Тутъ уже подсказывается русское ръшеніе вопроса,

"проклятаго вопроса", по народной въръ и правдъ: "Смирись, гордый человъкъ, и прежде всего потрудись на родной нивъ", вотъ это ръшеніе по народной правдъ и народному разуму. "Не внъ тебя правда, а въ тебъ самомъ; найди себя въ себъ, подчини себя себъ, овладъй собой, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внъ тебя и не за моремъ гдъ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудъ надъ собою. Побъдишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себъ, и начнешь великое дъло, и другихъ свободными сдълаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдъ міровая гармонія, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нсе надобно заплатить". Это ръшеніе вопроса въ поэмъ Пушкина уже Достоевскій. сильно подсказано.

"Полтава".

Отдъльныя красоты въ "Полтавъ" изумительны. Не знаешь, па чемъ остановиться, — такъ много ихъ. Почти каждое мвсто, отдъльно взятое наудачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всёхъ этихъ мёстъ, и укажемъ только на нёкоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тъмъ не менъе его изображеніе (отъ стиха: "Между полтавскихъ казаковъ" до стиха: "И взоры въ землю опускалъ") представляетъ собою необыкновенно мастерскую картину. Слъдующій затымь отрывокъ отъ стиха: "Кто при звъздахъ и при лунъ" до стиха: "Царю Петру отъ Кочубея" выше всякой похвалы: это вмъстъ и народная пъсня и художественное создание. Кочубей, ожидающій въ темницъ своей казни, его разговоръ съ Орликомъ (за исключениемъ того, что говоритъ самъ Орликъ), — все это начертано кистью столь широкою, могучею и въ то же время спокойною и увъренною, что читатель не знаетъ, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столь же полнаго грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. Луна спокойно съ высоты Надъ Бълой-Церковью сіяеть, И пышныхъ гетмановъ сады И старый замокъ озаряетъ. И тихо, тихо все кругомъ; Но въ замкъ шопотъ и смятенье. Въ одной изъ бащенъ, подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьи, Окованъ, Кочубей сидить И мрачно на небо глядить. Заутра казнь. Но безъ боязни Онъ мыслить объ ужасной казни; И жизни не жалбеть онъ. Что смерть ему? желанный сонъ. Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. Но, Боже правый! Къ ногамъ злодъя, молча, пасть Какъ безсловесное созданье, Царемъ быть отдану во власть Врагу царя на поруганье, Утратить жизнь — и съ нею честь, Друзей съ собой на плаху весть, Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья, Ложась безвиннымъ подъ топоръ, Врага веселый встрѣтить взоръ, И смерти кинуться въ объятья, Не завъщая никому Вражды къ злодъю своему!... И вспомниль онь свою Полтаву, Обычный кругь семьи, друзей, Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдв онъ родился, Гдв зналь и трудъ и мирный сонъ. И все, чъмъ въ жизни насладился, Что добровольно бросиль онъ, И для чего? —

Отвътъ Кочубея Орлику на допросъ послъдняго о зарытыхъ кладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями "Полтавы", и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Мазепавъэто время сидитъ уногъ спящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ, вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены, Тотъ стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены: Въ одну телъгу впрячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно—
Теперь плачу безумства дань...

Въ тоскъ страшныхъ угрызеній совъсти, злодъй сходить въ садъ, чтобы освъжить пылающую кровь свою, — и обаятельная роскошь лътней малороссійской ночи, въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещетъ и сверкаетъ какою-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звъзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещутъ Сребристыхъ тополей листы. Но мрачны странныя мечты Въ душъ Мазепы: звъзды ночи, Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмъшливо глядятъ. И тополя, стъснившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи шепчуть межъ собою, И лътней теплой ночи тьма Душна, какъ черная тюрьма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Какъ бы изъ замка слышить онъ. То быль ли сонъ воображенья, Иль плачь совы, иль звъря вой, Иль пытки стонь, иль звукъ иной — Но только своего волненья Преодольть не могь старикъ, И на протяжный, слабый крикъ Другимъ отвътствоваль — тъмъ крикомъ, Которымъ онъ въ весельи дикомъ Поля сраженья оглашаль, Когда съ Забълой, съ Гамальемъ И — съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорятъ, что хвалить мудренъе, чъмъ бранить! Чтобы быть достойнымъ критикомъ

такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ — и еще какимъ! И потому мы, въ сознаніи нашего безсилія, скажемъ убогою прозой, что, если эта картина мученій совъсти Мазены можетъ подозрительному уму показаться нъсколько мелодраматическою выходкой (по той причинь, что Мазепь, какъ закореньлому злодью, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и краснъть, подобно юношъ, отъ привъта красоты), - то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія, выше всякихъ похваль и утомляеть собою всякое удивленіе. Сцена между женою Кочубея и ея дочерью замъчательно хороша по роди, какую играетъ въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще не очнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаеть и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этотъ вопросъ: "Какой отецъ? какая казнь?", равно какъ и всв вопросительные и восклицательные отвъты, - исполненъ драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличаются простотою и спокойствіемъ, которыя, въ соединеніи съ ея страшною върностью дъйствительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатльніе, если бъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ее печатью изящества. Этоть палачъ, который, гуляя и веселясь на роковомъ помостъ, алчно ждетъ жертвы и то, играючи, беретъ въ бълыя руки тяжелый топоръ, то шутить съ веселою чернью, - и этотъ безпечный народъ, который, по совершении казни, идетъ домой, толкуя межъ собою про свои въчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотрадно тяжелая мысль во всемь этомь!

Но что всё эти разсвянныя богатою рукой поэта красоты — передъ красотами третьей пъсни! И не удивительно: павосъ этой третьей пъсни устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мастерскою кистью изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипъвшіе въ душть Мазепы; его притворную бользнь и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гнъвъ Петра, его сильныя и быстрыя мъры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII:

И ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кинувшій візнець, Твой близокъ день, — ты валъ Полтавы Вдали завидълъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистью широкою и смълою; она исполнена жизни и движенія: живописець могь бы писать съ нея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой картинъ, изображенное огненными красками, поражаеть читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, подымающимъ волосы на головъ, — производитъ на него такое впечатльніе, какъ будто бы онъ видить передъ глазами совершеніе какого-нибудь таинства, какъ будто нъкій богъ, въ лучахъ нестерпимой для взоровъ смертнаго славы, проходить передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то, свыше вдохновенный, Раздался звучный глась Петра: "За дъло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Онъ весь, какъ Божія гроза. Идетъ. Ему коня подводятъ. Ретивъ и смиренъ върный конь. Почуя роковой огонь, Дрожить, глазами косо водить, И мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ. Ужь близокь полдень. Жарь пылаеть Какъ пахарь, битва отдыхаеть. Кой-гдв гарцують казаки; Ровняясь, строятся полки; номчить музыка ооевая; На холмахъ пушки, присмиртвъ, Прервали свой голодный ревъ; Молчить музыка боевая; И се равнину оглашая, Далече грянуло ура:
Полки увидъли Петра.
И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ какъ бой.
Онъ поле пожираль очами. За нимъ вослъдъ неслись толпой Сіи птенцы гивада Петрова Въ премънахъ жребія земного, Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны:

И Шереметевъ благородный, И Брюсъ, и Боуръ, и Ръпнинъ, И счастья баловень безродный, Полудержавный властелинъ.

Представьте себъ великаго творческаго генія, который столько лътъ носилъ и лелъялъ въ душъ своей замыслы преобразованія цілаго народа, который столько трудился, въ поті царственнаго чела своего, — представьте его въ ту ръшительную минуту, когда онъ начинаетъ видъть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самою природой, съ самою возможностью готова увънчаться полнымъ успъхомъ, — представьте себъ его преображенное, сіяющее побъднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, — и вы будете видіть передъ собою живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случав живописи стоило бы побороться съ поэзіею, — и великій живописецъ могъ бы за честь себъ поставить перевести на полотно въ живыхъ краскахъ, живые стихи Пушкина, чтобы ръшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіею. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески свободномъ переводъ одного и того же предмета съ языка поэзіи на языкъ живописи, чтобы сравнительно показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобръть — для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра — эта главнъйшая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замічательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нътъ, это была битва за существование цълаго народа за будущность цълаго государства, это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что въроятно, они самому Петру, въ горькія минуты неудачь и разочарованія, казались несбыточными, какъ и почти всёмъ его подданнымъ. И потому на лицъ послъдняго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главная часть ея; въ отдаленіи поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, но безъ которой картина его не имъла бы полноты:

И передъ синими рядами Своихъ воинственныхъ дружинъ, Несомый върными слугами, Въ качалкъ, блъденъ, недвижимъ, Страдая раной, Карлъ явился. Вожди героя шли за нимъ. Онъ въ думу тихо погрузился. Смущенный взоръ изобразилъ Необычайное волненье: Казалось, Карла приводилъ Желанный бой въ недоумънье... Вдругъ слабымъ маніемъ руки На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эпизодъ о волнении дряхлаго и уже безсильнаго Палъя, завидъвшаго врага своего, Мазепу

Картина битвы заключается еще картиною, съ которою тоже за честь бы могъ поставить себъ побороться великій живописець:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его. И царскій пиръ его прекрасенъ: При кликахъ войска своего, Въ щатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно-прекрасныхъ подробностяхъ еще цълой части поэмы, паеосъ которой составляетъ любовь Маріи къ Мазепъ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмъ, и ея, конечно, стало бы на особую отдъльную поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазепы и Маріи Пушкинъ воспользовался только идеею любви старика къ молодой дъвушкъ и молодой дъвушкъ и только идеею любви старику. Въ подробностяхъ и даже въ изображении дочери Кочубея онъ отступалъ отъ исторіи. Поэтому весь этотъ фактъ онъ опредълялъ по своему идеалу, — и дочь Кочубея является у него совершенно пдеализированною. Онъ перемънилъ даже ея имя — Матроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, — онъ, боясь соблазна и толковъ, переслалъ ее въ родительскій домъ,

гдъ мать Матроны катовала (палачила, истязала, съкла) ее. Но это, какъ естественно, только еще больше раздражало энергію страсти бъдной дъвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстныя письма, но въ отношеніи къ ней не принялъ никакого твердаго ръшенія: то умолялъ о свиданіяхъ, то совътовалъ итти възмонастырь:

Какъ бы то ни было, но основаніе, сущность отношеній Мазепы и Маріи въ поэмъ Пушкина — историческія и еще болье истинныя — поэтически, и Пушкинъ умълъ ими воспользоваться, какъ истинно великій поэтъ, хотя онъ ихъ и идеализироваль по-своему.

Не только первый пухъ ланитъ, Да русы кудри молодыя, — Порой и старца строгій видъ, Рубцы чела, власы съдые Въ воображенье красоты Влагаютъ страстныя мечты.

Подобное явленіе ръдко, но тъмъ не менье дъйствительно. Возможность его заключается въ законахъ человъческого духа, и потому по ръдкости его можно находить удивительнымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видить въ мужчинъ своего защитника и покровителя: отдаваясь ему — сознательно или безсознательно, но во всякомъ случав она дълаетъ обмвиъ красоты или прелести на силу и мужество. Послъ этого очень естественно, если бывають женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нравственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властью и славою, -- увлекаются имъ, безъ соображенія неравенства лътъ. Для такой женщины самыя съдины прекрасны, и чъмъ круче нравъ старика, тъмъ за большее счасте и честь для себя считаеть она, вліяніемъ своей красоты и своей любви, укрощать его порывы, дълать его ровнъе и мягче. Само безобразіе этого старика красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ баззавътно отдалась старому воину, суровому мавру — великому Отелло. Въ Маріи Пушкина это еще понятиве: ибо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, ръшительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодвемъ, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значеніи этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лѣтъ, — ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Опибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цѣлей, думала увидѣть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастіемъ, но не виною: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкѣ. На этомъ основаніи намъ понятна ея любовь, понятно —

Зачемъ бежала своенравно Она семейственныхъ оковъ, Томилась тайно, воздыхала, И на привъты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвъчала; Зачемь такъ тихо за столомъ Она лишь гетману внимала, Когда бесъда ликовала И чаша пънилась виномъ; Зачемъ она всегда певала Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ, Когда онъ бѣденъ былъ и малъ, Когда молва его не знала; Зачемъ съ неженскою душой Она любила конный строй, И бранный звонъ литавръ и клики Предъ бунчукомъ и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокъ, которыми изобразилъ поэтъ страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здъсь Пушкинъ, какъ поэтъ, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вонзилъ онъ свой художническій взоръ въ тайну великаго женскаго сердца, и ввелъ насъ въ его святилище, чтобы внъшнее сдълать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактъ дъйствительности открыть общій законъ, въ явленіи — мысль...

Марія, б'єдная Марія,
Краса черкасскихъ дочерей!
Не знаешь ты, какого змія
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
Къ душ'є свир'єпой и развратной
Такъ сильно ты привлечена?
Кому ты въ жертву отдана?

Его кудрявыя сёдины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взоръ Его лукавый разговоръ Тебѣ всего, всего дороже: Ты мать забыть для нихъ могла. Своими чудными очами Тебя старикъ заворожилъ, Своими тихими рѣчами Въ тебѣ онъ совъсть усыпилъ Ты на него съ благоговѣньемъ. Возводишь ослѣпленный взоръ, Его лелѣешь съ умиленьемъ — Тебѣ пріятенъ твой позоръ.

Но въ такой великой натуръ любовь можетъ быть только преобладающею страстью, которая въ выборъ не допускаетъ никакого совмъстничества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душъ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ сердцъ Маріи мъста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объотцъ и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, какъ туча, затмеваетъ; Она унылыхъ предъ собой Отца и мать воображаетъ; Она, сквозь слезы, видить ихъ Въ бездътной старости однихъ, И, мнится, пенямъ ихъ внимаетъ... О, если бъ въдала она, Что ужъ узнала вся Украйна! Но отъ нея сохранена Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дъйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидъла своихъ родителей и клялась въчно "любыты и сердечне кохаты Мазену на злость ея ворогамз". Но въдь въ дъйствительности-то родители Матроны катовали ее. Понятно, почему Пушкинъ ръшился поэтически отступить отъ "такой" дъйствительности...

Но нигдъ личность Маріи не возвышается въ поэмъ Пушкина до такой аповеозы, какъ въ сценъ ея объясненія съ Мазепою— сценъ, написанной истиню Шекспировскою кистью.

Когда Мазепа, чтобы разсвять ревнивыя подозрвнія Маріи, принуждень быль открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываеть: нвть больше сомнвній, нвть безпокойства; мало того, что она вврить ему, вврить, что онь не обманываеть ея: она вврить, что онь не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ея ли женскому уму, воспитанному въ затворничествв, обреченному на отчужденіе отъ двиствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такія стремленія и чвмъ оканчиваются они! Она знаеть одно, вврить одному, — что онь, ен возлюбленный, такъ могущь, что не можеть не достичь всего, чего бы только ни захотвль. Блескъ короны на свдыхъ кудряхъ любовника уже ослвииль ея очи, — и она восклицаеть съ уввренностью дитяти, сильнаго и разумнаго одною любовью, но незнаніемъ жизни:

О милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоимъ съдинамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвъсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и, вмъстъ съ тъмъ, какая простота! Этотъ отвътъ Маріи: "Я! люблю ли?", это желаніе уклониться отъ отвъта на вопросъ, уже ръшенный ея сердцемъ, но все еще страшный для нея — кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву для спасенія другого, — и потомъ ръшительный отвътъ при видъ гнъва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца!

Явленіе сумасшедшей Маріи, неумъстное въ ходъ поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совъсть Мазены, — превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послъднія слова ея безумной ръчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скоръй... ужъ поздно... Ахъ, вижу, голова моя Полна волненія пустого: Я принимала за другого Тебя, старикъ. Оставь меня! Твой взоръ насмъшливъ и ужасенъ. Ты безобразень. Онъ прекрасень: Въ его глазахъ блестить любовь, Въ его рѣчахъ такая нѣга! Его усы бѣлѣе снѣга, А на твоихъ засохла кровь...

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портретъ, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ нею эта препрославленная и столько восхищавшая всъхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна, — это смъщеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благо-

разуміемъ?...

"Полтава" принадлежить къ числу превосходнъйшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства и мысли плана, а потому недостаточная и слабая въ цъломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаеть въ себъ нъсколько поэмъ, и по тому самому не составляеть одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочинени, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пъснь ея сама по себъ есть нъчто особенное, отдъльная поэма въ эпическомъ родъ. Но изъ нея нельзя было сдълать эпической поэмы: если бы поэть и даль ей общирнъйшій объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходивишихъ картинъ, но не поэмою. Чувствуя это, поэтъ хотъль связать ее съ исторіею любви, имъющею драматическій интересъ, но эта связь не могла не выйти чисто внъшнею. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогъ, въ которомъ поэть говорить сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того въка, потомъ о Петръ Великомъ, далъе — о Карлъ XII, о Мазепъ, о Кочубев съ Искрою, и оканчиваетъ все это Маріею... Несмотря на то, что "Полтава" была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина, какъ архитектурное зданіе, она не поражаеть общимъ впечативніемъ, нътъ въ ней никакого преобладающаго элемента, яъ которому бы всё другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдъльности есть превосходное художественное произведение. И никогда уже до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоцънныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдълываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергіи въ его стихъ! Какая живая соотвътственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ тонъ разсказа, въ духъ и оборотъ выраженій! И между тъмъ, какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать посильное свое остроуміе, назвалъ палача бълоручкою, а всю картину казни — отвратительною! Вотъ ужъ подлинно бълоручка! Другой посмъялся, какъ надъ нелъпостью, надъ любовью старика Мазепы къ молодой дъвушкъ. Третій доказывалъ, что всъ дъйствующія лица "Полтавы" карикатурны, на основаніи отзывовъ Мазепы о Карлъ XII и Петръ Великомъ!... И все это тогда читалось; многіе даже върили дъльности такихъ отзывовъ!...

Происхожденіе "Полтавы" и ея построеніе.

"Прочитавъ въ первый разъ стихи:

...Жену страдальца Кочубея И обольщенную имъ дочь¹)"

писалъ Пушкинъ, "я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры — и не мудрено и не великодушно; клевета и въ поэмахъ казалась мив непохвальною: но въ описаніи Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно. Однако жъ какой отвратительный предметь! Ни одного добраго благосклоннаго чувства, ни одной утъщительной черты! Соблазнъ, вражда, измъна, лукавство, малодушіе, свиръпость... Сильные характеры и глубокая трагическая тънь, набросанная на всъ эти ужасы — вотъ что увлекло меня. "Полтаву" написалъ явъ нъсколько дней, долъе не могъбы ею заниматься и бросилъ бы все".

Этимъ признаніемъ самого автора объясняется важнѣйшее въ созданіи "Полтавы"; тѣ обстоятельства, при которыхъ возникла первая мысль написать поэму, рѣшаютъ форму этого произведенія и, какъ увидимъ ниже, наложили неизгладимую печать на самое содержаніе.

¹⁾ Въ поэмъ "Войнаровскій".

В. Попровскій. А. С. Пушквиъ.

Форма опредълялась тъмъ произведениемъ, которое вызвало Пушкина на творчество. "Полтава" не возникла постепенно въ глубинъ души его, вслъдствіе долгихъ и многостороннихъ подготовительныхъ занятій, какъ-то, напримъръ, было при созданіи "Бориса Годунова". Содержаніе поэмы не было заранъе обдумано въ цъломъ: Пушкинъ принялся сразу за портретъ героини и за изображение страсти Мазены. Только раздълавшись съ "увлекшими его" обстоятельствами, онъ наскоро набрасываетъ программу: "Портретъ Мазепы; его ненависть; его замыслы; его сношенія съ Петромъ и Кардомъ; его хитрость.... ночи". Только мало-по-малу трагическая судьба обоихъ лицъ втянула его въ историческое повъствованіе. Черезъ 4 страницы послъ первой программы является потребность въ продолжении ея. И здъсь все еще на первомъ планъ - героиня. Вотъ это продолжение программы: "Марія Чуйкевичь; доносъ; ночь передъ казнію; мать и Марія; казнь; сумасшествіе; измъна; Полтава"...

Измъна героя, согласно исторической роли его, привела фантазію поэта къ другому предмету, который всплылъ передънимъ во всемъ величіи своемъ послъ того, какъ поэть удовлетворилъ первому увлеченію своего замысла. Источники, которыми пользовался Пушкинъ при написаніи поэмы, дълали также свое дъло. Вчитываясь въ нихъ сначала съ цълію уловить черты лицъ, возбудившихъ его замыселъ, поэтъ невольно былъ охватываемъ судьбою новаго лица, — великаго Царя, неоднократно его увлекавшаго и прежде, а съ нимъ — и судьбою государства. Повъсть о личныхъ страстяхъ превратилась въ картину государственнаго событія; романическая поэма — въ поэму героическую, поэма о Маріи — въ "Полтаву".

Отсюда двойственность этой поэмы, замъченная критиками-Быстро, заразъ написанная поэма, первая пъснь которой окончена 3 октября, вторая — 9-го, а послъдняя — 16-го, начатая какъ восполненіе непростительнаго пропуска "разительной черты" Мазепы со стороны автора "Войнаровскаго", зародилась въ фантазіи поэта поправкою и явилась вначалъ какъ бы попыткою только распространить эпизодъ поэмы "Войнаровскаго".

Поэма эта представляеть сына родной сестры Мазепы— Войнаровскаго— въ концъ его жизни, въ ссылкъ, на берегу Лены. Академикъ Миллеръ во время своего ученаго путешествія по Сибири случайно посъщаєть его, и Войнаровскій разсказываєть ему, кто онъ и какъ судьба забросила его вь ссылку. Счастливый мужъ и отець, ласкаемый могущественнымъ дядей, наслаждался Войнаровскій въ мирной тишинъ родной Украйны. Но Мазепа замыслилъ измъну.

Однажды позднею порою Онъ въ свой дворець меня призвалъ Вхожу — и слышу: "Я желалъ Давно бесъдовать съ тобою... ... Но къ тайнъ приступить пора: Я чту великаго Петра. Но — покоряяся судьбинъ — Узнай: я врагъ ему отнынъ!"

Войнаровскій разсказываеть Миллеру свое участіе въ ро-

Летал за гремящей славой, Я жизни юной не щадиль; Я степи кровью обагриль, И свой булать въ войнъ кровавой О кости русскихъ притупиль.

Мавена съ сввернымъ героемъ
Давалъ въ Украйнъ бой за боемъ.
Дымились кровію поля.
Тъла разбросанныя гнили,
Ихъ псы и волки теребили;
Казалась трупомъ вся земля!
Но всъ усилья тщетны были:
Ихъ умъ Петровъ преодольль;
Часъ битвы роковой приспъль—
И мы отчизну погубили!
Полтавскій громъ загрохоталь...
Но въ грозной битвъ Карлъ свиръцый
Противъ Петра не устоялъ.
Разбитъ, впервые онъ бъжалъ;
Вослъдъ ему — и мы съ Мазепой.

Почти безъ отдыха пять дней Бъжали мы среди степей, Бояся вражеской погони; Уже измученные кони Служить отказывались намь. Дрожа отъ стужи по ночамъ, Изнемогая въ день отъ зноя, Едва сидъли мы верхомъ...

Они остановились въ лъсу на отдыхъ. Въ это время Мазепа впадаетъ въ недугъ. Въ бреду, бросая кругомъ взгляды, старый гетманъ звалъ Войнаровскаго, Орлика... Ему грезились Кочубей и Искра на плахъ, ихъ покатившіяся головы... то чудился ему грозный Петръ и храмъ, въ которомъ раздается проклятіе.

> То трепеща и цъпенъя, Онъ часто зрълъ въ глухую ночь Жену страдальца Кочубея И обольщенную имъ дочь.

Черезъ нѣсколько дней Мазепа умеръ. Войнаровскій свой разсказъ академику оканчиваетъ повѣстью о дальнѣйшей судьбѣ своей: какъ опостылѣли ему Бендеры, и онъ покинулъ ихъ; былъ схваченъ и сосланъ въ ту глухую сторону, гдѣ долго тосковалъ о родинѣ и дорогой женѣ. Однажды, бродя по берегу Лены, онъ встрѣтилъ ее, пришедшую искатъ мужа. Но счастіе ихъ было недолго: давно закравшійся недугъ свелъ ее въ могилу. Поэма оканчивается послѣднимъ пріѣздомъ къ ссыльному Миллера, который спѣшилъ сообщить ему радостную вѣсть о его помилованіи, но засталъ его уже умершимъ.

Къ поэмъ были приложены краткія жизнеописанія Мазепы и Войнаровскаго и историческія примъчанія. Безличная фигура Мазепы, искаженная въ этой сентиментальной и мелодраматической поэмъ, настолько не удовлетворила Пушкина, что онъ ръшился самъ воспроизвести Мазепу, задътый за живое.

Кромъ "Исторіи Карла XII" и "Исторіи Петра Великаго" Вольтера, III и IV части "Дъяній Петра Великаго" Голикова, III часть "Исторіи Малой Россіи" Д. Бантыша-Каменскаго (М. 4 части, въ тип. Селивановскаго 1822 г.) и "Журналь, или поденная записка блаж. памяти Государя Императора Петра Великаго", собранный кн. М. Щербатовымъ (1770—1772) — были болъе, нежели достаточны для цълей Пушкина.

Начиная свою поэму исключительно съ интересомъ къ драматическому положенію дочери Кочубея и Мазены, Пушкинъ, очевидно, не придавалъ значенія ни хронологической въроятности ни дъйствительнымъ біографическимъ фактамъ предшествующей жизни Мазены; не смотрълъ и на героиню, какъ на лицо, върное свидътельствамъ исторіи, замънивъ имя дочери Кочубея Матрены болъе романическимъ именемъ Маріи. Когда же установленное поэтомъ драматическое положеніе обоихъ лицъ потребовало опоры на историческомъ фактъ — доносъ Кочубея и его послъдствіяхъ — и Пушкинъ ръшился принять на себя обязательства поэмы исторической: тогда неизбъжно онъ долженъ былъ связать все написанное въ началъ съ данными послъдующихъ историческихъ событій. Это отразилось во-1хъ, на объяснени побужденія Мазепы къ измънъ, и во 2-хъ, на продолженіи отношеній его къ дочери Кочубея до конца поприща.

Исторія въ лиць Өеофана Прокоповича (въ пересказъ Бантыша-Каменскаго) и Голикова указывала побудительной причиною измъны Мазепы — любовь его къ княгинъ Дульской (родственницы короля польского Станислава Лещинского), и для полученія ея руки — согласіе привесть Малороссію въ подданство польское при условін быть гетманомъ объихъ сторонъ Днъпра и владътельнымъ княземъ Съверскимъ (или Полоцкимъ и Витебскимъ); исторія же въ лицъ иностранныхъ, особенно польскихъ писателей (у Бантыша-Каменскаго и Голикова) побужденіемъ къ измѣнѣ указывала намѣреніе Мазепы доставить свободу утъсненной Украйнъ. Первое мвъніе историковъ Пушкинъ не могъ принять уже потому, что распространиль отношенія Мазепы къ дочери Кочубея на все время его участія въ войнъ Петра В. съ Карломъ XII, до бъгства въ Бендеры, во время котораго является ему сумасшедшая Марія. Княгиня Дульская у Пушкина является лишь въ числъ агентовъ въ сношеніяхъ Мазепы съ королемъ польскимъ. Второе мивніе историковъ Пушкинъ приняль во вниманіе, обставивъ Мазепу волненіемъ Украйны противъ русскаго Царя и рисун это волнение красками даже болъе яркими, нежели то предлагали русскіе историки-патріоты, которымъ Пушкинъ слъдоваль. Но въ основу измъны Мазепы Пушкинъ положилъ личное мщеніе его Петру, оскорбившему его однажды въ ставкъ подъ Азовомъ. Такое побуждение не противоръчило тому характеру Мазепы, какой сложился въ фантазіи Пушкина согласно его историческимъ источникамъ, но честолюбіе и властолюбіе Мазепы у Пушкина низведено до разміровъ едва замътныхъ; корыстолюбіе же, на которое указывали историческіе источники Пушкина, исключено имъ совстмъ.

Последнею данью романтическому замыслу въ исторической части поэмы у Пушкина является юный казакъ, влюбленный безнадежно въ Марію. Судя по черновой программъ, Пушкинъ замънилъ этимъ лицомъ историческое лицо — сына генеральнаго судьи Чуйкевича, который, по свидътельству историковъ, женился на Матренъ. Влюбленный казакъ, какъ посланецъ съ доносомъ, соотвътствуетъ у Пушкина также двумъ посланцамъ съ доносомъ Кочубея, указаннымъ у Бантышъ-Каменскаго.

Что касается конечной судьбы дочери Кочубея, то Пушкинъ могь считать себя въ полномъ правъ создать вымыселъ, помимо историческихъ данныхъ, какъ скоро устраниль и замужество, и другіе факты жизни Матрены. Эта судьба указана у Бантышъ-Каменскаго слъдующимъ краткимъ извъстіемъ: "Чуйкевичъ, Максимовичъ, Зеленскій, Покатило, Гамалъя и писарь Григорьевъ находились при Мазенъ во время Полтавскаго сраженія. Изъ нихъ первый постригся въ монахи въ Сибири, а жена его удалилась въ монастырь въ Малороссіи" (И. М. Р., прим. 166, стр. 50). Сумасшествіе Маріи является какъ нельзя болье согласнымъ съ тъмъ трагическимъ положеніемъ, въ которое поставилъ ее поэтъ, и съ тъмъ характеромъ, какимъ надълиль онъ ее.

Поэтическія ціли Пушкина во многомъ упростили и тів факты, которые согласны съ исторіей: пытків послів доноса, по поэмів, подвергнуты только Кочубей и Искра, и лишь одинъ разъ, тогда какъ въ исторіи этой пытків подвергнуты многія лица и не одинъ разъ; самыхъ доносовъ Кочубея Петру Бантышъ-Каменскій указываетъ два; не вводя новыхъ лицъ въ дійствія поэмы, Пушкинъ распорядителемъ допроса Кочубею и его пытки выводитъ Орлика вмісто министровъ Шафирова и Головкина (И. М. Р. ІІІ, гл. ХХУ и ниже вып. 28).

За исключеніемъ этихъ частностей весь ходъ измѣны и важнѣйшій моментъ борьбы Карла XII съ Петромъ Великимъ описывались Пушкинымъ несомнѣнно съ указанными историческими источниками въ рукахъ, что и давало ему право въ "Критическихъ замѣткахъ" своихъ сказать: "Мазепа дѣйствуетъ въ моей поэмѣ точь-въ-точь какъ и въ исторіи, а рѣчи его объясняютъ его историческій характеръ". Отдѣльное историческое событіе, написанное въ поэмѣ наиболѣе обстоятельно — Полтавскій бой — создано на основаніи "Дѣяній

Петра" В. Голикова и отчасти журнала П. В. Этотъ эпизодъ представляетъ замъчательный образецъ соединенія върности историческому источнику съ сильнымъ дъйствіемъ поэтическаго творчества, результатомъ котораго явился живой и величавый образъ полтавскаго побъдителя.

Поэма вышла въ 1829 году особою книгою съ предисловіемъ, подписаннымъ 31-го января.

Поливановъ.

Историческое и общественное значение романа "Евгеній Онъгинъ"*).

Признаемся: не безъ нъкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрвнію такой поэмы, какъ "Евгеній Онъгинъ". И эта робость оправдывается многими причинами. "Онъгинъ" есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотой, свътло и ясно, какъ отразилась въ "Онъгинъ" личность Пушкина. Здъсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здёсь его чувства, понятія, идеалы. Одёнить такое произведеніе, значить — оцінить самого поэта, во всемь объемъ его творческой дъятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствъ "Онъгина", эта поэма имъетъ для насъ, русскихъ огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрвнія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ "Онъгинъ" слабымъ или устарълымъ, - даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводить въ затруднение не одно только сознание слабости нашихъ силь для върной оцънки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мъстахъ "Онъгина", съ одной стороны, видъть недостатки, съ другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки, нли безусловныя достоинства. Вотъ почему нъкоторые кри-

^т) См. стран. 145, 146, 147, 268—290.

тики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполнъ художественно и могло бы вполнъ удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ "Онъгину" наши сужденія могутъ показаться многимъ еще болье противорьчащими, потому что "Онъгинъ" со стороны формы есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляють его величайшія достоинства. Вся наша статья объ "Онъгинъ" будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ "Онъгинъ" мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого въ одномъ изъ интереснъйшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрънія "Евгеній Онъгинъ" есть поэма историческая въ полномъ смыслъ слова, хотя въ числъ ея героевъ нътъ ни одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы тъмъ выше, что она была на Руси и первымъ и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родъ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безпримърная! До Пушкина русская поэзія была не болье какъ понятливою и переимчивою ученицей европейской музы, и потому всъ произведенія русской поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ — этотъ таланть, столько же сильный и яркій, сколько національнорусскій, долго не имъль смълости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзіи Державина ярко проблескивають и русская ръчь и русскій умъ, но не больше, какъ проблескиваютъ, потопляемые водою реторитически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написаль русскую трагедію, даже историческую — "Димитрія Донского", но въ ней русскаго и историческаго — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написаль двъ русскія баллады — "Людмилу" и "Свътлану"; но первая изъ нихъ есть передълка нъмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дъйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута нъмецкою сентиментальностью и нъмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, въчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвътка на русской почвъ. Всвхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нътъ и не можетъ быть никакой поэзіи и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на Петасъ въ чужіе края, даже на Востокъ, не только на Западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумъется, это сдълалось не вдругь, потому что вдругь ничего не дълается. Въ поэмахъ: "Русланъ и Людмила" и "Братья разбойники" Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ, - но не въ поэзіи только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображение русской дъйствительности. Есть у Пушкина русская баллада "Женихъ", написанная имъ въ 1825 году, въ которой появилась и первая глава "Онъгина". Эта баллада и со стороны формы и со стороны содержанія насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чъмъ о "Русланъ и Людмилъ", можно сказать:

Здесь русскій духь, здесь Русью пахнеть

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всёми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства стаков почти всёми забыта.

Наутро сваха къ нимъ на дворъ Нежданная приходитъ, Наташу хвалитъ, разговоръ Съ отдомъ ея заводитъ: "У васъ товаръ, у насъ купецъ, Собою парень молодецъ. И статный и проворный, Не вздорный, не зазорный. "Богатъ, уменъ, ни передъ къмъ Не кланяется въ поясъ. А какъ бояринъ, между тъмъ, Живетъ, не безпокоясь; А подаритъ невъстъ вдругъ

И лисью шубу, и жемчугь, И перстни золотые, И платья парчевыя.

Катаясь, вид'яль онъ вчера
Ее за воротами;
Не по рукамъ ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами!"
Она сидить за пирогомъ,
Да р'ячь ведеть обинякомъ,
А б'ядная нев'яста
Себ'я не видить м'яста.

"Согласенъ, говорить отецъ; Ступай благополучно, Моя Наташа, подъ вѣнецъ: Одной въ свѣтелкѣ скучно. Не вѣкъ дѣвицей вѣковать, Не все касаткѣ распѣвать, Пора гнѣздо устроить, Чтобъ дѣтушекъ покоить".

И такова вся эта баллада, отъ перваго до последняго слова! Но не въ такихъ произведеніяхъдолжно видъть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Міръ, такъ върно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таданта уже по слишкомъ ръзкой его особенности. Сверхъ того, онъ такъ тъсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный таланть не долго будеть воспроизводить его, если не захочеть, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны и скучны, несмотря на всв ихъ достоинства. Вотъ почему человъкъ съ талантомъ дълаетъ обыкновенно не болъе одной или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родъ; для него это — дъло, между прочимъ, затъянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщъ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу.

"Истинная національность (говорить Гоголь) состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можеть быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто

это чувствуютъ и говорять они сами". Разгадать тайну народной психики — для поэта значить умъть равно быть върнымъ дъйствительности при изображении и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умъетъ схватить ръзкіе оттынки только грубой простонародной жизни, не умъя схватывать болье тонкихъ и сложныхъ оттвиковъ образованной жизни, тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, и еще менъе имъетъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умъетъ заставить говорить и барина и мужика ихъ языкомъ. И если произведение, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаеть названія національнаго, — значить, оно ничего не стоитъ и въ художественномъ отношеніи, потому что невърно духу изображаемой имъ дъйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ "Горе отъ ума" и "Мертвыя души", но и такія, какъ "Герой нашего времени", суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ быль "Евгеній Онъгинъ" Пушкина. Въ этой ръшимости молодого поэта представить нравственную физіономію наиболъе объевропенвшагося въ Россіи сословія нельзя не видъть доказательства, что онъ быль и глубоко сознаваль себя національнымъ поэтомъ. Онъ поняль, что время эпическихъ поэмъ давнымъ-давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взяль эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взяль ее со всемъ холодомъ, со всею ся прозой и пошлостью. И такая смълость была бы менъе удивительною, если бы романъ затъянъ былъ въ прозъ; но писать подобный романъ въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозъ, такая смѣлость, оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомнъннымъ успъхомъ геніальности поэта.

Мы начали статью съ того, что "Онъгинъ" есть поэтически върная дъйствительности картина русскаго общества въ извъстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т.-е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее,—

общество. Всявдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдъльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производитъ общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существование, и нужно было образованіе, которое давало бы не одно внішнее, но и внутреннее единство. Екатерина II экалованиою грамотой опредълила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству — единственному сословію, которое при Екатеринъ II достигло высшаго своего развитія и было просвъщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вследствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вельможествомъ началь возникать классь средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумьемь слово образовываться. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого во всёхъ отношеніяхъ дучшаго сословія все уведичивалось и уведичивалось, потому что образование все болъе и болъе проникало во всъ углы огромной провинціи, усъянной помъщичьими владъніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотой, роскопью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дітей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ — эти поэты въ свое время извъстные только одному двору, тогда сдълались болъе или менње извъстными и этому возникающему обществу. Но что всего важиве — у него явилась своя литература, уже болве легкая, живая, общественная и соътская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю и черезъ это создаль массу читателей, то Карамзинъ своей реформой языка, направленіемъ, духомъ и формою своихъ сочиненій породиль литературный вкусъ и создаль публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементь, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на "Лизинъ прудъ", чтобы "слезою чувстви-

тельности" почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлівнныя умомъ, вкусомъ, остротою и грацією, имъли такой же успъхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденная ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смъшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедін Озерова придали еще болье силы и блеска этому направленію. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дътьми. Вскоръ появился юноша-поэть, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и экспентрического стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго и который познакомилъ и породнилъ русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важнъе, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомнънію, что классь дворянства быль и по преимуществу представителемъ общества и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличение средствъ къ народному образованию, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ, заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохой для Россіи. Мы разумъемъ здъсь не только внъшнее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преуспъяние въ гражданственности и образовании, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудиль ея спящія силы и открылъ въ ней новые, дотолъ неизвъстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу коснъвшія въ чувствъ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудиль, народное сознание и народную гордость и всемь этимъ способствоваль зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мивнія; кромв того, 12-й годъ

нанесъ сильный ударъ коснъющей старинъ: вслъдствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выбъжая за заповъдную черту ихъ владъній; глушь и дичь быстро исчезли вмъстъ съ потрясенными остатками старины. Съ другой сторопы, вся Россія, въ лицъ своего побъдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увидълась съ Европою, пройдя по ней путемъ побъдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укръпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, — и въ "Онъгинъ" онъ ръшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмъстъ съ нимъ и общество, въ томъ видъ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т.-е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія.

Несмотря на то, что романъ носитъ на себъ имя своего героя, — въ романъ не одинъ, а два героя: Онъгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видъть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдълалъ, выбравъ себъ героя изъ высшаго круга общества. Онъгинъ — отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества былъ только въкъ Екатерины II); Онъгинъ — свътскій человъкъ. Когда выстій свъть изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибоъдовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, мы любимъ литературное изображение большого свъта такъ же, какъ изображение всякаго другого свъта и не свъта, съ тадантомъ и знаніемъ выполненное. Высшій кругь общества быль въ то время уже въ апогев своего развитія; притомъ свъткость не помъщала же Онъгину сойтись съ Ленскимъэтимъ наиболъе страннымъ и смъшнымъ въ глазахъ свъта существомъ. Правда, Онъгину было дико въ обществъ Лариныхъ; но образованность еще болъе, нежели свъткость, была причиною этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсъмъ не свътскіе люди, было бы въ немъ не совсъмъ ловко, тёмъ болёе, что мы рёшительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарив, о винв, о свнокосв, о родив. Высшій кругь общества въ то время до того быль отделень отъ всёхъ другихъ круговъ, что не принадлежавшіе къ нему люди поневолю говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и Атлантидъ. Вследствіе этого Онегинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принять за безиравственнаго человека. Это мивніе о немъ и теперь еще не совсёмъ исчезло.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онътинъ душу и сердце, видъла въ немъ человъка холодного, сухого и эгоиста по натуръ. Нельзя ошибочнъе и кривъе понять человъка! Этого мало: многіе добродушно върили и върятъ, что самъ поэтъ хотълъ изобразить Онъгина холоднымъ эгоистомъ. Это уже значить — имъя глаза, ничего не видътъ. Свътская жизнь не убила въ Онъгинъ чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспомните строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онъгинымъ:

Условій свёта свергнувъ бремя, Какъ онъ, отставъ отъ суеты, Съ нимъ подружился я въ то время, Мнѣ нравились его черты, Мечтамъ невольная преданность, Неподражательная странность И рпзкій, охлажденный умъ. Я быль озлобленъ, онъ угрюмъ; Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоихъ насъ; Въ обоихъ сердцахъ жаръ погасъ; Обоихъ ожидала влоба Слѣпой фортуны и людей На самомъ утръ нашихъ дней.

Кто жилъ и мыслилъ, тоть не можеть Въ душъ не призирать людей; Кто чувствовалъ, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дней: — Тому уже нътъ очарованій, Того змъя воспоминаній, Того раскаянье грызетъ. Все это часто придаетъ Большую прелесть разговору.

Сперва Онъгина языкъ
Меня смущаль, но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткъ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

Какъ часто лътнею порою, Когда прозрачно и свътло Ночное небо надъ Невою, И водъ веселое стекло Не отражаетъ ликъ Діаны, Воспомня прежних льть романы, Воспомня прежних льть романы, Воспомня прежних льть романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительны, безпечны вновь, Дыханьемъ ночи благосклонной Безмолвно упивались мы! Какъ въ лъсъ зеленый изъ тюрьмы Перенесенъ колодникъ сонный, Такъ уносились мы мечтой Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ, по крайней мъръ, то, что Онъгинъ не быль ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душъ его жила поэзія и что вообще онъ быль не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лътъ — все это говоритъ больше о чувствъ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дело только въ томъ, что Онъгинъ не любилъ расплываться въ мечтахъ, больше чувствоваль, нежели говориль, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человъкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везетъ, то и всъми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даетъ имъ, благо немногаго просять они отъ нея - корма, пойла, тепла да койкакихъ игрушекъ, способныхъ тъшить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себъ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства "нарядною печатью") свойственно только людямъ, которые, желая "многаго", не удовлетворяются "ничемъ". Читатели помнять описаніе (въ VII главъ) кабинета Онъгина: весь Онъгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ, И современный человѣкъ Изображенъ довольно вѣрно Съ его безравственной душой, Себялюбивый и сухой, Мечтанью преданный безмѣрно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Скажуть: это портреть Онвгина. Пожалуй, и такъ; но это еще болве говорить въ пользу нравственнаго превосходства Онвгина, потому что онъ узналъ себя въ портретв, который, какъ двв капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнаютъ себя, столь немногіе, а большая часть "украдкою киваетъ на Петра". Онвгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ двтьми нынвшняго ввка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдвлали Онвгина похожимъ на этотъ портретъ, а ввкъ.

Связь съ Ленскимъ, этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикъ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онъгина.

Онъгинъ презиралъ людей,

Но (правиль ньть безь исключеній) Иныхъ онъ очень отличалъ, И вчужь чувство уважаль. Онъ слушаль Ленскаго съ улыбкой: Поэта пылкій разговоръ, И умь, еще въ сужденьяхъ зыбкій, И въчно вдохновенный взоръ — Онъгину все было ново; Онъ охладительное слово Въ устахъ старался удержать, И думаль: глупо мнъ мъщать Его минутному блаженству, И безъ меня пора придеть: Пускай покамъсть онъ живеть Да върить міра совершенству; Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ И юный жаръ и юный бредъ.

Межъ ними все рождало споры И къ размышлению влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки въковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подверглось ихъ суду.

Дъло говоритъ само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездущіе Онъгина, какъ человъка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ върно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада иль небесъ, Сей ангель, сей надменный бъсъ, Что жъ онъ? — ужели подражанье, Ничтожный призракъ, иль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащъ; Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ. Ужъ не пародія ли онъ?

"Все тотъ же ль онъ, иль усмирился? Иль корчить такъ же чудака? Скажите, чъмъ онъ возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чъмъ нынъ явится? Мельмотомъ, Космоцолитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой Иль маской щегольнеть иной? Иль просто будетъ добрый малый, Какъ вы да я, какъ пълый свътъ? По крайней мъръ, мой совътъ: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочилъ свътъ"...
— Знакомъ онъ вамъ? — "И да, и ильта"

— Зачёмъ же такъ неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то ль, что мы неугомонно Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пымкихъ душъ неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляетъ, илъ смъшитъ; Что умъ, любя просторъ, тъснитъ;

Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;
Что важнымъ людямъ — важны вздоры;
И что посредственность одна
Намъ по плечу и не странна?

Блаженъ, кто смолоду быль молодъ, Блаженъ, кто во-время созрѣлъ, Кто постепенно жизни холодъ Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ; Кто страннымъ снамъ не предавался; Кто черни свѣтской не чуждался; Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ иль хватъ, А въ тридцать выгодно женатъ; Кто въ пятъдесятъ освободился Отъ частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегъ и чиновъ Спокойно въ очередь добился, О комъ твердили цѣлый вѣкъ; N. N. прекрасный человѣкъ.

Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что измѣняли ей всечасно, Что обманула насъ она; Что наши лучшія желанья Что наши свѣжія мечтанья Истлѣли быстрой чередой, Какъ листья осенью гнилой. Несносно видѣть предъ собою Однихъ обѣдовъ длинный рядъ, Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ, И вслѣдъ за чинною толпою Итти, не раздѣляя съ ней Ни общихъ мнѣній ни страстей.

Эти стихи ключъ къ тайнъ характера Онъгина. Онъгинъ — не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человъкъ, а просто — "добрый малый какъ вы да я, какъ цълый свътъ". Поэтъ справедливо называетъ "обветшалою модой" вездъ находить или вездъ искать все геніевъ да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онъгинъ — добрый малый, но, при этомъ, недюжиный человъкъ. Онъ не годится въ геніи, не лъзетъ въ великіе люди, но бездъятельность и пошлость жизни душатъ его, онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется;

но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чъмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его "безнравственнымъ", но и отняла у него страстъ сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онъгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсъмъ такое воспитаніе. Блестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свътомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дълаютъ слишкомъ немногіе. Въ душть его тлълась искра надежды воскреснуть и освъжиться въ тиши уединенія, на лонъ природы; но онъ скоро увидълъ, что перемъна мъстъ не измъняетъ сущности нъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дня ему казались новы Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихаго ручья; На третій — рощи, холмъ и поле Его не занимали болѣ; Потомъ ужъ наводили сонъ; Потомъ увидѣлъ ясно онъ, Что и въ деревнѣ скука та же, Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ, Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ. Хандра ждала его настражѣ, И бѣгала за нимъ она, Какъ тѣнь иль вѣрная жена.

Мы доказали, что Онъгинъ не холодный, не сухой, не бездушный человъкъ, но мы до сихъ поръ избъгали слова эпоист, и, такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаетъ эгоизма, то мы скажемъ теперь, что Онъгинъ — страдающій эпоист. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда — люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человъкъ любить кого нибудь кромъ самого себя, и потому они нисколько не стараются не скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дъла идутъ плохо — они худощавы, блъдны, злы, низки, подлы,

предатели, клеветники; если ихъ дъла идутъ хорошо — они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дълиться ни съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе безполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натуръ или по причинъ дурного воспитанія. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывають толсты и румяны; по большей части этотъ народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездв ища то счастья, то разсвянія, они нигдъ не находять ни того ни другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляють ихъ. Эти люди часто доходять до страсти къ добрымъ дъйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бъда въ томъ, что они и въ добръ хотять искать то счастія, то развлеченія, тогда какъ въ добръ следовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живуть въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею дъятельностью къ осуществленію идеала истины и блага, - о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдълали ихъ эгоистами. Но нашъ Онъгинъ не принадлежитъ ни къ тому ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ поневолъ; въ его эгоизмъ должно видъть то, что древніе называли fatum. Благая, благотворная, полезная дъятельность! Зачъмъ не предался ей Онъгинъ? Зачъмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачёмъ? зачёмъ? — Затёмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дъльнымъ отвъчать...

Одинъ среди своихъ владѣній, Чтобъ только время проводить, Сперва задумалъ нашъ Евгеній Порядокъ новый учредить. Въ своей глуши мудрецъ пустынной, Яремъ онъ барщины старинной Оброкомъ легкимъ замѣнилъ — И небо рабъ благословилъ. Зато въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ страшный вредъ, Его расчетливый сосѣдъ; Другой лукаво улыбнулся, И въ голосъ всю рѣшили такъ, Что онъ опаснѣйшій чудакъ.

Сначала всв къ нему взжали;
Но такъ какъ съ задняго крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышать ихъ домашни дроги,—
Поступкомъ оскорбясь такимъ,
Всв дружбу прекратили съ нимъ.
"Сосвдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ,
Онъ фармазонъ: онъ пьетъ одно
Стаканомъ красное вино;
Онъ дамамъ къ ручкв не подходитъ;
Все да да нютъ, не скажетъ да-съ
Иль нътъ-съ". Таковъ былъ общій гласъ.

Что-нибудь дёлать можно только въ обществе, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою дёйствительностью, а не теоріею: но что бы сталъ дёлать Онёгинъ въ сообществе съ такими прекрасными сосёдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онёгина тутъ еще не много было сдёлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдёлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказываютъ объ этомъ всему міру; и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цёлую жизнь. Онёгинъ былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чёмъ.

Случай свелъ Онъгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онъгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послъ перваго визита, Онъгинъ зъваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невъсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкъ, удивляется его выбору, говоря, что если бы онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человъку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобы понять разницу между объими сестрами, тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсъмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дъвочка, которая совсъмъ не стоила того, чтобы за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тъмъ какъ Онъгинъ зъвалъ "по привычкъ",

говоря его собственнымъ выражениемъ, и нисколько не заботясь о семействъ Лариныхъ, въ этомъ семействъ его пріъздъ завязаль страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онъгинъ, получивъ письмо Татьяны, могь не влюбиться въ нее, — и еще болве, какъ тоть же самый Онътинъ, который такъ холодно отвергаль чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потомъ страстно влюбился въ великолъпную свътскую даму? Въ самомъ дъль, есть чему удивляться. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактъ возможность психологического вопроса, мы тъмъ не менъе нисколько не находимъ удивительнымъ самаго факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился или не влюбился, или почему въ то время не влюбился, - такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имъетъ свои законы — правда, но не такіе, изъ которыхъ легко бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могуть и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто-непосредственный влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе нъсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: "полюбится сатана лучше яснаго сокола", кто отвергаеть это, тоть не понимаеть любви. Если бы выборь въ любви ръшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нъсколькихъ, равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влечени сердца. Но бываеть и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо, нисколько себъ не подъ пару. Поэтому Онъгинъ имълъ полное право безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дъвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случай онъ поступиль равно ни нравственно ни безнравственно. Этого вполнъ достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онъгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могь не понять изъ письма Татьяны, что эта бъдная дъвушка одарена

страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дътски простодушна, и что она нисколько не похожа на тъхъ кокетокъ, которыя такъ надоъли ему съ ихъ чувствами, то легкими, то поддъльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея:

Языкъ дѣвическихъ мечтаній Въ немъ думы роемъ возмутилъ; И вспомниль онъ Татьяны милой И блѣдный цвѣтъ и видъ унылый: И въ сладостный, безгръшный сонъ Душою погрузился онъ. Выть можеть, чувствій пыль старинный Имъ на минуту овладѣлъ; Но обмануть онъ не хотѣлъ Довѣрчивость души невинной.

Въ письмъ своемъ въ Татьянъ (въ VIII главъ) онъ говоритъ, что, замътя въ ней искру нъжности, онъ не хотълъ ей повърить (т.-е. заставилъ себя не повърить), не далъ хода милой привычкъ и не хотълъ разстаться съ своею постылою свободой. Но если онъ оцънилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видълъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвъчать на нее, значило бы для Онъгина ръшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэтъ, выразившій въ Онъгинъ много своего собственнаго, такъ изъясняется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали, Зъвоты хладная чреда Ему не снились никогда. Межъ тъмъ, какъ мы, враги Гимена Въ домашней жизни зримъ одинъ Рядъ утомительныхъ картинъ, Романъ во вкусъ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумаль о послъднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, пере-

горъвшій въ страстяхъ, извъдавшій жизнь и людей, еще кипъвтій какими-то самому ему неясными стремленіями, онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронію, онъ увлекся бы младенческою любовью дъвочки-мечтательницы, которая смотръда на жизнь такъ, какъ онъ уже не могь смотръть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашель онь потомь въ Татьянъ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы отъ того, что онъ не можетъ, подобно ей, дътски смотръть на жизнь и дътски играть въ любовь, - а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имъло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Онъгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Убивъ на поединкъ друга, Доживъ безъ цъли, безъ трудовъ; До двадцати-шести годовъ, Томясь въ бездъйствіи досуга, Безъ службы, безъ жены, безъ дъль, Ничьмъ заняться не умълъ. Имъ овладъло безпокойство, Охота въ перемънъ мъстъ (Весьма мучительое свойство, Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказъ и смотрълъ на блъдный рой тъней, толпившійся около цълебныхъ струй Машука:

Питая горьки размышленья, Среди печальной ихъ семьи, Онъгинъ взоромъ сожальнья Глядълъ на дымныя струи, И мыслилъ, грустью отуманенъ: Зачъмъ я пулей въ грудь не раненъ? Зачъмъ не хилый я старикъ, Какъ этотъ бъдный откупщикъ? Зачъмъ, какъ тульскій засъдатель, Я не лежу въ параличъ? Зачъмъ не чувствую въ плечъ Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель! Я молодъ, жизнь во мнъ кръпка. Чего мнъ ждать? Тоска, тоска!...

Какая жизнь! Воть оно то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ и въ прозъ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ діль знають его; воть оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ дранировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаеть ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тъмъ ужаснъе!... Спать ночью, зъвать днемъ, видъть, что всь изъ чего-то хлопочуть, чемъ-то заняты, одинъ деньгами, другой — женитьбою, третій — бользнью, четвертый — нуждою и кровавымъ потомъ работы, — видъть вокругъ себя и веселье и печаль, и смёхъ и слезы, видёть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Въчному жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствъ: это -- страданіе не совсъмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называеть подобное страданіе модною причудой. И чъмъ естественнъе, проще страдание Онъгина, чъмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тъмъ оно менъе могдо быть понято и оцтнено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лъть такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдълавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убъжденія: это смерть! Но Онъгину не суждено было умереть, не отвъдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскъ силы его духа. Встрътивъ Татьяну на балъ въ Петербургъ, Онъгинъ едва могь узнать ее, такъ перемънилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

> ... и всѣхъ выше И носъ и плечи поднималъ Вошедшій съ нею генералъ, —

мужъ Татьяны представляеть ей Онъгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая

эту главу, ожидали громозвучнаго *оха* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мивнію, должна повиснуть на шев у Онвгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотрить на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измънило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ;
Быль такъ же тихъ ея поклонъ.

Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась Иль стала вдругъ блѣдна, красна... У ней и бровь не шевельнулась; Не сжала даже губъ она. Хоть онъ глядѣлъ нельзя прилежнѣй, Но и слѣдовъ Татьяны прежней, Не могъ Онѣгинъ обрѣсти. Съ ней рѣчь хотѣлъ онъ завести И — и не могъ. Она спросила, Давно ль онъ здѣсь, откуда онъ, И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ? Потомъ къ супругу обратила Усталый взглядъ; скользнула вонъ... И недвиженъ остался онъ.

Ужель та самая Татьяна, Которой онъ наединъ, Въ началъ нашего романа, Въ глухой, далекой сторонъ, Въ благомъ нылу нравоученья, Читалъ когда-то наставленья, Та, отъ которой онъ хранитъ Письмо, гдъ сердце говорить, Гдъ все наружу, все на волъ. Та дъвочка... иль ото сонъ? Та дъвочка, которой онъ Пренебрегалъ въ смиренной долъ, Ужели съ нимъ сейчасъ была Такъ равнодушна, такъ смъла?

Что съ нимъ? въ какомъ онъ страшномъ снѣ? Что шевельнулось въ глубинѣ Души холодной и лѣнивой? Досада? суетность? или вновь Забота юности — любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно не согластны съэтимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толиѣ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди! всв похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечеть; Васъ непрестанно змъй зоветъ Къ себъ, къ таинственному древу; Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствъ человъческой натуры и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-экономное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человъкъ, но въ обществъ, такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслъ формы человъческого развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видищь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ міръ, считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго въка свои понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, въ которой всь люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ цстинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругь земли, а земля вокругь солнца обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тъхъ же поръ преступление будеть только по наружности преступление, а внутренно, существенно — непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видъли въ своихъ дътнхъ своихъ рабовъ и считали себя вправъ насиловать ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дъвушка, чувствуя отвращение къ господину благонамъренной наружности, за котораго ее хотятъ

насильно выдать, и любя страстно человъка, съ которымъ ее насильно разлучають, - последуеть влеченію своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ, или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости внъшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, — что оно такое, если оно согласовано съ внъшними условіями? — П'всня соловья или жаворонка въ золотой кліткь. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? — Торжественная пъснь соловья на закатъ солнца, въ таинственной съни склонившихся надъръкою ивъ; вольная пъснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрълою, то падаеть съ неба, то, тренеща крыльями, не двигаясь съ мъста, какъ будто купается и тонетъ въ глубокомъ эоиръ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвъть жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будеть воли?...

Письмо Онъгина къ Татьянъ горить страстью; въ немъ уже нътъ проніи, нътъ свътской умъренности, свътской маски. Онъгинъ знаетъ, что онъ можетъ-быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смъщнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты - и въ такомъ случав, конечно, роль Онъгина была бы очень смъшна и жалка. Но въ свътъ наружность никогда и ни въ чемъ не убъждаетъ: тамъ всъ слишкомъ хорошо владъють искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онъгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свътъ научилъ ее только искусству владъть собою и серіознъе смотръть на жизнь. Благодатная натура не гибнеть отъ свъта, вопреки мнънію мъщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свъть представляеть точно столько же средствъ, сколько и больщой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свътъ должна была казаться Онътину Татьяна, -- уже не мечтательная дъвушка, повърявшая лунъ и звъздамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая

сны по книгъ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цъну всему, что дано ей, которая много потребуетъ, но много и дастъ. Ореолъ свътскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онъгина: въ свъть, какъ и вездъ, люди бывають двухъ родовъ — одни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видять назначеніе жизни, — это чернь; другіе оть свъта заимствують знаніе людей и жизни, такть действительности и способность вполнъ владъть всъмъ, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу последнихъ, и значение светской дамы только возвышало ее значеніе, какъ женщины. Притомъ же въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла никакой прелести, а Татьяна не объщала ему легкой побъды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ расчета, со всёмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышитъ въ каждомъ словъ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатлънія. Посль ньскольких посланій, встрытившися съ нею, Оньгинъ не замътилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ. на лицъ на немъ отражался лишь слъдъ гнъва. Онъгинъ на цълую зиму заперся дома и принялся читать:

И что жъ? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желанія, печали Тъснились въ душу глубоко. Онъ межь печатными строками Читаль духовными глазами Другія строки. Въ нихъ-то онъ Быль совершенно углубленъ. То были тайныя преданья Сердечной, темной старины. Ни съ чъмъ не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки взлоръ живой, Иль письма дъвы молодой.

И постепенно въ усыпленье
И чувствъ и думъ впадаетъ онъ,
А передъ нимъ воображенье
Свой пестрый мечетъ фараонъ.
То видитъ онъ: на таломъ снъгъ
Какъ будто спящій на ночлегъ,
Недвижимъ юноша лежитъ,
И слышитъ голосъ: "что жъ? убитъ!"
То видитъ онъ враговъ забвенныхъ,

Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измѣнницъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрѣнныхъ; То сельскій домъ — и у окна Сидитъ она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценъ свиданія и объясненія Онъгина съ Татьяною, потому что главная роль въ этой сценъ принадлежитъ Татьянъ, о которой намъ еще предстоить много говорить. Романъ оканчивается отповъдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онъгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдъ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заплючается, что въ нихъ нътъ конца, потому что въ самой дъйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цъли, существа неопредъленныя, никому непонятныя, даже самимъ себъ, словомъ то, что по-французски называется les êtres manqués, les existences avortées. И эти существа часто бывають одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; объщають много, исполняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не отъ нихъ самихъ; тутъ есть fatum, заключающійся въ дъйствительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человъка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другого Онъгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онъгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зъвоть; Лермонтовскій Печоринъ бьется насмерть съ жизнью и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ — разница, а результать одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь, и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онъгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болъе сообразнаго съ человъческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всъ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію? — Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотъть больше ничего знать...

Онъгинъ — характеръ дъйствительный, въ томъ смыслъ, что въ немъ нътъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ

могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дъйствительности и черезъ дъйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дъйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дъйствительно начали по-являться въ русскомъ обществъ.

Съ душою прямо гёттингенской, Красавець, въ полномъ цвъть лѣть, Поклонникъ Канта и поэтъ. Онъ изъ Германіи туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь, И кудри черныя до плечъ.

Онъ пълъ любовь, любви послушный, И пъснь его была ясна, Какъ мысли дъвы простодушной, Какъ сонъ младенца, какъ луна Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ, Богиня тайнъ и вздоховъ нъжныхъ. Онъ пълъ разлуку и печаль, И нючто, и туманну даль, И романтическія розы; Онъ пълъ тъ дальныя страны, Гдѣ долго въ лоно тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый жизни цептъ, Безъ малаго въ осъмнадиатъ льтъ.

Ленскій быль романтикь по натурь и по духу времени. Нъть нужды говорить, что это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въто же время "онъ сердцемъ милый быль невъжда", въчно толкуя о жизни, никогда не зналь ея. Дъйствительность на него не имъла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбиль Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она сдълалась бы вторымъ, исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ея дътскихъ игръ, и за довольнаго собою и своею лошадью улана? — Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписаль ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о ко-

Торыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, — Ольга была очаровательна, какъ и всъ "барышни", пока онъ еще не сдълались "барынями"; а Ленскій видъль въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозръвая будущей барыни. Онъ написалъ "надгробный мадригалъ" старику Ларину, въ которомъ, върный себъ, безъ всякой ироніи, умъль найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онъгина подшутить надъ нимъ онъ увидъль и измъну, и обольщене, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранъе воспътая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онъгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

Быль должень оказать себя Не мячикомъ предразсужденій, Не пылкимъ мальчикомъ, бойпомъ, Но мужемъ съ честью и съ умомъ, —

но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ— верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакивалъ его паденіе:

Друзья мои, вамь жаль поэта:
Во цвътъ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свъта,
Чуть ихъ младенческихъ одеждъ, —
Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья,
И жажда знаній и труда.
И страхъ порока и стыда,
И вы, завътныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзіи святой!

Быть можеть, онъ для блага міра, Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая лира Гремучій, непрерывный звонъ Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Быть можеть, на ступеняхъ свъта Ждала высокая ступень. Его страдальческая тынь, Быть можеть, унесла съ собою Святую тайну, и для насъ Погибъ животворящій гласъ. и за могильною чертою Къ ней не домчится гимнъ временъ, Благословенія племенъ. А можеть быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удъль. Прошли бы юношества лъта, Въ немъ пылъ души бы охладълъ. Во многомъ онъ бы измънился, Разстался бъ съ музами, женился; Въ деревић, счастливъ и рогатъ, Носиль бы стеганый халать; Узналь бы жизнь на самомъ дълъ, Подагру бъ въ сорокъ лътъ имъль Пиль, вль, скучаль, толствль, хирьль, И, наконецъ, въ своей постели Скончался бъ посреди дътей, Плаксивыхъ бабъ и лъкарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылось бы непремънно послъднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тъхъ натуръ, для которыхъ жить значить развиваться и итти впередь. Это, повторяемь, быль романтика, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дълать, кромъ какъ распространить на цълую главу то, что онъ такъ полно высказаль въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всъхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тъмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дълаются этими устарълыми мистиками и мечтателями, которые также непріятны, какъ и старыя пдеальныя дівы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Въчно копаясь въ самихъ себъ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрять на все, что дълается въ міръ и твердять о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о сустахъ этой земли, гдъ есть и голодъ и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нътъ дъвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всъ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романь, поэтически воспроизвель русское общество того времени, и въ лицъ Онъгина и Ленскаго показалъ его главную, т.-е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигь нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ въ лицъ Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всъхъ состояніяхь, во всёхь слояхь русскаго общества, играеть первую роль; но мы не скажемъ, чтобы женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключение остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мъръ, до извъстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычан, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянолюбовь, что мы совстмь переродились въ нъмцевъ, - несмотря на все это, пора намъ, наконецъ, признаться, что еще и до сихъ поръ мы — плохіе рыцари, что наше внимание къ женщинъ, наша готовность жить и умереть для нея, до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свътскою фразой, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрътенія, а заимствованною. Чего добраго! теперь и "поштенное купечество съ бородою, отъ которой попахиваеть "маненько" капустою и лучкомъ, даже и оно, идя по улицъ съ "хозяйкою", ведетъ ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину кольномъ, указывая дорогу и зака. зывая зъвать по сторонамъ; но дома... Однако, зачъмъ говорить, что бываеть дома? Зачемь выносить соръ изъ избы?... Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозъ: "женщина — дарица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество" и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свътскаго): вездъ мужчины — сами по себъ, женщины — сами по себъ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами. какъ-будто жертвуетъ собою изъ въжливости, потомъ встаетъ и съ утомленнымъ видомъ, словно послъ тяжкой работы. идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно

вздохнуть и освъжиться. Въ Европъ женщина дъйствительно царица общества: весель и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говорить, чёмъ съ другими. У насъ наобороть: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобы мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ называется жеманствомъ, если у насъ всв любять поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дъвушкъ, если она не смъетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы ръшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее или даже и огласять ея женихомь? Это значило бы скомпрометировать ее и самому попасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будетъ дъваться отъ дукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмещекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключатъ, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видъть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажуть вамь оть дома и строго запретять дочери быть любезною съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію, новая бъда, страшнье прежней: раскинутъ съти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успъете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человъкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете "исторію", которую долго будете помнить. Отчего все это происходить? — Оттого, что у насъ не понимають и не хотять понимать, что такое женщина, не чувствують въ ней никакой потребности, не желають и не ищуть ея, словомъ, оттого, что у насъ нътъ женщины. У насъ "прекрасный поль" существуеть только въ романахъ, повъстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дъйствительности онъ раздъляется на четыре разряда: на девочекь, на невесть, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ девъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми никто не интересуется; послъднихъ всъ боятся и ненавидятъ (и часто по дъломъ); слъдовательно, нашъ прекрасный полъ состоитъ изъ двухъ отдёловъ: изъ дъвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ,

которыя уже замужемъ. Русская дъвушка — не женщина въ европейскомъ смыслъ этого слова, не человъкъ: она не что другое, какъ невъста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всъхъ мужчинъ, которыхъ видить въ своемъ домъ, и часто объщаетъ выйти замужъ за своего папашу, или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она — невъста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двънадцать лъть, и мать, упрекая ее въ лъности, въ неумъніи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей: "не стыдно ли вамъ, сударыня: въдь вы уже невъста!" Удивительно ди послъ этого, что она не умъетъ, не можетъ смотръть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человъка, и видитъ въ себъ только невъсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лътъ до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, всъ думы, всв мечты, всв стремленія, всв молитвы ея сосредоточены на одной idée fixe: на замужествъ, - что выйти замужъ - ея единственное, страстное желаніе, цъль и смыслъ ея существованія, что вив этого она ничего не понимаеть, ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотрить опять не какъ на человъка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? — Съ восемнадцати лътъ она начинаетъ уже чувствовать, что она — дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадеть съ цёны и не сойдеть съ рукъ. Что же остается ей дълать, если не сосредоточить всвхъ своихъ способностей на искусствъ ловить жениховъ? И тъмъ болъе, что только въ одномъ этомъ отношении и развиваются ея способности, благодаря урокамъ "дражайшихъ родителей", милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительница-маменька? — За то, что она не умъетъ держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіей. Чему она больше всего учить ее? - кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьи лапки,

кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натуръ бъдная дочь, — она невольно входить въ роль, которую дала ей жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходитъ она неряхою, съ непричесанною головой, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкъ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, ъъ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревит, втдь, кто же насъ видитъ, кромъ дворни, — а для нея стоитъ ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидълся экипажъ, объщающій неожиданныхъ гостей, — наша невъста подымаетъ руки и долго держить ихъ. надъ головою, крича впопыхахъ: гости блутъ. гости ъдутъ! Отъ этого руки изъ красныхъ дълаются бълыми: "затъя сельской остроты!" Затъмъ, весь домъ въ смятеніи: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бълье надъваютъ шерстяныя или шелковыя платья, пять льть назадь тому сшитыя. О чистоть былья заботиться смѣшно: вѣдь бѣлье подъ платьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться — извъстное дъло — надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ, тайныя стремленія и жаркіе объты готовы свершиться: кандидать-невъста уже дъйствительная невъста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняда, что онъ имъетъ на нее виды. И ей кажется, что она, дъйствительно, влюблена въ него. Болъзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцъ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракъ. Притомъ же, когда дъло къ спъху и торопятъ, то поневолъ влюбитесь сразу, не имъя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но "дражайшіе родители" учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности, — они не подумали. И хорошо сдъдали: нътъ ничего безполезнъе и даже вреднъе, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если они не подкрыпляются примърами не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностью окружающей его дъйствительности. "Я вамъ примъръ, сударыня!" безпрестанно повторяеть диктаторскимъ мать своей дочери. И дочь преспокойно копируеть свою мать, готовя въ своей особъ свъту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужъ — человъкъ богатый, онъ будетъ доволенъ своею женою: дома у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелъпо, грязно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домъ подымается возня, дълается вавилонское столпотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугь бездна, а не у кого допроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невъста, теперь молодая о дама? — О, она живетъ въ "полномъ удовольствія"! она, наконецъ, достигла цъли своей жизни, она уже не сирота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домъ: она хозяйка у себя дома, сама себъ госпожа, пользуется полною свободой, вздить куда и когда хочеть, принимаеть у себя кого ей угодно; ей уже ненужно болъе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелъвать, мучить мужа, дътей, слугь. У ней бездна затъй: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаеть, но всёхъ превосходить, и мужъ ея едва успъваеть закладывать и перезакладывать имъніе... Дитя новаго покольнія, она убрала по возможности пышно, котя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какую-то получистоту, полуопрятность: въдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты напоказъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной и дътской, въ кабинетъ мужа, — словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у нея безпрестанно гости, возлъ нея безпрестанно кружокъ; но она плъняеть гостей своихъ не свътскимъ умомъ, не грацією своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора, нътъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у нея все лучше — и убранство комнатъ, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, не много... Содержание разговоровъ составляютъ сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благословиль ея замужество — что ни годь, то ребенокъ. Какъ же будеть воспитывать дътей своихъ! — Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябають въ дътской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лонъ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила нравственности, развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различе домового отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примѣты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснѣя, пріучить безпрестанно ѣсть, никогда не наѣдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферою, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай, что хочетъ, съ мальчиками, а дѣвочекъ поучатъ прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепіано, немножко болтать по-французски — и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота — ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдеть за человъка небогатаго, хотя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умънія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревнъ никогда ничего не дълала (потому что барышня въдь не холопка какая-нибудь, чтобы стала что-нибудь дълать), ничъмъ не занимаясь, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домъ, — этого она нигдъ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ — значитъ сдълаться барынею; стать хозяйкою, значитъ — повелъвать всъми въ домъ и быть нолною госпожею своихъ поступковъ. Ея дъло — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвиняете ее во всемъ этомъ? Какое имъете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тъмъ, чъмъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинить даже ея родителей? Развъ не вы сами сдълали изъ женщины только невъсту и жену, и ничего болъе? Развъ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества жещины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дъйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь имъть друга въ женщинъ, въ которую вы совстмъ не влюблены, сестру въ женщинъ вамъ посторонней? — Нътъ! если вы входите

въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто утилитарный, почти коммерческій: одна для васъ — капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бывають бользненными наростами на тыль общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждаютъ собою наши такъ называемыя "идельныя дъвы". Онъ, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читають, много и скоро, вдять книги. Но какъ и что читають онв, Боже великій!... Всего достолюбезнъе въ идеальныхъ дъвахъ увъренность ихъ, что они понимаютъ то, что читаютъ, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всё онё обожательницы Пушкина, — что однакожъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, — что однакожъ нисколько не мъщаетъ имъ восхищаться повъстями гг. Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онъ видятъ свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, т.-е. идеальность, — видять ее даже и тамъ, гдъ ея вовсе нътъ, или гдъ она осмъивается. У всъхъ у нихъ есть завътныя тетрадки, куда онъ списывають стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразять ихъ въ книгъ. Онъ любять гулять при лунь, смотрыть на звызды, слыдить за теченіемъ ручейка. Онъ очень наклонны къ дружбъ, и каждая ведеть дъятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живетъ съ нею въ одной деревнъ, а иногда и въ одномъ домъ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають онъ другь другу свои чувства, мысли, впечатльнія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведетъ свой дневникъ, весь наполненный "выписными чувствами", въ которыхъ (какъ во всъхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ

натуръ мужеска и женска пола) нътъ ничего живого, истиннаго, только претензія и идеальничанье. Онъ презирають толпу и землю, и питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отръшиться оть матеріи. Для этого онъ морять себя голодомъ, не ъдятъ иногда по цълой недълъ, жгутъ на свъчкъ пальцы, кладуть себъ на грудь подъ платье снъгу, пьютъ уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна, — и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успъваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Въдь крайности сходятся! Всъ простыя человъческія, и особенно женскія чувства, какъ напр., страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчинъ, въ которомъ нътъ ничего необыкновеннаго, геніальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не бъденъ, -- всъ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смъщными и презрънными. Особенно интересны понятія "идеальныхъ дъвъ" о любви. Всъ онъ — жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онъ признають только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанація любви въ ихъ глазахъ; счастіе — опошленіе любви. Имъ непремънно надо любить въ разлукъ, и ихъ высочайшее блаженство — мечтать при лунъ о предметь своей любви и думать: "можеть быть, въ эту минуту, и онг смотрить на луну и мечтаеть обо мнъ; такъ, для любви нътъ разлуки!" Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дъвы считають себя птицами; плавая въ мутной водъ искусственно нервической экзальтаціи, онъ думають, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все "высокое и прекрасное", онъ любять только себя; онъ и не подозръвають, что только тъщать свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазіи, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измъняють свои. убъжденія, и изъ идеальныхъ дъвъ скоро дълаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазіи доходить до того, что онъ на всю жизньостаются восторженными девственницами, и такимъ образомъдо семидесяти лѣтъ сохраняютъ способность къ сентиментальной экзальтаціи, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумливаются; но прежнее ихъ ложное направленіе навсегда дѣлается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно дурно залѣченной болѣзни, отравляютъ ихъ спокойствіе и счастіе. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ идеалъ брачнаго счастія, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дівами всіхь родовь бывають, по большей части, дівицы, которых развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмъсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дёйствительность въ самомъ дёлё очень пошла, и ими невольно овладъваеть неотразимое убъжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой действительности. А между темь, самобытное, не на почвъ дъйствительности, не въ сферъ общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двъ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всъ, или быть пошлыми оригинально. Онъ избирають послъднее, но думають, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дълъ только перевалилась изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустиве: между подобными несчастными созданіями бывають натуры, не лишенныя истинной потребности болье или менье человъческиразумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій, изрѣдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры геніальныя, не подозрѣвающія своей геніальности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отепъ—

не то, чтобы, ужъ очень глупъ, да и не совсъмъ уменъ; не то, чтобы человъкъ, да и не звърь, а что-то въ родъ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы — растительному и животному.

Онъ быль простой и добрый баринъ. И тамъ, гдъ прахъ его лежитъ, Надгробный памятникъ гласитъ: "Смиренный грпиникъ Дмитрій Ларинъ, Господній рабъ и бригадиръ, Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ".

Этоть мирь, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же мира, которымъ "добрый баринъ" наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свътъ такіе люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не производитъ ровно никакой перемѣны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ен стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества, она обожала Ричардсона, не потому, чтобы прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины наслышалась о Грандиссонъ. Помолвленная за Ларина, она втайнъ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вънцу, не спросившись ен совъта. Въ деревнъ мужа она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тъхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она ѣзжала по работамъ, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила въ баню по субботамъ, Служанокъ била осердясь — Все это мужа не спросясь.

Бывало писывала кровью Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ, Звала Полиною Прасковью И говорила нараспѣвъ; Корсетъ носила очень узкій, И русскій Н, какъ N французскій Произносить умѣла въ носъ; Но скоро все перевелось: Корсетъ, альбомъ, княжну Полину, Стишковъ чувствительныхъ тетрадь

Она забыла— стала звать Акулькой прежнюю Селину, И обновила, наконецъ, На ватъ шлафоръ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъсвътъ милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась Сосъдей добрая семья, Неперемонные друзья, — И потужить, и позлословить, И посмъяться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумный О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ, Конечно, не блисталь ни чувствомъ, Ни поэтическимъ огнемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитъя искусствомъ; Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менъе ученъ.

И вотъ, кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла-Татьяна! Правда, туть были два существа, ръзко отдълявшіяся отъ этого круга — сестра Татьяны, Ольга, и женихъ последней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ, просто, сама не зная за что, частью по привычкъ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другого міра, что они не поймуть ея. И дъйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣваль, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скоръе странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менъе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкъ и которое все зависъло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утъщилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дівочки, сділалась дюжинной барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измъненіями, которыхъ требовало время. Но совсъмъ не такъ легко опредълить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ нътъ этихъ болъзненныхъ противоръчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ будто вся изъ одного цъльнаго куска, безъ всякихъ придълокъ и примъсей. Вся жизнь ея проникнута тою цълостностью, тъмъ единствомъ, которое въ міръ искусства составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дъвушка, потомъ свътская дама, — Татьяна во всъхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дътствъ, такъ мастерски написанный поэтомъ впослъдствіи, является только развившимся, но не измънившимися:

Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лёсная боязлива, Она въ семьё своей родной Казалась дёвочкой чужой. Она ласкаться не умёла Къ отцу, ни къ матери своей; Дитя сама, въ толите дётей Играть и прыгать не хотёла, И часто цёлый день одна Сидёла молча у окна.

Задумчивость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дътскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ и звонкій смъхъ дътскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимой, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ,
И долѣ въ праздной тишинѣ,

При отуманенной лун'в, Востокъ лънивый почиваетъ, Въ привычный часъ пробуждена Вставала при свъчахъ она.

Итакъ, лътнія ночи посвящались мечтательности, зимнія — чтенію романовъ, — и это среди міра, имъвшаго благоразумную привычку громко храпъть въ это время! Какое противоръчіе между Татьяною и окружающимъ ее міромъ! — Татьяна это ръдкій прекрасный цвътокъ, случайно выросшій въ разселинъ дикой скалы,

Незнаемый въ травъ глухой Ни мотыльками ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгъ, гораздо больше идуть въ Татьянъ. Какіе мотылки, какія пчелы могли знать этотъ цвътокъ или плъняться имъ? Развъ безобразные слепни, оводы и жуки, въ роде господъ Пыхтина, Буянова, Пътушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можеть пленять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурою, и которыхъ такъ мало на свътъ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свътъ. Этимъ послъднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенскою свъжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видъть кротость, послушливость и безотебтность въ отношени къ будущему мужу — качества драгоценныя для ихъ грубой животности, не говоря уже о расчетахъ на приданое, на родство и т. п. Стоящіе же въ серединъ между этими двумя разрядами людей всего менъе могли оцънить Татьяну. Надобно сказать, что всв эти серединныя существа, занимающія мъсто между высшими натурами и чернью человъчества, эти таланты, служащіе связью геніальности съ толпою, по большей части — все люди "идеальные", подъ-стать идеальнымъ дъвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себъ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все діло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита насчетъ всёхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство; но еще больше сентиментальности, и еще больше

охоты и способности наблюдать свои ощущенія и въчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умъ часто бываетъ многоблеска, но никогда не бываеть дъльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, — это то, что въ нихъ нътъ страстей, за исключениемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тъмъ, что они бездъятельно и безплодно погружены въ созерцание своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но также не холодныя, какъ и не горячія, онъ дъйствительно обладають жалкою способностью вспыхивать на минуту отъ всего и ни отъ чего. Поэтому они только и толкують, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнъ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозръвая, что все это дъйствительно буря, но только не на морт, а въ стакант воды. И нътъ людей, которые бы менъе ихъ способны были оцънить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человъка, глубоко чувствующаго, неподдъльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что, если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случав, она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна модчалива, дика, ничёмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходить въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ къмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говорить ни о чувствахъ вообще ни о своихъ собственныхъ въ особенности?... Если вы сосредоточены въ себъ. и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, -- мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявять васъ существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имъете наклонность иронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цёломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь дль нея могла быть

или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бъдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастіи взаимности любовь такой женщины -- ровное, свътлое пламя; въ противномъ случав - упорное пламя, которому сила воли, можеть-быть, не позволить прорваться наружу, но которое тъмъ разрушительнъе и жгучее, чъмъ больше оно сдавлено внутри. Счатливая жена, Татьяна спокойно, но тъмъ не менње страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполнъ пожертвовала бы собою дътямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвъ, въ строгомъ выполнении своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внъшнимъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодностью, которыя составляють достоинство и величіе глубокихь и сильныхь натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тъ особенности, которыя составляють ея характерь.

Татьяна не избъгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дъвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ міръ подобныхъ явленій, — и теперв не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаетъ не смъхъ, а живое сочувствіе, — но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на "идеальныхъ дъвъ", а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смъшного и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность. Съ одной стороны—

> Татьяна върила преданьямъ Простонародной старины: И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, И предсказаніямъ луны. Ее тревожили предметы: Таинственно ей всъ примъты Провозглашали что-нибудь, Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ со страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно въ русской женщинь. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждъ любви; ничто другое не говорило въ ея душъ; умъ ея спаль, и только развъ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, — да и то для того, чтобы сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дъвические дни ея ничъмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было техъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновъсіи нравственныя силы человъка. Дикое растеніе, вполнъ предоставленное самому себъ, Татьяна создала себъ свою собственную жизнь, въ пустотъ которой тъмъ мятежнъе горъль пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничёмъ не быль STREET TO THE PROPERTY AND PURPOSE OF THE PROPERTY OF THE PROP

> Давно ен воображенье, Сгоран нѣгой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томленье Тѣснило ей младую грудь; Душа ждала... кого-нибудь, И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это онг! Увы! теперь и дни, и ночи, И жаркій, одинокій сонъ, — Все полно имъ; все дѣвѣ милой Безъ умолку, волшебной силы Твердитъ о немъ.

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Читаетъ сладостный романъ, Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьетъ обольстительный обманъ! Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліи Вольмаръ, Малекъ-Адель и де Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежный И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводитъ сонъ;

Всѣ для мечтательницы нѣжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онѣгинѣ слились. Воображаясь героиней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ: Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ Одна съ опасной книгой бродить, Она въ ней ищетъ и находитъ Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты; Вздыхаетъ и, себъ присвоя Чужой восторъ, чужую грусть, Въ забвеньи шепчетъ наизусть Письмо для милаго героя...

Здъсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачёмъ было изображать Онъгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона), Затъмъ, что для Татьяны не существоваль Онвгинъ, котораго она не могла ни понимать ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значеніе, напрокать взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать ни знать. Зачёмъ было ей воображать себя Кларисою, Юлією, Дельфиною? Затъмъ, что она и самоё себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онъгина. Повторяемъ: созданіе страстное, глубоко чувствующее и въ то же время неразвитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуей, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внъшней красотъ, но подобною египетской статуъ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нъмымъ существомъ, и ея пылающій и сохнущій языкъ не обръзъ бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онъгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, — все же началась она нъсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менъе могла полюбить кого-нибудь изъ извъстныхъ ей мужчинъ: она такъ

хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругь является Онъгинъ.

Онъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свътскость, неоспоримое превосходство надъ всёмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни — все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее къ ръшительному эффекту перваго свиданія съ Онъгинымъ. И она увидала его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрышимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщение для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имветь гораздо болъе вліянія на сердце, нежели какъ думають объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоить только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онъ ваши; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчина можетъ возбудить къ себъ только равнодушіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бъдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гонить,
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонитъ,
И лѣнь ей далѣе ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ покрыты,
Дыханье замерло въ устахъ,
И въ слухѣ шумъ, и блескъ въ очахъ...
Настанетъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальній сводъ небесъ,
И соловей во мглѣ древесъ
Напѣвы звучные заводитъ.
Татьяна въ темнотѣ не спить
И тихо съ няней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ няней — чудо художественнаго совершенства! Это цълая драма, проникнутая глубокою истиной. Въ ней удивительно върно изображена русская барышня въ разгаръ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда

порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце! — сестръ? — она не такъ бы поняда его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну — или, лучше сказатъ, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

... "Разскажи миъ, ияня, Про ваши старые года: Была ты влюблена тогда? - И, полно, Таня! Въ эти лъта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница-свекровь. "Да какъ же ты вънчалась, няня?" - Такъ, видно, Богъ велълъ. Мой Ваня Моложе быль меня, мой свыть, А было мнв тринадцать льть. Недъли двъ ходила сваха Къ моей родив, и, наконецъ, Благословилъ меня отепъ. Я горько плакала со страха: Мнъ съ плачемъ косу расплели, И съ пъньемъ въ церковь повели. И вотъ, ввели въ семью чужую...

Воть какъ пишетъ истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдълано великимъ поэтомъ одною чертой, вскользь, мимоходомъ брошенною!... Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

— И, полно, Таня! Въ эти лѣта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свѣта Меня покойница-свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности— и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаніи, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатною барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца...

Письмо Татьяны свело съ ума всъхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава "Онъгина". Мы, вмъстъ со всъми, думали въ немъ видъть высочайній образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли, и писалъ и читалъ это письмо. Но съ тъхъ поръ воды много утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то дътскостью, чъмъ-то "романическимъ". Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно-нъмотствующей Татьянъ: она не умъла бы ни понять ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибъгла къ помощи впечатлъній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою:

"Я вамъ пишу - чего же боль? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, въ вашей волъ Меня презръньемъ наказать. Но вы, къ моей несчастной доль Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотъла; Повърьте: моего стыда Вы не узнали бъ никогда, Когда бъ надежду я имъла, Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ, Въ деревив нашей видеть васъ, Чтобъ только слышать ваши ръчи, Вамъ слово молвить, и потомъ Все думать, думать объ одномъ И день и ночь, до новой встречи. Но, говорять, вы нелюдимъ; Въ глуши, въ деревиъ, все вамъ скучно; А мы... ничемъ мы не блестимъ, Хоть вамъ и рады простодушно. Зачемъ вы посетили насъ? Въ глуши забытаго селенья Я никогда не знала бъ васъ, Не знала бъ горькаго мученья, Души неопытной волненья Смиривъ со временемъ (какъ знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы върная супруга И добродътельная мать".

Прекрасны также стихи въ концъ письма:

...Судьбу мою Отнынів я тебів вручаю, Передь тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я здісь одна, Никто меня не понимаеть, Разсудокъ мой изнемогаеть, И молча гибнуть я должна".

Все въ письмъ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что истинно и просто вмъстъ. Сочетание простоты съ истиною составляетъ высшую красоту и чувства, и дъла, и выражения...

Если бы мы вздумали следить за всеми прасотами поэмы Пушкина, указывать на всё черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случав ни нашимъ выпискамъ, ни нашей стать в не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно оцънена публикою. и все лучшее въ ней у всякаго въ памяти. Мы предположили себъ другую цъль: раскрыть, по возможности, отношение поэмы въ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ предметь нашей статьи - характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ — объяснение Онъгина съ Татьяною въ отвътъ на ея письмо. Какъ подъйствовало на нее это объясненіе, понятно: всь надежды бъдной дъвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себъ для внъшняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горъть тъмъ упорнъе и напряженные, чымь глуше и безвыходные. Несчастие даеть новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже вравится исплючительность ихъ положенія; онъ любять свое горе, лельють свое страданіе, дорожать имь, можетъ-быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онъ своимъ счастіемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лъсу нашего общества, гдъ бы и скоро ли бы встрътила Татьяна другое общество, которое, подобно Онъгину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ея души на другой предметь? Вообще, несчастная, нераздъденная любовь, которая упорно переживаеть надежду, есть

явленіе довольно бользненное, причина котораго, по слишкомъ рѣдкимъ и, вѣроятно, чисто физіологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда сильнѣе, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцѣ. Картина глухихъ, никѣмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главѣ съ удивительной истиною и простотою. Посѣщеніе Татьяною опустѣлаго дома Онѣгина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всѣхъ предметахъ котораго лежитъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозяина, — принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоцѣннѣйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посѣщеніе —

И въ молчаливомъ кабинетъ, Забывъ на время все на свътъ, Осталась, наконецъ, одна, И долго плакала она. Потомъ за книги принялася, Сперва ей было не до нихъ; Но показался выборъ ихъ Ей страненъ. Чтенью предалася Татьяна жадною душою: И ей открылся міръ иной

И начинаеть понемногу Моя Татьяна понимать Теперь ясите, слава Богу, Того, по комъ она вздыхать Осуждена судьбою властной...

Ужель загадку разрѣшила? Ужели слово найдено?...

Итакъ, въ Татьянъ, наконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея проснудся. Она поняда, наконецъ, что есть для человъка интересы, есть страданія и скорби, кромъ интереса страданій и скорби любви. Но поняда ди она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поняда, послужило ди это ей къ обдегченію ея страданій? Конечно, поняда, но только умомъ, головою, потому что есть идеи, которыя надо пережить и душою и тъломъ, чтобы понять ихъ

вполив, и которыхъ нельзя изучить въ книгв. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатлъніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотръть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покоряться дъйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, въ глубинъ своей души, въ тиши уединенія, во мракъ ночи, посвященной тоскъ и рыданіямъ. Посъщеніе дома Онъгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дівочки въ світскую даму, которое такъ удивило и поразило Онъгина. Въ предшествовавшей статъъ мы уже говорили о письмъ Онъгина къ Татьянъ и о результать всых его страстных посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онфгинымъ. Въ этомъ объясненіи все существо Татьяны выразилось вполив. Въ этомъ объяснении высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокою натурой, развитою обществомъ, все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонёрство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродътелью, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мнвнія, и хитрые силлогизмы ума, свътскою моралью парализовавшаго великодушныя движенія сердца. Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

"Онъгинъ, помните ль тотъ часъ, Когда въ саду, въ алеъ, насъ Судьба свела, и такт смиренно Урокт вашт выслушала и? Сегодня очередъ моя:

Онъгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила васъ; и что же? Что въ сердцъ вашемъ я нашла, Какой отвътъ? Одну суровость. Не правда ль? Вамъ была не новость Смиренной дъвочки любовь? И нынче — Боже! — стынетъ кровь, Какъ только вспомню взглядъ холодный И эту проповъдь...

Въ самомъ дѣлѣ, Онъгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ее тогда, когда она была моложе и лучше и любила его! Въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Воть понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нъмая деревенская дівочка съ дітскими мечтами — и світская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрътшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнънію Татьяны, она болье способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядъ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онъгина одну суровость? "Вамъ была не новость смиренной дъвочки любовь?" Да это уголовное преступление не подорожить любовью нравственнаго эмбріона!.. Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слъдуетъ и оправданіе.

... Но васъ

Я не виню: въ тотъ страшный часъ
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

Основная мысль упрековъ Татьяны состоить въ убъждении что Онъгинъ потому только не полюбилъ ея тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ея ногамъ жажда скандалёзной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добродътель...

"Тогда — не правда ли? — въ пустынѣ, Вдали отъ суетной молвы, Я вамъ не нравилась... Что жъ нынѣ Меня преслъдуете вы? Зачъмъ у васъ я на примътъ? Не потому ль, что въ высшемъ свътъ Теперь являться я должна, Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувъченъ; Что насъ за то ласкаетъ дворъ? Не потому ль, что мой позоръ Теперь бы веъми былъ замъченъ, И могъ бы въ обществъ принесть Вамъ соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани Вы не забыли до сихь поръ, То знайте: колкость вашей брани Холодный, строгій разговорь, Когда бъ въ моей лишь было власти, Я предпочла бъ обидной страсти И этимъ письмамъ и слезамъ. Къ моимъ младенческимъ мечтамъ Тогда имъли вы хоть жалость, Хоть уваженіе къ лѣтамъ... А нынче! . Что къ моимъ ногамъ Васъ привело? Какая малость! Какъ, съ вашимъ сердцемъ и умомъ, Быть чувства мелкаго рабомъ?"

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепеть за свое доброе имя въ большомъ свътъ, а въ слъдующихъ затъмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрънія къ большому свъту... Какое противоръчіе! И что всего грустиве, то и другое истинно въ Татьянъ...

"А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта, — Постылой жизни мишура, Мои усиѣхи въ вихрѣ свѣта, Мой модный домъ и вечера, — Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ, За полку книгъ, за дикій садъ, За наше бѣдное жилище, За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ, Онѣгинъ, видѣла я васъ, Да за смиренное кладбище, Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей Надъ бѣдной няною моей".

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любить свъта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свъть — его мнъніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродътелью...

А счастье было такъ возможно, Такъ близко! . Но судьба моя Ужъ ръшена. Неосторожно, Быть можетъ, поступила я: Меня съ слезами заклинаній Молила мать; для б'ёдной Тани Вс'ё были жребіи равны... Я вышла замужъ. Вы должны, Я васъ прошу, меня оставить; Я знаю: въ вашемъ сердц'ё есть И гордость и прямая честь. Я васъ моблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду въкъ ему върна".

Послъдніе стихи удивительны — подлинно "конецъ вънчаетъ дъло"! Этотъ отвътъ могъ бы итти въ примъръ классическаго "высокаго" (sublime), наравнъ съ отвътомъ Медеи: moi! и стараго Горація: qu'il mourût! Вотъ истинная гордость женской добродътели! "Но я другому отдана", — именно отдана, а не отдалась!

Итакъ, въ лицъ Онъгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразиль русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою истиною, съ какою върностью, какъ подно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествъ вставочныхъ портретовъ, силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: всеэто такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оцънено ею по достоинству... Замътимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмъ, вездъ является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время, по преимуществу, артистическою. Вездъ видите вы въ немъ человъка, душою и тёломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездъ видите русскаго помъщика... Онъ нападаетъ въ этомъ класст на все, что противортчитъ гуманности; но принципъ класса для него — въчная истина... И потому, въ самой сатиръ его такъ много любви, самое отрицание его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главъ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ "Онъгинъ" многое устаръло теперь. Но безъ этого, можетъ-быть, и не вышло бы изъ "Онъгина" такой полной и подробной поэмы

русской жизни, такого опредъленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществъ такъ быстро развивающейся...

"Онъгинъ" писанъ былъ въ продолжение нъсколькихъ льть, -- и потому самъ поэть рось вмъстъ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснве и зрвлве. Но последнія двъ главы ръзко отдъляются отъ первыхъ шести: онъ явно принадлежать уже къвысшей, эрълой эпохъ художественнаго развитія поэта. О красоть отдыльных мюсть нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онъгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послъднихъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посъщеніе Татьяною дома Онъгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно прекрасными стихами... Отступленія, дълаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себъ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты, личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмъ онъ умъль коснуться такъ многаго, намекнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! "Онъгина" можно назвать энциклопедіею русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имъла также огромное вліяніе и на послъдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послъ него стояніе на одномъ мъстъ сдълалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводить съ собою новыя потребности, новыя идеи, пусть растеть русское общество и обгоняеть "Онъгина": какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключеніе нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлъніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажуть то, что бы хотьлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой покольныя, По тайной воль Провидьныя, Восходять, эрвють и падуть; Другія имъ воследь идуть... Такъ наше вътреное племя Растеть, волнуется, кипить И къ гробу прадъдовъ тъснить. Придеть, придеть и наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытъснять и насъ. Покамъсть упивайтесь ею, Сей легкой жизнію, друзья! Ея ничтожность разумью И къ ней привязанъ мало я; Для призраковъ закрыль я въжды: Но отдаленныя надежды Тревожать сердце иногда: Безъ непримътнаго слъда Мнъ было бъ грустно міръ оставить. Живу, пишу не для похваль; Но я бы, кажется, желаль Печальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мив, какъ вврный другь, Напомниль хоть единый звукъ И чье-нибудь онъ сердце тронеть; И сохраненная судьбой, Быть можеть, въ Летъ не потонеть! Строфа, слагаемая мной; Быть можеть — лестная надежда! — Укажеть будущій нев'ьжда На мой прославленный портреть, И молвить: то-то быль поэть! Прими жъ мое благодаренье. Поклонникъ мирныхъ аонидъ, О, ты, чья память сохранить Мои летучія творенья. Чья благословенная рука Потреплеть лавры старика!

Бълинскій.

Онъгинъ, какъ общественный типъ.

Типъ Онъгина могъ сложиться у Пушкина вслъдствіе хорошаго знакомства съ столичною средою, въ которой онъ вращался съ юныхъ лътъ до самаго того времени, когда созръла въ немъ возможность отлить его въ полный жизни образъ. Черты домашняго воспитанія онъ могъ заимствовать отчасти даже и изъ собственнаго дѣтства: среда его отца, Сергѣя Львовича, и дяди Василія Львовича, была тою средою, которая, менѣе сближаясь съ представителями современной образованности, нежели эти ея болѣе цивилизованные члены, — въ юномъ поколѣніи, между прочимъ, порождала Онѣгиныхъ. Припомнимъ тѣ строки изъ "Лицейскихъ записокъ" Пушкина, которыя начинаются такъ: "Семья моего отца, его воспитаніе, французы-учителя:... m-г Martin. Отецъ и дядя въ гвардіи... Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины — рожденіе Ольги. Отецъ выходитъ въ отставку... Рожденіе мое". И далѣе подъ 1812 и 1813 гг., когда поэту было 13 и 14 лѣтъ, отъ отмѣчаетъ: "Дядя Василій Львовичъ... Свѣтская жизнь".

M-r l'abbé, который ходиль за Евгеніемъ,

Слегка за шалости браниль И въ Лътній садъ гулять водиль;

ранняя свобода Онъгина, дендизмъ, внъшніе свътскіе пріемы, длинные тщательно обточенные ногти, французскій разговорный языкъ, остроуміе и эпиграммы, эпикуреизмъ, охотное посъщеніе ресторановъ, театральныя знакомства — все это черты собственной жизни, и привычекъ молодого Пушкина, изъ которыхъ многія остались на всю жизнь. Можно безъ преувеличенія сказать: исключите изъ юнаго Пушкина его поэтическую душу — и получилось бы лицо, во многомъ сходное съ Онъгинымъ. Но и объ этомъ внъшнемъ игъ времени и среды Пушкинъ неоднократно жалълъ и въ лирическихъ стихотвореніяхъ своихъ и въ отступленіяхъ романа. Таковы слова 30-й строфы 1 главы:

Увы на разныя забавы Я много жизни погубиль:

"Я балы бъ до сихъ поръ любилъ", прибавляетъ Пушкинъ, "если бъ не страдали нравы". Эту-то безнравственность свътской жизни помогла ему совлечь съ себя поэтическая его природа. Онъгинъ изображенъ лишеннымъ именно этой поэтической природы — и въ этомъ характерная противоположность съ творцомъ романа его героя, который, хотя снисходительно и слушалъ отрывки съверныхъ поэмъ Ленскаго, но не имъя страсти

Для звуковь жизни не щадить, Не могь онъ ямба отъ хорея, Какъ мы ни бились, отличить; Бранилъ Гомера, Өсокрита...

Родители поэта стояли выше родителей Онъгина — и уже послъдовали инымъ въяніемъ своего временн, благодаря близости къ такимъ лицамъ, какъ А. И. Тургеневъ, содъйствовавшій опредъленію сына въ Лицей: но это были исключительныя обстоятельства на томъ общественномъ слов, которому они принадлежали, и бытовыя черты воспитанія и жизни, безпощадно выставленныя Пушкинымъ въ I главъ романа, не были чужды его собственнымъ до-лицейскимъ воспоминаніямъ. Они подтверждаются біографическими данными о жизни самого поэта или его близкихъ. Такъ, гувернеры Русло и Монфоръ, имена которыхъ съ неудовольствіемъ заносить онъ въ "Лицейскія записки" о своемъ домашнемъ воспитанін до перевзда въ Петербургъ, и іезуиты, тамъ же упоминаемые по перевздв въ новую столицу, - вводять насъ въ тотъ кругъ представленій, среди которыхъ долженъ былъ сложиться образъ monsieur l'abbé. Итакъ, воспитаніе, порученное эмигранту, въ "Евг. Онъгинъ" — черта настолько же біографическая, насколько и обще-бытовая. Мемуары и конца прошлаго и начала нынъшняго въка представляють не мало тому подтвержденій. Такъ Вигель, описывая семью кн. Голицына, изображаеть воспитание молодыхъ князей подъ руководствомъ Шевалье де Роленъ де Бельвиля слъдующими чертами: "Развитіе ихъ умственныхъ способностей оставлено было на произволь судьбы; никакихъ наставленій они не получали, никакихъ правиль объ обязанностяхъ человъка имъ преподаваемо не было. Гувернеръ ими очень мало занимался и только изръдка, какъ Онъгина, слегка бранилъ... Какого рода гражданское воспитаніе было въ рукахъ подобныхъ эмигрантовъ, могуть свидътельствовать дальнъйшія слова Вигеля: "Объ отечествъ своемъ говорилъ, какъ всъ французы, безъ чувства, но съ хвастовствомъ — и съ состраданіемъ болье, чымь съ презрыніемъ, о нашемъ варварствъ"... "При Павлъ размножились у насъ эмигранты: не было полка въ арміи, въ коемъ бы не находилось ихъ по два и по три человъка. Вообще тъмъ, коимъ удалось попасть въ службу, болье другихъ посчастливилось... Не такова была участь тъхъ, кои принуждены были приняться

за воспитаніе дѣтей; званіе учителя, въ нашихъ варварскихт, понятіяхъ, казалось намъ немного выше холопа-дядьки, вѣчнаго соперника мусью. Французы это замѣтили; но какъ не было возможности ихъ всѣхъ помѣстить на службу, ибо прибывающія ихъ толпы безпрестанно увеличивались, то, слѣдуя нашей пословицѣ (я думаю, у нихъ и заимствованной): "плоха честь, когда нечего ѣсть", они разсѣялись по лицу земли русской, чтобы какимъ-либо образомъ добывать себѣ хлѣбъ. Умножающееся употребленіе французскаго языка способствовало имъ къ отысканію мѣстъ; скоро въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ, веякій небогатый даже помѣщикъ началъ имѣть своего маркиза. Не было у насъ для французовъ середины: ils devenaient outchitels ou grands seigneurs".

Таковы были учителя изъ эмигрировавшихъ французскихъ дворянъ-роялистовъ или выдававшихъ себя за таковыхъ. Представителемъ ихъ въ "Евгеніи Онъгинъ" можетъ считаться Трике, кочевавшій изъ одного пом'вщичьяго дома въ другой: недавно изъ Тамбова — теперь учитель въ семьъ Харликовыхъ. Конечно, выше ихъ по своему образованію, но не по уваженію и любви къ Россіи, стояли іезуиты, встрътившіе гостепріимный пріемъ въ русскомъ обществъ. Эти предпочитались столичною средою — и не удивительно, что одинъ изъ нихъ выведень у Пушкина воспитателемъ Онъгина, впрочемъ, какъ видно, изъ плохонькихъ. Кн. П. А. Вяземскій (бывшій на 7 лътъ старше Пушкина) въ воспоминаніяхъ о своемъ дътствъ береть петербургскихъ воспитателей-іезуитовъ подъ защиту: онъ ведеть ръчь о педагогическомъ персоналъ језуитскаго коллегјума, гдъ самъ воспитывался, и куда первоначально предполагали помъстить и Пушкина, — однако не представляеть убъдительныхъ фактовъ о добромъ нравственномъ вліяній даже этихъ педагоговъ, конечно, стоявшихъ неизмъримо выше "убогаго" воспитателя Онъгина. Изъ собственной же пансіонской жизни, какъ нарочно, кн. Вяземскій вспоминаетъ лишь одно изъдъйствій своихъ воспитателей, такъ совпадающее съ упомянутымъ въ "Евг. Онъгинъ". "У меня въ Петербургъ" пишетъ онъ, "близкихъ родственниковъ не было. По большей части оставался я, подобно другимъ безроднымъ товарищамъ дома. Въ утъшеніп водили наст вт Лютній садт. Льтомъ ректоръ-патеръ..., который особенно любиль и какъ-то отличаль меня, иногда бралъ меня на дачу, въ семейство голландскаго купца... тамъ,

кромъ особаго и лакомаго угощенія, забавлялся я игрою въ кегли. Вечеромъ, когда возвращались домой счастливцы, которые провели день въ семейномъ кругу или въ большомъ свъть, въстямъ и разсказамъ не было конца. Къ нимъ я жадно прислушивался. Зародыши будушаго мірянина и свътскаго человъка пробуждались во мнъ". Кн. Вяземскій указываеть лишь на одного изъ товарищей, обучившагося у іезуитовъ хорошо (Северина). Другіе въ его описаніи не отличаются отъ заурядной молодежи свътскаго круга того времени: "Юшковъ — уже и тогда ваятель и ръзчикъ, но изъ картъ — будущій охотникъ до лошадей и знатокъ ихъ, искусно выръзывалъ породистыхъ лошадей, которыми товарищи любовались и даже промышляли, пуская между собою въ продажу и мъну"; "Брусиловъ будущій герой многихъ не писанныхъ, но осуществившихся романовъ"; "Энгельгардтъ (Вас. Вас.) — впослъдствии расточительный богачъ, не пренебрегавний веселіями жизни, крупный игрокъ, впрочемъ, кажется, на въку своемъ болъе проигравшій, построитель въ Петербургъ дома, сбивающагося немножко на парижскій Пале-Рояль, со своими публичными увеселеніями, кофейнями, ресторанами". "Пушкинъ", прибавляетъ кн. Вяземскій, "очень любиль Энгельгардта за то, что онъ охотно игралъ въ карты, и за то, что очень удачно игралъ словами. Острыя выходки и забавные куплеты его ходили по городу; и въ пансіонъ еще промышлять онъ этимъ, между прочимъ и на мой счеть; тотчасъ по водворени моемъ привътствоваль онъ меня куплетомъ:

Mon Prince,
De quelle province?
— Coucou,
De Moscou.

Можно себъ представить, съ какимъ единогласіемъ весь пансіонскій людъ подхватиль этоть куплеть. Мнѣ прохода не давали"... "Одно время воспитанники забавлялись пусканіемъ мыльныхъ пузырей". Вотъ картины изъ жизни іезуитскихъ воспитанниковъ, которыя, вопреки волѣ писавшаго ихъ, служатъ прекраснымъ комментаріемъ къ строфамъ о воспитаніи Онѣгина, отецъ котораго предпочелъ только вмѣсто того, чтобъ отдавать сына въ пансіонъ, взять къ нему аббата въ домъ, чтобы потомъ прогнать его, когда "юности мятежной придетъ Евгенію пора".

Другой современникъ Пушкина характеризуетъ такъ воспитаніе того круга, который изображень въ "Онъгинъ": "Отцы наши... оставили въ сторонъ" всъ "безполезныя вещи" которыя я не назову, чтобы не прослыть педантомъ, и очень были рады, что вся мудрость человъческая ограничилась объдомъ, ужинами и прочими тому подобными полезными предметами. Между тъмъ у отцовъ нашихъ завелись дъти, дошло дъло до воспитанія; они благоразумно продолжали во всемъ сомнъваться, смъясь надъ системами... Между тъмъ ихъ дъти росли, росли и, наперекоръ добрымъ людямъ, сами составили для себя систему жизни, - однако систему не мечтательную, а въ которой помъстились эпиграмма Вольтера, анекдотъ, разсказанный бабушкою, стихъ изъ Парни, нравственно-ариометическая фраза Бентама, насмъщливое воспоминание о примъръ дія прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, законъ о карточной чести и прочее тому подобное, чъмъ до сихъ поръ пробавляются старые и молодые воспитанники XVII столътія".

Въ "Запискъ о народномъ воспитаніи" (1826) Пушкинъ такъ характеризуетъ воспитание юношества того времени, къ которому относится пора отрочества, и его собственнаго и его героя: "Лътъ 15 тому назадъ молодые люди занимались только одною свътскою образованностью (вз рукописи первоначально: любезностью) или шалостями"... "Въ другихъ земляхъ молодой человъкъ кончаетъ курсъ ученія около 25 льтъ, у насъ онъ торопится вступить какъ можно ранбе въ службу... Онъ входить въ свъть безъ всякихъ положительныхъ (ез рукописи первоначально: основательныхъ) правиль: всякая мысль для него нова, всякая новость имъетъ на него вліяніе". Здъсь Пушкинымъ высказано то самое, что поэтически воплощеновъ строфахъ Онъгина, гдъ описываются результаты "отсутствія всякаго воспитанія", какъ онъ выразился въ "Запискъ"... "Въ Россіи", замъчаетъ онъ далъе, домашнее воспитаніе есть самое недостаточное, самое безнравственное... Воспитание ограничивается изученіемь двухъ-трехъ иностранныхъ языковъ и начальнымъ основаніемъ всёхъ наукъ, преподаваемыхъ какимъ-нибудь нанятымъ учителемъ. Воспитание въ частныхъ пансіонахъ немногимъ лучше. Здёсь и тамъ оно кончается на 17-лътнемъ возрастъ воспитанника". Это все черты, вос произведенныя поэтомъ и въ "Евгеніи Онъгинъ". Опыть собственной его жизни во многомъ, хотя и не во всемъ, отличался отъ нихъ. При всей неурядицъ царствовавшей въ Царскосельскомъ лицев въ то время, когда воспитывался тамъ Пушкинъ, нельзя было не сознать ему всю цъну пройденнаго имъ воспитанія въ общественномъ училищъ. Вотъ почему онъ прибавляеть въ "Запискъ" своей: "Должно увлечь все юношество въ общественныя заведенія... должно его тамъ удержать, дать ему время перекипъть, обогатиться познаніями, созръть въ тишинъ училищъ, а не въ шумной праздности казармъ". Здъсь певольно приходить на память та лейбъ-гусарская молодежь, которой тонъ давали Каверины и имъ подобные эпикурейцы, которые такъ неумъстно вторгнулись своимъ вліяніемъ въ "тишину" царскосельскаго училища. Пушкинъ когда-то самъ писалъ эпикурейское посланіе къ Каверину. Подъ такимъ вліяніемъ мечталь нікогда и самъ поэть "подъ киверъ спрятать умъ", когда въ посланіи къ дядъ писалъ:

> И что завиднъй бранныхъ дней Не слишкомъ мудрыхъ усачей, Но сердцемъ — истинныхъ гусаровъ?

Увлекавшія нъкогда молодежь картины недавнихъ бранныхъ дней уже не имъли мъста въ тъ дни, когда расцвъталъ Онъгинъ. Молодежь раздълилась: одни предавались "ръзвымъ шалостямъ" столичной жизни, другіе — "политическимъ шалостямъ". "10 лътъ спустя", писалъ Пушкинъ въ упомянутой "Запискъ", объясняя результаты поверхностнаго образованія, "мы увидёли либеральныя идеи необходимой вывъской хорошаго воспитанія, разговоръ исключительно политическій, литературу, подавленную самою своенравною цензурою, превратившуюся въ рукописные пасквили... наконецъ и тайныя общества, заговоры, замыслы болже или менже кровавые и безумные. Ясно, что походамъ 13-го и 14-го года, пребыванію нашихъ войскъ во Франціи и Германіи должно приписать сіе вліяніе на духъ и нравы того покольнія, коего несчастные представители погибли на нашихъ глазахъ". Не просвъщенію (сказано въ Высочайшемъ манифестъ отъ 13 іюля 1826 г.), но праздности ума болъе вредной, чъмъ праздность тълесныхъ силь, недостатку твердыхъ познаній должно приписать сіе своевольство мыслей, источникъ буйныхъ страстей, сію пагубную роскошь полупознанія; сей порывъ въ мечтательныя

крайности, коихъ начало есть порча нравовъ, а конецъ погибель". Скажемъ болъе, прибавляетъ Пушкинъ "одно просвъщеніе въ состояніи удержать новыя безумства, новыя общественныя бъдствія".

Но декабристы, которых разумыт здысь Пушкинь, приводя слова Высочайшаго манифеста, были исключениемь, меньшинствомы молодежи его времени. Вы герой своего романа концентрироваль Пушкины иныя слыдствія "пагубной роскоши полупознаній", "недостатка твердыхы познаній": вы немы воплощено покольніе, отравленное тымы ядомы "праздности ума", который, ускользая оты преслыдованія закона, заражаль организмы молодого покольнія, внося зло, помимо политической сферы, во всякія человыческія отношенія и вы самую семью.

Изъ обоихъ теченій, которымъ послѣдовала молодежь двадцатыхъ годовъ: наслажденій внѣшними благами жизни и политическихъ мечтаній, Онѣгинъ не примкнулъ ко второму, и не долго увлекался первымъ. Онъ настолько превышалъ низкую посредственность, что скоро почувствовалъ, что "служеніе Вакху и Венеръ" не можетъ дать счастія. Неясный намекъ даетъ право предполагать что и Онѣгинъ вышелъ изъ круга военной молодежи:

Но разлюбиль онъ наконець И брань, и саблю, и свинець.

Не удовольствовался онъ этою жизнью, слъдуя мысли поэта:

Но туть-то и началось для него мщеніе той полуобразованности, которая отъ обычныхъ бытовыхъ формъ русской жизни его оторвала, а на путь самостоятельной полезной дъятельности не поставила. Результатъ получился печальный. Созрълъ типъ людей тягостныхъ и для другихъ и для себя самихъ. Хандра, угрюмость, умъ ръзкій, но холодный — вотъ характеристика тъхъ "жертвъ злобы слъпой фортуны и людей", которыя, не будучи одарены какими-нибудь исключительными дарованіями, какъ напр. самъ Пушкинъ, ложились всею своей тяжестью на породившее ихъ общество, сами страдая невыносимо.

При всей сжатости формы стихотворнаго романа, Пушкинъ съ замъчательною полнотою захватилъ въ немъ психическую

жизнь своего героя. Онъ изображаетъ его порывы къ дъятельности. Но къ какой же дъятельности былъ подготовленъ Евгеній своимъ аббатомъ и праздною жизнью въ томъ возрасть, когда именно складывается характеръ человъка? Къ тому же легкій успъхъ въ свъть, гдъ онъ успълъ уже заслужить репутацію мыслящаго, начитаннаго и даже "ученаго" человъка (строфы 2, 6 и 7-я І гл.), пріучилъ его не довольствоваться скромнымъ мъстомъ въ заднихъ рядахъ общества. Слъдовательно, его самолюбіе было уже настолько разнъжено, что онъ привыкъ считать себя выше заурядной толпы. Первою его мыслію было взяться за перо.

Но трудъ упорный Ему быль тошенъ. Ничего Не вышло изъ пера его.

Тогда принядся онъ за чтеніе, т.-е. поступаль именно обратно тому, что сділаль бы человікть иного образованія. Но люди, подобные Онітину, т.-е. пріучившієся судить прежде, нежели узнать то, о чемъ сужденія они усвоивають или произносять сами, неспособны пзвлекать пользу изъ чтенія и находить въ немъ удовлетвореніе. Здісь Пушкинъ подмітиль одно изъ существенныхъ золь "полупознанія" — его самоувіренность:

Читаль, читаль, а все безь толку: Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ.

Незнакомое съ процессомъ познанія на собственномъ опытъ полузнаніе не умъетъ читать: мысль для него новая признается или за обманъ или за глупость; мысль, совпадающая съ его собственными мнъніями, ему кажется старою. Наконецъ указанныя въ вышеупомянутой "Запискъ" внезапно охватившія общество либеральныя идеи Александровскаго времени льстили самодовольному полупросвъщенію еще и тъмъ, что давали легкую возможность осуждать труды другихъ въ недостаткъ независимости:

На всъхъ различныя вериги —

такъ судило это наивное самодовольство. Это тоже — черта времени. Припомнимъ, какъ встръченъ былъ историческій трудъ Карамзина Онъгиными современнаго общества:

Когда Пушкинъ въ первые годы своей послъ-лицейской жизни не вынесъ ея и занемогъ, потому что какъ Онъгинъ,

... не всегда же могь
Вeef-steaks и страсбургскій пирогь
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острыя слова,
Когда бол'ёла голова,

то уже не такъ, какъ Онъгинъ, но жадно въ постелъ своей прочель только-что вышедшіе первые 8 томовъ Исторіи Карамзина (это было въ февралъ 1818 г.). "Я прочелъ ихъ", вспоминаетъ онъ въ своей автобіографіи (1825) "съ жадностью и со вниманіемъ. Когда по моемъ выздоровленіи, я снова явился въ свътъ, толки были во всей силъ. Признаюсь, они были въ состояни отучить всякаго отъ охоты къ славъ. Ничего не могу вообразить глупъе свътскихъ сужденій, которыя удалось мит слышать насчеть духа и слога Исторіи Карамзина... Никто не сказалъ спасибо человъку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившему цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ". Кто же давалъ тонъ "свътскимъ сужденіямъ" о трудъ историка? Чей приговоръ "о духъ его былъ подхватываемъ ими?" Молодые якобинцы негодовали на исторіографа за его уміренность: нісколько отдільных размышленій въ пользу самодержавія... казались имъ верхомъ варварства и униженія... "Нікоторые изъ людей світскихъ", продолжаетъ Пушкинъ, "письменно критиковали предисловіе, или введеніе. Предисловіе!.. Мих. Орловъ, въ письмѣ къ Вяземскому пенялъ Карамзину, зачъмъ въ началъ Исторіи не помъстилъ онъ какой-нибудь блестящей гипотезы о происхожденіи славянъ, т.-е. требовалъ романа въ исторіи — ново и смъло. Нъкоторые остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина. Римляне временъ Тарквинія, не понимающіе спасительной монархіи, и Бруть, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, ибо "ръдкіе основатели республикъ славятся нъжною чувствительностью", -- конечно, были очень смъшны. Мнъ приписали одну изъ лучшихъ русскихъ эпиграммъ; это — не дучшая черта моей жизни". Не ясно ли, что для такого веселаго развлеченія не нужно было даже прочесть трудъ Карамзина? Достаточно было просмотръть предисловіе и знать

> ... дней минувшихъ анекдоты Оть Ромула до нашихъ дней

Не удовлетворившись чтеніемъ, Онъгинъ

... оставиль книги И полку съ пыльной ихъ семьей Задернуль траурной тафтой.

Смерть дяди бросаеть его въ деревню, и мы видимъ здъсь его, какъ помъщика.

Воть нашъ Онвгинъ сельскій житель, Заводовь, водь, лесовь, земель Хозяинъ полный, а досель Порядка врагъ и расточитель, И очень радъ, что прежній путь Перемениль на что-нибудь.

Поведеніе въ деревив какъ нельзя болве согласно съ твми задатками, которые вынесъ онъ изъ своей петербургской жизни.

Лишенный въ дътствъ сельскихъ впечатлъній, онъ не могъ въ Лътнемъ саду и ресторанахъ Петербурга воспитать въ себъ привязанности къ простотъ деревенской жизни и къ красотъ природы, столь знакомыхъ Пушкину, для котораго деревня была "пріютомъ спокойствія, трудовъ и размышленья" ("Деревня", стих 1819).

Поэтъ и въ этомъ отмъчаетъ съ удовольствіемъ разность между Онъгинымъ и собой.

Однакоже деревня на первое время даетъ Онъгину поводъ къ новой попыткъ заняться чъмъ-нибудь полезнымъ (по счету — третьей). Недаромъ вращался онъ въ средъ просвъщенной столичной молодежи. Онъ уже достаточно наслушался разговоровъ и политико-экономическихъ и юридическихъ въ Петербургъ, гдъ

...иная дама Толкуеть Сея и Бентама

ла и самъ

... читаль Адама-Смита
И быль глубокій экономь,
То-есть умѣль судить о томь,
Какъ государство богатѣеть,
И чѣмъ живеть и почему
Не нужно золото ему,
Когда простой продукть имѣеть.

Попытка Онъгина "учредить новый порядокъ" въ своемъ имъніи однакоже ограничилась только однимъ похвальнымъ распоряженіемъ:

Въ своей глуши мудрецъ пустынный, Яремъ онъ барщины старинной Оброкомъ легкимъ замънилъ — И рабъ судьбу благословилъ,

Вотъ все, что онъ сумътъ сдълать въ своемъ имъніи. Старыя привычки взяли верхъ; онъ ограничился праздностью и разговорами съ готовымъ слушать его юнымъ сосъдомъ; разговоры окончились просьбою познакомить его съ сосъдками.

Дальнъйшая жизнь Онъгина представляетъ то же безплодное бездъйствіе и праздность: безцъльное путешествіе возбуждаетъ въ немъ только тоску. Въ черновыхъ наброскахъ путешествія Онъгина Пушкинъ заставилъ было его однажды проснуться патріотомъ

Въ Hôtel de Londre, что по Морской. Россія!... Русь!... мгновенно Ему понравились отмѣнно И ръшено — ужъ онъ влюбленъ! Россіей только бредить онъ! Ужъ онъ Европу ненавидить, Съ ея логической..... Съ ея разумной сустой. Онвгинъ вдеть, онъ увидить Святую Русь, — ея поля, Селенья, грады и моря, (Дубравы, степи) и моря. (И вотъ) собрался — слава Богу! Іюня третьяго числа Коляска вънская въ дорогу Его по почтв понесла. Среди равнины полудикой Онъ видить Новгородъ Великій... Тоска! тоска!... и т. д.

То быль послёдній (счетомъ четвертый) порывъ къ какомунибудь дёлу. Но и путешествіе, вызванное только "безпокойствомъ, охотой къ перемёне мёсть", — что Пушкинъ нашель болёе свойственнымъ Онёгину, нежели увлеченіе, хотя бы и минутное, патріотическимъ чувствомъ и желаніемъ узнать отечество, — не могло удовлетворить его. Послёднія силы его слабой воли были уже истрачены — всякая дёятельность Онёгина кончена, когда еще и половина жизни не была прожита имъ; онъ увидълъ, что въ немъ вовсе нътъ нравственныхъ силъ для того, чтобы осуществить въ своей жизни тъ новыя начала, которыя въ видъ привитыхъ ему идей или, правильнъе, словъ, мъшали ему отдаваться заурядной жизни въ будничныхъ ея формахъ. Онъ почувствовалъ полное безсиле и безпомощность на жизненномъ пути — тутъ въ немъ вспыхнула страсть.

Любовь, и притомъ къ особъ недюжинной, могла бы, казалось, возродить несчастнаго скитальца, наполнивъ его безсодержательную жизнь, и вызвать на дъятельность: но по глубокому замыслу поэта и это чувство въ Онъгинъ должно было явиться не тогда, когда могло имъть указанное значеніе: прежняя жизнь Онъгина должна стать трагическою виною, требующею возмездія, и орудіемъ этого возмездія явилось именно то, что наиболье безсердечно было попрано имъ въ этой прошлой жизни. Вся эта прошлая жизнь проносится передъ совъстью Онъгина въ слъдующихъ строфахъ:

То были тайныя преданья Сердечной темной старины, Ни съ чѣмъ не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздоръ живой, Иль письма дѣвы молодой.

То видитъ онъ: на таломъ снѣгѣ, Кажъ будто спящій на ночлегѣ, Недвижимъ юноша лежитъ, И слышенъ голосъ: что жъ? убитъ! То видитъ онъ враговъ забвенныхъ, Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измѣнницъ молодыхъ, И кругъ товаришей презрѣнныхъ...

И предметь страсти, его посътившей теперь, неразрывно связанъ въ этихъ воспоминанияхъ съ мыслію о неоцъненномъ имъ порывъ чистой души.

Любви всв возрасты покорны, Но юнымь, довственнымо сердиамо Ея порывы благотворны, Какь бури вешнія полямь: Въ дожді страстей они світлівють И обновляются, и зрівють, — И жизнь могущая даеть И пышный цвіть и сладкій плодъ.

Но не таковъ Евгеній, исказившій въ ложныхъ сердечныхъ отношеніяхъ святое чувство любви. "Въ возрастъ поздній и безплодный" онъ влюбляется въ Татьяну какъ дитя, но самый источникъ этой страсти скрывается въ старомъ болотъ мелкаго свътскаго чувства — тщеславія. Любовь Онъгина къ Татьянъ загорается подъ впечатлъніемъ метаморфозы, которая поразила его въ Татьянъ: простая искренняя дъвочка вдругъ предстала ему женщиной, получившей поразительный успъхъ въ томъ обществъ, къ которому принадлежалъ Онъгинъ всею силою своего ничтожества. Какъ прежде не оцънилъ онъ Татьяны, такъ и теперь онъ не знаетъ ея, потому что цънить въ ней то, что составляетъ случайную ея принадлежность ("пріемы утъснительнаго сана", величавость, небрежность, положение "законодательницы залъ" и т. п.). Вотъ что стало чарующим въ Татьянъ для Онъгина. Существенныя же достопнства ея остались для него неуловимыми. Ея мечта "свершить съ нимъ когда-нибудь смиренной жизни путь", не нашла бы никоимъ образомъ отголоска въ душъ всего. Насколько ему закрыта сущность души Татьяны, лучше его видно изъ того, какъ толкуетъ онъ ту недоступность, которая поразила его въ Татьянъ: онъ считаетъ суровый взоръ ея укоромъ, "затъямъ хитрости презрънной", а "гнъва слъдъ" на лицъ ея объясняеть тайной боязнью, "чтобъ мужъ иль свътъ не угадалъ проказы слабости случайной". Съ замъчательной психологической прозорливостью поэть указываеть Ахиллесову пяту испорченнаго сердца Онъгина: въ письмъ своемъ къ Татьянъ Онъгинъ не умъетъ примирить свою теперешнюю любовь съ своимъ прошлымъ, и онъ лжетъ:

> Случайно васъ когда-то встрътя, Въ васъ искру нѣжности замѣтя, Я ей повърить не посмъль: Привычкѣ милой не даль ходу.

Наконецъ и о неизгладимомъ пятнъ этого прошлаго — убійствъ Ленскаго — упоминаетъ онъ въ письмъ своемъ съ замъчательною холодностью...

Какъ нельзя болъе выступаеть и вся эгоистичность исканій Онъгина: въ письмъ онъ ведеть ръчь все время о себъ:

Но я лишень того: для вась Тащусь повсюду наудачу;

Мип дорогь день, мий дорогь чась: А м въ напрасной скуки трачу Судьбой отсчитанные дни, И такъ ужь тягостны они. Я знаю: выкъ ужъ мой измыренъ; Но чтобъ продлилась жизнь моя, Я утромъ долженъ быть увыренъ, Что съ вами днемъ увижусь я.

И это онъ называеть "смиренною мольбой". Въ письмъ нътъ и намека на то, чтобы онъ подумадъ хоть сколько-нибудь о жизни самой Татьны. Ръшаясь писать ей о своей любви, онъ ни словомъ не намекаеть, что подумаль о томъ, чъмъ же должна стать ея жизнь, если она отвътить на эту любовь. Извлекая изъ письма Онъгина образъ Татьяны въ этомъ будущемъ, какъ Онъгинъ представляеть ее себъ, мы не получаемъ ничего, кромъ "улыбки устъ, движеній глазъ" и туманнаго представленія ръчей, въ которыхъ должно выразиться ел "совершенство", т.-е. Онъгинъ не представляль себъ въ тъхъ отношеніяхъ, на которыя напрашивался, со стороны Татьяны ничего, кромъ принятія поклоненія. Что предлагаль онъ ей послъ того, когда исполнилось бы его желаніе, выраженное въ словахъ:

Желать обнять у васъ кольни, И, зарыдавъ, у вашихъ ногъ Излить мольбы, признанья, пени, Все, все, что выразить бы могъ?—

ничего, кромъ обидной роли жены, обманувшей мужа... И какое "совершенство" представлялъ себъ Онъгинъ въ женщинъ, согласной на такую жизнь?

Для пониманія подобной софистики страсти Пушкинъ имѣль не мало данныхъ въ собственной жизни. Въ качествъ "ничтожнаго дитяти міра" онъ отдаль дань страсти со всею легкостью взгляда на отношенія, ею вызываемыя, нравовъ того свѣта, въ которомъ онъ вращался. Само собою разумѣется, что отношенія Онѣгина къ Татьянъ не были воспроизведеніемъ дъйствительныхъ отношеній Пушкина къ кому-либо, но нельзя не видѣть явленій одного и того же порядка въ отношеніяхъ поэтическаго лица и волненій, пережитыхъ однажды самимъ поэтомъ. Въ Тригорскомъ, у сосѣдокъ своихъ по сельцу Михайловскому, Пушкинъ встрѣтилъ молодую жену генерала

Керна, и она сильно увлекла Пушкина. При всемъ "ребячествъ" этого чувства, оно могло въ поэтическомъ воспроизведеніи послужить для одного изъ прекраснъйшихъ лирическихъ стихотвореній. Строки и письма Онъгина къ Татьянъ имъютъ, конечно, не болъе связи съ этой страстью поэта къ дъйствительному лицу, чъмъ это стихотвореніе: но нельзя не видъть и въ нихъ одно изъ тъхъ личныхъ впечатлъній, которыя такъ преображаются въ произведеніяхъ поэтовъ, служа цълямъ этихъ произведеній, но оставляя на нихъ слъды свои порою сознательно, а порою безсознательно.

Разлученный съ А. П. Кернъ, которую г-жа Осипова, замътивъ страсть Пушкина, поспъшила увезти въ Ригу. Пушкинъ 15 іюня 1825 г. писаль ей: "Я имъль слабость просить позволенія писать къ вамъ, вы — дать мнв на это позволеніе... Вашъ прівздъ въ Тригорское оставиль во мив впечатлівніе глубже и мучительные того, которое производила на меня въ былые дни наша встрвча у Оленина. Въ моей печальной деревенской глуши не могу сдълать ничего лучше, какъ стараться больше не думать о васъ"... "Опять берусь за перо, ибо умираю со скуки и могу заниматься только вами. Надъюсь, что письмо это вы прочтете украдкою — спрячете ли его опять на груди? Напишете ли мит длинный отвътъ? Пишите мнъ все, что вамъ въ голову придетъ, заклинаю васъ. Если боитесь моей нескромной хвастливости, если не хотите компрометировать себя, измъните почеркъ, подпишитесь вымышленнымъ именемъ, мое сердце сумъетъ признать васъ. Если выраженія ваши будуть столь же нёжны, какъ взглядъ вашъ, увы! постараюсь имъ повърить или обмануть себя, это все равно ...

Характеръ отношеній Пушкина къ А. П. Кернъ, явный и изъ этого и изъ послъдующихъ писемъ, не сходенъ съ отношеніемъ героевъ романа настолько, насколько сама личность г-жи Кернъ несходна съ личностью Татьяны: потому дальнъйшія сближенія невозможны. Выписка же приведена здъсь, какъ свидътельство житейскихъ отношеній, сходныхъ какъ въ жизни героя романа, такъ и въ жизни поэта при всемъ ихъ различіи. Въ "Воспоминаніяхъ" своихъ А. П. Кернъ, конечно, заблуждалась, когда писала, что 14-я, 15-я и 16-я строфы VIII гл. "Евг. Онъгина", "относятся къ воспоминаніямъ о ихъ встръчъ у Олениныхъ. Сходство, конечно, лишь внъшнее:

и нось и плечи подымаль Вошедшій съ нею генераль...

Дъло въ томъ, что ни Пушкинъ ни г-жа Кернъ не придавали чувству, ихъ на краткое время сблизившему, серіознаго значенія, какое думалъ придать Онъгинъ своему чувству... Татьяна разгадала всю несвойственность этой серіозности чувствамъ Онъгина — и прямо высказала ему это въ своей послъдней отповъди.

Полисаносъ.

Религіозность, нравственная чистота, нъжность, наивность и мечтательность, какъ отличительныя свойства Татьяны*).

По словамъ поэта, Татьяна была совсемъ "русская душой". Темъ не мене не лишено, конечно, значения, что

Она по-русски плохо знала, Журналовъ нашихъ не читала И выражалася съ трудомъ На языкъ своемъ родномъ, Итакъ, писала по-французски.

Несомивнио также, что Татьяна — героиня отчасти во вкусв западно-европейскаго романа второй половины XVIII и начала XIX в. Къ природнымъ, не составляющимъ, однако, національной особенности и развитымъ отчасти благодаря чтенію западныхъ романовъ, чертамъ ея характера относилось то, что она

.....въ милой простотъ
....не въдаетъ обмана
И върить избранной мечтъ.
...любить безъ искусства,
Послушная влеченью чувства,
...такъ довърчива она,
...отъ небесъ одарена
Воображеніемъ мятежнымъ,
Умомъ и волею живой
И своенравной головой,
И сердцемъ пламеннымъ и нъжнымъ.

Въ ея письмъ къ Онъгину "сердце говоритъ все наружу, все на волъ". Эта мечтательная и нъжная натура могла

^{*)} См. стр. 268—270 и 512—529.

любить грустный дискъ луны, помимо моды романтическихъ героинь. Но это дитя природы было полно и мечтаній, навъянныхъ чужими литературами. Такъ, когда Татьяна полюбила Онъгина,

Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліи Вольмаръ, Малекъ-Адель и де Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежный, И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводитъ сонъ; Всъ для мечтательности иъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онъгинъ слились.

Татьяна воображала и самоё себя

...... героиней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Клариссой, Юліей, Дельфиной.

Не даромъ

Она влюбилася въ обманы И Ричардсона и Руссо.

Ясно отсюда, что воображеніе Татьяны было наполнено западными романами, — Ричардсона, Руссо, Гёте, М-те de Staël, М-те Cottin, баронессы Крюднеръ.

Татьяна въ этомъ уподоблялась образованнымъ русскимъ дъвушкамъ того времени, но вмъстъ съ тъмъ уже въ дътствъ

. . . . страшные разсказы Зимою въ темнотъ ночей Плъняли... сердце ей,

а потомъ также

Татьяна вѣрила преданьямъ Простонародной старины,

и изъ выбора ея чтенія еще не слёдуеть, чтобы она не была вполнъ "русская" своей "душой", по крайней мъръ, въ тъхъ мечтахъ, которыя ръшили судьбу ея души.

Если приглядимся къ основнымъ воззрвніямъ Татьяны, то увидимъ, что они находились въ связи съ мечтами и нъкото-

рыми основными идеями романовъ Ричардсона, Руссо, Гёте и др., но преимущественно—съ средой, въ которой выросла Татьяна. Она

> Волненье свёта ненавидить; Ей душно здёсь... она мечтой Стремится къ жизни полевой, Въ деревню, къ бъднымъ поселянамъ, Въ уединенный уголокъ, Гдё льется свётлый ручеекъ, Къ своимъ цвётамъ, къ своимъ романамъ, И въ сумракъ липовыхъ аллей, Туда, гдё онъ являлся ей,

Татьяна въ годы зрълости была не только "мечтательницей милой" и разсуждала не только въ духъ идеальныхъ и сентиментальныхъ героинь западно-европейскихъ романовъ, любительницъ идилліи, когда говорила, уъзжая изъ родной деревни:

> Прости, веселая природа! М'вняю милый тихій св'ять На шумь блистательныхь суеть;

или въ Петербургъ:

... Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ и шумъ и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бъдное жилище...
Да за смиренное кладбище,
Глъ нынче крестъ и тънь вътвей
Надъ бъдной нянею моей.

Чертою воспитанія и вмість народности Татьяны слідуєть признать, что

Все тихо, просто было въ ней.

Вліяніе русскихъ нравовъ сказалось и въ знаменитомъ отвътъ ея Онъгину:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду въкъ ему върна.

Въ этихъ словахъ выступаетъ съ ръшительностью нравственное чувство, ръзко отличающее Татьяну отъ Руссовской

Юліи. Julie d'Etange была приведена къ религіи своими несчастіями и искала убъжища въ Богъ, чтобы найти у Него то милосердіе, въ которомъ отказывали ей люди. Даже въ томъ самомъ письмъ Татьяны къ Онъгину, въ которомъ указываютъ не совсъмъ, впрочемъ, убъдительно совпаденія съ выраженіями Юліи Вольмаръ, находимъ такія коренныя черты русскаго склада, какъ въру, въ суженаго:

Я знаю, ты мнъ посланъ Богомъ, До гроба ты хранитель мой...,

или русскую религозность:

Ты говориль со мной втиши, Когда я бъднымъ помогала, Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души.

Воть эти-то природныя и чисто народныя черты характера Татьяны, въ соединении съ ея милою наивностью и свъжестью ея нравственной натуры, и сообщили ея образу особую предесть въ фантазіи поэта. На основаніи словъ самого Пушкина*), въ Татьянъ надо признать его идеалъ, правиль-

*) III, 404 (VIII, L):

Прости жъ... И ты, мой върный идеалъ.

405 (VIII, LI):

А ты, съ которой образовань Татьяны милый идеалъ

Cp. III, 258 (E.O., LVII):

Такъ я безпеченъ, воспъвалъ И дъву горъ, мой идеалъ...

и III, 383 (E.O., VIII, V):

И воть она (муза) въ саду моемъ Явилась барышней увядной Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Терминъ "увадная барышня" см. еще III, 312 (Е. О. IV, XXVIII). Объ "упадных барышняхъ", типъ которыхъ такъ нравился Пушкину, имьются интереспыя указанія въ его произведеніяхъ. См. въ особенности IV, 76—77 (... что за преместь эти увадныя барышни!... главное изъ ихъ существенныхъ достоинствъ: особен-

нъе — одно изъ выраженій его идеала. Самъ поэтъ выразился въ одномъ изъ разговоровъ, что Онъгинъ не стоитъ Татьяны.

Какъ понимать это, и почему Татьяна выше Онъгина? Татьяна какъ будто уступаетъ последнему въ широте образованія и въ знаніи свъта и людей, но она въ большей степени русская душой, т.-е. сердцемъ умомъ и волею. Своею тонкою женскою душой она лучше Онъгина прочувствовала и поняла высшую правду жизни и нашла лучше Онъгина выходъ изъ удушья испорченнаго свъта. Она пока не бъжитъ изъ последняго и остается на месте, но вся ея душа — не въ "омутъ" пустой великосвътской жизни и въ скитальчествахъ, между прочимъ, а среди прекрасной, чарующей красотами, природы, а въ намятованіи о дучшемъ, что есть въ жизни: ея воображеніе наполняеть мысль о жить не остывшимъ сердцемъ и дъятельнымъ умомъ въ деревнъ, хотя бы и неприглядной, среди природы и "бъдныхъ поселянъ", которыхъ, какъ видно изъ этого выраженія, Татьяна очень любитъ. Одинъ изъ самыхъ дорогихъ образовъ, согръвающихъ ея память о прошломъ, принадлежитъ тому же деревенскому міру: это образъ ея "бъдной няни". Упоминая о послъдней, не думалъ ли Пушкинъ о своей Аринъ Родіоновив, которая такъ сблизила его съ народомъ и о которой онъ тепло говорилъ уже въ послъдній годъ своего пребыванія въ Лицев?

ность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мивнію Жанъ-Поля, пе существуетъ и человъческаго величія") и "Отрывки изъ романа въ письмахъ" (1831 г.). Въ "Письмъ Лизы" читаемъ: Вообще здъсь болъе занимаются словесностью, чёмъ въ Петербурге... Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ увздныхъ барышень; онв — ихъ истинная публика (IV, 353). Ср. тамъ же въ концъ Х письма (о Лизъ): "...Часъ отъ часу болъе въ нее влюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращени - главная предесть высшаго петербургскаго общества, а между тъмъ, что-то женское, списходительное, доброродное. Въ ея сужденіяхъ нётъ пичего ръзкаго, жестокаго. Она не морщится передъвпечатавніемъ... Она слушаеть и понимаеть вась. Редкое достоинство въ нашихъ женщинахъ"... Тамъ же далье о другой "милой дввушкь": "эта дввушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками, гораздо мидее нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются мнёнія маменекъ, а послъ свадьбы митнія мужьевъ" (IV, 359). См. еще въ IV планъ "Русскаго Пелама" (1835 г.): "балы, скука большого свъта, происходящая отъ бранчивости женщипъ". Конечно, далеко не всв и изъ "увздныхъ" барышень были одобряемы Пушкинымъ. См., напр., характеристику псковскихъ барышень (III, 308).

Сколь далекимъ отъ Татьяны во всемъ этомъ оказался Онбгинъ: пребываніе въ родной деревнѣ не дало ничего ни его
уму ни сердцу, а въ противномъ случаѣ, сколько могъ бы
онъ сдѣлать тамъ! Въ Татьянѣ Пушкина можно, кажется, на
основаніи сказаннаго, усматривать уже вполнѣ русскія видоизмѣненіе и воплощеніе чрезъ Руссо и его послѣдователей
о жизни вблизи природы; эти грезы нашли высшее и разумное
осмысленіе и вполнѣ дѣйствительное примѣненіе благодаря
тому, что слились со старорусскимъ идеаломъ жизни въ простотѣ, но богатствѣ духовнаго содержанія и со старорускимъ
общеніемъ высшаго класса съ народомъ, которое держалось
до печальнаго разлада, являющагося и въ жизни Онѣгина.
Татьяна жила все еще мечтою, но то была прекраснѣйшая
мечта, между прочимъ, и по близости къ осуществленію.

Въ образъ Татьяны дана была, такимъ образомъ, наилучшая поправка указаннымъ грезамъ, а въ ея любви къ народу и ея самоотверженномъ подчинении себя долгу — лучшая критика героевъ скуки и тоски, послъднею формаціею которыхъ подъ перомъ Пушкина явился Онъгинъ, — новое, болъе совершенное видоизмънение "Кавказскаго плънника" и Алеко. Пашкевичъ.

Татьяна положительный типъ, а не отрицательный, это типъ положительный красоты, это аповеоза русской женщины, и ей предназначиль поэть высказать мысль поэмы въ знаменитой сценъ послъ встръчи Татьяны съ Онъгинымъ. Можно даже сказать, что такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторялся въ нашей художественной литературъ — кромъ развъ образа Лизы въ "Дворянскомъ гнъздъ" Тургенева. Но манера глядъть свысока сдълала то, что Онъгинъ совстмъ даже не узналъ Татьяны, когда встрътилъ ее въ первый разъ, въ глуши, въ скромномъ образъ чистой, невинной дъвушки, такъ оробъвшей предъ нимъ съ перваго разу. Онъ не сумълъ отличить въ бъдной дъвочкъ законченности и совершенства и дъйствительно, можетъ-быть, принялъ ее за "нравственный эмбріонъ". Это она-то эмбріонъ, это послѣ письма-то ея къ Онѣгину! Если есть кто нравственный эмбріонъ въ поэмъ, такъ это, конечно, онъ самъ, Онъгинъ, и это безспорно. Да и совсъмъ не могъ онъ узнать ее: развъ онъ знаетъ душу человъческую? Это отвлеченный

человъкъ, это безпокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узналь онъ ея и потомъ въ Петербургъ, въ образъ знатной дамы, когда, по его же словамъ, въ письмъ къ Татьянъ, "постигалъ душой всъ ея совершенства". Но это только слова. Она прошла въ его жизни мимо него не узнанная п не оцъненная имъ, въ томъ и трагедія ихъ романа. О, если бы тогда, въ деревит, при первой встръчт съ нею, прибылъ туда же изъ Англіи Чайльдъ Гарольдъ или даже, какъ-нибудь, самъ лордъ Байронъ и, замътивъ ся робкую, скромную прелесть, указаль бы ему на нее, - о, Онъгинъ, тотчасъ же быль бы поражень и удивлень, ибо въ этихъ міровыхъ страдальцахъ такъ много подчасъ лакейства духовнаго! Но этого не случилось, и искатель міровой гармоніи, прочтя ей проповъдь и поступивъ все-таки очень честно, отправился съ міровою тоской своею и съ пролитою въ глупенькой злости кровью на рукахъ своихъ, скитаться по родинъ, не примъчая ея и, кипя здоровьемъ и силою, восклицать съ проклятіями: .

Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка, Чего мнѣ ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. Въ безсмертныхъ строфахъ романа поэть изобразилъ ее посътившею домъ этого столь чуднаго и загадочнаго для нея человъка. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красотъ и глубинъ этихъ строфъ. Вотъ она въ его кабинетъ, она разглядываетъ его книги, вещи, предметы, старается угадать по нимъ душу его, разгадать свою загадку, и "нравственный эмбріонъ" останавливается, наконецъ, въ раздумьи, со странною улыбкой, съ предчувствіемъ разръшенія загадки, и губы ея тихо шепчутъ:

Ужъ не пародія ли онъ?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. Въ Петербургъ, потомъ, спустя долго, при новой встръчъ ихъ, она уже совершенно его знаетъ. Кстати, кто сказалъ, что свътская, придворная жизнь тлетворно коснулась ея души, и что именно санъ свътской дамы и новыя свътскія понятія были отчасти причиной отказа ея Онъгину? Нътъ, это не такъ было. Нътъ, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротивъ, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдаетъ; она

ненавидить свой санъ свътской дамы, и кто судить о ней иначе, тоть совсъмъ не понимаеть того, что хотъль сказать Пушкинъ. И воть она твердо говорить Онъгину:

Но я другому отдана, И буду въкъ ему върна.

Высказала она это именно какъ русская женщина, въ этомъ ея апочеозъ. Она высказываетъ правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ея религіозныя убъжденія, про взглядъ на таинство брака -- нътъ, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась итти за нимъ, несмотря на то, что сама же сказала ему: "я васъ люблю", потому ли, что она "какъ русская женщина" (а не южная, или не французская какая-нибудь), не способна на смълый шагъ, не въ силахъ порвать свои путы, не въ силахъ пожертвовать обаяніемъ честей, богатства, свътскаго своего значенія, условіями добродътели? Нътъ, русская женщина смъла. Русская женщина смъло пойдеть за тъмъ, во что повърить, и она доказала это. Но она "другому отдана, и будеть въкъ ему върна". Комуже, чемуже върна? Какимъ это обязанностямь? Этому-то старику-генералу, котораго она не можеть любить, потому что любить Онвгина и за котораго вышла потому только, что ее, "съ слезами заклинаній модила мать", а въ обиженной, израненной душт ея было тогда лишь отчанніе и никакой надежды, никакого просвъта? Да, върна этому генералу, ея мужу, честному человъку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее "молила мать", но въдь она, а не кто другая, дала согласіе, она въдь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него съ отчаянія, но теперь онъ ея мужъ, и измъна ея покроетъ его позоромъ, стыдомъ, и убъетъ его. А развъ можетъ человъкъ основать свое счастье на несчастьи другого? Счастье не въ однихъ только наслажденіяхъ любви, а и въ высшей гармонін духа. Чъмъ успоконть духъ, если назади стоитъ несчастный, безжалостный, безчеловъчный поступокъ? Ей бъжать изъ-за того только, что тутъ мое счастье? Но какое же можетъ быть счастье, если оно основано на чужомъ несчастьи? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человъческой съ цълью въ финалъ осчастливить дюдей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой. И вотъ, представьте себъ тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего

только лишь одно человъческое существо, мало того - пусть даже не столь достойное, смъшное даже на иной взглядъ существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, въ любовь которой онъ върить слъпо, хотя сердца ен не знаетъ вовсе, уважаетъ ее, гордится ею, счастливъ ею и покоенъ. И вотъ только его надо опозорить, обезчестить и замучить и на слезахъ этого обезчещеннаго старика возвести ваше зданіе! Согласитесь ли вы быть архитекторомъ такого зданія на этомъ условін? Вотъ вопросъ. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которыхъ вы строили это зданіе, согласились бы сами принять отъ васъ такое счастье, если въ фундаментъ его заложено страданіе, положимъ, хоть и ничтожнаго существа, но безжалостно и несправедливо замученнаго, и, принявъ это счастье, остаться навъки счастливыми? Скажите, могла ли ръшить иначе Татьяна, съ ея высокою душой, съ ея сердцемъ, столько пострадавшимъ? Нътъ: чистая русская душа ръшаетъ вотъ какъ: "пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмёрно сильнее, чемь несчастье этого старика, пусть, наконецъ, никто и никогда, а этотъ старикъ тоже, не узнають моей жертвы и не оцфиять ея, но не хочу быть счастливою, загубивъ другого!" Тутъ трагедія, она и совершается, и перейти предъда нельзя, уже поздно, и вотъ Татьяна отсылаетъ Онъгина. Скажутъ: да въдь несчастенъ же и Онъгинъ: одного спасла, а другого погубила? Позвольте, тутъ другой вопросъ, и даже, можетъ-быть, самый важный въ поэмъ. Кстати, вопросъ: почему Татьяна не пошла съ Онъгинымъ, имъетъ у насъ, по крайней мъръ, въ литературъ нашей, своего рода исторію весьма характерную, а потому я и позволиль себъ такъ объ этомъ вопросъ распространиться. И всего характернъе, что нравственное разръшение этого вопроса столь долго подвергалось у насъ сомнънію. Я вотъ какъ думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если бъ умеръ ея старый мужъ, и она овдовъла, то и тогда бы она не пошла за Онъгинымъ. Надобно же понимать всю суть этого характера! Въдь она же видить, кто онь такой: въчный скиталець, увидаль вдругь женщину, которою прежде пренебрегь, въ новой блестящей, недосягаемой обстановкъ, -- да въдь въ этой обстановкъ-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую онъ чуть не презираль, теперь поклоняется свъть, - свъть, этоть

страшный авторитеть для Онъгина, несмотря на всъ его міровыя стремленія, - вотъ въдь, вотъ почему онъ бросается къ ней ослъпленный! Вотъ мой идеалъ, восклицаетъ онъ, вотъ мое спасеніе, вотъ исходъ тоски моей, я проглядель его, а "счастье было такъ возможно, такъ близко!" И какъ прежде Алеко къ Земфиръ, такъ и онъ устремляется къ Татьянъ, ища въ новой причудливой фантазіи вську своих разрышеній. Да развы этого не видитъ въ немъ Татьяна, да развъ она не разглядъла его уже давно? Въдь она твердо знаеть, что онъ въ сущности любить только свою новую фантазію, а не ее, смиренную, какъ и прежде, Татьяну! Она знаетъ, что онъ принимаетъ ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже онъ и любитъ, что, можетъ-быть, онъ и никого не любитъ, да и не способенъ даже кого-нибудь, любить, несмотря на то, что такъ мучительно страдаетъ! Любитъ фантазію, да въдь онъ и самъ фантазія. Въдь если она пойдеть за нимъ, то онъ завтра же разочаруется и взглянетъ на свое увлечение насмъщливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая вътромъ. Не такова она вовсе: у ней и въ отчаяніи и въ страдальческомъ сознаніи, что погибла ея жизнь, все-таки есть нъчто твердое и незыблемое, на что оппрается ея душа. Это ея воспоминанія дътства, воспоминанія родины, деревенской глуши, въ которой началась ея смиренная, чистая жизнь, — это "крестъ и тънь вътвей надъ могилой ея бъдной няни". О, эти воспоминанія и прежніе образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасають ея душу отъ окончательнаго отчаянія. И этого не мало, нътъ туть уже многое, потому что туть цёлое основаніе, туть нёчто незыблемое и неразрушимое. Туть соприкосновение съ родиной, съ роднымъ народомъ, съ его святынею. А у него что есть, и кто онъ такой? Не итти же ей за нимъ изъ состраданія. чтобы только потешить его, чтобы хоть на время изъ безконечной любовной жалости подарить ему призракъ счастья. твердо зная напередъ, что онъ завтра же посмотрить на это счастье свое насмъщливо. Нътъ, есть глубокія и твердыя души, которыя не могутъ сознательно отдать святыню свою на позоръ, хотя бы и изъ безконечнаго состраданія. Нътъ, Татьяна не могла пойти за Онѣгинымъ. Лостоевскій.

Поэтическій образъ Ленскаго и его жизненность.

"Онъ изъ Германіи туманной Привезъ учености илоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь, И кудри черные до плечъ"...

("Евг. Онъг.", гл. II, стр. VI).

Поэтическій образъ юнаго Ленскаго, рано унесеннаго могилою, обрисованъ Пушкинымъ очень бътло: передъ нами, въ сущности, только характеристика юноши и затъмъ, какъ бы иллюстрація къ ней, стихи, сочиненные имъ передъ дуэлью. Но и этого немногаго, даннаго Пушкинымъ, вполнъ достаточно для върнаго пониманія внутренней жизни Ленскаго.

Кром'в этой существенной поддержки, идущей отъ самого Пушкина, данныя, почеринутыя непосредственно изъ русской дъйствительности той эпохи, помогутъ намъ доказать: 1) что, подобно Татьянъ и Онъгину, этотъ второстепенный герой пушкинскаго романа не вымышленъ великимъ художникомъ, а взятъ изъ русской жизни, — и 2) что художественное воплощение этого типа шло тъмъ же порядкомъ, какой былъ указанъ нами выше, когда ръчь шла о главныхъ герояхъ романа.

Что касается до Ленскаго, то выяснить его внутренній міръ можно легко изъ той прекрасной характеристики его, которую даль самъ Пушкинъ въ строфахъ: VI—XII, XIII, XVI, XX. XXII второй главы: передъ нами обрисовывается очень яркими чертами образъюноши "die schöne Seele", "прекраснодушнаго" мечтателя-идеалиста, върящаго утопіямъ, политическимъ и моральнымъ, сентиментальнаго, романтическаго...

Этотъ типъ сложился во второй половинъ XVIII въка, въ "туманной Германіи" и нъсколько позже, къ концу того же въка, ярко обрисовался и у насъ.

Съ его появленіемъ у насъ начинается переломъ русской литературы отъ французскаго псевдоклассицизма къ нъмецкому романтизму. Карамзинъ стоитъ во главъ этого новаго періода русской литературы: онъ же быль несомнъннымъ прародителемъ огромной толцы всъхъ этихъ Ленскихъ, "полурусскихъ" юношей-идеалистовъ, пъвцовъ своей "прекрасной" души.

Хотя между Карамзинымъ и Ленскимъ разстояніе въ тридцать лѣть, однако черты ихъ до того поразительно близки, что характеристика Ленскаго, сдѣланная Пушкинымъ, почти безъ измѣненія можетъ быть приложена къ Карамзину, какимъ онъ былъ передъ путешествіемъ заграницу: оба были поклонниками "туманной Германіи", оба увлекались и Кантомъ, п вольнолюбивыми мечтами, у обоихъ былъ "духъ пылкій и довольно странный", "всегда восторженная рѣчь и кудри черныя до плечъ".

Когда Карамзинъ сблизился съ Петровымъ, онъ горълъ "пламеннымъ усердіемъ къ добру", какъ у Ленскаго, —

Негодованье, сожальные, Ко благу чистая любовь— Въ немъ рано волновали кровь.

Карамзинскую "искренность, живость, нъкоторый жаръ чувства" узнаемъ мы въ "пылкихъ", "восторженныхъ ръчахъ" Ленскаго, въ его "юномъ жаръ, юномъ бредъ, въ его "пламенной младости"...

"Милыя надежды" Карамзина, его "тайныя сомнънія" волновали и Ленскаго,

...Міра новый блескъ и шумъ Еще плъняли юный умъ. Онъ забавлялъ мечтою сладкой Сомнънья сердца своего. Цъль жизни нашей для него Была заманчивой загадкой; Надъ ней онъ голову ломалъ И чудеса подозръвалъ.

У обоихъ "душа воспламенилась" поэтическимъ огнемъ поэтовъ Германіи; разница лишь въ томъ, что Карамзинъ зачитывался Клопштокомъ, Клейстомъ, а Ленскій — Шиллеромъ и Гете... Оба въ своихъ произведеніяхъ гордо сохранили всегда возвышенныя чувства, порывы "дъвственной мечты". Оба проливали "живыя" слезы при разлукъ, оба знали принадки "меланхоліи", "пъли поблеклой жизни цвътъ, безъ малаго въ осьмнадцать лътъ.

Любопытно, что сходство простирается до того, что захватываетъ даже отношенія обоихъ къ ихъ друзьямъ, Онъгину и Петрову: "гдъ онъ (Петровъ) одобрялъ съ спокойной улыбкой,

тамъ я (Карамзинъ) восхищался; огненной пылкости моей противопологалъ онъ холодную свою разсудительность". Онъгинъ тоже

...слушалъ Ленскаго съ улыбкой И охладительное слово Въ устахъ старался удержать...

О чемъ же бесъдовали друзья, — Онъгинъ съ Ленскимъ и Петровъ съ Карамзинымъ? — Да буквально о томъ же: "разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человъчества", "разсуждали о нравственномъ міръ", славили "преимущества осьмагонадесять въка", "распространеніе духа общественности", "тъснъйшую и дружелюбнъйшую связь народовъ", вопрошали натуру о великихъ тайнахъ ея", —

Межъ ними все рождало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Плоды наукъ, добро и зло, И предразсудки въковые И гроба тайны роковыя.

Сходство простирается даже до такой мелочи, какъ чтеніе Оссіана, которымъ и Карамзинъ, и Ленскій угощали своихъ друзей...

Припомнимъ нъсколько писемъ, отправленныхъ Карамзинымъ къ Лафатеру, — и опять Ленскій, съ его душой, съ его чувствами, мыслями и интересами, ярко обрисуется передъ нами...

Сдъланное нами сопоставленіе, конечно, не приведеть насъ къ заключенію, что Ленскій срисованъ съ Карамзина, но мы должны будемъ признать, что типъ юноши-идеалиста, типъ, занесенный къ намъ Карамзинымъ и прочно привился къ русской жизни: онъ не умиралъ въ теченіе 30—40 лътъ и ко времени Пушкина сохранилъ свои яркія краски и духовные интересы.

Въ самомъ дѣлѣ, достаточно бѣглаго взгляда, чтобы убѣдиться, что послѣ Карамзина у насъ развелось не мало "прекраснодушныхъ" юношей, сомнительныхъ мечтателей, живущихъ идеальными чувствами, — всѣ они въ значительной степени люди "полурсскіе", очи ихъ направлены на любезную имъ Германію. Оставимъ мелкихъ представителей этого сорта людей, бо́льшею частью учениковъ и поклонниковъ

Карамзина, и перейдемъ къ болъе крупнымъ представителямъ этого типа.

Прежде всего бросается намъ въ глаза образъ Андрея Тургенева, юнаго поэта, съ чистымъ сердцемъ, "исполненнымъ любви къ прекрасному" — друга Жуковскаго. Нъкоторые стихи его, стихи, проникнутые чувствомъ свътлой грусти, но въ то же время любви и въры, показываютъ намъ, что поэтическія грезы Ленскаго ему очень сродни, — онъ тоже —

... пѣлъ разлуку и печаль, И. нѣчто, и туманну даль, И романтическія розы... Онъ пѣлъ поблеклой жизни цвѣтъ, Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ"...

Безмятежный идеализмъ, находившій утѣшеніе въ воспоминаніи "минувшихъ дней блаженныхъ" и въ надеждѣ на свѣтлое будущее, преклоненіе передъ вѣчнымъ царствомълюбви, — все это довольно характерныя черты и для пушкинскаго Ленскаго. "Тѣнь веселая и мирная!" — взывалъ Жуковскій къ своему покойному другу: "тѣнѣ твоя надо мною, она — собесѣдница безмолвныхъ часовъ моихъ, незримый хранитель моего сердца!". Къ этому прибавимъ увлеченіе А. Тургенева нѣмецкой литературой, за что его даже звали "нѣмцемъ", прибавимъ его восторженность и "пѣсни пламенны и музамъ и, свободѣ" въ "священномъ" кругу такихъ же "прекраснодушныхъ" юношей — и опять обрисуются передъ нами свѣтлыя, ясныя черты Ленскаго...

Обратимся теперь къ Жуковскому. Опять полное совпаденіе съ Ленскимъ: весь первый періодъ поэтической дъятельности "прекраснодушнаго" Жуковскаго, въ сущности, есть не чго иное, какъ варіаціи на тъ же темы, которыя разраба-

тывались Ленскимъ. -

Въ немъ скорбь о неизвъстномъ, Стремленье въ даль, любви тоска, Томленье разлуки...

Развъ о такой поэзіи говорить Пушкинь въ словахъ:

Онъ пълъ любовь... Онъ пълъ разлуку и печаль, И нъчто, и туманну даль, Онъ пълъ поблеклой жизни цвътъ Безъ малаго въ осъмнадцать лътъ... Правда, Ленскій быль также поклонникомъ нѣмецкой философіи; кромѣ того довольно рѣзко подчеркнуты Пушкинымъ его "вольнолюбивыя" мечты. Но и эти черты отыщемъ мы въ русской жизни той эпохи: намъ поможетъ въ этомъ, хотя бы — князь А. И. Одоевскій, юноша-поэтъ, поплатившійся за свои вольнолюбивыя мечты Сибирью. Стоитъ намъ слегка ознакомиться съ этимъ образомъ, — и опять передъ нами станетъ тотъ же Ленскій: тотъ же —

...блескъ лазурныхъ глазъ, И звонкій дітскій сміжъ, и різчь живая...

"Мысли его, разсказываетъ М. Бестужевъ, витали въ областяхъ фантазіи. Это былъ молодой пылкій человъкъ и поэтъ въ душъ". Огаревъ, встрътившійся съ нимъ на Кавказъ, разсказываетъ слъдующій эпизодъ, характерный для Одоевскаго: "ночь была чудная. Мы съли на скамью, и Одоевскій говорилъ свои стихи. Я слушалъ, склоня голову. Это былъ рассказъ о видъніи какого-то свътлаго женскаго образа, который передъ нимъ явился въ прозрачной мглъ и медленно скрылся". Развъ не тъ же видънія посъщали Ленскаго, когда онъ писалъ свою лебединую пъснь передъ дуэлью: тотъ же воздушный, женскій образъ, легкій, полупрозрачный, проносящійся легкой тънью передъ чистыми очами юноши-поэта, умиленнаго, восхищеннаго. Обратимся ли мы къ стихамъ Одоевскаго, — мы опять услышимъ музыкальные мотивы трогательной элегіи Ленскаго:

Куда, куда вы удалились?...

Мы услышимъ въ этихъ стихахъ ту же возвышенную, чистую грусть, освященную тою же вдохновенной любовью ко всему міру и безоблачнымъ оптимизмомъ.

Стоитъ сравнить, хотя бы, его элегію: "Умирающій художникъ" съ стихами Ленскаго, — и мы еще разъ убъдимся, до какой степени могъ Пушкинъ проникаться чужимъ настроеніемъ: стихи Ленскаго совершенно въ тонъ этой элегіи, —

...едва лучи денницы
Моей коснулися въницы, —
И свътъ во взорахъ потемнълъ;
Плодъ жизни свъянъ недоспълый.
Нътъ! Сновъ небесныхъ кистъю смълой

Одушевить я не успѣлъ; Гласъ пѣсни, мною не допѣтой, Не дозвучить въ земныхъ струнахъ, Й я, въ нетлѣніе одѣтый, Ее дослышу въ небесахъ.

Развъ не эти же думы роились въ головъ Ленскаго, когда онъ думалъ о возможной смерти? Когда мысли его перенеслись къ Ольгъ, — развъ его поэтическія грезы не совпали съ грезами Одоевскаго:

Улетьль надеждь блеснувшихъ
Лучезарный хороводъ,
Лишь одна изъ дъвъ воздушнымъ
Запоздала. Сладкій взоръ,
Легкій шопоть усть послушныхъ,
Твой небесный разговоръ
Внятны мнъ. Тебъ охотно
Я ввъряюсь всей душой...
Тихо плавай надо мной.
Плавай, другъ мой неотлетный!
Всъ исчезли. Ты одна
На яву, во время сна,
Навъваешь утъшенье.

Поэть, живущій въ "мірѣ мечтаній", преклоняющійся передъ "святыней чувства", Одоевскій, задаеть себѣ томительный вопросъ, который, конечно, мучиль и Ленскаго:

Зачёмь мучительною тайной Непостижимый жизни путь Волнуеть трепетную грудь? Какъ званый гость, или случайный, Пришель онъ въ этотъ чуждый міръ. Гдё скудно сердца наслажденье И скорби съ радостью смёшенье Томить, какъ похоронный пиръ? — Гдё насъ объемлеть разрушенье, Гдё колыбель — могилы дань, Развалинъ цёпь — поля и горы!..

Если мы обратимся къ мемуарамъ того времени, — опять передъ нами пронесется нъсколько чистыхъ юношескихъ образовъ, просвътленныхъ тъмъ же идеализмомъ, которымъ пылала душа Ленскаго. С. Аксаковъ, напримъръ, вспоминаетъ свою юность въ слъдующихъ восторженныхъ выраженіяхъ: "Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время

благороднаго увлеченія!"... Тутъ, конечно, есть и идеальная дружба и любовь, и преклоненіе передъ природой, и увлеченіе идеалистической литературой: Аксаковъ зачитывался романами Коцебу и Лафонтена, "читалъ ихъ по ночамъ-въ пустыхъ антресоляхъ — читаль съ увлечечіемъ, съ самозабвеніемъ! Смъшно сказать, но и теперь слова: "люби меня, я добръ, Фанни!" или: "мъсяцы, блаженные мъсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными", слова, сами по себъ ничтожныя и пошлыя, заставляють сердце мое биться скорве по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили они пятнадцатилътняго юношу!"... Прощаясь со своею университетскою жизнью, Аксаковъ разражается цълымъ рядомъ восторженныхъ восклицаній: "прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной!.. Стъны гимназіи и университета, товарищи - вотъ, что составляло полный міръ для меня. Тамъ разрѣшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства. Тамъ быль судь, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презръніе ко всему низкому и подлому, ко всъмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости — и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному!". Эти вдохновенныя строки говорять намь о настроеніи целаго поколенія молодежи и находять подтверждение въ рядъ другихъ свидътельствъ. Изъ записокъ Жихарева мы узнаемъ, напримъръ, что молодежь тогдашняя увлекалась музыкой, "исполненною чувства и нъмецкой мечтательности, что трогательные стихи, отъ которыхъ "такъ и въетъ Маттисономъ", приводили въ умиленіе.

На ея могиль есть цвытокь незримый:
Всюду разливаеть онъ благоуханье.
Онъ — цвытокъ завытный, онъ — цвытокъ любимый.
Онъ — воспоминанье!
И вычно душистый, цвытокъ неизмынный
Не боится бури, не вянеть отъ зноя,
Сторожить сохранно имя преселенной
Къ вычному покою!

Слушая соловья на могиль своей милой, идеальный юноша того времени обливался слезами и сочиняль чувствительную элегію:

... Пъсня сладостна твоя; Но стократь нъжнъе Раздавалась пъснь ея Слаще и милье! Пфсня дфвы молодой Въ сердце западала, Какъ воздушной арфы строй, Душу проникала. Много, много васъ пъвповъ Съ весною прибудеть, Но весна почившей вновь Къ пъснямъ не разбудить! Голосъ смолкъ, погаснулъ взоръ, Здесь она отпела, И къ пъвцамъ безплотнымъ въ хоръ, Въ небо улетъла!

Вотъ, передъ нами еще одинъ юноша — Телешовъ, о которомъ его ученица, графиня А. Д. Блудова, отзывается съ самымъ живымъ сочувствіемъ: у него, оказывается, "была душа самая пылкая, нъжная, женственная и, какъ у Ленскаго,

Всегда восторженная рычь..."

Это быль идеалисть pur sang, чистый образчикь юноши-"die schöne Seele". Такимъ же былъ, повидимому, и С. Глинка, который, по собственому признанію, "дельяль сердце жизнію мечтательною", былъ "платонически влюбленъ", воспъвалъ свою милую въ элегическихъ стихахъ... Немудрено, что его записки переходять порой въ поэтическія импровизаціи, мечтательныя, сентиментальныя... Читая ихъ, мы опять вспоминаемъ все того же Ленскаго. "Вылъ очаровательный іюльскій вечеръ. На голубомъ небъ солнце въ безмятежномъ великольніи спускалось на покой въ волны озеръ и золотило отражавшіяся въ нихъ вершины льсовъ. Остановя почтовую повозку, я бросился къ прелестямъ живописной природы. Мечты зароились въ головъ моей. "По наукъ, думалъ я, земной нашъ пріють кружится около солица; по глазамь — оно уклоняется отъ насъ. Да въдь надобно же отдохнуть когда нибудь и этому солнцу, которое всъмъ безъ разбору и приличій дарить и свой блескъ, и красоту полей и дуговъ, и золотыя жатвы нивъ!" Такъ мечталь я, и всилывала луна, и солнце дружелюбно уступало ей владычество свое. Какой миръ въ міръ небесномъ! Какой миръ въ области безчисленныхъ свътилъ и свътовъ!

А у насъ за клочки земли какія кипять и ссоры, и вражды, и бури военныя! "... Вспоминая подъ старость свои юные "поэтическіе и мечтательные годы" жизни, Глинка разсказываеть: "въ молодости моей, мечтая съ Юнгомъ, я бродилъ въ мъстахъ уединенныхъ, въ глуши лъсовъ; неръдко внималъ громовымъ раскатамъ, мечтая подъ дождемъ проливнымъ, пересочиняя въ мысляхъ Юнговы ночи; возвращаясь домой, передавалъ бумагъ сумрачныя мечты свои. Отчего западало это раннее томленіе въ мою душу? Было ли это въстію, чтобы я готовился на борьбу съ жизнію труженической? И отчего слезы, уныніе и въ юности моей сладостнъе были для сердца моего утъхъ, кружащихся въ вихръ большого свъта?"

Кромъ этихъ приведенныхъ нами примъровъ, мы для объясненія Ленскаго можеть безь труда набрать цілые десятки, болъе и менъе, сходныхъ образовъ: въ любыхъ запискахъ той эпохи, нъть-нъть, и мелькнеть образъ какого-нибудь "нъжнаго" юноши-мечтателя, съ идеальными порывами, съ кристальной душой... Но, думаемъ, и приведенныхъ примъровъ достаточно для доказательства нашего мнёнія, что пушкинскій Ленскій выхвачень изъ русской дійствительности, что типъ этотъ имъетъ свою исторію до Пушкина и, прибавимъ въ заключеніе, не умеръ и послъ нашего великаго художника, въ самомъ дълъ, развъ московскій кружокъ поклонниковъ нъмецкой философіи, собравшійся около Станкевича, не есть собраніе юношей, во многомъ сходныхъ съ Ленскимъ?...

Переходимъ теперь ко второму вопросу: "какимъ путемъ шло художественное воплощение этого типа? " При разръшении этого вопроса мы наталкиваемся на интересную частность. Мы видъли уже, что характеристика Ленскаго, сдъланная Пушкинымъ, замъчательно върно рисуетъ типъ юноши "die schöne Seele", — но то обстоятельство, что она одинаково приложима и къ Карамзину, и къ Жуковскому, и къ Одоевскому, и къ Аксакову и ко многихъ другимъ, — доказываетъ, что она черезчуръ обща, что Пушкинъ собралъ для своего Ленскаго все существенное, характерное для юноши-идеалиста, и съ этимъ пустилъ его въ свътъ... Вотъ почему, передъ нами только коллективный типъ, нъсколько туманный и отвлеченный... Этого, конечно, нельзя сказать, напримъръ, объ Онъгинъ и Татьянъ: тамъ чувствуется живопись съ "натурщика" — здъсь же этого нътъ: нътъ ръзкаго штриха, который, копируя натуру, оживляеть образь, вносить въ него живыя черты случайности...

Такими же "коллективными" типами въ романъ можно назвать отца Онъгина, Лариныхъ, — въ старушкъ же Филиппьевнъ опять чувствуется "жизнь": незабвенная Арина Родіоновна приноминается каждому.

Сиповскій.

Общее содержание и построение "Капитанской дочки".

Какою стройностью, какимъ изяществомъ и какою простотой отличается архитектура "Капитанской дочки"! У Пушкина можно учиться, какъ слъдуетъ составлять планъ романа, скръплять отдъльныя части и вести повъствованіе, не прибъгая къ многословію, не вводя въ разсказъ ни одной лишней черты, но въ то же время не упуская изъ виду ничего существеннаго, "Капитанская дочка" — образецъ художественнаго повъствованія. Въ ней нътъ ни пробъловъ ни плохо или слишкомъ сжато написанныхъ мъстъ. Но въ ней также нътъ ни одного слова, ни одной сцены, ни одной подробности, которыя не оправдывались бы строжайшей необходимостью.

Первая глава вводить насъ въ безхитростный домашній быть дворянскаго гнъзда конца прошлаго въка, знакомить съ старикомъ Гриневымъ и вообще съ той семейной обстановкой и съ той средой, подъ вліяніемъ которыхъ слагался нравственный обликъ такихъ людей, какъ молодой Гриневъ, — людей, инстинктивно державшихся прямыхъ дорогъ, несмотря ни на какія опасности и соблазны. Вся первая глава проникнута сочувствіемъ къ изображаемому въ ней быту. Авторъ не скрываетъ комичныхъ сторонъ стариковъ Гриневыхъ и Савельича, но у него такъ и проглядываетъ любовное отношеніе къ этимъ людямъ, благодаря чему родовая усадьба героя романа сразу дълается чъмъ-то близкимъ и роднымъ читателю "Капитанской дочки".

Вторая глава переносить насъ въ тоть край и въ тоть міръ, въ которыхъ разыгралась пугачевщина. Геніальная картина бурана и сонъ Гринева служать какъ бы отдаленными предвъстниками будущаго мятежа, этого, въ своемъ родъ, политическаго и соціальнаго урагана. И эта картина и этоть сонъ

обличають руку великаго мастера. Двъ страницы, посвященныя метели, — верхъ совершенства по силъ, образности, сжатости и живости языка:

Иносказательный разговоръ Пугачева съ хозяиномъ умета, предвъщающій что-то недоброе въ близкомъ будущемъ; забавный споръ Савельича изъ-за заячьяго тулупа и изъ-за полтины денегъ — все это поистинъ прекрасно. Тапиственный вожатый, внушающій чувство страха и удивленія, навсегда и сразу връзывается въ память, несмотря на свои шутовскія прибаутки и неприглядную внъшность пьяницы и бродяги, и вы не будете слишкомъ удивлены, когда встрътитесь съ нимъ, какъ съ властнымъ бунтовщикомъ и самозванцемъ.

Вторая глава, въ которой уже слышатся отдаленные глухіе раскаты пугачевской грозы, завершается появленіемъ аккуратнаго, степеннаго, расчетливаго и недальновиднаго оренбургскаго губернатора, нъмца Рейнсдорпа. Здъсь, какъ и въ другихъ мъстахъ повъсти, Рейнсдорпъ обрисованъ Пушкинымъ съ тонкимъ комизмомъ, наглядно выставляющимъ несостоятельность начальника края, ставшаго ареной цълаго ряда важныхъ и кровавыхъ событій.

Третья глава знакомить насъ съ внутреннею жизнью комендантскаго домика и со всеми главными обитателями Велогорской крыпости, — одной изъ тыхъ наивныхъ, совсымъ не страшныхъ "фортецій", на которыя пали первые удары Пугачева. Эта глава насквозь пропитана комично-патріархальною служебною идилліей и является какъ бы ироническимъ отвътомъ на ожиданія стараго Гринева относительно плодотворности суровой военной службы на окраинъ государства. Вмъсто нея мы видимъ какую-то безобидно-кукольную игру престарълаго капитана Миронова въ солдатики и никъмъ неоспариваемое бабье управление кръпостью, захваченное въ свои руки энергичною Бавкидою этого Филемона. Бълогорская фортеція, съ ея мизернымъ гарнизономъ, состоящимъ изъ никуда негодныхъ инвалидовъ, и съ ея плутоватыми, мятежными казаками, ужъ, конечно, не могла дать отпора пугачевскому мятежу. Она могла противопоставить ему лишь героизмъ отдъльныхъ личностей и ихъ нелицемърную върность долгу даже до смерти, и только, но воть этотъ-то героизмъ и имълъ впослъдствии на молодого Гринева то великое воспитательное вліяніе, котораго добивался старый Гриневъ для своего сына.

Первыя три главы составляють какъ бы введение въ романъ. Въ нихъ введены всѣ главныя дѣйствующія лица, но читатель еще не можеть дать себѣ отчета, зачѣмъ они нужны автору, и какъ онъ ими воспользуется. Все повѣствованіе носитъ покамѣстъ чисто эпизодическій, отрывочный характеръ. Значеніе каждаго слова, каждой подробности первыхъ трехъ главъ выясняется лишь мало-по-малу изъ дальнѣйшихъ главъ.

Четвертая и пятая главы ("Поединокъ" и "Любовь") составляють отдъльную, въ себъ замкнутую, часть романа — разсказъ о сближеніи Гринева съ Марьей Ивановной, о зависти и ревности Швабрина, о дуэли изъ-за капитанской дочки, о сватовствъ Гринева, о несогласіи Андрея Петровича на задуманный сыномъ бракъ и о другихъ, повидимому, непреодолимыхъ препятствіяхъ къ благополучной развязкъ романа двухъ молодыхъ людей.

Изъ этихъ главъ мы уже хорошо узнаемъ и возвышенную, любящую натуру Марыи Ивановны, и низкій нравъ Швабрина, п благородный, пылкій нравъ молодого Гринева. Тутъ же, попутно, дорисовывается своеобразный быть старосвътскихъ обитателей Бълогорской кръпости, при чемъ каждая мелочь повъствованія носить отпечатокъ геніальности. Простодушныя и грубоватыя, но, въ сущности, върныя и мъткія разсужденія Ивана Игнатьевича о поединкахъ, расправа Василисы Егоровны съ провинившимися офицерами, любовные стишки Гринева въ тредьяковскомъ стилъ, письмо его отца къ Савельичу и простодушный отвътъ послъдняго — все это верхъ совершенства по глубокому пониманію дъйствительности, по колоритности языка и по свътлому, чисто пушкинскому юмору. Превосходны также и всъ тъ сцены, въ которыхъ участвуетъ Марья Ивановна. Всё ея слова и дёйствін такъ и дышать чарующею прелестью непорочной души.

"Духъ мой упалъ", говоритъ Гриневъ въ концъ пятой главы. "Я боялся или сойти съ ума, или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имъвшія важное вліяніе на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душъ сильное и благое потрясеніе".

Этими словами завершается пятая глава, которую, вмъстъ съ четвертою главою, можно назвать первой частью "Капи-

танской дочки". Читатель не видить никакого выхода для Марьи Ивановны и ея милаго изъ того положенія, въ которомъ они очутились, благодаря доносу Швабрина и предубъжденію стараго Гринева противъ дочери капитана Миронова. Но вотъ тутъ-то и выступають на сцену Пугачевъ и пугачевщина, дълающіе невозможное возможнымъ и самымъ неожиданнымъ и причудливымъ, но въ то же время и естественнымъ образомъ содъйствующіе неразрывному сближенію Гринева съ Марьей Ивановной. Картины мятежа введены въ романъ не произвольно, не въ видъ придатка, безъ котораго можно было бы обойтись, а въ силу неизбъжной послъдовательности. Онъ такъ тъсно сплетены въ одно неразрывное пртое ср фармой поврсти, онр служать таким необходимымь связующимъ звеномъ ея начала и конца, что автору, какъ кажется читателю, не нужно было большой изобрътательности, чтобы натолкнуться на мысль объ этихъ картинахъ: онъ, если можно такъ выразиться, сами напрашивались подъ руку. Но въ этомъ-то и сказалось все мастерство Пушкина въ дълъ художественнаго повъствованія. Эпизодъ съ заячьимъ тулупомъ, положенный въ основу романа, есть не что иное, какъ вымышленный анекдоть. Но какъ воспользовался поэтъ этимъ анекдотомъ! Съ какимъ искусствомъ онъ положилъ его въ основу своей повъсти! Эпизодъ съ заячьимъ тулупомъ въ "Капитанской дочкъ" то же самое, что основная тема въ какойнибудь симфоніи Бетховена, — тема, которая то и дело повторяется и видоизмъняется на всъ лады, постоянно напоминая о себъ, какъ о главной нити всей композиціи. Что, если бы до появленія "Капитанской дочки" какое-нибудь литературное общество предложило написать на конкурсъ романъ или разсказъ, въ которомъ Пугачевъ являлся бы добрымъ геніемъ, спасителемъ и покровителемъ молодого офицера, честно исполнявшаго свой долгь въ теченіе всего мятежа и мужественно отвергавшаго всъ предложенія самозванца? Всъ сказали бы, что эту задачу нельзя исполнить безъ явныхъ натяжекъ и хитросплетенной съти неправдоподобныхъ происшествій. Пушкинъ ръшилъ эту задачу просто и безъ всякихъ психологическихъ и повъствовательныхъ скачковъ. Фабула его романа поддерживаетъ въ читателъ неослабленный интересъ поразительнымъ и, вмъстъ съ тъмъ, строго послъдовательнымъ сцъпленіемъ обстоятельствъ. Читая "Капитанскую дочку" въ первый разъ, каждый изъ насъ испытывалъ захватывающее любопытство. Предугадать ходъ ея событій по нѣсколькимъ начальнымъ главамъ нѣтъ никакой возможности: до самаго конца вы переходите отъ неожиданности къ неожиданности, и въ то же время чувствуете, что всѣ эти столь странныя событія, описываемыя поэтомъ, сами собой вытекаютъ изъ общаго замысла и не только не представляютъ ничего неправдоподобнаго, а напротивъ того, производятъ впечатлѣніе чего-то неизбѣжнаго. Такимъ образомъ Пушкинъ блестящимъ образомъ достигъ цѣли каждаго романиста. Онъ сумѣлъ объединить въ одно стройное цѣлое внѣшнюю занимательность съ бытовой и психологической правдой.

Девять главъ (VI—XIV), посвященныхъ пугачевщинъ, составляють какъ бы вторую, въ себъ замкнутую часть, "Капитанской дочки", неразрывно связанную вмъстъ съ тъмъ съ предшествующими главами и заключительной главой романа. Пугачевъ является во всъхъ этихъ главахъ, за исключеніемъ шестой и десятой. Передъ глазами читателя происходить и глухое броженіе среди казаковъ Бълогорской крыпости, предшествовавшее ихъ открытой измънъ и служившее отголоскомъ разгоравшагося мятежа, и взятіе "фортеціи" самозванцемъ, дающее наглядное представленіе, какъ совершались и чъмъ объяснялись первыя побъды Пугачева. Поэтъ знажомить насъ съ Пугачевымъ и какъ съ предводителемъ возстанія, и какъ съ грознымъ палачомъ върныхъ слугъ царицы, и какъ съ атаманомъ разбойничьей шайки, пирующимъ съ своими "енералами", и, наконецъ, какъ съ защитникомъ и покровителемъ несчастной, гонимой Швабринымъ, Марьи Ивановны. "Капитанская дочка" даеть рядь чудныхъ иллюстрацій къ исторіи Пугачевскаго бунта или, върнъе сказать, къ исторіи его начальнаго періода, который описывается во второй и третьей главахъ Пушкинской монографіи.

О событіяхъ второй половины пугачевщины въ "Капитанской дочкъ" упоминается лишь вскользь. Черняевъ.

Герои и героини "Капитанской дочки".

Старый Гриневъ — одно изъ замъчательнъйшихъ и типичнъйшихъ лицъ въ нашей литературъ, несмотря на то, что ему отведено въ "Капитанской дочкъ" второстепенное мъсто

и что онъ обрисованъ авторомъ немногими, хотя и геніальными чертами. Андрей Петровичь — это яркій представитель дучшей части нашего номъстнаго дворянства, организованнаго и воспитаннаго Петромъ Великимъ въ суровой школъ военныхъ походовъ и иныхъ "несносныхъ трудовъ" и жертвъ, которыми строилась и кръпла его имперія. Всмотритесь и вдумайтесь въ старика Гринева, и вы поймете душевный складъ, міросозерцаніе, семейный бытъ и идеалы многочисленныхъ подвижниковъ Петра Великаго изъ дворянъ, имена которыхъ не сохранились въ исторіи, но которые, тъмъ не менъе, въ значительной степени, вынесли на своихъ плечахъ всъ тяготы эпохи преобразованія и слъдовавшихъ за нею царствованій.

Прежде чъмъ приступить къ анализу характера и образа мыслей Андрея Петровича остановимся на его генеалогіи и служебномъ прошломъ.

Пращуръ Гринева "умеръ на лобномъ мѣстѣ, отстаивая то, что почиталъ святыней совѣсти". Когда именно это произошло, изъ "Капитанской дочки" не видно; по всей вѣроятности, при Іоаннѣ Грозномъ. Отецъ стараго Гринева пострадалъ вмѣстѣ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Изъ всего этого нужно сдѣлатъ заключеніе, что Петръ Андреевичъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду, игравшему не послѣднюю роль въ исторіи и не разъ навлекавшему на себя опалы, благодаря своей прямотѣ и неумѣнью подлаживаться къ обстоятельствамъ.

Старый Гриневъ вышелъ въ отставку премьеръ-майоромъ; чинъ премьеръ-майора былъ по счету шестымъ офицерскимъ чиномъ ("Дворянство въ Россіи" Романовича-Славатинскаго, стр. 220), и былъ данъ Андрею Петровичу, по общему правилу, при оставленіи службы.

Пушкинъ не скрываетъ темныхъ сторонъ стараго Гринева: его самовластныхъ привычекъ, его суроваго, нъсколько деспотическаго обращенія съ семьей, и съ крестьянами, его наивнаго и невъжественнаго взгляда на просвъщеніе и науку, благодаря которому онъ могъ принять за образованнаго педагога, даже Бопре. Всъ эти недостатки сглаживаются здравымъ смысломъ Гринева, его практическимъ умомъ, его умъньемъ повелъвать, его способностью кръпко держать въ рукахъ и свои семейныя дъла, и несложныя хозяйственныя

и административныя дъла своей деревни. Какъ мужъ, отецъ и помъщикъ, Гриневъ мало отличался отъ своихъ предковъ, хотя и завель въ домъ учителя-француза. Онъ унаслъдовалъ ихъ патріархальный взглядъ и неизмённо руководствовался имъ въ жизни. Онъ былъ грознымъ властелиномъ жены, хотя любилъ и уважалъ ее по-своему и ужъ, конечно, никому не даль бы ее въ обиду. Онъ заботливо относился къ участи своего сына, но быль далекь, въ отношении къ нему, отъ всякой сентиментальности. По всей въроятности, крестьяне не имъли основанія жаловаться на него, хотя, разумъется, онъ ужъ никоимъ образомъ не потакалъ ихъ слабостямъ и не склоненъ былъ довольствоваться ролью добраго барина, живущаго исключительно для своихъ "мужичковъ". Онъ, безъ сомнънія, высоко ставилъ себя надъ чернымя народомъ и невольно относился съ нъкоторымъ презръніемъ даже къ върному Савельичу, въ твердомъ убъждении, что между "подлыми" людьми и "бълой костью" лежить непроходимая бездна. Но неспроста тотъ же самый Савельичъ такъ искренно любилъ своего строгаго господина: подъ его суровой вижшностью онъ умълъ разглядъть и понять и справедливое отношение къ нуждамъ престыянъ и неподдъльное сочувствие къ ихъ радостямъ и горю. Къ тому же, Савельичъ и другіе "подданные" стараго Гринева, несмотря на почтительность, которую они должны были высказывать своему барину, прекрасно понимали, что они близкіе ему люди, ибо они были съ Гриневымъ одного поля ягоды. Ихъ взгляды, понятія, вкусы, привычки все это во многомъ совпадало, а потому и суровое, но толковое управление Андрея Петровича не тяготило, какъ не тяготить дътей строгая, но разумная власть отца.

Одна изъ главныхъ особенностей стараго Гринева — чувство собственнаго достоинства, вытекающее у него изъ глубокаго и кръпко засъвшаго уваженія къ предкамъ и званію дворянина. Гриневъ никогда не забываетъ о своемъ дворянскомъ происхожденіи и о своей связи со всёмъ родомъ Гриневыхъ. Его сословная и родовая гордость не пустая спесь и не смъшной предразсудокъ, а путеводная нить, при помощи которой онъ выходитъ изъ всёхъ житейскихъ испытаній, не утрачивая самообладанія. Эта гордость дълаетъ его выносливымъ въ трудныя минуты, облагораживаетъ его стремленія и временами возвышаетъ до истиннаго героизма. Восноми-

нанія о пращурѣ, казненномъ при Іоаннѣ Грозномъ за правое дѣло, и объ отцѣ, погибшемъ при Биронѣ вмѣстѣ съ Волынскимъ и Хрущевымъ,— вотъ что составляетъ предметъ гордости стараго Гринева. Онъ равнодушно, даже нѣсколько высокомѣрно, относится къ близкому родству съ вліятельнымъ и блестящимъ майоромъ гвардіи, офицеромъ семеновскаго полка, княземъ Б., но онъ въ высшей степени дорожитъ принадлежностью къ старому, честному дворянскому роду, запечатлѣвшему кровью вѣрность долгу и чести.

Честь и нелицемърная преданность престолу и родинъ,воть къ чему сводится весь нравственный кодексъ стараго Гринева. Воспитавшись въ школъ, созданной преобразователемъ, Гриневъ усвоилъ себъ самый возвышенный взглядъ на значеніе царской службы. Онъ видъль въ ней не путь къ наживъ и карьеръ, а священный долгъ каждаго дворянина и средство къ выработкъ ума и характера молодого человъка. Никъмъ не побуждаемый, двънадцать лъть спустя послъ освобожденія дворянъ отъ обязательной службы, онъ, по собственному почину, отправляеть сына на дальнюю окраину понюхать пороху и тянуть невеселую армейскую лямку. Онъ быль твердо убъжденъ, что пребывание въ Оренбургской кръпости принесеть его сыну громадную пользу и превратить его изъ недоросля маменькина сынка въ человъка долга и серіознаго взгляда на жизнь. Когда Гриневъ узнаетъ объ обвинительномъ приговоръ императрицы надъ его сыномъ, онъ приходитъ въ отчанніе не потому, что сынъ оказался въ числъ опальныхъ, а потому, что онъ быль признанъ измънникомъ, нарушившимъ присягу и перешедшимъ на сторону Пугачева. Не горькая участь сына, а его мнимая низость, - вотъ что убивало стараго Гринева. Онъ справился бы съ своимъ горемъ, если бы его сынъ поплатился жизнью, отстанвая правое, святое дъло, но онъ никогда не могъ бы примириться съ подлымъ поступкомъ сына, хотя бы этотъ поступокъ и не повлекъ за собою никакого наказанія. Кто не помнить прекрасныхъ словъ стараго Гринева, произнесенныхъ послъ того, какъ онъ узналъ, что императрица, изъ уважения къ его заслугамъ и преклоннымъ лътамъ, помиловала его мнимо-преступнаго сына и, избавивъ его отъ позорной казни, повелъла сослать въ Сибирь на поселеніе. "Какъ! повторять, выходя изъ себя Андрей Петровичъ: сынъ мой участвоваль въ замыслахъ Пугачева!

Боже праведный, до чего я дожиль! Государыня избавляеть его отъ казни! Отъ этого развъ мнъ легче? Не казнь страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мъстъ, отстаивая то, что почиталь святыней совъсти, отець мой пострадаль вмъстъ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измѣнить своей присягъ, соединиться съ разбойниками и убійцами, съ бъглыми холопьями!.. Стыдъ и срамъ нашему роду!.. "Въ этихъ словахъ сказывается и печаль отца и доблесть гражданина; они проливають яркій свъть на стараго Гринева и привлекають къ нему наше сочувствіе. Эти слова доказывають, что Гриневъ, въ случат надобности, не остановился бы для спасенія родины передъ самыми тяжелыми жертвами, и что его преданность Россіи, коронъ и долгу была не пустымъ звукомъ, а несокрушимымъ убъжденіемъ. Если бы судьба столкнула его съ Пугачевымъ, онъ умеръ бы такою же прекрасной смертью, какъ и капитанъ Мироновъ.

Глубоко знаменательными являются наставленія, которыя даеть Андрей Петровичь сыну при его отъёздё на прощанье: "Служи вёрно, кому присягнешь: на службу не напрашивайся, отъ службы не отказывайся; не гоняйся за лаской начальника;

береги платье снову, а честь смолоду".

Каждое изъ этихъ четырехъ правилъ составляетъ основной догматъ личной морали Гринева, и въ нихъ, какъ нельзя

дучше, отражается весь его нравственный обликъ.

"Служи върно, кому присягнешь". Чтобы понять цъль, съ которою старый Гриневъ говориль это своему сыну, нужно имъть въ виду время, когда совершаются событія "Капитанской дочки". То было время дворцовыхъ переворотовъ, неожиданныхъ возвышеній и столь же неожиданныхъ паденій; то было смутное время, когда у русскихъ людей еще были въ памяти и присяга Іоанну VI, уничтоженная присягой Елисаветъ Петровнъ, и присяга Петру III, уничтоженная присягой Екатеринъ II. Гриневъ видълъ въ присягъ не простой обрядъ, не одну формальность, а дъло великое и святое, имъющее ръшающее значение въ жизни. Смыслъ его наставленія таковъ: "Будь въренъ тому, кому поклянешься служить. Не думай, что можно играть присягой. Если для соблюденія ея окажется нужнымъ пожертвовать собою, — ни передъ чъмъ не останавливайся. Лучше провести свой въкъ въ нищеть, дучше погибнуть въ Сибпри или на плахъ, чъмъ запятнать себя изміной и клятвопреступленіемъ".

"Слушайся начальниковъ, за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся". И въ этихъ наставленіяхъ старый Гриневъ остался себъ въренъ. Посыдая сына на службу, онъ стремился не къ тому, чтобы тотъ попалъ въ "случайные" люди, нахваталъ всякими правдами и неправдами чиновъ и орденовъ. Гриневъ, конечно, считаль бы себя счастливымь, если бы его сынь выдълился изъ ряда вонъ своими заслугами, но онъ не хотълъ видъть его среди искателей, пролагающихъ себъ дорогу къ почестямъ посредствомъ покровительства разныхъ "милостивцевъ". Онъ внушаетъ сыну прежде всего строгое исполнение долга. Своими только что приведенными наставленіями, онъ желаеть сказать вотъ что: "Не старайся избъгать трудныхъ и опасныхъ порученій и ставь исполненіе служебныхъ обязанностей выше соображеній о карьеръ и расположенія людей, власть имущихъ. Умъй жертвовать собою, если того потребуеть служба; но не бросайся въ опасности, очертя голову. Будь храбрымъ, но не будь искателемъ приключений, не будь выскочкой и не унижайся до происковъ и лести". "Береги честь смолоду*). Въ этомъ послъднемъ и главномъ правилъ Гринева объединяются всъ его наставленія. Честь — это его святыня и сокровище, которымъ онъ дорожитъ всего болъе и которое онъ совътуетъ сыну блюсти отъ молодыхъ ногтей. Честьглавный двигатель всёхъ чувствъ и поступковъ Гринева. Руководствуясь всегда и во всемъ честью, онъ умълъ цънить ее и въ другихъ. Когда къ нему прівзжаеть въ домъ Марья Ивановна, онъ, несмотря на все свое предубъждение противъ дъвушки, на которой его сынъ самовольно задумалъ жениться, радушно встрвчаетъ бъдную сироту, какъ только узнаетъ, что ея отецъ былъ повъшенъ Пугачевымъ и всенародно обличаль его въ самозванствъ. Исповъдуя культъ чести, какъ върности служебному и сословному долгу, старый Гриневъ невольно и безсознательно привиль этотъ культъ своему сыну и тъмъ самымъ спасъ его отъ паденія и ошибокъ въ Бълогорской кръпости и при столкновеніи съ Пугачевымъ. Молодой

^{*)} Кромѣ пословицы о чести, которую приводитъ Гриневъ, и ея варіанта: "береги честь смолоду, а здоровье подъ старость", есть еще нѣсколько прекрасныхъ русскихъ вословицъ о чести: "за честь (за стыдъ) голова гинетъ" (погибаетъ); "за честь — хоть гол ву съ плечъ" (хоть голову снесть); "за совъсть да за честь — хоть голову снесть" (Даль, I, 374).

Гриневъ — плоть отъ плоти и кость отъ кости своего отца, и вотъ почему Пушкинъ поставилъ эпиграфомъ къ своему роману пословицу, которою завершаетъ старый Гриневъ наставленія сыну: "Береги честь смолоду". Нравственный смыслъ "Капитанской дочки" сводится именно къ этому совъту.

Жена стараго Гриневе-оставлена Пушкинымъ въ тъни. Она является въ романъ не какъ вполнъ обрисованный характеръ, а какъ мастерски набросанный силуэтъ. Эта добрая, недалекая и нъсколько забитая женщина, привыкшая безропотно повиноваться мужу и всецьло преданная семь и домашнему хозяйству, всёмъ знакомый типъ стариннаго быта, сквозь простодушно-комичныя черты котораго ясно проглядываетъ нъжная природа любящей и домовитой матери, умъвшей внушить сыну и Савельичу глубокое уважение и теплую привязанность. Приведя въ своихъ запискахъ грозное письмо отъ отна. Петръ Андреевичъ говоритъ: "жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминаль о Марьъ Ивановнъ, казалось мит столь же непристойнымъ, какъ и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бълогорской кръпости меня ужасала; но всего болъе огорчило меня извъстіе о болюзни матери". Если извъстіе о бользни Авдотьи Васильевны взволновало Петра Андреевича больше, чъмъ мысль о раздукъ съ любимой дъвушкой, значить, онъ искренно и нъжно любиль свою мать. Савельичь пишеть по поводу бользни старухи Гриневой Андрею Петровичу вотъ что: "я жъ про рану Петра Андреевича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ испуга слегла, и за ея здоровье Бога буду молить". Задушевность, съ которою Савельичъ упоминаеть объ Авдоть Васильеви доказываеть, что онъ не безъ основанія называль ее матерью крестьянь: в роятно имъ не разъ приходилось убъждаться на опытъ въ ея добромъ сердцъ и прибъгать къ ея помощи и защитъ въ трудныя минуты жизни. Потерявъ восемь душъ дътей*), Авдотья Васильевна

^{*)} Петръ Андреевичъ Гриневъ въ самомъ началѣ своихъ записокъ говоритъ: "Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли въ младенчествъ". Отмѣчая эти подробности, Пушкинъ хотѣлъ быть вѣрнымъ дѣйствительности. Какъ извѣстно, встарину смертно ть между дѣтьми была ужасающая. Екатерина Великая не безъ наивности писала въ своемъ "Накавъ" (§ 256):

сосредоточила всю материнскую любовь на своемъ единственномъ, въ живыхъ оставшемся сынѣ, а впослѣдствіи и на его невѣстѣ, Марьѣ Ивановнѣ. Нечего и говорить, что Авдотья Васильевна была нѣжнѣйшею изъ нѣжнѣйшихъ бабушекъ, когда она дождалась внуковъ и внучекъ.

Молодой Гриневъ такой же типичный представитель русскаго дворянства XVIII въка, какъ и Андрей Петровичъ. Различіе между ними сводится къ различію между отцами и дътьми, къ различію двухъ смежныхъ покольній. Между обоими Гриневыми много общаго, но Гриневъ-сынъ уже не носить отпечатка той суровости и простоты нравовь, которыми отличается его отецъ. Онъ уже не приметъ какого-нибудь Бопре за человъка, свъдущаго во всъхъ наукахъ. Гриневъотецъ съ великимъ трудомъ могъ написать дъловое письмо, а его сынъ занимался литературой и оставилъ въ назидание потомству "семейственныя записки". У Петра Андреевича уже не было самовластныхъ привычекъ его отца. Въкъ Екатерины II наложиль на него свой отпечатокъ и придаль его нравственной физіономіи, въ связи съ воспитаніемъ и съ нъкоторыми событіями жизни, тѣ особенности, которыя его отличають отъ Гринева-отца. Отъ отца Петръ Андреевичъ унаследоваль и безсознательно переняль мужество, твердость, сознаніе долга, чувство чести и умънье повельвать. Но на немъ сказалось и вліяніе его доброй и нъжной матери. Въ немъ нътъ ни дряблостя ни сентиментальности; но его характеръ гораздо мягче отцовскаго. Пушкинъ не описываетъ семейной жизни Петра Андреевича, -- но кто и самъ не догадается, что онъ ръзко отличался отъ семейной жизни Андрея Петровича, что Гриневъ-сынъ уже не такъ смотрълъ на жену, какъ Гриневъ-отецъ на Авдотью Васильевну, и Марья Ивановна, несмотря на свою кротость, пользовалась, какъ жена и мать, несравненно большимъ значеніемъ, чъмъ старуха Гринева.

[&]quot;мужики большею частью имёють по двёнадцати, пятнадцати и до двадцати дётей изъ одного супружества; однако, рёдко и четвертая часть оныхъ приходитъ въ совершенный возрастъ. Чего для непремённо долженъ тутъ быть какойнибудь порокъ или въ пище, или въ образе ихъ жизни, или въ воспитании, который причиняетъ гибель сей надежде государства". Явленіе, которое такъ поражало императрицу Екатерину среди крестьянъ, существовало въ прежнія времена, благодаря первобытному уходу за дётьми, отсутствію врачебной помощи и другимъ причинамъ, и въ дворянской средь.

Въ молодости Андрея Петровича былъ невозможенъ такой романъ, какой пережилъ его сынъ. Тъ тонкія и сложныя чувства, которыя столь часто волновали душу Петра Андреевича, были непонятны его отцу. Молодой Гриневъ соединялъ въ себъ корошія качества своихъ родителей, и эти качества развивались въ немъ подъ вліяніемъ хотя и незатъйливаго, но благопріятнаго для него домашняго быта, въ которомъ не послъднюю роль играло вліяніе добродушнаго, безкорыстно преданнаго дядьки Савельича. Юноша, выросшій, подобно Гриневу, подъ яблонями, между скирдами и природой, въ гигіенически и нравственно здоровой атмосферъ, не могъ не впитать въ себя съ самаго дътства много хорошаго. Ему не могъ повредить даже легкомысленный Бопре. Да въдь и Бопре, собственно говоря, несмотря на всъ свои недостатки, былъ добрый малый.

Житейская школа, пройденная Петромъ Андреевичемъ въ началъ его службы, какъ нельзя лучше способствовала развитію тъхъ добрыхъ задатковъ, которые ему дала семья, выпустившая его въ свътъ неиспорченнымъ, кръпкимъ и сильнымъ юношей.

Петръ Андреевичъ говорить о своихъ ученическихъ годахъ шутливымъ тономъ, какъ и подобаетъ человъку, сдълавшемуся образованнымъ, благодаря самому себъ, и прекрасно понимающему пробълы своего воспитанія. Петръ Андреевичъ отзывается о немъ безъ горечи, съ добродушнымъ юморомъ, ибо въ прежнія времена не онъ одинъ, а всъ дворяне, за весьма немногими счастливыми исключеніями, учились если и не на мъдныя деньги, то весьма не много. Было бы, однако, опрометчиво судить о томъ, что дала Гриневу семья, по первой главъ его воспоминаній. Правда, онъ росъ дома недорослемъ, лазя по голубятнямъ и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками, но онъ вступаль въ жизнь ужъ вовсе не такимъ невъжественнымъ, какъ можно предполагать, принимая за чистую монету все, что онъ говоритъ о своемъ дътствъ и отрочествъ въ первой главъ романа. Поступая на службу, онь умъль читать и писать и настолько владъль русскимъ языкомъ, что, безъ всякой посторонней помощи, могъ писать CTUXU (STATE A SANDER AND STATE OF SANDER AND STATE OF SANDER AND SANDER SANDER AND SAND

Гриневъ зналъ не много, но онъ былъ уменъ и любозналенъ, воспріимчивъ и, познакомившисъ со Швабринымъ, пользуется запасомъ его французскихъ книгъ, съ жадностью читаетъ и перечитываетъ ихъ, а затъмъ и самъ начинаетъ пробовать свои силы по части переводовъ и сочинительства. Писательскій недугъ былъ свойственъ нашимъ самоучкамъ прошлаго стольтія, и Гриневъ занималъ между ними не послъднее мъсто; не даромъ его стихи удостоивались похвалъ самого Сумаркова: для своего времени они были, дъйствительно, недурны. Элегія Петра Андреевича "Мысль любовну истреблян" — пародія на пінтъ XVIII въка, — такая же пародія, какъ "Ода Его Сіятельству графу Хвостову" ("Султанъ прится") и "Лътопись села Горохина", — прелестная пародія, не заключающая въ себъ ни фальши ни шаржа, которую съ удовольствіемъ напечатали бы у себя издатели журналовъ

"временъ очаковскихь и покоренья Крыма":

Молодой Гриневъ всею своею жизнью доказаль, что онъ усвоилъ себъ основное правило отцовской моради: "береги честь смолоду". Въ его жизни были промахи и увлеченія, но не было проступковъ, за которые ему приходилось бы краснъть на старости лътъ и въ которыхъ ему тяжело было бы впоследствіи сознаться. Онъ строго осуждаеть свое поведеніе въ симбирскомъ трактиръ, гдъ онъ держалъ себя, "какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Но если принять во вниманіе, что ему не было въ то время и семнадцати лътъ, и что встръча съ Зуринымъ была дебютомъ его самостоятельности на житейскомъ поприщъ, то нужно быть уже черезчуръ суровымъ ригористомъ, чтобы усмотръть въ проигрышъ и попойкъ пылкаго юноши что-нибудь особенно предосудительное. Такіе случаи бывали со всъми, не исключая самыхъ выдающихся людей. Но уже въ симбирскомъ трактиръ сказались три хорошія основныя черты характера Гринева: его умънье жить своимъ умомъ, его доброта и его благородство. Проигравъ значительную для себя сумму Зурину и прекрасно понимая, что Зуринъ игралъ не совсъмъ чисто, Гриневъ немедленно расплачивается съ нимъ и съ негодованіемъ отвергаетъ наивное предложение Савельича ускользнуть куда-нибудь отъ денежнаго расчета. Когда Савельичь отказывается выдать сто рублей, Гриневъ ръшительно и круто обрываетъ его и разъ навсегда опредъляеть свои отношенія къ дядькъ, какъ отношенія господина къ слугъ. Онъ дълаетъ это, однако, не безъ внутренней борьбы, ибо искренно любить Савельича. Воть побужденія, въ силу которыхъ Петръ Андреевичъ заговорилъ съ Савельи-

чемъ строгимъ и властнымъ тономъ, и, нужно отдать ему справедливость, онъ употребляль этотъ тонъ лишь тогда, когда простодушный дядька предлагаль ему нічто, дійствительно, несообразное. Савельичъ бывалъ въ такихъ случаяхъ правъ съ своей точки зрвнія, - съ точки зрвнія сохраненія барскаго добра и барской шеи, — но Гриневъ тоже былъ правъ, ибо его представленія о чести были совстви иныя, чъмъ у Савельича. Поставивъ на своемъ, Гриневъ сознаетъ, однако, что поступиль въ Симбирскъ дурно и "выжхаль изъ него съ безпокойною совъстью и безмольнымъ раскаяніемъ". Онъ чувствуеть себя виноватымъ передъ Савельичемъ и, послъ нъкотораго колебанія, просить у него прощенія. Въ этомъ, какъ и во всёхъ другихъ случаяхъ. Петръ Андреевичъ остался въренъ привязанности къ Савельичу и желанію сохранить за собою самостоятельность, и можно только удивляться тому такту, съ какимъ юный Гриневъ вель себя со своимъ дядькой: и въ Симбирскъ, и на постояломъ дворъ при столкновеніи изъ за заячьяго тулупа, и впоследствіи онъ умель держать Савельича въ должномъ повиновении, не нарушая въ своихъ отношеніяхь къ нему ни того довърія ни той искренности, съ "которыми онъ относился къ нему съ самаго дътства. Савельичь быль добрымь слугой своего господина, и его господинъ передъ нимъ не оставался въ долгу. Вспомнимъ хотя бы ту сцену, въ которой онъ просить своего дядьку отвезти Марью Ивановну въ деревню къ старикамъ Гриневымъ.

— Другъ ты мой, Архипъ Савельевичъ! Не откажи, будь мив благодвтелемъ; въ прислугв и нуждаться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна повдетъ дорогой безъ тебя.

Вотъ какимъ языкомъ говорилъ Гриневъ съ своимъ дядькой въ самыя важныя минуты своей жизни!

Въ Бълогородской кръпости молодой Гриневъ сталкивается со Швабринымъ и, несмотря на то, что Швабринъ и старше, и гораздо опытнъе, держитъ себя съ нимъ, какъ равный съ равнымъ. Недостатокъ жизненнаго опыта повелъ къ тому, что Гриневъ не понялъ Швабрина сразу и обращался съ нимъ также довърчиво, какъ со всъми другими. Только съ теченіемъ времени онъ сталъ смутно догадываться, что Швабринъ дурной человъкъ и что отъ него слъдовало бы стоять подальше. Несмотря на то, онъ продолжалъ откровенничать съ нимъ и

неждано-негаданно нарвался на дерзкую выходку, оскорбительную для любимой дъвушки. Дуэль съ Швабринымъ впервые показываеть намъ Гринева, какъ мужественнаго и рыцарски благороднаго юношу. Дуэль была, конечно, важнымъ событіемъ въ жизни Гринева, но и она не раскрыла ему глазъ на Швабрина, хотя Марья Ивановна дала ему понять, что выходка Швабрина была не только грубою, непристойною насмъшкой, но и низкою обдуманною клеветой. Когда Гриневъ оправился отъ раны и когда къ нему явился Швабринъ съ своими извиненіями, онъ искренно простиль его, объясняя себъ его плевету досадой оспорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви. Онъ окончательно отшатнулся отъ Швабрина только тогда, когда убъдился, что Швабринъ написалъ на него доносъ отцу. Отношенія Гринева къ Швабрину обрисовывають Петра Андреевича, какъ не особенно проницательнаго, неопытнаго, но прямого, искренняго, довърчиваго, смъдаго и нездопамятнаго юношу, способнаго на месть въ минуты гивва и всегда готоваго проявить великодушіе по отношенію къ наказанному врагу. Той чуткости сердца, которою отличается Марья Ивановна, и которая помогала ей инстиктомъ отгадывать людей, у него не было. Столкновеніе со Швабринымъ было для него своего рода школой пониманія людей. Понявъ Швабрина, Гриневъ попрежнему относился къ нему по-рыцарски. Описывая свой отъёздъ изъ Бёлогородской крёности вмъстъ съ Марьей Ивановной, вырванной изъ рукъ Швабрина, Гриневъ говоритъ: "У окошка коменданскаго дома я видълъ стоящаго Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотълъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратиль глаза въ сторону". Эта черта даетъ ясное понятіе о благородномъ сердцъ Гринева, никогда и ни при какихъ условіяхъ не утрачивавшаго чувства утонченнаго великодушія.

Любовь къ Марьв Ивановнв и знакомство съ добрымъ и почтеннымъ семействомъ капитана Миронова имъли на Гринева самое благотворное вліяніе. Въ его натурв не было такой глубины, какою отличалась натура его невъсты. Марья Ивановна была дальновиднъе его и имъла надъ нимъ всъ преимущества ума и характера. Гриневъ былъ во всъхъ отношеніяхъ ниже Марьи Ивановны, но онъ умълъ цънить и понимать ее и въ полномъ смыслъ слова завоевалъ свое счастье съ нею. Она предпочла его богатому и родовитому

Швабрину не за одну наружность и не по капризу, а сознательно и по весьма въскимъ соображеніямъ. Марью Ивановну привлекали въ Гриневъ его мужество, его душевная чистота и непосредственность, его отзывчивость на все хорошее, его отвращение къ окольнымъ путямъ.

Искренность, смълость, великодушіе и чувство чести составляютъ основныя черты характера Гринева. Они спасали его отъ паденія и дълали его достойнымъ сыномъ стараго Гринева. Гриневъ не разъ обнаруживалъ способность отстаивать свои убъжденія даже до смерти. Только благодаря счастливой случайности, Гриневъ не взлетълъ на висълицу, вмъстъ съ капитаномъ Мироновымъ и Иваномъ Игнатьевичемъ, но онъ умълъ смотръть въ глаза смерти съ безтрепетнымъ мужествомъ. "Очередь была за мною, разсказываеть онъ о первой встръчъ съ самозванцемъ въ Бълогородской кръпости, — я глядълъ смёло на Пугачева, готовясь повторить отвётъ великодушныхъ моихъ товарищей... "Въшать его", сказаль Пугачевъ, не взглянувши на меня. Я сталъ читать про себя молитвы, принося Вогу искреннее раскаяніе во всёхъ моихъ прегръщеніяхъ и моля его о спасеніи всёхъ близкихъ моему сердцу". Гриневъ, чуждый всякой аффектаціи и желанія рисоваться, съ такою же простотой повъствуеть о своемъ душевномъ настроеніи послъ неожиданнаго избавленія отъ смерти, какъ и о томъ, какъ онъ готовился къ ней. "Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили... Въ эту минуту не могу сказать, чтобы я обрадовался своему спасенію. Не скажу, однакожь, чтобы я о немъ сожалълъ". Такою же искренностью и простотой дышить разсказъ Гринева о его бесёдё съ Пугачевымъ послё оргін самозванца, свидітелемъ которой ему пришлось быть.

Въ первыхъ двухъ главахъ "Капитанской дочки" мы видимъ молодого Гринева сначала подросткомъ, а затъмъ юношей, умъвшемъ доказать дядькъ, что онъ уже не ребенокъ. Въ дальнъйшихъ главахъ романа поэтъ показываетъ намъ, какъ развивается и кръпнетъ характеръ этого юноши подъ вліяніемъ людей, съ которыми столкнула его судьба, подъ вліяніемъ любви и грозныхъ событій пугачевщины. Между шестнадцатильтнимъ Гриневымъ, который посматривалъ, облизываясь, какъ его мать снимала пънки съ медоваго варенья, и восемнадцатилътнимъ Петромъ Андреевичемъ, "впервые вкусившимъ сладость молитвы, изліянной изъ чистаго, но растер-

заннаго сердца" въ казанской тюрьмѣ, — цѣлая бездна. Онъ, если такъ можно выразиться, растетъ и развивается на глазахъ читателя "Капитанской дочки", превращаясь въ теченіе двухъ лѣтъ изъ зеленаго подростка въ зрѣлаго молодого человѣка. И не удивительно: въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ Гриневъ переживаетъ столько, сколько другіе не переживаютъ въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій. Столкновенія съ такими противоположными людьми, какъ Мироновы, съ одной стороны, а Пугачевъ и Швабринъ — съ другой, романъ съ Марьей Ивановной, дуэль, тяжкая болѣзнь, чтеніе, зрѣлища мятежа и тѣхъ страшныхъ, но вмѣстѣ облагораживающихъ впечатлѣній, которыми оно сопровождалось (вспомнилъ казнь Ивана Кузьмича и Ивана Игнатьевича), судъ и тюрьма — все это не могло не оказать на впечатлительнаго юношу большого вліянія и не имѣть для него воспитательнаго значенія.

Нравственный обликъ Гринева дорисовывается общимъ тономъ его семейственных записокт, ихъ спокойнымъ, трезвымъ отношеніемъ къ людямъ и событіямъ, ихъ добродушнымъ юморомъ, ихъ свѣтлымъ и примиряющимъ взглядомъ на жизнь. Пушкинъ, видимо, хотѣлъ, чтобы между строкъ романа виднѣлся привлекательный образъ бывалаго, умнаго и честнаго старика, много видѣвшаго и испытавшаго на своемъ вѣку и не безъ гордости и удовольствія разсказывающаго въ часы досуга о своемъ прошломъ дѣтямъ и внукамъ. "Капитанская дочка" знакомитъ насъ подробно съ молодостью Гринева она же даетъ намъ понятіе объ его покойной и счастливой старости.

Пушкинъ нигдъ не прикрашиваетъ Гринева. Ставя его лицомъ къ лицу съ Пугачевымъ, онъ не плънился возможностью сдълать изъ него Шарлоту Корде, въ родъ Парани изъ "Пугачевцевъ" графа Саліаса, прекрасно понимая, что этого нельзя было сдълать, не впадая въ фальшь. Пушкинъ вывелъ въ лицъ Гринева одного изъ русскихъ людей второй половины прошлаго въка. Такіе люди, какъ Петръ Андреевичъ, тогда бывали и могли быть. Поэтъ нимало не думалъ о томъ, чтобы ставить своего героя въ красивыя позы и заставлять его продълывать чудеса храбрости. Въ "Капитанской дочкъ" выходитъ постоянно такъ, что Гриневъ, несмотря на свое мужество и готовность къ самопожертвованію, иногда кажется (но только кажется) какъ бы пассивнымъ лицомъ, котораго

спасають то Савельичь, то Пугачевь, то Марья Ивановна. Гриневъ скороталъ свой въкъ въ своемъ родовомъ имъніи и, подобно отцу, не сдълаль блестящей карьеры. Ненасытное честолюбіе и жажда власти были ему совершенно чужды, и онъ остался въ твин. Къ тому же онъ былъ слишкомъ совъстливъ, чтобы продагать дорогу къ почестямъ, не брезгая никакими средствами. Онъ не уронилъ бы себя ни на какомъ посту, но онъ не быль человъкомъ признанія, увлекающаго своихъ избранниковъ къ предназначенному для нихъ жребію, и могъ вполнъ удовлетвориться тою скромною сферою дъятельности помъщика и семьянина, которая выпала на его долю. Не трудно догадаться, что онъ толково управляль своими крестьянами и быль образцовымь въ своемъ родъ мужемъ и отцомъ, посвящая свои досуги, подобно Болотову, литературнымъ занятіямъ, въ которомъ онъ пристрастился еще въ Бѣлогорской крѣпости.

Черняевъ.

Марья Ивановна представляетъ центральную фигуру романа. Изъ-за нея происходитъ дуэль Гринева съ Швабринымъ; изъ-за нея происходитъ у Гринева временный разрывъ съ отцомъ; ради Марьи Ивановны Гриневъ вдетъ въ Берду; отношенія между Гриневымъ и Швабринымъ опредвляются ихъ отношеніями къ Марьв Ивановнъ; опасенія повредить ей заставляютъ Гринева таиться передъ судомъ и едва не губятъ его; поъздка Марьи Ивановиы въ Петербургъ и ея свиданіе съ императрицей ведутъ за собой помилованіе Гринева, т.-е. благополучную развязку запутанныхъ и, какъ кажется читателю до самаго конца, неразръшимыхъ осложненій романа.

Прекрасно и глубоко задуманный, сложный и возвышенный характеръ и геніально обрисованный типъ чудной русской дъвушки конца прошлаго стольтія, и въ бытовомъ и психологическомъ отношеніи Марья Ивановна представляетъ громадный интересъ и должна быть отнесена къ числу величайшихъ созданій Пушкинскаго творчества. По глубинъ замысла и тонкости исполненія образъ Марьи Ивановны нисколько не уступаетъ образу Татьяны, и смъло можно сказать, что между всъми героинями Пушкина нътъ ни одного лица, въ которомъ такъ ярко и такъ полно нашли свое выраженіе русскіе народные идеалы. Марья Ивановна дъвушка одного типа

съ Тургеневскою Лизой и Марьей Болконскою изъ "Войны и Мира" гр. Л. Н. Толстого, которыя, къ слову сказать, не болье, какъ блъдныя тъни въ сравнении съ нею. Пушкинская Татьяна сильнъе поражаетъ воображеніе. Отъ ея скорбнозадумчиваго облика такъ и въетъ романтизмомъ и чарующею прелестью; зато короткое лицо Марьи Иаановны окружено ореоломъ чистоты и поэзія и даже, можно сказать, святости. Марья Ивановна съ гораздо большимъ основаніемъ, чъмъ Татьяна, можетъ быть названа идеаломъ русской оксенщини, ибо въ ея натуръ, въ ея стремленіяхъ и во всемъ складъ ея ума и характера не было ничего нерусскаго; вычитаннаго изъ иностранныхъ книгъ и, вообще, навъяннаго иноземными вліяніями. Всъми своими помыслами и влеченіями Марья Ивановна связана съ русскимъ бытомъ.

Сразу Марья Ивановна не производила чарующаго впечатлънія. Въ ея внъшности не было ничего такого, что бросалось бы въ глаза и приковывало взоры. Съ ней нужно было сблизиться, или, по крайней мъръ, нъсколько узнать ее, чтобы понять ея духовную красоту. Тъ же, передъ къмъ хотя отчасти раскрывалась эта красота, не могли не поддаться ея обаянію. Швабринъ, молодой Гриневъ, Савельичъ, Палашка, отецъ Герасимъ и его жена, - всъ онъ любили Марью Ивановну по-своему. Старики Гриневы, предубъжденные противъ Марьи Ивановны, привязались къ ней, какъ къ родной, когда она прожила у нихъ нъкоторое время. Умная и наблюдательная императрица Екатерина II, послъ одной мимолетной встръчи съ Марьей Ивановной, составила самое выгодное представленіе объ ея умъ и сердцъ и, давъ полную въру ея словамъ, исполнила все, о чемъ она просила. Только Пугачевъ, смотръвшій на женщинъ исключительно съ точки зрънія чувственныхъ вождельній, равнодушно прощель мимо Марьи Ивановны, какъ бы не замътивъ ее. Оно и понятно: что общаго могло быть между Пугачевымъ и Марьей Ивановной? Зато Савельичъ воздалъ ей высшую похвалу, какую только онъ могъ воздать: онъ называлъ ее ангелом Божим. И ее, дъйствительно, можно назвать ангеломъ во плоти, ниспосланнымъ на землю на утёшеніе и отраду близкихъ людей. Создавая такое лицо, какъ Марья Ивановна, каждый писатель, менве талантивый, чемъ Пушкинъ, легко впаль бы въ фальшь и реторику, вслъдствіе чего у него вышла бы не дъвушка

той или другой эпохи, а ходячая добродътель и прописная мораль. Но Пушкинъ блистательно справился съ своею задачей и создалъ вполнъ живое лицо, заслуживающее самаго тщательнаго изучения на ряду съ главными героинями всъхъ первокласныхъ поэтовъ,

Марья Ивановна родилась и выросла въ Бълогорской кръпости и едва ли гдъ нибудь бывала дальше ея до переселенія къ родителямъ Гринева. Отецъ, мать, Иванъ Игнатьичъ, семья отца Герасима, - вотъ тотъ тёсный кружокъ, въ которомъ прошли ея дътскіе и отроческіе годы. Все ея образованіе ограничивалось русскою грамотой, и она едва ли что-нибудь читала, за исключеніемъ, можетъ-быть, молитвенника и священнаго Писанія. Она проводила время за рукодъльемъ и въ хлопотахъ по хозяйству, - словомъ, была темъ, чёмъ и должна была быть дочь такихъ старинныхъ людей, какъ и мужъ и жена Мироновы. Они не могли ей дать свътскаго лоска и блестящаго воспитанія, да они и не горевали о томъ; зато они окружили ее атмосферой честной бъдности и несложныхъ, но возвышенныхъ и твердыхъ взглядовъ на жизнь и людей, что имъло на Марью Ивановну самое благотворное вліяніе. Она безсознательно проникалась тъми идеалами, которыми жили Иванъ Кузьмичъ и Василиса Егоровна, и унаслъдовала лучшія стороны ихъ ума и характера. Всякое хорошее слово глубоко западало ей въ душу, падая на добрую почву. То, что она слышала въ бъдной, старенькой, деревянной Бълогорской церкви, имъло на нее неотразимое и рвшающее вліяніе. Тв ввчные глаголы жизни, которымъ она внимала тамъ изъ устъ простоватаго священника, видимо поразили ее въ самые ранніе годы и навсегда опредълили ея міросозерданіе и поступки. Церковь сдълала ее христіанкой въ истинномъ смыслъ этого слова; отчій домъ поддерживалъ и укръпиль въ ней то настроеніе, которое она вынесла оттуда, и прочно привиль къ ней несложные, но добрые навыки и убъжденія, на которыхъ держалась старинная Русь.

Марья Ивановна не имъетъ ничего общаго съ тъми дъвушками, о которыхъ говорятъ: эта дъвушка съ правилами. Марья Ивановна руководилась не правилами, т.-е. не дрессировкой и разъ навсегда усвоенными привычками, а непоколебимою и восторженною върой въ неизмънную, въчную правду. Въ Маръъ Ивановнъ нътъ ни сухости ни ограниченности дъвушекъ "съ

правилами". Марья Ивановна въ полномъ смыслѣ слова исключительная и богато-одаренная натура, представляющая сочетание самыхъ противоположныхъ элементовъ и очень сложный, не легко понимаемый характеръ.

Чуткость сердца, впечатлительность и женственность составляють прежде всего бросающіяся особенности Марьи Ивановны. Она очень самолюбива и живо чувствуетъ горечь обиды. Грубовато-простодушная болтовня Василисы Егоровны о бъдности дочери и о томъ, что она, чего добраго, просидить въ дъвкахъ въковъчною невъстой, доводить Марью Ивановну до слезъ. Марья Ивановна красиветъ и бледиветъ, прекрасно понимая каждый мальйшій оттьнокь обращенія сь ней. Въ ней нътъ и тъни вульгарности и бабъяго мужества Василисы Егоровны. Ружейные и пушечные выстрылы доводять ее до обморока. Трагическая смерть отца и матери и всъ ужасы Пугачевской расправы разръшается у Марыи Ивановны нервною горячкой. При видъ Пугачева, убінцы своего отца, она лишается чувствъ. Когда Марья Ивановна бывала взволнована, она не могла удержаться отъ слезъ. Ея голосъ дрожаль и прерывался, и въ эти минуты она казалась своему возлюбленному слабымъ и беззащитнымъ существомъ, обаятельнымъ въ своей безпомощности.

Но Марья Ивановна не имѣла ничего общаго съ хилыми и дряблыми натурами. Она была рѣшительна и смѣла въ сво-ихъ поступкахъ, когда ей нужно было опредълить свои отношенія къ людямъ. Она не любила прибъгать къ чужимъ совътамъ; она умѣла дѣйствовать самостоятельно, тщательно обдумывала каждый свой шагъ, и, разъ принявъ какое-нибудърѣшеніе, уже не отступала отъ него. Она сразу обрываетъ свои отношеніи къ любимому человѣку, когда узнаетъ, что его отецъ не позволяетъ ему жениться на ней. Несмотря на всѣ угрозы Швабрина, она отказывается выйти за него замужъ.

"Я никогда не буду его женой, — говорить она Пугачеву. Я лучше ръшилась умереть и умру, если меня не избавять".

И это была не фраза. Если бы уряднику не удалось доставить письмо Марьи Ивановны по назначеню, а Гриневу—вырвать ее изъ рукъ негодяя, Марья Ивановна сдержала бы свое слово: она бы заморила себя голодомъ или наложила бы на себя руки, но ни за что не вышла бы замужъ за чело-

въка, къ которому питала инстинктивное отвращеніе, и о которомъ не могла думать безъ ужаса, какъ объ измѣнникъ и сообщникъ убійцъ ея отца. Такую же обычную рѣшимость проявляетъ Марья Ивановна и при поъздкъ въ Петербургъ. Молодая и неопытная, она задумываетъ добиться свиданія съ императрицей и спасти своего жениха отъ ссылки въ Сибирь и позора и безъ всякихъ колебаній приводитъ въ исполненіе свою мысль, не посвятивъ вполнъ въ свою тайну ни

стараго Гринева ни его жену.

Марья Ивановна, какъ выражается про нее молодой Гриневъ, "въ высшей степени была одарена скромностью и осторожностью". Она мало говорила, но много думала; въ ней не было скрытности, вытекающей изъ недовърчиваго отношенія къ людямъ; но она рано привыкла жить внутреннею жизнью, оставаться наединъ съ собою и со своими мыслями. Сосредоточенная, вдумчивая и нъсколько замкнутая въ себя, она поражаеть своею наблюдательностью и способностью угадывать людей и ихъ побужденія. Внимательно и зорко следя за движеніями своего сердца и за голосомъ своей совъсти, она безъ особаго труда постигала самыя затаенныя побужденія и свойства окружавшихъ ее лицъ. Вспомните, напримъръ, какъ она мътко опредъляетъ, что такое Швабринъ въ бесъдъ съ Гриневымъ послъ первой попытки Петра Андреевича биться съ нимъ на дуэли. Она не только сразу поняла Швабрина, но и догадалась, что онъ былъ виновникомъ столкновенія съ Гриневымъ:

"Я увърена, что не ты зачинщикъ ссоры, — говоритъ она

Гриневу: — върно виноватъ Алексъй Ивановичъ.

"А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?

"Да такъ... онъ такой насмъшникъ! Я не люблю Алексъя Ивановича. Онъ очень мнъ противенъ; а странно: ни за что бъ я не хотъла, чтобъ и я ему также не нравилась. Это меня бы безпокоило страхъ!"

Объясняя Гриневу, почему она отказала Швабрину, когда

онъ ей дълалъ предложение, Марья Ивановна говоритъ:

"Алексъй Ивановичъ, конечно, человъкъ умный и хорошей фамиліи и имъетъ состояніе; но какъ подумаю, что надобно будетъ подъ вънцомъ при всъхъ поцъловаться... ни за что! Ни за какія благополучія!"

Въ этихъ простодушныхъ словахъ сказывается върное и глубокое пониманіе Швабрина. Онъ производилъ на Марью

Ивановну такое же впечатлъніе, какое съ перваго же раза произвель на Гётевскую Маргариту Мефистофель. Марья Ивановна питала къ нему инстинктивное отвращение, смъшанное со страхомъ. Онъ одновременно и отталкивалъ и пугалъ ее. Если бы она была образованные и умыла бы отчетливо выражать свои мысли, она сказала бы: "Швабринъ дурной, злой человъкъ. Съ нимъ нужно держать себя осторожно. Онъ мстителенъ, злопамятенъ и неразборчивъ въ средствахъ. Горе тому, кого онъ возненавидитъ. Рано или поздно, тъмъ или другимъ путемъ, онъ найдетъ случай свести съ своимъ врагомъ счеты". Марья Ивановна какъ бы предугадываетъ, что Швабринъ причинитъ еще много горя Гриневу. Насквозь видя Швабрина, она насквозь видитъ и Гринева. Этимъ объясняется та прозордивость, которую она обнаруживаеть, когда до нея доходитъ въсть, что Гриневъ признанъ виновнымъ въ измънъ и осужденъ на въчное поселение въ Сибирь. Она сразу догадалась, что ея женихъ не оправдался въ глазахъ судей только потому, что не захотълъ впутать ея имя въ процессъ о пугачевцахъ. Владъя ключомъ отъ своей души, она безъ труда отмыкала этимъ ключомъ и души другихъ.

Въ Марьъ Ивановнъ не было ни малъйшей аффектаціи; она не умъла рисоваться. Марья Ивановна — сама искренность и простота. Она не только не выставляла своихъ чувствъ напоказъ, а стыдилась выразить ихъ открыто. Идя проститься съ могилами родителей, она проситъ любимаго человъка оставить ее одну, и онъ увидълъ ее уже тогда, когда она возвращалась съ кладбища, обливаясь тихими слезами. Въ то время, когда судили Гринева, она "мучилась болъе всъхъ", но "скрывала отъ всъхъ свои слезы и страданія", а между тъмъ непрестанно думала о томъ, какъ бы спасти его. Инстинктивное отвращение къ расчитанно-красивымъ позамъ вытекало у Марьи Ивановны изъ ея природной правдивости, не переносившей никакой лжи и фальши. Въ этой же правдивости заключается разгадка и той простоты обращенія, которою она всъхъ къ себъ привлекала. Въ ней не было и не могло быть никакого жеманства или кокетства. Несмотря на свою застънчивость, она спокойно выслушиваеть объяснение выздоравливающаго Гринева въ любви и сама признается ему въ сердечной склонности. Затыйливыя отговорки, какъ и всякое притворство, были ей совершенно чужды.

Проникнутая восторженною, экзальтированною върой и глубокимъ сознаніемъ долга, Марья Ивановна не терялась въ самыя тяжелыя минуты жизни, ибо у нея всегда была путеводная звъзда, съ которой она не сводила глазъ и которая не давала ей сбиться съ прямой дороги. Когда она узнаетъ, что отецъ Гринева не соглашается имъть ее своею невъсткой, она отвъчаетъ на всъ доводы своего милаго, предлагающаго ей немедленно перевънчаться:

"Нътъ, Петръ Андреичъ, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебъ счастья. Покоримся волъ Божіей. Коли найдень себъ суженую, коли полюбинь другую, — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; а я за васъ обоихъ..."

Туть она заплакала и уппла, не высказавъ до конца своей мысли; но ясно и безъ того, что она хотъла сказать. Душа Марьи Ивановны была соткана изъ любви и самоотверженія. Подчиняясь во всемъ волъ Божіей и прозръвая ее во всъхъ событіяхъ своей жизни, она отказывается отъ счастья быть женой любимаго человъка, но думаеть при этомъ не е себъ, не о своемъ будущемъ одиночествъ, а о Гриневъ, исключительно о немъ одномъ. Она возвращаетъ ему данное ей слово и туть же, не безъ тяжкой внутренней борьбы, конечно, говорить, что будеть молиться за него и за ту, кого онъ полюбить. Она и благословеніемъ-то старыхъ Гриневыхъ дорожить прежде всего какъ залогомъ счастья ихъ сына: "безъ ихъ благословенія не будеть тебт счастья. О себт она совствив не думаетъ при этомъ. Возвышенный образъ мыслей, вытекающій у Марьи Ивановны изъ ея религіознаго настроенія и чисто народнаго міросозерцанія, проявляется у нея всегда и во всемъ: и въ ея отношеніяхъ къ Гриневу, и во всёхъ ея взглядахъ и сужденіяхъ. Такъ же какъ и Иванъ Игнатьичъ, она безусловно осуждаеть дуэли, но не во имя соображеній практическаго свойства, — не потому, что брань на вороту не виснетъ, и что раненый или убитый на поединкъ остается въ дуракахъ. Она осуждаетъ дуэли исключительно съ христіанской точки зрвнія, — ть точки зрвнія благородной и любящей натуры, алчущей и жаждущей правды.

"Какъ мужчины странны! говорить она Гриневу. За одно слово, о которомъ черезъ недълю, върно бъ, они позабыли, они готовы ръзаться и жертвовать не только жизнью, но и

совъстью и благополучіем тьх, которые... (Марья Ивановна не договариваеть: их любят).

Марью Ивановну, робкую и женственную Марью Ивановну, поражаеть въ людяхъ, бьющихся на дуэли, не только то, что они ставятъ на карту свою жизнь, — она понимаеть, что бываютъ обстоятельства, когда нельзя не жертвовать жизнью во имя чести и требованій долга, — ее ужасаетъ то презрѣніе къ голосу совѣсти, вопіющей противъ убійства и самоубійства, и то безучастное отношеніе къ горю близкихъ людей, безъ котораго не можетъ состояться ни одна дуэль. Въ данномъ случаѣ, какъ и во всѣхъ сужденіяхъ Маріи Ивановны, этой простой и необразованной дѣвушки, чуждой самомнѣнія и часто не находящей словъ для выраженія своей мысли, сказывается чуткое сердце и свѣтлый, возвышенный умъ.

Марья Ивановна прекрасно себъ усвоила значение евангельскихъ словъ: будьте кротки, какъ голуби, и мудры, какъ змъи. Она всецъло была проникнута величавою народною мудростью, сложившеюся подъ вліяніемъ церкви и ея ученія, и никогда не измъняла своимъ идеаламъ, а это было для нея далеко не легко, ибо у Марьи Ивановны была горячая кровь (не даромъ же Гриневу бросилось съ перваго же взгляда, что у нея уши такъ и горъли) и нъжное привязчивое сердце, умъвшее сильно любить и сильно страдать. Марья Ивановна кончила не такъ, какъ Тургеневская Лиза: она не пошла въ монастырь, а сдёлалась счастливою женой и матерью, и уже, конечно, не только матерью, какою была простоватая мать Гринева, а одною изъ тъхъ матерей, о которыхъ дъти вспоминаютъ не только съ любовью, но и съ благоговъніемъ и гордостью. Едва ли можетъ быть какое-нибудь сомнъніе, что Гриневъ всю свою жизнь благословляль тоть чась, когда отець отправиль его къ Рейнсдорпу, а Рейнсдорпъ — въ Бълогорскую кръпость, ибо тамъ, въ глуши отдаленной окраины государства, онъ встрътилъ Марью Ивановну и сблизился съ нею.

Если бы жизнь Маріи Ивановны сложилась такъ, какъ жизнь Лизы, или же если бъ она жила не въ Оренбургской губерніи, гдъ не было въ XVIII въкъ ни одной обители, а близъ какогонибудь скита, она тоже, въроятно, сдълалась бы инокиней.

Заканчиваемъ характеристику Марьи Ивановны тѣмъ, съ чего начали: ея поэтическій образъ принадлежить къ числу глубочайшихъ созданій Пушкинскаго генія, и какъ мастерски поэтъ

очертилъ его! Когда вы прочтете "Капитанскую дочку", вамъ такъ и кажется, что вы когда-то видъли эту русую и румяную дъвушку, ея умные и добрые глаза, ея мягкія и изящныя движенія, что вы слышали ея милый и тихій голосъ, что вы были свидътелемъ и ея нъжныхъ заботъ о раненомъ Гриневъ, и ея трогательнаго прощанія съ отцомъ на валу Бълогорской кръности.

Савельичъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ созданій Пушкинскаго генія. Забыть его тому, кто хотя бъгло пробъжитъ "Капитанскую дочку", нътъ никакой возможности. Комично-наивный, добродушно-трогательный образъ стараго дядьки сразу и неизгладимо връзывается въ память. Савельичъ — это такой же законченный и превосходный типъ слуги, какъ Санчо-Панчо и Калебъ. Когда иностранцы поближе познакомятся съ нашею литературой, его имя и у нихъ сдълается нарицательнымъ. Подобно тому, какъ въ лицъ Гриневыхъ, отца и сына, Пушкинъ хотълъ воплотить лучшія стороны нашего стараго дворянства, такъ въ лице Савельича онъ хотелъ показать привлекательную сторону тъхъ добрыхъ, задушевныхъ отношеній, которыя возникали иногда на почві кріпостного права между крестьянами и помъщиками. Пушкинъ не былъ защитникомъ кръпостного права. Онъ ненавидълъ его и прекрасно понималъ его гибельное вліяніе на Россію.

Увижу ль я народь неугнетенный И рабство, падшее по манію царя?

восклицаль Пушкинъ въ одномъ изъ стихотвореній, написанныхъ въ молодые годы ("Деревня"). Но онъ не могъ не видѣть и отрицать, что между крестьянами и господами сплошь и рядомъ существовали такія тѣсныя и нравственныя узы, которыя не могли не вызывать уваженія. Дли справедливой, всесторонней оцѣнки исторіи крѣпостного права еще не настало время. Современникамъ реформы 19 февраля 1861 г. трудно отрѣшиться отъ своего, нѣсколько пристрастнаго взгляда на тотъ строй жизни, который былъ ею упраздненъ. Будущій историкъ крестьянскаго сословія отмѣтитъ все, что было дурного въ этомъ строѣ, но не скроетъ и того, что было въ немъ хорошаго; а что въ немъ было и кое-что хорошее, вполнѣ удовлетворявшее несложнымъ потребностямъ стародавней жизни, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Крѣпостное право потому

оставило по себъ такую печальную память, что оно, вслъдствіе разныхъ причинъ, продержалось слишкомъ долго, затормозило развитіе народной жизни и существовало многіе годы уже въ то время, когда большая часть помъщиковъ, увлеченная внъшностью и соблазномъ западно-европейской цивилизаціи, перестала понимать своихъ "подвластныхъ". Было, однако, время и бывали случаи, когда кръпостное право не казалось обременительнымъ и переносились съ легкостью и безропотно. Савельичь, конечно, художественный вымысель Пушкина, но этотъ вымысель не имъетъ ничего общаго съ сочинительствомъ. Онъ върно и прекрасно отразилъ въ себъ былую дъйствительность, и историку кръпостного права нельзя будеть не считаться съ нимъ. Съ какимъ бы ужасомъ и предупрежденіемъ онъ ни говорилъ о крѣпостномъ правъ, ему не удается стушевать такихъ привлекательныхъ явленій нашего прошлаго, какъ Савельичъ. Савельичъ — это живая и ходячая апологія старинныхъ порядковъ и стариннаго склада жизни. Милый Савельичъ! Кому изъ насъ не близокъ и не дорогъ онъ съ ранняго дътства? Кто изъ насъ не слъдиль съ участіемъ и съ улыбкой за всёми его попеченіями о барскомъ дитяти? Савельичъ, конечно, забавенъ, но онъ вселяетъ къ себъ глубокое уважение: и въ его беззавътной любви къ Гриневымъ, особенно къ своему питомцу, есть что-то невыразимо поэтичное и трогательное. Отбросьте въ сторону смъшныя черты Савельича, и предъ вами предстанетъ величавый образъ библейскаго Еліазара, которому Авраамъ ввърилъ попеченіе о своемъ сынь Исаакь долингов институт

Внутренній міръ Савельича прость и несложень, но онъ озарень свётомь безхитростной и чистой души. Бъдная деревенская церковь, родное село да барская усадьба, — воть чёмъ онъ жиль весь свой въкъ. Не мудрствуя лукаво, не разсуждая о томь, имъють ли помъщики нравственное право владъть кръпостными, онъ по-христіански несъ выпавшій на его долю жребій. Онъ родился и умеръ рабомъ, но не былъ рабомъ лѣнивымъ и лукавымъ; онъ служилъ своимъ господамъ не за страхъ, а за совъсть, и не тяготился своимъ подневольнымъ положеніемъ, ибо свободно подчинялся ему. Въ Савельичъ нѣтъ и тѣни нравственнаго холопства. Несмотря на почтительный тонъ, которымъ онъ привыкъ говорить со своими господами, Савельичъ держалъ себя по-своему очень незави-

симо и, конечно, быль бы удивлень, если бъ ему сказали, что онъ несчастное существо, что онъ живетъ подъ страшнымъ гнетомъ, и что ему было бы гораздо лучше скоротать свой въкъ гдъ-нибудь вдали отъ Гриневыхъ. Порвать всякія связи между Савельичемъ и барскою усадьбой значило бы лишить его жизнь всякаго смысла, ибо на семьъ Гриневыхъ сосредоточились всъ его привязанности.

Пушкинъ ничего не сообщаетъ о молодости Савельича, о томъ, какъ и почему онъ попалъ въ дворню. Мы знаемъ только, что онъ былъ сначала стремяннымъ, а потомъ, за трезвое поведеніе, быль возведень въ званіе дядьки. Въроятно, Савельичъ былъ женатъ и рано овдовълъ и, не имъя ни дътей ни родныхъ, полюбилъ Петрушу Гринева со всею нъжностью своего добраго, привязчиваго сердца, которому необходимо было кого-нибудь любить. Съ тъхъ поръ какъ Савельичъ сталь въ домъ Гриневыхъ своимъ человъкомъ, у него уже не было интересовъ, своихъ печалей и радостей. Ихъ горе стало его горемъ, ихъ счастье — его счастьемъ. О себъ Савельичь не думаль и не заботился. Всъ его мысли направлены исключительно къ тому, чтобы сохранить барское добро, отстоять барскіе интересы, оградить господъ отъ какой-нибудь напасти. Попеченія о господахъ наполняли всю жизнь Савельича, лежали въ основъ всъхъ его дъйствій и побужденій. Ради своихъ господъ Савельичъ всегда готовъ быль претерпъть всевозможныя лишенія, а въ случав надобности и самую смерть. Его самоотвержение не знало предвловъ и двлало его безстрашнымъ въ виду самыхъ грозныхъ опасностей. Когда молодой Гриневъ дерется на дуэли, Савельичъ прибъгаетъ на мъсто поединка, чтобы заслонить Петра Андреевича своею грудью отъ ударовъ Швабрина. Когда Пугачевъ отдаетъ приказаніе въшать Гринева, и палачи уже приступають къ исполненію своей обязанности, Савельичъ въ изступленіи предлагаеть свою шею взамънъ барской. Когда Гриневъ объявляетъ своему дядькъ, что поъдетъ въ Бълогорскую кръпость для освобожденія Марьи Ивановны, Савельичъ ни за что не соглашается остаться въ Оренбургъ, котя и не питаетъ надежды на благополучное возвращение изъ этого путешествия. Савельичъ охотно бросился бы въ огонь и въ воду за своего молодого барина.

Привязанность къ своему питомцу и ко всей семью Гриневыхъ заслоняла въ Савельичю всю другія привязанности и

стала для него своего рода религіей. Онъ нимало не сомнъвался, что Пугачевъ бродяга и самозванецъ, но это не мъшаетъ ему кланяться Емелькъ въ ноги и даже называть его государемъ для спасенія барскаго "дитяти". Присягалъ ли Савельичъ мнимому императору Петру? Въроятно, нътъ: онъ не ръшился бы поклясться въ върности тому, кого онъ называль въ глаза, по забывчивости, злодъемъ; но сознаніе върноподданическаго долга не доходило въ Савельичъ до такой степени, чтобы возбуждать въ немъ героизмъ, который проявляють въ минуту смерти капитанъ Мироновъ и его старый сослуживець Иванъ Игнатьевичъ, всенародно удичан Пугачева въ самозванствъ. Царица представлялась Савельичу чъмъ-то далекимъ и туманнымъ. Онъ, конечно, не усомнился бы пожертвовать собой для спасенія государыни, но тіхть понятій о чести, которыми жили его господа, онъ не понималь, и это постоянно порождаеть забавныя столкновенія между нимъ и его молодымъ бариномъ. Послъ проигрыша въ симбирскомъ трактиръ Савельичъ, пораженный проигрышемь Гринева, пресеріозно совътуеть ему не платить долга. "Скажи, говорить онь, что родители тебф и играть-то, окромя какъ въ оръхи, запретили". "Что тебъ стоитъ!" восклицалъ Савельнчъ, стоя нередъ Пугачевымъ и передъ висълицей, когда самозванецъ только что отмёниль свой приказъ о казни Гринева... "Не упрямься? Плюнь да поцълуй у злод... тьоу, у него ручку". Савельичъ совершенно не могъ понять, почему Гриневъ, раскаиваясь въ своемъ поведеніи въ симбирскомъ трактиръ, считалъ необходимымъ расплатиться съ Зуринымъ, и почему онъ предпочель бы самую лютую казнь цълованію пугачевской руки. Соображенія о чести, руководившія Гринева, были недоступны для Савельича. Въ эпизодъ съ Зуринымъ онъ видълъ только потерю барскихъ денегъ, а стоя передъ висълицей, хлопоталъ лишь о томъ, чтобы избавитв Гринева отъ петли. Благодаря своей непрестанной заботливости о "барскомъ дитяти" и о "барскомъ добръ", суетливый и упрямый Савельичь не разъ ставиль своего господина въ рискованное положение и вредиль ему. Окликнувъ его во время дуэли и заставилъ тёмъ самымъ оглянуться, онъ далъ возможность Швабрину нанести Гриневу предательскій ударъ. Напоминая самозванцу о зимнемъ тулупъ, Савельичъ могъ навлечь его гиввъ на Гринева. Вообще, простодушный

Савельичь дълаль своему молодому барину столько же хлопотъ, какъ и услугъ, и погубилъ бы его, не въдая о томъ, если бы Гриневъ имълъ малодушіе и нивость всегда и во всемъ слушать своего дядьку. Къ счастію для самого Савельича, Гриневъ былъ юноша такого закала, что его нельзя было склонить къ поступкамъ, несогласнымъ съ служебнымъ долгомъ и дворянскимъ достоинствомъ. Гриневъ цънилъ въ Савельичъ преданность, не прочь быль даже иногда слъдовать его совътамъ, когда они того стоили, но прекрасно понималъ, что между его понятіями и понятіями Савельича о чести лежала цълая бездна, и жилъ своимъ умомъ. Бъдный Савельичъ! Онъ и не подозръваль, что нъкоторые изъ его совътовъ могли покрыть "барское дитя" несмываемымъ позоромъ, если бы оно не отвергало ихъ съ презръніемъ. Простодушный и недалекій дядька считаль бы за величайшее счастье оказать своему господину какую-нибудь крупную услугу, но это удалось ему только однажды, да и то случайно. Обративъ на себи вниманіе Пугачева въ то время, когда Гринева вели на смерть, онъ напомнилъ самозванцу своею особой о заячьемъ тулунъ и единственно этимъ спасъ жизнь "дитяти". Въ томъ-то именно и заключается всегдашній трагикомизмъ Савельича, что онъ дъйствуетъ обыкновенно невпопадъ и достигаетъ своихъ цълей совсёмъ не тёми путями, на которые расчитываетъ. Гриневъ умълъ цънить внутреннія побужденія Савельича и былъ ему благодаренъ и за его попеченія и за его добрыя намъренія.

Ревнуя о благъ своихъ господъ, Савельичъ никогда не потакалъ имъ въ тъхъ счучаяхъ, когда они, по его мнъню, поступали не такъ какъ слъдовало, и безбоязненно высказывалъ имъ въ глаза свое мнъніе. Онъ часто ворчитъ на П. А. Гринева и разражается цълымъ рядомъ упрековъ, когда тотъ возвращается въ симбирскій трактиръ, едва держась на ногахъ; на требованіе денегъ для уплаты долга Савельичъ отвъчаетъ: "воля твоя, сударь, а денегъ я не выдамъ". Онъ затъваетъ съ Гриневымъ споръ по поводу награжденія вожатаго деньгами и заячьимъ тулупомъ. Вообще, Савельичъ любилъ поспорить со своимъ молодымъ господиномъ. Той же системы онъ держался, повидимому, хотя и не безъ нъкоторой робости, со старымъ Гриневымъ. На его грозное письмо по поводу дуэли Петра Андреевича, Савельичъ, несмотря на строгій приговоръ, произнесенный Гриневымъ отцомъ надъ по-

веденіемъ сына, отвъчаеть: "теперь Петръ Андреевичъ, слава Богу, здоровъ и про него, кромъ хорошаго, нечего и писать. А что съ нимъ случилась такая оказія, то быль молодцу не укоръ. Конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается". Ворчливость и упрямство Савельича не имъють и тыни жесткости, когда дъло идетъ о его господахъ. Онъ не способенъ на нихъ сердиться и если говорить иногда Гриневу ръзкія вещи, то не давая себъ отчета въ ръзкости своихъ словъ. Савельичъ приходить въ ярость, на какую только онъ способенъ при своей кротости и добротъ, лишь тогда, когда онъ усматриваеть въ комъ-нибудь посягательство на барскіе интересы. Такихъ людей Савельичъ ненавидитъ, какъ своихъ личныхъ враговъ, и не скупится въ разговорахъ съ ними и о нихъ на самыя энергическія выраженія. Зуринъ, обыгравшій Гринева, оказывается у Савельича "разбойникомъ", вожатый, которому Гриневъ задумалъ отдать заячій тулупъ, — собакой и т. д. Въчно брюзжащій старикъ никому, однако, не вселяль страха и въры въ твердость своего характера. Упрямый, но добрый Савельичь сейчась же уступаль "дитяти", какъ только молодой человъкъ принималь суровый и повелительный тонъ, и оказывался совершенно безсильнымъ противъ его ласки и просьбъ. Человъкъ незлопамятный отъ природы, Савельичъ не могь никогда простить только тёхъ, кого онъ считалъ барскими недоброжелателями и ревноваль къ своимъ господамъ. Нътъ ничего забавнъе и трогательнъе сильнаго предубъжденія, не разъ выражаемаго Савельичемъ противъ проклятаго мусье Бопре. Онъ склоненъ былъ приписывать ему вст бъдствія "дитяти": онъ считалъ его виновникомъ и симбирской попойки, и дуэли со Швабринымъ, и, въроятно, до конца дней своихъ не переставалъ повторять при воспоминании о Бопре: "И нужно было нанимать въ дядьки басурмана? Какъ будто у барина не стало и своихъ людей?"

Типъ такихъ слугъ, какъ Савельичъ, принадлежитъ къ вымершимъ типамъ. Нельзя не помянуть добромъ тѣхъ временъ, когда Савельичи отнюдь не составляли исключительнаго явленія. Савельичъ былъ не только слугой, дядькой и учителемъ Петра Андреевича Гринева (говоримъ учителемъ потому, что Гриневъ научился писать и читать у Савельича), но и его другомъ и наперсникомъ. Онъ былъ его заступникомъ и ходатаемъ передъ старикомъ Гриневымъ, когда дъло шло о Маръъ

Ивановиъ. Онъ былъ посвящень въ самыя интимныя подробности его жизни. "Капитанская дочка" заканчивается разсказомъ объ оправданіи Гринева и его вступленіи въ бракъ съ Марьей Ивановной. Что сталось затъмъ съ Савельичемъ, въ романъ не говорится. Но у кого на этотъ счетъ могутъ быть мальйшія сомнънья? Кто и самъ не догадается, что Савельичъ до самой смерти оставался близкимъ къ Петру Андреевичу и Марьъ Ивановнъ человъкомъ и провель въ по четъ и холъ свои послъдніе годы, пользуясь безусловнымъ довъріемъ и лаской своихъ молодыхъ господъ?

Черняевъ

Значеніе Пушкина въ исторіи развитія русскаго романа,

Въ литературъ каждаго народа есть свои геніальные дъятели. Каждый народъ съ гордостью указываеть на немногихъ избранниковъ въ общемъ кругу своихъ писателей и поэтовъ и называетъ ихъ великими, потому что дъятельность ихъ не укладывается въ тёсныя рамки, которыя служатъ границею для ихъ собратій. Въ нашей русской литературъ такимъ избранникомъ является Пушкинъ, геніальный поэтъхудожникъ. Другого поэта, равнаго ему по многосторонности и разнообразію творческаго генія, русская литература не представляетъ. Напрасно мы будемъ искать у современныхъ нашихъ поэтовъ, даже связанныхъ съ пушкинскими преданіями, той необыкновенной легкости, гибкости и музыкальной прелести стиха, того богатства и разнообразія поэтических картинъ, образовъ, какое встръчаемъ у Пушкина. Здъсь нътъ мъста сравненію. Пушкинъ надолго еще остается великимъ образцовымъ мастеромъ поэзім и учителемъ искусства. Здёсь нътъ мъста сравнению не только съ русскими, но даже съ иностранными поэтами, съ которыми у насъ привыкли связывать имя нашего безсмертнаго поэта. Пушкинъ единогласно долженъ быть признанъ самостоятельнымъ и вмъстъ съ тъмъ самымъ совершеннымъ типомъ поэта-артиста. Его область — чистое искусство — и въ этой области онъ всегда останется удивительнымъ образцомъ, быть можетъ, не для однихъ своихъ еоотечественниковъ

Такой взглядъ не новъ. Его высказывали уже нъкоторые изъ современныхъ Пушкину писателей. Въ числъ ихъ нельзя не указать на Гнъдича, извъстнаго переводчика Иліады, глубоко понимавшаго поэзію Пушкина. По прочтеніи одной изъ художественныхъ сказокъ, Гнъдичъ прислалъ Пушкину слъдующее стихотвореніе:

Пушкинъ, Протей,
Съ гибкимъ твоимъ языкомъ и волшебствомъ твоихъ
пъснопъній,
Уши закрой отъ похваль и сравненій добрыхъ друзей!
Пой, какъ поешь ты, родной соловей.
Байрона геній иль Гёте, Шекспира—
Геній ихъ неба, ихъ нравовъ, ихъ странъ;
Ты же, постигнувшій таинства русскаго духа и міра,
Ты нашъ "Баянъ"—
Небомъ роднымъ вдохновенный
Ты на Руси нашъ пъвецъ несравненный!

Но, отдавая должную дань удивленія генію Пушкина, мы обратимъ вниманіе на одну сторону его дъятельности, а именно: на его заслуги въ исторіи развитія русскаго романа.

Пушкинъ, какъ писатель геніальный, дъйствительно въ своей дъятельности является Протеемъ, т.-е. художникомъ многостороннимъ и всеобъемлющимъ. Самыя различныя чувства й мысли, времени и мъста дъйствія получають художественное выражение въ его произведенияхъ. Самыя разнообразныяформы поэзіи, начиная отъ мелкихъ лирическихъ произведеній до драмы принимають новое направленіе въ поэтическихъ созданіяхъ Пушкина. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ напоминаеть намъ собой колоссальные образы геніальныхъ дъятелей эпохи преобразованій Петра Великаго — этого всесторонняго труженика на тронъ, и Ломоносова (творца нашей словесности), одновременно являющагося и ученымъ, и литераторомъ, и поэтомъ. Въ эпохи переходныя какъ въ управленіи, такъ и въ области науки и литературы не можетъ быть увлеченія одною какою-либо сферою — все требуеть обновленія, все привлекаеть вниманіе геніальнаго дъятеля. Пушкинъ дъйствовалъ въ переходную эпоху литературы: цълою половиной своей поэтической дъятельности онъ принадлежаль къ прежнему подражательному періоду литературы и только во вторую половину является творцомъ новаго, такъ называемаго народно-художественнаго, направленія

въ русской литературъ, для развитія которой создалъ широ-кую программу.

Пушкинъ усердно потрудился на общирномъ полъ русской литературы, и съмена, посъянныя имъ, принесли обильные плоды во всёхъ родахъ и видахъ поэзіи. Ни въ одномъ изъ предшествовавшихъ періодовъ русской литературы не являдось такого большого числа поэтовъ, какое было вызвано поэзіею Пушкина. Но ни одинъ изъ видовъ поэзіи, новое направленіе которыхъ связано съ его именемъ, не получилъ такого широкаго и преобладающаго значенія въ современной нашей литературь, какъ романъ. Изъ всъхъ литературныхъ формъ, по замъчанію одного изъ знатоковъ русской словесности (Ореста Миллера), нравоописательный романъ пріобръль особенное право гражданства въ русской литературъ и наиболъе удается нашимъ писателямъ. Съ нравоописательнымъ романомъ связаны извъстныя всъмъ имена Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, графа Льва Толстого. Достоевскаго, Писемскаго, Лъскова, Ръшетникова, Печерскаги многихъ другихъ. Благодаря трудамъ ихъ романъ получилъ особенное общественное значение. Онъ касается всевозможныхъ сторонъ русской жизни, всъхъ сословій и состояній, большихъ городовъ и захолустьевъ, при чемъ путемъ самаго новаго психологичестаго анализа дъйствій и страстей, правъ и обязанностей, разъясняетъ смыслъ жизни, движетъ, руководить и воспитываеть общественную совъсть. Такое на правленіе современному русскому роману первый указаль Пушкинъ въ своемъ "Евгеніи Онфгинф" и отчасти въ другихъ повъстяхъ.

Вспомнимъ, какого рода романы увлекали читающую публику въ началъ настоящаго столътія. Здъсь на первомъ планъ прежде всего слъдуетъ поставить сентиментальныя произведенія Карамзина и его подражателей. "Бъдная Лиза" Карамзина, надъ которою наши читательницы проливали слезы, была попыткою создать повъсть изъ русской жизни, но попытка эта не увънчалась успъхомъ. Хотя дъйствіе повъсти происходитъ въ окрестностяхъ Москвы, имена лицъ русскія, но въ повъсти нътъ и намека на русскую жизнь. Изображая чувствительную крестьянку, авторъ совершенно оставилъ въ сторонъ тъ условія жизни, безъ которыхъ немыслимо представленіе человъка, какъ продукта (произведенія) извъстнато

времени и мъста. Впрочемъ, это и не требовалось иностранными писателями, которымъ въ этомъ случав рабски подражалъ Карамзинъ и его послъдователи. Главное внимание обращалось исключительно на то, чтобы растрогать сердце читателя, при чемъ допускались самыя ръзкія несообразности въ психическомъ смыслъ. Героиня извъстной повъсти Карамзина "Наталья" влюбляется въ Алексъя въ одну минуту, увидъвъ его въ первый разъ, не слыхавъ отъ него ни одного слова. По этому поводу Карамзинъ вставляетъ въ повъсть оговорку: "Милостивые государи! я разсказываю, какъ происходило самое дело. Не сомневайтесь въ истине, не сомневайтесь въ силъ того взаимнаго влеченія, которое чувствуютъ два сердца, другъ для друга сотворенныя! А кто не въритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для однъхъ чувствительныхъ душъ, имъющихъ сію сладкую въру". Въ такихъ чувствительныхъ душахъ въ то время не было недостатка. Къ числу ихъ Пушкинъ относитъ своего Ленскаго,

> Который върилъ, Что душа родная Соединиться съ нимъ должна; Что, безотрадно изнывая, Его всечасно ждетъ она.

Въ то же время литература наша наводнялась переводными романами. Изъ нихъ заслуживаютъ вниманія романы нравоучительные, въ которыхъ порокъ всегда наказывался, а добродьтель награждалась. Герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія, остаются добродьтельными всь же злодьи описываются самыми черными красками. Пушкинъ прекрасно охарактеризовалъ подобнаго сорта романы въ слъдующей строфъ Онъгина:

Свой слогь на важный ладъ настроя, Бывало пламенный творець, Являль намъ своего героя, Какъ совершенства образець. Онъ одаряль предметь любимый, Всегда неправедно гонимый, Душой чувствительной, умомъ И привлекательнымъ лицомъ. Питая жаръ чистъйшей страсти,

Всегда восторженный герой Готовъ быль жертвовать собой. И при концѣ послѣдней части Всегда наказанъ былъ порокъ, Добру достойный былъ вѣнокъ.

Охотники до соблазнительнаго чтенія, не знавшіе французскаго языка, читали переводы нѣкоторыхъ романовъ, временъ Людовика XV и революціи, въ которыхъ безнравственныя явленія возводились въ образецъ. Въ двадцатыхъ годахъ эти романы имѣли свой довольно обширный кругъ читателей, и вытѣснили нравоучительные романы, что дало поводъ Пушкину замѣтить:

А нын'в вст умы въ туман'в, Мораль на насъ наводить сонъ, Порокъ любезенъ и въ роман'в, И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.

Не менъе интересное, но въ то же время и самое безполезное чтеніе представляли ужасно-чудесные романы Радклиоъ. Ея романы съ балладами возбуждали въ душъ читателя чувство страха представленіемъ таинственныхъ лицъ и событій, хотя, въ концъ концовъ, всѣ видънія, загадочные звуки или сводились къ какой-нибудь пружинъ въ стѣнъ, подземному ходу, или искусственной акустикъ. Но уже въ то время нъкоторые журналы находили, что романы Радклиоъ болъзненно дъйствуютъ на нервы женщинъ, изъ которыхъ иныя не спали три ночи, прочитавъ страшный романъ.

Самостоятельныя произведенія русскихъ романистовъ являются рабскимъ подражаніемъ иностраннымъ образцамъ. Нашъ романистъ того времени прежде всего заботился о томъ, чтобы наполнить свое произведеніе диковинными приключеніями, при чемъ искажалъ событія и характеры. Искаженіе неръдко доходило до того, что безъ всякаго стъсненія прилаживали испанскіе обычаи къ русскому сюжету, простолюдиновъ заставляли выражаться литературнымъ языкомъ. При всемъ своемъ стараніи стать на ряду съ иностранными образцами, наши романисты не имъли обширнаго круга читателей. Разсуждая о книжной торговлъ и о любви къ чтенію, Карамзинъ говоритъ, что въ началъ нынъщняго стольтія изъ всёхъ родовъ книгъ у насъ больше всего читались романы

и что въ этомъ родъ иностранные авторы отбиваютъ славу у русскихъ.

Не говоря уже о безобразномъ языкъ и формъ изложенія, переводные романы и подражанія имъ отличались однимъ существенно важнымъ недостаткомъ, а именно — отсутствіемъ всякой связи съ современною жизнью, а между тъмъ чтеніе ихъ принимало болъзненный характеръ. Попытки журналистики остановить увлеченіе не имъли успъха, Публика искала въ беллетристикъ пріятнаго развлеченія, она читала романы, потому что они нравились ей какъ романы, безъ всякой мысли о ихъ нравственномъ вредъ или пользъ. Исправить вкусъ ея могъ только сильный поэтическій талантъ. Это великое дъло совершилъ поэтическій геній Пушкина, и увлеченная имъ читающая публика мало-по-малу отшатнулась отъ прежнихъ романовъ, не отличавшихся никакими, ни внутренними ни внъшними достоинствами.

Выступая въ свътъ со своимъ Онъгинымъ, Пушкинъ, совершенно отръшился отъ прежнихъ традицій въ области романа, мимоходомъ, но мътко осмъявъ ихъ въ своемъ произведеніи. Самъ Пушкинъ называетъ свой романъ:

> Собраньемъ пестрыхъ главъ Полусмъшныхъ, полупечальныхъ, Простонародныхъ, идеальныхъ,

Ума холодныхъ наблюденій И сердца горестныхъ зам'ьтъ.

Дъйствительно, все это есть въ его романъ — и холодныя наблюденія ума и горестныя "замъты" сердца. Пушкинъ внимательно вглядълся въ общественную жизнь и изобразилъ ее со всъмъ, что въ ней было, съ ея холодомъ, прозою и пошлостью. Онъ хорошо понялъ, что, для изображенія современнаго ему общества, надобно имъть романъ, а не эпическую поэму. До Пушкина, строго судя, у насъ не было національнаго романа. "Евгеній Онъгинъ" былъ первымъ блистательнымъ опытомъ, въ этомъ родъ поэзіи, опытомъ, который произвелъ такой же переворотъ въ нашихъ понятіяхъ о романъ, какой почти одновременно совершонъ былъ Грибоъдовымъ въ области русской комедіи. Романъ Пушкина впервые изобразилъ живыя лица, а не манекеновъ, какими были герои и героини прежнихъ романовъ, впервые, наконецъ, заговорилъ

человъческимъ языкомъ, соотвътствовавшимъ и духу, и времени, и положенію дъйствующихъ лицъ. Но всего драгоцьниве для насъ въ его романъ — это его народность въ широкомъ значеніи этого слова, хотя Пушкинъ и изображаетъ въ немъ образованное общество. "Истинная народность, говоритъ Гоголь, состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ произведенія; поэтъ можетъ быть народнымъ даже тогда, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что его соотечественникамъ кажется, будто это чувствуютъ и говорять они сами".

Пушкинъ первый изъ нашихъ поэтовъ изобразилъ съ полною опредъленностью характеры русскихъ женщинъ. Въ лицъ Татьяны Пушкинъ нарисовалъ намъ трогательный образъ даровитой и энергической русской дъвушки съ глубокой и сильной душой. Съ легкой руки Пушкина женскіе типы какъ-то болъе удаются нашимъ романистамъ. Особенно они удачны

у Тургенева и Достоевскаго.

Пушкину часто ставять въ вину недостатокъ въ его романъ объективности, составляющей существенный признакъ всякаго эпическаго произведенія. Но кто же въ настоящее время не согласится съ тъмъ, что дъленіе литературы на строго замкнутые отдълы отжило свое время. Романъ имълъ, конечно, свои характеристическія черты, но не имълъ опредъленныхъ границъ. Соприкасаясь, съ одной стороны, съ лирической поэзіей, а иногда соединяетъ въ себъ существенныя условія драмы. Романистъ, какъ и лирическій поэтъ, имъетъ дъло съ живыми людьми, а не съ бездушными предметами, отсюда возможность, почти неизбъжность симпатій и антипатій. Слъдовательно, всъ лирическій отступленія, которыя такъ обильно разсъяны въ романъ Пушкина, скоръе составляють его достоинство, чъмъ недостатокъ.

Пушкинъ по натуръ своей былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ протянуть руку каждому, кто казался ему человъкомъ. Несмотря на пылкость, способную доходить до крайности, въ немъ было много дътски-кроткаго, нъжнаго, мягкаго. Все это отразилось на его произведеніяхъ особенно въ его романъ, который признается самымъ задушевнымъ

произведеніемъ Пушкина.

Это особенная, исключительно свойственная Пушкину, черта

задушевнаго и глубокаго уваженія ко всякому благородному порыву, которая невольно заставляєть насъ признать романъ Пушкина произведеніемъ классическимъ, обладающимъ всъми свойствами, необходимыми для образованія не только эстетическаго, но и нравственнаго чувства читателя.

Только что выясненныя черты Пушкинскаго романа и лежать въ основъ всъхъ произведеній нашихъ современныхъ романистовъ, увлекающихъ читающую публику. Но то, что восхищаеть насъ въ современныхъ широко-захватывающихъ жизнь романахъ, ведетъ свое начало отъ Пушкина, который, по всей справедливости, долженъ быть признанъ отцомъ русскаго нравоописательнаго романа. Онъ первый сблизилъ его съ жизнью, онъ первый открылъ въ области романа новое, нетронутое поле народности, развернувъ широкую канву послъдующимъ романистамъ. Онъ первый опредъленно обозначилъ такіе предметы, которые впослъдствіи образовали въ области романа разныя направленія.

Нътъ сомнънія, что во многихъ отношеніяхъ новъйшіе романисты наши превзошли Пушкина, ставъ съ въкомъ наравнъ, но всъ они воспитывались на сочиненіяхъ Пушкина и являются болье или менье его учениками.

Вокругъ него, какъ вкругъ свътила
Вновь разсвътающаго дня,
Блеснули звъзды дарованій.
Онь эти звъзды вдохновиль
И вь нихъ съ восторгомъ упованій
Святой свой пламень заронилъ,
И этимъ пламенемъ поэта
Облагороженъ и согрътъ
До нашихъ дней въ волненьяхъ свъта
И лътописецъ и поэтъ.

Малиновскій.

Новый романъ нашъ обязанъ реформаторской дъятельности Пушкина. Оглядываясь на предшествующій ему періодъ, мы найдемъ чувствительныя повъсти Карамзина и Жуковскаго, грубовато - юмористическіе, многотомные романы малоросса Наръжнаго, — словомъ, то пріукрашенную, то карикатурную дъйствительность, и нигдъ — ни слъда настоящей русской жизни во всей ея незатъйливости, жизни не городской только, но и захолустной, провинціальной, народной. "Евгеній Онъ-

гинъ" является поэтому настоящимъ откровеніемъ: эта возможность въ изящномъ, тонко насмъщливомъ стихъ бесъдовать о повседневной житейской мелочи, выдвигать въ геров романа или поэмы людей изъ обыденнаго круга, переносить въ поэтическое произведение весь циклъ деревенскихъ интересовъ, возэръній, повърій и сдылать подобный разсказъ увлекательнымъ полагала въ сущности начало русскому общественному роману. Герои Лермонтова, Тургенева, Толстого — прямые потомки этихъ первыхъ Пушкинскихъ героевъ, и тъсная внутренняя связь ихъ между собою не разъ обращала на себя вниманіе изслідователей нашей новібшей культуры; эта связь ведеть отъ Онъгина къ Печорину, Рудину, Инсарову, Базарову и къ новымъ типамъ, складывающимся въ современную намъ эпоху. Каждая пора выставила въ этой галлерев характеровъ своего излюбленнаго героя, и мы уже признаемъ это вполнъ законнымъ, думаемъ, что иначе и быть не можетъ,что романъ не мыслимъ безъ такого върнаго отраженія общественнаго настроенія. Но если вспомнимъ, кто положилъ у насъ конецъ старому воззрвнію на романъ, какъ на исключительно занимательное чтеніе, полное небывалыхъ вымысловъ, то и тутъ виновникомъ обновленія является снова Пушкинъ.

Но не только романъ соціальный получиль свое начало благодаря Пушкину - онъ же создалъ намъ и историческій романъ, не имън никакихъ предшественниковъ, кромъ той же сентиментальной исторической манеры Карамзина. Скажемъ больше: онъ первый показаль, какъ слъдуеть обрабатывать ть данныя, которыя завыщала русской литературь былая исторія, будетъ ли для этой обработки избрана форма драмы, романа или исторической поэмы. Какъ послъ Озеровскаго "Димитрія Донского" явился "Борисъ Годуновъ", такъ послъ дебелой "Россіяды" Хераскова явилась "Полтава", оживившая черты великаго обновителя Россіи, одного изъ любимъйшихъ героевъ Пушкинской поэзіи, — такъ посль Карамзинской "Натальн, боярской дочери" явилась "Капитанская дочка" и "Арапъ Петра Великаго", гдъ впервые живо отразились въ романъ двъ крупныя, треволненныя эпохи новой русской исторіи. Этоть поэть, казалось, въ такой степени привязанный къ текущей злобъ дня, умълъ всецъло переноситься въ далекое прошлое, и тогда вызывать такіе правдивые типы, какъ чернецъ Пименъ, комендантъ Иванъ Кузьмичъ, дядъка Савельичъ или чернецы въ литовской кормчъ, — и въ этомъ умѣнъѣ воскрешать именно подобныя бытовыя, обыденныя черты прошлаго, столь же трудно достижимомъ, какъ и правдивая передача характера историческихъ личностей, онъ остается до сихъ поръ законодателемъ для послъдовавшаго поколѣнія нашихъ историческикъ романистовъ

То-же художественное чутье, которое внушило Пушкину върное пониманіе многихъ сторонъ русской старины, сдълало изъ него, несмотря на все французское его воспитаніе, страстнаго цънителя русской народности.

Веселовскій.

Источники "Бориса Годунова".

Не можетъ подлежать спору, что "Исторія Государства Россійскаго" служила для Пушкина важнымъ пособіемъ при ознакомленіи съ событіями русской исторіи 1598—1605 гг. Но не по одной лишь исторіи Карамзина изучаль Пушкинь время царя Бориса. "Карамзину, говорить поэть, следоваль я въ светломъ развитіи происшествій; вз льтописях старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени". Въ то время когда работалъ Пушкинъ, было уже издано нъсколько памятниковъ, имъющихъ первостепенную важность при изученіи смутной эпохи: такъ называемой Новый Лътописецъ, Житіе царя Өеодора Ивановича, составленное патріархомъ Іовомъ, Сказаніе Авраамія Палицына, Грамота объ избраніи Бориса Годунова. Много извъстій о времени Бориса и самозванца собрано было Щербатовымъ въ VII томъ его Исторіи Россійской. Присматриваясь къ трагедін Пушкина, мы найдемъ въ ней следы знакомства поэта съ такими известіями, которыхъ нътъ у Карамзина и которыя свидътельствують объ исторической начитанности автора "Бориса". Вотъ два примъра.

Богъ излюбиль смиреніе царя, И Русь при немъ во славъ безмятежной Утьшилась, а въ часъ его кончины Свершилося неслыханное чудо: Къ его одру, царю едино зримый, Явился мужъ необычайно свътель, И началъ съ нимъ бесъдовать Өеодоръ И называть великимъ патріархомъ...

И всѣ кругомъ объяты были страхомъ, Уразумѣвъ небесное видѣнье, Зане святый владыка предъ царемъ Во храминѣ тогда не находился.

У Карамзина (т. Х, примъч. 372) замъчено только: "Пишутъ, что онъ умирая видълъ ангела" и пр. Источникъ Пушкинскаго разсказа — жизнеописаніе царя Өеодора, составленное патр. Іовомъ: "Прежде пришествія патріархова видёлъ нъкакова пришедша къ нему мужа свътла во святительскихъ одеждахъ и глаголеть благочестивый царь внезапу предстоящимъ бояромъ своимъ, повелъваетъ отступити отъ одра, его да устроятъ мъсто нъкоему, патріархомъ нарицая его... Они же глаголаша ему: благочестивый царь и великій князь Өеодоръ Ивановичъ всеа Русіи, кого, государь зриши и с кимъ глаголеши, еще бо отцу твоему Иеву патріарху не пришедшу, кому повелъваещи мъсто устроити? Онъ же отвъщавъ рече имъ: зрите ли, у одра моего предстоитъ мужъ свътелъ во одежди святительстъй, ити ми глаголя с собою повелъваеть; они же чудишися на многъ часъ, царя убо единого зряще... мужа же не видяще, ни гласа его не слышаще и мнъша воистину ангела Божія пришедша к нему и возвъщающа ему к Богу отшествіе"; эмпроми ноложени могы.

Другой примъръ. Пушкинъ рисуетъ сцену, въ которой выступаетъ самозванецъ послъ пораженія при Съвскъ.

лъсъ.

Самозванецъ и Пушкинъ. (Въ отдалени лежить конь изды-

Самозванецъ.

Мой бъдный конь! какъ бодро поскакалъ Сегодня онъ въ послъднее сраженье, И, раненый, какъ быстро несъ меня!... Мой бъдный конь!

Пушкинъ (про себя).

Ну воть о чемъ жалѣеть, Объ лошади, когда все наше войско Побито въ прахъ!

Самозванецъ.

Послушай, можеть быть, Отъ раны онъ лишь только заморился И отдохнеть.

> Пушкинъ. Куда! онъ издыхаетъ.

Самозванецъ (идеть къ коню).

Мой бъдный конь!... что дълать? снять узду, Да отстегнуть подпругу. Пусть на волъ Издохнеть онъ. (Разнуздываеть и разсыдлываеть коня. Входять инсколько ляхов.)

Основой этой картины послужило извъстіе, находящееся у Петрея и повторенное г. Миллеромъ и кн. Щербатовымъ.

"Г. Миллеръ, — замъчаетъ Щербатовъ, — послъдуя Петрею, говоритъ, что на семъ побоищъ лошадь подъ самимъ самозванцемъ была ранена, и онъ едва могъ спастися отъ плъненія". У Карамзина нътъ извъстія объ убитомъ конъ самозванца.

Я указываю на эти мелочи потому, что онъ знакомять насъ съ той предварительной, черновой работой, которая скрывается за художественными картинами, развертывающимися передъ нами въ трагедіи Пушкина. Эта черновая работа не сводилась къ чтенію Исторіи Государства Россійскаго. Поэтъ, знакомый съ разнообразными извъстіями о Борисъ и самозванцъ, могъ, напротивъ, свободно и самостоятельно отнестись къ разсказу Карамзина, могъ придавать только значеніе такимъ указаніямъ, которыя были отвергнуты историкомъ, могъ расходиться съ нимъ въ оцънкъ тъхъ или другихъ извъстій. Укажу опять два примъра.

Воть — Юрьевь день задумаль уничтожить, Невластны мы вь помъстіяхь своихь. Не смъй согнать льнивца, радь не радь Корми его! не смъй переманить Работника! не то — въ приказъ холопій! Ну, слыхано ль хоть при царъ Иванъ Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванець Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потъха. Такъ говоритъ бояринъ Пушкинъ. Извъстно, что царь Борисъ въ 1601 г. возстановилъ, хотя и въ ограниченныхъ размърахъ, значеніе Юрьева дня. Сообщивъ содержаніе Борисова указа о крестьянахъ, Карамзинъ замъчаетъ:

"Увъряютъ, что измъненіе устава древняго и нетвердость новаго, возбудивъ негодование многихъ людей, имъли вліяніе и на бъдственную судьбу Годунова; но сіе любопытное сказаніе историковъ XVIII въка не основано на извъстіяхъ современниковъ, которые единогласно хвалятъ мудрость Бориса въ дълахъ государственныхъ". Подъ сказаніямъ XVII въка Карамзинъ разумъетъ извъстіе Татищева (повторенное и Щербатовымъ): "Сей законъ о вольности попрежнему крестьянъ онъ (Годуновъ) учинилъ противъ своего разсужденія... надъясь тъмъ дасканіемъ болъе духовнымъ и вельможамъ угодить и себя на престолъ утвердить, а роптаніе и многія тяжбы пресъчь; но вскоръ услыша большее о семъ негодование и ропотъ, что духовные и вельможи, имъюще множество пустыхъ земель, отъ малоземельныхъ дворянъ крестьянъ себъ перезвали, принуждень паки вскорт перемънить и не токмо крестьянь, но и холопей невольными сдълаль: изъ чего великая бъда приключилась и большею частію чрезг то престолг ст жизнію всея своея фамиліи потеряль, а государство великое разореніе претерпъло". Пушкинъ не раздъляль, какъ видно, недовърія Карамзина къ этимъ показаніямъ Татищева. Въ приведенной выше тирадъ поэтъ повторяетъ извъстіе историка XVIII въкаизвъстіе, отвергнутое Карамзинымъ.

Разсказывая о содъйствіи, которое оказывали самозванцу нъкоторые польскіе паны, Карамзинъ говорить: "Главою и первымъ ревнителемъ сего подвига сдълался старецъ Мнишекъ, коему старость не мъшала быть ни честолюбивымъ ни легкомысленнымъ до безразсудности. Онъ имълъ юную дочь прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и вътреную: Лжедимитрій, гостя у него въ Самборъ, объявилъ себя искренно или притворно страстнымъ ея любовникомъ и вскружилъ ей голову именемъ царевича; а гордый воевода съ радостію благословилъ сію взаимную склонность въ надеждъ видъть Россію у ногъ своей дочери, какъ наслъдственную собственность его потомства". Пушкинская Марина совсъмъ не похожа на эту вътреную прелестницу Карамзина. Не самозванецъ кружитъ голову Пушкинской Маринъ; Марина вскружила голову само-

званцу: она умъла вырвать у него признаніе въ обманъ, она же заставила его забыть это признаніе...

Нътъ! легче мнъ сражаться съ Годуновымъ Или хитрить съ придворнымъ езуитомъ, Чъмъ съ женщиной. Чортъ съ ними; мочи нътъ: И путаетъ, и вьется, и ползетъ, Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ — Змъя, змъя!... Не даромъ я дрожалъ: Она меня чутъ-чутъ не погубила. Но ръшено: заутра двину ратъ.

Это признаніе самозванца, вся чудная сцена объясненія Димитрія и Марины — конечно, плодъ поэтическаго генія, а не историческихъ изученій, но нельзя все-таки не обратить вниманія на сходство Пушкинской Марины съ ея портретомъ, набросаннымъ въ "Краткой повъсти о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ": "Сей Мнишекъ отъ второго своего брака съ княжною Софією Олончинскою имълъ рожденную дщерь, именемъ Марину, дъву гордую, хитрую и дерзновенную, которая мня видъть въ Отрепьевъ законнаго наслъдника россійскаго престола, экселала его супругою быть, а и самъ Отрепьевъ, какъ ради красоты, такъ для обычая сея дъвы, а паче надъяся сими неразрывными узами присоединить къ себъ два сильные въ Польшъ рода, т.-е. Мнишковъ и Вишневецкихъ, желаль сего супружества. Сокрытыя вз сердию их мысли вскорт открылись, а отецъ Марининъ, воображая дочери своей великое щастіе въ семъ супружествъ, на сіе соизволилъ и дочь свою сему самозванцу объщаль". Этоть безыскусственный разсказъ — точно бледный, грубый набросокъ той яркой, художественной законченной картины, которая открывается передъ нами въ сценъ у фонтана.

Приведенныя указанія не касаются еще существа діла, изображенія Бориса и его судьбы, но этихъ указаній достаточно, чтобы усомниться въ справедливости замічанія о какой-то рабской зависимости Пушкина отъ Карамзина. Постараемся провірить эти сомнінія сопоставленіемъ изображеній Борисова царствованія, которыя находимъ у Карамзина и Пушкина.

Одинъ изъ любимыхъ литературныхъ пріемовъ Карамзина, какъ историческаго живописца, — ръзкій переходъ отъ свъта къ тъни, отъ картинъ, полныхъ блеска и радости, къ карти-

намъ мрачнымъ и грустнымъ. Нигдъ эта любовь Карамзина къ историческимъ контрастамъ не выразилась такъ ярко, какъ въ разсказъ о царствовани Бориса Годунова. Въ І главъ XI тома Исторіи Государства Россійскаго предъ нами рисуется величественная и трогательная картина, центромъ которой является излюбленный народомъ царь, вызывающій общіе восторги, распространяющій вокругь себя радость и счастье. 30 апрыл 1598 г. новый царь появился въ Москвъ. "Сей день, замъчаеть историкъ, принадлежить къ торжественнъйшимъ днямъ Россіи въ ея исторіи. Въ часъ утра духовенство съ крестами и съ иконами, синклить, дворъ, приказы, воинство, всъ граждане ждали царя у Каменнаго моста..." Прибывшій Борись "милостиво привътствоваль всёхь, и знатныхъ и незнатныхъ, представилъ имъ царицу, давно извъстную благочестіемъ и добродътелію искреннею, — девятилътняго сына и шестнадцатильнюю дочь, ангеловъ красоты. Слыша восклицанія народа: "Вы наши государи, мы ваши подданные". Өеодоръ и Ксенія вивств съ отцомъ ласкали чиновниковъ и гражданъ; такъ же, какъ и онъ, взявъ у нихъ хлъбъ соль, отвергнули золото, серебро и жемчугъ, поднесенные имъ въ даръ, и звали всъхъ объдать къ царю. Невозбранно тъснимый безчисленною толною людей, Борисъ шелъ за духовенствомъ съ супругою и съ дътьми, какъ добрый отецъ семейства и народа, въ храмъ Успенія... Отслушавъ литургію, новый самодержецъ, провожаемый боярами, обходилъ всё главныя церкви кремлевскія, везді модился съ теплыми слезами, везді слышалъ радостный крикъ гражданъ и, держа за руку своего юнаго наслъдника, а другою ведя прелестную Ксенію, встуниль съ супругою въ палаты царскія". Въ томъ же 1598 году Борисъ, услышавъ, о движеніи крымскаго хана, издаетъ указъ о сборъ войска. "Сей указъ произвелъ удивительное дъйствіе: не было ни ослушныхъ ни лънивыхъ; всъ дъти боярскія, юныя и престарълыя, охотно садились на коней; городскія и сельскія дружины безъ отдыха спішили къ містамъ сборнымъ... Видъли, чего не видали дотолъ: полмилліона войска, какъ увъряють, въ движеніи стройномъ, быстромъ съ усердіемъ несказаннымъ, и съ довъренностію безпредъльною... Исчезло самое мъстничество: воеводы спрашивали только, гдъ имъ быть, и шли къ своимъ знаменамъ, не справляясь съ разрядными книгами о службъ отцовъ и дъдовъ". 1 сентября совершалось

царское вънчаніе Бориса. Среди богослуженія случилось нъчто неожиданное. Борисъ схватился за свою рубаху, готовый сбросить ее въ пользу неимущихъ; "отдать и сію послъднюю народу", говориль онъ. "Тогда единодушный восторгъ прерваль священнодъйствіе: слышны были только клики умиленія и благодарности въ храмъ; бояре славословили монарха, народъ плакалъ". Вы еще не успъли налюбоваться этой картиной общаго счастія, какъ историкъ быстрымъ движеніемъ мѣняеть стекло въ своемъ волшебномъ фонаръ. Открывается мрачная картина, на которой рисуются какіе-то призраки, мучащіе подозрительнаго и угрюмаго властителя. Борисъ окружаетъ себя шпіонами, ищеть какихъ-то измѣнниковъ, невинныхъ людей заключаетъ въ тюрьму, отправляетъ въ ссылку.

"Сонмы измънниковъ, если не всегда награждаемыхъ, то всегда свободныхъ отъ наказанія за ложь и клевету, стремились къ царскимъ палатамъ изъ домовъ боярскихъ и хижинъ, изъ монастырей и церквей: слуги доносили на господъ, иноки, попы, дьячки, просвирницы на людей всякаго званія — самыя жены на мужей, самыя дъти на отцовъ, къ ужасу человъчества!" Что же было причиной такой перемъны въ царъ Борисъ? По взгляду Карамзина, искать эту причину въ ходъ событій того времени было бы излишне. Причина скрывалась въ самомъ Борисъ, въ его прошломъ. Всъ эти бояре, подоэрвваемые Борисомъ, были только "страшилищами для Борисова изображенія". Россія желала "забыть убіеніе Димитрія или сомнъвалась въ ономъ. Но вънценосецъ зналъ свою тайну и не имълъ утъшенія върить любви народной... Внутреннее безпокойство души, неизбъжное для преступника, обнаружилось въ царъ несчастными дъйствіями подозрънія, которое, тревожа его, скоро встревожило всю Россію". Измънился царь, измънились и отношенія народа къ царю. Навстръчу страшилищамъ Борисова воображенія поднялся изъ могилы грозный призракъ, который несъ гибель Борису и его семьъ: "Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, россіяне искренно славили царя, когда онъ подъ личиною добродътели казался имъ отдомъ народа, но, признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидъли его и за настоящее и за минувшее: въ чемъ, можетъ-быть, хотвли сомнъваться, въ томъ снова удостовърились, и кровь Димитріева явные означалась для нихъ на порфиры губителя невинныхъ"..,

Появляется самозванець. "Никто изъ россіянъ до 1604 года не сомнѣвался въ убіеніи Димитрія, который возрасталь на глазахъ всего Углича, и коего видѣлъ весь Угличъ мертваго, въ теченіе пяти дней орошавъ его тѣло слезами: слѣдственно россіяне не могли благоразумно вѣрить воскресенію царевича; но они пе любили Бориса! Сіе несчастное расположеніе готовило ихъ быть жертвою обмана". Борисъ собираетъ войско. Но всѣ его "мѣры, угрозы и наказанія недѣль въ шесть соединили до пятидесяти тысячъ всадниковъ въ Брянскѣ, вмѣсто полмилліона, въ 1598 году ополченнаго призывнымъ словомъ царя, коего любила Россія".

Итакъ, въ 1604 г. Россія уже не любила Бориса; ранъе, въ 1598 г., она напротивъ любила его. Но дъйствительно ли любила? Есть извъстія, что избраніе Бориса прошло не безъ противодъйствія нъкоторыхъ бояръ, что и въ народъ это избраніе не встрітило искренняго восторга. Карамзинъ зналь, конечно, эти извъстія, но върный своему основному взгляду на судьбу Бориса, своему плану, дълившему царствованіе Годунова на двъ не похожія одна на другую картины. онъ постарался обойти эти извъстія. Любопытно при этомъ сопоставить разсказъ Карамзина объ избраніи Бориса съ нъкоторыми примъчаніями, сопровождающими этотъ разсказъ. Въ текстъ исторіи (на основаніи свидътельства избирательной грамоты) говорится, что на избирательномъ соборъ указаніе на Бориса, сдъланное патріархомъ Іовомъ, встръчено было общимъ восторгомъ: "Усердіе обратилось въ восторгъ, и долго нельзя было ничего слышать, кромъ имени Борисова, громогласно повторяемаго всемъ многочисленнымъ собраніемъ". Въ примъчаніи (389) читаемъ: "Въ лътописи сказано (см. Никоновскую лът.), что одни Шуйскіе не хотыли Годунова на царство, однакожъ и Шуйскіе не противоръчили". Движеніе духовенства и народа къ Новодевичьему монастырю, где таился Борисъ, изображается такъ: "Соборомъ отпъвъ литургію, патріархъ снова и тщетно убъждаль Бориса не отвергать короны, велълъ нести иконы и кресты въ кельи царицы: такъ со всъми святителями и вельможами преклонилъ главу до земли... и въ это самое мгновеніе, по данному знаку, все безчисленное множество людей въ кельяхъ, въ оградъ, внъ монастыря, упало на кольни, съ воплемъ неслыханнымъ: всъ требовали царя, отца, Бориса. Матери кинули на землю своихъ

грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крика. Искренность побъждала притворство; вдохновеніе дъйствовало и на равнодушныхъ и на самыхъ лицемъровъ!" Въ примъчаніи (397): "Въ одномъ хронографъ сказано, что нъкоторые люди, боясь тогда не плакатъ притворно, мазали себъ глаза слюною!" Впечатлъніе, оставляемое этими извъстіями, нужно было во что бы то ни стало, если не уничтожить, то ослабить. Поэтому-то историкъ говоритъ объ искренности, побъждавшей притворство, о какомъ-то вдохновеніи, дъйствовавшемъ на равнодушныхъ и лицемъровъ. Необходимо было убъдить читателя, что на первыхъ порахъ Борисъ былъ дъйствительно народнымъ любимцемъ.

Обратимся къ драмѣ Пушкина. Стоитъ только прочитать первыя сцены Пушкинскаго Бориса,— сценку свиданія Шуйскаго и Воротынскаго и сценку народной сходки на Дѣвичьемъ полѣ, чтобы убѣдиться, что между разсказомъ историка и замысломъ поэта иютъ сходства. Трагедія Пушкина не укладывается въ ту рамку, которая охватываетъ царствованія Бо-

риса въ Исторіи Государства Россійскаго.

Карамзинъ, упоминая о князьяхъ Рюриковичахъ, участвовавшихъ въ избраніи Годунова, говоритъ: "Тутъ находились князья Рюрикова племени: Шуйскіе, Сицкіе, Воротынскій, Ростовскіе, Телятевскіе и столь многіе иные; но давно лишенные достоинства князей владътельныхъ, давно слуги московскихъ государей наравнъ съ дътьми боярскими, они не дерзали мыслито о своемз наслюдственномз правъ и спорить о коронъ съ тъмъ, кто безъ имени царскаго уже тринадцать лътъ единовластвовалъ въ Россіи; былъ хотя и потомокъ мурзы, но братомъ царицы". Читаемъ у Пушкина разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ и узнаемъ, что Рюриковичи дерзали мыслить о своемъ правъ. Шуйскій говоритъ:

Какая честь для насъ, для всей Руси! Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты, Зять цалача и самъ въ душ'в палачь— Возьметь вънецъ и бармы Мономаха...

Воротынскій.

Такъ; родомъ онъ не знатенъ; мы знатиъе.

Шуйскій.

Да, кажется.

Воротынскій.

Въдь Шуйскій, Воротынскій... Легко сказать, природные князья.

Шуйскій.

Природные и Рюриковой крови.

Воротынскій.

А слушай князь, въдь мы бъ имъли право Наследовать Осодору.

Шуйскій.

Да, болѣ

Чемъ Годуновъ.

Воротынскій.

Въдь въ самомъ дълъ!

Шуйскій.

Что жъ? Когда Борисъ хитрить не перестанеть, Давай народъ искусно волновать, Пускай они оставять Годунова, Своихъ князей у нихъ довольно; пусть Себъ въ цари любого изберуть.

Этотъ разговоръ — художественное развитие лътописнаго намека о князьяхъ Шуйскихъ, которые Бориса "не хотяху на царство, узнаху его, что быти отъ него людемъ и себъ гоненію". Воротынскій говорить:

Не мало насъ, наслъдниковъ варяга, Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ: Народъ отвыкъ въ насъ видъть древню отрасль Воинственныхъ властителей своихъ. Уже давно лишились мы удъловъ. Давно царямъ подручниками служимъ, А онг умпълз и страхомг, и любовью, И славою народъ очаровать.

Изъ сцены на Дъвичьемъ полъ мы узнаемъ, каково было это очарование народа.

Одинъ (тихо)

O TEMB TAME II JAYVTE ? II CONTRACTOR SERVICE ...

Другой.

А какъ намъ знать? То въдають болре. Не намъ чета,

Воротынскій говорить объ очарованіи народа, а народь, оказывается, ссылается на боярь. Картина народнаго моленья получаеть при этомъ видъ комической сцены:

Одинъ.

Всѣ плачутъ — Заплачемъ, братъ, и мы!

Другой.

Я силюсь, брать,

Да не могу.

Одинъ.

Я также. Нъть ли луку? Потремъ глаза.

Другой.

А я слюной намажу. Что тамъ еще?

Первый.

Да кто ихъ разбереть!

Эти ръчи — воспроизведение того извъстія, которое Карамзинъ спряталъ, какъ мы видъли, въ одномъ изъ примъчаній: "Въ одномъ хронографъ сказано, что нъкоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умъя плакать притворно, мазали себъ глаза слюною". Любопытно, что не забылъ поэтъ и другой подробности, отмъченной историкомъ: "матери кинули на землю своихъ грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крича".

У Пушкина:

Баба (съ ребенкомъ).

Ну, что жъ? Какъ надо плакать, Такъ и затихъ! Вотъ я тебя!.. вотъ бука! Плачъ, баловень! (Бросаеть его оземь; ребенокъ пищить). Ну, то-то же!

Какъ подготовлялось избраніе Годунова въ цари, поэтъ не выясняеть: остается лишь общее впечатльніе ловко веденной интриги, завершавшейся появленіемъ на столь московскихъ парей "вчерашняго раба". Пушкина, очевидно, интересовало не самое избраніе, а отношеніе къ новому царю боярства и народа. Отношеніе боярства достаточно опредъляется словами Шуйскаго: "Давай народъ искусно волновать!" Что касается народа, то не видно пока его вражды къ Борису, но не видно и живого, дъятельнаго сочувствія. Случайно собравшаяся толпа, которая должна представлять народъ, выкрикиваетъ то, что ей показано, и сама же подсмвивается надъ своими восторгами. "Царь, коего любила Россія", такъ называетъ Карамзинъ Бориса, изображая первую пору его царствованія. Нътъ, это не излюбленный землей, не земскій царь, скажемъ мы, прочитавъ первыя сцены Пушкинской драмы.

Но воть появляется передъ нами и самъ новоизбранный парь. Онь говорить красивую рачь, въ которой обращается къ патріарху, боярству, народу:

Ты, отче патріархъ, вы всѣ, бояре! Обнажена душа моя передъ вами: Вы видѣли, что я пріемлю власть Великую со страхомъ и смиреньемъ... Сколь тяжела обязанность моя! Наслѣдую могучимъ Іоаннамъ, Наслѣдую и ангелу-царю!.. О праведникъ, о мой отецъ державный! Воззри съ небесъ на слезы вѣрныхъ слугъ И ниспошли тому, кого любилъ ты, Кого ты здѣсь столь дивно возвеличилъ, Священное на власть благословенье, Да правлю я во славѣ свой народъ, Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.

Мы не знаемъ, искрення или лжива эта рѣчь; говоритъ ли передъ нами дъйствительно растроганный человъкъ, или ловкій лицемъръ; намъ ясно лишь то, что это — рѣчь заблуждающагося человъка. Если Борисъ думаетъ обмануть своихъ слушателей, то тотъ, кто подслушалъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ, народные толки на Дѣвичьемъ полъ, скажетъ, что обманывающимся является при этомъ онъ самъ, этотъ искусный лицемъръ. Если же Борисъ не лицемъръ, если онъ искренно говоритъ о себъ, какъ о народномъ избранникъ, то заблуждене его выступаетъ еще ярче!... Поэтому-то рѣчь царя, полная мира и любви, полная такихъ свътлыхъ

надеждъ, оставляетъ въ насъ тяжелое и тревожное впечатлъніе.

Царь говорить:

Да правлю я во слав'в свой народъ, Да буду благъ и праведенъ...

А намъ слышатся въ это время злобныя ръчи Шуйскаго, слышится смъхъ народной толны...

Великій обманъ, — таково общее впечатлѣніе, оставляемое въ насъ и сценой, гдѣ выступаютъ бояре, и сценой, гдѣ дѣйствуетъ народъ, и рѣчью царя. Но вѣдь обманъ раскроется же когда-нибудь, онъ не можетъ не раскрыться: сѣмя лжи, посѣянное самимъ избраніемъ Бориса, рано или поздно взойдетъ... Послѣ рѣчи Бориса Шуйскій и Воротынскій обмѣниваются коротенькими фразами, намекающими на ихъ прежній разговоръ.

Воротынскій,

Ты угадаль.

Шуйскій.

А что?

Воротынскій.

Да здѣсь, намедни, Ты помнишь?

Шуйскій.

Нътъ, не помню ничего.

Воротынскій. Когда народъ ходилъ въ Дъвичье поле, Ты говорилъ.

Шуйскій.

Теперь не время помнить, Сов'тую порой и забывать.

Теперь не время помнить... Но когда-нибудь, быть можеть, и настанеть время вспомнить.

Проходить пять лёть послё избранія Бориса въ цари. Появляется самозванець, выдающій себя за царевича Дмитрія. "Мивніе м. Платона о Дмитріи Самозванць", говорить Пушкинь, "будто бы воспитань у езуитовь, удивительно дётское и романическое. Всякій былз годенз, чтобз разыграть эту роль".

Говоря такъ, поэтъ даетъ понять, что успъхъ самозванца обезпеченъ былъ, по его мнънію, не личностью мнимаго Дмитрія, а обстоятельствами того времени, суммой условій, воспитавшихъ и поддерживавшихъ самозванство. Условія эти указаны тъмъ "злымъ чернецомъ", въ разговоръ съ которымъ опредъляется планъ Отрепьева:

Чернецъ.

Слушай. Глупый нашь народь Легковърень, радь дивиться чудесамь и новизнъ, А бояре въ Годуновъ помнять равнаго себъ. Племя древняго варяга и теперь любезно всъмъ. Ты царевичу ровесникъ... Если ты хитеръ и твердъ... Понимаешь?

Григорій.

Понимаю.

Чернецъ.

Что же скажешь?

Григорій.

Рѣшено! Я Дмитрій, я царевичь!

Чернецъ.

Дай мнь руку; будешь царь!

О народъ говоритъ и царь:

Я думаль свой народь
Въ довольстви, во славъ успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложиль пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умъють только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Мы видъли народную толпу, выкликавшую имя Бориса; въ этой толпъ не видно было любви къ Борису, но не было и открытаго нерасположенія къ нему. Теперь мы узнаемъ, что народное настроеніе успъло выясниться и опредълиться,—выясниться не въ пользу Бориса. Призракъ народнаго избранничества разсъялся. Борисъ увидълъ передъ собой народъ, готовый върить всякой сплетнъ, всякой клеветъ, если только эта клевета касалась его, Бориса. Но откуда шли эти дурные толки о Борисъ, и отчего народъ такъ охотно имъ върилъ?

Отвътъ даетъ сцена въ домъ Шуйскаго. — Въ Москву приходитъ въсть о самозванцъ. Кто принесъ эту въсть? Кто первый узналъ о самозванцъ? Въсть сообщена въ письмъ Гаврилы Пушкина, московскаго боярина, перебравшагося въ Литву. Гонецъ передаетъ письмо Гаврилы его дядъ, а тотъ сообщаетъ затъйливую новость Шуйскому... Шуйскій сразу оцънилъ значеніе литовской въсти:

Все это, брать, такая кутерьма, Что голова кругомь пойдеть невольно. Сомнънья нъть, что это самозванець, Но, признаюсь, опасность не мала. Въсть важная! и если до народа Она дойдеть, то быть грозъ великой!

Пушкинъ развиваетъ мысль Шуйскаго:

Такой грозв, что врядь царю Борису Сдержать ввнець на умной головв. И по двломъ ему: онъ править нами, Какъ царь Ивань (не къ ночи будь помянуть). Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нътъ, Что на колу кровавомъ всенародно Мы не поемъ каноновъ Іисусу, Что насъ не жгуть на площади, а царь Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей? Увърены ль мы въ бъдной жизни нашей! Насъ каждый день опала ожидаетъ, Тюрьма, Сибирь, клобукъ, иль кандалы, А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

Въ этомъ разговоръ Шуйскаго съ Пушкинымъ намъ слышится что-то знакомое. Мы припоминаемъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ передъ избраніемъ Бориса. И тамъ и здѣсь появляется передъ нами кн. Василій Шуйскій, несомнѣнный врагъ Годунова, но врагъ тайный, умѣющій быть скрытнымъ; онъ бросаетъ лишь кое-какіе намеки, развивать которые представляетъ другимъ — Воротынскому, Пушкину. Въ пересудахъ этихъ бояръ обрисовывается передъ нами среда, съ давнихъ поръ враждебная Борису, но чувствовавшая себя недостаточно сильной для открытаго протеста.

Не мало насъ, наслъдниковъ варяга, Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ: Народъ отвыкъ въ насъ видъть древню отрасль Воинственныхъ властителей своихъ... А онъ умъть и страхомъ, и любовью, И славою народъ очаровать.

Теперь, когда истинныя отношенія народа къ Борису успъли достаточно выясниться, объ очарованіи народа не могло быть и ръчи:

... А легче ли народу? Спроси его. Попробуй Самозванець Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдеть потъха.

Мы догадываемся теперь, какъ слагались и расходились дурные толки о Борисъ. Толки эти росли и зръли на почвъ боярскаго и народнаго недовольства. На эту же почву попадаетъ и въсть о Самозванцъ. Въсть, очевидно, не заглохнетъ. Быть грозъ великой...

Событія развертываются быстро. Около Самозванца собирается толпа русскихь и поляковь, одушевляемая надеждой на личную выгоду въ случав успъха претендента. Григорій, подстрекаемый этой толпой, въ ряды которой замъшалась красавица Марина, объявляеть открытую борьбу московскому царю:

Самозванецъ.

Кровь русская, о Курбскій потечеть! Вы за царя подъяли мечь, вы чисты; Я жь вась веду на братьевь; я литву Позваль на Русь; я въ красную Москву Кажу врагамъ завътную дорогу! Но пусть мой гръхъ падеть не на меня, А на тебя, Борисъ-цареубійца! Впередь!

Курбскій.

Впередь! и горе Годунову! (Скачуть. Поляки переходять черезь границу.)

Если бы мы не знали, чъмъ былъ силенъ Самозванецъ, эти слова показались бы намъ крикомъ безумца. Такъ именно и посмотрълъ на угрозы Самозванца царь Борисъ:

Возможно ли? Растрига, бъглый инокъ На насъ ведетъ злодъйскія дружины, Дерзаетъ намъ писать угрозы! Полно, Пора смирить безумца! Поъзжайте, Ты, Трубепкой, и ты, Басмановъ; помощь Нужна моимъ усерднымъ восводамъ: Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ. Спасайте градъ и гражданъ.

Басмановъ отвъчаетъ:

Государь,
Трехъ мѣсяцевъ отнынѣ не пройдеть,
И замолчитъ и слухъ о Самозванцѣ;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ звѣря
Заморскаго, въ желѣзной клѣткѣ; Богомъ
Тебѣ клянусь.

Но немного прошло времени, и царь убъдился, что справиться съ мнимымъ Дмитріемъ не такъ легко. Царскія войска разбили Самозванца подъ Съвскомъ, но въсть объ этой побъдъ не радуютъ Бориса:

Онъ побъжденъ. Какая польза въ томъ? Мы тщетно побъдой увънчались. Онъ вновь собралъ разсъянное войско И намъ со стънъ Путивля угрожаетъ...

Московскій царь, располагавшій всёми средствами государственной силы, чувствуетъ себя безпомощнымъ передъ какимъ-то бродягой, окруженнымъ наскоро собравшейся толпой! Такую толпу не трудно было бы разогнать, но за ней, очевидно, стояла какая-то другая сила...

"Николку маленькія дъти обижають, — жалуется Борису юродивый. — Вели ихъ заръзать, какъ заръзаль ты маленькаго царевича". — "Молись за меня, бъдный Николка!" говорить царь. — "Нътъ, нътъ! Нельзя молиться за царя Ирода: Богородица не велитъ". — Вотъ какія ръчи пришлось выслушать Борису! Царь понималъ, что юродивый говорилъ лишь то, о чемъ молча думали другіе...

Борису нужно теперь выдерживать двойную борьбу: одна борьба идеть на украйнъ государства, подъ Путивлемъ, Съвскомъ, Кромами; другая — въ сердцъ государства, въ Москвъ, на илощадяхъ московскихъ. На украйнъ царскія войска бьются съ Самозванцемъ; въ Москвъ царь борется съ землей. Изъ первой борьбы Борисъ могъ выйти побъдителемъ, но гдъ найдетъ онъ силы для другой, земской борьбы?

Царь объявляеть Басманову, что онъ недоволенъ своими воеводами:

Нътъ, я ими недоволенъ — Пошлю тебя начальствовать надъ ними, Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы, Пускай ихъ спесь о мъстничествъ тужить! Пора презръть мнъ ропотъ знатной черни И гибельный обычай уничтожить.

Басмановъ.

Ахъ, государь, стократъ благословенъ Тотъ будетъ день, когда разрядны книги Съ раздорами, съ гордыней родословной Пожретъ огонь.

Царь.

День этоть недалекъ; Лишь дай сперва смятеніе народа Мнъ усмирить.

Итакъ, для успъха въ борьбъ съ Самозванцемъ нужно прежде всего "презръть ропотъ знатной черни", нужно уничтожить гибельный обычай мъстничества. Оказывается, однако, что теперь, когда эта мъра необходима, осуществить ее нельзя "дай сперва смятеніе народа мнъ усмирить". Борисъ попадаетъ въ какой-то волшебный кругъ. Самозванецъ не ждетъ, а Борису нужно еще смятеніе народа усмирить, а затъмъ гибельный обычай уничтожить.

У Бориса, правда, остается одна надежда. Онъ ласкаетъ Басманова, аппеллируетъ къ чувству личнаго честолюбія, — честолюбія, не опирающагося ни на родовую гордость ни на земское довъріе. И вотъ, точно отвътъ на царскій призывъ, поднимается въ душъ Басманова властолюбивая мечта:

Мысль важная въ ум'в его родилась. Не надобно ей дать остыть. Какое Мн'в поприще откроется, когда Онъ сломить рогъ боярству родовому! Соперниковъ во брани я не знаю; У царскаго престола стану первый... И можетъ-быть...

Можетъ-быть, и замъщу Бориса... Царь самъ подсказаль заговоръ.

Водшебный кругь, обведенный судьбой вокругь Бориса, замкнудся безысходно. Судьба можеть оказать лишь одну милость несчастному царю, — предупредить позоръ развънчиванья, потери власти. Борису не пришлось, дъйствительно, склонить голову передъ "разстригой". Онъ умираетъ. Но эта смерть только начало конца. Мы должны еще увидъть, какъ со смертью Бориса гибнеть дъло всей его жизни, гибнеть его царственное наслъдство.

Только что Борисъ закрылъ глаза, Басмановъ, съ которымъ такъ откровенно бесъдовалъ Борисъ, на котораго онъ возлагалъ столько надеждъ, переходитъ на сторону Самозванца. На московской площади раздается крикъ:

Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты! Ступай визать Борисова щенка!

Народъ (несется толпою).

Вязать! топить! Да здравствуеть Димитрій! Да гибнеть родъ Бориса Годунова!

Этимъ могла бы закончиться драма. Мы узнали судьбу Бориса до конца. Но поэтъ даетъ еще одну заключительную сцену. Марія и Өедоръ Годуновы убиты сторонниками Самозванца. Мосальскій объявляеть: "Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Өедоръ отравили себя ядомъ. Мы видъли мертвые трупы". — "Народа ва ужаст молчита". — Что жъ вы молчите? — Продолжаетъ Мосальскій. — Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичь!" "Народа безмолствуета". Извъстно, что первоначальное заключение пьесы было иное. Въ рукописи пьеса оканчивается народнымъ возгласомъ: "Да здравствуеть царь Дмитрій Ивановичь!" На какомъ бы изъ этихъ двухъ варіантовъ мы ни остановились, сущность дъла не мъняется. Крикъ народа, который передъ тёмъ "въ ужасё молчалъ", не указываетъ, конечно, на перемъну настроенія народной массы; за этимъ вынужденнымъ крикомъ кроется все тоть же ужась, на который указываеть и народное безмолвіе. Этотъ ужасъ, это безмолвіе - нъмой приговоръ Самозванцу.

Борисъ погибъ, но не обманъ, не призракъ, не Самозванецъ погубили его. Обманъ имълъ успъхъ лишь какъ орудіе той грозной силы, съ которой не поладилъ Годуновъ. Самозванство названнаго Дмитрія, по взгляду Пушкина, было ясно для всъхъ. Плънникъ на вопросъ Отрепьева:

Ну! обо мнъ какъ судять въ вашемъ станъ?

А говорять о милости твоей Что ты, дескать (будь не во гиввъ), и воръ, А молодецъ.

Пушкинъ говоритъ Басманову:

Россія и Литва Димитріемъ давно его признали; Но, впрочемъ, я за это не стою: Выть можеть, онъ Димитрій настоящій, Быть можеть, онъ и самозванець; только Я вѣдаю, что рано или поздно Ему Москву уступить сынъ Борисовъ.

Такой всёмъ ясный обманъ могъ удаваться, пока была налицо причина, вызвавшая и поддерживавшая этоть обманъ. Теперь Годунова не стало, его сынъ лишенъ престола. Самозванецъ сыгралъ свою роль. Раньше или позже онъ долженъ удалиться съ исторической сцены, снявъ свой театральный костюмъ, захваченный изъ казны московскихъ государей. Убійство, совершенное рьяными сторонниками Самозванца, не замедлило обнаружить истинное народное настроеніе, скрывавшееся за кажущимся успъхомъ мнимаго Дмитрія. "Народъ въ ужасъ молчитъ". Это молчаніе могло быть прервано развъ рвчью какого-нибудь юродиваго, который напомниль бы новому царю объ убійства Борисова сына, какъ напоминаль онъ Борису о гибели Дмитрія... Приговоръ надъ Самозванцемъ уже составленъ. Наступитъ день, приговоръ войдетъ въ законную силу и будеть объявленъ въ окончательной Ждановъ. формъ.

Содержаніе и планъ "Бориса Годунова".

Пушкинъ не далъ этому драматическому произведенію никакого родового названія; въ немъ ніть разділенія на акты, и сцены безпрерывно следують одна за другою; место действія также безпрерывно міняется; время же дійствія обнимаеть собою цълые годы. Если эти внъшности, изъ которыхъ только первая можеть показаться необыкновенною, заставляли самого поэта сомнъваться, точно ли его произвдеение можеть быть названо трагедіей, то это, однакожъ, ни минуты не должно приводить насъ въ раздумье -- дать ему это названіе. Единство дъйствія вездъ строго сохранено и органически связуеть части въ одно цълое. Планъ, ходъ и развитіе истиннодраматическія; впечатлівніе, производимое цілымь, также иміетъ совершенно драматическій характеръ. Внъшній объемъ равняется мъръ обыкновенныхъ пяти актовъ, — и нисколько не было бы трудно, если бъ только это было нужно, распредълить эти пять актовъ для представленія на сценъ. Но созданіе русскаго поэта имѣетъ такія же права на эти свободныя формы, какія имѣютъ историческія драмы Шекспира и Гётевы "Гёцъ Берихингенскій" и "Эгмонтъ"; оно по своему духу, по идеѣ и внутренней формѣ близко къ созданіямъ этихъ геніевъ. Мы дѣлаемъ особенное удареніе на словѣ "драма" въ приложеніи къ Борису Годунову именно потому, что толпа очень обыкновенно и очень охотно не признаетъ того права, которое не выступаетъ открыто. Не признаетъ произведенія Пушкина драмою потому только, что онъ самъ не называетъ его такъ, было бы нисколько не лучше того, какъ и отрицать у Гёте искусство изящно писать по-нѣмецки; вѣдь Гёте сказалъ же гдѣ-то, что онъ не мастеръ писать по-нѣмецки. Такая скромность почти всегда бываетъ опасна, потому что толна охотнѣе и больше въритъ словамъ, нежели дѣлу.

Матеріаль драмы заимствовань изъ русской исторіи, изъ самаго тревожнаго, изъ самаго богатаго событіями періода, --періода, въ который является Лжедимитрій. Но не онъ, не Лжедимитрій, какъ въ посмертномъ, неоконченномъ произведеніи Шиллера, является героемъ трагедін, а какъ уже показываетъ заглавіе, Борисъ Годуновъ, который въ то время возсъдалъ на русскомъ престолъ. По смерти Іоанна Грознаго ему наслъдоваль въ царской власти старшій сынь его Өедоръ; но эта власть вся сосредоточилась въ рукахъ его боярина (министра) Бориса Годунова, который даль царю въ супружество свою сестру. Димитрій, младшій сынъ царя Іоанна Грознаго, воспитывался въ монастыръ, находившемся въ небольшомъ городъ Угличъ, тамъ едва имъя восемъ лътъ отъ роду, онъ былъ умерщвленъ убійцами, которые, какъ носились темные тайные слухи, превратившіеся впоследствіи въ утвердительный общій голось, были посланы Борисомь. По четырнадцати-летнемъ царствованіи Өедоръ умираетъ, его единственная дочь скончалась еще прежде него, и на упраздненный тронъ восходитъ Борисъ Годуновъ, который не вдругъ приняль корону, а сначала отказывался отъ нея для того, чтобы темъ побудить бояръ и народъ еще сильнее, еще настойчивъе упрашивать его на царство.

Первая сцену, между двумя князьями, Шуйскимъ и Воротынскимъ, даетъ намъ знать сомнительное положение дълъ, тревожный безпорядокъ государства, желание народа, отречение Годунова, — отречение, которымъ Годуновъ, какъ ду-

маеть Шуйскій, только играеть: иначе зачёмъ же была пролита кровь юнаго Димитрія? Шуйскій самъ, по извъстіи о смерти царевича, быль послань отъ двора въ Угличъ изследовать на мъстъ дъло, и его разысканія не оставили въ немъ ни малъйшаго сомнънія въ родъ и виновникъ смерти; но истина. не могла быть тогда гласною точно такъ же, какъ и теперь. Оба князя не скрывають другь отъ друга своей ненависти къ Борису и потакаютъ своимъ собственнымъ честолюбивымъ видамъ. Между тъмъ народъ волнуется, не умолкая требуетъ ръшенія. Борисъ принимаеть, наконець, вънець; патріархъ и бояре присягають ему, между ними Воротынскій и Шуйскій, изъ которыхъ последній отпирается уже отъ словъ своихъ, незадолго имъ говоренныхъ. Это введение немногими мощными очерками ставить насъ въ самую средину событій, опредъляеть характеръ людей и заставляеть ждать чего-то великаго. Драматическое изложение, въ высшей степени мастерское, отличается сжатостью и ясностью, богатствомъ и быстротою.

Пять лъть спустя открывается новая сцена — въ Чудовомъ монастыръ, въ Москвъ. Старый монахъ пишетъ при ночномъ светильникъ въ своей кельъ лътопись своего времени; въ его же кельъ молодой послушникъ, Григорій Отрепьевъ, спить и видить чудный сонь величія и позора; проснувшись, онъ разсказываетъ его монаху. Пименъ успокоиваетъ его, восхваляеть мирную монастырскую жизнь и горько сожалъетъ о томъ времени, въ которое убійца занимаетъ престолъ. Юный Григорій жадно слушаеть разсказь о всёхь обстоятельствахъ Димитріевой смерти въ Угличъ. Что паревичъ быль умерщвлень по приказу Годунова, - это является несомнъннымъ; царевичъ имълъ бы теперь девятнадцать лътъ, быль бы ровесникомъ Григорію, въ душу котораго запала мысль, развивавшаяся впоследствіи. Эта сцена также ведена рукою великаго мастера; ея характеристическая истина, ея сила — поразительны. Григорій убъгаеть изъ монастыря и оставляетъ записку, въ которой объявляетъ, что онъ будетъ царемъ въ Москвъ; за бъглецомъ отправляютъ погоню. Онъ спасся въ ръшительную минуту, когда уже почти совсъмъ погибаль, присутствіемь духа и мужествомь, которые счастливо раскрываются въ немъ въ началъ его преступнаго предпріятія. Онъ пробирается въ Польшу, находить тамъ

себъ приверженцевъ и вооружается на походъ въ Россію. При царскомъ дворъ Шуйскій получаеть это извъстіе черезъ Аванасія Пушкина, который, въ свою очередь, получиль его изъ Кракова отъ своего племянника, Гаврилы Пушкина. Эти предки поэта непроизвольно примъшаны имъ; они — дъйствительныя, историческія лица, являющіяся въ своемъ истинномъ видь. Это важная, великая новость обсужена обоими боярами; образъ ихъ мивній враждебень царю. Царь, страшный и жестокій, когда надобно опасаться за корону, является во всемъ прочемъ умнымъ и добрымъ властителемъ, всеми силами заботится о благъ государства и старается изъ своего сына Өедора образовать достойнаго себъ преемника. Въ то время, когда онъ разсматриваетъ съ нимъ карту Россіи и заставляеть его объяснить ее себъ, Шуйскій приносить ему извъстіе о появленіи въ Польшъ мнимаго Димитрія и объ его приготовленіяхъ къ походу; царь смущенъ и встревоженъ, онъ повелъваетъ бдительно сторожить польскую границу и горько жалуется на свою нечистую совъсть, на тяжесть властительскаго жребія.

Лжедимитрій привлекаеть къ себъ нъсколько человъкъ русскихъ: Гаврила Пушкинъ и юный князь Курбскій пристаютъ къ нему; но главная его опора - поляки, которымъ онъ объщаетъ ввести въ Россію латинскую Церковь. Мало того, полячка должна раздёлить съ нимъ престолъ, прекрасная Марина, дочь воеводы Мнишека. Сцена ихъ тайнаго свиданія выше всёхъ похвалъ. Здёсь Пушкинъ равняется съ величайшими поэтами міра. Изъ глубочайшаго, чиствишаго источника почерпнута эта сцена: отважный самозванецъ, умъвшій обмануть вельможъ и цёлый народъ, добровольно открывается передъ любимой дъвушкой обманщикомъ и хочетъ, чтобы она любила въ немъ, того, кто онъ есть дъйствительно. Но любовь его сердца не находить себъ отзыва: Марина соглашается на обманъ только на томъ условіи, что онъ увънчается достиженіемъ трона. Новый толчокъ стремленію самозванца! Вся эта сцена проникнута огнемъ могущественной страсти, сердечною, искреннею преданностію и гордымъ честолюбіемъ.

Событія быстро бъгуть одно за другимъ. Лжедимитрій съ войскомъ вступаєть въ Россію. Борисъ Годуновъ держить совъщаніе въ боярской думъ. Патріахъ въ благоуханной ръчи совътуетъ торжественно перенести изъ Углича въ Москву

чудотворные останки Димитрія, — народъ познаетъ тогда ясно, что его уже нътъ въ живыхъ. Шуйскій возражаетъ тъмъ, что эта торжественная церемонія возбудитъ еще большее волненіе въ народъ. Все это только увеличиваетъ внутреннюю тревогу царя, который, однакожъ, не забываетъ подумать о нужныхъ распоряженіяхъ къ войнъ.

И дъйствительно, войска Лжедимитрія, несмотря на личную его храбрость, разбиты полководцами Годунова; но побъда на полъ битвы уже ничего не ръшаетъ больше: народы отпадаютъ, города отворяютъ ворота, войска передаются новому государю.

Тревожимый извив, потрясаемый внутри, царь внезапно забольль и, предчувствуя свой конець, изъявляеть желаніе насдинѣ поговорить съ сыномъ. Не скрывая отъ сына злодѣянія, которымъ достигъ престола, онъ утѣшается тѣмъ, что сынъ, наслѣдуя отцовскій престоль, не наслѣдуетъ отцовскаго грѣха. Нѣжнъйшія отеческія заботы, глубочайшая царственная мудрость высказываются въ прощальныхъ словахъ Годунова. Онъ передаетъ корону сыну; бояре клянутся юному царю въ върности, и Борисъ умираетъ.

Лжедимитрій, когда предался ему полководець Басмановъ, начальствовавшій войсками Өедора и обольщенный Гаврилой Пушкинымъ, окончательно восторжествовалъ; рѣчь послѣдняго, произнесенная на площади, привлекаетъ къ самозванцу народъ московскій, и Димитрій превозглашенъ царемъ. Дѣти Годунова, юный свергнутый царь Өедоръ и сестра его Ксенія, показываются за рѣшетчатымъ окномъ своей темницы; народъ изъявляетъ нѣкоторое сожалѣніе о нихъ, но это сожалѣніе только ускоряетъ ихъ смерть: четыре боярина проникаютъ въ темницу, слышенъ крикъ, выходитъ бояринъ Мосальскій и объявляетъ, что узники отравили сами себя ядомъ. "Что же вы молчите?" восклицаетъ онъ народу: "кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Іоанновичъ!" Народъ безмолвствуетъ...

Такъ заключается драма, заключается величественнынъ впечатлѣніемъ, въ которомъ сосредоточивается вся сила совершившагося и въ которомъ таится предчувствіе новой Немезиды для новаго преступленія. Поэтъ разоблачилъ передъ нашими взорами міровую судьбу. Борисъ, способный и достойный царствовать, достигаетъ престола преступленіемъ и торжествуетъ надъ утратившимъ силу правомъ; тщетно надъется онъ пре-

вратить свои достоинства и заслуги въ право и злопріобрътенное передать любимому сыну какъ честное наслъдство. Изъ самаго преступленія развивается месть; но не истина, не право низвергаетъ его, а новый обманъ, который ясенъ ему самому, какъ обманъ. Поддъльный видъ права уже достаточно силенъ для того, чтобы уничтожить элоприсвоенное владычество. Исторія не всегда такъ свершаеть свой судъ; наши глаза часто едва-едва могуть следить по рядамъ столетій за Немезидою; но тъ моменты исторіи, въ которыхъ судъ свершается такъ же быстро и такъ же явственно, какъ здёсь, они-то и заключаютъ въ себъ то, что мы зовемъ трагическимъ. Катастрофа Бориса Годунова, которую поэтъ имълъ полное право отодвинуть за кончину самого Бориса до ръшительной гибели всего царскаго рода, сама собою переплетается съ судьбою Лжедимитрія; но изъ этихъ двухъ трагическихъ вътвей явственно преобладаетъ первая, какъ большей опредъленностью, такъ и большимъ обиліемъ содержанія, — и выборъ Пушкина доказываеть всю глубокость его генія, который быль притомъ столько могуществень, столько богать, что смогь изобразить во всемь достоинствъ и второго представившагося ему героя.

Распредъление сценъ, на которыя распадается вещество драмы и діалогь, можно назвать въ высшей степени мастерскимъ. Поэтъ строго держится исторіи, но это нисколько не мъщаетъ ему вездъ удерживать въ виду его драматическую задачу. Это произведение имъетъ большие исторические пробълы и ни одного драматического; противоположности, которыя безъ всякой натяжки, безъ всякаго искусничанья, выходять изъ самаго дъла, въ строгой діалектикъ смъняются и поборають другь друга; участіе и интересъ ни на минуту не охлаждаются во все продолжение развития до конца. Обрисовка характеровъ столь же зръла, сколько разнообразна; первымъ появленіемъ, первыми словами лица живо обозначены и твердо поставлены. Властитель, бояре, духовенство, народъ — всъ являются въ ихъ дъйствительномъ различіи; кисть художника равно сильна, равно върна въ изображении какъ многоличнаго народа, такъ царя и патріарха, какъ католическаго, такъ и греческаго монаха, какъ честолюбивой полячки, такъ и кроткой царской дочери; пылкое геройство, осторожная политика, пламенная страсть, священное безстрастіе и простота — все является въ своемъ истинномъ видъ, все выговариваетъ свое сокровениъйшее,

отличительнъйшее существо. Это разнообразіе, въ которомъ каждый образъ является характеристически отдёльнымъ, есть существенный признакъ драматическаго поэта; мы еще больше будемъ удивляться драматической силъ генія Пушкина, если примемъ въ соображение тъ малыя, ничтожныя средства, которыми они достигають своихъ цълей. Здъсь Пушкинъ является мастеромъ перваго разряда: все у него сжато и ярко, опредъденно и быстро, ничего лишняго, ничего растянутаго; нигдъ поэть не вдается въ заманчивыя отступленія, которыя такъ часто врываются въ драматическія произведенія и думаютъ оправдать себя названіемъ лирическихъ мъстъ. Точно такъ же равномърность десяти и одиннадцатисложнаго (шестистопнаго) ямбическаго стиха, управляемаго искушенною рукою мастера, нигдъ не прерывается лирическими строфами, а иногда переходить, - гдъ говорить народь, - въ безыскусственную простую прозу.

Для русскихъ трагедія Пушкина имбетъ еще то преимущество, что она въ высочайшей степени, если такъ можно выразиться, насквозь національна. Если въ драму входять и другіе народы, и по мъръ своихъ отношеній въ ихъ истинномъ, неуръзанномъ видъ (особенно нъмцы должны быть благодарны за почетное упоминание о нихъ), то все-таки дело Россіи безусловно овладъваетъ всъмъ участіемъ. Мы, иностранцы, мы чувствуемъ біеніе русскаго сердца въ каждой сцень, въ каждой строкъ. Видя такое прекрасное соединение величайшихъ даровъ, мы не можемъ не удивляться и не сожалъть, что Пушкинъ создаль только одну эту трагедію, а не целый рядь, темь болье, что истинный драматическій таланть по своей натурь плодоносенъ и необыкновенно порождаетъ легко и много. Если бы Пушкинъ прожилъ долъе, то онъ, можетъ-быть, еще больше свершиль бы въ этомъ направленіи; но различныя условія опредъленныхъ временныхъ отношеній могли быть причиною, что поэтъ, избъгая слишкомъ большого ограниченія, изливаеть свою драматическую силу въ произведения другихъ, болъе свободныхъ родовъ поэзіи.

Варшагент-фонт-Эшзе.

Особенности отдъльныхъ сценъ въ "Борисъ Годуновъ".

Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ будто не умълъ, если бы и хотълъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всъхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ русскою литературой: до Пушкинскаго "Бориса Годунова" изъ русскихъ читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ имълъ ли кто-нибудь понятіе о языкъ, которымъ долженъ говорить въ драмъ русскій человъкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послъ "Бориса Годунова" явилась ли на русскомъ языкъ хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всъхъ этихъ "Ляпуновыхъ", "Скопиныхъ-Шуйскихъ", "Баторіевъ", "Іоанновъ Третьихъ", "Самозванцевъ", "Царей Шуйскихъ", "Еленъ Глинскихъ", "Пожарскихъ", которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столътія наводнили русскую литературу и русскую сцену, — что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до Пушкинскаго "Борисъ Годунова": чего же можно и требовать отъ нихъ? Но что русскаго во всъхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послъ "Бориса Годунова"? И не можно ли подумать скоръе, что это нъмецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы? Словно гиганть между пигмеями, до сихъ поръ высится между множествомъ quasiрусскихъ трагедій Пушкинскій "Борисъ Годуновъ" въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величіи строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похваль и удивленія на сцену въ кельт Чудова монастыря между отцомъ Пименомъ и Григоріємъ... Въ самомъ дълъ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналъ года за четыре или лътъ за пять до появленія всей трагедіи и которая тогда же надълала много шума, -- эта сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдільной и неподражаемой простоть, выше всьхъ похваль. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда небывалое, никъмъ не предчувствованное. Правда, Пименъ уже слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому чѣмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому, да и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли—

... Не даромъ многихъ лѣтъ Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ И книжному искусству вразумилъ: Когда-нибудь монахъ трудолюбивый Найдетъ мой трудъ усердный, безыменный; Засвптить онъ, какъ я, свою дампаду, И пыль въковъ отъ хартий отряхнувъ, Правдивыя сказанъя перепишетъ.

На старости я сызнова живу; Минувшее проходить предо мною... Давно-ль оно неслось, событій полно, Волнуяся, какъ море-океанъ? Теперь оно безмолвно и спокойно: Не много лицъ мнъ память сохранила, Не много словъ доходить до меня, А прочее погибло невозвратно!...

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-льтописецъ конца XVI и начала XVII въка; слъдовательно, эти прекрасныя слова — ложь, но ложь, которая стоить истины: такъ исполнена она поэзіи, такъ обаятельно действуеть на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Корнель и Расинъ — и, однакожъ, просвъщеннъйшая и образованнъйшая нація въ Европъ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической лжи! И не диво: въ этой лжи относительно времени, мъста и нравовъ, есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотръть на свое призваніе, какъ льтописець, но если бы въ его время такой взглядь быль возможень, Пимень выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены ръшительно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношении къ русской действительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко-върно исторической истинъ,

какъ только могъ это сдълать лишь геній Пушкина— истинно національнаго русскаго поэта. Какая, напримъръ, глубоковърная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да в'вдають потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своихь царей великихь поминають За ихъ труды, за славу, за добро — А за гръхи, за темныя д'вянья Спасителя смиренно умоляють.

Вообще, въ этой сценъ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорія; одинъ — идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простотъ ума и сердца, какъ тихій свътъ лампады, озаряющій въ темномъ углу икону византійской живописи, другой — весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лътопись, — и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнъйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высокомъ ни во взорахъ Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ; Все тотъ же видъ смиренный, величавый... Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый, Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу внимая равнодушно, Не вѣдая ни жалости ни гнѣва.

Затемъ онъ разсказываетъ старцу о "бъсовскомъ мечтани", смущавшемъ сонъ его:

Мит снилося, что лъстница крутая Меня вела на башню; съ высоты Мит видълась Москва, что муравейникъ; Внизу народъ на площади кипълъ И на меня указывалъ со смъхомъ; И стыдно мит, и страшно становилось — И, падал стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снъ — весь будущій самозванецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая върность въ каждомъ словъ, въ каждой чертъ! Вотъ еще два монолога — факты глубоко-върнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играеть:
Смиряй себя молитвой и постомь,
И сны твои видёній легкихь будуть
Исполнены. Доныніз — если я,
Невольною дремотой обезсилень,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи —
Мой старый сонъ не тихь и не безгрішень:
Мніз чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потіжи юныхъ літь!

Григорій.

Какъ весело провель свою ты младость! Ты воеваль подъ башнями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна! Счастливъ! а я отъ отроческихъ лѣтъ По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ! Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ бояхъ, Не пировать за царскою трапезой? Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ Отъ суеты, отъ міра отложиться, Произнести монашества обѣтъ И въ тихую обитель затвориться.

Слъдующій за тъмъ длинный монологъ Пимена о суетъ свъта и преимуществъ затворнической жизни — верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, туть Русью пахнеть! Ничья, никакая исторія Россіи не дасть такого яснаго, живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсуждение отшельника. Картина Іоанна Грознаго, искавшаго успокоенія "въ подобіи монашескихъ трудовъ": характеристика Өедора и разсказъ о его смерти, — все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до-Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себъ есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужъ онъ должны писаться, — и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературъ, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который послъ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщъ?... А при этомъ еще нельзя не подумать, не истощиль ли Пушкинъ

своею трагедію всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только — съ другими именами и названіями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно-однообразнымъ?...

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоить изъ отдёльныхъ частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуеть какъ будто независимо отъ цълаго. Это показываеть, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ которой созданъ Шекспиромъ. Кромъ превосходной сцены въ Чудовомъ монастыръ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая — въ кремлевскихъ палатахъ, между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически и поэтически върно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая сцена народа и дьяка Щелканова на площади; третья — въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патріархомъ и боярами. Въ этой сценъ превосходно обрисовано добросовъстное лицемърство Годунова, — въ томъ смыслъ добросовъстное что, обманывая другихъ, онъ прежде всъхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдъ характеръ послъдняго все болъе и болъе развивается; его слова-

Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать, —

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родъ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоцънъйшихъ перловъ трагедіи.

Седьмая сцена, въ корчив на литовской границв, превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить самозванца въ окно корчиы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая — въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ.

Слъдующая за тъмъ большая сцена представляетъ собою двъ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примърный семьянинъ, нъжный отецъ; онъ утъщаетъ дочь, овдовъвшую невъсту, говоритъ съ сыномъ о сладкомъ плодъ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно, — и Борисъ является въ этой сценъ во всемъ свътъ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи самозванца.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишневецкаго, между самозванцемъ и іезуитомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы: "сыны славянъ", некстати вложенной поэтомъ въ уста самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдъ самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ не представляютъ никакихъ особенно ръзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценой въ замкъ Мнишка въ Самборъ, слъдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое дъло для любви, а Марина — холодною, честолюбивою женщиной. Вообще, эта сцена очень хороша, но въ ней какъ будто чего-то недостаеть, или какъ будто проглядывають какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тымь не менье производять на читателя не совсымь выгодное для сцены впечатлъніе. Кажется, не преувеличиль ли поэтъ любовь самозванца къ Маринъ, не сдълалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценъ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты. Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство самозванца, его безумное признание передъ Мариною въ самозванствъ совершенно въ его характеръ, пылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но ръшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характеръ человъческое чувство любви къ женщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценъ.

Сцена на литовской границъ между молодымъ Курбскимъ и самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пу-

стой декламаціи, выдаваемой за павосъ, что трудно повърить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Въ сценъ — въ царской думъ — между Годуновымъ, патріархомъ и боярами есть двъ превосходнъйшія черты: это — ръчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцъленіи стараго пастуха отъ слъпоты. Вторая черта — ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замъшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патріарха.

Сцена на равнинъ, близъ Новгорода Съверскаго очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже нестрою смъсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, цо только съ Пушкинской точки зрънія на виновную совъсть Бориса. Въ сценъ подъ Съвскомъ самозванецъ обрисованъ очень удачно, особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мнъ какъ судять въ вашемъ станъ?

Плънникъ.

А говорять о милости твоей Что ты дескать (будь не во гнѣвъ) и ворь, А молоденъ.

Самозванецъ (смъясъ).

Такъ это я на дълъ Имъ докажу.

Въ сценъ въ царскихъ палатахъ между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свътъ. Годуновъ собирается уничтожить мъстничество(!!). Басмановъ этому, разумъется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управлении народомъ, и Годуновъ окончательно ръ-шаетъ:

Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ: Твори добро — не скажетъ онъ спасибо; Грабь и казни — тебъ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его "высокимъ державнымъ духомъ", желаетъ ему поскоръе управиться съ Отрепьевымъ, чтобы потомъ "сломить рогъ родовому боярству". Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послъднія наставленія своему

наслъднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ? — Изъ нихъ замъчательно только одно:

Не измѣняй теченья дѣлъ. Привычка— Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если бы престолъ достался ему по праву наслъдія,— но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобы усидъть на захваченномъ тронъ.

Крикъ мужика на амвонъ лобнаго мъста: "вязать Борисова щенка!" ужасенъ; это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрежшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремънно хотълъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекций на гибель родъ злодъя, цареубійцы... Можетъ быть, это было такъ, но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болъе трагическое лицо — цареубійца, наказанный за злодівнія, или достойный человъкъ, падшій за недостаткомъ геніальности? Трагическое лицо непременно должно возбуждать къ себе участіе. Самъ Ричардъ III — это чудовище злодъйства, возбуждаеть къ себъ участіе исполинскою мощью духа. Какъ злодьй, Борисъ не возбуждаеть къ себъ никакого участія, потому что онъ злодъй мелкій, малодушный; но какъ человъкъ замъчательный, такъ сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себъ, онъ очень и очень возбуждаеть къ себъ участіе: видищь необходимость его паденія и все-таки жалбешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти дѣтей Годунова, — "народь въ ужасѣ молчить"... Отчего же онъ молчить? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: "вязать Борисова щенка"?... Мосальскій продолжаеть: "Что жъвы молчите? "Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичь!"——"Народь безмольствуетъ".

Это — послъднее слово трагедіи азаключающее въ себъ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвой — надъ тъми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Бълинскій.

Личность Бориса Годунова.

Борисъ Годуновъ – лицо хитрое; Борисъ – лицо съ русскимъ, царскимъ сердцемъ; онъ высокъ, когда чувство отца превозмогаеть всё другія движенія его сердца. Поэтому справедливо замътилъ одинъ критикъ, что "лицо Годунова сдълалось статуею, которая вырублена не изъ одного иплинаю мрамора, а сложена изъ золота, серебра", — только не справедливо онъ назвалъ лицо Годунова статуею; потому что Борисъ живое лицо; но эта жизнь, какъ того жедалъ поэтъ, и какою она должна быть, поставлена въ тони. Всъ добрыя движенія души царя, ея мраморъ и серебро въ духовномъ смыслъ, пропадаютъ, какъ капля въ моръ, въ бъдахъ, которыя то и дъло постигаютъ царя за единое пятно на его совъсти. Онъ страдаетъ даже отъ того, что есть въ немъ много и достославнаго. Тънь убитаго царевича постоянно тревожить его. И — вотъ въ чемъ единство его характера, вотъ въ чемъ цълость и полнота души Годунова. И отчего же поэтъ не могъ взять этого состоянія души царя для своего творческаго генія? Отчего упрекають поэта за невърность его мысли? Пусть творить, какъ хочеть и изъ чего хочеть, но только пусть творитъ сообразно законамъ разума, чувства и всъхъ требованій души разумнаго человъка.

Первое, чёмъ высказываетъ свою душу Борисъ Годуновъ, есть хитрость его. Онъ домогался престола московскаго; достиг, но что же? Онъ сознается, что пріемлетъ власть великую со страхомъ и смиреніемъ. Теперь предъ нимъ выборные люди, бояре, вся Москва и владыка-патріархъ, всё плачут, по выраженію поэта, всё въ одинъ голосъ зовутъ его на престоль:

Будь нашъ отецъ, нашъ царь,

а онъ, *перешатнувшій* на пути къ желанному престолу черезъ кровь Димитрія царевича, *упрямится* теперь, когда

... вся Москва Сперлася здёсь... Ограда, кровли, Всё ярусы соборной колокольни, Главы церквей и самые кресты Унизаны народомь.

Борисъ медлитъ, ибо видитъ, какъ тяжела обязанность царская. Но не отъ этого одного онъ медлитъ, а также и оттого, что онъ хотълъ, говоря словами Карамзина, видъть всю Россію у ногъ своихъ, молящую его взойти на праздный престолъ въ Москвъ. И Шуйскій указалъ Воротынскому на эту хитрость Бориса. Такимъ образомъ она видна, она даетъ себя осязать мысли читателя.

Отъ этой темной стороны поэтъ переходитъ къ изображенію свътлой въ душъ Бориса. Годуновъ является съ душою русскаго, благовърнаго царя. Онъ пріялъ власть царскую и вотъ чъмъ думаетъ ознаменовать первыя минуты въ этой новой жизни:

Теперь пойдемъ, поклонимся гробамъ
Почнощихъ властителей Россіи,
А тамъ — сзывать весь нашъ народъ на пиръ,
Всѣхъ, отъ вельможъ до нищаго слѣща;
Всѣмъ вольный входъ, всѣ гости дорогіе.

Смотря на такую доблестную черту Бориса, видишь въ немъ вполнъ русскаго, знакомаго намъ царя-батюшку. Какъ царьотець, онъ готовъ принять всъхъ дътей-подданныхъ въ свое царское жилище, за однимъ столомъ онъ хочетъ видъть своихъ чадъ русскихъ, власть надъ которыми ему далъ Богъ. Борисъ, лицо намъ знакомое. Извъстна изъ исторіи его щедрость, по которой онъ хотълъ отдать подданнымъ и послъднюю свою рубашку.

Такъ царски-велико принялъ Борисъ шапку Мономаха! Проходитъ шесть лътъ, и мы видимъ царя, разочаровавшагося въ жизни. Гнетомый бъдами, онъ хотълъ узнать свое будущее и заперся съ кудесникомъ. Ничто не радуетъ царя; напрасно онъ щедротами хотълъ снискать любовь народа, дълилъ съ нимъ его печали, отворялъ житницы во время голода, выстроилъ имъ новыя жилища послъ пожара. Въ домашнемъ своемъ кругу, какъ отецъ, онъ также находитъ себя несчастнымъ. Умеръ женихъ его дочери, — виноватымъ считаютъ его, несчастнаго отца; онъ ускорилъ Өеодора кончину, онъ уморилъ свою сестру-царицу. Послъ этого Борисъ съ отчаяніемъ произноситъ въ своемъ изступленіи: "все я"... Заглянулъ царь въ совъсть свою... она отвътила, что въ ней... Царь понялъ голосъ совъсти — этого полубога въ груди нашей, — Годуновъ

поняль ен отвътъ и самъ признался, что "жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечиста". Совъсть, этотъ, по выражению разбираемаго нами поэта,

Когтистый звърь, скребящій сердце, совъсть, Незванный гость, докучный собесъдникъ, Заимодавецъ грубый; эта въдьма, Отъ коей меркнеть мъсяцъ, и могилы Смущаются и мервыхъ высылають...

Эта совъсть сгубила Бориса. Она выслала изъ могилы тънь убитаго царевича, и царя Бориса теперь

Все тошнить, и голова кружится, И мальчики кровавые въ глазахъ.

Мрачная совъсть закрываеть предъ нами всъ добрыя качества души Бориса; въ ней завязка всего произведенія поэта; въ ней единятся всъ черты характера Бориса. Борисъ еще разъ явится съ добрыми свойствами, но впечатлъніе, произведенное его недужною совъстію, не пропадетъ. Теперь начинается борьба Годунова со своею совъстью и съ вызванными ею побъдами.

Показавъ далеко не отрадную сторону души Бориса, поэтъ зпакомить насъ опять со свътлою стороною этой души. Отлегаетъ на сердив, когда слушаешь бесвду Бориса со своими дътьми. Онъ утъщаетъ дочь, плачущую по прекрасномъ женихъ; совътуетъ сыну учиться и хвалить сладкій "плодъ ученья". Эта беседа — образецъ простой, задушевной, семейной бесёды отца съ дётьми; русскій отецъ такъ бы выразился, какъ выразился Борисъ въ своихъ царскихъ палатахъ, глядя на плачущую Ксенію и на сына, занимающагося грамотой. Здъсь Борисъ является во всемъ свътъ дучшихъ своихъ качествъ. Впрочемъ это не надолго. Въ утъщеніи, которое онъ даеть тоскующей дочери, есть уже зародышъ скорби для Бориса: онъ себя винить въ злопечали дочери, ибо судьба ему не судила быть виновникомъ дочерняго счастья. При въсти, полученной имъ отъ Годунова и Шуйскаго, имъ овладъваетъ тревога. Предположение Шуйскаго объ имъющемъ возстать народъ вслъдъ за воскреснувшимъ Димитріемъ приводить въ отчанніе царя; онъ запинается въ ръчи своей; онъ не знаеть, за какую мысль ухватиться, велить удалиться царевичу, велить взять мъры и оградить Россію отъ Литвы заставами; смъется, какъ мертвые могутъ

> Допрашивать царей, царей законныхъ, Назначенныхъ, избранныхъ всенародно, Увънчанныхъ великимъ патріархомъ,

заставляеть Шуйскаго смъяться этой затыйливой высти и опять высказываетъ первую черту своего характера — хитрость, когда, будто бы, не знаеть о смерти царевича Димитрія. Но эти хитрость напрасна; Шуйскій убъждаеть царя въ двиствительности сна Димитрія во гробю ("Димитрій во гробъ спитъ"). Тогда царь удаляеть отъ себя Шуйскаго; яснъе солнца видить, зачёмь ему тридцать лёть сряду "все снилося убитое дитя", и тяжкій вздохъ — "тяжела ты, шапка Мономаха" —

исторгается изъ груди Годунова...

Такимъ образомъ бесъда Бориса съ дътьми своими хотя успоконтельна на первый разъ, но не успоконтельна по окончанію своему. Какъ отець, онъ было забыль свою царскую душу, когда пришель къ своей родимой семью, къ родимой дочери и родимому сыну: но вошедшие бояре своими въстями пробудили въ Годуновъ душу царя, а душа Бориса, какъ царя, не завидна; потому что она незаконно сдълалась царскою. Значить намь опять является главная черта характера Бориса — угрызение совъсти.

То же мученіе совъсти пробудиль и патріархь, богомолець Борисовъ, святой отецъ, когда указалъ на средство: "обнаружить обманъ безбожнаго элодъя" перенесеніемъ святыхъ мощей Димитрія въ Кремль. Борисъ выслушаль; было мочаніе въ думъ послъ этого, а бояре видъли, какъ государь блъднълъ,

и крупный поть съ лица его закапалъ.

Въ соборъ, какъ того хотълъ патріархъ, проклинали Гришку Отрепьева. Но истина, какъ золото, горвла и осввщала народу, что напрасно клянутъ Отрепьева: царевичу дёла нётъ до Отрепьева, говорилъ народъ, когда еще царь не выходилъ изъ церкви. Идетъ царь, а юродивый предъ всеми называетъ его убійцею Димитрія, иродомъ-царемъ. Обличеніе отъ юродиваго Годуновъ принимаетъ равнодушно. Еще прежде образг убитаго царевича сокрушиль всё силы его души, сокрушиль до того, что вся кровь бросалась въ лицо; теперь Лжедимитрій уже побъдиль его войска близь Новгорода Съверскаго; Борисъ долженъ бы еще болъе убиваться духомъ и себя оправдать во мнъніи народа: ибо народъ спасаеть царя, а царь спасаеть народъ, но Годуновъ оскорбилъ чувствованіе народа, сгубилъ однажды навсегда его завътное сокровище; наслъдника престола убилъ, и вотъ народъ пошелъ на незаконнаго царя. Обличеніе юродиваго было голосомъ всего русскаго народа; это былъ горькій плачъ всей Руси. Юродивый, по смыслу русскаго, есть что-то выше человъческаго; будто не земной житель онъ между людьми; потому въритъ ему добродушная, русская душа и боится его предвъщаній. Поэтому если какое обличеніе могло быть больно, могло быть чувствительно для Бориса, такъ это — обличеніе отъ юродиваго. Здёсь поэтъ явился Шекспиромъ русскимъ, представивъ блестящій образъ творчества русской фантазіи,

Такимъ образомъ преступленіе царя, легшее на его совъсть, понядъ уже народъ... Поэтъ еще разъ поставляетъ насъ предъ тягостнымъ образомъ души Бориса. Годуновъ среди пріема пословъ

На трон'є сид'яль и вдругь упаль; Кровь хлынула изъ усть и изъ ушей.

Посль того, какъ онъ далъ наставление сыну, ударилъ послъдний для царя часъ въ этой жизни

Ударилъ часъ! Въ монахи царь идеть: И темный гробъ моею будетъ кельей...

Въ послъднія минуты своей земной жизни царь хочеть со всъми помириться, дабы съ миромъ и въ миръ отойти къ источнику мира — правосудному Богу —

Я доволенъ. Простите жъ мнъ соблазны и гръхи И вольныя и тайныя обиды... Святый отецъ, приближься, я готовъ".

Это — послъднія слова Годунова.

Такимъ образомъ образъ Годунова ярко выставленъ намъ: его добрая и свътлая сторона, его мрачная и безотрадная сторона. Онъ хитръ, онъ царски, по русскому обычаю, щедръ и великъ; но совъсть его зазорна, больна; пятно тяжелое лежитъ на ней. Напрасно послъ этого кудесники сулятъ ему дни власти безмятежной, напрасно онъ мнитъ во славъ успокоитъ свой народъ — и царь выстрадалъ всъми страданіями, по пра-

ведному суду небесному, доколъ смерть не отозвала Бориса на тотъ свътъ... Въ изображении его недужной совъсти единство его характера заключилъ поэтъ. Совершеннъе образа Годунова, какимъ онъ вышелъ изъ-подъ творческаго пера Пушкина, нельзя представить. Онъ уловиль тъ черты, которыми сама народа русскій опредвлиль историческое лицо Годунова. "Да, говоритъ народъ, Борисъ хорошъ-то, хорошъ, и деньги даваль, и ствну каменную выстроиль, чтобы не умерли съ голоду, но — Дмитрія царевича, говорять всв, убиль..." Борисъ, какъ онъ представленъ у поэта, лицо цъло и совершенно выяснившее предъ читателемъ свою душу. Рука мастера-поэта обдълывала это лицо; показала свътлыя и славныя черты его, ибо какъ бы ни быль человъкъ бъденъ нравственными качествами, обиженъ добрыми сторонами — все же, какъ человъкъ, какъ образъ Божій, онъ имъетъ хотя крупицы святости и добра въ своей душь, - показала и темную сторону, на которой и остановила всецвлое внимание зрителя, которою и закончила свое зданіе.

Следя за характеристикою лица Годунова, нельзя не остановиться на изображеніи его смерти. Критики называли неправдоподобнымъ изображение ея у Пушкина. Поставимъ на видъ сначала ту мысль, что у Карамаина слишкомъ ръзокъ переходъ къ описанію смерти Бориса. На 196-й стр., гл. ІІ, IX тома онъ помъстиль письмо самозванца въ Борису, послъ неудачной осады воеводами Бориса Кромъ, затёмъ цёлую страницу 197-ю Карамзниъ пополнилъ нравственными мыслями, что Годуновъ видълъ открытую бездну, что онъ только въ глазахъ върной супруги казалъ кровавыя раны, что онъ дерзнулъ бы на злодъяніе новое, чтобы не лишиться пріобрътеннаго злодъйствомъ. Страница 198-я изображаетъ самый ходъ смерти. Читатель не приготовленъ въ этому и выходитъ неестественнымъ описаніе смерти Годунова у Карамзина. Но у Пушкина это изображение естественно. Тутъ первое появление Бориса показываеть намъ внутреннюю скорбь души его; являясь вторично, онъ же самъ говоритъ, что "ни власть ни жизнь его не веселять". Онъ уже жизнь разлюбиль. Не находить мира въ совъсти. Мы видимъ Бориса въ третій разъ и опять сдышимъ, что какъ тяжела для него шапка Мономаха. Въ четвертый разъ показаль намъ поэтъ Бориса и его тяжкую годину: онъ побледнеть, когда патріархъ напомниль о мощахъ

святого Димитрія. Наконецъ юродивый заклеймилъ Годунова именемъ цареубійцы; бояре измѣняютъ ему... Все это горе выноситъ на себѣ одна душа Бориса. Отъ думъ, предчувствій страшныхъ золъ, самыхъ бѣдъ, падшихъ на него, Годуновъ ослабѣлъ; каждое новое горе убивало въ немъ частицу жизни. И бояре, и народъ, и дѣти — все это есть одно цѣльное, всесокрушающее горе для одного его. Поэтому не было, не стало силъ въ немъ поддержать себя; душа истлѣла; въ ней не нашлось мощи продлить исчахшую жизнь, и

На тронъ онъ сидълъ и вдругъ упалъ; Кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей.

Смерть не разбираеть, естественно ли ей будеть прійти утромь или вечеромь, — тогда ли, когда царь принимаеть гостей иноземныхь, или бестдуеть съ вельможами, — ей все равно. Поэтому Пушкина нельзя упрекнуть въ неестественности смерти Бориса. Поэтъ приготовилъ насъ къ этому дълу. Филоновъ.

Языкъ "Бориса Годунова" *).

Двъ красоты, двъ тайны, въ которыхъ живетъ геній нашего языка, Пушкинъ вскрылъ предъ нами въ великомъ своемъ произведеніи: славянизмз и народность. Славянскій складъ ръчи дышитъ въ нашемъ языкъ величіемъ и въ то же время нъжностью, силою, прелестію. У Пушкина этотъ складъ ръчи вездъ виденъ; онъ обходился съ нимъ, какъ со своимъ роднымъ. Выраженія лътописи есть у поэта, но все это у мъста, тамъ, гдъ и быть имъ должно. Казакъ Карела пришелъ съ Дона отъ вольныхъ войскъ къ Джедимитрію,

Узрѣть его царевы ясны очи.

У насъ быль князь — Димитрій-*Грозныя очи*. Въ "Разрядахъ" 1605 г. пишется о Годуновъ: "Государь царь... челомъ бъетъ тебъ (Мстиславскому), — аже службу свою совершишь и увидишь образъ Спасовъ... и наши *царскія очи*.

Юродиваго поэтъ называетъ блаженным; въ лътописяхъ также онъ называется. Борисъ пріемлетт власть великую;

^{*)} См. также о "Борисъ Годуновъ" стр. 95-97 и 104-105.

онъ идетъ поклониться гробамъ *почнощих* властителей Россіи; онъ разсыпаетъ *злато* народу. Обращаясь къ совъсти своей, Борисъ говоритъ:

Но если въ ней единое пятно, Единое случайно завелося.

Онъ велитъ воеводамъ спасать *градз* и гражданъ; увъряетъ, что не нужна ему чуждая *помога*, которую предложилъ *свейскій* государь; патріарха онъ проситъ *повъдать* свою мысль.

Ты съ малыхъ леть сидпля со мною въ Думе,

говорилъ Годуновъ сыну своему. Царскій голосъ долженъ *втиать* лишь велику скорбь или великій праздникъ, говорилъ ему же Борисъ.

Бесъда старца Пимена исполнена такою же прелестью славянскаго строя ръчи. Лътописи свои онъ называеть *хартіями*. Слова его:

Да въдають потомки православныхъ Земли родиой минувшую судьбу —

чисто-славянскія. Пименъ въ свою рѣчь беретъ цѣлые тексты изъ библіи. Григорій проситъ его благословенія, а онъ отвъчаеть:

Благослови Господь, Тебя и днесь и присно и вовники.

Пименъ не сказалъ, что онъ молится предъ сномъ, а сотворяет молитву долгую. Разсказывая о любви Іоанна Грознаго къ монашеской жизни, называетъ его алкарщим спасенія. Царя Өеодора Іоановича онъ называетъ царемъ, воздыхающим о мирномъ житіи молчальника. Вчитывайтесь въ эту ръчь Пимена о Өеодоръ:

свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, иарю едино зримый,
Явился мужъ необычайно-свътелъ.

И всв кругомъ объяты были страхомъ, Зане святый еладыка предъ царемъ Во храминт (дворцъ) тогда не находился.

Пименъ дълаетъ библейскія сближенія, Битяговскаго онъ называетъ *Гудою-Битяговским*г. Пименъ говоритъ наутро

вмѣсто: *утромг*. Григорію Пименъ совѣтуєть описывать все въ дѣтописи, не *мудрствуя лукаво*, — описывать войну и мирь, *управу* государей.

Патріархъ такою же рѣчью бесѣдуеть съ игуменомъ Чудова монастыря и съ царемъ. Онъ подаеть свой совѣть Борису и такъ говорить:

Твой върный богомолецъ, Въ дълахъ мірскихъ не мудрый судія, Дерзаеть днесь подать тебъ свой голосъ.

И самъ Онъ (Самозванецъ) *наготой своею* посрамится.

Патріархъ говоритъ: свъдано вмѣсто узнано, обрътали спасеніе подобно вмѣсто находили, и мощь бъсов (т.-е. замыслы Самозванца) исчезнеть яко прахт. Послѣднія слова взяты изъпсалтири, перваго псалма.

Григорій спрашиваєть у Пимена, какихъ былъ лѣтъ царевичь убієнный. О себѣ онъ говорить, что отъ отроческихъ лѣтъ по келіямі скитаєтся. Курбскаго, измѣнника Іоанна, Самозванецъ называєть мужсемі битвы и совтота. Въ библіи самъ Богъ назвалъ Давида мужсемі кровей, когда объясняль ему, что онъ не можетъ быть создателемъ храма. Самозванецъ именуетъ Собаньскаго, шляхтича вольнаго, свободы чадомі. Карела говоритъ Лжедимитрію, что онъ пришель отъ храбрыхъ атамановъ кланяться ихъ головами. Лжедимитрію поэтъ подалъ стихи, а онъ въ восторгѣ говорилъ:

Стократь священь союзъ меча и лиры; Единый лавръ ихъ дружно обвиваеть.

Слово въдает, повъдать — любимое слово дъйствующихъ лицъ въ трагедіи поэта.

Дъти Бориса называются драгими вътвями; его дочь — печальною вдовищею; бояре, дьяки и выборные люди бътот челомз отцу и государю. Шуйскій говорить, что въ случав никая казнь его не устращить: нъкій духз — воть названіе Самозванца. Обращаясь къ патріарху, Шуйскій спрашиваеть:

Святый отець, кто выдает пути Всевышняго?

Молитва мальчика, послъ ужина, въ домъ Шуйскаго, есть чисто-славянскаго духа:

Парю небесь, везды и присно сущій, Своихъ рабовъ моленію внемли: Помолимся о нашемъ государъ... Храни его въ палатахъ, въ полѣ ратномъ, И на путяхъ и на одри ночлега. Подай ему побъду на врага, Да славится онъ отъ моря до моря. Да здравіемъ цвътетъ его семья, Да осънятъ ея драгія вътви... Да будетъ онъ, какъ прежде благодатенъ.

Вся ръчь въ трагедіи поэта переплетена словами славянскими. Читаете первыя слова посвященія Карамзину: "драгоцюнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина, сей трудъ, геніемъ его вдохновенный,... посвящаеть". Расположеніе словъ — славянское. Прочтемъ первыя слова самой трагедіи и послъднее слово: Вотъ чъмъ начинается трагедія! Воротынскій говорить:

Наряжены мы вмъсть городъ выдать.

Вотъ чъмъ заключается трагедія: "народъ безмолствуетс". Слова — чисто-дътописныя.

Указанныя слова входять въ рѣчь дѣйствующихъ лицъ, какъ необходимыя стихіи. Они двигаютъ рѣчь, ими она живетъ. Поэтъ поставляетъ лицо въ извѣстное состояніе; извѣстный образъ мысли зароился: извѣстнымъ образомъ забилось сердце, заговорило и — такъ, а не иначе лицо должно выразить свою душу: это слово, славянское слово только и присуще ему въ это мгновеніе. Перемѣните его, замѣните другимъ — пропадетъ сила, не станетъ красы, слово не отпечатаетъ внутренняго движенія духа.

Другая красота языка трагедія— народность. Она видна осязательно не только тамъ, гдѣ говорять люди простого слоя общества, но и тамъ, гдѣ говорить царь, Лжедимитрій, бояре. Любуясь стройностію и умомъ Курбскаго, Самозванецъ назваль его красавцемъ. Толны русскихъ и поляковъ, пришедшихъ просить у милости его меча и службы, онъ именуетъ дътьми, друзьями; нѣмцевъ, порядкомъ поколотившихъ войско Лжедимитрія, онъ назвалъ — молодиами, даже побожился, что они молодиы. Самозванецъ говоритъ, что онъ заутра двинетъ

рать: ему мочи итт сражаться съ женщиной, онъ просить

Марину вымолвить слово любви.

Народностію исполнена рѣчь Годунова. Онъ хочетъ править свой народъ во славть; его сынъ изобразилъ на картѣ всѣ области Россіи: Борисъ дивился, какъ хитро Өеодоръ это сдѣлалъ. Объ умномъ дѣлѣ, глубокомъ и прекрасно совершенномъ народъ скажетъ: "а что? Вѣдь хитро́?!" Борисъ говоритъ вечоръ вмѣсто "вечеромъ",— ни одна душа вмѣсто ни одинъ человѣкъ. Онъ крестомъ и Богомъ заклинаетъ Шуйскаго правду объявить, узналъ ли онъ убитаго младенца. Годуновъ считаетъ странныхъ, что бѣглый инокъ ведетъ на него злодѣйскій дружины.

И ръчь бояръ дышить народнымъ складомъ. И по доломо ему, говоритъ Пушкинъ, видя заходящую грозу надъ Борисомъ. Въ Московскомъ государствъ теперь, по увъренію Пушкина, все языки, готовые продать. Отчего онъ искренно сказалъ о неустройствахъ Борисова царствованія? Медъ да бархатное пиво развязали ему языкъ. Когда ушли гости, бывшіе за ужиномъ Шуйскаго, Пушкинъ сказалъ: "насилу

убрались".

Шуйскій называеть слухи о Самозванць баснями, которыми питается безсмысленная чернь; своихъ гостей онъ благодарить, что они не презръми его хмъба-соми, самихъ гостей именуеть дорогими. Разсказывая о своемъ слъдствіи по дълу убіенія Димитрія, онъ говоритъ, что напхам на свъжіе смъды. Онъ — не труст и въ петмю мъзть не соглащается даром.

Простота рѣчи, народность поражаеть тамъ въ твореніи поэта, гдѣ говорять люди низшаго слоя общества. Вотъ какъ мамка утѣшаеть свою питомицу, дочь Годунова: "И, царевна! дѣвица плачеть, что роса падеть: взойдеть солнце, росу высушить. Будеть у тебя другой женихъ и прекрасный и привътмивый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь Ивана Королевича".

Народъ говоритъ по-своему, не красно, но мътко. По его взгляду, Борисъ прогналз святителей, бояръ и патріарха. Въ соборъ предаютъ анафемъ Самозванца, а одинъ изъ народа сказалъ: Я стоялз на паперти и слышалъ, какъ дъяконъ завопилз: Гришка Отрепьевъ — анафема". Вотъ ужо имъ будетъ безбожникамъ, замътилъ тотъ же голосъ изъ народа. Старуха называетъ мальчишекъ, не дававшихъ проходу юро-

дивому, бъсенятами, подаеть ему копесику. Самозванецъ спрашивалъ у одного плънника московскаго: "войско ито?" А тотъ отвъчалъ: "Что съ нимъ? Одъто, сыто, довольно всъмъ". Самозванецъ спросилъ:

Ну, обо мнъ какъ судять въ вашемъ станъ?

Плѣнникъ.

А говорять о милости твоей, что ты — дескать (будь не во инъвъ) и воръ, А молодецъ.

Этотъ же самый плънникъ погрозилъ ляху кулакомъ: "не хочешь ли вотъ этого, спросилъ онъ и назвалъ его безмозглымъ. Безмозглый — главный эпитетъ, которымъ опредъляетъ для себя нашъ простолюдинъ поляка. Мужикъ называетъ юнаго сына Бориса щенкомъ. Пушкинъ спрашивалъ у народа: "въ угоду семейству Годуновыхъ подымите вы руку на царя законнаго, на внука Мономаха?" Народъ отвътилъ: "въстимо нътъ". Ксенію и Феодора, сидящихъ подъ стражею, народъ назвалъ пташками.

Брать да сестра! бъдныя дъти, что пташки въ клюткъ.

Заключимъ наше описаніе красоты народнаго языка поэта словами Ксеніи. Въ шести строкахъ поэтъ изобразиль намъ образъ ея. Слова ея — верхъ народности. Будто пъсню слышишь нашу русскую, будто ея голосъ шевелитъ, хватаетъ, какъ сказалъ понявшій пъсню русскую поэтъ, васъ за сердце, когда вы читаете эту наивную ръчь Ксеніи:

"Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ, не мив ты достался, не своей невъстъ, а темной могилкъ, на чужой сторонкъ: никогда не утъщусь, въчно по тебъ буду плакать". Мамка ее утъщаетъ, а она отвъчаетъ:

Нъть, мамушка, я и мертвому буду ему върна.

Читая трагедію Пушкина, вникая въ языкъ ея, истинно скажешь, что онъ на всё лады органъ для русскихъ душъ, что русскими чувствами поэтъ зазвучалъ въ ней. Варнгагенъ фон-Энзе замътилъ: "Мы иностранцы, мы чувствуемъ біеніе русскаго сердца въ каждой сценкъ, въ каждой строкъ".

Разсуждая о Ломоносовъ, Пушкинъ выставилъ слъдующую заслугу Карамзина, относительно языка: "Карамзинъ, сказалъ онъ, освободилъ языкъ отъ чуждаго ига, и возвратилъ ему

свободу, обративъ его къ окивыми источникамъ народнаго слова". Пушкинъ, скажемъ мы, на основани его "Бориса Годунова", овладъля, какъ художникъ, народными языкомъ, онъ сроднился съ нимъ, какъ со своею мыслію, душою, своимъ словомъ.

Филонова.

Допетровская Русь въ изображеніи "Бориса Годунова".

"Борисъ Годуновъ" представляетъ върное художественное воспроизведение древней Руси въ ея главныхъ типическихъ чертахъ. Въ этомъ отношении "Борисъ Годуновъ" далеко еще не оцъненъ по своему достоинству и, прибавимъ, по своему значенію въ нашей литературъ. Это произведеніе возникло въ ту пору, когда у насъ ни въ обществъ ни въ литературъ не поднимался еще вопросъ о древней русской жизни, о коренныхъ ея началахъ, не слышалось еще жалобъ на разобщенность новой русской жизни съ ея прошедшимъ. Пушкинъ не могъ предусматривать всёхъ этихъ толковъ и споровъ, и мысль его, обращаясь къ прошедшему, могла сохранить то спокойствіе и ту свободу воззрѣнія, которыя столь же необходимы художнику, какъ и мыслителю или историку. Въ сценахъ своихъ онъ ничего не хочетъ доказывать, онъ только изображаетъ. Художественная истина этого изображенія состоить не въ подробностахъ обстановки, не въ обозначени внъшнихъ примътъ быта, а въ постижени внутреннихъ основъ его. Въ воспроизведении Пушкина мы чувствуемъ, какъ древняя Русь неуклонно шла своимъ путемъ, какъ мало было въ ней самой существенныхъ побужденій отрекаться отъ дальнъйшаго хода, какъ глубоко, напротивъ, таилась въ ней потребность обновленія. Но съ темъ вместе мы не чувствуемъ въ этихъ изображеніяхъ никакого отрицающаго дъйствія со стороны поэта, никакого желанія представить внешнимъ образомъ недостатки или несостоятельность стараго быта. Потребность перехода является здёсь какъ положительное начало самой жизни стараго времени.

Спросимъ себя, которое изъ типическихъ лицъ того времени, какъ они представлены у Пушкина, заключаетъ въ себъ что-либо враждебное этому переходу, которое изъ лицъ

выражаетъ собою начало упора и сопротивленія? Конечно, не этотъ смиренный старець, который въ тиши своей кельи, въ краткіе досуги отъ молитвы, пишетъ свои правдивыя сказанья; этотъ старецъ, отрекшійся отъ міра, но совершающій для него скромное, безвъстное, но благое дъло? Перечтите эту сцену въ кельъ Чудова монастыря, призванную за одинъ изъ драгоцьнивишихъ перловъ цълаго произведенія, прислушайтесь снова къ ръчамъ добраго отшельника, къ этимъ ръчамъ, которыя запечатльны всею силою художественной правды: нътъ, здъсь такъ много мягкосердечія и простоты! нътъ, отсюда не можетъ выйти духъ сопротивленія, и мысль отсюда легко обращается къ будущему и довърчиво предается влекущей силъ, въ немъ заключенной. Другимъ характеромъ запечатльны слъдующія за нею сцены.

Но войдемъ въ царскія палаты. Отдълимъ въ Борисъ Годуновъ то, что придано ему личнымъ положеніемъ, внутреннею неправдою его власти, неправдою, изъ которой рождается династическое своекорыстіе, — отділимъ этотъ страхъ и трепеть за себя передъ глухимъ ропотомъ народнаго мнѣнія и самозванства, отдёлимъ также оцёпенёлость полувосточныхъ завёщанныхъ формъ, все, что такъ върно выражено Пушкинымъ, несмотря на пышность и нъкоторую торжественность этого выраженія, вовсе, впрочемъ, не чуждыя предмету и въ основныхъ праскахъ своихъ и въ общемъ впечатлении еще боле возвышающія художественную върность изображенія, и посмотримъ, что останется въ царственной мысли. Всъ, въроятно, помнять прекрасную сцену Бориса въ своемъ семействъ, кроткій образъ Ксеніи, обозначенный столь немногими, но столь поэтическими чертами, и разговоръ царя съ своимъ сыномъ...

Истина изображенія здѣсь такъ живо, такъ гласно гововорить сама за себя, что не требуетъ исторической повърки. Эти слова дышать всею особенностію жизни и духа времени.

Вотъ еще другое мъсто. Недовольный своими боярами и воеводами, царь обращается въ Басманову:

..... я ими недоволенъ; Пошлю тебя начальствовать надъ ними: Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы; Пускай ихъ спесь о мъстничествъ тужитъ: Пора пресъчь мнъ ропотъ знатной черни И гибельный обычай уничтожить.
— Ахъ, Государь, стократь благословенъ Тоть будеть день, когда разрядны книги Съ раздорами, съ гордыней родословной Пожреть огонь.

День этоть недалекъ...

День этотъ, какъ мы знаемъ, насталъ, и вскоръ за нимъ наставали другіе дни, въ которые тотъ же огонь пожиралъ ограды невъжества и народной исключительности. И только изъ этихъ оградъ, а не изъ существенныхъ началъ, не изъ духа жизни происходило сопротивленіе дълу обновленія, протестъ противъ сближенія народовъ, противъ великаго дъла исторіи, возводящаго всъ отношенія и формы въ человъческомъ міръ къ ихъ чистотъ, къ ихъ разуму и къ несомнънной опредъленности. Въ произведеніи Пушкина мы можемъ какъ бы предчувствовать, что когда придетъ часъ перехода — будетъ упоръ, но упоръ со стороны оцъпенълаго и помертвъвшаго обычая, упоръ со стороны звенящей мъди и бряцающихъ кимваловъ, со стороны хранителей формы и ревнителей обрядности. Все по истинъ живое и плодотворное должно было перейти; осталось позади лишь внутренне-мертвое и негодное.

Вотъ что значитъ художественное изображение! Если бъ Пушкинъ старался проводитъ въ своихъ очеркахъ древнерусской жизни какую-либо мысль, если бы онъ хотъль въ нихъ что-либо доказывать, то исчезла бы истина изображенія, мы получили бы не истину жизни, а вовсе, можетъ-быть, не нужное намъ мнъніе Пушкина, мы получили бы ложь и относительно искусства и относительно дъйствительности. Раздалось бы только лишнее горячее слово въ спорв, и только. Художнику болъе всего нужно высокое безпристрастие истины или, какъ мы выразились выше, свобода возэрвнія. Первымъ признакомъ произведенія нехудожественнаго было бы желаніе автора высказать прямо какія-нибудь мысли. Лица явились бы на сцену и высказывали бы эти мысли, высказывали бы, бытьможетъ, очень хорошо, очень живо и увлекательно; но мысли, высказываемыя не въ логическомъ развитіи, могла бы только оглушить, увлечь вась слепо, а внутренняго, въ вась самихъ происходящаго процесса убъжденія, никакъ не могли бы онъ произвести. Между тъмъ художникъ не только не навязываетъ вамъ какихъ-дибо готовыхъ мыслей, но и не подводитъ васъ

хитро подъ ихъ вліяніе; особою, сообразною съ какими-нибудь посторонними цълями, постановкою сцены, онъ только приближаеть къ вашему разумънію сущность предмета и побуждаеть васъ изображениемъ дъла дойти до скрытыхъ въ немъ идей, заставляетъ васъ самихъ домыслиться до нихъ. Вамъ не сообщаются готовыя убъжденія, вамъ сообщаются элементы для убъжденія. Пименъ въ "Борись Годуновъ" ничего не говорить и не можетъ говорить ни въ пользу ни противъ историческаго развитія и общественнаго преобразованія; его сознаніе далеко отъ этихъ вопросовъ, и вообще его жизнь не принадлежить міру; но въ немъ встръчаемъ мы духъ, который, чувствуемъ мы, никогда не озлобится противъ законнаго движенія міра, и который благословить всякое доброе дёло, откуда бы оно ни исходило. Но очень въроятно, что братья Мисаилъ и Варлаамъ, эти ханжи и лицемъры, изображенные Пушкимымъ съ неменьшею върностію стали бы въ эпоху Петра на сторону Катковъ. противниковъ реформы.

Развитіе дъйствія въ драмъ "Борисъ Годуновъ".

"Возьмемъ "Бориса" и при разсмотръніи плана этой трагедіи... постараемся открыть то зерно, изъ него же по въроятію и необходимости развивается все дъйствіе. Кажется, я не ошибусь, сказавъ, что оно заключается въ томъ, что на совъсти Бориса завелось пятно или, какъ говорить онъ самъ, "Единое случайно завелося".

Сцены трагедіи ръзко распадаются на двъ группы: одна есть строгое развитіе замысла; другія—все относящееся къ судьбъ Григорія, насколько оно не связано съ судьбой Бориса—составляють эпизодъ, выпадающій изъ главнаго дъйствія, а именно слъдующія 3 сцены: Марины и Рузи, бала у Вишневецкаго и у фонтана".

Про Григорія до сцены у фонтана мы знаемъ, что онъ самовольно сдълался орудіемъ Божіей кары, что онъ приступилъ, и удачно, къ совершенію своего дерзкаго замысла, и что теперь, влюбленный въ панну Марину, медлитъ дъломъ.

Про Марину изъ сцены въ уборной мы узнаемъ многое, а именно, что она красива, что всъ въ нее влюбляются, что

изъ-за ея красоты даже застръливаются. Все это болтаетъ Рузя. Сама Марина увърена въ непобъдимости своей красоты, и иронически (какъ бы смъясь надъ самою возможностью сомнънія) сомнъвается, побъдитъ ли царевича и станетъ ли московской царицей; она думаетъ, что самозванецъ точно царскій сынъ. Словцо Рузи, что въ народъ его считаютъ за бъглаго дъячка, "извъстнаго въ своемъ приходъ плута", задъваетъ Марину за живое. Она съ большимъ сердцемъ, чъмъ сдълала бы то въ иное время, выговариваетъ горничной и, уходя, ръшаетъ, что ей "должно все узнатъ". Уже въ сценъ въ уборной, хотя Марина говоритъ въ ней всего нъсколько словъ, завязывается не только дъйствіе эпизода, но одновременно и неразрывно съ нимъ и характеръ Марины. Предъ нами уже мелькнуль образъ женщины гордой, умной, холодной.

Перехожу къ главной сценъ. Самозванецъ одинъ; онъ ждетъ объщаннаго свиданія, — свиданія, какъ ему думается, съ дъвушкой столь же страстно и беззавътно полюбившею его, какъ и онъ ее. Его пламенное желаніе осуществится черезъ мигъ; отчего же онъ чувствуетъ страхъ? Этотъ дерзкій обманщикъ, этотъ, повидимому, закалившійся во лжи человъкъ, — чего онъ можетъ страшиться? Развъ ему трудно обольстить женщину? О, нътъ! Обольстить Марину не трудно, онъ цълый день обдумывалъ, какъ это сдълать...

Обдумываль все то, что ей скажу, Какь обольщу ея надменный умъ, Какъ назову московскою царицей...

Чего же ему страшно? У него страхъ любви, страхъ истиннаго чувства, зародившагося въ груди; страхъ, что это, ему одному во всей полнотъ въдомое, чувство святое и дорогое, должно обнаружиться. Обольстить панну Марину, ея "надменный умъ" не трудно, если бы не этотъ страхъ.

Но часъ насталь, и ничего не помню, Не нахожу затверженныхъ ръчей.

Входитъ Марина. Она пришла вовсе не затъмъ, зачъмъ единственно, по мысли Григорія, она могла прійти; она назначила свиданіе только для того, чтобъ "узнать все"; она взвъсила все, что скажетъ ему, и никакой страхъ имъющаго обнаружиться при свиданіи чувства не заставилъ ее забыть вытверженныхъ ръчей; она, конечно, нъсколько побаивается,

чтобы болтовня Рузи не оказалась правдой, но ее при этомъ нимало не занимаетъ правда души Григорія; ей дорога только правда его сана. Она надъется, что насчетъ послъдняго Григорій представитъ въроподобныя доказательства, а потому при свиданіи ей не слъдуетъ оставлять заботы окончательно плънить влюбленнаго.

Вотъ что предстоить быть раскрытымъ въ сценв, изображеннымъ въ дъйствіи. Разсмотримъ же ходъ этого дъйствія, развитіе, его повороты, его кульминаціонныя точки, его начало и конецъ.

Григорій, увидъвъ Марину, забылъ все; онъ чувствуетъ только то, что непритворно, искренно и свято живетъ въ его груди; онъ лепечетъ безъ сознанія слова любви. Марина помнитъ, зачъмъ прищла, и какъ въ ней нътъ ни капли истиннаго чувства, то ей и не трудно говорить обдуманное заранъ, а обдумала она, надо сознаться, все хорошо, говоритъ удивительно умно.

Какъ, повидимому, она любитъ его! Она въритъ его любви, и если не выслушиваетъ его ръчей, то потому только, что пришла сказать нъчто болъе важное. Она ръшилась быть его женой, но не такою, какихъ мы видимъ ежедневно, "не рабой желаній легкихъ мужа", а истинною, настоящею женой, достойною его супругой, "помощницей московскаго царя". Съ такою женой могутъ ли быть у мужа тайны? Не долженъ ли онъ открыть ей "надежды, намъренья и даже опасенья" своей души? И не нъжная ли заботливость о немъ заставляеть ее высказать все это?

О, если бы Григорій не быль такъ взволнованъ, если бъ его не мучиль страхъ истиннаго чувства! Будь онъ просто хорошимъ женихомъ, человъкомъ благоразумнымъ, ищущимъ хорошей партіи, достойной помощницы по управленію обширнымъ государствомъ, человъкомъ, умъющимъ безпристрастно взвъсить, въ чемъ именно должны заключаться эти достоинства, — развъ онъ не плънился бы этою ръчью, не сознался бы, что его будущая жена удивительно умна, нъжно заботлива о его судьбъ и любитъ его разумною (какъ говорится, но какой никогда не бываетъ) любовью. Марина разочла хитро, но черезчуръ ужъ хитро.

Излишность заботливости, поспѣшность вступить въ права достойной супруги обдають Григорія холодомъ. Онъ легко

отстраняеть этоть холодь; волнующее его чувство любви такъ сильно, сладостно, плънительно и такъ ново для него, что онъ молить ее дать забыть хоть на единый часъ заботы и тревоги его судьбы.

Дай высказать все то, чъмъ сердце полно!

Марина и не подозръваеть, что есть такое важное чувство, какъ любовь, могущее заставить забыть все на свътъ, даже высокій санъ. И она ничуть не расположена дать забыться жениху; у нея дъло повыше этихъ забвеній, и женихъ, конечно, долженъ понять разумность ея желанія узнать всъ его тайны. Ей нельзя однако сказать всъ его тайны. Ей нельзя однако сказать прямо, что именно требуется узнать; надо сдълать это осторожно, только слегка намекнуть, и то подъ видомъ той же заботливости о немъ. Не въ немъ она сомнъвается, но

Ужъ носятся сомнительные слухи, Ужъ новизна смѣняетъ новизну, А Годуновъ свои пріемлетъ мѣры...

Годуновъ, московскій тронъ, блескъ славы, Русская держава, — Боже, какъ все это ничтожно кажется Григорію предътою новою жизнью, что зарождается и начинаетъ биться и трепетать въ его груди. Маринъ приходится высказаться ръшительнъе. Слова должны быть красивы, величественны и льстивы. Послъднее непремънно; въдь Богъ его знаетъ, кто онъ; можетъ-быть, и даже върнъе, что настоящій царевичъ (смътъ ли не-царевичъ полюбить такую знатную, какъ она, панну?) и обидъть его въ такую минуту опасно; можно разстроить такую партію, какая развъ еще разъ приснится во снъ, но наяву навърно не повторится ни разу.

Тебъ твой санъ дороже долженъ быть Всъхъ радостей, всъхъ обольщеній жизни.

Неужели же онъ не оцънить дъвушку, умъющую говорить такія вещи? Какъ она понимаеть, въ чемъ должно быть его величіе, какъ она понимаеть свое назначеніе:

Знай, отдаю торжественно я руку Наслъднику московскаго престола, Царевичу, спасенному судьбой!

Три раза она отталкивала его чувство; трижды охлаждала его пыль... И что она все толкуеть о какомъ-то санъ, и о какомъ-то престолъ, когда предъ нею онъ самъ со всею свъжестью и святостью величайшаго, лучшаго на землъ чувства... "Страшное сомнъніе" закрадывается въ его душу.

Когда бъ я быль не Іоанновъ сынъ, Не сей, давно забытый міромъ отрокъ, Тогда бъ... тогда бъ любила ль ты меня?

Марина не върить своимъ ушамъ; не ослышалась ли она, или не испытываетъ ли онъ ее? Надо отвътить немедля, сейчасъ же, и опять такъ, чтобы не обидъть его.

> Димитрій ты и быть инымъ не можешь, Другого мню любить нельзя.

Другого, то-есть не царскаго сына. Зачёмъ же я отвергала графовъ и благородныхъ рыцарей, какъ не въ надеждё на лучшую партію? Мню, паннё Мнишекъ, чей родъ ничьему не уступалъ, мнъ, первой въ міръ красавицъ.

Это другого и это мню переполняють душу Григорія. Нътъ,

онъ не хочетъ дълиться съ мертвецомъ

Любовницей, ему принадлежащей.

Онъ скажеть всю правду. Ему горько и больно, что святость его чувства нарушена; ему горько и больно, что онъ върилъ, что она такъ же беззавътно любить его, какъ и онъ ее. А оказывается, что ей дорогъ какой-то санъ! Ему досадно, что онъ говорилъ съ ней о любви, и въ то же время досадно, что открылъ, кто онъ такой. А! ты думала, я царевичъ; нътъ, я бъдный черноризецъ. Я вовсе не великъ и ничего важнаго не сдълалъ; во мнъ только и есть, что отвага лжи, да умънье— не важное впрочемъ — обманывать безмозглыхъ. Онъ въ горъ, злости и досадъ невольно хочетъ какъ можно болъе унизить себя, чтобы тъмъ сильнъе унизить ее.

О стыдъ и горе мнъ! восклицаетъ Марина. Нечего разъяснять, что не высокаго полета и этотъ стыдъ, и это горе.

Григорій опомнился, спохватился. Онъ, можетъ-быть погубиль себя, все свое "съ такимъ трудомъ устроенное счастье", то-есть устроенное вовсе не такъ легко и скоро, какъ онъ сейчасъ сказалъ въ досадъ. Онъ еще не въ силахъ думать объ этомъ счастьи, когда еще не устроено другое, важнъйшее.

Ему все еще върится, что она любить его и только устыдилась "не княжеской" любви. Онъ бросается предъ ней на колъни.

Теперь она только съ презръніемъ можетъ отвъчать ему. Она холодно отвергала прекрасныхъ жениховъ не для того, чтобы выйти за бъглаго монаха.

Онъ встаетъ съ колънъ. И пусть онъ былъ бътлый монахъ, пусть былъ онъ обманщикъ, все низкое и презрънное, что только есть на землъ, но теперь, когда онъ позналъ святыню чувства, онъ не таковъ, онъ чуетъ въ себъ доблесть, достойную не только такой (какъ все еще ему кажется) ничтожной вещи, какъ московскій престолъ, но даже руки любимой женщины, — величайшаго, что есть на землъ.

Доблестей, которыя таятся Богъ ихъ въдаетъ гдъ, она не знаетъ, но отлично понимаетъ, такъ сказать, наличное величіе, всъмъ видное, отъ всъхъ почтенное. А тъ таящіяся доблести,— есть ли онъ, или нътъ ихъ,— не все ли равно?

Новое глубокое оскорбленіе. Но чёмъ глубже наносимая ею рана, тёмъ сильнёе начавшійся въ немъ рость человѣческаго достоинства, такъ долго спавшаго, такъ долго пренебрегаемаго имъ самимъ, и теперь пробужденнаго ея отказомъ любить его ради его самого. Конечно, онъ не чувствовалъ себя никогда въ жизни добрѣе, умнѣе, счастливѣе, какъ когда сказалъ ей:

Ты мнъ была единственной святыней, Предъ ней же я притворствовать не смълъ.

Этого-то она и не можетъ понять. Онъ сумълъ "чудесно ослепить два народа" и признался ей... изъ любви! Можетъ ли она соединить свою судьбу съ судьбой человека, объявившаго свой позоръ "съ такой простотой, такъ вътренно". Вотъ если бъ онъ былъ достоинъ своего успъха, лгалъ до конца, тогда иное дъло. Ей кажется, что ему больше было поводовъ сознаться изъ чего угодно, изъ дружбы, отъ радости, "изъ върнаго усердія слуги", только бы не изъ любви, не изъ этого мелкаго, ничтожнаго чувства, столь ей знакомаго, которое она такъ часто могла наблюдать и которое роняло предъ нею столькихъ мужчинъ, дълало ихъ такими глупыми и смъщными и некрасивыми. Ей не зачъмъ сдерживаться, и она выльетъ всю свою желчь; ей нечего бояться оскорбить его, и чъмъ дальше, тъмъ язвительнъе ея досада. Весь внъщній лоскъ воспитанной

сдержанности спадаетъ съ нея, и обнажается во всей неприглядности прирожденная грубость.

Но въдь онъ еще не разлюбилъ ея, и вотъ ея настроеніе невольно отражается въ немъ; въ его сердцъ начинаютъ звучать тъ же струны, что и въ ея; онъ невольно хочеть думать, чувствовать, какъ она; искупить невольную предъ нею обиду. И съ тъмъ вмъстъ, незамътно для него самого, святость его чувства начинаетъ пошлъть, понижаясь до ея душевнаго уровня. То святое, чистое настроеніе, въ которомъ, — люби она его, она могла бы удержать и спасти его, отходить. Онъ уже только клянется, что никто не "вымучитъ" его признаніе, что это могла сдълать только она. Любовь, такъ возвышавшая его за

минуту, какъ начинаетъ она унижать его.

Конечно, она охотно повърила бы его клятвамъ. Въдь истинное-то, по ея митнію, величіе, высокій санъ, могло бы сохраниться у самозванца при строгомъ соблюденіи тайны. Въдь, не откройся онъ ей или будь настоящимъ царевичемъ, отдалась же бы она нелюбимому человъку, и не все ли ей равно, прирожденный ли царь, или подставной, дасть ей то, ради чего она считаетъ законнымъ и приличнымъ забыть и свой родъ, и стыдъ дъвичій. Но гдъ же доказательства, что клятва будетъ сохранена? Досада на открытіе, досада на разстройку такой прекрасной партіи еще не остыла; она еще не стала такъ умна, какой была въ началъ, и продолжаетъ грубо смъяться надъ нимъ.

Ея слова возбуждають снова въ Григоріи чувство достоинства, но не настоящаго уже, не истинно человъческаго, а во вкусъ панны Марины, ибо заронившееся въ его душу, по отраженію, безсознательное желаніе сравняться съ нею, сдълаться ея достойнымъ, все болве и болве захватываеть его душу и вытъсняетъ изъ нея правдивость. Онъ говорилъ искренно, отъ сердца; теперь же, какъ замъчаетъ авторская ремарка, онъ говорить только пордо. Тогда онъ готовъ быль унижаться предъ своею "единственною святыней", теперь довольно. Теперь онъ опять царевичъ. Чувство у него болъе низкое, но зато болъе любезное паннъ Маринъ. А то хорошее чувство онъ вырветъ, заглушитъ въ себъ.

Къ сказанной досадъ Марины прибавляется новая: на самое себя, зачёмъ она изъ излишней пытливости упустила такого жениха. Ума въ Маринъ стало еще меньше, и она грозитъ выдать всемь его тайну.

Но теперь, когда онъ сталъ прежнимъ Григоріемъ, какимъ былъ до освятившей его на мигъ любви, такія угрозы ему не страшны. Она для него мятежница, которую заставятъ молчать. Онъ не хочетъ удостоить ее взглядомъ и уходитъ. Уходитъ... Итакъ, надежда на партію рушилась, и по ея винъ. Чтобы поправить дѣло, она готова была бѣжать за нимъ. Теперь она дѣлается такъ же умна и расчетлива, какъ и въ началѣ сцены; находитъ прежній блестящій тонъ, снова умѣетъ польстить ему, снова выражаетъ разумно-нѣжную фальшивую заботливость. Величіе опять впереди ея, и она отдается за него кому угодно; она забудетъ свой родъ и стыдъ дѣвичій ради этого — вотъ обманщика, только бы онъ забылъ про доблести, которыя гдѣ-то таятся, а добылъ бы доблесть, всѣмъ явную. Она, какъ набожная ученица іезуитовъ, клянется въ этомъ Богомъ. И ушла.

Погубившій свою святыню Григорій теперь понимаеть Марину; онъ не любить ея, какъ прежде, но зато она нравится ему иначе своими змѣиными свойствами. Онъ воображаеть даже, что и прежній страхъ и прежняя дрожь была только страхомъ, что она погубить его внѣшнее счастье. Оно спасено, и она теперь достойная супруга... самозванца — Дѣйствіе кончено, потому что начертано.

Аверкієвъ

"Борисъ Годуновъ", какъ трагическій характеръ.

Борисъ является предъ нами въ тотъ моментъ, когда согласился принять вънецъ, избранный народною волей въ цари. Въ ръчи своей къ патріарху и боярамъ, онъ изъявляетъ желаніе быть справедливымъ; онъ молитвенно обращается къ своему предшественнику, къ Ангелу-Царю, какъ онъ его называетъ, и проситъ его благословенія:

Да правлю я во славъ свой народъ, Да буду благъ и праведенъ, какъ ты!

Въ этомъ онъ искрененъ, но конечно далеко не таковъ, говоря боярамъ, что его душа "обнажена предъ ними", что онъ пріемлетъ власть только "со страхомъ и смиреніемъ". Въ ръчи поэтому чувствуется нъкоторая раздвоенность, тотъ

тяжкій гръхъ, въ который впаль Борисъ; мы знаемъ и причину этого гръха (властолюбіе), но обстоятельства, при коихъ произошло его совершеніе, находятся внъ трагедіи. О томъ, было ли убійство простымъ злодъйствомъ со стороны Бориса, или только тяжкимъ гръхомъ, какъ мы сказали, возможно однако судить по его послъдующимъ дъйствіямъ, по тому, какимъ онъ является въ страданіяхъ. Борису нътъ счастія; его желанія и надежды рушатся; онъ думалъ свой народъ

Въ довольствіи, во слав'в успокоить, Щедротами любовь себ'в снискать,

и приходить къ горькой мысли, что

Живая власть для черни ненавистна, Они любить умъють только мертвыхъ.

Что же приводить его къ такому взгляду? Народъ проклиналь его за помощь во время голода; упрекаль его за пожаръ, но того мало, что всъ его добрыя дъла, всъ явныя заботы о народномъ благъ не признаются, или истолковываются въ дурную сторону, — его лукаво упрекаютъ.

Виновникомъ дочерняго вдовства,

на него здобно клевещуть, на него наводять многія убійства. Можеть ли большее горе постигнуть человъка, сознающаго свои достоинства, который, положа руку на сердце, смъло можеть сказать, что его дела имели высокую цель человека, который вдобавокъ хорошій семьянинь, ніжно любящій отець. Но какъ ни горько убъжденіе, что народъ умѣетъ любить только мертвыхъ, что власть сама по себъ ему ненавистна, какъ ни тяжелы вообще обстоятельства, обусловливающія возникновеніе такихъ мыслей, однако они сами по себъ въ человъкъ, сознающемъ свой долгъ, — не въ силахъ уничтожить стремленіе къ совершенію дёль, которыя онъ считаеть дёлами достойными. Борисъ самъ чувствуеть, что у него достало бы твердости духа, чтобы не пасть предъ такимъ испытаніемъ, что онъ могъ бы побороть возникающее отчаяніе. Отчего же такая возможность не переходить въ действительность? Дело въ томъ, что его горькія думы не суть плодъ только холодныхъ наблюденій ума или горестнаго разочарованія сердца: они плодъ нецълости его души предостава с предостава

Оттого-то онъ и не можетъ побороть возникающее отчаяніе, что необходимая для этого нравственная опора въ самомъ себъ встръчаетъ непобъдимую преграду совъсти. Пусть пятно на ней завелось случайно, пусть оно будетъ единымъ, но оно тутъ, несмываемое и въчно напоминающее о себъ; оно бередится и нелюбовью народа, и лукавою клеветой, и тъмъ сильнъе, что служитъ какъ бы оправданіемъ клеветы. Глубоко павшему разъ въ жизни не хотятъ върить, его считаютъ на все способнымъ злодъемъ. Да, есть отчего кружиться головъ и сердцу быть налитымъ ядомъ! Злодъй старался бы заглушить голосъ совъсти, потопить его въ крови, Борисъ же изнемогаетъ предъ сознаніемъ:

Да, жалокъ тотъ, въ комъ совесть нечиста!

Страхъ подвергнуться мученіямъ, сопряженнымъ съ "единымъ случайнымъ" пятномъ на совъсти, есть страхъ дъйствія возможнаго для насъ всъхъ, и именно такой страхъ, который, по выраженію Лессинга, заставитъ созръть состраданіе при видъ подобныхъ мученій другого.

Иныя страданія оклеветаннаго и близкаго къ отчаянію Бориса, составляющія главное обстоятельство трагедіи, вытекають изъ того же источника. Положимъ, что мучение совъсти есть не только необходимое послъдствіе гръха, но и его заслуженное наказаніе: очевидно однако, что цълый рядъ усиливающихся несчастій есть обстоятельство, превышающее вину; онъ могъ последовать за грехомъ, но могъ и не последовать. Извъстіе о появленіи самозванца обрушивается на Бориса нежданно, въ минуту спокойствія, когда онъ любовно говорить съ сыномъ, увъренный, что престоль законно перейдеть къ его наслъднику. Онъ свысока, съ нъкоторою надменностью готовится выслушать "важную въсть" Шуйскаго. Одно слово, "пустое имя" подымаеть бурю въ его душъ, заставляеть трепетать все его существо. Онъ спъшно удаляетъ царевича въ предчувствіи чего-то страшнаго, имъющаго совершиться, но чего именно, онъ не въ силахъ дать себъ яснаго отчета. Привычка властвовать, чувство царственности, подкръпляемыя инстинктомъ самосохраненія, не оставляють его въ эту минуту; онъ твердо отдаетъ приказъ о необходимыхъ мърахъ и хочеть затымь отпустить Шуйскаго. Овладывь такимь образомъ собою, онъ уже готовъ свысока смотреть на услышан-

ную въсть, какъ вдругъ его беретъ сомнъніе: "а что если царевичъ живъ?" Вотъ самый важный для Бориса вопросъ, смутное предчувствіе котораго заставило его удалить сына. Если Димитрій живъ, то что дълать? И первое: не слъдуеть ли уступить ему? Во всякомъ случав, утвердительный отвътъ Шуйскаго разрушилъ все дъло жизни Бориса. Отрицательный отвътъ "лукаваго царедворца" ясенъ, не допускаетъ и тъни сомивнія. Несмотря на муки, возбужденныя и усиленныя внезапною въстью, Борись со спокойною совъстью можеть дъйствовать противъ самозванца, защищать отъ обманщика свой престоль и наследіе детей своихь; этого требують его царственныя обязанности. Но при исполнении этихъ самыхъ обязанностей онъ наталкивается на новыя страданія, сильнъе прежняго ушибаетъ больное мъсто. Такое дъйствіе оказываетъ именно совътъ патріарха, повидимому столь безхитростный и столь цълесообразный. Рядъ страданій не остается безъ послъдствій для Бориса; на открытое обличеніе юродиваго Борисъ уже отвъчаетъ только: "молись за меня" и съ терпъливымъ молчаніемъ сносить страшный отвъть юродиваго.

Борису уже нечёмъ жить для себя, и царственное дёло ни мало бы не занимало его, если бы не любовь къ сыну. Эта черта съ особой силой и ясностію выражается въ предсмертной сцень, гдъ Борисъ, не только перемогая физичечкія страданія, но вполнъ забывая о себъ, спѣшитъ дать послъдніе совъты Феодору, какъ отецъ сыну и какъ царь наслъднику. Но по воль Промысла и это самопожертвованіе Бориса разсыпается прахомъ.

"Заключительная сцена "Бориса Годунова" поэтому имъетъ не только значеніе указанія на будущую судьбу самозванца, значеніе справедливо ей приписываемое г. Анненковымъ, но и высоко трагическое: она рисуетъ послъднее и конечное, посмертное несчастіе Бориса".

Аверкіевъ.

Идея "Бориса Годунова" и художественный реализмъ драмы.

Трагическій конецъ Борисова царствованія является неизбъжнымъ исходомъ изъ того ложнаго положенія, въ которое онъ

поставиль себя въ отношени къ боярамъ и народу, при своемъ вступленіи на престолъ. По ходу драмы видно, что онъ погибъ бы и тогда, если бы и не былъ убійцею Димитрія. Поэтому ошибочно то утверждение, что Пушкинъ положилъ въ основу своей трагедіи ту мысль, заимствованную у Карамзина, что самозванецъ былъ орудіемъ небеснаго правосудія, покаравшаго цареубійцу Бориса: во-первыхъ эта мысль принадлежить не Карамзину, а лътописямъ т.-е. людямъ XVII в., а во-вторыхъ, она вовсе и не положена въ основу трагедіи. Не пускаясь въ отгадываніе намфреній небеснаго правосудія, Пушкинъ ищетъ причины гибели Бориса въ самихъ условіяхъ его царствованія: Борись погибъ потому, что между нимъ и народомъ не было нравственнаго единенія. Нельзя признать справедливымъ и суждение тъхъ критиковъ, которые, сопоставляя трагедію Пушкина съ психологическими драмами Шекспира, дёлаютъ нашему поэту тотъ упрекъ, что онъ следаль предметомъ художественнаго изображенія не процессъ совершенія преступленія, (какъ, напримъръ, Шекспиръ въ "Макбетъ") а только его послъдствія, вслъдствіе чего въ трагедіи мало драматическаго движенія. Представители этого взгляда признаютъ Бориса героемъ трагедіи въ томъ же смысль, въ какомъ Макбетъ является героемъ въ соотвътствующей Шекспировской трагедіи; но въдь это не такъ: Пушкинъ ставитъ своей задачей не только изобразить характеръ Бориса и его душевную драму, но и "воскресить одинъ изъ минувшихъ въковъ во всей его истинъ", а потому у него въ драматическомъ положени оказывается не Борисъ только, но и весь русскій народъ; Борись не герой трагедіи въ обычномъ смыслъ этого слова, а только центральный факторъ общаго дъйствія. Вотъ почему Пушкинъ далъ въ рукописи такое заглавіе своему произведенію: "Комедія о настоящей бъдт Московскому Государству, о царъ Борисъ и "Гришкъ Отрепьевъ", а закончилъ рукопись такими словами: "конецъ комедіи, въ ней же первая персона "Борисъ Годуновъ"; и если сопоставить эту комедію съ произведеніями Шекспира, то не съ психологическими трагедіями, а съ его историческими хрониками, какъ на это указываетъ и самъ Пушкинъ.

"Борисъ Годуновъ былъ любимымъ произведеніемъ Пушкина. Процессъ его созиданія доставилъ поэту высокое внутреннее наслажденіе, а когда трудъ былъ оконченъ, Пушкинъ съ

восторженною радостію сообщать объ этомъ Вяземскому: "Поздравляю тебя, моя радость, съ романтическою трагедіею, въ ней же первая персона Борисъ Годуновъ. Трагедія моя кончена. Я перечель ее вслухъ одинъ и билъ въ ладоши и кричалъ: ай да Пушкинъ"! Онъ смотрълъ на дъло такъ, что его трагедія должна повліять "на преобразованіе драматической системы нашей": онъ противополагалъ свою трагедію — въ качествъ романтической — классическимъ трагедіямъ, которыя въ то время еще твердо держались и въ литературъ, и на сценъ, и видълъ въ своей трагедіи торжество избраннаго

романтизма.

Однако такъ ли это? была ли его трагедія торжествомъ реализма? Самъ же Пушкинъ говоритъ, что онъ въ своей трагедіи не гнался за романтическимъ павосомъ, а старался дать правильное изображение характеровъ и положений, слъдуя въ этомъ отношении Шекспиру; слъд., художественная правдавоть характеристическая черта его трагедіи, какъ и Шекспировскихъ произведеній; но это — такая черта, которая характеризуетъ собою не только романтизмъ, сколько то направленіе, которое извъстно теперь подъ названіемъ художественнаго реализма. Трагедія "Борисъ Годуновъ" по своему характеру должна быть отнесена къ этому направленію, и если Пушкинъ причислялъ ее къ трагедіямъ романтическимъ, то это потому, что, не находя готоваго термина для обозначенія своего литературнаго направленія, онъ видоизмёнилъ понятіе о романтизмъ и въ этомъ измъненномъ видъ прилагалъ его въ своей трагедіи: онъ разумълъ подъ истиннымъ романтизмомъ то, что мы теперь обозначили бы именемъ художественнаго реализма. Вотъ почему романтическій павосъ не вошель у него въ опредъление романтизма въ качествъ существеннаго признака этого направленія. Вліяніе дъйствительнаго романтизма сказалось, можетъ-быть, только въ изображении характера самозванца; но этотъ характеръ занимаетъ второстепенное мъсто въ трагедіи. Не романтикомъ, а правдивымъ художникомъ-реалистомъ является Пушкинъ въ своихъ произведеніяхъ, написанныхъ въ Михайловскомъ, какъ въ "Борисъ Годуновъ", такъ и въ "Евгеніи Онъгинъ".

Кудрявцевъ.

Характерныя черты "Моцарта и Сальери", какъ драматическаго очерка.

Сальери — талантливый, но не геніальный, человъкъ; не безъ труда, упорнаго труда ему дается все. Ему нужно было много терпънія, чтобы стать извъстнымъ музыкантомъ; много минутъ отчаянія пришлось пережить раньше, чъмъ достигнуть цъли. Сальери глубоко любитъ музыку; онъ ее любитъ тъмъ сильнъе, чъмъ больше труда положилъ онъ на обладаніе этимъ искусствомъ. Онъ первый между равными, и нътъ человъка, которому онъ могъ бы завидовать. Но такія натуры, какъ Сальери, не выносятъ рядомъ съ собой людей геніальныхъ; ихъ оскорбляетъ чужое превосходство, обижаетъ особенно потому, что успъхъ достался геніальному человъку, можно сказать, задаромъ, тогда какъ они затратили столько труда для достиженія меньшаго. Сальери встръчаетъ Моцарта, и его душевный покой нарушенъ.

Я счастливъ былъ: я наслаждался мирно Своимъ трудомъ, успъхомъ, славой, также Трудами и успъхами друзей, Товарищей моихъ въ искусствъ дивномъ. Нътъ! никогда я зависти не зналъ!...

Кто скажеть, чтобъ Сальери гордый быль Когда-нибудь завистникомъ презрѣннымъ, Змѣей, людьми растоптанною, вживѣ Песокъ и пыль грызущею безсильно? Никто!... А нынѣ—самъ скажу— я нынѣ Завистникъ! Я завидую; глубоко, Мучительно завидую. О небо! Гдѣ жъ правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній— не въ награду. Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ, А озаряеть голову безумца, Гуляки празднаго?... О Моцартъ, Моцартъ!

"Небольшой монологь этотъ превосходно рисуетъ зарожденіе страшнаго чувства въ душѣ артиста, вмѣстѣ съ тѣмъ вы видите всю естественность, правдивость появленія зависти въ человѣкѣ подобномъ Сальери—вамъ здѣсь становится совершенно понятнымъ это чувство, вообще не очень понятное,

и поневоль кажутся справедливыми ть упреки, которые посылаеть завистникь судьбь. Нельзя также не замътить, что зарожденіе чувства зависти въ Сальери заставляеть его глубоко страдать. Онъ мучится въ борьбъ со своею совъстью, желаеть оправдать въ себъ это чувство, вызванное несравненнымъ превосходствомъ надъ нимъ Моцарта, тъмъ, что Мо-

цартъ "безумецъ", гуляка праздный".

А этотъ легкомысленный Моцарть съ своей стороны дълаетъ все, чтобы только усилить въ своемъ неподозръваемомъ врагъ зависть къ себъ и злобу. Непосредственно затъмъ, какъ Сальери произнесь вышеупомянутый монологь, является Моцарть съ слъпымъ скрипачомъ, чтобы угостить его искусствомъ. "Нътъ, мой другъ Сальери, смъшнъе отъ роду ты ничего не слыхаль!" Оказывается, что слепой музыканть самымъ безобразнымъ образомъ исполняетъ арію изъ "Донъ Жуана" Моцарта. Моцартъ хохочетъ. Между тъмъ Сальери видить въ этомъ исполнении оскорбление искусству. Онъ глубоко оскорбленъ; замътъте, что оскорбление это падаетъ уже на хорошо подготовленную почву, а тутъ еще Моцартъ играетъ ему новое свое произведение и проситъ сказать свое мижніе. Сальери настолько преданъ музыкъ, такъ способенъ подчиняться ея впечатлънію, что не въ силахъ скрыть своего впечатлънія. Онъ восхищенъ, но это-то восхищеніе и служить последнею каплею для окончательнаго возбужденія въ немъ чувства зависти. Этотъ восторгъ возбуждаетъ его къдъйствію, побуждаетъ къ преступленю.

Въ слъдующей сценъ онъ приводить въ исполнение свое намърение. Во время разговора о Бомарше онъ всыпаетъ ядъ въ бокалъ Моцарта, послъдний самъ даетъ толчокъ къ исполнению задуманнаго. Подтверждая миъние Сальери о невъроятности обвинения, возводимаго на Бомарше, Моцартъ говоритъ:

Онъ же геній, Какъ ты, да я! А геній и злодъйство Двъ вещи несовмъстныя. Не правда ли?

А въдь Сальери, воображающій себя геніемъ задумаль злодъйство и потому усматриваетъ въ словахъ Моцарта обиду. Онъ всыпаетъ ядъ. Дъло сдълано. Чувство, напряженное до крайней степени, удовлетворено. Наступаетъ реакція, начинающаяся истерическимъ кризисомъ. Звуки Requiem'а усили-

вають настроеніе не то радостное, не то тоскливое. Сальери плачеть:

...Эти слезы (говорить онъ)
Впервые лью: и больно и пріятно
Какъ будто тяжкій совершиль я долгь,
Какъ будто ножъ цълебный мнъ отсъкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замъчай ихъ. Продолжай, спъши,
Еще наполнить звуками мнъ душу.

Но Моцартъ ссылаясь на нездоровье, уходитъ спать. Сальери провожаетъ его словами: "Ты заснешь надолго, Моцартъ!" Но тутъ онъ вспоминаетъ слова его. Въ душъ его начинается новая страшная борьба. Мелькомъ брошенное замъчаніе Моцарта, что "геній и злодъйство двъ вещи несовмъстныя", страшно звучитъ въ душъ его. Онъ только что совершилъ злодъйство.

Но ужель онъ правъ (восклицаеть онъ), И я не теній? Геній и злодъйство Двъ вещи несовмъстныя. Неправда: А Бонаротти?... Или это сказка Тупой, безсмысленной толпы — и не быль Убійцею создатель Ватикана!

"Въ такомъ мучительномъ психическомъ состоянии оставляетъ нашъ авторъ своего героя. Моцартъ, нехотя, отомстилъ за себя, заронивъ въ душу Сальери новое мучительное сомнъне, которое надолго, а можетъ-быть навсегда, не дастъ ему заснуть спокойно. Моцарти зартали сони Сальери, можемъ сказать мы словами Макбета. Мы знаемъ, какъ Сальери впечатлителенъ и подозрителенъ ко всему, что только касается его славы, а тутъ такое ужасное сомнъне, которое при этомъ явилось вполнъ неожиданно и совершенно ненамъренно, небрежно заброшено въ его подозрительную душу. Положене Сальери вполнъ трагическое".

Вотъ вамъ и весь этотъ драматическій очеркъ. Онъ по простоть, несложности своего сюжета не можеть имъть себъ соперника. А между тъмъ по изяществу, изобразительности картинъ и живости дъйствія онъ принадлежить къ перламъ созданія. Вмъстъ съ тъмъ и развязка драмы, кроющаяся въ послъднихъ мучительныхъ сомнъніяхъ Сальери, поражаетъ своей естественностью и силой.

Идея "Моцарта и Сальери".

"Моцартъ и Сальери"— цълая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея - вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильною страстью къ искусству и къ славъ. Любя искусство для искусства, онъ приносять ему въ жертву всю жизнь, всъ радости, всв надежды свои; съ неввроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойти въ рабство, закабалить себя на нъсколько лътъ какому-нибудь художнику, лишь бы онъ открыль тайны своего искусства. Если такой человътъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходить самодовольный Тредьяковскій, который и живеть и умираеть съ убъжденіемъ, что онъ — великій геній. Но если это человъкъ дъйствительно съ талантомъ, а главное — съ замъчательнымъ умомъ, съ способностью глубоко чувствовать, понимать и цънить искусство — изъ него выходить Сальери. Для выраженія своей идеи, Пушкинъ удачно выбраль эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извъстнаго лица, онъ могь сдълать, что ему угодно; но въ лицъ Моцарта онъ исторически удачно выбраль безпечнаго художника, "гуляку празднаго". У Сальери своя логика: на его сторонъ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношеніи къ истинъ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, не вознагражденной славою. Изъ всёхъ болезненныхъ стремленій, страстей, странностей самыя ужасныя ть, съ которыми, родится человъкъ, которыя, какъ проклятіе, получиль онъ при рожденіи вмѣстѣ съ своею кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человъкъ — всегда лицо трагическое; онъ можетъ быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смъшонъ. Его страсть - родъ помъщательства при здравомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ дюбить музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ понялъ, что Моцартъ — геній, и что онъ, Сальери, ничто предъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и никому не завидовалъ. Пріобрътенная имъ слава была счастіемъ его жизни: онъ ничего больше не требоваль у судьбы, - и вдругь, видить

онъ "безумца, гуляку празднаго", на челъ котораго горитъ помазание свыше...

О небо!

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній— не въ награду Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ, А озаряеть голову безумца, Гуляки празднаго?... О Моцартъ, Моцартъ!

Модартъ является со всею простотою, веселостью, шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всёхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію не подозрѣвающій собственнаго величія или не видящій въ немъ ничего особеннаго. Онъ приводитъ собою къ Сальери, слѣпого скрипача-нищаго и велитъ ему сыграть что-нибудь изъ Модарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высокаго искусства. Модартъ хохочетъ, какъ шаловливый ребенокъ, потомъ играетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ безсонную ночь, — и Сальери восклицаетъ въ ревнивомъ восторгъ:

Ты, Моцарть, богь, и самъ того не знаешь; \mathcal{A} знаю, n.

Моцартъ отвъчаетъ ему ревниво:

Ба! право? можеть быть... Но божество мое проголодалось.

Замътьте: Моцартъ не только не отвергаетъ подносимаго ему другими титла генія, но и самъ называеть себя геніемъ, вивств съ твиъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово "геній" ни по чемъ; скажите ему, что онъ геній, онъ преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній, - онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицъ Моцарта Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніальности, которая проявляеть себя безъ усилія, безъ расчета на успъхъ, нисколько не подозръвая своего величія. Нельзя сказать, чтобы всъ геніи были таковы; но такіе особенно невыносимы для талантовъ въ родъ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому самая простота Моцарта, его неспособность цънить самого себя еще

больше раздражають Сальери. Онъ не тому завидуеть, что Моцартъ выше его, — превосходство онъ могъ бы вынести благородно, потому что онъ ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ геній, а талантъ передъ геніемъ — ничто... И вотъ онъ твердо рѣшается отравить его. "Иначе", говоритъ онъ: "мы всѣ погибли, мы — всѣ жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Вѣдь онъ не подыметъ искусства еще выше? Вѣдь оно опять падетъ послѣ его смерти?" Вотъ она логика страстей!...

За объдомъ въ трактиръ Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравилъ. Какъ истинный итальянецъ, Сальери отвъчаетъ, что едва-ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смъщонъ для такого ремесла. Моцартъ дълаетъ при этомъ наивное замъчаніе:

Онъ же геній, Какт ты, да я! А геній и злодівиство— Двіз вещи несовмістныя. Не правда ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодущныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдалъ Сальери. Онъ зналъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говоритъ, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что, слѣдовательно, онъ Сальери, не геній! А! такъ я не геній? Вотъ же тебѣ, — и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выпилъ, Сальери, какъ бы съ смущеніемъ и ужасомъ, восклицаетъ:

Постой, Постой... Ты выпиль! безъ меня?

Это опять истинно-драматическая черта! Но воть одна изътью смылыхь, обнаруживающихь глубочайшее знаніе челоческаго сердца черть, которыя никогда не могуть прійти вътолову таланту, всегда живущему "плынной мысли раздраженьемъ", и на которыя никогда онъ не рышится если бъ, онъ и могли прійти къ нему; это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы Впервые лью: и больно, и пріятно, Кажь будто тяжкій совершиль я долгь, Кажь будто ножь цёлебный мий отсткь Страдавшій членъ! Другь Моцартъ, эти слезы... Не замічай ихъ. Продолжай, спінши Еще наполнить звуками мні душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какою-то нѣжностью къ Моцарту! "Другъ Моцартъ": видите ли, убійца Моцарта любитъ свою жертву, любитъ ее художественною половиной души своей, любитъ ее за то же самое, за что и ненавидитъ... Только великіе, геніальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой натуры такія странныя, повидимому, противорѣчія и изображать ихъ такъ, что становятся намъ понятными безъ объясненій...

Послъднія слова Сальери, когда по уходъ Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляють и замыкають въ самой себъ сцену:

Ты заснешь
Надолго, Моцарть! Но ужель онъ правъ,
И я не геній? Геній и злодъйство —
Двѣ вещи несовмъстныя. Неправда:
А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой, безсмысленной толпы — и не быль
Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно-художественной формъ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъ своею несоразмърностью съ нашими силами.

Бълинскій.

Скупой рыцарь.

Нечего говорить объ идев поэмы "Скупой рыцарь": она слишкомъ ясна и сама по себв и по знанію поэмы. Страсть скупости — идея не новая, но геній умветъ и старое сдвлать новымъ. Идеалъ скупца одинъ, но типы его безконечны различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ — это — лицо комическое; баронъ Пушкина ужасенъ — это лицо трагическое. Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера — реторическое олицетвореніе скупости, карикатура, памфлетъ. Нътъ, это лица страшно истинныя, заставляющія

содрогаться за человъческую природу. Оба они пожираемы одною гнустною страстью, все-таки нисколько одинъ на другого не похожи, потому что и тотъ и другой — не аллегорическое олицетвореніе выражаемой ими идеи, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина — лицо трагическое. Альберъ говоритъ жиду: когда мнъ будетъ пятьдесятъ лътъ, на что мнъ тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги? — Деньги
Всегда, во всякій возрасть намь пригодны;
Но юноша въ нихъ ищеть слугь проворныхъ.
И не жалъя шлеть туда, сюда,
Старикъ же видить въ нихъ друзей надежныхъ
И бережеть ихъ, какъ зъницу ока.

Альберъ.

О! мой отець не слугь и не друзей Въ нихъ видить, а господъ; и самь имъ служить, И какъ же служить? какъ алжирскій рабъ, Какъ песъ цъпной. Вз нетопленной конурт Живетъ, пъстъ соду, пстъ сухія корки, Всю ночь не спитъ, все бълаетъ да лаетъ.

Въ этомъ портреть мы видимъ лицо чисто комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдъ этотъ скряга любуется своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтическаго факела освътить намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Что не подвластно мнѣ?... Какъ нѣкій демонъ, Отселѣ править міромь я могу; Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; Въ великолѣпные мои сады Сбѣгутся нимфы рѣзвою толіюю; И музы дань свою мнѣ принесутъ, И вольный геній мнѣ поработится, И добродѣтель, и безсонный трудъ Смиренно будуть ждать моей награды. Я свистну — и ко мню послушно, робко Вползеть окрававленное злодийство, И руку будеть мню лизать, и въ очи Смотръть, въ нихъ знакъ моей читая воли.

Мнѣ все послушно, я же — ничему; Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья...

Ужасно, потому что истинно! Да, въ словахъ этого отверженца человъчества, къ несчастію все истинно, кромъ того, что не въ его волъ пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за порокъ скупости. Скупецъ раскрываетъ всъ свои сундуки и зажигаетъ (ужасное мотовство!) по свъчъ передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видъ освъщенныхъ грудъ золота, онъ приходить въ сатанинскій восторгъ, и въ патетической ръчи обнажаетъ передъ нами страшныя тайны страшнъйшей изъ человъческихъ страстей. Золото кумиръ этого человъка, онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говорить о немъ языкомъ благоговънія, служить ему, какъ преданный, усердный жрецъ! Расточить его наслъдство, по его мивнію, значить разбить священные сосуды, напоить грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотритъ еще на золото, какъ молодой, пылкій человъкъ на женщину, которую онъ страстно любить, обладание которою онь купиль ценою страшнаго преступленія и которая тімь дороже ему. Онъ хотіль бы спрятать ее отъ "недостойныхъ взоровъ", его ужасаеть мысль, чтобы она не принадлежала кому-нибудь послъ его смерти.

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположенію, по страшной силь паеоса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотъ и оконченности, — словомъ, по всему, эта драма — огромное, великое произведеніе, вполнъ достойное генія самого Шекспира.

Бълинскій.

Отношение Пушкина къ античному міру.

Гомеръ.

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи; Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Еще въ родительскомъ домъ, до поступленія своего въ Лицей, Пушкинъ прочелъ въ переводъ Битобе объ поэмы Гомера; Въ Лицев подъруководствомъ Кошанскаго онъ изучалъ греческаго поэта по переводу Кострова. Въ посланіи "Городокъ" поэтъ сообщаетъ намъ, что въ его библіотекъ

На полкъ за Вольтеромъ Виргилій, Тассъ съ Гомеромъ, Всъ вмъсть предстоятъ.

Между Пушкинымъ и Гомеромъ есть много родственнаго: Пушкинъ ясенъ и простъ, какъ Гомеръ, и оба художника смотрятъ на міръ одинаково дътскими очами. Въ своемъ романъ "Евгеній Онъгинъ", герой котораго бранилъ Гомера, поэтъ такими шутливыми словами характеризуетъ великаго эпика —

... замъчу въ скобкахъ,
Что ръчь веду въ моихъ строфахъ
Я столь же часто о пирахъ,
О разныхъ кушаньяхъ и пробкахъ,
Какъ ты, божественный Омиръ,
Ты, тридцати въковъ кумиръ!

Пушкинъ даже выставляетъ себя соперникомъ Гомера въ описаніи пировъ:

Въ пирахъ готовъ я непослушно Съ твоимъ бороться божествомъ.

Хотя въ другомъ мъстъ говоритъ:

Я не Гомеръ: въ стихахъ высокихъ Онъ можетъ васпѣвать одинъ Обѣды греческихъ дружинъ И звонъ и пѣну чашъ глубокихъ.

Однако Пушкинъ уступаеть Гомеру пальму первенства въ изображени героевъ:

Но, признаюсь великодушно,
Ты (т.-е. Гомерь) побъдиль меня въ другомъ:
Твои свиръцые герои,
Твои неправильные бои.
Твоя Киприда, твой Зевесъ
Большой имъють перевъсъ,
Передъ Онъгинымъ холоднымъ.

Пушкину, повидимому, не особенно нравилась Елена, причинившая троянскую войну

Но Таня (присягну) милъй Елены пакостной твоей, — Никто и спорить тутъ не станетъ, Хоть за Елену Менелай Сто лътъ еще не перестанетъ Казнить фригійскій бъдный край, Хоть вкругъ почтеннаго Пріама Собранье стариковъ Пергама, Ее завидя, вновь ръшить: Правъ Менелай и правъ Паридъ.

Гомера Пушкинъ ставилъ неизмѣримо выше Пиндара потому именно, что восторгъ, создающій оды, непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство, каковыми являются эпопеи Гомера (ср. V, 17), у котораго важная и вѣрная гармонія (V, 98).

Совершенно случайное знакомство Пушкина съ Гиъдичемъ,

который воскресиль Ахилла призракь величавый,

побудило поэта съ напряженнымъ вниманіемъ слъдить за выходомъ въ свътъ всъми ожидаемаго перевода "Иліады. Пушкинъ познакомился съ Гнъдичемъ въ засъданіяхъ общества такъ называемой "Зеленой лампы", гдъ въ одномъ изъ первыхъ свиданій съ Гивдичемъ, на вопросъ последняго, какъ нравится ему переводъ "Иліады", начатый первоначально александрійскими стихами, Пушкинъ, какъ передаютъ, отвъчаль неодобрительнымъ экспромтомъ, замътивъ въ названномъ переводъ жесткость и шероховатость стиха. Живя въ Кишиневъ, "бессарабскій пустынникъ" (VII, 69) писалъ Гнъдичу (12 мая 1822 г.): "Что дълаетъ Гомеръ? Давно не читалъ я ничего прекраснаго"... Такимъ образомъ ожидаемый переводъ Гомера и настоящее наслаждение этимъ прекраснымъ памятниковъ древнихъ эллиновъ, о которомъ поэту не мало сообщиль въ Лицев его наставникъ - Кошанскій, въ понятіи Пушкина были нераздъльны. Въ другомъ письмъ (VII, 75) отъ 23 февраля 1825 г. поэтъ писалъ Гибдичу изъ Михайловскаго: "Братъ говорилъ мив о скоромъ совершении (ср. VII, 172 и 284) вашего Гомера. Это будеть первый, классическій, европейскій подвигь въ нашемъ отечествъ... Но, отдохнувъ послъ Иліады, что предпримите вы въ полномъ цвътъ генія, возму-

жавъ въ храмъ Гомеровомъ, какъ Ахиллъ въ вертепъ Кентавра?" Въ томъ же году (21 марта 1825 г.) Пушкинъ писалъ А. А. Бестужеву: "Гитдичъ въ тишинт своего эпикурейскаго кабинета совершаеть свой подвигь: посмотримь, когда появится его Гомеръ" (VII, 172). Черезъ пять лътъ послъ написанія приведенных в строкъ наступило "совершеніе Гомера", и поэтому случаю Пушкинъ писалъ (6 января 1830 г.", VII, 76): "Незнаніе греческаго языка мъщаетъ мнъ приступить къ полному разбору Иліады вашей. Онъ не нужень для вашей славы, но быль бы нужень для Россіи". Восторгь, съ какимъ встръчена Иліада былъ неописанный; выражаясь словами Гоголя (объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ, III, 360) передъ глазами Пушкина предсталъ во всемъ величіи старецъ Гомеръ, и слышались тъ величавыя, въчныя ръчи, которыя не принадлежать устамь какого-нибудь человъка, но которыхъ удълъ въчно раздаваться въ міръ...

Пушкинъ привътствовалъ выходъ Иліады (1830 г.) извъст-

нымъ двустишіемъ:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рычи; Старца великаго тынь чую смущенной душой.

Въ стихотвореніи къ Н. (императору Николаю Павловичу), какъ это значится въ одномъ письмѣ Гоголя въ Жуковскому; стихотвореніе написано по случаю поздняго выхода императора на балъ въ Аничковскомъ дворцѣ, послѣ чтенія Иліады въ своемъ кабинетѣ читаемъ:

Съ Гомеромъ долго ты беседоваль одинъ; Тебя мы долго ожидали; И светель вышель ты съ таинственныхъ вершинъ...

У Пушкина имѣемъ замѣтку (1830 г.) "О выходѣ Иліады въ переводѣ Гнѣдича"; на эту замѣтку, вызвавшую неумѣстную выходку со стороны критики, выходку, изобличающую въ авторѣ послѣдней мало художественнаго вкуса и недостаточное знакомство съ литературнымъ памятникомъ, Пушкинъ вынужденъ былъ дать "Объясненіе въ замѣткѣ объ Иліадѣ" (V, 95 сл.). Въ этомъ объясненіи признается несомнѣнная важность перевода Иліады, при чемъ значеніе этого великаго труда не можетъ подорвать никакая интрига. Самая замѣтка такова: "Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ нетерпѣливо ожидаемый переводъ Иліады!... когда люди пре-

небрегають образцами величавой древности, съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига. Русская Иліада передъ нами. Приступаемъ къ ея изученію дабы со временемъ отдать отчеть нашимъ читателямъ о книгъ, долженствующей имъть столь важное вліяніе на отечественную словесность" (V, 76). И Гомера Пушкинъ дъйствительно изучаль (ср. VII, 88, 92 и др.), но отчета о переводъ Гиъдича онъ не далъ по причинамъ, вполив понятнымъ: Пушкинъ не зналъ греческаго языка, какъ и самъ онъ не разъ признается въ этомъ, не зналъ, по крайней мъръ, настолько, чтобы правильные могь оцынить трудь переводчика, и цъниль его, какъ художникъ, чутьемъ понимавшій духъ оригинала. Гомера Пушкинъ читалъ съ удовольствіемъ и любилъ приводить изъ него стихи; такъ, вспоминая въ своемъ путешествін въ Арзерумъ пированія Иліады (ср. VII, 4), поэтъ приводить стихъ Гомера (ср. II. III, 146 sq.)

... и въ козіихъ мѣхахъ вино, отраду нашу.

Очевидно, Пушкинъ былъ глубоко убъжденъ, что "Гомеры, Данты, Софоклы, Шекспиры, Шиллеры, Расины, Державины, несмотря на различіе ихъ формъ, рода, въры и нравовъ, всв созидали изящное и для всъхъ въковъ (ср. V, 364), и что "блескъ наружный можетъ заржавъть, но истинная красота не поблекнетъ никогда. Омиръ, Виргилій, Мильтонъ, Расинъ, Вольтеръ, Шекспиръ, Тассо и многіе другіе читаны будутъ, доколъ не истребится родъ человъческій" (V, 215).

Анакреонъ.

Подайте гроздъ Анакреона: Онъ быль учителемъ моимъ, И я сойду путемъ однимъ На грустный берегъ Ахерона.

Имя Анакреона весьма часто встръчается въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина, которыя, въ большинствъ случаевъ, являются подражаніемъ любовной и вакхической лирикъ. "Это собраніе его мелкихъ стихотвореній", пишетъ Гоголь (II, 108), "рядъ самыхъ ослъпительныхъ картинъ. Это тотъ самый міръ, который такъ дышитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струв какой-нибудь серебряной ръки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослъпительныя плечи или бълыя руки; или алебастровая шея. обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачная гроздь винограда, и мирты, и древесная сънь, созданная для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя".

Анакреонъ быль учителемъ Пушкина, въ этомъ признается самъ поэтъ; онъ пишетъ въ своемъ "Завъщаніи" (1814—I, 101):

Когда востокъ озолотится Во тьмѣ денницей молодой, И бѣлый тополь озарится, Покрытый утренней росой — Подайте гроздъ Анакреона; Онъ былъ учителемъ моимъ, И я сойду путемъ однимъ На грустный берегъ Ахерона.

Мысль стихотворенія "Гробъ Анекреона" (І, 104 сл.), написаннаго въ подражаніи Парни, заимствована изъ 1-ой оды

Анакреона.

Въ стихотвореніи "Фіалъ Анакреона" (І, 130,—1816 г.) поэтъ разсказываеть, какъ онъ ходилъ на поклоненіе въ дальній Пафосъ и тамъ, въ уборной Венеры, видълъ фіалъ "тіискаго пъвца" Анекреона, наполненный свътлой влагой и убранный вънкомъ изъ розъ, плюща и миртъ; этотъ вънокъ пледа сама царица наслажденій. На краю чаши сидълъ Амуръ, грустно смотръвшій на пънистую влагу, поэтъ спросилъ проказника Купидона, что онъ такъ присмирълъ. Тогда коварный ботъ отвътилъ, что, ръзвясь, онъ бросилъ въ это море свой колчанъ, лукъ и стрълы, и такъ какъ не умъетъ самъ плавать, то просилъ бы его достать ихъ, но поэтъ отъ этого отказался, сказавъ:

Спасибо, что упали, Пускай тамъ остаются: Тъмъ лучше для меня!

Въ разговоръ поэта съ книгопродавцемъ (1824 г.) читаемъ:

Сердце женщинъ славы проситъ, Для нихъ пишите; ихъ ущамъ Пріятна лесть Анакреона. Между анакреонтическими стихотвореніями Пушкина слѣдуетъ различать его подраженія Анакреону отъ собственныхъ переводовъ. Изъ первыхъ извъстна передълка — подражаніе 58-й одъ Анакреона, писанное поэтомъ во время его пребыванія въ Малинникахъ, вдали отъ суетнаго свъта, среди роскошной сельской природы. Вотъ это подражаніе —

Кобылица молодая,
Честь кавказскаго тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебъ пришла пора!
Не косись пугливымъ окомъ,
Ногъ на воздухъ не мечи,
Въ полъ гладкомъ и широкомъ
Своенравно не скачи.
Погоди, тебя заставлю
Я смириться предо мной:
Въ мърный кругъ твой бъгъ направлю
Укороченной уздой.

Нижеслъдующее стихотвореніе (III, 395), равно какъ и дальнъйшіе за нимъ (III, 395 сл.) были написаны поэтомъ для одного изъ подготовительныхъ очерковъ къ "Египетскимъ ночамъ".

55-ю оду Анакреона Пушкинъ перевелъ съ пропусками въ 1835 г.; точной даты этого перевода-подражанія мы не имъемъ.

Что же сухо въ чашѣ дно? Наливай мнѣ, мальчикъ рѣзвый; Только пьяное вино Раствори водою трезвой. Мы не скиеы; не люблю, Други, пьянствовать безчинно. Нѣтъ! За чашей я пою Иль бесѣдую невинно.

Последніе четыре стиха приведенной оды, быть можеть, дали поэтому сюжеть для следующаго стихотворенія, написаннаго въ томъ же 1835 году:

Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесъдой мъщай.

Судя по отмъткамъ написанія Пушкинымъ нъкоторыхъ переводовъ изъ Анакреона, можно видъть, что поэтомъ временами

овладъвало анакреонтическое настроеніе; такъ въ "анакреонтическій" день 6 янв. 1834 г. имъ были переведены, или, правильнъе, довольно близко переложены изъ Анакреона оды 53-я и 54-я:

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ пареянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ слетъ пламень томный—
Наслажденій знакъ нескромный.

Поръдъли, побълъли
Кудри, честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабъли,
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнъ не много
Провожать осталось дней;
Парка счеть ведеть имъ строго,
Тартаръ тъни ждеть моей,
Страшенъ хладъ подземна свода;
Входъ въ него для всъхъ открытъ.
Изъ него же нъть исхода;
Всякъ навъки тамъ забыть.

Въ анакреонтическомъ духъ и слъдующее стихотвореніе, быть можеть, передъланное изъ 41-й оды Анакреона:

Богъ веселый винограда
Позволяеть намъ три чаши
Выпивать въ пиру вечернемъ:
Чаша первая харитамъ
Обнаженнымъ и стыдливымъ
Посвящается; вторая
Краснощекому здоровью;
Третья дружбъ многолътней.
Мудрый, послъ третьей чаши,
Всъ вънки съ главы слагая,
Совершаетъ возліянье
Благодатному Морфею.

Въ томъ же родъ и нижеприведенныя строки изъ посланія Н. И. Кривцову:

Каждый у своей гробницы Мы присядемъ на порогъ, У пафосскія царицы Свѣжій выпросимъ вѣнокъ, Лишній мигъ у вѣрной лѣни; Круговой нальемъ сосудъ, И толпою наши тѣни Къ тихой Летѣ убѣгутъ.

Изъ римскихъ писателей поэта болъе всего интересовали Овидій и Горацій, а также Тацить.

Овидій.

Не славой, участью я равенъ быль тебъ.

Вспомните преданія миоологическія, превращенія Овидіевы, Леду, Филлиру, Пазифаю... и признайтесь, что всѣ сіи вымыслы не чужды поэзіи (или, справедливѣе, ей принадлежатъ).

Въ концъ посланія къ Батюшкову (1814 г.) "юному мечтателю и наперснику милыхъ аонидъ", прекратившему свои занятія на златострунной арфъ или, какъ выражается поэтъ, разставшемуся съ Фебомъ, дается такой совътъ:

Доколь, музами любимый, Ты, Піэридь, горишь огнемь

Мірскія: забывай печали, Играй: тебя, младой Назонъ Эроть и граціи в'внчали, А лиру строиль Аполлонь.

Въ стихотвореніи "Сонъ" (1816 г.), полномъ неподдъльной грусти, поэтъ пишетъ:

Мой голось тихь, и звучными струнами Не оглашу безмолвія пріють. Пускай любовь Овидія поють, Мив не даеть покоя Цитерея; Счастливыхъ дней амуры мив не вьють...

Въ своемъ "Желаніи" (1821 г.) поэтъ уже открыто признается, что ему, "изгнаннику неизвъстному", стала близка участь римскаго поэта:

Въ моихъ рукахъ Овидіева лира, Счастливая пѣвица красоты, Пѣвица нѣгъ, изгнанья и разлуки... Въ томъ же году Пушкинъ писалъ Чаадаеву изъ Кишинева:

Въ странъ, гдъ я забылъ тревоги прежнихъ лътъ, Гдъ прахъ Овидіевъ пустынный мой сосъдъ. (I, 340.)

Къ печалямъ я привыкъ, расчелся я съ судьбою. И жизнъ перенесу стоической душою. (I, 340.)

И вотъ вскоръ (въ декабръ 1821 г.), посътивъ г. Овидіополь Херсонской губ. и прочтя въ Аккерманъ Овидія, вдохновленный поэтъ пишетъ своему пустынному сосъду и другу цълое посланіе (Къ Овидію), которое было плодомъ изученія поэтомъ произведеній Овидія.

Овидій, я живу близь тихихь береговь, Которымь изгнанныхь отеческихь боговь Ты нѣкогда принесь и пепель свой оставиль. Твой безотрадный плачь мѣста сіи прославиль: И лиры нѣжный гласъ еще не онѣмѣль; Еще твоей молвой наполненъ сей предѣль. Ты живо впечатлѣль въ моемъ воображеньи Пустыню мрачную, поэта заточенье.

Какъ часто увлечень унылыхъ струнъ игрою, Я сердцемъ слъдоваль, Овидій, за тобою: Я видъль твой корабль игралищемъ валовъ, И якорь, верженный близъ дикихъ береговъ, Гдъ ждетъ пъвца любви жестокая награда.

Въ 1822 г. Пушкинъ пишетъ Баратынскому изъ Бессарабіи:

Еще донын'в тень Назона Дунайскихъ ищеть береговъ; Она летитъ на сладкій зовъ Питомцевъ музъ и Аполлона, И съ нею часто при лун'в Брожу вдоль берега крутого...

Разсказъ дикаго цыгана о жизни изгнанника Овидія на Дунайскихъ берегахъ есть дивное откровеніе поэзіи младенческихъ народовъ

Царемъ когда-то сосланъ былъ Полудня житель къ намъ въ изгнанье.

Онъ быль уже льтами старъ, Но младъ и живъ душой незлобной; Имълъ онъ пъсенъ дивный даръ И голосъ, шуму водъ подобный. Святой старикъ, всеобщій любимецъ, плънявшій своими разсказами людей, никакъ не могъ привыкнуть къ заботамъ нищенской жизни; изсохшій и блъдный онъ ждалъ избавленія, въ тоскъ вспоминая на чужбинъ свой "дальній градъ".

Продолжая свое посланіе къ Овидію, Пушкинъ говорить:

Ни дочерь, ни жена, ни върный сонмь друзей, Ни музы, легкія подруги прежнихъ дней, Изгнаннаго пъвца не усладятъ пачали. Напрасно граціи стихи твои вънчали. Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть: Ни слава, ни лъта, ни жалобы, ни грусть, Ни пъсни робкія Октавія не тронуть, Дни старости твоей въ забвеніи потонутъ.

И вотъ Пушкинъ посътиль страну, гдъ Овидій нъкогда грустно влачиль свой въкъ.

Здёсь, ожививъ тобой мечты воображенья, Я повторилъ твои, Овидій, пѣснопѣнья, И ихъ печальныя картины повѣрялъ. . . . предо мной Скользила тѣнь твоя, и жалобные звуки Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки.

Въ посланіи къ Языкову (1824 г.) поэть клянется Овидієвой тънью въз томъ, что

Издревле сладостный союзъ Поэтовъ межъ собой связуеть.

Характеризуя своего героя въ "Евгеніи Онъгинъ" Пушкинъ пишеть (1822—1823 г.):

Но въ чемъ онъ истинный быль геній

Что занимало цёлый день
Его тоскующую лёнь—
Была наука страсти нёжной,
Которую воспёль Назонъ,
За что страдальцемъ кончилъ онъ
Свой вёкъ блестящій и мятежный,
Въ Молдавіи, въ глуши степей,
Вдали Италіи своей.

Когда Пушкинъ писалъ въ 1822 г. Гнъдичу изъ Кишинева: "пожалъйте обо мнъ: живу между гетовъ и сарматовъ: никто не понимаетъ меня; со мною нътъ просвъщеннаго Аристарха; нишу какъ-нибудь, ни слыша не оживительныхъ совътовъ, ни похвалъ, ни порицаній", передъ поэтомъ уже ясно предстала вся жизнь Овидія во всей ея горькой правдъ— она во многомъ напоминала Пушкину его собственную жизнь, его изгнаніе—

Не славой, участью я равенъ быль тебъ,

смиренно восклицалъ бессарабскій изгнанникъ. И вотъ, пре-

Въ странъ, гдъ Юліей вънчанный И хитрымъ Августомъ изгнанный, Овидій мрачны дни влачилъ, Гдъ элегическую лиру Глухому своему кумиру Онъ малодушно посвятилъ,

Пушкинъ забылъ въчный туманъ съвера, о чемъ и пишетъ тому же Гнъдичу (1821 г.).

Въ отчизнъ варваромъ безвъстенъ и одинъ.

Овидій не слышаль вокругь себя звуковь своей родной земли, въ тяжкой горести онъ писаль друзьямъ:

О возвратите мн'в священный градъ отцовъ И тъни мирныя наслъдственныхъ садовъ! О други, Августу мольбы мои несите!

Карающую длань слезами отклоните.
Но если гнъвный богь досель неумолимъ,
И въкъ мнъ не видать тебя, великій Римъ—
Послъднею мольбой сиягчая рокъ ужасной,
Приближьте хоть мой гробъ къ Италіи прекрасной...

И зав'вщаль онъ, умирая, Чтобы, на югь перенесли Его тоскующи кости...

Но избавленія не было — и изъ усть Алеко невольно вырвались слова горькой досады на неблагодарный градъ:

Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ, О римъ, о громкая держава! Пъвецъ любви, пъвецъ боговъ, Скажи мнъ, что такое слава?

О мъстъ и обстоятельствахъ, послужившихъ причиною ссылки Овидія, Пушкинъ въ примъчаніи къ вышеприведен-

ному мъсту изъ "Евгенія Онъгина" дълаетъ филологическое разысканіе, изъ котораго видно, что мъстомъ сылки поэта быль городъ Томы при устьъ Дуная, а не Аккерманъ; неправильно (по мнънію Пушкина) считаетъ Вольтеръ виною ссылки благосклонность Юліи, дочери Августа, равнымъ образомъ и предположенія другихъ ученыхъ не что иное, какъ догадки; тайна поэта умерла вмъстъ съ нимъ

Alterius facti culpa silenda mihi.

Изъ всъхъ "до изысканности щеголеватыхъ" стиховъ Овидія Пушкинъ особенно высоко ставитъ его "Tristia"; относительно ихъ именно онъ писалъ:

Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья Сіи элегіи — послъднія творенья, Гдъ ты свой тщетный стонъ потомству передаль?

Въ другомъ мъстъ, разбирая (1837 г.) Оракійскія элегіи Теплякова, поэтъ по поводу признанія Гросета, что "онъ перестаетъ уважать Овидія, когда этотъ скучный плакса начинаетъ слабыми тонами свои безконечныя завыванія"—

Je cesse d'estimer Ovide, Quand il vient sur de faibles tons Mechanter, pleurer insipide De longues lamentations—

пишетъ: "Книга Tristium не заслужила такого строгаго осужденія. Она выше, по нашему мнѣнію, всѣхъ прочихъ сочиненій Овидія (кромѣ "Превращеній"). Героиды, элегіи любовныя, и самая поэма "Ars amandi", мнимая причина его изгнанія, уступаютъ элегіямъ понтійскимъ. Въ сихъ послѣднихъ болѣе истиннаго чувства, болѣе простодушія, болѣе индивидуальности и менѣе холоднаго остроумія. Сколько яркости въ описаніи чуждаго климата и чуждой земли! сколько живости въ подробностяхъ! и какая грусть о Римѣ! какія трогательныя жалобы!"

Стихами изъ "Tristia" начинаетъ Пушкинъ и одно изъ своихъ писемъ къ Гнъдичу (1882 г.). Вотъ начало письма:

> "Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem, Ei mihi, quod domino non licet ire tuo!

Не изъ притворной скромности прибавлю:

Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse!...
(Trist. I; 1, 1, 3)".

Въ дальнъйшемъ своемъ разборъ стихотвореній Теплякова Пушкинъ уличаетъ автора Оракійскихъ элегій въ томъ, что его пъснь, вложенная въ уста Назоновой тъни, не согласуется съ характеромъ Овидія, такъ искренно обнаруженнымъ въ его плачъ. При набъгахъ гетовъ и бессовъ поэтъ далеко не

Радостно на смертный мчался бой.

"Овидій, — пишетъ Пушкинъ, — добродушно признаетъ, что онъ и смолоду не былъ охотникъ до войны, что тяжело ему подъ старость покрывать съдину свою шлемомъ, и трепетной рукою хвататься за мечъ при первой въсти о набъгъ (см. Trist. lib. IV, el. I)".

Относительно этого именно поэть пишеть въ стихотворении "Къ Овидію":

Ты самъ (дивись, Назонъ, дивись судьбѣ превратной!). Ты съ юныхъ лѣтъ презрѣвъ волненье жизни ратной, Привыкнувъ розами вѣнчать свои власы И въ нѣгѣ провождать безпечные часы, Ты будешь принужденъ взложить на шлемъ тяжелый, И грозный мечъ хранить близъ лиры оробѣлой— •

все это нужно на случай внезапнаго набъга свиръпыхъ сыновъ хладной Скиоји.

Овидіевы "Tristium libri", повидимому, были настольной книгой Пушкина, когда онъ влачилъ тяжелую жизнь изгнанника. "Печалями" римскаго поэта были навъяны: элегія "Къ Овидію", разсказъ стараго цыгана и рядъ стиховъ въ посланіяхъ Чаадаеву и Баратынскому; скажемъ болье: мъста Овидіевой ссылки, его печальныя пъсни и его тънь, сопутствовавшая изгнаннику, содъйствовали какъ будто невъроятной метемпсихозъ: въ тяжелыя минуты одиночества въ тълъ Пушкина жила душа Овидія.

Горацій.

И счастливъ

. подъ дубомъ наклоненнымъ

Съ Гораціемъ и Лафонтеномъ Въ пріятныхъ погруженъ мечтахъ.

"Есть люди, которые... находять и Горація прозаическимъ (спокойнымъ, умнымъ, разсудительнымъ, — такъ ли?). Пусть такъ; но жаль было бы, если бы не существовали прелестныя оды".

Горація Пупкинъ изучаль въ Лицев подъ руководствомъ проф. Кошанскаго, и между первыми опытами его въ стихотворствъ были, какъ и у Дельвига, подражанія "Горацію".

Сообщая въ стихотвореніи "Городокъ" каталогъ своей библіотечки, Пушкинъ пишетъ:

Питомцы юныхъ грацій — Съ Державнымъ потомъ Чувствительный Горацій Является вдвоемъ...

Изъ Горація поэтъ охотно заимствуєть эпиграфы, — таковы приведенные ко ІІ гл. "Евг. Онъгина" (О rus!) и къ стихотворенію "Памятникъ" (Exegi monumentum, ср. Hor. carm. III, 30. Первый изъ этихъ эпиграфовъ заимствованный, повидимому, изъ sat. II, 7, 28) (Romae rus optas) указываеть на особенную любовь Горація къ деревенской жизни, и это не разъ отмъчаетъ Пушкинъ въ своихъ стихахъ. Въ "Посланіи къ Галичу", своему учителю-другу поэтъ пишетъ (1825):

Бѣги, бѣги столицы, О Галичь мой! сюда, Гдѣ розовой денницы Не видя никогда, Лѣнясь подъ одѣяломъ, Съ тибурскимъ мудрецомъ Мы часто за бокаломъ Проснемся и заснемъ.

Въ другомъ посланіи, адресованномъ В. Л. Пушкину (1817 г.), читаемъ про гусаровъ:

Они живуть въ своихъ шатрахъ Вдали забавъ и нъгъ и градій, Какъ жиль безсмертный трусъ Горацій Въ тибурскихъ сумрачныхъ лъсахъ.

Сообщая о Заръцкомъ (въ "Евг. Онъгинъ"), какъ онъ, будучи нъкогда буяномъ, атаманомъ картежной шайки и трактирнымъ трибуномъ, попался въ плънъ къ французамъ; и

вотъ этотъ весельчакъ "новъйшій Регулъ" вдругь сдълался мирнымъ помъщикомъ и честнымъ человъкомъ. По поводу такого исправленія "нашего" въка поэтъ восклицаетъ:

Sed alia tempora! Удалость

Проходить съ юностью живой.
Заръцкій
Подъ сънь черемухъ и акацій
Отъ бурь укрывшись наконецъ,
Живеть какъ истинный мудрецъ,
Капусту садить, какъ Горацій...

Совершенно противоположное пишетъ Пушкинъ Я. Н. Толстому (1819 г.), раннему философу, бъжавшему пировъ и наслажденій жизни:

Ты милыя забавы свёта На грусть и скуку промёняль, И на лампаду Эпиктета Златой Гораціевь фіаль

По этому случаю поэтъ призываетъ друга къ наслажденіямъ жизни, свойственнымъ юности, такъ какъ Зевсъ всъмъ возрастамъ даетъ игрушки, и младость не приходить вновь, годы возьмутъ свое, и пора заботъ и размышленій своевременно дастъ себя почувствовать.

Пушкинъ не скрываетъ своей зависти безпечной жизни римскаго поэта и въ посланіи къ Ив. Ив. Пущину (1815 г.):

Ты счастливь, другь сердечный! Въ спокойствіи златомь Течеть твой вѣкъ безпечный, Проходить день за днемъ, И ты въ бесѣдѣ грацій, Не зная черныхъ бѣдъ, Живешь, какъ жилъ Горацій, Хотя и не поэтъ.

Объ этой мирной деревенской жизни поэтъ часто мечтаетъ, такъ, въ стихотвореніи "Отрывки изъ посланія къ Юшкову" (1816 г.), Пушкинъ представляетъ себъ картину, какъ онъ спъшить въ свое Захарово, гдъ будетъ заниматься хозяйствомъ и размышлять среди наслажденій сельской природы:

Мить видится мое селенье, Мое Захарово... Туда зарею поситышаю Съ смиреннымъ заступомъ въ рукахъ, Въ лъсахъ тропинку извиваю, Тюльпанъ и розу поливаю, И счастливъ въ утреннихъ трудахъ! Вотъ здъсь подъ дубомъ наклоненны Съ Гораціемъ и Лафонтеномъ Въ пріятныхъ погруженъ мечтахъ.

Мъстами Пушкинъ дълаетъ намеки на оды Горація, подражаетъ имъ и, наконецъ, переводитъ ихъ. Въ шутливомъ письмъ А. Л. Давыдову (1824 г.), который приглашалъ поэта вхать съ нимъ въ Крымъ, "къ берегамъ полуденной Тавриды", Пушкинъ говоритъ:

Прошу меня не позабыть, Любимецъ Вакха и Киприды! Когда чахоточный отецъ Немного тощей Энеиды Пускался въ море наконецъ, Ему Горацій, умный льстецъ, Прислаль торжественную оду, Глѣ другу Августовъ пѣвецъ Сулилъ хорошую погоду...

ясный памекъ на Hor. carm. I, 3, какъ и следующее место изъ письма къ кн. П. А. Вяземскому, где поэтъ говоритъ про свою невесту: "Что у ней за сердце! Твердою дубовою корой, тройнымъ булатомъ грудь ея вооружена, какъ у Гораціева мореплавателя (VII, 53; ср. Hor. carm. I, 3, 9 сл.).

Побуждая своего друга П. А. Катенина заняться романтической трагедіей Пушкинъ въ слъдующихъ словахъ жалуется на быстролетное время:

"... годы бъгутъ Heu fugant Posthume, Posthume labuntur anni.

А что всего хуже, съ ними улетаютъ и страсти и воображеніе". Приведенный поэтомъ латинскій стихъ есть пародія на Ног. сагт. Н, 14, 1, сл.

Въ альбомъ М. А. Щербинину (1818 г.) поэтъ пишетъ, что наслаждение любовью и виномъ — удълъ здоровой юности, но

... дни младые пролетять Веселье, нёга насъ покинуть, Желаньямь чувства изм'внять, Сердца изсохнуть и остынуть: Тогда безъ пъсенъ, безъ подругъ,

Безъ наслажденій, безъ желаній Найдемъ отраду, милый другъ, Въ туманномъ снъ воспоминаній.

Любовь и вино — излюбленный мотивъ Гораціевой лирики; очевидно, и приведенные стихи нав'яны чтеніемъ одъ римскаго поэта.

Описывая въ "Городкъ" свой свътлый домъ съ тремя простыми комнатками, Пушкинь говоритъ:

Въ нихъ злата, бронзы нѣтъ, И ткани выписныя Не кроютъ ихъ паркетъ

.

Влажень, кто веселится Въ поков безъ заботъ, Съ къмъ втайнъ Фебъ дружится И маленькій Эротъ,—

эти строки составлены, какъ кажется, не безъ вліянія Горація, у котораго читаемъ (сагт. II, 18, 1—2 и 9—10):

Не блестить мой скромный домъ Золотыми потолками, Нъть слоновой кости въ немъ

. Пъсенъ даръ — вотъ мой удълъ, А сокровище мнъ — лира.

Въ стихотвореніи "Блаженство" (1814 г.) поэтъ такими словами описываетъ счастье молодого пастуха:

Ахъ! когда я въ мракъ нощи, При таинственной лунъ—

Медленно, рука съ рукою Съ нъжной Хлоей приходилъ, Кто сравниться могъ со мною? Хлоъ быль тогда я милъ!

Но дни, протекшіе въ весельи, исчезли какъ тінь —

Теперь мив жизнь — могила, Бълый свъть душъ постыль.

 эти строфы напоминаютъ мъста изъ Гораціева "Примиренія" (carm. III, 9, 1—4 и 7—10), гдъ поэтъ говоритъ:

Пока я любимымъ тобой оставался, Й плечъ твоихъ бѣлыхъ, любовью горя, Другой дерзновенной рукой не касался, Счастливъй персидскаго жилъ я царя...

Еще въ 1819 г. Пушкинъ писалъ Орлову:

Питомецъ пламенной Беллоны, У трона върный гражданинъ! Орловъ, и стану подъ знамены Твоихъ воинственныхъ дружинъ; Въ шатрахъ средъ съчи, средъ пожаровъ Съ мечомъ и съ лирой боевой Рубиться буду предъ тобой И славу пъть твоихъ ударовъ,—

эти стихи напоминаютъ Горапіево отношеніе къ Бруту. На этого республиканца неоднократно намекаетъ Пушкинъ въ своихъ письмахъ; кн. П. А. Вяземскому поэтъ пишетъ: "Ты спишь, Брутъ!" (VII, 22), А. А. Бестужева укоряетъ словами: "Еt tu autem, Brute?" (VII, 164), М. П. Погодину, намъревавшемуся принять участіе въ изданіи "Ураніи", высказываетъ удивленіе: "Еt tu, Brute!..." (VII, 302).

Изъ Горація Пушкинъ перевелъ въ 1835 г. седьмую оду 2-й книги: ad Pompeium. Вотъ этотъ переводъ:

Кто изъ боговъ мнѣ возвратилъ Того, съ къмъ первые походы И браней ужась я дълиль, Когда за призракомъ свободы Насъ Бруть отчаянный водиль: Съ къмъ я тревоги боевыя Въ шатръ за чашей забывалъ И кудри, плющемъ увитыя, Сирійскимъ муромъ умащаль? Ты помнишь часъ ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить. Бъжалъ, нечестно брося щить, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бѣжалъ! Но Эрмій самъ незапной тучей Меня покрыль и вдаль умчаль И спасъ отъ смерти неминучей. А ты, любимецъ первый мой. Ты снова въ битвахъ очутился...

И нынъ въ Римъ ты возвратился, Въ мой домикъ темный и простой; Садись подъ сънь моихъ пенатовъ; Давайте чаши! Не жалъй Ни винъ моихъ ни ароматовъ! Готовы чаши, мальчикъ? лей! Теперь не кстати воздержанье: Какъ дикій скиеъ хочу я пить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

По поводу перевода этой оды Пушкинымъ, Бълинскій говорить (VII, 321): "Переводь изъ Горація, или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духъ, — что бы нибыла она (пьеса "Горацій"), только никто ни изъ старыхъ ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говориль такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передаваль индивидуальнаго характера гораціанской поэзіи, какъ Пушкинъ въ этой пьесъ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація? Дъйствительно, это стихотвореніе "Изъ Горація" не есть переводъ, а гораціанское вдохновеніе въ новомъ, "преображенномъ" Пушкинымъ видъ. Пушкинъ неохотно подчинялся чужой мысли, да и не былъ способенъ на такое подчиненіе, считая переводчиковъ "подставными лошадьми просвъщенія".

Отношенія Пушкина къ иностранной словесности.

Ранній періодъ поэтической дівятельности Пушкина, заканчивающійся его ссылкой на югъ Россіи, характеризуется преобладаніемъ французскаго вліянія какъ въ его поэзіи, такъ и въ его нравственныхъ и политическихъ воззрівняхъ. Подобно большинству своихъ современниковъ, Пушкинъ былъ воспитанъ на произведеніяхъ французской литературы XVII—XVIII вв. и изъ переводовъ классиковъ на французскій языкъ. Еще до отъйзда своего въ лицей Пушкинъ прочелъ Плутарха и Гомера во французскихъ переводахъ и цілую массу романовъ, поэмъ, путешествій и т. п. Первые поэтическіе опыты ребенка-поэта были написаны на фран-

цузскомъ языкъ: въ нихъ онъ подражалъ Мольеру (импровизованная комедія Escamoteur) и Вольтеру (шуточная поэма Toliade, написанная въ подражение Вольтеровой Генріадъ); извъстно также, что, за превосходное знаніе французскаго языка, Пушкина въ Лицев прозвали французомъ. Лицей могъ только поддержать и развить въ Пушкинъ любовь къ французской литературъ. Что бы ни говорили о невысокомъ уровнъ научныхъ занятій и слабости дисциплины въ Лицев, несомнънно, что литературный интересъ былъ возбужденъ тамъ въ весьма сильной степени. Воспитанники Лицея составляли между собою литературные кружки, издавали нъсколько рукописныхъ журналовъ и пополняли недостатки своего образованія чтеніемъ классическихъ писателей, преимущественно, французскихъ, пріобщавшихъ ихъ юные умы къ великому умственному движенію XVIII в. Воспитанный въ безусловномъ благоговъніи къ корифеямъ французской литературы, Пушкинъ еще не дерзалъ относиться къ нимъ критически. Поэтическимъ кумиромъ его быль въ это время литературный диктаторъ XVIII в., Вольтеръ, котораго Пушкинъ считалъ величайшимъ изъ поэтовъ. Одно изъ раннихъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, "Городокъ", весьма важное въ автобіографическомъ отношеніи даеть намъ прекрасное понятіе о степени начитанности Пушкина и о его литературныхъ вкусахъ. Здъсь 15-лътній Пушкинъ описываеть другу, какъ онъ проводитъ время въ Лицев, чвит занимается, и при этомъ перечисляетъ всвхъ своихъ любимыхъ авторовъ:

> Укрывшись въ кабинетъ, Одинъ и не скучаю И часто цълый свъть Съ восторгомъ забываю. Друзья мив — мертвецы, Парнасскіе жрецы. Надъ полкою простою Подъ тонкою тафтою Со мной они живуть. Пъвцы красноръчивы, Прозаики шутливы Въ порядкъ стали тутъ. Сынъ Мома и Минервы, Фернейскій злой крикунь, Поэть въ поэтахъ первый, Ты здысь, сыдой шалуны!

Онь Фебомь быль воспитань И съ дётства сталь пінть, Всёхъ больше перечитань, Всёхъ менёе томить. Соперникь Эврипида, Эрота нѣжный другь, Арьоста, Тасса внукъ — Скажу ль? отецъ Кандида! Онъ все: вездъ великъ, Единственный старикъ!

Упомянувъ затъмъ о Гомеръ, Виргили, Гораци, Торквато Тассо, "добромъ и простосердечномъ" мудрецъ Лафонтэнъ, "исполинъ" Мольеръ, Расинъ, Руссо, о "воспитанныхъ Амуромъ", Парни съ Грекуромъ, объ "Аристархъ" Лагариъ, и изъ русскихъ — о Державинъ, Дмитріевъ, Крыловъ, Княжнинъ, Озеровъ, Фонвизинъ, Богдановичъ и Карамзинъ, — Пушкинъ продолжаетъ:

Мой другь! Весь день я съ ними, То въ думу углубленъ, То мыслями своими Въ Элизій пренесенъ.

Пушкинъ забылъ упомянуть еще объ одномъ поэтъ, оставившемъ слъдъ въ его лицейскихъ стихотвореніяхъ, именно о Макферсоновомъ Оссіанъ, котораго онъ читалъ, по всей въроятности, въ Летурнеровскомъ переводъ. Извъстно то неопредълимое очарованіе, которое производиль въ концъ XVIII и въ началъ XIX столътія этогъ мечтательный пъвецъ, вытъснившій изъ сердца Вертера самого Гомера. Пушкинъ заплатиль дань общему увлечению въ нъсколькихъ своихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ ("Кольна", "Осгаръ", "Эвлега"), но тъмъ все и ограничилось. Свътлое, бодрое анакреонтическое міросозерцаніе юнаго поэта не могло ужиться съ мечтательнымъ сумракомъ Оссіановыхъ поэмъ, и Пушкинъ въ скоромъ времени разстался съ шотландскимъ бардомъ, и разстался навсегда. Гораздо сильнъе было вліяніе французскихъ эротическихъ поэтовъ: Грекура, Парни, а изъ русскихъ — Батюшкова, настроившихъ музу Пушкина на эротическій дадъ и сообщившихъ его стиху античную грацію и пластику. Подъ вліяніемъ передовыхъ мыслителей XVIII въка начали формироваться у юноши Пушкина серіозные взгляды на жизнь и ея задачи, какъ это видно изъ перваго посланія къ Чаадаеву

(1818 г.), написаннаго вскоръ послъ выхода изъ Лицея. Пушкинъ отправился на нъкоторое время къ себъ въ Михайловское; за нимъ слъдовали и его любимые авторы:

Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ! Въ уединеньи величавомъ Слышнѣе вашъ отрадный гласъ; Онъ гонитъ сонъ лѣни угрюмый, Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ, И ваши творческія думы Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Вдохновленный ими, онъ пишетъ въ деревнѣ свое знаменитое "Уединеніе", гдѣ съ ювеналовскимъ негодованіемъ клеймитъ крѣпостное право. Въ скоромъ времени къ сонму вдохновителей Пушкина прибавилось еще одно знаменитое имя, имя Андрэ Шенье, съ произведеніями котораго, вышедшими полнымъ собраніемъ въ 1819 г., Пушкинъ впервые познакомилъ русскую публику. Симпатическая личность Шенье, его безстрашный характеръ, его восторженная любовь къ свободѣ, наконецъ, его трагическая судьба — все это влекло къ нему Пушкина съ неотразимой силой. Пушкинъ остался въренъ Шенье даже тогда, когда главный кумиръ его юности, Байронъ сталъ утрачивать надъ нимъ свое обаяніе.

Межь тімь какь изумленный мірь На урну Байрона взираеть И хору европейскихь лирь Близь Данте тінь его внимаеть, Зоветь меня другая тінь; Давно безь ігісень, безь рыданій, Сь кровавой плахи въ дни страданій Сошедшая въ могильну сінь.

Ссылкой Пушкина на югъ Россіи заключается періодъ исключительно французскаго вліянія, — періодъ, который самъ поэтъ прекрасно охарактеризовалъ въ своемъ "Посланіи къ Дельвигу":

Поклонникъ правды и сво боды, Бывало, что ни напишу, Все для иныхъ не Русью пахнетъ; О чемъ цензуру ни прошу, Ото всего Тимковскій ахнеть.

На югъ Пушкинъ подпалъ подъ могучее вліяніе новаго литературнаго свътила, горъвшаго тогда полнымъ блескомъ на литературномъ горизонтъ Европы, — поэта, котораго самъ Пушкинъ назвалъ властителемъ думъ современнаго ему покольнія, лорда Байрона. Не одной силой таланта обусловливалось это вліяніе; были другія причины, подготовившія его, и притомъ причины чисто личныя. Пушкинъ увхалъ изъ Петербурга, пресыщенный грубыми эпикурейскими удовольствіями, которыя не могли наполнить собою его души, — озлобленный противъ власти, полный презрънія къ обществу, которое отвернулось отъ него въ годину невзгоды. Душевная пустота томила его; онъ искалъ серіозной и возвышенной цъли въ жизни — и не находилъ ее. Такое настроеніе было какъ нельзя болъе благопріятно для воспріятія байронизма. Пушкинъ, настолько овладъвшій тогда англійскимъ языкомъ, что могъ читать Байрона въ подлинникъ, бредилъ его произведеніями и старался подражать ему даже въ образъ жизни. Впрочемъ, вліяніе Байрона на поэзію Пушкина было не такъ сильно, какъ можно ожидать, судя по отзывамъ современниковъ, собственнымъ признаніямъ Пушкина, говорившаго, что онъ въ бытность свою въ Кишиневъ, буквально сходилъ съ ума отъ Байрона, и письмамъ друзей поэта, убъждавшихъ его не подражать Байрону, а оставаться самимъ собою (Рылъевъ); во всякомъ случав вліяніе Байрона на Пушкина было несравненно слабве вліянія того же поэта на Лермонтова. Лирическія стихотворенія Пушкина, относящіяся къ этой эпохъ, показывають, что байроническое настроеніе по временамъ овладъвало нашимъ поэтомъ ("Я пережилъ мои желанья", Элегія и т. п.), но не успъло пустить глубокихъ корней въ его душъ, попрежнему раскрытой всему живому и поэтическому. Сказанное примъняется и къ поэмамъ Пушкина. Первые признаки байронизма мы замъчаемъ "въ Кавказскомъ плънникъ", гдъ Пушкинъ задался мыслію создать типъ разочарованнаго героя, который

Жизни молодой Давно утратилъ сладострастье,

который любить природу и презираеть человъка; но неизвъстно, сколько въ этомъ типъ личнаго, пережитаго и сколько нужно отнести на счетъ Байрона, Ренэ, Шатобріана и другихъ произведеній того же направленія, ибо Пушкинъ прямо заявляеть, что характеръ "Кавказскаго плънника" навъянъ на него окружающей жизнью. "Я хотълъ, — пишеть оптъть

одному изъ своихъ друзей, — изобразить это равнодушіе къ жизни и ен наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами XIX в. Пушкинъ самъ сознавалъ, что характеръ плѣнника вышелъ блѣденъ, самъ смѣялся надъ нимъ, но въ то же время признавался, что не можетъ отдѣлаться отъ симпатіи къ нему, потому что, говорилъ онъ, "въ немъ есть стихи моего сердца". Гораздо болѣе байроновской тенденціи въ другой поэмѣ Пушкина "Цыгане". Здѣсь Пушкинъ затрогиваетъ одну изъ самыхъ живыхъ сторонъ байронизма — именно вражду къ пропитанному матеріализмомъ и рабски настроенному современному обществу, хотя герой поэмы, Алеко, презирающій людей за то, что они

Главы предъ идолами клонять И просять денегь и цъней,—

самъ выставленъ мелкимъ эгоистомъ и не имъетъ въ себъ ничего титаническаго, свойственнаго героямъ Байрона. Въ "Евгеніи Онъгинъ" вліяніе Байрона почти не замътно: задуманный первоначально въ подражаніе шуточной поэмъ Байрона "Беппо", "Евгеній Онъгинъ" развивается совершенно самостоятельно, наполняется чисто русскими бытовыми по дробностями, пока не становится, наконецъ, невиданной дотолъ яркой картиной русскаго помъщичьяго быта начала нынъшняго столътія.

Низведенный до самыхъ скромныхъ размъровъ, байронизмъ поэмъ Пушкина оказывается, кромъ того, явленіемъ своеобразнымъ, во многомъ отступающимъ отъ своего источника. Пушкинъ могъ усвоить себѣ нѣкоторыя черты байроновскаго міросозерцанія, отвѣчавшія въ данный моментъ его личному настроенію; но, во-первыхъ, онѣ не проникли глубоко въ его душу, — во-вторыхъ, подъ вліяніемъ особыхъ условій жизни, онѣ приняли своебразную окраску. Такъ, напримѣръ, байроновскій индивидуализмъ, эта аповеоза личности въ борьбѣ ея съ обществомъ и его устарѣлыми предразсудками превратилась на русской почвѣ въ обожаніе собственной личности и презрѣніе ко всякой чужой; равнымъ образомъ поколѣніе, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, не могло понять всей глубины байроновскаго разочарованія и видѣло въ немъ только слѣдствіе жизненнаго пресыщенія. Словомъ, вся философская,

пессимистическая и политико-соціальная основа поэзіи Байрона, съ ея пламеннымъ протестомъ противъ наступившей въ Европъ реакціи, съ ея страстною любовью къ свободъ и священною ненавистью къ ея угнетателямъ, осталась почти совершенно чужда его русскимъ подражателямъ. Мы можемъ указать только на одно стихотвореніе Пушкина "Возстань, о Греція, возстань", — въ которомъ слышится байроновскій мотивъ сочувствія къ быющемуся за свободу народу. Несмотря на то, что байронизмъ былъ понятъ у насъ одностороннимъ образомъ, несмогря на условность и тенденціозность самыхъ типовъ, созданныхъ Байрономъ, — все-таки безспорно, что поэзія его вошла обновляющимъ элементомъ на поэзію Пушкина, что она была необходимою ступенью, чрезъ которою долженъ быль пройти его геній на пути къ правдъ и художественному совершенству. И именно такимъ образомъ смотрълъ самъ Пушкинъ на этотъ переходный моментъ своей поэтической дъятельности. Въ своемъ разборъ Оракійскихъ элегій Теплякова, Пушкинъ, защищая молодого поэта отъ упрековъ въ рабскомъ подражани Байрону, даетъ намъ ключъ къ правильному пониманію своихъ собственныхъ отношеній къ англійскому поэту. "Въ наше время молодому человъку, который готовится посътить великолъпный Востокъ, мудрено,говоритъ онъ, — садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольнымъ соучастіемъ не сблизить своей судьбы съ судьбою Чайльдъ-Гарольда. Ежели, паче чаянія, молодой человъть — еще не поэть и захочеть выразить свои чувствованія, то какъ избъжать ему подражанія? Можно ли за то укорять его? Талантъ неволенъ и его подражание не есть безстыдное похищение - признакъ умственной скудости, неблагодарная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слюдам ченія" — воть разгадка такъ называемаго байроническаго періода поэтической діятельности Пушкина. Вотъ та идея, которая одушевляла Пушкина, когда онъ, пробуя свои силы, создаваль въ духъ Байрона характеры своихъ героевъ. И, прибавимъ, надежда не обманула поэта: на почвъ байронизма зародилась идея "Евгенія Онъгина", которымъ Пушкинъ открылъ новый міръ правды и народности въ нашей поэзіи.

Стихотвореніемъ своимъ "Къ морю" онъ, по върному замъчанію г. Анненкова, простился не только съ моремъ, но

и съ пъвцомъ моря — Байрономъ. Въ деревнъ Пушкинъ всецъло предался изученію Шекспира, и это изученіе не замедлило отразиться во взглядахъ его на задачи поэзіи вообще и драматическаго творчества въ особенности. Сопоставляя драмы Шекспира съ трагедіями Байрона, Пушкинъ виділь, какъ его недавній кумиръ тускивль и меркнуль въ лучахъ шекспировскаго генія. "Я не читаль ни Кальдерона ни Веги, пишетъ Пушкинъ къ Раевскому, -- но что за человъкъ Шекспиръ! Я не могу прійти въ себя. Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, во всю жизнь понявшій только одинъ характеръ — именно свой собственный. И вотъ Байронъ одному изъ своихъ лицъ далъ гордость, другому — ненависть, третьему — меланхолію; такимъ образомъ изъ одного полнаго мрачнаго и энергичнаго характера вышло у него множество незначительныхъ характеровъ. Развъ это трагедія? Существуетъ еще одно заблуждение: задумавъ разъ какой-нибудь характерь, писатель старается выразить его и въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, на подобіе моряковъ и педантовъ въ старинныхъ романахъ Фильдинга. Все это далеко отъ природы. Отсюда неловкость діалога и бъдность его. Но разверните Шекспира. Никогда не выдаетъ онъ своего дъйствующаго лица преждевременно. Оно говоритъ у него со всею беззаботностью жизни, потому что въ данную минуту поэтъ уже знаетъ, какъ заставить его говорить, сообразно характеру, имъ выражаемому". Перей правода политически

Подъ вліяніемъ драматическихъ хроникъ Шекспира Пушкинъ задумываетъ историческую трагедію изъ русской жизни. Онъ останавливается на эпохъ Бориса Годунова и прилежно изучаетъ льтописи и Исторію Карамзина. "По примъру Шекспира, — говоритъ онъ въ другомъ письмъ, — я ограничился соображеніемъ эпохъ и лицъ историческихъ, не гоняясь за сценическими эффектами и романическимъ пафосомъ. Стиль его вышелъ смъщанный. Онъ пошлъ и низокъ тамъ, гдъ мнъ приходилось выводить грубыя и пошлыя лица". Слъды пристальнаго изученія Шекспира видны и въ стремленіи къ объективному воспроизведенію эпохи, и въ созданіи цъльныхъ и живыхъ характеровъ, содиняющихъ въ себъ типическое съ индивидуальнымъ, и въ психологическомъ мотивированіи дъйствія, и, наконецъ, въ самомъ языкъ, неръдко достигающемъ у Пушкина шекспировскаго лиризма, энергіи и типичности.

Еще Бълинскій замътиль, что Борись Годуновъ построенъ до образцу драматическихъ хроникъ Шекспира, что вся трагедія состоить изъ отдільных сцень, изъ которых каждая существуетъ какъ бы независимо отъ цълаго. Можно указать также на нъкоторые отдъльные мотивы и положенія, которые Пушкинъ нашелъ у Шекспира, но которые онъ разработалъ совершенно самостоятельно. Такъ, одна сцена въ "Генрихъ IV" Шекспира, когда умирающій король даеть наставленіе своему сыну, какъ царствовать, вызвала подобную же сцену въ "Борисъ Годуновъ"; подобно англійскому узурпатору, и русскій узурпаторъ считаетъ нужнымъ поставить на видъ своему преемнику, что ему царствовать будеть легче, потому что престолъ переходитъ къ нему не путемъ преступленія, но по праву. "Мив кажется также, что молитва преступнаго и каю щагося короля въ III актъ "Гамлета" осталась не безъ вліянія на знаменитый монологъ Бориса, начинающійся словами: "Достигь я высшей власти". Можно указать еще на народныя сцены, на введение въ драму личности юродиваго, какъ на отдаленные шекспировскіе отголоски, но все это — мелочи: Главная заслуга Пушкина состоить въ глубокомъ проникновеніи въ духъ шекспировскаго творчества. Мицкевичъ былъ такъ пораженъ истинно-шекспировскимъ духомъ Бориса Годунова, въ особенности прологомъ, что надъялся со временемъ привътствовать въ Пушкинъ второго Шекспира и невольно воскликнуль: "Tu Shakespeare eris si fata sinant".

Подъ вліяніемъ изученія Шекспира Пушкинъ отчасти развиль, отчасти перестроиль свою собственную литературную теорію. Въ глубинъ души Пушкина всегда лежало стремленіе къ правдъ и естественности; все искусственное выходило у него блъдно и искусственно. Онъ прежде всъхъ чувствоваль фальшь своихъ собственныхъ героевъ, но теперь эти взгляды, укръпленные изученіемъ Шекспира, сдълались главной основой его литературнаго кодекса. Когда онъ съ высоты шекспировскаго творчества и шекспировскаго реализма взглянулъ на произведенія своихъ прежнихъ кумировъ, то они показалась ему дъланными и холодными: въ Вольтеръ, который въ ранней юности казался ему первымъ изъ поэтовъ, онъ теперь отрицалъ не только поэтическое вдохновеніе, но даже и поэтическое чутье; самъ "исполинъ" Мольеръ казался ему далеко не исполиномъ въ сравненіи съ Шекспиромъ. Сопоста-

вленіе ихъ между собой повело Пушкина къ замфчательнымъ соображеніямъ о сравнительномъ достойнствъ ихъ драматической манеры, сохранившимся въ его Запискахз. "Лица, созданныя Шекспиромъ", говоритъ Пушкинъ, "не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развивають передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой скупь и только; у Шекспира Шейлокъ скупъ, смътливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера лицемъръ волочится за женой своего благодътеля — лицемъря, спрашиваетъ стаканъ воды — лицемъря. У Шекспира лицемъръ произносить судебный приговоръ съ тщательной строгостью, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленными сужденіями государственнаго человъка; онъ обольщаеть невинность сильными увлекательными софизмами, а не смъщною смъсью набожности и волокитства". Трудно въ немногихъ словахъ выразить сильнъе коренное различіе въ драматической манеръ не только Мольера (по нашему мнънію, Мольеръ менъе гръщенъ въ этомъ отношеніи, чъмъ Корнель и Расинъ) и Шекспира, но англійскихъ и французскихъ драматурговъ вообще. Дъйствительно, французские драматурги XVII въка, подобно своему великому соотечественнику Декарту, идутъ, по большей части, отъ абстракта, отъ идеи, сосредоточиваютъ все свое вниманіе на изображеніи одной страсти, чаще всего въ одномъ данномъ положеніи; оттого ихъ герои кажутся воплощеніемъ изв'єстной идеи, а не живыми людьми; напротивъ того, англійскіе драматурги, идя по следамъ своего соотечественника, Бэкона, отправляются отъ конкретнаго, отъ разнообразія жизни; общее и типическое они такъ искусно сливають съ частнымъ и индивидуальнымъ, что созданные ими характеры производять впечатльніе живыхъ людей. Зная отвращеніе Пушкина отъ всего искусственнаго, напряженнаго, манернаго, мы поймемъ, почему онъ проходить мимо французскихъ романистовъ — Альфреда де-Виньи, Ламартина, даже Виктора Гюго — и относится восторженно къ Альфеду де-Мюссе, который поразиль его своею непосредственностью и глубиною чувства.

Обыкновенно принимають, что періодъ шекспировскаго вліянія на Пушкина заканчивается 1832 годомъ, потому что

съ этихъ поръ онъ не пробуеть себя болъе въ драматическомъ родъ. Это мивніе можеть быть принято, не иначе, какъ съ большими оговорками. Справедливо, что послъ "Русалки" Пушкинъ не написалъ ничего драматическаго, но что онъ не переставаль заниматься Шекспиромь, это доказывается нъкоторыми мъстами его Записоко, гдъ онъ старается проникнуть въ характеръ Фальстафа проведенной параллелью между Шекспиромъ и Мольеромъ и т. д. и наконецъ, его поэмой "Анжело", которая есть не иное что, какъ передълка Шекспировой "Мъры за мъру". Не догадываясь объ источникъ "Анжело", не подозръвая, съ какими трудностями приходилось бороться Пушкину, Бълинскій несправедливо призналь это произведеніе недостойнымъ таланта Пушкина, между темъ какъ оно несомнънно обладаетъ многими существенными достоинствами: помимо художественной простоты разсказа и прекраснаго стиха, Пушкинъ былъ сильно заинтересованъ психологической проблемой, заключающейся въ характеръ Анжело. "Анжело лицемъръ, — замъчаетъ онъ въ Записках, — потому что его гласныя дъйствія противоръчать его тайнымъ страстямъ. А какая глубина въ этомъ характеръ! "Сообразно своей задачъ, Пушкинъ выбрасываетъ изъ своего переложенія все не идущее прямо къ цъли и, напротивъ того, пользуется всякимъ выраженіемъ, всякой чертой, проскользнувшей въ разговоръ дъйствующихъ лицъ, которая можетъ бросить свътъ на загадочный характеръ Анжело. У Шексира Анжело бросаетъ Маріанну, главнымъ образомъ, потому, что приданое ея погибло во время кораблекрушенія. Пушкинъ справедливо счелъ этотъ мотивъ слишкомъ тривіальнымъ для человъка съ такой чистой репутаціей, какъ Анжело, и, упомянувъ вскользь объ этомъ обстоятельствъ, выдвигаетъ другой мотивъ, именно дурные слухи, которые ходили объ его невъстъ.

> Пускай себъ молвы неправо обвиненье, — Нътъ нужды. Не должно коснуться подозрънье Къ супругъ кесаря.

Последнихъ стиховъ нетъ у Шекспира: они прибавлены Пушкинымъ, — и нельзя не сознаться, что мотивъ, выдвинутый Пушкинымъ на первый планъ, какъ нельзя боле соответствуетъ характеру Анжело, которому была всего дороже его незапятнанная репутація. Разсматриваемый какъ психоло-

гическій этюдь, "Анжело" окажется весьма замівчательнымь произведеніемь, а мастерской переводь нісколькихь сцень показываеть, что мы лишились въ Пушкині великаго переводчика Шекспира.

Я далеко не исчерналь всего богатаго матеріала, представляемаго исторіей отношеній нашего поэта къ богатой литературѣ Запада, но, полагаю, и приведенныхъ фактовъ достаточно, чтобы признать, что поэты и мыслители западной Европы имѣли для нашего поэта громадное воспитательное значеніе. Изучая ихъ, муза Пушкина прониклась общественнымъ содержаніемъ, обогатилась множествомъ новыхъ мотивовъ, нашла въ нихъ, наконецъ, недосягаемые образцы художественнаго совершенства.

Стороженко.

Вліяніе Байрона на европейскія литературы.

James Barre

Могучая поэзія Байрона наложила свою оригинальную и неизгладимую печать на европейскую литературу первой подовины настоящаго стольтія. Помимо геніальнаго таданта Байрона, были двъ причины, содъйствовавшія популярности его поэзін на континенть. Первая заключалась въ космополитическомъ характеръ этой поэзіи, вторая — въ тъхъ историческихъ условіяхъ, среди которыхъ она возникла. Порвавъ связи съ неблагодарной родиной, оказавшейся для него не матерью, но злой мачехой, Байронъ провелъ почти половину своей жизни въ странствованіяхъ по Европъ и, оставаясь англійскимъ лордомъ по своимъ инстинктамъ и привычкамъ, малопо-малу сдёлался чистымъ космополитомъ по своимъ убёжденіямъ. Интересы свободы и человъчества были всегда въ его глазахъ выше интересовъ національныхъ; даже сюжеты своихъ произведеній онъ заимствоваль не изъ англійской жизни, но изъ жизни различныхъ народовъ Европы. Не даромъ Гёте называль его всемірнымъ гражданиномъ и привътствоваль въ немъ провозвъстника той общечеловъческой, всемірной литературы, скорое наступленіе которой онь не разъ предсказываль. Второй причиной всеобщаго увлеченія поэзіей Байрона было то обстоятельство, что она пришлась какъ разъ ко времени, что могучіе звуки ея раздались въ удушливой атмосферъ, созданной все болье и болье усиливавшейся въ

Европ' реакціей идеямъ XVIII в., завершившейся учрежденіемъ священнаго союза. Поэзія Байрона возстановила связь между прерванными традиціями XVIII в. и начинавшимся пробужденіемъ умовъ въ XIX в.; выражая свои чувства, онъ въ то же время выражаль чувства общія. Вотъ почему вся либеральная партія въ Европ'є увидела въ немъ своего поэтическаго вождя и жадно прислушивалась къ его пъснямъ, громившимъ гнетъ и тиранію и призывавшимъ народы къ священной борьбъ за свободу. Апонеозъ личности въ борьбъ съ общественными предразсудками, протестъ противъ политическаго и соціальнаго гнета, горячее сочувствіе къ быющимся за свою свободу народамъ, неудовлетворение и пресыщение безцъльной жизнью и тъсно связанный съ нимъ скептицизмъ, доходящій порой до мизантропіи и отчаннія, и рядомъ съ нимъ поэтическій восторгь передъ въчно юными красотами природы, на лонъ которой человъкъ находить нъкоторое облегченіе отъ терзающихъ его жизненныхъ противоръчій — таковы основныя черты и идейное содержаніе того направленія, которое извъстно въ европейской литературъ подъ именемъ байронизма.

Ранве другихъ континентальныхъ странъ Байронъ быль оцъненъ въ Германіи. Починъ въ этомъ отношеніи быль данъ самимъ Гёте, считавшимъ Байрона величайшимъ поэтомъ XIX в. и поддержавшимъ своимъ авторитетомъ его только что начинавшуюся популярность въ Германіи. Въ бесъдахъ Гёте съ его секретаремъ Эккерманомъ не разъ заходила ръчь о Байронъ, и всякій разь Гёте отдаваль полную справедливость генію англійскаго поэта. "То, что я считаю изобрътеніемъ въ поэзіи, — сказалъ однажды Гёте Эккерману, — ни у кого не достигаеть такой высокой степени развитія, какъ у Байрона. Способа, которымъ онъ развязываеть драматическую интригу, никогда нельзя предвидъть, и онъ всегда выше ожидаемаго читателемъ". Вообще Гёте былъ весьма высокаго мнёнія о драматическихъ произведеніяхъ Байрона, которыя признаются критикой слабъе всего имъ написаннаго. Онъ удивлялся искусству, съ какимъ Байронъ, обладавшій такой мощной индивидуальностью, сумъль совершенно скрыться за дъйствующими лицами своихъ драмъ, особенно въ Марино Фальеро. По мнънію Гёте, въ характеръ Байрона было нъчто общее съ Т. Тассо, хотя сравнение ихъ

талантовъ могло только повредить италианскому поэту. "Байронъ, это — воспламененный кустарникъ, который можетъ превратить въ пепелъ священный кедръ Ливана. Великая эпопея Т. Тассо сохраняла свою славу въ теченіе въковъ, но "Освобожденный Іерусалимъ" можно совершенно уничтожить однимъ стихомъ изъ "Донъ-Жуана". Сожалъя о преждевременной смерти англійскаго поэта, Гёте быль того мнінія, что для литературы эта потеря безразлична, ибо онъ не могъ пойти дальше того, до чего дошель. "Байронъ коснулся уже вершинъ творчества, и во всемъ, что бы онъ ни написалъ впослъдствін, онъ не могъ бы переступить границъ, очерченныхъ вокругъ его таланта. Въ своей несравненной поэмъ "Видъніе Суда" онъ достигь высшей точки возможнаго для него совершенства". Когда однажды его собесъдникъ, въроятно, подъ вліяніемъ отзывовъ реакціонной англійской печати, выразиль сомнъніе, чтобы произведенія Байрона оказали полезное вліяніе на умственное развитіе человъчества, Гёте возразиль ему довольно ръзко: "Я не раздъляю этого мнънія. Да и почему вы думаете, что смълость, дерзость и грандіозность Байрона сами по себъ не могутъ способствовать нашему развитію? Нужно остерегаться признавать образовательное значение только за тъмъ, что безупречно въ нравственномъ отношении; все великое можетъ содъйствовать нашему развитію, если только мы сумвемъ понять, въ чемъ состоить его величіе". Въ другой разъ, разговаривая съ Эккерманомъ по поводу недоконченной фантастической драмы "Deformed Transformed", Гёте воскликнулъ: "Я снова перечелъ ее и долженъ сознаться, что талантъ Байрона показался мнъ на этотъ разъ еще болъе могучимъ. Его дьяволъ, очевидно, сродни моему Мефистофелю, но это нельзя назвать подражаніемъ, ибо все здёсь ново и оригинально. Нътъ ни одного мъста величиною съ булавочную головку, которое было бы слабо, въ которомъ не просвъчивали бы творчество и умъ. Не будь у Байрона меланхоліи и отрицанія, онъ могь бы сравниться съ Шекспиромъ и древними". Кромъ переводовъ нъсколькихъ отрывковъ изъ "Донъ-Жуана" и "Манореда", Гёте заплатиль дань удивленія и симпатіи генію Байрона, изобразивъ его подъ видомъ Эвфоріона во второй части "Фауста". Въ этомъ фантастическомъ существъ, сынъ Фауста и троянской Елены, мелькнувшемъ какъ метеоръ и сдълавшемся жертвой отваги, прекрасно олицетворенъ безпокойный духъ и порывистое стремленіе къ свѣту и свободѣ, которое отличало Байрона. Сѣтованіе хора о безвременно погибшемъ юношѣ есть едва ли не лучшая характеристика Байрона:

Плачъ не нуженъ погребальный: Намъ завиденъ жребій твой! Жиль ты свътлый, но печальный, Съ гордой пъснью и душой. Ахъ! рожденъ для счастья быль ты! Превній родь твой славень быль, Рано самъ себя сгубилъ ты, Въ полномъ цвътъ юныхъ силъ. Все имълъ ты: взглядъ глубокій, Быстрый умъ и сердца жаръ, И любовь жены высокой, И чудесныхъ пъсенъ даръ. Ты летьль неудержимо, Въ даль невольно увлеченъ, Ты презрълъ неукротимо И обычай и законъ. Свътлый умъ къ дъламъ чудеснымъ Душу чистую привель; Ты погнался за небеснымъ Но его ты не нашель. Кто найдеть? Вопросъ печальный! Рокъ отвъта не даеть, Въ дни, когда многострадальный, Весь въ крови, молчить народъ.

Оплакавъ такими теплыми поэтическими слезами гибель Байрона, Гёте чтилъ въ вемъ главнымъ образомъ возвышенныя стремленія и крупную поэтическую силу. Къ политическимъ тенденціямъ Байрона германскій олимпіецъ былъ совершенно равнодушенъ и едва ли придавалъ имъ большое значеніе. Но послъдующее покольніе поэтовъ, въ которомъ негодованіе противъ торжествующей реакціи чередовалось съ приливами мизантропіи и унынія, происходившими отъ сознанія своего безсилія, увидало въ Байронъ своего вождя, а въ его произведеніяхъ боевой кличъ, призывающій къ борьбъ за попранныя права человъческой личности. Такой взглядъ на Байрона господствуетъ у поэтовъ южной Германіи, которые находились къ нему почти въ такихъ же вассальныхъ отношеніяхъ, въ какихъ ихъ предшественники, поэты Sturm und Drang, находились къ Шекспиру. Уже въ вышедшихъ

въ 1822 году юношескихъ стихотвореніяхъ самаго крупнаго поэта южной Германіи, Гейне, мы находимъ нъкоторые изъ основныхъ элементовъ байронизма, - обстоятельство, тогда же замъченное критикой. "Пъсни Гейне, — писалъ Иммерманъ, проникнуты недовольствомъ, неръдко доходящимъ до ярости и отчаянія. Горькое негодованіе противъ невыносимаго настоящаго, глубокая ненависть къ современному порядку вещей всецьло овладым нашимь Гейне, и этимъ объясняется, что изъ 53 стихотвореній, написанныхъ юношей, нътъ ни одного. изъ котораго бы въяло веселымъ и радостнымъ настроеніемъ. Нѣкоторое сходство замѣчается между этими стихотвореніями и произведеніями лорда Байрона, къ которымъ нашъ соотечественникъ, повидимому, питаетъ особенное сочувствіе. Сравненіе ихъ другь съ другомъ можеть послужить отчасти къ выгодъ, а отчасти и къ невыгодъ для нашего поэта. Никто сильные Байрона не умысть изобразить страшную пропасть растерзанной души человъка, и въ этомъ отношеніи Гейне можеть слёдовать за нимъ развё въ почтительномъ отдаленіи, Но зато у нашего поэта больше свъжести и бодрости. Для него еще возможно любоваться поэзіей извъстнаго явленія, тогда какъ Байронъ одинаково презираетъ и божественное и человъческое, и временное и въчное". Годъ спустя послъ этой рецензін Гейне издаль въ свъть свою трагедію "Ратклифъ", герой которой имъетъ несомнънное сходство съ любимымъ байроновскимъ образомъ падшаго ангела. Смерть Байрона глубоко поразила Гейне. "Это быль единственный человъкъ, писаль онъ Мозеру, -- съ которымъ я чувствоваль духовное родство, и во многихъ отношеніяхъ насъ можно сравнивать другь съ другомъ". Повидимому, смерть Байрона еще болъе укръпила это духовное родство, потому что въ послъдующихъ произведеніяхъ Гейне неръдко замъчаются байроновскіе мотивы и байроновская манера. Чудныя, какъ бы подернутыя меланхоліей описанія природы въ Reisebilder невольно приводять на память подобныя же картины въ Чайльдъ-Гарольдъ, а проникнутое здкой проніей описаніе нъмецкихъ порядковъ въ "Зимней сказкъ" до такой степени носить на себъ отпечатокъ байроновской манеры, что кажется отрывкомъ изъ "Донъ-Жуана". Вліяніе это сказывается въ болье или менье сильной степени въ "Греческихъ пъсняхъ" Вильгельма Мюдлера, въ "Польскихъ пъсняхъ" Планета, въ "Донъ-Жуанъ"

Ленау, въ "Шильонскомъ узникъ" Морица Гартмана, въ стихотвореніяхъ нъмецко-американскаго поэта Дранмора, въ политической лирикъ Гервега и т. д. Популярность Байрона въ Германіи доказывается, сверхъ того, множествомъ стихотворныхъ переводовъ отдъльныхъ его произведеній на нъмецкій языкъ, количество которыхъ развъ немного уступить количеству переводовъ изъ Шекспира.

Тъ же причины, которыя способствовали популярности поэзіи Байрона въ Германіи, существовали, пожалуй, еще въ большей степени, во Франціи: и тамъ и здъсь реакція создала удобную почву для воспріятія поэзіп борьбы, отчаянія и проклятія. "Всю нравственную бользнь нашего стольтія, какъ выразился въ одномъ мъстъ Альфредъ де-Мюссе, можно объяснить изъ двухъ причинъ. Народъ нашъ, продълавшій 1793 и 1814 гг., носить въ своемъ сердцъ двъ раны: того, что было — нътъ и то, что должно быть — еще не наступило. Нечего искать другихъ причинъ и объясненій нашей міровой скорби". Самымъ раннимъ представителемъ байронизма во Франціи быль Ламартинь. Сообразно складу своей мягкой и сентиментальной натуры, Ламартинь могь усвоить себъ только нъкоторыя стороны байронизма, которымъ придалъ сентиментальный оттвнокъ. Считая Байрона падшимъ ангеломъ, Ламартинъ возымълъ оригинальную и назидательную мысль примирить его съ Богомъ и Церковью и съ этой цълью вскоръ послъ смерти Байрона издалъ окончаніе Чайльдъ-Гарольда ("Le dernier chant du pélerinage de Child Harold"), въ которомъ онъ заставляеть Чайльдъ-Гарольда раскаяться, отказаться отъ своихъ скептическихъ воззрвній и умереть смертью върующаго христіанина на поляхъ Греціи. Въ заключительномъ обращеніи къ лорду Байрону, Ламартинъ, сопоставляя себя съ умершимъ поэтомъ, увъряеть, что судьба его имъетъ много общаго съ судьбой Байрона, что, подобно послъднему, и ему довелось осущить отравленный кубокъ (J'af vidé comme toi la coupe empoisonnée). Вдохновленный Байрономъ, Ламартинъ написалъ свою извъстную оду въ Наполеону и свою безконечную поэму "Lachute d'un Ange", но оба подраженія безконечно ниже своего образца, не говоря уже о томъ, что они не вполнъ проникнуты байроновскимъ духомъ. По слъдамъ Ламартина пошло не мало поэтовъ романтической школы, издавшихъ въ свъть

массу стихотвореній, въ которыхъ они воспъвали и Байрона, и Востокъ, и свободу Греціи. С.-Бёвъ въ свое время зло к остроумно посмъялся надъ ихъ бездарными произведеніями, но не нужно забывать, что памятникомъ этого увлечения Грепіей и Востокомъ были, между прочимъ, "Les Orientales" Виктора Гюго и Мессенскія элегіи "Les Messeniennes" Казимира Делавиня. Хотя Альфредъ де-Мюссе и отвергалъ мнъніе критиковъ, что онъ въ своей поэмъ "Namouna" подражалъ Байрону и съ гордостью утверждаль, что онъ ньеть изъсвоего собственнаго кубка, какъ онъ ни малъ (Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre), но новъйшая критика сумъла отыскать во многихъ его произведеніяхъ слъды пристальнаго изученія Байрона, между прочимъ, въ его "Порцін", характеръ которой представляетъ много сходныхъ чертъ съ характерами Лары и Паризины, и въ его поэмъ "Намуна", гдъ дъйствуетъ легендарный Донъ-Жуанъ и которая какъ по формъ, такъ и по поэтической манеръ напоминаетъ Байроновскаго Донъ-Жуана. Равнымъ образомъ, вліяніе Байрона замътно въ раннихъ романахъ Ж. Сандъ. Выступивъ на борьбу съ обществомъ и его въковыми предразсудками за права женшины, Ж. Сандъ нашла себъ сильную нравственную поддержку въ произведеніяхъ англійскаго поэта, раньше ея поднявшаго знамя индивидуализма и въ процессъ общества съ личностью всегда стоявшаго на сторонъ личности. Разница между ними состоить, главнымь образомь, въ томъ, что Байронъ обвиняетъ въ эгоизмъ и несправедливости все человъчество, тогда какъ Ж. Сандъ только одну половину человъческого рода, поработившую, по ея словамъ, женщину и коварно придуманными законами и обычаями стъснившую свободу ея чувства и лишившую ее дъятельнагоучастія въ общественной жизни. Къ числу восторженныхъ поклонниковъ Байрона нужно причислить такъ родственнаго ему по духу автора "Ямбовъ" и "Гимна къ свободъ" — Огюста Барбье. Посътивъ Вестминстерское аббатство и не найдя тамъ праха Вайрона, Барбье написалъ превосходное стихотвореніе "Westminster", гдъ вложидь въ уста поэта трогательную жалобу на преслъдованія, которымъ онъ подвергался при жизни, и на вражду, препятствующую и послъ смерти найти успокоеніе подъ свиью національнаго пантеона, въ угодкв поэтовън Варбье побъясняеть эти преследования темъ, что Байронъ смёдо обличать пороки своихъ соотечественниковъ, что онъ сорвать маску съ ихъ мнимой добродётели. Къ концу сороковыхъ годовъ вліяніе поэзіи Байрона проявляется во французской литературт все слабте и слабте, но зато количество переводовъ изъ Байрона и этюдовъ о немъ увеличивается, фактъ, доказывающій, что увлеченіе прошло и что наступило время изученія и серіозной критической оцтики произведеній англійскаго поэта. Впрочемъ, последній дучъ байронизма блеснуль еще не такъ давно въ "Tentation de Saint Antoine" Флобера, гдт многое оказывается навъяннымъ вторымъ актомъ Байроновскаго Каина.

Изъ всёхъ странъ Европы менёе другихъ подвергалась вліянію поэгіи Байрона столь любимая имъ и столь часто имъ воспъваемая Италія. Строго говоря, Байронъ въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ больше обязанъ Альфіери, чъмъ Уго Фосколо ему. Раздробленная политически, страдая отъ деспотизма австрійской династіи на съверъ и бурбонской на югъ, Италія была слишкомъ поглощена своимъ собственнымъ горемъ, чтобы переноситься въ идеальный міръ романтической поэзіи, следить за демоническими героями въ борьбе ихъ съ обществомъ или предаваться космополитической міровой скорби. Вся ея новая поэзія носить на себъ мъстный и патріотическій характеръ, преимущественно отзывается на злобу дня. Пессимистическіе мотивы, попадающіеся у Фосколо, Манцони и пругихъ поэтовъ, имъютъ мало общаго съ байроническимъ повътріемъ; въ большинствъ случаевъ они представляють собою плоды патріотическаго отчання въ возрожденіи и свободъ Италіи. Даже меланхолія Леопарди, самаго космополитическаго и философскаго изъ италіанскихъ поэтовъ, сильно обостряется жгучими воспоминаніями о прежней славъ его родины и ея теперешнемъ униженіи. Вследствіе указанныхъ причинъ, италіанскіе поэты вдохновляются только одной политической тенденціей поэзіи Байрона и оставляють въ сторонъ другія стороны байронизма. Таковъ, напр., Джьовани Берке́ (Berchet), поэтъ съверной Италіи, авторъ весьма популярныхъ партіотическихъ пъсенъ, въ произведеніяхъ котораго знаменитый италіанскій критикъ Франческо де-Санктись видить несомнънные слъды вліянія Байрона. Но если, въ силу указанныхъ обстоятельствъ, байронизмъ оказалъ сравнительно незначительное вліяніе на характерь италіанской поэзіи, нигдъ

зато личность англійскаго поэта не была такъ популярна, какъ въ Италіи. Долговременное пребываніе Байрона въ Италіи, его высокопоэтическія описанія Рима и Венеціи, его сочувствіе дълу италіанской свободы, наконець, его роскошная, загадочная, фантастическая жизнь въ Венеціи — все это создало вокругь его личности ореоль, до сихъ поръ не совсёмъ поблекшій. До сихъ поръ въ Венеціи живо воспоминаніе о немъ, до сихъ поръ гондольеръ укажетъ вамъ на Canale Grande pallazzo, гдё жилъ Байронъ, и при этомъ не приминетъ сообщить въсколько слышанныхъ имъ отъ отца или дъда анекдотовъ о щедрости и эксцентричности англійскаго поэта.

Стороженко.

Пушкинъ и Байропъ.

Нашъ байронизмъ есть явление своеобразное, во многомъ отступающее отъ своего источника. И у насъ, какъ и на западъ Европы, въ поэзіи привились далеко не всъ составные элементы байронизма. Политико-ноціальная основа поэзін Байрона, не имъвшая корней и въ самой жизни, была у насъ понята весьма немногими и оставила мало следовъ въ литературъ; байроновскій индивидуализмъ, аповеозъ личности въ борьбъ ея съ обществомъ, превратился у насъ въ обожаніе собственной личности и презрительное ко всякой чужой; перенесенное на русскую почву байроновское разочарование совершенно лишилось своего трагическаго характера и былопонятно весьма односторонне, какъ слъдствіе жизненнаго пресыщенія. Видоизмъненный такимъ образомъ байронизмъ оказалъ не малое вліяніе не только на поэзію, но и на нравы нашей интеллигентной молодежи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Москвичи въ Гарольдовыхъ плащахъ, какъ ихъ мътко окрестиль Пушкинь, - вдругь ни съ того ни съ сего почувствовали непонятное презръніе къ обществу, ни въ чемъ передъ ними неповинному; непризнанныя натуры стали относиться пренебрежительно къ общественной нравственности и освященномъ въками обычаямъ и считали такое отношение признакомъ высшей породы. Всъ эти видоизмъненія байронизма могли только уронить въ глазахъ общества значение

поэтическаго направленія, которое, взятое въ цъломъ, дъйствовало во всякомъ случат благотворно, внося въ литературу массу новыхъ идей, чувствъ и поэтическихъ образовъ, поднимая нравственное достоинство человъка, возбуждая въ немъ энтузіазмъ къ дълу свободы и ненависть къ насилію и всякаго рода соціальной неправдъ. Знакомство русскаго общества съ поэзіей Байрона началось только за нъсколько лътъ до смерти великаго поэта. Въ то время какъ вся Европа давно уже зачитывалась его произведеніями и съ страстнымъ участіемъ слъдила за его судьбой, мы имъли о немъ и о его поэзіи довольно смутное понятіе, да и то съ чужихъ словъ. Первые переводы изъ Вайрона появляются въ русскихъ журналахъ не ранъе 1819 г. Съ этихъ поръ интересъ къ его поэзін видимо растеть. Въ "Въстникъ Европы", "Сынъ Отечества" и другихъ журналахъ то и дъло попадаются переводы изъ Байрона. Каченовскій, не знавшій англійскаго языка, спъшить удовлетворить любознательность своихъ подписчиковъ, печатая въ "Въстн. Европы" свои неуклюжіе переводы отдёльныхъ произведеній Байрона съ французскаго. Гивдичъ, Ротчевъ и другіе переводять "Еврейскія мелодіи", а въ 1821 г. отець русскаго романтизма Жуковскій, лично не симпатизировавшій Байрону и даже, по свидътельству А. И. Тургенева, дремавшій надъ нимъ, тъмъ не менье, увлеченный общимъ потокомъ, издаетъ, котя и съ нъкоторыми смягченіями и сокращеніями, свой переводъ "Шильйонскаго узника". Наибольшій энтузіазмъ возбуждала поэзія Байрона въ либеральномъ кружкъ русскихъ поэтовъ, во главъ котораго стояли кн. Вяземскій и Пушкинъ. Вяземскій, жившій въ началь двацатыхъ годовъ въ Варшавъ, по словамъ Тургенева, бредилъ Байрономъ и переводиль его мелкія стихотворенія, а сосланный на югь Россіи Пушкинъ, по его собственному признанію, буквально сходиль съ ума отъ Байрона; онъ подражаль англійскому поэту въ привычкахъ и образъ жизни и, впадая подъ вліяніемъ чтенія Байрона въ мрачное настроеніе, даваль ему исходъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ. Таковы его стихотворенія "Погасло дневное свътило" и "Я пережилъ свои желаньи", оба написанныя на югъ Россіи въ 1820 и 1821 гг. Смерть Байрона вызвала въ либеральномъ кружкъ русскихъ поэтовъ самое живое и неподдъльное сожальніе. Рыльевъ, Кюхельбекеръ и кн. Вяземскій излили свое горе въ отдъльныхъ стихотвореніяхъ.

Есть трогательное преданіе, что, получивъ извъстіе о смерти своего любимаго поэта, Пушкинъ, по русскому обычаю, отслужиль панихиду по рабъ Божьемъ Георгіи. Вся Россія знаетъ наизусть тъ чудныя строфы, которыя посвящены памяти Байрона въ стихотвореніи къ "Морю", гдв Пушкинъ называеть англійскаго поэта властителемь нашихь думь, пъвцомь, оплаканнымъ самой свободой. Что до вліянія Байрона на Пушкина, то оно оказывается далеко не такъ значительнымъ, какъ можно было ожидать, не говоря уже о томъ, что оно продолжалось не болье трехъ-четырехъ льтъ. Сльды вліянія Байрона можно отыскать въ нъкоторыхъ мелкихъ стихотвореніяхъ и въ юношескихъ поэмахъ Пушкина. Съ особенной силой оно проявляется въ "Цыганахъ", которыми и оканчивается краткій байроническій періодъ Пушкинскаго творчества. Здёсь не только встръчаются отдъльные мотивы байронизма, но что гораздо важнъе - самый типъ героя сложился подъ вдіяніемъ Байрона. Въ Алеко нътъ ничего русскаго, да и вообще въ немъ нътъ никакой національной окраски. Онъ появляется неизвъстно откуда и неизвъстно куда пойдетъ. Какъ явленіе русской жизни, онъ необъяснимъ, но онъ прекрасно объясняется какъ явленіе литературное, какъ родственное героямъ Байрона воплощение гордости и мятежнаго протеста противъ устаръвшаго общественнаго устройства, основаннаго на торжествъ насилія, предразсудковъ и преклоненія предъ золотымъ тельцомъ. Самостоятельность Пушкина проявилась здёсь не въ создани типа, но въ знаменательномъ критическомъ отношеніи къ нему, въ его осужденіи устами старика-цыгана. Когда друзья Пушкина, переведеннаго льтомъ 1824 г. изъ Одессы въ деревию, узнали, что онъ трудится надъ поэмой въ байроническомъ родъ, подъ которой разумълся "Евгеній Онъгинъ", они пришли въ сильное безпокойство. "Пушкинъ, — писалъ ему Рыльевъ, — ты пріобръль уже въ Россіи пальму первенства; ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета — не подражай ему! Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа, могуть вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ". Опасенія друзей Пушкина были, впрочемъ, напрасны, ибо Байронъ въ это время уже утратилъ надъ нимъ прежнее обаяніе. Въ это время Пушкинъ увлекался Шекспиромъ, передъ которымъ его недавій кумиръ (какъ драматургъ) казался ему ничтожнымъ.

Непродолжительность и сравнительная слабость вліянія Байрона на Пушкина зависъла, по моему миънію, въ значительной степени оттого, что ихъ художественные темпераменты были совершенно различнаго закала. Байронъ, если можно такъ выразиться, быль человъкъ фанатического темперамента; онъ не зналъ средины ни въ ненависти ни въ любви; онъ считаль малодушіемь дёлать малёйшія уступки тому, что было противно его убъжденіямъ. Напротивъ того, Пушкинъ быль натура уравновъшенная, гармоническая, въ которой уживались и взаимно сглаживались самыя противоположныя стремленія и симпатіи. Уступая англійскому поэту въ глубинъ мысли, картинности описаній, силь лирическаго полета, Пушкинъ далеко превосходить его чувствомъ мъры, художественной простоты и жизненной правды. Онъ не могь подняться до высоты политическаго энтузіазма Байрона, но зато не могь спуститься въ мрачныя бездны Байроновскаго пессимизма и меланхоліи. Сосредоточенная скорбь, демоническая гордость, мрачное отчаяніе, непримиримая ненависть никогда не могли привиться къ его мягкой, свътлой и гармонической натуръ, способной сохранить въ самомъ пылу увлеченія трезвость ума и мъру въ сужденіяхъ. Разница художественныхъ темпераментовъ обоихъ поэтовъ всего яснъе обнаружилась въ ихъ отношеніяхъ къ Наполеону. Съ уничтожающей проніей относится Байронъ къ развънчанному завоевателю, называетъ его презръннымъ ничтожествомъ, злымъ духомъ для человъчества. Ненависть его къ поработителю народовъ не смягчается ни мыслью объ его геніи, ни воспоминаніемъ о разразившемся надъ нимъ ударъ судьбы, сразу низвергнувшемъ его съ высоты величія въ бездну ничтожества. Не такъ смотрить на недавняго врага Россіи Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи "Наполеонъ", написанномъ въ 1821 г., т.-е. въ эпоху самаго сильнаго увлеченія геніемъ Байрона. Великодушно забывая все зло, сдёланное міру Наполеономъ, нашъ поэть не позволяеть себъ никакого здорадства, не издъвается надъ развънчаннымъ величіемъ, находить, что всё его воинственные замыслы и стяжанья искуплены

> Тоскою душнаго изгнанья Подъ сънью чуждою небесъ

и въ заключение приглашаетъ путника начертить слово примиренья на надгробномъ камиъ Наполеона и заранъе осуждаетъ

всякаго, кто позволиль себъ невеликодушно издъваться надъ

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто вь сей день Безумнымь возмугить укоромь Его разв'єнчанную тінь.

Подъ вліяніемъ находившихъ на него мрачныхъ минутъ, Байронъ высказываетъ иногда такія безотрадныя пессимистическія воззрѣнія на жизнь, которыя мы можемъ найти развѣтолько у Леопарди или г-жи Аккерманъ. "Сочти радостные часы твоей жизни, перечисли дни, свободные отъ нравственныхъ страданій, и убѣдишься, что тебѣ можетъ-быть было бы лучше совсѣмъ не существовать". Зналъ такія минуты и Пушкинъ, но его свѣтлая натура не допускала пессимизму всецѣло овладѣть имъ, и какъ ни горька была ему подчасъ печаль прошедшихъ дней, но онъ не жалѣетъ о томъ, что живетъ, не жаждетъ уничтоженія, но хочетъ жить хоть бы для того, чтобы мыслить и страдать, и питаетъ надежду, что жизнь дастъему не мало утѣшенья.

Средь горестей, заботь и треволненья.

Приведенные примъры, надъюсь, доказывають, что въ силу коренной разницы въ поэтическихъ темпераментахъ, Пушкинъ никогда не могъ проникнуться вполнъ Байроновскимъ міросозерцаніемъ, что даже въ пору увлеченія поэзіей Байрона онъ всегда сумълъ остаться самимъ собою. Стороженко.

Біографы и критики Пушкина давно пришли къ заключенію, что "байронизмъ" былъ у Пушкина только переходящимъ явленіємъ, съ которымъ онъ уже вскорѣ распрощался и навсегда. Одни объясняли, что подобное настроеніе не отвѣчало самой природѣ Пушкина, его основному міровоззрѣнію и самому свойству его дарованія, широкаго, свѣтлаго, открытаго всѣмъ впечатлѣніямъ жизни, при всей высотѣ его поэзіи, реальнаго и трезваго, и что поэтому мрачное отрицаніе могло быть только временнымъ увлеченіемъ, которое въ концѣ концовъ должно было уступить передъ истинными мотивами его внутренней жизни. Другіе замѣчали, что байронизмъ и не могъ

укръпиться въ содержаніи поэзіи Пушкина, какъ явленіе чисто "западное", не свойственое національной природъ Пушкина: онъ долженъ былъ рано или поздно сбросить его, потому что быль русскій человъкъ... По существу байронизма, Пушкинъ, дъйствительно, не могъ воспринять его глубоко и во всемъ объемъ его содержанія: въ его отношеніи къ байронизму сказалось то же явленіе, какое можно наблюдать на всемъ пространствъ новъйшей русской литературы въ ея зависимости отъ западно-европейскихъ теченій. Западная жизнь такъ не походила на русскую, была отъ нея такъ далека, такъ превышала ее въ своемъ политическомъ развитіи и особливо въ своемъ образованіи, что какъ во времена Ломоносова, такъ и во времена Пушкина, наша литература могла имъть къ западноевропейской только отношение болье или менье сильной зависимости. Въ чисто поэтическомъ смыслв наша литература ко временамъ Пушкина пріобрътала, наконецъ, свою оригинальность, которая была признакомъ возникшей самобытности; но въ тъхъ областяхъ, гдъ къ чистой поэзіи присоединялось или надъ нею преобладало идейное содержаніе, которое давалось развитіемъ европейской мысли въ области науки и общественности, подобная самобытность была невозможна: содержаніе западно-европейской литературы являлось опять результатомъ въкового труда, въ которомъ мы не участвовали, свободы мысли, о которой мы не имъли понятія, наконецъ свободы общественной, которая была у насъ немыслима. Какъ нъкогда въ XVIII въкъ мы заимствовали изъ западно-европейскаго источника только немногое, что было по нашимъ средствамъ, такъ это было и теперь: весь объемъ байроническаго міровоззрънія быль не по средствамь русской литературы, даже въ рукахъ Пушкина, но смешно, конечно, говорить, что причина была въ томъ, что это міровоззрѣніе было "западное", которое Пушкинъ долженъ былъ отвергнуть, какъ противоръчащее его "русскому" характеру: русскій характеръ не мъшаль ему, какъ не мъшаль Жуковскому и Батюшкову, не говоря о толив ихъ предшественниковъ, черпать цёлыми пригоршнями изъ западной литературы и, напр., послъ, отказавшись отъ Байрона, сохранить заимствованныя у него литературныя формы, а затьмъ учиться по Шекспиру, восхищаться Вальтеръ-Скоттомъ и несомнънно слъдовать его примъру въ историческихъ повъстяхъ.

Такимъ образомъ поэзія Байрона родилась въ средъ броженія европейской мысли конца прошлаго и начала нынъшняго въка, которое во всемъ его могущественномъ объемъ было чуждо русской жизни; тёмъ не менёе русскій байронизмъ могь бы быть названъ случайнымъ только въ томъ же смыслъ, въ какомъ мы раньше находили случайными многія другія заимствованія русской дитературы изъ европейскаго источника. Эти явленія бывали случайны потому, что изъ пълаго европейскаго движенія къ намъ обыкновенно проникали одни и не проникали другія, не менфе многозначительныя: нельзя отвергать извъстной случайности въ томъ, что, напр., Карамзинъ увлекается сентиментальными писателями Лафатеромъ, Жуковскій — німцами-романтиками, Батюшковь — Тассомь, что англійская латература долго остается почти неизвъстна, и у насъ очень поздно стали понимать Шекспира, что Пушкинъ мало интересуется нъмецкой литературой и т. д.; случайность сказывалась и въ томъ, что, большею частью, наши заимствованія бывали запоздалыя, и намъ, по выраженію одного суроваго критика, приходилось "донашивать старыя шляцки"... Но если и прежде эти заимствованія теряли свою случайность въ томъ отношени, что съ ними русская литература каждый разъ все-таки пріобрътала нъчто новое, что имъло свое воспитательное значение для русскаго общества (особливо при его маломъ образованіи въ большинствъ) и укръпляло въ немъ собственные инстинкты и потребности развитія, то тъмъ болъе они получали значенія, когда ко временамъ Пушкина эти инстинкты и потребности были возбуждены сильнее, чемъ когда-нибудь прежде. Байронизмъ именно отвъчалъ — конечно, въ извъстномъ, болъе образованномъ кругу - тому настроенію, какое создавалось условіями времени: событія двънадцатаго года, освободительная война, тъсное общение съ европейскимъ обществомъ въ великія историческія минуты возбуждали умы къ возвышенному идеализму и патріотическимъ надеждамъ, но то и другое было вскоръ нарушено, и русская жизнь въ эпоху Аракчеева, Магницкаго, арх. Фотія, представляла, напротивъ, унизительную картину круглаго обскурантизма, грубаго и лицемърнаго, подавленія даже слабыхъ признаковъ просвъщенія и свободы мысли. Естественно возникало гнетущее чувство недовольства, раздраженія, протеста, наконець, у крайнихъ людей — мысль о сопротивленіи и заговоръ....

Вліяніе байронизма падало у Пушкина на подготовленную почву. Ссылка не могла не раздражать его; если онъ и сознаваль съ своей стороны ошибку въ недостаткъ благоразумія, когда онъ забываль объ общественной средь, въ которой находился, то онъ все-таки не могъ помириться съ ея уродливыми явленіями: прежнее возбужденіе продолжалось, и его новыя произведенія прямо или косвенно выражали настроеніе, овладьвавшее имъ въ условіяхъ тогдашней дъйствительности. Въ его поэмахъ, писанныхъ на югъ, сколько бы ни было въ нихъ навъяннаго байроническими вліяніями, сказался несомнънно и отголосовъ этого непосредственнаго недовольства; тогда же написанная поэма на библейскую тему, какъ и извъстное (перехваченное) письмо объ "авеизмъ", были своего рода противовъсомъ тогдашнему изувърству и т. д., что байроническія поэмы, хотя потомъ казались иногда слабыми ему самому, передавали, однако, его задушевныя мысли данной минуты, свидътельствують его собственныя показанія. Въ одномъ письмъ 1822 года, онъ признаетъ самъ крупные недостатки "Кавказскаго плънника" и заключаетъ: "Вы видите, что отеческая нажность не осландяеть меня насчеть "Кавказскаго плънника", но, признаюсь, люблю его, самъ не зная за что: въ немъ есть стихи моего сердца"... Въ письмъ 1822 года онъ говорить объ основной мысли поэмы: "Я въ немъ хотыть изобразить это равнодущие къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдёдались отличительными чертами молодежи XIX въка". Въ другихъ поэмахъ это равнодущие къ жизни сказывается ярче, какъ протестъ противъ условій общественной жизни, подавляющей своими мертвыми формами стремление къ высшимъ идеаламъ, и опять съ личной мыслью поэта сказываются несомнънные отголоски Байрона. Постоянное развитие этой темы недовольства, разочарованія, протестовъ противъ пустоты и ничтожества общественности, очевидно, выдаеть внутренній процессь въ душъ самого поэта, и въ образахъ его фантазіи скрывались также сомнънія и тревоги его собственнаго чувства. Различныя черты одного образа развиваются отъ "Кавказскаго плънника" и до "Евгенія Онъгина".

Пушкинь и Шатобріанъ.

Своеобразный колорить, лежащій на "байроновскихъ" мотивахъ, разработанныхъ у Пушкина, невольно заставляетъ насъ припомнить Шатобріана, того півца разочарованія и пессимизма, которому исторія приписала печальную славу быть однимъ изъ родоначальниковъ поэзіи "міровой скорби". Имя это, несправедливо забытое, упоминается въ исторіи русской литературы рідко,— объяснить это не трудно: блестящій, энергичный талантъ Байрона скоро заставилъ померкнуть меніве замітный образъ французскаго писателя, а, между тімъ, исторія назвала Шатобріана однимъ изъ самыхъ близкихъ и вліятельныхъ учителей англійскаго поэта...

Шатобріана нашъ Пушкинъ зналъ прекрасно... Вообще вся французкая литература была ему очень хорошо извъстна: на ней онъ воспитался съ дътства, ей подражалъ съ первыхъ шаговъ своего творчества... Правда, въ домъ родителей его культивировалась почти псключительно "легкая поэзія",— но, думается намъ, едва ли эмигранты-аристократы, наводнявшіе московскія гостиныя, часто посъщавшіе также и Пушкиныхъ, съ легкимъ сердцемъ откликались на модную забаву русскихъ поэтовъ-баръ плодить подражанія французской-легкой поэзіи",— въроятно, въ ръчахъ многихъ нзъ этихъ французовъ, потерявшихъ все съ революціей, слышался уже Ренэ, этотъ аристократъ-неудачникъ, бъжавшій съ горькими жалобами и упреками на лоно дъвственной природы, бъжавшій не по своей волъ, оставившій свое сердце и думы на родинъ, тоскующій, разочарованный...

Если на первыхъ порахъ Пушкина увлекала легкая, игривая поэзія Парни и К⁰, поэтовъ безмятежнаго наслажденія,—то стоило измѣниться обстоятельствамъ въ жизни Пушкина, чтобы въ сердцѣ его отозвались мотивы другой французской музыки, мотивы "разочарованія", "міровой скорби".

И, думается намъ, не Вольтеръ, а скоръе Шатобріанъ подсказывалъ Пушкину "разочарованіе", "тоску" въ тъхъ раннихъ произведеніяхъ, которыя написаны до знакомства нашего поэта съ Байрономъ. Это тъмъ возможнъе, что Пушкинъ прекрасно зналъ Шатобріана — это одинъ изъ любимыхъ его писателей: на протяженіи всей своей литературной дъятельности нъсколько

разъ поминаетъ онъ его. Симпатіи къ нему пережили у Пушкина даже увлеченіе Байрономъ,— въ 1837 году, когда Пушкинъ о Байронъ пересталъ говорить давно, онъ еще называетъ Шатобріана первымъ изъ современныхъ писателей, учителемъ всего пишущаго покольнія... Въ запискахъ Смирновой мы находимъ потвержденіе этого мнѣнія: прозу Шатобріана нашъ писатель считалъ выше стиховъ французскихъ молодыхъ романтиковъ; "Ренэ", по его мнѣнію,— лучшій романъ Шатобріана¹)...

Такіе отзывы Пушкина насъ нисколько не удивять, если мы обратимся къ твореніямъ Шатобріана Ренэ: главный герой двухъ его романовъ "Réne" и "Natchez" и дъйствующее лицо въ повъсти "Atala", конечно, болье по плечу Пушкину, чъмъ герои Байрона,— и "Кавказкій плънникъ" гораздо ближе къ Ренэ, чъмъ къ соотвътствующимъ типамъ англійскаго поэта... Въ Ренэ, какъ и въ героъ "Кавказскаго плънника", нътъ пичего специфически-байроновскаго: нътъ "богатырскаго, мрачнаго, сильнаго". Ренэ, какъ и русскаго героя, гораздо легче охарактеризовать отрицательными качествами, чъмъ положительными: онъ не возмущается, не ненавидитъ, не мститъ онъ жалуется, тоскуетъ, такъ какъ онъ — жертва, а не борецъ. Глубокая, бользненная меланхолія, напоминающая настроеніе Вертера,— вотъ, чувство, которымъ онъ живетъ, отъ котораго страдаетъ, но и съ которымъ онъ, тъмъ не менъе, носится...

Если мы отбросимъ совершенно чуждую Пушкину тенденціозно-религіозную окраску, присущую произведеніямъ Шатобріана, мы увидимъ полное тождество въ типическихъ чертахъ героевъ и героинь обоихъ писателей и даже большую близость въ ходъ самой интриги.

Прежде всего, конечно, наше вниманіе обращается къ главному герою Шатобріана— Ренэ. Какъ мы говорили уже, это юноша— "sans force et sans vertu", оставившій родину вслъдствіе несчастной любви, а, также, повидимому, и потому, что среди цивилизованныхъ людей ему мало мъста съ его безмър-

^{. 1)} Насколько глубокое впечатльніе имьль Шатобріань на русскую молодежь лучше всего видно изъ біографін Батюшкова, написанной акад. Л. Н. Майковымъ, — нашему почтенному ученому Ренэ помогаеть съ необыкновенною полчотою раскрыть страдающую душу поэта... Конечно, если Пушкинъ и не подчинился до такой степени Ренэ, какъ Батюшковъ, то и надъ его ясною душою, несомнънно, проносилось порою настроеніе Ренэ.

нымъ эгоизмомъ. Впрочемъ, мотивы, заставивше его покинуть родину, имъ самимъ, повидимому, такъ же мало выяснены, какъ и нашимъ "кавказскимъ плънникомъ"... Самая "свобода", "веселый призракъ" который мещерился вдали обоимъ героямъ, также не ясенъ обоимъ... Ренэ бъжитъ къ дикарямъ, но тоска, грусть слъдуетъ за нимъ по пятамъ; его охлажденное сердце не долго наслаждалось радостями бытія вдали отъ суеты мірской,—теплая, самоотверженная любовь дикарки не вытъсняетъ изъ его сердца думъ о той женщинъ, которая осталось на его родинъ, и трогательная любовь Селуты мало его трогаетъ...

Теперь 'передъ нами двъ героини Шатобріана — Atala и Celuta, — героини на одно лицо... Это — поэтическіе образы, легкіе, полувоздушные, проникнутые самоотверженною, теплою любовью... Atala, влюбленная въ плънника, появляется къ нему ночью и съ тъхъ поръ постоянно ходитъ тайкомъ къ юношъ и ведетъ съ нимъ долгія бесъды о любви... Потомъ она освобождаетъ юнаго плънника и умираетъ въ борьбъ со своею любовью, умираетъ просвътленная, сомоотворженная... Другая героиня Шатобріана — Celuta, отдавшая всю жизнь свою Ренэ, въ награду за это услышала отъ него признаніе, что сердце его занято думой о другой женщинъ; она ведетъ несчастную жизнь и, наконецъ, потерявъ дорогого человъка, которому она принесла столько жертвъ, бросается въ ръку...

И всё эти трогательныя исторіи развиты на фоне блестяще написанных в картинъ американской природы, въ обстановке самой своеобразной, романтической... Шатобріанъ нарочно, въ погоне за couleur locale, ездилъ въ Америку, присматривался къ природе, къ обычаямъ и нравамъ техъ племенъ, жизнь которыхъ служитъ фономъ для его драмы....

Обращаясь теперь къ поэмѣ Пушкина, мы находимъ цѣлый рядъ поразительныхъ сходствъ: герой "Кавказскаго плѣнника", какъ мы уже имѣли случай говорить, очень близокъ къ Ренэ и по характеру, и по его судьбѣ... Онъ, какъ и Ренэ, покидаетъ цивилизованный міръ и, гоняясь за какимъ-то призракомъ свободы, является на Кавказъ, единственное мъсто въ Россіи, гдѣ можно было встрѣтить романическую обстановку...

Далъе интрига развивается совершенно параллельно съ той, которая положена въ основу повъсти "Atala"... Герой въ плъну, онъ закованъ и не можетъ спастись бъгствомъ... Въ него влюбляется дикарка, освобождаетъ его, онъ, какъ Ренэ, остается

холоденъ къ любви дъвушки и открываетъ ей, что сердце его занято... Развязка также довольно схожа въ обоихъ произведеніяхъ: герои остаются въ живыхъ, героини погибаютъ...

Если мы обратимся къ Пушкинской поэмъ "Цыганы", то и здъсь найдемъ мы нъсколько интересныхъ точекъ соприкосновенія между Пушкинымъ и Шатобріаномъ... При созданіи образа Алеко самостоятельность Пушкина сказалось ръшительнье, яснъе. Но въ разработкъ интриги мы найдемъ много общаго съ произведеніями Шатобріана... Алеко, какъ Ренэ, бросаетъ шумный свъть и идетъ къ дикарямъ-цыганамъ... Его такъ же, какъ и Ренэ, принимаютъ дружелюбно... Онъ, какъ Ренэ, болъе или менъе, сживается съ тъмъ народомъ, къ которому пришель, хотя всецъло слиться съ дътьми природы онъ не можетъ. Оказывается,—

... уныло юноша глядѣлъ
На опустѣлую равнину,
И грусти тайную причину
Истолковать себѣ не смѣлъ.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ — вольный житель міра
И солнце весело надъ нимъ
Нолуденной красою блещетъ...
Что жъ сердце юноши трепещетъ?
Какой заботой онъ томимъ?...

Какъ за Ренэ, за нимъ тоска слъдуетъ по пятамъ...

Кромъ главнаго лица, обращаеть на себя наше вниманіе еще одно дъйствующее лицо, тожественное у обоихъ авторовъ: патріархъ индъйскаго племени Chaktas и старый цыганъ... Эти два старика, знающіе жизнь съ ея бъдами и печалями, много видъвшіе на своемъ въку, являются передъчитателемъ судьями эгоизма и сердечной пустоты юношъ Ренэ и Алеко... Правда, у Шатобріана его Chaktas не произноситъ тъхъ энергичныхъ укоровъ, которые услышалъ Алеко отъ стараго пыгана, но величественная фигура индъйца, умудреннаго жизнью, съ душой спокойной и прекрасной по своей наивности и цъльности, является нъмымъ и въ же время красноръчивымъ укоромъ Ренэ... Впрочемъ, Chaktas прекрасно понялъ душу Ренэ и далъ ему пълый рядъ характерныхъ совътовъ.

Если Байронъ далъ Пушкину образчикъ для героя "Цыганъ" и набросилъ нъсколько слабыхъ невърныхъ чертъ не героя

"Кавказскаго плънника", то Шатобріанъ даль болье характерныхъ чертъ для героя "Кавказскаго плънника" и далъ интригу для объихъ поэмъ. Развязка въ объихъ поэмахъ самостоятельная, не совсёмъ удачная въ "Кавказскомъ плённикъ" и очень интересная въ "Цыганахъ"... Этому помогло живое лицо Земфиры, очевидно, срисованной съ натуры... Въроятно, жизнь въ Кишиневъ дала Пушкину не одинъ образчикъ такихъ героинь, какой была героиня "Цыганъ"... На Кавказъ, какъ мъсто самое подходящее для романтической поэмы, указалъ Пушкину, быть можеть, Xavier de Maistre, съ его повъстью: "Кавказскій плънникъ"... Природа Кавказа, Пушкину во 1825 году еще незнакомая, такъ какъ тогда онъ быль лишь на минеральныхъ водахъ, набросана имъ, съ чужого голоса; между прочимъ, онъ самъ указалъ въ 1-мъ изданіи своей поэмы на стихи Жуковскаго и Державина, какъ прекрасно передающія дикія красоты Кавказа... Сиповскій.

Пушкинъ, его предшественники и историческая ихъ связь.

Имълъ онъ пъсенъ дивный даръ И голосъ шуму водъ подобный.

Великія рѣки составляются изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несуть имъ обиліе водъ своихъ. И кто же можетъ разложить химически воду, напр., Волги, чтобы узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько ръкъ, и большихъ и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственныя водны, и всъ, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могуть указать ни на одно изъ нихъ, плывя по ея широму раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болье: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видъ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковскаго и Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъ ихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менъе доказать, чтобы онъ что-нибудь заимствовалъ отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдъ-нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не былъ неизмъримо выше.

ихъ. Поэзія Державина была преждевременною, а потому и неудавшеюся попыткою на народную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какое-нибудь содержание для поэзіи. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронатства, лести и угодничества; но о всякой другой поэзіи не имъло ръшительно никакого понятія и, следовательно, не имело въ ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнъніи, котораго тогда не было ни признака ни тъни, особенно въ дъль литературы; нътъ, слава Державина была основана на просвъщенномъ вниманіи немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіи того времени было человъкъ десять или двадцать, болъе или менъе умъвшихъ цънить этотъ высокій таланть, то остальные, человъкъ сто или двъсти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая собственнаго крика. Гдъ жъ тутъ было явиться истинной поэзіи и великому поэту? Правда, природа производить таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они, или нътъ; но, въдь, великіе поэты творятся не одною природою: они творятся обществомъ, т.-е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поэть составляеть одинъ таланть — значить грубо ошибаться. Разумъется, прежде всего поэтомъ дълаетъ человъка талантъ; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые зависять отъ общества, среди котораго является поэтъ. Чтобы поэтически воспроизводить дъйствительность, мало одного природнаго таланта, — нужно еще, чтобы подъ рукою поэта была поэтическая дъйствительность. Хорошо было грекамъ творить ихъ изящныя, исполненныя идеальной красоты статуи, когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встръчали то мужчинъ съ головою Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выраженіемъ величаво-строгой красоты Паллады, съ роскошными Формами Афродиты или обаятельною прелестью харить. Только италіанскимъ живописцамъ среднихъ въковъ былъ доступенъ идеалъ Мадонны, ибо типъ ея они видъли безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотою отечества. Странное дело! Все понимають, что нельзя сделаться великимъ живописцемъ, имъя какой бы то ни было великій таданть, если въ годы изучении искусства нътъ хорошихъ натурщиковъ; всъ понимаютъ, что всякій живописецъ, творя идеальную красоту, все-таки нуждается, во время своей работы, въ образцъ дъйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно такъ же и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ дъйствительность. Природа творить великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководецъ проживеть весь свой въкъ, даже и не подозръвая, что онъ — великій полководець: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, дълаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расинъ въ древней Греціи быль бы страстнымь и глубокомысленнымь Эврипидомъ; а во Франціи, въ царствованіе Людовика XIV, и самъ страстный, глубокомысленный Эврипидъ былъ бы чопорнымъ и натянутымъ Расиномъ. Таково вліяніе исторіи и общества на тадантъ! У насъ этого не хотять знать. Кричать о Державинъ, что онъ геній; стиховъ его давно уже совсьмъ не читаютъ, а считаютъ чуть не безбожниками тъхъ, кто осмъливается говорить, что теперь поэзія Державина — слишкомъ непитательная и невкусная пища для эстетического вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и смфемъ надфяться, доказанное нами, что при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ отрицать, и предъ которымъ мы умъемъ благоговъть больше, нежели всъ крикуны и лицемъры, вопіющіе противъ насъ, — Державинъ не принадлежитъ къ тъмъ въчноюнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старъются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящею и интересною попыткой, для успъха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образованіе самого поэта. Это — поэзія, носящая на себъ всь родовые признаки своего времени, а потому для насъ, русскихъ, имъющая свой историческій интересь; но какъ время этой поэзіи, такъ сама эта поэзія чужды всякаго дійствительнаго и опреділеннаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитою народною жизнью. Лучшее, что есть въ поэзіи Державина, - это намеки на поэзію, часто не достигающіе цъли по ихъ неопредъленности и темнотъ; проблески поэзіи, часто потасающіе въ водяной массѣ реторики; словомъ, это несвязный дътскій поэтическій лепеть, но еще не поэзія. Въ поэзіи Державина есть и полетистая возвышенность, и могучая крѣпость, и яркость великольпныхъ картинъ, и, несмотря на ея подражательность, есть что-то, отзывающееся стихіями съверной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, върныхъ и выдержанныхъ по концепціи и отличающихся художественною полнотой и оконченностью, но отрывочно, мъстами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзіи.

Задумчивая и мечтальная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзіи Державина: она исполнена содержанія, но вмъсть съ тъмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія, въ ея историческомъ развитіи, какъ Жуковскому, и между тъмъ въ созданіяхъ Жуковскаго поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницею и провозвъстницею тайнъ внутренней жизни. Жуковскій — романтикъ въ духъ времени среднихъ въковъ, а не художникъ. По своей натуръ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во всё сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разнообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особенности. Ему чуждо это свойство Протея, принимать всв виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою, - это свойство, въ которомъ заключается сущность поэзіи, какъ искусства. Поэзія Жуковскаго была отголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтическою [тризной надъ умершимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всъхъ другихъ интересовъ и ръдко выходить изъ-за магическаго круга неопредъленныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій надостатокъ, но эта же и ея величайшее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русской поэзіи; она явилась не какъ готовая уже поэзія, подобно Палладъ, родившейся во всеоружіи, а какъ моментъ возникавшей русской поэзіи. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей недоставало; указала ей на богатые и неистощимые источники европейской поэзіи, которой явленія умела съ непостижимымъ искусствомъ усвоивать русскому языку. Сверхъ того, Жуковскій далеко подвинуль впередь и русскій языкь, придавь ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзіи Батюшкова преобладаеть элементь чисто художественный. Это видно и въ фактуръ его стиха, и вообще въ пластическомъ характеръ формъ его произведении: это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремленій егокъ наслажденію, къ въчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразіи предметовъ его поэтическихъ пъсенъ. Это преимущества поэзіи Батюшкова передъ поэзіею Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзіи Батюшкова содержаніемъ. Повзія Батюшкова скользить по жизни, едва зацъпляясь за нее; содержание ея весьма скудно и бъдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюшковъ любиль произвольныя усвченія прилагательныхъ; между превосходнъйшими стихами у него встръчаются негладкіе и даже не поэтическіе; сверхъ того, върный преданіямъ русской поэзіи и примъру отца ея — Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ реторики.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумъется, что одинъ онъ этого сдълать не могъ. Всъ предшествовавшіе поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія ръки къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важнье ръкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравнение не можеть быть оскорбительно для предшествовавшихъ Пушкину, особенно, если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая дъятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрълые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинъ, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ лътъ и силы. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; но, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не въришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свъжъ міръ его поэзіи! Тутъ нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозаическій, неръдко бываеть, въ поэтическомъ отношеніи, могучъ, ярокъ, но въ отношеніи къ просодіи, грамматикъ, сантаксису и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова во всъхъ отношеніяхъ неизмъримо ниже стиха Жуковскаго и Батюшкова, - и было время, когда нельзя было не върить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и послъдней степени совершенства, - и между тъмъ, этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова... Правда, впоследствіи, т.-е. при Пушкинъ, стихъ Жуковскаго много усовершенствовался и въ переводъ "Шильонскаго узника", а также отчасти и въ переводъ "Суда въ подземельи" походилъ на кръпкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную кръпость, эту необыкновенную сжатость и тяжело-упругую энергію ему сообщиль тонъ поэмы Байрона и характеръ ея содержанія, — и Пушкинъ, если бы онъ написаль поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умълъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, — чему можеть служить доказательствомъ его поэма "Мъдный всадникъ". Обращаясь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствии эстетическаго чутья и такта можно не видёть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихъ: ибо подъ стихомъ разумъемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, -- форму, которая одна, прежде и больше всего другого, свидътельствуетъ о дъйствительности и силъ таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; стихъ, который, какъ тъло человъка, есть откровеніе, осуществленіе души — идеи: стихъ, которому нельзи подражать, подъ который всякая поддёлка, какъ ни была она ловка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему, какъ искусно-сдъланная восковая статуя или автоматъ относится къ живому человъку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сдълавшій крутой повороть, или ръзкій разрывь въ исторіи русской поэзіи, нару-

шившій преданіе, явившій собою что-то небывавшее, непохожее ни на что прежнее, - этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзіи. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельною игрой романтической риомы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотъ; онъ нъженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ какъ молнія, прозраченъ п чисть, какъ кристалль, душисть и благовоненъ, какъ весна, кръпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукъ богатыря. Въ немъ и обольстительныя, невыразимыя прелесть и грація, въ немъ ослъпительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодіи и гармоніи языка и риема, въ немъ вся нъга, все упоеніе творческой мечты, поэтического выраженія. Если бъ мы хотёли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихъ, и этимъ разгадали бы тайну павоса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаетъ всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: вась болье всего поражаеть и занимаеть разлитое въ поэзіи Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимпъ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородною простотой, этой изящною патріархальностью героическаго въка народа, нъкогда представлявшаго въ лицъ своемъ цълое человъчество; но поэть остается у вась какъ бы въ сторонъ, и его художество вамъ кажется чъмъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмъ, и потому вамъ какъ будто не приходить въ голову остановиться на немъ и подивиться ему. Въ Шекспиръ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокій серцевъдець, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикъ, указывають на его заслуги наукт, не говоря объ удивительной силъ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзіи Байрона прежде всего обойметъ вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность

поэта, титаническая смёлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзіи Гёте передъ вами выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человъка. Въ поэзіи Шиллера вы преклонитесь съ любовью и благоговъніемъ передъ трибуномъ человъчества, провозвъстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно прекраснаго. Въ Пушкинъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всъми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всъ достоинства, всъ недостатки его поэзіи, — и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенною полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слъдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Призваніе Пушкина объясняется исторією нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выраженіемъ жизни, въ обширномъ значеніи этого слова, обнимающаго собою весь міръ физическій и нравственный. До этого ее можеть довести только мысль. Но чтобы быть выражениемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіею. Для искусства нътъ никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведеніе похоже на женщину съ великою душой, но съ безобразнымь лицомь: ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тъмъ немножко любви сдълало бы счастливъе, чъмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія непоэтическія безплодны во всъхъ отношеніяхь; между тъмъ какъ произведенія наполовину прозаическія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они дъйствують и въ этомъ отношеній только наполовину. Гдв помнять начало поэзій, гдв поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзіи нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіею, а потомъ уже выражать собою то и другое. Вотъ причина явленія Пушкина такимъ, какимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ничемъ другимъ быть не могь. До него у нась не было даже предчувствія того, что

такое искусство, художество, которое составляеть собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человъческаго. До него поэзія была только красноръчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цъли, какъ бълила и румяна для блъднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользъ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзіи и было выражено Мерзляковымъ въ слъдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цъленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченною пилюлей, подслащеннымъ лъкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ реторической воды. Много было сдълано для языка, для стиха, кое-что было сдълано и для поэзіи; но поэзіи, какъ поэзін, то-есть, такой поэзін, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей — такой поэзіи еще не было! Пушкинъ быль призванъ быть живымъ откровеніемъ ся тайны на Руси. И такъ какъ его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земль поэзію какъ искусство, такъ, чтобы русская поэзія имъла потомъ возможность быть выражениемъ всякаго направления, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ риомованную прозу — то, естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому, даже самыя первыя незрѣлыя юношескія его произведенія, каковы: "Русланъ и Людмила", "Братья разбойники", "Кавказскій плѣнникъ" и "Бахчисарайскій фонтанъ", отмѣтили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзіи. Всѣ не только образованные, даже многіе просто грамотные люди увидѣли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкѣ не только образца,

но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россіей; онъ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дъвушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкою отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дълалось не только въ столицахъ, но даже и въ увздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различіе стиховъ отъ прозы заключается не въ риемъ и размъръ только, но что и стихи, въ свою очередь, могутъ быть и поэтические и прозаические. Это значило уразумьть поэзію уже не какъ что-то внъшнее, но въ ея внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэтъ, который быль бы неизмъримо выше Пушкина, — его появленіе уже не могло бы надълать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что, послъ Пушкина, позія уже не невидная, не неслыханная вещь. И по тому же самому теперь уже слишкомъ слабый успъхъ могъ получить поэть, который, не уступая Пушкину въ талантъ, даже превосходя его въ этомъ отношеніи, быль бы, подобно ему, преимущественно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ ръзко отдёлились онв отъ произведеній прежнихъ школь, то и еще болъе художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, слъдовательно обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свътъ. Это понятно: поэма требуетъ той зрълости таланта. которую даеть опыть жизни, — и этой зрёлости нёть нисколько въ "Русланъ и Людмилъ", "Братьяхъ разбойникахъ" и "Кавказскомъ плънниьъ", а въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" замъченъ только успъхъ въ искусствъ; но юность самое дучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуеть знанія жизни и людей, требуеть созданія характевовь, следовательно своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуеть богатства ощущеній, — а когда же грудь человъка наиболье богата ощущеніями, какъ не въ льта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствъ "сливать послушныя слова въ стройные размъры и замыкать

ихъ звонкою риомой", но въ тайнъ поэзіи. Душъ Пушкина присуща была прежде всего та поэзія, которая не въ книгахъ, а въ природъ, въ жизни, - присуще художество, печать котораго лежить на "полномъ твореніи славы". Разумъ, это духъ жизни, душа ея; поэзія, это — улыбка жизни, ея свътлый взглядъ, играющій всёми переливами быстро смёняющихъ ощущеній. Бывають женщины, одаренныя отъ природы ръдкою красотою, на которыхъ строго-правильныя черты лида поражають какою-то сухостью, а движенія лишены граціи; такія женщины могуть быть по-своему осліпительно блестящими и возбуждать удивленіе, но ихъ появленіе не заставить ничье сердце забиться отъ невъдомаго волненія, ихъ красота не родить любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзіи. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, если бы онъ не были насквозь проникнуты поэзіею; не любовью — небеснымъ огнемъ жизни, а холодною сыростью могилы въяло бы отъ нихъ. Пусть свътила небесныя образуютъ собою стройные міры; не тъмъ только возвышають они душу созерцающаго ихъ человъка, но поэзією своего талиственнаго мерданія; но дивною красотою живой игры своихъ бледно-огнистыхъ дучей; въ ихъ стройномъ ходъ Пиоагоръ видълъ не одну математику въ фактъ, но и слышалъ гармонію міровъ... Если бы солнце только гръло и свътило, оно было бы не болъе, какъ огромныйфонарь, огромная печка; но оно проливаеть на землю яркій, весело дрожащій, радостно играющій лучь, — и земля встрьчаетъ этотъ лучъ улыбкою, а въ этой улыбкъ — невыразимое очарованіе, неуловимая поэзія... Природа полна не однъхъ органическихъ силъ, — она полна и поэзіи, которая наиболье свидътельствуетъ о ея жизни: въ ея въчномъ движеніи, въ которомъ любовно играетъ лучъ солнца, въ ропотъ ручья, въяніи вътра, волнующаго золотистую жатву, разлить для человъка таинственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые, радостные, какъ пъснь взвивающагося подъ небо жаронка... Человъкъ еще болъе исполненъ поэзіи. Отчего вамъ такъ хочется расцъловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу; отчего такъ плъняютъ васъ и его блестящіе чистою радостью глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и ръзвость его движеній? — Что общаго между вами, измученнымъ жизнью,

опытомъ и житейскими заботами, вами, человъкомъ пожилымъ и мудрымъ, и между нимъ, ничего не понимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачёмъ же, торопливо бёжа по важному дѣлу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дёла, и съ улыбкою умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснъло, забота на мигъ слетъла съ него, и улыбка счастія на мгновеніе освътила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувшій сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сыромъ его полу?... Оттого, что видъ этого дитити пахнулъ на васъ поэзіею жизни... Вотъ прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредъленнаго выраженія — это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мысли и стремленій, словомъ, ничто не говорить вамъ въ этомъ лицъ ни о какомъ ръзко выпечатавшемся нравственномъ качествъ; оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью — и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымъ ею, вы спокойно любуетесь прелестью ея движеніи, грацією ея манеръ, — и въ то же время, въ ея присутствін, сердце ваше бъется какъ-то живъе, и кроткая гармонія счастія мгновенно разливается въ душъ вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стоитъ; одно другого замънить не можетъ, но то и другое въ одинаковой степени составляетъ потребность нашего духа. Вотъ почему древніе греки въ своемъ поэтическомъ политеизмъ обожествили не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цъломудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія... По ихъ религіозному созерцанію, исполненному поэзін и жизни, богиня красоты обладала таинственнымъ поясомъ-

всь обаянія въ немъ заключались:
Въ немъ и любовь и желанья, въ немъ и знакомства и просьбы,
Льстивыя ръчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобы выразить всю силу неотразимаго вліянія на душу и сердце человъка поэзіи Гомера, греки говорили, что онъ похитиль поясь Афродиты... Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладълъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дъйствительность подъ особеннымъ угломъ зрънія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтическій. Муза Пушкина, это дъвушкааристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородною простотою, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болъе возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдълалась ей второю природою.

Отношеніе Пушкина къ писателямъ старшаго покольнія.

Изъ современныхъ писателей старшаго покольнія Пушкинъ выше всвхъ почиталъ Карамзина. Извъстны восторженные отзывы объ "Исторіи государства россійскаго": "Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ"; "у насъ никто не въ состояніи изслъдовать огромное созданіе Карамзина, зато никто не сказалъ спасибо человъку, уединившемуся въ ученый комитетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившему цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ"; "Исторія государства россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ честнаго человъка", и пр.

Мы упомянули, что Карамзинъ въ глазахъ Пушкина былъ не только великій писатель, но и честный человъкъ: это могло относиться къ твердости убъжденій, которыхъ Карамзинъ не уступаль передъ самимъ императоромъ Александромъ, но также къ его литературной дъятельности вообще, и къ той ръшимости, съ которою онъ предпринялъ свой продолжительный и тяжелый историческій трудъ. Карамзинъ давно уже представлялся Пушкину примъромъ мужества въ литературномъ служеніи. Въ 1817 г., вступая на свое литературное поприще и предвида борьбу съ врагами, онъ говорилъ въ посланіи къ Жуковскому: "мнъ Карамзинъ — мнъ

ты примъръ!" Въ письмъ къ Бестужеву въ 1825 г., онъ опять указываетъ молодымъ писателямъ примъръ Карамзина: "ты, да, кажется, Вяземскій, одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; всъ прочіе разучаются. Жаль! высокій примъръ Карамзина долженъ былъ ихъ образумить". Но твореніе Карамзина тъмъ не менъе дало мотивы для "Исторіи села Горохина".

Въ небольшой замъткъ 1822 года, Пушкинъ пишетъ: "Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей литературъ? Отвътъ: Карамзина". Въ тъ времена рядомъ съ прозаикомъ Карамзинымъ ставили поэта Дмитріева, которому приписывали такое же усовершенствование русскаго стиха, какое сделано было Карамзинымъ въ прозъ. Пушкинъ, кажется, только однажды отозвался о Дмитріевъ съ нъкоторой похвалой, говоря о его книжкъ "Путешествіе NN въ Парижъ и Лондовъ", но свое настоящее мивніе онъ ивсколько разъ повторилъ въ письмахъ, и это мнъніе было крайне неблагопріятно. Въ общемъ хоръ восхваленій Дмитріева одни отзывы Пушкина представляются справедливой опънкой этого писателя. Въ самомъ дълъ, Дмитріевъ не совершилъ никакого особеннаго подвига въ отриданіи старой напыщенной поэзіи, потому что самъ служилъ ей довольно усердно; теперь, въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, восхваленія Дмитріева становились слишкомъ преувеличеннымъ комплиментомъ литературному ветерану и, наконецъ, безвкусіемъ, противъ котораго и возставаль Пушкинъ. Еще въ письмъ къ Гнъдичу 1822 года, онъ высказываетъ мысль, что начинавшееся тогда вліяніе англійской словесности на русскую "будетъ полезнъе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нікоторые люди упадуть, и посмотримь, гдь очутится Ив. Ив. Дмитріевь съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве". Въ 1823 году кн. Вяземскій написаль извъстіе о жизни и стихотвореніяхъ Дмитріева къ новому изданію его сочиненій. Пушкинь, еще не видавь этой біографіи, но, зная, конечно, отношение кн. Вяземского къ этому писателю, уже напаль на него въ письмъ отъ марта 1824 г. Сохранились черновые наброски этого письма. Пушкинъ, повидимому, не ръщался сказать всей правды своему другу, но въ этихъ черновыхъ мы читаемъ слъдующее: "О Дмитріевъ спорить съ тобою не стану, хотя всв его басни не стоять одной хорошей

басни Крылова, всв его сатиры — одного изъ твоихъ посланій, а все прочее - перваго стихотворенія Жуковскаго; по мнъ Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократь ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны въ дурномъ родъ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, что нътъ мочи... Грустно мнъ видъть, что все у васъ клонится Богъ знаетъ куда! Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налъво и направо, порастрясти старыя репутаціи, приструнить новыя и показать истину, а ты покровительствуешь старому вралю". Въ письмъ къ Бестужеву (въ мартъ 1825 г.) по поводу его "Взгляда на русскую словесность", гдъ тотъ говорилъ, что у насъ есть критика и нътъ литературы, Пушкинъ говоритъ, что напротивъ, у насъ вовсе нътъ критики, что до сихъ поръ не опъненъ Державинъ, что "Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою, Богдановичъ причисленъ къ лику великихъ поэтовъ, Дмитріевъ также".

При всемъ великомъ уваженіи, которое Пушкинъ питаль къ Карамзину, при всемъ вниманіи, которое последній ему оказываль, эти отношенія не могли быть вполнъ близки: слишкомъ дълилъ ихъ возрастъ и характеры и самое различіе областей литературы; у Карамзина недостало, наконецъ, терпъливой снисходительности къ молодымъ ръзкостямъ Пушкина, такъ что между ними, наконецъ, наступило охлажденіе. Но взамънъ былъ у Пушкина другъ съ начала до конца неизмънный, поэтъ, который рано почуялъ и встрътилъ съ великою любовью необычайный таланть, какого не видала еще русская литература, наконецъ, исполгенный благодушія человъкъ, который если не находилъ иногда оправданія для иныхъ поступковъ Пушкина, то всегда быль готовъ на участіе и помощь въ бъдъ. Съ своей стороны Пушкинъ едва ли къ кому нибудь питаль такое прочное и теплое сочувствее, какъ къ Жуковскому. Последній зналь Пушкина еще ребенкомъ въ домъ его отца, потомъ навъщаль его въ Лицев; главнымъ образомъ черезъ него Пушкинъ вступилъ въ избранный кружовъ "Арзамасъ", и добродушный юморъ Жуковскаго также способствоваль укръпленію взаимной привязанности. По тогдашнему обычаю поэты дълились своими мыслями и дружескими чувствами въ посланіяхъ, и въ 1817 г., передъ своимъ вступленіемъ въ общественную жизнь и ръшивъ свое поэтическое поприще, Пушкинъ пишетъ извъстное посланіе къ Жуковскому, гдъ представлялись ему впередъ трудности этого поприща, недоброжелательство враговъ, но гдъ высказалось также и сознаніе великой задачи и трогательная увъренность въ опоръ у старшаго друга. "Благослови поэтъ!" — этими словами Пушкинъ начиналъ свое посланіе, и, сказавъ, какъ первые шаги его ободрили своимъ вниманіемъ Карамзинъ, Державинъ, Дмитріевъ, онъ обращается къ Жуковскому:

И ты, природою на пѣсни обреченный, Не ты-ль мнѣ руку даль въ завѣтъ любви священной? Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой Безмолвный я стоялъ, и молнійной струей Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла? Нѣтъ, иѣтъ рѣшился я безъ страха въ трудный путь! Отважной вѣрою исполнилася грудъ. Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья! Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья, Лечу къ безвѣстному отважною мечтой, И, мнится, геній вашъ промчался надо мной.

Впослъдствіи, въ VIII главъ "Онъгина" (въ варіантахъ), Пушкинъ вспоминаетъ Жуковскаго:

И ты, глубоко вдохновленный, Всего прекраснаго пъвецъ, Ты, идолъ дъвственныхъ сердецъ! Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный, Не ты ль мнъ руку подавалъ И къ славъ чистой призывалъ?

Жуковскій быль дорогь Пушкину вдвойнь, и какъ рьдкій характерь, и какъ поэть. Ни къ кому Пушкинь не обращался съ такою полною довърчивостью, убъжденный иной разъ, какъ капризное дитя, что для него сдълано будетъ все; а вмъсть съ тьмъ ни у кого изъ старшаго покольнія и изъ сверстниковъ Пушкинъ не находиль такого возвышеннаго представленія о поэзіи, ея художественной и нравственной задачь: Пушкинъ развиль это представленіе, но остался на томъ же высокомъ тонь этого пониманія. Самъ Жуковскій быль тогда въ полномъ развитіи своего таланта; еще можно было ожидать его самостоятельныхъ твореній, но и въ то время Пушкинъ ставиль его очень высоко какъ переводчика, открывшаго путь романтизму, и какъ великаго мастера стиха. Въ молодомъ покольніи, въ двадцатыхъ годахъ,

сказывалось иногда недовольство Жуковскимъ, особливо тъмъ мистическимъ оттънкомъ, который такъ часто придаваль онъ своему романтизму; иные, какъ Рылбевъ, находили этотъ мистицизмъ даже вреднымъ; но Пушкинъ постоянно былъ на сторонъ Жуковскаго. "Зачъмъ, — писаль онъ Рыльеву въ январъ 1825 г., — зачъмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки проръзалась? Что ни говори, Жуковскій имълъ ръшительное вліяніе на духъ нашей словесности; къ тому же, превосходный слогь его останется навсегда образцовымь. Охъ, ужъ эта мнъ республика словесности! За что вънчать?" Въ мав того же 1825 года, онъ пишетъ Вяземскому по поводу статьи последняго въ "Телеграфе" о Пушкине и Жуковскомъ: "Ты слишкомъ бережешь меня въ отношеніи къ Жуковскому. Я не следствіе, а точно ученикъ его и только тъмъ и беру, что не смъю сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имълъ и не будетъ имъть слога, равнаго въ могуществъ и разнообразіи слогу его. Въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычайный. Переводы избаловали его, измънили; онъ не хочетъ самъ созидать; но онъ, какъ Voss, геній перевода. Къ тому же смёшно говорить объ немъ, какъ объ отцвътшемъ, тогда какъ слогъ его еще мужаетъ".

На Жуковскаго Пушкинъ воздагалъ свои надежды въ критическія минуты при началь новаго царствованія. Когда кончилась ссылка и Пушкинъ вернулся въ Петербургъ, ихъ отношенія стали еще тіснье, чемь бывали прежде: это быль испытанный другь и въ ту минуту единственный равносильный поэть; еще въ началъ 1820 года, когда Пушкинъ окончиль "Руслана и Людмилу", Жуковскій подариль ему свой портреть съ надписью: "ученику-побъдителю отъ побъжденнаго учителя". Лето и осень въ 1831 году Пушкинъ провелъ въ Царскомъ Селъ, гдъ жилъ тогда же Жуковскій, такъ какъ здъсь быль и дворъ по случаю холеры. Здъсь между Пушкинымъ и Жуковскимъ происходило извъстное поэтическое состязаніе въ сказкахъ: Жуковскій написаль тогда "Спящую царевну", "Сказку о царъ Берендеъ", "Войну мышей и лягушекъ", Пушкинъ — сказку "О попъ (переименованномъ послъ въ купца Остолопа) и его работникъ и сказку "О царъ Салтанъ"; вмъстъ они издали тогда и "Три стихотворенія на взятіе Варшавы"... По смерти Пушкина, когда дълалось изданіе его сочиненій, Жуковскій иногда исправляль ихъ...

И другой поэть изъ предшествовавшаго покольнія имъль свою долю въ образованіи таланта Пушкина: это быль Батюшковъ. Послъдній зналь семейство Пушкиныхъ, и юнаго поэта встрътиль въ первый разъ, повидимому, въ 1815 г. Но еще въ 1814 г. Пушкинъ адресоваль Батюшкову послані е съ поэтическими привътствіями къ парнасскому "счастливому дънивцу" и наперстнику аонидъ, и съ вызовами на новую широкую дъятельность и оканчиваль такъ:

Но что? Цввницею моею, Безвъстный въ мірѣ семъ поэть, Я пѣсни продолжать не смѣю. Прости — но помни мой совѣть: Доколѣ, музами любимый, Ты Піэридъ горишь огнемъ. Доколь, сраженъ стрълой незримой, Въ подземный ты не снидешь домъ, Мірскія забывай печали, Играй: тебя, младой Назонъ, Эротъ и граціи вѣнчали, А лиру строилъ Аполлонъ.

Второе посланіе къ Батюшкову, писанное въ 1815 г., является отвътомъ на предложение Батюшкова предпринять серіозный поэтическій трудъ и именно, простясь съ Анакреономъ, воспъть войны кровавый пиръ, по примъру Марона: Пушкинъ отклоняетъ трудную задачу, которая ему не по силамъ, и кончаетъ стихомъ, взятымъ изъ посланія Жуковскаго къ тому же Батюшкову: "будь всякій при своемъ"... Въ своихъ первыхъ поэтическихъ опытахъ Пушкинъ имълъ уже готовые и привычные образцы во французской поэзіи; но тъми же Вольтеромъ, Парни проч. увлекался въ свое время Батюшковъ, и весьма возможно, что его обработка этихъ образцовъ не осталась безъ вліянія на выборъ и манеру Пушкина. Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ есть несомнънные слъды подражаній Батюшкову. Пушкинъ высоко ставиль его заслугу въ обработкъ русскаго поэтическаго языка, и въ одной замъткъ 1824 г. считаетъ возможнымъ сказать: "Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова, сдълаль для русскаго языка то же самое, что Петрарка для италіанцевъ". Извъстенъ разсказъ, что въ 1828 году Пушкинъ написалъ въ альбомъ одного знакомца свое стихотвореніе "Муза", а на вопросъ, почему онъ его выбраль, отвъчаль: "я люблю его, оно отзывается стихами Батюшкова". Батюшковъ, съ своей стороны, уже вскоръ высоко оцъниль въ Пушкинъ то необыкновенное искусство формы, которой онъ самъ придавалъ такое значеніе, и которая, видимо, такъ легко давалась Пушкину. Какъ говорять, быстрые успъхи молодого поэта даже возбудили въ самолюбивомъ Батюшковъ нъкоторое соревнованіе, и что онъ судорожно сжаль въ рукахъ листъ бумаги на которомъ читалъ Пушкинское "Посланіе къ Юрьеву" (1818) г.), и сказаль: "О, какъ сталъ писать этотъ злодъй!... "Это показывало уже, какъ высоко ставилъ онъ дарованіе Пушкина; уже тогда Батюшковъ ссылался на его "чуткое ухо" и боялся только, чтобъ онъ не растратилъ своего дарованія въ разсвянной жизни: "да спасуть его музы да молитвы наши". Когда онъ познакомился съ отрывками "Руслана и Людмилы", онъ отзывался въ письмъ къ кн. Вяземскому, что Пушкинъ "пишетъ прелестную поэму и зръетъ", -- между тъмъ, какъ замъчаетъ біографъ Батюшкова, "поэма Пушкина упразднила собою всѣ давно ледъянные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведеніи съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины".

Позже, когда талантъ Пушкина созрълъ и содержание литературы расширилось, очень измънилось и мнъніе Пушкина о "наперсникъ аонидъ". Свидътельствомъ этого позднъйшаго мнънія остались сообщенныя недавно замътки Пушкина на на экземпляръ "Опытовъ" Батюшкова. Какъ полагаютъ, онъ перечитываль Батюшкова около 1826 г.: вся книга покрыта отмътками Пушкина, выражающими одобрение или неодобрение относительно цёлыхъ пьесъ и отдёльныхъ стиховъ. Заметки очень любопытны, и самая подробность ихъ свидътельствуетъ, что самому Пушкину какъ будто хотвлось провврить старыя впечативнія и отдать себв отчеть о томь, что остается двйствительно прекраснаго и прочнаго въ произведеніяхъ его прежняго любимца и учителя. Эта историческая повърка очень часто оказывалась не въ пользу Батюшкова, и очевидно, что въ ошибкахъ и слабыхъ сторонахъ поэзіи Батюшкова неръдко осуждались ошибки самаго періода литературы, къ которому онъ принадлежалъ, - имъ бывалъ причастенъ и самъ Пушкинъ въ его юношеской поэзіи.

Пушкина непріятно поражаетъ излишество подражанія, По поводу одного мадригала Батюшкова, онъ замъчаетъ:

"переведенное остроуміе — плоскость . По поводу "Моихъ пенатовъ" Батюшкова, гдъ по старому обычаю въ русскіе нравы замъшивалась классическая минологія, Пушкинъ замъчаеть: "Главный порокъ въ семъ прелестномъ посланіе есть слишкомъ явное смъщеніе древнихъ обычаевъ миоологіи съ обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальныя: христіанское воображеніи наше къ нимъ привыкло; но норы и кельи, гдъ лары разставлены, слишкомъ переносятъ насъ въ греческую хижину, гдв съ неудовольствіемъ находимъ столъ съ изорваннымъ сукномъ и передъ каминомъ — суворовскаго солдата съ двуструнной балалайкой. Это все другъ другу слишкомъ уже противоръчитъ". Въ другомъ случав онъ отмвчаеть какъ нелвпость: "сильваны, нимфы и наяды — межъ сыромъ выписнымъ и гамбургскимъ журналомъ!... Онъ много разъ отмъчаетъ у Батюшкова разныя неловкости, излишества, совсёмъ неудачныя подробности, и не однажды въ его замъткахъ стоитъ: "дурно", "вяло", "слабо", даже "пошло", "дрянь". Въ стихотвореніи Батюшкова "Отвътъ Гнъдичу" начальные стихи:

> Твой другь теб'в нав'вкъ отнын'в Съ рукою сердие отдаетъ,

вызываетъ объяснение Пушкина: "Батюшковъ женится на Гиъдичъ!"

Но въ другихъ случаяхъ Пушкинъ отмъчаетъ истинопоэтическія мъста, красивые обороты, удачные стихи. Напримъръ, къ тъмъ самымъ пенатамъ, въ которыхъ онъ находилъ
частные недостатки, онъ дълаетъ такое общее замъчаніе: "Это
стихотвореніе дышитъ какимъ-то упоеньемъ роскоши, юности
и наслажденія, слогъ такъ и трепещетъ, такъ и льется, гармонія очаровательна". О посланіи къ Жуковскому Пушкинъ
пишетъ: "Прекрасно, достойно блестящихъ и небрежныхъ
шалостей французскаго остроумія, — и вездъ языкъ поэзіи";
но о стихахъ, обращенныхъ къ гр. Віельгорскому, онъ ръщаетъ: "преглупая пьеса" и т. д.

Такъ, въ этихъ критическихъ замъткахъ Пушкина совершалось уже историческое опредъленіе литературныхъ фактовъ: указывалась ихъ цъна для своего времени, но указывалось и все устарълое, ложное, непригодное для настоящаго, устранялись не въ мъру восхваленные кумиры и извлекалось то, въ чемъ могъ быть источникъ живого литературнаго дъйствія. Эти взгляды Пушкина въ свое время только частію были высказаны въ печати, но и его неполныя и случайныя замътки свидътельствовали о новомъ, гораздо болъе чъмъ когданибудь прежде, высокомъ уровнъ исторической и художественной опънки, и открыта была дорога для систематической критики, а вмъстъ съ тъмъ для новаго литературнаго стиля было уже обязательно устраненіе устарълыхъ остатковъ XVIII въка.

Отношеніе Пушкина къ предшествующему литературному направленію.

Широкому литературному движенію, начавшемуся въ западныхъ литературахъ съ половины XVIII въка, въ нашей литературъ соотвътствовало подобное же, можетъ-быть, не столь глубокое, но не менъе запутанное и сложное движеніе, возникшее съ конца XVIII в. и продолжавшееся въ различныхъ фазисахъ до 30-хъ и даже отчасти 40-хъ гг. текущаго стольтія. Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ, и въ нашей литературъ это движение не было какимълибо подражаніемъ или заимствованіемъ: общность явленій указывала лишь на общность потребностей. Всюду, во всёхъ литературахъ, хотя въ различныхъ видахъ и формахъ, возникали одни и тъ же явленія, — обращеніе къ природъ и естественности чувства, требованіе отъ поэзіи и вообще литературы большей жизненной правды, большей поэтической искренности и реальности, стремление къ художественности, независимо отъ литературныхъ формъ, — даже пренебреженіе, открытая борьба противъ этихъ, такъ долго обязательныхъ, формъ, — съ другой стороны, недовольство общественными условіями, недовольство и результатами, полученными литературой "просвъщенія", и, позже, результатами совершившихся во Франціи политическихъ переворотовъ, общее разочарованіе и самоуглубленіе, — обращеніе, вследствіе недовольства настоящимъ, къ историческому прошлому, въ средне-въковой старинъ, къ преданіямъ народнаго прошлаго, къ національности, народной... Шаблонность предшествовавшей литературы всемъ

надовла; всвиъ хотвлось чего-нибудь простого, чего-нибудь своего, національнаго. Весь умственный горизонтъ Европы, всв европейскія литературы одинаково охвачены были одной общей широкой волной обновленія.

Съ конца XVIII в. и въ нашей литературъ наступаетъ переходная эпоха, — возникаетъ борьба стараго съ новымъ, или, выражаясь старыми терминами, борьба романтизма съ классицизмомъ. Переходность эпохи обозначается именами Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова — и кончается лишь съ именемъ Пушкина. Поэтическая дъятельность Пушкина явилась наиболъе полнымъ выраженіемъ литературныхъ стремленій эпохи.

Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ,—
и въ нашей движеніе являлось въ особыхъ, своеобразныхъ
формахъ, съ мъстными чертами и особенностями. Изъ политическихъ событій конца XVIII и начала XIX вв., для нашей
литературы особенно важной была, въ смыслъ общаго возбужденія, эпоха борьбы съ Наполеономъ и непосредственное
знакомство русскихъ съ Западомъ. Русская молодежь, пережившая это время, побывавшая на Западъ, — "не могла не
быть поражена тою скудостью мысли, тъмъ нищенствомъ
содержанія, которыя господствовали въ тогдашней русской
печати".

Когда въ русскихъ журналахъ стали появляться первыя стихотворенія Пушкина, литература наша представляла какой-то неопредъленный, смъшанный характеръ. Это всегда бываетъ съ эпохами переходными. Рядомъ съ именами Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова — шелъ длинный рядъ поэтовъ и писателей, которые еще продолжали "творить" напыщенныя оды, эпическія поэмы, героическія трагедіи. Реформы Карамзина въ слогъ вызвали цълую бумажную войну. Имя творца "Россіады" было окружено еще общимъ благовъніемъ. Правда, въ 1815 году, въ одной журнальной статьъ, одинъ молодой авторъ (П. М. Строевъ, въ то время студенть Московскаго университета) горячо доказываль, что "Россіада" недостойна тъхъ похваль, коими ее до сихъ поръ осыпали" и что вообще въ словесности весьма часто "имена бывають болье безсмертны, чъмъ творенія"; но въ томъ же году, въ другомъ журналь, извъстнымъ въ то время критикомъ и ученымъ (А. Ө. Мерзляковымъ, проф. Моск. унив.)

съ новыми соображеніями излагалось въ сущности прежнее мнъніе о величіи и безсмертности "Россіады"; въ концъ изслъдованія, ученый авторъ даже сравниваеть эту поэму съ храмомъ св. Петра и патетически восклицаетъ: "Какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени и въ буряхъ мнъній, — стоитъ "Россіада", огражденная неизмъннымъ своимъ величіемъ!... Вообще поклоненіе французскому классицизму было еще полное, и на это справедливо жаловались нъкоторые изъ тогдашнихъ нашихъ писателей. "Исключительная любовь къ французской словесности, пишетъ Батюшковъ въ одномъ письмъ въ 1814 г., неизлъчима: она выдержала всевозможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ". Исключительное господство и въ литературъ и обществъ ложноклассическихъ теорій поддерживалось и наукой: въ лекціяхъ университетскихъ профессоровъ (собственно Московскаго университета) попрежнему развивалось и доказывалось важное значеніе французскихъ классическихъ правилъ и обязательность ихъ для поэтическихъ произведеній. Ослъпленіе укоренившимися теоріями было настолько сильное, что за нимине замъчали, или не хотъли замъчать новыхъ явленій въ литературъ, или старались взглянуть на нихъ по-своему, съ точки зрвнія техъ же теорій. Тоть же Мерзляковь, въ одной изъ журнальныхъ статей, въ 1817 году, доказывалъ, что успъхъ комической оперы Аблесимова "Мельникъ" зависълъ не отъ того, что она, какъ думали тогда нъкоторые, - "сочинена въ русскихъ нравахъ", а долженъ быть объясняемъ исключительно тъмъ обстоятельствомъ, что опера составлена съ строгимъ сохраненіемъ всёхъ законовъ кассической драмы, что она вполн боправдывает в собою эстетические законы Аристотеля, наставленія Горація, Буало, и вообще всё правила науки о вкусё...

Уже въ самомъ первомъ своемъ стихотвореніи, напечатанномъ въ "Въстн. Европы" 1814 г. въ іюльской книжкъ, — пятнадцатилътній авторъ, въ то время еще лицеисть, въ довольно яркой картинъ рисуетъ общую бездарность большинства тогдашнихъ піитовъ и преобладающій безсодержательный характеръ современной литературы. Обращаясь къ одному изъ такихъ піитовъ, 15-лътній поэтъ говорить:

Аристь! И ты въ толпъ служителей Парнаса! Ты хочешь осъдлать упрямато Петаса; За лаврами спъпишь опасною стезей,

И съ строгой критикой вступаещь смёло въ бой! Аристь, повърь ты мнь, оставь перо, чернила, Забудь ручьи, льса, унылыя могилы, Въ холодныхъ пъсенкахъ любовью не пылай; Чтобъ не слетъть съ горы, скоръе внизъ ступай! Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будеть; Ихъ напечатають — и цълый свъть забудеть. Быть можеть, и теперь, оть шума удалясь И съ глупой музою на въкъ соединясь, Подъ сѣнью мирною Минервиной эгиды Сокрыть другой отець второй Телемахиды. Страшися участи безсмысленныхъ пъвцовъ, Насъ убивающихъ громадою стиховъ! Потомковъ позднихъ дань поэтамъ справедлива: На Пиндъ лавры есть, но есть тамъ и кропива. Страшись безславія! Что, если Апполлонь, Услышавъ, что и ты полъзъ на Геликонъ, Съ презръньемъ покачавъ кудрявой головою, Твой геній наградить — спасительной лозою?...

Аристь, не тоть поэть, кто риемы плесть умѣеть И, перьями скрипя, бумаги не жалѣеть; Хорошіе стихи не такъ легко писать, Какъ Витгенштейну французовъ побъждать. Межь тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, Пѣвцы безсмертные и честь и слава россовъ, Питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ, Сколь много гибнетъ книгъ, на свѣтъ едва родясь! Творенья громкія Риематова, Графова, Съ тяжелымъ Бибрусомъ гніютъ у Глазунова; Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ вздоръ читать, И Фебова на нихъ проклятія печатъ.

Указывая на общую страсть къ стихамъ, — поэтъ-сатирикъ съ сожалъніемъ замъчаетъ:

Проводить тихій в'вкъ безъ горя, безъ заботы, Своими одами журналовъ не тягчитъ И надъ экспромитами недъли не сидитъ...

Представительницей продолжавшаго все еще преобладать въ нашей литературъ ложноклассическаго направления была въ то время у насъ "Бесъда любителей русскаго слова", основанная въ 1811 г. Шишковымъ и Державинымъ и существовавшая до 1816 г. Пушкинъ уже въ Лицев является ярымъ противникомъ "Бесъды". Въ 1816 г., въ лицейскомъ письмъ къ Вяземскому, Пушкинъ, называя "Бесъду люби-

телей"— "Бесъдою губителей россійскаго слова",— шутя нишеть ему:

> Блаженъ, кто съ добрыми друзьями Сидитъ до ночи за столомъ И надъ словенскими глупцами Смъется русскими стихами...

Въ другомъ своемъ лицейскомъ стихотворени, говоря, что онъ ръшился выбрать литературное поприще, и обращаясь за благословениемъ къ Жуковскому, молодой поэтъ предчувствуетъ нападки на себя со стороны "дружинъ" Бесъды, но смъло заявляетъ:

Что нужды? Смѣло вдаль дорогою прямою: Ученью руку давъ, поддержанный тобою Ихъ злобы не страшусь; мнѣ твердый Карамзинъ, Мнѣ ты примѣръ! Что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ? Пускай бесѣдуютъ отверженные Феба: Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ неба; Ихъ слава — имъ же стыдъ, творенья — смѣхъ уму, И въ тьмѣ возникшіе низвергнутся во тьму.

И въ позднъшихъ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ неръдко подсмъивался надъ правилами ложноклассическихъ теорій. Такъ, въ І главъ "Евгенія Онъгина" поэтъ шутя объщаетъ написать "поэму пъсенъ въ двадцать пять"; въ концъ VII главы того же романа онъ пародируетъ приступы эпическихъ поэмъ:

. . . Здёсь съ побёдою поздравимъ Татьяну милую мою И въ сторону свой путь направимъ, Чтобъ не забыть, о комъ пою... Да кстати, здёсь о томъ два слова: Пою пріятеля младова И множество его причудъ Благослови мой долгій трудъ, О ты, эпическая муза! И върный посохъ мнъ вручивъ, Не дай блуждать мнъ вкось и вкривь. Довольно. Съ плечъ долой обуза, Я классицизму отдалъ честь. Хотъ поздно, а вступленье есть.

Въ очеркъ "Домикъ въ Коломнъ" поэтъ подсмъивается надъ александрійскимъ стихомъ, излюбленнымъ стихомъ "пудреной піитики", и тутъ же указываеть на столкновеніе двухъ

литературных теорій, прежней и новой: стих этоть, говорить поэть,

... вынянчень быль мамкою не дурой: За нимъ смотрълъ степенный Буало, Шагалъ онъ чинно, стянуть быль цезурой; Но пудреной пінтикъ на зло Растрепанъ онъ свободною цензурой. Ученіе не въ прокъ ему пошло: Hugo съ товарищи, друзья натуры, Его гулять пустили безъ цезуры. О, что бъ сказалъ поэтъ-законодатель, Гроза несчастныхъ мелкихъ риемачей! И ты, Расинъ, безсмертный подражатель, Пъвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей! И ты, Вольтеръ, философъ и ругатель, И ты, Дедиль, парнасскій муравей, Что бы вы сказали, сей соблазнъ увидя? Нашъ въкъ обидъдъ васъ, вашъ стихъ обидя!

Поэтъ смъется надъ требованіями современными критика ми торжественности въ пъснопъніи, возвышенныхъ предметовъ для литературныхъ сюжетовъ, — "героевъ" двора, знати, выс-шаго общества:

Какой вы стретій литераторъ!

восклицаетъ поэтъ:

Вы говорите, критикъ мой,
Что ужъ коллежскій регистраторъ
Никакъ не долженъ быть герой,
Что выборъ мой всегда ничтоженъ,
Что въ немъ я страхъ неостороженъ,
Что долженъ дать себъ поэтъ
Всегда возвышенный предметъ,
Что въ спискахъ пълаго Парнаса
Героя нътъ такого класса...

И это не было одной шуткой. Отождествляя торжественность съ вдохновеніемъ, — сторонники господствовавшихъ литературныхъ традиціи были крайне недовольны самой формой Пушкинской поэзіи, разлитой въ ней веселостью и реальностью содержанія. Многіе изъ современныхъ критиковъ были недовольны легкимъ, веселымъ сюжетомъ, напр., "Евгенія Онъгина". Пушкину приходилось серіозно защищаться и серіозно говорить, напр., слъдующее: "Ужели хотятъ изгнать

все легкое и веселое изъ области поэзіи? Куда же дѣнутся сатиры и комедіи? Слѣдственно должно будетъ уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраза, и Pucelle, и Веръ-Вера, и Рейнеке-Фуксъ и лучшую часть "Душеньки", и сказки Лафонтена, и басни Крылова и проч. и проч. Это немного строго"...

На господствующее пристрастіе въ современной литературъ къ французскимъ образцамъ Пушкинъ иногда указывалъ и въ своихъ позднъйшихъ критическихъ статьяхъ и замъткахъ. Онъ видълъ въ этомъ главную причину бъдности нашей литературы. Ему кажется довольно страннымъ, что, младенческая наша словесность, ни въ какомъ родъ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успъла немногими опытами притупить вкусъ читающей публикъ" — и продолжаеть: "французская словесность, встмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая, въроятно, причиною сего явленія". Онъ съ сожальніемъ замьчаетъ, что воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все, что не подходить подъ ея законы"... Во многихъ современныхъ произведеніяхъ поэть видить одно — "жеманство ложно-классицизма французскаго... Общее пристрастіе къ укоренившимся правиламъ и формамъ вызываетъ у него даже безнадежное замъчаніе: "нововведенія опасны и, кажется, не нужны"...

Съ представителями "Бесъды" и вообще со всею старою литературною школою Пушкинъ расходился самымъ взглядомъ на сущность и задачи литературы. Мы позволимъ себъ съ нъкоторой подробностью остановиться на этихъ литературныхъ мнъніяхъ нашего поэта; ихъ мало касались раньше. Взгляды Пушкина въ этой сферъ были совершенно другіе, чъмъ взгляды "пудреной піитики" продолжавшей еще привлекать литературные вкусы. "Пѣснопъвческое" направленіе продолжало еще оставаться довольно сильнымъ. Кто бы что ни писалъ, — онъ пълъ, а не писалъ. Нъкоторыя изъ страницъ "Записокъ" И. И. Дмитріева, гдъ онъ описываетъ "лучшій свой піитическій годъ", хорошо знакомить насъ съ тъмъ узкимъ, ограниченнымъ горизонтомъ, котораго было совершенно достаточно, чтобы вдохновить современнаго сентиментальнаго поэта и дать ему возможность "запастись матеріа-

лами" для будущихъ его произведеній; одна недвля пути могла обогатить такого поэта "запасомъ идей и картинъ, по крайней мъръ, на полгода..." Содержаніе поэзіи было, по преимуществу, идиллическое. Заботились только о формъ. Говоря о первомъ періодъ своего стихотворства, Дмитріевъ замъчаетъ: "Вся моя забота (тогда) была только о томъ, чтобъ стихи мои были менъе шероховаты, чъмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую рнему я считалъ красотой и совершенствомъ поэзіи..." Основнымъ началомъ творчества поэзіи, по правиламъ ложноклассической теоріи, считался безотчетный восторгъ, которымъ внезапно плъняется умъ, и который чаще всего на помощь призывалъ реторику...

На поэтическое творчество Пушкинъ смотрълъ иначе. На мъсто восторга онъ ставить сознательный, спокойный трудъ, соединенный съ вдохновеніемъ, столь же сознательнымъ и спокойнымъ; трудъ является необходимымъ условіемъ истинновеликаго. "Вдохновеніе, писалъ Пушкинъ, есть расположеніе души къ дальнъйшему принятію впечатльній и соображенію понятій, слъдственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ спокойствіе, необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаеть силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цълому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слъдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмъримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нътъ истинно великаго. Близость нашего поэта, въ этомъ опредъленіи поэтическаго вдохновенія, со взглядами В. Гумбольдта, въ его "Эстетическихъ опытахъ" очевидна. Въ словахъ Чарскаго, обращенныхъ къ импровизатору (въ "Египетскихъ ночахъ") Пушкинъ съ чрезвычайной ясностью опредъляеть послъдовательность процесса поэтическаго творчества. "Какъ! восклицаетъ Чарскій: чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, какъ будто вы съ нею носились, лелъяли, развивали ее безпрестанно? Итакъ для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое предшествуєть вдохновенію?... "Трудъ" и "вдохновеніе были двумя главными и постоянными факторами поэтической дъятельности Пушкина. "Тихій трудъ", "жажда размышленій", "вниманіс долгихъ думъ", — вотъ чёмъ питался его "своенравный геній", и вотъ для чего поэтъ всю жизнь свою стремился "въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравнъ"... Позія должна "питать здравый умъ", и ближайшимъ союзникомъ музъ долженъ быть разумъ:

Да здравствують музы, да здравствуеть разумь! — восклицаеть поэть, и восклицаніе это, какъ справедливо замічено, иміжло въ устахъ Пушкина, особый глубокій смысль. По единогласному свидітельству людей, очень близко знавшихъ поэта, — за исключеніемъ нісколькихъ первыхъ літь его жизни, проведенныхъ имъ совершенно безплодно и о которыхъ онъ съ такимъ раскаяніемъ вспоминаль посліт — никто такъ не трудился надъ своимъ образованіемъ, какъ Пушкинъ. Понятно поэтому его сожалітніе, что — мало у насъ писателей, которые "учатся"; большая часть только "разучивается"... Архангельскій.

Духовная организація Пушкина.

"Поэзія бываеть исплючительно страстью немногихъ, родившихся поэтами: она объемлеть и поглощаеть всв наблюденія, всь усилія, всь впечатльнія ихъ жизни .. Пушкинъ быль вправъ такъ говорить, потому что онъ на себъ испыталъ и провърилъ все это. Если мы прослъдимъ по его словамъ развитіе въ немъ литературнаго поэтическаго дарованія, то мы убъдимся, что онъ широтой и глубиной своего таланта превосходиль всёхь своихь современниковь. Въ самомъ дёлё, не напрасно лучшій біографъ Пушкина останавливаеть наше вниманіе на томъ, что "языкъ поэзіи быль его природный языкъ, данный ему вмъстъ съ жизнью": поэтическія грезы, крылатыя мечты и міръ фантазіи были знакомы ему съ младенческихъ лътъ; душа его и воображение уже съ ранняго дътства работали надъ усвоеніемъ окружающей дъйствительности, которую мы потомъ сами познали и оцвнили изъ чудныхъ созданій его поэтическаго генія, мы сами вследъ за Пушкинымъ перестали смъяться надъ нашей жизнью, утомившись отъ чрезмърнаго смъха, вызваннаго сатирой Кантемира, Сумарокова, Фонвизина, сатирой журналовъ XVIII в., Капниста, басенъ и Грибоъдова; мы отдохнули на типахъ поэзіи Пушкина и узнали свою жизнь съ другой стороны въ лицѣ Евгенія Онѣгина, Татьяны, капитанской дочки и многихъ другихъ. Эту художественную переработку впечатлѣній дѣйствительности Пушкинъ называлъ "вымыслами" въ извѣстномъ смыслѣ и душою любилъ плоды своихъ думъ и чувствъ, говоря намъ о нихъ:

И вѣдаю, мнѣ будуть наслажденья Межъ горестей, заботь и треволненья. Порой опять гармоніей упьюсь, Подъ вымысломъ слезами обольюсь, И, можетъ-быть, на мой закать печальный Блеснеть любовь улыбкою прощальной. (Элегія. 1830.)

Это было сказано, какъ и все другое у Пушкина, совершенно искренно: безграничная любовь къ своему дълу — поэзіи наполняла всю его жизнь и дълала его счастливымъ. Сравните, напр., съ этимъ сказанное имъ еще въ 17 лътъ:

> Нътъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье.— И въ жизни сей мил будет во утпиенъе Мой скромный даръ и счасте друзей! (Къ Горчакову. 1816.)

Пушкинъ своимъ же геніальнымъ чутьемъ чувствовалъ, что его искреннее увлеченіе поэзіей вызоветь въ насъ такую же искреннюю и сильную любовь къ нему. Его глубокая преданность поэзіи и высокое мнѣніе о вдохновеніи сдѣлали изъ него строгаго судью и критика нашей литературы. Мы видимъ, что прежде, чѣмъ сдѣлаться писателемъ, онъ уже былъ поэтомъ, поэтомъ въ душѣ: такъ, въ 15 лѣтъ онъ пишетъ къ сестрѣ:

Фантазія, тобою Одной я награждень! И въ кель'ь я блажень! (Къ сестр'ь. 1814.)

Въ этомъ же возрастъ, будучи ученикомъ лицея, онъ пишетъ:

Когда же на закатѣ Послѣдній лучь зари Потонеть въ яркомъ златѣ, И свѣтлые цари Спускающейся нощи Плывутъ по небесамъ, И тихо дремлютъ рощи, И шорохъ по лѣсамъ—

Мой геній невидимкой Летаеть надо мной, И я въ тиши ночной Сливаю голосъ свой Съ пастушьею волынкой.

(Городокъ. 1814.)

Черезъ годъ, въ 16 лътъ, Пушкинъ опять говоритъ намъ о томъ, что ему уже съ дътства знакомо вдохновеніе:

Веселый сынъ Эрмія Ребенка полюбиль. Въ дни рѣзвости златые Мнѣ дудку подарилъ, Знакомясь съ нею рано, Дудилъ я безпрестанно; Нескладно хоть игралъ, Но музамъ не скучалъ.

(Къ Батюшкову. 1815.)

Отъ этого же года сохранились другія слова Пушкина:

Главою на руку склоненъ, Въ забвеніи глубокомъ, Я въ сладки думы погруженъ На ложъ одинокомъ; Съ волшебной ночи темнотой, При мъсячномъ сіяньъ, Слетають рызвою толпой Крылатыя мечтанья... Нашель въ глуши я мирный кровъ И дни веду смиренно; Дана мню лира от богова, Поэту даръ безцѣнный; И муза върная со мной: Хвала тебъ, богиня! Тобою красень домикъ мой, И дикая пустыня. На слабомъ утръ дней златыхъ Пъвца ты осънила, Вънкомъ изъ миртовъ молодыхъ Чело его покрыла, И, горнимъ свътомъ озарясь, Влетала въ скромну келью, И чуть дышала, преклонясь, Надъ дътской колыбелью.

(Мечтатель 1815.)

Въ теченіе всей своей жизни Пушкинъ, оставаясь наединъ, часто погружается въ сладкія думы, въ невольныя поэтиче-

скія грезы, и это состояніе было его дюбимымъ; мы видимъ, что онъ страстно любилъ предаваться своимъ мечтамъ; въ 17 лътъ онъ опять пишетъ:

Я трепеталь, и тихо, наконець,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порывъ сладкихъ думъ
Въ глупи лъсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встръчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней —
И въ вымыслахъ носился поный умъ...

(Сонъ. 1816.)

Мы видимъ такую редкую впечатлительность мальчика-Пушкина, какая можетъ быть только у больного или разстроеннаго ребенка, а между тъмъ это состояніе сладких дума, эта жизнь въ средъ поэтическихъ образовъ, эти крылатыя мечты были обыкновеннымъ и нормальнымъ состояніемъ у Пушкина; никто изъ его біографовъ не указываетъ намъ на его разстроенное здоровье въ дътствъ, никто не говоритъ о слабости его организма, напротивъ, мы знаемъ о его здоровьъ совершенно обратное, а между тъмъ стоило только нянъ его разсказать ему на сонъ грядущій одну-другую сказку, какъ нашъ вдохновенный мальчикъ начиналъ еще и наяву и во сиъ грезить: для него начиналась другая жизнь, и онъ страстно любилъ эту жизнь, это одиночество съ поэтическимъ настроеніемъ: свои думы онъ вездъ называетъ "сладкими". Мы должны признать у Пушкина врожденный вкусь и чутье изящнаго: онъ самъ говорить "Дельвигу" въ 18 лътъ:

> О милый другь, и мнѣ богини пѣснопѣнья Еще въ младенческую грудь Вліяли искру вдохновенья И тайный указали путь. Я мирных звуков наслажденья Младенчемъ чувствовать умълъ, И лира стала мой удълъ.

(Дельвигу. 1817.)

Когда посъщало его божество — вдохновеніе (срв. вдохновеніе Чарскаго — Пушкина въ "Египетскихъ ночахъ"), онъ весь перерождался, онъ чувствовалъ приближеніе этого сладостнаго

состоянія, это быль особый психическій процессь, сопровождавшійся возбужденіемь всего организма. Въ самомъ дълъ, еще 19-лътнимъ юношей Пушкинъ по своему опыту такъ изображаетъ вдохновеніе передъ Жуковскимъ:

Когда смѣняются видѣнья Передъ тобой въ волшебной мглѣ, И быстрый холодъ вдохновенья Власы подъемлеть на челт: Ты правъ: творишь ты для немногихъ... Священной истины друзей.

Далъе онъ восклицаеть:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье Высокихъ мыслей и стиховъ, Кто наслажденіе прекраснымъ Въ прекрасный получилъ удѣлъ... (Жуковскому. 1818.)

Здёсь мы узнаемъ въ Пушкинъ артиста, глубокаго поклонника всего прекраснаго, чистаго художника. Это произведение справедливо навело на всъхъ современниковъ какой-то невъдомый трепетъ, чувствовалась невидимая сила, созидающая и вмъстъ сокрушающая. Кн. Вяземскій по поводу этого стихотворенія писалъ Жуковскому изъ Варшавы отъ 25 апръля 1818 г.: "Стихи чертенка-племянника чудесно хороши!... Какая бестія! Надобно намъ посадить его въ желтый домъ: не то, этотъ бъщеный сорванецъ наст всюхт запъстъ, наст и отщовт нашихъ..."

Послъ этого мы начинаемъ невольно върить, что Пушкинъ въ моменты вдохновеннаго состоянія прозръвалъ и понималъ то, что другимъ людямъ не было доступно: онъ тогда могъ говорить о себъ:

И внялъ я неба содроганье, И горній ангеловъ полеть, И гадъ морскихъ подводный ходъ, И дольней лозы прозябанье...

(Пророкъ. 1826.)

Очень естественно, что Пушкинъ преобразовался въ моменты вдохновенія и бъжаль отъ людей и толпы, чтобы ктонибудь не нарушиль его состоянія:

Но лишь божественный глаголь До слуха чуткаго коснется,

Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орель... Бъжить онь, дикій и суровый, И звуковь и смятенья полнь, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы.

(Поэтъ. 1827.)

Вотъ его состояніе вдохновенія, вотъ тотъ исихологическій процессь, который намъ переданъ самимъ поэтомъ, испытывавшимъ это настроеніе, и мы понимаемъ, благодаря этому, почему Пушкинъ такъ строго относился къ тѣмъ, кто писалъ не по вдохновенію, кто не былъ настоящимъ поэтомъ, почему, наконецъ, онъ *гнал*ю отъ себя тѣхъ, кому непонятна святость и возвышенность поэтическаго творчества и вдохновенія. Пушкинъ еще 15-лѣтнимъ мальчикомъ бросилъ укоризненную фразу по адресу людей, у которыхъ не было художественнаго дарованія и таланта:

Аристъ, не тотъ поэтъ, кто риомы плесть умѣетъ И, перьями скрипя, бумаги не жальетъ; Хорошіе стихи не такъ легко писать...

(Къ другу-стих. 1814.)

Въ одномъ стихотвореніи Пушкинъ въ 22 года вводить насъ въ самый процессъ своего творчества, излагаетъ передъ нами, како онъ еще неопытной рукой въ дътствъ дълалъ первые шаги въ творчествъ, увлекаемый страстью къ поэзіи; обращаясь къ намъ, онъ говоритъ о своей музъ:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила И семиствольную цъвницу мнъ вручила;
Она внимала мнъ ст улюбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывало я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Ст утра до вечера вт нъмой тъни дубровт
Прилежно я внималъ уроки дъви тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изт рукъ моихъ свирълъ она брала;
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.
(Муза. 1821.)

Воть какъ учатся даровитые ученики поэтической музы, воть что они считають для себя высшей наградой!...

Наконець, въ томъ же году, обращаясь къ своей бабушкъ, поэтъ говоритъ:

Ты, дётскую качая колыбель, Мой юный слухъ напёвами пленила И межъ пеленъ оставила свирёль, Которую сама заворожила (Наперсница волшебной старины. 1826.)

Такой полноты автобіографическихъ св'єдіній не оставиль намъ ни одинъ писатель, въ особенности по вопросу о своемъ талантъ.

Будде.

Прежде всего мы видимъ въ Пушкинъ натуру артистическую. Ея типическія черты въ немъ выразились особенно полно. Отличительное свойство этой натуры есть преобладающее, врожденное стремленіе къ изящному; въ ней всъ впечатльнія отъ жизни перерабатываются въ художественные образы; всъ идеи, надъ которыми работаетъ умъ, переходятъ въ чувство и вызываютъ творческую дъятельность фантазіи.

Сильная впечатлительность есть какъ бы основание артистической натуры; отсюда способность быстро поддаваться чувствамъ, всёмъ увлекаться до страсти, переходить отъ увлеченія къ новому увлеченію, съ которыми въ то же время могуть уживаться и сильныя глубокія чувства. Артистическая наклонность иногда кажется легкомысленною оттого, что одни впечатленія уступають мёсто другимь, которыя быстро овладъвають душой и дълаются въ ней какъ бы господствующими, но не надолго: имъ снова готова и смъна: но они не забываются, время отъ времени снова возникають и въ чувствъ и въ фантазіи и преобразовываются, какъ бы очищенныя, въ поэтическій образъ. Эта сміна не мінаеть преслідовать и одинъ и тотъ же образъ, одну и ту же идею, которые могутъ быть главнымъ содержаніемъ духовной жизни. Петрарка въчно мечталь о своей Лауръ, но это не мъщало ему увлекаться другими женщинами. Данте молился на свою Беатриче, хотя не закрывалъ глазъ и передъ другими красавицами.

Артистическая натура любить жизнь не въ отвлеченной мысли, не въ теоріи, а въ чувствахъ, въ реальномъ представленіи. Жить по теоріи она не можетъ; впечатлѣнія безпрестанно увлекають ее за тѣ предѣлы, которые другими называются предѣлами благоразумія; она отдается вполнѣ жизни, въ какомъ бы видѣ та ни представлялась. О ней можно сказать то же, что Пушкинъ сказалъ о нѣкоторыхъ минутахъ жизни поэта:

Изъ всёхъ дётей ничтожныхъ міра, Быть можеть, всёхъ ничтожнёй онъ.

Артистическая натура легко впадаетъ въ крайности, за которыя часто приходится платится страданіями и несчастіями; но грязь жизни не пристаетъ къ ней, хотя минутами эта жизнь и можетъ казаться неприглядною. Ее спасаютъ тѣ художественные образы, которые вырабатываются въ глубинѣ души и которые вызываютъ къ другимъ и высшимъ стремленіямъ. Обстоятельства жизни направляютъ артистическую натуру или къ постоянной мечтательности, или къ раздраженію, или къ восторгамъ; горе и радость представляются ей въ преувеличенномъ видѣ: довольно пустого обстоятельства, чтобъ она воспламенилась гнѣвомъ, довольно и простого дружескаго участія, чтобъ она утѣтилась.

Наблюдательность, замѣтная въ произведеніяхъ ея фантазіи, мало приносить ей пользы въ практической жизни. Артистическую натуру обыкновенно упрекають въ непрактическихъ предпріятіяхъ, хотя нерѣдко увлекается ими; ея блестящіе расчеты въ началѣ дѣла потомъ оказываются невѣрными. Эти типическія черты въ иныхъ натурахъ усиливаются, въ иныхъ ослабляются подъ вліяніемъ другихъ особенныхъ свойствъ, которыя найдутся въ каждой личности.

Что касается Пушкина, то, кромъ того, мы должны назвать его натурой геніальной. У нея есть также свои типическія черты, и въ этомъ случать между встми геніальными личностями есть высшее духовное родство. До Пушкина русская исторія представляєть намъ двухъ несомнтно геніальныхъ людей — Петра Великаго и Ломоносова. Поставимъ рядомъ съ ними Пушкина, и онъ ничего не проиграетъ отъ сравненія. Во встхъ ихъ мы замъчаемъ не только необыкновенныя при-

родныя силы души, какъ быстрый, все охватывающій умъ, страстность, но и особенную способность направлять всъ эти силы на то дъло, которое намъчено, какъ задача жизни. Геній не можетъ довольствоваться тёснымъ кругомъ дёятельности: къ ней его вызывають потребности всего народа, которыя, можетъ-быть, большинствомъ и не сознаны, но угаданы даровитъйшей натурой изъ его среды. Геній видитъ не только то, что есть въ жизни, и чемъ другіе должны довольствоваться; онъ хочетъ видъть и то, чего въ ней пока нътъ, но что должно быть, для того, чтобы дать ей новыя жизненныя силы и двинуть ее впередъ. Онъ проникается новымъ идеаломъ и всегда такимъ, который создается изъ впечатленій действительной жизни и является, какъ отзывъ на истинную ея потребность. Полная увъренность въ его жизненности въ страстной натуръ генія обращается въ такую силу, которая обыкновенно удивляетъ всъхъ. Она проявляется и въ борьбъ противъ препятствій, и въ собственныхъ созданіяхъ, и даже въ неудачахъ. Геній упоренъ въ своихъ идеяхъ и замыслахъ, и въ то же время гордъ въ сознаніи своего призванія. Но онъ же считаеть себя и слугою народа, только изъ личностей не создаетъ себъ KYMUPOBBYO ARECTOS ACCIONACIONAZO O CARTOS

Всвхъ этихъ чертъ никто не будетъ отрицать ни въ Петрв Великомъ ни въ Ломоносовъ. Ихъ мы находимъ въ Пушкинъ. Его геніальная натура сдёлала рёзче всё тё черты, которыя составляють натуру артистическую. Память его необыкновен. ная, остроуміе — изумительное, сила творчества — неизмъримая; его обширный умъ освъщалъ ему цъль и значение искусства, которому онъ отдавался, какъ истинный артистъ. Поэзія была исключительной сферой его даятельности; но съ нею онъ связаль высшія задачи жизни. Въ поэзіи онъ нашель одну изъ общественныхъ силъ, которая должна пробуждать лучшія чувства въ народъ, слъдовательно и нравственно образовывать и вызывать возвышенныя стремленія духа. Онъ угадываль, что чрезъ поэзію можно проводить въ разрозненные классы народа сознаніе единства, въ которомъ и заключается нравственная народная сила. Его страстность давала ему силы и въ трудахъ, и въ борьбъ, выпавшей ему на долю. Онъ ясно сознаваль свое высокое призваніе, честно относился къ нему и гордо смотрълъ на враговъ своего дъла. Благодаря силъ своего духа, онъ во всемъ оригиналенъ - и въ трудахъ, и

въ мысляхъ, и въ обыкновенной жизни, и въ юношескихъ шалостяхъ, и въ любви, и въ гнѣвѣ, и даже какъ жертва чужой силы. Его многіе не любили, многіе осуждали, многіе боялись, но всѣ уважали эту самостоятельную и открытую личность.

Въ геніальной артистической натуръ Пушкина была еще одна исплючительная особенность, которую онъ самъ считаль зломъ для себя и за которую ему приходилось дорого платиться — это несчастное наслёдство, доставшееся ему отъ его прадъда по матери — арабская кровь, которая превратила въ вулканъ пылкій темпераменть геніальной натуры. Она кипъла, бурлила и клокотала, особенно когда ему казалось, что затрогивалась его честь. Обыкновенно благоразумный въ спокойныя минуты, все представляющій себ'в ясно въ минуты творчества, онъ терялъ разсудокъ въ приливъ страсти: она переходила у него въ бъщеные порывы, и онъ дълалъ безразсудства, если бы кто-нибудь изъ друзей не успъвалъ охладить его ръзкими словами и даже бранью. Поэтъ сознаваль въ себъ этотъ недостатокъ, но никогда не могъ съ нимъ справиться. Въ эти минуты борьба съ собою безъ чужой помощи для него была невозможна. Арабская кровь нарушала миръ его души, раздвояла его, ставила въ противоръчіе съ самимъ собою. Она составила его судьбу. Подобно трагическому герою, онъ бородся съ нею и, наконецъ, палъ ея жертвою, Къ нему можно примънить его собственныя слова о геніи: "Геній имъетъ свои слабости, которыя утъщають посредственность, но печалять благородныя сердца, напоминая имь о несовершенствъ человъчества; независимость и самоуваженіе одни насъ могутъ выносить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы". Стоюнинг.

Нравственный обликъ Пушкина.

Поэтъ съ многогранною душой — Пушкинъ былъ не только геніальнымъ художникомъ, но и великимъ явленіемъ жизни русской. Въ признаніи именно такого его значенія сходится между собою, — съ различныхъ точекъ зрънія, — Гоголь, Бълинскій и Достоевскій. Но великія явленія, какъ въ области

правственной природы, такъ и въ области природы физической, имъютъ одно общее свойство: при нихъ никогда нельзя сказать, что они изучены окончательно. Ихъ глубокое значеніе, ихъ сила и воздъйствіе на окружающее никогда не раскрываются вдругъ и сразу. Поэтому и Пушкинъ — несравненный выразитель коренныхъ началъ народнаго духа, могучій и вдохновенный ковачъ родного языка, мыслитель и пъвецъ, историкъ и гражданинъ — представляетъ неисчерпаемый матеріалъ для изученія. Въ его духовной природъ, по мъръ созръванія и расширенія русской мысли, по мъръ болъе близкаго знакомства со всъмъ, что къ нему относится, — открываются все новые горизонты. Этимъ онъ походитъ на своего любимаго историческаго героя, — на великаго Петра.

Съ него начинается у насъ литература въ ея настоящемъ значеніи — выразительницы свойствъ и потребностей общества и провозвъстницы его упованій. Какую бы стороиу ея ни изслъдовать, приходится почти всегда подняться, вверхъ по теченію, къ Пушкину. Ему ничто не было чуждо; его трезвый, проникновенный и свободный отъ исключительности умъ, вооруженный геніальною силою выраженія, отзывался на всъ проявленія и вопросы окружающей жизни и сыпалъ искры при каждомъ ея прикосновеніи, а его глубокая любовь къ ро динъ, исполненная чувства, но чуждая чувствительности, заставляла его вникать во всъ условія ея быта и исторіи. Полонскій справедливо сказаль о немъ: "Это геній — все любившій, все въ самомъ себъ вмъстившій..."

Пушкинъ былъ исполненъ чувства и исканія правды. Но въ жизни правда проявляется, прежде всего, въ искренности въ отношеніяхъ къ людямъ, въ справедливости при дъйствіяхъ съ ними. Тамъ, гдѣ идетъ дѣло объ отношеніи цѣлаго общества къ своимъ сочленамъ, объ ограниченіи ихъличной свободы во имя общаго блага и о защитъ правъ отдѣльныхъ лицъ — эта справедливость должна находить себѣ выраженіе въ законодательство, которое тѣмъ выше, чѣмъ глубже оно всматривается въ жизненную правду людскихъ потребностей и возможностей,— и въ правосудіи, осуществляемомъ судомъ, который тѣмъ выше, чѣмъ больше въ немъживого, а не формальнаго отношенія къ личности человѣка. Вотъ почему — justitia fundamentum regnorum! Но право и нравственность не суть чуждыя или противоположныя одно

другому понятія. Въ сущности источникъ у нихъ общій, и дъйствительная ихъ разность должна состоять, главнымъ об-разомъ, въ принудительной обязанности права въ сравненіи съ свободною осуществимостью нравственности. Отсюда связь правовыхъ возэръній съ нравственными идеалами. Чъмъ она тъснъй, тъмъ больше обезпечено разумное развитие общества. Право имъетъ однако свой писанный кодексъ, гдъ указано, что можно и чего нельзя. У нравственности такого кодекса быть не можеть — и отыскивая, что надо сдълать въ томъ или другомъ случав, человъку приходится вопрошать свою совъсть. Внутренній голось, называемый совъстью, истекаеть у многихъ людей изъ началъ, невидимо, но неразрывно связанныхъ съ върою, съ религіознымъ ихъ строемъ. Въ этомъ голосъ имъ слышится выражение воли высшаго существа, сознаніе связи съ которымъ и отвътственности передъ которымъ такъ поднимаетъ и укръпляетъ душу многихъ въ минуты житейскаго смятенія. Нравственныя начала, черпая свои силы въ религи, проникають съ разныхъ сторонъ и въ область права. Надпись на изданіи старинной ратуши въ Лугано: "Quod sunt leges sine moribus, quod sunt mores sine fide" имъетъ свое глубокое значеніе. Поэтому, говоря о правовыхъ возэрвніяхъ Пушкина, трудно избъжать необходимости ознакомиться съ его нравственными возгръніями и его отношеніемъ къ вопросамъ въры. Такимъ образомъ, самъ собою создается нравственный облика Пушкина.

Недальновидные и поспъшные на заключенія читатели юношескихъ произведеній Пушкина, писанныхъ въ "часы забавъ иль праздной скуки", — въ которыхъ, по его собственнымъ словамъ, "пълись порочныя забавы и славились съти страдострастья" — создали ему довольно прочно утвердившуюся репутацію не только эротическаго поэта, но и язвительнаго отрицателя въры.

Имъ помогли въ этомъ нъкоторые высокодобродътельные друзъя молодости поэта, чей "предательскій привътъ" преслъдоваль его и за гробомъ, — въ забвеніи его словъ, что "судъть взрослаго человъка за вину юноши есть дъло ужасное". Одинъ изъ нихъ, чью умъренность и аккуратность, при воспоминаніяхъ объ угасшемъ уже поэтъ, непріятно поражало, отсутствіе у него не только "ровной, систематической бесъды", но даже и "порядочнаго фрака" — провозгласилъ,

что Пушкинъ не имълъ "ни внъшней ни внутренней религи и смъядся надъ всъми отношеніями". Но въ этомъ представленіи о Пушкинъ и въ вытекающихъ изъ него непродуманныхъ или лицемърныхъ упрекахъ – нътъ правды. Необходимо глубже всмотръться въ эту сторону личности Пушкина — и судить человъка и писателя не по случайнымъ проявленіямъ, а по кореннымъ свойствамъ его природы. Безпорядочное домашнее воспитание въ безалаберной семь в дало отроку раннюю возможность отравиться дурманомъ фривольныхъ произведеній французской литературы XVIII въка. Отголоскомъ этого было появленіе трехъ-четырехъ подражательныхъ произведеній. Все остальное въ этомъ легкомысленномъ родъ лживо и безъ всякой критики писалось въ пассивъ поэзіи Пушкина. Да и эти немногія произведенія мутили его совъсть, заставляли краснъть за себя, негодуя "на грюшный свой языкъ, и празднословный и дукавый" — и сжигать попадавшіеся ему ихъ рукописные списки. Какъ всякая сильная натура — онъ не могъ не пройти періода скитаніе мыслей, прежде чёмъ остановиться на болъе или менъе прочномъ міросозерцаніи.

Переломъ боровшихся сомнъній въ сторону въры совершился у Пушкина на двадцать второмъ году жизни. "Съ измученной души его исчезли заблужденья" подобно тому, "какъ краски чуждыя съ лътами спадаютъ ветхой чешуей". Съ этого времени мы видимъ у него уже вполнъ сложившійся взглядъ, которому онъ остается въренъ до конца. Въ душъ его блестить немеркнущимъ свътомъ не только въра въ высшій разумъ, управляющій вселенною, но и, - употребляя выраженіе Лермонтова, — "въра гордая въ людей и въ жизнь иную", т.-е. въ возвышенныя стороны человъческого духа и въ его безсмертіе. "Я нашель Бога въ своей совъсти и въ природъ, которая говорила мив о немъ", объясняль онъ А. И. Тургеневу. Рекомендуя сыну своего друга кн. Вяземского пристально и постоянно читать книги священнаго Писанія, Пушкинъ называлъ ихъ "ключомъ живой воды". Замъчая, что евангеліе на столько истолковано, объяснено и проповъдано повсюду, что не заключаеть въ себъ уже ничего для насъ неизвъстнаго, онъ указывалъ на его въчно новую прелесть для всъхъ пресыщенныхъ міромъ или погруженныхъ въ уныніе... Въ разговорахъ съ Барантомъ, восторженно отзываясь о библіи и въ особенности объ евангеліи - онъ, по поводу стремленій подвести смыслъ святой и въчной книги подъ мърило временныхъ человъческихъ различій и направленій, говорилъ: "Мы всъ несемъ бремя нашей жизни, иго нашей человъчности, столь подверженной заблужденію — и это иго уравниваетъ все; Христосъ велитъ взять Его иго и бремя, которыя помогутъ намъ донести наше собственное до конца, если мы будемъ помогать ближнему поднять и нести иго, подъ которымъ онъ изнемогаетъ. Здъсь нътъ мъста ни для аристократіи ни для демократіи. Весь законъ въ нъсколькихъ словахъ. Здъсь только одна, единственная великая сила — любовь!" Такимъ образомъ онъ былъ не только върующимъ, но и христіаниномъ въ лучшемъ смыслъ этого слова:

Религіозность его проявлялась не только въ удивительныхъ по формъ и силъ отдъльныхъ стихахъ и цълыхъ произведеніяхъ, какъ, напр., переложеніе молитвы св. Ефрема Сирина ("Отцы-пустынники и жены непорочны"), не только въ изображеніи могучей въры Кочубея, не поколебленной и его горькимъ концомъ, но и въ формахъ, освященныхъ народнымъ чувствомъ. Въ тоскъ своего принудительнаго уединенія въ Михайловскомъ, онъ вызывалъ предъ умственнымъ взоромъ образы тыхъ, кого Господь надылиль высокимь творческимь даромъ и "всеобъемлющею душою". Онъ молился о нихъ и служилъ панихиды о рабахъ Божіихъ — Петрв и Георгіи. Этотъ Петръ быль тотъ "въчный работникъ на тронъ", котораго онъ воспълъ съ такою силой, понялъ съ такою любовью, — этотъ Георгій быль "властитель думь" — лордъ Байронъ... Пушкинъ придавалъ огромное значеніе христіанству. Онъ считалъ его появление великимъ духовнымъ и политическимъ переворотомъ нашей планеты. "Въ этой священной стихіи, — говорилъ онъ, — исчезъ и обновился міръ, — древняя исторія кончилась съ ен появленіемъ". Исторія внёшняго христіанства — Церкви, ея положеніе и задачи останавливали на себъ думы Пушкина. Онъ цънилъ заслугу русскаго монашества, сохранившаго среди всеобщаго мрака исторические памятники и ведшаго лътописи; онъ строго осуждалъ Екатерину II за "властолюбивое угожденіе духу времени", выразившееся въ явномъ гоненіи на духовенство и лишеніи его независимаго состоянія, чъмъ наносился ударъ его самостоятельности и его содъйствію народному просвъщенію.

Признавая одною изъ важнъйшихъ задачъ Церкви — про-

повъдь ученія Христова, Пушкинъ видъль въ послъдней и одно изъ средствъ умиротворенія завоевываемаго нами въ то время Кавказа. Говоря, въ своемъ путешествии въ Арзерумъ, объ укрощении ненависти къ намъ черкесовъ посредствомъ ихъ обезоруженія или привитія къ нимъ болье утонченныхъ потребностей, онъ замъчаетъ, что есть однако средство болъе сильное, болже нравственное, болже сообразное съ просвъщеніемъ нашего въка — проповъданіе евангелія, о чемъ Россія до половины тридцатыхъ годовъ и не подумала. Онъ ставилъ очень высоко миссіонерство. "Надо препоясаться и итти съ миромъ и крестомъ", восклицаетъ онъ, рисуя примъръ святыхъ старцевъ, мужей въры и смиренія, скитающихся по пустынямъ въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ. "Какая награда ожидаетъ ихъ?" спрашиваеть онъ: — "обращение престарълаго рыбака или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, — а затъмъ нужда, голодъ, мученическая смерть"... "Кажется, — заключаетъ онъ, -- для нашей холодной лености легче, взаменъ живого слова, выливать мертвыя буквы и посылать нёмыя книги людямъ, не знающимъ грамоты, чёмъ подвергаться трудамъ и опасностямъ, по примъру древнихъ апостоловъ и новъйшихъ римско-католическихъ миссіонеровъ". Придавая высокое значеніе миссіонерству, Пушкинъ требоваль однако, чтобы, идучи съ проповъдью христіанства, оно было, вмъсть съ тъмъ. само исполнено христіанскаго духа любви и терпънія. "Терпимость вещь очень хорошая, — писаль онъ, — но развъ апостольство съ ней не совмъстно?" Указывая на необходимость итти ст миромт, онъ клеймилъ мрачный образъ своеобразнознаменитаго юрьевскаго архимандрита Фотія за то, что ему служили "орудіемъ духовнымъ — проклятіе и мечъ, и крестъ, и кнуть..." И въ своихъ чудныхъ подражаніяхъ корану совътоваль: "спокойно возвъщать коранъ, не понуждая нечестивыхъ!"

Сознательная въра,— а таковая несомнънно жила въ душт Пушкина,— проникаетъ внутренній міръ человъка и отражается на отношеніяхъ его къ людямъ. Она, по глубокой мысли Хомякова, является однимъ изъ высшихъ общественныхъ началъ, ибо самое общество есть не что иное, какъ видимое проявленіе нашихъ внутреннихъ отношеній къ другимъ людямъ и нашего союза съ ними. Поэтому, върованія Пушкина и его

взглядъ на смыслъ евангельскаго ученія должны были неминуемо выразиться въ отношеніяхъ его къ людямъ и въ требованіяхъ, предъявляемыхъ къ нимъ и къ самому себъ. Въ душъ его не было мъста не только для грубаго себялюбія, приносящаго, по мъръ силь, въ жертву своимъ вожделеніямъ все, что возможно, не брезгая никакимъ результатомъ, - но и для болъе утонченнаго эгоизма, создающаго привычку всегда и при всякихъ впечативніяхъ прежде всего думать исключительно о самомъ себъ. Ив. Тургеневъ въ своихъ "Стихотвореніяхъ въ прозъ" оставиль намъ образъ эгоиста, вооруженнаго самодовольствомъ дегко достигавшейся добродетели, которая "хуже откровеннаго безобразія порока". Отталкивающія черты этого образа въють такимъ холодомъ, что убиваютъ возможность насмъшки. Создавая его, художникъ слъдоваль мысли своего любимаго учителя — Пушкина, который характеризовалъ эгоизмъ какъ явленіе чисто отвратительное, но отнюдь не смъщное, ибо онъ "отмънно благоразуменъ". Это-послъднее свойство требуеть извъстной сдержанности и самообладанія. Когда ихъ нътъ, эгоизмъ утрачиваетъ свою неуязвимость для смѣха. "Есть люди, -- говорить Пушкинь, -- которые любять себя съ такою нъжностью, удивляются своему генію съ такимъ восторгомъ, думають о своемъ благостояни съ такимъ умиленіемъ, о своихъ неудовольствіяхъ съ такимъ страданіемъ, что въ нихъ и эгоизмъ имфетъ всю смфшную сторону энтузіазма и чувствительности".

Проповъдь благороднаго альтруизма и нравственной обязательности въ отношеніяхъ съ окружающими думать о нихъ, о ихъ страданіяхъ и человъческомъ достоинствъ внятно и опредъленно слышится въ произведеніяхъ Пушкина, возмущеннаго высокомърнымъ взглядомъ на людей, которыхъ "мы почитаемъ лишь нулями, а единицами — себя". Жестокосердное "seid hart" Заратустры не нашло бы отклика въ поэтъ, испытавшемъ восхищеніе предъ исполненнымъ долгомъ, предъ подвигомъ, предъ забвеніемъ себя ради другихъ. Сурово отнесясь къ Наполеону и примиренный съ нимъ лишь смертью, Пушкинъ тъмъ не менъе съ восторгомъ говоритъ о немъ, когда тотъ, чтобы оживить угасшій взоръ и родить бодрость въ погибающемъ умъ, "играетъ жизнію своею предъ сумрачнымъ недугомъ и хладно руку жметъ чумъ". Въ противоположеніи долга эгоизму состоитъ и смыслъ заключительныхъ строфъ

знаменитой его поэмы, гдѣ долгъ олицетворенъ глубокою внутреннею жертвою Татьяны, которую Пушкинъ называетъ своимъ "вѣрнымъ идеаломъ", а представителемъ эгоизма является Онѣгинъ "съ его безнравственной душой, себялюбивою, сухой, съ его озлобленнымъ умомъ, кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ"...

Этотъ взглядъ на отношение къ людямъ отражается на всей личности Пушкина. Она дышитъ добротою и дъятельною любовью. Голосъ "кроткой жалости" слышится не только на страницахъ его произведеній, но и въ порывахъ его сердца, дълающихъ его въчнымъ заступникомъ за нуждающихся, за несчастныхъ. Гоголь оцёнилъ въ немъ эту черту - и разсказываеть, что Пушкинь искаль случаевь быть кому-либо полезнымъ и пользовался каждой минутой благоволенія къ себъ императора Николая, чтобы заикнуться — и никогда о себъ, а всегда о другомъ несчастномъ, упадшемъ. Онъ самъ, однако, бываль несчастень и часто нуждался въ облегчени своихъ житейскихъ и духовныхъ узъ. Намекъ на свое положеніе быль бы естествень: и понятень, но Пушкинь хватался за указываемые Гоголемъ благопріятные случаи исключительно съ мыслью о других, какъ бы тяжело и оскорбительно ни жилось въ это время ему самому. "Какъ весь оживляется и всныхиваль. онъ, — пишеть Гоголь Жуковскому, — когда дело шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему".

Можно привести множество примъровъ его доброжелательныхъ хлопотъ и въ случаяхъ менъе важныхъ. Онъ хлопочетъ предъ Академіей наукъ объ изданіи въ пользу семейства убитаго писателя Шишкова — сочиненій послъдняго; пишетъ князю Вяземскому, прося его пожарче похлопотать о денежномъ пособіи молодому ученому, и поручаетъ брату Льву, самъ находясь въ принудительномъ уединеніи села Михайловскаго и въ крайне стъсненномъ денежномъ положеніи, подписаться на нъсколько экземпляровъ издаваемаго по подпискъ слопымъ сеященникомъ перевода книги Іисуса сына Сирахова. Когда "Нева, какъ звърь остярвенясь, на городъ кинулась" и "всплылъ Петрополь, какъ тритонъ, по поясъ въ воду погруженъ",— Пушкинъ пишетъ брату: "этотъ потопъ съ ума у меня нейдетъ. Онъ вовсе не забавенъ. Если тебъ вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай

изъ *онъиснских* денегъ, но прошу — безъ всякаго шума, ни словесно ни письменно".

Строгій литературный цінитель и судья, требовавшій отъ писателя серіознаго и вдумчиваго отношенія къ предмету своего творчества, Пушкинъ быль вмёстё съ тёмъ чуждъ мелочного чувства ревности къ успъху собратій по перу и недоброжелательнаго къ нему отношенія. "Умъя презирать, умъль онъ ненавидъть", но завидовать - не умъль. Достаточно указать на его отношенія къ Мицкевичу, на его оцінку Козлова, на переписку съ поэтомъ А.А. Шишковымъ, наконецъ, на то, съ какою искреннею радостью привътствовалъ онъ произведенія Баратынскаго, какъ горячо защищаль ихъ отъ равнодушія публики и нападокъ рутинной критики, въ теплыхъ выраженіяхъ отводя автору одно изъ первыхъ мъстъ въ современной ему литературъ, на ряду съ Жуковскимъ и выше Батюшкова. "Свои права передаю тебъ съ поклономъ, чтобъ на волшебные напъвы переложилъ ты страстной дъвы иноплеменныя слова", провозглашаетъ онъ обращаясь къ "первому русскому элегическому поэту", чей каждый стихъ "звучитъ и блещетъ какъ червонецъ", и болъе котораго "никто не имъетъ чувства въ своихъ мысляхъ и вкуса въ своихъ чувствахъ".

Мицкевичь, уже разорваль навсегда съ Россіею, все-таки съ благороднымъ чувствомъ вспоминалъ Пушкина и свою близость съ нимъ. Ихъ думы, по словамъ польскаго поэта, возносясь надъ землею, соединялись какъ двъ скалы, которыя, будучи раздёлены силою потока, склоняются одна къ другой смълыми вершинами. Пушкинъ въ глазахъ Мицкевича являлся олицетвореніемъ глубокаго ума, тонкаго вкуса и государственной мудрости. Поэтическое безмолвіе Пушкина, въ которомъ многіе видъли признакъ истощенія таланта, таило, по мнънію Мицкевича, великія предзнаменованія для русской литературы, въ которой, по мъткому и върному его замъчанію, Пушкинъ никогда не былъ подражателемъ Байрона — байронистоми, но быль самостоятельною величиною, лишь временно чувствовавшею притяжение къ великому британскому поэту -быль байроніакому. Онъ сталь на собственный путь, на которомъ умъль, несмотря на краткую жизнь, сраженную пулею,нанесшею ужасный ударъ не одной Россіи, — создать среди ряда выдающихся произведеній такую единственную, по своей

самобытности и величію, въ европейской литературъ вещь, какъ изумительной красоты сцену въ кельъ Пимена въ "Борисъ Годуновъ". Такому посмертному отзыву, дълающему великую честь безпристрастію Мицкевича къ памяти поэта изъ "племени ему чужого", соотвътствовало и отношение Пушкина къ "вдохновенному свыше" и "съ высоты взиравшему на жизнь" пъвцу. Онъ искренно восхищался его талантомъ, образованностью и многосторонними знаніями, съ увлеченіемъ говорилъ о немъ, переводилъ его произведенія ("Воевода", "Будрысъ и его сыновья"), читалъ ему свои поэмы и посвящаль его въ планы и идеи задуманныхъ твореній. Когда Жуковскій сказаль ему однажды: "А знаешь, брать, въдь со временемъ тебя, пожалуй, Мицкевичъ за поясъ заткнетъ",-Пушкинъ отвъчалъ ему: "Ты не такъ говоришь: онъ уже заткнуль меня!..." и самъ потомъ повторяль это свое выраженіе. Не словами раздраженія отвъчаль онь на доходившій издалека знакомый голось ставшаго враждебнымъ поэта, а мольбою о ниспосланіи мира его душъ...

Даже и къ людямъ ему несимпатичнымъ старался онъ относиться справедливо. Нельзя не указать на благородную защиту имъ въ 1830 году Полевого противъ "непростительнаго" отношенія къ нему Погодина и "изступленной брани" Каченовскаго по поводу "Исторіи русскаго народа"— и если впослъдствіи отзывы Пушкина о Полевомъ утратили необходимое спокойствіе безпристрастія, это вызвано было нападеніями послъдняго на его друзей и преимущественно на Дельвига.

Дружбъ Пушкинъ придаваль огромное значеніе, понималь ее серіозно и въриль ей искренно. Онъ отличаль эту, по выраженію Шербюлье, "любовь безъ крыльевъ" отъ тъхъ отношеній, которыя возникаютъ въ "легкомъ пылу похмелья", среди "обмъна тщеславія и бездълья" и, прикрываясь названіемъ дружбы, выражаются лишь въ фамильярности и безцеремонномъ залъзаніи въ чужую душу или въ "позоръ покровительства". Та дружба, представленіе о которой разсыпано во множествъ его произведеній, есть стойкое, неизмънное, самоотверженное чувство, "недремлющей рукою" поддерживающее друга "въ минуту гибели надъ бездной потаенной", оживляющее его душу "совътомъ иль укоромъ", врачующее его раны и способное разбить "сосудъ клеветника презрънный".

Этому представленію быль онь върень и въ жизни. Стоить указать на его отношенія къ Дельвигу и Кюхельбекеру, на его трогательныя обращенія къ Чаадаеву, къ Пущину. Проявленія дружеской пріязни его глубоко трогали и оставляли неизгладимый слёдъ въ его душъ. "Мой первый другъ, мой другъ безцънный!" пишетъ онъ въ Сибирь благороднъйшему И. И. Пущину, посътившему его "пріютъ опальный" въ Михайловскомъ. "Какъ жаль, что нътъ теперь Пущина!" говорить онъ на смертномъ своемъ одръ. Въ минуты житейскихъ горестей, чуждый мальйшей зависти, Пушкинь умьль утьшаться "наслажденіемъ слезъ и счастіемъ друзей" и не отрекался отъ последнихъ никогда и ни передъ къмъ, твердо и безбоязненно проявляя свое къ нимъ отношеніе, несмотря на то, что его привътамъ приходилось летъть "во глубину сибирскихъ рудъ" и въ "мрачныя пропасти земли".

Если эти далекіе друзья и сберегали въ свое время для

Россіи Пушкина, заботливо и предусмотрительно не пріобщивъ его къ своимъ планамъ, то между окружавшими его нашлись зато платившіе обидой за жаръ его души "довърчивой и нъжной". Ихъ "предательскій привътъ" глубоко уязвляль его впечатлительное сердце. Онъ могъ повторить слова Саади въ "Гюлистанъ": "Врагъ бросилъ въ меня камнемъ, и я не огорчился, - другъ бросилъ цвъткомъ - и мнъ стало больно". Рядомъ такихъ скрытыхъ обидъ и злоупотребленій "святою дружбы властью", очевидно, вызваны выстраданные звуки негодованія въ его "Коварности", когда ему довелось "своимъ печальнымъ взоромъ" прочесть все тайное въ нъмой душъ того, кого онъ считалъ другомъ и осудилъ его "нослъднимъ приговоромъ".

Таково было отношение Пушкина ка людяма. Посмотримъ на нравственныя требованія, которыя онъ предъявляль прежде всего къ самому себъ. Эти требованія въ значительной мъръ опредъляются тъмъ, что признаеть человъть необходимымъ для сохраненія въ себъ самоуваженія. Чуткою душой своею Пушкинъ не могъ не сознавать, что лишь упорный и серіозный труда и полная правдивость съ собою и съ другими могуть поддержать въ человъкъ самоуважение и защитить его отъ сокровеннаго самопрезрвнія въ тв минуты, когда онъ не развлеченъ мелочною пестротою обыденной жизни.

Любовью ка труду и была проникнута вся его жизнь.

Ему — "взыскательному художнику" — съ теплымъ чувствомъ вспоминается "живой и постоянный, хоть милый трудъ", — "молчаливый спутникъ ночи, другъ Авроры златой". Онъ ощущаль обязанность трудиться и жадно ждаль любимаго осенняго уединенія, когда "роняеть лісь багряный свой уборь" и можно приняться съ обновленными силами за плодотворную работу. Недаромъ "въ щорохъ ночи" слышится ему "укоризна или ропотъ имъ утраченнаго дня", — недаромъ съ горечью вспоминаеть онъ "растраченные годы"; и его тревожить призракъ невозвратимыхъ дней въ то время, когда "судьбой отсчитанные дни особенно дороги, чтобъ "мыслить и страдать" и, слёдовательно, работать умственно. Отсюда многочисленныя поправки въ его рукописяхъ и варіанты его стиховъ, отсюда настойчивая работа надъ языкомъ, надъ тъмъ, чтобы сдёлать гибкимъ и сладкимъ, какъ сахарный тростникъ. Аллахъ говорить его пророку: "Не я ль языкъ твой одариль могучей властью надъ умами". Для этой власти нужна, однако, не одна форма, но и содержание, продуманное и прочувствованное, вылившееся изъ души и заключающее въ скупости словъ богатство мысли. Это содержание въ поэтическомъ произведеніи тогда лишь сильно и глубоко, когда оно явилось плодомъ вдохновенія, которое необходимо отличать отъ преходящаго настроенія. Пушкинъ самъ указаль разницу между вдохновеніемъ и восторгомъ, объясняя первое — одухотворенною работою, а второе - мимолетнымъ порывомъ.

И любовь из правдю царить въ Пушкинскомъ трудъ, — къ той высшей правдъ, которая ищетъ и рисуетъ идеалъ дъйствій человъка, а не къ той низшей, которая изображаетъ все въ предълахъ факта, не устремляя взора кверху и вдаль, и "праздно угождая хладной посредственности, завистливой и жадной къ соблазну".

Признавая обычнымъ явленіемъ связь геніальности съ простодушіемъ и величія характера съ откровенностью, Пушкинъ самъ являлъ примъръ ихъ, слъдуя совъту своего "Подражанія корану": "Мужайся! презирай обманъ, — стезею правды бодро слъдуй!" Ложь была ему ненавистна до забвенія собственной опасности. Смълое указаніе имъ генералъ-губернатору Милорадовичу того, какія именно изъ ходящихъ въ рукописи "недозволительныхъ стихотвореній" принадлежать ему, — остроумное замъчаніе на запросъ Бенкендорфа о томъ, не Уваровъ

ли имъется въ виду въ "выздоровленіи Лукулла", — и, наконецъ, прямодушный отвътъ Императору Николаю, въ 1826 году, въ Москвъ — на вопросъ о томъ, участвовалъ ли бы онъ въ происшествіи 14 декабря — служать одними изъ многихъ примъровъ его безусловной и безтрепетной правдивости. Эта любовь къ правдъ и искренности заставляла его цънить цъльныхъ людей, даже и не соглашаясь со всёми ихъ взглядами, но уважая ихъ прямоту и отсутсвіе въ нихъ двоедушія. Онъ не разъ ссылался въ бесъдахъ на то мъсто откровенія св. Іоанна, гдъ ангелу лаодикійской церкви говорится: "Знаю твои дъла; ты ни холоденъ ни горячъ; о, если бъ ты былъ холоденъ или горячъ! но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ — извергну тебя изъ устъ моихъ!" Наравнъ съ цъльными людьми, цъниль онъ и цъльныя чувства, которымъ человъкъ отдается безъ расчетливой оглядки. Все показное въ этомъ отношени, какъ видно изъ его писемъ, его возмущало, — всякая огласка добраго дъла ему претила. "Тортуя совъстью передъ блъдной нищетой, — не сыпь своихъ даровъ расчетливой рукой", не сжимай "завистливой длани" совътуетъ онъ. Какъ сурово отнесся бы онъ къ представителямъ столь развившагося въ современномъ обществъ типа акробатовъ благотворительности, умъющихъ присасываться къ живому и возвышенному дълу и неръдко мертвить его! У него была, отмъченная княземъ Вяземскимъ, ненависть къ поддъльной наукъ и къ лицемърной нравственности. Въ запискъ о воспитаніи, представленной государю въ 1826 году, онъ возставалъ противъ преподаванія фальсифицированной исторіи и, върный своей правдивости, - въ то время, когда воспитанникамъ принято было, напримъръ, сообщать, что Наполеонъ былъ просто возмутившійся противъ короля предпріимчивый генераль, — указываль на необходимость объяснять "разницу духа народовъ, источника нуждъ и требованій государственныхъ, не искажая республиканскихъ учрежденій", и дълать правильную оцънку историческимъ дъятелямъ безъ офиціально-предначертаннаго на нихъ взгляда,

Здёсь не мёсто разбирать историческіе взгляды и труды Пушкина, но нельзя не замётить, что они проникнуты стремленіемъ къ отысканію правды, и въ виду крайне слабаго развитія современной ему русской исторической науки, представляють нерёдко яркіе образчики, своего рода, ретроспек-

тивной интуиціи, благодаря которой Пушкинъ опредвлялъ дъятелей, событія и эпохи далекаго прошлаго съ върностью и глубиною, возможными лишь для тъхъ, кто основательнознакомъ съ матеріаломъ, всесторонне разработаннымъ въ теченіе полувъка со времени его смерти. Это стремленіе къправдъ не давало внъшнему блеску затемнить въ глазахъ Пушкина истину и въ то же время не допускало его забывать про культурныя условія — духовныя и матеріальныя среди которыхъ приходилось жить и творить историческимъ дъятелямъ, — впадать въ забвение про нравы и обычаи времени, столь часто заставлявшее у насъ дилетантовъ-историковъ неправильно освъщать, а затъмъ и оцънивать тотъ или другой историческій образь. Изследованія Соловьева и Павдова о Борисъ Годуновъ, — всъ главнъйшіе труды о Петръ Великомъ, — почти всв богатые выводы нашей историколитературной критики — явились послъ Пушкина, а между тъмъ сколь многое доказаннаго и установленнаго ими прочувствовано Пушкинымъ и облечено въ дивные художественные образы и опредъленія! Какъ тонки его замъчанія объ отношеніи къ ученію энциклопедистовъ Екатерины II, ободрявшей сначала эти "игры искусныхъ борцовъ" своимъ царскимъ рукоплесканіемъ и съ безпокойствомъ увидъвшей ихъ торжество въ жизни; какъ содержательна въ своей сжатости внутренняя картина Александровской Руси въ "Дубровскомъ"; какъ справедливы, въ записанномъ Смирновою разговоръ, сравнительныя оцънки Петра и Екатерины и указанія на національныя ошибки последней и лицемеріе ея знаменитаго Наказа.. Красивыя декораціи царствованія Екатерины не вводили Пушкина въ заблуждение о томъ, что за ними скрывалось. Его всецъло привлекала къ себъ та житейская и историческая правда, которою дышить личность Петра. "Онъ одинъ цълая всемірная исторія", пишеть Пушкинъ Чаадаеву. Памятникъ Петра — современная Россія, которая "вошла въ Европу, какъ спущенный корабль", говорить онъ, указывая на безповоротность реформы Петра и рисуя егосамого такъ, что онъ встаетъ предъ нами какъ живой, среди своихъ священныхъ трудовъ и заботъ. Мы видимъ его дома, на верои, въ бою, на пиру. Образныя и глубоко продуманныя выраженія Пушкина, его удивительныя по богатству мысли прилагательныя изображають намь въ незабвенныхъ чертахъ

нравственный складъ, наружность и великія думы "славнаго кормчаго, къмъ наша двинулась земля".

Но Пушкинъ не ослъплялся чувствомъ привязанности къ Петру и въ Россіи. Горячая любовь въ Россіи и въра въ нее были у него неразлучны съ чувствомъ правды, которое не позволяло ему закрывать глаза на ея недостатки и на чужія достоинства. Онъ желалъ видъть родину сроднившеюся съ Западомъ во всемъ дучшемъ, но сохранившею самобытныя формы, заплючающія все хорошее свое. Гитвиныя подчась выраженія его писемъ, грустное восклицаніе при чтеніи Гоголемъ "Мертвыхъ душъ": "не веселая штука Россія!" — только на предвзятый взглядь могуть итти въ разръзъ съ этою любовью и съ върою въ "высокій жребій" русскаго народа. Недостатки любимаго существа всегда вызывають болье острые взрывы душевной боли, именно потому, что оно любимое и что его хочется видъть лучше и выше всъхъ. Гордясь скромностью русскаго человъка и величіемъ всего, что совершено имъ по почину Петра, Пушкинъ тъмъ не менъе преклонялся предъ достоинствами общечеловъческими. Ему быль чуждъ узкій патріотизмъ, враждебно, надменно или косо смотрящій на все иноземное. Указывая на терпимость къ чужому, какъ на одну изъ прекрасныхъ сторонъ простого русскаго человъка, онъ говорилъ о необходимости уваженія къ человъчеству и его благороднымъ стремленіямъ. "Не достаточно имъть только мъстныя чувства, -- говорилъ онъ Хомякову, -- есть мысли и чувства всеобщія, всемірныя... Правдою, по мнѣнію Пушкина, должна быть проникнута не одна личная, но и вся государственная дъятельность правителя. Въ правдъ — великая притягательная сила, въ ней же и върный критерій. Умънье понимать это составляеть одно изъ свойствъ истинно великаго историческаго дъятеля. Не даромъ Петръ "правдою привлекъ къ себъ сердца", — и, благодаря его умънью цънить ее, "быль отъ буйнаго стръльца предъ нимъ отличенъ Долгорукій... " Но уравновъщенность душевныхъ силъ и воспріимчивое чувство живой двиствительности заставляли Пушкина видеть побужденіе для исканія правды въ чувствъ любви, которому свойственно пониманіе и снисхожденіе. Поэтому онъ не считаль возможнымъ найти эту правду въ крайностяхъ. Если ея нътъ въ вънкахъ льстецовъ, то точно такъ же нътъ ея и въ безусловныхъ отрицаніяхъ. "Нътъ убъдительности, — пишетъ

онъ, — въ поношеніяхъ, — и нътъ истины тамъ, гдъ нътъ любви!

Намѣчая такія требованія, Пушкинъ умѣль отличать существенное и вѣчное въ человѣкѣ отъ случайнаго и внѣшняго, высоко ставилъ свое призваніе и отдѣлялъ его задачи отъ неизбѣжныхъ условій своей личной жизни и отъ роковыхъ

даровъ природы, называемыхъ страстями.

"Малодушное погруженіе" въ заботы "суетнаго свъта" не заглушало для него "божественнаго глагола", и онъ отряхалъсъ себя эти заботы подъ дуновеніемъ вдохновенія. Но онъвсе-таки быль потомокъ — и близкій — того, кто "думаль въ охлажденны дъта о знойной Африкъ своей". Этотъ зной жилъ въ его крови, давалъ себя чувствовать въ обыденные часы жизни, и въ молодости поэта, въ видъ "алчнаго гръха", гнался за нимъ по пятамъ. Но и тогда онъ не утопалъ, самоуслаждаясь въ этомъ грёхъ, а "бежаль къ сіонскимъ высотамъ", никогда не терня ихъ изъ виду, не забывая о ихъ существованіи. Върный народнымъ русскимъ свойствамъ, онъотносился къ себъ, какъ къ человъку — отрицательно и даже съ преувеличеннымъ самоосужденіемъ. "Презирать судъ людской не трудно, — пишетъ онъ, — презирать судъ собственный — невозможно". Поэтому отношеніе его къ своему прошлому было иное, чъмъ у большинства людей его общественнагоположенія. Въ годы наступившаго успокоенія страстей, онъ не взиралъ съ тайно-завидующимъ снисхожденіемъ на увлеченія своихъ юныхъ дней. Карая себя за нихъ въ "тоскъ сердечныхъ угрызеній", онъ будиль и вызываль тяжелыя воспоминанія, отравдяя ими "видінія первоначальных чистыхъ дней". Рыдающіе звуки его "Воспоминанія", когда онъ "съ отвращеніемъ читаетъ жизнь свою" и горькими слезами не можетъ смыть "печальныхъ строкъ" — служатъ лучшимъ тому доказательствомъ. Но, безпощадно бичуя себя, онъ однако строго отдъляль свою личность отъ своего призванія. "Воронцовъ думаетъ, что я коллежскій секретарь, — пишеть онъ, — но я полагаю о себъ нъчто большее... Это большее состояло въ призваніи быть пророкомъ своей родины, "глаголомъ жечь сердца людей" и ударять по нимъ "съ невъдомою силой". Онъ сознавалъ выпавшія на его долю роль и обязанность въ духовномъразвитіи Россіи, въ подготовкъ ея свътлаго нравственнаго будущаго, въ которое онъ върилъ горячо, подобно Петру,

"зная предназначенье родной страны". Когда изъ своего печальнаго уединенія онъ быль, въ 1826 г., вызвань въ Москву, гдѣ ждало его невѣдомое и тревожащее его разрѣшеніе его судьбы, онъ и тогда не усомнился въ своемъ призваніи и взяль съ собою стихи, начинавшіеся словами: "Возстань, возстань, пророкъ Россіи, — позорной ризой облекись". Отъ земной власти могли зависѣть многія существенныя условія его личной жизни и даже объемъ содержанія темъ для его творчества, но пе его "предназначенье". Онъ быль въ своихъ глазахъ "небомъ избранный пѣвецъ", который, для блага страны, не можетъ и не долженъ "молчать, потупя очи долу…"

Отношеніе Пушкина къ требованіямъ своей совъсти и его раннее, вдумчивое проникновеніе въ сущность разумныхъ условій человъческаго существованія, въ потребности сердца, въ права мысли — опредълили и взглядъ его на главнъйшія проявленія справедливости, какъ осуществленія общественной совъсти, выражающіяся въ правосудіи и законодательствъ.

Уже двадцатилътнимъ юношею онъ выражаетъ опредъленный въ этомъ отношени взглядъ, которому оставался затъмъ въренъ во всю свою остальную жизнь. Восхищаясь уединеніемъ, онъ учится "блаженство находить въ истично, — свободною душой законг боготворить, роптанью не внимать толпы непросвъщенной и отвъчать участием застънчивой мольбъ ... Эта цълая программа, тъмъ болъе замъчательная, чъмъ менъе она подходила къ рамкамъ, въ которыя тогда охотно укладывалась личная и общественная жизнь на Руси. Движеніе законодательства и возбуждаемые при этомъ вопросы историческаго и общественнаго характера чрезвычайно интересовали Пушкина. Его записки и письма хранять несомнённыя доказательства глубины этого интереса. Въ нихъ содержится множество замъчаній критическаго характера и указаній на бытовыя особенности, столь важныя для законодателя. Между ними есть опыты проектовъ различныхъ мъръ, вызываемыхъ общественными потребностями. Изъ нихъ видно, что, относясь къ подобнымъ вопросамъ съ живъйшимъ вниманіемъ, Пушкинъ желалъ видъть законъ примиреннымъ съ житейской правдой и необходимою личною свободой, видъть человъка не рабомъ непонятнаго ему принудительнаго приказа, а слугою разумныхъ требованій общежитія. "Мысль — великое слово, товорить онь, — что же и составляеть величіе человъка, какъ

не мысль! Да будеть же она свободна, какъ свободенъ человъкъ: въ предълахъ закона, при полномъ соблюдении условий. налагаемыхъ обществомъ". Эта разумная свобода, построенная на уваженій къ правамъ личности, на признаніи правъ организованной совокупности личностей — общества — и есть "святая вольность", которую Пушкинъ противополагаетъ тому, что онъ называеть "безумствомъ гибельной свободы". Несмотря на относительную близость французской революціи, картина которой въ большинствъ оставляла еще смутное и слитное впечатлъніе, онъ со свойственнымъ ему пониманіемъ исторической перспективы и уминьемь дать опредъление въ двухъ словахъ, установлялъ, по отношенію къ политической свободъ, глубокую разницу между "львинымъ ревомъ колоссальнаго Мирабо" и дъйствіями "сентиментальнаго тигра" — Робеспьера. Настоящая свобода не можеть опираться на насиліе, — она "богиня чистая", и ея "цълебный сосудъ" не должень быть "завъшень пеленой кровавой". Она погибаетъ, если, въ забвеніи ея истиннаго смысла, наступаютъ "порывы буйной слепоты", и тогда надъ ея "безглавымъ трупомъ" можетъ возникнуть палачъ "презрѣнный, мрачный и кровавый".

Личность Пушкина, какъ человъка.

Гоголь въ одномъ письмъ къ старинному другу Пушкина, Нащокину, говорилъ: "Свътъ остается навсегда при разъ установленномъ отъ него же названіи. Ему нътъ нужды, что у повъсы была прекрасная душа, что въ минуты самыхъ повъсничествъ сквозили ея благородныя движенія, что ни одного безчестнаго дъла имъ не было сдълано, что бывшій повъса уже давно умудренъ опытомъ и жизнью, что онъ уже не юноша, но отецъ семейства, выполняющій строго свои обязанности къ Богу и къ людямъ" и т. д. Эти слова были сказаны какъ будто съ мыслью о Пушкинъ. Легкое направленіе поэзіи его въ первые годы по выпускъ изъ Лицея, нъкоторые стихи, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ Вольтера и другихъ писателей XVIII въка, принесъ дань юношескимъ увлеченіямъ, были причиною, что на Пушкина стали смотръть какъ на вольнодумца и безбожника. Эта репутація въ глазахъ многихъ

оставалась за нимъ не только въ поздивитие періоды его творчества, когда въ его образв жизни, въ его воззрвніяхъ и общемъ направленіи его поэзіи давно совершился ръшительный переворотъ, но, къ удивленію нашему, отчасти еще и теперь держится, по крайней мъръ, въ средъ людей, которые никогда серіозно не изучали Пушкина. Между тъмъ для наблюдательнаго взора даже и въ молодости его сквозь видимое легкомысліе и беззавътную веселость проглядываетъ серіозное настроеніе и строгій взглядъ на жизнь. Такая противоположность отражалась и въ наружности Пушкина. Одинъ изъ современниковъ его¹), разсказывая о первыхъ своихъ впечатлъніяхъ при встръчъ съ нимъ въ Кишиневъ, говоритъ, что былъ молодой человъкъ необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто смъющійся въ избыткъ непринужденной веселости и вдругъ неожиданно переходящій къ думъ, возбу-

ждающей участіе.

Въ Пушкинъ уже съ ранняго возраста какъ будто таилось предчувствие крайности отмежеваннаго ему въка: онъ спъшилъ и жить и создавать, какъ бы угадывая, что ему предназначенъ жребій прославиться, наполнить міръ блескомъ своего имени и вдругъ погибнуть въ полномъ расцевтъ своихъ силъ: крайне щекотливое чувство чести много разъ заставляло его рисковать жизнью и, наконець, привело къ роковой развязкъ. Пылкая природа его не знала мъры еще въ годы его воспитанія. Изъ разсказовъ его лицейскихъ товарищей и наставниковъ извъстно, что онъ, сознавъ свой талантъ, въ послъднее время пребыванія въ Лицев съ лихорадочнымъ жаромъ предавался страсти къ поэзіи, день и ночь думаль о стихахъ [п даже разъ во сив сочинилъ два удачные стиха, включенные имъ потомъ въ одну изъ тогдашнихъ пьесъ его. Слывя въ Лицев повъсою, онъ, однакожъ, никогда не былъ празднымъ, съ удивительною быстротою навсегда усвоиваль себъ все, что, повидимому, бъгло читалъ или слышалъ. "Ни одно чтеніе, ни одинъ разговоръ, ни одна минута размышленія, - говоритъ Плетневъ, — не пропадали для него на цълую жизнь". Вопреки тому, что мы обыкновенно встръчаемъ даже въ даровитыхъ людяхъ, у Пушкина память была одинаково воспримчива и для фактовъ и для словъ: онъ такъ же легко и прочно

¹⁾ В. П. Горчаковъ.

запоминалъ историческія событія и анекдоты о знаменитых людяхъ, какъ и новые звуки и формы иностраннаго языка. Лицейскія стихотворенія Пушкина представляють, между прочимь, одну любопытную черту: въ нихъ можно найти слъды того, что онъ уже тогда самъ понималъ неосновательность взгляда, который сквозь оболочку юношеской вътренности не замъчаль въ немъ совсъмъ другого рода основы. Такъ еще передъ выходомъ изъ Лицея онъ говорилъ въ своемъ посланіи къ тусару Каверину:

Все чередой идеть опредъленной, Всему пора, всему свой мигь; Смышонь и вытреный старикь, Смышонь и юноша степенный...

Здёсь 18-лётній поэть обнаруживаеть уже замѣчательное самосознаніе и психологическую наблюдательность. О тогдашнемъ мірѣ его даеть понятіе читанная имъ на выпускномъ экзаменъ пьеса "Безвъріе". Во второй половинѣ ея изображено безотрадное состояніе невърующаго. Очень ошибся бы тотъ, кто бы подумаль, что эта пьеса, какъ написанная для случая, не можеть служить върнымъ отраженіемъ дъйствительнаго образа мыслей поэта. Пушкинъ никогда не умѣлъ притворяться, не умѣлъ, особенно въ стихахъ, говорить что-нибудь для виду или для угождеиія другимъ: правдивость и искренность составляли одну изъ господствующихъ сторонъ нравственнаго существа его; онъ самъ называлъ себя "врагомъ стъснительныхъ условій и оковъ".

По выходъ изъ Лицея поэтъ посреди шумныхъ развлеченій столицы, въ кругу легкомысленныхъ друзей, не переставалъ читать и учиться; развитіе его души и таланта шло съ усиленной быстротой, и въ концъ 1819 года, 20 лътъ отъ роду, онъ уже самъ сознавалъ въ себъ новаго человъка. Это прекрасно выразилось тогда же въ пьескъ, напечатанной только девятью годами позже, подъ заглавіемъ "Возрожденіе", гдъ онъ сравниваетъ себя съ картиной мастера, надъ которой какой-то бездарный живописецъ намалевалъ было новое изображеніе:

Но краски чуждыя съ лѣтами Спадають ветхой чешуей: Созданье генія предъ нами Выходить съ прежней красотой. Такъ исчезають заблужденья Съ измученной души моей, И возникають въ ней видънья Первоначальныхъ чистыхъ дней.

Между тъмъ, однакожъ, своенравный геній поэта увлекалъ его иногда къ созданіямъ, бывшимъ въ редкомъ противоречіи какъ съ собственными его основными понятіями, такъ и съ общественными условіями, посреди которыхъ онъ жилъ. и надъ головою его собралась грозная туча. Къ счастью, она не сдълалась для него гибельною: удаление его изъ Петербурга было чрезвычайно плодотворно и для поэзіи его и для нравственнаго перерожденія. Это событіе, безъ сомнънія, глубоко потрясшее впечатлительную душу юноши, не могло не пробудить въ немъ грустныхъ размышленій, не заставить его задуматься надъ жизнью и судьбой человъка, а наглядное знакомство съ живописной природой юга Россіи, съ разнохарактерными племенами ея и съ провинціальнымъ обществомъ должно было дать новый, сильный толчокъ и такъ уже далеко опередившему годы развитію Пушкина. Въ Кишиневъ, несмотря на множество случаевъ къ разсъянной жизни, у него болъе нежели въ столицъ оставалось времени для занятій: это принужденное уединение естественно оживило въ немъ охоту къ умственному труду, и вотъ какъ самъ онъ отдаетъ отчетъ о томъ въ посланіи къ бывшему царскосельскому другу, гусару Чаадаеву:

Оставя шумный кругь безумцевь молодыхь, Въ изгнаніи моемъ я не жальль о нихъ... Въ уединеніи мой своенравный геній Позналь и тихій трудъ и жажду размышленій. Владью днемъ моимъ, съ порядкомъ друженъ умъ, Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; Ишу вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы И въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравнъ...

Съ этихъ-то поръ особенно въ Пушкинъ становится замътно сочетаніе ръдкаго поэтическаго таланта съ любознательностью; онъ глубоко изучаетъ предметъ, котораго коснется; потребность эта скоро приводитъ его къ заимствованію предметовъ для поэзіи изъ исторіи и, наконецъ, обращаетъ его къ чисто историческимъ трудамъ: плодомъ новаго направленія

его быль рядь поэмь, гдё сь каждымь шагомь видимо эреть и мысль его и художественное понимание. Можно сказать, что въ нихъ поэтъ уподобляется сказочному богатырю, растущему не по днямъ, а по часамъ: не удивительно, что самъ онъ какъ будто ежеминутно замъчалъ полетъ времени надъ собою и на 22 году жизни уже готовъ быль оплакивать улетъвшую юность. "Я перевариваю воспоминанія", писаль онъ въ эту пору Дельвигу, "и надъюсь набрать вскоръ новыя: чъмъ намъ и жить, душа моя, подт старость нашей молодости какъ не воспоминаніями?" Въ 25 лътъ Пушкинъ является намъ уже совершенно остепенившимся, трудолюбивымъ, осторожнымъ въ своихъ сужденіяхъ и выводахъ. Изъ писемъ его, относящихся къ этой эпохъ, когда онъ приступалъ къ созданію "Бориса Годунова", видно, съ какою трезвостью ума, съ какимъ глубоко-критическимъ смысломъ онъ всматривался въ изучаемыя имъ произведенія отечественной и иностранной, особенно англійской литературы; уже Байронъ его не удовлетворяеть, и онъ все свое сочувстве отдаеть Шекспиру. Углубляясь въ русскія літописи, онъ такъ опредізляеть ихъ характеръ, воспроизведенной имъ въ лицъ Пимена: "умилительная кротость, младенческое и вмъстъ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности дышать въ сихъ драгоценныхъ памятникахъ временъ давно минувшихъ".

Нътъ сомнънія, что такое добросовъстное приготовленіе Пушкина къ выполнению его художническихъ задачъ не могло не наложить печати зрълости не только на его таланть, но и на всю нравственную физіономію его. Между прочимъ оно утвердило въ немъ правильный взглядъ на прошлое, на дъятельность нашихъ предшественниковъ, и онъ въ своихъ замъткахъ набросалъ эти слова, которыхъ нельзя довольно повторять въ наше время: "Безкорыстная мысль, что внуки будутъ уважены за имя, нами переданное, не есть ли благородивишая надежда нашего сердца?... Только дикость и невъжество не уважають прошедшаго". Когда явился его блестящій разсказъ "Графъ Нулинъ" и журнальная критика обрадовалась случаю пощеголять своимъ цъломудріемъ, то обвинение поэта въ безнравственности содержания глубоко оскорбило его, какъ видно изъ найденныхъ въ его бумагахъ возраженій, въ которыхъ онъ объясняеть своимъ противникамъ, что такое безнравственное сочиненіе, и какая разница между правственностью и правоученіемъ.

Рукописи Пушкина, оставшіяся послѣ его смерти, служать краснорьчивыми документами его необыкновеннаго трудолюбія. По безчисленнымь поправкамъ въ его произведеніяхъ можно судить, какъ не легко онъ удовлетворялся тѣмъ, что выходило изъ подъ пера его, какъ шло къ нему самому названіе взыскательный худоленикъ, употребленное имъ въ одномъ изъ его сонетовъ, какихъ, наконецъ, усилій стоило ему то совершенство формы, та ровность отдълки, которыхъ онъ достигалъ во всѣхъ своихъ стихахъ. И это упорство въ работѣ тѣмъ изумительнѣе, что намъ извѣстно, какою пламенною душою онъ былъ одаренъ, какъ охотно онъ предавался развлеченіямъ общества и наслажденіямъ природою. Въ одной замѣткѣ его о разныхъ родахъ поэзіи наше вниманіе невольно останавливается на выраженіи: "Безъ постояннаго труда нѣтъ истинно великаго".

Хотя Пушкинъ никогда не рисовался своими душевными качествами, но есть много доказательствъ его сердечной доброты и человъколюбія. Его отношенія къ Льву Сергъевичу были истинно братскія, — болъе того: будучи 7 годами старше его, онъ питаетъ къ нему нъжную, какъ бы родительскую любовь, выражающуся то въ заботливости о его образованіи, то въ совътахъ житейскаго благоразумія. Сердясь на брата за легкомысліе и неряшество въ исполненіи порученій, онъ при первомъ свиданіи все забываетъ, платитъ долги его и не щадитъ хлопотъ, чтобы выводить его изъ затрудненій, въ которыя тотъ по своей винъ безпрестанно попадаетъ.

Такое же сочувствие внушаеть намъ Пушкинъ постоянствомъ своей сердечной привязанности къ старой нянъ, къ которой онъ такъ часто возвращается въ стихахъ своихъ, черты которой въ фантазіи его сливаются съ образомъ вдохновляющей его музы, какъ видно изъ слъдующихъ стиховъ, писанныхъ еще въ Лицеъ:

Наперсница волшебной старины,

Я ждаль тебя. Въ вечерней тишинѣ Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидъла въ шушунѣ, Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремушкой, Ты, дѣтскую качал колыбель,

Мой юный слухъ напъвами плънила И межъ пеленъ оставила свиръдь, Которую сама заворожила.

Любящее сердце Пушкина просвъчиваетъ и въ житейскихъ его отношеніяхъ и въ дружеской перепискъ, даже въ добродушной шутливости ея. Въ его письмахъ къ Нащокину, относящихся къ счастливымъ годамъ его женитьбы, есть мъста драгоцънныя по своей простотъ и искренности. Такъ въ 1835 году, обрадованный полученіемъ длиннаго письма отъ московскаго друга своего, онъ ему отвъчаетъ:

"Говорять, что несчастіе хорошая *школа*: можеть быть. Но счастіе есть лучшій *университеть*. Оно довершаеть воспитаніе души, способной къ доброму и прекрасному, какова твоя, мой другь, *какова и моя*, какъ тебя извъстно!" Воть какъ Пушкинъ понималь самого себя, и мы не можемъ не признать этой оцънки върною.

Одну изъ отличительныхъ чертъ его личности составляло благородство, замъчаемое въ поведении его въ юности, которую онъ въ одномъ стихотворении не даромъ назвалъ гордою. Покойный Плетневъ, бывшій въ весьма частыхъ и близкихъ сношеніяхъ съ Пушкинымъ, свидътельствуетъ: "Въ жизни честь, можно сказать, рыцарская была основаніемъ его поступковъ, и онъ не отступалъ отъ своихъ понятій о ней ни одного разу въ жизни, при всъхъ искушеніяхъ и перемънахъ судьбы своей". Равнымъ образомъ и въ его поэзіи серіозная и безпристрастная критика никогда еще не могла отыскать слъдовъ нравственнаго униженія.

Въ глубинъ души его смолоду теплилось искреннее религіозное чувство. Уклоненія его въ противоположную сторону были не болье какъ либо мимолетныя сомньнія, либо юношескія шалости, въ которыхъ онъ позднъйшіе годы горько раскайвался. Любопытно имъ самимъ переданное замъчаніе въ разговорь съ человькомъ другихъ убъжденій: "Сердце мое склонно къ матеріализму, но умъ отвергаетъ его". Извъстнымъ стихамъ его:

Даръ напрасный, даръ случайный, Жизнь, зачемъ ты мит дана?

могутъ быть противопоставлены не только его же стансы, написанные въ отвътъ на укоръ митрополита Филарета, но и другіе гораздо менње распространенные и болње ранніе

Ты сердцу непонятный мракъ, Пріють отчаянья сліпого, Ничтожество, пустой призракъ! Не жажду твоего покрова! Мечтанья жизни разлюбя, Счастливыхъ дней не знавъ отъ въка, Я все не върую въ тебя. Ты чуждо мысли человъка, Тебя страшится гордый умъ!... Но, улетъвъ въ міры иные, ужели съ ризой гробовой Всв чувства брошу я земныя И чуждъ мив станеть міръ земной!

Такое настроеніе сопровождалось въ душъ Пушкина наклонностью къ суевърію и расположеніемъ объяснять самые простые житейскіе случаи таинственными причинами, что, впрочемъ, составляеть единственную черту поэтическихь, одаренныхъ богатою фантазіею, натуръ. Извъстно, напр., какое значеніе онъ придавалъ совпаденію нікоторыхъ событій его жизни со днемъ праздника Вознесенія. (Мимоходомъ замѣтимъ, что его собственное показаніе о рожденіи своемъ въ этотъ день подтверждаетъ върность факта, что онъ родился въ четвергъ 26 мая, число, на которое падаль этотъ праздникъ въ 1899 г.), О сочувствии Пушкина къ редигозности свидътельствуетъ, между прочимъ, статья его о Байронъ, въ которой онъ старается оправдать британскаго поэта отъ упрековъ въ безвъріи и замічаеть, что, можеть-быть, скептицизмъ его быль только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго противъ внутренняго убъжденія. Съ льтами религіозное чувство Пушкина становилось все теплъе, все явственнъе отражалось въ его поэзіи. Въ последніе годы жизни однимъ изъ любимыхъ занятій его сділалось чтеніе евангелія и молитвъ православной церкви; нъкоторыя изъ нихъ, поражавшія его своимъ поэтическимъ достоинствомъ, заучивались имъ наизусть; одна переложена была даже въ стихи.

Приходило къ концу второе десятилътіе самостоятельной жизни поэта со времени его выпуска изъ Лицея. Нельзя безъ изумленія остановиться на томъ фактѣ, что все ведикое, совершонное Пушкинымъ въ литературъ, есть плодъ только

двухъ съ небольшимъ десятилътій дъятельности — отъ 1814 до начала 1837 года. Его нъкогда столь веселая и шаловливая муза принимала все болъе задумчивый характеръ. Ничто не выражаетъ этого перехода такъ наглядно, какъ двъ первыя строфы стиховъ, приготовленныхъ имъ къ послъдней при жизни его лицейской годовщинъ, въ 1836 году.

Была пора: нашъ праздникъ молодой Сіяль, шумъль и розами вънчался, И съ пъснями бокаловъ звонъ мъщался И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой безпечные невъжды, Мы жили всв и легче и смёльй; Мы пили всъ за здравіе надежды И юности и всъхъ ея затъй. Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ, Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился; Онъ присмирълъ, утихъ, остепенился, Сталь глуше звонь его заздравныхъ чашъ. Межъ нами ръчь не такъ игриво льется, Просторнъе, грустиве мы сидимъ, И ръже смъхъ средь пъсенъ раздается И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.

Извъстно, что Пушкинъ, при чтеніи этихъ стиховъ за стодомъ, отъ волненія не могъ кончить ихъ, и, пересъвъ на диванъ, закрылъ лицо руками. Уже и за пять лътъ до того стихи, читанные имъ на лицейскомъ праздникъ, отличались такимъ же оттънкомъ грусти: насчитавъ шесть опустъвшихъ мъстъ въ кругу своихъ товарищей, онъ задумчиво говорилъ:

> И мнится, очередь за мною... Зоветь меня мой Дельвигь милый.

Давно уже его преслъдовала мысль о смерти:

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.
И гдъ мнъ смерть пошлетъ судьбина:
Въ бою ли, въ странствіи, въ волналъ...

Своею кончиною Пушкинъ вполнъ искупилъ тъ страстные порывы, тъ заблужденія сердца и ума, которые только въ глазахъ неумолимо-строгихъ судей его бурной молодости могутъ омрачить его память. Посреди страшныхъ мукъ на смертномъ

одрѣ онъ явиль и изумительную силу духа въ стоическомъ самообладаніи, и истинно-христіанскую кротость, и трогательную нѣжность семьянина. Побѣждая нестерпимую боль, онъ удерживался отъ стоновъ, чтобы не смущать жены, и говориль, что стыдно было бы пересилить себя такому вздору. Благодарность къ царю, прощеніе враговъ, заботливость объ оставляемой имъ семьѣ, полное примиреніе съ самимъ собою, таково было настроеніе, которое наполняло душу Пушкина въ послѣднія минуты жизни; такъ разстался онъ съ этимъ міромъ, гдѣ пожиравшее его пламя было для него источникомъ и столькихъ наслажденій, гдѣ онъ оставилъ столь блестящій и неизгладимый слѣдъ своего существованія на радость грядущимъ поколѣніямъ. Біографъ Пушкина П. В. Анненковъ справедливо называетъ его кончину "событіемъ, исполненнымъ драматической силы и глубокой нравственной идеи".

Послѣ всего, что далъ Пушкинъ своему народу и человѣ-честву, послѣ его труженической жизни, послѣ его мученической смерти у кого еще станетъ духу упрекать за ошибки юности эту почтенную тѣнь, являющуюся намъ въ двойномъ ореолѣ терпѣнія и страданія? Кто не благословитъ съ умилевіемъ память этого великаго писателя, навѣки связавшаго свое имя съ судьбами русскаго искусства? Громъ.

А. С. Пушкинъ по его письмамъ.

"Жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегіей" (Соч. Пушкина, т. VII, стран. 150).

... Читая однажды біографію Байрона, и видя, какъ искажается великій образъ подъ безцеремоннымъ перомъ его судьи, Пушкинъ совершенно справедливо напалъ на "толпу", дерзающую судить генія, оскорбляющую его святую память старательнымъ собираніемъ разныхъ "мерзостей" изъ его жизни¹). Дъйствительно, такая "толпа", ликующая по поводу слабостей выдающихся людей, можетъ вызвать негодованіе у всякаго, кому дороги великія имена свъточей цивилизаціи. Вотъ по-

¹⁾ Соч. Пушкина, изд. 1887 г., т. VII, стр. 160.

В. Покровскій А. С. Пушкинь.

чему порою такъ непріятно бываеть читать нікоторыя "добросовъстныя" біографіи, представляющія собою пестрое собраніе встхъ анекдотовъ, встхъ сплетень о какомъ-нибудь дъятелъ! Кому приходилось имъть въ рукахъ старыя біографическія статьи, тотъ, конечно, чувствоваль, какъ подъ ворохомъ мелочей, ненужныхъ никому, искажались и туманились человъческие образы. Передъ біографомъ нашихъ друзей другія задачи: онъ стремится понять прежде всего внутреннюю жизнь великаго писателя, онъ пытается уяснить себъ и другимъ психологію и физіологію творчества великаго художника, сущность и характерныя черты его духа. Біографъ не можетъ обойтись безъ мемуаровъ, записокъ и переписки великихъ людей, онъ прислушивается иногда и къ анекдоту, и сплетнъ, и, часто, его внимание остановится на томъ, что иногда совствить не занимаетъ добросовъстного собирателя разныхъ историческихъ курьезовъ. Онъ не будетъ судить великаго человъка, ни, тъмъ не менъе, злорадствовать и ликовать, -- онъ будеть только воскрешать прошлое sine ira et studio, создавать изъ разноцвътныхъ кусочковъ мозаики образъ, цъльный, живой, уясняющій твореніе писателя. Поэзія и жизнь въ такомъ взаимодъйствіи между собой, что раздылить ихъ нельзя и понять ихъ отдёльно — нётъ возможности: мы не оцёнимъ по достоинству казовой стороны жизни, если не будемъ знать закулисной, — ея бояться критикъ-біографъ не долженъ, но въ его работъ она не должна закрывать собою все остальное.

О Пушкинъ говорилось уже очень много, но, конечно, не мало еще будетъ говориться впредь: нелегко дается пониманіе великаго, и долго еще будетъ онъ загадкой для пытливыхъ умовъ, — лишь "по горсти бъдной" собираются тъ знанія, изъ которыхъ со временемъ сложится пониманіе великаго человъка. Мы имъемъ большое число разныхъ біографическихъ замътокъ о Пушкинъ, въ которыхъ иногда блеснетъ върно схваченная черта дъйствительно-пушкинскаго образа, но до сихъ поръ не имъемъ мы еще полной характеристики его, какъ человъка, до сихъ поръ не использованы даже его письма—, богатъйшій біографическій матеріалъ.

Попробуемъ быстро перелистывать лирическія стихотворенія Пушкина, — насъ поразить, прежде всего, ихъ страшное разнообразіе. Какой пестрый калейдоскопъ отдѣльныхъ шедёвровъ всякаго рода! Вотъ — застольная пѣсенка въ честь вина и любви, вотъ — мѣткая эпиграмма, невольно вызывающая улыбку, вотъ — задушевная, теплая элегія, вся дышащая любовью къ людямъ, сейчасъ же за нею осколокъ злой сатиры, за нею возвышенная молитва, страстный вопль, какая-то скабрезность, ласковая шутка, обломокъ какой-то, какъ будто религіозной поэмы, обильно изуродованной цѣломудренными точками, тамъ — дружески-теплое посланіе, опять любовь, опять смѣхъ и слезы, радость и горе, вѣра и невѣріе... Нѣтъ почти ни одного однороднаго стихотворенія, которое по времени стояло бы рядомъ — передъ читателемъ все время сверкаютъ дивнымъ букетомъ разноцвѣтныя искры.

Откуда такое богатство мелодій, разнообразіе настроеній? Какъ это въ одномъ сердцѣ можетъ звучать столько струнъ, что на всякое впечатлѣніе могутъ отзываться онѣ своими звужами?

Не даромъ душу поэта назвали "многогранной", — въ ней, какъ въ хорошемъ алмазъ, не пропадаетъ ни одна искорка свъта, ни одно впечатлъніе красоты. Югъ и съверъ, западъ и востокъ, — отовсюду онъ беретъ свои мелодіи и своихъ героевъ: старушка няня и красавецъ Донъ-Жуанъ, суровый скупецъ-рыцарь и нъжная Татьяна, Годуновъ и Ленскій, Мефистофель и Маша Миронова, — всъ эти пестрые образы тъснятся передъ нами. Какое страшное разнообразіе лицъ, сердецъ, костюмовъ! Откуда это неизсякаемое богатство образовъ, яркихъ, живыхъ, какъ впечатлънія самой жизни?

Жизнь поэта отвътить намъ на этотъ вопросъ. Заглянемъ въ закулисную жизнь великаго человъка; перечитаемъ, хотя бы, его письма и постараемся понять тъ психическія особенности его, которыя объяснять намъ разнообразіе его генія.

Первое, что бросается въ глаза при чтеніи этихъ "писемъ",— это, опять-таки, то же разнообразіе. Оно сказалось и въ выборъ друзей-корреспондентовъ и въ характеръ писемъ, къ нимъ отправленныхъ; если сравнить нъкоторыя изъ нихъ одно съ другимъ, — положительно нельзя повърить, что писаны они однимъ лицомъ; стоитъ вчитаться въ нихъ, всмотръться, — и мы сможемъ по нимъ писать характеристики тъхъ, кому они

были отправлены! Какой, напримъръ, прекрасной, серіозной и доброжелательной женщиной рисуется Осипова, окруженная неизмъннымъ уваженіемъ поэта! Какимъ легкомысленнымъ эгоистомъ представляется братъ поэта, "милая пустельга" Левушка... Мелькаетъ тревожный, страстный образъ красавицы Кернъ; въ нъсколькихъ короткихъ записочкахъ очерчивается "свътлая душа" Жуковскаго, въчнаго заступника поэта; тутъже, недалеко отъ пъвца Свътланы, обыкновенно отпечатывается жесткій, каменный профиль Бенкендорфа, попутно мелькаютъ разные литераторы, поэты, критики и, наконецъ, все это вытъсняетъ красавица Nathalie, легкомысленная до жестокости, пустая и холодная, вся окруженная нъжнъйшей любовью поэта, — роковой образъ, покрытый его поцълуями, облитый его слезами и кровью.

Особенность этихъ писемъ, повторяемъ, заключается въ томъ, что образъ поэта мъняется въ зависимости отъ того, кт кому онъ пишеть, меняется до неузнаваемости, до сліянія съ чуждымъ образомъ: съ литераторомъ — онъ только литераторъ, съ политикомъ онъ — политикъ, съ сплетникомъ сплетникъ, съ гулякой — только гуляка и ничего болъе. Какъ хорошій артисть, котораго никто не узнаеть въ разныхъ роляхъ, сживается Пушкинъ со всякими родями. О такихъ людяхъ принято говорить, что у нихъ нътъ личпости, нътъ воли, нътъ духа; ихъ любятъ немногіе, сумъвшіе открыть, что подъ измънчивой уступчивой внъшностью кроется духъясный, опредъленный, но не легко себя проявляющій. Оттого-то ихъ легкая приспособляемость — не слабость, а чуткость впечатлительного духа, всегда инстинктивно соразмъряющого себя со средой. Невольно припоминаются намъ по этому поводу слова апостола Павла: "Будучи свободенъ отъ всъхъ, я всёмъ поработиль себя... Для Іудеевъ я быль, какъ Іудей... Для чуждыхъ закона, какъ чуждый закона... Для немощныхъ быль, какъ немощный... Для всъхъ я сдълался всъмъ!"... Эта-"зеркальность" души апостола сдълала его властителемъ сердецъ человъческихъ. Онъ понималъ всъхъ — и всъ пони-

"Первый признакъ умнаго человъка — съ перваго взгляда знать, съ къмъ имъешь дъло и не метать бисера передъ Репетиловыми и тому подобными" — пишетъ Пушкинъ, критикуя Чацкаго. Да, онъ не былъ Чацкимъ, потому что обладалъ

способностью заразъ жить интересами и Репетилова и Чапкаго, искренне любя ихъ сегодня, также искренне презирая завтра. У него быль тесный кругь друзей, съ которыми онъ всегда быль неизмъненъ и ровенъ. Дельвигъ, кн. Вяземскій, Жуковскій, Осипова, — воть эти лица, судя по его письмамь; къ остальному же пестрому міру людей онъ относился такъ же пестро. Когда, напримъръ, друзья упрекали его за то, что онъ вступаетъ въ сношенія съ Булгаринымъ, котораго завъдомо презираль, онъ отвъчаль: "потому что онъ мнъ другъ. Есть у меня еще друзья: Сабуровъ Яшка, Мухановъ, Давыдовъ и прочіе. Эти друзья не въ примъръ хуже Булгарина. Они на дняхъ меня заръжутъ"1). Такая правственная перазборчивость связала его тесной дружбой съ Нащокинымъ, человъкомъ можетъ быть и добродушнымъ, но совершенно пустымъ, безтолковымъ и въ нравственномъ отношеніи невысокимъ. "Домъ его", пишетъ Пушкинъ, – "такая безтолочь и ералашъ, что голова кругомъ идетъ. Съ утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчіе, цыганы, шпіоны, особенно заимодавцы" 2)... Надо сознаться, что приблизительно такой же букеть пріятелей быль и у нашего великаго поэта, и, если онъ иногда скучаль3), глядя на эту галлерею, то порою, оказывается, смёялся "до упаду" 4). Припомнимъ, какъ привязался онъ къ своимъ друзьямъ по обществу "Зеленой Лампы", перечитаемъ его письмо къ Мансурову5), письмо, въ которомъ юноша захдебывается скабрезнымъ духомъ "Зеленой Лампы", — и невольно намъ припомнятся его слова о томъ, какъ поэтъ теряется въ толпъ, дълается "ничтожнъе" многихъ "ничтожныхъ".

Но мгновенье, — и поэтъ воскреснетъ. Да, миновенье играло въ его поэтической жизни большую роль: почти всъ его лирическія стихотворенія — отзвуки такого минутнаго настроенія. Именно отъ того въ нихъ столько разнообразія, порой граничащаго съ противоръчіемъ. Какъ помирить, напримъръ, представленіе о поэтъ, какъ священнослужителъ, жрецъ, сътъми стихами, которые написаны на злобу дня, или посвя-

¹⁾ Соч. Пушкина, т, VII, сгр. 104.

²⁾ Тамъ же, стран. 297.

з) Тамъ же.

⁴⁾ Тамъ же, стран. 306.

⁵) Тамъ же, стран. 5.

щены "выметанію сора" путемъ эпиграммъ и сатиръ. Онъ искренне воспѣваетъ декабристовъ, — стоитъ императору Николаю сдѣлать что-нибудь пришедшееся по вкусу поэту — онъ искренне воспѣваетъ Николая. Онъ самъ признается, что "мгновенье" имѣетъ надъ нимъ большую силу¹), — подъ вліяніемъ минуты онъ можетъ то совершенно пренебречь мнѣніемъ свѣта²), то не въ силахъ удержаться отъ собиранія великосвѣтскихъ сплетень, его касающихся³). Онъ самъ сознаетъ эту слабость, оттого пишетъ Жуковскому, что его поведеніе по отношенію къ правительству будетъ зависѣть "отъ обстоятельствъ, отъ обхожденія" съ нимъ правительства 4).

Эта впечатлительность, жизнь во власти минуты, помѣщала Пушкину устойчиво относиться къ дюдямъ, — отсюда вытекаеть та двойственность, которая легко изобличается письмами. Вотъ онъ пишетъ поэтессъ А. А. Фуксъ, теплое, сердечное письмо, проникнутое чувствомъ признатедьности за то гостепріимство, которое она ему оказала: "Съ сердечной благодарностью посылаю вамъ мой адресъ, и надъюсь, что объщаніе ваше прівхать въ Петербургъ не есть одно любезное привътствіе. Примите, милостивая государыня, изъявленіе моей глубокой признательности, и пр. "5). Послушаемъ теперь, что пишеть онъ черезъ четыре дня своей очаровательной женъ, желая ее, конечно, разсмъщить: "попаль на вечеръ къ одной blue stockings, сорокальтней, несносной бабъ съ вощеными зубами и съ ногтями въ грязи. Она развернула тетрадь и прочла мит стиховъ съ двъсти какъ ни въ чемъ не бывало. Баратынскій написаль ей стихи и съ удивительнымъ безстыдствомъ расхваливалъ ея красоту и геній"6). "Съ жадностью прочелъ я прелестныя ваши стихотворенія", пишетъ Пушкинъ той же поэтессъ, "и между ними ваше посланіе ко мнъ, недостойному поклоннику вашей музы. Въ обмънъ вымысловъ, исполненныхъ прелести, ума и чувствительности, надъюсь на дняхъ доставить" и т. д. 7). Таково же двойственное отно-

¹⁾ Тамъ же, стран. 11.

⁻²⁾ Тамъ же.

³⁾ Тамъ же, стран. 111.

⁴⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 173, 174.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 324.

⁶⁾ Тамъ же, стран. 325.

⁷⁾ Тамъ же, стран. 372. Прекрасной иллюстраціей къ этимъ отношеніямъ могуть служить выдержки изъ записокъ самой Фуксъ. Пушкинъ, добродушный,

шеніе поэта къ Дмитріеву¹), Катенину²), Хвостову³). Насколько мы понимаемъ Пушкина, здёсь нельзя говорить о неискренности, фальши поэта въ отношеніяхъ къ людямъ, напротивъ онъ всегда черезчург искренент: стоитъ кому-нибудь сказать ему теплое слово, онъ сейчасъ же уступаль его вліянію и отвъчаль такимъ же теплымъ словомъ. Но пролетала эта минута, уносилось это впечатлъніе, подвертывался новый собесъдникъ, мелькала какая-нибудь новая мысль, шутка, и часто, въ глазахъ Пушкина, вся картина освъщалась другимъ свътомъ, — и гостепримная поэтесса обращалась въ смъшную карикатуру. Уважая Плетнева онъ, напримъръ, не въ силахъ удержаться, чтобы не посмъяться надъ нимъ въ письмъ къ Вяземскому 1); искренне любя своего поэта-дядющку, добродушнъйшаго Василія Львовича, онъ потъшается надъ нимъ, пристегнувъ заодно и только что скончавшуюся тетушку⁵). Въ тридцатыхъ годахъ отношенія его къ правительству были уже вполет ровными, — однако въ веселую минуту онъ не прочь зло пошутить надъ тогдашнимъ режимомъ. И.И.Дмитріевъ въ его присутствіи нашелъ страннымъ сочетаніе словъ: "московскій англійскій клубъ", — Пушкинъ со смъхомъ замътилъ, что есть названіе еще страннъе, — "императорское человъколюбивое общество" 6).

Отличаясь (говоря его же словами) "веселымъ лукавствомъ ума", а потому большой любитель "поповъсничать и въ язычки

милый, сердечный, какъ живой, встаетъ передъ нами, — въ его искреиности сомивьаться нельзя. "Я простившись съ нимъ, думада, что его обязательная привътливость была обыкновенно свътскою любезностью, но ошиблась. До самаго конца жизни, гдё только было возможно, онъ оказываль мнё особенное расположение... Онъ писалъ ко мнъ по нъскольку разъ въ годъ и всегда собственною своею рукою; познакомилъ меня заочно со всёми замечательнейшими русскими литераторами и наговориль имъ обо мив столько для меня дестнаго, что я, по прівздв моемъ въ Москву и Петербургь, была удостоена ихъ посъщениемъ" (А. С. Архангельский. А. С. Пушкинъ въ Казани. Казань, 1899). См. также статью H.~II.~3агоскина: "Пушкинъ въ Казани" — IIсторическій Въстникъ, 1899 г., № 5).

¹⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 57, 75, 187, 301, 376, 408.

Тамъ же, стран. 7, 35, 118, 153, 167, 175.

³⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 286, 310.

⁴⁾ Тамъ же, стран. 106.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 126, 132, 156.

⁶⁾ Д. Н. Садовниково: "Отзывы современниковъ о Пушкинъ" — Исторический Въстникъ, 1883 г., т. XIV, стран. 536.

постучать 1), онъ принадлежаль къ тъмъ людямъ, что въ минуту смъщливаго настроенія "ради краснаго словца не пожальють и отца". А такое настроеніе, какъ извъстно, часто посъщало его: во многихъ письмахъ слышится его неудержимый хохотъ, тотъ заразительный, всепобъждающій хохотъ, о которомъ въ своихъ запискахъ писала такъ много Смирнова 2).

Минутное настроеніе ³) иногда заставляло его дёлать такіе поступки, которые потомъ долго мучали его совъсть. Обласканный Карамзинымъ, принятый въ его семью, какъ родной, слишкомъ впечатлительный юноша, въ минуту обиды, вдругъ сочиняетъ эпиграмму на своего стараго друга 4), — прошло это настроенье, и раскаянье его мучить, и любовь снова возвращается въ его сердце... "Карамзинъ боленъ", пишетъ онъ Плетневу при вести о болъзни исторіографа: "милый мой, это хуже многаго — ради Бога, успокой меня, не то мнъ страшно вдвое будеть распечатывать газеты" ⁵). Обиженный Петербургомъ, поэтъ, узнавъ о наводнении 1825 года, легкомысленно восклицаеть: "Что это у вась? Потопъ? ништо проклятому Петербургу!" в) "Я очень радъ этому потопу, потому что золъ!" 7), — но стоило перемъниться настроенію, и онъ говорить иное: "Этотъ потопъ съ ума мит нейдетъ: онъ вовсе не такъ забавенъ, какъ съ перваго взгляда кажется. Если тебъ вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай изъ онъгинскихъ денегъ. Но прошу, безъ всякаго шума, ни словеснаго, ни письменнаго" 8).

Такое неожиданное заключение ликований по поводу наводнения приводить насъ къ основной чертъ Пушкина, — къ его добротъ. Мы понимаетъ, почему многие современники, начи-

²) Тамъ же стран. 182.

¹⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 67.

³⁾ Насколько впечатлителень быль Пушкинъ къвліяніямъ минуты, видно изъ словъ А. П. Кернъ; "Трудно было съ нимъ вдругъ сблизиться; онъ быль очень неровенъ въ обращеніи: то шумно весель, то грустенъ, то робокъ, то дерзокъ, то нескончаемо любезеиъ, то томительно скученъ, и нельзя было угадать, въ какомъ онъ будетъ расположеніи духа черезъ минуту" (Л. Н. Майковъ. Пушкинъ. С.-Пб. 1899, стран. 241).

⁴⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 182.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 176.

⁶) Тамъ же, стран. 91.

^{· · · · ·)} Тамъ же, стран. 92.

^{*)} Тамъ же, стран. 99.

ная съ лицейской скамейки до могилы, ненавидъли поэта 1): его глубокая любовь къ людямъ скрыта была отъ близорукаго взгляда его непостоянствомъ, вътренностью, его высмъиваньемъ слабыхъ сторонъ въ глаза и за глаза, — въдь для сухого педанта, человъка "правилъ", - всъ эти недостатки выростали до громадныхъ размъровъ, а за ними мало кто видълъ живое, доброе, отзывчивое сердце поэта. Онъ самъ признается, что "добродущіемъ преисполненъ до глупости, несмотря на опыты жизни" 2). Бороться съ врагами ему не подъ силу, — пройдеть его настроеніе, — и онъ пишеть: "Ольдекопъ надобль. Плюнемъ на него, и квитъ" 3). Послъ различныхъ суровыхъ прижимокъ со стороны правительства, Пушкинъ хотълъ было уйти въ отставку, но ея онъ не получиль, и кончилось дъло тъмъ, что задоръ у Пушкина прошелъ, и онъ все простилъ: "Долго на него (Николая I) сердиться не умѣю: хотя онъ и неправъ" 4). Незлобивость его доходить до того, что, сосланный на окрайну Россіи, забытый всёми, онъ не только не ожесточается, но даже тона раздраженія не слышится въ его отношеніяхъ въ друзьямъ, не присылающимъ ему въстей. Только иногда тихая жалоба на свою участь прозвучить въ его письмахъ, да легкій упрекъ вырвется, словно противъ воли. "Представь себъ", пишетъ онъ брату, "до моей пустыни не доходитъ ни одинъ дружный голосъ — друзья мои, какъ нарочно, ръшились оправдать элегическую мою мизантропію — и это состоніе несносно "5). "Дельвигъ мив съ годъ уже ничего не пишетъ" жалуется онъ. "Попеняйте ему и обнимите его за меня" 6). "Не могу повърить", пишеть онъ Всеволожскому, "чтобы ты забыль меня, милый Всеволожскій, — ты помнишь Пушкина, проведшаго съ тобою столько веселыхъ часовъ, — Пушкина, котораго ты видалъ и пьянаго, и влюбленнаго" 7). Сердце въсти проситъ, — а то не смълъ затъять переписку съ оставленными

¹⁾ Напримъръ его товарищъ графъ М. А. Корфъ (см. его "Записку" въ книгъ Я. К. Грота: "Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники". С.-Пб. 1899; также Записки А. О. Смирновой, ч. І, С.-Пб. 1895, стран. 16, 19, 33, 73, 91, 103).

²⁾ Соч. Пушкина, т. VII, страи. 353.

^в) Соч. Пушкина, т. VII, стр. 94.

⁴⁾ Тамъ же, стран. 364.

⁵⁾ Тамъ же, сгран. 28.

⁹⁾ Тамъ же, стран. 50—51.

⁷⁾ Тамъ же, стран. 82.

товарищами (долго крѣпился, но не утерпѣлъ). Ради Бога, слово живое объ Одессъ" 1). Зато, когда долетаетъ до него въсточка отъ друга, онъ забываетъ упрекнуть его за годовое молчаніе, а радостно восклицаетъ: "Вчера повъяло мнъ жизнью лицейской; слава и благодареніе за то тебъ и моему Пущину! "2).

Почти съ лицейской скамейки онъ является ходатаемъ за разныхъ несчастныхъ, пришибленныхъ судьбойз). Кюхельбекеръ, этотъ потъшный "Кюхля", о которомъ Пушкинъ не можеть говорить безъ смѣха, окруженъ его вѣчными заботами и самой нѣжной любовью4). Сердиться Пушкинъ, по-крайней мъръ, въ письмахъ (мы исключаемъ письма наканунъ дуэли) совершенно не умъетъ. Единственный разъ раздражение зазвучало въ объясисніи съ И. Е. Великопольскимъ, и то оно сейчасъ же разръшилось туткой и миромъ. За этимъ исключеніемъ его упреки всегда мягки, скоръе напоминають жалобы. Бестужевъ напечаталъ стихи, которыхъ Пушкинъ печатать не хотълъ. "Я давно уже не сержусь за опечатки", пишетъ онъ по этому случаю Бестужеву, "но въ старину миъ случалось забалтываться стихами, и мнъ грустно видъть, что сомною поступають, какъ съ умершимъ, не уважая ни моей воли ни бъдной собственности. Это простительно Воейкову, но et tu autem Brute?"5) "Что это со мною дълаютъ журналисты!" восклицаеть онъ — "Булгаринъ хуже Воейкова. Какъ можно печатать партикулярныя письма — мало-ли что мнъ приходить на умъ въ дружеской перепискъ, а имъ бы все и печатать — это разбой! "6). Особенно много испытаній долготерпънію и добротъ причинить поэту его брать Левъ. Въ первыхъ письмахъ А. С. Пушкинъ съ самой теплой любовью относится къ нему⁷): разсказываетъ свою жизнь⁸), даетъ разные совыты житейской мудрости9); затымь очень скоро неблагодарная роль "вождя по жизни" прівдается Пушкину, и онъ обращается къ Льву съ разными просьбами и поруче-

¹⁾ Тамъ же, стран. 96.

²⁾ Тамъ же, стран. 58.

³⁾ Тамъ же, стр. 4, 96, и др.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 109, 169.

⁵⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стр. 70.

⁶⁾ Тамъ же, стр. 76.

⁷⁾ Тамъ же, стр. 16.

⁸⁾ Тамъ же, стр. 16.

⁹⁾ Тамъ же, стр. 36, 37, 43-44.

ніями1). Левушка, по легкомыслію и эгоизму, очень халатно относился къ просъбамъ брата: стихи его, еще не напечатанные, но уже проданные, раздаваль въ спискахъ по всему городу²), писалъ ихъ въ альбомы дамъ³), деньги, вырученныя отъ продажи сочиненій брата, проигрываль4), — въ результать, тонъ писемъ къ нему А. С. Пушкина дълается все суше, и скоро они принимаютъ дъловой характеръ. Не менъе интересна переписка съ женой, — здъсь любовь Пушкина, положительно, неисчерпаема; онъ заботится о своей женъ, какъ о ребенкъ, въ каждомъ письмъ шлетъ ей прописныя наставленія, умоляеть ее вести себя въ обществъ прилично, не кокетничать, беречь себя, — а она, въ отвѣтъ на эти отеческія посланія, поддразниваеть его, сообщаеть о своихъ побъдахъ, о своемъ веселомъ, но глупомъ времяпровождении и пр. Въ отвътъ на эти письма поэтъ пишетъ опять нъжныя посланія, выражая изръдка порицаніе укоризненнымъ: "Женка, женка! Но оставимъ это! "5) Или: "Женка, женка! я ъзжу по большимъ дорогамъ, живу по 3 мъсяца въ степной глуши, останавливаюсь въ пакостной Москвъ, которую ненавижу — для чего? Для тебя, женка: чтобъ ты была спокойна и блистала себъ на здоровье, какъ прилично въ твои лъта и съ твоею красотою. Побереги же и ты меня. Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнію мущины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности etc"6). Когда никакія мольбы не помогають, поэтъ разръшаетъ своей женъ "кокетничать". "Кокетничать я самъ тебъ позволилъ", пишетъ онъ, "но читать о томъ листъ кругомъ подробнаго описанія вовсе мнв не нужно. Побранивъ тебя, беру нъжно тебя за уши и цълую"7). Въ такомъ тонъ всъ письма Пушкина къ женъ: его любовь къ ней выдерживала всв испытанія, она приковала его къ мелкимъ хозяйственнымъ хлопотамъ, къ заботамъ объ экипажахъ, квартирахъ, обстановкахъ, она заставила его страдать отъ разных в назойливых в поползновеній назойливой жениной родни,

¹⁾ Тамъ же, стр, 91, 92.

²⁾ Тамъ же, стр. 76.

³⁾ Тамъ же, стр, 139.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 159.

⁵) Соч. Пушкина, т. VII, стран. 308.

⁶⁾ Тамъ же, стран. 333.

⁷⁾ Тамъ же, стран, 369.

считаться съ разными сплетнями... Эта жизнь медленно отравляла его, — его, свътлая душа котораго была такъ далеко отъ отчаннія: пессимизмъ вообще быль чуждь его природь. "Судьба не перестаеть съ тобой проказить", писаль въ 1826 году онъ Вяземскому. "Не сердись на нее, не въдаетъ бо, что творить. Представь себъ ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадить ее на цъпь? Ни ты, ни я, никто. Дълать иечего, такъ и говорить нечего!"1). Еще въ 1831 году, когда онъ уже вкусилъ сладостей супружеской жизни, онъ еще не теряль надежды на счастье: любовь къ женъ и дътямъ освъщала ему жизнь. "Опять хандришь!" — писаль онъ Плетневу: "Эй, смотри: хандра хуже холеры, — одна убиваеть только тъло, другая убиваеть душу. Дельвигь умеръ, Молчановъ умеръ, погоди умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрътимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созръютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ рости, выростеть невъстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши — старыя хрычевки; а дътки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики станутъ повъсничать, а дъвчонки сентиментальничать, а намъ то и любо. Вздоръ душа моя: не хандри, холера на-дняхъ пройдеть; были бы мы живы, будемъ когда-нибудь и веселы"²). Сколько всепрощающей, всепримиряющей любви въ этомъ образъ поэта, много страдавшаго, по не утратившаго въры въ будущее!

Если ко всёмъ этимъ чертамъ мы прибавимъ живость его духа, въчно ищущаго новыхъ настроеній и впечатльній, мы исчерпаемъ главнъйшія черты его души, поскольку оню высказались вз его письмахз. Послъднія слова выразительно подчеркиваемъ, желая указать этимъ, что, конечно, въ своемъ бъгломъ очеркъ мы далеко не исчерпали всъхъ чертъ пушкинскаго духа, — въ письмахъ своихъ онъ не выразилъ всего себя, такъ какъ между корреспондентами его не было ни одного по плечу ему. Оттого письма помогаютъ понять Пушкина лишь въ обществъ его друзей; они объясняютъ намъ, насколько его человъческія черты отразились на его творчествъ, но они не даютъ пониманія Пушкина, какъ "пъвца земли", понявшаго духомъ драматизмъ ея жизни, съ ея ра-

1) Тамъ же, стран. 180.

²⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 283.

достями и горемъ, — передъ нами чисто внъщнія черты его облика, черты, однако характерныя и важныя.

Сравнимъ этотъ образъ съ тъмъ, что просвъчиваетъ въ его лирическихъ произведеніяхъ, мы увидимъ полное совпаденіе. И это безконечное разнообразіе мотивовъ, и этотъ всепрощающій свътъ любви, искренность и живость настроенія, отличительныя черты пушкинской лирики, — все это черты поэта, какъ человъка; для него, не въ примъръ многимъ другимъ поэтамъ, жизнь и поэзія во всякій отдъльный моментъ сливались въ одно!

Разнообразіе героевъ въ его эпическихъ и драматическихъ произведеніяхъ вытекало изъ того же богатства его природы. Мы говорили уже выше, что онъ легко сживался со всякимъ, легко жилъ его думами и чувствами. Всякій эпическій писатель непременно проходить въ своемъ творчестве чрезъ такой процессъ. Нужно сдълаться самому немного Чичиковымъ, Подколесинымъ, чтобы заставить ихъ жить. Истинно художественное творчество (и лирическое, и эпическое) можетъ быть только субъективнымъ, въ большей или меньшей степени: образы, созданные объективно — или не живы, отвлеченны, сухи, или портреты, не болъе. Наконецъ, и духъ примиренія, которымъ былъ богатъ Пушкинъ въ жизни, сказался въ его герояхъ: онъ освътиль ихъ всъхъ свътомъ любви, — въ Пугачевъ мы видимъ мягкія черты благодарности и милосердія, суровый Петръ изображенъ въ моментъ примиренія съ врагами, въ его душъ отмъчено Пушкинымъ мягкое чувство признательности и даже нъжности. Въ Донъ-Жуанъ, жизнерадостномъ, какъ ясный день, беззаботномъ, какъ сама юность, не остается почти ничего суроваго для судьи-моралиста; образъ преступнаго Годунова внушаеть только глубокое сожальніе; Скупой Рыцарь и Сальери, несчастные мученики глубокой страсти, у одного къ поэзіи золота, у другого — къ божеству музыки, тоже ни въ комъ не пробудять къ себъ злобы.

Заканчивая этимъ нашъ очеркъ, мы не можемъ, въ заключеніе, не указать, что образъ поэта, бъгло очерченный нами, внолнъ сливается съ тъмъ, что встаетъ передъ нами при чтеніи записокъ Смирновой. Странная судьба постигла эти живые, талантливые мемуары, встръченные такъ сурово нашей критикой! Точно ко всъмъ запискамъ можно примънять одну и ту же мърку, — одни даютъ факты, имена, устанавливаютъ

хронологію, сохраняють для историка рядь мелкихъ историческихъ данныхъ, - другіе не даютъ ничего этого, зато рисують живыя лица далекаго прошлаго, а въдь это вовсе не мало! Записки Смирновой принадлежать къ послъднему роду мемуаровъ — пусть въ нихъ спутана хронологія, пусть невърны факты, пусть они даже подправлялись издательницей, пусть Dichtung превышало порою Wahrheit, зато въ этихъ запискахъ жизнь 20-30 годовъ бьетъ ключомъ, зато передъ нами встаютъ ясныя, характерныя лица, намъ дорогія... И между нимицентральная фигура — Пушкинъ! Стоитъ сравнить письма Пушкина съ воспоминаніями Смирновой, и мы убъдимся, что они - документъ цънный, заслуживающія уваженія и вниманія! Какія стороны своей души Пушкинъ раскрывалъ передъ друзьями въ письмахъ, тъ же раскрылъ онъ и въ саловъ Смирновой! Оттого записки ен и письма поэта взаимно провъряютъ и дополняють другь друга, - стоить ихъ перечитать вмъстъ и, какъ живой, возстанетъ передъ нами, безконечно добродушный и благожелательный, порою насмёшливый, то грустный, то блестящій и сверкающій "Искра"-"Сверчокъ" — весь яркое воплощение мгновения, въчно живущий впечатлъниемъ минуты, нъжный и ласковый съ одними, задорный съ другими, съ его веселымъ, раскатистымъ беззаботнымъ смѣхомъ, съ его серіозными думами и страданіями, съ его горячими ръчами...

Сиповскій.

Во всъхъ книжныхъ магазинахъ гг. Москвы, Петербурга, Кіева, Одессы, Варшавы, и друг.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ КНИГЪ

В. Покровскаго:

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ДИКТАНТЪ

для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ.

часть І. ЭТИМОЛОГІЯ.

Одобрень Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднихь учебных заведсній, юродскихь и начальных училищь, Учебн. Ком. при Свят. Синодь для духовныхь училищь и Учил. Сов. при Свят. Синодь для церковно-приходскихь школь.

Изданіе одиннадцатое, значительно увеличенное.

Москва 1904 г. Цена 50 к., въ переплете 55.

Во второмъ изданіи "Систематическаго диктанта" ч. 1 полнъй и раздъльный изложены сомнительные гласные звуки, введены упражненія на всѣ §§ ореографическихъ правилъ, усвоеніе которыхъ возможно безъ грамматики, и добавлено четыре §§: § 60 (прописныя буквы въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ); § 100 (союзы, также (въ отличіе отъ нарѣчья такъ же), тоже (въ отличіе отъ мѣстоименія то же), же (же употреблямый отдѣльно и слитно); § 101 союзъ: чтобы (въ отличіе отъ мѣстоименія что бы), дабы, бы и § 102 союзъ ли (ль, употребляемый отдѣльно и слитно); 8 связныхъ статей (отъ № 110—117) на упражненія въ правописаніи всѣхъ частей рѣчи.

Въ третьемъ изданіи впесенъ § 10 (в и в, сливающіеся въ ы).

Въ четвертое изданіе вошли слёдующіе новые §§: § 5 (окончаніе ей въ нарицательныхь именахъ, отвічающихъ на вопросы: кто? что?); § 7 (буква в въ собственныхъ словахъ: Алексьй, Матвьй, Елисьй, Еремьй...); § 8 (в въ окончаніи словъ: змѣй, ротозѣй и въ именахъ предметовъ, оканчивающихся на двй, а въ произведенныхъ отъ нихъ на вийса); § 27—31 (буквы: сб, сг, сд, сжс, жеже и зже въ словахъ); § 32 (буквы и и и послѣ и); § 57 (окончаніе а во множественномъ числѣ существительныхъ ср. р. на ср; § 58 (окончаніе а во множественномъ числѣ существительныхъ средн. рода на о); § 61 (окончаніе овъ и евъ въ род. пад. множ. числа); § 138 (употребительнѣйшія иностранныя слова). Кромѣ того, въ этомъ изданіи прибавлено 17 связныхъ статей какъ на отдѣльныя, такъ и на всѣ части рѣчи (№№ 26, 27, 28, 30, 38, 39, 51, 68, 69, 85, 87, 89, 92, 94, 100 и 131).

Пятое изданіе напечатано съ четвертаго безъ перемъны.

Седьмое изданіе напечатано съ шестого безъ переміны.

Въ восьмомъ изданіи внесено употребленіе е послъ гортанныхъ (г, к, х); и шипящихъ (ж, ч, ш, щ) въ срединъ ръчи.

Въ девятомъ изданіи увеличены вдвое упражненія на первоначальныя правила, усвоеніе которыхъ возможно безъ изученія грамматики.

Десятое изданіе напечатано безъ переміны съ девятаго.

Вз одиннадцатомъ изданіи на каждый § всьхг частей ръчи внесено по новому упражненію. Увеличено число упражненій и на всь части ръчи.

систематическій диктантъ.

Часть II. СИНТАКСИСЪ.

Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Свят. Синодъ. Изданіе десятое.

Москва 1904 г. Ц**ѣна 60** к., въ переплет**ъ 75** к.

СПРАВОЧНЫЙ ОРООГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.

Пособіе для учащихся.

Помъщено до двънадцати тысячъ словъ.

Одобрень Учен. Кон. Мин. Нар. Просв. для учениковз-среднеучебных заведений, городских и начальных училищь.

Изданіе шестое, исправленное и дополненное.

Москва 1904 г. **Ц**ѣна **25** к.

О справочномъ ореографическомъ словарѣ въ журналѣ Мин. Нар. Просвъщенія было напечатано слъдующее:

"Что касается до "Справочнаго ореографическаго словаря", то онъ составленъ довольно цолно и по лучшимъ пособіямъ. При собственныхъ именахъ лицъ, указаны, народныя формы; при именахъ существ. нарицательныхъ указаны, гдъ нужно, падежныя формы; при глаголахъ указаны формы неопредъленнаго наклоненія и 3-го лица множ. числа, а иногда и формы другихъ лицъ; при словахъ сложныхъ изъ предложныхъ префиксовъ и именъ приведены примъры, объясняющіе, когда слъдуетъ писать отдъльно предлогъ, когда — вмъстъ съ именемъ. Вообще книжка составлена удовлетворительно" (Ж. М. Н. Просв. 1898 г., ноль).



